

БАГА 18

ШКАФЪ 270

ПОЛКА 2

№ 2 (2)

ИЗДАНИЕ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

# СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,

гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ, по фотографіи Ю. Штейнберга.

—> ТОМЪ ВТОРОЙ. <—

Цѣна за два тома—3 рубля.

Простое переплетеніе—по 50 к. Пазинированіе съ золотомъ—по 1 р. Переплетъ безъ переплетенія—за 4 фунта,  
въ переплетѣхъ—за 6 фунтовъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Образки напечатаны въ типографіи Ю. Н. Орлика, Садовая, 9.  
Тексты въ типогр. газетъ „Новости“, Восточный рынокъ, № 115.

1890.

# ИЗДАНИЯ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

(Продаются во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Главный складъ въ книжномъ магазинѣ П. Луковникова. Спб., Лештукъ пер., № 2).

## Для дѣтей и юношества.

- Иллюстрированные романы Диккенса въ сокращенномъ переводѣ Л. Шелуновой: 1) Давидъ Копперфильдъ, 2) Домби исынъ, 3) Оливеръ Твистъ, 4) Большія надежды, 5) Нашъ общій другъ, 6) Лавка древностей. Ц. кажд. романа 40 к.
- Два проказника. Шуточный рассказъ въ стихахъ В. Буша. Переводъ съ 25 пѣмеч. изданія. Около 100 рис. Ц. 60 к., въ папкѣ 75 к., въ перепл. 1 р. 25 к.
- Вороненокъ. Рассказъ въ стихахъ В. Буша. Съ рисунками. Ц. въ папкѣ 75 к., въ переплѣтѣ 1 р. 25 к.
- Два собачки. Рассказъ въ стихахъ В. Буша. Съ рисунками. Ц. въ папкѣ 75 к., въ переплѣтѣ 1 р. 25 к.
- Въ добрый часъ! Сборникъ дѣтскихъ рассказовъ. А. Лакидъ. Съ рисунками. Ц. 75 к., въ папкѣ 1 р., въ переплѣтѣ 1 р. 25 к.
- Русскія народныя сказки въ стихахъ. А. Бричанинова. Съ предисловіемъ И. С. Тургенева. Множество рисунковъ. Ц. 2 р. Въ папкѣ 2 р. 50 к., въ переплѣтѣ 3 р.
- Черные богатыри. Е. Ковради. Со множествомъ рисунковъ. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 75 к.
- Задуманные рассказы. П. Засодимскаго. Два тома съ 136 рис. Цѣна каждого въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Хорошіе люди. В. Острогорскаго. Съ 45 рисунками. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Изъ жизни и исторіи. А. Арсеньева. Съ рисунк. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Послушаемъ! Дѣтскіе рассказы. А. Нольде. 23 рис. Цѣна въ папкѣ 1 р., въ перепл. 1 р. 50 к.
- Дѣтскій маскарадъ. Н. Азбелева. Съ 16 рисун. Ц. 20 к.
- Жизнь Робинзона. Н. Блинова. Съ 128 рисун. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 50 к.
- Наглядныя несообразности. (Дѣтскія задачи въ картинкахъ). Ф. Павленкова. 10 листовъ (на каждомъ по 20 рис.). Ц. 1 р. „Объясненіе“ въ немъ 5 к.
- Математическіе софизмы. 50 теоремъ, доказывающихъ, что  $2 \times 2 = 5$ , часть больше своего угла и пр. Составилъ В. Обреимова. 2-е изд. Ц. 40 к.
- Тройная головоломка. В. Обреимова. Сборникъ геометрическихъ игръ. Съ 300 рисун. и 39 востетамъ. Ц. 1 р.
- Образовательное путешествіе. Живописные очерки отдаленныхъ странъ. С. Ворисюфера. Съ 73 рис. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ переплѣтѣ 2 р. 50 к.
- Черезъ дѣбри и пустыни. Сказанья молодого бѣглеца. С. Ворисюфера. Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ переплѣтѣ 2 р. 75 к.
- Сказочная страна. Путешья приключенія двухъ юныхъ матросовъ. С. Ворисюфера. Съ иллюстраціями. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ переплѣтѣ 2 р. 75 к.
- Приключенія контрабандиста. С. Ворисюфера. Съ иллюстраціями. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплѣтѣ 2 р. 25 к.
- Живыя картины. А. Смирнова. Сборникъ рассказовъ, съ 50 рисун. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Янки Вологодскаго уѣзда. А. Крулова. Съ 6 рис. Ц. 25 к.

- Мученики науки. Г. Тисандье. Переводъ подъ редакціей Ф. Павленкова. Съ 55 рис. 2-е изд. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 75 к.
- Научныя развлеченія. Г. Тисандье. Переводъ подъ редакціей Ф. Павленкова. 2-е изд. съ 353 рис. Ц. 2 р., въ переплѣтѣ 2 р. 75 к.
- Вечерніе досуги. А. Крулова. Съ 70 рисунками. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р.
- Рыжий графъ. Неразлучники. Дочь угольщика. П. Засодимскаго. Съ рисун. Цѣна каждой книжки по 35 к.
- Незабудни. А. Крулова. Сборникъ рассказовъ. Съ 50 рисунками. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Приключенія сверчка. Э. Кандеза. Съ 67 рисун. Ц. 2 р., въ папкѣ 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 50 к.
- Сказки Густафсона. Съ 30 рис. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплѣтѣ 1 р. 75 к.
- Исторія открытія Америки. Ламе-Флери. Съ 52 рис. 2-е изд. Ц. 75 к. въ папкѣ—1 р. въ перепл.—1 р. 40 к.
- Искры Божьи. Біографическіе очерки А. Острогорскаго. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплѣтѣ 2 р.
- Двадцать біографій образцовыхъ русск. писателей. Составилъ В. Острогорскій. Съ 20 портретами. Ц. 50 к. Въ папкѣ 75 к.

## Учебныя руководства и пособія.

- Практическая геометрія. А. Заблоцкаго. Съ 300 чертежами. Ц. 50 к.
- Курсъ метеорологіи и климатологіи. Профессора Лѣснаго Института Д. А. Лачинова. Съ 122 рис. и 6 картами. Ц. 2 р.
- Общая основа химической технологіи. В. Селезнева. Съ 70 рис. Ц. 1 р. 50 к.
- Полный курсъ физики. А. Гаю. Переводъ Ф. Павленкова и В. Черкасова. 7-е изд. 1215 рис., 170 задачъ, 2 таблицы спектровъ, метеорологіи и краткая химія. Ц. 4 р.
- Учебникъ химіи. А. Алмедина. Курсъ реальн. училищъ: 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р.
- Популярная физика. А. Гаю. Перев. съ франц. Ф. Павленкова. 3-е изд. Съ 604 рис. Ц. 2 р.
- Краткая физика. М. Герасимова. Съ 335 рис. и 214 задачами. Ц. 1 р.
- Популярная химія. Н. Вальберга и Ф. Павленкова. 3-е изд. Съ 50 рис. Ц. 40 к.
- Общепонятная геометрія. В. Потоцкаго. Съ 143 фиг. Ц. 40 к.
- Практический курсъ физиологіи. Бурдонъ Сандерсона. Переводъ д-ра Фридриха. Переработанъ русскими профессорами. Въ 2 частяхъ со многими рисунками. Цѣна всего сочиненія въ одномъ томѣ 3 р.
- Самостоятельная работа въ начальной школѣ. Т. Лубенца. Ц. 15 к.
- Методика ариметики. С. Житкова. 2-е изд. Ц. 75 к.
- Сборникъ арифметическихъ задачъ съ учителями. Приложеніе къ „Методикѣ арифметикѣ“ С. Житкова. 2-е изд. Цѣна 40 к.
- Сборникъ самостоят. упражненій по арифметикѣ. Задачникъ для учениковъ. С. Житкова. Ц. 25 к.
- Учебникъ географіи для город. училищъ. Н. Петенева. Съ рис. Ц. 30 к.
- Начальный курсъ географіи. Корнеля. 11-е изданіе, съ 10-ю раскраш. карт. и 82 рис. Ц. 1 р. 25 к.
- Эпизодическій курсъ всеобщей исторіи. А. Кузнецова. 2-е изд. Ц. 1 р.

СОЧИНЕНІЯ  
А. СКАБИЧЕВСКАГО.

Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА,

гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ, по фотографіи Ю. Штейнберга.

---

❖ ТОМЪ ВТОРОЙ. ❖

Цѣна за два тома—3 рубля.

Простые переплеты—по 50 к. Издѣлочороме съ золотомъ—по 1 р. Пересыла безъ переплетовъ—за 4 фута,  
въ переплотахъ—за 5 фунтовъ.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія газеты «Новости», Екатерининскій каналъ, д. № 115.

1890.

COPIES

A. CRABENBERG

THE

BY

OF

JOHN BROWN

AND

1800

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ВТОРОГО ТОМА.

1873.

1. Сентиментальное прекраснодушіе въ мундирѣ реализма . . . . . 1
2. Наши грядущіе Бисмарки . . . . . 31

1874—1875.

3. Литературныя противорѣчія . . . . . 93
4. Винегреть современной морали . . . . . 131
5. Наша современная беззавѣтность . . . . . 161

1876—1877.

6. Бесѣды о русской словесности . . . . . 195  
(I. Наше современное литературное безвременье.—II. Пoesія графа Ал. Толстого, какъ типъ чуждсданаго творчества.—III. О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго).
7. А. И. Левитовъ. Его жизнь и сочиненія . . . . . 285

1878—1880

8. Николай Алексѣевич Некрасовъ . . . . . 331
9. Разладъ художника и мыслителя . . . . . 405
10. Эпидемія легкомыслія . . . . . 427
11. Женскій вопросъ съ точки зрѣнія парижскаго бульварнаго публициста . . . . . 439

1882.

12. Жизнь въ литературѣ и литература въ жизни (Письма къ читателямъ). 465  
(I. Елиза Успенскій, какъ разрушитель иллюзій.—II. Вл. Мих. Гаршинъ).
13. Новый человекъ деревни . . . . . 541

1885 — 1888.

14. Мысли и замѣтки по поводу нравственно-философскихъ идей графа Л. Толстого . . . . .	561
15. Власть тьмы . . . . .	621
16. Пѣсни о женской неволѣ . . . . .	635
17. Нашъ историческій романъ въ его прошломъ и настоящемъ . . . . .	653
18. Женщины въ пьесахъ Островскаго . . . . .	793
19. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ . . . . .	829

1873.

## СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕКРАСНОДУШЕ

ВЪ МУНДИРѢ РЕАЛИЗМА.

Сочиненія А. Михайлова. Спб. 1873 года.

### I.

Подъ весьма естественнымъ вліяніемъ Добролюбова въ настоящее время весьма распространена у насъ, такъ называемая общественная критика, заключающаяся въ томъ, что критикъ, упомянувши вскользь объ эстетическихъ достоинствахъ произведенія, все свое вниманіе устремляетъ на факты жизни, изображенные въ произведеніи, причѣмъ каждому отдѣльному типу посвящается особенный тщательный анализъ, затѣмъ слѣдуетъ еще болѣе подробный анализъ отношеній дѣйствующихъ лицъ между собою; каждая сцена подаетъ критику поводъ входить въ многорѣчины разсужденія о различныхъ суетахъ міра сего, и въ результатъ критикъ старается сдѣлать выводы, болѣе-таки, не столько о достоинствахъ и недостаткахъ произведенія, сколько о качествахъ изображаемыхъ потому фактовъ жизни.

Но слишкомъ усердные послѣдователи Добролюбова упускаютъ часто простую до банальности истину, что для того, чтобы анализъ фактовъ жизни по произведеніямъ былъ вѣренъ и могъ привести къ плодотворнымъ результатамъ, необходимо, чтобы въ разбираемыхъ произведеніяхъ находились дѣйствительные факты, а не измышленія досужей фантазіи поэта и чтобы факты эти были представлены въ истинномъ ихъ свѣтѣ и въ настоящей величинѣ. Послѣдователи гениальнаго критика забываютъ, какъ осторожно обходились съ фактами произведеній самъ ихъ гениальный учитель. Такъ, напримѣръ, онъ оставилъ безъ разбора одно, довольно крупное произведеніе своего времени, именно „Тысячу душъ“ Писемскаго, и въ одной изъ своихъ статей онъ объясняетъ, что умалчиваетъ о романѣ Писемскаго, о которомъ такъ много въ то время говорили, именно потому, что, сообразно характеру своей критики, онъ не можетъ положиться

на романъ, сомнѣвался въ истинности изображенныхъ въ немъ фактовъ.

Но что-же, въ такомъ случаѣ, дѣлать общественной критикѣ, если появляется произведеніе, обращающее на себя вниманіе и, въ то-же время, представляющее факты жизни столь невѣрно, что судить по этому произведенію о жизни не представляется никакой возможности, и особенно, если является не одно такое произведеніе, а цѣлый ихъ рядъ, создается цѣлая школа? Неужели-же каждый разъ поступать съ ними такъ, какъ поступалъ Добролюбовъ съ романами Писемскаго, т.-е. оставлять ихъ безъ вниманія? Но развѣ въ одинъ прекрасный день не можетъ произойти такой казусъ, что общественной критикѣ придется совѣтъ замолчать, если литература, вслѣдствіе какихъ-нибудь печальныхъ обстоятельствъ, будетъ вся переполнена произведеніями, искажающими факты жизни, и критика не захочетъ дѣлать ложные выводы изъ невѣрныхъ источниковъ. Или, можетъ быть, критикѣ въ такомъ случаѣ слѣдуетъ держаться отрицательнаго приѣма, т.-е. докладывать читателямъ, что факты, изображаемые писателямъ, невѣрны, искажены: въ дѣйствительности они не такіе, какъ въ разбираемомъ произведеніи, а вотъ, молъ, какіе? Но, какъ-же вы, въ качествѣ критика, въ состояніи будете показать дѣйствительные факты противъ искаженныхъ произведеніемъ, иначе сказать, представить истинные образы противъ ложныхъ? Для этого нужно быть такимъ-же поэтомъ, какъ тотъ, котораго вы разбираете. Или, можетъ быть, для этого достаточно взять такіа произведенія, въ которыхъ тѣ-же факты представлены въ истинномъ ихъ видѣ и сопоставить съ искаженными фактами разбираемаго произведенія? Прекрасно, если излѣются подъ рукой такіа спасительная произведенія, истинность образовъ которыхъ для всѣхъ читателей равно

несомнѣнна, такъ что произведенія эти безъ спора и безъ излишнихъ разсужденій могутъ быть всеми приняты за единицу критической мѣры. Ну, а что-же дѣлать, если такихъ единицъ мѣры не имѣется въ виду въ данномъ случаѣ, если мы встрѣчаемъ въ дѣломъ рядъ произведеній различныхъ писателей—факты спорные, неизслѣдованные, неприведенные въ ясность; если о нихъ всякій молодецъ судитъ на свой образецъ и какого-либо общаго критериума еще не составлено? Понятно, что въ каждомъ произведеніи, трактуемомъ объ этихъ фактахъ, будетъ отражаться тотъ или другой изъ многочисленныхъ взглядовъ, равно ни для кого не обязательныхъ, и въ этомъ отношеніи, какъ въ беллетристикѣ, такъ и въ критикѣ, которая задумаетъ судить объ этихъ фактахъ по образцамъ искусства, вы встрѣтите полнѣйшій произволъ личныхъ вкусовъ и предубѣжденій. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите вы, напримѣръ, съ одной стороны рядъ типовъ людей сороковыхъ годовъ, выставленныхъ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Писемскимъ и прочими писателями этой школы. Какъ ни разнообразны все эти типы, но во всѣхъ ихъ вы найдете нѣчто общее, одно, точно какъ будто все эти писатели нарочно предварительно договорились, какъ имъ изображать людей своего поколѣнія и, спѣвшись, составили одинъ хоръ, совершенно стройный, несмотря на все разнообразіе голосовъ и тоновъ. Эта общность типовъ несомнѣнно убѣждаетъ васъ въ истинности ихъ изображенія и даетъ вамъ полную возможность привести къ одному знаменателю все ихъ кажущееся разнообразіе. А отчего произошло это согласіе хора? Ни отчего иного, какъ оттого, что, въ пятидесятые годы, когда беллетристика начала изображать людей сороковыхъ годовъ, взгляды на этихъ людей все болѣе и болѣе устанавливались, люди эти ясно представлялись воображенію писателей со всеми психическими особенностями, достоинствами и недостатками, представлялись, однимъ словомъ, облеченными въ плоть и кровь своего вѣка, а не отвлеченными идеалами или мелодраматическими злодѣями. Понятно, что при существованіи довольно полнаго комплекта типовъ сороковыхъ годовъ, не подлежащихъ сомнѣнію, общественная критика могла смѣло обсуждать по беллетристическимъ произведеніямъ людей предшествовавшаго поколѣнія, и Добролюбовъ стоялъ въ этомъ отношеніи на твердой почвѣ. Понятно также, что принявши типы Рудина, Лаврецкаго, Обломова—мѣриломъ для нашихъ критическихъ изслѣдованій, мы можемъ смѣло сказать, что если въ данномъ произведеніи изображаются люди сороковыхъ годовъ, не имѣющіе ничего общаго съ вышеупомянутыми типами, то авторъ, очевидно, искажаетъ факты жизни или сочиняетъ свои собственные. Но возьмите типы людей шестидесятыхъ годовъ, появившіеся въ современной намъ беллетристикѣ, и вы сразу запутаетесь въ лабиринтѣ самыхъ безъисходныхъ противорѣчій и напрасно будете искать чего-либо общаго въ разнообразіи художественныхъ образовъ, чисто-калейдоскопическомъ. Въ самомъ дѣлѣ: есть-ли хоть что-либо общее между Базаровымъ, Маркомъ Волоховымъ, героями Стебницкаго съ одной стороны, а съ другой—героями повѣстей и романовъ, печатаемыхъ въ „Дѣлѣ“? Какъ ориентироваться кри-

тикѣ въ этомъ хаосѣ,—какіе типы принять мѣриломъ жизненной правды: типы беллетристовъ „Дѣла“, или „Русскаго Вѣстника“? И здѣсь дѣло чисто личнаго вкуса, личныхъ пристрастій критика: если онъ смотритъ на вещи съ точки зрѣнія московской публицистики, то онъ будетъ васъ убѣждать, что истинные представители людей шестидесятыхъ годовъ одиотворятся въ тишахъ Базарова, Марка Волохова, Героевъ „Некуда“, а на героевъ беллетристики „Дѣла“ будетъ смотреть, какъ на вымышленныхъ пристрастными авторами; точно также, только наоборотъ, будетъ поступать критикъ, приверженный взглядамъ петербургской публицистики; но съ обѣихъ сторонъ все доводы будутъ одинаково голословны и бездоказательны, и читателямъ больше ничего не останется, какъ или склоняться на сторону того или другаго критика, тоже сообразно своимъ личнымъ пристрастіямъ, или-же пожимать только плечами, сомнѣваясь въ истинности типовъ беллетристики обѣихъ лагерей.

Что-же дѣлать въ такомъ случаѣ общественной критикѣ, если только она захочетъ строить свое зданіе на землѣ, а не въ воздухѣ, захочетъ быть настоящею критикою фактовъ жизни дѣйствительныхъ, а не праздною болтовнею по поводу фантастическихъ и пристрастныхъ измышленій беллетристовъ разныхъ лагерей? Общественной критикѣ при такихъ условіяхъ ничего не приходится дѣлать, какъ уступить свое мѣсто иной критикѣ—именно историко-физиологической. Прежде, чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы о фактахъ жизни по данному произведенію, самое произведеніе должно быть разсмотрѣно, какъ продуктъ жизни, критика должна изслѣдовать прежде всего, на какой почвѣ выросъ этотъ продуктъ, что его вызвало и есть-ли это продуктъ здоровый и годный на что-либо или больной, протухлый и вредный. Подобная критика обуславливаетъ своими заключеніями возможность или невозможность критики общественныхъ фактовъ по данному произведенію; но въ то-же время и сама она по себѣ есть уже общественная критика: разница между нею и критикою Добролюбовской школы заключается только въ томъ, что вмѣсто того, чтобы анализировать сотни сомнительныхъ фактовъ, заключающихся въ произведеніи, она анализируетъ одинъ несомнѣнный фактъ—самое произведеніе; результатъ-же ея анализа тотъ-же самый: изслѣдовать условія общественной жизни, направляющія творчество писателей.

Въ данномъ случаѣ по вопросу о беллетристикѣ „Дѣла“ и о Михайловѣ въ особенности, по моему мнѣнію, только и можетъ имѣть мѣсто историко-физиологическая критика. Мнѣ, конечно, ничего не стоило-бы наговорить листовъ хоть на десять всевозможныхъ разсужденій о людяхъ шестидесятыхъ годовъ по романахъ Михайлова, особенно принимая въ соображеніе, что романы эти являются въ видѣ объемистыхъ 5 томовъ и каждый томъ, конечно, могъ бы дать материалу листа на два для всевозможныхъ анализовъ. Но мнѣ кажется, что вся эта болтовня имѣла-бы такой-же смыслъ, какъ если-бы кто задумалъ судить о людяхъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ по романахъ Марлинскаго, или, еще лучше, писать историческое изслѣдованіе о нравахъ XVI вѣка



по Юрию Милославскому Загоскина. Въ неизмѣримой степени углубиле въ настоящемъ случаѣ историко-физиологическій анализъ беллетристики „Дѣла“. Тѣмъ болѣе, что мы много уже говорили о томъ, чѣмъ были вызываемы и какъ создавались типы московской беллетристики, между тѣмъ о типахъ беллетристовъ „Дѣла“ намъ приходилось говорить только мимоходомъ. Желая загладить этотъ пробѣлъ, мы и выбираемъ романы Михайлова, какъ наиболее плодотворнаго представителя беллетристики „Дѣла“.

## II.

Прежде чѣмъ мы приступимъ къ главному предмету нашей статьи, именно къ послѣдованію досто-инности типовъ молодого поколѣнія беллетристики „Дѣла“, считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о характерѣ творчества Михайлова, общемъ у него со всѣми прочими беллетристами его школы: Бажинимъ, Оммулевскимъ и пр.

Первое, что поражаетъ насъ у всѣхъ этихъ беллетристовъ, это — крайняя бѣдность, однообразіе и стереотипность типовъ, выводимыхъ ими въ своихъ произведеніяхъ. Возьмите, напримеръ, хоть того-же Михайлова. Передъ вами 5 томовъ его сочиненій; и если взять во вниманіе, что „Мертвыя души“ Гоголя занимаютъ всего одинъ томъ, а комедія Грибоедова, не зная, заняла-ли бы сто страницекъ въ изданіи Михайлова, можно было-бы подумать, что Михайловъ исчерпалъ типы нашего современнаго общества во всѣхъ его слояхъ, что называется, до дна. И что-же мы видимъ: во всѣхъ его романахъ на первомъ планѣ стоятъ одни и тѣже шесть личностей, истрепанныхъ беллетристикою нашею до того, что на нихъ буквально лица уже не видно. Типы эти слѣдующіе:

1) Герой и героиня романа, представляющіе лучезарное сіяніе прогресса и совершенствъ нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ. О нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

2) Злодѣй романа — высокій, смуглый мужчина, съ оловянными, ледяными глазами и пасуленными бровями; помпидуръ-практикъ съ большими связями, консерваторъ и деспотъ. Когда онъ входитъ въ свой домъ, всѣ домашніе разбѣгаются. Онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не застрѣляетъ рогами героя романа (послѣ чего-герой обыкновенно впадаетъ въ горячку и, вынося ее, дѣлается новымъ человѣкомъ).

3) Злодѣйка романа — бабушка или тетюшка, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ; запятая вѣчно своей родословной, бредящая свѣтскими прилѣчиями и презирающая чернь. Она своимъ тлетворнымъ вліяніемъ могла погубить героя и сдѣлать изъ него свѣтскаго шалоша, но добрыя начала торжествуютъ надъ зломъ, герой озаряется свѣтомъ прогресса, а тетюшка, разорившаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала.

4) Комисаріатскій чиновникъ — взяточникъ и низколоупонникъ, передъ высшими пресмыкается, съ низшими надмонецъ, помышляетъ только о чинахъ, наградахъ и взяткахъ. Кончается, обыкновенно, тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи,

лишается всего благосостоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и всѣхъ новыхъ порядковъ.

5) Петербургская кумушка — мѣщанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная ко всему, имѣющему вѣсъ и деньги, жадная ко всякаго рода подаркамъ, готовая ограбить наследниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣчная къ дочери или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого человѣка или дѣвушки подозревать какіи-либо грязныя побужденія.

6) Свѣтскій шалошай, паркетный шаркунъ, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ.

Таковы главные, неизмѣнные типы, на которыхъ строятся обыкновенно всѣ романы Михайлова. Къ нимъ можно присоединить нѣсколько второстепенныхъ, столь же однообразныхъ и стереотипныхъ; таковы, напримеръ, пошлые учителя стараго времени, неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы учениковъ въ классѣ, изрыгающіе ругательства въ родѣ „ослы“, „сволочь“ и пьющіе горькую; учителя новаго пошиба, исполненные либеральнаго духа и устремляющіе героевъ въ такъ называемую „свѣтлую даль“; мѣщанки, являющіеся постоянно сухими, бездушными формалистами; крѣпостные дядьки добраго стараго времени, преданные душою и тѣломъ господамъ и за то обглоданные литературою до костей и пр. и пр. Рядомъ со всѣмъ этимъ старымъ литературнымъ тряпьемъ парадируютъ личности, созданныя по образцу типовъ англійскихъ романовъ, каковы, напримеръ, штабсъ-капитанъ Прохоровъ въ романѣ „Лѣсъ рубятъ — щепки летятъ“, или капитанъ Хлопко въ романѣ „Въ разбродѣ“. Подобные типы, пересаженные съ англійской почвы на русскую, бросаются въ глаза своею курьезностью. Представьте, вы въ самомъ дѣлѣ, русскаго капитана на деревншкѣ и съ краснымъ носомъ, вѣчно шатающагося по переднимъ зватныхъ домовъ съ просьбами о вспоможеніяхъ въ рукахъ, — и вдругъ этотъ капитанъ является передъ вами глубокомысленнымъ философомъ, мудро рѣшающимъ всѣ вопросы жизни, читающимъ чувствительную мораль своимъ дѣтямъ, въ отношеніи къ которымъ онъ играетъ роль нѣжнаго отца самыхъ идеальныхъ свойствъ (такъ, напримеръ, когда однажды къ нему явился одинъ изъ его кадетовъ-сыновей въ неприличномъ видѣ, онъ его не только не отдубасилъ костью, какъ-бы этого слѣдовало ожидать отъ русскаго капитана на деревншкѣ и съ краснымъ носомъ, а бережно раздѣлъ, уложилъ въ постель, далъ ему выснагаться, и, когда тотъ на другой день лежалъ полубольной съ похмѣльемъ въ постели, добродѣтельный отецъ читалъ ему различныя душевспасительныя книги). Но еще лучше выходитъ у Михайлова русскаго моряка стараго времени, съ трубкой Жукова въ рукахъ, за стаканомъ грогу, съ соблазнительными картинками по стѣнамъ и громаднымъ псомъ подъ столомъ, который, между прочимъ, занимается тѣмъ, что ходитъ по чердакамъ и подваламъ утѣшать страждущихъ, помогать алчущимъ и жаждущимъ и, въ свою очередь, поражаетъ читателей глубиною сво-

ихъ житейскихъ взглядовъ и чувствительностью сребродобольнаго сердца.

Подобные типы, столь мало свойственные русской почвѣ и такъ сильно напоминающіе различныхъ Пенденисовъ и Коперфильдовъ—побудили даже одного рецензента заподозрить Михайлова въ томъ, что будто онъ, если не цѣлкомъ передѣлываетъ англійскіе романы на русскіе нравы, то, по крайней мѣрѣ, заимствуетъ изъ нихъ цѣлыя главы и сцены, и Михайловъ былъ названъ компиляторомъ англійскихъ романовъ. Но я не стану такъ далеко простираť моихъ подозрѣній, такъ-какъ для подтвержденія ихъ слѣдовало-бы перерыть всю англійскую беллетристику за послѣднее тридцатилѣтіе, держа, въ то-же время, въ рукахъ 5 томовъ сочиненій Михайлова, что я считаю дѣломъ, при всей его трудности, совершенно бесполезнымъ, а не совершивши этого дѣла, я считаю, съ своей стороны, крайне недобросовѣстнымъ рѣшиться бросить человѣку подобное обвиненіе, совершенно голословное и основанное на однихъ только предположеніяхъ. При томъ-же, ужъ если основываться на предположеніяхъ, то человѣчище будетъ съ нашей стороны не отягчать, а напротивъ, навѣрняка уменьшать провинность ближняго, и потому я склоненъ скорѣе предположить, что Михайловъ не только никогда не занимался передѣлкою сценъ, главъ, а тѣмъ болѣе цѣлыхъ англійскихъ романовъ на русскіе нравы, но что типы онъ заимствовалъ совершенно безсознательно, вслѣдствіе одного только подчиненія вліянію англійской беллетристики. Подобное предположеніе имѣетъ тѣмъ болѣе основаніе, что подчиненіе Михайлова вліянію англійской беллетристики можетъ быть объяснено тѣми-же причинами, какія обуславливаютъ однообразіе и стереотипность всѣхъ его прочихъ типовъ. Объ этихъ-то причинахъ мы и поговоримъ теперь.

Здѣсь я прошу читателей припомнить тѣ идеи, которыя мнѣ неоднократно уже случалось проводить въ своихъ статьяхъ, именно, что процессъ поэтического творчества вовсе не составляетъ противоположности съ процессомъ развитія научныхъ идей, а есть одинъ и тотъ-же; въ основаніяхъ обоихъ процессовъ лежитъ одна и та-же индукція, и разница вся только въ томъ, что въ одномъ случаѣ представленіе, образовавшееся въ нашемъ мозгу путемъ индуктивнаго процесса, настолько ясно и рельефно представляется нашему воображенію и такъ сильно овладѣваетъ нами, что побуждаетъ насъ къ полному воспроизведенію его въ формахъ искусства, въ другомъ случаѣ—мы можемъ ограничиваться для выраженія этого представленія однимъ условнымъ символомъ въ видѣ слова или логическаго сочетанія нѣсколькихъ словъ устной или письменной рѣчи. Разъ вы подчиняете творчество процессу индукціи, очевидно, что этимъ самымъ уже вы обуславливаете богатство и бѣдность его не одною только силою или слабостью умственныхъ способностей человѣка, но и количествомъ воспринимаемыхъ впечатлѣній. Я не отвергаю, что сила или слабость таланта играетъ большую роль въ творчествѣ; отъ нихъ прямо зависитъ способность поэта ориентироваться въ массѣ воспринимаемыхъ впечатлѣній и извлечь изъ нихъ обобщенія болѣе или менѣе важныя и существенныя (вѣдь и въ наукѣ тоже для важныхъ от-

крытій требуются и великіе умы); но, съ другой стороны, никакая сила таланта не выручитъ, если жизнь писателя, бѣдная впечатлѣніями, не дастъ ему никакой пищи для индукціи.

Принявши въ основаніе этотъ законъ творчества, я неоднократно дѣлалъ паралели между условіями жизни западныхъ и русскихъ писателей и старался объяснить, почему творчество западныхъ писателей въ неизмѣримой степени богаче разнообразіемъ поэтическихъ образовъ и типовъ, чѣмъ творчество писателей русскихъ. Я обуславливалъ это явленіе тѣми причинами, что, во-первыхъ, на Западѣ жизнь гораздо разнообразнѣе и сложнѣе, чѣмъ у насъ; во-вторыхъ, тамъ вы не встрѣтите такой замкнутости, какая распространена въ нашемъ обществѣ. Западный писатель, заинтересованный въ различныхъ общественныхъ движеніяхъ своей страны, не ограничивается двумя, тремя притоками изъ своихъ-же собратьевъ-литераторовъ, а вращается во всѣхъ слояхъ общества; люди, съ которыми онъ встрѣчается, рисуются передъ нимъ не съ одной только внѣшней стороны, какъ они являютъ ежедневно, подобравшись и украсившись, въ салонахъ, на бульварахъ, въ канцеляріяхъ или за прилавками, а въ настоящемъ своемъ видѣ въ роковыя минуты общественныхъ бурь и катастрофъ. При такихъ условіяхъ, западный писатель не ощущаетъ никогда недостатка въ впечатлѣніяхъ жизни; напротивъ того, жизнь мечется ему въ глаза такъ обильно красокъ и звуковъ, что только успѣвая все это переработать и употребить къ дѣлу. Русский писатель составляетъ полнѣйшую противоположность относительно западнаго по всѣмъ условіямъ своей жизни. Въ то время, какъ западный дѣлается писателемъ, успѣвши объѣхать полъ Европы, пережить нѣсколько профессій, побывать на сотняхъ митинговъ, и сдѣлавшись писателемъ, онъ продолжаетъ такую-же разнообразную и бурную жизнь, русскій начинаетъ считать себя писателемъ съ 3-го класса гимназій, съ перваго безграмотнаго стихотворенія, написаннаго въ подражаніе Пушкину; а сдѣлаться писателемъ для гимназиста 14 лѣтъ, — это значитъ начать удалиться отъ людей и свѣта, вести такъ-называемую, разумную, мыслящую жизнь, вѣчно сидѣть взаперти, исписывая кши бумаги, и видѣться съ однимъ, много двумя товарищами, занимаясь съ ними рѣшеніемъ различныхъ глубокомысленныхъ вопросовъ жизни. Послѣ 10 лѣтъ такой затворнической жизни, русскій писатель поступаетъ, наконецъ, въ лѣхъ какого-нибудь литературнаго кружка, и начинается новое затворничество, въ сообществѣ съ двумя-тремя сотрудниками своего журнала. При этомъ надо замѣтить, что беллетристы-пожъники сороковыхъ годовъ вели жизнь, все-таки, болѣе разнообразную, чѣмъ беллетристы-пролетаріи нашего времени. Невормальностью въ ихъ жизни было только то, что они вращались въ однихъ привилегированныхъ слояхъ общества и были потому способны изображать жизнь исключительно только этихъ слоевъ, но, за то будучи людьми обеспеченными, они имѣли и досугъ, и средства путешествовать и по Россіи, и по Европѣ, встрѣчаться съ массою личностей своего слоя и хоть этотъ-то слой они имѣли возможность воспроизводить во всемъ его типическомъ

разнообразіи и со всѣхъ его сторонъ. Жизнь-же современныхъ нашихъ писателей-пролетаріевъ складывается именно такъ, что они почти совсѣмъ лишены возможности видѣть жизнь. Она состоитъ, обыкновенно, изъ двухъ періодовъ. Въ первый періодъ писатель берется съ нуждою, съ людьми, и всячески пробивается впередъ; это—самый живой періодъ въ его жизни; здѣсь онъ, переходя черезъ различныя мытарства, встрѣчается съ разнообразными личностями, и масса впечатлѣній, которая онъ при этомъ воспринимаетъ, даетъ могучій толчокъ его творчеству. Кончается этотъ періодъ тѣмъ, что молодой человѣкъ, наконецъ, одерживаетъ побѣду надъ обстоятельствами; проще сказать, обратить на себя вниманіе редактора какого-нибудь виднаго журнала, и первое произведеніе, напечатанное въ одномъ изъ номеровъ журнала, вызоветъ нѣсколько лестныхъ рецензій въ газетахъ о появленіи новаго таланта. Вслѣдъ за этою побѣдою начинается новая жизнь писателя; онъ начинаетъ срывать лавры своей побѣды: является сотрудничествомъ одного изъ лучшихъ журналовъ; положеніе его обезличивается, кругъ знакомства упрощается, всѣ мытарства кончаются; но вмѣстѣ съ тѣмъ, кончается и прежній столкновеніи съ различными сторонами жизни, съ людьми всевозможныхъ слоевъ общества. Начинается однообразная, монотонная, уединенная жизнь россійскаго журналиста и, конечно, такая жизнь не замедлитъ отразиться на его творчествѣ. Въ первомъ своемъ произведеніи писатель воспроизводитъ, обыкновенно, впечатлѣнія своего дѣтства и юности; здѣсь вы встрѣтите изображеніе и тѣхъ людей, съ которыми сталкивался онъ, и всѣхъ пережитыхъ имъ мытарствъ. Но этимъ первымъ произведеніемъ и исчерпывается, обыкновенно, все творчество молодого писателя; во второмъ ему приходится уже пережывать старое, усѣвшее потускнѣть и стертости въ его воображеніи; въ третьемъ, ему остается сочинять фантастическіе образы. Последнее обстоятельство тѣмъ болѣе имѣетъ мѣсто, если писатель, человѣкъ занимающійся, читающій, усѣваетъ во время срыванія лавровъ увеличить свое теоретическое развитіе. Является масса новыхъ идей и взглядовъ на различныя явленія жизни; между тѣмъ, запасъ поэтическихъ образовъ остается столь-же скудный, какъ и прежде. Естественное, что тогда отвлеченная идея, не находя живого, соответствующаго ей образа, облекается въ какой-нибудь блѣдный и тощій символъ. Писатель, напримѣръ, заинтересовался непорядочностью отношеній капиталистовъ къ рабочему классу, но, въ дѣйствительности, онъ не видитъ ни одного фабриканта, а на рабочихъ смотрѣлъ только изъ окна своего кабинета; нѣтъ ничего мудренаго, что и капиталистъ, и рабочій въ его произведеніи выйдутъ не живыми образами, взятыми изъ жизни, а стереотипными манекенами, символизирующими собою отвлеченныя идеи. Въ этомъ отношеніи я каюсь въ точности, назвавши тѣ 6 личностей, которыя постоянно пародируются въ романахъ Михайлова, типами; это не типы, а символы, въ такой-же совершенно степени, въ какой для ребенка, напримѣръ, одна и та-же палка служитъ символомъ и меча, и коня. Но встрѣчая въ литературѣ подобнаго рода стереотипные

манекены, вы сдѣлали-бы слишкомъ быстрое заключеніе, если-бы объясняли существованіе ихъ исключительно бездарностью сочиняющихъ ихъ авторовъ. Ничуть не бывало: обладая самымъ сильнымъ талантомъ, писатель можетъ унизиться до самого блѣднаго символизма и стереотипности, при скудости содержанія фантазіи.

Скудость поэтическихъ образовъ, извлеченныхъ изъ жизни индуктивнымъ путемъ, объясняетъ весьма легко и склонность нашихъ писателей къ подражательности западнымъ образцамъ. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ не развита эта склонность въ такой сильной степени, какъ у насъ. Англійскіе романы читаютъ вся Европа, и ужь, конечно, съ ними знакомъ каждый иѣмецкій и французскій писатель; но не говоря о первостепенныхъ талантахъ, даже самыя заурядныя французскіе и иѣмецкіе романисты являются передъ нами вполне народно-оригинальными, и ни въ одномъ плохенькомъ романчикѣ вы не встрѣтите такой пересадки англійскихъ типовъ и нравовъ на иную почву, какъ у Михайлова.

Объяснить это можно такимъ образомъ: когда вы читаете хороший англійскій романъ Диккенса или Теккерея, у васъ являются въ головѣ поэтическіе образы этого романа въ видѣ готовыхъ уже типовъ, которые такъ ясно представляются вашему воображенію, какъ-будто они были созданы вами самими путемъ индукціи. Если рядомъ съ этими типами у васъ въ мозгу стоятъ и множество другихъ, оригинальныхъ, сознанныхъ вами самими изъ впечатлѣній окружающей васъ жизни, въ такомъ случаѣ новыя пришельцы нисколько не могутъ вытѣснить или заслонить старыхъ; напротивъ того, здѣсь долженъ начаться новый процессъ мозга—сравненіе типовъ и нравовъ англійской жизни съ типами и нравами жизни русской, и это сравненіе должно привести къ наибольшему уясненію, къ наибольшей рельефности созданныхъ вами типовъ. Такимъ образомъ при этихъ условіяхъ иностранныя произведенія не подчиняютъ васъ, а только обогащаютъ ваше творчество, придаютъ болѣе жизненности и смысла изображаемымъ вами типамъ. Но совершенно другое дѣло, если у васъ въ мозгу вмѣсто живыхъ, яркихъ типовъ, находитесь одиѣ только отвлеченныя идеи, облеченные въ тусклые, стереотипные символы. И вдругъ, въ это блѣдное содержаніемъ воображеніе вносятся рядъ живыхъ и спльныхъ поэтическихъ образовъ какой-нибудь чудной жизни. Понятно, что эти образы завладѣютъ вашимъ мозгомъ вполне, они одни будутъ постоянно посѣщаться передъ вами и совершенно произвольно, вслѣдствіи законовъ рефлексовъ, вы будете воспроизводить въ поэтическомъ творчествѣ не что-либо другое, какъ эти образы.

При этой характеристикѣ условій жизни современнаго беллетриста-пролетарія я взялъ все-таки еще лучшіе условія для творчества: а все-таки предположилъ, что беллетристъ принужденъ былъ пробиваться и испытывать всевозможныя мытарства; прежде чѣмъ онъ попалъ въ цехъ писателей, онъ можетъ быть иѣшкомъ пришло въ столицу изъ какой-нибудь дальней губерніи. Подобныхъ беллетристовъ все-таки хватаетъ на три, на четыре произведенія вполне жи-

выхъ и оригинальныхъ. Но можно себя представить условія еще болѣе неблагоприятныя для творчества, хотя въ то же время вовсе не столь бѣдственными въ матеріальномъ отношеніи для субъекта. Представьте себя, что беллетристъ, сынъ мелкаго чиновника или ремесленника, родился и прожилъ полъ-вѣка въ столицѣ, въ одномъ какомъ-нибудь затхломъ пяти-этажномъ домѣ и имѣлъ возможность изучать жизнь только изъ окна, обращеннаго въ стѣну противостоящаго дома; а между тѣмъ, талантъ въ соединеніи съ нуждою побуждаютъ его писать безъ усталы многотомныя романы. Что-же мудренаго, если въ этихъ романахъ вы не встрѣтите ни одного живого типа, если авторъ будетъ постоянно открывать снова Америку, въ длинныхъ водинистыхъ разсужденіяхъ распространяясь передъ вами о томъ, какъ постыдно ѣздить на рысакѣхъ, когда въ подвалахъ каждаго дома стонетъ отъ холода и голода нищета; если, наконецъ, въ этихъ романахъ вы найдете только одни блѣдныя намеки на окружающую васъ жизнь и за то такое удивительное смѣшеніе правовъ и типовъ всѣхъ странъ, что отъ этого вавилонскаго столпотворенія у васъ голова пойдетъ крутомъ. Вѣрите въ этомъ не автора, не его талантъ или отношеніе къ дѣлу, а условія жизни, которыя производятъ на нашей почвѣ такія печальныя и уродливыя явленія.

Михайловъ, по моему мнѣнію, есть именно одна изъ жертвъ подобныхъ условій. Было-бы слишкомъ и несправедливо, и опрометчиво бѣдность и стереотипность типовъ въ его романахъ обуславливать недостатками его таланта; о талантѣ Михайлова не можетъ быть и рѣчи; это—х, величина неизвѣстная и не представляющая никакой возможности опредѣлить ее и измѣрить подобно тому, какъ нѣтъ возможности опредѣлить, какую силу могъ-бы имѣть голодный, отощавшій человѣкъ, если-бы онъ велъ правильную жизнь. Мы можемъ только судить по нѣкоторымъ первымъ опытамъ Михайлова, что недаромъ онъ обратилъ на себя вниманіе съ самаго начала своего литературнаго поприща и заставилъ ожидать отъ себя чего-либо дѣльнаго. Мы укажемъ здѣсь не на „Гнилыя болота“, этотъ первый романъ Михайлова, напечатанный въ „Современникѣ“ и представляющій, по нашему мнѣнію, начало конца; нѣтъ, просимъ обратить вниманіе на небольшой разсказъ, напечатанный въ первомъ томѣ его сочиненій подъ заглавіемъ „Двѣ семьи“, и сравнить его со всеми прочими произведеніями. Въ этомъ разсказѣ вы не найдете никакихъ широкихъ задачъ, это — просто картина съ натуры, представляющая жизнь одного изъ мрачныхъ казенныхъ петербургскихъ домовъ, биткомъ набитаго бѣдными служащими людомъ. Здѣсь вы не найдете ни парадныхъ тетушекъ, ни паркетныхъ шалопаевъ, которыхъ, судя по живости и вѣрности изображенія, сѣбѣ можемъ сказать, Михайловъ никогда не видывалъ вблизи; но за то всѣ типы разсказа дышатъ поразительною яркостью и дагеротипностью. Прочтя этотъ разсказъ, вы не заподозрите Михайлова въ предѣлѣхъ иностранныхъ правовъ на русскій ладъ или въ искусственномъ сочиненіи неизученной жизни: передъ вами чисто русская жизнь и притомъ петербургская, хѣщанская. Хотя и здѣсь нѣкоторыя личности

идеализированы и выступаютъ изъ общаго фона картины, словно конфетныя картинки на грязной, запачканной мухами стѣнѣ; таковы типы: добродѣтельной матери, морализующей на манеръ англійской инстинктивистки, и Настя, напоминающей болѣе парижскую швею, чѣмъ петербургскую, но за то все прочее — типъ отца героя, картина святочныхъ оргій вращающагося дома, славянскихъ Христа ребятшекъ, характеристика сосѣдней семьи Степановыхъ, — все это дышетъ жизненною правдою и особенно рѣзко выступаетъ изъ всего пятитомнаго хлама безконечныхъ романовъ Михайлова. Мы убѣждены, что типы и картины, описанныя въ этомъ разсказѣ, составляютъ, единственную собственность фантазіи Михайлова; это все, что онъ успѣлъ вынести изъ жизни, и передавши это читателямъ, сразу оказался банкротомъ; и ему ничего не осталось болѣе, какъ сочинить парадныхъ тетушекъ и паркетныхъ шалопаевъ отчасти по вальдшнекъ, отчасти по образцу англійскихъ романовъ.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы Михайлову такъ будто-бы ужъ и не оставалось ничего дѣлать, написавши „Двѣ семьи“ и выложивши въ нихъ всѣ свои живыя впечатлѣнія. Говоря о ненормальности условій жизни современныхъ намъ беллетристовъ-пролетаріевъ, мы вовсе не считаемъ эти условія такими роковыми и неизбежными, чтобы противъ нихъ тщетна была всякая борьба и оставалось только, покоришись судьбѣ, оплакивать участь нашей современной беллетристики. Вѣстѣ съ тѣмъ, и далеко и отъ той мысли, чтобы побѣда надъ этими условіями зависѣла исключительно отъ какихъ-либо коренныхъ измѣненій всего строя нашей жизни. Есть условія жизни дѣйствительно непобѣдимыя или требующія для своего устраненія основныя реформы, но есть и такія, которыя зависятъ иногда просто отъ жизни слуха ружья или отъ неразумія ихъ ненормальности, и побѣда надъ подобными условіями возможна при меньшихъ личныхъ усиліяхъ. Къ числу такихъ легкопобѣдимыхъ ненормальныхъ условій принадлежатъ, по моему мнѣнію, и тѣ, о которыхъ мы бесѣдовали въ этой главѣ.

Здѣсь мнѣ приходится сказать нѣсколько словъ объ одномъ вопросѣ, весьма старомъ, по которому до сихъ поръ остается новымъ, такъ какъ и до настоящаго времени еще онъ не рѣшенъ вполнѣ ясно и окончательно; это, именно, вопросъ о произвольности поэтическаго творчества.

Въ правильномъ разрѣшеніи этого вопроса мнѣшало то, что весьма многіе приверженцы произвольности творчества ставили эту произвольность не на томъ мѣстѣ, гдѣ-бы слѣдовало: они говорили обыкновенно, что она должна имѣть мѣсто въ самомъ актѣ творчества, что поэтъ долженъ творить сознательно, разумно, задаваясь высшими цѣлями, такъ какъ онъ существо разумное; предаваться-же во время своего творчества воли необузданной стихійности, по ихъ мнѣнію, значило унижать свое человеческое достоинство. Говоря такія темныя и неопредѣленныя рѣчи, приверженцы произвольности дѣлали нападеніе на такой пунктъ, въ которомъ они прежде всего должны были-бы согласиться съ врагами своей теоріи, если-бы они, не довольствуясь прекрасными, но въ то-же

время бессмысленными фразами, захотѣлъ-бы обсудить дѣло серьезно и глубже, съ реальной точки зрѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, разъ вы вникните въ тѣ законы, по которымъ совершается творческій процессъ, вы непремѣнно должны придти къ убѣжденію, что процессъ этотъ не можетъ быть произвольнымъ. Съ одной стороны вамъ представится индукція, выработка общихъ представлений изъ массы частныхъ впечатлѣній, — процессъ ума, не подлежащій ни малѣйшему произволу и доходящій до сознанія человека только тогда, когда онъ уже совершился гдѣ-то въ тайникахъ мозга; съ другой стороны, вы видите рефлексъ воспроизведенія впечатлѣній. Здѣсь произволъ можетъ быть только отрицательный: можно задержать рефлексъ, выдержаться отъ воспроизведенія поэтического образа; но разъ рефлексъ допущенъ вашею волею, опять-таки концы произволу: вы невольно стремитесь туда, куда влечетъ васъ рефлексъ. — Но согласиться съ вратами произвольности въ томъ, что самый актъ творчества непроизволенъ, вовсе не значитъ согласиться съ ними вполне и отказаться отъ своей теоріи, а только оставить за ними пунктъ, на которомъ вы твердо держитесь и сбить съ котораго ихъ нѣтъ никакой возможности; но есть другой пунктъ, на который не обращаютъ никакого вниманія ни они, ни ихъ противники, а между тѣмъ это именно и есть тотъ пунктъ, на которомъ должна опираться вся теорія произвольности творчества. Пунктъ этотъ ясно откроется намъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что не одно поэтическое творчество, а всякое человѣческое дѣло имѣетъ двѣ стороны — произвольную и непроизвольную. Управлять силами природы, это — значитъ пользоваться ими въ свою пользу, направлять процессы природы къ различнымъ нашимъ цѣлямъ; между тѣмъ, самое дѣйствіе силъ, совершеніе процессовъ отъ вашей воли нисколько не зависятъ. Разъ вы произвольно вызвали известную силу, — она начинаетъ дѣйствовать совершенно произвольно отъ васъ, и вы сами подчиняетесь ея дѣйствию. Вы можете, напримеръ, произвольно назначить, куда идти локомотиву, опредѣлить, какъ слѣдуетъ дѣйствовать на ру на рычаги и колеса, но разъ машина пущена въ ходъ — вы подчиняетесь движенію ея совершенно произвольно. На животныхъ процессахъ эта граница произвольности и непроизвольности еще яснѣе: непроизвольно отъ васъ совершается процессъ желудка, но это не мѣшаетъ вамъ произвольно подвергать этому процессу ту или другую пищу, въ тѣ или другіе часы; вы можете даже произвольно воспитать свой желудокъ, внушить ему различныя качества и привычки; но разъ вы это сдѣлаете, вы непроизвольно подчиняетесь этимъ привычкамъ. Точно также произвольно воспитываете вы вашъ мозгъ, даете ему ту или другую пищу въ видѣ чтенія, наблюденій, опытовъ и пр. и затѣмъ подчиняетесь непроизвольному дѣйствию его процессовъ. Въ этомъ отношеніи учопый — тотъ-же являющийся, который, подоживши дрова подъ котель и отвернувши клапанъ, отдается всецѣло движенію локомотива. Точно также и поэтическое творчество: какъ-бы оно ни было стихійно и произвольно само по себѣ, по почемуже, управляя всѣми стихіями природы, мы не можемъ управлять и этою сти-

хією, нисколько не нарушая непроизвольности ея процесса? Вопросъ заключается здѣсь только въ томъ, до какихъ границъ можетъ простираться произволъ въ актѣ творчества, и гдѣ начинается его непроизвольность. Возвращаясь къ нашимъ сравненіямъ, мы находимъ, что во всѣхъ нашихъ управленіяхъ силами природы произвольность имѣетъ мѣсто передъ совершеніемъ даннаго процесса и заключается въ приготовленіи матеріаловъ, вызывающихъ процессъ, и въ его направленіи. Тоже самое должно имѣть мѣсто и въ управленіи процессомъ творчества: подвергать этотъ процессъ нашему произволу, это — значитъ сознательно готовить матеріалъ, вызывающій творчество, иначе сказать, употребить всѣ усилія для обогащенія нашей фантазіи тѣми или другими образами, могущими вызвать творческій процессъ. Къ сожалѣнію, объ этомъ нервомъ и главнѣйшемъ дѣлѣ, въ которомъ только и возможенъ нашъ произволъ въ актѣ творчества, прилагаются у насъ всего менѣе заботы. Всю произвольность творчества полагаютъ только въ направленіи его, то-есть въ томъ, чтобы поэтъ былъ исполненъ полезныхъ цѣлей, стремился проводить прекрасныя идеи и разрѣшать роковые вопросы современности, но о томъ и не помышляютъ, что вѣдь для этого необходимо, чтобы поэтъ отлично зналъ жизнь того общества, которому служить, чтобы воображеніе его было переполнено живыми и яркими образами этой жизни, а безъ этого всѣ прекрасныя идеи останутся отвлеченными призраками, будутъ проведены блѣдно, вяло, гипотетично, никого не увлекутъ, не убѣдятъ, не принесутъ поэтому ни малѣйшей пользы, и поэтъ, при всемъ своемъ стремленіи къ произвольности творчества, останется непроизвольною жертвою бѣдности своей фантазіи. Это все равно, что выстроить прекрасную желѣзную дорогу, проведя ее къ важнѣйшему пункту страны, распространиться потокомъ грохочущихъ фразъ о ея полезности и позабыть только о весьма пустомъ и маломъ: о топливѣ и водѣ для локомотивовъ. Но въ этомъ отношеніи надо признаться, что не только у насъ, но и на Западѣ и не только въ средѣ защитниковъ теоріи непроизвольности творчества, но и въ рядахъ приверженцевъ противоположной теоріи, творчество и до сей поры пребываетъ на степени необузданной стихійности, и въ своемъ теченіи зависитъ не отъ нашего разумнаго произвола, а отъ различныхъ случайныхъ, вѣтвистыхъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ, если на Западѣ творчество богаче, чѣмъ у насъ, а у насъ у 2, 3 первостепенныхъ писателей богаче, чѣмъ у нѣсколькихъ второстепенныхъ и, наконецъ, доходитъ до поразительной нищеты у романистовъ въ родѣ Михайлова, то это нисколько не зависитъ отъ большихъ или меньшихъ усилій со стороны различныхъ поэтовъ: они играютъ тутъ роль пассивныхъ резервуаровъ и, что случайно вольетъ въ нихъ жизнь, то они и даютъ вамъ; если жизнь, вслѣдствіи особенныхъ общественныхъ или ихъ собственныхъ личныхъ условій доливаетъ ихъ до краевъ, они составляютъ себѣ это въ заслугу и тщеславятся богатствомъ своей фантазіи, поразительнымъ знаніемъ человеческого сердца или нравовъ своего общества, а если иначе сложившаяся жизнь не дастъ имъ ни капли, то не ждите отъ

нихъ какихъ-либо попытокъ личными усилиями наполнить пустоту своей фантази. Въ этомъ отношеніи наука представляетъ радикальную противоположность по отношенію къ искусству: въ то время, какъ ученый объѣзжаетъ весь земной шаръ, прорывается въ глубь его, роется въ архивахъ и въ различныхъ обломкахъ старины, изобрѣтаетъ всевозможные инструменты для того, чтобы изучать то, чего не въ состояніи видѣть простой глазъ, въ то время, однимъ словомъ, какъ передъ каждымъ ничтожнымъ открытіемъ вы видите массу усидчиваго труда, — поэтъ сидитъ, сложивъ ручки, и, изрекая трескучія фразы о святомъ призваніи искусства поднимать и разрѣшать роковые вопросы жизни, сѣвшитъ возвѣстить міру о какихъ-нибудь двухъ-трехъ жалкихъ впечатлѣніяхъ маленькаго уголочка, въ которомъ онъ прозябаетъ. По своей необузданной, подверженной всякимъ случайностямъ стихійности — искусство можно сопоставить съ наукою развѣчтохъ глубоководнѣйшихъ вѣковъ, когда люди, не прилагая никакихъ усилий къ пріобрѣтенію новыхъ знаній, довольствовались свѣдѣніями о томъ, что имъ мозолило глаза: прибрежные жители знали породы морскихъ рыбъ или выбрасываемыхъ моремъ раковинъ и не умѣли отличить одного дерева отъ другого; обитатели лѣсовъ, въ свою очередь, зная породы и качества различныхъ деревьевъ, не умѣли отличить ржи отъ овса и проч. Такъ и современные намъ поэты: рождался поэтъ во дворянствѣ, глядишь только и умѣетъ изображать однихъ дворянъ, а какъ только вздумаетъ вывести передъ вами мѣщанина или крестьянина, такъ и выйдутъ передъ вами „цвѣты, похожіе на прицъ, и птицы, похожія на цвѣты\*“; проведетъ поэтъ полъ-жизни въ обществѣ трехъ литераторовъ и двухъ передовыхъ дѣвицъ высшаго развитія, — и только эти пять личностей и варьируетъ на всевозможные лады во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Въ силу этого, если писатель хочетъ не на однихъ словахъ, а на дѣлѣ осуществить теорію произвольности творчества и принести истинную, а не эфемерную пользу своему обществу, онъ обязанъ употребить для каждаго написаннаго листа хотя малую часть тѣхъ усилий, которыя употребляетъ ученый часто для того только, чтобы имѣть основаніе сказать одну только фразу. Жизнь мало даетъ русскому писателю, и неужели ему вѣчно сидѣть сложа руки и ждать у моря погоды, когда общественныя обстоятельства сложатся такъ удачно, что массы всевозможныхъ впечатлѣній посыпятся съ неба и оплодотворятъ безъ всякихъ съ его стороны усилий его пустопорожнюю фантазію? Вѣдь этого онъ пожалуй и никогда не дожидется, а жизнь, между тѣмъ, уходитъ безцѣльно и безплодно, оставляя за собою, вмѣсто сочныхъ и питательныхъ плодовъ, одинъ никому ненужный навозъ. Чѣмъ труднѣе обстоятельства, тѣмъ болѣе усилий долженъ употребить противъ нихъ человекъ, если только онъ захочетъ не напрасно носить имя человека. А въ отношеніи русскаго писателя не требуется даже и сотой доли тѣхъ страшныхъ усилий, какія употребляетъ западный ученый для своихъ изысканій: ему не нужно ни переплывать морей, ни спускаться въ шахты, ни вскрывать воюющихъ труповъ, ни проводить мѣсяцевъ и лѣтъ въ обществѣ вороватыхъ дикарей по при-

мѣру Ливингстона или Миклухи-Маклая, ни, наконецъ, висѣть въ воздухѣ на веревочкѣ, разбирая геологическую надписъ на скалѣ. Отъ него требуется только менѣе замкнутости, болѣе широкаго круга знакомства въ различныхъ слояхъ общества, частой переѣздомъ жителя, или хотя-бы нѣсколькихъ экскурсій по Россіи, по возможности дѣшкомъ или на долгихъ и съ обозами. Нашъ русскій писатель (за весьма немногими исключеніями) такой еще бѣлоручка, при всѣхъ своихъ демократическихъ стремленіяхъ, что великій подвигъ для него — войти въ хату мужику; но туда онъ еще входитъ иногда, скрѣпя сердце, среди лѣсныхъ наслажденій природою въ деревнѣ — для того, чтобы записать народную пѣсенку или двужихий калям-нибудь высоко-филиантропическими цѣлями. Но войти въ кругъ людей мало-мальски не нашего лагеря и не равной съ нами степени развитія, и donec, какую-же мы можемъ имѣть солидарность во всѣхъ этихъ кругахъ: какъ будто медицинскій студентъ долженъ имѣть непременно солидарность съ тѣми трупами, которые онъ изслѣдуетъ съ своими научными цѣлями? То-ли дѣло сидѣть въ комфортабельныхъ кабинетахъ и тянуть какую-нибудь безконечную канитель, стремись къ развитію такъ называемаго молодого поколѣнія въ духѣ возвышенныхъ идей. Въ слѣдующихъ главахъ мы увидимъ, много-ли выходитъ у насъ изъ этого пресловутаго вѣчнаго развиванія такъ называемыхъ молодыхъ поколѣній.

### III.

Если вы начнете разсматривать положительныя типы въ литературахъ различныхъ странъ, временъ и направлений, то валь сразу представится, что они раздѣляются на двѣ категоріи: 1) типы относительныя и 2) безусловно-идеальныя.

Относительныя типы — это представители даннаго вѣка или среды. Они являются въ произведеніи писателя обыкновенно облеченными въ плоть и кровь своего времени, со всѣми своими типическими особенностями, достоинствами и недостатками. Вы можете симпатизировать имъ, увлекаться ими, видя передъ собою лучшихъ людей вѣка, но это не мѣшаетъ вамъ разсматривать ихъ, какъ продуктъ вѣстныхъ условий жизни и находить въ нихъ недостатки, обуславливающіеся предными вліяніями среды, воспитанія, политическаго строя общества, и проч. Ужь мы не будемъ распространяться о такихъ типахъ, какъ Евгений Онегинъ, Печоринъ, Чацкій, Бельтовъ и проч.; всѣ эти герои своего времени являются типами вольнѣ относительными, дальше десятилѣтія не переживаютъ, выростая и ступовываясь со своимъ поколѣніемъ, и не только въ критикѣ послѣдующаго періода, но и въ современной имъ вы встрѣтите не восторженное къ нимъ удивленіе, какъ къ воплощеннымъ идеаламъ, а безпристрастный, холодный анализъ, воздающій имъ должное, какъ лучшимъ представителямъ своего времени и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отбѣждающій на нихъ всѣ язвы современнаго общества. Возьмите многочисленныхъ героинь нашихъ романовъ и повѣстей, начиная съ Татьяны Пушкина и кончая Еленою въ „Наканунѣ“ и Ольгою въ „Обломовѣ“. Всѣ эти про-

красные, увлекательные типы, повидному, больше всего подходят къ безусловно идеальнымъ; но нѣтъ и въ нихъ вы видите, въ свою очередь, представительницъ тѣмъ вь срединѣ: передъ нами русскія женщины тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ и при томъ исключительно привилегированныхъ слоев общества. Всѣ онѣ являются не иначе, какъ въ юныхъ гдѣздышкахъ, сначала въ отеческихъ, потомъ въ мужскихъ, и нѣбютъ такъ мало самостоятельности, что многи изъ нихъ не въ состояніи оказываются выйти замужъ по собственному выбору и влеченію. Тѣмъ гдѣздышка такъ для всѣхъ ихъ необходимы, что если ихъ выпустить внезапно на волю, онѣ немедленно-же должны погибнуть, такъ-какъ онѣ плохо образованы, не приучены ни къ какому труду, не знаютъ ни людей, ни жизни. Всѣ онѣ стремятся къ развитію, но не иначе, какъ черезъ процедуру любви: сами пальчикомъ не поведутъ для своего развитія, а все сидятъ, сложа ручки, и мѣняютъ въ ожиданіи, когда явится передъ ними онъ и начнетъ ихъ развивать; это ожиданіе доходитъ до такой степени нетерпѣливости, что, наконецъ, барышни набрасываются на перваго встрѣчнаго, воображая, что это есть сей онъ, и обыкновенно горько разочаровываются въ своего героя. Очевидно, что во всемъ этомъ нѣтъ ничего безусловно идеальнаго. Но авторы и не думали изображать безусловно идеальныхъ женщинъ. Они безхитростно вывели лишь лучшихъ женщинъ своего времени, представляя намъ судить о нихъ, какъ намъ угодно.

Совершенно не таковы безусловно-идеальные типы въ литературѣ. Къ нимъ вы уже не придеретесь ни съ какой стороны: каждый шагъ ихъ — доблесть, каждое движеніе — подвигъ, и вамъ только и остается восхищаться, удивляться и поучаться. Подобнаго рода типы бываютъ двухъ родовъ. Одни изъ нихъ играютъ рутинную роль добродѣтельныхъ героевъ и героинь, безъ всякихъ претензій, чисто по традиціи, потому что романъ, происшедшій, какъ извѣстно, изъ сказки, до сихъ поръ, въ глазахъ многихъ, немыслимъ безъ паревича и царевны неописанной красоты. Но есть эпохи, въ которыя образуется особенная склонность къ созерцанію безусловно-идеальныхъ типовъ; въ такіе эпохи является рядъ произведеній, въ которыхъ добродѣтельные герои играютъ уже не традиционную роль сказочныхъ паревичей, а напротивъ: главная дѣль поставляется въ томъ, чтобы изобразить невозможно-идеальную личность, и всѣ силы автора устремляются къ этой дѣли.

Я не знаю, нужно-ли много распространяться насчетъ того, что на почвѣ истинно-реальной поэзіи возможны только относительные типы, потому именно, что она всецѣло основывается на наблюденіяхъ дѣйствительности; въ дѣйствительности-же мы можемъ наблюдать одни относительныя явленія. Безусловные идеалы суть только отвлеченныя категоріи нашего мышленія и стремиться ихъ олицетворять, это — значитъ, стремиться къ невозможному, причѣмъ мы постоянно рискуемъ впасть въ грубыя заблужденія: или намъ приходится возводить въ идеалъ относительную дѣйствительность, вовсе въ сущности не идеальную, или-же разрушать всякую связь причинности и, обходя всѣ законы жизни, предполагать истую чудесность.

Поэты-идеалисты и идутъ обыкновенно по этимъ двумъ путямъ. Вспомните, напримѣръ, хотя-бы условно-идеальные типы эпохи романтизма: съ одной стороны передъ вами рисуются возведенные въ идеалъ безумные фантазеры и мечтатели, въ сущности не только не заключающіе въ себѣ ничего идеальнаго, но весьма противные своимъ сентиментальнымъ прекраснотушамъ; съ другой стороны — Маркизы Позы, Іоанны д'Арки и цѣлый рядъ безлѣтныхъ юношей и дѣвъ, появленіе которыхъ среди подуварварскихъ обществъ не обусловливается никакими дѣйствительными, осязательными причинами и которые представляются намъ возникшими такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, словно феи и гномы изъ-подъ пола балетной сцены.

Идеализмъ въ жизни и искусствѣ, параллельно съ метафизикомъ въ наукѣ, считаются обыкновенно извѣстною степенью умственного развитія, за которою слѣдуетъ періодъ процвѣтанія положительныхъ знаній и реального искусства. Но правильность въ послѣдовательности этихъ періодовъ постоянно нарушается влѣдствіе той причины, что въ то время, какъ до реализма доразвивается ничтожное меньшинство, массы-же общества продолжаютъ косятъ въ грубомъ невѣжествѣ и, невѣдко, прорывая плотину передовой мысли, снова воскрешаютъ такіе системы мысли или литературныя школы, которыя, съ точки зрѣнія передовой мысли, представляются давно отжившими. Этому атакизму много способствуетъ и то, что въ переходные періоды подъ знамена новыхъ идей становятся многи люди, далеко не доразвившіеся до этихъ идей, увлекшіеся ими совершенно поверхностно, усвоившіе кое-какія хлесткія фразы, и очень часто подъ оболочкою, повидному, совершенно новаго, вы можете разглядѣть у подобныхъ господъ системы мышленія самаго архаическаго свойства. Между тѣмъ, этотъ архаизмъ мысли сблизаетъ ихъ съ толпою, которая сама исполнена архаическихъ понятій и потому является склонною болѣе понимать этихъ псевдорелистовъ, чѣмъ истинныхъ. Становясь, такимъ образомъ, во главѣ толпы, дѣлаясь ея любимица, эти господа сильно тормозятъ движеніе, давно отжившее и запыленое выдавая за только-что родившееся и, въ надеждѣ открытія новыхъ путей, поворачивая на старыя торныя дорожки.

Къ этому надо присоединить еще и вліянія общественныхъ условій, которыя могутъ способствовать къ обращенію мысли не реальный путь или, наоборотъ, обращать ее влѣтъ на почву метафизики и идеализма. Въ этомъ отношеніи ничто такъ не ускоряетъ устремленія мысли на реальную почву, какъ политическая зрѣлость общества, развитіе въ немъ самостоятельности и активности, и это весьма естественно. Человѣку, проникнутому общественными интересами и притомъ не платонически только, а активно, некогда бывающаго задумываться надъ различными метафизическими отвлеченностями и безусловными идеалами: въ борьбѣ съ тѣмъ или другими наличными условіями жизни, онъ привыкаетъ устремлять свою мысль въ сферу относительныхъ явленій; анализъ этихъ явленій стоитъ въ его умственной лабораторіи на первомъ планѣ и прямо ведетъ его къ положительнымъ выво-

дамъ въ наукѣ и реальнымъ образомъ въ искусствѣ. Поэтому въ странахъ съ сильно развитою общественною активностью люди дѣлаются реалистами прежде даже, чѣмъ сознають это: по міросозерцанію они являются передъ нами, повидному, метафизиками и даже исполненными наивныхъ вѣрованій, между тѣмъ весь процессъ ихъ мысли стоитъ уже на чисто реальной почвѣ анализа относительныхъ явленій, не имѣя никакой точки соприкосновенія съ отвлеченными теоріями, которыя хранятся на всякій случай въ ихъ мозгу, гдѣ-то въ кладовой, безъ всякаго употребленія. Примеромъ такого преждевременнаго развитія реализма можетъ служить Англія. Въ самомъ дѣлѣ, недаромъ Англія, страна Бэкона, Локка, Юма, Ньютона, Адама Смита, Милля, Шекспира, Свифта и Диккенса послужила колыбелью современнаго реализма, какъ въ наукѣ, такъ и въ искусствѣ; недаромъ она съ 18-го вѣка увлекаетъ за собою на почву реализма всю Европу; въ тоже время, это страна, въ которой самодѣятельность и активность общества развились тогда, когда на континентѣ ни о чемъ подобномъ и не мечтали; мысль англичанъ привыкла уже работать на реальной почвѣ. Мы видимъ, что въ Англіи самыя истинческія и аскетическія секты въ родѣ пуританъ или квакеровъ не отрѣшались отъ жизни въ какія-либо отвлеченныя, заоблачныя сферы, а, напротивъ того, принимали характеръ политическихъ партій, устремившихся въ сферу рѣшенія вопросовъ чисто относительнаго свойства. — Совершенною противоположностью представляютъ страны, въ которыхъ общество, чуждое всякой самодѣятельности, влечетъ пассивную жизнь, утопая въ типѣ мелочей и дряблѣ. Мысль въ этомъ обществѣ, находя мало нищѣ въ себя, поневолѣ углубляется внутрь психическаго міра, къ различнымъ отвлеченнымъ категоріямъ. Отсюда является наклонность къ созданію воздушныхъ метафизическихъ теорій, опирающихся не на факты дѣйствительности, а на эти отвлеченныя категоріи. Въмѣстѣ съ тѣмъ, мыслящіе люди привыкають къ самосозерцанію. Находя вокругъ себя повсюду одно безцѣльное, бессмысленное прозябаніе, исполненное возмутительныхъ пошлостей, они видятъ спасеніе своего человѣческаго достоинства единственно только въ томъ, чтобы отрѣшиться отъ всего ихъ окружающаго и начать въ уединеніи воспитывать себя въ духѣ какого-нибудь высшренняго идеала. Таково начало нравственнаго идеализма, вѣчно сентиментально умиляющагося при созерцаніи различныхъ возвышенныхъ идеаловъ и въ личномъ воплощеніи ихъ нищущаго единственное спасеніе общества, вѣчно то терзающагося при мысли о недостижимости этихъ идеаловъ, то напротивъ того наивно воображающаго, что идеалы уже достигнуты, и потому въ гордомъ высокоотрѣнн смотрящаго сверху внизъ на жалкое, пресмыкающееся человечество; отсюда, наконецъ, и вѣчное исکانіе по свѣту идеальныхъ личностей, причемъ замѣчательно, что мысль идеалистовъ всѣхъ вѣковъ и странъ постоянно раздваивалась въ этомъ исканіи идеальныхъ личностей: съ одной стороны, имъ казалось, что есть особенныя избранныя натуры, по самому призванію своему чуть не съ колыбели обреченныя быть воплощеніемъ идеала, съ другой стороны, они вѣрили въ

возможность сдѣлаться идеальнымъ каждому человеку путемъ цѣлаго ряда подвиговъ воспитанія въ себѣ идеала и, наконецъ, просвѣтлѣнія имъ. Нужно-ли говорить о томъ, какая страна Европы была колыбелью, какъ цѣлаго ряда метафизическихъ системъ въ философіи, такъ и цѣлаго ряда сентиментально-прекраснодушныхъ идеаловъ въ поэзіи. Это страна благодушныхъ, пассивныхъ филистеровъ и мечтательныхъ буршей—Германія, въ которой общество такъ долго было лишено всякой активной самодѣятельности, страна и до сихъ поръ еще не отрѣшившаяся вполне отъ метафизики и сентиментальнаго прекраснотушья.

Наше общество имѣетъ большую аналогію съ германскимъ начала XVIII столѣтія по отсутствію всякой активной самодѣятельности, разрозненности, ледкости и дрянности интересовъ. Къ этимъ вѣбъмъ качествамъ прибавьте еще остатки грубой, чисто-азиатской одичалости нравовъ, вслѣдствіе которой чловѣкъ, мало-малыски избѣгающій печатной браши или употребленія десницы, считается уже какъ-то высшимъ существомъ, избранною натурою. Полагаю, что и на нашей почвѣ сентиментально-прекраснотушный идеализмъ долженъ имѣть крѣпкіе корни и роскошныя произростанія. Мы и видимъ, что, начиная съ Барамзина, съ первыхъ зачатковъ философскаго движенія подъ вліяніемъ энциклопедистовъ XVIII вѣка, развивается у насъ и сентиментализмъ, свачаза въ версальскомъ духѣ, затѣмъ въ геттингенскомъ; чувствительные Эрасты, стонущіе на могиллахъ Агатоновъ, смѣняются прекраснотушными художниками въ гофмановскомъ родѣ, и вообще все умственное развитіе постоянно принимаетъ видъ отрѣшенія отъ суетнаго свѣта, тѣсной замкнутости въ интимныхъ кружкахъ и личнаго воспитанія себя въ духѣ различныхъ возвышенныхъ идеаловъ.

Въ сороковые годы этотъ характеръ развитія началъ измѣняться. Съ одной стороны, наплывъ реальной мысли съ Запада былъ слишкомъ ужъ силенъ, съ другой—обстоятельства жизни принимали день отъ дня все болѣе и болѣе мрачный характеръ и повсемѣно заставляли обращать на себя вниманіе и задумываться, отвлекая, такимъ образомъ, мысль отъ созерцанія возвышенныхъ идеаловъ. Вслѣдствіе всего этого, мысль передовыхъ кружковъ нашего общества начала устремляться на реальныя пути; созерцаніе возвышенныхъ идеаловъ смѣнилось анализомъ окружающей дѣйствительности; явился Гоголь, и такъ была сильна наклонность мысли перейти на реальную почву, что даже этому крайнему мистика и аскету удалось создать новую, чисто реальную школу въ поэзіи. Кринская катастрофа еще сильнѣе устремила мысль передовыхъ кружковъ на реальную почву общественныхъ вопросовъ и анализа окружающей дѣйствительности; откровенная свобода печати и выписки иностранныхъ книгъ изъ-заграницы усилила еще болѣе наплывъ реальныхъ идей современныхъ западныхъ мыслителей. Начались реформы и казалось, что вниманіе общества окончательно устремилось изъ отвлеченныхъ сферъ—въ сферы относительныхъ явленій жизни. Но крайней мѣрѣ, въ концѣ 50-хъ годовъ, въ передовыхъ кружкахъ, вопросъ о возвышенности тѣхъ или другихъ личныхъ идеаловъ стоялъ на заднемъ



идеи: люди раздѣлились на категоріи не сообразно ихъ личной нравственности—на просвѣтленныхъ носителей идеаловъ и пресмыкающуюся во тьмѣ толпу, а на консерваторовъ и прогрессистовъ по отношенію къ тѣмъ или другимъ общественнымъ вопросамъ; искали не идеальныхъ личностей для взаимнаго самосозерцанія, а союзниковъ для борьбы.

Но увы, весь этотъ пресловутый реализмъ конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ оказался явленіемъ крайне ненадежнымъ и эфемернымъ. Только какіе-нибудь десятки передовыхъ мыслителей вплоть встали на реальную почву и отринулись отъ всѣхъ остатковъ идеализма. Между тѣмъ, въ массахъ общества идеалистическая завязка была такъ еще сильна, такъ глубоко въѣлась въ жизнь и такъ была ей сродни, что стоило немножко утолить всеобщую жажду реформъ, и вниманіе общества снова устремилось отъ общественныхъ вопросовъ къ индивидуально-нравственнымъ. И вотъ уже съ 1863 года въ огромной массѣ общества исканіе новыхъ формъ жизни сдѣлалось исканіемъ новыхъ личныхъ идеаловъ. Реализмъ въ глазахъ этой массы является не извѣстнымъ методомъ мышленія, каковъ онъ есть самъ по себѣ, а какимъ-то готовымъ уже кодексомъ личной нравственности, имѣющимъ въ виду сдѣлать изъ человѣка особеннаго сорта существо, такъ-называемаго *трезваго реалиста*.—Затѣмъ умиственное движеніе слова принимаетъ прежній характеръ отрѣшенія отъ окружающаго, самовоспитанія въ тѣсной замкнутости сектаторскихъ кружковъ въ духѣ новѣйшихъ идеаловъ, погоны за идеальными личностями не отъ пра сего, со младенчества предназначенными къ высочайшему воплощенію въ себѣ типовъ трезваго реализма, наконецъ чисто-схоластическаго рѣшенія вопросовъ о томъ, какъ себя вести такъ, чтобы ни на одну секунду не отклониться отъ идеала трезваго реализма, на какой спать для этого постели, курить или нѣтъ сигары, есть-ли сардинки и телятину или ограничиваться одною ветчиною съ ситникомъ, по примѣру Рахметова.

Въ литературѣ такой новый наплывъ идеализма отразился въ критикѣ „Дѣла“, и Писаревъ, начавшій свою литературную дѣятельность съ проповѣди „базаровскаго типа“, сдѣлался вскорѣ идоломъ новѣйшихъ идеалистовъ. Этотъ пресловутый писаревскій базаровскій типъ (не имѣвшій ничего общаго съ тургеневскимъ Базаровымъ) прекрасно характеризуетъ собою новый идеалъ, въ которомъ начали искать спасенія отъ всѣхъ скорбей и болѣзней. На первомъ же планѣ въ этомъ идеалѣ стоитъ полное отрѣшеніе отъ всего окружающаго.

«Люди прошлаго, говоритъ Писаревъ, металсь и тупнлись, надѣясь гдѣ-нибудь пристроиться и какъ-нибудь втискомолку, урывками, незамѣтно влѣзть въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не печутся, ничего не ищутъ, ни гдѣ не пристраиваются, не поддаются ни на какіе компромиссы и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они также безсильны, какъ Рудина, но они сознали свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь—думаю про себя каждый въ этихъ новыхъ людей—не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружаетъ, и не стану

скрывать своего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живется, не мнясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собою никакой власти. Я—чужой среди существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю, что хочу, и высказываю—что можно высказывать».

«Пойдетъ-ли за ними общество, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Писаревъ про своихъ новыхъ реалистовъ, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою, своею внутреннею жизнью и не стѣсняють ее въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полнаго самосвободенія, полной особиности и самодѣятельности».

Прочитавши рядъ такихъ тирадъ, поразмыслите, чѣмъ отличается въ социологическомъ отношеніи подобнаго рода новѣйшій идеалъ отъ романтическаго идеала 30-хъ годовъ? И тамъ, и здѣсь предписывается одно и тоже: хочешь быть счастливымъ, освободись отъ всѣхъ стѣсненій, налагаемыхъ на тебя суетными свѣтомъ, со всѣми его обычаями, приличіями и китайскими церемоніями, замкнись въ гордое уединеніе я, презирая жалкое, пресмыкающееся человечество, предавайся свободному полету своего духа. Разница здѣсь только въ употребленіи времени: романтикъ 30-хъ годовъ наполнялъ его созерцаніемъ образовъ чистаго искусства, романтикъ 60-хъ годовъ—рѣзаніемъ лагушекъ, но если-бы романтикъ 70-хъ годовъ занялся ловленіемъ мухъ,—то и тутъ разница была-бы небольшая: романтики всѣхъ трехъ родовъ могутъ воображать, что они олицетворили свой идеалъ и достигли высшаго нравственнаго совершенства собою и счастья; въ социологическомъ-же отношеніи все они въ равной степени представляютъ изъ себя высокомерныхъ филистеровъ, индифферентныхъ ко всему, что вокругъ нихъ происходитъ, и успокоившихся на пресловутой пошлой философіи: „моя хата съ краю, ничего не знаю“.

Да не подумаетъ читатель, чтобы я считалъ Писарева изобрѣтателемъ базаровскаго типа и на него одного возлагалъ всю вину воскресенія филистерскаго идеализма. Нѣтъ, и весьма далеко отъ той устарѣлой теоріи, которая все приписываетъ гениямъ и воображаетъ, что они изобрѣтають, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, что ни изобрететь имъ въ голову. Писаревъ былъ лишь наиталантливейшимъ выразителемъ повѣйшаго идеализма: философія-же эта—есть болѣзнь вѣка; она периодически высыпаетъ наружу въ обществѣ пассивномъ, лишennemъ всякой самодѣятельности, какъ выраженіе жалкаго малодушія, безсилія, трусости, привычки къ сонному спокойствію и отвращенія отъ наибольшаго энергическаго движенія.

Устремленіе общества на путь повѣйшаго сентиментальнаго прекраснотушія, отразившись въ критикѣ Писарева, не замедлило проявиться и въ беллетристикѣ. Вскорѣ создалась цѣлая школа романовъ, спеціальная цѣль которыхъ заключается въ томъ, чтобы, изображая идеальные типы въ духѣ трезваго реализма и по образцу писаревскаго Базарова, показывать российскимъ людямъ путь ко спасенію.—Михайловъ является передъ нами представителемъ этой школы.

## IV.

Да, господа Михайловъ, Бажинъ, Омулевскій и проч., конечно, вы ставите выше всего поэзію реальную, вы стоите за нее горой и ужь, разумеется, возмущаете, что съ васъ только и началась на Руси истинная поэзія. Такъ знайте-же, что ваши произведенія отстоятъ отъ почвы реализма, какъ небо отъ земли; вы создатели не реальной школы въ нашей литературѣ, а воскресители сентиментальнаго прекраснотушія тридцатыхъ годовъ, эпохи П. Полевого, кн. Одоевскаго и Марлинскаго.

Да иначе не можетъ и быть. Ужь если все современное мыслящее общество, вслѣдствіе отсутствія активности и соединеннаго съ нею обращенія мысли къ анализу относительныхъ фактовъ, стремится къ созерцанію различныхъ прекрасныхъ, безусловныхъ идеальчиковъ, то на васъ эта болѣзнь вѣда должна отразиться во стократъ болѣе, чѣмъ на прочихъ современникахъ: поразительное отсутствіе всякой наблюдательности дѣйствительныхъ фактовъ жизни въ вашихъ произведеніяхъ доказываетъ, что вы ведете кабинетную, затворническую жизнь писателей-отшельниковъ и вращаетесь вѣчно въ кружкѣ 3-хъ—4-хъ пріятелей, которыхъ возводите, конечно, въ идеаль и съ которыхъ списываете вашихъ героевъ. Такая ненормальная жизнь прямо ведетъ въ заоблачныя сферы созерцанія различныхъ воздушныхъ видѣній не отъ міра сего—и ужь тутъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи о реальной поэзіи.

Возьмемъ опять Михайлова, какъ представителя школы, и посмотримъ, что такое его идеальныя типы сами по себѣ и какъ онъ къ нимъ относится.

Мы уже говорили выше, что поэты-идеалисты, стремясь воплотить въ реальные образы свои абстрактныя идеалы, идутъ двумя путями: или они выставляютъ передъ нами героевъ не отъ міра сего, монстровъ, разрушающихъ всякую связь причинности, или же возводятъ въ идеаль дѣйствительность вовсе не идеальную. Михайловъ умудрился какимъ-то чудодѣйственнымъ образомъ избрать разомъ оба пути, и изъ этого вышла удивительная нескладница. Въ каждомъ романѣ Михайлова жизнь героя описана весьма подробно и обстоятельно во всѣхъ, что называется, воздыханіяхъ, начиная съ перваго крика младенца и до трезвыхъ сентенцій умудреннаго опытомъ зрѣлаго мужа. Начинаете вы читать романъ, и въ первыхъ главахъ видите въ героѣ передъ собою человѣка вполне не отъ міра сего. Чтобы читатели могли ясно представить себѣ, насколько горой Михайлова выше всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ, я попрошу только ихъ вспомнить свое собственное дѣтство, особенно, если дѣтство это протекло въ помѣщичьемъ домѣ. Мальчику перѣдко приходилось видѣть зуботычины и пощечины, расточаемыя родителями дворовымъ; случалось ему, пожалуй, быть свидѣтелемъ и болѣе серьезныхъ экзекуцій; но, какъ будто, видѣ побоевъ и сѣченій самъ по себѣ наводитъ мальчика на мысль о ненормальности такихъ явленій? Ничуть не бывало. Ребачему уму установленный вѣками порядокъ жизни представлялся столь-же неизбѣжимъ, какъ неизбѣжно стоитъ земля, а падъ нею раскидывается сводъ небесный.

Каждый разъ при экзекуціяхъ онъ видѣлъ передъ собою не одиѣ стонущія жертвы, но и родителей, оторченныхъ, разсерженныхъ, твердившихъ, что эти бѣсты вгоняютъ ихъ въ гробъ, раздражая постоянно своимъ непослушаніемъ, грубостью, пьянствомъ, или же разоряютъ утаиваньемъ того, что имъ не принадлежить. Такимъ образомъ, каждая экзекуція оправдывалась виною въ глазахъ ребенка; онъ самъ начиналъ раздражаться на грубияновъ, пьяницъ и воровъ, и въ немъ зарождалась истинная жестокость, заставлявшая его съ злорадствомъ смотрѣть на истязанія и, подчасъ, самому поднимать свою маленькую ручонку на Овдѣку или Таньку, надѣвшихъ ему лоповку чулки. Изрѣдка въ душѣ ребенка проявлялось и чувство инстинктивной жалости, особенно по отношенію къ какому-нибудь своему любимцу; онъ могъ обратиться къ родителямъ и съ просьбою о помилованіи, но эта жалость была всегда явленіемъ частнымъ, единичнымъ, инстинктивнымъ, не исходящимъ ни изъ какого общаго принципа и ни къ какому принципу не приводящимъ. Гуманныя принципы являлись обыкновенно послѣдствіемъ, вычитывались изъ книгъ, выслушивались въ аудиторіяхъ, но долго приходилось имъ бороться съ грубыми привычками, вынесенными изъ дѣтства, и не всегда эта борьба оканчивалась побѣдою. Вспомните типъ Нехлюдова въ повѣсти Л. Толстого „Юность“. Онъ стремится къ гуманному идеалу, создаетъ различныя душевспасительныя теории жизни, но это не мѣшаетъ ему, въ самую пылу бесѣды съ пріятелями о высокихъ вопросахъ жизни, сѣздить своего лакея по физиономіи, вымѣщая на немъ несносную зубную боль, приключившемуся герою въ эту минуту. Вотъ это называется истинный реализмъ въ поэзіи. Сопоставьте рядомъ съ этимъ фактъ не изъ беллетристики уже, а прямо изъ жизни: П. Павловъ рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ онъ, будучи взрослымъ юношею, романтикомъ, мечтавшимъ уже вращаться въ литературныхъ кружкахъ, въ свою очередь, въ пылу гнѣва, сѣздитъ по физиономіи своего крѣпостнаго лакея, былъ тутъ-же постраданъ своимъ пріятелемъ, и тогда только впервые почувствовать всю гнусность подобныхъ выходовъ и серьезно задумался о ненормальности крѣпостнаго права. У Михайлова герои рождаются уже эмансипаторами. Такъ, напримеръ, Шуповъ на десятомъ году развѣтралъ со своими родственниками пѣлую сцену по поводу собранія или съ крестьянъ оброка: онъ былъ такъ уже развитъ, что могъ составить мягкое обращеніе умершей матери со слугами и подаваніе ея милостивыя нищимъ съ фактомъ собранія оброка съ крестьянъ и вывести изъ этого сопоставленія принципъ гнусности собранія оброка, и до такой степени разонелся мальчикъ: „не хочу брать оброка, мамаша сама давала нищимъ, я—наслѣдникъ!“, что былъ отцомъ вышеченъ, наконецъ, до полусмерти. Послѣ порки, десятилетней мальчикъ былъ согласенъ на другую такую-же порку, лишь-бы не принудили его просить прощенья у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта исторія тѣмъ, что тотъ-же десятилетний мальчикъ, послѣ всего этого погрома, воспылалъ единственною страстью учиться, развѣдаться...

Такую-же совершенно сцену разыграли съ своимъ отчичкомъ Вубновымъ герой романа „Въ разбродъ“ — Тельничинъ и, въ свою очередь, былъ высеченъ до полусмерти. Послѣ порки онъ тоже на 10-лѣтнемъ году загорѣлся страстною учитьею, развиваться. У него были дядя, капитанъ Хлопко, тотъ самый передвѣданный съ англійскихъ правовъ на русскіе морякъ, о которомъ мы говорили во второй главѣ; онъ рассказывалъ мальчику разные эпизоды изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорно подобные рассказы имѣли свое развивательное вліяніе, но, во всякомъ случаѣ, нужно представить себѣ 10-лѣтняго мальчика въ высшей степени необыкновеннымъ, чтобы у него могло быть психическое настроеніе, которое у обыкновенныхъ смертныхъ является на шестнадцатомъ, семнадцатомъ году:

«Несвѣдѣлая наша жизнь, притѣвленія, постоянное одиночество или бесѣды съ такимъ идеализмомъ, какъ дядя навелъ меня на мысль, что и меня ждутъ впереди страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, акклиматизированный до крайности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня радовало, если мнѣ удавалось подвигать что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ капалась слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая о Юванѣ Гусевѣ. Меня стали особенно привлекать такіа зрѣлища, какъ рѣзаніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлушекъ, но я не убѣгалъ и смотрѣлъ до конца на ихъ казни, помня, что дядя рассказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови».

Въ романѣ „Жизнь Шупова“ — есть герой плебейскаго происхожденія, Колька, который, въ свою очередь, поражаетъ васъ въ 10-ти-лѣтнемъ возрастѣ глубокомыслиемъ социальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: „по его соображеніямъ слѣдовало работать, каждый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома, — все работать и на заработанные деньги панимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсемъ просто, воть какъ мужики одѣваются“... Такимъ образомъ, воть уже въ такомъ возрастѣ являются въ современныхъ намъ трезвыхъ реалистахъ ихъ идеалы честнаго труженничества и чуждой малѣйшей роскоши, спартанской жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ уже и протестовать противъ изгазаній, не только людей, но и животныхъ:

— Отного я не понимаю, серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды: — за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ я. Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Воть и я теперь, если-бы умеръ, такъ святымъ-бы сталъ, съ нѣжной улыбочкой промолвилъ онъ полуслутомъ. — А у собакъ и у лошадей души нѣтъ».

Я-бы могъ массу представить всевозможныхъ фактовъ, показывающихъ необычайность героевъ Михайлова. У Михайлова есть, наприимѣръ, герой — Павелъ Панютинъ, который, слѣдѣемый безнадежною любовью, заучиваетъ съ богатыми палочками на пизникахъ и

ушицахъ съ куртизанками; но такъ какъ онъ никакихъ наследственныхъ капиталовъ для этого не имѣетъ, а кутить на чужой счетъ считаетъ безчестнымъ, то онъ старается трудомъ приобрести деньги, необходимые для кутежей. Казалось-бы, что для приобретения уроками или переводами количества денегъ, достаточнаго, чтобы можно было стоять на одной ногѣ съ богатыми кутилами, требуется такая масса труда, что ни времени, ни силъ не хватило-бы на самую цѣль приобретения, т.-е. на кутежи; и, наоборотъ, участие въ кутежахъ, въ свою очередь, требуетъ столько и времени, и силъ, что послѣ нихъ истощенному организму не до усидчиваго труда. Но для необычныхъ силъ Панютина не существуетъ животной экономіи: трудясь, какъ волъ, онъ кутить, какъ гусаръ — и силы его ни мало не извуряются отъ такой жизни. У Михайлова есть героиня Катерина Александровна Прилежаева, которая выходитъ изъ мрака грязнаго петербургскаго подвала, изъ міра голода, холода, вѣянства идохмотьевъ нищеты, словно Афродита изъ морской пѣны, исполненная лучезарнаго сіянія нравственныхъ и физическихъ совершенствъ и необразованная, едва умѣющая писать и читать — сразу дѣлается идеальнѣе всѣхъ идеальныхъ людей на свѣтѣ. Но довольно; однимъ словомъ, чудеса въ романахъ Михайлова не оберешься; надо, впрочемъ, замѣтить, что всѣ подобныя чудеса не составляютъ особенности творчества одного Михайлова; у всѣхъ писателей этой школы вы найдете тоже самое: у всѣхъ у нихъ десятилѣтніе отроки развиваютъ социальные теоріи и шестилѣтнія дѣти протестуютъ. Мнѣ даже кажется, что будто я гдѣ-то читалъ, не помню у Михайлова или у Важина, такую сцену, какъ младенецъ, сосуцій млеко матери, внезапно оторвался отъ сосца и глубоко задумался о томъ, какое право имѣетъ онъ потреблять, не вознаграждая своего потребления никакимъ производствомъ съ своей стороны; такое отступленіе отъ идеала честнаго труженничества такъ заволновало бѣдняжку, что онъ раскричался благимъ матомъ и ничѣмъ не могли его успокоить; груди онъ послѣ того не хотѣлъ ни за что брать и такъ и умеръ, не успѣвъ придумать, за какой-бы полезный трудъ приняться ему, и, въ тоже время, не желая ни одного шага болѣе дѣлать по опасному и кривому пути филистерскаго дармоуѣдства. Читатель можетъ усомниться въ справедливости передъвѣданаго мною факта; я и самъ не вполне увѣренъ, дѣйствительно-ли я читалъ что-нибудь подобное, но, во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣній, что если до сихъ поръ еще ни одному беллетристу „Дѣла“ не пришелъ въ голову такой поэтической образъ идеальнаго младенца, то навѣрное скоро придетъ и — мы не замедлимъ прочитать на страницахъ „Дѣла“ въ романѣ Михайлова или Омелевскаго умиленную сцену трагической смерти младенца, который предпочелъ смерти отступленію отъ пути трезваго реализма.

Въ силу всего этого, когда вы начинаете читать романъ Михайлова, васъ невольно заинтересовываетъ судьба героя, такъ какъ вы проникаетесь слѣдующимъ соображеніемъ: Господи, ужъ если герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ столь необыкновенные задатки, такъ осмысленно и глубоко обсуждаетъ всѣ окружающія его явленія, такъ рано устремляется на путь

развитія и притомъ развитія въ духѣ трезваго реализма, такъ сочувствуетъ всему страждущему и угнетенному, такъ негодуетъ противъ всего угнетающаго, то что-же изъ него потомъ выйдетъ? Невольно припоминаете вы при этомъ біографіи различныхъ великихъ людей, не только русскихъ, но и западныхъ, и даже и въ ихъ дѣтствѣ, при всемъ желаніи біографовъ показать вамъ, что историческіе герои уже въ пеленкахъ создавали планы своей будущей дѣятельности, вы не видите и десятой доли того, что проявляютъ въ своемъ дѣтствѣ герои Михайлова!

Но читаете вы дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа уже Михайловъ, какъ-бы совсѣмъ забывши, какихъ онъ намѣревался представить намъ великановъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его — обыкновеннѣйшіе смертные, какъ мы съ вами; что они вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ цѣлымъ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямого пути и дѣйствительныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои наши оказываются такими иногда трагичными, что какая-нибудь полоумная тетюшка способна бываетъ направить ихъ на дорогу шалапайства, и если они не свертываютъ окончательно на эту дорогу, то благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному сопротивленію, а чисто внѣшнимъ случайнымъ обстоятельствамъ въ родѣ того, что тетюшка разоряется, убѣжаетъ или умираетъ. Но какъ-бы то ни было, въ концѣ романа, герои, наконецъ, просвѣтляются такіи новыми идеалами въ духѣ честнаго друженчества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находятъ мирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинаютъ блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Начинаете вы вглядываться въ этихъ вседовольныхъ и совершенныхъ героевъ, потому что, какъ хотите, а весьма любопытно посмотрѣть, что это за диво-совершенство въ семь мѣрѣ, заключающемъ въ себѣ такую массу всевозможныхъ несовершенствъ, да и кромѣ того, среди цѣлага ряда сомнѣній, огорченій и всякаго рода жизненныхъ дразгъ самаго возмутительнаго свойства, которыми вы ежедневно испытываете, развѣ не лестно научиться, какъ это хорошо люди устраиваютъ безоблачное счастье, нельзя-ли и намъ присоединиться къ нимъ какъ-нибудь? Ужъ не производятъ-ли Михайловъ невиданнаго и неслыханнаго чуда: не даетъ-ли онъ намъ ключъ отъ эдема? Начинаете вы съ этими мыслями всматриваетесь, говорю я, въ просвѣтленныхъ новѣйшими идеалами героевъ, и что-же представляется вамъ? Вы видите передъ собою милыхъ голубковъ, чистенькихъ, гладенькихъ, а какихъ невинныхъ, Боже мой, какихъ невинныхъ! Всѣ нравственныя, христіанскія и семейныя добродѣтели соединяются въ нихъ: кротость и незлобивость сердца, нѣжная преданность родителямъ, утѣшеніе алчущихъ и жаждущихъ и пр., и пр.; сидятъ они въ теплыхъ уголькахъ, въ уютныхъ гнѣздышкахъ и, проливая слезы умиленія при созерцаніи взаимныхъ добродѣтелей, тихо воркуютъ вамъ: мы тише воды, ниже травы, мы ничтожные мураши, простые люди толпы!

Въ пріобрѣтеніи честнаго куска хлѣба путемъ какой-нибудь муравьиного полезнаго труда—вся наша философія и все наше счастье; за большинствомъ-же мы не гонимся!.. Куда намъ: знай сверчокъ свой шестокъ. Всѣ наши несчастья и огорченія въ прошлой жизни, оттого, именно, и происходили, что мы метались безъ пути, взваливая себѣ на плечи громадные труды не по силамъ, будучи неподготовлены и къ малымъ трудамъ; теперь мы опомнились, познали наше ничтожество, и скромно *„сочли со сменой для того, чтобы начать мирную, бѣть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ-за куска хлѣба“*. И вотъ, какъ видите, живемъ, любимъ другъ друга, совсѣмъ наша спокойна и рыльце наше въ пушку. Только вы не подумайте, что мы всецѣло такъ ужъ и окупались въ тину пошлаго филистерства. Ничуть ни бывало: мысли наши по-прежнему возвышенны, мы занимаемся на досугѣ естественными науками, готовы и школу завести, если разрѣшитъ начальство, наконецъ, всегда готовы помочь и бѣдному, осушить слезы плачущаго... Чего-жъ вамъ больше?

Вслушиваясь въ такую философію мурашинскаго ничтожества, вы невольно припоминаете что-то весьма знакомое, затерявшееся въ вашей памяти: Ва! Да въдѣ это философія Молотова, та самая, которую онъ развивалъ своей новѣстѣ въ концѣ повѣсти. Совершенно тоже самое: „мы люди темные, будемъ блаженствовать въ тепломъ гнѣздышкѣ въ сознаніи своей честности“. Да и всѣ герои Михайлова сходятся къ молотовскому типу и похожи на Молотова, какъ двѣ капли воды.—Да, читатели, всѣ эти Прохорова, Теплицыны, Шуповы—симики съ Молотова; не подумайте только, какая неизмѣримая разница между отвращеніемъ къ своему герою Помяловскаго и Михайлова!

Въ Молотовѣ Помяловскій изобразилъ передъ нами своего рода представителя среды. Это была первая попытка въ нашей литературѣ представить героя этой новой среды мыслящаго пролетаріата, которая съ конца пятидесятихъ годовъ начала играть первостепенную роль въ сферѣ умственнаго движенія вѣснаго общества. Какъ представитель среды, какъ своего рода герой времени, Молотовъ несомнѣнно имѣетъ многія неотъемлемыя достоинства. Такъ, напримеръ, васъ могутъ привлекать въ немъ его величавая честность, плебейская гордость, доходившая часто до такой степени нравственной щепетильности, что даже въ желаніи сдѣлать ему подарокъ со стороны погнѣщиковъ, у которыхъ онъ давалъ уроки, онъ видитъ побужденіе унижить его нравственное достоинство и отказывается не только отъ подарка, но и отъ жбета; дажѣ, его стремленіе составить свое счастье собственными руками, никому не дѣлясь обязанностями въ немъ, ни передъ кѣмъ не стѣбаясь, никому ни въ чемъ не уступая; наконецъ, нравственная стойкость и энергія въ этомъ пути, соединенная съ строгимъ самообладаніемъ, привычкой воздерживаться отъ всякихъ мимолетныхъ увлеченій, прихотей и слабостей, могущихъ въ концѣ-концовъ свести съ того прямого пути, который разъ избралъ себѣ человекъ. Все это—качества, безспорно, прекрасныя и рѣзко отличающія Молотова отъ всѣхъ прежнихъ героевъ, возросшихъ на почвѣ крѣпостнаго права, безхарактерныхъ, ре-

лучше и безцѣльно шатающихся, куда подуетъ вѣтеръ. Но, какъ ни хороши эти качества, съ реальной точки зрѣнія и они вполне относительны, т.-е. при однихъ условіяхъ жизни могутъ произвести какіе-нибудь благіе результаты, при другихъ-же условіяхъ, слава Богу, если изъ нихъ не выйдетъ чего-либо весьма непримекательнаго. Какъ писатель реальный, Помяловскій и относится къ своему герою вполне реально; онъ не сибинитъ возвести въ вѣчто безусловно-идеальное хорошія качества своего героя, а безпристрастно показываетъ намъ въ своей повѣсти, какъ они, при данныхъ условіяхъ жизни, только и могли привести Молотова, что къ 20,000 капитала, мягкому дивану, фарфоровымъ вазамъ ио угламъ, семейному козлаку и усмыслительному сознанию, что я — человекъ толпы и потому отъ меня ничего не грѣбется, какъ только, чтобы и въ чужой карманъ не залезалъ и спины передъ ближнимъ не гнулъ, а въ остальномъ — Богъ проститъ. И въ концѣ-концовъ, Помяловскій скорбитъ о его судьбѣ, какъ скорбятъ объ Онѣгинѣ, Чацкомъ, Бельтовѣ, Рудинѣ — ихъ авторы. „Скучно, господа“, восклицаетъ онъ въ заключеніи повѣсти. А Михайловъ, наоборотъ, при взглядѣ на окончательную судьбу тѣхъ-же Молотовыхъ, умиляется, приходитъ въ телачій восторгъ и восклицаетъ сентиментально-риторическимъ тономъ, живо напоминающимъ языкъ Карамзина:

«Стократъ счастливъ тотъ, кто не слышалъ словъ правдолюбившей старости, кто унесъ въ своей памяти хотя одинъ милый образъ, который, какъ яркій лучъ изъ мрака прошедшаго, озаряетъ одинокую душу своей красотой, своей любовью и твердой вѣрой въ свои силы. Счастливъ читатель, который оживилъ чтеніе хотя одного романа и не потушилъ въ отчаяніи головы, но, поднявъ ее, и бодро, и весело устремилъ свои взоры за героями въ ихъ будущую, неизвѣстную ему, читателю жизнь, въ страну вымысла, созданную его пробужденнымъ воображеніемъ. Въ этой странѣ свѣтлые образы навсегда остаются свѣтлыми, и никакого пятна не наложитъ на нихъ наша грязная жизнь. Свѣтлое настроеніе охватитъ душу читателя и промелькнетъ въ его головѣ мысль: «еще можно жить на свѣтѣ, еще есть хорошіе люди, они мнѣ какъ-будто знакомы...».

Что-же за причина такого радикально-противоположнаго отношенія къ одному и тому-же типу двухъ различныхъ писателей? Какая-же можетъ быть иная причина какъ не время: Помяловскій жилъ въ вѣкъ наибольшаго реалистическаго движенія въ нашемъ обществѣ, когда ко всему относились критически, когда не вѣрили, чтобы можно было достигнуть олицетворенія какихъ-бы то ни было идеаловъ, хотя прелесть личнаго счастья среди гнетущихъ и растлѣвающихъ обстоятельствъ жизни. А нынѣ вѣкъ другой, нынѣ мы только и ищемъ, что оправданія нашего малодушія, дряблости, безсилія въ борьбѣ съ обстоятельствами, и готовы возвести въ идеалъ всякую мерзость, лишь-бы хоть въ чемъ-нибудь найти успокоеніе и усныть въ мирной пристани ничтожества проснувшуюся совѣсть.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ эти самозванные защитники новыхъ людей, Михайловъ, Омулевскій, Вашигъ,

выставляя намъ не настоящихъ людей нашего поколѣнія со всѣми ихъ недостатками и слабостями, а свои золотушные идеальчики, унижаютъ и топчутъ въ грязь своихъ кліентовъ неизмѣримо въ большей степени, чѣмъ враги. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, что унижательнѣе для дѣйствительныхъ новыхъ людей, представленіе-ли ихъ въ видѣ хищныхъ Карловъ Морровъ, какъ это дѣлаетъ московская беллетристика, или прекраснородно-песняныхъ трипичностей тише воды ниже травы? Признаться сказать, подобная защита ужаснѣе самаго жестокаго обвиненія.

Но при созерцаніи типовъ Михайлова приходится въ голову мысли, еще болѣе возмущающія душу до глубины. Посмотришь вокругъ себя и видишь, что личное счастье не въ романахъ Михайлова, а въ дѣйствительности и до сихъ не прямо, а обратно пропорціонально развитію, т.-е. и до сихъ поръ, чѣмъ менѣе развитъ человекъ, тѣмъ легче ему помириться со многими, съ чѣмъ не помирится никогда человекъ истинно-развитый и тѣмъ больше шансовъ устроить свои дѣлишки; посмотришь, какъ нынѣ живется развитымъ людямъ, и, вмѣсто тѣснаго сожитія въ блаженныхъ эмпирахъ, въ духѣ единенія, любви и общаго труда, видишь всеобщій разладъ, войнъ и спрележетъ зубовымъ на развалинахъ цѣлага ряда такъ-называемыхъ „благихъ начинаній“! Посмотришь, какъ осмѣяно и поправно все, чѣмъ когда-то жила, на что надѣялся, что было въ молодости твоею святинею; и раздается вокругъ тебя одинъ цингическій хохотъ обѣившихся, но не треснувшихъ еще отъ жиру всякого рода дѣльцовъ и срывателей кушей... А въ ухахъ еще не смолкъ грохотъ пушекъ, такъ недавно доказывавшихъ міру, что грубой матеріальной силѣ и теперь ничего не стоитъ наплевать на всѣ гуманныя, высокія идеи, которыя стоили человечеству столько слезъ и крови и стереть ихъ съ лица земли, какъ-будто ихъ никогда и не было... На сердцѣ у васъ кошки скребутъ, читатель. Развертываете вы книгу прогрессивнаго журнала, мечтая, что въ ней, если и не найдете утѣшенія, то хоть размыкаете скорбь вашу, и вдругъ передъ вами прекраснородный романтистъ строитъ умиительно-сентиментальную физиономию и говоритъ вамъ: „вы страдаете, вы мечтаете по свѣту, а отчего? — Отъ того, что многое берете на себя не по силамъ; бросьте лучше всѣ ваши кичливыя мечты, предоставьте передовымъ дѣятелямъ заботы о судьбахъ міра, исполнитесь кроткаго смиренномудрія, смѣшайтесь съ толпою, займитесь честнымъ муравьинымъ трудомъ и обрѣтите миръ и покой, *увидите, что есть еще хорошіе люди, еще можно жить на свѣтѣ*, и благо вамъ будетъ!“

Благо вамъ, философы честной пошлости, философы трезваго приниженія ниже травы, тише воды, философы дряблага малодушія, воображающіе сохранить свое человѣческое достоинство, отстранившись отъ всего, что дѣлается вокругъ васъ, и укрывшись отъ жизни въ раковинку блаженнаго прекраснородія! Вамъ только и живется на свѣтѣ.

# НАШИ ГРЯДУЩЕ БИСМАРКИ.

«Национальный вопрос въ исторіи и литературѣ». А. Градовскаго. Спб. 1873 г.

## I.

Национальный вопрос на первый взгляд может привести насъ къ очень грустнымъ мыслямъ, особенно если мы сравнимъ, чѣмъ былъ этотъ вопросъ лѣтъ 50 тому назадъ и чѣмъ онъ сталъ въ наше время. Вспомните въ самомъ дѣлѣ, какимъ великимъ приобретениемъ ума человеческого казался онъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, какимъ и лоднымъ, и смѣлымъ, и страшнымъ казался онъ тогда, какими надеждами и мечтами кружились молодыя горячія головы при одномъ словѣ „народность“ и какую злобою исполнялись сердца сѣдовласыхъ старцевъ, различныхъ Шульцевъ, Стурдзъ, Коцебу и прочихъ приверженцевъ священнаго союза и Меттерниха, сколько энергіи расточено ради этой идеи и сколько принято вѣнцовъ мученичества. Известно, что послѣ вѣнскаго конгресса вся Европа была опутана сѣтью тайныхъ обществъ, и большинство этихъ обществъ, въ особенности — карбонари, гетеріи, Tugend-Bund на первомъ планѣ своей дѣятельности ставили принципъ народности. Не говоря уже о Гарибальди, Манчини, Кошутѣ, политическая дѣятельность которыхъ всецѣло посвящена была національному принципу, мы можемъ насчитать многихъ и другихъ политическихъ дѣятелей, которые хотя переходили впоследствии къ инымъ принципамъ, но начинали свое политическое развитіе нецѣлѣбно съ національнаго принципа; для примѣра приведемъ наиболѣе всѣмъ известное и громкое имя Лассалы. Но, оставляя въ сторонѣ политическихъ дѣятелей, мы видимъ, что и наука, и искусства въ равной степени съ усердіемъ служили національному принципу. Такъ въ эпоху господства метафизической философіи всѣ знаменитые германскіе философы заплатили свою дань національному принципу, начиная съ Фихте, который готовъ былъ пожертвовать жизнью этому принципу и изображенія котораго нѣмецкіе студенты носили на трубахъ именно ради этой готовности, и кончая Шеллингомъ и Гегелемъ, возводившимъ національный принципъ въ основное начало исторіи человечества. При этомъ замѣтимъ, что не одна только гегелевская школа выступила съ пресловутой теоріею избранныхъ народовъ и поставила во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи германскую народность, которой, по ея ивѣнію, суждено сказать повѣднее слово цивилизаціи; по пути Гегеля шли писатели, нисколько не принадлежаніе къ его школѣ.

Метафизическій методъ все болѣе и болѣе утрачиваетъ свое значеніе для развитія вопроса общечеловѣчества; но онъ охраняетъ еще значеніе (въ дѣтствѣ) общечеловѣческой государственной науки для развитія вопроса политическаго...  
(Изъ вѣсти А. Градовскаго, стр. 87).

Одно время сдѣлалось какъ бы *conditio sine qua non* патриотизма, чтобы каждый историкъ во главѣ общечеловѣческой цивилизаціи ставилъ неспрелѣнно народность, къ которой онъ имѣлъ честь принадлежать. Такъ Гизо въ своихъ философско-историческихъ этюдахъ представительницею европейской цивилизаціи считаетъ Францію, и даже Бокль, знаменитый Бокль, котораго ставятъ во главѣ историковъ-реалистовъ, внесшихъ въ историческую науку положительный методъ, въ свою очередь идетъ по пути метафизика Гегеля и, считая представительницею общечеловѣческой цивилизаціи свою Англію, дѣлаетъ ее чѣмъ-то въ родѣ масштаба для измѣренія хода цивилизаціи въ другихъ народахъ.

Что касается искусствъ, то они раньше исторіи и политики съ конца прошлаго столѣтія уже устремились на народную почву. Съ нихъ то началось развитіе національнаго принципа, начало которому положило своею дѣятельностью Лессингъ.

Все романтическое движеніе въ литературѣ было ничѣмъ инымъ, какъ служеніемъ національному принципу. Когда же изъ міра науки и искусствъ, изъ темныхъ лабиринтовъ тайныхъ обществъ, національный принципъ впервые всылмылъ на поверхность законной международной политики въ видѣ греческаго вопроса, это произвело взрывъ такого необузданнаго энтузіазма во всей Европѣ, что даже великій поэтъ, стоявшій во главѣ всѣхъ европейскихъ литературъ, рѣшился пожертвовать этому вопросу всѣ свои могучія силы, всѣ свои матеріальныя средства и самую жизнь.

Въ развитіи нашего общества мы можемъ въ свою очередь припомнить такой моментъ, когда національный принципъ не былъ удѣломъ одного кружка, а представлялъ изъ себя модную идею, которою увлекалась вся мыслящая молодежь. Это было въ 20-ые годы. Тогда не существовало еще позитивнаго дѣленія на славянофиловъ и западниковъ, а всѣ общественные и литературные дѣятели, стоявшіе во главѣ умственнаго движенія, были немощко славянофилы. Этихъ и объясняются тѣ славянофильскія рѣчи Чацкого, которые повидимому звучатъ такъ странно въ устахъ молодого человѣка, только что пріѣхавшаго изъ-за границы и ругающаго наповалъ московское общество, но онѣ весьма понятны, если мы приведемъ во вниманіе, что въ то время вся и петербургская, и московская молодежь, увлекаемая національнымъ принципомъ, повсюду твердила вслѣдъ за Чацкимъ:

Пусть меня объявят старовѣромъ,  
Но хуже для меня нашъ сѣверъ во это кратъ  
Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ промѣвъ на  
новый ладъ:  
И нравы, и языкъ, и старину сплятую,  
И величавую одежду на другую,  
По шутовскому образцу...

Но вотъ прошло 50 лѣтъ, и Боже мой! что-же сдѣ-  
лось въ наше время изъ этого нѣкогда моднаго, про-  
грессивнаго и даже революціоннаго принципа! Градо-  
вскій съ откровенностью, поражающею васъ наив-  
нымъ простодушіемъ, въ предисловіи къ своему трак-  
тату прямо объявляетъ, какую роль суждено играть  
въ наше время національному принципу. „Эта теорія  
національно-прогрессивнаго государства, говоритъ  
онъ на страницѣ IV, одна можетъ быть противопу-  
ставлена требованіямъ нашего времени, сдержать за-  
воеванія ученій, которыя принято называть „разру-  
шительными“, хотя они суть только „инобытіе“ го-  
сподствовавшей государственной теоріи“.

Итакъ, принципъ, который въ свою очередь былъ  
выгоденъ требованіямъ времени и считался (такова  
уже видно судьба всѣхъ требованій времени) разру-  
шительнымъ ученіемъ, противъ завоеванія котораго  
былъ поставленъ оплотомъ священный союзъ, въ на-  
стоящее время становится самъ на мѣсто священнаго  
союза, своего кровнаго врага, и принимаетъ прискорб-  
ную и жалкую роль обуздателя какихъ-то новыхъ со-  
временныхъ требованій. И Градовскій совершенно  
правъ, навязывая національному принципу такую  
роль, отъ которой конечно всѣ умершіе великіе бойцы  
за этотъ принципъ должны перевернуться въ своихъ  
гробахъ, а живые покраснѣть отъ стыда. Вотъ уже  
10 лѣтъ, какъ національный принципъ играетъ въ  
европейской жизни именно эту самую роль обузда-  
теля и гасителя. Въ самомъ дѣлѣ: чуть въ какой-ни-  
будь европейской странѣ слишкомъ уже громко начи-  
наютъ заявлять себя живыя требованія времени, тотъ-  
часъ-же подымается какой-нибудь національный во-  
просъ, которыхъ такъ много паросло въ европейской  
жизни, завязывается кровопролитная война, поля  
опустошаются, тысячи семействъ сиротвуютъ, число  
нищихъ увеличивается въ странѣ, народъ стонетъ  
отъ увеличенія налоговъ вслѣдствіе уплаты военныхъ  
надежекъ и контрибуцій, но если бѣдствуетъ народъ,  
за то торжествуетъ національный принципъ, и въ раз-  
рушительномъ шовинизмѣ дѣйствительно обуз-  
дываются и забываются всѣ живыя требованія вре-  
мени. Примеромъ благотворнаго торжества національ-  
наго принципа можетъ служить намъ современная  
Германія. Объединенные подъ гегемонію Пруссіи,  
возвратившіеся изъ Франціи гордыми побѣдителями,  
задушевными несметными добычами, вѣнцами, въ во-  
схвалѣніи отъ торжества національнаго принципа, забы-  
ли всѣ тѣ глубокія идеи, всѣ тѣ мучительные вопро-  
сы времени, которые подымались и разрабатывались  
съ такою усердіемъ и ученостью въ ихъ отечествѣ;  
всѣ гениальныя умы затмившись, все ступенчалось и  
ладъ всѣхъ царить одинъ чванливый шовинизмъ, пре-  
исполненный дикихъ пристрастій и наглыхъ диффи-  
римовъ пангерманизма и слѣпнаго поклоненія грубой,  
матеріальной силѣ. А Франція, чему обязана она сво-  
имъ тридцатилѣтнимъ рабствомъ подъ гнетомъ иска-

теля приключеній и своимъ постыднымъ паденіемъ въ  
результатъ этого рабства, какъ не тому-же національ-  
ному принципу, служителемъ котораго объявилъ себя  
Наполеонъ III, и ловко умѣлъ время отъ времени по-  
дымать различные національные вопросы и отвле-  
кать французскіе умы отъ вопросовъ внутренней по-  
литики внѣшними войнами, снискивая себѣ въ то же  
время популярность и славу защитника угнетенныхъ  
народностей...

Послужилъ-ли національный принципъ хотя-бы къ  
тому, чтобы въ международныхъ сношеніяхъ побудить  
дипломатовъ соблюдать права народностей, если не  
на самостоятельность, то хотя-бы на выраженіе воли  
подчиниться тому или другому изъ государствъ, при-  
своивающихъ себѣ данную страну? Ни чуть не бывало.  
Подобно тому, какъ при Меттернихѣ и до него кроили  
и перекраивали Европу во имя идеи политическаго  
равновѣсія, столь-же произвольно и теперь кроютъ и  
перекраиваютъ ее во имя національныхъ принциповъ,  
идей объединенія и окруженія. Разница только въ  
томъ, что прежде полагали при присоединеніи обла-  
стей къ тому или другому государству, что у населе-  
нія нѣтъ надобности спрашивать согласія, такъ какъ  
народы по существу своему призваны повиноваться  
государственнымъ людямъ, заботящимся о ихъ бла-  
гѣ, теперь-же не считаютъ нужнымъ спрашивать согла-  
сія на томъ основаніи, что населенія по существу  
своему должны тянуть къ родственной національно-  
сти... И вотъ вслѣдствіи одной войны, ведущейся ра-  
ди національныхъ принциповъ, присоединяется Ниц-  
ца къ Франціи, вслѣдствіи другой—Эльзасъ и Лота-  
рингія къ Германіи. Предоставляемъ болѣе тонкимъ  
и глубокомысленнымъ политикамъ, въ родѣ хоть то-  
го-же Градовскаго, опредѣлить, чѣмъ отличается  
прежнее присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи къ  
Франціи отъ нынѣшняго присоединенія ихъ къ Гер-  
маніи; мы-же отказываемся находить въ обоихъ фак-  
тахъ присоединенія существенную разницу.

## II.

Если мы отъ національнаго принципа обратимся  
къ разнымъ другимъ, которые тоже въ свою очередь  
и въ свое время стояли во главѣ европейскаго дви-  
женія, то и въ ихъ судьбѣ мы увидимъ такое-же пре-  
ращеніе изъ двигателей прогресса въ тормазы  
его. Такъ, наприѣръ, возьмите хотя-бы дѣятель-  
ность первыхъ миссіонеровъ, распространившихъ  
христіанство среди полудикихъ германскихъ племенъ.  
Сколько энтузіазма и самопожертвованія было въ  
этихъ людяхъ. Изъ цивилизованныхъ городовъ, бро-  
сая всѣ удобства жизни и прерывая всѣ кровныя свя-  
зи, шли они въ лѣсныхъ трупцы къ дикимъ варва-  
рамъ, на холодъ, голодъ, мученія, иногда и вѣрную  
смерть. Они мечтали, что имъ удастся смягчить гру-  
бые нравы, обуздать дикія страсти и внушить дика-  
рямъ принципы любви и гуманности, и воображали-  
ли они, что ихъ дѣятельность будетъ имѣть резуль-  
татомъ католическую теократію, которая на цѣлые вѣ-  
ка наляжетъ тяжелымъ гнетомъ на Европу, гнетомъ,  
отъ котораго европейскіе народы не могутъ вполне  
избавиться и понынѣ.

Но вотъ противъ этого гнета въ XV вѣкѣ возста- ла европейская мысль, возбужденная знакомствомъ съ идеями древней цивилизации и цѣлымъ рядомъ открытій и изобрѣтеній. Началось новое движеніе, исполненное столь-же горячаго энтузіазма; на знамени прогресса были написаны великія слова: свобода совѣсти и право каждому толковать св. писаніе по своему разумѣнію. Все, что было живаго въ европей- скихъ обществахъ, устремилось за вождями этого дви- женія, и думали-ли эти вожди, что эманципируя Европу отъ авторитета папъ, они ведутъ ее къ пора- боженію псушающимъ ужь и сердце схоластическимъ резонерствомъ папъ разныхъ реформатскихъ церквей, которые въ концѣ концовъ подадутъ руку свѣтской власти для искорененія всякихъ новыхъ по- бѣтовъ европейской мысли.

А движеніе XVIII вѣка, все это броженіе скепти- ческихъ и гуманныхъ идей, разрывившееся обще- европейскимъ взрывомъ, что вышло изъ всего этого? Промышленная анархія на почвѣ безусловнаго инди- видуализма и вниклой равноправности, да идея еди- ной, нераздѣльной республики, съ убійственною цен- трализаціею, поддерживаемою штыками. Если респуб- ликанцы, вѣрные преданіямъ эпохи якобинцевъ, не являются еще вполнѣ реакціонерами, то благодаря только тому, что Европа и до сихъ поръ не отдѣла- лась отъ притязаній феодализма, съ которыми боро- лись ихъ отцы въ концѣ прошлаго столѣтія.

Переходя такимъ образомъ отъ одного движенія идей къ другому и видя, что каждая серія идей изъ прогрессивной дѣлается въ концѣ концовъ консерва- тивной и реакціонной, невольно становясь въ ту- шку и спрашиваешь себя, что-же это за нелѣпая игра и стоитъ-ли послѣ этого къ чему-нибудь стре- миться, если исторія осязательно убѣждаетъ тебя, что все кажущееся тебѣ непредежною истинною показается дожью дѣтъ черезъ 50, а можетъ быть и раньше, а прекрасныя убѣжденія твои обратятся въ орудіе же- стокыхъ преслѣдованій. Гдѣ-же послѣ этого настоя- щая-то истина, правда, и стоитъ-ли послѣ этого жить на землѣ, будучи смѣшною и жалкою игрушкою ка- кой-то бессмысленной исторической колдоватности?

Но всѣ подобныя сомнѣнія происходятъ ни отъ че- го иного, какъ отъ укоренившейся въ насъ привычки отдѣлать человѣчскій родъ отъ всего прочаго жи- вотнаго царства непроницаемою стѣною, воображать, что съ появленія челоѣка такъ сразу и началось на землѣ царство разума, и вслѣдствіе этого требовать, чтобы вся исторія челоѣчества слагалась по непре- ломнымъ законамъ безусловной разумности.

Если-же мы, отрѣшившись отъ этого предрасудка, снимемъ челоѣка съ того пьедестала, на который привыкли ставить его, убѣдимся, что челоѣкъ, какъ- бы онъ ни возвышался надъ прочими животными своєю способностью умственнаго развитія, тѣмъ не менѣе раздѣляетъ съ ними одну долю, подчиняясь не однимъ только идеямъ разума, а различнымъ вѣщнымъ тѣхъ-же самыхъ темныхъ инстинктовъ, какіе руко- водятъ всѣми животными, если, однимъ словомъ, мы признаемъ, что исторія челоѣчества не есть исторія разумныхъ существъ, а только стремившихся сдѣлать- ся разумными, мы, правда, разочаруемся во многихъ

радужныхъ фантазіяхъ, но за то перестанемъ смю- рить мрачными глазами на всѣ вышеупомянутыя дви- женія прогресса, увидимъ, что въ каждомъ изъ нихъ есть своя доля истины, правды, и не все со временемъ дѣлается удѣломъ реакціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое животный инстинктъ, и чѣмъ отличается онъ отъ разума? Было время, ког- да ему приписывали чудеса и ставили его даже выше челоѣческаго разума, видя въ немъ частіцу божь- ственнаго предусмотрѣнія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ рушилась вѣра въ цѣлесообразность явленій природы, исчезла и вѣра въ чудодѣйственность инстинкта. Онъ оказался ничѣмъ инымъ, какъ рядомъ инертныхъ привычекъ, образовавшихся путемъ ассоціацій впечатлѣній и часто повторившихся рефлекторныхъ дви- женій. Въ такомъ видѣ инстинктъ является не только не чѣмъ либо противоположнымъ разуму, — это тотъ же разумъ, но или находящийся въ зачаточномъ состо- яніи, не дошедшій еще до самосознанія и способности критически относиться къ явленіямъ вѣшняго міра и своимъ собственнымъ отправлениямъ, или же напро- тивъ того разумъ, утратившій самосознаніе, омерѣ- вѣвшій, если можно такъ выразиться. Мы просимъ читателей обратить особенное вниманіе на этотъ дво- кой характеръ инстинкта, такъ какъ это обстоятель- ство будетъ играть не малую роль въ нашихъ даль- нѣйшихъ разсужденіяхъ. Дѣло въ томъ, что инстинктъ не всегда предшествуетъ разуму, иногда онъ слѣдуетъ за нимъ, и это мы видимъ во многихъ проявленіяхъ инстинкта уже въ различныхъ низшихъ классахъ жи- вотныхъ. Это обстоятельство и обманывало людей, заставляя ихъ видѣть разумную цѣлесообразность тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ является одна механи- ческая инерція наследственной привычки, періодически повторяющаяся не только безъ всякой цѣли и смысла, но иногда и во вредъ животнаго. Такъ наиримѣрь, возьмите вы хотя бы привычку кошки зарывать свой пометъ въ землю. Очень можетъ быть, что при обра- зованіи этой привычки кошкою руководили какія-нибудь разумныя основанія, но разъ образовалась эта привычка, она дѣйствуетъ съ бессознательною заши- нальною аккуратностью маховаго колеса паровой чель- ницы, которое, разъ заведенное, будетъ вертѣться, хотя бы и не было подъ жерновомъ ни крупины мучъ. Такъ и кошка, находясь въ колѣнѣхъ, при видѣ своего помета, непрекѣнно доскрѣбеть полъ задними лап- ами, несколько не отдавая себѣ отчета въ томъ, что въ этомъ случаѣ подобное дѣйствіе лишено всякой цѣлесообразности. А что можетъ быть разумнѣе привычки бѣлки сохранять запасъ провизіи на зиму, во разъ сложившаяся, эта привычка въ свою очередь теряетъ всякую разумность и обращается въ такой же машинальный и бессмысленный обычай, и мы видимъ, что прирученная бѣлка продолжаетъ прятать гдѣ-нибудь въ уголку дома свой зимній запасъ, несколько не обращая вниманія на то, что сожителство съ людьми обеспечиваетъ ей продовольствіе и безъ этихъ бере- женій. Точно также наконецъ и овцы, привыкнувъ не безъ разумныхъ основаній слѣдовать за вожакомъ, доводятъ эту привычку до такой машинальности, что бросаются за своимъ вожакомъ и въ пропасть, въ слу- чай неудачнаго скачка съ его стороны.



Совершенно подобны же произлонія машиннаго, бессмысленнаго инстинкта мы можем встрѣтить на каждом шагѣ въ жизни человѣка и во всемирной исторіи. Мы не будемъ много распространяться о насѣбъ всякаго рода повседневныхъ обычаяхъ и приличіяхъ, оцѣтывающихъ нашу жизнь и своею машинальностью прямо относящихся къ инертнымъ привычкамъ инстинкта; таковы, напримеръ, суевѣрія, изъ которыхъ многія имѣютъ свое историческое происхождение, показывающее, что не всегда они были столь бессмысленны, какъ въ наше время: такъ, напримеръ, когда престолонаслідникъ, при встрѣчѣ съ попомъ, обѣнннть свернуть въ сторону, при этомъ сму и въ голову не приходитъ, что онъ машинально повторяетъ привычку своего предка-язычника, который ибѣлъ свои разумныя основанія свертывать съ дороги при встрѣчѣ съ христіанскимъ священникомъ, опасаясь гнѣва языческихъ боговъ. Проявленія безотчетныхъ инстинктивныхъ и часто воплѣтѣ рефлекторныхъ движеній, мы можемъ встрѣтить и въ болѣе зрѣлыхъ историческихъ явленіяхъ, чѣмъ примѣты, суевѣрія и мелкіе обычаи заходустій. Петръ Великій, напримеръ, сознательно брилъ бороды боярамъ, желая сдѣлать ихъ европейцами хотя бы по одной вѣнннности; но послѣ него обычай запрещенія носить бороды привилегированнымъ классамъ обратился въ мертвый формализмъ, дошедшій до такого отсутствія всякой осмысленности, что бороды не смѣли носить люди, съ ногъ до головы уже европеизировавшіяся, и когда никому и въ голову не приходило соединять съ ношеіемъ бороды какихъ-либо старовѣческихъ наклонностей. А графъ Шамборъ? На верхъ ли нелѣпости, что вопросъ быть или не быть королемъ соединяется въ его мозгу неразрывно съ вопросомъ будутъ или не будутъ на французскихъ знаменахъ парисованы излюбленные петлички. Какаа можетъ быть разумная связь между тѣми или другими общественными принципами и традиціями, развѣтвирившимися на башняхъ; это проявленіе самаго слѣплаго инстинкта человѣка, до такой степени прилизавшагося къ символу извѣстной идеи, что онъ потерялъ возможность представлять себѣ эту идею безъ символа и готовъ даже пожертвовать ради символа самою идеею. Но, да не подумаетъ читатель, что подобный абсурдъ составляетъ особенность одного графа Шамбора. Слѣшеніе идеи съ мертвою формою, съ которой иногда совершенно случайно соединяется идея, составляетъ одно изъ самыхъ существенныхъ историческихъ явленій въ жизни всѣхъ народовъ; отъ этого не изъяты даже люди, стоиціе врасреди вѣка. Вспомните, напримеръ, такой фактъ, какъ низверженіе вандалской колонны. Что такое въ сущности этотъ фактъ, какъ не ребяческой гнѣвъ разумныхъ существъ противъ неодушевленнаго куска гранита, которому рѣшительно все равно, стоять или лежать на Вандалской площади. Разсуждая по простому здравому смыслу, базалось бы такъ очевидно, что тѣ или другіе памятники, представителями какихъ бы вредныхъ идей они ни были, сами по себѣ не могутъ причинить никакого вреда, если мы постараемся искоренить вредныя идеи изъ самой жизни; протекутъ вѣка и памятники останутся въ глазахъ толпы ничѣмъ инымъ, какъ свидѣтелями прожитаго и будутъ только

оживлять своимъ присутствіемъ историческія воспоминанія. Не смѣнно ли тратить время и силы на разрушеніе бездушныхъ столбовъ, въ то время, какъ то зло, представители котораго эти столбы являются, продолжаетъ господствовать во всѣхъ отношеніяхъ жизни? Или ужъ если такъ необходимо выразить свой гнѣвъ на бездушныхъ камняхъ, то почему же не начать дѣло разоренія съ египетскихъ пирамидъ и колоннъ, которые остаются передъ нами памятниками тоже не бога иветъ какихъ доблестей человечества? Но какъ вы тамъ ни разсуждайте, сидя въ своемъ кабинетѣ, а вотъ нашлись-таки люди, взяли да и повалили вандалскую колонну. И замѣте притомъ, что подобный поступокъ не есть дѣло минутнаго увлеченія: онъ былъ совершенно внезапно, вполнѣхъ, какъ обыкновенно народъ въ дни возстаній срываетъ гербы и флаги; это дѣло было совершенно систематически: взялся за него одинъ изъ лучшихъ архитекторовъ Парижа и совершилъ его хладнокровно, во всѣмъ правиламъ искусства, принявши всѣ мѣры, чтобы колонна своимъ паденіемъ не поуредила окружающихъ зданій; однимъ словомъ, какъ будто дѣло шло здѣсь о чѣмъ-либо весьма цѣлесообразномъ и имѣющемъ важныя результаты для исторія страны или для Парижа.

Именно это-то смѣшеніе идеи съ формою и наклонность привязываться къ формѣ болѣе, чѣмъ къ идеѣ, происходящая по всей вѣроятности отъ той причины, что идея отвѣчевна, а форма осязательна, мы видимъ во всѣхъ вышеупомянутыхъ мировыхъ историческихъ движеніяхъ. Каждое движеніе въ началѣ своеѣ бываеъ весьма разумно и цѣлесообразно и приноситъ міру рядъ идей, истинность которыхъ несомнѣнна и которыя и не думаютъ отжнвлять вѣстѣ съ своимъ вѣкомъ, а напротивъ того продолжаютъ существовать въ умахъ лучшихъ людей во всѣ послѣдующіе вѣка. Такъ, напримеръ, развѣ умерли тѣ идеи гуманности, любви ближняго паче себя, которыя принесли христіанскіе миссіонеры дикарямъ германскихъ лѣсовъ? А идеи свободы совѣсти или права ума самостоятельно разсуждать, не ограничиваясь однимъ слѣплымъ повиновеніемъ высшимъ авторитетамъ, а идеи равенства передъ закономъ, народнаго самовластія, — развѣ всѣ эти идеи оказались впоследствии вредными и ложными и были отвергнуты передовыми мыслителями позднѣйшихъ вѣковъ? Ничуть не бывало: онѣ и понынѣ считаются лучшимъ достояніемъ человечества и между собою живутъ вполнѣ дружно, несколько не отрицая одна другую, позднѣйшая старѣйшую, и составили одну стройную систему, поддерживая и дополняя одна другую. Ивѣтъ, не идеи низводили прогрессивныя движенія на почву реакціи, а именно тѣ условныя историческія формы, въ которыхъ эти идеи проявлялись. Мы видимъ, что при каждомъ движеніи выдвигалась впередъ какаа-либо форма, которая, цѣблняясь за передовыя идеи, изъясляла претензію составлять съ ними ивѣчто одно, нераздѣльное. И люди до такой степени привыкли соединять свои любимыя идеи съ этою формою, что привычка и привязанность къ формѣ, возрастая все болѣе и болѣе, доходили, наконецъ, до того, что за формою забывались и самыя идеи. Тогда то и кончались всякая разумность и цѣлесо-

образность, а начинались дѣйствія слѣпаго инстинкта въ видѣ машинальнаго исполненія привычныхъ формъ и стремленія сохранить ихъ во что бы то ни стало, хотя бы подобное сохраненіе не только не имѣло ничего общаго съ идеями, но шло воплѣвъ въ разрѣзъ съ ними. Подобное низведеніе разумнаго движенія идей на степень слѣпаго инстинкта, мы, дѣйствительно, видимъ въ каждомъ изъ разсматриваемыхъ нами историческихъ моментовъ. Въ началѣ среднихъ вѣковъ формою, изъяснившю претензію составлять сосудъ для идей христіанскихъ миссіонеровъ, послужила католическая церковь, и до такой степени эта форма влослѣдствіи смѣшалась съ христіанскими идеями, что людиъ начало казаться, что для спасенія достаточно принадлежать къ католической церкви и исполнять ея обряды, а о проведеніи самихъ идей въ жизнь перестали и помышлять, и даже начали поступать совершенно вопреки ихъ, когда ради сохраненія излюбленной формы начали воздвигать кровавыя войны и костры инквизиціи. Въ XVI вѣкѣ такою формою явились различныя реформатскія церкви, которыя въ свою очередь, поставивши на своемъ знамени свободу совѣсти и разума, забыли влослѣдствіи о своихъ основныхъ принципахъ и, когда свобода критики коснулась ихъ самихъ, начали дѣйствовать въ союзѣ со свѣтской властью противъ идей, которыя сами же нѣкогда воздвигли. Гуманныя и скептическія идеи XVIII вѣка прильщились въ глазахъ вѣрныхъ преданійъ первой революціи къ идеалу единой, нераздѣльной, централизованной республики, и въ свою очередь, разъ эта форма восторжествуетъ и утвердится, хотя бы во Франціи, приверженцы ея всегда будутъ готовы воздвигнуть гоненія, весьма не гуманныя, противъ каждаго противника подобной формы.

### III.

Национальный принципъ, составляющій предметъ нашихъ разсужденій, въ свою очередь не избѣгъ той же участи перехода изъ сферы разумности въ сферу слѣпыхъ инстинктовъ бездушнаго формализма. Въ основѣ этого вопроса лежитъ идея воплѣвъ разумная, несомнѣнно истинная и явившаяся не случайно, не свалившаяся съ неба, такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, а вынесенная изъ горькаго опыта жизни. Чтобы понять весь смыслъ этой идеи и всю ея важность, надо обратить вниманіе на то, какъ гуверналисты дореволюціонной эпохи, такъ и рационалисты эпохи революціи воплѣвъ игнорировали фактъ существованія различныя народностей. Гуверналисты, вѣрные феодальнымъ понятіямъ и преданіямъ, все государственныя вопросы сводили къ вопросамъ о владѣніи землею, люди же, населявшие земли, по ихъ понятіямъ, составляли нѣчто одно нераздѣльное съ землями и имѣли въ ихъ глазахъ значеніе, нисколько не большее, чѣмъ лѣсъ или луга, т. е. разсматривались исключительно только, какъ статьи дохода. Очевидно, что вопросы о народныхъ интересахъ не могли имѣть здѣсь и мѣста, потому что не все ли было равно для феодальнаго владыки, какіе бы народы ни населяли различныя части государственной территоріи, лишь бы

только эти народы исправно платили подати и поставляли рекрутовъ въ государственную армію?

Естественно, что при такихъ воззрѣніяхъ единственными вопросами международной политики могли быть вопросы о правахъ на владѣніе тѣми или другими землями различныхъ государствъ, и не столько даже государствъ, сколько ихъ представителей, такъ что уничтоженіе какого-либо государства и присоединеніе его территоріи къ другому представлялось въ глазахъ государственныхъ людей не потерей завоеваннымъ народомъ свободы, а простою экспроприаціею бывшаго владыки.

Рационалисты XVIII вѣка возстали противъ всехъ этихъ порядковъ, основанныхъ на феодальныхъ преданіяхъ. Въ основѣ своихъ ученій они поставили тотъ всехъ извѣстный принципъ новаго времени, что не люди существуютъ для государства, а государство для людей. Основываясь на этомъ принципѣ, они начали создавать а priori планы такихъ государственныхъ устройствъ, которыя, будучи основаны на разумныхъ началахъ, служили-бы къ наибольшему счастью и благополучію. Въ теоріи все эти планы были прекрасны, основывались на истинно гуманныхъ идеяхъ свободы и равноправности, но когда пришлось осуществлять ихъ на дѣлѣ, въ дѣйствительности рационалисты встрѣтили не тѣхъ априорныхъ людей, которые въ ихъ фантазіи стремились къ братству и единенію въ духѣ свободы и любви, а рядъ народностей, находящихся на различныхъ ступеняхъ культуры, имѣющихъ каждая свои дорогія историческія воспоминаванія, свои освященные вѣками обычаи и формы жизни, наконецъ, свои симпатіи и антипатіи, — однимъ словомъ, въ дѣйствительности рационалисты встрѣтились не съ разумными существами, готовыми слѣдовать законамъ разума, а съ стадными животными, слѣпо повиновавшимися различнымъ влѣніямъ инстинкта. Безъ-бы рационалисты были чистые мыслители, то они, конечно, остановились-бы передъ такою дѣйствительностью и ограничились-бы тѣмъ, что сказали-бы людямъ: вотъ вамъ рядъ идей, способныхъ ослѣпить васъ и сдѣлать настоящими людьми. Способны вы принять эти идеи и слѣдовать имъ — ваше счастье, а вѣтъ — вините себя, мы все-таки будемъ дѣлать свое дѣло и проповѣдывать вамъ наши идеи, авось вы когда-нибудь и прозрѣете. Но рационалисты не могли ограничиться этимъ, потому что они были людьми не однихъ словъ, но и дѣла. Они до такой степени вѣрили въ силу и спасительность своихъ идей, что имъ казалось, что и насильно навязанная, эти идеи должны привести свою пользу. И вотъ начались всевозможныя попытки рациональныхъ реформъ сверху, которыми сначала записались философствующіе правители въ родѣ Фридриха Великаго, Екатерины и Юсифа II, а потомъ все эти частныя попытки смѣнились однимъ колоссально-безумнымъ опытомъ Наполеона — разрушить силою меча все национальныя перегородки, слить все европейскія народы подъ одинъ скипетръ и водворить въ нихъ рациональныя учрежденія, выработанныя французскою революціею. Национальный принципъ былъ прямымъ логическимъ выводомъ изъ всехъ этихъ неудачныхъ попытокъ къ насильственному водворенію на землѣ царства разума.

Попытки эти показали людямъ, что какъ ни прекрасны могутъ быть тѣ или другія учрежденія въ теоріи, въ дѣйствительности они могутъ осуществиться только тогда, когда они свободно и естественно развиваются изъ жизни народа; необходимо поэтому, чтобы народъ доросъ до нихъ, понялъ ихъ, захотѣлъ ихъ; все-же искусственно навязываемое народу, помимо его желанія, не только не приноситъ ему пользы, но причиняетъ неизгладимый вредъ потому что парализуетъ свободное и естественное развитие народной культуры, обращая народъ изъ живаго существа въ мертвый матеріалъ, изъ котораго можно будто-бы выдѣлать какую угодно форму по нашему личному произволу. Въ результатъ выходитъ тотъ выводъ, что каждая народность имѣетъ право на свободное, самостоятельное развитие, и всякое насиліе надъ нею не только ради своекорыстнаго господства, но и съ самыми благодѣтельными цѣлями терпимо быть не можетъ. Вотъ основаніе національнаго принципа. Я полагаю, что каждый здравомыслящій человекъ согласится съ истинностью подобнаго основанія и не найдетъ въ немъ ничего такого, что-бы въ послѣдствіи могло сдѣлаться регрессивнымъ и реакціоннымъ, подобно тому, какъ не можетъ быть ничего реакціоннаго въ христіанскихъ идеяхъ любви и гуманности, въ реформаціонныхъ идеяхъ свободы совѣсти и разума, въ свѣтскихъ идеяхъ XVIII вѣка. Защищая право каждаго народа на свободное и самостоятельное развитие, національный принципъ, взятый въ своемъ чистомъ видѣ, и не думая завязывать народы тѣ или другія стремленія, такое развитие, а не другое, преодолевать наприхѣръ, что каждая народность непремѣнно должна стремиться къ единству, къ созданію своихъ особенныхъ самостоятельныхъ государственныхъ формъ и пр., и съ другой стороны отвергнуть возможность раздробленія народа на нѣсколько государствъ или соединеніе нѣсколькихъ народностей въ одно государство. Для національнаго принципа важно только, чтобы надъ народомъ не производилось никакаго насилія и воля его свято соблюдалась, что-же касается характера народныхъ желаній, то какъ-бы они ни были противоположны, народный принципъ долженъ относиться къ нимъ съ одинаковымъ уваженіемъ. И дѣйствительно мы можемъ предположить себѣ рядъ проявленій народныхъ стремленій, диаметрально противоположныхъ другъ другу — и все-таки одинаково долженъ сочувствовать національный принципъ. Является наприхѣръ народность, находящаяся въ раздробленномъ состояніи, желающая соединиться въ одно цѣлое; такова была Италия въ недавнее время. Конечно, національный принципъ долженъ принять такое стремленіе подъ свое покровительство и вооружиться всѣми своими силами противу людей, желающихъ насильственно сохранить раздробленіе народности изъ какихъ-нибудь своекорыстныхъ видовъ или теорій политическаго равновѣсія. Но вотъ мы видимъ другую народность — наприхѣръ Англію, стремящуюся къ раздробленію; мы видимъ, что одна огромная часть, въ видѣ Америки, отвалилась уже отъ своей метрополи; не сегодня завтра тоже сдѣлается съ Индіей или англійскими владѣніями въ Австраліи. Национальный принципъ долженъ и

такое стремленіе взять подъ свое покровительство въ виду людей, которые насильственно старались-бы сохранить единство народа ради государственной цѣлости. Отторгнутая завоеваніемъ провинція съ отвращеніемъ переноситъ чужеземное иго и тянется къ единоплемениному государству. Нужно ли и говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому національный принципъ? Но вотъ происходитъ нѣчто совершенно противоположное: отторгнутая провинція, въ родѣ наприхѣръ, Эльзаса и Лотарингіи, такъ сжидается съ своими завоевателями, что совершенно приросла къ нимъ, особенно послѣ того, какъ успѣла много кое-чего перемкнуть съ ними общаго; и вдругъ соединя народность, которой нѣкогда принадлежала эта провинція, снова возвращаетъ ее себѣ на томъ основаніи, что населеніе этой провинціи одного съ ней племени, между тѣмъ, какъ населеніе возвращенной провинціи не хочет и знать своихъ земляковъ и продолжаетъ тянуться къ своимъ прежнимъ завоевателямъ. Неужели же національный принципъ долженъ одобрить это насильственное присоединеніе провинціи ради теоріи народнаго единства? Нѣтъ, онъ долженъ не забывать, что единственное истинное основаніе его — есть отрицаніе всякаго насилія надъ цѣлымъ народомъ или хотя бы частію его, и онъ, въ свою очередь, долженъ стать на сторону провинціи, не желающей присоединенія, и объявить, что единство, созданное насильственнымъ путемъ, вовсе не есть единство. Нѣсколько народовъ насильственно связываются въ одно государство подъ верховною властію, совершенно всѣмъ имъ чуждою. Прихѣръ такого государства представляетъ Австрія. Нужно-ли опять-таки говорить о томъ, какъ долженъ отнестись къ этому факту національный принципъ? Но можетъ случиться и такъ, что нѣсколько народностей пожелаютъ составить одно государство или, можетъ быть, онѣ давно уже составили и отлично ужились между собою. Европа можетъ представить намъ и такой прихѣръ въ видѣ Швейцаріи, въ которой дѣйствительно подъ одной государственной формой вотъ уже нѣсколько вѣковъ существуютъ три народности: французская, нѣмецкая и итальянская. Представьте-же себѣ, что вдругъ Франція, Италия и одна изъ нѣмецкихъ державъ вздумали бы составить между собою союзъ съ цѣлю раздѣленія Швейцаріи, ради объединенія народностей каждаго изъ союзныхъ державъ. Чьей-бы сторону долженъ здѣсь принять національный принципъ: сторону-ли державъ, выступившихъ приверженцами національнаго объединенія, или швейцарцевъ, желающихъ составлять одно государство, несмотря на различіе народностей, входящихъ въ него? Очевидно, сторону швейцарцевъ. Онъ долженъ былъ-бы напомнить приверженцамъ объединенія, что подобно тому, какъ иностранецъ, съ которымъ мы прожили десять лѣтъ въ одной комнатѣ душа въ душу, дѣлается для насъ въ неизмѣримо большей степени роднымъ, чѣмъ тотъ кровный родственникъ, съ которымъ мы никогда въ жизни не видались, такъ и для гражданъ Берна гораздо роднѣе граждане Женевы, чѣмъ граждане Вѣны или Берлина. Много значить прожить съ кѣмъ-нибудь долгое время подъ однимъ впечатлѣніемъ жизни, и въ этомъ отношеніи

доктрина народнаго объединенія является мертвою, абстрактною теорією, идущою въ разрѣзъ со всѣми народными симпатіями и влеченіями, и національный принципъ долженъ воспротивиться всѣми своими силами противъ такого насилія.

Наконецъ, представимъ себѣ, что во главѣ народа стоитъ правительство, состоящее изъ людей, сильно увлеченныхъ культурными формами какой-нибудь чуждой національности и желающихъ во что-бы то ни стало пересадить эти формы на почву своего народа; между тѣмъ, масса народа, дорожа своєю собственною культурою, вовсе этого ни желаютъ и относятся къ реформамъ враждебно. И какъ-бы пересаженные культурныя формы ни были выше народныхъ, національный принципъ непремѣнно долженъ возстать противъ такой пересадки, именно, во имя того, что ничто насильно навязанное народу не можетъ пустить въ немъ глубокихъ корней и не можетъ принести ему никакой пользы, а напротивъ того, только извращаетъ его понятія, приучая его, вълѣдствіе инстинктивной оппозиціи противъ насилія, съ отвращеніемъ относиться къ такимъ предметамъ, которые сами по себѣ должны-бы были внушать, напротивъ того, сочувствіе и могли-бы принести бездну блага. Но мы можемъ представить себѣ и совершенно обратный случай: народъ всею массою увлекается формами чуждой культуры и желаетъ пересадить эти формы на свою почву; во главѣ же его стоятъ люди, держащіеся такого мнѣнія, что народъ долженъ, во что-бы то ни стало, сохранять свои народныя культурныя формы и отнюдь не перенимать чужихъ, и люди эти начинаютъ употреблять всѣ усилія, чтобы удержать народъ отъ подражанія чуждымъ ему формамъ. Долженъ-ли національный принципъ встать на сторону подобныхъ консерваторовъ? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. И въ этомъ случаѣ, какъ во всѣхъ предыдущихъ, для него должна быть дорога народная воля и онъ долженъ заявить людямъ, желающимъ идти противъ этой воли: да, неестественно навязывать народу насильно формы чуждой ему культуры, но столь-же неестественно и насильно стараться удерживать въ народѣ его старыя формы. Желаніе, созрѣвшее въ массахъ народа, относительно принятія какой-нибудь чуждой культурной формы, должно считать столь естественнымъ и нормальнымъ, какъ, если-бы эта чуждая форма была создана самимъ народомъ: чего народъ желаетъ, то, значить, ему не чуждо, то, значить, народно и должно ему принадлежать неотъемлемо.

Я прошу извинить читателей, если я надобѣлъ ему рядомъ своихъ антитезъ; но я желалъ ими вполне исчерпать всевозможныя отношенія къ различнымъ явленіямъ жизни національнаго принципа, взятаго въ его чистомъ видѣ. И мы видимъ изъ этого ряда антитезъ, что національный принципъ самъ по себѣ не имѣетъ ничего общаго съ теоріей народнаго единства, требующаго, чтобы каждый народъ составлялъ непременно одно, особенное государственное цѣлое и чтобы отнюдь нѣсколько народовъ не могли сливаться въ одно государство или, наоборотъ, одинъ народъ раздробляться на нѣсколько государствъ; не имѣетъ ничего общаго и съ доктринами народной исключительности, требующей, чтобы народъ свято сохранялъ всѣ

свои культурныя формы и въ принятіи каждой чуждой формы видѣлъ гибель.

## IV.

Но мы уже говорили, что національный принципъ, какъ и всѣ прочіе предшествовавшіе ему великіе историческіе принципы, не могъ удержаться въ своемъ чистомъ видѣ и, въ свою очередь, перешелъ въ слѣдствіи на почву мертваго формализма. Этому помогли тѣ же историческія обстоятельства, которыя и вызвали его. Истинному пониманію принципа въ его чистомъ видѣ очень часто мѣшало тѣ вполне естественныя, но тѣмъ не менѣе инстинктивныя и лишеныя всякой осмысленности реакціи въ противоположную сторону, которыя слѣдуютъ за всякимъ увлеченіемъ и которыя Градовскій, слѣдуя гегелевской терминологіи, называетъ инобитіемъ. Съ одной стороны, гегельянцы и рационалисты до такой степени пренебрегали народными интересами, считая народы ничтѣмъ инымъ, какъ какимъ-то мертвымъ матеріаломъ, для осуществленія своихъ своекорыстныхъ и абстрактныхъ цѣлей, и такъ произвольно позволяли себѣ дѣлать и соединять ихъ, что вызвали противоположную крайность, въ силу чего приверженцы національнаго принципа не могли остановиться на одномъ только отрицаніи какихъ-бы то ни было насилій надъ волею народовъ, а начали воображать, что народы по своему существу своему внутренно нераздѣлимы и въѣшно несоединимы, что ужъ такъ положено самою природою, чтобы человечество раздѣлялось на отдѣльныя народныя группы, причемъ каждая народная группа должна непремѣнно составлять особенное, независимое цѣлое, потому что она есть особенный живой организмъ; мечтать же изъ двухъ-трехъ организмовъ составить искусственно одинъ столь же негѣло, какъ и наоборотъ расчленять организмъ на части, мечтая изъ каждой части создать особенное живое существо. Съ другой стороны надо вспомнить, что въ XVIII вѣкѣ всѣ европейскіе народы были увлечены французскою цивилизаціей. Это увлеченіе, какъ извѣстно, не ограничивалось одними идеями, распространявшимися французскими мыслителями, а доходило до крайностей, лишеныя всякой осмысленности и стоявшихъ воплѣтъ на почвѣ рефлексивныхъ движеній подражательности: перенимали изъ Франціи все, что только бросалось въ глаза: костюмы, убранство комнатъ, архитектуру домовъ и садовъ; старались и говорить, и ходить, и писать, какъ французы, и также развратничать, какъ развратничали въ Версали. Эта крайность вызвала противоположную крайность, столь-же слѣпую и неосмысленную. Послѣ наполеоновскихъ войнъ всѣ ударились въ късасной патриотизмъ, начали прославлять народныя обычаи и нравы, возводить въ идеалъ различныя народныя качества шюгга самого не идеальнаго свойства и отрицать полезность перенесенія съ почвы одной народности на почву другой какихъ-бы то ни было культурныхъ формъ. Подобному увлеченію ревностно вторила метафизическая философія, выступившая со своею извѣстною теоріей, заключающеюся въ томъ, что каждая народность есть выразительница одной какой-нибудь стороны бе-

душевной идеи и поэтому должна развиваться совершенно самостоятельно; увлечение же какими-нибудь культурными формами чуждой цивилизации может повести только к тому, что народность, потерявши свою индивидуальную особенность, обезличится и утратить всякое историческое значение. На почве таких учений и развились различные германофильства, славянофильства и пр. Таким образом, национальный принцип и вступил на почву мертвого формализма. Вместо того, чтобы органицироваться одною зарисовкою свободных произведений народной воли и отрицанием каких бы то ни было насилий над народом, он начал сам навязывать народу ряд стремлений, выведенных из ряда различных метафизических начал и вместе с тем предписывать зарисовку предвзятых форм жизни. Требование, чтобы народность, непременно объединенная, непременно была неразрывно связана государственными формами, созданными опять-таки непременно ею самою, — сдѣлалось благочестивым желаніем националистов; въ эти ужасы жизни они начали стремиться втиснуть всю историческую жизнь европейских народовъ, оторвавъ вѣдь этихъ рамокъ возможность какого бы то ни было движения жизни. Но вѣдь это величайшее насилие, какое только можно себѣ представить. Что же, если оно и должно быть: каждый принципъ, переходя на почву формализма, приходитъ къ отрицанію техъ самыхъ идей, какія положены въ его основаніе. Къ этому же привелъ и национальный принципъ: отъ отрицанія насилия онъ самъ неизменно долженъ былъ обратиться къ насилию, разъ онъ создалъ себѣ фетиша, поклоненіе которому сдѣлалъ всеобщую обязанностью. Пока подобный формализмъ стоялъ еще на почвѣ отвлеченныхъ теорій кабинетныхъ мыслителей въ родѣ нашихъ славянофиловъ 40-хъ годовъ, конечно было и не замѣтить противорѣчія между ними и чистыми основаніями національнаго принципа. Можно было думать, что националисты-формалисты ограничатся пропагандою своихъ утопій, но въ то-же время, во имя основныхъ началъ своего принципа, никогда не покусатся силою провести эти утопіи въ жизнь, въ случаѣ если жизнь, не послушавшись, будетъ идти своею дорогою. Но когда национальный формализмъ началъ переходить въ Европѣ отъ слова къ дѣлу, когда онъ прошикъ въ сферу международнай и внутренней политики, тогда и обнаружилось, что въ дѣйствительности онъ иначе не можетъ быть проведенъ, какъ путемъ цѣлаго ряда самыхъ грубыхъ и убійственныхъ насилий. Германское объединеніе показываетъ намъ наглядно, какковы первые шаги національнаго формализма въ жизни. Но это только цвѣточки, а ягодки будутъ впереди, и мы не знаемъ еще, сколько крови будетъ пролито, сколько будетъ совершено ужасныхъ насилий и погнано самыхъ естественныхъ народныхъ стремлений.

## V.

У насъ не существуетъ еще такой національной партіи, какъ въ Пруссіи, гдѣ эта партія строго организована, имѣетъ опредѣленную, признаваемую всѣми членами программу дѣйствій, и стоитъ во главѣ

правленія, являясь въ настоящее время побѣдительною въсѣхъ другихъ партій общества. У насъ существуютъ только разрозненные славянофильскіе кружки, идеи которыхъ и до сихъ поръ находятся въ состояніи хаотическаго броженія въ области чистой мысли безъ малѣйшей возможности перейти къ какому либо дѣйствию. Въ 40-е же годы славянофильскія идеи находились еще въ большемъ хаосѣ и, стоя на почвѣ метафизическихъ теорій, еще меньше имѣли соприкосновенія съ дѣйствительностью, будучи ничѣмъ болѣе, какъ отвлеченными мечтаніями кабинетныхъ людей. До какой степени неопредѣленно и, если можно такъ выразиться, безформенно было славянофильство, это мы можемъ судить по тому, что подъ знаменемъ славянофильскія ставились не одни только чистые славянофилы, въ родѣ Кирѣевскихъ, Хомякова, К. Аксакова, — не одни люди, проповѣдующіе гніеніе Запада и исканіе идеаловъ для будущей общечеловѣческой цивилизаціи въ славянскомъ мирѣ, но и такіе поборники краснаго и официальнаго патриотизма, какъ Погодинъ; въ славянофильствѣ же причисляли себя и различные археологи по славянскимъ древностямъ, занимавшіеся своими изысканіями ради одной страсти къ разрыванію архивовъ и которые въ вопросѣ о томъ, къ какому вѣку относится языкъ краевдворской рукописи, видѣли альфу и омегу всѣхъ славянскихъ вопросовъ, такъ что на домыслы о будущихъ судьбахъ славинства у нихъ не было ни времени, ни охоты. Сюда же шли и мистики всякаго рода, въ родѣ Гоголя, по той простой причинѣ, что они находили много сочувственнаго въ томъ положеніи славянофильскаго ученія, что оскудѣніе вѣры и развитіе скептицизма есть одинъ изъ признаковъ гніенія Запада, хотя у подобныхъ мистиковъ только и общаго было съ славянофилами, что этотъ единственный пунктъ. Находясь въ состояніи такого безформеннаго хаоса, славянофильство только и проявляло свою дѣятельность, что тушанно-философскими разсужденіями о гніеніи Запада и о переходѣ общечеловѣческой цивилизаціи на славянскую почву, богословскими трактатами о преимуществѣ православной церкви передъ всѣми западными церквами, историческими изысканіями, съ цѣлію доказательства преимуществъ различныхъ культурныхъ формъ славянскаго быта, да собираніемъ памятниковъ народной поэзіи. Такимъ образомъ славянофилы были воистинѣ безобидными мечтателями, никто и не воображалъ, чтобы когда-нибудь хотя малая часть ихъ простодушныхъ мечтаній могла быть осуществлена; всѣ ихъ величавыя крайности не возбуждали ничего болѣе, кромѣ столь же величаваго смѣха, который переходилъ въ негодованіе тогда только, когда какой либо слишкомъ расходившійся славянофилъ обзывалъ въ жару полелики изгнѣнниками отечества тѣхъ изъ своихъ враговъ, на которыхъ и безъ того уже носились въ высшихъ сферахъ.

Но въ началѣ 60-хъ годовъ изъ безформенной массы славянофильства начала выдѣляться особенная фракція людей, которые, выражая сочувствіе чистымъ славянофиламъ, раздѣляя многія ихъ идеи, тѣмъ не менѣе говорили, что они вовсе не славянофилы и не раздѣляютъ многихъ ихъ крайностей. Люди эти были

названы почвенниками, потому что въ органахъ своихъ (Время, Эпоха, Заря) они все толковали о народной почвѣ и на каждое явленіе жизни смотрѣли съ той точки зрѣнія, что имѣетъ ли оно народную почву подъ ногами или не имѣетъ. Было у нихъ еще и другое сатирическое названіе стрижей, данное имъ вслѣдствіе крайней безобидности и невинности ихъ робкихъ воркованій о почвѣ. Но какъ ни туманны и неопредѣленны, какъ ни робки и безобидны были всѣ эти стрижины воркованія, они не были сами по себѣ столь маловажны, какими казались въ то время. Это былъ первый, хотя и колеблющійся, нерѣшительный, по тѣмъ не менѣе новый шагъ перевести славянофильство изъ его заоблачныхъ метафизическихъ высей на почву дѣйствительности, очистить его отъ всего того, что представлялось слишкомъ утопичнымъ и несбыточнымъ въ славянофильскомъ ученіи или что слишкомъ уже шло въ разрѣзъ со всеобщими требованіями, и путемъ уступокъ сблизить славянофильскія идеи съ общественнымъ движеніемъ. Все это дѣлалось крайне неумѣло вслѣдствіе того, что во главѣ этой новой славянофильской фракціи стояли люди, не отличающіеся особенно даровитостью и не вполне опредѣлившіе тотъ путь, на который они выступили, и потому они постоянно сбивались съ него то въ сферы чистаго славянофильства, то на почву реакціонной публицистики въ духѣ Каткова, то удалялись вдругъ въ чисто-литературные вопросы, видѣли особенную важность въ опредѣленіи, на сколько можно считать народными писателями Пушкина или Островскаго, вопросы, на которые, конечно, не обратилъ бы и вниманія маломальски талантливый публицистъ, неуклонно стремящійся къ своей цѣли. Такъ шли дѣла до начала изданія въ Москвѣ „Весѣды“. Въ этомъ органѣ новое направленіе славянофильства, наконецъ, выяснилось и опредѣлялось на столько, что о немъ можно сдѣлалось говорить, какъ о дѣйствительно новомъ направленіи. Чистые славянофилы, вѣрные преданіямъ эпохи Хомякова и Кирѣевскихъ, сколько мы слышали, отзывались о „Весѣдѣ“ не совсемъ дружелюбно, несмотря на то, что „Весѣда“ считалась въ обществѣ славянофильскимъ органомъ, и они имѣли на это право. Хотя „Весѣда“ очень высоко ставила славянофиловъ и много толковала о ихъ заслугахъ, но принимала ихъ ученія далеко безусловно и относилась къ нимъ критически. Это критическое отношеніе къ славянофиламъ обуславливалось тѣмъ, что у сотрудниковъ „Весѣды“ были свои особенные взгляды, значительно отличавшіеся отъ славянофильскихъ, хотя, повидному, и возросшіе на ихъ почвѣ: особенность же этихъ взглядовъ въ томъ именно и заключалась, чтобы оформить широкія и распылчатыя славянофильскія идеи, вставивши ихъ въ узкія, но за то рѣзко опредѣленные рамки національнаго формализма и такимъ образомъ метафизическія утопіи обратить въ политическое ученіе, могущее служить практической и возможною къ осуществленію программой правительственныхъ дѣйствій. Такой переходъ славянофильства съ отвлеченной почвы на практическую шѣтетъ, по нашему мнѣнію, весьма большую важность въ нашей жизни. Этимъ путемъ славянофильство изъ

небольшихъ кружковъ мечтателей, не имѣющихъ ни малѣйшаго вліянія въ жизни, можетъ превратиться въ обширную политическую партію, которая, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, будетъ имѣть огромное вліяніе въ нашей жизни, если только не проглотитъ все. Принявъ такого всепоглощенія мы видимъ въ современной Германіи и не имѣемъ шансовъ утверждать, чтобы и у насъ не могло бы произойти чего-либо подобнаго. Напротивъ того, многія обстоятельства заставляютъ насъ предполагать, что національный формализмъ можетъ возмѣнить у насъ торжество, гораздо, можетъ быть, въ болѣе скоромъ времени, чѣмъ многіе предполагаютъ. Въ него, конечно, не замедлятъ влиться всѣ тѣ фракціи безхарактернаго либерализма, который въ настоящее время не находятъ подъ ногами никакой почвы и будутъ очень рады, когда ему представится рядъ опредѣленныхъ стремленій, повидному, весьма либеральныхъ и въ то же время не лишующихъ либеральныхъ людей дорогой для нихъ невинности. За него же въ своихъ вѣдахъ и по своему ухватится реакція и на свой ладъ обработаетъ приставшихъ либераловъ, и тогда—первое столкновеніе съ Европой, особенно съ Германіей, и націоналисты встанутъ во главѣ общества...

Въ виду возможности подобнаго хода идей и событий въ нашемъ будущемъ, считаю не лишнимъ представить читателямъ характеристику взглядовъ нашихъ нарождающихся націоналистовъ, обозначить тѣ пункты, въ которыхъ они расходятся съ славянофилами, и показать, въ чемъ заключается растлѣвающее и мертвящее вліяніе этого новѣйшаго формализма и какъ онъ, стараясь опереться на реальную почву историческаго опыта и оправдать свое ученіе непреложными законами человѣческой жизни, между тѣмъ идетъ противъ этого опыта и измышляетъ свои собственные законы, обходя истинные. Для этого я избираю Градовскаго, какъ наиболѣе крупнаго сотрудника „Весѣды“, и такъ какъ онъ собралъ всѣ свои статьи, помѣщенные въ этомъ органѣ въ одну книжку, заглавіе которой и помѣщено мною въ названіи этой статьи. Книжка эта можетъ дать намъ самое полное и вполне ясное понятіе, къ чему стремятся наши новые націоналисты.

## VI.

А. Градовскій является въ своей книгѣ горячимъ приверженцемъ славянофиловъ. Но было бы ошибочно считать его самого славянофиломъ въ той же степени, въ какой являются передъ нами Кирѣевскіе, Хомяковъ и К. Аксаковъ. Въ своихъ публичныхъ лекціяхъ о значеніи славянофиловъ, прочитанныхъ имъ въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ и напечатанныхъ въ концѣ книги, Градовскій весьма опредѣленно обозначаетъ тѣ пункты, въ которыхъ онъ расходится съ славянофилами, ясно опредѣляя этимъ особенности доктрины національнаго формализма. Въ началѣ первой же лекціи онъ отрицаетъ тождество своихъ взглядовъ съ славянофильскими въ слѣдующихъ словахъ: „все, что здѣсь будетъ сказано, есть выраженіе моего личнаго взгляда на ученіе первыхъ представителей славянофильства. Мое выраженіе не есть аполю-

ги Киреевскаго, Хомякова и К. Аксакова. Оно будет такою же критикою славянофильства, какъ и критика ихъ противниковъ. Можетъ быть мнѣ удастся указать на нѣкоторые большіе „грѣхи“ школы, чѣмъ днѣ\*.

И дѣйствительно въ первой-же лекціи Градовскій указываетъ на такой существенный пунктъ своего разногласія съ славянофилами, въ которомъ послѣдніе оказываются гораздо болѣе сходящимися съ своими врагами-западниками, чѣмъ съ доктринерами національнаго формализма. Пунктъ этотъ есть вопросъ объ общечеловѣческой цивилизаціи. Славянофилы, какъ извѣстно, и не думали отрицать общечеловѣческую цивилизацію. Стоя на метафизической почвѣ, они вѣрили вслѣдъ за Гегелемъ, что народы раздѣляются на историческія, составляющіе ту или другую ступень въ обнаруженіи безусловной идеи, и неисторическія, слѣдно идущіе вслѣдъ за историческими и сами по себѣ ничего не вносящіе въ исторію. Затѣмъ, въ каждую эпоху выдвигается впередъ одна какалбо избранная народность, въ которой наиболѣе воплощается тотъ или другой фазисъ обнаруживанія идеи и народность эта сходитъ съ историческаго поприща, отслуживши свою роль. Исходя изъ такой теоріи, славянофилы наравнѣ съ западниками признавали обще-человѣчность цивилизаціи; мало этого, они и одно съ западниками вѣрили и въ то, что славянский міръ призванъ для того, чтобы послужить новою ступенью въ этой цивилизаціи. Разногласіе ихъ съ западниками начиналось съ опредѣленія тѣхъ путей, по которымъ должны идти славяне и въ особенности русскіе для исполненія своей всемірной исторической роли. Западники утверждали, что Россія должна прежде всего всецѣло воспринять цивилизацію Запада со всѣми ея наиболѣе совершенными культурными формами и потомъ уже думать о произнесеніи какихъ либо новыхъ словъ; славянофилы же возражали, что стремиться переносить на народную почву идеи и формы западной жизни, значитъ обезличивать свою народность и подводить ее къ роли неисторическихъ народовъ, не имѣющихъ никакой самостоятельности. Къ тому же Западъ отслужилъ исторію, роль его кончена, онъ начинаетъ гнить, и заимствовать отъ него что-либо, это значитъ вносить гниющую гниль въ здоровый организмъ живой русской народности; эта народность, призванная служить новою ступенью въ общечеловѣческой цивилизаціи, въ самой себѣ носитъ уже особенности, сообразныя этому предназначенію, и нужно, отстранившись отъ подражательности Западу, обратить все вниманіе на развитіе этихъ особенностей. Такимъ образомъ въ основаніи славянофильскихъ ученій все-таки стояла общечеловѣческая цивилизація, и они вѣрили, что когда славяне достигнутъ своего предназначенія, когда они возвѣстятъ міру новыя начала цивилизаціи, эти начала будутъ обязательны для всего міра, а не для однихъ славянъ, и отчаянная Европа можетъ быть найдетъ свое спасеніе, проѣбнявши свои отжившія культурныя формы на живыя начала, развитія славянами, и отдастъ гдѣ-нибудь первенства славянскому міру въ ходѣ общечеловѣческой цивилизаціи.

Градовскій рѣзко отрицаетъ самую возможность

общечеловѣческой цивилизаціи. По его мнѣнію, отношеніе между общечеловѣческимъ и народнымъ такое же, какъ между логическимъ понятіемъ и реальнымъ явленіемъ.

«Наше представленіе объ общечеловѣческомъ есть продуктъ логическаго и философскаго обобщенія всѣхъ частныхъ явленій, говоритъ онъ:—потому человекъ, желающій признать, что дѣйствительное бытіе имѣетъ только общечеловѣческое, а частное, народное есть только призракъ, ничтожный съ точки зрѣнія общечеловѣческаго, долженъ имѣть съ тѣмъ стать на почву чистой метафизики. Онъ долженъ признать, имѣть съ Гегелемъ, что міръ есть проявленіе отвлеченной идеи, а отдѣльные народы и люди суть только переходящіе и ничтожныя «соединенія» абсолютнаго. Онъ долженъ признать, какъ это сдѣлалъ Платонъ, что идея предмета существуетъ не только *независимо* отъ этого предмета, но что одна она и имѣетъ бытіе. На дѣлѣ представляется другое. Идея есть *представленіе* мыслящаго субъекта; она существуетъ *въ немъ и черезъ него*; то, что мы называемъ общечеловѣческими стремленіями, не имѣетъ реальнаго бытія. На дѣлѣ эти общечеловѣческія стремленія воплощены, выражены въ учрежденіяхъ, поэзіи, искусствѣ, философіи и т. д. разныхъ народовъ; въ нихъ и черезъ нихъ только они получаютъ дѣйствительное бытіе. Эти различныя выраженія народной мысли и нравственныхъ стремленій не могутъ быть записаны *однообразными* учрежденіями и формами, построенными на отвлеченныхъ представленіяхъ о человѣческихъ стремленіяхъ и способностяхъ, ибо въ мірѣ существуютъ не слова и понятія, а народы и люди...»

Но являясь такимъ образомъ отрицателемъ общечеловѣческой цивилизаціи, о которой мечтали славянофилы и западники сороковыхъ годовъ, Градовскій тотчасъ-же сдается на компромиссъ, весьма замѣчательный въ томъ отношеніи, что рядомъ съ другими подобными ему компромиссами, онъ составляетъ именно ту хитросплетенную сѣть, которую ткуютъ наши націоналисты для умовленія массы наивныхъ простаковъ.

«Но неужели-же, по нашему мнѣнію, говоритъ Градовскій далѣе:—общечеловѣческое есть только фикція, плодъ абстракціи, не имѣющій никакого значенія въ жизни народовъ? О, нѣтъ! Это значило бы отрицать достоинство одной изъ драгоцѣннѣйшихъ способностей челоѣческаго духа и ума—способности къ обобщенію, къ составленію общихъ понятій. Если мы нападаемъ на злоупотребленія, часто дѣлаемыя изъ общихъ понятій, то мы никакъ не имѣемъ отрицать ихъ великаго достоинства въ цивилизаціи. Роль этихъ общихъ понятій, съ нашей точки зрѣнія, проявляется въ *двоукло* отношеніи. Во-первыхъ, представленіе объ общечеловѣческомъ раскрываетъ намъ совокупность тѣхъ коренныхъ условий, безъ которыхъ немислима нормальная жизнь челоѣка и благо народа, каковы-бы ни были особенности ихъ культуры. Такими условиями мы можемъ назвать, на примѣръ, личную безопасность, свободу совѣсти, свободу мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здоровья, народнаго продовольствія, образованія и т. д. Эти условія должны быть признаны необходимыми для благо круга народовъ. Съ этой точки зрѣнія отвергался и отвергаются разныя фарисейскія заявленія ложной теоріи народности,—спескорытные возгласы, на примѣръ, американскихъ рабовладѣльцевъ, доказывавшихъ, что рабство есть естественное призваніе негра, или русскихъ крѣпостниковъ, доказывавшихъ, что крѣпостное право есть необходимое національное достояніе Россіи. Въ этомъ смѣлѣ и справедливо знаменитое восклицаніе В. Гумбольдта,

повторенное братом его Александромъ въ Космо-еб: «Нѣтъ племень болѣе благородныхъ, чѣмъ другія. Всѣ одинаково созданы для свободы, для той свободы, которая въ первоначальномъ обществѣ принадлежитъ лицу, но у насъ, обладающихъ настоящими политическими учреждениями, есть право цѣлаго общества».

«Во-вторыхъ, общечеловѣческими, т. е. не принадлежащими къ существеннымъ особенностямъ отдѣльныхъ народовъ, являются вѣсныя, такъ сказать, техническія условия осуществленія челоуѣческихъ цѣлей, или выраженія нашихъ идеаловъ, каково-бы ни было ихъ внутреннее содержаніе. Таковы, напримеръ, пути сообщенія, орудія экономическаго обмена, производства, машины и т. д.; техника въ поэзіи, искусствѣ и т. п. Для того, чтобы нарисовать картину, нужно знать много техническихъ пріемовъ, какъ для того, чтобы написать поэму, нужно знать правила версификаціи. Эти техническія пріемы и правила имѣютъ такое-же общечеловѣческое значеніе, какъ и желѣзныя дороги, машины и т. д., т. е. усвоеніе ихъ не предполагаетъ отреченія отъ своей народности, отказа отъ самостоятельности мысли и духа».

Всѣ подобныя соображенія Градовскій формулируетъ въ видѣ слѣдующей формулы: *вмѣсто того, чтобы говорить объ общечеловѣческой цивилизаціи, правильнѣе говорить объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціи.*

Отрицая такимъ образомъ общечеловѣческую цивилизацію, Градовскій этимъ самымъ разщепляетъ ее на массу частныхъ цивилизацій отдѣльныхъ народовъ, причѣмъ каждая изъ такихъ частныхъ цивилизацій только и годится для того народа, который ее производитъ.

«Итакъ, говоритъ онъ:—понятіе *цивилизаций*, единично, нужно замѣтить, общее понятіе, представляется намъ въ двоякомъ видѣ и значеніи: во-первыхъ, со стороны внѣшнихъ условий жизни и способовъ труда, цивилизація представляется намъ общечеловѣческой; со стороны ея *содержанія* она разбивается на культуры различныхъ народовъ, изъ которыхъ каждая самостоятельно проявляетъ одну изъ сторонъ, одинъ изъ отбѣсковъ челоуѣческаго духа. Другими словами, со стороны своего содержанія, челоуѣческая цивилизація представляется намъ въ формѣ совокупности частныхъ, національныхъ культуръ; поэтому ни одна изъ нихъ не можетъ быть признана *общечеловѣческой* цивилизаціею».

Низе, когда мы будемъ разбирать всѣ эти доктрины Градовскаго по существу, мы увидимъ, на сколько справедливы онѣ, и справедливо-ли, что общечеловѣческое существовать только въ частныхъ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, общечеловѣческая-же цивилизація не можетъ никогда быть осуществлена въ действительности; развитіе каждымъ народомъ своей особенной культуры можно-ли считать *conditio sine qua non* исторіи, явленіемъ субстанціоннымъ или преходящимъ и временнымъ; затѣмъ, наконецъ, такіа прекрасныя понятія, какъ *личная безопасность, свобода совѣсти, свобода мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условий народнаго продовольствія, образованія и т. д.*, понятія, которыя Градовскій считаетъ общечеловѣческими и необходимыми для каждаго народа, осуществлены-ли онѣ безъ выработки нѣкоторыхъ національныхъ культурныхъ формъ общенія, которыя для всѣхъ народовъ должны являться столь-же не-

обходимыми, какъ и самыя понятія, а безъ этого, если мы мечтаемъ объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, будемъ косить на исконныхъ обычаяхъ народной культуры, то не останутся-ли они навсегда одними только громкими фразами безъ содержанія? Всѣ такіе вопросы, будутъ рѣшены нами въ слѣдующихъ главахъ. Теперь-же мы отлагаемъ ихъ пока въ сторону, возвращаясь къ специальной цѣли настоящей главы, къ опредѣленію различія между взглядами чистаго славнофильства и доктринами національныхъ формалистовъ въ родѣ Градовскаго, — и возможныхъ практическихъ послѣдствій этого различія.

И такъ, какая повидному ничтожная разница:—ве все-ли равно, блюсти-ли народныя культурныя формы отъ чужеземныхъ вліяній во имя того, что въ этихъ формахъ таятся зерна будущей всемірной цивилизаціи, или просто потому, что каждая народность обязана, по предписанію высшаго начальства, имѣть свои особенныя формы, подобно тому, какъ каждаго обывателя города долженъ носить въ карманѣ свой особенный паспортъ, свидѣтельствующій о его личности. Разница, действительно, ничтожна на первый взглядъ. Но стоитъ хоть немножко вдуматься въ нее, и вы увидите къ какимъ громаднымъ результатамъ ведетъ она. Вы только представьте себѣ, что вы — просвѣщенный буржуа, отецъ многочисленнаго семейства, богатый владѣтель имѣній, домовъ, акцій, облигацій, ведете обширныя дѣла, торгуете, участвуете въ нѣсколькихъ акціонерныхъ компаніяхъ, играете на биржѣ и пр. и пр. Вы, конечно, увлечены до мозга костей такъ называемою европейскою цивилизаціею, которая представляется вамъ въ видѣ массы фабрикъ съ дымными трубами, непроницаемыхъ для взора яхтъ корабельныхъ мачтъ, теряющихся изъ виду рядовъ великолѣпныхъ зданій, исцѣренныхъ вывѣсками, свидѣтельствующими о томъ, что въ этихъ зданіяхъ сосредоточены богатства со всѣхъ концовъ свѣта, желѣзно-дорожныхъ поѣздовъ, съ выгономъ стремящихся по разнымъ направленіямъ и во всѣ стороны, суетливой дѣятельностью пристаней и биржъ и пр. Всѣ эти блага цивилизаціи тѣмъ болѣе привлекаютъ васъ, что при пятидесяти тысячахъ и еще того болѣе доходѣ — они такъ легко доступны вамъ; вы ихъ любите и любите, вы сами ихъ создаете, а они возносятся все на большую и большую высоту. Привлекаютъ васъ и другія стороны европейской цивилизаціи: сытый, довольный, окруженный всевозможными удобствами, пользующійся всеобщимъ почетомъ, въ свободныя минуты послѣобѣденной дремоты вы любите почитать о такихъ прекрасныхъ чудахъ европейскаго прогресса, какъ свобода совѣсти, свобода слова и пр. и пр., а вотъ начинаетъ вамъ грезиться, что какъ-бы это было-бы приятно, какъ это дѣлается въ Англіи, стоять на высокой трибунѣ и, произнося увлекательную рѣчь передъ согражданами, сознавать, что ты видишь все въ своемъ родѣ законодатель, отъ тебя зависитъ счастье и благоденствіе всей твоей страны.

И вдругъ въ разгарѣ подобныхъ послѣобѣденныхъ грезъ вторгается къ вамъ господинъ весьма мрачнаго вида, съ бороδοю до пояса и одѣтый не въ платье вѣншнаго фасона, а въ



Красную рубашку,  
Платок шелковый кушакъ,  
Армяк татарскій на распашку  
И шапку съ бляхъ козырькомъ...

И начинетъ этотъ господнъ замогильнымъ голосомъ читать вамъ цѣлый рядъ анафемъ за ваше увлеченіе гильдиями и коварнымъ Западомъ и отступничествомъ отъ истинныхъ и вѣковѣчныхъ началъ славянскаго міра...

«Не стыдно-ли вамъ, вопить нежданннй гость, что вы, увлекшись наружною мишурою, вибнилизъ блескомъ западнаго прогреса, создали изъ него золотого тельца и, поклонившись ему, забыли о тѣхъ народныхъ славянскихъ началахъ, въ которыхъ все спасеніе не только для однихъ славянъ, но для всего человечества? Вроде заражать гангреною западнаго растлѣнія здоровый, молодой организмъ вашего народа и обратитесь къ тѣмъ кореннымъ основамъ русской народности, на которыхъ была воздвигнута древняя Русь, пока Петръ не сдвинулъ ее своею дерзновенною десницею».

Подумайте, не придетъ-ли вы въ ужасъ отъ подобныхъ рѣчей вашего гостя, не представитъ-ли вамъ сейчасъ-же, что вамъ предлагаютъ ни больше, ни меньше, какъ возвратиться ко временамъ Котошихи и Домостроя, разрушить до основанія ненавистный Петербургъ, прогнать за границу иностранцевъ въ ирѣ кушачъ, ремесленниковъ и всякаго рода спеціалитовъ, засѣсть въ золотоверхой Москвѣ и... пропай шампанское и устрицы, пропайте Шнейдерша и Кауджа... Ваше тонкое обонаніе, способное по одному запаху отличить шестирублевый лафитъ отъ пятирублевого, уже чуетъ запахъ кислой капусты на послѣднихъ вѣкахъ, закипаемой квасомъ, вамъ уже греются блаженныя времена коренныхъ основъ допетровской Руси, времена пытокъ и правейей, заключенія женъ въ тереза, чинныхъ азиатскихъ перелоній съ подобострастными поклонами въ поясъ и исполненной дикаго изуверства, кичливой и слѣпой ненависти ко всему иностранному. Что-же мудренаго, если вамъ бросить въ лотъ и холодъ отъ рѣчей вашего собесѣдника, и если, вдохнувши свободно послѣ его ухода, вы прикажете закъе никогда больше такого страшнаго господина не впускать.

По воть къ вамъ приходитъ баринъ совсѣмъ въ новомъ видѣ: въ изысканномъ европейскомъ костюмѣ самаго пошлѣшаго фасона, съ стеклышкомъ у глаза и шапкою въ рукѣ, и говоритъ вамъ: „прогрессъ, шоп ані, о! прогрессъ великое дѣло, ему мы обязаны и жезланскими дорожками, и газомъ, и свободою слова, и свободою совѣсти! Я не сомнѣваюсь, что всѣ эти дары прогреса должны составлять общечеловѣческое достояніе, и мы обязаны пользоваться ими наравнѣ со всѣми народами, но, шоп ані, все это только одна внѣшность прогреса, внутренняя-же его сторона, содержаніе, у каждаго народа должны быть свои; каждый народъ долженъ идти своимъ путемъ и свято соблюдать свои исконныя народныя начала. Не говоря уже о томъ, что этого требуютъ народная гордость, honneur national, что народъ, не дорожащій ничѣмъ своимъ и охотно воспринимавшій все чужое, тѣмъ самымъ открыто заявляетъ о своемъ ничтожествѣ; надо обратитъ вниманіе и на то, что если мы будемъ пре-

брегать народными основами нашей жизни, на которыхъ зиждется все наше благосостояніе, порядокъ и нравственность, то все пойдетъ кверху дномъ: если допускать, чтобы у насъ вводились западныя учрежденія, совершенно произвольно, такъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, изъ одной слѣпой подражательности, то сегодня у насъ будутъ вводиться коллеги или маіораты, потому что таковыя существуютъ на западѣ, завтра мы вздумаемъ затѣять революцію, потому что на западѣ революція, послѣ завтра на западѣ уничтожатся религія, собственность, браки и всѣ начнутъ лодать другъ друга, неужели-же и мы должны дѣлать тоже?.. Нѣтъ, шоп сгер, подумай о томъ, что ты отецъ многочисленнаго семейства, у тебя святая собственность, а еще болѣе святая родина, о крѣпости, величій и славѣ которой ты обязанъ заботиться. Когда тебѣ привозятъ съ Запада два ящика шампанскаго, то и такіе пустяки ты критикуешь, ящикъ съ хорошими виномъ берешь себѣ, а съ дурнымъ предоставляешь негодяицу; то тѣмъ болѣе, если дѣло идетъ о такихъ вещахъ, какъ учрежденія, на которыхъ зиждется все твое благосостояніе: здѣсь должна быть самая строгая критическая оцѣнка. Въ этомъ отношеніи, ужь если мы должны кому подражать, то развѣ одной Англіи, въ которой весь прогрессъ основывается на развитіи народныхъ обычаевъ, и Англія дорожитъ ими и не промѣняетъ ихъ ни на какіе другіе. Такъ и мы должны дорожить нашими национальными обычаями, гордась тѣмъ, что мы русскіе...“ Не правда-ли, что подобныя рѣчи должны вызвать въ васъ чувства совершенно противоположныя, чѣмъ возбуждалъ первый посѣтитель. Въ самомъ дѣлѣ, не укоряетъ онъ васъ ни фракомъ, ни Шнейдершей, ни канканомъ, не пугаетъ никакими жупелами въ родѣ скардной гангрены западнаго растлѣнія, предлагаетъ вамъ заботиться не о такихъ заоблачныхъ и далекихъ отъ васъ вещахъ, какъ обновленіе всемірной цивилизаціи славянскими началами, а о своей собственной рубашкѣ, которая, естественно, всего ближе къ вашей тѣлу. Твердо и упорно держась своей народной культуры во всѣхъ ея особенностяхъ, даже и *экономическихки*, какъ во многихъ мѣстахъ заявляетъ Градовскій, вы, конечно, будете заботиться прежде всего объ обеспеченіи вашего личнаго благосостоянія отъ наплыва какихъ-либо такихъ ученій, которыя, не дорожа народными особенностями, возмечтали-бы, пожалуй, измѣнить экономическій бытъ народа на чисто-рациональннхъ общечеловѣческихъ началахъ и, въ концѣ-концовъ, пожалуй, могли-бы помѣшать вамъ во многихъ изъ такихъ практическихъ дѣлашекъ, оодѣлывать которыя вамъ легко въ настоящее время, при данныхъ экономическихъ особенностяхъ вашей страны. Конечно, при такихъ соображеніяхъ вы уже не прогоните вашего гостя, а напротивъ того, заключите его въ объятія, а послѣ нѣкоторыхъ размышленій придете въ восторгъ и превознесете его выше небесъ, когда сознаете, какое великое благодѣаніе дѣлаетъ онъ для васъ, устремляя васъ на путь націонализма: въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ, когда вы ратовали противъ слишкомъ снѣлыхъ реформъ въ экономическомъ бытѣ страны, чѣмъ другимъ могли вы защитить ваше *malinie statu quo*, кромѣ обичивой теоріи *laissez*

faire, laissez passer, которую и сами вы вдобавок не вполне ясно понимали, и вы смущались и падали духомъ, когда враги бросали вамъ въ лицо обвиненіе въ безчеловѣчномъ, узкомъ эгоизмѣ... Теперь же вы чувствуете почву подъ ногами, ваши стремленія удержаться statu quo получаютъ освѣщеніе вышшими принципами, и вы можете смѣло возразить врагамъ: нѣтъ, не изъ узкаго эгоизма ратую я противъ вашихъ утопій, а изъ желанія строго держаться основныхъ началъ народности, потому что въ этихъ началахъ я вижу единственное спасеніе и единственную славу народа; отступивъ же отъ нихъ, народъ долженъ обратиться въ ничтожество и погибнуть. Однимъ словомъ, мы не де-Местры, не Коцебу, — мы Катоны...

Если мы отъ этого основного различія между ученіемъ націоналистовъ и чистымъ славянофильствомъ обратимся къ частностямъ, то и здѣсь мы найдемъ тоже стремленіе очистить славянофильство отъ всѣхъ слишкомъ уже отталкивающихъ своею дикостью крайностей и путемъ компромиссовъ сдѣлать его популярнымъ. Такъ, напримѣръ, извѣстно, какъ славянофилы смотрѣли на Петра. Они отрицали его реформы всецѣло, приписывая имъ все зло разрыва образованныхъ классовъ съ народомъ и устремленія ихъ на путь слѣпой подражательности Западу. Какъ просвѣщенный буржуа, вы хотя и не прочь согласиться, что Петръ точно перенималъ изъ Запада многое совершенно зря и напрасно, но, видѣвъ съ тѣмъ, съ младенчества вы уже привыкли близко ставить къ сердцу эту личность, сознавая, что ей вы обязаны всѣми благами прогресса, кромѣ того, видѣвъ въ ней особенную славу своей родины, такъ какъ не одни русскіе, но и всѣ западные историки ставятъ Петра на одною ряду съ величайшими гениями челоуѣчества. Очевидно, что отрицаніе Петра должно возбуждать въ васъ еще большее озлобленіе противъ славянофиловъ. Градовскій весьма любезно уступаетъ вамъ этотъ пунктъ вашихъ симпатій; оказывается, что можно стоять за народныя начала, нисколько не отрицая Петра.

«Здѣсь справедливость требуетъ замѣтить, — говоритъ Градовскій: — что ихъ (т. е. славянофильскія) мнѣнія объ этомъ историческомъ событіи, конечно, преувеличены. Конечно, рѣзкое осужденіе реформы Петра было естественнымъ результатомъ того, въ свою очередь, преувеличеннаго мнѣнія людей противоположнаго лагеря, которые серьезно полагали, что историческая жизнь Россіи началась только съ Петра. Конечно, далѣе, они, по самой своей, такъ сказать, критической позиціи, склонны были останавливаться только на отрицательныхъ сторонахъ реформы. Но это не снимаетъ съ нихъ ответственности за многія увлеченія и крайности, замѣченныя, прочее, самимъ Хомяковымъ въ его превосходной статьѣ о «Старомъ и новомъ». Это не снимаетъ съ нихъ упрека въ неполномъ пониманіи личности Петра, котораго они не умѣли выдѣлать изъ послѣдующей исторіи. Они не увидѣли народности чертъ въ преобразователѣ Россіи и его, во многихъ отношеніяхъ, свободнаго отношенія къ Западу. Мало того. Они не дали себѣ труда отвѣтить на вопросъ: дѣйствительно-ли исторія XVIII столѣтія такъ оторвана отъ исторіи предыдущей, и не былъ-ли разрывъ болѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутреннимъ? Этого, правда, они и не могли сдѣлать, потому что исторія XVIII столѣтія едва начинается выступать изъ мрака, благодаря обильно издаваемымъ теперь матеріаламъ».

Въ то же время немаловажною причиною непопулярности славянофиловъ было то обстоятельство, что, доводя до послѣднихъ крайностей свою теорію счастливости славянскихъ основъ жизни, они возводили въ идеалъ такіе народные обычаи и качества, въ которыхъ, съ точки зрѣнія простого здраваго смысла, не только не представляется ничего идеальнаго, но, напротивъ того, которые показываютъ только низкую степень развитія, грубое невѣжество народа. Таково, напримѣръ, было возведеніе К. Аксаковымъ въ идеалъ отсутствія письменныхъ гарантій, какъ въ средѣ современнаго намъ захолустнаго купечества, такъ въ особенности въ до-петровской Руси, въ различныхъ договорныхъ отношеніяхъ торговыхъ и государственныхъ. Славянофилы видѣли въ этомъ преимущество славянъ передъ Западомъ; по ихъ мнѣнію, отсутствіе письменныхъ гарантій у славянъ показываетъ, что они на первый планъ ставятъ живой духъ, они вѣрятъ въ челоуѣка и потому ищутъ гарантій въ его свободной совѣсти, а не въ мертвой буквѣ; Западъ не вѣритъ въ челоуѣка и потому видитъ необходимость поработать его мертвой буквѣ.

Какъ просвѣщенный буржуа, вы, конечно, должны придти въ ужасъ отъ подобныхъ славянофильскихъ взглядовъ. Вамъ сейчасъ-же, безъ сомнѣнія, представится, что славянофилы мечтаютъ ни болѣе, ни меньше, какъ объ уничтоженіи векселей, заемныхъ писемъ, акцій, облигацій и всякихъ торговыхъ актовъ, на которыхъ видится все ваше благосостояніе и при отсутствіи которыхъ завтра-же, пожалуй, къ вамъ явятся сотни славянофиловъ особеннаго рода и во имя свободы духа растащутъ всѣ ваши капиталы. Въ то же время вамъ хорошо извѣстно, какъ оправдывается на практикѣ идеальное качество отсутствія письменныхъ гарантій въ средѣ нашего купечества и предстаютъ передъ вами иррачные типы Вольмова, Пехлягузина и прочихъ героевъ комедій Островскаго. Но Градовскій и тутъ является вашимъ другомъ и успокаиваетъ вашу тревогу.

«Съ другой стороны, — говоритъ онъ: — они (т. е. славянофилы) слишкомъ идеализировали древнюю Русь въ томъ смыслѣ, что уваженіе свое къ *книжкамъ* древней жизни они перенесли иногда на *самыя формы*, а иногда и на *отсутствіе формъ*, къ онѣ были бы нужны. Такъ, К. Аксаковъ упорно проповѣдуетъ бесполезность юридическихъ гарантій разныхъ правъ, личныхъ и общественныхъ, и ищетъ въ безформенности древней Руси италорусскую заслугу, даже ипелій принципъ, возвышающій насъ надъ Западомъ, слишкомъ увлеченнымъ формою. Онъ забываетъ, что отсутствіе формъ и гарантій въ старой древней Руси было не повсемѣстно. Новгородъ и Псковъ, развитые болѣе другихъ частей, работали свои «гарантіи». Во-вторыхъ, отсутствіе гарантій въ другихъ мѣстахъ было признакомъ непервершенства общественнаго, даже, можетъ быть, отсутствія грамотности».

Вотъ какимъ представляется принципъ національнаго формализма въ его отношеніяхъ къ славянофильству. Мы видимъ, что это тоже славянофильство, но очищенное отъ всѣхъ слишкомъ нелѣпныхъ крайностей, и обращенное изъ кабинетныхъ метафизическихъ бредней въ политическое ученіе, могущее имѣть немалый успѣхъ въ ближайшемъ будущемъ. Далѣе мы

разсмотритъ этотъ самый принципъ по существу въ его отношеніи къ исторіи и жизни.

## VII.

Формалисты всѣхъ возможныхъ видовъ имѣютъ два неотъемлемыя качества.

Во первыхъ, всѣ они ужасные казуисты. Хитрая изворотливость, которою славятся послѣдователи Лойбля, эти формалисты католическаго принципа, присуща до известной степени и формалистамъ всѣхъ другихъ родовъ. И это очень понятно. Стремясь какую нибудь переходящую и условную форму жизни возвести въ нечто непреложное и безусловное и втиснуть въ нее всю жизнь, формалисты ищутъ оправданія своей доктрины въ господствующемъ въ данное время міросозерцаніи, стараются основать ее или на божественныхъ правахъ, если въ обществѣ преобладаетъ теологическое міросозерцаніе, или на законахъ безусловнаго разума, если господствуетъ метафизика; а если господствуетъ реализмъ, то формалисты начинаютъ толковать объ опытахъ и наблюденіяхъ положительныхъ знаній; — и во всѣхъ трехъ случаяхъ нускаются въ ходъ всѣ діалектическія уловки съ цѣлью согласить во чтобы то ни стало свою доктрину съ основами міросозерцанія; искусственно сглаживаютъ и уравниваютъ всѣ вопіющія противорѣчія; одинъ и тотъ-же законъ жизни въ одномъ случаѣ заставляютъ дѣйствовать, въ другомъ его парализуютъ и игнорируютъ; всю исторію переиначиваютъ на свой ладъ, факты, которые хоть сколько нибудь служатъ въ пользу доктрины, выставляютъ на первый планъ, а противрѣчающіе, если ихъ нельзя опровергнуть, оставляютъ въ сторонѣ, а если нельзя о нихъ умолчать, считаютъ случайными исключеніями; если въ видахъ оправданія доктрины нужно вамъ доказать, что бѣлое вовсе не бѣлое, а черное только кажется чернымъ, а въ самомъ дѣлѣ есть голубое, — формалистъ не остановится и передъ этимъ.

Вторымъ неизбѣжнымъ качествомъ каждаго формалиста является крайняя слѣпота относительно противниковъ. Понять и уяснить воззрѣнія противниковъ и уиѣтъ стать на ихъ точку зрѣнія для формалиста дѣло немислѣмое. Сѣмившая идею съ формою и запа въ формѣ все спасеніе, формалистъ полагаетъ обыкновенно, что каждый, отрицающій форму, непременно тѣмъ самымъ долженъ отрицать и тѣ принципы, которые неразрывно связаны въ глазахъ формалиста съ формою; и мало этого: такъ какъ въ существованіи излюбленной формы формалистъ усматриваетъ, еще разъ повторяемъ, все спасеніе міра, то въ отрицаніи формы естественно онъ подозреваетъ злостное покушеніе подорвать всѣ основы жизни. Такъ, напримеръ, ультра-католикъ никакъ не можетъ допустить, чтобы человѣкъ, не признающій папу главою церкви и принадлежащій къ какому нибудь другому вѣроисповѣданію, могъ быть болѣе чистымъ и истиннымъ христіаниномъ, чѣмъ онъ, ультра-католикъ; ему постоянно представляется, что отрицающій католичество тѣмъ самымъ отрицаетъ христіанство, правдоподобно, и является врагомъ человѣчества, ищетъ сатаны, готовыхъ на всякія преступленія.

Оба эти качества мы можемъ прослѣдить и въ Градовскомъ, являющемся передъ нами представителемъ національнаго формализма.

Такъ Градовскій очень хорошо понимаетъ, что какими-нибудь метафизическими теоріями современную публику не проведешь. Прошли тѣ блаженные времена, когда все, что вамъ угодно, вы могли безъ особенныхъ трудностей выводить изъ законовъ развитія безусловной идеи. Нашъ скептическій вѣкъ требуетъ фактовъ, реальныхъ основъ для подтвержденія какихъ-бы то ни было взглядовъ. Доказать, что то или другое ученіе основывается на непреложныхъ данныхъ положительныхъ знаній, это значить въ наше время сдѣлать это ученіе обязательнымъ для всѣхъ и каждаго, и наоборотъ доказать, что какія либо мнѣнія стоятъ въ области чистой метафизики, — это значить представить ихъ произвольными, фантастическими и уронить въ глазахъ публики. Вѣрный своему стремленію сдѣлать національный принципъ популярнымъ и обязательнымъ, Градовскій первымъ дѣломъ снѣхитъ поставить его на почву господствующаго міросозерцанія, доказать, что онъ основывается на непреложныхъ естественно-научныхъ, географическихъ, ботаническихъ и даже геологическихъ данныхъ, и что въ тоже время всѣ противники національнаго принципа суть чистые метафизики.

«При разрѣшеніи вопроса о разрушеніи національностей, говорить онъ на 56 стр., мы имѣемъ дѣло не съ основами «раціональшими», съ послышками и умозаключеніями, а съ совокупностью *статистическихъ силъ, подчиненныхъ неизмѣннымъ естественно-историческимъ законамъ.*»

Процессъ образованія народности подчиненъ законамъ образованія человѣческихъ породъ, языковъ, религій, зависитъ отъ условій среды, т. е. географическихъ, геологическихъ, ботаническихъ и т. д. особенностей страны, сдѣлавшейся жѣстотъ осѣлости народа; онъ находится въ тѣсной связи съ образованіемъ экономическаго быта въ той или другой странѣ, отъ разныхъ комбинацій въ раздѣленіи занятій, въ распредѣленіи богатствъ и зависящаго отъ этихъ обстоятельствъ образованія и комбинаціи общественныхъ классовъ и т. д.

Всѣ эти условія и причины бытія народностей имѣютъ одинъ признакъ; *они находятся они власти человеческой воли, не подчиняются формальнымъ законамъ логики.* Отсюда сама собою обнаруживается несостоятельность приэмовъ разрушенія народности. Признавая возможность и необходимость своей задачи, она ставитъ вопросъ слѣдующимъ образомъ:

Необходимо-ли и дозволительно-ли съ точки зрѣнія началъ разума существованіе народностей?

Отвѣчая на этотъ вопросъ отрицательно, она логически приходитъ въ необходимости разрушенія.

Подобный приѣмъ былъ-бы умѣстенъ только въ томъ случаѣ, если-бы самое основаніе народностей было въ началахъ разума. Но *положительная наука* должна прежде всего поставить вопросъ: гдѣ основаніе национальныхъ различій? *Естественныя науки, антропология, географія, филологія и исторія* дали-бы ей отвѣтъ на этотъ вопросъ и *одни* могли-бы дать его.

Но если основаніе народности — въ естественно-историческихъ условіяхъ страны и народонаселенія, то мы очевидно не имѣемъ права (т. е. научнаго права), говоря о разрушеніи народности, поставить вопросъ о томъ, «оправдываетъ» или не оправдываетъ разумъ ихъ существованія? Мы только въ правѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ-ли научные факты какихъ-нибудь данныхъ въ пользу того, что условія, влияющія на образова-

ние национальных особенностей и самых народностей, исчезнуть?

Самое смелое воображение не может себе представить, чтобы люди когда-нибудь пришли къ однообразной структуре тела, къ однообразным психологическим проявлениям, заговорили-бы одним языком, чтобы самая земля, съ ея физическими особенностями, не имѣла больше влияния на различіе культуръ и т. д. Такимъ образомъ *естественно-историческая* основа народности дана непреходящими условиями внешнего мира и природы человека. Они, какъ и самая народность, стоятъ вне влияния рациональных началъ и субъективной воли.

Идемъ далѣе. Если существованіе или несуществованіе народности не зависитъ отъ субъективной воли, то точно также независимы отъ рациональных основаній и личного произвола и борящіеся стремленія каждой национальности образовать самостоятельное национальное общество съ своею территоріею и своею государственною властью. *Исторія* показываетъ намъ, что каждое племя, энергическое и способное къ развитію, стремилось укрѣпиться въ извѣстной странѣ, ассимилировать племена слабѣйшія, сложиться въ цѣльную народность, выработать самостоятельныя политическія учрежденія, — словомъ, образовать свое государство. Шлемена, обремененныя историческими условиями, считали для себя величайшимъ несчастіемъ, если имъ не удавалось составить независимое политическое общество и приходилось жить въ чужомъ государствѣ.

Такимъ образомъ вы видите, что при вопросѣ о национальномъ принципѣ вамъ приходится имѣть дѣло съ непреложными данными географическими, ботаническими и даже геологическими, и вамъ ничего не останется, какъ только уступить Градовскому и умолянуть, иначе вы рискуете попасть въ разрядъ метафизиковъ, что, конечно, очень прискорбно и постыдно въ нашъ положительный вѣкъ. Исторія, гласитъ Градовскій, показываетъ вамъ, что каждое энергическое племя стремится сложиться въ цѣльную народность и составить свое самостоятельное государство, — неужели же вы станете спорить съ исторіей или возмечтаете перевернуть ее на свой ладъ?

Въ приведенной нами цитатѣ изъ книги Градовскаго открывается передъ нами и другое изъ вышеозначенныхъ качествъ формалистовъ. Мы видимъ, что Градовскій не ограничивается тѣмъ, что представляетъ своихъ противниковъ метафизиками, пренебрегающими непреложными данными положительныхъ наукъ. Онъ предполагаетъ въ нихъ гораздо болѣе, чѣмъ лишь одни неправильныя взгляды, возставая на теорію *разрушенія* народностей и отрицая возможность влияния *субъективной воли, произвола* на народныя стихіи. И можете себѣ представить, Градовскій не въ какомъ-либо переносномъ или метафизическомъ смыслѣ обвиняетъ своихъ противниковъ въ покушеніи разрушить народности и вѣстѣ съ ними государства, а въ самомъ прямомъ, буквальномъ, и совершенно въ серьезъ. Изъ многихъ мѣстъ книги Градовскаго явствуетъ, что онъ представляетъ своихъ противниковъ не иначе, какъ въ видѣ отвлеченныхъ космополитовъ, которые мечтаютъ въ одинъ прекрасный день однимъ ударомъ разрушить народности, государства и слить все человечество въ одинъ организмъ, насильственно сгладивъ всѣ культурныя особенности и подчинивъ всѣхъ смертныхъ однообразнымъ формамъ цивилизаціи, основанной на началахъ разума. Васъ, можетъ быть, поразитъ подобное дѣтски-наивное представленіе зло-

ехидныхъ космополитовъ, угрожающихъ человечеству чѣмъ-то въ родѣ новаго вавилонскаго столпотворенія названку, вы, можетъ быть, подумаете, что подобныя грубыя представленія свойственны никакъ не ученому мужу, занимающему кафедру въ одномъ изъ столичныхъ университетовъ, читающему публичныя лекціи, издающему книги съ цитатами изъ Ласкаля и Прудона, а скорѣе, какой-нибудь дряхлой старушкѣ, изжившей вѣкъ въ провинціальномъ захолустьѣ и воображающей, что гдѣ-то за моремъ есть фарезоны, отрѣкшіеся отъ Христа и предавшие душу чорту, и которые въ одинъ прекрасный день могутъ нагнать и съѣсть живьемъ бѣдную старушку. Но погодите удивляться и не забываете, что вы имѣете дѣло съ формалистомъ, который, по самому существу своему не способенъ имѣть никакого яснаго понятія о своихъ противникахъ, по самому существу своему склоненъ воображать, что кто не считаетъ его излюбленными формами безусловнымъ началомъ жизни, кто смотритъ на существованіе отдѣльныхъ народностей, какъ на явление преходящее, и въ то-же время не замѣчаетъ въ исторіи никакого особенно таинственнаго стремленія со стороны каждой народности слиться непременно въ одинъ государственный организмъ, такой злодѣй непременно питаетъ коварныя замыслы завтра-же приступить къ разрушенію государствъ, народностей и къ слитію человечества въ одинъ безразличный организмъ. Не будемъ отрицать, можетъ быть, и есть такіе мечтатели, — мало-ли чего имѣть подъ луною, — продолжающіе стоять на почвѣ отвлеченнаго рационализма XVIII вѣка, но увлекшись полемикою съ подобными покойниками Градовскій въ слѣпотѣ своей не замѣтилъ, что у него могутъ быть иные противники, болѣе современные, которые и не воображаютъ посягать на кака-либо разрушенія, которые, можетъ быть, болѣе отъ Градовскаго, отрицаютъ всякое насиліе надъ народностями и потому весьма далеки отъ какихъ-бы то ни было произвольныхъ сглаживаній культурныхъ особенностей во имя единства общечеловѣческой цивилизаціи; но противники эти въ то-же время имѣютъ свои реальныя основанія утверждать, что отдѣльныя народности вовсе не представляютъ особенныхъ цѣльныхъ организмовъ, и государственный формы, объединяющія народности, отнюдь нельзя считать естественными органами подобныхъ организмовъ, что стремленіе къ единству никакъ нельзя считать естественнымъ и необходимымъ условіемъ жизни каждаго народа; далеко не всѣ удавшіяся попытки къ народному объединенію исходили изъ народной воли, многія изъ нихъ были столь-же насильственны и искусственны, какъ и сплоченіе разнородныхъ национальностей въ одно государственное цѣлое и въ результатѣ имѣли столь-же нивелирующее и растлѣвающее влияние, какое Градовскій приписываетъ вліянію австрійской имперіи на славянъ или насильственному соединенію всѣхъ народовъ земнаго шара въ одноцѣлое. Съ другой-же стороны противники эти допускаютъ, что при полномъ отсутствіи всякихъ насильственныхъ и искусственныхъ дѣръ отдѣльныя народности, въ какое-бы то ни было отдаленное время, могутъ соединиться въ одну общечеловѣческую народность вполне естественно и непринудительно, дѣй-

ствіем тѣхъ-же самыхъ географическихъ, антропологическихъ, физиологическихъ и пр. законовъ, которые влияют на образование отдѣльныхъ народностей, и что поэтому общечеловѣческая цивилизація можетъ когда-нибудь сблаться не одною отвлеченною факцією, а реальнымъ фактомъ.

Постараюсь же доказать Градовскому возможность подобнаго рода противниковъ національнаго формализма, и что онъ, такъ рьяно ополчающійся въ своей книгѣ на отвѣщенныхъ рационалистовъ во имя, будто-бы, реальныхъ основаній, самъ всецѣло стоитъ на почвѣ того-же самого отвлеченнаго рационализма и далеко отъ истинно реальныхъ основаній, какъ небо отъ земли, что возставая на своихъ противниковъ въ жестокия попойзовскія съ ихъ стороны въ насъ съественному водворенію на землѣ однообразной культуры и уничтоженію всѣхъ индивидуальных особенностей, онъ самъ стоитъ на почвѣ такой доктрины, которая и въ настоящее, и въ прошедшее, и будущее времена ни къ чему не приводила и не можетъ привести въ своемъ осуществленіи, какъ, именно, къ убійственному никсидированію и сглаживанію тѣхъ индивидуальных особенностей, которыя ежедневно вознаказатъ въ человѣческомъ родѣ совершенно самостоятельно и независимо отъ существованія отдѣльныхъ народностей.

Доказательства мои будутъ раздѣлены на два отдѣла, на первый взглядъ представляющіе рѣзкую противоположность. Въ первомъ отдѣлѣ я постараюсь доказать, что отдѣльныя народности въ своей внутренней жизни вовсе не представляютъ ни въ государственномъ, ни въ культурномъ отношеніи такого органическаго единства, какой навязываетъ имъ Градовскій. Во второмъ же отдѣлѣ будетъ доказано мною, что историческій прогрессъ въ толкѣ и заключается, что съ одной стороны народности, приходя все въ большія и большія столкновенія другъ съ другомъ, непремѣнно должны сливаться въ большія и большія группы, пока всѣ не сольются въ одну народность, и съ другой стороны, что по мѣрѣ того, какъ человѣкъ будетъ одерживать все большія и большія побѣды надъ природою и, освобождаясь отъ ея влияния, самъ подчинять ее своему вліянію, — вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ естественныя культурныя формы, которыя создались похию воли человѣка дѣйствіемъ историческихъ условий, непремѣнно должны сближаться рациональными. На первый взглядъ оба отдѣла могутъ показаться взаимно-отрицающими другъ друга. Развѣ можетъ быть и рѣчь, подумаетъ читатель, о возможности вѣчнаго единства между различными народностями, если авторъ начинается съ того, что отрицаетъ внутреннее единство въ каждой народности. Но это противоположность только кажущаяся. Если же читатель погудится глубже вникнуть въ дѣло, онъ убѣдится, что возможность сліянія различныхъ народностей въ одно цѣлое только и можетъ быть доказана, если прежде всего вамъ удастся доказать отсутствіе внутренняго органическаго единства въ каждой народности. Въ самомъ дѣлѣ, только такіе элементы могутъ сливаться, которые не представляютъ внутренняго органическаго единства, организмы же сливаться другъ съ другомъ не могутъ: каждый организмъ по са-

мой своей сущности представляетъ необходимымъ условіемъ своей жизни отдѣльное существованіе; прекращеніе этой отдѣльности есть разрушеніе самого организма, смерть. На какомъ же иномъ основаніи и отрицаютъ приверженцы національнаго формализма возможность сліянія народностей въ одно цѣлое, какъ не на томъ, что каждая народность есть по ихъ мнѣнію особенный организмъ и по этому самому обречена на отдѣльное существованіе отъ другихъ народностей, рискуя, въ противномъ случаѣ, перестать быть организмомъ и слѣдовательно умереть. На этомъ основаніи, если намъ удастся доказать, что народности вовсе не представляютъ собою отдѣльныхъ организмовъ, этия самымъ уже мы расчищаемъ путь къ доказательству возможности сліянія народностей въ общечеловѣческой цивилизаціи.

### VIII.

За что Градовскій съ особенною рьяностью нападаетъ на рационалистовъ XVIII вѣка? За то именно, что они, создавая à priori какія-нибудь теоріи основаннаго на разумѣ государственнаго устройства, стремились осуществить ихъ совершенно искусственнымъ путемъ, не принимая въ расчетъ историческихъ условий жизни народовъ; отрицаая все то, что есть, они мечтали сразу ввести то, что должно быть. „Съ научной точки зрѣнія, говоритъ Градовскій:— нельзя *желательность* известнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности“.

Прекрасно. Но не стоитъ-ли самъ Градовскій на почвѣ рационализма, требуя, чтобы государство основывалось на почвѣ народности, чтобы оно составляло нѣчто одно нераздѣльное съ народомъ, было его органомъ, выразителемъ его жизни, стремленій, развѣтвля и пр.?

Вѣдь и въ этомъ случаѣ Градовскій высказываетъ только то, что *ему желательно*: государство должно быть органически народнымъ, высказываетъ онъ во многихъ частяхъ своей книги; но такія-ли оно на самомъ дѣлѣ является въ условіяхъ исторической жизни, и годно-ли практически, осуществимо-ли желаніе Градовскаго? Вѣдь это тоже вопросъ съ научной точки зрѣнія.

И надо признаться, что въ какихъ отвлеченныхъ сферахъ ни витали рационалисты, а они были не въ принѣрѣ и логически послѣдовательнѣе его, и научно честнѣе: они играли въ открытую, они смѣло провозглашали свой разрывъ съ исторіею и не дѣлали никакихъ уловокъ для соглашения своихъ утопій съ историческимъ опытомъ, не искажали историческихъ фактовъ и не выдумывали своей собственной исторіи, чтобы оправдать ея свои теоріи; они прямо говорили: да, ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ вы ничего не найдете подобнаго тому, что мы вамъ даемъ, но за то ваше прошлое и настоящее основано на игрѣ неразумныхъ слухій, а то, что мы вамъ даемъ, будетъ основано на законахъ безусловнаго разума. Градовскій, говоря о томъ, что должно быть, предполагаетъ, что это уже есть, и переворачиваетъ всю исторію наизнанку, для того, чтобы доказать вамъ, что оно и всегда такъ было. — Если повѣрить ему на слово, то

можно подумать, что государственные формы развиваются на почве той или другой народности вполнѣ аналогично съ развитіемъ органовъ растений: какъ изъ одного зерна выходятъ и корни, и стебли, и листья, такъ, по мнѣнію Градовскаго, всѣ функціи и права политической власти развиваются изъ какой-нибудь первобытной формы общества, въ родѣ, напримеръ, патриархальной семьи.

«До образованія государственной формы, говоритъ онъ на стр. 44, права и функціи политической власти находились въ рукахъ извѣстныхъ *властей*, выработанныхъ первобытными формами общества. Права законодательства, суда и управленія находились послѣдовательно въ рукахъ отца семейства, патриарха-родоначальника, собранія родовыхъ старшинъ, вотчинника-феодала и т. д.

«Два признака отличала этотъ порядокъ вещей. «Права и функціи власти были соединены *частными* правами лицъ, ими облеченныхъ. Они какъ-бы вытекали изъ нихъ. Родоначальникъ изъ своей отеческой власти выводилъ право на жизнь и смерть своихъ подчиненныхъ, на внутреннее управленіе дѣлами рода, на веденіе внѣшнихъ сношеній и т. д. Феодальный-вотчинный видѣлъ въ судѣ одно изъ своихъ поземельныхъ правъ, статью дохода. Власть не была въ это время общественною должностію, предназначенною для осуществленія общественныхъ интересовъ.

«При такой системѣ *частныхъ* властей, политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, роды, феодальная владѣнія не имѣютъ внутренней связи; они не способны къ общности национальной жизни. Самыя условія этой жизни, и больше всего юридическія условія, не представляютъ единообразія, единства, необходимыхъ для правильнаго общенія.

«Процессъ образованія государственной власти состоитъ въ томъ, что права и функціи политической власти постепенно концентрируются у всѣхъ частныхъ властей. Феодалы лишаются права законодательства, суда, правъ управленія финансоваго, полицейскаго, права частныхъ войнъ и т. д. Всѣ эти права сосредоточиваются въ рукахъ одного лица или учрежденія, дѣйствующаго во имя общественныхъ интересовъ, дѣлаются существенными *атрибутами* верховной власти. Поэтому этотъ процессъ можетъ быть названъ *сосредоточеніемъ* или *централизацией* власти. Словомъ, сосредоточеніе власти состоитъ въ томъ, что вмѣсто многихъ родоначальниковъ, вотчинниковъ и т. д., остается *одинъ*. Централизованная власть сосредоточиваетъ въ своихъ рукахъ только часть функцій прежнихъ властей, именно функціи, имѣющія политическое значеніе.

«Единство власти приводитъ къ единству и единообразію всѣхъ условій общенія, что допускаетъ возможность болѣе широкаго и всесторонняго общенія. Единство законодательной власти устанавливаетъ единство и равенство въ правахъ и обязанностяхъ, централизация суда ведетъ къ единообразному примѣненію и охраненію законовъ, единство администраціи—къ общности силъ и мѣръ въ осуществленіи разныхъ общественныхъ интересовъ. Такъ вмѣстѣ съ образованіемъ центральной политической власти образуется и самое *государство*, какъ форма человеческого общенія, какъ разнообразное и единое въ своемъ разнообразіи политическое общество».

На первый взглядъ вамъ можетъ показаться, что подобная система развитія государства основана всецѣло на историческомъ опытѣ, поэтому не подлежитъ сомнѣнію, и вамъ остается только удивляться, какъ въ самомъ дѣлѣ органически, естественно и систематично совершается процессъ развитія государства. Но если вы вздумаете, не повѣривши Градовскому на

слово, примѣнить эту схему къ развитію любого изъ историческихъ государствъ и просмотрѣть по историческимъ фактамъ, такъ-ли на самомъ дѣлѣ развивались государства, вы тотчасъ и увидите, что схема Градовскаго вѣнцъ въ безвоздушномъ пространствѣ и отличается, мало сказать, отвлеченностію, а вполнѣ произвольною фантастичностію.

Но прежде, чѣмъ мы займемся анализомъ историческихъ фактовъ, съ дѣлію опроверженія фантастической схемы Градовскаго, мы считаемъ не лишнимъ уяснить, что мы должны считать подъ словами органической, естественной, искусственной, противуположенный и пр. Дѣло въ томъ, что у насъ весьма произвольно играютъ этили словами и изъ этой игры и выходятъ такіе фокусы-покусы, какъ представленный намъ Градовскимъ въ видѣ его вышесозначенной схемы. До какой степени темно у насъ понятіе *обы*, естественное, это мы можемъ судить по тому, что, вопреки всѣмъ законамъ логики, понятіе это имѣетъ два антитеза: противоестественный и искусственный. Но съ реальной точки зрѣнія послѣднее понятіе вовсе не составляетъ антитеза естественному. Реализмъ признаетъ, что все, какъ въ природѣ, такъ и въ жизни человѣка, совершается по непреложнымъ естественнымъ законамъ и, слѣдовательно, въ исторіи все безразлично должно быть признаваемо равно естественнымъ. Противуположностью такому естественному можетъ быть только признаніе такихъ явленій, которыя совершались-бы вопреки всѣмъ естественнымъ законамъ, дѣйствіемъ силъ, лежащихъ внѣ природы. Признаете вы или нѣтъ возможность такихъ явленій, назовете-ли вы ихъ сверхъестественными или просто искусственными, во всякомъ случаѣ они одни могутъ быть истиннымъ антитезомъ всего естественнаго. Искусственное же есть не антитезъ, а только видъ естественнаго и имѣетъ своей особенной антитезъ, обуславливающійся понятіемъ искусственнаго. Въ самомъ дѣлѣ, что мы подразумеваемъ подъ этимъ словомъ? Всѣ явленія, въ которыхъ обнаруживается сознательное стремленіе человѣка прихотью силы и законы природы къ своимъ личнымъ дѣламъ. Всякое такое явленіе гораздо правильнѣе и точнѣе было-бы обозначить словомъ произвольно-естественнаго и антитезомъ этого произвольно-естественнаго будетъ понятіе о непроизвольно-естественномъ, т. е. о всѣхъ такихъ явленіяхъ, которыя совершаются внѣ воли человѣка. Но не говоря уже о произвольно-естественномъ, и непроизвольно-естественное далеко не все можетъ быть названо въ тоже время и органическимъ. Органическое составляетъ только видъ непроизвольно-естественнаго, въ противоположность неорганическому. Органическимъ мы вправѣ считать только такія явленія, которыя присущи органическимъ тѣламъ и составляютъ ихъ жизненные процессы, опредѣляемые біологіею. Не считая нужнымъ вдаваться въ подробности разсмотрѣнія всѣхъ общеправительныхъ признаковъ органическаго, мы укажемъ только на два существенные закона, которые будутъ играть важную роль въ нашихъ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ. Во первыхъ, все органическое развивается изъ самого себя, — причѣмъ изъ внѣшней природы входитъ въ организмъ только матеріалъ, перерабатываемый организмъ-

можъ для своихъ жизненныхъ цѣлей: такимъ образомъ мы не можемъ себѣ и представить возможности существованія такого организма, части котораго развѣлись бы не изъ него, а существовали прежде отдѣльно, а потомъ взяли соплись, да и составили бы готовый организмъ. Во вторыхъ всѣ органическіе процессы суть непроизвольно-естественные: воли человѣка можемъ ихъ ускорить, замедлить, остановить и уничтожить, но вызвать и производить ихъ личными усиліями — въ власти человѣка; по крайней мѣрѣ, до нашихъ временъ никто еще не сдѣлалъ живого организма.

Изъ основаній этихъ двухъ законовъ вы можете съхотѣ назвать или шарлатаномъ и гаеромъ, или пошучаешь, повторяющимъ человѣческія слова, смысла которыхъ онъ не понимаетъ, всякого господина, который будетъ вамъ толковать о народномъ или государственномъ организмѣ, предполагая, что этотъ организмъ сложился изъ отдѣльныхъ частей, которыя никогда существовали безъ всякой связи другъ съ другомъ, или, что явился такой чародѣй, который разрозненныя части *насильственно сплотилъ* въ одинъ живой организмъ посредствомъ, положимъ, хоть завоеванія.

И вѣдь, если мы обратимся теперь къ схемѣ Градовскаго, поразишей насъ на первый взглядъ своею несомнѣтельностью, мы увидимъ, что Градовскій, желая доказать органичность развитія государства, въ первыхъ-же строчкахъ отрицаетъ его, представляя первый періодъ этого развитія въ такомъ видѣ: „при такой системѣ частныхъ властей, политическая жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена, феодальная владѣнія не имѣютъ внутренней связи, они не способны къ общности національной жизни. Самые условія этой жизни, и болѣе всего юридическія условія, не представляютъ однообразія, единства, необходимыхъ для правильнаго общенія“.

И дѣйствительно, въ исторію какого изъ индо-европейскихъ народовъ вы ни заглянете, вездѣ вы увидите, въ эпоху образованія государственныхъ формъ, нѣчто одного зерна, изъ котораго впоследствии развивался бы организмъ государства, массу отдѣльныхъ частей, совершенно разрозненныхъ, изъ которыхъ каждая живетъ своею особенною жизнью и стремится къ отдѣленію съ другими частями, а напротивъ того къ полному обособленію и независимости. Можно доложить сказать, что единственною, если не органическою, то воплнѣ непроизвольно-естественною формою государства является родовая или лично-семейная община земледѣльческая, промышленно-торговая или военная. При благоприятныхъ условіяхъ эта община развивается въ городъ (*civitas*) и только въ подобномъ маленькомъ естественно развившемся государствѣ вы можете видѣть государственныя формы, образовавшіяся воплнѣ органически, изъ какого-нибудь патриархально-семейнаго зерна, безъ участія личнаго произвола какихъ-либо завоевателей. Такъ образовались древне-греческія республики, древне-русскіе города (Кіевъ, Новгородъ, Псковъ и пр.). И у германскихъ народовъ были зародыши подобныхъ-же государственныхъ формъ. По крайней мѣрѣ, Тацитъ и Цезарь представляютъ намъ германцевъ живущими

сочиненія А. Скабичевскаго. — II.

небольшими общинами съ общимъ землевладѣніемъ, причѣмъ общественныя дѣла рѣшались на сходкахъ всѣми свободными людьми общины; каждая община выбирала своихъ судей и распорядителей, и только въ случаѣ войны являлся общій предводитель всего племени, но и этотъ предводитель имѣлъ только временное значеніе въ военное время; въ мирное-же время власть его почти уничтожалась, и только впоследствии, когда войны сдѣлались непрерывными и подъ чуждыми влияніями идей римской цивилизаціи и библейскихъ, временной предводитель превратился въ постоянного короля. — Такимъ образомъ мы имѣемъ основаніе предполагать, что если германцы развивались-бы на своихъ мѣстахъ воплнѣ самобитно и мирно, внѣ всякихъ внѣшнихъ вліяній, безъ передвиженій и завоеваній, то и они сложились-бы въ рядъ городовъ-государствъ, политически совершенно независимыхъ другъ отъ друга.

Но крайней мѣрѣ передъ нашими глазами тотъ несомнѣнный фактъ, что чѣмъ болѣе развитіе того или другого народа подходило къ непроизвольно-естественному, чѣмъ менѣе участвовать въ немъ завоевательно-личный элементъ, тѣмъ сильнѣе къ такому народѣ было стремленіе къ политической разбѣденности и тѣмъ долѣе она сохранялась. Изъ крупныхъ историческихъ народовъ мы можемъ указать на два такихъ народа: русскій и древне-греческій. — Дѣйствительно въ исторіи обоихъ народовъ завоеваніе играло самую ничтожную роль въ образованіи государствъ, и вотъ мы видимъ, что Русь слагается въ видѣ вѣчевыхъ городовъ, связь между которыми становилась все слабѣе до татарскаго ига... Въ Греціи является цѣлый рядъ совершенно независимыхъ республикъ.

Такимъ образомъ, на первой же страницѣ исторіи передъ нами предстаетъ одинъ изъ самыхъ великихъ всемірно-историческихъ народовъ, который не только не сложился въ единое политическое цѣлое, но который достигнулъ высокаго развитія и положилъ основаніе всемірной цивилизаціи, пока не былъ соединенъ; объединеніе же было его смертію. — Отношеніе греческихъ республикъ между собою было совершенно такое же, какое представляется намъ между современными европейскими государствами; точно также они то воевали между собою, то заключали союзы; очень часто являлось преобладаніе одной державы надъ другими и возбуждало оппозицію, весьма похожую на наши теоріи политическаго равновѣсія. Если существовали между греками кой-какія попытки къ политическому объединенію, то замѣчательно, что во первыхъ онѣ никогда не обнимали всего эллинскаго народа, а были частно-племенными, каковы были союзъ іоническихъ городовъ подъ гегемонією Афинъ, ахейскій союзъ, дорическое объединеніе большей части Пелопонеза подъ властію Спарты; во вторыхъ во всѣхъ этихъ союзахъ и слѣда мы не видимъ чего-либо непроизвольно-естественнаго, органическаго: это были или насильственно-завоевательныя стремленія одного возвысившагося государства, какъ напратѣрь Спарты, а впоследствии Македоніи; но Спарта нашла въ греческихъ республикахъ не готовность объединиться подъ ея владычествомъ, а напротивъ того дру-

жественный отпор; Македония же должна была разрушить многие греческие города до основания, чтобы заставить их забыть о своей политической независимости. Или же попытки объединения устраивались между свободными державами по сознательному соглашению, договору, и носили таким образом характер чисто рациональный, который между прочим Градовский самым решительным образом отвергает в образовании государств. Въ самом дѣлѣ: Градовский сѣбѣ надъ рационалистами за ихъ теорію общественнаго договора, которою они объясняли происхождение государствъ, и дѣйствительно сѣбно все подводитъ подъ эту теорію; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы нужно было впадать въ другую крайность и отвергать совсѣмъ существованіе рациональнаго начала въ исторіи, и вотъ почти на первой же страницѣ исторіи мы видимъ проявленіе начала чисто рациональнаго: сначала іонійскіе города, а потомъ ахейскіе составляютъ, на основаніи свободнаго общественнаго договора, союзъ, который былъ болѣе, чѣмъ простымъ политическимъ союзомъ: это была федерація городовъ, весьма напоминавшая собою федерацію сѣверо-американскихъ штатовъ.

Разумъ—одинъ изъ могучихъ дѣятелей исторіи; и отвергать его вліяніе въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ установленіе формъ общежитія, значить лишать человечества того, чѣмъ оно единственно отличается отъ всѣхъ прочихъ животныхъ. По этому слѣдуетъ отвергать не рационализмъ самъ по себѣ, а только ложное его направленіе. Конечно, когда рационализмъ является въ видѣ отвлеченныхъ теорій меньшинства, и это меньшинство стремится насильно осуществить свою теорію, отъ такого рационализма Боже избави; по совершенно другое дѣло, когда одно или нѣсколько независимыхъ обществъ вполне сознательно и свободно что-либо производятъ или измѣняютъ въ своемъ бытѣ по разумнымъ соображеніямъ. Такой рационализмъ во имя права человѣка распорядиться своею судьбою имѣетъ всегда мѣсто въ исторіи: онъ развивается по мѣрѣ развитія человечества, и ниже мы увидимъ, къ какимъ результатамъ онъ можетъ привести впоследствии.

Но, можетъ быть, при всемъ отсутствіи органической, государственной связи, греки все-таки имѣли внутреннюю, духовную связь, сознаніе, что всѣ они составляютъ одинъ народъ, и, можетъ быть, это сознаніе, забывавшееся въ мирное время, съ особенною силою воскресало въ моменты нападенія иноплеменнаго врага, каковыми были, напримѣръ, персы? Но и такое трансцендентальное единство представляетъ весьма спорный вопросъ. Достаточно того, что у политически-разъединенныхъ грековъ, разсѣянныхъ по берегамъ и островамъ Мраморнаго и Средиземнаго морей, не могло сложиться идеи объ общегреческой территоріи; существовали только отдѣльныя территоріи: Локская, Спартанская, Фивская, Коринфская и проч. Поэтому, когда иноплеменники нападали на грековъ, они нападали не на греческую землю вообще, а на владѣніе того или другаго государства. Это государство обращалось тогда къ различнымъ греческимъ городамъ съ просьбою о помощи, искало союзниковъ, и греческіе города далеко не всегда и не всѣ

подымались противу общаго врага. Такъ, покоривъ Лидійское царство, персы покорили и подвластивъ имъ іонійскія колоніи. Іонійцы возмутились и просили помощи у европейскихъ грековъ. Изъ нихъ спартавцы поотрѣзъ отказались помочь іонійцамъ; имъ было не до того: они были заняты войною съ Аргосомъ; аэеи же поддерживали возстаніе малоазійскихъ грековъ, и то не столько ради искренняго желанія помочь единоплеменникамъ, сколько ради мести персамъ, притившимъ у себя бѣжавшаго тирапа Гиппиа. Такимъ образомъ, при первомъ-же столкновеніи съ персами, греки проявили себя совершенно такъ-же, какъ проявили-бы себя и современныя европейскія государства при вторженіи въ Европу какого-нибудь азиатскаго племени. Если-бы это племя завоевало Россію и Германію, Англія могла-бы продолжать держать строгій нейтралитетъ и еще, пожалуй, радовалась-бы, что избавилась отъ двухъ цивилизованныхъ соперниковъ, а Франція могла-бы протянуть руку побѣжденнымъ державамъ, если-бы въ лагерьъ азиатцевъ очутились-бы наполеониды и новый Чингисъ-Ханъ; общались-бы возстановить ихъ на престолѣ Франціи. И всѣ дѣлшія войны съ персами носятъ такой-же разъединенный характеръ со стороны грековъ. Сначала мы видимъ кой-какое стремленіе спланиваться въ союзы и дѣйствовать сообща противу общаго врага, — союзы, заключеніе которыхъ возможно и между различными народами, но и въ этихъ союзахъ мы не отмѣчаемъ особеннаго патріотическаго единенія: такъ, одни города сѣбно покорили персамъ, другіе колеблются и не знаютъ, къ чему пристать—къ партіи сопротивленія или покоренія; третьи, какъ опять та же Спарта, на словахъ охотно сопротивляются, а на дѣлѣ медлятъ, отказываютъ и предоставляютъ другимъ освобождать отъ персовъ Элладу. Такой порядокъ мы видимъ во время первыхъ войнъ съ персами; дажде-же мы встречаемъ еще менѣе единенія: всѣ греческій міръ распадается на два враждебно-политическіе лагеря, начинаются пелопонезскія войны, и ужъ тутъ не только мы не видимъ и возможности, чтобы весь народъ, какъ одинъ человѣкъ, возсталъ и слился въ одинъ общій чувствъ и т. д., а напротивъ того: то къ, то другая сторона прибѣгаютъ къ персамъ, ища въ нихъ союзниковъ противу единоплеменнаго врага. Такъ аонійскій полководецъ Кононъ одерживаетъ надъ спартавцами побѣду при Кандіи при помощи персидскаго флота, а спартавцы отплачиваютъ своимъ врагамъ анталкидовымъ миромъ, по которому они отдадутъ въ власть персовъ всѣ малоазійскія колоніи съ островами Бипроръ и Клазоменъ.

Но что-же тутъ хорошаго въ этой разъединенности? спроситъ меня читатель. Развѣ не эта разъединенность и погубила Грецію? Если-бы Греція составляла нѣчто цѣлое, органически-единное, то, можетъ быть, не было-бы и Римской Имперіи, и гениальный народъ представилъ-бы намъ и не такія еще чудеса цивилизаціи? Но развѣ я представляю разъединенность Греціи, какъ нѣчто идеальное? Вичуть не бывало. Я только констатирую фактъ, доказывающій, что стремленіе къ единству и органическое развитіе государственныхъ формъ вовсе не составляютъ фи-



мально-неизбѣжнаго условія жизни каждаго народа. Я могу повторить здѣсь слова самого Градовскаго: *мы, очевидно, не имѣемъ права (т.-е. научнаго права), говоря о раздѣленіи Греціи, ставить вопросъ о томъ, оправдываетъ или не оправдываетъ разумъ его существованіе. Мы только имеемъ право и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ-ли научные факты какія-нибудь данныя въ пользу того, что каждая народность представляетъ изъ себя послѣдовательно развивающійся политическій организмъ.*

Какъ-бы то ни было, по городамъ, — эта единственная, произвольнаго-естественная форма государства, — до такой степени сдѣлалась привычною формою древней жизни, что когда Римъ объединилъ, наконецъ, весь древній міръ, онъ не могъ сразу вырвать съ корнемъ этого глубоко вкоренившагося растения. Римъ липалъ города одной только политической независимости и въ то же время предоставлялъ имъ полное самоуправленіе: они сохраняли свой судъ, свою выборную полицію и администрацію и самостоятельно рѣшали всѣ свои внутреннія дѣла. Кажалось, что весь древній міръ готовъ былъ обратиться въ федерацию, напоявившую собою Северо-Американскіе Соединенные Штаты. Но для осуществленія подобной федерации не доставало одного и самого главнаго: древній міръ далеко былъ отъ той степени развитія, чтобы соединеніе могло произойти вполне сознательно, свободно, добровольно и на равныхъ правахъ; оно было совершено насильственно не ради единенія въ духѣ любви и братства, а съ своекорыстными цѣлями господства. Объединивши весь древній міръ подъ своею властью, Римъ началъ высасывать всѣ производительные соки изъ покоренныхъ областей. Громаднаго богатства, начавшія степенно отовсюду въ помірный городъ, произвели страшное растлѣніе нравовъ и до такой степени исказили древне-римскую культуру, что свободныя республиканскія формы должны были смѣниться деспотическими. Усиленіе деспотизма въ Римѣ вліяло и на муниципальную свободу городовъ, все болѣе и болѣе подавляя ее. Страшныя поборы, особенно тягостно падавшіе на выборныхъ представителей городовъ, произвели то, что на муниципальныя должности начали смотрѣть не какъ на почетъ, а какъ на наказаніе. Города обдѣлились, обезлюживались, наконецъ, едва владели свое существованіе; и все-таки обратите вниманіе на ихъ живучесть: они одни пережили Римскую Имперію, и въ то время, какъ всѣ ея искусственныя, насильственно поддерживаемыя формы разбились въдребезгъ передъ напоромъ варваровъ, эти органически сложившіяся формы уцѣлѣли. И это произошло очень естественно.

Мы уже говорили выше, что у германцевъ, еслибы она развивалась на своихъ мѣстахъ, въ всякихъ вѣтвяхъ вліяній, могъ бы развиваться такой же порядокъ, какъ въ древней Греціи или до-монгольской Русіи, т. е. рядъ независимыхъ городовъ, связанныхъ между собою слабою политическою связью или ничѣмъ не связанныхъ. Но развитію такого порядка помѣшали два обстоятельства: съ одной стороны, напоръ новыхъ народовъ, хлынувшихъ въ Европу съ востока; съ другой стороны, сосѣдство цивилизованнаго государства,

въ свою очередь дѣлавшаго нападенія на германцевъ. Все это сплочивало германцевъ въ орды, поддерживало и развивало въ нихъ воинственный духъ и военный порядокъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ растлѣнія въ Римской имперіи начались и вторженія въ нее варваровъ. Есть полное основаніе предполагать, что подобныя вторженія были не столько вторженіями отдельныхъ племенъ, сколько военныхъ дружинъ, въ родѣ походовъ черныхъ русскихъ князей на Грецію, причемъ мы видимъ, что Святославу, напримѣръ, поправилась Болгарія, онъ засѣлъ въ ней, забывши о Киевѣ. Такъ засѣдали въ завоеванныхъ странахъ и германскія варварскія полчища, забывая свою родину. Во всякомъ случаѣ варвары, опустошая и покоряя римскія провинціи, и не воображали вносить въ нихъ какое-либо органическое государственное устройство: удовлетворивши жаждѣ добычи повсемѣтнымъ грабежомъ, они потомъ располагались въ странѣ военнымъ лагеремъ, съ единственною цѣлью собирать доходы съ покоренныхъ областей и благоденствовать. Что же дѣлали въ это время покоренные жители: латиняне, галлы, бритты, иберы и пр.? Они разбѣгались при появленіи варваровъ, а потомъ, когда тѣ насытились грабежомъ, снова сходились на пепелища разрушенныхъ городовъ, строились на нихъ или по близости и снова заводили у себя свое неконное муниципальное правленіе, съ которымъ сжились. Варварамъ до этого не было никакого дѣла; главное заботою ихъ было собирать побольше дохода съ покоренныхъ земель, и они не только не вмѣшивались въ самоуправленіе городовъ, но, напротивъ, поощряли такой порядокъ, желая, по всей вѣроятности, ободрить испуганный народъ и снова собрать его изъ дѣсовъ въ города. Тамъ, по свидѣтельству Григорія Турскаго, король франковъ Хлотарь даже присигнуетъ разнымъ городамъ франкской державы не навязывать имъ никакихъ новыхъ законовъ и учрежденій.

Такимъ образомъ, съ самаго начала образованія современныхъ намъ государствъ не представляется и слѣдовъ чего-либо органическаго, — естественнаго и произвольнаго развитія разнообразія изъ единства; напротивъ того, передъ нами насильственное сѣвленіе совершенно разнородныхъ элементовъ. Мы видимъ нѣсколько враждебныхъ лагерей, составляющихъ государства въ государствахъ: съ одной стороны передъ нами короли съ вассалами, составляющіе вѣтвистый, прищипанный военно-деспотическій элементъ и, если считать этотъ элементъ головами развивавшихся народно-государственныхъ организмовъ, то мы будемъ имѣть чудодѣйственные организмы, головы которыхъ развились не изъ стѣнн вѣтвѣтъ съ другими членами тѣла, а приросли къ тѣлу извнѣ; съ другой стороны, города со своими вольностями, основанными на римскомъ правѣ, съ третьей стороны духовенство, это новое государство въ государствѣ, не желающее звать никакихъ другихъ властей, кромѣ единой власти римскаго папы. И всѣ эти элементы, несмотря на попытку къ искусственно-насильственному соединенію ихъ въ видѣ монархіи Карла, этого неудачнаго подражанія Римской имперіи, всѣ они тянутъ врозь и, наконецъ, совсѣмъ расплываются. Феодалы отлагаются отъ королей, и по мѣрѣ того, какъ расплачивается

насилственно сдѣляющій военно-деспотическій элементъ, произвольно-естественные элементы начинаютъ развиваться и усиливаться: города получаютъ все болѣе и болѣе свободы, правъ, и обращаются почти въ независимыя республики.

Въ самомъ дѣлѣ, къ 13 вѣку, мы видимъ, что вся Европа покрыта сѣтью вольныхъ городовъ, которые наперерывъ стремятся, то силою оружія, то путемъ мирныхъ договоровъ, въ родѣ покупокъ за деньги льготныхъ грамотъ, приобрести полную независимость отъ феодализма. И въ то время, какъ за стѣнами городовъ царствуетъ грубое варварство, въ городахъ начинается кипѣть совершенно иная жизнь: развивается торговля и промышленность, нравы смягчаются, является страсть къ наукамъ и искусствамъ, совершаются первые изобрѣтенія. Между тѣмъ, какъ внѣ городовъ господствуетъ необузданный произволъ феодальнаго и крѣпостнаго права, не возбуждающаго ни малѣйшаго протеста и признаваемого божественнымъ, въ городахъ, какъ итальянскихъ, такъ и германскихъ возникаетъ демократическое движеніе: все болѣе и болѣе богатѣющіе купцы и ремесленники встаютъ на городскихъ дворянъ и требуютъ равенства въ участіи въ городскомъ правленіи. При всемъ этомъ замѣчательнъ тотъ фактъ, что въ мѣстностяхъ Европы, въ которыхъ феодальныя стихіи пришли въ наиболѣе раздробленное состояніе, и гдѣ взаимная борьба между ними парализовала всякія попытки къ насильственнымъ объединеніямъ, тамъ города достигли наибольшей независимости и цвѣтущаго состоянія. Таковы были Италия, въ особенности сѣверная, Швейцарія и Германія. При этомъ сначала города боролись съ феодализмомъ, каждый въ отдельности, впоследствии же начали составлять союзы, весьма напоминавшіе древне-греческіе. Такова была напримѣръ Ломбардская лига, составившаяся противъ Фридриха II изъ городовъ Вероны, Верцелли, Мантуи, Гуасталлы, Виченцы, Падуи и Тревизо. Таковъ былъ на сѣверѣ знаменитый Ганзейскій союзъ, состоявшій изъ 90 городовъ, которые, пользуясь самостоятельностью каждый въ отдельности, въ тоже время имѣли союзное правительство, владѣвшее союзною казною и войсками. Эти союзныя войска вмѣстѣ съ любекскимъ флотомъ очистили Балтійское море отъ морскихъ пиратовъ, прекратили набѣги нормановъ, и обезопасили Ганзу отъ рыцарей-разбойниковъ, въ мрачную эпоху кудачнаго права. Союзы городовъ, сначала случайныя и частныя, со временемъ дѣлаются все болѣе и болѣе обширными, и вотъ мы видимъ въ XIV вѣкѣ настаетъ такой критическій моментъ, въ который едва не совершился въ жизни Европы великій переворотъ. Дѣло въ томъ, что Швейцарія, освобожденіе которой приписывается мюнхенскому Вильгельму Теллю и представляется обыкновенно какимъ-то исключительнымъ явленіемъ, въ сущности есть ни что иное, какъ памятникъ такого движенія, которое въ моментъ освобожденія Швейцаріи было общевропейскимъ и едва всей Европѣ не придадо видъ Швейцаріи. Такъ рядомъ съ Швейцарскимъ союзомъ образовались союзы рейнско-швабскихъ и франконскихъ городовъ. Оба эти союза, соединившись между собою, предложили пристать къ нимъ и швейцарскому союзу, и по-

слѣдній присталъ къ швабскимъ и франконскимъ городамъ, хотя и не во всемъ своемъ составѣ. Такимъ образомъ составила лига изъ 70 городовъ, основаніемъ которой послужилъ союзный договоръ, заключенный въ Констанцѣ 21 Февраля 1385 года. Не довольствуясь этимъ, лига вошла въ сношеніе съ Ганзою, и стоило только пристать къ ней ганзейскимъ и верхне-италійскимъ городамъ, тогда образовалась бы такая сила, противъ которой феодалы всей Европы конечно не могли бы устоять, еслибы даже способны были къ единодушному сопротивленію, и тогда Европа могла бы принять видъ древней Греціи. Во германскіе князья во время поняли угрожающую имъ опасность и, прежде чѣмъ города успѣли слѣтнуться въ такой колоссальный союзъ, они напали на нихъ дружными усилиями. Въ 1388 и 1389 гг. произошло нѣсколько битвъ, результатомъ которыхъ было то, что города принуждены были покориться, союзъ распался и власть князей сдѣлалась неограничена; такъ никакое энергическое сопротивленіе не мѣшало имъ болѣе ослаблять города и всецѣло притѣснять ихъ. Но дорого стоило Германіи это паденіе городовъ: видѣть съ ними надолго пали и торговля, и благосостояніе страны; нравы огрубѣли и одичали; надо всѣмъ воцарился необузданный деспотизмъ феодальныхъ владѣтелей и католическаго духовенства, аксиоматическаго грубое суевѣріе.

Въ то время, какъ въ Германіи побѣда феодальныхъ князей надъ городами повела къ усиленію ихъ могущества и къ окончательному раздробленію Германіи, во Франціи и Англіи произошли иные коллизіи между элементами средневѣковыхъ обществъ, результатомъ которыхъ было дѣйствительно объединеніе этихъ странъ, но все-таки это объединеніе не представляетъ ничего естественно-органическаго и является насильственнымъ и потому искусственнымъ. Такъ во Франціи въ моментъ объединенія мы видимъ не народный организмъ, развивающій многое изъ единаго, а четыре враждебные лагеря, упорно борющіеся между собою: съ одной стороны феодалы стремятся свергнуть съ себя всякую зависимость отъ короля, съ другой — города стремятся къ независимости отъ феодаловъ, съ третьей стороны короли въ теоріи пытаются въ себѣ идеалы абсолютизма, завѣщанные Востокомъ и Римомъ, фактически-же не имѣютъ еще почти никакой власти, и наконецъ, въ четвертыхъ духовенство стремится покорить теократической власти папы всѣ прочіе элементы общества. — Если при такихъ условіяхъ Франція не распалась на калкія части и не образовала изъ себя нѣсколькихъ государствъ вмѣсто одного, то благодаря тому, что королевская власть соединилась съ городами противъ общихъ враговъ, феодаловъ, но покоривши феодаловъ и обуздавши притязанія духовенства, она пошла уничтожила и своихъ союзниковъ, подавила самостоятельность городовъ и, утвердивши необузданный абсолютизмъ, распространивши на всю страну давящую и жертвую центральную власть, начала стягивать къ себѣ всѣ соки страны, пока не истощила ее до послѣдней степени. — Видѣть нѣчто народно-органическое въ подобномъ объединеніи отказывается даже Градовскій: „успѣхи королевской власти, говоритъ

онъ на 8 стр., не вездѣ разрѣшили національный вопросъ; короли даже не въ состояніи были дать этому вопросу правильную постановку. Нужно имѣть въ виду, что во-первыхъ, королевская власть пришла въ себя много элементовъ феодальнаго права и, во-вторыхъ, что она, въ дѣйствіяхъ своихъ, выдвигала на первый планъ чисто политическіе и юридическіе вопросы—вопросы о единствѣ власти, закона и администратіи\*. Мы можемъ прибавить къ этимъ словамъ Градовскаго, что короли не только что *не вездѣ*, но *нигдѣ* и не думали о разрѣшеніи національнаго вопроса. Какъ элементъ пришлый, основавшійся въ различныхъ странахъ на правѣ завоеванія, королевская власть по самому существу своему смотрѣла на завоеванныя земли, какъ на свои *владѣнія*; главный же и единственный принципъ всякаго владѣнія— есть пользованіе предметомъ владѣнія; по отношенію къ землѣ пользованіе это заключается въ собраніи доходовъ. Естественно, что феодально-королевская власть на Западѣ эту дѣятельность ставила на первый планъ, въ ней видѣла все свое призваніе, о ней только и заботилась.—Такимъ образомъ, покоряя феодаловъ, короли вовсе и не думали дѣлать это изъ за какихъ-либо отвлеченныхъ идей національнаго единства: феодалы въ глазахъ ихъ были ничѣмъ болѣе какъ своевольными арендаторами, вздумавшими раздѣлить ихъ владѣнія между собою и присвоить себѣ ихъ земли; точно также и борясь съ притязаніями католическаго духовенства, короли и не воображали о національной независимости отъ всепокорящей власти папы; здѣсь точно также является передъ нами вопросъ исключительно финансовый объ увеличеніи доходовъ. Но крайней мѣрѣ въ такомъ видѣ представляется намъ знаменитый споръ между Бонифациемъ VIII и Филиппомъ Красивымъ, этотъ роковой моментъ въ сверженіи Франціею теократическаго ипа. Все несогласіе между папою и королемъ произошло изъ того, что король ради наибольшихъ доходовъ вздумалъ обложить податями духовенство; папа запретилъ это; тогда король въ свою очередь запретилъ вывозъ золота куда-бы то ни было изъ Франціи, слѣдовательно и въ Римъ. Наконецъ усиленіе администратіи и та крайняя централизація, которую развили во Франціи короли, все это имѣло единственную цѣль— систематизацію собранія доходовъ. Въ этомъ отношеніи знаменитая фраза Людовика XIV— *l'état c'est moi* является примымъ логическимъ выводомъ изъ самой идеи феодально-королевской власти. Фразою этою Людовикъ XIV откровенно выражалъ, что онъ вовсе не есть глава или представитель какого-то тамъ еще народа; никакого народа онъ и знать не хочетъ, а знаетъ онъ только свое помѣстье, составляющее его неотъемлемую собственность, часть его самого (какъ обыкновенно объясняютъ юристы идею всякой собственности), которое потому только и существуетъ, что онъ Людовикъ XIV; онъ именно и есть *l'état*.

Во Франціи представляются намъ тѣ-же самые общественные элементы: тѣ-же феодальные бароны, города и короли, имѣющіе притязаніе видѣть въ себѣ *l'état*. Разница представляется здѣсь только въ комбинаціи враждебныхъ лагерей. Такъ здѣсь города соединяют-

ся не съ королями противъ бароновъ, а съ баронами противъ королей. Слѣдствіемъ такой комбинаціи и было то, что короли въ Англіи не могли достигнуть такого могущества, какъ во Франціи, не имѣя возможности составить постояннаго войска, какое образовали французскіе короли при помощи городовъ. Власть ихъ поэтому все болѣе и болѣе падала послѣ каждаго дружнаго натиска бароновъ въ соединеніи съ городами; результатомъ этого и образовалось полное отсутствіе централизаціи и то знаменитое англійское *self-government*, на которое съ такою завистью смотрятъ всѣ континентальные народы. Англійская конституція со всѣми своими широкими правами есть какъ-бы рядъ мирныхъ договоровъ между воюющими лагерями.

Но какъ ни различно сложились государственныя формы въ трехъ передовыхъ Европейскихъ странахъ—Германіи, Франціи и Англіи, въ основѣ этого образованія лежитъ одна и таже искусственная комбинація элементовъ, одинаково враждебныхъ другъ другу, одинаково взаимно другъ друга исключаящихъ. Образованіе государственныхъ формъ Западной Европы вышло такимъ образомъ вовсе не изъ естественно-органическаго развитія, а изъ борьбы между этими враждебными элементами, при чемъ въ однихъ странахъ, какъ во Франціи XIII вѣка и современной Германіи, произошло *насильственное* подчиненіе всѣхъ элементовъ одному, одержавшему побѣду, въ другихъ, какъ въ Англіи, мы видимъ *раціональный* договоръ, установившій отношенія между враждебными лагерями. Но и послѣ того, какъ объединеніе совершилось, вышеозначенные элементы не слились въ одно органическое тѣло, и до сихъ поръ они существуютъ каждый своею особенною жизнью въ видѣ сословій, ведущихъ между собою борьбу, то открытую, то тайную. Но мало того, что вмѣстѣ съ объединеніемъ борьба не уменьшилась, но еще осложнилась, потому что среднее сословіе, въ которое слились города, раздѣлилось на два элемента, на капиталистовъ и рабочихъ, и послѣдніе составили враждебный лагерь, могущій вступать въ различные союзы со всѣми прежними элементами. Отсюда весьма естественнымъ представляется и тотъ антагонизмъ между государствомъ и обществомъ, противъ котораго ратуютъ Градовскій. Этотъ антагонизмъ вытекаетъ прямо изъ историческаго положенія вещей въ Европѣ. Правительства пришлыя, поработившія различныя самостоятельныя элементы странъ и насильственно слотившія ихъ, естественно тѣмъ самымъ и утвердили взглядъ на себя, какъ на нѣчто вышнее и тяготящее надъ страной; взглядъ этотъ утверждался въ ками, и вы подумайте только, въ какихъ слояхъ западно-европейскихъ обществъ наиболѣе господствуетъ онъ? въ городскомъ среднемъ сословіи. Какіе классы общества наиболѣе оказываются приверженными теоріямъ государственнаго невмѣшательства и ограниченія государственныхъ функций однимъ охраненіемъ личной безопасности—опять-таки буржуазные классы, т.-е. тѣ-же города, привыкшіе съ начала среднихъ вѣковъ уже стремиться къ независимости отъ феодальныхъ владѣтелей и къ огражденію своихъ внутреннихъ городскихъ дѣлъ отъ вышшняго вмѣшатель-

ства. Но объясняемый исторически, подобный взгляд имеет свое оправданіе и въ современномъ положеніи вещей. Онъ былъ-бы долженъ только въ томъ случаѣ, если-бы въ дѣйствительности во Франціи, Англіи или иной странѣ существовали тѣ идеальныя національно-органическія государственныя формы, о которыхъ мечтаетъ Градовскій, но такихъ формъ нигдѣ не существуетъ; въ дѣйствительности искусственно сложившіяся государственныя формы служатъ орудіемъ въ рукахъ одного какого-нибудь элемента, одержавшаго верхъ и стремящагося поработить всѣ прочіе. Отсюда, весьма естественно, въ городскихъ классахъ, наиболѣе образованныхъ и надвеле привыкшихъ къ самоуправленію, стремленіе гарантировать свои внутреннія дѣла отъ произвольнаго вмѣшательства администраціи, являющейся слѣдствіемъ орудіемъ въ рукахъ то той, то другой изъ господствующихъ партій.

Читатель можетъ опять задать мнѣ вопросъ: неужели же я смотрю, какъ на нѣчто идеальное, на всю эту рознь элементовъ, изъ которыхъ слагается европейская жизнь, неужели я не желаю, подобно Градовскому, чтобы каждый народъ представлялъ стройный государственный организмъ, вполне сливающимся, отождествляющимся съ народомъ и органы котораго не дрались бы между собою, а напротивъ того составляли нѣчто систематически стройное, единодушно-взаимно-дѣйствующее, многое въ единое и единое во многое? Но мало ли чего бы я ни желалъ: здѣсь идетъ дѣло не о томъ, что было бы желательно, а о томъ, что есть на самомъ дѣлѣ. И я, если вамъ угодно, могу еще разъ повторить два лудрыхъ изреченія Градовскаго: 1) съ научной точки зрѣнія желательность извѣстнаго положенія дѣлать признакомъ его практической годности и 2) мы очевидно не имѣемъ права (т. е. научнаго права), говоря о государственномъ единствѣ народовъ, поставить вопросъ о томъ, оправдывается или не оправдывается разумъ существованія этого единства? Мы только въ правѣ и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представляютъ-ли научныя факты какія нибудь данныя въ пользу того, что государственныя формы различныхъ народовъ сложились естественно и представляютъ органическое единство?

И научныя факты говорятъ намъ: нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ.

Но можетъ быть отсутствіе органическаго единства въ государственныхъ формахъ нисколько не мѣшаетъ народу быть единымъ въ культурномъ отношеніи, т. е. каждый народъ, какіе бы враждебныя политическія элементы ни заключалъ въ своихъ недрахъ и хотя бы даже былъ политически разъединенъ, подобно древнимъ грекамъ, при всемъ томъ, говорить однимъ языкомъ, исповѣдуетъ одну религію, имѣетъ одинаковый бытъ во всѣхъ своихъ элементахъ и отдѣльныхъ частяхъ, одинаковый складъ ума, одинаковую склонность къ созданію своеобразныхъ произведеній искусства или къ процвѣтанію тѣхъ или другихъ наукъ и пр. Но и въ этомъ отношеніи мы не найдемъ положительно ни одного народа, который въ продолженіи всей своей исторіи имѣлъ бы однообразную культуру во всѣхъ своихъ отдѣльныхъ частяхъ. На-

противъ того, мы видимъ, что народъ или постоянно дѣлится на различныя культуры, не пьющая между собою часто ничего общаго; или же съ теченіемъ времени въ немъ возникаютъ такія культурныя разновидности, которыя теряютъ всякую связь съ общен культурною.

Начнемъ, если вамъ угодно, опять съ греками. Говоря однимъ языкомъ, они имѣли одни вѣрованія, нравы и обычаи, учились по однимъ и тѣмъ же вѣщамъ Гомера, сходились со всѣхъ странъ свѣта на олимпійскія игры, гдѣ при всемъ своемъ политическомъ разъединеніи сливались въ одинъ народъ изъ созерцанія своихъ вѣковѣчныхъ памятниковъ искусства, которые составляли гордость и славу каждого грека безразлично. Тѣ, которые судятъ такимъ образомъ, пѣютъ о древней Греціи самое поверхностное понятіе. — По пѣснямъ Гомера и по олимпійскимъ играмъ заключать объ единствѣ греческой культуры совершенно, что предполагать европейскую культуру однообразною на томъ основаніи, что всѣ европейцы молится по одному и тому же евангелію и въ эти времена устраиваютъ въ столичныхъ городахъ всемирныя выставки, на которыхъ состязуются другъ передъ другомъ въ произведеніяхъ промышленности, торговли, изящныхъ искусствъ и пр. Искони Греція раздѣлялась на двѣ культуры, весьма мало похожія одна на другую — дорическую, представляющую которой является передъ нами Спарта, и іонійскую, дошедшую до высшаго своего процвѣтанія въ Афинахъ. Между обѣими культурами было также мало общаго, какъ въ настоящее время между культурами хотя бы Италіи и Пруссіи. — Въ самомъ дѣлѣ: представьте себѣ съ одной стороны народъ-мореплавателей, мыслителей, предприимчивый, дѣятельный, способный на всѣ мастерства и въ изящныхъ искусствахъ дошедшій до недостижимой высоты, народъ утонченно-изящный, впечатлительный, крайне подвижный и въ тоже время любящій роскошь и вѣгу, и съ другой стороны народъ воинственный, закаленный въ перипетіи холода и голода, привыкшій къ грубой солдатской простотѣ жизни, выше всего ставящій въ человѣкѣ физическую силу и все воспитаніе полагающій въ солдатской выправкѣ. Самое смѣлое воображеніе, выражаясь словами Градовскаго, не можетъ себѣ представить Фидіа въ Спартѣ или Шоагора въ аркадской Клефѣ. Вся та высокая цивилизація, которую греки завѣщали міру, принадлежала исключительно почти одному іонійскому племени, между тѣмъ къ грекамъ принадлежатъ и македоняне, и эти опять таки свою особенную культуру, не похожую ни на аттическую, ни на спартанскую.

Если мы заглянемъ въ средніе вѣка, то здѣсь мы встрѣтимъ еще болѣе пестрое разнообразіе жизни въ культурномъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ, возмѣтели богатую культуру южной Франціи, на почвѣ которой расцвѣла знаменитая провансальская поэзія и начались первые задатки протестантства въ лицѣ альбигойцевъ, и сравните съ дикомъ, варварскою Поппадіею или Бретанью, возьмите культуру торгово-промышленной Англіи и сравните ее съ культурою горной Шотландіи, возьмите нѣмцевъ багтійскихъ прибрежій и сравните ихъ съ тирольцами, саксонцами...

Возьмите новгородскую культуру торговой республики и сравните ее с одной стороны с культурою запорожской сечи, этой военно-лагерной вольницы, и с другой стороны с культурою Москвы, основанной на византийско-татарском абсолютизмѣ. И вообще если мы примем во вниманіе, по совѣту Градовскаго, географическія, климатическія и всѣ прочія естественно-историческія условія жизни народовъ, то найдемъ, что культуры раздѣляются не столько по народности, сколько по характеру мѣстностей: такія образцы передъ нами будутъ культуры не русскихъ, французовъ и англичанъ, а горныхъ странъ, прибрежныхъ, рѣчныхъ, степныхъ, лѣсныхъ и пр., и мы увидимъ, что горы или поморье всѣхъ странъ имѣютъ гораздо больше общихъ чертъ въ своей культурѣ, чѣмъ напримѣръ тѣже горы и поморье со своими единоплеменниками, живущими въ дѣсахъ или степяхъ. Тѣ политическія объединенія, которыя происходили въ нѣкоторыхъ странахъ Европы въ концѣ среднихъ вѣковъ, какъ напримѣръ во Франціи и въ Россіи, до нѣкоторой степени дѣйствительно сгладили всѣ эти мѣстныя культурныя особенности и подчинили дѣла народы однообразной культурѣ центра, но въ подобномъ сглаженіи, индентификаціи было столько же искусственнаго, насильственнаго и подавляющаго, сколько Градовскій находитъ въ подчиненіи славянскихъ народовъ единообразной культурѣ Австрійской имперіи, и стояли они не менѣе страшныхъ кровавыхъ жертвоприношеній: такъ въ Россіи нужно было нѣсколько десятковъ тысячъ новгородцевъ потопить въ Волховѣ и разсеять по всѣмъ городамъ, чтобы приравнять новгородскую землю къ Москвѣ; во Франціи воздвигались цѣлые походы на альбигойцевъ, кончившіеся окончательнымъ истребленіемъ роскошной провансальской культуры. — Не знаемъ много-ли вытѣсла французская національность отъ уничтоженія всѣхъ мѣстныхъ особенностей и отъ сосредоточенія всей національной жизни въ Парижѣ, но намъ извѣстно, что потеряла Россія отъ уничтоженія въ лицѣ Новгорода важнаго торговаго пункта, который служилъ въ свое время для страны единственнымъ посредникомъ между нею и западною Европою въ сбытѣ мѣстныхъ произведеній, и какихъ неопровержимыхъ утѣшій стоило Россіи создать новый такой пунктъ. Мы можемъ также представить себѣ, какое губительное вліяніе экономическое и нравственное произвело бы на Англію подавленіе въ сѣверо-американскихъ колоніяхъ стремленія къ независимости и къ созданію своей собственной культуры. Въ этомъ отношеніи, если мы возьмемъ любое изъ западно-европейскихъ государствъ, составленныхъ изъ одной народности, то къ каждому мы можемъ буквально примѣнить тоже самое, что Градовскій говоритъ о государствѣ, искусственно составленномъ изъ различныхъ народностей. Вотъ что говоритъ онъ на 28 стр.:

«Искусственныя государства не удовлетворяютъ такимъ элементарнымъ потребностямъ народного развитія: они не могутъ обезпечить коренныхъ условій гражданской свободы. Созданныя обыкновенно насильств., они должны направить всѣ свои средства на сохраненіе и поддержаніе своего искусственнаго единства. Они, въ силу вещей, должны бывать подала въ всякомъ свободномъ проявленіи жизни и даже

мысли. Развѣтіе свободы кажется имъ опаснымъ потому, что оно можетъ напомнить насильственно сплоченнымъ народностямъ объ ихъ правахъ. Признаніе даже административнаго самоуправленія кажется невозможнымъ, потому что за нимъ можетъ явиться требованіе самостоятельности политической. Такія государства непрерывно живутъ между страхомъ внутренней революціи и вѣшняго нападенія. Малѣйшее пробужденіе общественной жизни внутри кажется предвѣстникомъ грознаго переворота. Усленіе себѣ вызываетъ тревожныя опасенія. Правительство такого государства поставлено въ весьма фальшивое положеніе. Оно вѣчно должно питать подозрѣніе къ собственному обществу, зависть къ соседямъ. Можетъ-ли оно разрѣшить великія нравственныя и экономическія задачи, въ которыхъ призвано государство?»

Говоря это, Градовскій подразумеваетъ, конечно, все ту же несчастную Австрійскую имперію, о которой націоналисты не могутъ вспомнить безъ скрежета зубовъ и существованіе которой составляетъ ихъ истинное несчастіе, но мы спрашиваемъ Градовскаго, къ какому-же изъ современныхъ намъ западно-европейскихъ государствъ не могутъ быть буквально прирѣнены тѣже самыя слова? Или, быть можетъ, въ Англіи, которую націоналисты постоянно превозносятъ, какъ образецъ народа, развивающагося вполне самобытно, и въ которомъ народное правительство, выражая собою волю всего народа, стремится выполнять великія національныя задачи? Но и въ Англіи ея хваленое широкое самоуправленіе, неприкосновенность личности, готовность правительства выслушивать свободно раздающіеся голоса общественного мнѣнія и удовлетворять всѣмъ потребностямъ общества, всѣ эти предели имѣютъ мѣсто только до первой роковой минуты, до чернаго дня, и въ извѣстныхъ рамкахъ. Чуть напримѣръ въ какой-нибудь части Англіи создается мѣстная культура, слишкомъ ужъ обособившаяся отъ общаго уровня жизни, завязать о своемъ существованіи и потребуетъ своихъ правъ, — отношеніе правительства къ этой мѣстности тотчасъ-же и принимаетъ характеръ отношеній австрійской администраціи къ угнетеннымъ славянамъ, и куда тогда дѣваются и свобода общественного мнѣнія и habeas corpus и все прочее. Одинъ примѣръ подобнаго отношенія мы уже имѣемъ передъ собою въ фактѣ отложенія сѣверо-американскихъ англійскихъ колоній. Чего требовали колоніи? О политической независимости онѣ еще и не мечтали, когда подняли знамя возстанія; онѣ добивались одного: признанія за ними со стороны метрополіи равноправности, права присылать депутатовъ въ парламентъ, освобожденія отъ отягочительныхъ таможенныхъ пошлинъ и другихъ налоговъ, устроенныхъ въ пользу метрополіи. Чѣмъ же отвѣтила имъ Англія на эти справедливыя требованія? Репрессивными мѣрами. Колоніи силою оружія добились не только того, чего требовали, но и большаго — политической независимости, ну а что было бы, если бы счастье войны склонилось на сторону Англіи, если бы краснорѣчіе Вильяма Питта не одержало верхъ въ парламентѣ? Развѣ положеніе колоній не было бы въ настоящее время хуже, чѣмъ положеніе Ирландіи, этой другой страны, отношеніе англійскаго правительства къ которой несколько не лучше, чѣмъ отношеніе австрійскаго правительства

къ любому изъ угнетенныхъ славянскихъ народовъ?

Но мы никогда не кончили-бы, если-бы вздумали привести всевозможныя доказательства въ пользу того, что народно-органическія государственныя формы существуютъ только въ воображеніи Градовскаго. Ограничиваясь приведенными нами историческими фактами, мы можемъ резюмировать въ заключеніи все тѣ выводы, которые прямо истекаютъ изъ этихъ фактовъ. И таковы: 1) стремленіе къ единству вовсе не лежитъ въ природѣ каждаго народа, какъ необходимое условіе его органическаго развитія: оно можетъ быть или не быть; 2) все историческія попытки къ объединенію носятъ двойной характеръ или *насилъственный*, когда одна часть или одинъ изъ элементовъ національности силою оружія покоряетъ все прочія, стремящіяся къ политической независимости, или *рациональной*, когда нѣсколько независимыхъ политическихъ единицъ соединяются въ одно государство посредствомъ свободнаго, сознательнаго общественнаго договора (іонійскій и ахейскій союзы, Швейцарія, С. Американскіе соединенные штаты); 3) государственныя формы никакъ нельзя назвать естественно-органическими формами объединенной народности. Единственными естественно-органическими государственными формами являются въ исторіи *civitates* — города, исключаяющія своимъ существованіемъ всякую мысль о народномъ единствѣ; все-же болѣе крупныя государственныя формы, обнимающія цѣлыя народности, являются уже искусственными комбинаціями, создающимися путемъ насильственнаго сдѣленія отдѣльныхъ элементовъ или рациональнаго соглашения, и, наконецъ, 4) однообразіе культуры каждаго народа; напротивъ того, мы не знаемъ положительно ни одного народа, который не раздѣлялся-бы на культурныя разновидности совершенно различными условіями мѣстности, населяемой народомъ, не говоря уже о томъ, что исторія постоянно создаетъ среди народа новыя и новыя культурныя особенности, не имѣющія никогда ничего общаго съ общимъ культурнымъ типомъ народа.

### IX.

Доказавши, что существованіе отдѣльныхъ народностей вовсе не есть существованіе отдѣльныхъ саморазвивающихся политическихъ организмовъ, теперь мы приступимъ ко второй части нашего трактата, къ доказательству, что тѣ самыя условія жизни, которыя создаютъ отдѣльныя народности, могутъ эти самыя народности соединять въ болѣе обширныя группы и даже слить когда-нибудь все человечество въ одинъ народъ.

Такъ какъ ни политическія формы, ни культурныя особенности не составляютъ всеобщаго и безусловнаго мѣрила отдѣльности народовъ, то у насъ остается одно только мѣрило, одинъ признакъ такой отдѣльности — это языкъ. И дѣйствительно языкъ составлялъ во все времена единственный и несомнѣнный признакъ существованія отдѣльнаго народа. Не даромъ наши предки отождествляли понятіе языка и народа, на-

зывая оба эти понятія однимъ словомъ *языкъ*; изъ этого отсюда имъ честь, такое отождествленіе показываетъ, что они гораздо вѣрнѣе, чѣмъ Градовскій и все прочіе подобныя ему націоналисты, сознавали, что существованіе отдѣльнаго народа только и есть, что существованіе отдѣльнаго языка (разумеется, конечно, живого). Въ самомъ дѣлѣ, народъ можетъ раздѣляться на какія угодно политическія и культурныя группы, совершенно независимыя и даже крайне враждебныя, можетъ измѣнять какъ угодно свою культуру, можетъ потерять окончательно свою политическую независимость, но пока онъ говоритъ однимъ особеннымъ языкомъ, онъ не перестанетъ считаться отдѣльнымъ народомъ. Такъ древніе греки, не составлявшіе ни политическаго, ни культурнаго единства, тѣмъ не менѣе считаются отдѣльнымъ народомъ, потому что говорили отдѣльнымъ языкомъ; точно также считаются, единственно на основаніи языка, отдѣльнымъ народомъ финны, никогда не имѣвшіе ни политическаго независимости, ни даже своей особенной культуры.

Какія-же существуютъ условія жизни, которыя, создавая особенныя языки, тѣмъ самымъ полагаютъ начало отдѣльности народовъ? Что эти условія лежатъ не въ политическихъ формахъ и не въ культурныхъ особенностяхъ, доказательствомъ этому можетъ служить то, что группы людей слагаются въ отдѣльныя народности, начинаютъ говорить однимъ языкомъ, не смотря ни на политическую раздѣленность, ни на культурныя особенности. Не говоря уже о древнихъ грекахъ, мы видимъ, что и все современныя нашія народности Европы начали свое отдѣльное существованіе тогда, когда объ ихъ объединеніи никто и не думалъ. Какія-же это такія особенныя условія?

Историческимъ путемъ вопросъ этотъ рѣшить нѣтъ пока еще никакой возможности. Въ предѣлахъ исторіи намъ представляются уже готовыми нѣсколько системъ языковъ, при чемъ каждая система раздѣляется на группы: греческую, латинскую, кельтскую, германскую. Условія-же образованія этихъ группъ лежатъ въ доисторической древности. Но за невозможностью рѣшить вопросъ историческимъ путемъ, можно принять другой методъ для его рѣшенія: можно взять нѣсколько современныхъ намъ европейскихъ народовъ и рассмотреть тѣ условія, которыя способствуютъ къ наибольшему развѣтвленію того или другого языка на мѣстныя нарѣчія и говоры; очевидно, что это будутъ тѣ-же самыя условія, которыя и первоначально вліяли на образованіе первобытныхъ системъ и группъ языковъ.

Здѣсь насъ на первый-же взглядъ поражаетъ слѣдующій поразительный фактъ: народъ, говорящій, по видимому, однимъ языкомъ, перестаетъ понимать другъ друга, если отдѣльныя части его живутъ слишкомъ изолированной жизнью и очень мало имѣютъ между собою общенія; поэтому въ странахъ горныхъ и гѣсныхъ встрѣчается наибольшее количество мѣстныхъ говоровъ, доходящихъ до того, что сосѣднія одноименныя селенія съ трудомъ понимаютъ другъ друга.

Если одинъ языкъ раздѣляется на мѣстныя говоры, доходящіе до полнаго отсутствія взаимнаго пониманія при условіи полной изолированности, за то наоборотъ мы видимъ, что при условіи частаго общенія слѣ-

являются языки не только различных группъ, но и степеней. И это очень естественно: если въ одной мѣстности поселяется нѣсколько племенъ, и между ними устанавливаются различныя сношенія въ видѣ союзовъ, войнъ, торговли и пр., то необходимость заставляетъ ихъ понимать другъ друга, и вотъ мало-по-малу между ними дѣйствительно устанавливается одинъ языкъ, составляющій первое и необходимое условіе человеческихъ сношеній. Установленіе языка происходитъ двумя путями: или языкъ одного племени, наиболѣе сильнаго, цивилизованнаго, вытѣсняетъ всѣ другіе и дѣлается всеобщимъ языкомъ цѣлой группы племенъ, или же происходитъ амальгама нѣсколькихъ племенныхъ и мѣстныхъ. Какъ на примѣръ перваго явленія мы можемъ указать на Россію, въ которой масса финскихъ и татарскихъ племенъ совершенно слилась съ русскими племенемъ, воспринявши ихъ языкъ; что касается до втораго явленія, то я не знаю, нужно-ли и приводить примѣры его, такъ они многочисленны и общезвѣстны: передъ нами цѣлый рядъ западно-европейскихъ языковъ, изъ которыхъ большая часть суть амальгамированные — таковы англійскій, французскій, итальянскій, испанскій, венгерскій и проч.

Рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка усиленіе сношеній между людьми данной мѣстности производитъ и другія явленія: такъ съ одной стороны усиливается брачное скрещиванье между племенами, сглаживающее ихъ физиологическія особенности, а за тѣмъ съ болѣе развитіемъ цивилизаціи является и новый факторъ — подражательность. Отдѣльныя племена переищмаютъ другъ у друга релігіозныя вѣрованія, обычаи, нѣсни, костюмы и пр.

Что касается до этого послѣдняго фактора, то мы считаемъ не лишнимъ остановиться на немъ подольше, такъ какъ онъ представляется особеннымъ пугаломъ, какъ для чистыхъ славянофиловъ стараго пошиба, такъ и для повѣвшихъ націоналистовъ. Въ сущности, онъ принадлежитъ къ числу всемірно-историческихъ, неизбѣжныхъ факторовъ жизни человеческой; можно положительно сказать, что безъ прямого или косвеннаго вліянія его не обходится ни одинъ шагъ въ жизни какъ отдѣльнаго лица, такъ и всего человѣчества. И это очень понятно: факторъ этотъ составляетъ одно изъ существенныхъ свойствъ человеческой природы: существо, съ такими восприимчивыми нервами, какъ человѣкъ, не можетъ не быть подражательнымъ. Подражательность есть актъ волею произвольнo-естественный, зависящій отъ нервныхъ рефлексовъ, и ратовать противъ него, въ сущности, такъ-же нелѣпо, какъ ратовать противъ смѣха, плача и прочихъ физиологическихъ нервныхъ отявленій. Но этого мало, что воздержаніе отъ подражательности, какъ и отъ всѣхъ прочихъ произвольнo-естественныхъ отявленій человеческой природы, есть насиліе, искаженіе естественнаго хода процессовъ этой природы, — кромѣ того великій вредъ подобнаго воздержанія заключается въ томъ, что въ лицѣ подражательности мы имѣемъ такой факторъ, на которомъ зиждется вся преиспещенность прогресса. Въ самомъ дѣлѣ, возможно-ли было-бы воспитаніе дѣтей, развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка, если-бы мы

лишены были дара подражательности? Самый гениальный человѣкъ, прежде чѣмъ начнетъ творить свои великія и волею оригинальныя творенія, ничѣмъ инымъ не руководится въ своемъ первоначальномъ развитіи, какъ только стремленіемъ *погодить* на лучшихъ людей, образцы которыхъ онъ видитъ передъ собою въ жизни или въ исторіи, и если онъ начинаетъ подобное подражаніе съ одной внѣшности, съ подражанія манерамъ, походкѣ или слогу человѣка, подъ вліяніемъ котораго находится, то неужели онъ этимъ такъ сейчасъ-же ужъ и рискуетъ потерять свою личность и дальше одной внѣшности не пойдетъ? Можно судить о ребячествѣ подобнаго подражателя, о низкой степени его развитія, но бить по этому поводу тревогу, и предрекать гибель ребенку, видя, какъ онъ копируетъ взрослому, — это въ свою очередь смѣшное и жалкое ребячество. Поэтому намъ всегда казалось, что люди, приходящіе въ ужасъ при видѣ галломановъ и англomanовъ въ нашемъ обществѣ, суть такіе-же дикари, какъ и всѣ эти маны; разница между первыми и послѣдними только та, что послѣдніе по своему развитію стоятъ на такой еще низкой ступени, что ихъ увлекаетъ къ подражательности, какъ дѣтей, одна внѣшность, первыи-же воображаютъ, что стоитъ только воздержаться отъ такой подражательности, чтобы сейчасъ-же получить способность творить нѣчто свое, оригинальное... У дѣтей, только что начинающихъ развиваться, тоже въ свою очередь находятъ подобныя минуты оригинальничанья: дай, начну дѣлать все не такъ, какъ другіе, а какъ нибудь совершенно иначе, и ребенокъ вообразитъ при этомъ, что одно подобное оригинальничанье дѣлаетъ его взрослымъ.

Возставая противъ подражательности, націоналисты не соображаютъ, что безъ нея не могло-бы образоваться ни одного народа, и слѣдовательно, не было-бы и ихъ, націоналистовъ, а существовали-бы отдѣльныя мелкія племена, съ такою невообразимую пестротой нравовъ, обычаевъ, вѣрованій, костюмовъ, что самъ кварталный никогда-бы ничего тутъ не разобралъ. Но въ томъ-то и дѣло, что рядомъ съ образованіемъ одного общаго языка и физиологическимъ скрещиваніемъ начинается безконечный процессъ подражательности, сначала чисто внѣшной, иногда и самой нелѣпой по своему ребячеству. Малѣйшее улучшение въ бытѣ одной хижинны воспринимается другой, третьей, — цѣлымъ племенемъ, нѣсколькими сосѣдними племенами. Такимъ путемъ масса мѣстныхъ мнoвoвъ и суевѣрій слагается въ общенародный культъ; ремесло одного племени и даже можетъ одного рода дѣлается ремесломъ всего народа; наконецъ какъ-же иначе, какъ не путемъ взаимной подражательности вырабатываются тѣ красивыя національныя костюмы, за которые такъ ратовали славянофилы? Конечно такая подражательность имѣетъ свои границы: не все можетъ быть усвоено населеніемъ всей данной мѣстности. Можетъ случиться, что мѣстность эта, съ одной стороны прилегая къ морю, съ другой уходитъ далеко въглубь материка, гдѣ она имѣетъ видъ гористой, лѣсной или луговой страны. Конечно лѣсные жители не въ состояніи подражать во всемъ береговому и наоборотъ; кое-что они усвоятъ другъ у друга,

но кое-что создадут свое, сообразно различнымъ условиямъ своей жизни, и вотъ въ средѣ одного народа начнутъ образовываться культурныя разновидности.

Всѣ три вышеозначенные факторы — образование общаго языка, физиологическія скрещиванія и подражательность — соединяются въ одномъ общемъ понятіи ассимиляціи племенъ. — Основная-же причина такой ассимиляціи является въ усиленіи общенія между отдельными племенами.

Градовскому извѣстенъ хорошо законъ ассимиляціи и онъ его не отвергаетъ:

«Ассимиляція племенъ, говоритъ онъ на 22 стр., совершается на каждомъ шагѣ. Племя сильное и количественно, и нравственно вбираетъ въ себя всѣ менше сильныя народы, живущіе на одной съ нимъ территоріи. Ихъ особенности, наиболее крѣпыя, переходятъ, съ своей стороны, въ типъ господствующаго племени, сообщая ему больше разнообразія и оригинальности. Вотъ почему и народность, образовавшаяся такимъ путемъ, отличается необыкновенною энергіей и крѣпостью. Принципъ національности нисколько не противорѣчитъ ассимиляціи племенъ, если изъ нихъ впоследствии образуется одна народность, съ общимъ языкомъ, единствомъ нравовъ и другихъ культурныхъ признаковъ.»

Прекрасно; но только почему-же Градовскій, допуская ассимиляцію племенъ, ограничиваясь ее одними племенами и предполагая, что разъ племена сложились въ народы и — стопъ, машина! далѣе ассимиляція уже невозможна и что если племена способны соединяться въ народы, то народы уже неспособны ассимилироваться между собою? — Мыѣ кажется, что разъ существуетъ въ природѣ извѣстный законъ, онъ всегда долженъ дѣйствовать, какъ только онъ вызывается своею причиною, и исключенія здѣсь немилыя, признаніе ихъ есть отрицаніе самого закона.

Но въ томъ то и дѣло, что Градовскій силится поставить націонализмъ не на его настоящую почву, оттого и пугается на каждомъ шагѣ. Какъ ученіе по самому существу своему метафизическое, основанное на чисто абстрактныхъ началахъ, оно не имѣетъ ничего общаго съ реальными законами природы и потому подтверждать его или трудъ совершенно напрасный. Другое дѣло, еслибы Градовскій послѣдовалъ примѣру противниковъ Дарвина, утверждающихъ, что виды животныхъ суть неизмѣнныя субстанции и существовала всегда, и сталъ-бы, въ свою очередь, утверждать, что и народы суть такіе-же неизмѣнныя субстанции, что образовались они каждый изъ отдельнаго семейства и, разъ образовавшись, никакимъ измѣненіямъ и смѣшиваніямъ подвергаться уже болѣе не могутъ. Правда, утверждая подобную неизмѣнность, Градовскій противорѣчитъ-бы всѣмъ фактамъ исторіи, но за то былъ-бы вполне на своей почвѣ: народы его фантазіи были-бы дѣйствительно неизмѣнными субстанціями, выражающими различныя стороны чловѣческаго духа... Но разъ онъ допускаетъ образованіе народовъ изъ племенъ путемъ ассимиляціи, разъ онъ вводитъ реальный законъ природы въ свои фантастическія умозрѣнія и всѣ эти умозрѣнія должны разсыпаться въ прахъ, какъ сонныя грезы передъ дѣйствительностью. Законъ ассимиляціи тотчасъ-же наводитъ васъ на слѣдующіе выводы: отдельныя

племена ассимилируются въ народы, когда приходятъ въ очень близкое и постоянное сношеніе между собою, если-же между ними нѣтъ такихъ сношеній, то остаются разрозненными. Ну, а что сдѣлалось-бы съ народами, если-бы и они въ свою очередь стали приходить все въ болѣе частое и тѣсное сближеніе, не должны-ли были-бы и они подвергнуться закону ассимиляціи? Почему-же законъ этотъ долженъ былъ-бы остановить здѣсь свое дѣйствіе, не смотря даже на то, что существовали-бы всѣ условія, необходимыя къ его дѣйствію? Если-же законъ не дѣйствуетъ въ настоящее время или дѣйствуетъ слабо, то можетъ быть потому, что недостаточно еще сильны условія его, т. е. сношенія между народами не достигли еще до такой степени, чтобы они могли подвергнуться быстрой ассимиляціи? Такимъ образомъ весь вопросъ сразу сводится съ того, субстанціальны народы или нѣтъ, лежитъ-ли различіе между ними въ ихъ природѣ или не лежитъ, просто на то, можно-ли допустить такое увеличеніе сношеній между народами, при которыхъ они должны слиться между собою?

И если мы обратимся съ этимъ вопросомъ къ исторіи, то она не замедлитъ отвѣтить на этотъ вопросъ положительно, потому что вся она основана на чемъ-иномъ, какъ на все болѣе и болѣе развивающемся общеніи между отдельными народами. Въ самомъ дѣлѣ, что мы видимъ въ исторіи? Сначала отдѣльные народы развиваются каждый самъ по себѣ, чуждаются другъ друга, иѣбуютъ другъ о другѣ весьма мало свѣдѣній и нѣкоторые доводятъ эту эгоистичность до такой степени, что готовы предать смерти дерзваго чужеземца, рѣшившагося вступить на ихъ почву. Такъ развиваются Римъ, Греція, Импетъ, восточныя царства, — отдѣльно другъ отъ друга, какъ будто ихъ раздѣляютъ цѣлыя океаны. Но вотъ они начинаютъ приходить въ сношенія другъ съ другомъ. — Сношенія эти иѣбуютъ первоначально характеръ весьма односторонній: ограничиваются торговлею и завоеваніями. Но и подобнаго рода элементарныя сношенія не замедлили произвести первыя зачатки ассимиляціи. Такъ является потребность понимать другъ друга, и поверхъ различныхъ языковъ высшаются сначала греческій, потомъ латинскій языки, которые дѣлаются языками образованныхъ сословій и международныхъ сношеній. Развивается взаимная подражательность въ нравахъ, обычаяхъ, костюмахъ, причѣмъ, конечно, греки, какъ народъ, занимавшій первую степенъ въ древней цивилизаціи, становятся болѣе предметомъ подражанія. Ихъ философскія идеи, усильи въ искусствахъ, утонченныя, изящныя манеры, костюмы дѣлаются общимъ достояніемъ. Наконецъ начинаютъ смѣшиваться народныя культы и потѣмъ смѣшиваются одною общою религіею — христіанскою, объявившею, что для нея нѣтъ различія между народами, что для всѣхъ племенъ земнаго шара она равно обязательна.

Въ средніе вѣка, повидимому, вся эта работа ассимиляціи разрушается: опять на сцену являются мекія племена, не сложившіяся даже въ народныя группы, и вносятъ съ собою пестрое однообразіе племныхъ культуръ. Но на самомъ дѣлѣ начала ассимиляціи, положенной древними міромъ, не погибли: пачать съ



то, что вошедшие въ историческое русло свѣжис народы не успѣли развить своихъ отдѣльных народныхъ культовъ, всѣ они приняли христіанскую религію, сдѣлавшуюся общою для всей Европы, и хотя она раздѣлилась на двѣ церкви, хотя это раздѣленіе составляетъ конекъ, заѣзженный націоналистами, но все таки тотъ фактъ, что вѣсто дюжины дюжинъ языческихъ культовъ, образовалось всего два вида одной общей религіи, говоритъ несомнѣнно въ пользу ассимиляціи. Особенно богатыхъ успѣховъ ассимиляціи народовъ не могла конечно достигнуть среднѣ вѣка, когда не существовало еще и самыхъ соединеній племенъ въ народы; но и въ среднѣ вѣка сношенія между массами европейскаго населенія были на столько сильны, что были потребности для образованныхъ классовъ въ общемъ языкѣ, каковы продолжали пребывать латинскій языкъ. Даже и подражательность не ограничивалась слитіемъ племенъ въ народныя группы; такъ мы видимъ возвышается провансальская культура, простирающая районы своего вліянія далеко за предѣлы Франціи; увлеченіе формами этой культуры одно время было почти общеєвропейскимъ. За Провансомъ выдвигается впередъ Италия въ эпоху renaissance, — за нею въ XVIII вѣкѣ французская культура дѣлается предметомъ всеобщихъ подражаній.

Но какъ ни увеличивались въ продолженіи всей исторіи сношенія между народами, никогда еще они не доходили до такой степени, какой начинаютъ достигать въ импѣриямъ столѣтій. Одни такія изобрѣтенія, какъ желѣзныя дороги, пароходы и телеграфы, разоръ на цѣлыя сотни и тысячи миль сблизили между собой человечество. Судить о вліяніи подобныхъ изобрѣтеній на такой вѣковой процессъ, какъ ассимиляція конечно теперь еще трудно, такъ какъ они существуютъ безъ году недѣлю, но несомнѣнно, что съ ихъ введеніемъ началась такая циркуляція людей по всему европейскому матеріку, какой еще не было ни въ древнѣе, ни въ среднѣ вѣка даже между населеніемъ одной мѣстности. Подобная циркуляція не можетъ не отразиться со временемъ на процессѣ ассимиляціи. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ похлѣвать ассимиляціи народовъ при все болѣе и болѣе возрастающей циркуляціи народонаселенія? Другое дѣло, еслибы народы представляли до такой степени различныя виды животнаго царства, что между ними невозможно было брачное сдѣжаніе, но этого мы не видимъ; напротивъ того, при всеемъ своемъ распаденіи на отдѣльныя народности, родъ человѣчскій все таки настолько однороденъ, что скрещиванье возможно даже между такими его разновидностями, какъ бѣлая и черная раса. Другое было бы опять дѣло, еслибы каждый человѣкъ былъ обреченъ говорить только на одномъ своемъ языкѣ, но и этого нѣтъ: люди способны говорить разомъ на нѣсколькихъ языкахъ и уже въ настоящее время есть такой языкъ, зная который можно обѣхать свѣтъ и вездѣ находить людей, говорящихъ на этомъ языкѣ; ну, надо ли обѣднать какой это языкъ?

Что же касается сдѣжанія культуръ, то здѣсь мы встрѣчаемся разомъ съ двумя факторами ассимиляціи. Съ одной стороны передъ нами является пер-

вобытнй факторъ, въ видѣ подражательности. И хотя націоналисты на стѣну дѣвуютъ при одномъ упоминаніи объ этомъ ненавистномъ имъ факторѣ, но и они не въ силахъ являются отвергнуть его безусловно и дѣлаютъ уступку, допуская подражательность, но только разумную, вооруженную критикою. Прекрасно, мы и сами не особенно высоко цѣнимъ произвольно-рефлективную, слѣпую подражательность, считая ее признакомъ крайне низкой степени образованности, хотя въ то же время и не видимъ въ ней такой бѣды, какую представляютъ себѣ націоналисты; мы сами выше всего цѣнимъ подражательность разумно-критическую, осмысленную. Но только намъ кажется, что подобнаго рода подражательность скорѣе всего должна повести къ ассимиляціи народовъ. Въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ же инымъ можетъ явиться взаимная разумная подражательность народовъ, какъ не подборомъ культурныхъ формъ? Россія, напримеръ, видитъ въ Англіи судъ присяжныхъ, и, критически взвѣсивши это учрежденіе, находитъ, что по всемъ разумнымъ соображеніямъ слѣдуетъ и у насъ ввести подобную форму суда. Вводить. Вотъ уже однимъ учрежденіемъ англійская культура сдѣлалась болѣе сходною съ русскою. Далѣе затѣмъ англичане могутъ завтра же додуматься, что положеніе русскихъ крестьянъ, надѣленныхъ землею и живущихъ общинами, гораздо лучше положенія англійскихъ фермеровъ, и, критически взвѣсивши, найдутъ, что вопросъ первой необходимости дать фермерамъ землю и ввести общину. Дѣло, конечно, не легкое, стоящее тяжелыхъ успій, борьбы, можетъ быть, и серьезныхъ государственныхъ погрѣшеній, но партія реформы продолжаетъ все притягивать, — и вотъ англійская культура дѣлается еще болѣе похожею на русскую. Въ настоящее время наиболее разумною формою суда является судъ присяжныхъ; но въ сущности этотъ судъ является далеко не безусловнымъ совершенствомъ, такъ какъ большую роль играетъ въ немъ слѣпой случай, участь подсудимаго зависитъ часто отъ того или другаго подбора присяжныхъ, не говоря уже о возможности подкуповъ и другихъ злоупотребленій. Ну, а если въ какомъ нибудь государствѣ выработается болѣе разумная и совершенная форма суда, неужели же она не обязательна будетъ и для каждаго народа, желающаго жить разумною жизнью и неужели тотъ или другой народъ должны отвергнуть эту лучшую форму изъ одного недѣльнаго оригинальничанья, изъ желанія имѣть хоть и худое, да свое?

Националисты, отвергая возможность общечеловѣческой цивилизаціи и толкуя объ общечеловѣческомъ въ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей, твердятъ постоянно, что подражательность должна ограничиваться только такими предметами, какъ научныя открытія, техническія изобрѣтенія и гуманныя идеи, равно обязательныя для всего человечества, а затѣмъ основныя формы народной культуры должны оставаться ненарушаемыми. Но гдѣ же граница между дозволеннымъ и недозволеннымъ къ воспріятію, между тѣмъ, что составляетъ общечеловѣческое въ культурѣ народа, у котораго мы перенимаемъ что либо, и тѣмъ, что только и можетъ принадлежать этому народу и

къ воспріятію негодно? И сказать по правдѣ, не только націоналисты не уяснили это намъ, врядъ ли они и сами-то себѣ достаточно уяснили это. Въ этомъ отношеніи они судятъ такъ, какъ имъ Богъ на душу положить, руководствуясь въ своихъ сужденіяхъ чисто личными вкусами: что имъ лично по душѣ въ западной жизни, то они считаютъ общечеловѣческимъ и годнымъ для воспріятія, что не нравится, то они считаютъ народно-культурнымъ, возможнымъ только въ средѣ того народа, гдѣ это выработалось и негоднымъ для воспріятія. Но и этого мало: не составивши себѣ яснаго критерія относительно того, что слѣдуетъ считать общечеловѣческимъ и что народно-культурнымъ, націоналисты, если придется къ слову, то готовы отвергнуть и такія вещи, которыя, казалось бы, должны и по ихъ теоріи быть общечеловѣческими, потому что составляютъ неотъемлемое качество человѣческой природы. Такъ напримѣръ, знате ли, что, между прочимъ, отрицаетъ Градовскій? Общечеловѣчность такихъ неизбежныхъ степеней умственного развитія, какъ мистицизмъ, метафизика и реализмъ. Какъ же такъ отвергаетъ, спросите вы меня; во имя чего-же ругаетъ онъ противъ метафизическихъ космополитовъ, какъ не во имя реализма, доказывая, что всѣ естественно-научныя, географическія и геологическія данныя подтверждаютъ его ученіе? А тотъ эпиграфъ, который взятъ изъ книги Градовскаго и поставленъ во главѣ настоящей статьи, что же онъ выражаетъ иное, какъ не отрицаніе метафизическаго метода въ политическихъ наукахъ во имя положительнаго? Я могу подтвердить возраженіе читателя еще болѣе яснымъ фактомъ, что Градовскій большой другъ и пріятель реализма. Такъ ниже, подъ тѣми словами его, которыми взяты мною въ эпиграфъ, онъ прямо говоритъ, что вопросъ объ уничтоженіи государства не могъ бы явиться, *если-бы политическая наука искала не принциповъ, а законовъ общественнаго развитія, если-бы она шла путемъ положительнымъ, а не метафизическимъ*. И при всемъ томъ, этотъ-же самый господинъ, который толкуетъ о преимуществѣ положительнаго метода передъ метафизическимъ, въ другомъ мѣстѣ книги смотритъ и на метафизику, и на реализмъ, какъ на такія вещи, которыя мы восприняли съ Запада вмѣстѣ со всеми другими ученіями въ подражательной слѣпотѣ и безъ всякой нужды. „На насъ налетали, говоритъ онъ на 302 стр., разныя направленія европейской мысли, временно поработали насъ, но также быстро улетали, уступая мѣсто другимъ. Налетѣло на насъ вольтеріанство и улетѣло, уступивъ мѣсто массонству и мистицизму; налетѣлъ псевдоклассицизмъ, потомъ романтизмъ, байронизмъ; подчинялись мы экономизму, парламентаризму, социализму, радикализму и милитаризму; переживали догматическій рационализмъ, идеализмъ, реализмъ, материализмъ. Что переживемъ мы еще, известно одному Богу“... Вотъ и послушайте послѣ того Градовскаго. Въ одномъ мѣстѣ онъ вопиетъ на васъ, что вы метафизикъ, что не отдаете преимущества положительному методу, а попробуйте-ка отдать преимущество, то и увидите, что скажетъ вамъ Градовскій; и окажется, что вашъ идеализмъ и реализмъ, вмѣстѣ со всеми прочими измами, перешедшими въ

намъ съ Запада, показываютъ, что вы несмысленный, слѣпой подражатель и плохой патриотъ. Но какъ-же мнѣ мыслить, воскликнете въ сердечномъ сокрушеніи? Вѣдь остается вывернуться изъ своей кожи, чтобы мыслить, не будучи, въ тоже время ни мистикомъ, ни метафизикомъ, ни реалистомъ? На это я могу посоветовать вамъ одно—перестать совсѣмъ мыслить, тогда дѣйствительно вы не будете ни мистикомъ, ни реалистомъ, ни метафизикомъ, и уже совсѣмъ перестанете походить на западнаго европейца, да не мѣшаетъ къ тому же вамъ начать ходить на четверенькахъ, такъ какъ на Западѣ имѣютъ обыкновеніе ходить на двухъ ногахъ; можетъ быть вы и угодите тогда Градовскому.

И не забавно-ли, что Градовскій, огуломъ отрицающій и мистицизмъ, и метафизику, и реализмъ, т.е. значить всякую мысль, является въ тоже время такимъ либераломъ, что признаетъ общечеловѣческими и обязательными каждой народности подобныя вещи, какъ личная безопасность, свобода совѣсти, свобода мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здоровья, народнаго продовольствія, образованія и т. д.? Но или Градовскій признаетъ все это на однихъ словахъ и играть или ради только успокоенія простодушныхъ читателей его книги въ томъ, что націонализмъ вовсе не такое ужъ обскурантное ученіе, чтобы отрицать, ради соблюденія народной культуры, излюбленныя всеми русскими либералами прогрессивныя стремленія; а если-же онъ серьезно считаетъ всѣ эти вещи общечеловѣческими, то значить онъ сколько не вдуывался въ смыслъ ихъ и онѣ остаются въ его фантазій воздушными замками: иначе онъ поналя-бы, что осуществленіе этихъ замковъ невозможно безъ существенныхъ измѣненій народныхъ культуръ. Въ самомъ дѣлѣ: попробуйте-ка ввести свободу слова въ государствѣ съ централизованною властью, опирающеюся на постоянное войско, въ родѣ, напримѣръ, Франціи, или свободу совѣсти въ теократическомъ государствѣ. Вѣдь и такая реформа, какъ освобожденіе крестьянъ, есть реформа, измѣняющая всѣ отношенія общества и ставящая народную культуру на совершенно иное основаніе. А система народнаго образованія, обезпеченіе условій народнаго здоровья и продовольствія? Конечно, для людей, взирающихъ на вещи поверхностно, всѣ подобныя вещи осуществимы также легко, какъ выпить стаканъ воды: стоитъ послать въ провинцію нѣсколько полуграмотныхъ учителей, да нѣсколько лекарей, менѣе свѣдущихъ, чѣмъ иной фельдшеръ, да устроить балъ въ случаѣ голода—и дѣло въ шляпѣ. Но человѣкъ, мало-мальски серьезно вдумывавшійся въ это дѣло, пойметъ, что исполненіе всѣхъ этихъ общественныхъ отношеній невозможно безъ такихъ реформъ въ этихъ отношеніяхъ, которыя въ результатѣ должны совершенно измѣнить физономію народной культуры. Теперь мы спрашиваемъ, какимъ путемъ и правильнѣе, и совершеннѣе, и скорѣе могутъ быть совершены эти реформы, путями ли выработки всеми народами общаго формъ обществитія, пригодныхъ для осуществленія ихъ, и затѣмъ заимствованія другъ у друга наиболѣе совершенныхъ формъ, или каждый народъ долженъ зажать уши и глаза на то, что дѣлается по этимъ вопросамъ у ДИ-

техъ народовъ и заняться ими самостоятельно? Очевидно, что если Градовскій для рѣшенія вопроса о правосудіи допускаетъ заимствованіе формъ западныхъ судовъ и не требуетъ, чтобы мы, въ ожиданіи самостоятельной выработки лучшихъ, сидѣли на старой скамьѣ судопроизводства, то подобныя-же уступки онъ долженъ сдѣлать и для всѣхъ прочихъ вопросовъ — и сводится все это на ту-же выработку общевропейской цивилизаціею такихъ формъ жизни, при которыхъ только и возможно осуществленіе вышепоставленныхъ вопросовъ и которая по этому самому должны быть столь-же обязательны для каждаго народа, какъ и самые вопросы. Но къ чему-же можетъ привести эта выработка наилучшихъ формъ общежитія, какъ не къ той-же ассимиляціи европейскихъ народовъ въ культурноиомъ отношеніи?

Но кромѣ подражательности существуетъ и другой факторъ, значительно влияющій на сглаженіе мѣстныхъ культуръ, являющійся въ видѣ той массы отбросовъ и изобрѣтеній, которыя, освобождая человѣка отъ вліянія природы, наоборотъ покоряютъ ему ее. Въ самомъ дѣлѣ, не самъ-ли Градовскій увѣряетъ насъ, что различіе культуръ зависитъ отъ географическихъ, климатическихъ и прочихъ естественно-историческихъ условій? Но силась поставить такимъ образомъ свое ученіе на реальную почву, онъ и не замѣчаетъ, какъ легко самымъ онъ и уничтожаетъ его. То-ли дѣло, Градовскій, метафизическая почва: вставши на нее, мы-бы сказали намъ, что культуры различны потому, что въ нихъ выражается развитіе самоопредѣляющагося духа, разлагающаго свое внутреннее единство въ различные разнообразія — и ужъ тутъ никакія возраженія были-бы невозможны и разнообразіе культуръ было-бы утверждено на вѣки на невыблемыхъ столбахъ диалектики; а то вздумали вы полагать непреодолимость разнообразія культуръ на началахъ реализма, который только и допускаетъ, что одинъ переходящій, относительный явленія! Что-же мудренаго, если и ваше разнообразіе оказывается переходящимъ и относительноиымъ съ реальной точки зрѣнія, и тѣже самыя географическія, климатическія условія, которыми вы старались подтвердить ваше ученіе, они то и рушатъ его. Не говоря о томъ, что сами по себѣ условія эти важничавы, кромѣ того человѣкъ оказывается способнымъ измѣнять ихъ силою знанія и воли и освобождаться отъ ихъ вліянія. Горы перерѣзываются туннелями, рѣки мостами, русла ихъ произвольно измѣняются, поля искусственно орошаются влагою, степи покрываются лѣсами, и лѣсныя страны обращаются въ степи, люди говорятъ другъ съ другомъ черезъ океаны, привозятъ массы льду въ тропическія страны и ѣдятъ бананы подъ 70° сѣверной широты — а Градовскій увѣряетъ насъ, что естественныя условія составляютъ нѣчто роковое, непреодолимо дѣйствующее на разнообразіе культуры. Можно подумать, что цивилизованные европейцы, поселившіеся въ Индіи, должны, подъ обаяніемъ индійской природы, обратиться въ индусовъ, вѣрять въ сторукныхъ и стоногихъ боговъ и выставлять по цѣлымъ годамъ на одной ношкѣ въ созерцаніи Брами, что землетрясенія, усиливашія стужа въ народахъ, паселяющихъ вулканическія страны, должны также дѣйствовать и на людей

образованныхъ, имѣющихъ свѣдѣнія о естественныхъ причинахъ этихъ явленій...

Но можетъ быть читатель, возразить мнѣ, что, конечно, природа не можетъ ниѣтъ на человѣка образованнаго, являющагося на лоно ея окруженнымъ утонченнымъ комфортомъ, со всѣми возможными орудіями для борьбы съ нею, такого вліянія, какое она производитъ на беззащитнаго дикаря; но тѣмъ не менѣе на массу людей, живущихъ подъ различными широтами, болѣе или менѣе жгучіе лучи солнца, болѣе или менѣе роскошная природа должны оказывать свое вліяніе и полагать различія культурныхъ типовъ. Вѣдь уже сумрачному небу сѣвера не создать итальянца, а подъ лучами неаполитанскаго солнца не развиться суровой энергіи сѣвернаго человѣка. Да, для настоящаго времени, когда массы необразованнаго народа живутъ цѣлыми поколѣніями въ одной мѣстности, конечно это такъ. Но мы не знаемъ, что будетъ тогда, когда циркуляція европейскаго населенія увеличится до такой степени, что оно будетъ вращаться по Европѣ, а, придетъ время, и по всему земному шару, какъ вращается по городу населеніе столицы, когда даже человѣкъ, прожившій всю жизнь въ одной мѣстности, не будетъ обезпеченъ отъ того, что не женится на женщицѣ, пріѣхавшей изъ Австраліи, что дѣти и внуки его не оучатся въ разныхъ концахъ свѣта. Что подобная циркуляція не лежитъ внѣ возможности и человѣчество стремится къ ней, это видно изъ того, что образованные и обезпеченные классы Европы и Америки и теперь уже близки къ ней; никто изъ читающихъ эти строки не можетъ поручиться за себя, что онъ не кончитъ жизни гдѣ-нибудь въ Нидцѣ, Каирѣ, Туркестанѣ или Нерчинскѣ, что не женится на итальянкѣ, что дѣти и внуки его не оучатся на берегахъ Миссиссипи и пр. Не забудьте при этомъ, что когда циркуляція народовъ дойдетъ до такой степени, тогда только собственно и можетъ начаться истинная ассимиляція ихъ. Но, очевидно, что тогда не будетъ ни итальянца, ни англичанина, именно, потому, что ни въ Италіи, ни въ Англіи не будетъ такого продолжительнаго устоя населенія, чтобы солнце, климатъ и природа могли повліять на созданіе особеннаго культурнаго типа.

Мнѣ могутъ сказать, что я запелся въ міръ утопій, что если возможно допустить осуществленіе подобныхъ фантазій, то въ слишкомъ отдаленное время, черезъ цѣлыя десятки и сотни тысячъ лѣтъ. Ну чтожъ, можете ставить и цѣлыя милліоны, но при этомъ подумайте также и о томъ, что вы не смущаетесь, когда астрономъ вычислитъ вамъ, что черезъ столько-то тысячъ лѣтъ, такого-то года, мѣсяца и числа будетъ солнечное затмѣніе, что черезъ нѣсколько милліоновъ лѣтъ земля должна перестать вращаться вокругъ своей оси и быть постоянно обращенною къ солнцу одною стороною. Вы вѣрите этимъ предсказаніямъ, потому что они основаны на законахъ природы. Но почему-же вы не допускаете подобныхъ-же предсказаній и въ жизни человѣческой, если они въ свою очередь основаны на законахъ природы? А въ данномъ случаѣ, законъ ясенъ, очевиденъ, проходитъ черезъ всю исторію человѣчества и нынѣ во очю продолжаетъ дѣйствовать вокругъ васъ и дѣйствія его бро-

саются въ глаза своимъ результатамъ. Для доказательства возьмите хоть такой крупный фактъ, что и въ настоящее время, если гдѣ сохраняются еще особенно рѣзко и дагеротипно народно-культурные типы, то въ однихъ необразованныхъ классахъ европейскаго населенія, и тутъ культурное различіе доходитъ даже до мѣстно-племеннаго; житель какого-нибудь кантона, затеряннаго въ горахъ и, вообще, изолированнаго захолустья, не выгладитъ даже и нѣмецъ или французъ, а носитъ совершенно особенный типъ, только и принадлежащій данной мѣстности. За то чуть человѣкъ войдетъ въ струю цивилизаціи, да особенно если порыскаетъ по Европѣ, и у него является уже особенный, общекультурный типъ, характеризующій не француза, англичанина, нѣмца, а вообще, цивилизованнаго человѣка. До какой степени образованные люди всѣхъ странъ живутъ въ культурномъ отношеніи гораздо болѣе общаго между собою, чѣмъ въ отношенію къ своимъ необразованнымъ соотечественникамъ, это мы можемъ судить по одному весьма простому наблюденію, которое вѣроятно каждый испыталъ на себѣ. Вамъ, конечно, случалось читать иностранные романы, встрѣчать среди выставленныхъ героевъ людей вполнѣ знакомыхъ вамъ, илюстрирующихъ много общихъ чертъ и съ вами, и съ окружающими васъ образованными людьми не только по убѣжденіямъ, но и по чисто типическимъ чертамъ характера. Ну а начните-ка читать хотя-бы Рѣшетникова, много-ли общаго найдете вы между вашими знакомыми и его героями? И если въ настоящее время ассимиляція успѣла уже такъ много сдѣлать, то что-же помѣшаетъ ей въ будущемъ достигнуть еще большихъ успѣховъ? Или націоналисты остановить ея дѣйствія? Но всѣ ихъ старанія нисколько не дѣйствительно успѣли остановить ладонями теченіе широкой и быстрой рѣки. Они могли-бы быть страшны для дѣйствій

ассимиляціи, если-бы захотѣли быть поствѣдовательнѣе, т. е. если-бы поняли, что сохраненіе культурныхъ особенностей народа только и возможно, что при полной его изолированности, и если-бы сообразно этому убѣжденію имъ удалось-бы снова воздвигнуть штайскія стѣны между народами и установить по всѣмъ странамъ Европы запрещеніе иностранцу вступать на чужую землю, а туземцу дѣлать хоть одинъ шагъ за границу; тогда ассимиляція дѣйствительно прекратилась-бы. Но націоналисты въ то же время и либералы; они стремятся согласить свою доктрину съ требованіями времени и допускаютъ поэтому и братскія отношенія между народами и даже разумное заимствованіе общечеловѣческаго въ цивилизаціи — несчастные, думаютъ-ли они, что этими допущеніями они прямо расчищаютъ дорогу къ ненавистному для нихъ слитію народностей?

Читатель спроситъ меня при этомъ: что же сдѣлается съ государствами, когда ассимилируются народы, сольются-ли и они тоже въ одно всемірное государство, или прекратитъ вообще свое существованіе? На этотъ вопросъ я отказываюсь отвѣчать и нахожу только, что это совершенно безразлично; мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что грекамъ политическая разрозненность не мѣшала слиться въ одинъ народъ, между тѣмъ какъ преждевременное и насильственное сѣмленіе нѣсколькихъ народовъ въ одно государство, въ видѣ Австріи, неособенно способствовало слитію этихъ народовъ. Во всякомъ случаѣ, имъ кажется, что ассимиляція народовъ, зависящая отъ одного увеличенія свободной циркуляціи населеній, нисколько не мѣшаетъ существованію отдѣльныхъ политическихъ формъ, такъ что въ этомъ случаѣ Градовскій можетъ быть спокоенъ: я не собираюсь разрушать государства.



1874—1875.

## ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРОТИВОРЪЧІЯ.

«Лугавецки», историческій романъ, сочиненіе Евг. Саліаса, въ 4 томахъ. Москва. 1874.—«Богатыри», романъ въ трехъ частяхъ изъ времени императора Павла. П. Чаева. Москва. 1873.

### I.

Въ тоскливыя эпохи всеобщей апатіи, равнодушія, застоя, когда не видно вокругъ ни гдѣ ни матѣрнаго просвѣта, когда зло и злое представляются окончательнѣе восторжествовавшими, безъ возврата утвердившимися повсюду и даже списавшими довѣріе, почетъ и уваженіе въ глазахъ пошлой толпы—ощається одно утѣшеніе: любоваться тѣми роковыми противорѣчіями, въ которыя становятся зло, неправда и всякое извращеніе человеческой природы и мысли. Не думайте, чтобы я о подобномъ утѣшеніи говорилъ въ ироническомъ смыслѣ. Безъ шутокъ, развѣ не правда видѣть, что при полномъ отсутствіи съ вашей стороны возможности личной борьбы, за васъ борется природа, жизнь, назовите ее, какъ хотите, которая роковымъ путемъ ведетъ вашего врага къ той ямѣ, которую онъ вамъ копаеть... И эта яма не есть одна мечта, представляемая въ далекомъ будущемъ: вы видите, что врагъ ежедневно скользитъ по наклонной плоскости и въ тоже время, залупываясь въ тѣхъ тепетахъ, которыя плететь про васъ, лишаетъ себя всякой возможности остановиться въ своемъ паденіи... Назовите меня человѣкомъ въ высшей степени негуманнымъ, лишеннымъ чувства христіанскаго всепрощенія, но и откровенно долженъ сознаться, что не въ силахъ бываю воздержаться отъ сладострастнаго упоенія, при видѣ, какъ бьющій кулакъ разбивается о предметъ, который бьетъ. Если же вамъ и не часто могутъ представиться въ жизни услужительныя зрѣлища подобныхъ возмездій, за то ежедневно вы можете утѣшаться картинами тѣхъ противорѣчій, въ которыя ежеминутно становится шчипное зло. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не отрадно увидѣть вдругъ, что господинъ, бросившій вамъ въ лицо обвиненіе въ неуваженіи къ собственности, оказывается промотавшимъ все свои имѣнія, надѣлавшимъ долговъ безъ возможности ихъ выплатить и проиграв-

шимъ въ карты значительный кушъ изъ казеннаго сундука, или что другой господинъ, семейный и окруженный дѣтьми, вопиетъ о вредѣ отрицанія семейныхъ основъ—и тутъ же дѣлаетъ глазки суругѣ своего ближняго,—вѣдь это все но истиннѣе праздники въ нашей тоскливой жизни... Вы, можете быть, скажете мнѣ, что вовсе тутъ ничего нѣтъ отраднаго; напротивъ того, подобныя зрѣлища должны увеличивать скорбь, еще болѣе подымать желчь и доводить до крайняго отчаянія и ожесточенія, что если васъ могло бы что-либо утѣшить, то развѣ отсутствіе въ жизни воровъ, являющихся защитниками собственности, и развратныхъ селадоновъ, защищающихъ семейныя основы. Но вольно-жъ вамъ забираться въ отвлеченныя сферы и оттуда созерцать жизнь, требуя отъ нея такихъ праздниковъ, которыхъ, навѣрное можно сказать, въ ваше недолгое существованіе вы отъ нея не дождетесь... Пользуйтесь лучше тѣмъ, что даетъ вамъ жизнь, отдаваясь всецѣло навѣваемымъ ею впечатлѣніямъ. Сдѣлайтесь простѣе сердцемъ и уподобитесь тѣмъ школярамъ, которые исполняются неописанною радостью и беззавѣтно хохочутъ при видѣ, какъ падаетъ злой учитель съ подиленнаго стула, и, отдаваясь минутѣ восторга, не думаютъ, что злой учитель, поднявшись съ полу, не замедлитъ, конечно, задать имъ. Очень можно быть, что сдѣлавшись такими беззавѣтными школярами, вы почувствуете въ собѣ приливъ такихъ силъ на борьбу, какихъ вамъ никогда не собралъ вашими превысшранными размышленіями и сердобольными сѣтованіями о суетахъ и сквернахъ сего міра.

Подобный приступъ я сдѣлалъ съ тою цѣлью, чтобы подготовить читателя къ праздничному созерцанію одного изъ вопіющихъ противорѣчій въ сферѣ нашей литературы. Это одно изъ тѣхъ роковыхъ противорѣчій, которыя неминуемо возникаютъ на почвѣ всякаго извращенія мысли, всякаго отказа слѣдовать за свѣжею струею жизни. Надѣясь, что мой

читатели внемлютъ моему воззванію и въ сердечной простотѣ возликують вмѣстѣ со мною при зрѣніи, что обскурантизмъ и изувѣрство не остаются безнаказанными даже и въ такой безобидно-скромной сферѣ, какъ наша литература, я приступаю къ созерцанію и ликванію.

Читателямъ моихъ хорошо, конечно, извѣстно о томъ вѣковомъ антагонизмѣ, который существуетъ между Москвою и Петербургомъ, извѣстно, безъ соединѣнія, и о тѣхъ историческихъ обстоятельствахъ, изъ которыхъ этотъ антагонизмъ развился. Петербургъ самымъ своимъ возникновеніемъ обусловилъ его, потому что туда вслѣдъ за Петромъ бросилось все молодое, живое, жаждущее простора мысли и дѣятельности, свѣта и обновленія, все, отрицавшее допетровскую Русь съ ея узкостью умственного кругозора и мертвою обрядностью, — а сзади въ Москвѣ остался кракъ невѣжества и изувѣрства, толпы старовѣровъ святошъ, полагавшихъ все спасеніе въ брадахъ и кафтанахъ, да горсть бояръ, исполненныхъ традицій кѣстничества и самоуправства, затворившихся въ своихъ дѣдовскихъ теремахъ и въ безсильной злобѣ ворчавшихъ на новые порядки, при которыхъ обходя ихъ, древнихъ и высокопочтенныхъ бояръ, возвышались на высшія государственныя должности люди новыхъ, иногда изъ самыхъ низшихъ, подлыхъ сословій.

Прошло безъ малаго 200 лѣтъ съ возникновенія Петербурга, и какъ мало измѣнился этотъ порядокъ вещей. И теперь еще каждый молодой и свѣжій побѣгъ мысли, развивающійся подъ влияніемъ западно-европейской цивилизаціи, находитъ себѣ пріютъ и сосредоточивается главнымъ образомъ въ Петербургѣ; и теперь еще въ Москвѣ тѣ-же партіи и тенденціи, какія были 200 лѣтъ тому назадъ, какъ будто Петръ вчера только оставилъ первопрестольную столицу. Разница произошла развѣ только въ томъ отношеніи, что тенденціи эти болѣе сознательно формулировались, нашли себѣ различныя философскія и социальныя подкладки, осложнились, развились въ цѣлыя ученія. Такъ, петровскіе старовѣры обратились въ славянофиловъ; старобоярство приняло видъ англomanіи съ ея приверженностью къ крупному землевладѣнію, вотчинной полиціи и пр. Но сущность осталась также самая даже до мелочей: и до сегодня въ Москвѣ имъ встрѣтите и отрицаніе реформъ Петра, и изувѣрное отвращеніе ко всему западно-бурсманскому, и пристрастіе къ брадамъ и кафтанамъ, съ другой стороны то-же ворчаніе на излишнюю демократичность правительственныхъ реформъ, ту же страсть считать древніе роды и тѣже золотыя мечты о томъ, что наступитъ когда-нибудь блаженныя времена, когда немногіе бояре будутъ владѣть многими. Мы даже видимъ не малое сходство въ томъ отношеніи, что подобно тому, какъ при Петрѣ московскіе бояре, съ охотою отдавая своихъ дѣтей въ классическое славяно-греко-латинское законоспасское училище, отрекшались отъ заводимыхъ Петромъ реальныхъ техническихъ училищъ, такъ и нынѣ Москва, дѣлая по старой традиціи излюбленный классицизмъ съ Катковскимъ лицомъ во главѣ, отвергается отъ распространенія реальныхъ училищъ.

По отношенію къ литературѣ московскія тенденціи высказывали постоянно два рода требованій. Съ одной стороны, на почвѣ старобоярскихъ тенденцій развилась теорія искусства для искусства, олишійскаго отношенія къ жизни, требующая, чтобы поэтъ отрѣшался отъ всякаго преходящаго, паріоннаго интереса для, не вѣшивался въ житейскіи драгги, а созерцалъ однѣ вѣчныя общечеловѣческіи красоты. Съ другой стороны, на почвѣ славянофильства, возникло требованіе, чтобы русская поэзія была самобытна, при чемъ самобытность эта поставлялась въ томъ, чтобы писатели развивали непремѣнно русскіе, исконныя идеалы — терпѣнія, смиренномудрія, любви, и пр. и пр.

Что касается теоріи чистаго искусства, то я не знаю, можетъ ли быть и солиднѣе въ томъ, что мы обязаны ей Москвѣ и преимущественно старобоярскимъ тенденціямъ. Вы только подумайте, кому было скорѣе всего задаться этой теоріей, хотя бы она пришла къ намъ и съ Запада, суетливому-ли петербургскому люду, занятому ежеминутно всевозможными дризмами жизни, готовому не только поэзію, но и религію обратить къ своимъ практическимъ цѣлямъ, или же напротивъ того московскимъ олишійцамъ, гордо смотрѣвшимъ изъ оконъ своихъ московскихъ теремовъ на всю кипающую суету новой жизни и презрительно отстранявшимся отъ всякаго вѣшательства въ нее. Тоскливое однообразіе, затнныя московскія жизни въ соединеніи съ безусловною праздноствіемъ, — все это невольно располагало москвичей къ трансцендентальности, къ отвлеченію отъ всего временнаго, преходящаго и къ созерцанію вѣчнаго и неизмѣннаго. Нѣтъ ничего мудренаго, что когда отъ соколовъ и птлудей, полетомъ которыхъ они любовались въ то время, какъ царь-плотникъ стругалъ, пилилъ и строилъ новую Россію, они перешли къ духовнымъ наслажденіямъ, то привыкнувъ взирать горѣ, они потребовали, чтобы поэзія усаждала ихъ досугъ такими же полетами въ облакахъ, какіе въ прежніе годы совершалъ соколъ и голуби. И дѣйствительно теорія чистаго искусства развилась въ московскомъ философскомъ кружкѣ Станкевича; впервые пущена въ свѣтъ, развита во всѣхъ своихъ философскихъ положеніяхъ и доведена до послѣднихъ крайностей она была въ „Московскій Наблюдатель“, журналѣ, издававшемся въ Москвѣ, въ концѣ 30 годовъ. Вѣднскій, бывшій въ то время самымъ талантливымъ и усердѣвшимъ проловѣдникомъ ея, воспринялъ ее на московской почвѣ и стоило ему только переселиться въ Петербургъ, и прошло года, какъ онъ сдѣлался приверженцемъ совершенно противоположной теоріи искусства для жизни и, по собственному признанію его, подобной петромозѣ онъ былъ обязанъ ничему иному, какъ тому общему духу и настроенію жизни, которые обхватили его въ Петербургѣ. Вы мнѣ скажете, что и въ Петербургѣ вполнѣдствіи были органы, защищавшіе теорію искусства для искусства. Мало ли чего! Я могу прибавить къ вашему возраженію, что въ Петербургѣ возникли вполнѣдствіи и славянофильскіе органы, а въ Москвѣ издавался лѣтъ 10 „Телеграфъ“, не имѣвшій ничего общаго съ московскими тенденціями; въ Москвѣ же родился, воспитался и развился Гердесъ.

Но всё эти возраженія нисколько не измѣняютъ дѣла: для насъ важно не то, гдѣ и какъ оразилось какое-либо ученіе, а на какой почвѣ оно возникло, кому принадлежить его инициатива, и безъ сомнѣнія инициатива теоріи чистаго искусства принадлежить Мольсъ; теоріи эта только и могла впервые явиться и развиться на почвѣ московскаго барства; точно также не составляетъ исключенія и Н. А. Полевой со своимъ „Телеграфомъ“, потому что идеи, развиваемыя имъ въ „Телеграфѣ“, онъ усвоилъ подъ вліяніемъ петербургскаго западническаго движенія и все равно, гдѣ бы онъ ни издавалъ свой журналъ, въ Москвѣ ли, въ Казани или Харьковѣ, все-таки журналъ останется на почвѣ петербургскаго движенія, и съ московскими тенденціями онъ не только не имѣлъ ничего общаго, но постоянно ратовалъ противъ нихъ; это былъ боецъ, воровавшійся въ самую среду неирительскаго стана. В Герленѣ и говорить нечего: все его развитіе совершалось вопреки окружающимъ его московскимъ тенденціямъ, и когда онъ возсталъ противъ Вѣдинскаго, то статьи свои, въ которыхъ защищаль теорію искусства для жизни, печаталъ въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ.

Что касается теоріи самобытности русской поэзіи въ видѣ выставленія исконныхъ идеаловъ, то и не знаю нужно ли и доказывать, что всецѣло вытекши изъ славянофильскихъ ученій, она неотъемлемо принадлежить Москвѣ. Впервые вполнѣ развита была эта теорія въ Москвитинѣ, преклонившемся передъ Гётемъ главнымъ образомъ за то, что тотъ, не довольствуясь однимъ отрицательнымъ отношеніемъ къ русской поэзіи, стремился подъ конецъ своего поприща къ положительнымъ типамъ и все общалъ, что у него полнѣе звуки иныхъ рѣчей, въ Москвитинѣ, съ изгоданіемъ относившимся къ натуральной школѣ и общительной литературѣ, отыскивавшимъ исконные русскіе идеалы даже въ самодурахъ Островскаго и умлавившимся передъ дѣдушкою Батровымъ и Куролесовымъ.

Изъ этихъ двухъ московскихъ теорій такъ и сыпалась въ разные времена и въ различныхъ органахъ всевозможныя шипки на нашу бѣдную русскую литературу. Съ одной стороны изъ славянофильскаго лагеря преслѣдовали ее постоянно за рабское преклоненіе передъ идеалами и образцами западныхъ литературъ, за измѣну русскимъ идеаламъ и предрекали ей вѣчное отсутствіе какой-либо самобытности, полное обезличеніе и обезвѣтность. Съ другой стороны изъ лагеря теоретиковъ чистаго искусства нападали на нее постоянно за измѣну чистому искусству, за стремленіе служить тѣмъ низкимъ истинамъ и въ свою очередь предсказывали ей, что, если она будетъ стремиться къ тенденціозности, то совсѣмъ перестанетъ быть изящнымъ искусствомъ, а сдѣлается иллюстрированной публицистикой и должна будетъ перестать издаваться и обезвѣтиться.

Если послушать всё эти нападки, раздающіяся не одну уже десятковъ лѣтъ, то можно подумать, что съ нашей литературой давно уже приключилось все, что ей обещано: давно уже она въ преклоненіи передъ Западомъ потеряла всякую самобытность, обезличилась и обезвѣтилась, давно уже, служа низкимъ

истинамъ, обратилась въ рядъ ничтожныхъ памфлетовъ. Ну и конечно, такая судьба постигла наиболѣе петербургскую литературу, развившуюся на почвѣ западничества. Что-же касается литературы, придерживающейся московскихъ тенденцій, то естественно въ ней только и слѣдуетъ искать задатковъ и самобытности, и непосредственности; однимъ словомъ — драгоценныхъ перловъ истиннаго, чистаго, высокого и притомъ чисто русскаго искусства.

Но дѣйствительность убѣждаетъ насъ совершенно въ противоположномъ. Начать съ того, что если когда-либо наша литература находилась поистинѣ въ рабскомъ подчиненіи западнымъ литературамъ и представляла изъ себя одно жалкое ихъ эхо, то это было только вырожденіемъ перваго ея періода — такъ называемаго, ложно-классическаго. Но въ этотъ періодъ писатели наши увлеклись не столько какими-либо западными идеалами и ученіями, сколько одними формами поэзіи, считавшимися непреложными и обязательными равно для всѣхъ народовъ. Что-же касается идеаловъ и ученій, то большинство русскихъ писателей того времени мало чѣмъ расходилось съ московскими тенденціями: всё они преклоняются ницъ передъ, такъ называемою, святынею предковъ, всё они преисполнены были пламенной любви къ отечеству, и, настраивая свою лиру на высокой ладъ, воспѣвали славу храбрыхъ россомъ, ширину размаха русской богатырской натуры, великодушіе и щедрость высокоомненитыхъ дворянъ и вскаго рода генераловъ, такъ что стремились воспроизводить въ искусствѣ именно исконные русскіе идеалы, а если что и отрицали, то опять-таки совершенно въ духѣ московскихъ тенденцій: отрицали слѣпое обезьянство французскимъ правамъ въ разныхъ петиметрахъ, воротившихся изъ-за границы водникахъ, пристрастіе ко всёму иноземному, доходившее въ людяхъ высшаго свѣта до забвенія роднаго языка и прочее въ этомъ родѣ, такъ что даже и въ наше время славянофилы весьма склоняются къ тому, что не слѣдуетъ-ли причислить къ ихъ лагерю всѣхъ этихъ отрицателей добраго стараго времени. И между тѣмъ вся эта вѣрность исконнымъ русскимъ идеаламъ, вся эта безукоризненная чистота искусства, не вмѣшавшагося ни въ какія низкія дрызги жизни и витающаго постоянно въ заоблачныхъ высотахъ, — все это ни мало не дѣлало литературу нашу ни самобытною, ни естественною; напротивъ того, никогда она не была такъ искусственна, преднабренна, безлична и безвѣтна, какъ именно въ этотъ первый періодъ своего существованія. И, напротивъ того, именно, съ тѣхъ поръ, какъ наше общество начало увлекаться не одними формами, но и идеями, ученіями, духомъ западной цивилизаціи, съ тѣхъ поръ и начинаетъ развиваться въ нашей литературѣ и естественность творчества, и самобытность, и всё эти вещи возникаютъ отнюдь не на почвѣ московскихъ тенденцій, а того самого западничества, которое, по мнѣнію московскихъ мыслителей, должно было постоянно держать литературу въ оковахъ подражательности и тенденціозности.

Въ самомъ дѣлѣ: первые зачатки самобытности русской литературы положили романтики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, внесшіе въ нашу жизнь имен-

но тотъ странный западный духъ отрицанья, духъ сомнѣнья и анализа, который такъ ненавистенъ московскимъ мыслителямъ обѣихъ категорій. Первымъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ является Пушкинъ, этотъ человекъ, получившій въ родительскомъ домѣ свѣтское образованіе во французскомъ духѣ, напавшійся въ бытность свою въ лицей и въ петербургскихъ литературныхъ кружкахъ либеральными идеями, заимствованными съ Запада, потомъ сдѣлавшійся поклонникомъ Байрона, — и этотъ Пушкинъ, положивъ начало самобытности русской литературы, вознѣталъ Гоголя, поставившаго окончательно нашу литературу на самостоятельную дорогу. Правда, Гоголь не былъ западникомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; это былъ самородокъ, дѣйствовавшій совершенно инстинктивно; онъ былъ слишкомъ мало образованъ для того, чтобы сознательно сдѣлаться западникомъ или славянофиломъ; но все-таки обратите вниманіе на то, что большую часть своей литературной дѣятельности онъ совершилъ въ Петербургѣ, и Петербургъ не только не мѣшалъ его самобытности, но, напротивъ того, всячески поощрялъ ее въ лицѣ Пушкина и Жуковского, Бѣлинскаго и Плетнева, и очень можно быть, что преобладанію въ его произведеніяхъ слѣха сквозь слезы, составлявшаго главную сущность и самобытность его таланта, онъ былъ обязанъ именно тому духу святинизма, пропіи, которымъ онъ былъ охваченъ въ Петербургѣ. Ужъ, конечно, не Москвѣ, имѣющей тенденцію вѣчно умиляться и восторгаться передъ всѣмъ отечественнымъ, онъ обязанъ былъ тѣмъ знаменитымъ: „скучно на этомъ свѣтѣ, господа“, которымъ заканчивается одинъ изъ первыхъ его юмористическихъ рассказовъ. Напротивъ того, Москвѣ онъ былъ обязанъ только тѣмъ, что по мѣрѣ того, какъ подѣ конецъ своей жизни все болѣе и болѣе проникался онъ московскими тенденціями, онъ терялъ и естественность, и самобытность своего творчества; оно все болѣе и болѣе обезличивалось, обезличивалось, дѣлалось предвѣренныиъ, искусственнымъ и, наконецъ, Гоголь, вмѣсто своихъ драгоценныхъ поэтическихъ образовъ, началъ изливаться отвлеченнѣйшими тенденціями изувѣрнаго характера...

Послѣ Гоголя литература наша окончательно становится на самобытную почву. Всѣ послѣдующіе писатели: Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Некрасовъ, Щедринъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, являются писателями вполне самобытно-русскими, не только по своему происхожденію, или потому, что они пишутъ порусски, но по духу и характеру своихъ произведеній, по отношенію ихъ къ русской жизни, потому, что ихъ произведенія составляютъ нѣчто совершенно особенное въ ряду европейскихъ литературъ, возникшее въ силу своихъ особенныхъ причинъ. А между тѣмъ, всѣ эти писатели и не помышляли о своей самобытности, и не думали стремиться во чтобы то ни стало достигъ ея; всѣ они являлись передъ нами болѣе или менѣе сознательными западниками, всѣ они, развившись подѣ непосредственнымъ вліяніемъ западной цивилизаціи, увлекались и увлекаются западными идеями и ученіями. Произведенія ихъ, не имѣя ничего общаго съ москов-

скими тенденціями, неотчетливо составляютъ литературу петербургско-западнаго движенія.

И замѣтите: мало того, что вся эта петербургско-западническая литература представляетъ нѣчто самобытное и особенное по отношенію ко всѣмъ прочимъ европейскимъ литературамъ, въ самыхъ нѣдрахъ своихъ, вмѣсто предсказаннаго обезличенія, она представляетъ поразительное развитіе индивидуальнаго разнообразія. На почвѣ этой литературы сдѣлалась, повидимому, совершенно немыслимою рабская подражательность не только образамъ западной литературы, но и лучшимъ произведеніямъ русской. Совершенно вопреки старой эстетики, которая полагала, что второстепенные и третьестепенные таланты по самому существу своему предназначены быть эхами генивъ и первостепенныхъ талантовъ, литература, возникшая на петербургской почвѣ, представляетъ безконечную оригинальность въ лицѣ самыхъ маленькихъ и дюжинныхъ талантиковъ. Здѣсь каждый великій рассказчикъ имѣетъ свою физиономію и вкладываетъ въ литературу нѣчто особенное, свое. Когда говорятъ, что Гоголь создалъ натуральную школу и что всѣ послѣдующіе писатели пятидесятыхъ годовъ шли по его пути, подѣ этимъ вовсе не подразумеваютъ, чтобы они были болѣе или менѣе рабскими подражателями Гоголя; слово путь принимается здѣсь въ самомъ общемъ, отвлеченномъ смыслѣ, — въ томъ именно, что послѣдующіе послѣ Гоголя писатели зашли, подобно ему, изображеніемъ обыденной русской дѣйствительности. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы они принялись изображать тѣ-же самыя черты дѣйствительности, которыя изображалъ Гоголь, и подѣ тѣми-же углами зрѣнія. И въ этомъ-то отсутствіи рабской подражательности, въ этомъ богатомъ развитіи индивидуальности представляется, на нашъ либу, весьма оградный признакъ избытка творчества и жизни въ современной намъ литературѣ. Жестоко ошибаются въ этомъ отношеніи тѣ изъ современныхъ критиковъ, которые, замѣчая отсутствіе въ литературѣ гениальныхъ талантовъ, вѣчно волатъ о бѣдности и мнимоиъ измѣнчивоиъ литературѣ. Напротивъ того, намъ кажется, что литература, въ которой на одинъ, на два гениальные таланта представляется цѣлый рядъ рабскихъ ихъ подражателей, гораздо бѣднѣе творчествомъ и менѣе живленна, чѣмъ литература, въ которой, хотя и нѣтъ генивъ, удивляющихъ вселенную, но за то каждый писатель представляетъ особенный міръ, каждый идетъ по своей совершенно особенной дорогѣ и гдѣ, не говоря уже о талантахъ, стоящихъ впередъ, даже и такіе второстепенные беллетристы, какіи были въ прежнее время В. Крестовскій (исвдохникъ), а въ наше время — Воборыкинъ или Куценскій, представляются писателями вполне оригинальными и чуждыми всякой подражательности.

Съ другой стороны, если мы взглянемъ на петербургскую литературу съ точки зрѣнія теорій непосредственности творчества, то и тутъ передъ нами открывается поразительное зрѣлище. Мы видимъ, что, начиная съ эпохи Бѣлинскаго и Гоголя, большинство писателей отрицаютъ теорію чистаго искусства и стремятся своими произведеніями служить тѣмъ или дру-



пять общественным интересам; но замѣчательно, что это стремленіе нисколько не дѣлаетъ свободѣ их творчества и не дѣлаетъ ихъ предвѣренно тенденціозными. Пропинованіе тѣмъ или другими идеями известными образомъ освѣщаетъ ихъ поэтическіе образы, даетъ имъ смыслъ, но въ произведеніяхъ ихъ на первомъ планѣ стоятъ все тѣже поэтическіе образы, вытекающіе изъ жизни и совершенно естественно возникшіе въ ихъ творческой фантазіи. Возьмите вы въ этомъ отношеніи хотя-бы Щедрина, какъ писателя наиболѣе тенденціознаго, что болѣе всего вамъ нравится въ немъ? Очевидно, уиѣнно выставить на всеобщее осмѣиеніе типы всевозможныхъ пошляковъ, разыгрывающихъ различныя роли въ общественной жизни. Но откуда-же беретъ Щедринъ эти типы? Конечно, они являются у него не изъ какихъ-либо отвлеченныхъ тенденцій, онъ беретъ ихъ изъ жизни, создаетъ путемъ вполне свободного творчества; и тенденціозность заключается у него только въ мастерствѣ, съ которымъ онъ выставляетъ на первый планъ наиболѣе пошлыя стороны своихъ героевъ. Ну, а Рѣшетниковъ, П. Успенскій, что въ нихъ найдете вы предвѣренно тенденціознаго? Какія такія предвѣренныя темы въ ихъ очеркахъ? Или, можетъ быть, вы скажете, что предвѣренность ихъ произведеній заключается въ самомъ побужденіи изображать жизнь преимущественно однихъ только страждущихъ, низшихъ слоевъ общества? Но тогда я спрошу васъ, на какомъ моральномъ основаніи, при видѣ двухъ поэтовъ, изображающихъ двухъ обидящихъ людей, вамъ можетъ придти въ голову фантазія, что изображеніе лукуловскаго пира сибарита Майковъ или Фетомъ должно принадлежать къ чистому искусству, а изображеніе Рѣшетниковъ подлиннова, питающагося ледею — къ искусству предвѣренно-тенденціозному, если въ обоихъ случаяхъ изображенія отличаются одинаковою объективною и вѣрною дѣйствительностію? Вы отвѣтите мнѣ, можетъ быть, что Майковъ или Фетъ, изображая ипрющаго сибарита, ни о чемъ не помышляли, какъ только о художественномъ воспроизведеніи своего образа, между тѣмъ, какъ Рѣшетниковъ изобразилъ своего голодающаго подлиннова съ предвѣренныи намереніемъ привести читателя къ тѣмъ или другимъ социальнымъ выводамъ? Но, высказывая подобное сужденіе, не принимаете-ли вы на себя роли тѣхъ прокуроровъ, которые опираются въ своихъ обвиненіяхъ не на факты судебного сѣдства и показанія свидѣтелей, а на свои собственные гипотезы относительно того, что могъ думать преступникъ, когда собирался совершить преступленіе? Вы вѣдь не присутствовали при актѣ творчества Рѣшетникова и не слышали отъ него лично, или отъ другого кого, о тѣхъ расчетахъ, которые будто-бы онъ имѣлъ, садясь писать Подлинновца? Передъ нами на лицо одинъ фактъ — рассказъ писателя, отличающійся такою-же объективною, какою отличается описаніе лукуловскаго пира сибарита, какое-же право имѣете вы судить о предвѣренности? Вѣдь можетъ быть, что Рѣшетниковъ, подобно Майкову или Фету, ничѣмъ не руководился въ своей пасажи Подлинновца, какъ лишь стремленіемъ изобразить то, что онъ болѣе всего встрѣчалъ въ жи-

ни, что вѣзало въ его фантазію и произвело на него сильное впечатлѣніе; что же касается социальныхъ выводовъ изъ произведенія, то это ваше личное дѣло, а вы его совершенно напрасно навязываете автору; вѣдь и изъ изображенія лукуловскаго пира можно сдѣлать свои социальные выводы; можно ихъ дѣлать, наконецъ, изъ разсмотрѣнія самихъ фактовъ жизни, не читая поэтическихъ произведеній, изображающихъ эти факты; неужели-же и сама жизнь производитъ эти факты тоже съ предвѣренною тенденціею привести васъ къ известнымъ выводамъ? Такъ, напримеръ, неужели жизнь нарочно придумала сарарскій голодъ для того, чтобы доказать людямъ, что при неразсчетливомъ хозяйствѣ возможно и плодороднѣйшую почву обратить въ безплодную? Наконецъ, очень возможно, что Рѣшетниковъ сознавалъ, какіе выводы извлекутъ читатели изъ его произведенія; возможно даже, что это сознаніе было главнымъ побудительнымъ стимуломъ въ его творствѣ, но что намъ до этого за дѣло, если мы въ произведеніи этого не видимъ, если оно является передъ нами простымъ, безхитростнымъ изображеніемъ дѣйствительности, и выводы не навязываются намъ авторомъ, а сами собою явствуютъ изъ представленныхъ фактовъ? Изалѣйте, что подобный характеръ непредвѣренной предвѣренности, произвольной естественности, имѣетъ большинство произведеній, возникающихъ на петербургской почвѣ. Конечно, и тутъ въ семьѣ не безъ урода: и тутъ вы можете встрѣтить романы гг. Михайлова и Коппа, въ которыхъ дѣйствительно преобладаютъ отвлеченныя тенденціи, факты-же, образы, берутся не изъ жизни, а сочиняются авторами, подгоняясь къ тенденціямъ; но подобныя явленія представляются, все-таки, не главными, преобладающими въ петербургской литературѣ; не въ нихъ основанъ стволъ литературнаго развитія; они суть только мертвые наросты на живомъ тѣлѣ, которые не замедлятъ, конечно, отвалиться.

Совершенно иное явленіе представляетъ изъ себя литература, возникшая на почвѣ московскихъ тенденцій; она вся цѣликомъ составляетъ мертвый наростъ самаго гангренознаго свойства, причѣмъ она преисполнена, именно, тѣхъ самыхъ недостатковъ, которые она подозреваетъ въ петербургской литературѣ. Начать съ того, что ужъ я не знаю, можно-ли и говорить о національной самобытности этой литературы, когда каждый писатель, какъ только вступаяетъ на почву московскихъ тенденцій, тотчасъ-же теряетъ свою собственную, личную самобытность и мало того, что обезличивается до послѣдней крайности, но совершенно теряетъ способность поэтического творчества въ смыслѣ дара говорить образами, склоняясь къ простому изверженію различныхъ отвлеченныхъ идей. Мы уже говорили о подобной метаморфозѣ съ Гоголемъ, котораго московскія тенденціи превратили изъ автора „Ревизора“, „Мертвыхъ душъ“ въ автора „Переписки съ друзьями“, но кромѣ Гоголя можно насчитать и множество другихъ примѣровъ подобнаго же паденія творчества. Возьмите, напримеръ, хотя-бы Кохановскую, которая начала свою литературную дѣятельность рядомъ вполне оригинальныхъ, яркихъ и произвольно-естественныхъ поэтическихъ образовъ,

между тѣмъ, какъ въ послѣднихъ ея произведеніяхъ совершенно уже нѣтъ почти никакихъ образовъ, а идетъ безконечный рядъ отвлеченнѣйшихъ разсужденій, исполненныхъ трескучей реторики и мистическаго бреда въ славянофильскомъ духѣ. Подумайте, что сдѣлала Москва изъ Писемскаго, Ф. Достоевскаго? А Л. Толстой, этотъ писатель, развинченный на почвѣ петербургской литературы, что же, какъ не Москва, побудила его принять на себя несвойственную ему роль историческаго философа и наводить свой послѣдній прекрасный романъ длиннѣйшими туманными полуфилософскими, полумистическими разсужденіями о судьбахъ міра сего? Словомъ, кто только вступитъ на почву московскихъ тенденцій, у того, будь онъ поэтъ до мозга костей, тотчасъ же является побужденіе изрѣкать неизрѣченные глаголы и онъ начинать цѣлыя страницы и тоны наполнять мистическими резонерствами, или начнетъ вездѣ отыскивать враговъ отечества.

На основаніи всего этого я ужъ не знаю, нужно ли и говорить о томъ, на сколько московская литература при такомъ своемъ положеніи можетъ быть представительницею своихъ излюбленныхъ теорій чистаго искусства и непредиадѣренности творчества? Напротивъ того, совершенно въ разрѣзъ съ этими теоріями она является вси силою предиадѣренно тенденціозною, и эта предиадѣренная тенденціозность ея дошла до такихъ поразительныхъ крайностей, что всѣ московскіе беллетристы въ настоящее время подведены окончательно подъ одну норму, подъ одинъ, такъ сказать, ранжиръ, причемъ, мало того, что опредѣлено, какія они должны проводить тенденціи въ своихъ произведеніяхъ, но и какъ проводить, такъ что московскіе беллетристы не нужно уже трудиться надъ созданіемъ сюжетовъ и типовъ для своихъ романовъ: все это существуетъ уже въ готовомъ видѣ, въ родѣ тѣхъ формъ, въ которыя отливаются различныя фигуры на литейныхъ или фарфоровыхъ заводахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни представилось на первый взглядъ разнообразно содержаніе московскихъ романовъ, существуетъ всего на все двѣ неизмѣнныя формы, въ которыя всѣ они отливаются, одна форма для романовъ съ тенденціями „Московскихъ Вѣдомостей“, другая—для романовъ въ славянофильскомъ духѣ. Если угодно, я могу сообщить вамъ обѣ формы, такъ что вы безъ всякаго труда будете въ состояніи написать романъ для „Русскаго Вѣстника“ или какого-нибудь будущаго славянофильскаго органа.

Форма романовъ въ духѣ тенденцій „Московскихъ Вѣдомостей“ должна быть слѣдующая:

На первомъ планѣ изобрази героя-охранителя. Онъ долженъ быть красивъ и статенъ, древняго рода, князь или графъ (но мѣшаетъ при этомъ странную, другую посвятить характеристикѣ его предковъ и разобратъ по листочкамъ все его генеалогическое древо). Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немнога, пожалуй, и стрепительнаго; убѣжденъ, само собою разувѣется, безкорыстно честныхъ, и всѣ силы души его должны стремиться къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности же охраняя оте-

чества. Еще до своего служебнаго поприща онъ можетъ уже начать эту борьбу въ какой нибудь либеральной гостиной губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лигушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго уноенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, стиграпною прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить все изящное и любить свою родину паче жизни. Подобная рѣчь должна возбудить всеобщій смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи нибудь глубокія синія очи могутъ затуманиться тонною задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и заблестѣть живымъ участіемъ, когда героемъ выхождитъ среди споровъ удастся сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени ошѣпить и сконфузить хвастливаго пана Вазексержинскаго, что панъ, схвативши свою конфедератку быстро, отретировался бы, кипя злобою и обѣщая отквитать герою посредствомъ коварной польской интриги. Затѣмъ, можетъ опредѣлить героя на государственную службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь должна начаться уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. За это должно представиться въ двоякомъ, конечно видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной въ образѣ пана Вазексержинскаго, который подъ предлогомъ служенія своей отчизнѣ долженъ мстить герою изъ чисто личныхъ видовъ за нанесенную герою обиду въ присутствіи синеюкой дѣвы. 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, который долженъ быть изображенъ въ романѣ панурговъ стадомъ, возмущающимъ крестьянъ, подсовывающимъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающаго, наконецъ, на самую жизнь героя, и все это не по собственному побужденію, а подъ вліяніемъ все той-же польской интриги. Въ борьбѣ съ этими стадіями ада герой можетъ быть оклеветанъ и попасть подъ судъ, быть отравленъ, нѣсколько разъ истекать кровью отъ нанесенныхъ ранъ, но въ концѣ концовъ все-таки выйти сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя вокругъ себя все и вся, и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Для большей полноты всей этой картины борьбы новаго Донъ-Кихота съ вѣтренными мельницами можно повести героя въ различные центры золь, тасъ, наприхѣръ, пусть онъ прѣидетъ въ Петербургъ и тамъ побородитъ по разнымъ литературнымъ или студенческимъ кружкамъ, а еще отравъ его за границу, заставъ его тамъ столкнуться съ русскими эмигрантами и на возвращеніи пути выбросить изъ чемодана какого-нибудь янгого спутника за бортъ парохода пукъ прокламаціи. Въ перемены со всѣми этими политическими сценами должны идти любовныя интриги. Герой рядомъ со всѣми своими героическими качествами долженъ обладать, конечно, и даромъ покорить женскія сердца. Всѣ женшины должны влюбляться въ него съ первой встрѣчи, и у героя сквозь его жизнь должны пройти три вида любви: одна любовь игриваго и скабрзнаго свойства, въ которой должна разыгрываться роль или юная губернаторша, оупутывающая героя тенетами кокетства, или

судруга завадычнаго друга, съ которымъ герою приходится совершенно случайно почевать въ двухъ смежныхъ комнатахъ и совершенно печально сдѣлаться жертвою ея страстности. Другая любовь, вспыхивающая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до высшаго экстаза страстности и повергающая его въ кофѣ-кошпювъ въ крайнее изнеможеніе и нравственное оцѣпенѣніе, эта любовь къ какой-нибудь юной полувѣ, ну, хоть сестрѣ пана Вазекержипскаго, а не то къ россиянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей какою-нибудь кровавою смертію, положимъ хоть на баррикадѣ во время осады Парижа. Наконецъ, третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но за то влослѣдствіи самая глубокая, истинная и безконечная, это — любовь къ той спящей дѣвѣ, которая въ pendant герою должна представлять изъ себя типъ коренной русской женщины, стремящейся къ домашнему очагу, свято охраняющей всё основы и несомобной къ какому-либо каторжничьему увлеченію и легкомысленнымъ отрицаніямъ; съ этой своей совершенной во всѣхъ отношеніяхъ зарой герой долженъ почить отъ всѣхъ своихъ тревожныхъ и, уставши охранять отечество своею собственною грудью, посвятить остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Форма романа въ славянофильскомъ духѣ должна быть совершенно иного рода. Здѣсь не требуется отъ героя ни графскаго, ни княжескаго титула, достаточно, чтобы онъ былъ коренной русской помѣщикъ, съ чисто славянской кровью безъ малѣйшей подмѣси. Генеалогическаго древа писатель, въ свою очередь, можетъ совсѣмъ не касаться, но за то жизнь и нравы родительской усадьбы, исполненные чисто русскихъ национальных чертъ, должны быть описаны во всѣхъ подробностяхъ, съ охотами и рыбными ловлями, святочными гаданіями, хороводами, храмовыми праздниками, постами и розговѣями, и ужъ тутъ писатель долженъ не пожалѣть художественныхъ красокъ; не мѣнять даже для большей полноты картины заглянуть въ сборники Сахарова, Снегирева, Рыбникова, Клифескаго и проч., откуда писатель можетъ заимствовать нужныя для него свѣдѣнія о гаданіяхъ, вороженіяхъ, святочныхъ пѣсняхъ и обогатить всѣмъ этимъ матеріаломъ свой рассказъ для того, чтобы поэтичность его была вполне въ русскомъ духѣ и чтобы каждый читатель, прочтя описаніе жизни усадьбы могъ въ умиленіи воскликнуть:

Здѣсь Русь живетъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Проведя свое дѣтство среди такой обстановки, герой потомъ долженъ быть оторванъ отъ своей исконной среды, отданъ родителямъ въ какое-нибудь египетское заведеніе и тамъ, пройдя различные курсы, долженъ напитаться духомъ западной цивилизаціи, сдѣлаться ея горячимъ поклонникомъ, увлечься различными кичливыми и разрушительными ученіями разлагающаго Запада, а воротившись на каникулы домой въ родную усадьбу, начать нѣсколько свысока съ презрѣніемъ и отрицаніемъ относиться ко всѣмъ житейскимъ святынямъ и дорогимъ обычаямъ русской старши. При этомъ не мѣшаетъ изобразить нѣсколько

ко сценъ, въ которыхъ герой понадался-бы въ просякъ и былъ-бы посрамленъ въ своей кичливости; можно, напримѣръ, изобразить разговоръ героя съ сельскимъ іереемъ, причетъ простой и здравый, чисто русскій умъ іерея, исполненнаго христіанскаго смиренія, одержавъ-бы верхъ надъ западною мудростію занесшагося барича. Затѣмъ, для того, чтобы представить міръ не только въ его старинныхъ уголкахъ, но во всей совокупности въ роковую минуту, когда онъ поднимается, спланивается въ одного исполнителя и обнаруживаетъ всю мощь славянскаго духа, слѣдуетъ изобразить какую-либо важную эпоху въ родѣ народной войны 12 года, севастопольской обороны, суворовскихъ походовъ, московской чумы и проч., и проч. Необходимо пустить героя въ эту кашу, заставить его испытать всевозможныя мятарства, голодать, холодать, тонуть, нѣсколько разъ лежать убитымъ на полѣ брани, — при всѣхъ этихъ испытаніяхъ встрѣчаться постоянно съ народомъ и внезапно прозрѣть, увидѣть всю великость этого народа и все ничтожество западной мудрости передъ его мировоззрѣніями, исполненными неизрѣченно глубокой правды, хотя и облеченными въ оболочку дѣтской простоты и христіанскаго смиренія, чуждаго малѣйшей рисовки и кичливости. Результатомъ подобнаго прозрѣнія должно быть перерожденіе героя: онъ вдругъ долженъ почувствовать въ себѣ избытокъ елейной мягкости, всепрощенія и приспосабливаться исконными русскими идеалами смиренномудрія, терпѣнія и любви. Можно и другими путями привести героя къ этому перерожденію, болѣе простыми и быстрыми, посредствомъ, напримѣръ, того-же самаго вышеупомянутаго іерея, если писатель, не желая писать многотомный романъ, хочетъ ограничиться небольшою повѣстью; посредствомъ, наконецъ, любви, вліянія матери, какъ это сдѣлала, напримѣръ, Кохановская въ своей повѣсти Галка; во всякомъ случаѣ перерожденіе необходимо, и оно должно составлять основу романа, написаннаго въ славянофильскомъ духѣ. Этимъ перерожденіемъ романъ многиъ исчерпывается; за нимъ герою ничего большаго не остается, какъ сочетаться законнымъ бракомъ съ русской дѣвою неизрѣченной красоты и начать осуществлять кучно съ ней исконные русскіе идеалы смиренномудрія, терпѣнія и любви.

Конечно можно придумать множество различныхъ вариантовъ на эти темы; писатели могутъ вѣсело жеманиться въ концѣ романа умерить своихъ героевъ ужасною смертію, могутъ заставить ихъ влюбиться въ блондинку или въ брюнетку, могутъ послать за границу или въ Ташкентъ и на Кавказъ, могутъ развернуть интригу романа въ западномъ краѣ, или во всѣхъ частяхъ свѣта. На первый взглядъ валь можетъ показаться, что одинъ романъ не похожъ на другой, что и въ московской беллетристикѣ есть свое разнообразіе; но стоитъ припомнить всѣ романы, вышедшіе въ послѣднія 10 лѣтъ, всмотрѣться въ ихъ сюжеты, и вы увидите, что всѣ они непременно подойдутъ подъ одинъ изъ этихъ двухъ шаблонныхъ, во всѣхъ ихъ провозятся двѣ неизмѣнныя тенденціи: 1) вотъ она каковы подрывающія всѣ основы исчадія польской интриги и панургова стада нашего либерализма и 2) великъ Богъ земли Русской.

## II.

Что же за причина подобных противоречий в литературных сферах? Как же это случилось, что петербургская литература, никогда не помышляя о самобытности, сдѣлалась самобытною, ратуя за полезное творчество, однакожь, осталась чуждою преднамѣренной тенденціозности, и напротивъ того московская литература, при всѣхъ своихъ стремленіяхъ и къ самобытности, и къ чистотѣ искусства, дошла до крайняго обезличія и впала въ самую узкую тенденціозность?

Причины такого страннаго явления очень просты и понятны. Начать съ того, что самобытность есть явленіе воли и произвольное; она вырабатывается естественнымъ жизненнымъ процессомъ и всякое внимательство личной воли въ этотъ процессъ не только не способствуетъ ему, но препятствуетъ и парализируетъ его. На основаніи этого закона, гдѣ только являлась какая-либо самобытность, она возникала сама собою, неожиданная, негаданная; стремленіе же выдвигать ее никогда ни къ чему не вело, какъ только къ выпускному оригинальничанью, производящему всегда непріятное впечатлѣніе лжи и фальши и скрывавшему подъ собою полную бездѣятельность. Между тѣмъ, наша петербургская литература, развившись подъ влияніемъ общаго увлеченія Западомъ, съ самаго начала встала на естественную почву въ томъ отношеніи, что беззавѣтно отдалась этому увлеченію. Она явилась подражательною не вследствие какихъ либо предвзятыхъ теорій, а потому, что и общество, и литераторы волею естественно и беззавѣтно увлеклись образцами западной словесности. Такимъ образомъ съ самаго возникновенія петербургская литература отдалась всецѣло произвольному жизненному процессу, увлекаясь тѣми впечатлѣніями, какія преобладали въ передовыхъ кружкахъ общества. Эта-то непосредственность ея и вывела ее на путь самобытности. — Слившись путемъ подражательности съ литературами Запада, она начала вмѣстѣ съ европейскими литературнымъ движеніемъ переживать всѣ его фазы и дошла до современныхъ намъ эстетическихъ требованій, чтобы каждый поэтъ творилъ свободно, воспроизводя въ своихъ произведеніяхъ тѣ впечатлѣнія, какія навѣваетъ на него жизнь. Эти требованія, положившія начало новаго реальнаго искусства, и повели къ той индивидуализаціи искусства, о которой мы выше говорили: каждый поэтъ, въ какой-бы странѣ онъ ни жилъ, началъ воспроизводить въ своихъ произведеніяхъ тѣ образы и впечатлѣнія, какія навѣвала на него окружающая его действительность, переставши брать себѣ въ образцы Байрона, Гете, Шиллера или Шекспира и стремиться возвышаться до нихъ. Эта-то индивидуализація искусства естественно повела за собою и національную самобытность. Помимо того, что каждый поэтъ сдѣлался выразителемъ жизни и интересовъ своей страны, онъ сталъ самимъ собою, началъ отражать въ своихъ произведеніяхъ свою личность, естественно и традиціонно носящую въ себѣ тѣ или другія народныя черты.

Между тѣмъ, какъ петербургская литература до-

стигла самобытности, нисколько не заботясь о ней, путемъ одной индивидуализаціи искусства, Москва въ своемъ славянофильскомъ лагерѣ возымѣла гдѣ-нибудь оставить литературу на самобытную почву путемъ волею преднамѣреннымъ, облизывая каждого поэта *стремитесь* быть самобытнымъ, при чемъ подъ самобытностью разумѣлась не личная самобытность каждого поэта, а особенная собирательная самобытность русскаго искусства, въ которомъ личность поэта должна пропасть, какъ пропадаеть она въ народной пѣснѣ. По московскимъ теоріямъ, поэтъ, чтобы сдѣлаться самобытнымъ, долженъ изучать народную поэзію былыхъ временъ, набираться всевозможныхъ народныхъ поэтическихъ мотивовъ, читать дѣтешки и всякіе сборники, посѣщать такіа глухія захудалыя, гдѣ-бы стародавняя русская жизнь наиболѣе сохранилась со всеми своими старинными мировоззрѣніями, повѣрьями и поэтическими обрядами языческихъ временъ. Посредствомъ такого изученія поэтъ долженъ проникнуться народнымъ мировоззрѣніемъ и народными мотивами, слиться съ народною поэзію и сдѣлаться такимъ образомъ национально-самобытнымъ. Но надо-ли много распространяться о томъ, какъ неестествененъ и ложенъ такой путь? Начать съ того, что въ основѣ его лежитъ не живое, непосредственное творчество подъ впечатлѣніемъ окружающей действительности, а рядъ археологическихъ изысканій. Поэтъ долженъ перестать здѣсь быть самимъ собою, а сдѣлаться подражателемъ тѣхъ разнообразныхъ народныхъ мотивовъ, которые народъ создалъ 200, 300 и болѣе лѣтъ тому назадъ. Я говорю 200, 300 лѣтъ назадъ, потому что народное творчество въ томъ собирательномъ, безлично видѣ, въ какомъ оно существовало тѣмъ-то, совсѣмъ почти исчезаетъ, новыхъ мотивовъ народъ почти не создаетъ болѣе, а старые сохраняетъ по традиціи, но, находя въ нихъ слишкомъ мало отзывовъ на современную ему жизнь, постепенно забываетъ. Народъ какъ бы инстинктивно передалъ свою лиру передовымъ образованнымъ людямъ своей страны и ждетъ отъ нихъ новыхъ звуковъ, новыхъ пѣсней, которыя выразили-бы тѣ радости и горе, которыми онъ живетъ, образованные поэты что-же вдругъ хотятъ сдѣлать? Обратиться къ народу съ тою ветошью, которую онъ давно бросилъ! Подозрѣю, что въ этой ветоши много поэтическаго, но вѣдь все это поэтическое давно уже пережито и вѣкомъ поросло, но вѣдь каждое поэтическое потому оно и является такимъ, что оно выстраивается жизнью; почему же и народная пѣсня такъ хватываетъ васъ за душу, какъ не потому, что нѣкогда живые люди выразили въ нихъ свои современные радости и печали... А вы, вмѣстѣ того, чтобы подражать этимъ знакомымъ людямъ въ томъ отношеніи, чтобы по прихвѣру ихъ выразить въ новыхъ мотивахъ наши современные впечатлѣнія жизни, думаете подражать самимъ мотивамъ, естественно отжившимъ вмѣстѣ съ тою жизнью, которая ихъ вызвала. Не значить-ли это отказываться отъ живой действительности и обращаться вѣять, мечтая воскресить мертвое? Во всякомъ случаѣ такого рода археологическая поэзія вовсе не есть самобытная, а въ свою очередь подражательная; разница только въ томъ, что предметами

подражательности являются здѣсь образцы не греко-ромской или современно-западной поэзіи, а древне-русской; но это все равно, вѣдь не считаемъ-же мы самобытными инсателями псевдоклассиковъ XVIII вѣка или нѣмецкихъ ультра-романтиковъ въ родѣ Бюргера, Уланда и проч. Естественно, что на почвѣ такого самобытничанья не вышло до сихъ поръ ничего истинно самобытнаго, а является одни только археологически скучныя и сухія измышленія, въ родѣ дѣлѣ Часна или Аверкіева, искусственныя поддѣлки подъ народную поэзію А. Толстаго, да изрѣдка попытки изображенія домовыхъ, дѣвскихъ и прочихъ личностей нашей докороченной мифологіи въ томъ поэтическомъ обаяніи, въ какомъ они должны были представляться, по мнѣнію поэтовъ XIX столѣтія, ихъ предкамъ, жившимъ 1,000 лѣтъ тому назадъ. И замѣйте при этомъ, что если вошли въ народъ кое-какія произведенія изъ нашей цивилизованной литературы, то зрѣніе оное не на почвѣ московскихъ тенденцій, а той-же петербургской литературы.

Что-же касается отсутствія преднамѣренной тенденціозности въ петербургской литературѣ и крайняго развитія ея въ московской, то на это имѣются свои особенныя причины, лежащія въ томъ различіи вліяній, какія оказываютъ на поэтическое творчество идеи объективно-естественныя и субъективно-искусственныя. Но прежде, чѣмъ я буду говорить объ этомъ различіи вліяній, необходимо объяснить, что я разумѣю подъ идеями объективно-естественными и субъективно-искусственными.

Объективно-естественныя идеи суть такія, которыя вытекаютъ помимо нашихъ желаній непосредственно изъ фактовъ; онѣ немислимы безъ этихъ фактовъ, равно какъ и факты немислимы безъ нихъ; онѣ лежатъ въ фактахъ, въ известномъ порядкѣ вещей, независимо отъ того, сознаемъ ли ихъ или не сознаемъ, потому что онѣ суть нечто иное, какъ эти факты и дѣлаются идеями уже тогда, когда доходятъ до нашего сознанія. Такова, напримѣръ, идея о томъ, что рабство растлѣваетъ нравственно въ одинаковой степени господина и раба. Мы можемъ не желать, чтобы это было такъ, можемъ не сознавать этого, но, тѣмъ не менѣе, все-таки тамъ, гдѣ въ жизни являются господинъ и рабъ, тамъ непремѣнно будетъ осуществляться эта идея въ видѣ обоюднаго нравственнаго растлѣнія. Изъ наблюденій цѣлаго ряда такихъ растлѣній мы и выносимъ вышеозначенную идею.

Субъективно-искусственныя идеи образуются совершенно другимъ путемъ. Онѣ возникаютъ изъ нашихъ желаній, симпатій или антипатій — личныхъ, словесныхъ или идеальныхъ. Мы выносимъ ихъ такимъ образомъ не изъ фактовъ, а напротивъ того, стараемся навязать ихъ фактамъ, хотя-бы въ фактахъ такихъ идей и не лежало вовсе, а были другія, совершенно противоположныя. Такова, напримѣръ, идея рабовладельческая, желающая доказать, что рабство — полезное учрежденіе въ экономическомъ и нравственномъ отношеніяхъ, или идея аристократическія, видящая все спасеніе общества въ крупномъ земледѣльствѣ, батрачествѣ и вотчинной полнотѣ, таковы идеи всякой національной исключительности, въ родѣ пангерманизма, мечтающаго, что гѣмцы призваны

огерманнзировать все европейскіе народы, или славянофильства, воображающаго, что весь родъ человѣчскій находится въ состояніи гніенія, кромѣ однихъ славянъ, призванныхъ обновить чуть-что не всю вселенную.

Изъ этого различія идей объективно-естественныхъ и субъективно-искусственныхъ вытекаетъ и различіе вліянія ихъ на творчество поэта. Я не знаю, нужно-ли и доказывать, что преднамѣренность въ проведеніи идей объективно-естественныхъ вещь совершенно немислима. Замѣлъ я буду преднамѣренно проводить въ своихъ произведеніяхъ такія идеи, которыми и безъ того уже лежатъ въ фактахъ и сами собою, помимо моего старанія, вытекаютъ изъ нихъ? Совершенно достаточно будетъ для меня ограничиться тѣмъ, что изобразить факты, и они, конечно, скажутъ сами за себя лучше всякихъ моихъ разглагольствованій. Другое совсѣмъ дѣло идеи субъективно-искусственныя; задавшись ими, творчество наоборотъ никакимъ инымъ быть не можетъ, какъ преднамѣреннымъ. Я не могу здѣсь брать прямо факты дѣйствительности и выставлять ихъ, какъ они суть, потому что въ нихъ и рискую вовсе не найти такихъ идей, какія я желаю провести, а можетъ быть совершенно противоположныя. Поэтому я долженъ прежде всего сдѣлать строгій выборъ фактовъ и подтасовать такіе, которые лишь наиболѣе по вкусу. Но и такіе факты могутъ не совсѣмъ прямо подходить къ моей излюбленной идее; тогда я принужденъ буду нѣсколько измѣнить ихъ, произвольно пекашить сообразно моимъ цѣлямъ; если же при этомъ избранные и произвольно измѣненные мною факты все-таки не будутъ вполне выражать мою идею, я долженъ пойти далѣе и самъ уже выдумать такіе факты, которыхъ въ дѣйствительности совсѣмъ нѣтъ и быть не можетъ.

Но тѣмъ и отличалась всегда петербургская литература западнаго движенія, что она прониклась постоянно такими объективно-естественными идеями, которыя, составляя содержаніе передовой европейской мысли, являлись къ намъ не въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, а какъ продуктъ вѣкового опыта жизни. Такія идеи по самому существу своему могли вести творчество поэтовъ не къ преднамѣренности, а только къ обогащенію этики незамѣчанными прежде фактами. Для примѣра возьмите хотя-бы вышеозначенную идею вреда рабства, вполне развившуюся въ передовыхъ кружкахъ нашего общества только въ концѣ сороковыхъ годовъ, и подумайте, какого рода вліяніе на творчество нашихъ поэтовъ могла оказать эта идея? Никакого иного, какъ лишь передъ поэтами вдругъ открылся цѣлый рядъ фактовъ жизни, на которые они прежде не обращали вниманія. Прежде полѣщущая власть представлялась передъ ними съ одной только стороны своей патріархальности, какъ она рисуется, напримѣръ, въ „Семейной хроникѣ“ Аксакова. Если сатира и нападала на злоупотребленія помѣщичьей власти, то, именно, только на злоупотребленія, причемъ предполагалось, что тамъ, гдѣ помѣщичья власть существовала въ своемъ идеальномъ видѣ, чуждая злоупотребленій, крѣпостное право не производило никакого нравственнаго вреда ни на помѣщиковъ, ни на крестьянъ. Мы видимъ, что даже у

Гоголя въ его „Мертвыхъ душахъ“ факты растлѣвающего вліянія крѣпостнаго права совершенно игнорируются. Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Плюшкинъ и проч. представляются пошляками чисто по своей доброй волѣ, по недостатку воспитанія, по невѣжеству, но, вѣстѣ съ тѣмъ предпологается, что они могли бы быть и иными при томъ-же положеніи вещей, предпологается на почвѣ того-же крѣпостнаго права возможность такого ограднаго явленія, какъ Костанжолло, а въ своей „Перепискѣ съ друзьями“ Гоголь проповѣдуетъ своимъ друзьямъ, какъ подобаетъ идеальному пошпику держать себя по отношенію къ крестьянамъ. Но вотъ является идея нравственнаго вреда рабства и передъ русскими писателями вдругъ открывается цѣлая Америка. Передъ ними разомъ всплываетъ наружу цѣлая масса фактовъ, повсюду вокругъ нихъ и въ нихъ самихъ, показывающихъ, до какой нравственной дряблости доводитъ и въ какое фальшивое положеніе ставитъ рабство людей, самыхъ образованныхъ, гуманнѣйшихъ и готовыхъ облагодѣтельствовать своихъ крестьянъ. Какая-же тутъ нужна была преднамѣренность, чтобы проводить идею вреда рабства? Вернѣ только всѣ эти открышіеся факты и изображай ихъ вполне объективно, оставаясь въ сферѣ самаго чистѣйшаго искусства? Такъ и сдѣлали петербургскіе писатели. Начиная съ „Записокъ охотника“ появилась цѣлая серія литературы, выставляющей вредное нравственное вліяніе крѣпостнаго права. Можно сказать даже, что вся литература пятидесятихъ годовъ была посвящена этому вопросу. Но преднамѣренно-тенденціознаго все-таки ничего не было въ ней, а было одно художественно-объективное выставленіе фактовъ, обличающихъ нравственный вредъ крѣпостнаго права. Точно также подѣйствовали на болѣе юныхъ писателей новыя экономическія идеи: онѣ не повели за собою никакой преднамѣренности, а только заставили глубже вникать въ нѣкоторые факты жизни, которые въ свою очередь прежде игнорировались. Не далѣе, какъ въ пятидесятые годы, если выводился на сцену рабочий людъ, то съ одной только комической стороны невѣжества, пьянства, грубости, жаргона и проч.; фабричный работникъ изображался не иначе, какъ ухаженникъ, франтоватымъ наречемъ съ гармоникой въ рукахъ, сельскій Довъ-Жуаномъ, готовымъ подъ часъ выйти и съ кистенемъ на большую дорогу; но вотъ появились новыя экономическія идеи и повели за собою изученіе быта рабочаго люда совсѣмъ съ другой стороны: появились очерки Рѣшетникова, Гл. Успенскаго и проч., въ которыхъ преднамѣренной тенденціозности въ свою очередь столь-же мало, какъ и въ повѣстяхъ пятидесятихъ годовъ, изображающихъ нравственный вредъ рабства.

Совершенно въ иномъ положеніи находится московская беллетристика; она задается не объективно-естественными идеями, а субъективно-искусственными; для нея важно не изображеніе правды жизни, какъ она есть, а проведение тенденцій, съ одной стороны узкоконсервативныхъ, съ другой стороны столь-же узконаціональныхъ. Извольте пребывать въ предѣлахъ свободы творчества и чистаго искусства, когда вамъ нужно доказать въ вашемъ произведеніи, что всѣ перекрѣпленные реформы страдаютъ излѣшествомъ де-

мократизма и что движеніе шестидесятихъ годовъ къ чеху не привело, какъ только ко всеобщей нравственной распушенности, особенно въ средѣ молодого поколѣнія. Въ дѣйствительности можетъ быть ничего этого нѣтъ, ни излишняго демократизма реформъ, ни всеобщей распушенности, но для васъ необходимо, чтобы это все было. Что-же остается вамъ, какъ не вытягивать всячески факты, не искажать дѣйствительности, не придумывать такихъ вещей, какихъ въ дѣйствительности со свѣчкой не отыщешь. Путь-то цѣлая рѣда подобныхъ искаженій дѣйствительности ради подогнанія ея къ извѣстной узкой тенденціи и образовалась, наконецъ, тѣ неизлѣпныя фабулы, тѣ стереотипные образы, въ которыхъ замерла и окостенѣла московская беллетристика.

Точно къ такой-же преднамѣренности ведутъ беллетристику, съ своей стороны, и славянофильскія идеи. Онѣ заранѣе предписываютъ поэту, что ему писать въ дѣйствительности и какъ ее изображать. Такъ французъ, сообразно имъ, долженъ быть выставленъ непременно вѣтреннымъ и тщеславнымъ хвастуномъ, нѣмецъ — сухимъ педантомъ, англичанинъ — своекорыстнымъ любостыкателемъ, русскій-же, мало-мальски не зараженный тлетворною заразою Запада — долженъ быть преисполненъ терпѣніемъ, смиренномудріемъ и любовью. О свободѣ творчества, о непосредственномъ изображеніи жизни во всей ея правдѣ, конечно, при этомъ не можетъ быть и рѣчи. Поэтъ приступаетъ здѣсь къ дѣйствительности не для того, чтобы изучать ее; онъ заранѣе уже знаетъ, какою ему надо ее представить: факты жизни выходятъ у него прямо изъ предвзятыхъ идей. Что-же мудренаго, если они являются отвѣченно-туманными, если, наконецъ, и совсѣмъ не является никакихъ образовъ, а мѣсто ихъ занимаетъ рядъ голыхъ, отвлеченныхъ разсужденій?

### III.

Романы гр. Салиаса и Чаева, заглавія которыхъ выставлены въ началѣ статьи, представляютъ крайнюю ступень того обезличенія, до котораго дошла въ послѣднее время московская беллетристика. Въ самомъ дѣлѣ, до сихъ поръ московскіе беллетристы, будучи однообразны въ тенденціяхъ и общихъ фабулахъ своихъ произведеній, все-таки хоть до нѣкоторой степени разнообразили ихъ тѣмъ, что каждый по своему варьировалъ эти фабулы, самостоятельно развивалъ ихъ въ тѣ или другіе сюжеты, бралъ на себя трудъ измышлять своихъ собственныхъ мужскихъ и женскихъ героевъ. Такъ что, какъ ни сличались личности московскихъ беллетристовъ въ общей фizioноміи московской тенденціозности, все-таки до нѣкоторой степени можно было отличить Писемскаго отъ Достоевскаго, Достоевскаго отъ Стебницкаго, Стебницкаго отъ Марксевича и проч. Салиасъ и Чаевъ ступили вполне отрѣшиться отъ своихъ собственныхъ фizioномій: ихъ самихъ вы тщетно будете искать въ романахъ, вы найдете въ нихъ вездѣсущее присутствіе одной только личности — гр. Л. Толстого, у котораго романисты взяли цѣликомъ все, что только можно было взять — характеры, сцены, мотивы, философію, словомъ, ободрали бѣднаго автора „Войны

и мира\*, что называется, до питочки, представивши, такимъ образомъ, образцы такого рабскаго подражанія, какого давно уже не слыхано было въ нашей литературѣ. Силіась и Чаевъ написали свой романъ какъ будто для того, чтобы показать, что для такой узко-тенденціозной беллетристики, какъ московская, въ живомъ творчествѣ нѣтъ никакой нужды: въ самомъ дѣлѣ, на что оно? Существуютъ готовые, предвѣтныя тенденціи, существуютъ неизмѣнныя фабулы, соотвѣствующія этимъ тенденціямъ, — однимъ словомъ, канва дана, нужно-ли при этомъ зомать голову надъ придумываньемъ своихъ собственныхъ узоровъ: можно и ихъ брать готовыми изъ другихъ романовъ.

Защщательную роль играетъ романъ гр. А. Толстого „Война и миръ“ въ этомъ новомъ шагѣ обѣднѣнія творчества московской беллетристики. Видно до сдурнѣнія прѣлѣсь московскимъ беллетристамъ всѣ ихъ стереотипные образы непрекословно-твердыхъ оружіей, косматыхъ отрицателей и хвастливыхъ шапавъ Баскерджинскихъ, и романъ гр. А. Толстого въ своимъ художественнымъ, свѣжкимъ образами былъ для нихъ тѣмъ же, что для людей, нѣсколько дней ничего не ѣвшихъ, приглашеніе къ роскошному обѣду. Не въ силахъ сами ничего создать, съ азартомъ набросились они, очертя голову, на сытные, вкусныя яства, и некогда имъ было даже разжевывать ихъ, какъ слѣдуетъ, а такъ цѣлкомъ и глотаютъ, отправляя мясо и овощи громадными кусками въ свои опустѣлыя желудки. Но истощенные, большыя желудки плохо перевариваютъ эти куски, и то, что у гр. Толстого вышло и художественно, и реально, и умно, то у нихъ обезображивается, приносясь къ ихъ узкимъ, предвѣтнымъ тенденціямъ.

Романъ гр. Толстого стоитъ какъ-бы на распутьи двухъ дорогъ: его можно причислить разомъ и къ московской, и къ петербургской литературѣ. Съ одной стороны, въ немъ довольно явно проглядываютъ московскія тенденціи. Не говоря уже о мистической теоріи рокового движенія народовъ съ запада на востокъ и шиломъ обратно съ востока на западъ, теоріи, развитіе которой занимается, по крайней мѣрѣ, четверть романа, вы найдете и во многихъ художественныхъ образахъ романа вѣяніе московскаго духа, — такъ, напримѣръ, въ идеализаціи Кутузова, и, напротивъ, въ бросаніи нѣкоторой тѣни на Сперанскаго, въ пресловутомъ перерожденіи Пьера посредствомъ обожженія съ народомъ и въ особенности съ Каратаевымъ, олицетворяющимъ въ себѣ русско-народный идеалъ терпѣнія, смиреннотрудія, любви и проч. Но нѣбѣ со всѣмъ этимъ, въ романѣ гр. Толстого вы найдете и чисто петербургскую струйку. Не забудьте, что гр. Толстой только въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ началъ склоняться на почву московскихъ тенденцій. Вольшею-же частью своихъ предыдущихъ произведеній онъ примыкаетъ всецѣло къ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и въ произведеніяхъ этихъ заключается еще болѣе рѣзкій и безпощадный анализъ среды, разстѣпной крѣпостнымъ правомъ, чѣмъ у прочихъ писателей одной съ нимъ школы. Угрудно предположить, чтобы гр. Толстой такъ сразу и освободился бы отъ той привычки къ глубокому анализу реальныхъ фактовъ жизни, въ которой та-

лантъ его воспитался и развился. Нелудрено, что и „Въ войнѣ и мирѣ“ эта привычка сильно заявляетъ себя. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что реалистъ-анализикъ постоянно борется въ романѣ съ мистикомъ и часто побѣждаетъ. Въ каждомъ фактѣ романа раскрываются передъ вами какъ-бы двѣ истины: одна — объективно-естественная, лежащая въ самомъ фактѣ, независимо отъ воли художника, другая — субъективно-искусственная, навязываемая художникомъ-мистикомъ. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя-бы такой рѣзкій фактъ, какъ перерожденіе Пьера. Фактъ этотъ изображенъ у гр. Толстого такъ, что, откинувъ всѣ мистическія умышленія, вы можете объяснить его путемъ вполне реальнымъ, и это именно потому, что гр. Толстой не выдумалъ этого факта, не искавилъ ради него дѣйствительности, а изобразилъ его вполне безпристрастно, оставивши въ немъ ту объективно-естественную идею, какая въ немъ заключается. И потому, вставши на вполне реальную почву, вы должны согласиться съ гр. Толстымъ, что, да, Пьеръ долженъ былъ переродиться послѣ того, что въ немъ произошло, не потому, конечно, что онъ пришелъ въ соприкосновеніе съ исконными русскими идеалами, но потому, что Пьеръ баричъ, Пьеръ, жившій до сихъ поръ отвлеченными идеалами безъ всякаго пригнѣнія ихъ къ жизни, вдругъ вошелъ въ среду труда, дѣла, въ среду дѣйствительно совершенно особенныхъ идеаловъ, присущихъ всему человечеству труждающемуся, человечеству обремененному, и незнакомыхъ только человечеству ширующему, къ какому бы оно, въ свою очередь, племени ни принадлежало. Войдя въ эту новую среду, проживи вѣстѣ съ нею ея жизнь, понятно, что онъ освѣжился духомъ, избавился отъ цѣлаго ряда мучившихъ его бесполезныхъ рефлексій и сомнѣній, почувствовалъ въ себѣ живое участіе къ людямъ, готовность откликаться на всякую радость и горе ближняго, наконецъ, додумался до признанія возможности для каждаго человека думать, чувствовать и слотрѣть на вещи по своему. Точно также на вполне реальной почвѣ стоитъ гр. Толстой, описывая, напримѣръ, хотя-бы патристическіе восторги Колю Ростова въ Тильзитѣ и тотъ исходъ, который Ростовъ далъ своимъ внезапно налетѣвшимъ сомнѣніямъ послѣ тильзитскаго мира. гр. Толстой не поспѣшилъ чувства Ростова и боязнь сомнѣній съ его стороны обобщить, какъ нѣчто присущее каждому русскому сердцу, которое по особенному таинственному опредѣленію судьбы будто-бы должно непрежвно приходить въ восторгъ передъ нѣкоторыми предметами и гнать отъ себя прочь всякія сомнѣнія. Какъ истинный художникъ-реалистъ, гр. Толстой вселилъ эти чувства исключительно въ Колю Ростова, и въ немъ они весьма понятны и естественны, какъ въ гусарѣ, живущемъ однимъ сердцемъ, въ области навныхъ дѣтскихъ вѣрованій и упованій, и для котораго малѣйшее напряженіе мыслительныхъ способностей тяжело и невпомято.

По этой безпристрастной объективности, этого глубокаго анализа, которые составляютъ главное достоинство романа гр. Толстого, у подражателей его вы не найдете. Они или безъ толку нагромождаютъ

свои произведенія образами, взятыми изъ его романовъ, представляя эти образы въ одной ихъ внѣшности и лишая ихъ того глубокаго смысла, въ какомъ выступаютъ они въ романѣ, или-же искажаютъ ихъ, приравливая къ узкимъ тенденціямъ, которыми задаются. Первымъ занимается преимущественно гр. Салиасъ, вторымъ — Чаевъ.

## IV.

Представьте вы себѣ художника, чуждаго какимъ либо предвзятыхъ тенденцій, приступающаго къ изученію той или другой исторической эпохи съ цѣлю написать историческій романъ изъ этой эпохи. Казалось-бы, что если у художника есть хоть крупица свободнаго творчества и если въ своемъ изученіи онъ будетъ стоять на вполне объективно-реальной почвѣ, то изъ результатъ изученія у него долженъ будетъ явиться рядъ образовъ, вполне своеобразныхъ, принадлежащихъ этой эпохѣ, а не какой-либо другой, выражающихъ ея нравы, духъ, преобладающіе типы. Представьте же вы себѣ XVIII вѣкъ, столь богатый самыми яркими красками, столь рѣзко отличающійся и нравами, и характерами, и событіями, возьмите къ тому же такой важный моментъ этого вѣка, какъ пугачевскій бунтъ, — казалось-бы, здѣсь-ли не разгуляться творчеству мало-мальски сильному и свободному? Здѣсь, что ни человекъ, то тишь, и тишь совершенно особенный, своеобразный, который вы только и можете найти, что въ XVIII вѣкѣ, въ царствованіе Екатерины. А сколько разнообразныхъ до безконечности драматическихъ сюжетовъ можете вы придумать на этой почвѣ, богатой всевозможными столкновеніями страстей, высочаго самоотверженія и безчеловѣчнаго своекорыстія, утонченной гуманности, основанной на изученіи передовыхъ мыслителей вѣка и дикаго звѣрства Киргизъ-Кайсацкихъ стеной. Я полагаю, что при разнообразіи и рѣзкости красокъ этой эпохи, не нужно даже особенно сильнаго таланта для того, чтобы написать произведеніе вполне оригинальное, въ которомъ ни одной черты не было-бы отбуда-либо заимствованной, каждая принадлежала-бы изображаемому вѣку.

И что же мы видимъ въ романѣ гр. Салиаса? До какой степени творчество автора сковано московскими тенденціями, когда даже изъ этой богатой эпохи онъ ничего не могъ вынести, кромѣ все той же неизлѣбной фабулы романовъ Русскаго Вѣстника, скелетъ которой былъ выше представленъ явномъ!

Такъ на первомъ же планѣ рисуется передъ нами все тотъ же пресловутый герой Русскаго Вѣстника, гордый, непреклонно-твердый, храбро отважный охранитель князь Данило Родивончъ Хвалынскій, генеалогическому древу котораго гр. Салиасъ посвящаетъ три страницы (ст. 62, 63, 64), причѣмъ мы подробно узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ татарина Хаванъ-Атръ-Мира, плѣннаго Іоанномъ Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москву и положившаго начало славному роду князей Хвалынскихъ.

Послѣ участія въ турецкомъ походѣ, князь Данило, на пути въ отцовскую усадьбу Азарь, заѣзжаетъ

къ одному отцовскому знакомому богатому помещику, оцальному московскому боярину Артемію Никитичу Соколь-Уздальскому, съ генеалогическимъ древомъ котораго гр. Салиасъ въ свою очередь знакомитъ насъ еще съ большими подробностями (см. стр. 25—30).

Артемій Никитичъ оказывается играющимъ роль своего рода пижмиста XVIII вѣка. Онъ участвуетъ въ различныхъ тайныхъ обществахъ, распространяетъ прокламаціи и съѣтъ скуту, подготавливаетъ типичны образы пугачевскій бунтъ. Князь Данило, какъ только прѣзжаетъ къ нему, такъ сейчасъ-же и начинаетъ свое донкихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сцѣпляясь съ этимъ коварнымъ кралюльникомъ своего времени.

— Машонъ! Машонъ! говоритъ Артемію Никитичъ: — а что такое машонъ? Стали шваряться вошло, словомъ, а что оно означаетъ? Никому не вѣдомо. Въ Бога не вѣрши: машонъ! Екатерину Великую не почитаешь: машонъ! Науками заштыль въ гости мало вѣдши: опять машонъ! А то и воръ—машонъ!

— Я свое поощенье имѣю машону, выговорилъ князь холодно:—недовольный, завидующій дѣломъ дѣлаемъ государства и не пональ, обойдентъ наградами, забился въ темный уголъ, чтобы оттуда предить вѣчески правленію государыни.

— Это все я? захохоталъ старикъ, остановивъ передъ княземъ.

— Пшту, не ты. Ты отъ праздности, или галъ, прости за откровенное слово, съ жиру!

— Съ жиру! И! Ладно! Инъ бытъ по твоему. Пусть будетъ съ жиру. А неурядица, неустройство всего отечества, разбой, смертоубійство, раскольничьи безобразія въ дѣлахъ? Самозванство на Приволжьи, атаманство, душегубство! А войны безконечны: то на турокъ дѣломъ зря, то не въ свое дѣло втѣсаешься. Слышь, полка дѣлать. Да съ ибѣтъ? Съ ибѣдми! Вѣдь это все одно, что родного брата жду продавать. Вы воеете, кресты да потчины съ тѣсчачи душъ себѣ загребаете, а православный народъ рекрутчаной, да алтынами отболривайте! А тягости подушныя, поземельныя, да еще тамъ пелки. А полонита приказная, судьи да палачи, да плети да Сибирь на правого и виноватаго?

— Полно, прежде-то болѣе правды въ судахъ было, какъ хвощекъ-то ходилъ и кричалъ на улицахъ, да курляндцы русскіхъ судили! молвилъ князь.

— Я про тѣ времена не говорю, я про свои сказываю и равняю съ инѣшними. Ты въ разномъ Гирсахъ или Букарентахъ посалъ... Вотъ теперь намотришься на наши Букаренты, князь у насъ своя турка приказная нашу-же кровь пьетъ. Увидишь невѣданное серебробѣство да мадонство. Ты вѣдаешь-ли, какую народъ поговорку сказываютъ про Госиода Бога? Сказываетъ: почто Бога болтаться, онъ не приказный; знать одолѣлъ! Тебѣ хорошо? А ты воззри на государство. Чума! Чума!

Князь разсмѣялся и бросилъ тосемку на столъ.

— Чему ты радуешься?

— И въ чумѣ виновата государыня?

— Я не про эту чуму сказываю. Я про воерсійскую приказную чуму. А про московскую тоже скажу: охранять край государства правительская забота.

— По твоему будъ теперь императрица Елизавета аль Петръ Федоровичъ, не было-бы и чумы въ Москвѣ, аль была-бы излѣченная?

Князь засмѣялся. Артемію Никитичъ не отвѣчалъ и послѣ минутнаго молчанія выговорилъ насмѣшливо:

— Объявила она тоже пѣмцамъ изъ Риги, что в-де, моль...

— Кто она? отчетливо и холодно произнесъ князь.



— Екатерина Алексѣевна: одна у насъ царица. Царьковъ-то много развелось! охидно процѣдилъ сквозь зубы Артемій Никитичъ. — Сербская принцесса Хланда Угаровна! прибавилъ онъ и захохоталъ.

Князь Данило вспыхнулъ, всталъ и вдругъ выговорилъ громко и поведительно:

— Была Ангальтъ-Цербская принцесса, а шибъ великая монархиня всей Россіи, императрица Екатерина Великая, которой я, князь Хвалдинскій, присягалъ въ долгѣ службы и въ вѣрности противу всякаго супостата иноземнаго и отечественнаго, а потому не подобаетъ мнѣ слушать болѣ твои крамольныя рчи...

Наступило молчанье.

Эта сцена, и особенно заключеніе ея, вполне опредѣляетъ роль, которую предоставлено играть герою въ романѣ, и онъ остается вѣренъ этой роли до конца.

Такъ, простившись съ Уздальскимъ, на пути въ Агааръ, онъ случайно сталкивается съ клеветникомъ Уздальскаго, дворяниномъ Долгополовымъ, везшимъ на Волгу пачки прокламацій, арестуетъ его, захватываетъ прокламаціи, узнавши по тесемочкамъ, которыми онъ были перевязаны, кто былъ ихъ виновникъ, и восклицаетъ:

— Ну, старый тетеревъ, добро-же! Самъ сатана тебя мнѣ въ руки шихаетъ.

А сдѣланныи колѣнейское дознаніе, князь приходитъ еще въ большую ярость.

— Саморучно убилъ-бы стараго пса, не взирая на его хлѣбъ-соль, подумалъ князь и сжалъ кулаки.

Затѣмъ князь, проѣздомъ черезъ Казань, попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и такъ чувтъ что же вдругъ, о ужасъ! маэурку!

— Гдѣ я? несколько выговорилъ онъ громко.

Повисеніе въ дверяхъ статной фигуры нежданнаго гостя и новаго, еще невиданнаго гвардейскаго муштра очевидно произвели точно такое же сильное впечатлѣніе.

Музыка гудѣла, но притоптыванье стихло; нѣсколько паръ обшлось въ кучку, и все обернулось въ вошедшему.

Князь уже подбѣжалъ къ брату.

— Скажи, Валя, гдѣ мы съ тобой, и что эта причина въ извѣстѣ?

— Что? Какъ? А то новый плясъ, второй разъ ухъ его, сжигаютъ, въ Казани пляшутъ. Я еще его самъ не видывалъ и не знаю.

— А эти есмьные: конфедераты, французскіе офицеры, турки, весь этотъ страшный егонъ есмьныхъ? Что здѣсь огрѣтъ или губернаторскій домъ? Токучка или балъ?

— Тиме, братецъ, услышать.

— Пусть слышать. Когда я говорю дѣло, то говорю громко. Срамота!

— Да чего вы осерчали? Я въ толкъ не возьму. Это все плѣнные. Вы же сами воевали и забрали. Полагать надо, вы тутъ знакомыхъ пострѣбаете, развѣблелъ князь Ивана. То-то не чалось пострѣбать на балѣ, послѣ воевательства.

— Тогда здѣсь не мѣсто офицеру гвардіи.

Къ доверенію ужаса офицеръ гвардіи встрѣтилъ въ лицѣ Яна Вжегинскаго того самаго поляка, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо. Князь, конечно не замедлилъ поссориться съ своимъ прежнимъ врагомъ, воспользовавшись тѣмъ предложеньемъ, что Янъ Вжегинскій, приглашая даму на танецъ, печально поставилъ локоть недалеко отъ лица князя. Ихъ сей-

часъ же розняли, но отважный боецъ съ врагами отечества и непреклонно твердый охранитель не замедлилъ разразиться слѣдующею угрозою:

— Добро, вымолилъ Данило, смѣясь сухо и отходя:—заутра я соберу моихъ лихачей и его какъ жидъ выпорю нагайками на дому.

Какъ видите, не обходится романъ и безъ пресловутой коварной польской интриги. Оказывается въ концѣ концовъ, что и пугачевскій бунтъ поднятъ былъ все тою же коварною польскою интригою. По крайней мѣрѣ, изъ романа явствуетъ, что вотъ онъ какъ начался:

Все у того же ятежнаго Артемія Никитича былъ влукъ Вячеславъ, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людовики. Когда отецъ и мать у Вячеслава умерли и онъ остался на попеченіи дяди, однажды, послѣ долгой бесѣды съ Артеміемъ Никитичемъ, онъ исчезъ: Артемій Никитичъ сначала сказалъ, что юноша ухажалъ въ Польшу погостить къ теткѣ, родной сестрѣ своей матери, а черезъ полгода объявилъ, что Вячеславъ не хочетъ возвращаться въ Россію и проситъ все свое имущество продать, а деньги переслать къ нему въ Краковъ. Съ той поры никто ничего не слыхалъ о Вячеславѣ. Что было съ нимъ въ Польшѣ, авторъ объ этомъ не распространяется, но довольно того, что возвращается онъ отсюда съ нахреніемъ сдѣлаться самозванцемъ, и дѣлается имъ, возмущая Якеайскую станицу. Надо полагать, что въ Краковѣ на Вячеслава, во все время пребыванія его тамъ, неустанно влила польская интрига и подготовила его къ смѣлому замыслу, при чемъ, конечно, не мало дѣйствовала тутъ въ сообществѣ съ иезуитами и любовь какой нибудь обольстительной панни съ честолюбіемъ Маринны Мнишекъ, какъ это можно судить по слѣдующимъ мечтаньямъ Вячеслава, нужно по правдѣ сказать, дѣликомъ взятымъ изъ „Бориса Годунова“ Пушкина.

«Изъ-за чего? думалъ молодой малый. — Жить-бы тихо и мирно, въ уюткѣ своемъ, не затѣвая пошибельныхъ подвиговъ. Пожелала она много... громче да славите, и сгубить. А если... Если суждено и мнѣ...»

И чудная картина возставала на глазахъ его. Кремль златоглавыи... звонъ колокольный... Толпы неестественныя и оглушительныя клики... Стоять онъ на краю стѣны зубчатой, и у ногъ его кишитъ этотъ людъ... Она около него, ея рука въ его рукѣ...

Такимъ образомъ и оказывается, что начало пугачевского бунта положила все таже польская интрига. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а этотъ самый Вячеславъ, креатура польской интриги въ союзѣ съ крамольническимъ русскимъ бояриномъ Соколы-Уздальскимъ. Пугачевъ же сдѣлался самозванцемъ уже впоследствии, когда казаки, недовольныи будучи гуманной мягкостью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшились отдѣлаться отъ него; этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чики, ночью въ степи онъ убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ самого себя Петромъ III.

Положивши начало пугачевского бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ Янъ Вжегинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлазса его главнымъ подручникомъ,

устроилъ ему артиллерію на саняхъ, а братъ его Казиміръ, хитрый, сосредоточенный іезуитъ, держалъ въ рукахъ нити настоящей польской интриги, велъ огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и съ польскими іезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Бабикова, когда тотъ началъ одолевать матежниковъ.

При описаніи этой польской интриги бросается въ глаза еще одинъ рутинный приемъ, весьма часто встрѣчающійся въ романахъ „Русскаго Вѣстника“: писатели этихъ романовъ, имѣя, конечно, въ виду свои московскія тенденціи, любятъ изображать недоумѣніе народа, не понимающаго изъ чего польскіе или русскіе революціонеры, будучи баричами, стараются мутить его или становятся во время бунта въ его ряды, или такимъ образомъ противъ своихъ-же. Такъ въ романѣ Салиаса Пугачевъ представленъ непонимающимъ, изъ-за чего Янъ Вжегинскій явился вдругъ такимъ усерднымъ его сподвижникомъ.

— Постой на часъ! остановилъ его Пугачевъ.— Чуденъ ты. Съ какого ты роина ко мнѣ пишешь отъ нихъ?.. Денегъ тебѣ не надо... Вина не пьешь... Не изъ холоповъ, изъ добродѣелей... А? Ахъ опять не отвѣтишь?

Вжегинскій молчалъ и смотрѣлъ въ уголъ на обшниковечные кресла бывшихъ знаменитъ, недвижно повиснувшихъ въ воздухѣ.

— Они-то всё... мой-то... Что казаки, что татары все одно вѣдь... Изъ-за дубины за пашку схватился. Будь ихъ жизнь хорошая—ихъ-бы ко мнѣ въ становище калачемъ не заманилъ никакой шайтанъ... Да и я то... Я то... развѣ... Э-эхъ!!..

Пугачевъ махнулъ рукой и замолчалъ на мгновленіе.

— Кабы мнѣ ходъ былъ въ люди, горячо молвилъ онъ.—Я былъ въ прусской-то войнѣ не изъ послѣднихъ... Изъ кожи лѣтъ. Ну вотъ. Въ заулы началъ само не пустило—въ парю вышелъ... Почешутъ нѣтъ затылки-то... Да не обо мнѣ рѣчь. Ты скажи, съ чего дѣлешь. А?

— Тебѣ этого Емельянь Иванычъ не смекнуть. Брось! Прости, сказалъ Вжегинскій.

— Нѣтъ, постой. Я, братъ, многого чего не вѣдаю по моему малограмотности и простому состоянию, но воли мнѣ пояснить, я все пойму... мнѣ вотъ одинъ про звѣзды въ Польшѣ толковать. Я все понимаю... Ты полоненный... Такъ! смекая, назадъ хочешь, что-ль... Помочь тебѣ бѣжать до Вятки я смогу, чрезъ привѣскихъ старцевъ, дѣлхоневъ у меня дойдешь до Варшавы.

— Нѣтъ! Спасебо!

— Стой! Ты не мыслишь-ли, что я внако пригожусь, что я впрямь въ царяхъ буду въ Москвѣ сидѣть на престолѣ... Ни-и! Изъ грязи да въ князи! не можно братъ! Денъ мой—ну и вѣкъ мой! Я токъ погулюю гораздо по Россіи. Пусть гадаютъ обо мнѣ! ну чтожъ молчишь, не отгосысья. Ну Богъ съ тобой, спасибо за послугу. Ступай. А нужда будетъ, приди и сказывай. Все сдѣлаю, что могу».

Подобная сцена наглядно показываетъ вамъ, до какого отсутствія всякаго соображенія можетъ довести человѣка тенденціозная рутинна. Пожалуй, можно допустить безъ труда недоумѣніе заходустнаго мужика, къ которому является вдругъ баринъ во фракѣ и начинаетъ проповѣдывать революцію, но вы представьте себѣ Пугачева, участвовавшаго въ прусской кампаніи, бывшаго въ Польшѣ, гдѣ ему даже звѣзды показывали, представьте себѣ Пугачева, сознательно стиглавшаго въ свой станъ всѣ недовольные эле-

менты, и онъ вдругъ наивно не понимаетъ, для чего Янъ Вжегинскій пришелъ къ нему! Сметливый, хитрый и постоянно держащій ухо остро, Пугачевъ сталъ-бы вдругъ, ни съ того, ни съ сего изливая свою душу передъ первымъ проходившемъ! Если бы него находили минуты унынія и невѣрія въ успѣхъ своего дѣла, то скорѣе всего передъ своимъ-же братомъ казаккомъ онъ могъ излить свое горе, а ужъ никакъ не передъ человѣкомъ, на котораго онъ смотрѣлъ, какъ на чужого, и зналъ, повѣрять, очень хорошо зналъ, зачѣмъ этотъ чужой человѣкъ пришелъ къ нему, и безъ сомнѣнія понималъ, что не разочаровывать нужно этого полезнаго помощника, а напротивъ всячески привлекать надеждами на успѣхъ и обольстительными обѣщаніями впереди относительно его отчизны, держать съ нимъ, однимъ словомъ, политику, въ противномъ-же случаѣ, Пугачевъ, надо того, что терялъ лучшаго изъ своихъ полководцевъ, не кромѣ того наживалъ опаснаго врага, который, уйдя изъ своего стана, могъ разгласить повсюду, что Пугачевъ вовсе не страшенъ, что это болѣе ничто, какъ заматавшийся воръ, и дѣла его такъ плохи, что и самъ онъ не надеется на успѣхъ.

Встрѣтите вы въ романѣ Салиаса и еще одну особенность, общую у него со всѣми московскими беллетристами:—именно страсть вводить сверхъестественный элементъ въ описываемыя событія. Я не берусь рѣшать, какъ развилась эта особенность въ московской беллетристикѣ, явилась-ли она въ оппозиціи разнымъ измамъ, или-же беллетристы искренно вѣрятъ во всякую чертовщину, и эта вѣра сохраняется въ Москвѣ, по старой традиціи со временъ Домостроя и Котошихина, можетъ быть даже, вѣра эта на ряду съ генеалогіями героевъ составляетъ особенный великосвѣтскій шикъ, за которымъ такъ гонится нѣкоторые изъ беллетристовъ „Русскаго Вѣстника“, но только ни одинъ изъ романовъ этихъ беллетристовъ не обходится безъ привидѣній, предсказаній, вѣщихъ словъ и проч. Не обошелся безъ чертовщины и гр. Салиасъ въ своемъ романѣ. Правда, настоящихъ привидѣній, которыя явились-бы съ того свѣта, въ у него не найдете, развѣ только сумасшедшій шутъ Михалка, незаконнорожденный братъ князя Родивна Зосимовича, азгарскаго барина, пугаетъ князя, перерядившись въ красный мундиръ умершаго князя Зосими, но предсказанія и вѣщія сны вы встрѣтите въ романѣ на каждомъ шагу. Такъ, герой романа, князь Данило, видитъ два раза повторявшійся сонъ, будто онъ лѣзъ черезъ высокую стѣну по грудѣ камней, среди пламени и несъ въ рукахъ дѣвцу съ черной косой, которая поцѣловала его, и зачѣмъ оба они упали въ пропасть. Сонъ этотъ впоследствии буквально сбывается: князь дѣйствительно встрѣтилъ въ лицѣ Милуши ту самую дѣвцу, которую видѣлъ во снѣ, женился на ней, прозрѣвши въ этомъ свою судьбу и воскликнувши: „Да будетъ Ея святая воля! сужена ты мнѣ, Милуша, и я беру тебя безъ тѣнѣя ложнаго“. Впоследствии сонъ окончательно сбывается: во время казанскаго погрома князь дѣйствительно приходится переносить жену среди пламени черезъ стѣну и, поцѣловавшись, упасть съ нею со стѣны на аршинномъ разстояніи отъ земли.

— Упала! Ну, потъ и весь мой сонъ! Слава Богу! восторженно воскликнула Данила. Во снѣ далеко ничего не было! А на яву? Будеть! Будеть! Милушенокъ ты мой... (Милуша была пересодѣта мушкетеромъ въ это мгновеніе).

— Будеть... страстно шепнула Милуша, прижимаясь къ мужу.

Явъ Бжегнискій въ свою очередь оказывается магомъ и хиромантикомъ. Такъ онъ гадаетъ по рукѣ Паранѣ Уздальской и предсказываетъ ей ея будущую судьбу.

— Пу! пу! Когда я выйду замужъ и за кого? спрашиваетъ Парана, уемѣхавъ и боясь на Плана.

— Вы никогда замужъ не выйдете!

— Никогда! Вотъ какъ, и солгалъ... и солгалъ!.. У меня можетъ и женихъ уже есть.

— Такъ явнѣ показываетъ.

— Долго-ли я прожину?

— Очень, очень... очень не долго, пани, емѣясь продолжалъ Бжегнискій.

— Пѣть... Я много хочу. Это дѣть.

— И умрете вы не простою, а страшною смертию. Serieuxement, je vois la me mort terrible, прибавилъ Явъ, обращаясь къ Дювалю, и предсказаніе Ява Бжегнискскаго сбылось буквально: Парана дѣйствительно умерла ужасною смертію: она была пригнана митешниками къ хвосту лошади.

Сама эта Парана является въ романѣ вѣщею дѣвою, разыгрывавшею во время осады Яшка роль Юанны д'Аркъ, прозванная осажденнымъ гарнизономъ ангеломъ и разразившаяся подъ конецъ пророчествахъ, поистинѣ чудеснымъ. Такъ она явилась къ одному изъ начальниковъ гарнизона, Симонову, въ среу на страстной недѣлѣ, и въ экстазѣ проглаголила:

— Радуйтесь и веселитесь! За утро спасенъ! будете до 12-ти Евангелия. Симоновъ поемѣлся надъ этимъ пророчествомъ, но на другой день дѣйствительно въ крѣпость явился цѣлый отрядъ изъ митешнаго войска съ повинной головою, веда трехъ связанныхъ пугачевскихъ комедантовъ и таща съ собою хлѣба, муки и всякой провизіи, а черезъ четыре дня прибыли въ крѣпость войска генерала Мансурова.

Парана показала Симонову на ворота и молвила: — Отворите! Взискалъ Господь... Перекрестившись три раза, она гланула на свѣтлое небо и шепнула: славыи Господь на небесахъ и раточаетъ враш его!..

Сажъ Пугачевъ, когда одинъ изъ его приближенныхъ казаковъ, Шигаевъ, выразилъ свое недоумѣніе по тому поводу, что зачѣмъ онъ идуеть казака Лысова, открыто высказывающаго враждебные замыслы противъ Пугачева, разразился цѣлымъ рядомъ тяготившихъ надъ нимъ предсказаній:

— Я чтой-то и не смекну, сказалъ Шигаевъ. — Что онъ тебѣ, батька еъ маткой, что-ль?

— Скажу я тебѣ... Боязно мнѣ трогать его поганого, а то-бы давно сжиль. Были мы въ Сакмарскѣмъ городѣ на свадьбѣ, какъ Татидевъ еще только одѣлся. Ну была тамъ ворожея, аль колдунья... Изъ Сибири что-ль сказывалась... Тебя не было, ты еще надалека отъ убивства старшинскаго... Ну вотъ она вѣдьма ворожила намъ... Мнѣ, русачку тому, да Лыскѣ — троимъ!.. И говорить: эхъ, тѣснота молодцамъ на обломѣ свѣтѣ!.. Помрутъ русый да рыкій во своей смертію, а кто ихъ угодитъ, двадцать недѣль проходить.

— У-ухъ! отозвалась вдругъ Фанна Омнинина, сильно испугавшись чего.

— Мнѣ тогда не въ домыкъ было... А теперь я это смекаю... А еще то-же сказывала: високо поле-

тишь — далече упадешь и на четыре части развалишься.

— У-ухъ! слова отозвалась Фанна Омнинина. — Во всю ночь теперь не засну!

— А вотъ помню я тоже... какъ былъ я въ Польшѣ на Вяткѣ, задумчиво продолжалъ Пугачевъ. — Иду разъ есленемъ, мнѣ невѣдомымъ, дорогою... Дѣвчонка у колодца двухъ коней поитъ. Ведерка большущая и не справится... И взялъ у ней коней, напоилъ, да и спрашиваю, какъ мнѣ ближе на границу пройти... А она говоритъ... Иди, иди, на парство придешь... Да, такъ и сказала чудно.

Да, поистинѣ чудно, можетъ и мы въ свою очередь сказать гр. Салиасу.

Впрочемъ надо замѣтить, что гр. Салиасъ не вполне и не во всемъ вѣрнѣ тенденціи „Московскихъ Вѣдомостей“; происходить-ли это отъ молодости и неапатетности, или можетъ быть у гр. Салиаса таковой-же складъ ума, что ему трудно твердо удержаться на какой-нибудь тенденціи и остаться ей логически послѣдовательнымъ до конца, но только онъ открываетъ намъ вдругъ такія завысы, какія прочіе его товарищи, беллетристы „Русскаго Вѣстника“, тщателью соблюдаютъ закрытыми. Еще ни въ одномъ московскомъ романѣ герой „Московскихъ Вѣдомостей“, гордый и непреклонно-твердый охранитель, не представлялся въ истинномъ своемъ свѣтѣ, каковъ онъ есть въ дѣйствительности: постоянно онъ парадируетъ въ романахъ героемъ въ истинномъ смыслѣ этого слова, исполненнымъ и храбрости, и честности, и, главное дѣло, ума въ своей борьбѣ съ неблагонамеренными элементами общества; все дѣйствія его клонятся ко благу, все отношенія его къ людямъ преисполнены бываютъ самой безукоризненной нравственности и гуманности, и привлекаютъ къ нему сердца иногда даже заклятыхъ враговъ его. Гр.-же Салиасъ въ дальнѣйшемъ развитіи романа представилъ своего князя Данилу Хвалынскаго въ такомъ явно-неблаговидномъ свѣтѣ, что на страницахъ „Русскаго Вѣстника“ герой этотъ сдѣлался какъ-бы обличеніемъ изнанки всѣхъ подобныхъ ему высокодоблестныхъ охранителей, парадирующихъ на страницахъ этого журнала.

Мы не будемъ много распространяться о его отношеніяхъ къ женѣ Милушѣ, въ которыхъ онъ является безъ всякихъ преувеличеній негоднымъ въ высшей степени. Женвшись, зря, вслѣдствіе вѣщаго сна, онъ скоро охладѣваетъ къ своей женѣ и бросаетъ ее на волю судьбы, увлекшись общественной дѣятельностью. Несчастная женщина среди общаго перелоха, послѣ ужасной смерти отца ея, заживо сожженного въ своей усадьбѣ возмущившимися крестьянами, попадаетъ въ руки своего прежняго жениха Андрея Уздальскаго, который, пользуясь ея неопытностью, опанываетъ ее и безчеститъ. Узнавши объ этомъ, князь Данила схватываетъ обольстителя при содѣйствіи своей дворни, привозитъ его въ свою усадьбу и предаетъ истязаніямъ публично въ присутствіи толпы своихъ холоповъ. Что-же касается до жены, то тщетно, она, любящая его до мозга костей, у ногъ его умоляла о прощеніи и доказывала свою невинность, князь не переставалъ терзать ее упреками, проклятыями, самою площадною бранью, отталкивать ее отъ себя безъ малѣйшей жалости, силою заключить

ее въ монастырь, а потомъ, послѣ минутнаго перемирія и нелюбви прелевой ибжности — въ ея же почти глазахъ нагло измѣнилъ ей на дикую и развратную татарку, — и кончилось все тѣмъ, что Мишуша ушла отъ него неизвестно куда, можетъ быть, на вѣрную и ужасную смерть.

Не вдаваясь въ излишнія подробности всей этой возмутительной драмы, мы лучше обратимъ вниманіе на общественную дѣятельность князя Даниила, гдѣ прославленный герой „Русскаго Вѣстника“ и является въ своемъ настоящемъ видѣ.

Во время разгара мятежа, князь, конечно, преисполняется жаромъ разить враговъ отечества. Но онъ слишкомъ гордъ, чтобы скромно причислиться къ какому нибудь изъ дѣйствовавшихъ полковъ, подѣ чье нибудь начальство, онъ рѣшается дѣйствовать самостоятельно, снаряжаетъ изъ своихъ холоповъ и охотниковъ наемниковъ свой собственный *режиментъ черныхъ гусаръ*, стоившій ему нѣсколько тысячъ рублей помимо содержания. „Люди охотники и наемники, читаемъ мы въ романѣ, набранными быстро изъ того люда, что кишѣлъ теперь всюду по городамъ и по дорогамъ, безъ вида, безъ стана, безъ хлѣба и чаю безъ совѣти, потерянной повенногу и поневоли съ холоду и съ голоду. И многіе молодцы, таявшіе до батюшки явленнаго пара, попали въ черные гусары и охотно, весело (а главное, сытно и тепло) поскскакали съ княземъ-командиромъ усмирять того-же явленнаго батюшку и его слодвижниковъ“.

Вы, можетъ быть, подумаете, что князь Данило со своимъ чернымъ режиментомъ отираивался прямо на пугачевцевъ? Ни чуть не бывало. Онъ просто началъ нападать на мирныя селенія, жечь, грабить и вѣшать, не разбирая ни праваго, ни виноватаго и считая всѣхъ крестьянъ безразлично митсжниками.

«Жечь, билъ и вѣшать, читаемъ мы въ романѣ, все и всѣхъ попадавшихся подъ руку на пространствѣ отъ Бугульмы до Юзеевой и между прочимъ *сбрилъ* три большія татарскія деревни. Благодаря этому, душъ восемьсотъ, оставшихся вдругъ безъ крова и хлѣба, тучей двинулись въ Берду, побросавъ женъ и дѣтей, но унося съ собою звѣрскую ярость и злобу на паршныя порядки и попки. Черный режиментъ въ двѣ недѣли навелъ ужасъ на провинцію, и его боялся, какъ осип-бѣ, то былъ легионъ чертей...»

Въ концѣ концовъ подобной дѣятельности князь Данило чуть не запереть до смерти настоящаго воеводу Царицына, принявши его за пугачевского воеводу.

Немудрено, что Вибиковъ, узнавъ обо всѣхъ этихъ подвигахъ князя, сдѣлать о немъ слѣдующаго рода похвальный отзывъ.

— Герой! Veni, vidi... и перваго, кто подвернулся — на висѣлицу! или изъ пестолета! Самъ — и смѣшикъ, и судья, и палачъ. Три села сжегъ, а куда пошли погорѣльцы — въ Берду!.. Царикъ услужить?..

— Это знаменитый князь Хвалынский? почтительно спросилъ Кунисынь.

— Знаменитый?! Эдакихъ знаменитыхъ и тебѣ, голубчикъ, роту набери, а коля вѣзуть въ одинъ мѣшокъ, то и въ воду ихъ!..

— Человѣкъ, сказывали мнѣ, нелюбезный... для общества.

— Человѣкъ? вдохнулъ Вибиковъ задумчиво. — Великое это слово, голубчикъ мой. И всего-то мудренѣе человѣкомъ быть... Я вотъ какъ стараюсь

свое званіе добывать. А должно и умру, не добывши. А онъ-то... Хвалынский-то? Много ихъ на Русь такихъ. Вотъ они что!.. показали Вибиковъ на ящикъ изъ возка. — Осина подъ орѣхъ.

Неправда-ли, читатель, такъ мѣтко и правдиво въ лицѣ князя Даниила гр. Салиаса облѣчаетъ донъ-кихотство своего-же лагеря. Что-же такое этотъ князь Данило, какъ не представитель многочеленныхъ героевъ московскихъ тенденцій, которые, воображая себя охранителями, съ такимъ-же слѣпымъ азартомъ набрасываются на все и вся, повсюду подозрѣвая интриги и интриги, готовы всю Русь крещеную заподозрить во всевозможныхъ измахахъ, и въ результатѣ ихъ дѣятельности оказывается тоже самое приписываніе своихъ за чужихъ и тѣ-же медвѣжьи услуги лачадамъ, охранителями которыхъ они являются? По какому мнѣнію, личность князя Даниила, — это самая живая черта въ романѣ.

Рядомъ съ такимъ удачнымъ проведеніемъ тенденцій „Москов. Вѣдом.“, вы встрѣчаете въ романѣ, какъ уже выше было говорено, массу замѣтливостей въ „Войны и мира“ гр. Толстого, доходящихъ до удивительной безперехонности. Гр. Салиасъ словно нарочно подрадился переложить сцены „Войны и мира“ на нравы XVIII столѣтія. Для доказательства, какъ близко переводъ, мы можемъ привести нѣсколько примѣровъ, наиболее выдающихся.

Такъ, вы, конечно, помните, какъ Долоховъ побился объ закладъ съ англичаниномъ, что онъ, сяди на поватномъ выступѣ окна и ни за что не держась, выпьетъ залпомъ бутылку рома. Точно также и въ романѣ гр. Салиаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровскимъ, что онъ взѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строившейся колокольни до самаго креста, и гр. Салиасъ позаботился обогатить подробное описаніе этого путешествія такими-же захватывающими духъ ужасами.

Помните вы въ романѣ Толстого описаніе боѣвни и смерти князя Андрея, отличающееся весьма художественными картинами горячечнаго бреда, переходящаго съ мистическими размышленіями. У гр. Салиаса вы тоже найдете подобныя-же описанія горячечнаго бреда, и мистическихъ размышленій, героевъ которыхъ является князь Иванъ Хвалынский, раненный подѣ Оренбурголь.

Въ самомъ дѣлѣ, что представляютъ изъ себя, какъ не вариация на описанія гр. Толстаго, хотя-бы подобныя выдержки:

«Это что-то теперь кружится въ немъ, блѣнть — и стучитъ молоточками. Молоточки эти равны... Вотъ блѣнуть и стучать маленькіе, черные, бархатные молоточки, они добрые, они любятъ его. Но вотъ близится одинъ побольше, шершавый; тихо близится онъ — ползетъ, и вотъ ударилъ изъ всей силы и прошелъ, но боль осталась отъ удара. Какъ парики, опять забыли маленькіе молоточки и заняли другіе и третьи, и сотни, и тысячи... Но вотъ опять онъ тащется, тотъ большой молотокъ, огромный, алой!!»

А вотъ другая вариация на тему возвращенія сознанія:

«И онъ сталъ глядѣть себѣ на блѣдно-желтыя, еще слабыя руки, на протлнутыя ноги въ темныхъ сафьянныхъ сапожкахъ, на грудь и плечи въ бархатномъ мѣховомъ кафтанѣ съ застѣлками.

— Это князь Иванъ Родионовичъ; такъ всё они думаютъ. Отъ чего мнѣ это все мило и я это все люблю больше, чѣмъ даже родныхъ? продолжать они думать, глядя на себя. — Не все-ли равно... А кого я больше люблю, это все или Парану... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Параню! Параню! Пускай это все пропадетъ, лишь-бы она осталась. Да вѣдь тогда меня не будетъ, мнѣ будетъ все равно, гдѣ Парана? Какъ-же это? Михаилъ Ивана смутался.

Подобно Шеру, Иванъ по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ перерожденіе, новыя мысли и взгляды на все, такъ что даже начальнику его Таврову зайти въ немъ разительную перемену.

— Ты, князь, голубчикъ, разумѣе сталъ. Вотъ что... Гляди! Похудѣлъ, а похорошѣлъ; глаза свѣтлѣе, и свѣтлѣе въ нихъ пріямѣна нѣтъ. Все лицо румянее глядитъ, а не то, что до-днее было; бука какая-то добрая, да румяная, да умнѣе съ ширѣй носокъ...»

Разница, впрочемъ, въ этомъ отношеніи заключается въ томъ, что въ романѣ гр. Толстаго Шеръ послѣ всѣхъ своихъ испытаній и болѣзни дѣлается дѣйствительно совершенно инымъ, и перерожденіе его для читателя вполне очевидно; между тѣмъ, въ романѣ гр. Саліаса перерожденіе князя Ивана является одной подражательной фразой: князь по выздоровленіи является все тѣмъ-же Иванушкой, и для насъ остается загадкою, въ чемъ заключается перерожденіе его.

Припомнимъ въ романѣ гр. Толстаго замысль Шера убить Наполеона, созрѣвшій въ немъ подъ влияніемъ масонскаго мистицизма и наинутата обличенія своего имени съ апокалипсическимъ числомъ 666. Въ романѣ гр. Саліаса вы найдете тоже личность, желающую убить Пугачева: — это именно Параня, возникшая, что ей свыше предопредѣлено совершить подвигъ, подобный Юдию. Въ романѣ гр. Толстаго особенно рельефно выдается по своей художественности и глубокому анализу сцена разстрѣливанія въ Москвѣ инимыхъ поджигателей, въ числѣ которыхъ является Шеръ, съ ужасомъ наблюдающій эту сцену и ожидающій своей участи. Въ pendant этой сценѣ и гр. Саліась изобразилъ сцену разстрѣливанія захваченныхъ пугачевцевъ, въ числѣ которыхъ парадруетъ князь Иванъ, принебрѣвъ въ лагерь Бибикова съ пугачевскимъ паспортомъ, и точно также авторъ заставляетъ его смотрѣть на эту сцену, испытывая всѣ ужасы ожиданія смерти; точно также неохотно онъ исполняетъ возложенное на него порученіе.

Подъ конецъ романа гр. Саліась подражаетъ гр. Толстому и въ томъ отношеніи, что точно также старается провести идею, что всѣ историческія событія обуславливаются массовыми движеніями, при чемъ отдѣльныя личности играютъ роль чисто служебную, а не они движутъ массы, а массы ими. Такъ и въ пугачевскомъ бунтѣ, по мнѣнію гр. Саліаса, главную роль игралъ не Пугачевъ, а народное движеніе, выдвинувшее Пугачева, и въ случаѣ если-бы Пугачевъ погибъ или былъ захваченъ въ началѣ возстанія, то бунтъ все-таки шелъ-бы своимъ путемъ, при чемъ роль Пугачева тотчасъ-же была-бы захвачена другимъ и третьимъ лицомъ, особенно если принять во вниманіе, что въ разгарѣ волненія явилось множество Пугачей, каждый съ своей шайкой. Мысль эта, конечно, имѣетъ основаніе, но только разница въ про-

веденіи ея у гр. Толстаго и гр. Саліаса заключается въ томъ, что у перваго историческія личности и массы дѣйствуютъ и совершаютъ событія, вышеозначенную-же идею проводить самъ авторъ, обсуждая эти событія; гр.-же Саліась заставляетъ самихъ дѣйствующихъ лицъ разговаривать по поводу совершаемыхъ ими событій, и у него простой степной казакъ Чумаковъ читаетъ вамъ лекцію по философіи исторіи, причемъ оказывается глубокимъ знатокомъ закона акцій и реакцій, не хуже Стронина, и предсказываетъ новое такое-же народное движеніе черезъ 50 лѣтъ. Но послушаемъ лучше самого философа:

— Я, Емельянъ, тебя тоже почиталъ. Полагалъ я изъ насъ первымъ тебя-же по многоумію и отвагѣ, потому тебя и допустилъ въ Петры; а не будь тебя, я-бы самъ назвался... Но то впрямь, казакъ, былъ-бы нонѣ затануло. Уходилъ ты что-ль? Ахъ набаловался?... По вѣдаю, по толку сказываю тебѣ, и вѣрно сказываю... Не тотъ ты нонѣ, Емельянъ, и не тѣ ужъ тебѣ сами подавай. Не подѣлать тебѣ болѣ никакихъ дѣловъ нонѣ... Да что и дѣлать-то? Ты гульнуть хотѣлъ и мы тоже; и народъ правоставный тоже—кто гульнуть, кто обиду очистить... Ну вотъ мы въ поль-Россіи сподохъ и ушину... А ты все про себя князь... Знаешь, ты, сказывается сказка вотъ: тачили казаки изъ Янка каргу по его пудъ и гадали, съ чего она легко идетъ изъ воды въ руки, а лягуха большущая, сидѣвши на камнѣ, то прослышала, и потомъ своимъ товаркамъ и репортуеть, какъ она молодца каргу изъ воды подавала. Такъ-же и ты, Ивановичъ, все про себя взял. Ну вотъ, сунься нонѣ опять на Казань, да Пензу—полагаешь что-ль, какъ все по старому будетъ... Вотъ черезъ годовъ пятьдесятъ, али и болѣ—ино дѣло! Холопы подневольные опять понатерпятъ отъ господъ — ну помани ихъ... Опять они въ охотѣ будутъ... Полно, братъ, пора, говорю, съ колокольни...

Мы указали только на нѣсколько наиболее выдающихся и бросающихся въ глаза фактовъ заимствованій, между тѣмъ, въ романѣ на каждой страницѣ вы встрѣтите массу мелкихъ и неудовольныхъ заимствованій въ тѣхъ или другихъ чертахъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, въ манерѣ анализировать ихъ мысли и чувства, представлять послѣднія минуты ихъ жизни и проч., и проч.

Тамъ же, гдѣ гр. Саліась избѣгаетъ подобнаго обезьянства гр. Толстому, гдѣ онъ поневолѣ остается самимъ собою, тамъ онъ безцѣтенъ до послѣдней крайности и не имѣетъ никакой собственной физиономіи, тамъ онъ бросается то въ трескучую реторику времени Марлинскаго, то народничаетъ на манеръ Н. Полеваго и М. Погодина, то напоминаетъ Загоскина, какъ по мелодраматической стереотипности описаній разныхъ пугачевскихъ ужасовъ, такъ и по цвѣтистости слога. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя бы первыя страницы романа, въ которыхъ авторъ силится представить аналогію между народною жизнью и океаномъ. Передъ вами словно будто гимназическое сочиненіе добрыхъ старыхъ временъ господства реторики Кошанскаго:

«Сихонъ и грозенъ море-океанъ, но сильнѣе и грознѣе его гульливое, перемирчивое море литейское!»

Бываетъ на морѣ-океанѣ: беспредѣльно и незаблему стелется живое лоно подъ, облитое закатомъ солнца, или объятое вѣздною синевой полудни, или укрытое мглою; горделиво смотрите оно въ да-

деяія небеса, спокойное, величавое, словно полное какою-то великою, тайною думой.

Много загадочной жизни въ одушевленности, кипитъ просторъ морскою. Сверху тьма да глать, позлащенная солнцемъ, а подъ нею скрыто много...

Былаетъ и на морѣ житейскою: стоитъ оно въ чудномъ затишьи, всюду миръ и покой, также величаво отражаетъ оно и свои далекия небеса, неразгаданныя и непроглядныя разумомъ людскимъ... и проч., и проч.

А вотъ вамъ образецъ народничанья на погоднической ладъ:

«Въ ту пору, о которой рѣчь пойдетъ, житейское бытїе на Руси святой было ничего. Слава Богу! Времена только были непонятныя, тяжкія времена; безправіе да неурядица, грѣхъ да бѣда, просто дымъ коромысломъ по всей землѣ православной. Знать, самый онъ, чернѣйшій день пришелъ, да зашлепнулъ на дворъ. За грѣхъ что-ли наказалъ Господь? Трудно стало жить, куда трудно! Почитай, даже совсѣмъ нельзя жить. Дожись да и помирай... А то ничего. Слава Богу!..»

Что касается до описанія мятежнаго лагеря, гдѣ гр. Салиасъ тоже принужденъ былъ стоять на собственной почвѣ, то здѣсь онъ, въ свою очередь, безцѣтенъ и стереотипенъ. Кромя мушкетеровъ Савки да Яшки, ни одного рѣзкаго и определеннаго типа передъ нами: казаки, башкиры, крестьяне, холопы — проходить передъ вашими глазами, какъ тѣни кроваваго страшилища, жаждущихъ душегубства, пьянства и разврата. Саль Пугачевъ является бѣдною и неопредѣленною тѣнью какой-то распушенной мамли, которая вѣчно виситъ подъ свѣтомъ своего дѣла и приближенные казаки тщетно стараются вслѣдствіе этого и подыять въ немъ энергію, и такимъ образомъ является съ самаго начала, между тѣмъ, какъ изъ вышеприведенной нами тирады Чумакова мы можемъ заключить, что такимъ долженъ Пугачевъ являться только впоследствии, когда дѣло начало клониться явно къ проигрышу, что въ немъ долженъ былъ произойти какой-то переломъ, но этого въ романѣ мы и не видимъ.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ отзывахъ относительно романа гр. Салиаса, которые мнѣ приходилось слышать отъ людей, компетентныхъ въ исторіи и специально занимавшихся XVIII столѣтіемъ. Они говорятъ, что гр. Салиасъ очевидно добросовѣстно изучилъ пугачевскій бунтъ и что романъ его представляетъ несомнѣнную фактическую вѣрность исторіи.

Правда, что и относительно фактической вѣрности можно усомниться, такъ какъ проявляющееся во многихъ лицахъ романа стремленіе пригнать историческіе факты къ московскимъ тенденціямъ, очевидно, не говоритъ въ пользу исторической объективности, а введеніе въ исторію русаго самозванца, предшествовавшего Пугачеву, принадлежитъ прямо къ историческому вымыслу, но допустимъ, что въ большинствѣ своихъ характеристикъ гр. Салиасъ остается вѣренъ исторіи. Мы спрашиваемъ, достаточно-ли для художественнаго романа одной фактической вѣрности? Въдъ романъ не есть историческая монографія. У серьезнаго художника, берущагося изобразить какую либо историческую драму, должны быть свои особенныя художественныя цѣли, не ограничивающіяся тѣмъ

только, чтобы историческія личности были одѣты въ костюмы, принадлежащіе своему вѣку, говорили архаическимъ языкомъ, думали и дѣйствовали согласно историческимъ источникамъ и пр. Художникъ долженъ развернуть передъ нами картину исторической борьбы во всей ея драматической коллизи, показать намъ все ея неизбежныя, роковыя причины и ея трагическій исходъ. Такъ художникъ, изобразившій эпизодъ пугачевскій бунтъ, долженъ, по нашему мнѣнію, главное вниманіе читателя остановить на картинахъ той всеобщей неурядицы, которая предшествовала бунту — картинахъ помѣщичьяго зѣвства, кацарской волокиты — и съ другой стороны тѣхъ стеновъ народныхъ, которые тщетно раздавались повсюду и замирали безъ участія и сочувствія... Картины эти должны представить русскую дѣйствительность того времени въ такой ужасоюющей правдѣ, чтобы читатель, незнакомый съ исторіей, но одиный нахъ, могъ судить, что съ обществомъ, дошедшимъ до такого безправія, неминуемо должно произойти какое-нибудь потрясеніе. Между тѣмъ, гр. Салиасъ на подобныхъ картинахъ останавливается негдѣ всего: сухо и безучастно, нелюбопытно на нѣсколькихъ страницахъ рассказываетъ онъ о народныхъ бѣдствіяхъ, описывая судьбу Савки и Яшки и ломаясь при этомъ въ пошломъ народничаньи, между тѣмъ, какъ весь романъ наполненъ у него описаніемъ по роману гр. Толстого любовныхъ чувствованій и горестныхъ приключеній различныхъ высокопоставленныхъ героевъ, да мелодраматическими сценами грабежей и мстительствъ, исполненными трескучихъ эффектовъ въ загоскинскомъ духѣ. Можете послѣ этого находить, что гр. Салиасъ совершенно вѣрно изобразилъ казанское общество того времени (употребивши, замѣчу въ скобкахъ, для своего изображенія половину красокъ, которыми гр. Толстой обрисовываетъ общество, жившее 40 лѣтъ спустя), но я все-таки буду стоять на своемъ, что гр. Салиасъ обнаруживаетъ въ своемъ произведеніи ничего болѣе, какъ диллетанта во всѣхъ отношеніяхъ: диллетанта художника, диллетанта историка, и диллетанта по отношенію къ тѣмъ тенденціямъ, которымъ служить, и романъ его недалеко отошелъ отъ тѣхъ quasi-историческихъ романовъ, какіе писались 40 лѣтъ тому назадъ Загоскинымъ и Лажечниковымъ, Р. Зотовымъ и Булгариннымъ...

## V.

Чаевъ представляетъ изъ себя совершенно иной типъ, возросшій на почвѣ московскихъ тенденцій. Не говори уже о томъ, что онъ отличается отъ гр. Салиаса по самымъ тенденціямъ, такъ какъ придерживается болѣе славянофильства, чѣмъ тенденцій «Московскихъ Вѣдомостей», но кромѣ того, и по своему отношенію къ своимъ тенденціямъ представляетъ не малую разницу.

Такъ въ лицѣ гр. Салиаса мы видели диллетанта, порхающаго по цвѣткамъ русской словесности и съ ловкостью почти военнаго человѣка умѣянаго скрывать въ общій хаосъ тенденцій «Московскихъ Вѣдомостей», историческіе факты и образы, взятые изъ

романа гр. Толстого. Чаевъ представляется намъ типомъ знаменитаго ученика Фауста — Вагнера.

Особенности Вагнеровъ хорошо всѣмъ известны. Водервяхъ, они отличаются глубокимъ до мозга костей и рабскимъ пропикновеніемъ своимъ ученіемъ и являютъ въ большей степени фанатиками, чѣмъ ихъ учителя; въ вторыхъ, они служиваютъ до послѣдней степени ученія, которыми увлекаются, низводя ихъ къ ряду рутинныхъ и пошлыхъ формулъ; и, въ третьихъ, наконецъ, у нихъ есть удивительная склонность увлекаться по преимуществу смѣшными сторонами ученія и доводить эти смѣшныя стороны до послѣдней степени карикатурности. Всѣ эти качества заперства вы найдете у Чаева въ обиліи.

Мы не станемъ много распространяться о художественной сторонѣ романа, представляющей сплошной рядъ рабской подражательности гр. Толстому. Если бы мы захотѣли представить списокъ всѣхъ заимствованій изъ „Войны и мира“, то пришлось бы выписывать весь романъ, потому что каждую бы сцену Чаевъ ни надумалъ изображать передъ нами, книжескій дождь или придворный балъ, военный бивакъ или сраженіе, историческаго героя Суворова или романтическаго героя Катенева — во всемъ этомъ такъ и сидитъ гр. Толстой, присутствію же самого Чаева, какъ художника, въ романѣ положительно не найдете ни на одной страницѣ.

Что же касается до внутренняго содержанія романа, то здѣсь-то Чаевъ и являетъ передъ нами Вагнера въ истинномъ смыслѣ этого слова. Нужно ли и говорить о томъ, что того глубокаго, объективнаго анализа русской жизни со всѣми ея достоинствами и недостатками, анализа, какой вы встрѣчаете у гр. Толстого, здѣсь нѣтъ и тѣни. Не найдете вы и тѣни хотя бы той философской подкладки, которую подкидывалъ подъ свои разсужденія первые славянофилы. Балъ Вагнеръ, Чаевъ исповѣдуетъ славянофильское ученіе не столько умомъ, сколько сердцемъ: онъ пошляетъ его не иначе, какъ въ видѣ слезнаго умиленія передъ всѣмъ русскимъ, представленіи русской жизни въ ореолѣ идеаловъ терпѣнія, смиренномудрія и любви и низводитъ славянофильство до казеннаго казеннаго патриотизма вреніи „Русскаго Вѣстника“ С. Панаки. Чтобы познать читателей съ философій и натѣшествомъ сего доблестнаго росса, мы ограничимся двумя, тремя наиболее характеристичными мѣстами изъ его романа, очеркивающими до тла всѣ незамысловатыя идейки нашего Вагнера-славянофильства.

Вотъ какъ Чаевъ характеризуетъ, наприимѣръ, то движеніе вселять, которое, по его мнѣнію, необходимо для всего русскаго общества и которымъ уже увлекается будто-бы молодое поколѣніе:

„Уже туда, смотрите, въ старину, къ живому, потому что народная мудрость гинетъ новое поколѣніе; чего-то ищете вы около старыхъ, родныхъ развалинъ, допрашиваетъ ихъ... Но въ какое камнѣ вѣкъ, пока не отнесется сердцемъ къ старинѣ, къ нимъ вопрошающій. *Туда, въ прошедшее*, это-то зовутъ русскія рататели мысли; спасаютъ величкія народнаго творчества, точно отнесено искусство во время внезапнаго пожара; вотъ смодельте съ уносившемъ не на потомковъ, а на прадѣдовъ; не отъ грядущаго ждутъ обновленія мысли,

возрожденія, а отъ прошедшаго, отъ смолкшей, прежде думали мы, навсегда тысячелѣтней были. И уже не «впередъ», а «стой, осмотрись; никакъ мы позабыли что-то» — нерѣшительно, но все-таки произносить мыслящие люди; уже хватились многие, а скоро хватятся и всѣ, весь длинный поводъ молодыхъ, богатыхъ силой и надеждами переселенцевъ, что позабыли взять они съ собою прадѣдную казну, забравъ второнахъ, имѣто богатыхъ алмазиковъ, мѣшковъ съ бурмицкимъ жемчужнымъ зерномъ, самоцвѣтовъ-камней старорусской воды, забравъ новодуленную рухлядь, великій хламъ, который только тяготитъ, обременяетъ путниковъ. Да, мы еще въ дорогѣ... Въ дорогѣ еще Русь. Не потому-ли всѣмъ, отъ ямлика до русскаго поэта, — всѣмъ слышится что-то свое родное въ яркомъ звонѣ вѣшуна-колокольца, въ неудержимомъ бѣгѣ разметавшей грини и ремни удалой тройки? Да, русская, родная наша мысль еще въ дорогѣ. Тамъ, впереди, на снѣжной полесѣ-каймѣ необоримой дали, словно видать родныхъ кровли, главы, золотые престы? Брось лишний хламъ; укладывай, не покидай дѣдовскихъ кованыхъ дарюновъ, переселенцы; не вѣрь, будто они пусты и не нужны. Верхомъ грузи этимъ старымъ старьемъ тѣлѣги, и тогда съ Богомъ, въ путь, тогда «впередъ» съ молитвою и богатырскою пѣсню».

Вотъ эти-то и отличаются Вагнеры, что они, какъ начнутъ говорить въ духѣ своего ученія, то говорятъ на чистоту въ самомъ что ни есть крайнемъ духѣ, и уже не ждите отъ нихъ, чтобы они отступили хоть на шагъ отъ своихъ словъ, прилѣняясь къ нашимъ убѣжденіямъ или духу вѣка. Умный адептъ славянофильства, види, наприимѣръ, въ васъ прогрессиста, стремящагося впередъ, начнетъ вамъ представлять различные доводы въ пользу того, что идти впередъ это и значить проникаться народными началами и что, не проникаясь ими, нельзя впередъ сдѣлать и шагу, или, если въ васъ преобладаютъ демократическія стремленія, умный адептъ начнетъ вамъ доказывать, что въ проникновеніи народными началами и лежитъ вся суть демократизма; и только одинъ Вагнеръ способенъ вести дѣло такъ наголо, что не обращая никакого вниманія на ваши стремленія, воскликнуть: „съ Богомъ и молитвою, ура!.. Маршъ!.. Назадъ!..“

Одна эта выдержка характеризуетъ Чаева вполне. Надо, впрочемъ, замѣтить, что восторгаясь непрестанно среди всѣхъ своихъ слезныхъ умиленій, Чаевъ не упускаетъ случая каждый разъ дѣлать надлежашія внушенія насѣдливому либералу. Такъ, описывая встрѣчу героя своего съ императоромъ Павломъ, Чаевъ изображаетъ тѣ патристическія чувства, которыя возгорѣлись въ душѣ героя, и при этомъ въ свою очередь не позабытъ насѣдливый либераль:

«Государь приложилъ руку къ плечу и похлопалъ далѣе; у молодого капитана пробѣжала дрожь по членамъ; зашевелилось, закипѣло какое-то мощное чувство въ груди, — чувство любви, преданности, покорности, знакомое каждому русскому, *воинъ его, какъ зовутъ, либералъ*, но оно выхватывается — это чувство въ русскомъ при видѣ царя; и ошибается тотъ, кто называетъ его рабствомъ, подострастиемъ... Нѣтъ, оно чисто, искренно, безкорыстно и живо до сихъ поръ въ золотой душѣ богатыря народа».

Приходя на послѣдней страницѣ романа въ самый яркій разгаръ пагуба при созерцаніи русскія народнаго начала, Чаевъ и тутъ не забываетъ насѣдливаго либерала:

«Отчего, восклицаетъ онъ: — русскіе кушны, не смотря на безобразная, возмутительныя, подчасъ, отношенія «хозяина» къ фабричному, сидѣльцу, отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, литераторы? Оттого, что кушны съ нимъ вѣстѣ молится, вѣруетъ, а мы скептически относимся къ тому, что дороже всего, дороже жизни нашему народу; живящю онъ жертвовалъ не разъ, но никогда не жертвовалъ своею вѣрою; бѣднякъ, удавленникъ — и тогъ снимаешь съ шеи крестъ, чтобы не обругать своимъ постыднымъ дѣйствіемъ святиню... «Но какъ-же мнѣ увѣровать, когда наука идетъ впередъ», возражаетъ бѣтъ можетъ мнѣ: «когда она убѣдительно разрушаетъ мнѣ моихъ прежнихъ дѣтскихъ вѣрованій?» Да полно, убѣдительно-ли она опровергаетъ то, что и понять-то нѣтъ возможности однимъ умомъ, безъ сердца? Вотъ къ этимъ мѣняющимся вѣстѣмъ съ фазономъ шливъ учениамъ нужно-бы относиться скептически. Не ослѣпляетъ-ли вамъ глаза новизна идейки отрицанія—новой вѣды только для того, кто не читалъ Эклезіаста? Не вѣруете-ли вы, какъ мусульманнѣ въ пророка, въ мудреца, поставившаго въ основаніе своего ученія предположеніе, гипотезу, которую почему-то приняли за аксіому, за неопровержимую истину? Нѣтъ?... Такъ отойдите отъ народа; онъ не пойметъ васъ; вы разстанитесь съ нимъ. Народъ не можетъ не вѣровать; какъ пересталъ онъ вѣровать, такъ пересталъ быть народомъ; утра-

тивъ вѣчную идею, его связующую, имъ внесенную въ міровую братчину мысли, онъ потерялъ право на свое существованіе».

Этотъ выпискою изъ романа Часва, я могу закончить статью, предложивши только Часву передать выписку въ такомъ родѣ:

«Отчего петербургскіе писатели, не смотря на безпощадно отрицательное, скептическое отношеніе къ народу (конечно, въ цѣлой его совокупности), отчего они ближе къ народу, чѣмъ мы, московскіе литераторы? Оттого, что петербургскій литераторъ вѣстѣмъ съ нимъ смѣется надъ тѣмъ, что достойно смѣха, и страдаетъ его страданіями, а мы только и дѣлаемъ, что ушляемся передъ тѣмъ, что народъ давно пережилъ и готовится бросить, какъ старую, переданную ветошь. И еще благо намъ, московскимъ литераторамъ, что народъ не знаетъ насъ, а если-бы онъ насъ узналъ, если-бы въ нашихъ многотомныхъ писаніяхъ прочелъ, какую старину мы ему хотимъ навязать, старину, отъ которой и до сихъ поръ болятъ у него всѣ кости и составы, то... лучше ужъ и не говорить, чтобы тогда было».

## ВИНЕГРЕТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ.

Сочиненія Алексѣя Потѣхина, 6 т. Спб. 1873—4 г.

### I.

Съ личностью Потѣхина, какъ писателя, я былъ знакомъ чуть не съ гимназической скамьи. Случалось перѣдко бесѣдовать съ нимъ то дома, читая его повѣсти и романы, то въ театрѣ, присутствуя на представленіяхъ его драмъ и комедій. Но, видно, правду говорятъ пословица, что вы не узнаете человека, пока не съѣдите съ нимъ пуда соли. Такъ, нѣтъ дѣло постоянно съ однимъ какимъ либо произведеніемъ Потѣхина черезъ длинныя промежутки времени и ограничиваясь поэтому тѣми микроскопическими дозами соли, какія обрѣтаются въ его произведеніяхъ, я постоянно находился въ невѣдѣніи и недоумѣніи, что за писатель Потѣхинъ? Нельзя сказать, думалъ я, чтобы онъ былъ безталанный, однако же, рядомъ съ художественными чертами, сколько вы найдете въ каждомъ произведеніи его сочиненнаго или стереотипнаго. Нельзя сказать, чтобы Потѣхинъ былъ приверженецъ какихъ-либо отжившихъ началъ, запленикъ мрака и изуверства: напротивъ того, мнѣ казалось, что онъ постоянно силится идти впередъ вѣка, каждое произведеніе его проникнуто такимъ, по-видимому, искреннимъ и горячимъ либерализмомъ, любовью къ народу и ненавистью ко всевозможнымъ его притѣснителямъ, и однакожь сквозь этотъ либерализмъ проглядываютъ такіе обыденные взгляды и на жизнь, и на народъ, что часто становитесь въ ту-

пикъ и недоумѣваемъ, какъ подобные взгляды могутъ уживаться съ стремленіемъ идти впередъ вѣка и съ либерализмомъ, и что составляетъ главную суть произведеній Потѣхина, его кровныя убѣжденія—либерализмъ или эти взгляды?

И только теперь, когда я могу сказать, что я съѣлъ пудъ соли съ Потѣхинымъ, прочитавши за разъ весь томъ его произведеній, я наконецъ уяснилъ себѣ, что такое Потѣхинъ и какъ художникъ, и какъ писатель.

Что касается до художественнаго значенія произведеній Потѣхина, то я не назрѣлъ особенно много распространяться объ этомъ. Замѣчу только, что Потѣхинъ, какъ художникъ, принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, не производя ничего сакъ-бытнаго, отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ поэтическіе образы, мотивы, приемы, которые въ данное время господствуютъ въ литературѣ. Нельзя сказать, чтобы это была рабская подражательность передовымъ писателямъ; нѣтъ, это не слѣдное эхо, а поддѣвъ хору, въ которомъ пѣвецъ можетъ вѣкъ представить бездну вариаций вполнѣ оригинальныхъ и не лишениыхъ пріятности, но тѣмъ не менѣе оригинальны будутъ только вариации, тема же не принадлежитъ пѣвцу. Такимъ же пѣвцомъ вариаций является передъ нами въ литературѣ и Потѣхинъ. Такъ въ началѣ 50-хъ годовъ была въ особенной модѣ этнографія—знакомство съ народнымъ бытомъ: явились ро-



братели народныхъ пѣсень и путешественники съ цѣлью изученія обычаевъ, суевѣрій, правовъ, ремесель и занятій народа. Въ главѣ этихъ этнографовъ стоялъ въ то время Даль, очерки котораго наперерывъ печатались во всѣхъ журналахъ. Написалъ нѣсколько этнографическихъ очерковъ и Потѣхинъ, съ нихъ-то именно и начавши свое литературное поприще. Но по всей вѣроятности въ то время Потѣхинъ только что рѣшился покинуть школьную скамью, потому что очерки его исполнены тѣхъ слезливыхъ умилений передъ русскою природою, величавою красотою и чистотою русскихъ городовъ, завиднымъ довольствомъ и богатствомъ русскихъ сель, чистотою и патриархальностью русскихъ правовъ и др. и пр., какія вы встрѣтите въ учебныхъ христоматіяхъ, представляющихъ образцы путешествій, — и все это описано тѣми цвѣтистыми словами, какіе полагаютъ свои путешествія гинназисты въ классныхъ сочиненіяхъ. Возьмемъ для образца хотя описаніе Ярославля.

«По между тѣмъ годка все еще стоитъ на мѣстѣ. Подобуйтесь пока на красивый Ярославль. Какъ хороша его набережная, обнесенная чугуною рѣшеткой, обсаженная липами, чистая, опрятная. На углу, образованномъ впаденіемъ Которости въ Волгу, стоитъ огромное зданіе Демидовскаго лицея, а рядомъ съ нимъ красуется златоглавый соборъ. По ту сторону Которости и по берегу Волги поднимаются каменные зданія, частныя и казенныя. Которости, называясь, исчезаетъ изъ вашихъ глазъ, закрываемая съ одной стороны прилежащими къ ней домами, съ другой большими кладенницами дровъ, затопленными на зиму. Долго любовались вы красивымъ городомъ, но наконецъ вниманіе ваше утомлено однимъ и тѣмъ же предметомъ, и вы невольно обращаете его на будущихъ вашихъ спутниковъ. Вотъ мирное купеческое семейство, собравшееся на богомолье въ Вабайскій монастырь, дежурій въ 30-ти верстахъ отъ Ярославля, на правомъ берегу Волги. Два молодца лица среди этого семейства, съ веселыми, улыбающимися фізіономіями, кажутся вамъ издавна обитавшей счастливою четой, и вѣроятно съ-то будущее счастье хочетъ освятить вся семья усердной молитвой. Вотъ какой-то молодецъ въ синей чуйкѣ, едущій приказчикомъ у купца одной изъ низовыхъ губерній и возвращающійся къ своему дѣлу послѣ свиданія съ родными своими, живущими въ Ярославлѣ. Съ любовью смотритъ онъ на свой родной городъ и съ привѣтливою улыбкой говоритъ вамъ, указывая на него: «Какое городокъ-то! Видъ не хуже иной столицы?»

И въ какому только городу ни подъѣзжалъ бы Потѣхинъ, къ Кинешинѣ ли, къ Костромѣ ли, въ Плесу ли, тотчасъ же онъ приходитъ въ восторженное состояніе и начинаетъ восклицать:

«Вотъ посмотрите, на право видѣется заштатный городокъ Плесъ. Какъ красивъ онъ! Множество разнообразныхъ деревянныхъ домиковъ, и между ними два или три большіе каменные, расположенные у подошвы высокой горы, а на самой верхушкѣ этой горы висяетъ Вожья храма, вознося свои кресты къ самому небу. Вся эта картина окружена мѣстою рамы густымъ темнымъ лѣсомъ. Въ этомъ городкѣ есть жизнь, движеніе: небольшая пристань доказываетъ, что онъ ведетъ торговые обороты хлѣбныя».

Отдавши долгъ этнографіи и познакомивши насъ и съ тѣмъ, какъ ловятъ рыбу на Волгѣ въ Саратовской губерніи, и какъ отпѣсываютъ кадрили на вечерникахъ въ уѣздныхъ городахъ, Потѣхинъ заглашалъ свою депу и тѣмъ повѣстямъ изъ народнаго

быта, которыя въ свою очередь играли не малую роль въ литературѣ 50-хъ годовъ. Въ самомъ дѣлѣ, кромѣ развѣ Гончарова и Хвощинской я не могу припомнить ни одного беллетриста 50-хъ годовъ, который не написалъ бы хотя одной повѣсти изъ народнаго быта, но особенно отличался по этой части Григоровичъ, посвятившій почти всю литературную дѣятельность изображенію крестьянскаго быта. Цѣль всѣхъ этихъ повѣстей заключалась въ томъ, чтобы съ одной стороны увѣрить русскую публику, что и подлѣ сержаго бьется человѣческое сердце, что и простой мужикъ въ лаптяхъ можетъ любить, страдать и питать всѣ тѣ нѣжныя и раздирающія чувства, какія питаютъ образованные люди, а съ другой стороны — противопоставить извѣженному, растлѣнному быту образованныхъ слоевъ общества патриархальную чистоту, нравственную стойкость, выносливость крестьянской среды. Заглашалъ, какъ я уже сказалъ, Потѣхинъ дань и этому роду литературы, написавши нѣсколько повѣстей и драмъ изъ народнаго быта. И не буду распространяться здѣсь объ этихъ произведеніяхъ Потѣхина, такъ какъ о нихъ будетъ особенная рѣчь впереди.

Въ большой модѣ были въ 50-е годы романы и повѣсти изъ провинціальнаго великосвѣтскаго быта, въ которыхъ дѣйствіе вращалось обыкновенно на балахъ и маскарадахъ, объясненія въ любви совершались подлѣ звуки кадрили въ ярко освещенной залѣ губернскаго бала, или сонаты Бетховена за роялемъ въ изящно убранной гостиной, а не то подлѣ трети соловьянаго пѣнія въ тѣнистыхъ аллеяхъ усадьбы; въ романахъ этихъ благородная и честная бѣдность ставилась обыкновенно въ противоположность свѣтской мишурѣ; бѣдный, но съ возвышенной душой герой награждался презрѣніемъ и осмѣивался бездушнымъ свѣтомъ за то, что не имѣлъ даже хотя-бы какихъ-нибудь 200 душъ родового плущества, а героиня, хотя и не бѣдная, но съ столь-же возвышеною душою, подвергалась городскимъ сплетнямъ и пересудамъ и дѣлалась жертвою суетной среды. — Не замедлилъ отзываться Потѣхинъ и на эту школу беллетристики, и написалъ объемистый романъ подлѣ заглавіемъ «Крушинскій». Героиня этого романа является передъ нами молодой медикъ съ блестящими умами, но пылкою душою, подающій большія надежды, но измѣющій одно несчастье: быть сыномъ не богатого дворянина, а бѣднаго причетника, и хотя онъ не гнушается своего происхожденія и даже гордится имъ, объявляя о немъ во всеуслышаніе въ великосвѣтской гостиной, однако же проклятое происхожденіе дѣлается причиною его гибели: онъ влюбляется въ дочь богатого дворянина, и, не смотря на то, что героиня отвѣчаетъ ему на его любовь столь-же горячимъ и нѣжнымъ чувствомъ, несмотря на то, что онъ дважды спасаетъ отъ смерти отца героини, а самое ее избавляетъ отъ скандала во время губернскаго бала, — родители возлюбленной съ презрѣніемъ отказываютъ ему въ просьбѣ руки ихъ дочери, и герой въ отчаяніи умираетъ отъ чахотки. Такимъ образомъ Потѣхинъ своимъ романомъ какъ бы возвалъ: бѣдныя дѣти причетниковъ, несчастные молодые люди, снискающіе всевозможные дипломы, но не имѣющіе одного и

самого главного диплома на уважение — дворянского, какая печальная участь ожидает вас!... Романъ, какъ видите, весьма издательный и трогательный, а если-бы вы знали, какими чувствительными слогами написанъ онъ! Для образца возьмемъ на удачу, какое попадется мѣсто: навѣрное найдется, надъ чѣмъ прослезиться. Вотъ напригѣръ, раскрывается 137 страница; читайте:

«Между тѣмъ бѣдникъ Крушинскій жестоко страдалъ. Съ какою радостью летѣлъ онъ въ Родовое-Подгорное, съ какими нетерпѣливыми ожиданиями Наденьку, какъ радостно затрепетало его сердце, когда вошла она, и какъ вдругъ заняло оно, какъ будто кто его ранилъ, когда онъ увидалъ ея небрежный поклонъ, ея холодность. Неужели онъ ошибся? Неужели сердце обмануло его? Неужели онъ не произвелъ на нее никакого впечатлѣнія, или это впечатлѣніе было только минутное, которое тотчасъ же и замѣнилось совершеннымъ равнодушіемъ? Неужели она такая дѣвушка, у которой чувство мгновенно, какъ вспышка, у которой сердце такъ вѣтренно, такъ ничтожно, что можетъ отдаваться сегодня одному человѣку, а завтра другому? Неужели она ничтожная, пустая кокетка, для которой ничего не стоитъ показать чувство, котораго она вовсе не имѣетъ и не можетъ имѣть? Или не ошибся-ли онъ, не показалось-ли ему?» и т. д.

Рядомъ съ утонченными нравами гостинныхъ и будуаровъ, помѣщичій бытъ изображался иногда беллетристичною 50-хъ годовъ и съ другой своей, такъ сказать, задней стороны — грубаго цинизма дѣвичьихъ сералей, ярморочныхъ кутежей, обжорства именитыхъ обѣдовъ, бессмысленныхъ и коимическихъ интригъ въ моменты выборовъ и проч., и проч. Кто не читалъ „Проселочныхъ дорогъ“ Григоровича, посвященныхъ, именно, изображенію всей этой изнанки помѣщичьяго быта добраго стараго времени? Въ романѣ „Проселочнымъ дорогамъ“ и Потѣхинъ написалъ такія-же картины и сцены, какими изобилуетъ романъ Григоровича. Впрочемъ нужно замѣтить, что романъ этотъ представляется самымъ удачливѣйшимъ произведеніемъ Потѣхина и рѣзко выдѣлается изъ всего прочаго, написаннаго когда-либо авторомъ, а чѣмъ, именно, и почему, объ этомъ будетъ рѣчь впереди.

Въ концѣ 50 годовъ, въ знаменитое „наше время, когда“, были въ большей мѣрѣ герои въ видѣ молодыхъ либеральныхъ администраторовъ, у которыхъ весь либерализмъ заключался въ грозномъ преслѣдованіи мелкихъ взяточниковъ и которые въ видѣ Юпитеровъ громовержцевъ обрушивались на какое-нибудь заходустье карать злоупотребленія и водворять законность и порядокъ; въ концѣ-же концовъ оказывалось, что ихъ ничего не стоило водить за носъ какому-нибудь плуту-секретарю и что, преслѣдуя мелкое и простое взяточничество, они сами склонялись къ взяточничеству болѣе косвенному, утонченному, облеченному во всѣ легальные атрибуты, и въ которому не могли придраться не только законы, но и ихъ либеральная совесть. Сначала было подобныя герои начали изображаться литературою въ серьезъ, какъ новые люди, представляющіе собою отрадное явленіе прогресса, но когда критика Добролюбова разъяснила, что это за новые люди, и въ какой степени они могутъ считаться отрадными явленіями прогресса, тогда литература на-

чала относиться совершенно иначе къ своимъ издѣленнымъ администраторамъ-громовержцамъ, появился романъ Писемскаго „Тысяча душъ“, изобразившій въ лицѣ Калиновича подобнаго героя въ его петинскомъ свѣтѣ. Потѣхинъ вывелъ того-же самаго Калиновича подъ именемъ Пустозерова въ комедіи „Мишура“.

Однимъ словомъ, захотите-ли вы найти въ сочиненіяхъ Потѣхина героевъ сатиры Щедрина или комедій Островскаго, Писемскаго, Григоровича, Тургенева, навѣрное найдете. Герои эти на первый взглядъ могутъ показаться вамъ вполне своеобразными, но стоитъ всмотрѣться въ нихъ и вспомнить при этомъ то или другое произведеніе Островскаго, Писемскаго, Григоровича и проч., и вы увидите, что всѣ они представляютъ болѣе или менѣе удачныя вариации на данныхъ темъ.

Я полагаю, что всего сказаннаго о художественной сторонѣ сочиненій Потѣхина совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что меня занимаетъ въ Потѣхинѣ не столько художникъ, сколько мыслитель, и не потому, чтобы въ сочиненіяхъ Потѣхина и встрѣчалъ какія-либо идеи, оригинальныя по своей глубинѣ, мѣткости или же истинности; совсѣмъ напротивъ — меня занимаютъ здѣсь идеи, господствующія въ настоящее время въ массѣ образованныхъ слоевъ общества. Мы будемъ разсматривать Потѣхина, какъ образецъ той шаткости нравственныхъ понятій, которая господствуетъ въ наше время въ общественной толпѣ. Я далеко отъ той мысли, чтобы Потѣхинъ одинъ только могъ служить для насъ подобнымъ образцомъ. Если хотите, то и большинство нашихъ беллетристовъ не отличаются особенною глубиною и послѣдовательностью нравственныхъ идей, но Потѣхинъ имѣетъ для насъ въ настоящемъ случаѣ именно то преимущество, что не принадлежитъ къ числу особенно сильныхъ талантовъ. У сильнаго и хорошаго воспитаннаго таланта вы часто сойдѣте не разглядите нравственныхъ взглядовъ; образы, вѣрно схваченные изъ жизни и прошедшіе сквозь процессъ непосредственнаго творчества, могутъ говорить сами за себя и совершенно вопреки тѣхъ взглядовъ, какими смотритъ на нихъ самъ авторъ. Въ тоже время, тѣмъ слабѣе талантъ, чѣмъ блѣднѣе образы, тѣмъ какъ-то рѣзче выдаются взгляды, какими авторъ смотритъ на жизнь... Ничѣмъ не выдѣляясь по своимъ взглядамъ изъ толпы, Потѣхинъ и будетъ служить для насъ хриломъ мировоззрѣній этой толпы.

## II.

Мы всѣ ужасные либералы въ различныхъ нравственныхъ вопросахъ, особенно когда обсуждаемъ эти вопросы отвлеченно или-же занимаемся алашажкой тѣхъ или другихъ литературныхъ типовъ въ современныхъ художественныхъ произведеніяхъ. Всѣ мы большіе любители щеголять выраженіями *ужасная, рутинная нравственность, пошлая, провинциальная мораль*, и очень хорошо понимаемъ, что подъ этими словами подразумевается зашифрованный дѣдками нравственный кодексъ, опирающійся частью на преданія патриархальнаго быта, частью на сословныя и прочія социальные отношенія, и идущій совершенно въ разрѣзъ съ тѣмъ нормальнымъ удовлетвореніемъ есте-

ственных потребностей человеческой природы, которое одно только обуславливает собою истинную нравственность. Въ силу этого, мы беремъ подъ свою защиту многие такіе поступки, которые, будучи повидимому безнравственны съ точки зрѣнія рутинной морали, ужь не менѣе обуславливаютъ въ человѣкѣ стремленіе вырваться изъ оковъ мертвѣго обычая, избавиться отъ того обезличенія, къ которому приводятъ рутинная мораль, проявить въ себѣ живого человѣка, удовлетворивши своимъ живымъ, человеческимъ потребностямъ, хотя-бы вопреки мнѣніямъ всей окружающей среды и съ опасностью не только потери репутаціи, но и жизни. Мы готовы въ неизмѣримой степени болѣе сочувствовать человѣку, который рѣшается прожить хоть минуту полною человеческою жизнью, а такъ хоть и въ могилу, чѣмъ господину, который вслагаетъ на себя нравственный подвигъ подавлять въ себѣ естественныя человеческія потребности ради того, чтобы остаться вѣрнымъ узкимъ, условнымъ правиламъ житейской морали, ну и, конечно, ужь получить за такое благоправіе соответствующую награду не только въ будущей, но и въ настоящей жизни. Въ первыхъ случаяхъ мы видимъ могучую природу, исполненную жизни, силы, страсти и отваги, разрушающую всѣ оковы и препятствія, во второмъ случаѣ — малодушіе, дряблость, малодушіе, безответную покоряемость всякому гнету. На этихъ основаніяхъ мы симпатизируемъ невольно даже такимъ протестамъ, въ которыхъ не замѣчается ничего философскаго, разумнаго и которые ничего не представляютъ собою, кромя простаго взрыва жизни противъ стѣсняющихъ ее условій.

Но всѣ подобныя оправданія и симпатіи иждуютъ къ намъ только до тѣхъ поръ, пока мы вращаемся въ ограниченномъ книжномъ мірѣ. Мы готовы симпатизировать Катеринѣ въ „Грозѣ“ и даже видѣть гораздо болѣе истинной и естественной нравственности въ ея нравѣ мужу, чѣмъ если-бы она, подавивши всю кипучую въ ней и равнуюся на свободу жизнь, сдѣлалась-бы испуганной въ видѣ безответно почтительной дочери по отношенію къ свекрови, оскорблявшей ее на каждомъ шагѣ, и жены, вѣрной по гробъ нелюбимому и презираемому мужу. Мы проникаемся глубокимъ уваженіемъ къ Еленѣ въ „Наканунѣ“ за то, что она, повинувшись призыву своей природы и увлекшись Инсаровымъ, свободно отдалась ему и пошла за нимъ, а не отреклась отъ своей страсти во имя того, чтобы остаться благопрочно барышнейю и сдѣлаться потомъ добродѣтельно-пресмыкающеюся женою Паншича. Мы скорбимъ при видѣ Лизы въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, этой жертвы мистицизма и свѣтскихъ предразсудковъ, отрекшейся отъ жизни изъ боязни того сѣлаго шага, который подготовила ей жизнь. Но мы симпатизируемъ, уважаемъ, скорбимъ во всѣхъ этихъ случаяхъ единственно по вѣнѣ писателей, которые называли намъ эти чувства силою своего творчества, да еще благодаря критикѣ, которая разъяснила намъ эти образы не въ духѣ рутинной морали. Но стоитъ только намъ встрѣтить первый подобный фактъ не въ книгѣ, а въ самой жизни, гдѣ мы предоставлены своему собственному уму и гдѣ вѣтъ передъ нами ни художника, ни критика, которые вели-бы насъ на помо-

часть, — и куда тогда дѣваются всѣ наши либеральныя сужденія, и снова всплываетъ передъ нами презираемая рутинная мораль, на основаніи которой мы только и оказываемся способными обсуждать встречающіеся въ жизни факты, особенно если факты эти близко касаются и задѣваютъ насъ самихъ. Такъ, попробуйте-ка переварить, чтобы ваша жена, проявившись съ вами нѣсколько лѣтъ монотоннымъ, безцѣльнымъ мѣщанскимъ прозябаніемъ, до такой степени измаялась однимъ зрѣлищемъ вашей механически-безжизненной, сухой порядочности (не говорю уже о томъ, что вы могли много разъ доставить ей зрѣлище жалкой трусости, малодушія, приниженія), что, наконецъ, подобно Катеринѣ въ „Грозѣ“, способна сдѣлалась-бы увлечена первымъ встречнымъ проходившемъ, лишь-бы только онъ не былъ похожъ на васъ и имѣлъ-бы въ себѣ хоть вѣншіе признаки чего-либо выходящаго изъ ряда обыденности? Попробуйте оправдать вашу дочь, которая, вмѣсто того, чтобы, по нашему желанію, выйти замужъ за молодого человѣка, подающаго большія надежды, вдругъ увлеклась-бы какимъ-то невѣдомымъ нищимъ-сербомъ и отправилась съ нимъ освобождать Сербію отъ Турціи, или, еще того лучше, подобно Лизѣ „Дворянскаго гнѣзда“, полюбила-бы вдругъ женатаго человѣка. И я все-таки вамъ скажу, что хотя я и не раздѣляю-бы вашихъ мнѣній, но все-таки уважалъ-бы въ васъ послѣдовательность, если-бы вы при подобныхъ случаяхъ открыто и честно встали-бы на сторону рутинной морали и стали-бы обсуждать поступокъ вашей жены или дочери прямо съ точки зрѣнія этой морали, нисколько не прикрываясь личною мнѣніемъ либерализма и не дѣлая никакихъ изворотовъ съ цѣлью примирить тенденціи вѣтхихъ кодексовъ съ новыми гуманными убѣжденіями: такъ относительно поступка жены вы-бы мнѣ заявили, что вѣдь никто ее не возлилъ идти за васъ, а разъ сдѣлала этотъ шагъ, да за роковой обѣтъ передъ Богомъ, людьми и вами, то должна свято соблюдать его, потому что на этомъ основаніи зиждется вся семейная нравственность; или же относительно дочери: „она моя дочь, а ее произвелъ на свѣтъ, воздѣлывалъ, воспиталъ, сколько-ли она мнѣ стоила заботъ, денегъ. За это все она обязана безропотно повиноваться мнѣ, тѣмъ болѣе, что я, какъ человѣкъ опытный, лучше могу судить объ ея счастьи, чѣмъ она, ребенокъ, не знающій ни людей, ни жизни!“ Такія сужденія могли-бы казаться мнѣ рутинными, пошлыми, но еще разъ повторю, я уважалъ-бы въ нихъ примодушную честность. А то нѣтъ: я убѣжденъ, что вы ничего подобнаго мнѣ не скажете, что вы слушаете въ нашемъ негодovanіи на избѣявную жену и непослушную дочь опереться на идея самаго новѣйшаго чекана и произнесете приговоры тѣмъ болѣе жестокіе, что они будутъ обложены во всѣхъ атрибуты сегодняшняго прогресса. Изъ вашихъ словъ окажется, что не вы рутинеръ въ вашей злобѣ, а напротивъ того, ваша жена и дочь являются отступницами отъ пути прогресса и гуманности, а вы, конечно, несчастная жертва подобнаго ренегатства. Вотъ тутъ-то и начинается чудовищный сумбуръ старой рутинной и новыхъ взглядовъ, господствующій въ нравственныхъ приговорахъ не только пошлой, уличной толпы,

но весьма часто людей, считающих себя передовыми мыслителями века. Почему ваша жена избрала вамъ? О, конечно, потому, что путемъ-ли наследственности или дурного воспитания, она приобрѣла такіа барскія привычки, что для нея невыносимо постоянство труженнической жизни, упрямство въ разъ назначенномъ пути: ея слабыя нервы утомляются однообразіемъ впечатлѣній, требуютъ постоянно новыхъ и сильныхъ возбужденій; трудовые будни для нея каторга, ей необходимъ въ жизни постоянный праздникъ свѣтлыхъ развлеченій съ музыкой, танцами и безпрестанной переѣвной декораций; или-же ваша жена избрала вамъ просто потому, что отъ природы она такая ужъ безхарактерная, дряблая натура, что достаточно было перваго искушенія и наибольшихъ усилий со стороны обольстителя, чтобы свести ее съ того честнаго и разумнаго пути жизни, который она избрала съ вами. Такимъ образомъ, и выходя въ концѣ концовъ, что правда, свѣтъ, истина на вашей сторонѣ, вы одиетворяете въ своемъ лицѣ новый идеалъ честнаго энергическаго труженника, постоянного въ своихъ убѣжденіяхъ, дѣлахъ, привязанностяхъ, жена-же ваша представляетъ изъ себя, конечно, отживающій типъ избѣженнаго, легкомысленнаго, растлѣннаго барства. Точно также и относительно дочери: поступокъ ея, конечно, ничѣмъ другимъ нельзя объяснить, какъ недостаточнымъ проникновеніемъ началами реализма; очевидно, въ ней много мечтательнаго романтизма, который помѣшалъ ей трезво обдумать свой поступокъ, понять всю безразсудность любви къ женатому человѣку или увлеченія какимъ-то сербомъ и мечтою избавленія Сербіи изъ-подъ ига турокъ, иначе она, конечно, предпочла-бы Панишпа, этого практическаго реалиста до мозга костей и ужъ, конечно, выйдя за него замужъ, могла бы принести неизмѣримо болѣе пользы обществу, чѣмъ своимъ безразсуднымъ шагомъ. Такимъ образомъ, и здѣсь на вашей сторонѣ оказывается прогрессивное начало въ видѣ трезваго реализма, а на сторонѣ вашей дочери отжившее начало мечтательнаго романтизма.

Причина подобнаго сумбура во всѣхъ нашихъ нравственныхъ сужденіяхъ очень понятна. Вы должны знать, что презираемая вами рутинная, пошлая, узкая мораль не съ неба же свалилась въ самый дѣлъ и не навязана она вамъ какимъ-нибудь господиномъ, который сочинилъ ее на досугѣ отъ нечего дѣлать, но, къ сожалѣнію, былъ такъ слабоуменъ, что не могъ придумать ничего лучшаго. Мораль эта коренится въ основахъ быта, завѣщаннаго вамъ отцами и дѣдами, и извлекается изъ всѣхъ условій окружающей васъ жизни. Она и эти условія — одно и то же. Естественно поэтому, что пока будутъ продолжаться существовать эти условія, нечего и думать о возможности существованія какой-либо иной морали, кромѣ выходящей изъ нихъ и какими-бы гуманными и свѣтлыми идеями вы ни задавались, онѣ постоянно будутъ витать въ отвлеченной сферѣ, если у васъ не хватаетъ ни силы, ни энергіи, ни умѣнья создать такіа условія жизни, которыя соответствовали-бы вашимъ гуманнымъ идеямъ; до тѣхъ поръ, какъ ни презирайте пошлую мораль, жизнь роковыитъ, неизбеж-

нымъ путемъ приведетъ васъ таки къ ней не въ томъ, такъ въ другомъ случаѣ, и вы сами не замѣтите, какъ взгляды на конкретные факты у васъ разойдутся съ общими, отвлеченными теоріями. И еще-бы: пока въ жизни господствуютъ условія, соответствующія пошлой морали, каждое отступленіе отъ этихъ условій, каждый истинно-свободный шагъ въ жизни представляется не иначе, какъ въ видѣ протеста противъ этихъ условій. А разъ вы подчиняетесь господствующимъ условіямъ и сами всѣмъ своимъ существованіемъ входите въ ихъ систему, то, конечно, какой вышеозначенный протестъ есть протестъ противъ васъ самихъ, хотя-бы даже и не касался прямо и непосредственно вашей особы. Зрѣлице всякаго свободнаго человѣческаго шага неизменно должно возбудить въ васъ не то зависть, не то упрекъ, и вы, конечно, для успокоенія своей совѣсти и оправданія своей постыдной трусости, не заедлите подыскивать всѣ доводы въ пользу того, что истинно благородный человѣкъ, такой, конечно, какъ вы, никогда-бы на подобный рискованный шагъ не покусился, что шагъ этотъ ни къ какимъ полезнымъ результатамъ не приведетъ, что онъ вызванъ вовсе не естественною и разумною потребностью, а мечтательною уличностью, вѣстѣ съ желаніемъ показать себя, похвастаться и проч., и проч. Всѣ подобныя доводы ни, конечно, не стараетесь построить на самыхъ новѣйшихъ теоріяхъ, но въ существѣ будетъ скрывается также пошлая мораль въ видѣ тайнаго желанія, съ вашей стороны, чтобы ближній вашъ жилъ, подобно вамъ, тише воды, ниже травы, ни на шагъ не отступая отъ проторенныхъ дорожекъ. Если смѣлѣе, покусившись на самостоятельный шагъ, ближній вашъ родственникъ или нѣжно любимый другъ, къ зависти присоединится еще чувство страха за любимата вашего, и естественно почему: люди подчиняются рутинной морали не изъ одной только любви къ ней или привычки, но также и изъ чувства самосохраненія. Мы уже говорили выше, что каждое отступленіе отъ правилъ рутинной морали является не иначе, какъ въ видѣ протеста противъ господствующихъ условій жизни, и каждый такой протестъ, хотя-бы самаго невиннаго и безобиднаго качества, представляется толпѣ не иначе, какъ покушеніемъ на подрываніе нравственныхъ началъ, разрывомъ, преступленіемъ, заслуживающимъ если не кары закона, то осужденія общественнаго мнѣнія. Въ силу этого, каждый самостоятельный шагъ въ жизни не по протореннымъ дорожкамъ ведетъ за собой неизменно дѣльный рядъ неприятностей болѣе или менѣе крупнаго свойства. Вы же, не чая души въ своемъ родственникѣ или другѣ, желаете ему, конечно, всякаго счастья, благополучія и избѣжанія какихъ-либо неприятностей. И вотъ начинаются съ вашей стороны отговариванья отъ рѣшительнаго шага во имя любви и дружбы. Отговаривать вы можете опять-таки въ основаніи самыхъ новѣйшихъ и либеральнѣйшихъ теорій, но въ результатѣ будетъ все-таки желаніе, чтобы другъ вашъ не дѣлалъ рѣшительнаго шага, т.-е. не отступалъ отъ правилъ уличной морали. При этомъ вамъ, конечно, и въ голову не придетъ, что вашъ ближній, какъ человѣкъ, имѣетъ право сво-

бедного выбора, что взгляды на счастье могут быть различны до безконечности, что, может быть, то благополучие, которое вы прочтете другу, горше для него всехъ тѣхъ неприятностей, какія могутъ его постигнуть за рѣшительный шагъ, и что въ этомъ рѣшительномъ шагѣ, можетъ быть, онъ видитъ такое счастье, за которое онъ готовъ вынести не только все предстоища опасности, но и мучительную смерть...

До сихъ поръ я считалъ васъ только зрителемъ постороннихъ протестовъ. Но представьте вы себя, что протесты направлены прямо противъ васъ и мѣтять вамъ не въ бровь, а въ самый глазъ. О, тутъ вы навѣрное окупитесь уже по уши въ презираемую вами рутинную мораль, и даже не въ ту древлеисаулую, общечеловѣческую мораль, которая прописывается на прописяхъ, а мораль, еще болѣе узкую: сословную, чиновничью или фельдфебельскую. Но между тѣмъ обратитѣ вниманіе на то, что подобныя, направленные противъ васъ протесты не исчерпываются одними экстраординарными случаями, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ мы говорили на предыдущихъ страницахъ. Помимо ихъ существуютъ въ жизни ежедневны и ежедневно тысячи мелкихъ, незамѣтныхъ протестиковъ, волнившихъ васъ со всехъ сторонъ и какъ, повидимому, ни ничтожны эти уколы, въ массѣ и они оказываютъ свое вліяніе и чуть ли даже не большее, чѣмъ протесты крупныя и экстраординарныя. Такъ, напримеръ, вы нанимаете работника. Не желая выдѣлаться изъ среды и повинаясь закону предложенія и спроса, вы, конечно, заботитесь нанять слугу какъ можно дешевле и наложить на него, какъ можно болѣе обязанностей. Но положимъ даже, что вы этого недѣлаете, подождитѣ, что вы, уступая вашимъ гуманнымъ убѣжденіямъ, платите работнику рублемъ, двумя дороже установленной цѣны и требуете съ него менѣе труда, чѣмъ за установленную цѣну обыкновенно полагаются, даете ему сверхъ того другія разныя льготы. Но при всѣхъ этихъ уступкахъ положеніе все-таки остается ненормальнымъ: хотя вы и гуманный господинъ, но все-таки господинъ, пользующійся львиною долей, а работникъ вашъ, хотя и пользуется большимъ, чѣмъ всѣ его собратья, все-таки пользование ограничивается одними крупными его труда. А между тѣмъ у васъ закрадывается уже въ душу тайное желаніе получить возмездіе за вашу гуманность въ видѣ признательности со стороны работника. По справедливости судя, если бы вы раздѣлили съ работникомъ весь барышъ труда или если работника, являющагося въ видѣ домашняго слуги, приобщили бы къ своей семейству, — и въ такомъ случаѣ вы только воздали бы должное и не заслуживали-бы ни малѣйшей благодарности, но таково ужъ дѣйствіе рутинны господствующихъ условий, что хотя бы теоретически вы и вовсе не желали особенныхъ изъяснений благодарности со стороны работника, но невольно вамъ будетъ казаться, что за два лишніе рубля непременно вы должны обрѣсти со стороны работника и большую благосклонность къ вамъ, и большее усердіе въ работѣ. — А между тѣмъ въ дѣйствительности вы можете не только не обрѣсти ничего подобнаго, а напротивъ того, наткнуться на цѣлый рядъ неожиданныхъ протестовъ: окажется вдругъ, что лишнихъ два рубля

несколько не измѣнили работника въ отношеніи къ вамъ: по прежнему онъ сухъ съ вами и даже грубъ, не оказываетъ ни малѣйшаго усердія къ работѣ, старается напротивъ сдѣлать какъ можно меньше за ту же плату, да вдобавокъ еще вдругъ вы замѣчаете въ немъ, что онъ не прочь что нибудь и стянуть у васъ, что плохо лежитъ. Вы, конечно, приходите въ негодованіе: какъ, такъ вотъ что обрѣли вы вмѣсто ожидаемой признательности за вашу гуманность!.. Но чего же вы хотите тогда? — Видъ на основаніи вашихъ же гуманныхъ убѣжденій вы должны оправдать въ работникѣ и грубость, и лѣность, и даже воровство: что же выражаютъ все эти безправственныя качества въ работникѣ, какъ не то, что онъ не осиновой чурбанъ, не машина, которая отъ васъ ничего не требуетъ, какъ только чтобы вы подкладывали подъ нее огонь, и готова работать на васъ съ раздѣренною аккуратностью; нѣтъ, это живой человѣкъ, протестующій противъ вашей несправедливости, хотя бы и въ самой грубой, первобытной формѣ, живой человѣкъ, ищущій удовлетворенія своихъ живыхъ человѣческихъ потребностей, хотя бы и не законнымъ путемъ. Если бы вы захотѣли быть послѣдовательными вашимъ прогрессивнымъ убѣжденіямъ, то, конечно, вы должны были бы съ большимъ уваженіемъ относиться къ работнику, который вамъ нагрубитъ и обокрадетъ васъ, чѣмъ къ такому, который, какъ бы вы его ни обесчлвчвали, будетъ все-таки работать на васъ, какъ волъ, и не только относительно вашего добра будетъ проявлять безукоризненную честность, но еще будетъ преподносить подобострастной признательности къ вамъ, доходящей до того, что при случаѣ готовъ будетъ положить жизнь за ваше добро и за васъ самихъ. — Но признайтесь, положя руку на сердце, что вы, конечно, предпочтете имѣть у себя въ работникахъ человѣка послѣднихъ качествъ, чѣмъ первыхъ, признайтесь, что относительно цѣлаго класса людей вы не имѣете иного идеала, какъ въ видѣ людей, которые работали бы, какъ волы, будучи совершенными безсребренниками, были бы безукоризненно честными къ вашей собственности и подобострастно-призательными къ вашей личности... Какъ бы вы были счастливы, если бы весь этотъ классъ людей состоялъ изъ такихъ идеальныхъ личностей! Вотъ и подумайте, въ какомъ же духѣ всѣ подобныя благочестивыя желанія, какъ не въ духѣ самой рутинной морали? — Вы можете опять такъ скрыть не только отъ людей, но и отъ себя всю пошлость этой морали. Вы, конечно, зажмурите глаза на суть дѣла и антипатичныя вамъ качества работника начнете объяснять разными побочными причинами въ родѣ недостатка образованія въ простомъ человѣкѣ; найдя такое объясненіе, вы проникнетесь прогрессивными заботами о распространеніи образованности въ массахъ, мечтая, что когда эта образованность распространится, то, конечно, работникъ встанетъ на почву законности, перестанетъ грубить, воровать, будетъ безукоризненно честенъ и трудолюбивъ, однимъ словомъ, познаетъ тогда все, что пишется на прописяхъ: и что праздность есть мать всехъ пороковъ, и что за признательность и честность человѣкъ получаетъ награду въ сознаніи чистоты своей совѣсти, и что сребролюбіе и стронни-

вость суть дѣти ада, и что чужое добро въ прокъ не пойдетъ и пр. и пр. Вѣдь вы о подобномъ образованіи, конечно, только и мечтаете, проектируя даже особенныя заведенія для выдрессировки такой идеальной прислуги, которая не возмущала бы вашего олимпійскаго спокойствія никакими дрязгами...

Такимъ образомъ, рутинная, пошлая мораль пребываетъ въ непоколебимомъ господствѣ, прикрываясь ради приличія передъ прогрессомъ разными либеральными тенденціями... Подобнаго рода прикрытіемъ служатъ въ настоящее время два рода тенденцій: съ одной стороны такъ-называемый практически-трезвый реализмъ, съ другой—демократическія убѣжденія.

Практически-трезвый реализмъ, заставляя васъ постоянно вопрошать почему и зачѣмъ и рѣшать глубокомысленные вопросы о томъ, что разумно, цѣлесообразно и что неразумно и нецѣлесообразно, естественно воздерживаетъ васъ отъ всякихъ увлеченій, отъ всякаго подчиненія стихійнымъ жизненнымъ силамъ, которыя вдругъ вздувались бы вырваться изъ подъ гнета рутинной обыденности и пожалуй погубить васъ безъ всякой пользы. Практически-трезвый реализмъ, идѣя въ виду прежде всего пользу, и одну только осязательную, разумную пользу, учитъ васъ, что какія-либо попытки къ проведенію въ жизни болѣе разумной и естественной нравственности невозможны до тѣхъ поръ, пока всѣ люди не сдѣлаются трезвыми реалистами. До тѣхъ поръ всякое отступленіе отъ обыденной рутинной жизни есть только смѣшное донкихотство, не только не способствующее, но мѣшающее дѣлу насажденія трезваго реализма. Такимъ образомъ, чтобы не мѣшать дѣлу насажденія, вамъ остается только быть благонаправленнымъ по всѣмъ правиламъ рутинной морали и, будучи тише воды, ниже травы, заботитесь только объ одномъ: о распространеніи практически-трезваго реализма въ обществѣ. Естественно, что подъ знамя подобнаго практически-трезваго реализма стекается все малодушно-трусливое, драбное, все желающее почить въ мѣщанскомъ благодушіи, и невинность соблюда, и капиталъ прибрѣта.

Подъ сѣнію демократическихъ убѣжденій тоже ищете въ нынѣшнее время прибрѣжища всевозможная рутинна.—Малѣйшее проявленіе протеста живой природы противъ оковъ обычая такъ шибко рѣдко, что по новолѣ выдается, а все выдающееся итъ ничего легче по аналогіи подвести подъ проявленіе барства, подъ желаніе высокомерно выставиться впередъ, порисоваться. И вотъ каждая ничтожная труппа спѣшитъ задранировать свою никуда-негодность въ благороднѣе народныхъ идеаловъ. И человѣкъ толпы, говоритъ современный Молчаливъ устами героевъ Михайлова, а въ герои не лѣзу; мой единственный идеаль зароботывать въ потѣ лица свой хлѣбъ, какъ послѣдній работникъ, и я этикъ горжусь. И можете что угодно вамъ дѣлать съ подобнаго современнымъ героемъ негеройства, можете поцрать кровный трудъ его подъ ногами своими, лишитъ его послѣдняго куска хлѣба, плюнуть ему въ глаза, онъ все будетъ гордиться тѣмъ, что онъ человѣкъ народа и, какъ овца, все проститъ вамъ, потому что идеаль его—скромная, безъискусственная простота и христиан-

ское незлобіе человѣка народа. А затѣмъ, глядишь, вдругъ въ одинъ прекрасный день нашъ человѣкъ народа окажется крупнымъ капиталистомъ. Какъ это случилось? Очень просто: какъ человѣкъ народа, герой нашъ не имѣлъ барской привычки расточительности, онъ всегда презиралъ роскошь и былъ самымъ строгимъ ригористомъ; какъ пролетарій, онъ непрестанно памятовалъ о шомажѣ и припрятывалъ лишнюю копейку на черный день. Такъ путемъ, какъ видите вполне идеальнымъ, онъ и оборотился,—и невинность соблюда, и капиталъ прибрѣта.

### III.

Въ сочиненіяхъ Потѣхина преобладаютъ демократическія тенденціи. Образованные слои общества онъ по большей части обрисовываетъ съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ которыхъ они изображались балетристикой пятидесятыхъ годовъ, т.-е. со стороны—праздности, извѣженности, безхарактерности, высокомерія, чванства и пр. Положительные типы, высокіе нравственные идеалы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Въ этомъ и заключается стремленіе Потѣхина идти впередъ вѣка и тотъ либерализмъ, который бросается вамъ въ глаза съ перваго взгляда.

Но стоитъ только взглянуть попристальнѣе и думать, какого-же рода положительные типы находятъ Потѣхинъ среди народа и какіе нравственные идеалы навязываетъ ему, и вы увидите, что идеаль эти мале того, что въ духѣ прописной морали, но зачастую даже въ духѣ узко-сословномъ, т.-е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ, конечно, для большинства благомыслящихъ россиянъ желательно, чтобы они были.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмите хотя-бы повѣсть Потѣхина изъ народнаго быта—„Титъ Софроничъ Казанокъ“, помѣщенную во второмъ томѣ его сочиненій.

Въ повѣсти этой Потѣхинъ выводитъ передъ нами идеальнаго пчеловода Григорія сына Тита Казанка:

«Славный былъ мужикъ этотъ Григорій, говоритъ Потѣхинъ:—умный, смысленый, замѣточный, хорошо вель свои дѣла, отлично торговалъ. Главнй промыселъ его было пчеловодство, и ужъ ни у кого нельзя было достать такого чудеснаго меда, самотека и прозрачнаго какъ янтарь, и обсахареннаго, какъ крѣпкое мороженое. Какой хотите—спросите: цвѣточный-ли, липовый, или хлѣбный—ни одинъ изъ нихъ не уступитъ другому. Дѣлалъ онъ и воскъ превосходный: не то, что красный или желтый, итѣтъ! а такой чистый, такой бѣлый, какъ столовая востъ. И все это производилось не въ маломъ колѣествѣ. Видъ у Григорія было ульевъ пятьдесятъ, такъ что весь садикъ былъ заставленъ имъ...»

«Трудамъ Григорія, казалось, покровительствовава сама судьба. Вотъ, напримеръ, ронтелъ рой надъ деревней, гуевой тучей носится онъ, жульа и ливизаея. Векній мужикъ, у котораго сеть хотъ одинъ улей, бѣжитъ въ свой огородъ, надѣясь, что авось-лябо ему выпадеть такое счастье—привѣтетъ даровой рой; глаза великаго подняты въ верху и жа-

но сбѣгать за двигающеюся живою массой. Вотъ рой остановился надъ однимъ члѣмъ-то садомъ, плетень, кудряжка, иль какой-нибудь стѣны уже на плетень, на рабину, владѣтель сада внутренно торжествуетъ: закутаный въ вывороченную лубу, съ стѣною на лѣвѣ и въ рукавицахъ, онъ усердно колотитъ палкой въ створочку, надѣясь дребезжающими звуками этого оригинальнаго инструмента привлечь весь рой... но напрасно: матѣя почему-то не правится этотъ садъ, а можетъ быть не правится и самъ хозяинъ, предлагающій гостепримство, быстро поднимается она къ себѣ, а за нею несется и пѣсь рой съ сердитымъ буздяньемъ.

— Что, братъ, не пришелъ? спрашиваетъ одинъ владѣтель другого.

— Да дождайся: прилетѣлъ къ намъ! Смотри, коли не опятъ Григорію счастье.

И они не ошибаются. Дѣйствительно, рой покрываетъ плетень его сада, облетѣваетъ со всѣхъ сторонъ или черемуху, или яблоню. Григорій осторожно беретъ матку, сажаетъ ее въ стекляннѣй маточникъ, послѣдній ставитъ въ улей, и весь рой летѣть вѣдѣть за маткой.

Таковы образцы, Григорій съ новымъ дарованъмъ умѣетъ. А это хорошая примѣта: замѣчено, что рой не привѣтаетъ никакъ въ мужику несчастному, или пьяницѣ, или ворюгѣ. Спросите любого пчеловода или крестьянъ; онъ также епанетъ васъ увѣрять въ этомъ. Да еще не только не привѣтаетъ новый рой, а и старое-то ульи олушѣютъ, если мужикъ поведетъ дѣло не честно...

Какъ ни курьезно подобное участіе со стороны пчелъ въ нравственности людей, пристрастіе ихъ къ свѣдѣ чистымъ и антипатія къ пьяницамъ, верякамъ и обманщикамъ, но положимъ, что Потѣхинъ тутъ не при чемъ, онъ только передаетъ, конечно, народное повѣрье. Вы, можетъ быть, заинтересуетесь тѣмъ, что-же разумѣютъ пчелы подѣ честностью и безчестностью мужиковъ? Можетъ быть честность пчеловодовъ въ предѣлахъ своего ремесла относительно другихъ пчеловодовъ, отсутствіе всякихъ предлѣвъ для привлеченія пчелъ въ свои ульи и отвлеченія ихъ отъ другихъ? А вотъ читайте далѣе и увидите:

«Да вотъ, не далеко идти. У Григорія сесѣдь, такъ, мужиченка, несправедливый, нечестный, везувакъ было, по его примѣру, завести у себя ульи. Ну, пошелъ къ помѣщику и говорить ему: «денегъ, говоритъ, у меня, батюшка, нѣтъ, дѣлшки, говорить, мои плоховаты, а знаешь ты, что куда какъ выгодно въ нашемъ краю завести ульи: ссуды, говоритъ, менѣ денегонками, будь отецъ родной. Какъ дѣлу, говорить, этому я примотрѣлся, и знакъ какъ его повести: куплю ульи три, буду получать съ нихъ два три меда, половину отдавать тебѣ, а потомъ, какъ Богъ сподобитъ, дѣло пойдетъ хорошо, еще приведу ульевъ, и что-бы ни сталъ получать меда — все одна половина тебѣ». Баринъ согласился, далъ денегъ, и мужикъ купилъ ульи. Первый годъ, что ни собралъ меда, половину отдалъ барину исправно, на другой годъ сборъ былъ также хорошъ, но мужику жаль стало отдавать половину, и онъ правесъ барину меньше противъ условія, а на третій годъ и ничего не далъ барину: сказалъ, что годъ былъ не хорошъ, жокрый, и цвѣту было мало, да и цвѣтъ улей у него вымеръ; ну, словомъ, наговорилъ ему турусы на колосахъ. Что же вы думаете? Годъ черезъ три послѣ того, у него все до одного ульи олушѣли! Такъ, если у Григорія пчеловодство шло такъ успѣшно, значить, онъ былъ мужикъ добрый и честный. И это совершенно справедливо. За то какой я почетъ былъ Григорію! Повѣдетъ, бывало, на базарку съ медомъ или воскомъ, такъ тамъ все при-

довичи и даже богато кущи, да и самъ иной баринъ попроще, да подобре, который ужъ не черещуръ деликатеса, величаютъ да чествуютъ его, не то что какого нибудь простого мужика, а все съ имя съ отчества: Григорій Онуфричъ, да Григорій Онуфричъ. И всякій ему поклонится, и всякій добрыхъ словомъ вышдетъ, а иной и часомъ напоитъ, потому что Григорій никогда никого не обманывалъ, и все, кто лѣзъ съ нимъ дѣло, считали его мужикомъ честнымъ и всегда благодарили за его хорошій товаръ».

Какъ вамъ правится вся эта выдержка? Оказывается, что и пчелы въ добрыя старыя времена имѣли совершенно своеобразныя понятія о нравственности. Мужикъ весь вѣкъ платилъ барину, баринъ однажды только заплатилъ мужику на обзаведеніе, конечно, ничтожную часть того, что онъ отъ него уже перебралъ; при этомъ замѣтите онъ далъ мужику денегъ не даромъ, а на условіяхъ по истинѣ жидовскихъ, чтобы мужикъ, сколько-бы у него потомъ ульевъ ни было, отдавалъ постоянно барину половину меда. Казалось-бы, что тутъ не могло и рѣчи быть о какой-либо нравственности. Естественно, что мужикъ, стгорича самъ предложивши подобныя тягостныя условія, потомъ спохватился, ему стало жаль своего добра и, не находя иного исхода избавиться отъ подобныхъ поборовъ, прибѣгъ къ утайкѣ. Подобнаго рода утайки со стороны крестьянъ не были какими-либо исключеніемъ во времена крѣпостнаго права, на нихъ, можно сказать, держался весь крестьянскій міръ и безъ нихъ крестьяне за долго до освобожденія обвиняли-бы до послѣдней крайности. Поэтому, тутъ и немудрымъ вопросъ о нравственности или безнравственности — тутъ шла борьба за существованіе; прилагать здѣсь мѣрки какой-либо морали также нельзя, какъ, напримеръ, хотя въ такомъ случаѣ, что нравственно или безнравственно дать запрещену человеку, напавшему на васъ въ дѣсу съ ножомъ въ рукахъ. Но по дѣланію Потѣхина это не такъ: оказывается, что въ добрыя старыя времена помѣщики имѣли подѣ рукой не однихъ только управляющихъ, бурлачествъ или старость для сборанія ледонюкъ, но сама природа со всѣми своими тварями земными и небесными заботилась объ ихъ интересахъ, и гдѣ не досматривало барское око, тамъ пчелы брали подѣ свое покровительство барина и съ ужасомъ улетали отъ мужика, осмѣлившася не уплатить сполна барину оброка. Хорошо также и окончаніе представленной нами выдержки на тему: будь честенъ, никого не обманывай и все тебя будутъ величать по имени и отчеству и чайкомъ напоютъ; — такъ и просится это мѣсто въ какой-нибудь «Грамотей», «Солдатскій досугъ» и прочіе журналы, издающіеся для народа ради развитія въ немъ нравственности.

#### IV.

Не меньшимъ курьезомъ отличается повѣсть «Два охотника» (см. соч. А. Пот., т. I). Въ этой повѣсти Потѣхинъ ввелъ паралель двухъ охотниковъ, идущихъ въ рекруты за своихъ братьевъ. Изъ нихъ одинъ охотникъ оказывается безнравственнымъ, другой — идеально-добродѣтельнымъ.

Начнем съ характеристики безправственнаго, по порядку изложенія самой повѣсти.

Въ деревнѣ Аришкинѣ жилъ богатый мужикъ Порфиръ Макарычъ, торговый, промышленный и кезингъ хороший, по словамъ Потѣхина. У него было четверо сыновей. Пока онъ былъ крѣпостной, онъ откупалъ своихъ дѣтей отъ очередей, приносилъ пощичку въ видѣ взятки посылною дань рублей по 300, а разъ пожертвовавши даже своимъ меньшимъ сыномъ Степкою и отдавши его барину во дворъ въ повара. Но вотъ пришла вода, откупиться отъ мірскаго приговора уже было не у кого, и его семья попала въ очередь. Между тѣмъ, младшій сынъ его Степанъ, сблвавшись поваромъ, отошелъ отъ господъ послѣ воды, женился на дворовой дѣвушкѣ и проживалъ на частныхъ мѣстахъ, а когда у него не случалось мѣста, то прѣзжалъ къ отцу на побывку. Потѣхинъ характеризуетъ его слѣдующимъ образомъ:

«Степка оказался парень рослый, толстый, рыжий. Отдали его въ ученье сначала къ своему повару, но тотъ только бить его и ходить пить водку къ Порфиру за ученье сына; потомъ его нанли чужимъ отдать къ повару соседняго помѣщика на выучку, тамъ его тоже болѣе били, чѣмъ учили; но черезъ три-четыре года Степка, еще болѣе рослый, еще болѣе толстый и такой же рыжий, уже дѣйствовалъ въ качествѣ повара на кухнѣ своего барина. Поварь онъ былъ плохой, но нрава оказался оригинальнаго: съ веселостію и сонливостію соединилъ кровожадность, чувствовать особенное удовольствіе при видѣ чужихъ страданій; спать же могъ до 20 часовъ въ сутки. Рубя котлетки или отбивая мясо, онъ всегда въ таятъ припрывивалъ и подбѣгалъ; забѣгавшихъ въ кухню собакъ и кошекъ опаривалъ кшипкомъ, а курицы всегда щипалъ живыхъ и потомъ уже рѣзалъ; однажды совѣмъ живого, но и совѣмъ ошпаннаго индѣйскаго цѣбуха, посадилъ на порога, къ общему удовольствію всей дворни, хотавшей надъ этою шуткою до упада. Барина разъ брада его съ собой въ Москву; тамъ его ничего не удивило, не заняло и не поразило; все время пребыванія барина въ столицѣ онъ проспать и только два раза куда-то пропадалъ; оказалось, что онъ ходилъ смотрѣть, какъ наказывали преступниковъ плетями, и потомъ рассказывалъ объ этомъ зрѣлищѣ съ особеннымъ удовольствіемъ и веселымъ смѣхомъ».

Такимъ злодѣемъ съ наклопностями къ палачеству предстаетъ передъ нами безправственный охотникъ. Его-то, какъ человека отрѣзаннаго отъ семьи и ненужнаго, начинаютъ уговаривать Порфиръ Макарычъ выѣхать со всею семьею идти въ солдаты за братьевъ. Степанъ сначала, конечно, ломается, но потомъ соглашается за 300 рублей да гулянку. Начинается гулянка самаго безобразнаго свойства. Вотъ какими красками описана эта гулянка у Потѣхина:

«Заходить Степанъ въ кабаки. Поить тамъ каждого встрѣчнаго, или переколотить всѣхъ, кто подъ силу пришелся, или поидеть цѣловаться съ кѣмъ-нибудь, да и укусить до крови — за все это отбѣчай, какъ знаютъ, отецъ и братья, а его дѣло гулять: онъ охотникъ, за братьевъ охотой идетъ».

Всею семье глазъ не сводить со Степана, кто-нибудь изъ братьевъ слѣдитъ за каждымъ его шагомъ, чтобы, храни Богъ, какъ не набѣдиль, да не попалъ подъ судъ, тогда и въ солдаты не примутъ; и вся семья исполняетъ вѣдную его прихоть, чтобы какъ не прогнѣвался, да не раздумалъ идти за братьевъ. А Степанъ это чувствуетъ, понимаетъ и

ломается надъ семьею сколько раздуму ставтъ. Идетъ пьяный изъ кабака, нарочно повалится въ саду, грязь, въ дужу, пересрамить всю одежду, да и не ветаеть, самъ идти не хочетъ, неси братъ на себя. И тащутъ эту тушу братья на себя, дѣлать-то ничего: охотникъ, за нихъ охотой идетъ. Еще на другой день новаго платья потребуютъ: это не хорошо, все выразилось. Подходить Степанъ къ забору, рядомъ калитка. Не хочу идти въ калитку: разбей-рай заборъ — и разбравотъ. Прѣхалъ. Степанъ съ катанью, съ пѣсней и музыкой подкатилъ къ калиткѣ, братья-кучеры промокъ до костей, лошадеши поводятъ бока, раздышаться не могутъ, качаются, а Степанъ изъ кибитки нейдетъ, пусть енечи на рукахъ вынуть и на дѣстину внесутъ. Нечего дѣлать: тащить бабы десятиудоваго парня, а братья своею только поглядываютъ на замученныхъ лошадей, да вздыхаютъ, а говорить нельзя: разсердился братецъ-охотникъ».

Пришелъ Степанъ домой, въ избу — пошелъ ламъ кормясломъ. Все не по немъ, все не такъ и не этакъ, и вся семья ему служить съ подобострастіемъ и раболѣпствомъ; заставитъ братьевъ и ихъ женъ плясать — и пляшутъ, заставитъ пѣсни пѣть — поютъ, вздумаетъ ни съ того, ни съ сего за волосы потаскать, или поколотить — даютъ, только развѣ про себя борзочутъ: «вотъ, дьяволъ, куда и сонъ пропелъ, и не дрыхаешь теперь, и день и ночь куражишь!» Отецъ ужъ отъ грѣха изъ дома уходитъ, чтобы какъ изъ терѣбна не шидти, да не попомотить охотника. А тому и на руку: видать, пришло его время. Советуетъ со всей деревни и изъ соседнихъ всѣхъ назначенныхъ въ рекрута — и плянетъ съ нимъ, оретъ пѣсни цѣлую ночь, а вся семья служитъ, спать ничего уйти не смѣетъ. Не узнаешь мирнаго, еирпапаго и екупого Порфирова дома».

Да не подумаетъ читатель, чтобы въ подобныхъ безобразіяхъ и находилъ что-либо нравственное съ точки зрѣнія какой-бы то ни было морали, пошлою или непошлою. Но я еще разъ повторю, — есть такая вещь въ жизни, являющаяся неотразимымъ слѣдствіемъ причинъ, для которыхъ какія-либо нравственныя мѣрки рѣшительно неприменимы, а если и применимы, то приложение это является совершенно безлодымъ и ничего не доказывающимъ въ равной степени, какъ еслибы кто пытался опредѣлить качество полотна, сравнившись тѣмъ, что смѣрять-бы его аршиномъ. Неуделсты тѣмъ и несостоятельны, что они все свои сужденія основываютъ обыкновенно на послѣднемъ явленіи послѣдняго дѣйствія драмы, и въ этомъ отношеніи они неизмѣримо хуже юристовъ, потому что послѣдніе, хотя въ свою очередь призваны осуждать послѣднія явленія послѣднихъ дѣйствій, но, все-таки, принимаютъ въ соображеніе и все прочія дѣйствія, дѣтская, вслѣдствіе этого, смягчающія обстоятельства, между тѣмъ какъ для моралистовъ существуетъ всегда одинъ только данный фактъ, къ которому они и прикладываютъ свои нравственныя мѣрки, и въ дѣла нѣтъ до того, что вызвало этотъ фактъ. Видя, что разъярившійся господинъ пустилъ въ ближняго бутылкой и раскроилъ ему голову, они тотчасъ-же рѣшаютъ о всей безправственности выходить до такой степени изъ себя и прибѣгать къ подобной кулачной расправе, но при этомъ имъ и въ голову не приходитъ, что можетъ быть обидчикъ, при всемъ безобразіи своего гнѣва, ангель сравнительно съ обиженнымъ, что порицаемый фактъ ничто въ сравненіи съ предшествующими фактами, вызвавшими пущеніе бутылки, какъ неудержимую реакцію.



Такъ и въ нашемъ случаѣ. Стоитъ только взглянуть на обстоятельства, предшествовавшія гулянкѣ Степана, и мы увидимъ, что безобразіе ея явилось не такъ, зри, изъ одной злой воли, а вызвано было самыми уважительными причинами, и что люди, противъ которыхъ неистовствовалъ Степанъ, едва-ли были не похуже его и во всякомъ случаѣ стоили такого съ нимъ обращенія.

Начать съ того, что съ самаго дѣтства Степанъ въ своей семьѣ нашелъ не покровительство родного кровна, не любовь и участіе, а предательство. Отецъ продалъ его барину за брата, отчуждилъ его отъ семьи, бросилъ на руки чужихъ людей на побой и всякое мучительство, да къ тому-же, совершая самый актъ продажи, не упустилъ случая обидѣть его: „и принесли Порфиръ деньги, и приводилъ Степку, снабдивъ его что ни на есть хуже шубенкой и двумя рубашонками, за что и получилъ отъ барина строгій выговоръ и наставленіе о любви къ дѣтямъ“...

Броненный такимъ образомъ семейю безъ всякой жалости, какъ подростивъ щенокъ, послѣ всѣхъ побоевъ, которые онъ получилъ въ ученія отъ чужихъ людей, могъ-ли Степанъ питать къ своей семьѣ хоть какое-нибудь уваженіе и дружелюбіе? И потомъ, когда онъ вышелъ на волю, сталъ жить на частныхъ работахъ, то въ черные дни, когда онъ, потерявши какое-нибудь мѣсто, не зная куда преклонить голову, выходилъ-ли онъ подъ родительскимъ кровомъ шибѣть и радуніе? Итъ, его брашилъ отецъ, попрекали братья, что онъ даромъ ѣсть ихъ хлѣбъ, пестки клали его и гоняли съ каждаго мѣста, на которое-бы онъ ни пралегъ, его, наконецъ, прогнали изъ дома, иди куда хочешь. И вдругъ что-же: ни люди, которые оттолкнули его изъ своей среды самымъ безчеловѣчнымъ образомъ, относились къ нему съ безцеремонностью грубаго знонама, дрожали за каждый кусокъ хлѣба, который онъ у нихъ съѣдалъ, и выжили его на голодъ и холодъ, эти люди, когда пришла до него нужда, начали всячески угодать ему, ухаживать:

«И спать ему даютъ, читаемъ мы, и борзятъ, какъ въ убой, и еще не то, что попрекать кускомъ, а подучить, ни на какую работу не посылаютъ, отецъ не ругаетъ, братья не рощутъ и не борзочать себѣ кодъ востъ про дѣтства, дармоѣда брата, а жены ихъ, сестры любезныя, не только не кланутъ, не только не топятъ съ каждаго мѣста, на которое-бы ни легъ—ишь ты, оно имъ всепрѣмѣнно понадобилось! не только не подбиваютъ противъ него всячески отца и дурьбать, но еще—вотъ диво! ухаживаютъ за нимъ, и подучуютъ, и на нечъ посылаютъ, и одежку подъ тѣмъ поствиваютъ, особливо двѣ молодыя снохи. Живеть Степанъ и не нарадуется на свою жизнь привольную».

И кончается все это ухаживанье тѣмъ, что, наконецъ, вся семья валется въ ноги у милого брата, проси его выручить изъ бѣды. Ужь и не прогнѣвайтесь послѣ всего этого, если милый братецъ и отплатилъ своимъ роднымъ за всѣ прѣжнія ихъ ласки, и накуражилъ надъ ними вдоволь послѣ всѣхъ униженій и оскорбленій. И замѣйте, что въ концѣ концовъ онъ избавляется все-таки честнѣе ихъ: онъ имѣлъ полную возможность, покуражившись и поломавшись надъ ними, отказаться отъ рекрутства, тѣмъ болѣе, что

онъ второй разъ уже избавлялъ братьевъ отъ солдатчины: разъ вѣдь онъ былъ уже проданъ отцемъ за братьевъ, но онъ этого не сдѣлалъ, онъ пошелъ въ солдаты... На чьей-же сторонѣ здѣсь больше правды и великодушія? И можно-ли здѣсь прилагать какія-бы то ни было нравственные мѣрки? Единственно, что можно здѣсь приложить, это известную пословицу: что посеяли, то и пожнете. И если-бы Потѣхинъ, будучи истиннымъ художникомъ, стоялъ-бы выше рутинной морали, онъ, конечно, дальше этой пословицы не пошелъ-бы, онъ могъ ограничиться сценой гулянки и закончить ею свой очеркъ, представивши читателю самому вывести изъ него какіе угодно выводы. Но Потѣхину захотѣлось непременно подвести выведенные факты подъ свои нравственные кодексы, захотѣлось провести параллель между охотникомъ безнравственнымъ и нравственнымъ съ его точки зрѣнія, и вотъ онъ далѣе въ своей повѣсти выводитъ передъ нами добродѣтельнаго охотника въ прелестномъ видѣ.

Въ сосѣдней деревнѣ Баралихѣ во время того-же самаго рекрутскаго набора, очередь пала на семейство двухъ племянниковъ вышеупомянутаго Порфира — Павла и Алексѣя. Одному изъ нихъ предстояло идти въ солдаты, причѣмъ оба были женаты; Алексѣй женился недавно и не имѣлъ еще дѣтей, а у Павла были уже дѣти. Мирской сходъ порѣшилъ, чтобы братья пинули между собою жеребей, но Алексѣй изъ великодушія согласился идти за брата безъ всякаго жребія.

Потѣхинъ характеризуетъ этого великодушнаго парня такимъ образомъ:

«Алексѣй жить всегда дома, былъ перѣчисеть и на сходку изъ-за брата никогда не ходилъ; слылъ нареченьемъ смирнымъ, работящимъ, но не болѣю умнымъ». А далѣе Потѣхинъ прибавляетъ къ этой характеристикѣ: «откуда такая тонкость, такая деликатность чувства въ простомъ, неразвитомъ мужикѣ? можетъ-ли та среда, въ которой онъ выросъ, имѣть такіе элементы? да, вѣдь, не даромъ онъ и слылъ на міру чуть не дурачкомъ, не даромъ во многихъ русскихъ сказкахъ, что ни дуракъ, то и умѣе, и лучше всѣхъ... Эта деликатность чувства заключалась въ томъ, что, пойдя за брата въ рекрута охотою и безъ всякой со стороны послѣдняго просьбы, Алексѣй потомъ предался грустнымъ размышленіямъ, почему это ему брата, отъ котораго онъ никакого добра не видѣлъ, жалъ, а жены не жалъ, женѣ, которая за него въ огонь рада идти, онъ зло дѣлаетъ?.. «Жой грѣхъ, эка бѣда», думалъ онъ: «жены-то я не люблю: пускай-бы испутная казанъ была, а то баба-то добрая, хорошая, души во мнѣ не слышитъ, жалко мнѣ се, все-бы для нея сдѣлалъ, а поди вотъ ты, сердце къ ней не делитъ... Не потернть мнѣ Богъ за это!.. Вѣдь вотъ передъ Богомъ, въ церкви, давалъ обѣщаніе любить се, а что дѣлаю?.. Сидитъ она, молчитъ, не глядитъ, работаетъ—ну, ничего, взгляну на нее, даже жалости возьметъ, такъ-бы и обнялъ, и приголубилъ; а начнетъ она ко мнѣ ластиться, да тѣловаться, либо теперь плакать, да приговаривать—ну, противно, не глядѣли-бы мои глаза... Что ты станешь дѣлать? И жалко мнѣ се, и совѣтъ зазрять, а итъ вотъ, не лоба, не таность меня къ ней»...

Но не въ этихъ однихъ размышленіяхъ заключалась деликатность чувства Алексѣя. Онъ проявилъ ее во время обычной гулянки новобранцевъ:

«Какъ охотникъ, какъ назначенный въ рекруты, Алексѣй, по обычаю, освобождался отъ всякихъ домашнихъ работъ и заботъ, и гулялъ заурядъ съ другими назначенными къ поставкѣ, но гулялъ какъ-то тихо, уныло, никто его не замѣчалъ, никто о немъ

не разсказывал, никаких шуток он не выкидывал, пьяные ребята редко заходили звать его в свою компанию, но и не гнали прочь, когда он приставал к ним и тянул с ними общую водку и пѣсню. Мало было даже и разговоров в деревнѣ о томъ, что вотъ Алеха идетъ охотой за брата; все смотрѣли на это просто и безъ удивленія, безъ похвалы, точно какъ будто такъ и быть слѣдовало. Въ деревнѣ, какъ и въ городѣ, скромность рѣдко оцѣнивается, и на сходкѣ міромъ больше тотъ ворахуетъ, у кого плетка шире, да за словомъ, хотя и не больно умнымъ, въ кармаиш не похвѣетъ. Даже въ семьѣ своей поступокъ Алексѣя скоро потерялъ свою цѣну: Павелъ и жена его, убѣдившись въ неизмѣнности намѣренія Алексѣя и не вида съ его стороны ни малѣйшей требовательности, ни малѣйшаго желанія напомнить о своемъ самопожертвованіи, почти не считали себя ничѣмъ ему обязанными, по крайней мѣрѣ, не думали объ этомъ.

Все это очень добродѣтельно похвально, и, конечно, не похоже на гулянку Степана, но все это одни только цвѣточки, ягоди впереди... Свою добродѣтель и деликатность чувствъ Алексѣй завершилъ подвигомъ, но истиннѣ, умильнѣющимъ. Въ довершеніе гулянки, онъ вознамѣрился пойти проститься со своею прежнею барынею и пригласить ее къ себѣ въ гости провести съ нимъ послѣдній вечеръ... Да мало того, что самъ онъ отправился къ барынѣ, но и увлекъ своего двоюроднаго брата Степана, того самаго демоническаго Степана, который отмачивалъ такіа штуки надъ своими родными. По этому поводу у нихъ произошелъ такой разговоръ:

— Слушай-ка, Степа, пойдешь ты къ барынѣ проститься?

— А кого дѣшата я не видалъ у нея?

— А проститься-то надо-же? Подемъ, братъ, и я пошель-бы съ тобой...

— Да развѣ только то, что чаею или кофеемъ напоить; а то плавать я хотѣлъ проститься-то съ ней...

— Да что она? вѣдь она тебя не обижала? Тебѣ грѣхъ на нее жаловаться... Пойдемъ-ка, полно... Мнѣ одному-то идти ровню какъ не того... Да и я не бывалъ никогда... А сходить-то надо... Подемъ...

— Ну, подемъ...

И они пошли. У барыни въ гостяхъ Алексѣй вдругъ вздумалъ отрывать ей всю свою душу, повѣрять все свои горести, разрюмился и растаялъ паренъ со-всѣмъ.

— Не надивлюсь я на себя: ну-ка, что я вамъ наговорилъ, откуда у меня столько рѣчей-то набралось... Не говоривалъ, кажись, столько отродясь... а вы сидѣли, да слушали меня... Дай вамъ Богъ за то радости, а мнѣ ровню пооблегчало... Ну, прощайте... Пора ужъ мнѣ... Вотъ что, магушка, попросилъ бы я тебя, да не знаю какъ... не прогнѣваешь-бы ты...

— Что, что такое? Говори, Алеха; я рада радостью...

— Погости ты у меня ужъ... Приходи ко мнѣ въ гости, вотъ и съ дочками, все приходите... а? Будь мать родная... И сегодня выпрону у брата, чтобы мнѣ хоть одинъ денекъ побольшичить въ дому, а ты и приходи ко мнѣ... Али тебѣ непригоже?

— Изволь, изволь, непримѣнно приду... Все придетъ...

— Ну, вотъ ужъ покорнѣйше благодарю... Вотъ благодарю... Ужъ буду радъ—приходите... Ну, а теперь прощайте пока.

Барыня проводила Алексѣя со слезами и благословеніями...

Неправда-ли, какъ это все умильнѣно. Выходитъ въ концѣ концовъ, что Потѣхинъ какъ будто нароч-

но написалъ повѣсть для того, чтобы провести въ ней слѣдующую нравственную сентенцію: если тебя отдадутъ въ рекруты, то не предавайся съ горя пьянству или дебошнрству, не слѣдуй дурному прихвѣру развращеннаго Степана, а поступай такъ, какъ поступалъ исполненный деликатныхъ чувствъ Алексѣй: будь благонаравенъ и трезвъ до послѣдняго дня, а если хочешь разгуляться да побольшичить въ послѣдній день, то ступай не въ кабакъ, а въ какому нибудь начальству, пастоящему или бывшему, отдай ему достоюлажный поклонъ, пригласи его на пирушку и проводи послѣдній день гулянки въ лестномъ для тебя сообществѣ съ людьми чиновными и высокопоставленными, памятуя мудрый завѣтъ отцовъ, что сообщество съ людьми высшими возвышаетъ писшаго до нихъ.

За такое добродѣтельное поведеніе Алексѣй получилъ похвальный отзывъ и отъ своей тетюшки Прасковьи.

— А барыню развѣ звалъ? спросила она, когда онъ пришелъ пригласить ее на пирушку и объявить, что у него будетъ въ гостяхъ барыня.

— Звалъ.

— Ну, доброе дѣло, умно; хваю за то. У васъ народъ на все взвѣденъ, самъ не знаетъ за что... Что барыня? Такъ чѣмъ она виновата, что барыня, коли такъ ее Богъ уродилъ... Вотъ были и все за крѣпости, а теперь царь отмѣнилъ, стала воля... Такъ она-то въ чемъ тутъ причина? нѣтъ, какъ были крѣпостные, такъ барыни боялись и почитали, а теперь — ругать, да нарывать какъ обидѣты; не хорошо, а этого не хваю... А ты хорошо сдѣлалъ, умно...

— Э, да, вѣдь, ты бы посмотрѣла, тетюшка Прасковья, какъ меня въ господскомъ-то дому привычали... ровню я не мужикъ... Даже все сердце мое къ барынѣ раскрылось...

— Что-же? Барыня она добрая завсегда была... И впередъ Алексѣюшка никогда не смотри на людей и не дѣлай за людьми, а дѣлай такъ, какъ Господь тебѣ на душу положилъ... Доброе дѣло, доброе дѣло, годубчикъ... Умница ты у меня, люди-то только въ тебѣ пути не знали...

И правду говорила старушка; дѣйствительно, что за умница была Алексѣюшка. Въ одномъ только она ошибалась, что будто люди пути въ немъ не знали. Какіе это люди? Развѣ какіе-нибудь Степаны и прочіе въ этомъ родѣ, не понимавшіе, какое счастье и высшее наслажденіе въ жизни, когда къ тебѣ вдругъ придетъ въ гости барыня. Люди-же, наивнѣе понятіе объ этомъ наслажденіи, конечно, знали толкъ и въ Алексѣѣ, и съ своей стороны скажу, что Алексѣя съ своими деликатными чувствами, безъ сомнѣнія, пошелъ далеко, давно уже обогналъ всехъ своихъ товарищей, тѣмъ болѣе, что барыня общала писать, чтобы на него обратилъ вниманіе, если у нея окажутся знакомые въ томъ полку, куда онъ попадетъ; ужъ навѣрное кто въ кто, а Алексѣй выслужится въ унтеръ-офицеры...

Такъ вотъ какого рода добродѣтельныхъ крестьянъ рисуешь намъ Потѣхинъ.

## V.

Потѣхину удается иногда создать такой сюжетъ, который имѣетъ свое реальное значеніе, является очевидно не искусственно придуманнымъ, а взятымъ изъ жизни, но такъ ужъ несчастная линия Потѣ-

хана, что вмѣсто того, чтобы продунать подобный свѣтъ и представить его во всей жизненной правдѣ, Потѣхинъ съуделетъ и его подвести подъ рутинныя нравственныя тенденціи. Таковъ, напримѣръ, сюжетъ знаменитой драмы Потѣхина „Чужое добро въ прокъ не идетъ“.

Представьте себѣ крестьянина, содержателя постоялаго двора и ямской станции на большой торговой дорогѣ, человѣка зажиточнаго, расчетливаго скопидона, который держитъ всю семью въ ежевыхъ рукавицахъ и требуетъ, чтобы домочадцы безпрекословно исполняли его волю и работали на него, какъ рабы. Между тѣмъ у него двое уже взрослыхъ сыновей, изъ которыхъ одинъ, Михайла, человѣкъ уже женатый и въ свою очередь отецъ семейства.

Однимъ словомъ, передъ вами картина патриархальнаго родового быта, остатки котораго и теперь еще не въ рѣдкость встрѣтите въ средѣ крестьянства и хуличества, и вы видите передъ собой все то растлѣвающее вліяніе, какое производитъ родовое деспотство на людей, подчиненныхъ ему.

Извѣстно, что родовое деспотизмъ въ средѣ домочадцевъ развиваетъ постоянно два рода типовъ. Одни люди, не одаренные ни силою, ни упрямостью природы, безпрекословно склоняются подъ иго деспотизма, отрываются совершенно отъ своей воли и обезличиваются до послѣдней степени. Все свое человеческое достоинство они позлагаютъ въ томъ, чтобы смотрѣть на все глазами своего повелителя, всячески угождать ему и безпрекословно во всемъ повиноваться; въ этомъ заключаются въ ихъ глазахъ высшій нравственный долгъ и всевозможная человѣческая добродѣтели; въ этомъ-же они предугадываютъ и единственный ключъ къ достиженію всевозможнаго благополучія. И они не ошибаются; дѣйствительно, отрѣшившись отъ своей личности они съ одной стороны приобретаютъ внутреннее сознание своего нравственнаго совершенства, смотря на свое рабство, какъ на самоотверженіе въ пользу долга, съ другой стороны — приобретаютъ и внѣшнюю славу, такъ какъ ихъ поведеніе ставится въ примѣръ людямъ, менѣе добродѣтельными и послушными, чѣмъ они; съ третьей стороны — и что самое главное, они приобретаютъ благоволеніе со стороны своихъ повелителей; вслѣдствіе чего, ихъ постоянно во всемъ отличаютъ, ставятъ впередъ; такимъ образомъ, они пролагаютъ путь къ своему матеріальному благосостоянію, и когда, наконецъ, получаютъ самостоятельность по смерти, напримѣръ, родового повелителя, когда обзаводятся своею собственною семьей, воспитанные въ духъ семейнаго деспотизма, они сами дѣлаются деспотами-самодурами и отъ своихъ домочадцевъ требуютъ такъ-же добродѣтелей — безпрекословнаго повиновенія и уваженія, какія практиковали по отношенію къ своимъ родителямъ.

Другого рода люди, по силѣ и кичности своей натурѣ, никакъ не могутъ выносить безропотнаго рабства; терпѣть и ждать, пока судьба изъ подчиненныхъ сдѣлаетъ ихъ повелителями, не въ ихъ характерѣ. Имъ хочется сразу избавиться отъ всякой опеки и начать жить самостоятельную жизнь, никому не кланяясь и ни отъ кого не завися. Кромѣ того,

имъ кажется тѣсенъ узкій міръ семейныхъ обязанностей, они не могутъ вынести монотонной жизни рабства въ видѣ вѣчнаго торчанья за прилавкомъ, вѣчной бѣды между двумя станціями и проч. Имъ хочется вездѣ побывать, все увидѣть, испытать, однимъ словомъ погулять по бѣлу свѣту, и людей повидать, и себя показать. Изъ такихъ натуръ, конечно, послушныхъ сынковъ не выходитъ, но за то при благоприятныхъ условіяхъ развиваются Ломоносовы, которые, бросая родительскій кровъ, идутъ, куда глаза глядятъ, преклинные своими самодурами родовыми владыками, но возвращаются черезъ нѣсколько лѣтъ великими людьми. Конечно, не всѣ изъ нихъ кончаютъ такъ счастливо; рядомъ съ Ломоносовыми изъ такихъ-же людей вырабатываются и разбойники. Иные изъ нихъ не имѣютъ столько силъ, чтобы сразу скинуть съ себя онеку, ограничиваются именованными вышниками противъ своего владыки, ищутъ разгула гдѣ-нибудь на сторонѣ и за глазами отъ повелителя; такого рода люди составляютъ уже переходную ступень отъ идеальнаго — послушныхъ домочадцевъ къ рѣшительно-непослушнымъ. Постоянное вѣтаніе между послушаніемъ и непослушаніемъ, вѣчная забота о томъ, какъ-бы скрыть веселые разгулы на сторонѣ — все это крайне растлѣваетъ ихъ, изъ нихъ дѣлаются безхарактерные, драбные люди и ни къ чему неспособные пьяницы и развратники, но и въ такомъ случаѣ причины ихъ нравственнаго паденія слѣдуетъ искать не въ нихъ самихъ, а въ ненормальности условій родового быта. Къ тому-же, какъ-бы низко ни падали они, а все-таки въ яло-малыски живомъ человѣкѣ они способны возбудить гораздо болѣе симпатіи, чѣмъ тѣ идеальна-добродѣтельные послушники, о которыхъ мы выше говорили; и знаете-ли: случается въ жизни зачастую, что когда разоряется родитель, когда подъ старость, немощный, онъ не знаетъ, куда преклонить голову, онъ скорѣе находитъ пріютъ въ домѣ блуднаго сына, чѣмъ идеальна-послушнаго, котораго онъ ставилъ всегда въ примѣръ блудному. Всѣ эти вещи хорошо всѣмъ извѣстны со временъ Исаа, продавшаго первенство своему младшему брату Якову за чечевичную похлебку, со временъ Шекспира, изобразившаго въ королѣ Лирѣ безразсуднаго деспота-родителя, оцѣнивающаго своихъ дѣтей по наружному виду ихъ подобострастія къ нему, со временъ Шиллера съ его „Разбойниками“.

Въ драмѣ Потѣхина мы видимъ оба вышеупомянутые типа въ лицѣ сыновей Степана Федорова, Алексѣя и Михайла. Въ самомъ началѣ драмы мы встрѣчаемъ сцену, рельефно характеризующую обоихъ братьевъ во всей существенности различія ихъ характеровъ. Вотъ эта сцена:

*Михайло.* Ну, что, Алекса, въ городѣ ярманка, гуляютъ?

*Алексѣй.* Гуляютъ.

*Михайло.* Народу, чай, гибель?

*Алексѣй.* Много.

*Михайло.* Эхъ, чай, весело! Бахаганы, чай, паяцы, выставка?

*Алексѣй.* Миѣ-га все равно.

*Михайло.* Такъ неужто, фая, не погулять?

*Алексѣй.* Что мнѣ... гулять-то! Я не... не надо мнѣ.

*Михайло.* Так неужто прищевы или ореховы не кушешь? Чай, вѣдь, на водку-то дали?

*Алексѣй.* Дали... гривенникъ.

*Михайло.* Чай, опять отцу отдашь?

*Алексѣй.* Известно... мнѣ куда? мнѣ-ка не надо.

*Михайло.* Слушай, Алеха! ты хоть дуракъ, а обиду мнѣ дѣлаешь. Теперь батля всегда мнѣ глаза тычетъ, что ты всякую на-водку ему отдаешь...

*Алексѣй.* Такъ что мнѣ? на что мнѣ? деньги не мои... Я сытъ, одѣтъ... все отъ батюшки... его деньги.

*Михайло.* Да ты дуракъ, такъ по дурачки и толкуешь! Наводку твою, и отецъ не требуетъ.

*Алексѣй.* Мнѣ не надо.

*Михайло* (передразнивалъ его). Э! мнѣ не надо! Бабы мнѣ подошлось въ городъ что свести, да въ ярманку-то... ну ужь я-бы, какъ-бы, развизалъ поше. Да я и теперь, братъ, такое волѣно загнулъ, что люблю-два. Тако колѣно, Алеха... слышь ты! везь я двухъ молодцевъ, съ ярмарки ѣхали... Пародь—кущи, гулшій... съ ярманки; значить, денегъ много... Я, это дѣло сейчасъ смекнувши, говорю: «Господа-кущи, прикажите удовольствіе сдѣлать... какъ быть порассейски... аванчикъ выкинуть?»—Катай, говоритъ.—«А на водку много-ли будетъ?»—Ну, ужь, говорить, будетъ.—«Полтинничекъ пожертвуете, такъ сдѣлаемъ!»—Полтинникъ такъ полтинникъ—жертвуемъ, говоритъ, дѣлай.—«А какой, молъ, вамъ аванчикъ сдѣлать: нѣмецкій, французскій или рассейскій? Рассейскій вѣкъ будетъ позабористѣе, только дороже стоитъ: къ полтинничку гривенничекъ припишите?» Ну ужь, Алеха, и сдѣлалъ! Въ корню-то у меня Савраска, а на пристяжи-то справа Дьяволокъ, а слева — Бутузка. Какъ я, братъ Алеха, позки-то подобралъ, да привсталъ, да по вѣбъ по тремъ задкамъ провелъ разъ, да два, да какъ вскрикну: «батюшки, воры!.. родимые, грабать!.. душа, вынеси!» Какъ они, братъ, у меня запылали, да подхватили: Савраска-то, какъ шарикъ, Бутузка—кольцомъ, а Дьяволокъ и рветъ, и землю роетъ, огнемъ пашетъ!.. Эхъ, не рости зелена трава, не свѣти свѣтеть мѣсяцъ! (Воодушевляясь). Только ухъ, ухъ... Ну, ну...

*Алексѣй* (тоже воодушевляясь). Да... Ахъ! у... ухъ!.. Важно!

*Михайло* (въ увлеченіи). О! О! бѣда, Алеха! духъ захватываетъ... ровно вихорь какой... земля дрожитъ! только колесо за колесомъ поспѣвай; а они-то, мои соколки, трах! трах!.. Ну, потѣшилъ свою душеньку, ровно всю землю пролазюшь, ровно полнебомъ побивалъ...

*Алексѣй.* Ну, ну?

*Михайло.* Ну, пѣловый, какъ сѣть, отвалвай.

*Алексѣй.* Полно?

*Михайло.* Вѣрно слово! Ну за то и уваженіе сдѣлалъ...

*Алексѣй.* Лошадей-то, чай, шибко вспарилъ?

*Михайло.* Ещѣ-бы не вспарить! часа полтора водилъ: насплу отдавались.

*Алексѣй.* А что батюшка-то?

*Михайло.* Такъ, пустая голова, глупый твой разумъ, неужто я ему сказалъ? Ты не вздумай сказать!

*Алексѣй.* Такъ цѣловый-то развѣ не отдашь?

*Михайло.* Такъ неужто отдашь? Я, чай, за свою послугу получилъ... онъ самъ не пренатетъ: что, говорить, за послугу дадутъ, то твое.

*Алексѣй* (качаетъ головой). Негоже...

Изъ этой сцены ясно видно все различіе между двумя братьями. Съ одной стороны, передъ вами идеально-добродѣтельный Алексѣй, являющийся, что называется, plus royaliste que le roi, и доводящій свою педагогическую легальность до того, что отдаетъ отцу каждый гривенникъ, полученный на-водку, хотя отецъ вовсе этого и не требуетъ; съ другой сторо-

ны, Михайло, человекъ живой, страстный, увлекающийся, и такимъ является онъ во всей драмѣ: онъ тяготитъ гнетъ отцовскаго деспотизма, и онъ постоянно мечтаетъ о раздѣлѣ, его тяготитъ жена, навязанная ему, по всей вѣроятности, насильно, ему хочется разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотреть, пошатать!.. Эхъ, говоритъ онъ: — какъ-бы, кабы деньги, всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удовольствіе получить, да такихъ-бы лошадей тамъ себѣ купилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто, неси вихорь-атаманъ... разнеси ты мои косточки!.. Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же дѣлать, если такова ужь была его обстановка, что не могла внушить ему болѣе высокихъ и разумныхъ стремленій? Что-же дѣлать, если судьба свела его съ дряннымъ, развратнымъ Леонидомъ Константиновичемъ, а не послала ему человека, который могъ-бы дать какой-нибудь иной исходъ его жалкѣ разгуляться. Въ этомъ виноватъ не Михайло, а наша жизнь, которая не успѣла выработать для мужика ничто другого, кромѣ кабака; виноваты, можетъ быть, и мы сами, оградившіе себя непроницаемою китайскою стѣною отъ народа, да въсѣми нашими высокими и разумными стремленіями, и обрекшіе народъ на жерлцу Леонидамъ Александровичамъ всякаго рода... Но и въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами Михайло способенъ неизмѣримо болѣе возбудить въ насъ симпатіи, чѣмъ Алексѣй, этотъ истуканъ, мведшій свое обезличеніе до отсутствія всякаго живого стремленія, ничего не желающій, не стѣбующій и смотрящій, какъ на великій грѣхъ, на каждый самостоятельный шагъ помимо отцовской воли! Въ такомъ видѣ, въ какомъ является передъ нами этотъ жрецъ патріархальнаго культа въ вышеприведенной сценѣ и во всей драмѣ, онъ возбуждаетъ рѣшительное нравственное отвращеніе...

Я не знаю, какъ-бы распорядился истинно-реальный художникъ съ этими двумя типами, задуманными, какъ видите, весьма умно; но, Воже мой, что сдѣлать изъ нихъ Потѣхинъ. Начать съ того, что онъ самъ всталъ на точку зрѣнія патріархальной морали Степана Федоровича, и Алексѣй вышелъ у него добродѣтельнымъ героемъ драмы, положительнымъ, идеальнымъ типомъ, отбѣняющимъ собою отрицательный типъ развратнаго Михайлы и служащій, конечно, для того, чтобы читатель могъ отдохнуть душою въ такомъ свѣтломъ явленіи. Однимъ словомъ, вышелъ также исторія, что и съ „Двумя охотниками“. Къ тому же вмѣсто того, чтобы вывести дѣйствіе вполне естественно изъ самаго драматическаго положенія дѣйствующихъ лицъ, Потѣхинъ сочинилъ искусственную завязку, введя въ драму случайный эпизодъ въ видѣ внезапно свалившихся съ неба 30,000... Это богатство нечаянно обринулъ пробѣжній купецъ. Михайло нашелъ деньги, по отцу, по праву родительской власти, отпаялъ ихъ отъ сына. Въ то время, какъ добродѣтельный Алексѣй постоянно твердилъ, что чуждыя деньги слѣдуетъ возвратить по принадлежности, Степанъ Федоровичъ не очень-то желалъ идти по пути добродѣтели и припряталъ деньги, а чтобы смирить и заставить молчать Михайлу, началъ выдавать ему по мелочамъ на кутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ми-

каждо, стаянувшись съ развращеннымъ чиновнической Леонидомъ Александровичемъ, рѣшился, по наученію поствѣднато, силою отнять у отца деньги, а въ случаѣ сопротивленія пожалуй и убить его. — Но добродѣтельный Алексѣй все это подслушалъ и предупредилъ (замѣчательно, что въ нашей беллетристичѣ ideally-добродѣтельные герои постоянно зажимаются подслушиваньемъ, подсматриваніемъ и предупрежденіемъ преступленій, и это не у одного Потѣхина, а у всѣхъ писателей, выводящихъ идеальные типы). Драма кончается умиительно: Степанъ Федоровичъ прощаетъ, но просьбѣ все-таки того-же добродѣтельнаго Алексѣя, своего преступнаго сына, который обѣщается исправиться и пребывать впредь въ полномъ повиновеніи своему родителю, и въ тоже время старикъ обѣщаетъ отвезти по принадлежности деньги, надѣлавшія столько бѣды, на томъ основаніи, что чужое добро въ прокъ не идетъ. Такимъ образомъ, въ заключеніи драмы и оказывается, что причину всѣхъ бѣдъ слѣдуетъ искать не въ ложности условій жизни и отношеній между собою дѣйствующихъ лицъ, а въ пошлостѣ присвоенія чужихъ денегъ, и не будь этого случайнаго низвода, все-бы шло какъ по маслу въ пользу Степана Федоровича, да и впредь, конечно, все будетъ обставлено благополучно вслѣдствіе того, что старикъ рѣшился возратить купцу потерянные послѣдніе деньги. Такимъ образомъ Потѣхинъ и свелъ свою драму на слѣдующую прописную тенденцію: если найдены на дорогѣ деньги, то слѣдуетъ отдать потерянному, или-же представить ихъ поскорѣе въ часть, а въ противномъ случаѣ тебя могутъ постигнуть всевозможныя бѣдствія, потому что чужое добро въ прокъ не идетъ.

## VI.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ такими произведеніями Потѣхина, въ которыхъ, хотя дѣло и сводится въ концѣ-концовъ на рутинно-моральныя тенденціи, но все-таки въ основаніи мы видѣли кой-какія реальныя черты, взятныя очевидно изъ жизни и только легко понятныя и фальшиво освѣщенныя. Но у Потѣхина есть такого рода произведенія, въ которыхъ реальнымъ чертъ жизни вы не встрѣтите и слѣда, которымъ дѣлкомъ состоятъ изъ однихъ нравственно-сентиментальныхъ воздыханій, въ которыхъ дѣйствующія лица — и крестьяне, и дворяне, только и дѣлаютъ, что морализируютъ, умиляются и изрѣкаютъ различныя душевспасительныя сентенціи... Таковъ, напримеръ, романъ „Крестьянка“ и продолженіе этого романа въ видѣ драмы „Шуба овечья, душа человѣчья“. Героиней этихъ двухъ произведеній является ideally-добродѣтельная крестьянка, воспитанная сентиментально-добродѣтельнымъ вѣщомъ, уравновѣщимъ ювнѣи. Въ продолженіи всего романа она борется со своею страстью къ сосѣднему молодому помещику-дворянину, который имѣетъ непреклонное намереніе обольстить ее; но добродѣтель ея торжествуетъ въ концѣ романа и коварный обольститель уходитъ съ вѣсомъ. Въ драмѣ-же „Шуба овечья, душа человѣчья“ добродѣтель этой самой героини награждается подъ именемъ законнымъ бракомъ съ другимъ помещикомъ,

который оказывается великодушнѣе перваго и на балу, при всемъ собраніи дворянъ, громогласно объявляетъ, что онъ беретъ подъ свое покровительство угнетенную невинность и, пренебрегая всѣми свѣтскими предразсудками, предлагаетъ ей руку, несмотря на то, что онъ благородный дворянинъ, а она подлая крестьянка... Умиительно!...

Изъ такого-же рода нравственно-сентиментальнымъ воздыханіямъ принадлежитъ и драма „Судъ людской не Воли“ . Довольно сказать, что вся эта драма основана на роковомъ дѣйствіи родительскаго проклятія. Крестьянская дѣвушка слобилась съ парнемъ; парень посватался къ ней, но отецъ, крестьянинъ зажиточный и гордый, не согласился на бракъ дочери съ бѣднякомъ, а узнавши, что она уже слобилась съ нимъ, изрекъ свое родительское проклятіе, которое такъ подействовало на дѣвушку, что она упала въ обморокъ и потомъ помѣшалась. Старикъ отецъ спохватился, но поздно. Въ отчаяніи и сокрушеніи сердца отправился онъ вмѣстѣ съ возлюбленнымъ дочери въ Кіевъ на богомолье. На возвратномъ пути они встрѣтили на постояломъ дворѣ полупомѣшанную дѣвушку. Слѣдуетъ умиительная сцена: дѣвушка приходитъ въ себя, отецъ прощаетъ ее, милый предлагаетъ ей руку, но она отказывается ему на томъ основаніи, что во время сумасшествія ей свались всѣ адскія муки, и она дала обѣтъ никогда съ милымъ не сходитьсь, а всю жизнь посвятить Богу и отцу. Въ отчаяніи милый идетъ въ солдаты, а присутствующій при этомъ пошлѣщикъ Скрипуновъ, утирая слезы, восклицаетъ: „тронгательная исторія! Именно наши крестьяне (дѣлаютъ въ воздухѣ неопредѣленное движеніе рукою) удивительный народъ!.. съ душой!..“ . Послѣ подобныхъ сентиментальностей, естественно, натякаешься какъ на оазисъ въ степи и отдыхаешь душою, читая романъ „Вѣдныя дворяне“. Оттого-ли, что въ этомъ романѣ Потѣхинъ имѣетъ дѣло съ средою, болѣе ему знакомою, чѣмъ крестьянская, или на Потѣхина нашель уже такой моментъ просвѣтленія, когда онъ писалъ этотъ романъ, но только въ этомъ произведеніи онъ стоитъ вполнѣ на реальной почвѣ. Вы не найдете здѣсь и слѣда сентиментальной морали, ни жалгшнаго побужденія къ изображенію добродѣтельныхъ героевъ, отрекающихся отъ своей человѣческой личности ради сохраненія невинности и видящихъ высшій нравственный идеалъ въ смиреннотудрин, безлюбіи, уваженіи къ старшимъ, повиновеніи и пр. Героемъ романа является бѣдный дворянинъ Никаноръ Александровичъ Осташковъ, воспитанный совершенно, какъ крестьянинъ и ничѣмъ не отличающійся отъ окружающихъ его мужиковъ. Находящійся подъ сильнымъ влияніемъ тетки, женщины эмиллионной и энергической, и безпрекословно подчинившись ей во всемъ, человекъ недалекаго ума, онъ является въ началѣ романа передъ нами трудолюбивымъ парнемъ, способнымъ сдѣлаться усерднымъ хозяиномъ-земледѣльцемъ. Но женившись на дочери вольноотпущенной дворовой, онъ подчиняется новому влиянію тещи Пракскови Федоровны, которая совращаетъ его съ правильнаго пути, твердя ему, что онъ дворянинъ, что ему слѣдуетъ идти въ дворянское общество, гдѣ онъ имѣетъ право быть принятымъ на равной ногѣ, гдѣ онъ

может приобрести и покровительство, и участие, может приобрести знание хороших манер, где его всему научат и впоследствии определят на какую-нибудь дворянскую службу. Подобная внушения кончили тем, что Прасковья Федоровна повела его, наконец, къ дворянскъ и втиснула въ ихъ кругъ. Но что-же обрѣлъ въ этомъ кругу бѣдный Осташковъ вместо ожидаемаго участія, покровительства, ученія и опредѣленія на службу? Дворяне начали глумиться надъ ихъ собратомъ, нежданно негаданно вторгшимся въ ихъ среду съ внѣшностью мужика съ головы до ногъ; его наряжали въ разные шутовскіе костюмы, били палочками, травили собаками, однимъ словомъ, онъ явился въ ихъ общество въ качествѣ шута. Сначала такое положеіе тяготило Осташкова, но потомъ онъ мало-по-малу втиснулся въ свою должность шута, ему понравилась возможность жить на чужихъ хлѣбахъ, ничего не дѣлая и получая сверхъ того подачки. Картина постепеннаго превращенія Осташкова изъ скромнаго, честнаго труженника въ дѣтлая-дармоѣда, пресмыкающагося у разныхъ благодѣтелей-милостивцевъ, терпѣливо переносящаго всевозможныя поруганія, подобострастно кланяющагося, восхваляющаго и униженно выпрашивающаго разныхъ подачекъ, надо отдать справедливость, исполнена Потѣхинымъ мастерски. Съ другой стороны, переводъ своего героя отъ одного благодѣтеля къ другому, Потѣхинъ раскрываетъ передъ нами такую ужасающую картину праздности, пьянства, разврата, грубаго животнаго эгоизма, дикаго безчеловѣчія, гордаго высокомерія и дряблой безхарактерности, что волосы становятся дыбомъ, читая все это, и между тѣмъ все это совершенно правдиво и реально, безъ малѣйшихъ преувеличеній и искаженій. Однимъ словомъ за однихъ „Видныхъ дворянъ“ можно простить Потѣхину всѣ грѣхи его прочихъ произведеній.

Случай „Видныхъ дворянъ“ съ остальными произведеніями, невольно приводитъ къ мысли, что Потѣхинъ не понималъ своего таланта и не умѣлъ постоянно держаться своей настоящей дороги. Начать съ того, что Потѣхинъ большую часть своей литературной дѣятельности посвятилъ драматической поэзіи, тогда какъ онъ не созданы бытъ ни драматургомъ, ни комикомъ.

Для драмы необходимъ глубокій и смѣлый мыслитель, исполненный скептицизма и провін; между тѣмъ всѣхъ этихъ качествъ въ Потѣхинѣ нѣтъ и слѣда. Въ самомъ дѣлѣ, драма есть чадо переходныхъ эпохъ, она развивается тогда, когда рушится цѣлый кодексъ отжившей морали и притомъ рушится не передъ одними отвѣченными теоріями передовыхъ мыслителей, но въ самой жизни влѣтъ съ тѣми порядками, которые онъ освящаетъ. Цѣль драмы представить борьбу живыхъ, естественныхъ, человѣческихъ стремленій съ различными давними и сгбѣнными условіями жизни, являющимися въ видѣ мертвыхъ обычаевъ, предразсудковъ и всевозможныхъ заблужденій, коренищихся на почвѣ отжившаго быта. Поэтому истинный драматургъ непремѣнно долженъ стоять выше обшденныхъ міровоззрѣній толпы, онъ долженъ раскрывать толпѣ всю пелѣность, всѣ противорѣчія ея міровоззрѣній и показывать, къ какимъ трагическимъ послѣдствіямъ ведутъ подобныя міровоззрѣнія, какъ

отъ нихъ гибнутъ лучшія силы общества. Писатель же, который раздѣляетъ всѣ отжившія міровоззрѣнія толпы, ничѣмъ не возмущается надъ нею, наивно воображаетъ, что трагическое въ жизни является не иначе, какъ въ случаяхъ отступленія отдѣльных личностей отъ мудрыхъ правилъ уличной морали, — такой писатель не создастъ ни одной порядочной драмы. Злодѣи его будутъ всегда представлять неестественный мимодраматическій экстрактъ всякихъ гадостей или, напротивъ того, явятся вдругъ самыми симпатичными людьми изъ всѣхъ дѣствующихъ лицъ драмы, добродѣтельные же герои будутъ сентиментально-плаксивыми олицетвореніями сентенцій прописной морали и отталкивающими отъ себя приниженными пошляками. Въ цѣломъ же каждая драма такого писателя будетъ ничѣмъ инымъ, какъ иллюстраціей къ прописямъ и тѣмъ правоученіямъ, которыя печатались ивсегда въ старыхъ азбукахъ. Какъ писателю, стоящему не только на почвѣ обшденной рутинной морали, но не воиной отрѣшившемуся отъ морали узко-сословной, полагающему правдивость мужика прежде всего въ почтеніи и угожденіи барину, Потѣхину нечего и думать быть драматическимъ писателемъ. Это совсѣтъ не его область.

Точно также и комедія совершенно не въ духѣ Потѣхина. По лѣткому и совершенно ирриному замѣчанію Добролюбова, въ комедіяхъ Потѣхина недостаетъ смѣха, а это-то одно и составляетъ всю сущность комедіи. По моему же мнѣнію, стремленіе Потѣхина выводить въ комедіяхъ своихъ, рядомъ съ отрицательными типами, сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ главнымъ образомъ оттого и происходитъ, что онъ не обладаетъ смѣхомъ: не въ силахъ достаточно осязать своихъ героевъ, Потѣхинъ пошевелитъ чувствую потребность отгнѣнить ихъ и показать съотрицательное къ нимъ отношеніе выведеніемъ идеализированныхъ типовъ. Такимъ образомъ, положительные типы въ комедіяхъ Потѣхина играютъ роль хора древней драмы. Но такъ какъ эти типы выводятся постоянно на одинъ и тотъ же образецъ сентиментальной морали, то хоръ этотъ выходитъ очень однообразенъ, монотоненъ и плаксивъ!.. А между тѣмъ, обладая Потѣхинъ хоть частицею смѣха, и смѣхъ самъ собою выручилъ бы его, не смотря даже на всю обшденность его морали. Въ самомъ дѣлѣ, подумаемъ, чѣмъ Гоголь по своей морали стоялъ выше Потѣхина? Но онъ былъ истинный художникъ, обладавшій неслучайнымъ богатствомъ смѣха, и смѣхъ этотъ выручалъ его: ему незачѣмъ было морализировать, достаточно было представить своихъ героевъ во всей ихъ комическомъ безобразіи и заставить читателя смѣяться надъ ними отъ души. Читатель хохоталъ, и цѣлый рядъ явленій представлялся ему въ пелѣомъ видѣ, независимо отъ того, что писатель можетъ былъ глядѣлъ на пошность этихъ явленій совсѣтъ съ иной точки зрѣнія, чѣмъ читатель. Возьмите другого писателя прошлаго столѣтія — Фонъ-Визина. Подобно Потѣхину, онъ выводилъ сентиментально-добродѣтельныхъ героевъ, въ видѣ Правдина, Милова, Стародума. Мы считаемъ подобныя личности большимъ недостаткомъ комедіи Фонъ-Визина, личностями, совершенно лишними и ни къ чему ненужными, но не смо-

три на то мы все-таки уважаемъ комедіи Фонъ-Визва. Почему? Потому, что въ нихъ мы видимъ не одно сентиментальничанье, но и обильное количество смѣха. Отрицательныя личности фонъ-визвскихъ комедій не только отбываются добродѣтельными героями, но и сами по себѣ осмѣиваются, и въ этомъ смѣхѣ все достоинство этихъ комедій. Комедія же серьезная, безъ смѣха и съ сентиментально-плаксивыми воздыханіями—это не комедія, а селедка, посоленная вмѣсто соли сахаромъ. Комическій писатель, не умѣющий смѣяться—это слѣпой художникъ и глухо-нѣмой пѣвецъ...

Судя же по „Видимымъ дворянамъ“, настоящее призваніе Потѣхина есть скролный удѣлъ беллетриста-фотографа. Потѣхинъ долженъ, по моему мнѣнію,

воздерживаться всѣми силами отъ всякой попытки что либо художественно создавать, полагаясь на свою творческую фантазію, а тѣмъ болѣе пытаться выводить идеальныя типы, которые всегда у него выходятъ безжизненно отвлеченны, по причинамъ, о которыхъ мы достаточно трактовали въ этой статьѣ. Удѣлъ Потѣхина—изображать безхитроство ту обыкновенную дѣйствительность, которая окружаетъ его и съ которою онъ хорошо знакомъ, изображать ее во всей правдѣ, какъ она ему представляется, ничего къ ней не присочиняя и не подвергая ее никакимъ правдивнымъ приговорамъ. Читатель самъ будетъ знать, какіе ему сдѣлать выводы изъ подобныхъ изображеній. И если Потѣхинъ не слѣдовалъ постоянно этому пути, то остается только пожалѣть объ этомъ.

## НАША СОВРЕМЕННАЯ БЕЗЗАВѢТНОСТЬ.

Альбомъ — Группы и портреты. Хвощинской. (См. «Вѣстникъ Европы» № 12, 1874 г., и №№ 2 и 10, 1875 г.)

### I.

Идете-ли вы ясное понятіе о томъ, какое различіе между произведеніями, откликающимися на современные вопросы жизни, и попадающими въ салуу жилку современности? Я убѣжденъ, что многіе изъ насъ не приходило даже и въ голову вопроса о подобномъ различіи. Откликается авторъ на тѣ или другіе изъ текущихъ вопросовъ, обсуждающихся въ передовыхъ статьяхъ газетъ, воскресныхъ фельетонахъ и въ журнальныхъ обзорѣяхъ—и чего же больше, какой еще вамъ нужно такой особенной жилки? Весьма многіе изъ беллетристовъ и драматурговъ такъ, именно, и понимаютъ задачу искусства „откликаться на вопросы жизни“. Такъ, въ знаменитое „наше время, когда“, въ эпоху поднятія цѣлаго ряда вопросовъ о взяточничествѣ, откупахъ, крѣпостномъ правѣ и пр. и пр., сколько появилось произведеній, выставляющихъ отвратительныхъ взяточниковъ, жирныхъ, оторченныхъ откупщиковъ, звѣрообразныхъ помещиковъ и помещицъ, злоупотребляющихъ своимъ крѣпостнымъ правомъ, и рядомъ съ ними благодѣтельныхъ администраторовъ, являвшихся насаждать честность, правду, гуманность, уваженіе къ закону и правосовіе торчѣя, исполненныя паюса рѣчи объ исчезновеніи врака, о наступленіи зари новаго сіающаго дня и о своей высокой, гражданской доблести. Засѣвъ, въ смутную эпоху 60-хъ годовъ, развѣ мало появилось произведеній, въ которыхъ пародировали расстрѣпанные и всесторонне нигилисты, поправшіи всякія женскія стыды и пустившіяся во все тѣмнѣя стрѣльеныя нигилистки и рисовались передъ вами пьесскія слуты со всею ихъ подпольною адскою интригою. — А пьесы вышли на сцену адвокаты, концессіонеры, дѣльцы. А нынѣ, посмотрите, обходится ли хоть одинъ общественный вопросъ и обществен-

ный скандалъ безъ того, чтобы такъ или иначе не отразился въ беллетристичѣ—если не прямо, то въ соответствующихъ характерахъ и положеніяхъ.

Но какъ ни много въ послѣдніи 15 лѣтъ появилось романовъ, повѣстей, комедій, очерковъ, откликающихся на вопросы жизни, произведенія же, попадающихъ въ жилку современности, всегда выходили, выходятъ и, по всей вѣроятности, будутъ выходить въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Они отличаются отъ другихъ тѣмъ, что изъ чтенія ихъ выносите не одно только эстетическое наслажденіе, но одно оправданіе, порицаніе или объясненіе какихъ-нибудь частныхъ явленій, совершавшихся передъ вами; они обнаруживаютъ передъ вами салую суть современности, открываютъ передъ вами такія пропасти, на краю которыхъ стоите вы сами, такія трагическія катастрофы, въ которыхъ вы сами признаете себя дѣйствующимъ лицомъ; поэтому они возбуждаютъ въ васъ рядъ роковыхъ мыслей, отъ которыхъ вы не въ силахъ отдѣлаться; мало того, пробуждаютъ въ васъ совѣсть, сокрушеніе о вашей собственной несостоятельности, заставляютъ васъ содрогнуться, подобно тому, какъ заставила содрогнуться цѣлюющихъ та огненная надпись, которая появилась вдругъ на стѣнахъ дворца Вальтасара. Очевидно, что не много произведеній, способныхъ производить на васъ подобное впечатлѣніе. По большей части, читая произведеніе, вы остаетесь холоднымъ зрителемъ раскрываемой передъ вами картины и смотрите на нее, какъ на нѣчто совершенно для васъ постороннее. Возьмите, для примѣра, хотя бы „Злобу дня“ Потѣхина. Она-ли не откликается на самый, повидимому, животрепетущій вопросъ жизни, именно, вопросъ объ особенномъ увеличеніи числа самоубійствъ въ послѣднее время; мало этого, авторъ въ своей комедіи вывелъ даже дѣйствительный фактъ, „быль“, какъ говорили прежде. А между тѣмъ, вы

смотрите на эту пьесу холодно, и дѣйствіе, развиваемое въ ней, представляется вамъ чѣмъ-то совершенно чуждымъ для васъ лично. — Вы, безъ сомнѣнія, не принадлежите ни къ числу тѣхъ родителей, которые способны отдать замужъ свою дочь за безобразнаго кушца ради поправленія своихъ обстоятельствъ, ни къ числу тѣхъ несчастныхъ дочерей, которымъ выпадаетъ на долю подобная участь. Конечно, очень жаль, что наша жизнь столь безобразна, что на ея почвѣ могутъ совершаться такіа чудовищныя драмы. Но вамъ-то лично что же остается тутъ дѣлать, какъ не радоваться, что вы, слава Богу, стоите на неизмѣримой высотѣ, надъ грязью этой жизни, и для васъ недоступны подобныя трагическія катастрофы, совершающіяся гдѣ-то далеко, далеко, въ самомъ низу, подъ вашими ногами? Съ такой высоты смотрите вы на нравы, характеры, положенія большинства произведеній, отличающихся на вопросы современности. Произведенія же, попадающія въ жилку современности, тѣмъ и отличаются, что васъ самихъ сбрасываютъ съ вашей личной высоты и разрушаютъ всѣ ваши гордыя иллюзіи.

Для подобнаго рода произведеній нуженъ, конечно, большой талантъ, но и большой талантъ не всегда здѣсь выручаетъ. Далеко не всѣ произведенія великихъ талантовъ можно считать попадающими въ жилку современности. Не всякое сѣмя, летающее по воздуху, оплодотворяется и производитъ растение. Нужно особенно счастливое стеченіе обстоятельствъ для того, чтобы произведеніе писателя, какъ-бы онъ ни былъ талантливъ, попало въ жилку современности: это происходитъ только тогда, когда писатель или самъ переживаетъ нѣсколько событий, глубоко его потрясающихъ, или бываетъ близкимъ свидѣтелемъ подобныхъ событий. Во всякомъ случаѣ, подобныя произведенія не пишутся, а выстрадываются; отъ нихъ вѣтъ всегда слезами и кровью.

Къ такого рода произведеніямъ безусловно принадлежатъ очерки современныхъ нравовъ Хвоцинской, носящіе заглавіе „Альбомъ — группы и портреты“. — Я не хочу сказать, чтобы лучшіе этихъ очерковъ ничего не появилось въ печати въ послѣднее время; конечно, найдется не мало произведеній и болѣе сильныхъ по таланту авторовъ, и болѣе обработанныхъ. Я не скажу также, чтобы эти очерки были лучшіе изъ всего написаннаго Хвоцинской: это — больше ничего, какъ наброски, эскизы, въ которыхъ многое только намѣчено, многое недоговорено и вѣтъ самимъ представляется догадываться и дополнять картину своимъ воображеніемъ. Конечно, принявъ во вниманіе, что Хвоцинская написала тѣмъ рядъ романовъ и повѣстей, вполнѣ развитыхъ и обработанныхъ въ художественномъ отношеніи, было-бы странно ставить эти очерки выше всего, написаннаго ею прежде. Я и не дѣлаю этого. Я избѣгаю всякихъ сравненій и беру эти очерки сами по себѣ, какъ они имѣютъ представляются. И представляются они мнѣ однимъ изъ тѣхъ немногихъ произведеній, которыя прямо попадаютъ въ жилку современности. И замѣчательно, что, при всей своей хаотичности, при всей своей необработанности, они тѣмъ не менѣе производятъ на читателя самое потрясающее впечатлѣніе. Послѣ чтенія ихъ вамъ

становится тяжело и грустно, становится страшно и за себя, и за все общество. Вы видите, что каждая строка здѣсь выстрадана и заставляетъ васъ глубоко задумываться.

Подобнаго рода произведенія представляютъ особенно богатый матеріалъ для критики. Они не заставляютъ критика задумываться, что писать по поводу произведенія и съ какой стороны разбирать его, какъ это бываетъ съ весьма многими произведеніями, откликающимися на самые, повидимому, животрепещущіе вопросы жизни. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ для примѣра хотя-бы опять-таки пресловутую „Злобу дня“. Вѣдь ужъ самое заглавіе пьесы, казалось-бы, должно вамъ внушать, что о ней, конечно, можно вдоволь наговориться любому критику; о чемъ-же и толковать критикъ, какъ не о злобѣ дня? А между тѣмъ, попробуйте-ка, потолкуйте о злобѣ дня, парадировавшей въ пьесѣ Потѣхина. Какіе вы типы станете анализировать, какія идеи, вызываемыя пьесой, разовьете передъ читателями? Неужели идете о томъ, какъ гнусно поступаютъ родители, приносящіе въ жертву своихъ дѣтей ради поправленія своихъ финансовъ? Не правда-ли, что тошнота одолеваетъ васъ при одной мысли о необходимости распространяться о такихъ азбучныхъ идеяхъ и поро выпадаетъ изъ рукъ вашихъ. Да, много появляется произведеній нынѣ, откликающихся на вопросы современности, но не о многихъ можно написать болѣе десяти строкъ, и мало вы найдете такихъ, которыя, при всей своей животрепещущей современности, шли-бы далѣе какихъ-нибудь прописныхъ тупизновъ въ родѣ того, что терпѣніе и трудъ преодолеваютъ все, чужое добро въ прокъ пойдетъ, чревоутоде есть мать всѣхъ пороковъ и пр. Возьмите, наприимѣръ, романъ Данилевскаго „Десятый валъ“. Чѣмъ это не современный романъ? Написанъ легко, безъ сучья и задоринки, читается не безъ интереса; найдете вы въ немъ хорошо обдуманное и строго выдержанное характеры, вполнѣ естественныя драматическія положенія, изображенія многихъ сторонъ жизни, въ своемъ родѣ любопытныхъ и мало затрогивающихся литературою, хотя-бы, наприимѣръ, нравовъ женскихъ монастырей; однимъ словомъ, романъ недюжинный и небезполезный. Но попробуйте написать критическую статью объ этомъ романѣ, и о чемъ-же придется вамъ распространяться въ ней? Неужели о вредѣ аскетизма и подавленія естественныхъ человѣческихъ потребностей? И я очень хорошо понимаю, почему по поводу романа Данилевскаго не появилось ни одной критической статьи въ нашей литературѣ. То же самое можно сказать о романѣ Печерскаго „Въ лѣсахъ“. Романъ тянулся Богъ вѣсть сколько лѣтъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, вышель въ четырехъ объемистыхъ книгахъ, представляетъ много любопытныхъ этнографическихъ данныхъ: во всей полнотной рисуется здѣсь передъ вами жизнь раскольничьихъ скитовъ Костромскихъ лѣсовъ. — Я убѣжденъ, что, если не раздалось еще ропота на страницахъ какого-нибудь журнала или газеты, то скоро раздастся, что вотъ какая у насъ нынѣ критика: о такихъ крупныхъ и капитальныхъ вещахъ — и хотѣ бы полслова; можно положительно сказать, что у насъ теперь полное отсутствіе всякой критики. Но что-жъ на



будете дѣлать, поневоли́ будетъ отсутствіе, потому что критикъ рѣшительно нечего дѣлать съ подобнаго рода капитальными романами. Я, по крайней мѣрѣ, прочелъ романъ Печерскаго отъ доски до доски съ пѣвлымъ непремѣнно написать о немъ статью, и что-же и вынести изъ него (исключая этнографическихъ свѣдѣній, разборъ которыхъ подлежитъ какому нибудь спеціальному, а никакъ не литературному журналу и тѣхъ не въ литературной критикѣ); радомъ съ прѣвѣшавшимися картинами купеческихъ нравовъ, въ духѣ комедій Островскаго, представляющими развѣ ту поразительную новость, что тѣже Титы Титычи рисуются въ романѣ Печерскаго въ идеальномъ цвѣтѣ широкихъ русскихъ натуръ и благодѣтелей народа, рядомъ съ любовными сценами, совершенно въ загоскипскомъ духѣ, при чемъ добрый молодецъ, какъ увидитъ дѣвицу, такъ сейчасъ-же оба воспламеняются неудержимой страстью и располагаются вкушать чары любви гдѣ-нибудь подъ кустикомъ, а въ это время азаческій богъ любви Ярило, и виѣствѣ съ нимъ Печерскій непремѣнно ужъ улыбаются во весь ротъ, — и вышель въ романѣ такое несметное количество затравокъ, закусокъ, обѣдовъ, ужиновъ, что единственное, что и вынести изъ романа, это — колоссальный аппетитъ. Ну и что же мнѣ пришлось бы писать о романѣ Печерскаго? Какія мысли сообщить читателю? Пришлось-бы развѣ только распространяться на счетъ радостей бога Ярила вкушѣ съ Печерскимъ, да насчетъ того, какъ вкусно и сытно ѣдать въ раскольничьихъ скитахъ, какихъ истребляютъ огромныхъ стерлядей, донскихъ балыковъ, уральскую икру, записавъ все это несметнымъ количествомъ рюмокъ всякаго рода настоекъ, чаинокъ, ролу, шампанскаго и пр. и пр. Все это въ своемъ родѣ любопытно, но какое дѣло до всего этого литературной критикѣ? И поневоли́ пришлось отложить романъ Печерскаго въ сторону виѣствѣ съ романомъ Данилевскаго.

Очерки же Хвоцинской тѣмъ и хороши, что, какъ произведеніе, попадающее въ самую жилку современности, они не заставляютъ васъ задуматься, что писать по поводу ихъ и стоитъ ли писать что-либо. Они сами возбуждаютъ вашу мысль и тянутъ васъ къ перу для сообщенія тѣхъ впечатлѣній, какія толпою выдѣляются въ васъ послѣ чтенія и ищутъ выхода. Только подобнаго рода произведенія, по моему мнѣнію, и заслуживаютъ критики; о всѣхъ же прочихъ совершенно достаточно десяти, двадцати строкъ какой-нибудь газетной рецензіи.

Сообразно всему вынесказанному, цѣль моей статьи будетъ заключаться ни въ чемъ иномъ, какъ въ развѣтн тѣхъ мыслей, какія я вынесъ изъ очерковъ Хвоцинской.

## II.

Два 15 и 20 тому назадъ, въ большой модѣ былъ, совсѣмъ забытый нынѣ, вопросъ о гамлетствѣ и донкихотствѣ, т. е. о различіи сильныхъ, непосредственныхъ натуръ, энергическихъ, рѣшительныхъ и беззаветно отдающихся влеченію своихъ страстей, и натуръ безхарактерныхъ, нерѣшительныхъ, раздвоенныхъ и извѣденныхъ рефлексією. Характеризовались

тѣ и другія природы совершенно правильно, но причина ихъ различія осталась невыясненной. Предполагалось, что фатально, самою природою суждено однимъ людямъ быть гамлетами, другимъ донъ-кихотами. Мнѣ кажется, что это совсѣмъ неправильно.

Преобладаніе въ обществѣ гамлетства или донкихотства зависитъ, по моему мнѣнію, не отъ чего иного, какъ отъ характера той или другой эпохи. Выявляютъ эпохи, когда люди представляются въ полной гармоніи со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и строятъ жизнь, являются преисполненными вѣры, что все стоитъ на своемъ мѣстѣ, какъ слѣдуетъ, что и сами они занимаютъ надлежащее мѣсто въ природѣ и жизни. Совѣсть ихъ или безпробудно спитъ, или, просыпаясь, легко находитъ себѣ удовлетвореніе въ тѣхъ или другихъ функціяхъ общественаго строя. При такихъ условіяхъ, людямъ, конечно, ничего не остается, какъ беззаветно отдаваться влеченіямъ своихъ страстей, какія-бы ни были эти страсти — чисто-животныя, чувственныя или самыя высокія. Въ такіе эпохи въ обществѣ естественно должны преобладать донъ-кихоты.

Но бываютъ другого рода эпохи, когда люди, додумываясь до какихъ-нибудь новыхъ системъ міросозерцанія, новыхъ общественныхъ или нравственныхъ идеаловъ, въ тоже время не видятъ ни въ окружающемъ ихъ строѣ жизни, ни въ самихъ себѣ — ничего общаго съ этими идеалами. Жизнь влечетъ ихъ въ одну сторону, идеи требуютъ, чтобы они шли въ другую. Казалось-бы, что гдѣ-же могло представиться мѣсто для энергической, донъ-кихотской природы, какъ не здѣсь: сразу порѣшится, по какому изъ двухъ путей идти и, не задумываясь долго, ринуться по избранной дорогѣ. Но въ томъ-то и дѣло, что существуетъ собственно говоря въ подобныя эпохи одинъ только путь: старая дорога, проторенная вѣками; другой-же путь, требуемый новыми идеями, находится только въ отвлеченіи, а въ дѣйствительности нѣтъ ни малѣйшаго подобія его. Вы скажете, что и здѣсь есть мѣсто для энергическаго донъ-кихота: — прокладываетъ новую дорогу. Сказать это, конечно, ничего не стоитъ, но на дѣлѣ это рѣшительно все равно, какъ сказать путнику, заблудившемуся въ лѣсу: зачѣмъ ты бродишь по топямъ и кочкамъ? проложи черезъ лѣсъ желѣзную дорогу, и она тебя быстро выведетъ на свѣтъ Вождій. Всякая новая дорога прокладывается только тогда, когда является множество людей, нуждающихся въ ней; такъ точно и въ жизни. Слѣбно и думать, чтобы отдѣльный человѣкъ, затерянный въ господствующемъ и утвержденномъ вѣками строѣ жизни, могъ перевернуть этотъ строй по своимъ идеямъ. Ему остается одно: бороться всѣми своими слабыми силами съ потокомъ жизни, увлекающимъ его по проложенному руслу. Вы не забудьте при этомъ, что бороться, въ такомъ случаѣ, приходится ему не только съ вѣтхими обстоятельствомъ, но и съ самимъ собою, потому что самъ онъ — кровь отъ крови и кость отъ кости своихъ отцовъ, и въ себѣ самомъ онъ замѣчаетъ на каждомъ шагѣ многое, стоящее въ радикальномъ противорѣчій съ новыми излюбленными идеями. Вотъ тутъ-то и начинается тотъ мучительный разладъ со всѣмъ строемъ жизни, людъ-

ми и съ самимъ собою, который составляетъ сущность гамлетства. Человѣкъ теряетъ возможность съ прекрасною беззавѣтностью отдаваться своимъ страстямъ, потому что страсти эти влекутъ по проложенной старой дорогѣ, а ему хочется жить согласно своимъ излюбленнымъ идеямъ; начинается мучительный анализъ каждаго шага и движенія, открывающій бездну противорѣчій, какъ во всемъ окружающемъ, такъ и во внутреннемъ мѣрѣ; подобный анализъ парализуетъ всякую энергію страстей и влеченій и придаетъ человѣку видъ нерѣшительнаго, безхарактернаго, неспособнаго сдѣлать ни одного куринаго шага. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы подобные люди и въ самомъ дѣлѣ были безсильны и слабохарактерны. Имѣете-ли вы право считать безсильнымъ пловца, потому только, что онъ не двигается съ мѣста, борясь съ быстрымъ потокомъ? Еслибы потокъ и увлекалъ его въ подобной борьбѣ, и въ такомъ случаѣ вы могли-бы изъ этого вывести только относительное заключеніе, что потокъ сильнѣе пловца, но это вовсе не мѣшало-бы пловцу, самому по себѣ, имѣть самую титаническую силу въ предѣлахъ человеческой природы.

Я понимаю, почему Шекспиръ, жившій въ XVII вѣкѣ—создалъ типъ Гамлета. Это былъ вѣкъ самый гамлетическій. Въ это время новыя гуманныя идеи, составлявшія продуктъ древней цивилизаціи, все болѣе и болѣе вторгались въ умы образованнѣйшихъ людей, а строй жизни представлялъ обветшалыя средневѣковыя формы, не имѣвшія съ этими новыми идеями ничего общаго—естественно, что всѣ образованнѣйшіе люди этого вѣка, не исключая и самого Шекспира, должны были представляться гамлетами. Вникните съ исторической точки зрѣнія въ трагедію Шекспира, подумайте, въ чемъ заключается та внутренняя борьба, которая, совершаясь въ душѣ Гамлета, дѣлаетъ его столь нерѣшительнымъ и безхарактернымъ, какія элементы борются въ Гамлетѣ? Вы увидите, что—тѣ самые элементы, борьба которыхъ составляетъ сущность XVII вѣка. Въ Гамлетѣ представляется вамъ, прежде всего, образованнѣйшій человѣкъ своего времени, получившій въ лучшемъ университетѣ образованіе въ духѣ гуманизма.—Идеи, воспріятыя имъ, влекутъ его вовсе не къ какому-либо кровавымъ подвигамъ въ духѣ среднихъ вѣковъ, а къ мирнымъ кабинетнымъ бесѣдамъ съ философами и поэтами древности, къ энергическому содѣйствію развитію образованности въ своемъ отечествѣ и смягченію нравовъ въ духѣ просвѣщенной гуманности. Но въ тоже время жизнь со своимъ средневѣковымъ строемъ не представляетъ Гамлету и тѣмъ возможности слѣдовать по этому пути. Этотъ строй разыгрываетъ вдругъ передъ Гамлетомъ трагедію совершенно въ средневѣковомъ духѣ въ видѣ убійства отца его роднымъ братомъ, узурпаціи престола и замужества матери за убійцу мужа. Мало того, что вся просвѣщенно-гуманная натура Гамлета была потрясена до послѣдней крайности столь ужасною катастрофою, но и на виѣнное его положеніе она отразилась самымъ неблагоприятнымъ для него образомъ; она закрыла для него всякіе пути къ проведенію своихъ идей въ жизни, обрекла его на жалкую, пассивную роль при-

дворнаго принца, отъ котораго, конечно, постарались бы впоследствии отдѣлаться, когда у Клавдіи явились бы свои дѣти, и Гамлетъ, въ качествѣ законнаго наследника, мѣшалъ бы имъ занять престолъ. къ этому ко всему присоединился и внутренней разладъ въ нравственномъ мѣрѣ самого Гамлета. Передъ нимъ, въ видѣ призрака отца, встала опять-таки вполне средневѣковая идея кровавой мести, и Гамлетъ, зная гуманность семнадцатаго вѣка, въ тоже время оказывается на столько еще все таки средневѣковымъ человѣкомъ, что проникается идеею кровавой мести до мозга костей, и очень понятно почему: въ духѣ этой идеи онъ воспитанъ, и все, что окружало его, оправдывало ее и даже видѣло въ ней первую обязанность каждаго находящагося въ такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ былъ Гамлетъ. Однимъ словомъ, Гамлетъ былъ въ положеніи современнаго намъ свѣтскаго человѣка, который, какъ-бы ни отрицалъ въ теоріи дуализъ, эти подобныя-же средневѣковыя учрежденія, тѣмъ не менѣе не можетъ обойтись безъ нихъ подъ влияніемъ первой величины оскорбленія. Но другое дѣло—проникнуться идеею кровавой мести, другое дѣло—привести ее въ исполненіе. Если для перваго Гамлетъ былъ достаточно еще средневѣковымъ человѣкомъ, то для послѣдняго онъ былъ слишкомъ ужъ гуманно, его цивилизованная натура была до такой степени уже смягчена образованіемъ, что онъ не способенъ уже былъ, не медля и не задумываясь съ такою-же беззавѣтностью, совершать кровавыя поступки, какъ это дѣлали средневѣковыя непосредственныя натуры.—Поэтому мы и видимъ его постоянно резонирующимъ, колеблющимся, сомнѣвающимся, пока, наконецъ, потокъ жизни, продолжавшій струиться по средневѣковому руслу, не принеся его самъ собою къ кровавой развязкѣ. И въ этомъ отношеніи Гамлета можно сравнить съ тѣми-же современными намъ свѣтскими людьми, которые выходятъ за дуэль, хотя всѣ убѣжденія ихъ вопіютъ противъ этого, и стрѣляютъ, зажимаютъ глаза и на авось, но пуля и безъ ихъ воли можетъ совершить свое дѣло и случайно попасть въ цѣль. Но представьте вы себѣ этого самаго Гамлета живущимъ вѣкомъ позже, когда нравы были на столько уже гуманизированы и смягчены, что невыслышно уже стало, чтобы на престолахъ, въ глазахъ всего народа, совершались кровавыя преступленія, подобныя убійству отца Гамлета, а если они кое-гдѣ все еще и совершались, то идея кровавой мести совсѣмъ уже исчезла изъ умовъ людей—вы не увидѣли-бы тогда въ этомъ какомъ-нибудь и тѣни того, что вы понимаете подъ словомъ гамлетство. Онъ представлялся бы вамъ просвѣщеннымъ принцемъ или королемъ въ родѣ Фридриха Великаго или Юсифа, меценатствовалъ бы, поощрялъ философовъ и поэтовъ, велъ бы съ ними дружбу и перепысывался, испрашивалъ у нихъ совѣтовъ, и хвасталъ-бы о разныхъ гуманныхъ реформахъ для возвращенія на землѣ царства разума. Онъ продолжалъ бы быть скептикомъ, но скептицизмъ этотъ вовсе не имѣлъ-бы того мрачнаго, парализующаго волю влияния, какое мы видимъ въ скептицизмѣ XVII вѣка: онъ представлялся бы вамъ смѣлымъ пожимомъ гордаго разума, отважно испровергающаго всѣ старыя пре-

дрозсудки, имѣлъ бы на страсти скорѣе разнуздывающее, чѣмъ парализирующее вліяніе. И дѣйствительно, таковъ былъ скептицизмъ восемнадцатаго вѣка. Это былъ вѣкъ, въ который люди беззавѣтно отдавались влеченію своихъ страстей, какихъ-бы ни было — самыхъ высокихъ и самыхъ низкихъ; потому восемнадцатый вѣкъ и представляется намъ такимъ разнузданнымъ, потому въ пестрой картинѣ его мы и видимъ ужасающіе пороки и циническій развратъ, рядомъ съ такими возвышенными, героическими проявленіями человѣческой природы, какія выпадаютъ на долю только немногимъ избраннымъ эпохамъ.

Вѣствѣ со вѣствѣ этимъ понятию становится, почему въ сороковые и пятидесятые годы вопросъ о гамлетѣ былъ у насъ въ такой модѣ: это была самая гамлетическая эпоха въ нашей жизни. Отцы и дѣды людей сороковыхъ годовъ были исполнены такихъ-же противорѣчій, но они на эти противорѣчія или не обращали вниманія, или находили легкое примиреніе ихъ въ жизни. Поэтому, не говоря уже о восемнадцатомъ вѣкѣ, и первая четверть девятнадцатаго представляетъ характеръ необузданно веселой и безцѣльной жизни въ образованныхъ слояхъ жизни. — Образованнѣйшіе и либеральнѣйшіе люди этой эпохи, увлекались до самоотверженія идеями восемнадцатаго вѣка, прилагали эти идеи исключительно только къ вопросамъ государственнымъ, но въ тоже время имъ и въ голову не приходило о согласованіи своей личной жизни съ этими идеями. Либеральныя идеи несколько не мѣшали имъ беззавѣтно наслаждаться жизнью, кушать, драть на дуэляхъ, дожиганствовать, измѣять страстию къ красотѣ военного мундира, припечатывать бороды жидовъ къ столамъ и пр. и пр.; иной герой двадцатыхъ годовъ былъ способенъ, въ порывѣ вспыльчивости, оттащить чубукомъ своего крѣпостного или денщика, а потомъ, черезъ часъ, отправиться на засѣданіе тайнаго общества рѣшать вопросъ объ освобожденіи этого самаго прибитаго Ивана, и при этомъ ему и въ голову могла не прийти вся несообразность подобнаго совпаденія двухъ столь несоответствующихъ поступковъ. Въ своемъ фрондрованьи онъ видѣлъ государственное дѣло на основаніи высшихъ философскихъ соображеній, а въ побіеніи Ивана — ничтожный частный случай испальчivosti широкой русской природы, а, если его когда и смущали подобныя проявленія широты природы, то ему ничего не стоило утѣшиться мыслью, что Иванъ все таки его любитъ и считаетъ — хотя и вспыльчивымъ, но добрымъ баринкомъ и, конечно, проститъ ему побой, когда увидитъ, что этотъ самый баринъ устроилъ ему свободу.

Сороковые же годы тѣмъ именно и отличаются, что въ эту эпоху люди перестали уже ограничиваться одними высшими соображеніями о государственныхъ судьбахъ общества, а начали подводить къ одному знаменателю всѣ малѣйшія проявленія жизни, начали искать новыхъ путей не только для всего общества въ массѣ, но и для каждаго индивидуума. Не распростились о всемъ другомъ, самая тѣ неудачи, которыя претерпѣли отцы, навели дѣтей на мысль о той массѣ нравственныхъ противорѣчій, при которой ни о какихъ удачахъ нечего было и мечтать. Люди соро-

ковыхъ годовъ и обратили все свое вниманіе на эту массу противорѣчій. На очную ставку съ новыми и гуманными идеями, составляющими продуктъ современной цивилизаціи, были поставлены не только каждый малѣйшій шагъ жизни, но и каждое помысленіе, самое сокровенное. Не только кулачными проявленіями широкой русской природы начали казаться поступками, непримиримыми никакими сдѣлками съ совѣстью, но начало оспариваться право на самыя, повидному, невинныя наслажденія жизни, купленные цѣною чужого труда. Но легко было мечтать о новыхъ идеальныхъ путяхъ жизни, слѣдовать же по нимъ не представлялось никакой возможности, по той простой причинѣ, что въ жизни никакихъ такихъ путей не было и признака. Въ какую бы сторону ни направлялся мыслящій человекъ того времени, онъ вездѣ находилъ одни старыя и рутинныя пути, и жизнь, обхватывая его своимъ потокомъ, неудержимо влекла его по проложенному вѣкамъ руслу. Мечталъ-ли онъ о честной гражданской дѣятельности, ему только и оставалось служить. Но, поступивши на службу, онъ, не говоря уже о томъ, что дѣлался мертвымъ колесомъ обвѣшанной бюрократической машины, кромѣ того, долженъ былъ соглашаться на цѣлый рядъ компромиссовъ, смотрѣть сквозь пальцы на самыя возмутительныя вещи, а зачастую доходило до того, что ему предлагали на выборъ или дѣйствовать, какъ другіе и дѣлаться съ прочими какими нибудь безгрѣшными доходами, или быть отстранену. Пробриться на верхнія ступени служебной іерархіи для пріобрѣтенія болѣе широкаго простора дѣятельности онъ не могъ и мечтать безъ протекцій, противъ которыхъ вопіяла всѣ его убѣжденія. Помышлялъ-ли онъ объ агрономической дѣятельности, поселился въ деревнѣ и начиналъ хозяйничать, и здѣсь всѣ его идеалы разбивались въ пухъ и прахъ о вредныя экономическія и нравственныя результаты крѣпостнаго права. Выступалъ онъ на ученомъ поприще, и, если не былъ рутинеромъ, лекціи его оказывались опасными, онъ принужденъ былъ малодушно скрывать истину, говорить даже вопреки ей, — или сходить съ кафедры. Дѣлаясь писателемъ, онъ, при строгости тогдашней цензуры, вмѣсто высказыванія того, чѣмъ была преисполнена душа его, долженъ былъ писать Вогуъ знать о какихъ пустякахъ. Приходило-ли ему въ голову жениться, и, въ то время, какъ въ головѣ его носился высокій идеалъ образованной, гуманной женщины, которая была бы во всѣхъ отношеніяхъ подругою его въ жизни, онъ находилъ не женщину, а самку, подобразованную, исполненную предрасудковъ, искалѣченную воспитаніемъ и обезличенную семейнымъ рабствомъ. Прибавьте ко всему массу внутреннихъ противорѣчій, которыя на каждомъ шагѣ находилъ человекъ сороковыхъ годовъ въ себѣ — противорѣчій между тѣми новыми идеями, какими онъ увлекался, и массою привычекъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя глубоко успѣли вѣдриться въ него путемъ наследственнаго подбора. — Понятно, что человекъ 40-хъ годовъ не могъ не быть Гамлетомъ, хотя бы и цинговскаго уѣзда.

Затѣмъ наступили шестидесятые годы, которые пѣвкогда ставились у насъ въ противоположность соро-

ковыми годами и даже въ некоторый антагонизм съ послѣдними, на томъ будто основаніи, что поколѣніе сороковыхъ годовъ состояло изъ людей одной праздной рефлексіи, а люди шестидесятыхъ годовъ были людьми дѣла. Но, въ сущности, шестидесятыя годы со всѣмъ ихъ шумнымъ движеніемъ были, конечно, прямымъ результатомъ и, такъ сказать, наслѣдіемъ сороковыхъ годовъ. Различіе между первой и второй эпохами заключалось только въ томъ, что въ сороковые годы люди ограничивались однимъ сознаніемъ своихъ противорѣчій и сокрушеніемъ о нихъ; въ шестидесятыя же годы въ цѣлой массѣ общества возбудилась неудержимая жажда во что бы то ни стало найти выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій идей съ дѣйствительностью. Это была эпоха всеобщаго покаянія, стремленія къ обновленію. Люди шестидесятыхъ годовъ продолжали быть не менѣе раздвоенными, чѣмъ и предшествовавшее поколѣніе, но они не оставались только скорбными зрителями своей раздвоенности, а боролись съ нею, причесть каждый по своему старался устроить жизнь на новыхъ и разумныхъ основаніяхъ, свергнувъ съ себя ветхаго человѣка. Конечно, отдѣлаться отъ ветхаго человѣка сразу было очень трудно; оттого выходила путаница и сумятица невообразимыя: одни принимали за новыя начала старыя же, только нѣсколько заново подмалеванныя, другіе увлекались одною внѣшностью новизны и видѣли въ ней сущность, третьи впадали въ какую нибудь узкую односторонность, иногда думая идти впередъ, уходили назадъ, чуть что не въ средневѣковую глубь, ударялись въ мрачный и петершмѣйшій аскетизмъ или въ необузданную чувственность, но, какъ ни много было въ шестидесятыя годы дикихъ увлеченій и печальныхъ заблужденій, а все-таки въ концѣ-концовъ, это была честная эпоха — эпоха, не допускавшая никакихъ компромиссовъ и требовавшая истиннаго, а не какого-либо призрачнаго обновленія жизни. Люди шестидесятыхъ годовъ были пионерами, наудачу и въ разсыпную на проломъ устремившимися пролагать новыя пути въ невѣдомыя страны; многіе измучились въ мучительной борьбѣ и паки; многіе погибли въ самомъ началѣ пути; многіе заблудились, зайдя въ непроглядную глушь; многіе струсили и малодушно обратились вспять. Но, все-таки, кой-какая тропа оказалась проложенною, кое-что самое непролазное вырублено и указано, но крайней мѣрѣ, выходъ изъ мучительныхъ противорѣчій предшествовавшаго поколѣнія.

Но многіе-ли пошли вслѣдъ за пионерами шестидесятыхъ годовъ по новой тропѣ? Увы, не прошло и десяти лѣтъ, какъ проложенная тропа оказалась вдругъ пустынею, лишь усыпанною кое-гдѣ трупами падшихъ путниковъ. Масса же общества, такъ искренно каившаяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, такъ, повидимому, горячо жаждавшая обновленія, — осталась въ старой глуши со всѣми своими прежними нравственными противорѣчійми, которыя въ скоромъ времени перестали вовсе смущать людей, такъ какъ жизнь успѣла выработать кой-какія формы, въ которыхъ оказалось очень легко находить полное примиреніе и съ внѣшнею жизнью и съ внутреннимъ нравственностью міромъ.

Уже передъ началомъ шестидесятыхъ годовъ были

люди, которые пророчески предрекали, что жажда общества къ обновленію не замедлитъ удовлетвориться пустяками, и общество быстро найдетъ самое легкое примиреніе.

Не прошло и двадцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, и жизнь успѣла вполне оправдать эти пророчества. Большинство людей, такъ горячо когда-то обличавшихъ, такъ искренно сокрушавшихся и каившихся, оказались Маниловыми, успѣвшими построить и мостикъ черезъ рѣку, и бельведеръ, изъ котораго Москва видна. И какъ немного было нужно для того, чтобы были забыты всѣ противорѣчія и люди снова изъ сокрушавшихся гамлетовъ подвѣшались непосредственнымъ донъ-кихотами и, махнувши на все рукою, беззаветно отдались влеченію своихъ страстей...

Да, господа, нашъ вѣкъ, семидесятыя годы, если вѣкъ безспорно донъ-кихотскій и, люди сороковыхъ годовъ, оставшіеся въ живыхъ, могутъ позавидовать людямъ семидесятыхъ годовъ, вспомянувъ свою мучительную юность, исполненную рефлексій, сомнѣній и сокрушеній. Да и въ самомъ дѣлѣ, о чемъ-же сокрушаться современному намъ человѣку, въ чемъ сомнѣваться ему? Кто-бы онъ ни былъ, этотъ современный человѣкъ, — биржевой-ли игрокъ, концессионеръ-ли, инженеръ, адвокатъ, прокуроръ, медикъ, педагогъ, профессоръ, писатель — во всѣхъ профессіяхъ онъ чувствуетъ себя въ своей тарелкѣ съ одинаково спокойною совѣстью... Когда онъ садится за трапезу, ему и въ голову не приходитъ убійственная мысль, что онъ есть кровь и потъ своихъ крѣпостныхъ. Какіе же пытъ крѣпостные? Это — дѣло уже старое, начинающее обростать мохомъ: крѣпостные замѣнились нынѣ распущенными и изувѣчившимися мужиками, а современный человѣкъ является, конечно, скорѣе жертвою ихъ нахальнаго вымогательства, чѣмъ выгодателемъ. Какіе-бы громадные куши ни загребалъ современный человѣкъ и какою-бы роскошью себя ни окружалъ, совѣсть его остается спокойною, потому что онъ эти куши не воруетъ, не беретъ ихъ тайкомъ, въ видѣ взятковъ: они сами открыто со всѣхъ сторонъ валяются къ нему въ видѣ награды за его неустанные труды и гражданскую доблесть. Сознавая себя честнымъ труженникомъ, современный человѣкъ блестяще героическимъ либерализмомъ и уже не гдѣ-нибудь за уголкомъ и съ оглядкой, въ интимной кружкѣ друзей, а открыто и громко передъ всѣмъ свѣтомъ, и за это снискиваетъ уваженіе и превознесеніе отъ свѣта: публика ему аплодируетъ, дамы имеютъ ему нѣжные взоры, а начальство награждаетъ чинами и орденами. Это — уже не печальный гамлетъ, вслухъ лишній, всѣмъ дозояцій глаза и становящійся въ непримиримый разладъ со всѣмъ окружающимъ, а хозяинъ жизни, передъ которымъ двери всѣ растворяются настезь, и всюду его принимаютъ съ почтениемъ и распростертыми объятіями, не зная, куда его посадить. Захочетъ-ли онъ вкусить чары любви, и, опять-таки, о чемъ-же задумываться ему? Развѣ современная жизнь мало уже выработала женскихъ прелестныхъ, смѣлыхъ, пикантныхъ, гордыхъ на что угодно — и на иривую салонную болтовню, и на глубокомысленный разговоръ о Боклѣ, Дарвинѣ и Моле-шотѣ, и на пыльное срываніе цвѣтовъ наслажденій и

ва дѣловыя пренія въ какомъ-нибудь благотворительномъ дамскомъ комитетѣ и даже засѣданія по поводу вопроса о женскомъ трудѣ. Но, впрочемъ, зачѣмъ-же ему какая-нибудь она, одна? Искать себѣ такъ называемую подругу жизни для того, чтобы дѣлать съ нею радости и горе и оставаться ей вѣрнымъ до могилы— это уже старо, сантиментально, отзывается нѣмецкой бюргерствомъ, да и современный человекъ обладаетъ слишкомъ широкимъ сердцемъ для того, чтобы быть въ состояніи сосредоточиться на одной привязанности. И вотъ, какъ поразивши въ современныя геронны людей сороковыхъ годовъ, обидно станеть за послѣднихъ: какими, въ самомъ дѣлѣ, смиренными, жалкими представляются Райскій или Лавренкій съ ихъ мучительными рефлексіями и тонкими восторгамъ у ногъ какой-нибудь сельской красавицы, сравнительно съ современнымъ дѣльцомъ, прожигающимъ жизнь въ кругу шикарныхъ кокотокъ и въ чадѣ свѣтскихъ клубныхъ и закулисныхъ интригъ самаго забавнаго характера.

Да, читатель, намъ теперь не въ члѣбъ сомнѣваться, не къ чому стремиться: всегда мы можемъ найти самое легкое примиреніе для какихъ угодно нравственныхъ противорѣчій—въ должности-ли мирового судьи, на трибуналѣ-ли судебской или земской, въ занятыхъ-ли естественными науками, въ писаніи-ли передовыхъ статей самаго либеральнаго характера, и что-же намъ остается дѣлать, какъ не плыть по теченію, не отдаваться влеченію своихъ страстей и не прѣвращать цвѣты удовольствія, представляяся многимъ непосредственнымъ натурами. Такъ мы и поступаемъ. И нѣтъ ничего мудренаго, что наша современная жизнь зачѣтно повеселѣла и приварадилась сравнительно съ тѣмъ, что было лѣтъ десять тому назадъ; по тому разливному морю роскоши и веселья, какое кинуть повсюду по большимъ и малымъ городамъ, она начинаетъ во многомъ напоминать жизнь дѣловъ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Вы читали, конечно, очерки современныхъ провинціальныхъ нравовъ Кроткова въ августовской и сентябрьской книжкахъ „Отчужденія“. Записи? Вы забыли, конечно, какъ масса въ этихъ очеркахъ представляется вамъ непосредственныхъ кутиль, беззавѣтныхъ весельчаковъ, которые только о томъ и думаютъ, какъ-бы по возможности мелькалъ день за днемъ въ ихъ жизни; какъ дѣти, увлекаются они до самозабвенія появленіемъ какого-нибудь фокусника въ городѣ и вслѣдъ за нимъ заперерывъ снѣгать продѣлывать его падевичество.

«Куда, подумаешь, дѣвалась солидность? спрашиваютъ одинъ изъ героевъ очерковъ Кроткова, глядя на всѣ эти повинныя забавы.—отчего это люди публично обнаруживаютъ легкомысленность, свойственную только ребяку? Это—люди-дѣти и дѣти вѣчно несовершеннѣйшія! Присмотритесь-ка вы поприглядывайте къ особенностямъ теперешней жизни! Ребенокъ откладываетъ до завтра, а сами идутъ сморять фокусы! Секретарь, положимъ—еще очень молодой человекъ, а поясничаетъ въ судѣ и въ судѣ. Забавляются, бадутъ фокусами, а какъ будто сила и не вѣдаютъ, что въ жизни великій изъ насъ продѣлываетъ тысячи фокусовъ почина этихъ, и намъ не рубликадутъ, а хлещутъ, да похлестываютъ!».

Посмотрите, въ то же время, какою рѣкою льется кино всюду, на каждой страницѣ очерковъ Кроткова:

люди пьянствуютъ и безобразничаютъ не по ночамъ и тайкомъ ото всѣхъ, а открыто, днемъ, въ публичныхъ мѣстахъ и, при этомъ, играютъ роль полныхъ хозяевъ, гдѣ-бы то ни было, громогласно заявляютъ, что они имѣютъ полное право пьянствовать и безобразничать, потому что они пьютъ на свои трудовыя деньги и, къ тому же, они — цвѣтъ интеллигенціи и никто имъ не указъ, а напротивъ того — съ нихъ, какъ съ интеллигенціи, должны брать примѣръ люди. Въ связи съ этимъ стоитъ, конечно, особенно замѣтное, въ послѣднее время, пристрастіе къ юбилейнымъ празднествамъ и банкетамъ по всякому удобному случаю. Наконецъ, возьмите вы хотя-бы развивающуюся съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе страсть къ маскарадамъ съ арлекинадами, шуточными процессіями и аллегорическими представленіями. Я помню, какъ въ молодости меня странно поражаало существованіе нѣкогда такого литературнаго общества, какъ „Арзамасъ“. Я никакъ не могъ представить себѣ, какъ это серьезные люди, стоящіе во главѣ интеллигенціи своего времени, могли быть, въ то же время, таинны дѣтьми, чтобы собираться вдругъ для того, чтобы устраивать какія-то шуточные процессіи, посвященія и обзывать другъ друга комическими прозвищами, точно передъ вами парадируютъ не первостепенные русскіе литераторы, а школьники. Для меня это было въ такой же степени дико, какъ если-бы я получилъ свѣдѣніе, что въ кружкѣ Станкевича или любомъ изъ кружковъ шестидесятыхъ годовъ — между прочимъ, играли-бы въ чехарду. Но, въ настоящее время, я очень хорошо понимаю причину страсти къ дѣтскимъ забавамъ и шалостямъ въ членахъ „Арзамаса“; она происходила отъ того, что большинство членовъ были непосредственными натурами, подобно средневѣковымъ людямъ, которые по той же причинѣ, въ свою очередь, были страстные любители арлекинады и всякаго рода шуточныхъ процессій. Люди сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ потеряли способность ребяческаго веселья, потому что ко всему подходили они со своимъ анализомъ и скептицизмомъ, были полны тревожныхъ думъ и развѣдающихъ рефлексій; нѣтъ казалось дикимъ надѣть вдругъ шутовское платье и пуститься въ шашъ, когда на сердцѣ скребутъ кошки, когда весь міръ кажется душною и сарадною тюрьмою, когда предстоитъ рѣшить столько роковыхъ и страшныхъ вопросовъ жизни. Естественно, что веселье и ребяческая шутка бѣжали безъ оглядки отъ этихъ серьезныхъ, насупившихся мрачныхъ людей, всюду приносившихъ съ собою уныніе и отчаяніе... А теперь... теперь я нисколько не былъ-бы удивленъ, если-бы въ самыхъ интеллигентнѣйшихъ кружкахъ повторились празднества „Арзамаса“, и люди собирались-бы съ единственною цѣлію, надѣвши шутовскіе костюмы, ходить кверху ногами: мы опять вернули нашу беззавѣтную непосредственность, и жизнь снова приняла видъ ликующаго праздника; трещатъ ракеты и потѣнные огни, гремитъ музыка, летать въ потолокъ пробки, шампанское льется безконечною рѣкою, только и раздаются вокругъ, что тосты, пожеланія и восторги всевозможнаго процвѣтанія, а по уголкамъ слышится страстный полонъ любви и звуки сочныхъ поцѣлуевъ,

а въ театрахъ иѣнне шансонетокъ и бѣшеные звуки канкана, и хохотъ, хохотъ, беззавѣтный хохотъ надъ всѣмъ и вся — неправда-ли, какъ весело живетъ, читатель?...

Но обратимся къ очеркамъ Хвощинской и посмотримъ, какъ отражается въ этихъ очеркахъ широкая масса жизни современной намъ жизни.

### III.

Мы начнемъ не съ перваго, а съ третьяго очерка. Это мы сдѣлаемъ на томъ основаніи, что въ этомъ очеркѣ передъ нами рисуется одно изъ явленій шестидесятыхъ годовъ, возможное, конечно, и въ наше время, но по характеру своему относящееся все-таки къ недавно пережитому прошлому. Въ наше время драмы, подобныя той, какую вынесла героиня этого очерка, переживаютъ конечно гораздо скорѣе и легче, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ, и это очень понятно: всѣ прошлые моменты жизни переживаютъ послѣдующими поколениями гораздо скорѣе и легче, чѣмъ выносили ихъ люди, современные этимъ моментамъ: такъ напримеръ, тотъ же самый аскетическій мистицизмъ, который обхватываетъ всю жизнь Роголя, въ жизни Добролюбова занимаетъ небольшой періодъ самой ранней юности.

И дѣйствительно, несмотря даже на то, что героиня этого очерка, Лизавета Васильевна Риднева, конечно, далеко не принадлежитъ къ передовымъ прогрессисткамъ шестидесятыхъ годовъ и представляетъ заурядный типъ провинціальной свѣтской барыни, все таки и въ ней видите вы тотъ же разладъ съ самою собою, ту же борьбу непримиримыхъ противорѣчій, то же стремленіе выйти изъ нихъ, однимъ словомъ, все тоже самое, чѣмъ жила въ шестидесятые годы, и что отражалось во всѣхъ безъ исключенія людяхъ этой эпохи.

Не принадлежа по своему типу къ числу передовыхъ прогрессистокъ шестидесятыхъ годовъ, Риднева тѣмъ болѣе замѣчательна въ томъ отношеніи, что показываетъ, какъ въ шестидесятые годы люди, не влѣдствіе только одного увлеченія передовыми идеями, но самою роковою силою обстоятельствъ выбивались изъ непосредственности, приходили къ самымъ непримиримымъ противорѣчіямъ и должны были искать какого нибудь выхода изъ этихъ противорѣчій.

Лизавета Васильевна Риднева была воспитана вполне въ духѣ дореформенныхъ порядковъ, и, если бы не шестидесятые годы, то она, конечно, могла бы прожить всю жизнь свѣтскою куколкой, ни о чемъ не задумываясь, ни къ чему не стремясь и заботясь до сѣдыхъ волосъ о срываніи цвѣтотъ наслажденій. Вотъ что мы читаемъ о ея ранней юности:

Ея мать умерла давно; она ея не знала. Все, что она знала — это, что она единственная дочь, что отецъ несмѣтно богатъ, что ее оболаютъ. У нея перобывали десятокъ гувернантокъ и полные шкапы игрушекъ и нарядовъ. Позднѣе, она какъ-то слышала, что существуютъ какіе-то откупы, что отецъ — предѣлатель какой-то пазаты и эти откупы отъ него зависятъ, что будетъ очень не хорошо, если они отойдутъ. Куда отойдутъ и какъ, и собственно что такое «отойти» — она не понимала и не спрашивала объясненій. Она слышала, въ тоже время,

что еще многое переимѣнится и тоже будетъ не хорошо, но ей до этого не было дѣла. Именно тогда ей было особенно тяжело: ей минуло четырнадцать лѣтъ; у нея была предобрая, премилая, прехорошенькая гувернантка, м-ше Вильдгольцъ, которая попросила отца давать вечера, чтобъ приучить Лизу къ обществу. Лиза хозяйничала на этихъ вечерахъ, какъ большал. Дамы обращались съ нею нелюбопытнѣе, но очень мило, а дѣвнца — она знала цвѣтотъ — ей завидовали. Со ллости, отъ лщитывали ей лишніе года и — для шхъ-же было хуже: молодые люди сочили ее въ самомъ дѣлѣ болымою и объясняли ей въ любви. Очень было хорошо, только не долго. Отецъ вдругъ вышелъ въ отставку, откупа совсѣмъ уничтожились; м-ше Вильдгольцъ вдругъ за что-то разсердилась и уѣхала. Отецъ сказалъ Лизѣ, что болше не возмощъ ей гувернантки. Лиза была очень довольна, она и сама умѣла принимать гостей, а училась — она уже прекрасно говорила пофранцузски, играла на фортепiano, рисовала цвѣты, даже умѣла дѣлать къ изъ пантросной бумаги, вышивала шюда по лашѣ, на рукавахъ, конечно, чтобы не кривить талии, а танцовала въ совершенствѣ. Она и шла, но въ то время у дѣвушекъ было не въ модѣ цѣтъ романскъ. Ея воспитаніе могло казаться вполне омонешномъ. У нея было уже нѣсколько жениховъ...

Такъ все шло, какъ по маслу, и шло бы оно такъ до скончанія дней Лизы, если бы не подоспѣли шестидесятые годы и не сбили героиню нашей съ той тойной дороги, по которой нѣкогда шли многія подобныя ей дѣвушки. Но прежде, чѣмъ сбить съ этой дороги обстоятельствами жизни, шестидесятые годы не замедлили обшить ее своимъ крыломъ и по части томъ движеній идей, которое, разливаясь широкимъ потокомъ по всей маунікѣ Руси, задѣло краснокотъ и Лизу. У отца ея была знакомая пеботатая старуха Риднева. У этой старухи былъ молодой племянникъ, университетскій студентъ. Молодые люди какъ-то увидѣлись и влюбились другъ въ друга... Началась безконечныя прогулки въ огородахъ, поцѣлуй подъ чиріканье воробьевъ. Ему было двадцать два года, ей — шестнадцать.

Ридневъ побывалъ въ городѣ N, гдѣ жила Лиза съ отцомъ, только во время вакаціи; потомъ онъ уѣхалъ на какой-то урокъ и окончивалъ курсъ. Конечно, въ короткое время близженія съ дѣвушкой онъ не могъ сдѣлать Бога вѣсть какіе успѣхи въ ея развитіи. Только въ позднѣхъ романахъ героиня, послѣ двухъ-трехъ бесѣдъ съ новымъ человекомъ, сразу перерождаются и дѣлаются вполне современными дѣвницами. Однако же, какъ ни ничтожно было его вліяніе на дѣвушку, въ ней успѣло уже зародиться что-то новое, о чемъ до того времени не приходило ей и въ голову.

«Въ ней произошла какая-то переимѣна, читаемъ мы: — она сама себя назвала серьезнѣе, говорила о трудѣ, занятіяхъ. Она слышала, что мудроно свѣтской дѣвницѣ сдѣлаться трудовой женщиной, что нельзя привязаться къ занятіямъ, въ которыхъ сѣ дѣтства мы не признавали ни важности, ни смель, — но она твердила, что такъ сдѣлать сдѣлать, если возможно. Для нея — это было невозможно. Учиться было не у кого и некогда. Получая письма Риднева, покрывая ихъ поцѣлуями и не поймавъ изъ нихъ половины, Лиза говорила себѣ, что тогда онъ всемо ее выучитъ. Она бросилась читать, и читала романы...»

Сколько реальной правдивости въ этихъ строкахъ!

Когда совершается какое-нибудь большое движение въ обществѣ, оно захватываетъ собою всѣхъ и каждого, но, очевидно, не всѣхъ въ равной степени, а особенно воспитанію человѣка, средѣ, въ которой онъ живетъ, воспримчивости натуры, близости къ центру движенія и тому подобнымъ обстоятельствамъ. Представить это вліяніе движенія въ той надвигающейся мѣрѣ, въ какой оно въ данномъ случаѣ могло имѣть мѣсто — неважная задача художника. И задача этой не упустила изъ вида Хвоцинская: конечно, при воспитаніи, положеніи и жизни Лизы въ домѣ отца, вліяніе духа времени не могло простираться далѣе того, что мы видимъ: Лиза начала говорить о трудѣ, занятияхъ и читать романы — и этого было много въ ея житейской обстановкѣ.

Но вотъ произошла катастрофа, вызванная движениемъ жизни — отецъ совсѣмъ разорился: два года передъ тѣмъ „отопили“ эти непосижаемые откупы; теперь лошади какія-то акціи: бѣжалъ какой-то касиръ; нужно было передать другому только-что построенную желѣзную дорогу... Все продали: экипажи, лошадей, домъ...

Для Лизы началась новая жизнь, совершенно противоположная прежней:

«Уютный городишко; квартира... коморка какаяз; потолокъ теки; разъ штукатурка свалилась, тутъ голова не пролезла. Отецъ на старости лѣтъ нашель службу; на телѣгѣ, но слюнои, по почамъ, реллиовалъ кабаки... А она... ну, все дѣлала, до всего дошла: и тряпки, и соръ, и корыто. Нужно было шить и бѣть. А то — не было чего и побѣть. Зубы-то хвалдые, здоровыс... Ахъ, какъ бѣть хотѣлось...»

Казалось-бы — это-ли не выходъ изъ противорѣчій, въ какія могла-бы встать Лиза, елибы она продолжала развиваться въ прежней свѣтской и роскошной обстановкѣ? Что было общаго между такою обстановкой и идеями о трудѣ, занятияхъ, навѣянными духомъ времени? Теперь-же, напротивъ того, Лиза встала именно въ такое положеніе, когда идеи о трудѣ сдѣлались наиболѣе пригодными и соответственными, какъ того — даже неизбежными. Но мы видимъ, что легко было выйти изъ прежней обстановки жизни, особенно когда сами обстоятельства принудили къ тому Лизу, но другое дѣло было снять съ себя вѣхаго чловѣка, отдѣлаться отъ цѣлой массы привачекъ, вкусовъ и предрасудковъ, въ духѣ которыхъ была воспитана Лиза. И вотъ мы видимъ, что тамъ, гдѣ, казалось-бы, долженъ былъ открыться выходъ изъ противорѣчій, тамъ-то именно и началась настоящая-то борьба ихъ. При прежней обстановкѣ, противорѣчія эти, конечно, не мѣшали-бы другъ другу и мирно уживались-бы подъ одною кровлею, какъ они зачастую уживаются въ непосредственныхъ натурахъ при мало-мальски обеспеченномъ довольствѣ. Но въ котлахъ цѣды, когда для чловѣка требуется масса энергіи, смѣлости, званія жизни и ловкости, чтобы бороться за свое существованіе и снискивать хоть черствый кусокъ хлѣба, тутъ-то обыкновенно и выступаетъ натура та странная неподготовленность къ жизни, казая обыкновенно бываетъ при свѣтскомъ воспитаніи, неумѣнье ступить шагу самостоятельно и безъ посторонней указки, незваніе самыхъ обыденныхъ условий жизни, отсутствіе малѣйшей усидчивости въ трудѣ,

близость и, вслѣдствіе ея, взнеможеніе и даже страданіе при малѣйшемъ напряженіи какихъ-либо усилій, отсутствіе всякой расчетливости въ деньгахъ, невозможность обходиться безъ такихъ предметовъ роскоши, которые совершенно несвойственны при трудовой жизни и не по средствамъ — все это прежде было совершенно незамѣтно, ступеньвалось въ общемъ фонѣ свѣтской обстановки, могло казаться даже очень красивымъ, а теперь вслиываетъ наружу, какъ нѣчто совершенно несообразное съ новымъ характеромъ жизни и, конечно, дѣлаетъ чловѣка вдвѣтеро несчастнѣе самаго бѣднаго труженника, воспитаннаго и закаленного въ трудѣ и борьбѣ съ нищетою. Такой чловѣкъ долженъ бороться не только съ внѣшними обстоятельствами, но и съ самимъ собою. Самое свое положеніе онъ мѣняетъ совершенно по другому масштабу, чѣмъ привычный бѣднякъ и труженникъ: та же самая обстановка, какою привычный труженникъ могъ-бы быть вполне доволенъ, возбуждаетъ въ немъ брезгливость и отвращеніе; онъ чувствуетъ себя глубоко несчастнымъ, напрячь, что долженъ ѣздить въ вагонахъ третьяго класса, что на стѣнахъ у него самыя простые обои, за столомъ неприхотливыя кушала и пр. и пр. Все это, конечно, должна была испытать Лиза въ продолженіи года своей бѣдственной жизни съ разорившимся отцемъ. Но этотъ годъ не исправилъ Лизы, не переродилъ ея и не привелъ ея натуры въ полное согласіе съ новою обстановкою. Конечно, это было очень мало сравнительно съ десятками лѣтъ прежней завидной жизни. Потому обстоятельства нѣсколько измѣнились. Рядневъ кончилъ, наконецъ, курсъ, нашель мѣсто учителя, женился на ней. Но если замужество и вывело Лизу изъ бѣдственной нищеты, во всякомъ случаѣ, мужъ далеко не могъ приобрести столько средствъ, чтобы обставить ее роскошью и дать ей возможность снова наслаждаться свѣтскою жизнью. Семейная обстановка ея была въ общемъ уровнѣ жизни средняго круга. Такъ обыкновенно живутъ въ провинціяхъ гимназическіе учителя. Посмотри-же теперь, въ какомъ видѣ представляется намъ Лиза въ обстановкѣ средняго круга:

«Валованное дитя, читаемъ мы: — она могла поворотиться необходимости, но поворочалась ей, какъ случайному, временному; могла бороться съ бѣдой, даже удачно и смѣло, но находила силы и владѣя собою только стогрича. Проходила бѣда — она помнила ее со злостью, ожесточалась, но не становилась опытиѣе, мужественнѣе, не готовилась ни къ чему въ будущемъ. Она трудилась поневолѣ, но не приучалась, не могла привыкнуть къ труду, со всякимъ днемъ болше ненавидѣла трудъ. Она выносила лишенія, потому что такъ складывались обстоятельства, но не понимала, какъ можно добровольно отказывать себѣ въ чемъ-нибудь. Для нея существовали только крайности: совершенная беззаботность или отчаяніе, и вся ея жизнь — каждый день ея жизни — состояла изъ безпрестанныхъ переходовъ изъ одной въ другую крайность. Она не утишала себя, не успокоивала планами и мечтами; способствіе налетало само собою, мгновенно, при малѣйшемъ просвѣтѣ обстоятельствъ, и, довольная тѣмъ, что успокоилась, она, конечно, не тревожила себя оглядкой, разборомъ прошедшаго, какимъ-нибудь соображеніемъ на будущее: она отдыхала, будто обновлялась на день, на два, иногда на нѣсколько часовъ до новой «бѣды»... Такъ прожила она тяжкій годъ съ полуде зужнымъ отцомъ. Неожиданное счастье — возвратъ,

любовь милого человѣка, его попеченія, угожденія, снисходительность только поддерживали это дѣтство мысли, эту яркую, своевольную жизнѣнность. Она привыкла отдыхать всею своимъ существомъ. Она не умѣла ни работать, ни сберечь, ни заботиться. На наряды она не тратилась; она помнила, что они дорого стоятъ, и что грѣшно разорить Грину, а главное—она знала, что въ весельи она безъ нарядовъ еще красивѣе. Но за то, въ минуты веселья, ей были необходимы пустяки, мелочи, праздничанье, маленькая роскошь въ убранствѣ дома, прихоть въ обѣдѣ; ей хотѣлось «кутить», какъ она кричала, обнимая своего Грину съ радостными слезами. Привѣтливая, ласковая со всеми, она любила дарить, не разбирая, правятся-ли, годятся-ли подарки тѣмъ, кому она даритъ. Иногда, вдругъ вспомнивъ свою бѣдность съ ономъ, она бросалась помогать другимъ, не оглядываясь, чего это стоитъ, то-ли нужно и даже точно-ли нужна помощь; она только съ умиленьемъ, съ восторгомъ твердила, что помогаетъ не она, а все ея милый, золотой Гринъ. Все обманывали, она вѣрила обманщикамъ, но не дѣлалась ослотрительнѣе. Она только считала себя виноватой передъ мужемъ и все собиралась помогать ему, собиралась зарабатывать, собиралась учиться, заводила пальцы и прочее, покупала учебниковъ, но все было некогда. Когда родилась дочка—ужь и вовсе было некогда, хотя Лиза не кормила сама, хотя всѣ наряды дѣвочки шились въ магазинкахъ.

— На свѣтѣ нѣтъ лучше нашей куколки! восклицала счастливица, поднося въ самую дѣлѣ прелестнаго ребенка влюбленному отцу.

«Онъ любилъ ее. Былъ-ли онъ счастливъ? Занятый цѣлый день, возвращаясь домой, онъ находилъ праздникъ, пѣсни, поцѣлуи, или—горькія слезы, жалобы, что нѣтъ того, нѣтъ другого, что онъ—труженикъ, а она—глупая; расплакивъ и опять поцѣлуи. Жизнь сердца выходила какал-то странная отъ этихъ безпрестанныхъ поромѣтъ. Молодая женщина была вспыльчива, своенравна и покорна; ей нельзя было выговаривать ни въ чемъ, потому что она приходила въ искреннее отчаяніе и страдала. Она была все—желаніе принести себя въ жертву, при малѣйшей неумѣлости на самую простую услугу, и не сознавала этой неумѣлости, и оскорблялась-бы до отчаянія, если-бы ей о ней замѣтили. Она была добра и несправедлива; мужества у нея не было. Рѣзкій переходъ отъ роскоши къ бѣдности, а потомъ къ жизни средняго круга не сдѣлалъ для нея понятнѣе жизнь и людей; она осталась прежней «барышней» въ замашкахъ, въ отбѣнкахъ обращенія; у нея явилось иногда капризное важничанье. Стучалось, она не слышала, что ей скучно «безъ хорошаго общества»...

Вы подумайте только, какую поразительною вѣрностью жизни дышетъ каждая строка этой тирады! Было-ли хоть что нибудь подобное въ нашей литературѣ? Беллетристика наша, въ теченіи десяти послѣднихъ лѣтъ, не мало вывела передъ нами женскихъ типовъ шестидесятихъ годовъ, но всѣ они обыкновенно спрашивались по двумъ формамъ: или выводились такія идеальныя женщины, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать: женщины эти, хотя-бы выходили изъ свѣтскаго круга и до 20-ти лѣтъ палецъ о палецъ никогда не двигали, сразу, обыкновенно подъ влияніемъ новаго человѣка, трезваго реалиста и доблестнаго развивателя, перерождались въ энергическихъ труженицъ, рушащихъ всѣ препятствія, трудолюбивыхъ, простыхъ, способныхъ мужественно переносить голодъ и холодъ. Или-же женщины шестидесятихъ годовъ изображались передъ нами въ видѣ пошлыхъ стриженныхъ нигилистокъ, ломающихся, кричащихъ, говорящихъ грубости и не стыдя-

щихся публично высказывать самыя циническія вещи. И въ то время, какъ беллетристика, такъ глуми и нагло глала наглъ въ обоихъ случаяхъ,—жизнь была преисполнена именно явленій того самаго нравственнаго разлада съ жизнью и собою, какой изображаетъ Хвоцинская, и женщины въ родѣ Лизы Ридневой встрѣчались на каждомъ шагу. Сдвинутыя ея слову движенія идей съ своего обычнаго русла жизни, но не въ силахъ будучи сразу избавиться отъ своихъ прежнихъ привычекъ, вкусовъ и нравовъ, онѣ именно путались въ жизни, представляя радъ вопиющихъ несообразностей. Фразы о трудѣ, вмѣстѣ съ непривычкою къ труду и даже врожденною ненавистью къ нему, безсмысленность,—а черезъ минуты самое полудушевное отчаянье, искренняя готовность не тратиться на наряды, не разорить ни мужа и ходитъ весь вѣкъ въ одномъ черномъ платьѣ, и рядомъ съ этимъ жадно кутнуть при первыхъ попавшихъ въ карманъ лишнихъ деньгахъ, покушка ни съ того, ни съ сего, дорогого сервиза, а потомъ вдругъ готовность подарить этотъ сервизъ перволу похвалившему его человѣку, рѣшеніе философскихъ вопросовъ о судьбахъ всего человѣчества и неунынное поставитъ самовара и обогрѣть при случаѣ безъ прислуги, вѣчное мечтаніе объ иптимномъ кружкѣ избранныхъ друзей, а рядомъ съ этимъ неозадачными претензіи, что скучно «безъ хорошаго общества», и радостный блескъ въ глазахъ при косвеніи важной особы, учебники и конфетки, вѣчные сборы трудиться и зарабатывать хлѣбъ и вѣчное откладыванье дѣла за недосугомъ, занятыхъ въ сущности пустяками... Подумайте, развѣ вы не замѣчали подобныхъ чертъ въ вашихъ женахъ, сестрахъ, свояченицахъ и пр. и пр.! Ими были полны шестидесятые годы, и одна только наша такъ-называемая «реальная литература» отличалась поразительною слѣблостью къ такому рода вопиющимъ фактамъ жизни.

Но поидемъ далѣе вслѣдъ за Хвоцинскою въ изображеніи судьбы Лизы Ридневой.

Тягостно ожидая, что жена пойметъ, наконецъ, его убѣжденія, понятія и сольется съ нимъ въ гармоніи полного товарищества, налегая въ тоже время на работу сверхъ всякихъ силъ, чтобы быть въ состояніи исполнять всѣ прихоти и капризы жены, Ридневъ началъ хворать. Она не замѣчала, вѣрнѣе—ей не вѣрилось... еще вѣрнѣе: она не могла понять, чтобы это могло быть въ самомъ дѣлѣ. Когда она, наконецъ, поняла, ея отчаяніе было бурно, безумно, мучительно и безнадежно. Онъ умеръ въ отчаяніи за нее.

«Тогда вдругъ, читаемъ мы далѣе:—любовь въ дочери выросла у нея въ обязанность. Все для нея, вся жизнь для нея! Прежде всего—чтобы она не знала бѣдности... Чтобы не либло это прелесть тѣло, не грубѣло это личико, не плакала эти глазки о пустякахъ, въ которыхъ нѣтъ отъказа другимъ дѣтямъ. Страшное дѣло—дѣтскія слезы! Да ужь три года; ее видятъ на улицѣ. Чтобы не смѣли безобразныя, безсовѣтныя, богатая дѣти, не смѣли презирать ее за то, что она бѣдно одѣта! Она лучше всѣхъ, у нея все должно быть лучше, нежели у всѣхъ»...

Какъ вамъ правятся подобныя мнѣнія Лизы Ридневой въ минуты отчаянія, послѣ смерти мужа? Какая поразительная смѣсь горячей материнской любви и высокой готовности самопожертвованія для дочери,



которая осталась въ ея жизни единственнымъ утѣшитель, вмѣстѣ съ тщеславіемъ свѣтской женщины! Въ ея мечтѣ о воспитаніи дочери только въ томъ и выражалась, *чтобы дочь ея не терпѣла, о ужасъ! бедности, чтобы ни въ чемъ не было ей отказу и чтобы отца она была не хуже дружить*. Вы, конечно, предвидите, что, при такомъ воспитаніи, Лиза создастъ не труженицу, а такую-же избалованную, избѣженную кокетку, какою была и сама. Но этакъ предвидѣніе обманетъ васъ. На дѣлѣ оказывается, что Лиза была не въ состояніи выполнить даже и такого идеала воспитанія: при своей полной неукротимости она способна была только упорить ребенка.

Въ самомъ дѣлѣ, легко было мечтать о самопожертвованіи для того, чтобы „не заблѣ это прелестное тѣло, не грубѣло это личико, не плакали эти глаза и оустисахъ“, но что-же могла дѣлать Риднева для всего этого? Она ничему не могла учить и не умѣла работать. Она жила, закладывая, продавая понемногу, что имѣла, въ ожиданіи чего-то; — чего опредѣлить не могла. Она писала теткѣ; отвѣта не было. Жалась вещей было очень не великъ; его доставило только на два мѣсяца. Подступала осень. Шубы мужа уже не было давно, свою она заложила. Оставалось всего одно шелковое платье, но надо-же было имѣть что-нибудь порядочное. Риднева отпустила горничную, нянька жаловалась, что ей слишкомъ много дѣла, и грозилась уйти.

Въ это время, пріѣхала въ городъ труппа актеровъ на короткое время, на нѣсколько представлений, какъ обѣщали афиши, бѣлѣя на столбахъ.

Риднева, читаямъ мы: — не разъ останавливалась передъ ними. Ей было горько, тяжело... и ей было скучно! Знакомыхъ было мало, и тѣ, въ послѣднее время, приходила все рѣже. Она очень любила театр. Мужъ не любилъ его, судилъ какъ-то серьезно и строго, но не стѣнчалъ ея, уступалъ ей, и она была въ театрѣ постоянно... Ей казалось, что теперь, въ настоящей тоскѣ, два часа спектакля были-бы полезны ей, какъ лекарство... Покрушеніе было такъ сильно, что, прочтя афишу у театральнаго подъѣзда, она шла въ кассу, *готовая отдать за билетъ половину денегъ*.

Но спектакль оказался отложеннымъ и, какъ случайно узнала Риднева отъ проходившихъ мимо актеровъ, по причинѣ внезапнаго залужества примадонны. Отъ тѣхъ-же самыхъ актеровъ Риднева узнала, что антрепренеръ въ большемъ затрудненіи, откуда взять ему новую примадонну и не покусился-бы на большую плату, если-бы нашлась желающая замѣнить отжившуюся вакансію. Это извѣстіе, случайно подхваченное на улицѣ, имѣло важныя послѣдствія для Ридневой. Ей тотчасъ-же пришло въ голову идти въ актрисы, благо представляется удобный къ тому случай. Больше ей, казалось, нечего было дѣлать. „Что это такое? размышляла она: — совѣтъ другая жизнь, совѣтъ другой міръ, невѣдомый... И какой заманчивый! Искусство, веселье и кусокъ хлѣба, честно заработанный“...

И вотъ, на другое уже утро Риднева отправила въ антрепренеру. Казалось-бы, чѣмъ-же не непосредственная патура эта Риднева: — задумала и тотчасъ-же привела свое намѣреніе въ исполненіе. Но на самомъ дѣлѣ, во всемъ ходѣ поступленія Ридневой въ

актрисы, въ каждомъ шагѣ ея вы видите все ту-же раздвоенную патуру, находящуюся въ непрестанномъ разладѣ и съ самою собою, и съ жизнью. Такъ, она, какъ мы видѣли, смотрѣла на новый дуть, который ей представлялся, какъ на заманчивый міръ искусства, какъ на кусокъ хлѣба, заработанный *честно* — чего-же ей было смущаться въ такомъ случаѣ? Но она смущалась: она, всю ночь, передъ тѣмъ, какъ идти къ антрепренеру, проплакала. По выходѣ отъ антрепренера сказала сама себѣ: — ну, вотъ, вотъ, все сдѣлано. Все рѣшено. И прекрасно. Новая жизнь. Благородное занятіе. *Артистка* — даже слово такое хорошенькое... Но тутъ-же она прибавила: „Гриша, да что-же я не умерла вмѣстѣ съ тобою?“ Эти слезы и подобныя восклицанія наглядно показываютъ вамъ, какъ сильно была въ Ридневой ветхій человекъ и какъ ему трудно было уладить съ новымъ: создавая, что идти зарабатывать честный кусокъ хлѣба на поприще благороднаго искусства, Лиза тѣмъ не менѣе шла на это поприще, какъ на позоръ, и оплакивала себя, вспоминая при этомъ мужа, какъ будто ей грозило страшное нравственное паденіе. Безъ сомнѣнія, тутъ дѣйствовалъ тотъ вѣковой предрасудокъ, который видѣтъ въ званіи актера нечто позорное, и Лиза до такой степени была заражена имъ, что даже долго не рѣшалась дебютировать въ томъ городѣ, гдѣ жила съ мужемъ. По привычкѣ, она воображала, что о ней заговоритъ весь городъ. И, конечно, она ошиблась въ этомъ.

„Правда, читаямъ мы, слухи скоро расходятся въ провинціи, и на другой день уже все знали, что вдова учителя Риднева идетъ на сцену, но говорили объ этомъ очень умеренно. Въ богатыхъ салонахъ, гдѣ ея не знали, это было принято очень равнодушно. Тамъ, гдѣ она бывала съ мужемъ, ее уже успѣли забыть, и ея поступокъ вызвалъ только нежатіе плечъ, выражавшее, что она ни на что болѣе не способна. Средній кругъ оскорбился и закричалъ о скандалѣ, — но Риднева никогда не дорожила мнѣніемъ «этихъ людей».

Къ этой внутренней душевной борьбѣ присоединялись еще и внѣшнія свойства ветхаго человекъ, снѣдываго въ Ридневой, — въ видѣ неопытности, нерасчетливости, вообще неумѣнья жить и обращаться съ людьми на практической почвѣ. Такъ, мы видѣли, Риднева знала, что антрепренеръ очень нуждается въ примадоннѣ и готовъ на большую прибавку противъ обыкновенной платы, лишь-бы заручиться порядочною актрисою; тѣмъ не менѣе, она такъ неумѣло повела свои переговоры съ антрепренеромъ, что послѣднему удалось нанять ее не только не за большую, но за меньшую плату. Получивши отъ него задатокъ, она не могла пройти мимо моднаго магазина безъ того, чтобы въ воображеніи ея не зацѣстрѣли костюмы, наряды. Она зарглянула въ окна магазина, вошла и черезъ полчаса возвращалась домой съ свертками покупокъ. Такъ, своей дочкѣ она кушала стеганное пальто коричневаго лонскаго бархата. Дебютировала она въ сценѣ Евгенія Онѣгина съ Татьяной и, гнушаясь жалкою обстановкою провинціального театра, на свой счетъ декорировала сцену тамъ, чтобы обстановка хоть сколько-нибудь походила на великосвѣтскій салонъ, въ которомъ происходило объясненіе Евгенія съ Татьяной. Результатомъ такой

расточительности было естественно то, что Лиза, въ короткое пребываніе труппы въ городѣ В., успѣла истратить все, что ей дали на подъемъ и, сверхъ того, распродала всю лишнюю мебель, посуду. Но ей было за то весело: новая совершенно сфера жизни, шумная, суетливая, ашплудисменты, ованіи, — все это ее сначала очень занимало и кружило. Но затѣмъ она скоро свыклась со всѣмъ этимъ, приглядѣлась, и потонула для нея прозаически однообразная, при всемъ кажущемся разнообразіи, убогая жизнь провинціальной актрисы:

«Дамная квартира, гдѣ за перегородкой хозяйка распиваетъ чай, заглядываетъ въ щелку, подслушиваетъ, насмѣхается, и хорошо еще, если не сплетничаетъ. Расчетъ каждаго дня и невозможность, недосугъ ввести этотъ расчетъ толкомъ, привести жизнь въ порядокъ; одуряющая возня, безденежье, займы и, вслѣдствіе ихъ, сношенія съ людьми, которыхъ не пусталъ-бы на порогъ. Товарищество, которое, можетъ быть, могло-бы быть и приятнымъ, — но эти товарищи живутъ также день за день, такимъ-же неустрашимымъ житьемъ, имъ также недосугъ, ихъ интересы также бѣдны. Одни — также скукаютъ, безъ возможности вырваться; другіе — втянулись и немощны. Изъ нихъ женщины жалки или пусты...»

Къ этому всему подоспѣла новая тяжелая нравственная борьба: антрепренеръ началъ убѣждать ее играть въ опереткахъ Оффенбаха, говоря, что въ наше время на однихъ серьезныхъ драмахъ и комедіяхъ не выйдешь, и успѣхъ зависитъ отъ однихъ оперетокъ. Онъ поставилъ ей ультиматумъ — или взять на себя эти новыя роли, или оставить труппу. Она долго рыдала, возвратилась домой. Она знала, чего отъ нея хотѣли. Въ короткую пору своего замужества она видѣла всѣ эти шессы; тогда онѣ ее забавляли, нравились ей. То простодушно увѣренная, то упрямо, на зло, она спорила съ мужемъ, что не находится въ томъ ничего дурного, ничего, кромѣ откровеннаго смѣха... Теперь, когда ей предоставлялось на выборъ — голодать или тѣшить собою зрителей, какъ тѣ несчастныя, которыми она сама тѣшилась, она поняла ихъ положеніе...»

— Что дѣлать? Боже, что мнѣ дѣлать? повторяла она въ отчаяніи.

Случись съ Ридневою подобное же обстоятельство нѣсколькими годами позже, именно сегодня, она, конечно, не задумалась бы, что ей дѣлать. Наша современная жизнь, выработавши повсемѣстное примиреніе, позаботилась избавить и актрисъ, играющихъ въ опереткахъ, отъ всякой нравственной борьбы: созданъ особеннаго рода жапръ для женскихъ ролей въ подобныхъ опереткахъ, заключающійся въ томъ, чтобы было и пикантно, и канканно, и, въ тоже время, цѣломудренно, но такъ при этомъ цѣломудренно, чтобы цѣломудріе это еще усиливало соблазнъ въ большей степени, чѣмъ какалъ бы то ни была циническая разнузданность. По крайней мѣрѣ, современные газетные рецензенты такъ впадучки и расхваливаютъ подобныя качества примадоннъ Буффа... Но Риднева еще и не подозревала о возможности подобнаго выхода изъ своей нравственной борьбы. Ей казалось, что предстоитъ что-нибудь изъ двухъ: или оставить труппу и обречь себя на холодъ и голодъ, — или захнуть рукою на все... Она рѣшилась на послѣднее:

«Риднева разучила роль и сыграла. Какъ новачки творять чудеса храбрости, какъ безсильные ломаютъ крыши на пожарѣ, такъ и она, въ повѣдѣніи, въ неопытности, со злости, съ размаха презрѣла всѣ ожиданія смѣлостью своего исполненія. Она была отвратительна. Ее визвали пятнадцать разъ, а въ послѣднемъ вызову старичекъ изъ «золотой молодежи» ужъ успѣлъ достать и бросить ей букетъ. Антрепренеръ расцѣловалъ ее ручки.

— Каково? Смиреница, лукава! повторялъ онъ, — А увѣрала, будто не умѣешь.

Едва дыша, усталая, какъ никогда, Риднева спускалась съ лестницы. Въ корридорахъ, въ стѣнахъ всѣ говорили о ней, и никто не узналъ бѣдной, измученной женщины, когда, вслѣдъ за горничной, которая несла ей узелъ, она неловко вѣзла на обрваннаго извожичья дрожки и узнала головой на этотъ узелъ. Была темная осенняя ночь и хлесталъ дождь.

Но зато «довольный» директоръ самъ предложилъ ей небольшую прибавку жалованья. Мѣсятъ, двадцати-трехъ-лѣтній юноша, ни за чѣмъ катающийся по Россіи, предлагалъ свои пятнадцать тысячъ дохода... Ея ремесло стало для нея каторгой».

Вскорѣ это ремесло потеряло для нея и всякій смыслъ. Вѣдь она пошла въ актрисы изъ самопожертвованія, съ единственною цѣлюю возрасти и воспитать дочь, которая была единственнымъ утѣшеніемъ ее жизни. Между тѣмъ, дѣвочка съ отъ плохого призора, отъ беззлодья, отъ лишений, хворала, чахла, наконецъ и умерла. Тогда Риднева рѣшилась бросить ремесло провинціальной актрисы. Перехъ тѣмъ умерла ее тетка по мужу, оставивши въ Н небольшой домикъ. Она взяла отпускъ отъ антрепренера и отправилась въ Н получать въ наследство этотъ домикъ. Послѣ цѣлаго ряда скитаній въ Н, Риднева дошла до самаго отчаяннаго положенія. Она узнала, что полусумасшедшая старуха ханжа, съ ужасомъ услышавши, что жена племянника ея пошла въ актрисы, пожертвовала оставшіея послѣ нея деньги на церковь. Ей ничего не оставалось дѣлать въ Н, и приходилось отправляться обратно въ труппу. Но случай свелъ ее съ нѣкимъ нотариусомъ Ешециемъ, и послѣдній, воспользовавшійся ея дѣтскою неопытностью, нагло надулъ ее, липивши ей брошки, полученной въ бенефисъ, присвоивши эту брошку себѣ за какой-то яко бы долгъ ее отца. Брошка эта была послѣднимъ ея ресурсомъ, и съ потерей ея Ридневою было не съ чѣмъ выхъзть изъ Н. Всѣми брошенная, безъ копейки денегъ въ карманѣ, въ грязномъ, холодномъ номерѣ гостиницы, Риднева дошла до послѣдней стѣны отчаянія: она рѣшилась на самоубійство. Она воспользовалась тѣмъ, что половой забить въ ея номерѣ стѣлянку съ мышьякомъ, которымъ травилъ крысъ, и рѣшилась отравиться этимъ мышьякомъ. Сцена борьбы молодой жизни со смертью — представляется лучшею сценою во всемъ очеркѣ. По справедливости можно сказать, что давно уже въ нашей литературѣ не было ничего подобнаго. Особенно замѣчательна эта сцена тѣмъ, что Риднева, въ самую страшную минуту полной безпомощности, прелюднаго отчаянія, на краю могилы, остается передъ нами все тою Лизою Ридневою, раздвоенною натурою, искалѣченною свѣтскимъ воспитаніемъ. Такъ, мы видимъ, что, рѣшившись окончательно кончить съ жизнью, Риднева находитъ у себя въ карманѣ рубль, оставшіи отъ расчета съ половымъ. Тотчасъ же у

ней является мысль кутнуть въ послѣдній разъ въ жизни, и она посылаетъ полового за лучшими конфетами отъ Эрдера...

Когда конфеты были принесены, она крѣпко захлопнула дверь и съ какой то злостью повернула ключъ въ замкѣ.

— Ну-съ, Лизавета Васильевна?.. сказала она громко, возвращаясь къ столу.—Теперь все готово. Она развязала розовую ленту коробки, которую принесли.

— Кажется, недурно... А ты—еще лучше.

Она еще не посмотрѣла на них. Стянула оставшееся подъ диваномъ; она спрятала ее туда и не походила. Она съела, облокотилась спокойно и ничего не думала. Раскрытый бумажникъ съ фотографіей опять бросился ей въ глаза.

— Люба, хочешь конфетку? сказала она громко и зарывала.

«О дитя! въ тебя всю душу положила! Гриша, жизнь моя, помысломъ противъ тебя не была виновата! Прости, видишь, для кого срамился, — для твоей же... Ты зачѣмъ ее взяла? Ну, ничего я не знаю, не могу, но я бы для нея поды огня пошла проесть, и прожгла бы, и я бы жила... было бы для чего жить! А теперь, что же? Гриша, — одишь концы! Уйду къ мамѣ... Вы меня примите, что ли? Или и вы прогоните, не годуетъ? Что тамъ у васъ?.. Господи!..»

— Ужасъ!.. Честная женщина, — бывало, краснѣла, дала мужа — а тутъ, всякій вечеръ, при сотняхъ глазъ, при сотняхъ ушей... Прислушалась, притерла глаза къ стѣнѣ! Изъ-за куска хлѣба... вотъ каковъ хлѣбъ изумительный! Нѣтъ, теперь я свободна, я одна, а не хочу... Но хоть бы и хотѣла, — понимаете ли вы, что зашей маленькѣ и срамится—сунуться не съ чѣмъ?

Она пожиманно хохотала.

— Конечно! вотъ здѣсь, въ этой грязи, сейчасъ будетъ кончено... И славно! Гриша, любовь моя, съѣдь мой, испидай меня! Дай мнѣ вздохнуть, попятаться, освятиться твоимъ пощавеньемъ... О, какъ я тебя люблю!.. Прощайте! Довольно... Что-жъ, не ребенокъ я...

Она подошла къ дивану, прогинула и отдернула руку. Она утѣрила себя, будто ей показалось, что кто-то стучится... Все было тихо.

— Радость, должно быть, ужасная. Изъ аптеки. Какъ это отпускаютъ такъ неосторожно? мало ли можетъ быть несчастныхъ случаевъ, мало ли кому подумается... Вотъ, наприцѣрь, мнѣ вздумалось... Это задохнешься отъ вони.

Она опять открыла форточку. Большой звѣздный улетѣлъ на небо. Хотѣла бы ее увидѣть. Куда онъ идетъ, направо или налево? Гриша объясняетъ какъ-то.

— Тихо что-то. Вѣкъ въ театрѣ. А что, умираетъ кто-нибудь въ городѣ въ эту минуту?.. Холодно... Гдѣ меня похоронить?.. Вотъ, чѣмъ бѣгать по улицамъ за вздоромъ, зайди бы лучше въ монастырь, гдѣ похоронена мать... А какъ это странно — не знать матеря!

Вали, въ рѣдкомъ воздухѣ, раздался бой часовъ.

«Это — на соборной колокольнѣ, подумала она и осветила десять. — Еще рано. Весь день не было слышно этого боя; должно быть, теперь отсюда вѣтеръ. Что значить привычка: послѣ столькокихъ лѣтъ, я узнала этотъ колокольчикъ. Я вѣчно узнаю. Здѣсь родился и здѣсь умру.»

— Ну, что-жъ? Пора, что ли?

Она ехала съ окна.

— Отвратительно. Должно быть, жечь въ горѣ. Можно заѣсть конфеткой. Успѣю, прежде нежели засорюсь... А что какъ повертись долго? Ползая, часъ, больше... Господи! Какай должна быть бол... Вѣдь это горитъ; вотъ, заслонилъ свѣчку, сѣдѣла... Горятъ! Во мнѣ будетъ горѣть... Господи! Дожда вывала у нея изъ рукъ.

— Господи! въ двадцать пять лѣтъ, здоровой... умереть, умереть, такъ, вдругъ, въ такихъ мукахъ... Господи!.. А тамъ зайдутъ сюда, будутъ осматривать, слѣдетвіе... Создатель, такая смерть... Всю жизнь, всю молодую жизнь плакала, голодала, унижалась, схоронила все... и околѣть, какъ крыса, и надъ мертвой еще варукаются, истерзаютъ, бросать въ яму... Господи! А другимъ тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь... Господи!

Она рвала на себѣ волосы.

Въ это время, въ корридорѣ слышался шумъ, голоса. Затѣмъ въ сѣ дверь застучали. Это ее искалъ тотъ самый Николай Дмитриевичъ Мѣняевъ, который предлагалъ ей свои пятнадцать тысячъ дохода... Риднева бросила стѣпанку въ окно и открыла дверь номера...

Я далеко отъ мысли, что Риднева была лучшею представительницею своего вѣка. Конечно, въ ней слишкомъ много сдѣлано ветхихъ началъ жизни, и борьба съ ними новыхъ началъ была неравная, оттого ветхія начала и побѣдили подъ конецъ. Безъ сомнѣнія, было въ то время не мало женщинъ, которымъ борьба обходилась легче и приводила ихъ къ болѣе утѣшительнымъ результатамъ. Но для подтвержденія нашего анализа это даже и лучше, что Хвоцинская избрала наль въ лицѣ Ридневой худшую представительницу шестидесятыхъ годовъ. Но крайней мѣрѣ, мы видимъ теперь, какъ и подобная, худшая представительница, была, все-таки, охвачена духомъ своего времени, и она искала чего-то новаго, лучшаго, суетилась, говорила о необходимости трудиться, окружала себя учебниками... И она каждый шагъ въ жизни своей совершала не иначе, какъ съ мучительною борьбою, съ слезами и рыданіями...

А теперь... теперь я убѣжденъ, что эта самая Лиза Риднева навѣрное сѣдется надъ всеми своими прежними нравственными призраками и муками борьбы. Современная жизнь, безъ сомнѣнія, нашла и для нея свои примиренія и сдѣлала ее вполне непосредственною натурою. Борьба ея оканчивается, повидимому, такъ ярочно въ разсказѣ Хвоцинской, и за послѣднюю точкою разсказа воображенію читателя рисуется, конечно, ярочная пропасть паденія, въ которую должна упасть Лиза послѣ того, какъ открыла двери Мѣняеву... Но условойся, читатель: я убѣжденъ, что ничего такого ужаснаго съ Лизою не произошло. Хотя она и согласилась быть содержанкой Мѣняева, но навѣрное это униженное положеніе продолжалось не долго. Подаркомъ-же Лиза получила свѣтское воспитаніе во всѣхъ тонкостяхъ, и это воспитаніе внушило ей секретъ нравиться и очаровывать хотя-бы антрепренера при первомъ свиданіи — игрою физиономіи, улыбкою во время представиться сконфуженной, во время принять на себя личину дѣтской шаловливости. Повѣрьте, что Лиза не замедлила употребить все эти средства и по отношенію къ Мѣняеву и сдѣлала сдѣлать его ручнымъ и работѣшно ползаящимъ у ея ногъ. А затѣмъ... затѣмъ законный бракъ, законное владѣніе пятнадцатью тысячами дохода и — тепло, свѣтло, цвѣты, роскошь... однимъ словомъ — все то, о чемъ мечтала Лиза передъ стѣпанкою съ ядомъ. И теперь она навѣрное сѣдется надо всемъ: и надъ своимъ скромнымъ мученикомъ Гришею съ его убогою обстановкою, и надъ своими мечтани о честной насущности

кусѣ, и надъ прежнею Лизою Ридневою, которая когда-то рвала волосы въ отчаяннѣ... Да и какъ-же ей не смѣяться, когда все, что позади ея, все такъ мизерно и жалко... а впереди роскошь, блескъ, и безконечное веселье...

Послѣдемся и мы съ тобою, читатель, надъ нашими прошлымъ, такимъ мизернымъ и жалкимъ, когда и мы съ тобою любили себя и отказывали себѣ во всемъ изъ-за разныхъ вопросовъ, конечно, фантастическихъ и утопическихъ — и ринемся впередъ, вмѣстѣ съ Хвощинскою, въ сферу роскоши, блеска и беззавѣтнаго веселья...

## IV.

Нѣкто Аяровъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ изъ одного далекаго города въ Петербургъ. На дорогѣ онъ услышалъ отъ двухъ разговорившихся между собою пассажировъ, что недавно умерла нѣкая Новоселова, а эта Новоселова была нѣкогда предметомъ безнадежной и нераздѣленной страсти Аярова. Ему захотѣлось проститься съ этою когда-то милою для него женщиной на ея могилѣ, и онъ захватилъ въ городъ N, гдѣ была она похоронена. Тамъ онъ нашелъ скоро на кладбищѣ ея могилу, еще свѣжую и не украшенную памятникомъ. Ему захотѣлось снять фотографію съ этой могилы, и онъ направился къ городскому фотографу. Последний оказался старымъ знакомымъ Аярова, вѣжливъ Либмейеромъ. Либмейеръ этотъ представлялъ изъ себя типъ вполне современнаго непосредственнаго человѣка. Онъ былъ доволенъ и собою, и всею окружающимъ. Приѣхавъ онъ въ N палеткѣ, почти ни съ чѣмъ, а въ семь лѣтъ у него было уже свой домикъ, свой садикъ, экипажъ, и все это потому, что онъ умѣлъ прировняться ко вкусамъ городского общества, и публика забросала его заказами, не то что прежній фотографъ, у котораго не было никакой опытности ковать публику N, и потому онъ убрался, продавши счастливому сопернику свои инструменты. Счастливый Либмейеръ находилъ, что Аяровъ былъ слишкомъ требователенъ къ здѣшнему обществу; онъ, Либмейеръ, засталъ его какъ разъ вслѣдъ за Аяровымъ и нашелъ, что оно, право, ничего...

— Нѣтъ, здѣсь, право, не скучно, говорилъ онъ: въ послѣднее время особенно. Знаете, общество опять оживляется. Лѣтъ шесть, семь назадъ, ужь очень серьезничали. Теперь, какъ-то это все въ порядокъ приходитъ. Танцуютъ. Театръ есть, оперетки. Съ дамами есть о чемъ поговорить. А то, бывало, помните, неприступности... Ахъ, забавно: когда я только что здѣсь обзавелся, ко мнѣ приходили дѣтвѣнныя, просили, чтобы я училъ ихъ снимать, да еще мало этого: читай я имъ химію... Мало ли какихъ затѣй бывало. Теперь вспомнилъ забавно; а что я, въ крайности, въ первое время выносилъ! Пренараты, бывало, имъ снимаешь, жуковъ разныхъ... Право! что-ли дѣлать! нужда! Но всего бывало неприятнѣе женскіе портреты: все — черныя лострины, ни бантики, ни позы, ни выраженія. Все — «строгая простота», а художнику это наказаніе. Только, только хочешь осветить какъ нибудь, посадишь, — кричатъ: «несестественно!» Какое ужь тутъ искусство и какъ себя завить...

— А теперь? — спросилъ Аяровъ.

— О, теперь, нѣтъ никакого сравненія! Дамъ не

узнаешь, ошлпи, опять красота, опять наряды. Теперь художнику раздолье.

Такъ говорилъ Либмейеръ и въ доказательство показалъ Аярову цѣлую коллекцію женскихъ портретовъ, которые онъ собиралъ, снимая обитательницъ города N и съ ихъ согласія продавая эти портреты. Оказалось, что въ городѣ N, завелась мода продажи карточекъ красивыхъ женщинъ для мужскихъ альбомовъ. Портреты были сняты по большей части все въ картинныхъ и эффектныхъ позахъ. Между прочимъ, Либмейеръ особенно обратилъ внимание Аярова на одинъ изъ такихъ портретовъ.

— Позвольте, сказалъ онъ: — вотъ вамъ не убаюкавшаяся, — прервалъ художникъ, вынимая изъ большого разсѣра, работу, которой онъ, очевидно, особенно гордился: — это, я вамъ даже назову, — м-ше Вѣлушева, молодая особа, недавно воротилась изъ за границы, бѣдила ея матерью. Образована, шпешетъ, дочь естатскаго советника, музыкантша. Она желала сохранить воспоминаніе о своемъ путешествіи. Видите, стоить на скалѣ; море и буря. Я скалу нарочно заказывалъ. Картонная, знаете, мохъ тутъ, растенія. Трудно было поставить, однако, удалось.

Аяровъ упалъ головой на фотографію и расхохотался неудержимо. Дѣва, стоявшая на скалѣ, была шарообразна. Изъ-подъ узкой юбки съ фалдами высовывались огромныя поля въ бантахъ; каблуки выпалили въ картонъ. Волосы, безъ сомнѣнія, фальшивые, потому что съ собственными такъ бы не развѣрились; заметанныя пугалами, космами навѣдши надъ низенькимъ круглымъ лбомъ и оттуда дико смотрѣли круглые, бѣлые глаза; ротъ былъ разинутъ, одна рука прижата къ корсету, стянтому ремнемъ, другая, съ жестомъ ужаса, будто оттапливала даль...

Векорѣ не замедлилъ явиться къ Либмейеру и подлинникъ этого фантастическаго портрета въ видѣ М-ше Вѣлушевой съ своей катушкой. Онъ оказался столь часто встрѣчающимся въ провинціи типомъ сонскательницъ жениховъ, при чемъ, дочка, подивившая уже къ тридцатилѣтнему возрасту, только и мечтала, какъ-бы поскорѣ выйти за кого-бы ни было замужъ и пристроиться, а катушка — какъ-бы сбыть ее поскорѣ съ рукъ и избавиться отъ нея. Такъ мы видимъ изъ разговоровъ ихъ съ Либмейеромъ, что м-ше Вѣлушева не прочь найти свое счастье и въ мастерской фотографіи. Когда-же онъ увидѣлъ Аярова, и онъ оказался старымъ знакомымъ м-ше Вѣлушевой, онъ съ яростью набросился на него.

— Вѣдь мы сверстники, мы знаемъ другъ друга съ дѣтства, объясняла м-ше Вѣлушева, обращаясь къ Либмейеру. — Правда, я немного постарше васъ, но мы, женщины, всегда старше мужчинъ; жить начинаемъ раньше! И была уже замужемъ. А эти особы вы, конечно, не помните?

Аяровъ ничего не помнилъ въ дѣтствѣ, а зналъ только, что эта барыня старше его около двухъ десятковъ лѣтъ и что, въ его студенческое время, у нея была уже взрослая дочка, которую она привела въ институтъ. Чтобы спросить что-нибудь, онъ спросилъ о супругѣ.

— Я — вдова, отвѣтила м-ше Вѣлушева съ извѣстной грустью, отъ которой также быстро перешла въ растроганно-шутливый тонъ. — Теперь я всѣмъ принадлежу вотъ этой дурочкѣ. Но позвольте-же вамъ ее представить: ma fille Nathalie.

Аяровъ еще разъ раскланялся. Дѣвица притихла и смотрѣла строго.

Затѣмъ, вечеромъ, встрѣтивъ Аярова на бульварѣ, м-ше Вѣлушева почти силою увлекла его въ свой салонъ на чашку чаю, и тамъ произошла весьма харак-

первая сцена удвоения жениха. И какъ ни беззаветно пошлы и глупы были въ этой сценѣ обѣ Блудушвы, ватушка и дочка, и хотя все, что онѣ говорили, высказывалось ими не въ серьезъ и отъ души, а ради только того, чтобы порисоваться и показать товарищамъ, тѣмъ же менѣе въ словахъ ихъ оказалась много истиннаго пониманія современной намъ жизни. Видно правда, что судьба умудрить иногда дураковъ и пошляковъ, и что сквозь воющую ложь проглядываетъ иногда истина. Такъ, не доходя еще до дома, на бульварѣ, м-ше Блудушева держала къ Аяру сафдушую рѣчь:

— А помните... Много мы пережили съ вами, mon cher Аяръ! Que d'illusions, bon Dieu, et que de folies! Блаженъ, кто устоялъ! Вотъ прошло и не стало мило, можно сказать о нашемъ прошедшемъ, и такое счастье, что мы видимъ, по крайней мѣрѣ, нашихъ молодыхъ, которые умѣютъ насъ беречь свое время! Знаете, когда вотъ такъ вглядывались въ нихъ... Напримѣръ, обратите вниманіе на эти группы.

Мимо нихъ пробѣжали три дѣвочки и два кавалера. Они громко смѣялись, сгибали заняты екаменку, и, опережая другъ друга, толкали ветрѣчающихся. Аяръ успѣлъ посторониться, но идеифъ м-ше Блудушевой нѣсколько пострадала. Кавалеры первые захватили мѣсто и не давали сѣсть дѣвочкамъ; тѣ ужъ не стѣдлись, а кричали и гнали.

— Какъ это учтиво! Пустите! Мы устали!

— Мы сами устали!

Восклицанія еще долго перекрещивались.

— Замѣчайте это, продолжала м-ше Блудушева, страхуясь своей шейфѣ.—Я покораюсь! прибавила она, просѣдая за взглядомъ Аярова: я—покоряюсь! это—неизбѣжно. Я—другое поволеніе и уступаю чѣсто съ радостью: это—жизнь кипучая, полная надеждъ, полная будущаго. Это безопасно, это ровно ничего не думаетъ, не загибаетъ, не перестраиваетъ, не сунуть себя цеданствомъ; это—живеть! Живеть и наслаждается, беречь свое право, свою долю и умѣть крикомъ ихъ отстаивать. О, они смѣлы! Тутъ есть характеръ. Прислушайтесь, вотъ хоть эти сейчасъ. Намъ бы непремѣнно тутъ устраивали вечеринку или что-нибудь въ этомъ родѣ, — а эти просто саѣются... Прислушайтесь, вездѣ только веселый говоръ, безъ задней мысли, безъ стремленій этихъ Богъ вѣсть куда, безъ вопросовъ, которые ни къ чему не ведутъ, а только начекаютъ воображеніе. А между тѣмъ, эта молодежь благоразумнѣе, дѣльнѣе насъ; она умѣетъ устроиться; она понимаетъ, что химерами не живутъ; она разборчива въ выборѣ друзей, она не даетъ себя компрометировать... О, это—люди! А мы—то? Грустно вспомнить! Милый мой, въ нашей молодости (вѣдь она была обща у насъ!) мы не слышали смѣха. Весна безъ розъ, небо безъ лучей—вотъ наша молодость. Чего мы хотѣли? Чего мы хотѣли, это вѣрнѣе! Но правда-ли, вы не съумѣете сказать? А между тѣмъ, все было омрачено, все возмущено, все связи порваны... Другъ мой, и вы, вы тоже прикладывали къ этому руку!

— Laissez moi prendre votre bras. Все-таки, я немного старее васъ и дама! разсмѣялась она, не забывая, что произносить монологи.—Ахъ, теперь мы легко выдохнули. Теперь у насъ возрожденіе, гелайтася. И радуется, я счастлива, что молодость моей дочери пришла въ это, а не въ то время. Я говорю ей: ты умна, что опоздала родиться. Мы съ ней понимаемъ другъ друга. Je suis une heureuse mère, Аяръ! И молось... мы должны съ нею вѣреть, а этого, въ наше время, были лишены многие матери... У нея столько талантовъ. Мы изучаемъ вѣреть природу и искусство... Ахъ, вѣтъ, я не хочу думать, чтобы мы встрѣтились только на какихъ-ни-

будь два-три часа. Нѣтъ, вы пробудете еще, вы останетесь здѣсь, вамъ надо внушить... Но вотъ мы дома. Милости просимъ.

М-ше Блудушева, въ свою очередь, весь вечеръ проводила передъ Аяровымъ паралели между прежнимъ и нынѣшнимъ временемъ...

— Откуда это вы все знаете?

— Я-то?

— Вѣдь вы были тогда—дѣвочка.

— Да, дѣвочка, подтвердила она серьезно:—но дѣвочка думала крѣпче взрослыхъ. Преданія свѣдѣн; я добавила ихъ по догадкамъ, по наведенію, и выходитъ все ясно. И притомъ, что-же? Не Богъ знаетъ какая премудрость была все наше развитіе, наши знанія, наши планы, чтобы не постычь ихъ, господа! Я и не извиняюсь, что выражаюсь непочтительно. Это ужъ оцѣнено и сдано въ архивъ. Для насъ ужъ тоже настало молодое поколѣніе, какимъ вы были тогда сами, и, не гнѣвайтесь, мы васъ поняли. Но мы не ведемъ съ вами борьбы, мы—народъ мирный. Мы только позволяемъ себѣ иногда, вотъ такъ, пошутить немножко. Вы не сердитесь?

Ниже она говоритъ:

— Ну... хоть разобрать, что такое было ваше прошлое. Его подробности вы мнѣ когда-нибудь расскажете, а о дальнѣйшемъ я буду имѣть удовольствіе вамъ сейчасъ сообщить. Васъ интересуетъ Андофъ Андреевна. Позвольте ужъ къ этому образу присоединить и другой—тетушку Annette. Онѣ нераздѣльны—съ самой исторіею; онѣ дополняютъ одна другую... Вотъ съ, когда окончились ваши сборища, ваши затѣи,—мой папаша-повойникъ даже любовно предложилъ молодому поколѣнію позабыть, какъ отворяется дверь въ его домъ,—ну, тогда нашимъ развитымъ дѣвочкамъ, проводя насъ, ничего больше не останется, какъ влюбляться и ловить жениховъ. Вѣдь въ нашемъ устанѣ это воспринималось. Такъ-ли?

— Не помню.

— Ахъ, какой лукавый! А я знаю: и предисказалось «искать человѣка».—Это было вообще нѣсколько неудобопонятно, а для нашихъ двухъ барышень и подавно. Потому, вы не вообразите, какъ онѣ обрадовались, что отъ насъ избавились; все полетѣло—вѣтъ наши литографіи, наши рукописи,—а они сами—по баламъ, по моднымъ магазинамъ. Радость-то какая! вѣдь все равно, что возвратъ въ лоно родительское, въ лоно церкви...

Не правда-ли, во всѣхъ этихъ рѣчахъ Блудушевыхъ не малая доля правды? Но онѣ имѣли-бы еще болѣе смысла, если бы Хвоцинская не окарриатурировала личность Блудушевыхъ. Во первыхъ, она заставила ихъ слишкомъ ужъ прозрачно уловить Аярова въ женихи, а во вторыхъ, она совершенно напрасно заставила м-ше Блудушеву снаться въ такомъ уродливомъ видѣ—на скалѣ съ протянутой рукою. Отъ этого отзывается чѣмъ-то совершенно уже архаическимъ, какимъ-то романтизмомъ тридцатыхъ годовъ. Не таковы должны быть Блудушевы въ дѣйствительности: м-ше Блудушева все-таки терлась нѣкогда въ какихъ-то кружкахъ, м-ше Блудушева—дѣвушка образованная, бывала за границей и даже сочинительница. Очевидно, онѣ должны стоять на соотвѣтственномъ прогрессу, безукоризненно соблюдать всѣ его высшія требованія, и тогда рѣчи ихъ получаютъ глубокой смыслъ въ ихъ устахъ. Развѣ вы не встрѣчаете, въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ на каждомъ шагѣ подобныхъ Блудушевыхъ? Изыщія, блестящія, безукоризненно прогрессивныя, онѣ засѣдаютъ въ дамскихъ комитетахъ, сочиняютъ, переводятъ и, главное дѣло, собирая вокругъ себя цѣвъ современной моло-

дежи, сіяютъ въ своихъ салонахъ невозмутимымъ самодовольствомъ, съ пренебреженіемъ поспѣвая надъ химерическимъ прошлымъ съ его утопическими мечтами о передѣлкѣ вселенной, мрачными юношами, отвергавшими всякія наслажденія жизни, и сдержанными дѣвицами, никогда ничего не надѣвавшими, кромѣ чернаго люстрина. Въ очеркѣ Хвоцинской Бѣлушевы повели дѣло такъ неискусно, что не только не уловили Аярова, но заставили его поскорѣй уѣхать изъ N, чтобы не встрѣчаться съ ними болѣе. Въ дѣйствительности же, Бѣлушевы уловляютъ жепиховъ съ такимъ выработаннымъ тактомъ и тонкимъ кокетствомъ самой высокой пробы, что имъ удается улавливать сплошь и рядомъ людей, которые—не чета Аярову. Въ Аяровѣ много еще сидитъ элементовъ шестидесятыхъ годовъ, онъ полонъ воспоминаній юности; къ тому же онъ сошелся съ Бѣлушевыми подъ вліяніемъ только что пережитой и сжоренной глубокой страсти; конечно, трудно было уловить его при этихъ условіяхъ. Но вы представьте только себѣ его—нѣсколько дѣтъ спустя, когда воспоминанія юности мало по малу изгладилась бы, онъ между тѣмъ успѣлъ бы закружиться въ шумѣ современной жизни, да и притомъ столичной (вѣдь онъ ѣхалъ въ Петербургъ), умѣлъ бы устроить свое положеніе въ качествѣ хотя бы, напримеръ, адвоката. И чѣмъ же тогда Бѣлушева была бы не жена ему: дочь статскаго совѣтника, образованная, музыкантша и, вдобавокъ, еще сочинительница; чего же ему нужно было бы болѣе при современной нашей беззавѣтности? Онъ бы гремѣлъ съ судейской трибуны, пожиная лавры и окружая себя все болѣе и болѣе блескомъ славы и матеріальныхъ благъ, она сочиняла бы книги и даже могла бы читать лекціи о женскомъ трудѣ—и оба только дивились бы другъ на друга, шествуя рука объ руку и срывая по пути цвѣты наслажденія. Да здравствуетъ наша современная беззавѣтность!

## V.

Но не все же одно веселье, не все же одни цвѣты наслажденія въ современной жизни. Вызываютъ въ ней, конечно, и драмы. Вотъ передъ вами, во второмъ очеркѣ Хвоцинской, одна изъ современныхъ драмъ, страшная, кровавая. Но странно, замѣтите, и эта кровавая драма далеко не возмущаетъ общей гармоніи современной намъ жизни и ни мало не кѣшается дѣйствующими лицамъ этой трагедіи оставаться вполне непосредственными натурами. Что жъ, извѣстное дѣло, что непосредственными натурами, конечно, въ большей степени, чѣмъ Гамлетъ, способны на трагическія катастрофы. Но трагическія катастрофы непосредственныхъ натуръ отличаются тѣмъ, что, какой бы ужасъ и состраданіе къ героимъ и жертвамъ ни возбуждали бы онѣ въ васъ, вы не испытываете и тѣни той нравственной угнетенности, того разлагающаго душевнаго разстройства, того тревожнаго и мучительнаго чувства дисгармоніи, какія возбуждаются въ васъ гамлетическими драмами. Напротивъ того, здѣсь къ ужасу и состраданію нашему невольна примѣшивается то обаяніе, какое на васъ производитъ всякая свободная игра страстей, какія бы эти страсти ни были и къ че-

му бы онѣ ни приводили. Вы также невольно любуетесь такою игрою страстей человѣческихъ, какъ любуетесь роковою игрою стихій въ родѣ бури или пожара, забывши иногда о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія она приноситъ.

Героизмъ подобной трагедіи является передъ нами Копыловъ. Онъ былъ героемъ вполне современнымъ съ головы до ногъ, т. е. занималъ выгодное мѣсто, былъ агентомъ какой-то компаніи, имѣлъ небольшое, но очень приличное состояніе, однимъ словомъ, имѣлъ полную возможность срывать всѣ цвѣты наслажденія, и это нисколько не мѣшало ему, въ тоже время, быть „чуткимъ на всій современный вопросъ, принимать даже участіе во всякой чужой заботѣ“, — и замѣтите, что собственно и отличаетъ въ Копыловѣ современнаго человѣка: при этомъ отвлеченіи на всякія современные вопросы, Копыловъ, не хуже Либмейера или Бѣлушевыхъ, умѣлъ ладить съ окружающимъ его обществомъ: „Откровенность, говоритъ Хвоцинская, способность увлекаться, пылкость, все принимающая къ сердцу, недостатокъ расчета среди поголовнаго помѣшательства на расчетѣ, могли подчасъ показаться наивными, могли вызывать осужденіе холодно-благоразумныхъ людей и презрѣніе рыцарскихъ дѣлцовъ, но, въ большинствѣ, Копылова любила. Игривый, образованный, онъ вездѣ вносилъ съ собой оживленіе; въ немъ было что-то прямое, любящее, горячее... Копыловъ былъ рѣдкость“.

Однимъ словомъ, Копыловъ стоялъ въ полной гармоніи какъ съ самимъ собою, такъ и со всѣмъ окружающимъ его обществомъ. И чего же могло недоставать этому удачѣ-доброму молодцу, лихачу-будничу? Очевидно, только одного: недоставало ему жениться. Но и за этимъ дѣло не стало. Вскорѣ Копыловъ оказался влюбленъ, да такъ влюбленъ, что, чѣмъ мы, „не умѣлъ срывая этого, вынесилъ изъ мени свѣтскихъ женщинъ, шутки друзей и добывался руки своей Клавдіи съ настойчивостью — не нашего времени“. Такъ говоритъ Хвоцинская, но совершенно напрасно она думаетъ, что настойчивость Копылова была не нашего времени; напротивъ того, она принадлежала къ самой несовершеннѣйшей современности — и подумайте, къ какой же другой эпохѣ изъ прежнихъ могла она принадлежать? Герой роковыхъ годовъ на мѣстѣ Копылова, конечно, президе, чѣмъ добиться чего-нибудь, сталъ бы анализировать Клавдію со всѣхъ сторонъ, разбирать ее по косточкамъ, соответствуетъ ли она вполне его идеалу женщины, сталъ бы взвѣшивать на аптекарскихъ вѣсахъ и свое собственное чувство, и чувство героини, да такъ бы дѣло и кончилось однимъ безконечнымъ анализомъ на всю жизнь. Грубый герой шестидесятыхъ годовъ, прежде чѣмъ жениться, пожалуй, предложилъ бы какія-нибудь тривіальныя условія, въ родѣ полного отреченія отъ всякихъ цвѣтовъ и газа, пошленія исключительно одного чернаго люстрина и занятія какимъ-нибудь насущнымъ трудомъ, чѣмъ-нибудь въ родѣ акушерства — и плюнулъ бы, не смотря на всю свою пылкую страсть, еслибы Клавдія на такія условія не согласилась. Но кто же, кромѣ Копылова, этого героя нашей современной беззавѣтности, способенъ отдаться своей страсти такъ всецѣло и такъ

очерти голову, безъ малѣйшихъ колебаній, думъ и какъ бы то ни было вопросовъ? Подобнаго рода непосредственныя натуры всегда отличаются стремительною настоятельностью разъяренныхъ быковъ. Мы вѣдимъ, что слѣпота страсти Кошыллова простиралась до того, что онъ не только не далъ себѣ ни малѣйшаго труда попристальнѣе вдунуться, согласуется ли характеръ, вкусы и привычки Клавдіи съ тѣми ея принципами, которые побуждали его откликаться на общественные вопросы, — но онъ не затѣвалъ даже, что выходили за него ради однихъ матеріальныхъ выгодъ, что любили не его, а другого, который передъ свадьбой уѣхалъ изъ N и воротился опять...

И впоследствии, когда Кошылловъ успѣлъ разгадать, что такое Клавдія, успѣлъ разочароваться въ ней и убѣдиться, что его не любятъ, онъ занялся не какою либо анализомъ или думами о томъ, какой выходъ найти изъ своего ложнаго положенія, а, какъ всегда бываетъ съ непосредственными натурами, одна страсть смѣнилась у него другою, такою же слѣпою, стремительною и чисто животною, какъ и первая. Что-бы сталъ дѣлать въ такомъ случаѣ человѣкъ сороковыхъ годовъ? Онъ, конечно, расплылся бы тотчасъ въ унылыхъ рефлексіяхъ, сталъ бы то въ женѣ, то въ самомъ себѣ отыскивать причины не любви и не вѣрности супруги, ежедневно поглядывать на крючки въ стѣнахъ и привѣриваться, на какой бы повѣситься — и такъ провелъ бы всю жизнь, а жена шалила бы и шалила. Человѣкъ шестидесятихъ годовъ или оскорбился бы обманомъ жены и, выведя ихъ наружу, предлагалъ бы впредь безъ всякихъ такихъ обмановъ откровенно поступать, какъ ей угодно, или же разошелся бы съ нею, постаравшись, въ то же время, устроить это такъ, чтобы не опозорить передъ свѣтомъ женщины. Кошылловъ же, какъ современный герой, поступилъ совершенно такъ, какъ и всегда поступаютъ въ такомъ случаѣ непосредственныя натуры, въ родѣ хотя бы Отелло. Убѣдившись въ не вѣрности жены, онъ побѣжалъ въ гостиницу, гдѣ она обѣдала съ любовникомъ и тамъ, въ бѣшенствѣ, зарѣзалъ столовымъ ножомъ послѣдняго.

Но и послѣ такого омерзительнаго поступка Кошылловъ остался все тою же непосредственною натурою: онъ тотчасъ же напелъ для себя припреніе въ невольничьей рѣшности принять на себя всѣ кары закона за свой поступокъ, но дѣлая ни шагу къ малѣйшему смягченію этихъ каръ. Онъ отказался отъ всякаго объясненія своего поступка при допросахъ суднаго слѣдователя, отказался отъ всякихъ объясненій на судѣ, не хотѣлъ принять адвоката, а когда тутъ насильно навязался, сбиль его съ толку во время его рѣчи, прося поторопиться. Когда жена, во время слѣдственныхъ показаній, выставила его чудовищемъ, а себя несчастною и невинною жертвою этого чудовища, онъ и тутъ хоть бы слово сказалъ въ оправданіе себя или въ укоръ женѣ. Однимъ словомъ,

до конца выдержалъ передъ публикой роль трагическаго героя, желающаго, чтобы на него неуклонно упала мечъ карающей Немезиды, — и эта роль, конечно, прижила его съ самимъ собою, потому что, согласитесь сами, какъ пріятно сознавать себя подобнымъ непреклоннымъ героемъ, помирила его и съ публикой, которая выразила глубокое сочувствіе къ трагической жертвѣ игры страстей, выступавшей передъ нею въ такомъ картинномъ величіи сокрушеннаго желанія пострадать во что бы то ни стало за свое преступленіе и пострадать безъ малѣйшаго снисхожденія. Вышла, однимъ словомъ, очень эффектная сцена — трагическаго примиренія, возстановленія нравственной гармоніи, вотъ какъ, напримѣръ, у Шекспира Отелло задушилъ невинную женщину, потомъ зарѣзалъ самъ себя, — и зрители должны выходить изъ театра съ сладостнымъ сознаніемъ, что преступленіе отомщено и нравственные законы судебъ уравновѣшены; такъ, по крайней мѣрѣ, учили насъ старыя эстетикѣ.

Изъ этого всего наглядно видно, какъ легко героямъ нашей современной непосредственности не только производить гражданскіе подвиги доблестей и въ вознагражденіе за нихъ срывать цѣлты наслажденій, но и совершать самыя возмутительныя и грязныя преступленія. Изъ ничего не стоитъ найти, въ какой-нибудь случай, припреніе въ самой жизни и пребывать картинными и величественными героями какъ въ глазахъ толпы, такъ и передъ очами своей совѣсти. И такъ, еще разъ: да здравствуетъ современная намъ беззавѣтность!

Казалось бы, что, въ виду всего вышесказаннаго, очерки Хвощинской должны были бы возбуждать въ насъ самое свѣтлое настроеніе. Что можетъ быть утѣшительнѣе и отраднѣе, какъ не созерцаніе людей такихъ умныхъ, образованныхъ, блестящихъ, откликающихся на всѣ современные вопросы жизни и пользующихся всеми благами, срывающихъ всѣ возможные цѣлты наслажденій, беззавѣтно отдающихъ своимъ страстямъ, какъ истые донъ-кихоты, и находящиеся въ непрестанной гармоніи и съ самимъ собою, и съ окружающимъ ихъ обществомъ? И между тѣмъ, очерки Хвощинской, вмѣсто ободряющихъ и радостныхъ впечатлѣній, возбуждаютъ въ насъ лучшую тоску и ужасъ. Вамъ становится какъ-то жутко не только за всѣхъ этихъ людей, которымъ море по колено и у которыхъ нѣтъ ничего въ головѣ ни вчерашняго, ни завтрашняго, но и за все общество, наполненное этими людьми. Въ насъ словно будто пробуждается совѣсть, и вы сознаете себя участникомъ въ какомъ-то отвратительномъ преступленіи... Вамъ кажется, будто весь этотъ ниръ совершается въ какомъ-то чужомъ домѣ и, какъ ни велико, какъ ни беззавѣтно веселье, а вы все ждете, что вотъ сейчасъ придетъ хозяинъ и отнесется къ вамъ, какъ къ непрощеннымъ гостямъ... Отчего это, читатель?

1876—1877.

## БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

(КРИТИЧЕСКІЯ ПИСЬМА).

### Письмо первое.

НАШЕ СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ БЕЗВРЕМЬЕ.

Въ настоящее время и въ журналахъ, и въ газетахъ, и въ различныхъ общественныхъ кружкахъ — повсюду господствуетъ минорный тонъ относительно состоянія литературы вообще, беллетристики-же и критики въ особенности. Всѣ жалуется, что критика находится въ такомъ упадкѣ, что совсѣмъ начинаетъ исчезать изъ журналовъ. Беллетристика-же только и держится, что корифеями прежней эпохи, блиставшими уже въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ; новыхъ же талантовъ, которые можно-бы поставить на одну высоту со старыми, не является. И вотъ, въ этотъ-то моментъ литературнаго безвременья, я рѣшился написать къ вамъ критическія письма. Не подумайте, чтобы я мечталъ занять своими письмами опустѣвшую арену критики и принять на себя роль критическаго вождя, полагающаго за собою право рѣшить и вязать. Нѣтъ, просто по просту, когда во время жаркихъ сраженій избиваются всѣ полководцы, каждый солдатъ дѣлается генераломъ и подаетъ свои совѣты; или на общественныхъ собраніяхъ, когда вожди партій оставляютъ арену, каждый обыватель, который прежде только и дѣлалъ, что сидѣлъ и глубококомсленно выслушивалъ, теперь встаетъ и подаетъ свое мнѣніе. Такъ точно и я предстаю передъ вами простымъ рядовымъ и обывателемъ, и подаю свой голосъ, который вы въ правѣ выслушать или оставить безъ вниманія.

Начинаю я свои письма, какъ вы можете судить по заглавію, съ разсужденій о нашемъ современномъ литературномъ безвременьи—разсужденій, которыя, какъ я заявилъ уже выше, вы встрѣтите на всѣхъ перекресткахъ, безъ которыхъ не могутъ обойтись ницѣ, заговоривъ о литературѣ. Въследствіе одной этой всеобщности толковъ о литературномъ безвре-

меньи, вопросъ этотъ получаетъ большую важность; его слѣдуетъ поставить впереди и обсудить прежде всего. Онъ послужитъ мнѣ какъ-бы вступленіемъ въ мои критическія письма; дастъ мнѣ возможность, прежде, чѣмъ я займусь анализомъ того или другаго изъ современныхъ произведеній беллетристики, сдѣлать общій обзоръ состоянія современной литературы и, вѣстѣ съ тѣмъ, высказать тѣ критеріи, которые будутъ руководить мною при оцѣнкѣ различныхъ произведеній, настоящихъ и будущихъ.

Что касается лично до меня, то я вполне раздѣляю недовольство большинства общества современнымъ беллетристикою. Если и существуютъ въ литературѣ два, три имени, которыя слѣдуетъ исключить изъ этого недовольства, если и появляются въ теченіи года два, три произведенія, отмѣченныя сильными талантомъ и обращающія на себя всеобщее вниманіе, то подобныя явленія представляются словно оазисами въ дикой пустынѣ. Они остаются сами по себѣ, а пустыня тоже—сама по себѣ продолжаетъ пребывать все тою-же бесплодною пустынею. Такъ, напримеръ, возьмемъ хоть нынѣшній годъ, клянущійся уже къ концу и представляющій намъ свои итоги и, нужно отдать ему справедливость, плачевные итоги по части художественной литературы. Такъ, изъ наиболее выдающихся произведеній только и можно отмѣтить, что трагикомедію Некрасова „Современные герои“, нѣсколько очерковъ Щедрина, нѣсколько главъ романа гр. Толстаго, одну комедію Островскаго, да два очерка Г. Иванова (этого чуть-ли не единственнаго изъ молодыхъ талантовъ, выстрадавающаго свои очерки, а не сочиняющаго ихъ). Но вѣдь это не составляетъ всей беллетристики за цѣлый годъ въ четырехъ толстыхъ журналахъ? Вѣдь это—капля въ морѣ? Вѣдь это все, переплетенное вѣстѣ, составляло-бы небольшой томъ? Ну, а какъ-же представляется собою беллетристика нынѣшняго года? Датье за тѣмъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ слѣ-



дуть романъ Смирновой „Сила характера“. Въ „Дѣлѣ“ былъ помѣщенъ романъ Михайлова „Хлѣба и зрѣлицѣ“, и затѣмъ тянется и, вѣроятно, долго еще будетъ тянуться безконечный романъ Евг. Маркова „Черноземныя поля“. А въ концѣ года выступилъ Лавровъ съ новымъ романомъ „Вѣшная лощина“. Въ „Вѣстникѣ Европы“ пародировалъ А. Потѣхинъ, который началъ годъ повѣстью „Хвораа“, а окончилъ романомъ „Около денег“. Въ промежуткѣ-же между этими двумя столпами беллетристики „Вѣстника Европы“ мы только и видимъ, что два помертвѣла произведенія, помѣщенные, конечно, ради одного историческаго интереса: отрывки изъ драмы А. Толстого „Посадникъ“ и повѣсть М. Авдѣева „Въ сорочковныя годы“. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“... но беллетристика „Русскаго Вѣстника“—совсѣмъ особая статья: она стоитъ совсѣмъ за рубежемъ современнаго движенія литературы; для нея никакихъ эстетическихъ законовъ не писано, и говорить о ней—дѣло никакъ ужъ не художественной критики. Оставимъ мы ее лучше въ покоѣ съ ея „Млечными путями“, „Побутками на курьихъ ножкахъ“ и тому подобнымъ хламомъ.

Вотъ и все, за исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ повѣстей, рассказовъ, очерковъ, о которыхъ не осталось въ головѣ ни малѣйшаго воспоминанія. Не правда-ли, какъ мало за цѣлый годъ для четырехъ томовыхъ журналовъ? Но этого мало, что мало, а главное дѣло въ томъ, что все это, вмѣстѣ взятое, и производить на большинство публики то впечатлѣніе неудовлетворенности, которое приводитъ читателей журналовъ къ сѣтованіямъ на литературное безвременье.

Читатель, повидимому, очень жаждетъ талантливой беллетристики, которая произвела бы на него сильное впечатлѣніе и вліяніе. Это можно судить по тому, что толпами бросается онъ къ тому журналу, въ которомъ заранѣе обѣщано ему произведеніе съ любопытнымъ и любимымъ именемъ, не смотря даже на направление журнала и на то соображеніе, что въ журналѣ, можетъ быть, нечего будетъ читать, кромѣ обѣщанной прикавки. Но каждый разъ читатель испытываетъ новое разочарованіе и приходитъ къ пустому сознанію, что все это—не то, чего бы ему хотѣлось. Главная же задача въ томъ, что читатель и самъ не можетъ рѣшить, что ему нужно отъ беллетристики и почему она не удовлетворяетъ его? Вѣдь, если прислушаться ко всѣмъ тѣмъ эстетическимъ требованіямъ, какія бродятъ въ обществѣ и, притомъ, въ передовыхъ и наиболѣе интеллигентныхъ его сферахъ, то остается только дивиться и пожимать плечами: чего же можетъ не доставать въ нашей современной беллетристикѣ такого, что бы не удовлетворяло этимъ требованіямъ и тѣмъ подавало поводъ къ заботамъ на литературное безвременье? Во-первыхъ, читатель требуетъ, чтобы беллетристика изображала ему жизнь такъ, какъ она есть, во всемъ ея обыденномъ теченіи, со всѣми ея деталями. Во-вторыхъ—чтобы писатель обобщалъ жизнь, представлялъ такіе типы и сюжеты, въ которыхъ, какъ въ фокусѣ, изображались бы черты жизни наиболѣе общія, встречаемыя въ цѣлыхъ массахъ конкретныхъ явленій ея.

Въ-третьихъ, наконецъ, читатель требуетъ, чтобы произведенія отзывались на различные злобы дня, были полезны въ тенденціозномъ отношеніи. И вотъ, найдите мнѣ хоть одно такое изъ современныхъ беллетристическихъ произведеній, которое не удовлетворило бы если не всѣмъ этимъ требованіямъ, то хоть одному изъ нихъ?

Что касается до изображенія жизни въ ея обыденномъ теченіи и до деталей, то беллетристы такъ и распинаяются, чтобы изображать жизнь какъ можно полнѣе, всестороннѣе и подробнѣе, во всѣхъ ея мельчайшихъ отбѣнкахъ, со всѣмъ фламандской кухни пестрымъ серомъ. Вы найдете въ нашей литературѣ романы, въ которыхъ это эстетическое требованіе доведено до *pes plus ultra*, до идеальности—романы, основанные всею подъ радъ на анализѣ мелкихъ деталей жизни, романы, въ которыхъ нѣтъ ни интриги, ни сюжета, ни какихъ-либо катастрофъ, ничего такого, что на языкѣ толпы называется романтическимъ, а просто по просту рассказывается, какъ живутъ день за днемъ зауряднѣйшіе и на каждомъ шагу встречаемые люди, какъ они пьютъ, ѣдятъ, ходятъ другъ къ другу въ гости, хозяйничаютъ и пр. Чтобы не далеко ходить, возьмите хоть „Черноземныя поля“ Евг. Маркова. Чего же хотите вы совершеннѣе въ этомъ отношеніи? Вотъ ужъ цѣлый годъ тянется этотъ романъ, дотянулся едва-едва до второй части—и хоть-бы намекъ на какую нибудь романтическую интригу, драматическій сюжетъ и т. п., а такъ-таки прямо и выкладывается передъ вами деревенская жизнь во всей ея подноготной. Читаете вы одну главу; въ ней описано, какъ Нада лечила телку. Такъ таки цѣлая глава и посвящена этому поучительному, въ своемъ родѣ, рассказу. Читаете другую главу; въ ней находите не менѣе поучительный рассказъ о томъ, какъ Нада учила деревенскихъ ребятъ шитье и какъ при этомъ пріѣхали два сосѣдніе похѣнщика, и Нада сконфузилась и застыдилась. Въ третьей главѣ слѣдуетъ описаніе, какъ деревенскія бабы молотили рожь, а господа пришли къ нимъ на гуано, посмотреть на ихъ работу. Въ четвертой главѣ повѣствуется о томъ, какъ господа завтракали въ лѣсу и варили яичницу и пр., и пр. И забытые при этомъ, что все это описано крайне вѣрно, до мельчайшихъ подробностей; люди передъ вами, какъ живые, и вся жизнь ихъ у васъ на ладони. Но и прочіе беллетристы, подвизавшіеся въ нынѣшнемъ году, хотя и не достигли въ изображеніи обыденной жизни во всѣхъ ея деталяхъ до такого совершенства, какъ Евг. Марковъ, все-таки, нельзя сказать, чтобы и пренебрегли этикъ эстетическимъ требованіемъ. Дѣйствующія лица романовъ ихъ, въ свою очередь, встаютъ передъ вами, какъ живыя; нѣкоторыя изъ нихъ весьма типичны и напоминаютъ собою многихъ, встречаемыхъ въ жизни людей. Такъ, напримеръ, если вы обязываете меня видѣть въ гоголевскомъ Ветрицкѣ типъ, обобщающій многихъ военныхъ русскихъ генераловъ, то чѣмъ же уступаетъ ему столь же обобщающій типъ генерала Охлыстышева въ романѣ Смирновой? Если Акакія Акакіевича вы признаете типомъ всѣхъ крайне забытыхъ мелкихъ чиновниковъ, то почему же Лыткинъ въ романѣ Михайлова не можетъ въ та-

кой-же степени служить представителемъ всѣхъ спившихся съ кругу чиновниковъ-сутягъ, дошедшихъ до такой деморализаціи, что имъ ничего не стоитъ торговать честью своей дочери? Отчего Охлыстышевъ и Лыткинъ не могутъ служить кличками для весьма многихъ субъектовъ, встречающихся въ жизни, подобно тому, какъ служатъ кличками Фамусовы, Чичиковы, Поздревы и пр.? А о А. Потѣхина и говорить нечего: у него, въ „Хворой“-ли, въ „Около денег“-ли, что ни дѣйствующее лицо—то самый обобщительный типъ. Онъ только такія личности и выводитъ, какія вы можете встрѣтить въ жизни, изображаемой имъ, на каждомъ шагу.

Что касается до вѣрности дѣйствительности, то, конечно, не всѣ беллетристы безукоризненны относительно ея. Много кое въ чемъ можно усомниться въ романѣ Смирновой и еще болѣе въ романѣ Михайлова относительно изображенія Михайловымъ великосвѣтскаго общества, котораго онъ, повидимому, и въ глаза не видалъ. Но и въ романѣ Смирновой, и въ романѣ Михайлова вы найдете черты жизни несомненно вѣрныя и, притомъ, въ свою очередь, не малое богатство деталей. Вы вспомните, какъ обстоятельно, до какихъ мелочныхъ подробностей описана у Смирновой повседневная жизнь семейства Охлыстышевыхъ: возьмите хоть бы всѣ эти споры генерала съ Отто о внутренности земного шара и другихъ новѣйшихъ теоріяхъ, его причуды и капризы съ Марьей Николаевной. Развѣ все это—не типическія черты, знающія васъ съ жизнью Охлыстышевыхъ такъ коротко, въ такихъ подробностяхъ, какъ будто вы сами прожили нѣсколько лѣтъ въ этомъ семействѣ? Ну, а что касается Потѣхина, то и говорить нечего: я не думаю, чтобы онъ хоть въ чемъ-нибудь уступилъ Евг. Маркову относительно вѣрности, дѣйствительности и обилія деталей. Возьмите во вниманіе хоть-бы то, напримѣръ, обстоятельство, что въ октябрьскомъ номерѣ „Вѣстника Европы“, въ которомъ начался печататься новый романъ Потѣхина, напечатано, по крайней мѣрѣ, листовъ пять романа, и эти пять листовъ представляютъ описаніе одного деревенскаго праздника. Деревенскій праздникъ, описанный на пяти печатныхъ листахъ—какой же вы хотите большей еще обстоятельности? Вѣдь, ужъ тутъ, значитъ, разобрано все по косточкамъ, ничего не упущено изъ вида до послѣдней подноготной. Ну, и дѣйствительно, остается только дивиться обилію деталей. Начнетъ ли Потѣхинъ описывать деревенскую часовню, ничего не пропуститъ безъ замчанія: и какой въ часовнѣ полъ, и какія стѣны, и какой потолокъ, и какіе образа что изображаютъ, въ окладахъ или безъ окладовъ, и какія наникадила передъ каждымъ образомъ, и какъ молятся мужики, какъ молятся бабы, въ чемъ кто одѣтъ и пр., и пр. Описываетъ ли Потѣхинъ крестьянскій ходъ, онъ посвятитъ васъ въ такія подробности, которыя, навѣрное, вы пропустили бы безъ вниманія, еслибы сами присутствовали на этомъ крестьянскомъ ходѣ: кто, напримѣръ, держалъ какую хоругвь или образъ, кто кому когда передать это держаніе, какъ бабы, набожно подлѣзя подъ образа, не опускали при этомъ случая дать тукланку въ шею какому-нибудь шаловливому мальчугану и пр., и пр. Однимъ

словомъ, остается диву даваться, до чего простиралась тонкость наблюдательности Потѣхина.

Что касается до тенденціозности, то, конечно, трудно бываетъ иногда сказать, для чего пишутся новыя современныя произведенія и что они собою выражаютъ, хоть-бы тѣ-же произведенія Потѣхина. Такъ, напримѣръ, для чего онъ написалъ свою „Хворую“? Хотѣлъ въ ней представить, просто-на-просто, грустную картину грубости нравовъ необразованнаго мужицка, для же провести болѣе возвышенную и тонкую мысль, что бѣдность и нужда заглушаютъ въ людяхъ всѣ родственныя и человѣческія чувства? Христосъ его вѣдаетъ. Точно также, кто разгадаетъ тайну: какую идею провела Смирнова въ своемъ послѣднемъ романѣ? Наиболѣе простодушные читатели положили, что писательница написала свой романъ не съ какою-нибудь цѣлю, какъ лишь для иллюстраціи десятой заповѣди: „не пожелай жены брата твоего“; но одинъ болѣе хитроумный критикъ рѣшилъ, что въ романѣ проведена нѣкоторая проницательная и злохитрая мысль—именно, что, какого-бы героя ни корчилъ изъ себя мужчина и какую силу характера ни обнаруживалъ онъ повидимому, но настойчивая женщина всегда окажется побѣдительницею, и онъ спасуетъ передъ нею въ рѣшительную минуту. Какъ-бы тамъ ни было, но даже и относительно этихъ произведеній, сомнительныхъ въ тенденціозномъ отношеніи, у насъ есть отличный оправдывающій критерій, выработанный предыдущею критикою и заключающійся въ томъ, что въ истинно-художественномъ произведеніи образы писателя говорятъ сами за себя, высказываютъ гораздо болѣе, чѣмъ онъ предполагалъ, иногда даже свидѣтельствуютъ совершенно вопреки его мыслямъ. А развѣ вы признали, что романъ Смирновой или Потѣхина вѣрно изображаетъ жизнь—чего-же вамъ еще? Ну, и пусть образы, представленные имъ, говорятъ сами за себя, а вы ихъ анализируйте и дѣлайте изъ нихъ свои выводы и заключенія.

Но вѣдь не все-же въ теченіи нынѣшняго года являлись произведенія, относительно тенденціозности которыхъ остается поставить вопросительный знакъ. Развѣ не было произведеній несомненно тенденціозныхъ и, притомъ, съ тенденціями немаловажными и вполне современными? Вотъ, напримѣръ, хоть-бы тѣ-же опять „Черноземныя поля“ Евг. Маркова. Чѣмъ же это—не тенденціозный романъ? Вѣдь, если взять во вниманіе, что самымъ современнымъ вопросомъ, въ разрѣшеніе котораго болѣе углублялась наша интеллигенція въ нынѣшнемъ году, былъ вопросъ объ отношеніи города къ деревнѣ и объ опредѣленіи деревенской нравственности, то романъ Маркова точно будто нарочно написанъ въ видахъ этого вопроса, и я убѣжденъ, что публицисты „Недѣли“ должны читать этотъ романъ всласть и приходить въ удивленіе отъ каждой его страници. Все содержаніе романа въ томъ, именно, и заключается, что противъ извѣстныхъ, изломанныхъ, растлѣнныхъ городскихъ взглядовъ поставлены крѣпкіе душою и тѣлою люди деревни и воспыты во всѣхъ своихъ деревенскихъ добродѣтеляхъ. Какой-же вамъ нужно еще тенденціи, болѣе бьющей въ современную жилку? Здѣсь именно является то искусство, которое вамъ такъ жале-

тельно—искусство, доводящее сегодняшний момент и съезжающее отвѣтить на вопросъ, только-что поднятый въ литературѣ.

Ну, а романъ Михайлова—чѣмъ-же это не романъ тенденціознѣйшій изъ всего, что появилось въ нынѣшнемъ году въ литературѣ нашей? Раскрыть намъ мрачную картину всей неурядицы, всего того возмущающаго душу дичища безчеловѣчія, кроющагося подъ личиною гуманности, какія существуютъ въ отпоселеніяхъ жителей бельэтажей къ обитателямъ подваловъ, показать всю несостоятельность и эфемерность нашей троповой филантропій—Господи, да можно-ли придумать для романа тѣху наиболѣе животрепещущую? Развѣ это—не одинъ изъ такихъ вопросовъ времени, который беллетристъ обязанъ посвящать все свои силы?

Послѣ всего этого только посталось-бы, повидимому, радоваться, что наша литература находится на самой вѣрной дорогѣ и процвѣтаетъ, ликовать, признавая, что, хотя и немного даетъ она въ теченіи года пищи для ума и сердца въ количественномъ отношеніи, зато въ качественномъ вполне удовлетворяетъ всея современнымъ требованіямъ отъ искусства. И, при всемъ томъ, публика остается почему-то недовольною беллетристикою, жалуется на литературное безвременье, чего-то ищетъ, чего-то ждетъ, словно будто совѣмъ чего-то другого, и сама не знаетъ чего. Что-же ей совѣтъ значить?

И публика, по моему мнѣнію, совершенно права. Здѣсь происходитъ явленіе весьма естественное и довольно часто встрѣчаемое въ жизни. Публика находится въ положеніи молодой женщины, которая вышла замужъ не по любви, а по навязанному ей родителямъ расчету. Базалось-бы, чѣмъ не жизнь: домъ ей, какъ полная чаша, мужъ—вовсе не какой-нибудь беззубый, разваливающейся старикъ или негодяй, а молодой, красивый, добрый, образованный. Она не можетъ ни въ чемъ пожаловаться на него, ищетъ къ нему полное уваженіе, старается даже вообразить, что любитъ его. А, между тѣмъ, на сердцѣ у нея какая-то зловѣщая пустота, и что-то бродитъ въ ней тревожное, хучительное, пазойливое, заставляющее ее задумываться, лить безпричинныя, повидимому, слезы и смотреть на все унылыми глазами. Это бушуютъ въ ней неудовлетворенныя инстинкты страсти, жажда любви естественной, настоящей, а не навязанной и надуманной доводами холоднаго разсудка. Въ такомъ-же положеніи находится и публика наша. Ей навязанъ рядъ эстетическихъ доктринъ, искусственныхъ, узкихъ, схоластическихъ и предлагають ей художественныя произведенія, изготовленныя вполне по рецептамъ этихъ доктринъ. Съ одной стороны, она не смѣетъ ни слова возразить противъ этихъ доктринъ, такъ какъ современные критики наперерывъ внушаютъ ей, что въ доктринахъ этихъ вся современная мудрость; съ другой стороны, разъ она соглашается съ этими доктринами, она не имѣетъ основанія возставать противъ произведеній искусства, написанныхъ вполне въ ихъ духѣ. Но, тѣмъ не менѣе, въ ней не перестаютъ бродить художественныя инстинкты, не ищущіе ничего общаго съ навязанными ей доктринами, и требуютъ удовлетворенія такими произведеніями искусства, ко-

торыя вполне согласовались-бы съ этими инстинктами. Она и недовольна, она и ропщетъ, она и ждетъ чего-то такого особеннаго, въ чемъ и сама себѣ не можетъ отдать отчета. Все это пока крайне не ясно. Но все это вполне разъяснится для насъ, когда мы сдѣлаемъ нѣкоторое отступленіе, оставимъ на время въ сторонѣ публику съ ея недовольствомъ и современную нашу беллетристику со всеи ея совершенствами и выйдемъ въ основанія художественныхъ творческихъ процессовъ, въ тѣ естественныя основанія, которыми лежатъ не въ какихъ-либо задуманныхъ эстетическихъ доктринахъ, а въ самой человѣческой природѣ, которыя, съ одной стороны, побуждаютъ великихъ и истинныхъ художниковъ къ созданію вполне естественныхъ и сильныхъ произведеній искусства, съ другой-же стороны руководятъ инстинктами массы, какъ при созданіи этими массаи собирательно-народныхъ произведеній, такъ и при томъ сочувствіи или несочувствіи, которыя возбуждаются въ массахъ къ произведеніямъ личнаго творчества. Разъ мы это сдѣлаемъ, и если увидимъ, что естественныя основанія художественнаго творчества не ищутъ ничего общаго ни съ господствующими нынѣ эстетическими доктринами, ни съ беллетристикою, вѣрною этимъ доктринамъ, для насъ и станетъ вполне ясна причина инстинктивнаго недовольства публики современною беллетристикою, ясно станетъ и то, что требуется публикою, чего ей недостаетъ.

Подъ именемъ современныхъ эстетическихъ доктринъ мы имѣемъ дѣло, собственно говоря, съ весьма старыми доктринами, установленными еще Бѣлинскимъ и господствующими въ нашей литературѣ, по крайней мѣрѣ, дѣтъ уже 30, причежъ до сихъ поръ никому и въ голову не приходитъ подвергнуть эти доктрины пересмотру, свести ихъ на одну ставку съ тѣми успѣхами знаній, какіе въ эти 30 дѣтъ были пріобрѣтены во всехъ наукахъ, соприкасающихся съ эстетикою (въ физиологій, психологій, логикѣ). Конечно, это опущеніе происходитъ отчасти отъ того, что доктрины эти имѣютъ претензію носить авторитетное для нашего времени клеймо реализма. Но вопросъ еще—такъ-ли онѣ реальны, какъ кажутся? Не надо при этомъ забывать, что онѣ возникли въ то переходное время, когда реализмъ только-что возникалъ и различныя положенія его перепутывались съ метафизическими теоріями, отъ которыхъ не могло сразу отстать мышленіе людей 40-хъ годовъ, въ томъ числѣ и Бѣлинскаго. И дѣйствительно, даже раньше постановленія этихъ доктринъ на одну ставку съ новыми успѣхами знаній, мы можемъ усмотрѣть, что въ нихъ что-то неаудно, чего-то какъ-будто недостаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, замѣтили-ли вы, что все эти доктрины говорятъ исключительно только о дѣлахъ творчества и совершенно умалчиваютъ о причинахъ? Поэтъ, говорятъ они, *долженъ* воспроизводить обыденную жизнь такъ, какъ она есть, во всехъ ея деталяхъ; поэтъ *долженъ* отзываться на различныя злобы дня. Но изъ какихъ-же основныхъ побужденій человѣческой природы возникаютъ эти *долженности*?—доктрины объ этомъ умалчиваютъ. Такимъ образомъ, художественное творчество оказывается лишеннымъ всякаго основанія, и весьма нетрудно прямыхъ, логическимъ вы-

вodomъ изъ вышеупомянутыхъ доктринъ дойти до полнаго отрицанія творчества. Въ самомъ дѣлѣ, вы только подумайте: поэтъ долженъ изображать жизнь, какъ она есть. Что за абсурдъ такой? Для чего это рядомъ съ дѣйствительностью, полною жизни и красокъ, строктъ, ни съ того, ни сего, другую дѣйствительность, мертвую, книжную, которая навсегда останется блѣдною, жалкою копіею живой дѣйствительности, потому что не тѣ-же ли самыя доктрины внушаютъ намъ, что искусство никогда не сравняется съ дѣйствительностью и обречено на вѣчныя муки Тантала въ своихъ стремленіяхъ изобразить дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ такомъ, кака она есть? А если такъ, то тѣмъ болѣе оказывается нелѣпнымъ трудъ, излишній даже и въ случаѣ успѣха. И вотъ, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать существованіе искусства, несостоятельнаго въ своей существенной цѣли, выступаетъ на сцену теорія искусства для жизни и начинается предписывать искусству различныя утилитарныя цѣли: искусство, говоритъ она, должно воспроизводить быденную жизнь во всѣхъ ея деталяхъ съ такими-то и такими-то научными, политическими, нравственными цѣлями и проч., и проч. Но если вы разберете все эти предписанія, то окажется, что въ жизни и безъ искусства есть не мало функций, достигающихъ тѣхъ-же цѣлей, но только гораздо прямѣйшимъ путемъ и болѣе сильными средствами, чѣмъ можетъ достигнуть ихъ искусство. Спрашивается: для чего-же ко всемъ этимъ функциямъ присоединять еще одну лишнюю и самую слабѣйшую, въ видѣ изображенія жизни во всѣхъ ея деталяхъ? Такъ, напримѣръ, предположимъ, что мнѣ нужно сдѣлать какой-нибудь интересный психологическій анализъ—спрашивается: для чего стану я придумывать цѣлыя сюжеты, сцены, любовныя объясненія и, сверхъ того, еще нагромождать детали на детали, описывать ни къ селу, ни къ городу столы, стулья, костюмы, природу, однимъ словомъ, захватывать бездну всякаго сору на пути, ни мало не относящагося къ моему анализу, когда я могу сдѣлать дѣло гораздо проще, написавъ небольшую брошюру, въ которой прямохонько изложу свой психическій анализъ, подтвердивъ его необходимыми фактами, и дѣло конецъ—однимъ словомъ, какъ это дѣлаютъ ученые, которымъ и къ годову не приходится блажная мысль, трактуя объ условіяхъ эпидеміи самоубійствъ, начать вдругъ изображать самоубійство неизвѣстной дѣвушки въ гостиницѣ во всѣхъ подробностяхъ, не упуская изъ виду при этомъ и того замѣчательнаго обстоятельства, что у полового, который прислуживалъ самоубійцѣ, была уродлива шишка подъ носомъ? Или представьте себѣ, что я увлекся какимъ-нибудь животрепещущимъ современнымъ вопросомъ дня. И, опять-таки—къ чему мнѣ все эти детали, мебели, костюмы, природа, шишки подъ носами у половыхъ, когда я гораздо прямѣе могу достигнуть своей цѣли, пристроившись къ какой-нибудь газетѣ и начавши писать передовыя статьи—одну, другую, третью, пока, наконецъ, мнѣ не удастся увлечь публику своимъ вопросомъ и склонить ее къ разрѣшенію его? Возбудили-ли во мнѣ сильное негодованіе какія-нибудь отрицательныя явленія жизни—ну, хоть, напримѣръ, наши современные герои въ видѣ концессионеровъ,

биржевыхъ игроковъ и тому подобнахъ аферистовъ, то къ чему стану изливать свое негодованіе въ художественныхъ произведеніяхъ, зная, что въ нихъ явятся однѣ блѣдныя, безличныя копія дѣйствительныхъ негодствъ, совершенно для нихъ безобидныя, когда я могу гораздо прямѣе лично напасть на людей, возбудившихъ во мнѣ негодованіе хоть-бы въ газетныхъ фельетонахъ, поименно обозначая ихъ и показывая на нихъ и на ихъ поступки пальцами всей публики? А не то я могу добиваться прокурорской казны и пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для привлеченія этихъ людей къ судебной ответственности. Ну, вотъ и подумайте опять: какое художественное произведеніе смогли блѣдными копіями дѣйствительности произвести такое сильное впечатлѣніе на публику, какое способна произвести сама дѣйствительность, въ видѣ хотя-бы струсбергскаго процесса, въ которомъ безобразія современныхъ героевъ являлись передъ публикою воочию и чувствительно бились не только по нервамъ ея, но и по карманамъ? Какая гопіальная сатира, какой гоголевскій юморъ покараетъ ихъ въ такой степени, какъ способенъ покараетъ ихъ судъ не однихъ смѣхомъ и свистомъ надъ подобными выдуманскими художественными типами, но посредствомъ публичнаго разборательства ихъ собственныхъ поступковъ и сообразнаго ихъ винѣ наказанія по законамъ?

Я могъ-бы привести массу и другихъ примѣровъ, показывающихъ полное банкротство искусства, если принимать его въ духѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ, но я полагаю, что и этихъ примѣровъ достаточно. Но искусство, и безъ того несостоятельное въ тѣхъ цѣляхъ, которыя ему навязываютъ современныя доктрины, должно оказывать еще несостоятельность, если мы обратимъ вниманіе, какъ обыкновенно добиваются этихъ цѣлей художники, наиболѣе вѣрные этимъ доктринамъ. Вѣдь, въ сущности, они самымъ наивно-грубымъ образомъ надуваютъ и себя, и публику, воображая, что произведенія ихъ, въ самомъ дѣлѣ, проникнуты современными идеями въ духѣ полезнаго искусства, ради этихъ идей только и написаны. Въ дѣйствительности же, проникновеніе это напоминаетъ то напускное благоговѣніе, которое принимали на себя древніе авгуры, когда совершали свои жертвы, и которое несколько не мѣшало имъ, возводя очи горѣ, рассчитывать въ своемъ умѣ, какое получатъ они вознагражденіе за свою службу. Такъ точно и большинство нашихъ беллетристовъ только дѣлаютъ видъ, что отзывается на различныя злобы дни. Отзываніе это является обыкновенно въ видѣ самаго общаго рутиннаго хвѣста, столь общезвѣстнаго, что, казалось-бы, не стоило изъ-за этого тризна и огородъ городить, не стоило и капусту садить. Дѣло заключается обыкновенно въ какой-нибудь сентенціи, въ родѣ слѣдующихъ: грошова подачка съ высоты барскаго величія не приноситъ ни малѣйшей пользы нуждающимся, а только оскорбляетъ и деморализируетъ ихъ; люди, живущіе въ въ деревнѣ и занимающіеся сельскимъ хозяйствомъ, лучше знаютъ дерево и это хозяйство, чѣмъ городскіе обыватели; нужда разстроиваетъ семейные узы и, дѣлая домочадцевъ взаимными врагами, доводитъ

ихъ до безчеловѣчныхъ преступленій и проч., и проч. Подождавъ въ основаніе своего произведенія одинъ изъ подобныхъ трионзовъ, беллетристъ воображаетъ, что заплатилъ дань вѣку, оправдалъ себя передъ теорією полезнаго искусства. И затѣмъ, оставаясь, такъ и образомъ, съ очами, благоговѣнно возведенными горѣ, во всѣхъ своихъ мысленіяхъ онъ пребываетъ художникомъ вполне въ духѣ чистаго искусства и начинаетъ съ спокойною совѣстью выгромождать детали на детали для того, чтобы показать: смотрите, молъ, какой я тонкій наблюдатель, какъ я всесторонне обрисовываю предметы во всѣхъ мелочахъ, не забывая ни одной черточки, какія умѣю и рисовать художественныя картины природы, что нашъ Тургеневъ и проч., и проч. Для того, чтобы показать всю нелѣпость и эфемерность подобной комедіи, равно какъ и тѣхъ доктринъ, которыя ведутъ къ ней, мы и займемся опредѣленіемъ искусства не въ цѣляхъ его, а въ тѣхъ основныхъ побужденіяхъ человѣческой природы, изъ которыхъ возникаетъ художественное творчество, и изъ этихъ основныхъ побужденій мы попытаемся вывести какъ условія, при которыхъ произведенія искусства производятъ на насъ сильнѣйшее впечатлѣніе и удовлетворяютъ нашимъ эстетическимъ потребностямъ, такъ и всѣ цѣли искусства, и все значеніе его въ жизни.

Доктрина, опредѣляющая цѣль искусства въ изображеніи жизни такъ, какъ она есть, опровергается прежде всего самыми элементарными философскими положеніями, давно, съ начала XVIII вѣка, принятыми равно всѣми философскими школами — метафизическими и реальными. Дѣло въ томъ, что какъ же такъ изображать дѣйствительность, какъ она есть, когда мы не знаемъ дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ, когда мы имѣемъ дѣло не съ нею самою непосредственно, а съ тѣми впечатлѣніями, какія она производитъ на насъ, и представленіями, возникающими въ нашемъ мозгу вслѣдствіе впечатлѣній? Такимъ образомъ, вышеупомянутую формулу слѣдовало-бы измѣнить такимъ образомъ: искусство должно воспроизводить дѣйствительность не въ томъ видѣ, какъ она есть сама по себѣ, а какъ она намъ представляется. Но, разъ мы сдѣлаемъ такое измѣненіе, мы сразу перемѣстимъ искусство съ прежней почвы тщетной погони за вѣрностью дѣйствительности на почву вѣрности нашихъ представленій. Міръ же представленій нашихъ есть вѣчно крайне относительное, условное, зависящее какъ отъ тѣхъ точекъ зрѣнія, съ какихъ мы смотримъ на различные предметы, такъ и отъ силы или слабости впечатлѣній. Представленія наши вовсе не составляютъ чего-либо постояннаго, неизмѣннаго, неизбѣжнаго. Напротивъ того: они, словно призраки снуртлама, постоянно мѣняютъ свои очертанія, дѣлаясь то ярче, то туманнѣе, то увеличиваясь, то уменьшаясь въ своей интенсивности и экстенсивности. Измѣчивость нашихъ представленій и зависимость ихъ отъ впечатлѣній я могу пояснить нѣсколькими наглядными примѣрами, причемъ и нарочно выбираю такіе примѣры, которые ближе подходятъ къ нашему дальнѣйшему разсмотрѣнію творческихъ процессовъ.

Такъ, напримѣръ, возьмемъ на первый разъ такіа, повидимому, опредѣленнаго представленія, какъ представленія солнечнаго блеска и дневнаго свѣта. Я не говорю уже о томъ, что представленія эти нисколько не соответствуютъ дѣйствительности. Мы очень хорошо знаемъ на основаніи несомнѣнныхъ научныхъ данныхъ, что, само по себѣ, солнце не имѣетъ вовсе никакой ослѣпительной яркости, а только производитъ опредѣленное движеніе эфира. Понятіе же о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ опредѣляетъ только отношеніе этихъ волнъ эфира къ нашимъ глазнымъ нервамъ, и, какъ таковое, оно крайне относительно. Будь наши нервы устроены нѣсколько иначе, будь они хоть немножко туповатѣе, и солнце представлялось-бы намъ не болѣе яркимъ, чѣмъ луна, и день гораздо темнѣе. Да и при настоящемъ устройствѣ нашего глазнаго аппарата, понятія о яркости солнца и дневномъ свѣтѣ остаются условными: чѣмъ выше солнце надъ горизонтомъ, тѣмъ кажется оно болѣе яркимъ. Для человѣка, только что вышедшаго изъ темной комнаты, можетъ показаться ослѣпительно-яркимъ нашъ темный, ненастный декабрьскій день, а если было-бы возможно жителя тропиковъ въ одно мгновеніе переселить въ Архангельскъ, то великолѣпный солнечный июльскій день показался-бы ему пасмурнымъ и мрачнымъ.

Точно также — можемъ ли мы сказать, чтобы красавица была прекрасна сама по себѣ, когда намъ извѣстно, что красота ея есть не что иное, какъ собственное наше впечатлѣніе, производимое на насъ женщиной, и, чѣмъ сильнѣе это впечатлѣніе, тѣмъ и женщина кажется намъ красивѣе? Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы она и на самомъ дѣлѣ была красивѣе: мы зачастую видимъ, что влюбленному человѣку предметъ любви представляется гораздо красивѣе, чѣмъ другимъ смертнымъ эта же самая женщина; это, конечно, потому, что прочіе смертные смотрятъ на эту женщину далеко не съ тѣмъ страстнымъ восторгомъ, какъ влюбленный. Но и влюбленному внослѣдствіи предметъ его страсти будетъ казаться гораздо менѣе красивымъ, чѣмъ при первыхъ встрѣчахъ, когда страсть его потеряетъ свой острый характеръ и впечатлѣніе отъ непрестанныхъ повтореній сдѣлается привычнымъ. А если влюбленный разочаруется въ женщину, то она можетъ показаться ему и совсемъ некрасивою. Эту дисградацию качествъ и признаковъ предметовъ, сообразно силѣ впечатлѣній и по мѣрѣ повторяемости послѣднихъ, мы замѣчаемъ въ жизни на каждомъ шагу. Этимъ, конечно, объясняется и тотъ общеизвѣстный фактъ, почему жители, постоянно населяющіе какую-нибудь красивую мѣстность, остаются совершенно равнодушны къ красотамъ окружающей ихъ природы, совсѣмъ какъ-будто и не замѣчаютъ ихъ, въ то время какъ прѣзвѣкіе выражаютъ самые шумные восторги. Подъ влияніемъ сильныхъ впечатлѣній мы получаемъ склонность преувеличивать предметы не только въ интенсивномъ, но и въ экстенсивномъ отношеніи, т. е. представлять ихъ не только красивѣе, безобразнѣе, смѣшнѣе, но и больше по своему объему или величинѣ. Извѣстна поговорка, что у страха глаза велики и что пугливый человѣкъ способенъ муху увидѣть со слона, какъ нельзя

болѣе философски опредѣляютъ наклонность преувеличивать предметы подѣ влияніемъ сильнаго впечатлѣнія страха.

Но не одинъ страхъ дѣйствуетъ такимъ образомъ. Такъ, когда вы въ первый разъ идете по какой-нибудь дорогѣ, она кажется вамъ несравненно длиннѣе, чѣмъ когда вы проходите тѣмъ же путемъ въ сотый разъ. Ту-же разницу относительно длины дороги чувствуете вы, смотря потому, идете ли по ней со свѣжими силами или усталие, одни или въ обществѣ. Когда вы въ первый разъ осматриваете квартиру, въ которой поселитесь, комнаты кажутся вамъ гораздо обширнѣе, чѣмъ онѣ будутъ казаться вамъ, когда обживетесь въ ней. Люди, привыкшіе жить въ большихъ залахъ, не замѣчаютъ громадности ихъ въ такой степени, какъ тѣ, которые впервые входятъ въ эти залы, привыкши толкаться въ маленькихъ комнатахъ. Если человѣку въ первый разъ приходится пройти по карнизу пятиэтажнаго дома, то, навѣрное, высота карниза отъ мостовой представляется ему гораздо значительнѣе, чѣмъ привычному кровельщику, и, безъ сомнѣнія, смѣлость, которую обнаруживаютъ кровельщики при работахъ на высотахъ, во многомъ зависитъ отъ того обстоятельства, что высоты эти, вслѣдствіе привычки къ нимъ, вовсе не кажутся имъ такъ пролазны, какъ прочимъ людямъ.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ мы можемъ вывести то заключеніе, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣнія, получаемыя нами отъ дѣйствительности, тѣмъ ярче, рѣзче, преувеличеннѣе, и въ интензивномъ, и въ экстензивномъ отношеніи, соответственныя имъ представленія. Но впечатлѣнія не ограничиваются тѣмъ, что производятъ въ нашемъ мозгу представленія: они, кромѣ того, возбуждаютъ въ насъ различныя рефлексы, начиная отъ низшихъ, беспорядочныхъ, чисто мускульныхъ рефлексовъ ребенка и кончая тѣми стройными, организованными рефлексами, какіе проявляются у людей взрослыхъ и развитыхъ въ выразительныхъ мимическихъ движеніяхъ — въ пѣніи, въ словѣ. Здѣсь и лежитъ основаніе всѣхъ художественныхъ творческихъ процессовъ. Поэтическое творчество, по самому существу своему, есть ничто иное, какъ рефлектированіе впечатлѣній. Въ этомъ и заключается, съ одной стороны, непосредственная непронзвольность его процессовъ, съ другой стороны — его естественная потребность, такая же роковая, какъ потребность ѣсть, пить, спать и проч. Что художественное творчество есть ничто иное, какъ рефлектированіе впечатлѣній, въ этомъ убѣждаетъ насъ то обстоятельство, что въ степеняхъ своей возбужденности оно управляется совершенно тѣми же законами, какіе существуютъ для всѣхъ рефлексовъ, начиная съ самыхъ низшихъ, управляющихся спяннымъ мозгомъ. Такъ, извѣстенъ законъ всѣхъ рефлексовъ, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ сильнѣйшій возбуждаетъ оно рефлексъ. Тоже самое видимъ мы и въ творествѣ. Въ жизни очень часто замѣчаются случаи, что подѣ влияніемъ очень сильныхъ впечатлѣній, люди, никогда не бывшіе до того времени поэтами, получаютъ вдругъ способность говорить стихами и наращивать рѣчь ихъ дѣлается исполненною страсти и, въ тоже время, цвѣтистою, изобразительною, образною. Вы,

конечно, читали среди газетныхъ извѣстій объ одной болгаркѣ, которая, подѣ сильнымъ впечатлѣніемъ разоренія турками деревни и убійства всѣхъ ея близкихъ, не иначе могла передавать свои впечатлѣнія обо всѣхъ ужасахъ, какіе она пережила, какъ пѣсню. А если мы, простые смертные, съ нашими тупыми и желѣзными нервами способны дѣлаться поэтами подѣ влияніемъ сильныхъ впечатлѣній, то какъ же должны дѣйствовать эти сильныя впечатлѣнія на поэтовъ, людей крайне нервныхъ и впечатлительныхъ? Немудрено, что они получаютъ весьма сильныя впечатлѣнія отъ такихъ предметовъ, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, иногда и не замѣчая ихъ. Но и поэты, при всей ихъ впечатлительности, подвержены влиянію тѣхъ же законовъ рефлексовъ. И у нихъ поэтическое творчество возбуждается тѣмъ съ большею силою и напряженіемъ, чѣмъ сильнѣе возбуждающія его впечатлѣнія. И у нихъ, подобно тому, какъ и у насъ, чѣмъ чаще повторяется однородное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе и болѣе слабѣетъ влияніе его, тѣмъ бѣднѣе становится рефлексъ, пока, наконецъ, не оказывается недостаточнымъ для отраженія впечатлѣнія какого-нибудь простого символа, стоящаго въ случайной ассоціаціонной связи съ даннымъ впечатлѣніемъ. Такими символами являются между прочимъ слова языка, поэтической смыслъ которыхъ давно забылся и стерся и которыми итѣять для насъ одно символическое значеніе наименованій понятій. Здѣсь — конецъ поэзіи и начало прозы въ видѣ совокупленія символовъ-словъ въ отвлеченной формулы, сообразно связи и отношеніямъ понятій между собою. И дѣйствительно, мы видимъ, что самые гучіе таланты, если не получаютъ новыхъ и сильныхъ впечатлѣній, а продолжаютъ вращаться въ кругу старыхъ и привычныхъ, ислысываются, дѣлаются вялыми, скучными, повторяющимися и, вмѣстѣ съ тѣмъ, у нихъ все болѣе и болѣе развивается склонность къ отвлеченнымъ разсужденіямъ о тѣхъ самыхъ предметахъ, которые прежде они изображали въ самыхъ яркихъ, поэтическихъ краскахъ.

И такъ, поэтическое творчество, какъ рефлектированіе впечатлѣній, возбуждается тѣмъ напряженнѣе, чѣмъ сильнѣе послѣднія. Но мы видимъ выше, что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ ярче и преувеличеннѣе получается представленіе не только въ интензивномъ, но и въ экстензивномъ отношеніи. Составивъ эти два положенія, мы получимъ формулу для творчества, совершенно противоположную формулѣ господствующихъ эстетическихъ доктринъ. Вместо недостижимаго стремленія изображать дѣйствительность такъ, какъ она есть, мы видимъ, что творчество, въ наибольшемъ напряженіи своихъ силъ, отражаетъ образы дѣйствительности въ преувеличенномъ видѣ сравнительно съ представленіями простыхъ смертныхъ.

Для большаго разъясненія подобной формулы творчества, я считаю не лишнимъ разурить и распутать тѣ недоумѣнія, которыя, навѣрно, копошатся уже въ головѣ вашей, привыкшей къ принципамъ господствующей эстетики и соблазняющейся пѣкоторыми доводами этой эстетики, основанными на такой-же

досягнутой очевидности, какова очевидность обращенія солнца вокругъ земли. — Вотъ, кстати о солнцѣ. По вышеизложенной формулѣ творчества, выходитъ, что художнику, какъ человѣку впечатлительнѣйшему, чѣмъ обыкновенные люди, солнце должно казаться гораздо болѣе блестящимъ, чѣмъ намъ. Надо поэтому ожидать, что художники должны на своихъ ландшафтахъ рисовать солнце гораздо интенсивнѣе въ своемъ блескѣ, чѣмъ оно кажется на небѣ простымъ смертнымъ. Но развѣ мы видимъ это въ живописи? Напротивъ того, мы видимъ, что ни одинъ художникъ въ ирѣ не рисовалъ паль солнца въ его истинномъ блескѣ, и мы можемъ смотрѣть на солнце ландшафты съ сколько угодно, простыми глазами, не боясь ослѣпнуть. Да что говорить о солнцѣ? Пусть хоть одинъ художникъ во весь миръ, какъ-бы онъ ни былъ великъ, нарисуетъ намъ воздухъ, такой-же безколочно-прозрачный, какой онъ бываетъ въ природѣ, деревья, столь-же полныя ропота и движенія, тѣла человека къ такой-же степени нѣжно-прозрачнаго и трепещущаго живизни и пр., и пр. Развѣ не стремитесь во всему этому искусству вотъ уже нѣсколько тысячелѣтій, и стремитесь совершенно тщетно, представлялись и до сихъ поръ одною блѣдною, мертвою копіею живой дѣйствительности?

Да, и стремились, и стремятся; но это стремленіе всегда было и будетъ одною пустою прихотью искусства и совсѣмъ не въ этомъ его смыслъ и основное значеніе. Стая для искусства исключительно подобную цѣль, вы не можете представить, какъ вы унизаете его и сводите съ его истинной дороги. Начнетъ, прежде всего, съ солнца, съ его ослѣпительнаго блескомъ. Солнце, правда, ослѣпляетъ насъ. Но что ослѣпляетъ оно въ насъ? Нашъ умъ, наши психическія чувства? Пѣтъ, одни глаза. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ силою не впечатлѣнія, а ощущенія. Правда, что ощущенія, въ свою очередь, возбуждаютъ въ насъ рефлексы тѣмъ сильнѣйшіе, тѣмъ они сами сильнѣе; но это — рефлексы низшіе, элементарныя, лежащія въ спинномъ мозгѣ и общія у насъ со всѣми животными. Такъ, единственные рефлексы, какіе способны возбудить въ насъ солнце свои блескомъ, это — произвольное стремленіе мигать глазами, закрыться рукою, отвернуть голову. А вы хотите навязать подобнаго рода элементарныя рефлексы искусству, пригласивъ его воспроизвести солнце въ его настоящемъ блескѣ? Зачѣмъ-же это? Чтобы въ насъ, въ свою очередь, возбудить тѣ-же элементарныя рефлексы при взглядѣ на картину, заставить мигать глазами и отвернуться отъ нея? Стоитъ игра свѣтъ — вѣчею сказать! Да если вамъ этого такъ хочется, то ступайте не къ художнику, а къ физику; онъ доставитъ вамъ подобное наслажденіе своимъ дружелюбнымъ свѣтомъ. Художественное-же творчество заключается въ психическихъ рефлексахъ, лежащихъ въ головномъ мозгѣ; оно рефлектируетъ не элементарныя ощущенія, а тѣ сложныя душевныя настроенія, которыя возбуждаются цѣлымъ ансамблемъ впечатлѣній. Дѣло живописи заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобы нарисовать воздухъ, столь-же глубоко-прозрачный, какой онъ въ природѣ, деревья, столь-же трепещущія и шепчущіяся или тѣла съ такими-

же переливающимися кровью жилками, а отразить то настроеніе художника, какое произвели на него эти предметы. Талантливый художникъ нарисуетъ пейзажъ карандашемъ, т. е. сдѣлаетъ все предметы безразлично черными и приведетъ васъ въ большее восхищеніе, чѣмъ иной маляръ, написавшій тотъ-же пейзажъ красками, т. е. сдѣлавшій его болѣе подходящимъ къ дѣйствительности. А если мы посмотримъ на искусство съ точки зрѣнія отраженія душевныхъ настроеній, возбуждаемыхъ цѣлымъ ансамблемъ представлений, то мы тотчасъ и поймемъ, въ чемъ заключаются тѣ преувелченія, къ которымъ ведетъ творчество въ своемъ сильномъ развитіи. Развѣ не случилось вамъ смотрѣть на пейзажи, изображающіе знакомыя вамъ мѣстности, и не приходилось приходиться при этомъ въ изумленіе: неужели-моль это — тѣ самые виды, которые вамъ такъ знакомы? Казалось-бы, на картинѣ далеко все не такъ живо, какъ въ дѣйствительности: и воздухъ не такъ прозраченъ, и деревья не такъ зелены, и вода — не вода, а просто нѣсколько черточекъ карандашемъ, а между тѣмъ, въ дѣломъ мѣстности кажется вамъ на картинѣ гораздо красивѣе, чѣмъ въ природѣ. Вы тоже любовались не разъ ею, но не замѣчали такихъ красотъ ея, какія подмѣтилъ художникъ. Вы будете опять любоваться ею, всматриваться — и, все-таки, не найдете въ ней этихъ красотъ. Старинныя эстетика объясняли этотъ фокусъ тѣмъ, что художникъ вложилъ въ картину свою идею, которая будто-бы и освѣтила пейзажъ своимъ особеннымъ свѣтомъ, или что своимъ художественнымъ чутьемъ онъ проникъ въ тайну красоты природы и прозрѣлъ то, что недоступно очамъ простымъ смертныхъ. Ничуть не бывало: никакихъ тутъ нѣтъ освѣщающихъ идей, тайнъ и прозрѣній; а весь фокусъ заключается въ томъ, что художникъ, какъ человѣкъ съ болѣе впечатлительною натурою, чѣмъ вы, воспринялъ отъ прекрасной мѣстности болѣе сильное впечатлѣніе, и, подъ влияніемъ его, мѣстность показалась ему настолько-же красивѣе, насколько впечатлѣніе его сильнѣе вашего. Но этого еще мало: если, при этомъ, художникъ не зараженъ торжественности творческіе порывы принципами рабской вѣрности дѣйствительности, если онъ всецѣло отдается своему творческому процессу въ его естественномъ теченіи, то надо ожидать, что творчество, стремящееся само по себѣ не къ вѣрному изображенію дѣйствительности, а къ болѣе сильнѣйшему отраженію психическаго настроенія художника, должно еще болѣе преувелчить тѣ элементы красивой мѣстности, которые болѣе поражаютъ художника, или, по крайней мѣрѣ, выставить ихъ на первый планъ, подчеркнуть такъ, какъ не заботится природа подчеркивать свои красоты, и подчеркнуть для того именно, чтобы какъ можно сильнѣе выразить настроеніе художника. Дѣйствительность или, собственно говоря, не сама дѣйствительность, а ваши представленія о ней, при такихъ условіяхъ окажутся еще болѣе преувелченными, измѣненными. Въ этомъ и заключается тайна художественнаго творчества и весь секретъ, почему въ болѣе талантливыхъ пейзажахъ вы совсѣмъ не узнаете знакомой вамъ мѣстности и приходите въ восторгъ отъ такихъ красотъ природы, мимо

которых не один десятокъ разъ проходили совершенно равнодушно.

Тожѣ можемъ мы сказать и о портретной живописи. Мы часто видимъ, что художники дѣлаютъ на портретахъ ослѣпительными красавицами женщинъ, въ дѣйствительности, хотя и не дурныхъ, но далеко не столь красивыхъ; и не всегда происходитъ это вслѣдствіе шарлатанства, желанія польстить, угодить и проч. Очень часто это является невольнo, вслѣдствіе того, что художнику очень нравится женщина, и онъ къ ней несомнѣннo равнодушенъ. Точно также говорятъ обыкновенно, что истинный художникъ, когда пишетъ портретъ, не ограничивается вѣрною копіею съ оригинала, а стремится выразить въ портретѣ психическій характеръ челоуѣка, уловить существенныя черты его тина. Чтo-же это значить такое? Да ничтo иное, какъ то, что художникъ, подмѣта въ лицѣ оригинала одну или двѣ наиболѣе рѣзкія и характеристическія черты характера его, преувеличить ихъ нѣсколько подъ силою впечатлѣній и тѣмъ выставить ихъ на первый планъ и подчеркнуть такъ, какъ онѣ не бываютъ обыкновенно подчеркнуты въ дѣйствительномъ лицѣ, которое, къ тому-же, безпрестанно мѣняетъ свое выраженіе подъ наплывомъ различныхъ впечатлѣній.

Если-же живопись, искусство наиболѣе, такъ сказать, прикрѣпленное къ дѣйствительности, не обходится безъ преувеличеній, то что-же сказать о тоническихъ искусствахъ, каковы музыка и поэзія?

Что музыка не ограничивается однимъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ различныхъ психическихъ настроеній, а передаетъ ихъ въ усиленномъ видѣ—въ этомъ можетъ убѣдить насъ ежедневный опытъ дѣйствія на насъ музыки. Если намъ грустно и у насъ является потребность въ соответственной музыкѣ, то послѣдняя непремѣнно усилитъ нашу грусть, доведетъ ее до высшаго напряженія. Прежде вы ограничивались только сосредоточенною тоскою, а подъ вліяніемъ музыки начинаете вдругъ плакать; слезы невольнo льются сами собою и рыданія захватываютъ горло. Если вамъ весело, но весело такъ-себѣ, только немножко, то веселая музыка можетъ возвысить ваше веселье до шумнаго восторга, до пляса. Каждый знаетъ, конечно, какая неизгнримаа разниа между пѣсней прочитанною и спѣтою, и въ какой сильной степени музыка усиливаетъ впечатлѣніе словъ романса.

Что-же касается поэзіи, этого всеильнаго искусства, нестѣннаго никакою матеріализаціей образовъ своихъ и дѣйствующаго непосредственно на воображеніе наше, то о ней и говорить нечего: здѣсь принципъ преувеличенія представленій дѣйствительности подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній играетъ главную и преобладающую роль. Если вы припомните всѣ такія произведенія искусства, которыми произвели на васъ самое сильное впечатлѣніе и наиболѣе врезались въ память вашу—произведенія, отмѣченныя самими сильными проявленіями поэтического творчества, то, внимательнѣе всмотрѣвшись въ образы ихъ, вы увидите, что они изображаютъ дѣйствительность вовсе не въ томъ видѣ, какъ она представляется вамъ, а непремѣнно въ преувеличенномъ, усиленномъ, сообразно характеру творчества. Предметамъ такого творчества

постоянно являлось или что-либо поразившее насъ своею необыкновенностью, монструозностью, повиднo—однимъ словомъ, что-либо выдающееся изъ порчи обыденной жизни, или-же, если поэтъ изображалъ и обыкновенное, повиднoму, то и это обыкновенное онъ возводилъ на степень необыкновеннаго, преувеличивая и усиливая тѣ черты, которыя наиболѣе поразили его.

Я не намеренъ, для доказательства этого, останавливаться долго на народной поэзіи, въ которой, вслѣдствіе ея полной естественности и инстинктивной непосредственности, вышеозначенный принципъ творчества господствуетъ всецѣло. Такъ мы видимъ, что народное творчество преимущественно останавливается на явленіяхъ жизни, наиболѣе поразившихъ народъ и оставшихся у него въ памяти, восснѣваетъ личности, наиболѣе выдавшіяся на сѣромъ фонѣ заурядной жизни, въ какомъ-либо отношеніи, хорошии или дурномъ. Въ лирическихъ пѣсняхъ своихъ народъ останавливается на наиболѣе драматическихъ и патетическихъ положеніяхъ частной и семейной жизни. Въ сказкахъ, легендахъ, новеллахъ дѣйствуютъ личности, поражающія тѣми или другими необыкновенными качествами, возвышающими ихъ надъ толпою, въ какомъ-бы видѣ ни появлялись эти качества—въ видѣ-ли удалства, хитрости, разврата, жестокости и проч. Преувеличенія представленій дѣйствительности въ народномъ эпосѣ вошли въ поэтику своею варварски-грубою и наивно-младенческою необузданностью. Пароу мало было своего богатства изобразить ловающимъ подковы и скручивающимъ въ вензеля желѣзные прутья: онъ заставлялъ его выветывать дубы и раздирать львиныя челюсти; чтобы показать, что богатый вино не опьяняетъ, онъ заставлялъ его выпивать чару въ полтора ведра и проч.

Я не намеренъ останавливаться и на всѣхъ прекрасныхъ школахъ поэзіи, древнихъ, средневѣковыхъ, дожно-классическихъ, ново-романтическихъ и проч., въ которыхъ дѣйствительность зачастую выставалась не только въ томъ естественномъ преувеличеніи, которое обусловливается силою художественнаго впечатлѣнія, но въ искусственномъ, предвзятомъ и фантастически-необузданномъ: если выводилась красавица, такъ ужъ такая неописанная, что искры сыпались изъ глазъ, смотри на нее, а если изображали злодѣя, то ужъ такой злодѣя, что волосы могли встать дыбомъ при одной мысли о возможности встрѣчи съ подобнымъ бариномъ въ жизни...

Нѣтъ, мы лучше обратимъ вниманіе на повѣшную, реальную поэзію и увидимъ, что и въ ней пресловутая вѣрность обыденной дѣйствительности принадлежитъ обыкновенно произведеніямъ второстепеннымъ, не отмѣченнымъ сильнымъ творчествомъ, не произведеніямъ ни малѣйшаго впечатлѣнія и не оставшимся долго въ памяти. И, напротивъ того, всѣ произведенія реальной школы, со времемъ Пушкина и Гоголя и до настоящаго времени, которыя считаются наиболѣе талантливыми и произвели самое сильное впечатлѣніе, отличаются только относительною вѣрностью дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ, мы видимъ въ нихъ постоянное измѣненіе дѣйствительности въ смнслѣ усиленія и преувеличенія тѣхъ чертъ ея, каки



поражали писателей. Такъ, напримѣръ, вамъ извѣстно, что наша реальная школа успѣла создать цѣлый рядъ типовъ, которые обратились въ нарицательныя имена и до сихъ поръ еще подвергаются всевозможнымъ анализамъ критики: таковы Олѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Облоковъ, Фамусовъ, Молчаливъ, Чичиковъ, Поздრѣвъ и проч. По что такое выражаютъ собою эти типы и каково отношеніе ихъ къ дѣйствительнымъ людямъ? Съ точки зрѣнія господствующей эстетики, типъ есть обобщеніе частныхъ и конкретныхъ характеровъ, встрѣчающихся въ жизни. Дѣйствительно, въ литературѣ нашей много есть типовъ въ этомъ смыслѣ слова, представляющихъ самыя широкія обобщенія. Но замѣтите, что далеко не подобнаго рода широкія обобщенія цѣнятся въ литературѣ, не они доставляютъ славу авторамъ, не они подвергаются анализамъ критики. Напротивъ того: чѣмъ общѣ подобнаго рода типы, тѣмъ они бѣднѣе, неопредѣленнѣе и менѣе обращаютъ на себя вниманія. И это очень понятно: дѣло въ томъ, что такіе типы суть продукты нашего мышленія, а поэтическое творчество въ истинномъ смыслѣ тутъ не причесть. Наши далеко непоэтическія головы наполнены ими. Намъ ничто не стоитъ тотчасъ-же вообразить себѣ типы помѣщика, чиновника, будочника, мужика, напоминая намъ большинство людей этого рода; можемъ представить себѣ еще болѣе общіе типы нѣнца, француза, англичанина, наконецъ, и такой громаднѣйшій по своей общности типъ, какъ типъ человека, въ отличіе его отъ обезьяны. Мы видимъ, что писатели, бѣдные даромъ творчества, на подобныхъ типахъ только и выживаютъ. Возьмите, напримѣръ, нашихъ драматурговъ средней руки, Потѣхиныхъ, Александра, Дьяченко и проч. Если выведете валь Дьяченко помѣщика, то помѣщикъ этотъ, дѣйствительно, будетъ напоминать собою большинство помѣщиковъ, встрѣчаемыхъ вами; адвоката — такъ онъ будетъ похожъ на всѣхъ адвокатовъ; купца — и опять-таки передъ вами будетъ, какъ есть, настоящий русский купецъ, словно прямо явившійся на сцену изъ сосѣдней желочной лавочки. Вѣдь, если строго держаться принциповъ господствующей эстетики, то намъ слѣдовало бы этихъ писателей поставить во главѣ русской литературы, куда выше Гоголя. Потому что попробуйте въ жизни такъ часто, на каждомъ шагу, встрѣтить любого изъ гоголевскихъ героевъ, Хлестакова или Поздрева, какъ вы можете встрѣтить героевъ какихъ-нибудь „Ошибокъ молодости“, „Къ мировому“ и „Сибирскихъ ширтъ“. Но, однако-же, мы почему-то очень низко цѣнимъ подобныя широкія обобщенія. Они не дѣлаются кличками, не залапаютъ въ нашу голову, и мы тотчасъ-же и забываемъ ихъ, какъ вышли изъ театра. Что-же представляютъ собою тѣ выше-сказанные типы, которые сдѣлались нарицательными именами? А вотъ что:

Случалось вамъ въ жизни встрѣчать людей, поражающихъ васъ какими-нибудь рѣзкими особенностями? Это былъ тотъ-же чиновникъ, купецъ, помѣщикъ, мужикъ, но непохожій на массу людей одного съ нихъ рода, а, напротивъ того, выдѣляющийся изъ нихъ тѣмъ, что одна какая-нибудь черта типа оказалась развитою въ немъ до монструозности, до

выдѣленія изъ предѣловъ заурядности, до степени бросающейся въ глаза поразительности. При встрѣчѣхъ съ подобными монстрами, вы невольно восклицали: *вотъ такъ типъ*, и жалѣли, зачѣмъ вы — не Гоголь и не можете изобразить подобное рѣдкое явленіе. Такъ напримѣръ вамъ, конечно, не разъ приходило въ голову, что знаменитая игуменья, мать Митрофанія, могла бы служить богатымъ типомъ для поэтического произведенія. Почему же такъ? Конечно, не потому, чтобы она по чертамъ своего характера походила на массу заурядныхъ русскихъ игуменій и представляла собою ихъ обобщеніе, а, напротивъ того — потому что она вышла изъ ихъ ряда, потому, что одно изъ ихъ качествъ, именно, любостыжаніе, подъ лицемѣрнымъ прикрытіемъ благочестія, оказалось развитымъ въ ней до такой монструозности и виртуозности, какихъ мы не замѣчаемъ въ массѣ заурядныхъ личностей этого рода.

Тѣ перечисленные нами типы, которые обратились въ нарицательныя имена, тѣмъ именно и отличаются, что представляютъ собою вовсе не обобщенія зауряднаго, а, напротивъ того, выдѣленія и преувеличенія наиболѣе характеристическихъ особенностей жизни. Писатели творили ихъ отнюдь не путемъ какихъ-либо схоластическихъ обобщеній, а брали ихъ цѣликомъ изъ жизни, поражаясь имъ, какъ замѣчательнымъ ея явленіямъ, или-же создавали ихъ, пораженные одною, двумя чертами жизни и раздувая эти черты въ цѣлые характеры, типы. Мы имѣемъ многочисленныя факты подобнаго рода созданія типовъ. Такъ, напримѣръ, не безъ основанія указываютъ на живыя лица, называя ихъ по именамъ и фамиліямъ, съ которыми былъ знакомъ въ Москвѣ Грибоевъ и на которыхъ потопъ, какъ дѣлъ капли воды, оказались похожи лучшіе типы его комедіи: Фамусовъ, Молчаливъ, Софья, Скалозубъ. Точно также указываютъ на личность, съ которой Тургеневъ списалъ своего Рудина, указываютъ на личности, внушившія Гончарову Облокова и Марка Волохова, а Тургеневъ, наконецъ, самъ признается, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ какого-то своего знакомаго доктора. Къ этому могу я прибавить свои собственныя наблюденія. Мнѣ случалось видѣть тѣ двѣ личности, которыя были знакомы Гончарову и которыя, можетъ быть, сознательно, а можетъ быть и бессознательно для самого автора, послужили оригиналами для его типовъ. Дѣйствительно, они нѣсколько напоминаютъ собою одного Облокова, другой — Марка Волохова. Но только напоминаютъ. На самомъ-же дѣлѣ, въ романѣ Гончарова качества этихъ личностей оказались возведенными въ кубъ, если не въ высшую степень. Еслибы Гончаровъ ограничился одною рабскою вѣрностью дѣйствительности, то конечно ни Облоковъ, ни Маркъ Волоховъ далеко не производили-бы въ романѣ его того впечатлѣнія, какое они производятъ. Они не казались бы намъ типами, не врѣзывались бы въ память, подобно тому, какъ тѣ личности, которыя послужили въ этомъ случаѣ оригиналами, вовсе не поразили меня своими облоковскими и маркововолоховскими качествами, показались обыкновенными людьми съ кое-какими достоинствами и недостатками, свойственными каждому смертному. И напротивъ того, еслибы вамъ пришлось встрѣтиться

съ Обломовымъ и Маркомъ Волоховымъ, не съ таковыми, какіе встрѣчаются въ жизни, а вполне подобными изображеннымъ въ романѣ Гончарова, они произвели бы на насъ впечатлѣніе необычайныхъ монстровъ, совершенно вышедшихъ изъ уровня обыденности.

Мнѣ скажутъ на это, что какое-моль дѣло намъ, съ кого списываютъ авторы свои типы и какъ они ихъ производятъ? Намъ достаточно, что они напоминаютъ намъ многихъ, и, какъ-бы тамъ ни было, а все-таки Обломовъ есть обобщеніе всѣхъ Обломовыхъ, встрѣчаемыхъ въ жизни. Отъ того онъ и сдѣлался кличкою. На это я отвѣчу, что людей безносыхъ на Руси, въ свою очередь, вы найдете не мало, можетъ быть, нисколько не менѣе Обломовыхъ. Представьте же себѣ, что я нарисовалъ-бы портретъ съ одного безносаго знакомаго. Развѣ не сталъ бы онъ напоминать собою всѣхъ безносыхъ людей на Руси, самъ по себѣ, просто вслѣдствіе того, что всѣ безносые имѣютъ общее сходство въ отсутствіи носа? Но я-то былъ бы тутъ причѣмъ, и можно ли было бы сказать, что я сдѣлалъ какое-то обобщеніе, т. е. въ моемъ мозгу совершился особенный процессъ, вслѣдствіе котораго и произошло сходство портрета со всѣми безносыми? А между тѣмъ, рѣчь-то у насъ о томъ вѣдь и идетъ, что такое поэтическое творчество: слѣдуетъ ли понимать его согласно господствующей эстетикѣ въ процессѣ обобщеній, т. е. понимать его такъ, что поэтъ, какъ увидитъ рядъ предметовъ, имѣющихъ много общаго, такъ сейчасъ-же приходитъ въ поэтическій восторгъ и начинаетъ обобщать ихъ, или совершенно наоборотъ—чѣмъ болѣе поэтъ встрѣчаетъ предметовъ, похожихъ другъ на друга, чѣмъ зауряднѣе и привычнѣе они для него вслѣдствіе этого, тѣмъ менѣе возбуждается въ немъ поэтическое творчество, требующее, согласно законамъ рефлексовъ, для наибольшаго возбужденія наиболѣе сильныхъ впечатлѣній? И если всѣ данныя свидѣтельствуютъ въ пользу послѣдняго положенія, то принципъ господствующей эстетики, полагающей творчество въ обобщеніи зауряднаго, совершенно рушится. Въ одномъ случаѣ, творчество можетъ возбудиться до крайней напряженности и создать гениальнѣйшее произведеніе, увлекшись предметомъ, завѣдомо существующимъ въ одномъ экземплярѣ и не имѣющимъ во всемъ мірѣ подобія себѣ, какова, наприкладъ, личность Петра I; въ другомъ—поэтъ можетъ вдохновиться явленіемъ, существующимъ въ большомъ числѣ экземпляровъ; но, во всякомъ случаѣ, вдохновеніе это будетъ происходить не отъ того, что предметъ встрѣчается часто, а отъ того, что онъ поразилъ чѣмъ-нибудь поэта. Такъ точно и въ данномъ случаѣ: Гончаровъ увлекся типомъ Обломова не потому, что Обломовыхъ много, а потому что его поразили нѣкоторыя черты характера знакомаго господина. Когда Гончаровъ писалъ романъ, онъ только и имѣлъ въ виду представить какъ можно рельефнѣе и рѣзче эти черты. А затѣмъ уже найтн сходство Обломова съ массою людей, подобныхъ ему, которыхъ писатель никогда не видалъ, не имѣлъ понятія о ихъ существованіи, это—уже дѣло читателей и критиковъ: писатель здѣсь въ сторонѣ.

Я-бы могъ привести бездну примѣровъ, показывающихъ, что писатели, подъ влияніемъ сильныхъ

впечатлѣній жизни, изображаютъ дѣйствительность далеко не всецѣло и всесторонне, со всѣми ея деталями, а постоянно берутъ одну ея сторону, смотря по характеру своего творчества, и усиливаютъ, преувеличиваютъ ее. Но объемъ статьи и желаніе представить свою эстетическую теорію со всѣхъ ея сторонъ принуждаютъ меня ограничиться однимъ, двумя примѣрами. Такъ, изъ современныхъ намъ писателей возьмемъ Щедрина, произведенія котораго производятъ очень сильное впечатлѣніе на публику и пользуются поэтому большою любовью. Между тѣмъ, намъ вѣроятно приходилось перѣдко и слышать, и читать такого рода отзывы о Щедринѣ, что онъ преувеличиваетъ сѣвѣрныя стороны жизни, раздуваетъ ихъ до карикатурности и жаржа, что въ дѣйствительности много изъ тѣхъ предметовъ, которые онъ описываетъ, вовсе не такъ сѣвѣрны, какъ они являютсѣ въ его сатирахъ. Такъ, наприкладъ, возьмите хоть статистическій съѣздъ, бывшій года два назадъ и описанный имъ въ „Дневникѣ провинціала“. Неужели-же на этомъ съѣздѣ все были такіе уроды, какіе изображены Щедринымъ, и неужели они только и дѣлали, что все шлялись по трактирамъ и заказывали разнообразныя меню обѣдовъ? Я помню, что какой-то рецензентъ свалился даже въ амбюцію по поводу сатиры Щедрина и сослался на книгу Гапцескаго, какъ на доказательство, что статистики вовсе не такіе ошпытые люди, какими изобразилъ ихъ Щедринъ. Ну, и что-жь такое? Я убѣжденъ, что, если-бы мы съ тобой, читатель, засѣдали въ томъ-же самомъ съѣздѣ, мы не нашли-бы и десятой доли ничего такого сѣвѣрнаго, что представилъ Щедринъ. Напротивъ того, мы пришли-бы въ нѣкоторое восторженное состояніе, увидя себя въ кругу такихъ милыхъ, такихъ интеллигентныхъ людей, столповъ науки и всевозможныхъ благихъ начинаній. Мы анимодировали-бы ихъ рѣчьми, предлагали-бы тосты въ ихъ честь на обѣдахъ и ушвались-бы зрѣлищемъ европейскаго прогресса на почвѣ почтенной и серьезной науки. А Щедринъ, какъ художникъ-сатирикъ, обратилъ вниманіе исключительно на одну сѣвѣрную и пошлую сторону съѣзда, етолько одну и изобразилъ, и притомъ, конечно, въ преувеличенномъ видѣ. Но этихъ преувеличеніемъ онъ достигъ того, что рѣзче выставилъ эту пошлую сторону и заставилъ насъ глубже почувствовать ее. Обвиненія, которыя сыплются на Щедрина за его раздуваніе сѣвѣрныхъ сторонъ русской жизни, испытывали всѣ художники-сатирики отъ своихъ современниковъ. Гоголь, въ продолженіи всей своей жизни терпѣлъ подобныя-же обвиненія, что онъ неказистъ жизнь, представляли ее односторонне исключительно въ однихъ грязныхъ, тривіальныхъ краскахъ, что онъ клеветаетъ на Россію, потому что плохой патриотъ и т. п. Что-жь, и дѣйствительно: возьмите хоть „Ревизора“ для примѣра. Ну гдѣ-же, хоти-бы и въ эпоху Гоголя, нашли-бы вы губернскаго городъ, представляющей подборъ такихъ уродовъ, какіе изображены въ этой комедіи? Вѣдь, еслибы, въ самомъ дѣлѣ, въ Россіи только и существовали, что одни Сквозники-Духановскіе, Земляники, Добчинскіе, Бобчинскіе, и притомъ въ такомъ безобразнѣйшемъ видѣ,

въ какомъ они рисуются передъ вами въ комедіи — то какъ-же могло просуществовать подобное государство до эпохи Гоголя и давно уже не развалиться? Но въ томъ-то и дѣло, что, еслибы мы съ вами попали въ среду этихъ людей, они намъ далеко не показались-бы такими возмутительнѣйшими уродами, какими ихъ представлялъ впечатлительный художникъ. Рядомъ съ различными недостатками и сѣшными сторонами этой среды, мы нашли-бы, конечно, въ ней и хорошія качества, въ родѣ добродушія и гостеприимства однихъ, остроумія другихъ, семейныхъ добродѣтелей третьихъ и т. д.; мы до нѣкоторой степени, можете быть, и помирились-бы съ этою средою, нашли-бы, что жить въ ней можно, смотря связь пальмы на кое-какіе ея грѣшки...

Изъ всего вышележащаго мы можемъ теперь вывести опредѣленіе значенія и цѣли искусства въ совершенно широкъ родѣ, чѣмъ это обыкновенно дѣлается сообразно принципамъ господствующей эстетики. Съ одной стороны, искусство, съ нашей точки зрѣнія, получаетъ право существованія помимо уже ея высшихъ, утилитарныхъ цѣлей. Здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ эфемернымъ созданіемъ мертвой, книжной действительности рядомъ съ живой, а съ отраженіемъ впечатлѣній, съ рефлексамъ, т. е. съ однимъ изъ естественныхъ и необходимыхъ отпаденій человѣческой природы. Говорить о ненужности искусства столь-же поэтично нѣтъ, какъ и говорить о ненужности всѣхъ прочихъ отпаденій нашего организма. Мы имѣемъ возможность подавлять рефлексы, затѣвая въ себѣ впечатлѣнія, но это будетъ уже искаженіе нормальнаго и правильнаго хода жизненныхъ процессовъ, аскетизмъ, рабство. Замѣтите, что сосредоточенность наиболѣе развивается въ рабахъ и аскетахъ. На почвѣ истинной свободы нѣтъ мѣста какни-бы то ни было насильствъ надъ естественными влеченіями природы.

Но кромѣ того, что искусство имѣетъ право существованія, какъ одно изъ естественныхъ отпаденій человѣческой природы, оно можетъ оказывать немаловажную пользу въ жизни въ нравственномъ и гражданскомъ отношеніи. Только пользу эту слѣдуетъ считать спеціальную, присущую сферѣ искусства, а отнюдь не навязывать ему такихъ цѣлей, которыя параллельно съ искусствомъ могутъ достигаться разными другими функциями жизни гораздо успѣшнѣе, при большемъ ихъ соответствіи этимъ цѣлямъ. Такъ, напримеръ, давно пора оставить ту мысль, что искусство можетъ разрѣшать какіе бы то ни было вопросы жизни. Вѣдь стоитъ только подумать, что искусство существуетъ не одну уже тысячу лѣтъ и не мало создало оно произведеній на всевозможныхъ живыхъ и мертвыхъ уже языкахъ — произведеній, которыя цѣнятся нами очень высоко и пользуются большимъ уваженіемъ не за одну только чистую художественность ихъ; но назовите мнѣ хоть одно такое произведеніе искусства, которое дѣйствительно разрѣшило бы хоть одинъ вопросъ нравственный, политическій, философскій, научный и пр., и найдите мнѣ хоть одинъ подобный вопросъ, слава разрѣшенія котораго принадлежала бы искусству. Не спорю, искусство очень часто касается всевозможныхъ такихъ

вопросовъ, но беретъ ихъ или въ формѣ вопроса, или пользуется готовымъ уже разрѣшеніемъ ихъ въ сферѣ науки. Да и очень понятно: если вы потрудились надъ разрѣшеніемъ какого-нибудь вопроса, то развѣ только какая-нибудь особенная экстренная необходимость можетъ заставить васъ прибѣгать при изложеніи вашихъ рѣшеній къ такимъ окольнымъ и сложнымъ путямъ, какъ писаніе романа, драмы и т. п. Это совершенно то-же самое, что, полюбивши женщину и желая вступить съ нею въ бракъ, вы, вмѣсто того, чтобы пойти къ ней и объясниться съ нею насчетъ вашей любви и брака въ обыкновенномъ прозаическомъ разговорѣ, задумали бы сдѣлать это не иначе, какъ въ формѣ музыкальной симфоніи. Хотя, конечно, влюбленные композиторы нѣрѣдко выражаютъ свои чувства въ музыкальныхъ произведеніяхъ, посвящая ихъ предметамъ своей страсти, но это они дѣлаютъ только между прочимъ и при этомъ преслѣдуютъ болѣе музыкальныя цѣли, чѣмъ любовныя. Для разрѣшенія же вопроса о любви и бракѣ, они, всетаки, обращаются къ любимымъ женщинамъ обыкновенными, прозаическими рѣчамъ, а не музыкальными. Точно также, совершенно неосновательно навязывать искусству и другія цѣли, столь же несвойственные ему и гораздо успѣшнѣе достигаемыя другими функциями жизни, въ родѣ каранія злодѣевъ, защиты угнетенныхъ и т. п. Конечно, никакое гениальное произведеніе неспособно покарать зло въ такой степени, какъ судъ или различныя иныя практическія преслѣдованія зла фактическаго, а не вымышленнаго творчества, и, конечно, не въ примѣръ и доблестіе, и плодотворіе пойти къ дѣйствительнымъ бѣднымъ и угнетеннымъ и стараться помогать имъ елико возможно къ выходу изъ ихъ положенія, чѣмъ сидѣть въ комфортабельномъ кабинетѣ и расписывать о ихъ страданіяхъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство имѣетъ свою спеціальную сферу пользы, которая выдѣляетъ его совершенно изъ всѣхъ прочихъ функций человѣческой дѣятельности и тѣмъ болѣе даетъ ему право на существованіе. Истинная и существенная цѣль искусства должна выводиться изъ сущности поэтическаго творчества, изъ характера его процессовъ. Мы видѣли, что поэтическое творчество заключается въ рефлектированіи впечатлѣній, и тѣмъ сильнѣе возбуждается оно, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, овладѣвающее художникомъ. Теперь подумайте, съ какою же иною цѣлью можетъ художникъ рефлектировать свои впечатлѣнія, какъ не съ тою естественно выходящею изъ самой природы рефлексовъ, именно — съ цѣлью передачи другимъ людямъ своего впечатлѣнія, возбужденія въ нихъ тѣхъ-же страстныхъ импульсовъ, какіе овладѣваютъ художникомъ и побуждаютъ его къ созданію художественнаго произведенія. Такимъ образомъ, природная область дѣйствія искусства, это — міръ нашихъ чувствъ и страстей. Тѣ явленія жизни, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, не обращая на нихъ должнаго вниманія, не замѣчая ихъ и не придавая имъ должнаго значенія, развлекаемыя разнородными, перекрещивающимися впечатлѣніями дѣйствительности, художникъ выдѣляетъ изъ пестраго хаоса жизни, выставляетъ передъ нами на первый

планъ, подчеркиваетъ, раздуваетъ ихъ въ интенсивномъ или экстенсивномъ отношеніи подъ вліяніемъ силы своего впечатлѣнія и, мало того, что обращаетъ наше вниманіе на нихъ, но и поражаетъ насъ ими, возбуждая въ насъ тѣ или другіе страстные импульсы, въ видѣ восторга, жалости, состраданія, смѣха, негодованія и пр. При такомъ способѣ дѣйствія своего, искусство, правда, не можетъ разрушать вопросы жизни, но оно можетъ возбуждать ихъ, заставляя обращать вниманіе людей на такія явленія жизни, которыя долго оставались бы въ тѣни и въ пренебреженіи, еслибы искусство не вызывало ихъ на свѣтъ и не приводило людей въ экстазъ зрѣлищемъ ихъ. Тѣ преувеличенія представлений дѣйствительности, какія мы видимъ на каждомъ шагу въ искусствѣ, играютъ роль не лжи и искаженія правды, а лишь характеръ, совершенно подобный тѣмъ преувеличеніямъ, какія употребляютъ естественныя науки, вооружая ваши глаза оптическими инструментами и заставляя васъ видѣть мухъ со слоновъ и тончайшія ткани съ канаты, съ цѣлью наблюдать такія явленія природы, которыя не замѣтны для невооруженнаго глаза.

Совершенно подобно тому, и искусство, своими преувеличеніями представлений дѣйствительности, вооружаетъ васъ своего рода естественнымъ микроскопомъ, но такимъ могучимъ, который дѣйствуетъ не только на ваши умственные взоры, предоставляя вамъ разсматривать въ крупныхъ разбрахъ такія явленія жизни, которыя вы пропускаете безъ вниманія, но и возбуждаетъ ваши нервы къ страстному воспріятію впечатлѣній, возбуждаемыхъ предлагаемымъ зрѣлищемъ. Такимъ образомъ, искусство представляется не только микроскопомъ, но и однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ, возбуждительно дѣйствующихъ на волю и энергію людей, подверженныхъ его вліянію. Последнее обстоятельство, именно возбуждительно дѣйствіе искусства на волю путемъ передачи рефлексовъ, открываетъ передъ нами новую сферу пользы искусства, именно — сферу практическую. Правда, искусство само по себѣ безсильно карать и миловать, освобождать угнетенныхъ и оказывать помощь страждущимъ. Но, приводя людей въ экстазъ своими образами, оно способно побуждать ихъ волю къ этимъ дѣйствіямъ. Когда еще жизнь подготовитъ вамъ такое зрѣлище, какъ овсянниковскій или струсберговскій процессы, да и подготовить-ли еще, или нѣтъ, — искусство предупреждаетъ жизнь въ этомъ отношеніи: представивъ рядъ поразительныхъ образовъ современныхъ пороковъ во всей ихъ тисности, оно возбуждаетъ въ обществѣ негодованіе противъ этихъ пороковъ и жажду искорененія ихъ. Не въ силахъ, такимъ образомъ, само встать на мѣсто прокуратуры или администраціи, оно дѣйствуетъ на людей, находящихся въ этихъ сферахъ, и побуждаетъ ихъ къ преслѣдованію зла, поразительные образцы котораго оно представляетъ. Такимъ путемъ оно можетъ повліять на возбужденіе карательныхъ процессовъ или исполненіе надлежащихъ реформъ, ускорить то и другое.

Сдѣлаемъ теперь перечень всѣхъ тѣхъ выводовъ, къ каковымъ мы пришли путемъ анализа художественнаго творчества въ его основныхъ процессахъ. И такъ,

вопреки мнѣнію господствующей эстетики: 1) Искусстве представляется вовсе не воспроизведеніемъ жизни въ томъ видѣ, какъ она есть, а рефлектированіемъ впечатлѣній посредствомъ образовъ, заключающихъ въ себѣ представленія жизни въ преувеличенномъ видѣ, подъ вліяніемъ художественнаго пафоса. 2) Искусство вовсе не должно стремиться изображать жизнь непремѣнно всецѣло и всесторонне, со всѣми ея мелкими деталями; а, напротивъ того, одностороннее изображеніе жизни есть одно изъ существенныхъ его качествъ, такъ какъ художественное творчество въ томъ и состоитъ, что художникъ выдѣляетъ и ставитъ на первый планъ тѣ явленія и стороны жизни, которыя его поразили; ихъ наиболѣе яркое представленіе онъ только и долженъ имѣть въ виду, забывая о всѣхъ прочихъ сторонахъ жизни и деталяхъ лишь настолько, насколько они могутъ служить къ освѣщенію главнаго, что выставляется въ произведеніи. 3) Утилитарная цѣль искусства заключается вовсе не въ обсужденіи и рѣшеніи какихъ-либо вопросовъ жизни, а, въ умственномъ отношеніи, въ поднятій вопросовъ путемъ демонстраціи явленій жизни, а въ практическомъ — въ возбужденіи воли, энергіи, страстей въ томъ или другомъ направленіи.

Объемъ статьи, а также болѣзнь утомить читателей очень долгимъ пребываніемъ въ отвлеченныхъ сферахъ эстетики, принудили меня ограничиться только краткимъ и общимъ очеркомъ тѣхъ эстетическихъ мнѣній, которыя будутъ руководить мною въ моихъ критическихъ письмахъ. Я надѣюсь, впрочемъ, въ послѣдующихъ письмахъ гораздо обстоятельнѣе, съ большими подробностями и аргументами, развить эти понятія при удобныхъ случаяхъ, какіе будутъ представляться во время разбора тѣхъ или другихъ произведеній. Теперь-же я намѣренъ, вооружившись вышеизложенными эстетическими положеніями, обратиться къ главному предмету нашей рѣчи — къ соотношенію нашей современной беллетристики и критикъ на недовольства ея публики.

Я говорилъ уже выше, что, вопреки всѣмъ являющимся публикѣ эстетическимъ доктринамъ, воспріимъ внушительное вліяніе реализма, публикомъ руководитъ естественный инстинктъ, идущій совершенно въ разрѣзъ съ этими доктринами. Теперь, на основаніи всего вышеизложеннаго, мы можемъ опредѣлить, въ чемъ заключается этотъ инстинктъ. Дѣло въ томъ, что публика инстинктивно ищетъ въ произведеніяхъ искусства того, что должно составлять ихъ сущность, именно — яркихъ, поразительныхъ, волнующихъ душу образовъ, вообще сильныхъ впечатлѣній, въ какомъ-бы то ни было родѣ, возбуждающихъ-ли они восторгъ, смѣхъ, жалость, негодованіе и пр., и пр. Правда, что инстинктъ этотъ зачастую и обманываетъ публику, понуждая ее увлекаться издѣлими шарлатановъ, вродѣ французскихъ романовъ, повѣствованій о похожденияхъ Рокамболя или „Петербургскихъ труппъ“ Всев. Крестовскаго, и шарлатанъ эти ловятъ публику на удочку сильныхъ впечатлѣній, предлагая ей поразительныя зрѣлища грубо-фантастическихъ и бессмысленныхъ вымысловъ празднаго и развращеннаго воображенія. Но за-то тотъ-же самый инстинктъ способствуетъ публикѣ съ увлече-

нельзя относиться къ каждому талантливому произведению, отъличному несомнѣннымъ и могучимъ порывомъ поэтического пафоса. Что-бы вы ни говорили о трудности и неразборчивости вкуса публики, но образите вниманіе, что ни одно истинно-художественное сильное поэтическое произведеніе не остается незамѣченнымъ ею и не минуетъ возбудить при своемъ появлении всеобщее вниманіе и восторгъ. Конечно, критика не должна слѣпо подчиняться этимъ восторгамъ и воображать, что все, чѣмъ увлекается публика, necessarily представляетъ перлы художественнаго творчества. Она должна опредѣлять, не надуваешь-ли штатиста публику, не шарлатанишь-ли онъ, истинные ли перлы предлагаетъ онъ публикѣ, или, можетъ быть, фальшивые. Но зато, съ отрицательной стороны, критика можетъ всецѣло подчиняться вкусу публики, и можно ввести въ критику разъ на всегда непреложную аксіому, что все, что остается незамѣченнымъ публикою, что не возбуждаетъ въ ней страстныхъ импульсовъ, что ей не нравится — все это навѣрное несостоятельно, слабо, ничтожно въ художественномъ отношеніи, какъ-бы оно, по видимому, ни строго соответствовало господствующимъ эстетическимъ догмамъ и какъ-бы высоко ни ставили его какіе-нибудь замкнутые кружки строгихъ цѣнителей изящнаго или партійныхъ единомышленниковъ.

Итакъ, публика инстинктивно жаждетъ въ художественныхъ произведеніяхъ поразительныхъ образовъ и сильныхъ, страстныхъ впечатлѣній, и что же она находитъ въ современной намъ беллетристикѣ? Тоно какъ будто нарочно, вопреки этимъ естественнымъ требованіямъ, большинство нашихъ беллетристовъ только и заботится о томъ, какъ бы представить рядъ явленій самыхъ заурядныхъ, самыхъ обыденныхъ, наиболѣе прѣвѣвшихъ намъ въ салог жизни, давно намозолившихъ глаза наши, давно рассмотрѣнныхъ нами самимъ со всѣхъ сторонъ и надобныхъ хуже, чѣмъ надобдаютъ дѣтямъ старья и перепрѣганнымъ игрушкамъ. И подобныя прѣвѣвшія явленія обыденной жизни беллетристы съ педантическою строгостью стараются обрисовать передъ нами непремѣнно со всѣхъ сторонъ и кропотливо называють деталями на детали, не забывая мельчайшихъ тонкостей, въ родѣ стеганнаго пяташка на верхней полкѣ въ кладовой, за кухней, въ квартирѣ одного изъ третьестепенныхъ лицъ романа. Начинаете вы читать романы, мечтая, что вотъ сейчасъ передъ нами предстанетъ какой-нибудь поразительный современный типъ, вотъ разовьется сюжетъ, полный потрясающаго драматизма, и вы увидите въ немъ въ болѣе крупныхъ и рѣзкихъ чертахъ ту самую роковую борьбу, которую сами переживаете вѣсегъ съ вашимъ вѣкомъ. Ни чуть не бывало; вѣсегъ всего этого, авторъ начнетъ томить васъ длиннѣйшими описаніями комнатъ, въ которыхъ совершается дѣйствіе романа, мебели, которою убрана эта комната, домашней утвари, при чемъ не забудетъ сообщить вамъ, гдѣ эта утварь куплена, въ какомъ магазинѣ и по какому побужденію въ томъ, магазинѣ, а не въ другомъ. Потомъ поведетъ васъ на кухню, обстоятельно познакомятъ съ прикладомъ, съ ея отношеніями къ господамъ и между собою, перечислитъ при этомъ всѣ горшки и ухваты,

замянетъ на плиту и замѣтитъ, какой супъ варится къ обѣду или что пирожки немножко подгорѣли. Затѣмъ послѣдуетъ рядъ домашнихъ сценъ, разговоровъ за обѣдами и чаепитіями, разговоровъ самыхъ обыденныхъ, незначительныхъ, никакъ не относящихся къ развитію сюжета и совершенно излишнихъ для обрисовки характеровъ, которые и безъ того могли бы вполнѣ рельефно обрисоваться въ сюжетныхъ сценахъ романа. Затѣмъ — затѣмъ потянется передъ вами рядъ великосвѣтскихъ обѣдовъ или завтраковъ въ салонахъ и отеляхъ, пикировокъ, загородныхъ гуляній, вѣчацій, похоронъ. Если герой поѣдетъ куда-нибудь, авторъ начинаетъ вести подробнѣйшій дневникъ путешествія его: отъ которой до которой станицы онъ уезжалъ, гдѣ выпилъ рюмку водки, гдѣ позавтракалъ, гдѣ далъ кондуктору на водку, гдѣ крупно поговорилъ съ сосѣдомъ, вздумавшимъ заснуть положивъ голову на его плечо и пр. При описаніи же деревенской жизни и особенно народнаго быта, вы не оберетесь подробностей, еще болѣе тщательныхъ, микроскопическихъ. Къ тому же здѣсь присоединяются еще новые описательные элементы; это, именно, природа со всѣми ея красотами, ландшафтскими дѣсьми, полей, усадебъ, времени года и борьбы стихій.

Что касается дѣйствующихъ лицъ романовъ, то они являются по большей части первыми встрѣчными знакомыми автора, съ которыхъ онъ списываетъ портреты, тщательно заботясь о вѣрности съ подлинниками. Передъ вами проходитъ рядъ личностей, совершенно случайныхъ, мелкихъ, блѣдныхъ, ничѣмъ особенно не замѣчательныхъ, не выдающихся какими-нибудь характеристическими особенностями времени или среды, вслѣдствіе сильнаго развитія и преобладанія которыхъ ихъ можно было бы назвать типами. А не то передъ вами является рядъ стереотипныхъ обобщеній, которыя, какъ я сказалъ уже выше, составляютъ продукты вовсе не художественнаго творчества, а той индуктивной работы мысли, которая свойственна всѣмъ и каждому. Такіе отвлеченные типы наиболѣе претягиваются въ художественномъ произведеніи, потому что инстинктивно вы ждете отъ него, чтобы оно взволновало васъ какими-нибудь образами, представляющими новыя, только что нарождавшіяся явленія жизни и поразительныя своею новизною, или же, если не новыя, то, во всякомъ случаѣ, хотя бы и старья, но возведенныя въ перлъ созданія путемъ преувеличенія и выставленія на первый планъ наиболѣе характеристическихъ свойствъ ихъ; авторъ же, вѣсегъ этого, угрожаетъ васъ стереотипными обобщеніями, которыми и безъ того полна ваша голова. Подобная стереотипность обобщеній, случайность, мелкость и блѣдность выводимыхъ личностей — особенно имѣють мѣсто въ повѣстяхъ изъ народнаго быта, вообще, изъ всѣхъ словъ, стоящихъ внѣ интеллигенціи — крестьянскихъ, мѣщанскихъ и купеческихъ. Это, конечно, происходитъ отъ того, что авторы мало того, что сами не живутъ живнью этихъ словъ, но весьма мало соприкасаются съ нею, для того, чтобы имѣть возможность напечатлѣться наиболѣе крупными и рѣзкими ея особенностями и уловить букетъ этихъ особенностей. Они наблюдаютъ ее со стороны, въ ея обыденномъ теченіи, въ деталяхъ, въ тѣхъ мелкихъ раздробленныхъ

личностяхъ, съ которыми случайно встрѣчаются, и выносятъ рядъ мелкихъ, слабыхъ впечатлѣній, которые ведутъ къ столь же слабымъ творческимъ рефлексамъ. Отъ того повѣсти изъ народнаго быта по большей части и отличаются скукою, вялостью, стереотипностью, полнымъ отсутствіемъ всякаго огня поэтического вдохновенія и силы впечатлѣнія. Это — вовсе не художественныя произведенія, а этнографическіе этюды въ беллетристической формѣ.

Да не подумаетъ читатель, чтобы я всецѣло отрицалъ выведеніе въ романахъ деталей обыденной жизни. Нѣтъ, пусть будутъ и детали; но, во всякомъ случаѣ, не въ нихъ должна заключаться сущность романа. Онѣ не должны стоять на первомъ планѣ; изъ за тщательной, кропотливой обрисовки ихъ писатель не долженъ забывать все и вся и всецѣло отдаваться имъ. Онѣ должны играть въ произведеніи не болѣе, какъ самую второстепенную, декоративную роль. Авторъ имѣетъ право выставить ихъ лишь настолько, насколько онѣ дѣйствительно могутъ послужить къ обрисовкѣ характеровъ и жизни дѣйствующихъ лицъ. Но и при этомъ онъ не долженъ упускать изъ вида — что какъ бы не напустить въ свое произведеніе скуки длиннотами подобныхъ описаній и какъ бы мелочами не заслонить главнаго и не умалить, вслѣдствіе этого, силы общаго впечатлѣнія, въ которомъ заключается вся сущность произведенія. Къ тому же, писатель не долженъ забывать и того, что онъ имѣетъ дѣло въ лицѣ читателей съ живыми людьми, которые сами обладаютъ кое-какою наблюдательностью, кое-что видѣли и кое-что сохраняется въ ихъ воображеніи, и, вмѣсто подробнѣйшихъ и кропотливѣйшихъ описаній, достаточно бываетъ двухъ-трехъ штриховъ, которые намекнули бы на общій характеръ жилища, одежды героя, чтобы у читателя самостоятельно обрисовались разныя мелкія подробности и возникла въ головѣ цѣлая картина. Сильные и опытные художники такъ обыкновенно и поступаютъ, останавливаясь только на главномъ и существенномъ, въ мелочахъ же довольствуясь одними намеками. Это и называется сказостью художественнаго языка и ушьнемъ въ двухъ-трехъ словахъ сказать многое, нарисовать передъ вами цѣлыя картины.

Въ тоже время, не гоню и вовсе мелкіе, обыденные характеры или стереотипныя обобщенія. Они бывають иногда столь же необходимы въ произведеніи, какъ и детали. Вы найдете ихъ не въ такомъ количествѣ въ произведеніяхъ первостепенныхъ беллетристовъ, даже у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Щедрина и пр. Нельзя же требовать, чтобы писатель въ каждой выводимой личности изображалъ вамъ какой-нибудь замѣчательный типъ и напрягалъ всю силу своего творчества, чтобы поразить васъ. Мало ли въ романахъ бываетъ побочныхъ личностей, лялющихся мелькомъ и чисто по необходимости. Сильные и истинные художники такъ обыкновенно и дѣлають, что все свои силы и все вниманіе обращаютъ на обрисовку двухъ-трехъ личностей въ произведеніи, а остальные помѣчаютъ самыми общими чертами, иногда въ двухъ-трехъ словахъ. Я протестую только противъ того, чтобы во всехъ романахъ только и встрѣчались, что одни мелкія, случайныя, обыденныя личности, да стерео-

типныя обобщенія и чтобы писатели въ тщательной обрисовкѣ подобныхъ личностей видѣли всю сущность поэтического творчества. Напротивъ того, поэтическое творчество, требующее для своего наибольшаго развитія сильныхъ впечатлѣній, весьма мало возбуждается при созданіи подобныхъ привычныхъ образовъ, отъ того образы эти и не производятъ на насъ никакого впечатлѣнія. Холодно читаемъ мы произведеніе, наполненное такими образами, и, слава Богу, если не засыпаемъ за чтеніемъ; за-то послѣ прочтенія романа, все содержаніе его живо вылетаетъ изъ нашей памяти, не оставая тамъ ни малѣйшаго слѣда. Прибавьте ко всему этому, что произведеніе, наполненное длиннѣйшими описаніями мелочныхъ деталей жизни, мелкими, обыденными сценками, случайными и блѣдными характерами или стереотипными обобщеніями, въ тоже время, и въ тенденціозномъ своемъ содержаніи представляетъ собою какое-нибудь банальное общее мѣсто, и вы тогда поймете, почему большинство беллетристическихъ произведеній такъ мало удаются публикѣ.

Что же за причина, что наша беллетристика все болѣе и болѣе погружается въ грубый натурализмъ безцѣльнаго кропотливо-мелочнаго списыванья обыденной жизни въ ея микроскопическихъ деталяхъ, введенія случайныхъ, первыхъ попавшихся подъ руку людшекъ и расписыванія ихъ ежедневнаго времени-препровожденія? Неужели все зло лежитъ въ господствующей эстетической доктринахъ, которые толкають искусство на такую ложную дорогу? Но, судя по всему вышеизложенному, можно думать, что доктрины тутъ не причеъ. Онѣ могутъ узаконить грубый фактъ, но какъ же могутъ производить его? Видѣли мы опредѣлили, что поэтическое творчество зависитъ всецѣло отъ силы впечатлѣній; что оно изгнѣндетъ и преувеличиваетъ представленія дѣйствительности все не искусственно и самопроизвольно со стороны поэта, а воплиъ естественно и бессознательно. Поэтъ изображаетъ дѣйствительность въ томъ видѣ, какъ она ему представляется; если же представленія эти оказываются преувеличенными, поразительными, то это не поэтъ сдѣлалъ ихъ такими, а сила впечатлѣнія, иллюзіи которой онъ самъ бессознательно подчинился. А если такъ, то при чемъ же тутъ ложныя эстетическія доктрины? Поэтъ молчитъ свято ислѣдывать ихъ, воображая, что въ нихъ вся мудрость искусства, и, все-таки, будетъ подчиняться въ своемъ творчествѣ не имъ, а силѣ своихъ впечатлѣній. И, въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что современныя эстетическія доктрины установились не сегодня, а господствуютъ уже тридцать, но не помѣшали же онѣ въ свое время появиться такимъ сильнымъ произведеніямъ, какъ „Мертвыя души“, „Обломовъ“, „Рудинъ“, „Гроза“ и пр. Не вѣшаютъ онѣ и нынѣ, хотя не въ такомъ большомъ количествѣ, какъ прежде, появляясь въ произведеніямъ, производящимъ сильное впечатлѣніе и гучествомъ поэтического творчества. А если не въ эстетическихъ доктринахъ, то въ чемъ же другомъ слѣдуетъ искать жалкаго состоянія нашей современной беллетристики? О, тутъ, конечно, дѣйствуютъ не одна какая-нибудь причина, а много причинъ весьма сложныхъ и весьма важныхъ, лежащихъ и въ общемъ взгля-

дѣ нашей современной общественной жизни, и въ част-  
ныхъ условіяхъ жизни нашихъ писателей. Но объ  
этихъ причинахъ нужно говорить или слишкомъ мно-  
го, или лучше совсѣмъ не говорить. Въ двухъ же  
урехъ словахъ говорить о нихъ не стоитъ, потому что  
такимъ образомъ ничего путнаго не скажешь и огра-  
ничившись только самыми неопредѣленными общими  
рѣсентами. Распространяться же теперь вполне обстоя-  
тельно объ этихъ причинахъ нѣтъ никакой возможно-  
сти, такъ какъ время закончить настоящее письмо,  
которое и безъ того уже вышло достаточно длинно; а  
еслибы начать распространяться о причинахъ, то оно  
раскавало бы сдѣлаться безконечнымъ. Поэтому, при-  
чины я отлагаю до слѣдующихъ писемъ. Мнѣ придет-  
ся еще касаться ихъ и разъяснить очень много и при  
каждомъ удобномъ случаѣ. Настоящее же письмо вполне  
достигло цѣли, ознакомивъ читателей съ тѣми эсте-  
тическими критеріями, на основаніи которыхъ я буду  
разбирать современные и прошлые поэтическія произ-  
веденія, и давъ читателямъ понятіе о томъ, какъ я  
смотрю на нашу современную изящную литературу и  
чего и отъ нея намъ вренъ прежде всего требовать.

### Письмо второе.

Поэзия графа А. Толстого, какъ типъ чужденнаго твор-  
чества.

Если мы будемъ разсматривать поэтическое твор-  
чество, какъ естественное и непосредственное рефлек-  
сированіе впечатлѣній, являемыхъ жизнью, и бу-  
демъ обуславливать силу и направленіе его слою и  
характеромъ впечатлѣній, то подобно воззрѣнію дасть  
совершенно иное освѣщеніе двумъ спорнымъ эсте-  
тическимъ доктринамъ прошлаго десятилѣтія: доктринѣ  
искусства для искусства и искусства для жизни. Обы-  
кновенно полагаются такъ, что польза и значеніе по-  
этическихъ произведеній, помимо таланта автора,  
всѣгда зависятъ оттого, какой изъ двухъ док-  
тринъ придерживается писатель — чистаго или полез-  
наго искусства: въ первомъ случаѣ, произведенія его  
должны быть безцѣльны и потому бесполезны, а во-  
второмъ проникнуты самыми современными тенден-  
ціями, и въ пользу ихъ не будетъ представляться ни  
малѣйшаго сомнѣнія. На дѣлѣ же и съ точки зрѣнія  
нашихъ воззрѣній на искусство это не всегда быва-  
етъ такъ: что толку, что поэтъ будетъ исповѣдывать  
доктрину полезнаго искусства, если въ произведеніи  
его отразится впечатлѣнія, ничтожны по своей сла-  
бости и маловажности, и если оно будетъ ничѣмъ  
инымъ, какъ рутинною иллюстраціею общахъ мѣстей,  
шлестомъ справедливыхъ, но тѣмъ не менѣе намошозлив-  
шихъ всѣмъ глаза своею стереотипностью? А съ дру-  
гой стороны, развѣ не можетъ случиться, что хотя  
бы какой поэтъ держался теоріи разпречистѣйшаго  
искусства, тѣмъ не менѣе въ его поэтическихъ обра-  
захъ отразится впечатлѣнія сильныя и животрепещу-  
щія до своему существенному значенію въ жизни, и  
произведеніе его само по себѣ будетъ въ высшей сте-  
пени полезно, будетъ имѣть большое значеніе въ ли-  
тературѣ. Такъ, наиримѣръ, скажите: какой доктри-

ны, чистаго или полезнаго искусства, держался та-  
кій свѣтила поэзіи, какъ Дантъ, Шекспиръ или Бай-  
ронъ? А Гоголь положительно держался теоріи чиста-  
го искусства; но это не помѣшало ему создать рядъ  
произведеній, по значенію и пользѣ превосходящихъ  
все созданное до него въ русской литературѣ. А еще  
лучше возьмите народную поэзію: какой доктрины  
держится народъ, чистаго или полезнаго искусства,  
создавая свои пѣсни? Онъ творитъ ихъ совершенно  
непроизвольно, поетъ ихъ также безотчетно, какъ  
птицы небесныя, а между тѣмъ, много ли найдете вы  
народныхъ пѣсней, которыя не отражали бы тѣхъ  
или другихъ роковыхъ и существенныхъ явленій его  
жизни и не имѣли бы серьезнаго значенія для него?

Такимъ образомъ, нисколько не отвергаю, что ис-  
кусство должно служить не ради однихъ праздныхъ  
эстетическихъ забавъ и утѣхъ, что оно имѣетъ свое  
спеціальное высшее, утилитарное назначеніе въ жи-  
зни, мы въ то же время должны признать, что дости-  
женіе этого назначенія или же пребываніе искусства  
въ области эстетической побрякушности зависитъ во-  
все не отъ доброй воли поэта и его эстетическихъ  
взглядовъ, а отъ характера впечатлѣній, возбуж-  
дающихъ его творчество. Характеръ же впечатлѣній  
зависитъ отъ суммы условій жизни поэта, условій,  
создаваемыхъ эпохою, средою, наконецъ, обстоятель-  
ствами личной жизни. И совершенно подобно тому,  
какъ жизнь создаетъ различные типы людей той или  
другой среды, того или другого вѣка, такъ-же точно  
создаетъ она и различные типы поэзіи. Типы эти, подоб-  
но людскимъ, возникаютъ и исчезаютъ сообразно воз-  
никновенію и исчезанію тѣхъ условій, которыя ихъ  
создаютъ. Такимъ образомъ, если вамъ не нравится  
какой-нибудь изъ существующихъ поэтическихъ ти-  
повъ, то это происходитъ прежде всего отъ того, что  
онъ чуждъ условіямъ, характеру и складу вашей  
личной жизни, оттого, что будь вы сами поэтомъ, ва-  
ша поэзія принадлежала бы къ другому типу, не  
имѣющему ничего общаго съ первымъ. Затѣмъ вы мо-  
жете воздвигать на несимпатичный вамъ типъ поэзіи  
какія вамъ угодно гоненія, пусть гоненія эти будутъ  
основаны на вполне неопровержимыхъ, самыхъ глубо-  
кихъ и вѣскихъ истинахъ, и повѣрьте, что никакіе  
критическіе доводы не поколеблютъ существующаго  
типа поэзіи, пока не исчезнутъ условія, вызывающія  
и поддерживающія его существованіе.

Такъ, наиримѣръ, представьте себѣ господина, ко-  
торый съ пеленокъ привыкаетъ уже созерцать жизнь  
исключительно съ одной стороны красоты ея формъ.  
Когда еще нитается онъ колокомъ деревенской кра-  
савицы (нарочно тщательно выбранной изъ сотенъ  
крестьянокъ по привлекательности своихъ формъ),  
когда сознаніе не успѣло еще проявиться въ немъ и  
только-только что воспитываются органы элементар-  
ныхъ ощущеній, его ручки ощущаютъ не иначе,  
какъ газъ, шелкъ и атласъ, въ которыхъ онъ изыщ-  
но окутывается, его глазенки останавливаются на ослѣ-  
пительномъ блескѣ артистически изваянныхъ бронзо-  
выхъ или хрустальныхъ люстръ и канделябровъ; его  
ушки слушаютъ тихіе звуки отдаленныхъ музы-  
кальныхъ мотивовъ, сладкій говоръ иѣжныхъ ласкъ  
на звучномъ французскомъ діалектѣ и т. п.

И потомъ, когда онъ начинаетъ подростать, отъ него тщательно отстраняется и удаляется все негармоническое, неуклюжее, тривиальное по вѣбшимъ формамъ, а если что-либо изъ подобнаго по необходимости торчитъ передъ его глазами, ему внушается презрѣніе и пренебреженіе ко всему подобному. Такъ, напримѣръ, губернаторъ его можетъ плѣть бездну самыхъ почтенныхъ и высокихъ нравственныхъ достоинствъ, но никто не заботится обратить вниманіе мальчика на эти достоинства, а, напротивъ того, на первомъ планѣ ставятся неволкія манеры или всклокоченные волосы ментора, и осмѣиваются маленькими и папеньками, тетеньками и дяденьками. Заражались ихъ смѣхомъ, и мальчикъ осмѣиваетъ своего паставника, за некрасивыми формами его не замѣчая прекраснаго внутренняго ихъ содержанія. Такимъ образомъ, мальчикъ привыкаетъ все, на что ни кидаетъ взоры свои, разсматривать исключительно со стороны красоты или безобразія формъ. Сама природа является глазами его прежде всего въ выровненномъ, вышощенномъ, изукрашенномъ видѣ симметрически-правильныхъ формъ сада, расположеннаго вокругъ замка. И только далѣе, за предѣлами сада, допускается настоящая природа, позволяется нѣтъ ей и свои дикія красоты, но все-таки непремѣнно не что иное, какъ красоты: взоры, привыкшіе нѣжиться прелестью изящныхъ формъ, и здѣсь прежде всего и болѣе всего ищутъ привычныхъ наслажденій. Прибавьте ко всему этому, что въ наступленію зрѣлаго возраста человекъ этотъ привыкаетъ главнымъ содержаніемъ жизни считать всевозможныя наслажденія, стараясь окружать себя со всѣхъ сторонъ всѣмъ нѣжущимъ и ласкающимъ чувства, и тщательно удаляетъ отъ себя не только все негармоническое, безобразное, тривиально-грязное, но и все возмущающее, тревожащее душу въ какомъ бы то ни было отношеніи. Весьма понятно, что для такого господина „муза мести и печали“ всегда будетъ чужда и ненавистна, какими бы доказательствами вы ни разсказались передъ нимъ въ пользу и естественности такой музы. Ну, стало-было ли дѣло, чтобы Некрасовъ могъ тронуть его стихотвореніемъ:

Жизнь въ трезвомъ положеніи  
Куда не хороша!  
Въ томительномъ бореніи  
Сама съ собой душа и проч.

или чтобы Рѣшетниковъ могъ разжалобить его судьбою свившагося почтальона, когда видѣ пьянаго простомодина или разночница никогда ничего въ этомъ господинѣ неспособенъ возбуждать, кромѣ одного единственнаго чувства гадливости и ненависти. Ему и въ голову не можетъ прийти, чтобы въ безобразной, съ точки зрѣнія изящества формъ, фигурѣ пьянаго почтальона могли прелесть какія-нибудь „душевные боренія“. Поищите, какія-такія тутъ душевные боренія, ха, ха, ха!.. Больше ничего, какъ бессмысленный бредъ хмельнаго идиота. Да и въ правдѣ ли вы требовать, чтобы этотъ господинъ постигъ вдругъ поэзію душевныхъ бореній свившагося разночница или, еще того хуже, лужика, когда даже плачущую Шобееву, этотъ общечеловѣчскій образъ материнской скорби, господинъ этотъ способенъ совер-

дать исключительно со стороны красоты ея слезы, не допуская разстроивать свои чувствительные нервы тревожными размышленіями о томъ, что слезы эти только красивы, но солонны и горьки, и что подъ землей таится своего рода „душевные боренія“. Понятно, что среда такихъ господъ фатально должна воспитывать поэзію, главное содержаніе которой заключается въ отраженіи впечатлѣній изящныхъ формъ, которая на всѣ явленія жизни, на всѣ людскія радости и печали будетъ смотрѣть исключительно съ той точки зрѣнія, какъ красиво они проявляются и рисуются передъ глазами. Понятно также, что пока будетъ существовать эта среда, до тѣхъ поръ и этому типу поэзіи не будетъ конца. Этотъ типъ и есть то, что у насъ принято называть искусствомъ для искусства. Но въ сущности это вовсе не искусство для искусства. Это въ своемъ родѣ искусство для жизни: да, для жизни той среды, которая создастъ такое искусство, потому что *нуждается* въ немъ и создаетъ его *сообразно своимъ потребностямъ*, подобно тому, какъ иные среды создаютъ свои типы искусства, сообразно своимъ потребностямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ жизнь средней руки французскаго буржуа, пѣмецкаго бюргера, мелкопомѣстнаго русскаго помещика или разночница. Здѣсь вы не найдете уже, конечно, того восторженнаго культа прекрасныхъ формъ, какое мы видѣли въ жизни высшеозначеннаго господина. Прекрасному предпочтается здѣсь полезное. Главнымъ стимуломъ жизни является здѣсь не наслажденіе, а приобрѣтеніе. Здѣсь и некогда, да ибту и средствъ заводить прекрасную, нѣжущую взоры обстановку. Комнаты у подобныхъ людей наполняются старомодною, неуклюжею, дешевой мебелью, лишь-бы было на чемъ сидѣть, обѣдать или спать. Подобнымъ хламомъ эти люди дорожатъ иногда въ гораздо болѣе степенѣ, чѣмъ знатные господа своею дорогою и изящною мебелью, но дорожатъ вовсе не въ силу того, чтобы онѣ прельщали взоры ихъ изяществомъ своихъ формъ, а потому что одніе вещи представляютъ память о дѣдушкѣ или бабушкѣ, но излѣдству отъ которыхъ онѣ достались; другія дороги по собственнымъ воспоминаніямъ или по привычкѣ, потому что глаза успѣли приглядѣться къ нимъ съ самаго дѣтства; наконецъ, дорожатъ весь этотъ хламъ и просто потому, что въ этой средѣ каждая мелочь идетъ въ счетъ, каждой ложкѣ и вилкѣ придается свое представительное значеніе, надъ каждой разбитой чашкой проливаются здѣсь подчасъ слезы. И еще-бы: въ жизни въ этой средѣ сплается изъ мелочей; здѣсь сколачиваются капиталы по копейкѣ и денежкамъ. Здѣсь нѣтъ взрывовъ вулканическихъ страстей, ведущихъ за собою катастрофы и быстрые перевороты; а, напротивъ того, жизнь тянется въ однообразномъ теченіи мелочныхъ, повседневныхъ дѣяній, вслѣдствіе чего такіе пустяки, какъ экстраординарная шуршилка по случаю полученія ордена или поѣздка за 100 верстъ, принимаютъ здѣсь размѣры крупныхъ событій жизни, отъ которыхъ люди ведутъ свои эры. Характеры въ этой средѣ обрисовываются не геройскими подвигами или злодѣйствами, не какими-либо крупными поступками, а совокупнымъ рядомъ деталей домашней об-



сталовки и мелких дрягъ, въ отношеніи къ небольшо-  
 кой группѣ людей. Наконецъ, люди этой среды такъ  
 привыкають обращать пристальное вниманіе, возбу-  
 шивать и высоко цѣнить каждую мелочь, что они рѣ-  
 шительно теряють сознаніе различія мелкаго отъ  
 крупнаго, и такіе вопросы, какъ заказъ новаго платья  
 или оклейка стѣпъ новыми обоями, стоять въ головѣ  
 ихъ на одномъ планѣ съ самыми существенными об-  
 щими вопросами вѣка. Подумайте теперь: какой типъ  
 поэзіи должна создать подобная среда? Нужно-ли рас-  
 пространяться, какой именно? Конечно, это будетъ  
 именно та пресловутая натуральная поэзія мелочей  
 и дрягъ жизни, которая, начиная съ 30-хъ годовъ,  
 преобладаетъ въ Европѣ. Феодалный принципъ,  
 опредѣляющій искусство сферою прекраснаго и вы-  
 сокаго, къ этому типу совершенно оказывается не-  
 пригоднымъ. Люди, привыкшіе вращаться въ средѣ  
 мелочей жизни и цѣнить ихъ со стороны исключи-  
 тельно утилитарной, не обращая особеннаго внима-  
 нія, насколько мелочи эти удовлетворяють чувству  
 прекраснаго, очень понятны, и въ искусствѣ будутъ  
 отражать всё эти мелочи съ точки зрѣнія утилитар-  
 но-нравственнаго или матеріальнаго значенія ихъ въ  
 жизни. Понятно также, что этотъ типъ поэзіи будетъ  
 чуждаться выставленія крупныхъ характеровъ, силь-  
 ныхъ страстей и выдающихся трагическихъ событій  
 жизни. Напротивъ того, онъ долженъ неуклонно стре-  
 миться къ изображенію обыкновенныхъ маленькихъ  
 людичекъ во всей ихъ будничной обстановкѣ, съ ихъ  
 киваньями добродѣтелями и пошлыми плот-  
 скими вождѣльниками, съ ихъ семейными драмами,  
 казеннымъ, черепашимъ шагомъ вышывающими изъ  
 тѣни мелочей и дрягъ повседневной жизни.

Забывъте, что недаромъ подобнаго рода типъ поэ-  
 зии, въ видѣ натурального романа, развивается въ  
 Европѣ вмѣстѣ съ окончательнымъ паденіемъ фео-  
 далныхъ режимовъ, и утвержденіемъ господства бур-  
 жуазныхъ, промышленныхъ классовъ. Подобно тому,  
 какъ въ Англій послѣ послѣдняго проблеска поэзіи  
 феодалнаго режима, въ видѣ неоромантизма (Валь-  
 теръ-Скоттъ, Байронъ), воцаряется натуральный ро-  
 манъ на почвѣ всемірной англійской буржуазіи, въ  
 лицѣ такихъ крупныхъ представителей, какъ Дик-  
 кенсъ, Такверей, Джорджъ Эллиотъ и проч., подобно  
 тому, какъ во Франціи, вскорѣ послѣ первой револю-  
 ціи, даровавшей господство промышленнымъ клас-  
 самъ, возникла подобнаго-же рода школа натураль-  
 наго романа въ лицѣ Вальзака, Стендаля, Флобера и  
 Зола, точно такъ-же и у насъ, въ свою очередь, до-  
 статочно оказалось пережѣченія центра умственнаго  
 движенія изъ великосвѣтскихъ слоевъ общества въ  
 среду мелкаго дворянства и разночинства, чтобы тотъ-  
 же-же возникла натуральная школа, воцарилась  
 поэзія мелочей и дрягъ повседневной жизни, и мы  
 видимъ, что представитель этой школы, Гоголь, яв-  
 ляется самъ всецѣло выходцемъ изъ этой среды и по  
 своему происхожденію, и по своему воспитанію, и по  
 всѣмъ обстоятельствамъ своей жизни.

Суди по всему этому, можно ожидать, что и нату-  
 ральная поэзія мелочей и дрягъ жизни имѣетъ край-  
 не относительное значеніе и преходящее существова-  
 ніе. Она, конечно, будетъ процвѣтать и господство-

вать до тѣхъ только поръ, пока центръ умственнаго  
 движенія будетъ сосредоточиваться въ средѣ промыш-  
 ленныхъ классовъ. Передвиженіе-же этого центра въ  
 иные слои общества, напримѣръ, въ народныя, непре-  
 мѣнно должно отозваться въ искусствѣ появленіемъ  
 новыхъ типовъ поэзіи, соответствующихъ этимъ  
 слоямъ. Первообразы этихъ типовъ мы и теперь впро-  
 чемъ можемъ наблюдать, какъ, съ одной стороны, въ  
 собирательно-народномъ творчествѣ, такъ и въ про-  
 изведеніяхъ поэтовъ выходцевъ изъ народа, каковы:  
 Кольцовъ, Шевченко, Никитинъ, Борнсъ и проч. За-  
 бывъте, что, несмотря на то, что поэты эти оригиналь-  
 ны до крайности и вносятъ совершенно свѣжія струи  
 въ литературу тѣхъ обществъ, среди которыхъ появ-  
 ляются, они стоятъ совершенно особняками, не дѣ-  
 лають пока переворотовъ въ той сферѣ поэзіи, къ  
 которой принадлежатъ. Такъ, напримѣръ, мы видимъ,  
 что ни Кольцовъ, ни Шевченко ни мало не помѣшали  
 появленію послѣ нихъ лиръ Ап. Майкова, Фета, Тют-  
 чева и пр. въ такой степени, въ какой Жуковский съ  
 Пушкинымъ помѣшали трескучимъ одамъ, поэмамъ и  
 трагедіямъ въ ложно-классическомъ духѣ, или въ ка-  
 кой степени Гоголь помѣшалъ появленію романовъ  
 въ духѣ Полевого или Загоскина съ Кузьминкомъ.  
 Это происходитъ, конечно, отъ того, что въ средѣ  
 умственнаго движенія общества и до сихъ поръ пре-  
 обладають слои, для которыхъ пушкинская муза род-  
 нѣе кольцовской. Такъ мы и до сихъ поръ видимъ;  
 если появляется молодой лирикъ изъ привилегиро-  
 ванныхъ классовъ, то онъ не станетъ подражать  
 Кольцову или Никитину, а будетъ придерживаться  
 мотивовъ и формъ лирики, выработанныхъ пушкин-  
 ской традиціей, тогда какъ выходимъ изъ народа на-  
 чинають обыкновенно подражаніемъ Кольцову. Стоитъ  
 обратить при этомъ вниманіе и на то, что поэзія  
 всѣхъ этихъ выходцевъ изъ народа, этихъ первыхъ  
 пионеровъ будущихъ поэтическихъ типовъ, не подхо-  
 дитъ ни подъ одну изъ существующихъ до нынѣ эсте-  
 тическихъ доктринъ. Это — отнюдь не поэзія пре-  
 красныхъ образовъ, изысканныхъ формъ и выраже-  
 ній и тѣмъ менѣе — поэзія мелочныхъ деталей жизни.  
 При своей крайней, чисто младенческой простотѣ, чуж-  
 да вслѣдъ изысканныхъ вычурностей, она отли-  
 чается чрезвычайной сжатостью и, вмѣстѣ съ тѣмъ,  
 могучей силой страстности. Отъ нея такъ и вѣетъ  
 упругою крѣпостью мускуловъ, развитыхъ земледѣль-  
 ческимъ трудомъ, и свѣжестью непочатыхъ и необъят-  
 ныхъ душевныхъ силъ. Она изображаетъ предметы  
 крупными общими чертами, избѣгая мелкихъ дета-  
 льныхъ штриховъ и тонкихъ оттѣнковъ различныхъ ду-  
 шевныхъ движеній. Видно, что она вышла изъ среды  
 людей, слишкомъ занятыхъ, чтобы предаваться праз-  
 нымъ созерцаніямъ и подолгу останавливаться на  
 каждой черточкѣ жизни. Природа въ ней если и опи-  
 сывается, то въ тѣсной связи съ жизнью человѣка и  
 въ ея влияніи на эту жизнь. Общее содержаніе ея за-  
 ключается отнюдь не въ восторженномъ созерцаніи  
 прекраснаго и не въ тщательномъ изображеніи дѣй-  
 ствительности во всѣхъ ея мельчайшихъ подробно-  
 стяхъ, а въ глубокой, сурово-скорбной думѣ о жизни  
 и судьбѣ человѣка, о борьбѣ съ людскими неправдами  
 и о прискорбномъ преобладаніи кривды надъ правдою.

При всемъ этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, конечно, не однимъ складомъ жизни и характеромъ тѣхъ или другихъ слоевъ общества опредѣляются типы поэзии. Они въ значительной степени видоизмѣняются и осложняются, смотря по характеру эпохи. Такъ, напримѣръ, примите во вниманіе, что во всѣхъ поэтическихъ произведеніяхъ Западной Европы послѣдней четверти прошлаго столѣтія и первой четверти настоящаго преобладаетъ наклонность къ грандіозному въ изображеніяхъ, какъ жизни человѣческой, такъ и природы. На сцену выступаютъ передъ вами цѣлый рядъ титаническихъ личностей, представляющихъ въ себѣ какъ бы фокусы всего человѣчества, каковы Фаустъ, Чайльд-Гарольдъ, маркизъ Поза и проч. Они обставлены соответствующею, величественною обстановкою: сюжеты произведеній развиваются постоянно то среди громоглагольных скалъ и вѣчныхъ снѣговъ Альпъ, то среди бушующихъ волнъ океановъ, то въ дѣвственныхъ лѣсахъ тропической природы, то подъ гигантскими сводами средневѣковыхъ храмовъ или замковъ, или среди обитыхъ плещами и шпирями развалинъ классической древности. Въ общемъ своемъ содержаніи всѣ эти произведенія трактуютъ *en grand* о судьбахъ всего человѣчества, объ основныхъ началахъ человѣческой природы и вѣковѣчныхъ явленіяхъ жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что такой характеръ поэзии лежитъ въ тѣсной связи съ общимъ настроеніемъ эпохи, въ которую Европа переживала двойной кризисъ, философскій и политическій, въ которую жизнь ежедневно выдвигала чрезвычайныя событія, катастрофы и перевороты, всѣ страсти были взволнованы до послѣдней крайности и воображеніе крайне возбуждено и напряжено. Правда, что и послѣдующее пятидесятилѣтіе, составляющее середину нынѣшняго столѣтія, не лишено своего рода чрезвычайныхъ событий: стоитъ припомнить три революціи, пережитыя Франціею съ ужасами июльскихъ дней и коммуны, американскую войну за освобожденіе негровъ, освобожденіе Италіи, крымскую кампанію, германо-французскую войну или только-что пережитый терроръ на Балканскомъ полуостровѣ. Но какой-бы ужасъ ни возбуждали въ свое время эти событія въ современникахъ, они далеко не имѣютъ въ ихъ глазахъ того рокового, апокалипсическаго характера, какой представляли событія конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Къ тому-же, всѣ эти событія совершаются маленькими людьми, далеко не рисующимися въ томъ ореолѣ величавой гениальности или трагичности, въ какомъ рисовались такіе дѣятели прошлаго вѣка, какъ Вашингтонъ, Наполеонъ I, Суворовъ, Робеспьеръ, Маратъ, Дантонъ и проч. Они возбуждаютъ въ насъ не восторженное удивленіе или ужасъ, а слѣхъ и презрѣніе своими смѣшными слабостями въ мѣщанскомъ духѣ, въ родѣ мелочнаго тщеславія, погони за наживою, интригантства и передергиваній чисто-шуллерскаго характера, жалкаго малодушія въ роковыя минуты и проч. А главное дѣло, мы слышимъ умудрена опытомъ, чтобы каждое событіе, выходящее изъ обиденнаго уровня, встрѣчать, какъ возрожденіе всего человѣчества и начало новой эры. Мы очень хорошо впередъ предугадываемъ, что, сколько ни было-бы сожжено пороха, разрушено домовъ и пролито крови, въ концѣ-концовъ, надъ всѣ-

ми развалинами совершившихся катастрофъ, все-таки, восторжествуетъ единственный, истинный властелинъ нашего вѣка—купецъ, съ аршиномъ въ одной рукѣ и мѣшкомъ золота въ другой. Немудрено, что всѣ вышеупомянутыя, чрезвычайныя событія нашего времени нисколько не мѣшаютъ европейской жизни въ общемъ своемъ теченіи имѣть сѣренскій характеръ заурядности мирныхъ устоевъ буржуазнаго прозябанія. Куда ни обернетесь, повсюду вы наткнетесь на купца, афиста, мелкаго промышленника, биржеваго игрока и шулера. Что-же мудренаго, что и поэзія спустилась нѣсколькими тонами ниже: вмѣсто того, чтобы изображать судьбы человѣчества *en grand*, занялась анализомъ мелочей и дразнъ буржуазной жизни, и вмѣсто того, чтобы выводить на сцену Валленштейновъ, Манфредовъ или Іоаннъ д'Аркъъ, героями своими избрала Шикквиковъ, Рутоновъ, Чичиковыхъ, Ревекъ Шарль и проч.

Не малое вліяніе на созданіе, въ настоящемъ случаѣ, не общихъ и гуртовыхъ, но личныхъ, индивидуальныхъ типовъ поэзии имѣютъ, конечно, частныя условія жизни того или другого поэта. Но здѣсь мы вступаемъ въ такую несобятную область, что, въ боязни разбросаться и запутаться въ массѣ конкретныхъ явленій, я считаю необходимымъ немедленно-же перейти къ главному предмету своего настоящаго письма—къ анализу поэтическаго творчества современнаго въ прошломъ году въ могилу графа Алексея Толстого. Его поэтическія произведенія, въ связи съ биографическими данными, покажутъ намъ, какія общія и частныя условія жизни и какъ вліяли на творчество этого современнаго намъ поэта и что они изъ него сдѣлали. Я избираю въ настоящемъ случаѣ для своего анализа гр. А. Толстого не только потому, что онъ недавно умеръ и послѣ его смерти изданы были въ прошломъ году всѣ его стихотворныя произведенія. Это только поводъ. Главное-же дѣло въ томъ, что гр. А. Толстой, какъ поэтъ, представляется мнѣ весьма рѣзкимъ и определеннымъ типомъ для моего анализа.

Но прежде, чѣмъ мы займемся поэтическими произведеніями гр. А. Толстого, мы обратимъ вниманіе на тѣ автобиографическія свѣдѣнія о его жизни, которыми онъ изложилъ въ своемъ письмѣ къ флорентійскому профессору де-Губернатису, помѣщенномъ въ началѣ послѣдняго изданія его стихотвореній. При всей своей краткости и сжатости, свѣдѣнія эти столь характерны, что даютъ вполне ясное и определенное понятіе объ условіяхъ жизни поэта и вліяніи этихъ условій на его творчество. Итакъ, что-же мы видимъ изъ этихъ свѣдѣній? Мы видимъ, во-первыхъ, что гр. Толстой родился и всю жизнь прожилъ исключительно въ самыхъ великосвѣтскихъ кругахъ общества. Затѣмъ мы видимъ, что хотя онъ родился въ Петербургѣ (въ 1817 году), но еще шестилѣтнимъ увезли его въ Малороссію мать и дядя его съ материнской стороны, Алексѣй Перовскій, который, замѣтите, былъ человѣкъ образованный, большаго любителя изящныхъ искусствъ, и принималъ участіе въ русской литературѣ, въ которой извѣстенъ подъ псевдонимомъ Антоизъ Погорьльскаго. Итакъ, родиною своею гр. А. Толстой въ полномъ правѣ могъ считать Малороссію, гдѣ съ шестилѣтняго возраста онъ провелъ въ извѣстномъ

лей первая восемь или девять лѣтъ своей жизни. Дѣтство графа прошло, какъ онъ самъ говоритъ, чрезвычайно счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. И еще-бы: конечно, попеченіями любящихъ его и близко родителей онъ былъ тщательно огражденъ отъ всѣхъ неприятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни: это была ибжная гусеница, бережно окутанная въ вату, чтобы она не могла подвергнуться ни латбйшему толчку или грубому прикосновенію стлхій. Онъ не ибжалъ въ своемъ дѣтствѣ даже сверстниковъ, отношенія къ которымъ, въ видѣ насмѣшекъ, поддразниваній, обидъ, ссоръ и потасовокъ, могли-бы доставить ему первые тяжкіе опыты жизни. Онъ росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки, среди роскошной малороссійской природы, и очень повягто, что, при такихъ условіяхъ, въ немъ рано развилась мечтательность, причемъ воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы, своею обольстительностію вполне соответствующія изяществу обстановки окружающей его жизни. Для большей наглядности я считаю не лишнимъ иллюстрировать характеристику дѣтства поэта извлеченіемъ изъ стихотворной повѣсти его „Портретъ“. Хотя я и не ибжаю права утверждать, чтобы въ повѣсти этой гр. А. Толстой изобразилъ свое собственное дѣтство, но, тѣмъ не менѣе, ибъ сдается, что, хотя-бы и при ибкоторыхъ иныхъ условіяхъ и подробностяхъ домашней обстановки, дѣтство графа ибгло немало общаго съ описаннымъ въ „Портретѣ“, и несомнѣнно, что на послѣднемъ отражаются слѣды воспоминаній перваго. Вотъ что мы читаемъ въ вышеупомянутой повѣсти. Послѣ описанія казарменной архитектуры фасада родительскаго дома героя, поэтъ говоритъ:

«но внутри

Характеръ свой прошедшаго столбтя  
Домъ сохранилъ. Покой два, иль три  
Могли-бъ восторга вызвать междомелье  
У знатока. Изъ бронзы фонари  
Въ ерѣнахъ висѣли, и любилъ смотрѣть я,  
Хоть былъ тогда отъ искусствъ не толковъ,  
На лпнку стлль и форму потолковъ.

\* \* \*

Родителей своихъ я видѣлъ мало;  
Отецъ былъ занятъ; братьевъ и сестеръ  
Я не знала; мать много выбжалая;  
Ворчали вѣчно теткы; съ раннихъ поръ  
Привыкъ одинъ бродить я отъ зала къ залу  
И населять мечтами ибз просторъ.  
Тахъ подвизы, достойные романа,  
Вообразать себя я началъ рано.

\* \* \*

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была  
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.  
Далъ, какъ она окружъ меня тѣла,  
Все отъ той-же прозы деижалъ безпрерывно,  
Все, что возбудъ сергемля дѣла, —  
Я некаидѣлъ съ дѣтства истиннолично.  
Не ибверю, что отъ этого былъ я правъ,  
Но видно такъ ужъ мой сложился нравъ.

\* \* \*

Цѣлы у насъ стояли въ разныхъ залахъ:  
Блѣто-фіолей много золотыхъ,  
И много глацинтовъ, синихъ, алыхъ,  
И голубыхъ, и блѣдно-голубыхъ;  
И л, мировъ икагель небывалыхъ,

Любилъ выкатъ въ благоуханье пхъ,  
И въ каждомъ запахѣ индивидуальный  
Мнѣ музыкой какъ будто вблль дальной.

\* \* \*

Въ ииме-жъ дни, прервавъ мечтаній сонъ,  
Случилось мнѣ очутъся, въ удивленій,  
Съ чепчикомъ въ рукахъ. Какъ мной былъ сорванъ онъ—  
Не помнилъ я; но въ чудный видѣтъ  
Былъ запахомъ ея я погруженъ.  
Такъ превращало мнѣ воображенъ  
Въ волшебный мѣръ нашъ скучный старій домъ—  
А жизнь межъ тѣмъ шла прежнимъ чередомъ.

Къ этимъ галлюцинаціямъ, внушаемымъ полнымъ одиночествомъ мальчика среди роскошной и изящной обстановки, прибавьте еще обаяніе малороссійской природы, о которомъ гр. А. Толстой считаетъ нужнымъ два раза замѣтить въ своей автобиографіи. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что мѣстная природа, среди которой онъ жилъ, много содѣйствовала развитію въ немъ мечтательности и склонности къ поэзіи: „Воздухъ и видъ нашихъ большихъ лѣсовъ, страстно любимыхъ мною, оставили во мнѣ глубокое вначалѣніе, ибвѣвшее вліяніе на мой характеръ и жизнь и сохраняемое мною до сей поры“. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что, возвращаясь порою въ деревню, гдѣ провелъ первые годы, онъ ибногда могъ видѣть тѣхъ мѣстъ безъ особеннаго волненія.

При такихъ условіяхъ жизни, въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

«Съ шестилѣтняго возраста,—говоритъ гр. А. Толстой—началъ я мараь бумагу и писать стихъ—такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги отпечатался въ моей памяти и заставлялъ бѣгъся сердце всякій разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я такъ скалъ ее, бывало, съ собою всюду и пряталъ въ саду или въ лѣбу, чтобы, лежа подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть; я училъ себя музыкой разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику. Какъ ни были нелѣпы мои первые опыты, я долженъ, однако, сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

Когда мальчику было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составлявшихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго императора Александра Николаевича). Но съ слѣдующаго же года начинаются постоянныя странствованія его съ родителями за-границей, ибвѣвшія огромное вліяніе на эстетическое развитіе и окончательное углубленіе его въ мѣръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. „Во время пребыванія нашего въ Веймаръ,—говоритъ гр. Толстой, по поводу этого путешествія:—для свель меня съ Гете, къ которому и истинноивно проникся величайшимъ почтеніемъ за ту манеру, съ которою онъ говорилъ. Отъ этого восхищенія у меня сохранились въ памяти величественныя черты Гете и еще то, что я сидѣлъ у него на колѣняхъ“.

Но самое роковое, въ смыслѣ нравственнаго и эстетическаго вліянія, наложившаго печать на всю жизнь поэта, было путешествіе въ Италію на 14 году его жизни.

«Мнѣ было 13 лѣтъ, говорить гр. А. Толстой:— когда я съ родными сдѣлалъ первое путешествіе въ Италию. Невозможно изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде нежели встрѣтился съ ними. Мы начали съ Венеціи, гдѣ мой дядя сдѣлалъ большія покуски въ старомъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ, былъ купленъ бюстъ молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, великолѣпный экземпляръ, который когда-либо мнѣ случалось видѣть: онъ находится теперь въ Петербургѣ и принадлежит гр. Палу Строгонову. Когда статую перенесли въ нашъ отель, я не отходилъ отъ нея. Я вставалъ ночью посмотрѣть на нее, и мое воображеніе мучилось неслыханными подозрѣніями. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ дѣлать, если вѣснхнеть пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, могу-ли я, въ случаѣ, унести статую на своихъ рукахъ. (Не правда-ли, какъ это опытно-таки напоминаетъ повѣсть «Портретъ»? Невольно приходило въ голову, что не себя-ли изобразилъ поэтъ въ этомъ образѣ мальчика, крадущагося ночью, когда все въ домѣ заснуло, на фантастическое свиданіе съ таинственнымъ портретомъ, въ который онъ мечтательно влюбился, какъ въ живое существо). Изъ Венеціи мы отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніи мой восторгъ и любовь къ искусству возрастали; дѣло дошло до того, что, по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Италиі, доходила до какого-то отчаянія, которое заставляло меня днесь отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мои сны заносили меня въ мой потерянный рай».

По этимъ выдержкамъ изъ автобіографіи гр. А. Толстого вы можете судить, что все воспитаніе его съ дѣтства какъ будто нарочно и вполнѣ систематично было направлено такъ, чтобы отвлечь его отъ всякихъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и окончательно поселить въ отвлеченно-мечтательный міръ обольстительно-прекрасныхъ грезъ. Онъ, по всей справедливости, могъ къ самому себѣ отнести тѣ стихи своей повѣсти (Портретъ), которые онъ вложилъ въ уста своего героя:

Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была  
Отъ малыхъ лѣтъ неясна и противна.  
Жизнь, какъ она<sup>2</sup> вокругъ меня текла,  
Все въ той-же прозѣ днажась непрерывно,  
Все, что зовутъ серьезнымъ дѣломъ—  
Я невидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

И дѣйствительно, трудно представить себѣ жизнь, болѣе отрывистую отъ дѣйствительности и бѣдную вѣщими событиями, чѣмъ жизнь гр. А. Толстого. Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ московскомъ университетѣ. Въ 1836 году, по желанію матери, былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртъ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую кампанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человекъ отъ тифа, полученнаго также и гр. Толстымъ. Наконецъ, слѣдуетъ послѣднее замѣчательное событіе въ жизни гр. Толстого—событіе, кладущее свою печать на всю его послѣдующую жизнь, событіе, которымъ самъ онъ гордился, какъ своего рода нравственною доблестью,

которое подчеркивали какъ его приверженцы, такъ и порицатели, одни прославляя его за него, другіе осуждая.

«Императоръ Александръ II, говорить гр. А. Толстой въ своей біографіи:— во время коронаціи въ Москвѣ, изволилъ назначить меня своимъ флигель-адъютантомъ. Но такъ какъ я вовсе не готовился быть военнымъ и, поступаая въ стрѣлки, имѣлъ намѣреніе оставить службу тотчасъ по окончаніи войны, то я и представилъ мои сомнѣнія Его Величеству, и Государь Императоръ принялъ мою просьбу съ обычнымъ ему благодушіемъ и назначилъ меня егермейстеромъ двора».

Это былъ отказъ отъ блестящей карьеры ради исключительнаго посвященія всей жизни служенію думамъ. Я уже сказалъ выше, что гр. А. Толстой самъ гордился этимъ подвигомъ, такъ что даже воспѣлъ его въ цѣлой поэмѣ, подъ заглавіемъ «Іоаннъ Дамаскинъ». Когда калифъ предложилъ Іоанну быть вѣстникомъ его и владѣть полцарствомъ, Іоаннъ отвѣчалъ ему:

Твой щедрый даръ,  
О, государь, пѣвцу не нуженъ;  
Съ иною силою онъ друженъ;  
Въ его груди пылаетъ жаръ,  
Которымъ зажжется созданье;  
Служить Творцу—его призванье...

а въ концѣ этой высокопарной рѣчи, Іоаннъ возлился:

О, отпусти меня, калифъ,  
Дозволь дышать и пить на полѣ!

Я сказалъ уже выше, что приверженцы гр. А. Толстого очень высоко ставятъ это самоотверженіе поэта въ пользу своего поэтического призванія, между тѣмъ какъ порицатели осуждаютъ графа за индифферентизмъ его къ дѣлу служенія и принесенія пользы отечеству. Они показываютъ, какъ это всегда при такомъ случаѣ дѣлается, на примѣръ Англіи, въ которой поэтамъ, ученымъ и философамъ призваніе ихъ нисколько не мѣшаетъ быть въ тоже время государственными людьми, полководцами, банкирами ит.п.

Что касается до меня, то фактъ отказа гр. А. Толстого отъ блестящей карьеры я принимаю совершенно индифферентно, въ такой жестенени индифферентно, какъ если-бы мнѣ сказали, что графъ А. Толстой отказался отъ блестящей партіи или выгодной покупки отличнаго имѣнія, и предложили-бы мнѣ при этомъ рѣшить вопросъ: какое вліяніе на поэтическое творчество графа могли имѣть подобныя его поступки? Другое дѣло, если-бы вопросъ становился на государственную почву, т. е. если-бы дѣло шло о рѣшеніи того, что имѣлъ-ли нравственное право гр. А. Толстой отказываться отъ практическаго служенія отечеству ради исключительнаго пристрастія къ изящнымъ искусствамъ, или чѣмъ могъ быть онъ полезенъ для Россіи: въ качествѣ-ли государственнаго мужа, или поэта? Не знаю ужъ, въ какой степени были бы разрѣшны подобныя вопросы, но, по крайней мѣрѣ, я понимаю ихъ смыслъ и значеніе. Но вѣдь, въ настоящемъ случаѣ, занимаютъ вовсе не нравственные приговоры о томъ, достойно или недостойно, правильно или неправильно направилъ и употребилъ свою жизнь гр. А. Толстой, а опредѣленіе характера его поэтическаго творчества. И вотъ съ

этой точки зрѣнія и я утверждаю, что отказъ графа отъ блестящей карьеры не имѣетъ ровно никакого значенія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вы подумайте только, что могла-бы принести поэтическому творчеству графа самая блестящая карьера? Какой-бы важный постъ онъ ни занялъ и сколько-бы ни принесъ онъ пользы государству на этомъ постѣ, во всякомъ случаѣ, дѣятельность его по общему характеру устройства нашей государственной службы, начиная съ самыхъ низшихъ и до самыхъ высшихъ инстанцій, была-бы крайне однообразна, суха, монотонна, вся состояла-бы изъ подписанія бумагъ, написанныхъ канцелярскимъ слогаемъ, дѣловыхъ разговоровъ съ личностями, причастными къ службѣ, да какихъ-нибудь ревизійныхъ поборокъ, обставленныхъ узкими рамками официалаго декорума. Я не думаю, чтобы подобнаго рода дѣятельность могла-бы служить къ особенному обогащенію поэтическаго творчества поэзии, связаннымъ и связаннымъ впечатлѣніями. Въ жизни графа, какъ это было у насъ издревле, со времени Державина, какъ это и теперь бываетъ зачастую въ жизни служащихъ поэтовъ, было-бы, конечно, непреходимое раздвоеніе: съ одной стороны проза, съ другой поэзія; по утрамъ скучныя и сухія книги предписаній, отношеній, внушеній и распоряженій, а по вечерамъ или ночамъ, въ часы свободнаго досуга, сладкія бесѣды съ музами.

Я не отрицаю, чтобы люди не могли вмѣщать въ себя не нѣсколько призваній и страстей. Поэтому я вполне допускаю, что иной поэтъ можетъ съ такимъ же рвеніемъ и увлеченіемъ по утрамъ заниматься своими служебными обязанностями, съ какими по вечерамъ онъ бряцаетъ на лирѣ. Но мы видѣли, что гр. А. Толстой съ самаго владѣнчества былъ совсѣмъ не такъ воспитанъ, чтобы быть способнымъ вмѣщать въ себя служебный жаръ вмѣстѣ съ поэтическимъ. Мы видѣли, что онъ весь до мозга костей былъ проникнутъ служеніемъ музамъ, только жилъ и дышалъ, что свои волшебными мечтами; все же, что зовутъ серьезными дѣлами, онъ ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно. Понятно, что такимъ образомъ онъ съ дѣтства былъ подготованъ къ отказу отъ всякихъ блестящихъ карьеръ, и отказъ этотъ можно считать какимъ-либо особеннымъ нравственнымъ подвигомъ въ такой же степени, въ какой съ вашей стороны было-бы достойно удивленія, что, будучи музыкантомъ, вы не пошли-бы въ моряки.

Если гр. А. Толстой въ сущности ровно ничего не потерялъ для развитія своего поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что отказался отъ обязанности посвящать нѣсколько часовъ дня занятіямъ, не имѣющимъ ничего общаго съ его поэтическою дѣятельностью, то другой вопросъ: приобрѣлъ-ли онъ что либо своимъ отказомъ? принесло-ли какую-нибудь пользу его творчеству исключительное посвященіе всего своего времени служенію музамъ? На первый поверхностный взглядъ казалось бы, что какъ же не принести пользы: чего же лучше, когда человѣкъ весь сосредоточивается на одномъ какомъ-нибудь дѣлѣ, всего себя отдаетъ ему, ничѣмъ не развлекается постороннимъ? При такихъ только условіяхъ, конечно, дѣло и можетъ быть совершенно вполне

успѣшно и принести наиболѣе плодовъ. Такъ-то оно такъ, да не всегда только бываетъ такъ. Вотъ тутъ-то именно и раскрывается передъ нами все необъятное различіе искусства отъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. Другое совсѣмъ дѣло — ученый, философъ, медикъ, инженеръ и пр., и пр. Тѣ, конечно, чѣмъ болѣе сосредоточиваются въ своихъ занятіяхъ и чѣмъ болѣе посвящаютъ имъ времени, тѣмъ дѣло у нихъ идетъ усѣбнѣе. Искусство же — совершенно наоборотъ: требуетъ какъ можно большаго разнообразія жизни. Чѣмъ болѣе поэтъ сталкивается съ разнохарактерными явленіями дѣятельности, чѣмъ болѣе силъ онъ выносить всевозможныхъ испытаній и тревоженій, тѣмъ болѣе массою живыхъ впечатлѣній обогащается его творчество и тѣмъ живѣе, разностороннѣе и могуче становится оно. Вы посмотрите на большинство первостепенныхъ поэтовъ всѣхъ странъ; возьмите во вниманіе жизнь Шекспира, Сервантеса, Мольера, Байрона, Гейне, Шиллера, Гете, Жюль-Занда, Виктора Гюго, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и пр. и пр. Биографія всѣхъ этихъ поэтовъ отличаются крайнею пестротой внѣшнихъ событій ихъ жизни. Это вовсе не кабинетные затворники, всю жизнь проведеніе въ созерцаніи прекрасныхъ образовъ и дорожащіе каждою минутою, потерянною для служенія музѣ, а напротивъ того — вѣчные скитальцы, которые сегодня не знаютъ, гдѣ будутъ завтра, искатели приключеній, изгнанники, страстныя натуры, которые, подобно, какъ мотыльки на огонь, бросаются постоянно стремглавъ въ самый что ни есть бурный водоворотъ жизни. Если вы начнете слѣдить за событіями ихъ жизни, за тѣмъ, что ихъ занимало, интересовало, увлекало, начнете перечитывать массу ихъ писемъ или дневниковъ, то вы совершенно подчасъ забудете, что передъ вами поэты, или придете къ заключенію, что искусство занимало въ ихъ жизни самое ничтожное мѣсто, стояло на какомъ заднемъ планѣ. Пушкинъ былъ совершенно правъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погружонъ,  
Молчитъ его святая лира,  
Душа вѣшаетъ хладный сонъ,  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,  
Быть можетъ, всѣхъ ничтожѣй онъ.

Къ этой формулѣ отношенія жизни поэта къ его творчеству нужно развѣ присоединить только то, что, когда поэтъ малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта, когда межъ всѣхъ дѣтей ничтожныхъ міра онъ всѣхъ ничтожѣе, эти моменты и представляются самыми роковыми для развитія его творчества. Въ эти моменты именно творчество его и обогащается новыми, живыми образами, развивается, растетъ. Самая-же жертва поэта Аполлону — это уже больше ничего, какъ заключительный актъ изверженія накопившагося матеріала, конечный результатъ всего, что вынесъ поэтъ во время своего погруженія въ заботы суетнаго свѣта.

И вотъ, если мы, принявши въ расчетъ это важное условіе для развитія творчества, обратимся къ прозведеніямъ графа А. Толстаго въ связи съ его

жизнью, мы тотчас и увидимъ, чего ему не доставало. Окажется, что не отсутствіе служебной карьеры мѣшало полному развитію его творчества, а недостатокъ разнообразія впечатлѣній и личныхъ опытовъ. Жизнь его и безъ того уже сдвинута была въ узкую колею великосвѣтскаго круга, а онъ еще болѣе сужилъ ее, посвящая большую часть времени замкнутому созерцанію прекрасныхъ образовъ искусствъ всѣхъ странъ и временъ. Теперь вы подумайте: какого рода поэтъ могли выработать подобныя условія? И раньше даже заглядывая въ его произведенія, однимъ логическимъ выводомъ а priori можно рѣшить этотъ вопросъ. Творчество поэта можетъ давать вамъ только то, что получаетъ. Если-же мы видимъ, что оно по большей части возбуждается вовсе не какими-либо непосредственными впечатлѣніями жизни, а отраженіями чуждыхъ впечатлѣній въ различныхъ произведеніяхъ искусства, такое творчество, очевидно, должно быть лишено всякой оригинальности и самобытности; оно должно непрерывно измѣняться, какъ хамелеонъ, смотря потому, какіе поэты припирали его въ ту или другую минуту. Произведенія поэта подобнаго типа должны представляться калейдоскопомъ, варьирующимъ на тысячу ладовъ образы, мотивы, метафоры и фигуры поэтовъ всѣхъ странъ и временъ, но въ калейдоскопѣ этомъ въ то же время вы не найдете ни одного камешка или стеклышка, которые представлялись бы самостоятельными, особеннымъ вкладомъ самого поэта. Это—чуждое растение, которое способно оказывается питаться сокомъ какого угодно дерева, но только не дожлетесь вы отъ него ни росинки его собственного сока. Да и странно было бы ожидать и требовать того, чего оно дать не въ силахъ, потому что у него нѣтъ почвы подъ ногами, да кромѣ того нѣтъ и корней, которыми оно могло бы утвердиться въ какой-либо почвѣ.

Наша литература, особенно предшхихъ, до-тогoleвскихъ временъ, когда она сосредоточивалась исключительно почти въ великосвѣтскихъ слояхъ общества и когда любителямъ изящнаго было особенно удобно и ничто не мѣшало вести замкнутую жизнь созерцанія прекрасныхъ образовъ искусства различныхъ странъ и эпохъ, была обильна поэтами подобнаго чуждого типа. Мы видимъ, что даже и Пушкинъ славился способностью принимать на себя личины какихъ угодно западныхъ поэтовъ: то онъ корчилъ изъ себя Шенье, то Байрона, то Гете, то Данта и пр., и пр. Но онъ жилъ слишкомъ разнообразно и бурною жизнью, и судьба слишкомъ мѣшала ему сосредоточиваться въ кабинетной художественной созерцательности, чтобы изъ него могъ выработаться исключительно типъ чуждого творчества. Вслѣдствіе этого, творчество его, обогащенное массою живыхъ и непосредственныхъ впечатлѣній, особенно въ эпоху скитальчества по югу Россіи и затѣмъ жительство въ деревнѣ, создало массу произведеній вполне самобытныхъ, заключающихъ въ себѣ образы и мотивы, принадлежащіе исключительно Пушкину и никакому иному поэту во всея мірѣ. Наиболѣе же полнымъ и совершеннымъ представителемъ чуждого творчества, сопряченнымъ даже къ лику классическихъ писателей литературы, былъ, безъ сомнѣнія, Жуковский, творчество котора-

го только тогда и возбуждалось во всей своей силѣ, когда онъ переводилъ иностранныхъ поэтовъ или подражалъ имъ. Когда же онъ пытался быть самимъ собою, не Шиллеромъ, не Гете, не Гомеромъ, не Уландомъ или Гебелемъ, а только Жуковскимъ, изъ подъ его пера выливалось нѣчто безцвѣтно-тягучее и риторно-слащавое, сентиментально-плаксивое, риторичное, растянутае и въ настоящее время совсѣмъ уже неудобочитаемое; однимъ словомъ, нѣчто подобно тѣмъ паточнымъ громовымъ леденцамъ изъ нелюбимой лавки, которые мы могли сосать въ дѣтствѣ, но на которые въ настоящее время не можемъ безъ ужаса смотреть.

Графъ А. Толстой представляется именно такого рода поэтомъ, и его, по всей справедливости, можно назвать Жуковскимъ нашего времени, въ чемъ можетъ убѣдить насъ вполне анализъ его произведеній, къ которому мы теперь и приступаемъ.

Прежде всего, скажемъ нѣсколько словъ о его тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, чтобы сразу порѣшить съ небольшимъ серіемъ этихъ произведеній, совершенно не свойственныхъ его таланту, и затѣмъ приступить къ такимъ, которыя вполне выражаютъ собою характеръ его творчества.

Общее мнѣніе о графѣ А. Толстомъ въ этомъ отношеніи еще задолго до его смерти утвердилось такое, что графъ А. Толстой не отличался особенною последовательностью и стойкостью относительно гражданскаго направленія своей лиры, что рядомъ съ весьма либеральными стихотвореніями вы найдете у него и такія, которыя вполне согласуются съ тенденціями «Русскаго Вѣстника»; найдете и въ славянофильскомъ духѣ, хотя по характеру всей его поэтической дѣятельности, графа А. Толстого никакъ нельзя назвать славянофиломъ. Однимъ словомъ, въ продолженіи своей жизни, графъ успѣлъ раздать вслѣдъ себѣ по серьгамъ, но ни съ одной сестрой близко не сошелся и не вступилъ въ законный бракъ. Ну и опять-таки одни при этомъ качаютъ головой, приписывая политическую непоследовательность графа его недоразвитости, недодуманности, а другіе превозносить его, видя въ этомъ же самомъ художественно-философское безпристрастіе поэта, парящаго свое творческое фантазіею выше всѣхъ условныхъ и преходящихъ тенденцій дня. Самъ графъ А. Толстой объясняетъ свой политическій индифферентизмъ въ небольшомъ стихотвореніи слѣдующаго содержанія:

Дружъ станомъ не боимъ, но только гость случайный,

За правду я бы раль поднять мой добрый мечъ,  
По споръ съ обонимъ—досель мой яробой тайный,  
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;  
Союза полнаго не будетъ между нами—

Не купленный ничѣмъ, нохъ чье-бъ ни сталъ я знамя,

Пристрастной ревности друзей не въ силахъ смести,  
Я знамени врага отетавалъ бы честь.

Не правда ли, какъ это темно, неопредѣленно и въ тоже время поверхностно и легкомысленно? Видно, что графъ А. Толстой совершенно не постигалъ, что значить быть привязанъ къ той или другой партіи, къ тому или другому дѣлу органическому, естественно-свободному связью святыхъ убѣжденій, сросшихся съ

человѣкомъ. Онъ понималъ не иначе, какъ вѣбннюю связь въ видѣ какой-то клятвы, къ которой нужно быть привлечену со стороны. А ниже еще курьезнѣе: оказывается, что для того, чтобы твердо стоять за своихъ и не отстаивать чести знамени врага, т. е. не быть изиѣнникомъ, нужно быть непремѣнно куплен-нымъ, а такъ какъ графа А. Толстого никто не позаботился купить, то... то, я полагаю, что гр. А. Толстой до конца дней своихъ не догадался, какую возмутительностью онъ нечаянно обмолвился. Я говорю „нечаянно“, потому что никакимъ способомъ не могу допустить, чтобы графъ А. Толстой сознательно могъ обнаружить подобную душевную низость и чтобы на самомъ дѣлѣ онъ былъ присущъ ей. Нечаянность этой обмолвки произошла, по моему мнѣнью, ни изъ чего иного, какъ, именно, изъ того, что графъ никогда и не задумывался о томъ серьезно: что значить органически, душою и тѣломъ принадлежать къ какому-нибудь лагерю? А не задумывался онъ потому, что не было никакихъ побудительныхъ поводовъ, вовсе не для чего было задумываться ему объ этомъ. Принадлежность къ какому-либо лагерю ему, съ дѣтства и до сѣдѣхъ волосъ погруженному въ мѣръ волшебныхъ, поэтическихъ грезъ, была совершенно въ такой же степени излишня, какъ и блестящая карьера. При его замкнутой жизни, до него могли долетать изрѣдка кое-какіе неопредѣленные отголоски шума и гала современной жизни и, когда ему приходило въ голову отражать эти звуки въ своихъ мѣсновѣннихъ, они выходили у него въ той же безсвязности, въ какой доносились до его ушей. И если вы внимательно прочтаете любое изъ подобныхъ произведеній, то вы увидите, что въ каждомъ изъ нихъ главную сущность составляетъ не столько выраженная идея, сколько вѣбнняя художественность или игривость поэтического образа, причемъ поэтический образъ до такой степени всегда владѣетъ художникомъ, что влечетъ его крору въ такія дебри, въ которыя онъ вовсе и не подумалъ бы самъ по себѣ забираться, еслибы его не завела туда безотчетно художественная фантазія. Такъ, напримеръ, возьмите хотя бы его „Пантелея“, который въ свое время произвелъ большую сенсацию. Нѣкоторые напали на него не только за тенденціозность въ московскомъ духѣ, но и за то, что графъ будто бы вздумалъ проповѣдывать тѣлесное наказаніе, побуждая своего Пантелея-дѣблителя не жалѣть палки суковатая на людей.

Что леченіемъ великимъ гнушаются,  
Они звона не терпятъ гусярнаго,  
Подавай имъ товара базарнаго!  
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣрять,  
Все, кричать они, похоронятъ!  
Только-то, говорятъ, и дѣйствительно,  
Что для нашего тѣла чувствительно;  
И приемы у нихъ дубоватые,  
И ученье-то ихъ грязноватое!

Во мнѣ, по крайней мѣрѣ, стихотвореніе это возбуждало одну снисходительную улыбку. Чѣмъ же, подумавъ я, виновать мечтательный графъ, что въ его поэтическія заоблачныя сферы буйный вѣтеръ занесъ глупые слухи о томъ, что есть какіе-то ехидные люди, которые бѣгаютъ отъ докторовъ и отъ гусярнаго звона, рыскаютъ по базарамъ и что-то тамъ все

покупаютъ?.. Что же касается суковатой палки Пантелея, то что же было дѣлать графу, если его поэтической фантазіи приснился св. Пантелей-дѣблитель, грозный суковатая палкою. Какое же иное отношеніе къ ехиднымъ людямъ со стороны Пантелея могъ придумать гр. Толстой согласно этому представленію, какъ не въ видѣ угрозы палкою? Очевидно, что тутъ вовсе и тѣмъ нѣтъ со стороны поэта какой-либо сознательно-злобной пропаганды чего-либо въ родѣ шницрутеневъ, а просто-по-просту — игривость поэтического образа, завлекшая поэта въ дикія дебри. Не жаль курьезна и баллада „Потоки-богатырь“, въ которой шаловливая фантазія поэта вздумала заставить „Потока“ вадѣть во свѣ всю русскую исторію во всѣхъ ея періодахъ и, въ концѣ-концовъ, очутиться въ анатомическомъ кабинетѣ медико-хирургической академіи и тамъ прійти вдругъ въ неописанный ужасъ, что стриженныя женщины препарируютъ трупы:

Ужаснулся Потокъ, отъ красавицъ бѣжить,  
А онѣ воевнчаютъ ехидно:

—Ахъ, какой онъ пошлякъ! ахъ, какъ онъ не развитъ!

Современности вовсе не видно!

Но Потокъ говоритъ, очутивъ на дворѣ:

—То-жъ бывало у насъ и на Лысой Горѣ,

Только вѣдьмы, хоть голы и босы,

Но, по крайности, есть у нихъ кося!

Что это такое, какъ опять-таки не дикія дебри, въ которыя завлекла нашего поэта досужная фантазія? Вѣдь вы подумайте только о всей курьезности вымысла: заставить вдругъ современника Владимира Святого присутствовать въ анатомическомъ музеѣ XIX столѣтія! Что-жъ удивительнаго, что подобный архангелскій герой, покрытый ржавчиной десяти вѣковъ, не только долженъ прійти въ ужасъ при видѣ вскрываемыхъ труповъ, но просто не понять, что такое вокругъ него дѣлается. Но удивительно то, что, создавъ подобную нелѣпную фантазмагорію, поэтъ воображаетъ, что онъ жестоко поражаетъ устами Потока ненавистную ему современность, не замѣчая, что онъ больше ничего, какъ только самъ принижается до уровня пошлѣйшей временъ X столѣтія. Спрашивается теперь: неужели слѣдуетъ смотрѣть на подобныя вещи, какъ на нѣчто серьезное, какъ на что-то продуманное и прочувствованное, какъ на ядовитыя стрѣлы, которыя кого-либо могутъ поразить, а не какъ на мыльные пузыри, главная сущность которыхъ состоитъ вовсе не въ томъ, что въ нихъ заключается, а единственно въ разноцвѣтныхъ отраженіяхъ снаружи? И замѣтите, что подобною газантерейностью отличаются вовсе не одни только тенденціозныя произведенія, преслѣдующія ехидныхъ людей, что

Звона не терпятъ гусярнаго,  
Подавай имъ товара базарнаго...

Нѣтъ, возьмите вы стихотворенія, посвященныя совсѣмъ инымъ тенденціямъ, и въ нихъ вы найдете ту же бѣдность содержанія и преобладаніе вѣбннейшей игривости фантазіи или формы. Обратите вниманіе, напримеръ, на стихотвореніе

Государь ты нашъ батюшка,  
Государь Петръ Алексѣевичъ.

Стихотворение это, напечатанное въ „Днѣ“, въ свое время произвело не малую сенсацію, благодаря, конечно, тому, что это былъ первый мало-мальски политическій намекъ, допущенный въ литературу. Но что это такое въ сущности, какъ не самое общее, намозолившее всѣмъ глаза славянофильское мѣсто о непригодности реформъ Петра, выраженное въ граціозно-игривыхъ и шутивыхъ виршахъ? Неужели и это стихотворение можно принимать въ серьезъ, какъ выражение зрѣлой, глубокой и серьезной идеи? Меня, по крайней мѣрѣ, эта шутка занимала всегда только со стороны ея формы, и при этомъ я никакъ не могу отрѣшиться отъ мысли, что оно словно нарочно написано для дѣтей четырехъ и пятилѣтнихъ, едва начинающихъ лепетать. По крайней мѣрѣ, сколько мнѣ ни приходилось слышать его, никогда оно не казалось мнѣ столь прелестнымъ, какъ въ устахъ ребенка, декламирующаго:

Государь ты нашъ батюшка,  
Государь Пётръ Алексѣевичъ,  
Что ты изволилъ въ котлѣ варить?  
Касицу, матушка, касицу,  
Касицу, судачиня, касицу и проч.

При всемъ этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вамъ вотъ еще на какое, весьма, по моему, замѣчательное и характеристическое обстоятельство: замѣтите, что единственно серьезное, сильное, прочувствованное, тенденціозное стихотворение, о которомъ вы не скажете, что содержаніе въ немъ — дѣло второстепенное, а главная суть заключается въ затѣйливомъ образѣ — это стихотворение, носящее заглавіе „Противъ течения“:

\* \* \*

Други, вы слышите-ль крикъ оглушительный:  
«Сдайтесь, пѣвцы и художники! Кетати-ли  
«Вамъ умы ваши въ нашъ вѣкъ положительный?  
«Много-ли васъ остается, мечтатели?  
«Сдайтеся натиску новаго времени!  
«Миръ отрезвился, прошли увлеченія—  
«Гдѣ-жъ устоятъ намъ, отжилому племени,  
«Противъ течения?»

\* \* \*

Други, не вѣрите! Все та-же одинакъ  
Сила насъ манить къ себѣ неизвѣстная,  
Та-же плѣнить насъ пѣнь еоловиная,  
Та-же насъ радуютъ звѣзды небесныя!  
Правда все та-же! Средь мрака ненастного,  
Вѣрите чудесной звѣздѣ вдохновенія,  
Дружно гребите, во имя прекраснаго,  
Противъ течения! и проч.

Очень понятно, откуда взялась сила и прочувствованность этого стихотворения. Во всѣхъ прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ дѣло шло о вещахъ, совершенно постороннихъ для поэта, до которыхъ ему въ сущности не было рѣшительно никакого дѣла и насчетъ которыхъ онъ не считалъ интереснымъ и нужнымъ особенно много задумываться. Здѣсь-же совершенно наоборотъ: онъ задѣтъ за живое; дѣло идетъ здѣсь о томъ, что исключительно составляло все содержаніе его жизни — обь искусство. И вотъ въ немъ подымается борецъ отчаянно отстаивающій свое единственное достоинство. Вы видите въ этомъ стихотвореніи того самаго 14-лѣтняго мальчика, который когда-то оберегалъ купленнаго дадею фавна отъ мнимаго пожара. Удивительную цѣльность характера

представляетъ въ этомъ отношеніи графъ А. Толстой. Рѣдко въ комъ вы встрѣтите такую строгую последовательность, проходящую черезъ всю жизнь, съ самаго ранняго дѣтства и до могилы. Разъ посвятивши всю жизнь, всѣ свои помысленія искусству и до гробовой доски не измѣняя своему самоотверженному служенію, несмотря ни на какія пренятствія или соблазны, понятно, что онъ только и могъ проникнуться единственнымъ общественнымъ интересомъ вполне искренно, живо и горячо при видѣ враговъ предвѣдѣ его пламеннаго поклоненія; только эти враги и могли быть его врагами, только они и были способны вывести его изъ себя. Замѣтите, что и во всѣхъ почти прочихъ тенденціозныхъ стихотвореніяхъ, о чѣмъ-бы въ нихъ ни шла рѣчь, онъ не упускалъ случая прокричать лишній разъ караулъ противъ державенныхъ покушеній на гуслирный звонъ.

И не зная-ли прони судьбы, что самые пламенные и самоотверженные любовники рѣдко бывають, въ то-же время, счастливыми любовниками? Вспомните душевныя муки Сальери при горькомъ сознаніи, что

Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,  
Когда бессмертный гений — не въ награду  
Любви горящей, самоотверженья,  
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,  
А озаряетъ голову безумца,  
Гуляки празднаго?..

Точно также и графу А. Толстому за все его пламенное и самоотверженное поклоненіе искусству, за всѣ его труды, усердіе и моленія злая прони судьбы не дала въ награду такого достоинства, какое одно только и составляетъ всю гордость и почетъ поэта: не дала ему никакой собственной поэтической филономіи и не внушила ему ни одного вполне самостоятельнаго произведенія. И такая злая насмѣшка судьбы была не однимъ слѣпымъ фатазмомъ. Напротивъ тому, именно излишнее посвященіе всей жизни художественной созерцательности и было, какъ выше уже обь этомъ я говорилъ, главною причиною этой бѣды.

Въ самомъ дѣлѣ, оставивъ въ сторонѣ вопросъ о тенденціозности, о внутреннемъ содержаніи стихотвореній гр. А. Толстого, будемъ разсматривать ихъ съ одной чисто художественной стороны. Въдѣ стихотвореній, написанныхъ безо всякой какой-либо философской или политической цѣли, вполне въ духѣ чистаго искусства, самыя невиннѣйшія по своему содержанію, могутъ, тѣмъ не менѣе, быть вполне самостоятельными, носить незагладную печать народности, эпохи и личной индивидуальности поэта. Вы возьмите, напримеръ, массу лучшихъ стихотвореній Пушкина, ну, хоть его балладу „Вѣсъ“, или стихотворение

Свѣозъ волнистые туманы  
Пробирается луна...

Стихотворенія эти только и могъ написать, что русский поэтъ и притомъ русский поэтъ, жившій въ эпоху Пушкина, когда не существовало еще въ Россіи желѣзныхъ дорогъ, и очевидно, поэтъ тотъ, чтобы написать подобныя стихотворенія, долженъ былъ порядкомъ побѣздить по российскимъ дорогамъ того времени, и притомъ побѣздить не въ какихъ-либо заграничныхъ рессорныхъ экипажахъ, лежа на мягкихъ подушкахъ и летя на курьерскихъ, а на перекладныхъ и въ дол-



ихъ, въ простыхъ имѣнникыхъ тѣлѣгахъ—испытать, одишь словомъ, всѣ невзгоды и всю скуку старинной русской дороги. Будетъ этихъ русскихъ дорожныхъ впечатлѣній и составлять всю прелесть, все обаяніе этихъ стихотвореній и всю ихъ самобытность. Или возьмемъ вы, напримеръ, „Завѣщаніе“ Лермонтова. Это невиннѣйшее по своему содержанію, отличающееся крайнею простотою и незатѣйливостію, но въ то же время глубоко трогательное стихотвореніе, способное вызвать въ много читателей слезу, отличается въ то же время самою рѣзкою самобытностію. Написать его могъ, очевидно, только русскій писатель, и притомъ только такой русскій писатель, который потолкался на Кавказѣ, подобно Лермонтову, не просто только путешествовать опять-таки въ комфортабельной дормезѣ, любясь изъ оконъ экипажа на живописныя картины, но именно потолкался и своими глазами видѣлъ и почувствовалъ, какъ умираетъ запертый судьбою въ кавказскихъ горахъ, простой и беззащитный русскій армейскій офицерикъ. Возьмемъ, наконецъ, Некрасова, и я нарочно указываю въ настоящемъ случаѣ на этого поэта, имѣя въ виду, что въ нѣкоторыхъ литературныхъ лагеряхъ утвердилось мнѣніе, будто поэтъ этотъ превозносится исключительно только за тенденціозность его стихотвореній въ современномъ духѣ. Пѣтъ, я вамъ укажу на такое стихотвореніе его, въ которомъ пѣтъ ни малѣйшей доли какой-либо тенденціозности. Вотъ, напримеръ, прочтите его „Вурю“:

Долго не сдалася Любушка соседка;  
Наконецъ менула: есть въ саду босидка...

Стихотвореніе это выражаетъ ничего болѣе, какъ только торжество любовника, къ которому явились на свиданіе, несмотря на дождь и бурю, и который изъ этого убѣждается въ силѣ любви къ нему женщины—такая самая безобидная для какого угодно литературнаго лагеря и притомъ самая общечеловѣческая для всѣхъ временъ и странъ. И Гейне, и Байрону, и Гете, и Шенье, и какому-нибудь средневѣковому провансальскому труверу, и автору „Пѣснь пѣселей“ могло прійти въ голову написать стихотвореніе на подобную-же тему; можете быть, даже въ западныхъ литературахъ вы и найдете нѣчто подобное. Но при всей общности темы, стихотвореніе Некрасова отличается, тѣмъ не менѣе, самою яркою и полною самобытностію. Отъ него такъ и вѣетъ свѣжизнью букетомъ жизни, и притомъ не какой-нибудь иной, какъ именно русской жизни. У иностраннаго поэта, навѣрное, та-же самая тема будетъ пѣтъ совершенно свое выраженіе, представитъ вамъ иной букетъ; стихотвореніе-же Некрасова могъ написать только русскій поэтъ, и изъ современныхъ русскихъ поэтовъ—только Некрасовъ.

Но зачѣмъ брать такихъ первостепенныхъ поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, когда и у Фета, и у Тютчева, и даже у Ап. Майкова вы найдете стихотворенія, отвлеченныя печатью жизни и самобытности?

Но найдите мнѣ хоть одно такое стихотвореніе у графа А. Толстого, одолѣвши которое, вы почувствовали-бы, что прочли нѣчто совершенно новое и не-

бывалое еще ни въ иностранной, ни въ русской литературѣ, нѣчто неотъемлемо принадлежащее графу А. Толстому. Напротивъ того: что ни примется читать, такъ сейчасъ-же на васъ и повѣетъ чѣмъ-нибудь давно уже знакомымъ вамъ и читаннымъ гдѣ-то прежде; нѣкоторыя-же произведенія носятъ на себѣ самую явную печать тѣхъ или другихъ западно-европейскихъ или русскихъ писателей. Такъ, напримеръ, найдете вы и произведенія, очевидно, навѣяныя Лермонтовымъ („Вотъ ужъ сибѣ послѣдній въ полѣ таетъ“, „Вѣ совѣти искалъ и долго обвиненъ“, „Въ странѣ лучей, незримой нашимъ взорамъ“, „Горными тихо летѣла душа небесами“); нѣкоторыя напомнятъ вамъ Гейне („Звѣя, что по скаламъ влечешь свои извивы“ и многіе Крымскіе очерки, какъ, напримеръ: „Вы все любуетесь на скалы“ или „Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты“). Драматическая поэма „Донъ-Жуанъ“, очевидно, внушена изученіемъ Фауста Гете, а „Драконъ“, итальянскій рассказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данта и проч., и проч.

Въ возраженіе на это, вы имѣ, конечно, укажете на цѣлую массу стихотвореній гр. А. Толстого, написанныхъ въ народномъ духѣ и даже раздѣрами народныхъ пѣсней, въ родѣ „Ходитъ свѣсъ надуваючися“, „Кабы знала я, кабы вѣдала“, „Колокольчики мои, цвѣтики степные“, „Не Возникъ грозою горе ударило“, цѣлый рядъ, наконецъ, былинъ и балладъ изъ русской исторіи и пр., и пр.

Ну, что-жъ такое, что стихотворенія эти написаны въ духѣ народныхъ пѣсней и даже ихъ раздѣрами, что нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ очень искусную и удачную поддѣлку подъ нихъ?—это несколько еще не говоритъ въ пользу ихъ самобытности. Истинно самобытнымъ можетъ быть названо только такое произведеніе, которое создается подъ вліяніемъ непосредственныхъ впечатлѣній жизни; создавая его, поэтъ вовсе не думаетъ о томъ, чтобы произведеніе было написано въ народномъ духѣ, а стремится только выразить то, что наполняетъ его душу. Оно можетъ быть совершенно не похоже ни на одну народную пѣсню, ни по содержанію, ни по формѣ, представлять изъ себя нѣчто совершенно новое и небывалое, написанное совершенно особеннымъ раздѣромъ, только-что изобрѣтеннымъ самимъ авторомъ, и тѣмъ не менѣе, быть вполне народно-самобытнымъ. Однимъ словомъ, въ подобнаго рода произведеніяхъ вы видите не одну только племенную самобытность, но и выраженіе индивидуальности поэта. Писать-же стихотворенія въ народномъ духѣ, въ родѣ тѣхъ, какія писалъ гр. А. Толстой—это совсѣмъ другое дѣло. Для этого вовсе не нужно жить непосредственно народною жизнью и притомъ бойкою, горячею жизнью, впитывать въ себя всѣми порами своего существованія народныя радости и народныя страданія, а напротивъ того, совершенно достаточно, не выходя изъ кабинета, изучить нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣсней, начиная съ Кириши-Данилова и Сахарова и кончая сборниками Кирѣевскаго, Рыбникова и Худякова.

Такимъ образомъ, стихотворенія гр. А. Толстого, о которыхъ мы говоримъ, представляютъ продуктъ все

того же самаго отвлеченнаго, кабинетнаго творчества, которое я называю чужеднымъ. Писать такимъ образомъ можно въ духѣ какой угодно народности, совершенно безотносительно, къ какому народу принадлежитъ самъ авторъ. И я не понимаю, чѣмъ могутъ отличаться, по процессу созданія, стихотворенія гр. А. Толстого въ духѣ русской народности отъ стихотвореній того же автора въ духѣ народности итальянской XII столѣтія, въ родѣ „Дракона“, отъ стихотвореній въ духѣ народности шотландской, въ родѣ баллады „Эдвардъ“, отъ пѣсенъ въ духѣ народности южныхъ славянъ Пушкина, отъ испанскихъ, греческихъ, еврейскихъ и т. п. мотивовъ Щербинны или Вс. Крестовскаго. Во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ вы и слѣда не найдете искреннаго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ, того, что составляетъ всю прелесть и всю силу истинной и вполнѣ естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усилиями кропотливой художественной отдѣлки, мучительными потѣбными надъ инымъ неукладывающимся въ размѣръ стихомъ или медащейся римой.

Особенно эти замѣчанія слѣдуютъ отнести къ былинамъ гр. А. Толстого, въ родѣ Алеша Поповича, Ильи Муромца, Садко, Змѣя Тугарина и пр. Я не буду ужь распространяться много о всей эфемерной галантерейности этихъ произведеній гр. А. Толстого, о крайней праздности кабинетной фантазіи, услаждавшей поэтическіе досуги тѣмъ, чтобы заставить Садко лишній разъ проплясать передъ морскимъ царемъ, Алешу пройтись по Дибѣру въ лодочкѣ съ похищенной красотой или Илью Муромца отпустить еще нѣсколько руганя противъ Владиміра и кіевскихъ порядковъ. Но и со стороны мнимой народности этихъ произведеній графа, и спрашиваю у васъ: скажите, чѣмъ отличается эта вычитанная изъ сборниковъ пѣсенъ народность отъ народности тѣхъ чугуныхъ или фарфоровыхъ прессъ-панъ, которые изображаютъ русскаго мужика, ѣдущаго на саняхъ въ тѣсѣ за дровами, бабѣ, прядущую ленъ, или подгуляваго крестьянина, ведомаго домой подъ ручку озабоченной и раздраженной сурругой? Подобныя статузки могутъ быть вполнѣ правильны, типичны, даже изящны, могутъ служить прекрасными украшениями для вашего письменнаго стола; но кому же придется въ голову при созерцаніи ихъ подымать вдругъ какіе-нибудь серьезные эстетическіе вопросы и вообразить, что творцовъ ихъ можно назвать самобытными художниками, внесшими какой бы то ни было свой собственный вкладъ въ русское искусство? А вѣдь они съ немалымъ, пожалуй, успѣхомъ, чѣмъ и гр. А. Толстой, могли бы изобразить вамъ и Алешу Поповича, услаждающаго гуслирнымъ звономъ похищенную красавицу, и пляшущаго Садко, и Илью Муромца, ѣдущаго на конѣ съ мрачнымъ и насупленнымъ видомъ.

Какъ бы то ни было, а стихотворенія гр. А. Толстого, написанныя разными поэтами или написанныя въ духѣ различныхъ народностей, можно считать все-таки лучшими и наиболѣе удачными. Отъ нихъ вѣетъ, по крайней мѣрѣ, духомъ той поэзіи, которая вдохновляла графа и подъ влияніемъ которой онъ

создавалъ. Что-же касается до вполнѣ самостоятельныхъ произведеній его, въ которыхъ онъ является передъ нами только графомъ А. Толстымъ и нигдѣ болѣе, то всѣ они столь-же безхарактерны и слабы, какъ и подобныя же имъ самостоятельныя произведенія Жуковскаго. Между прочимъ, слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое весьма характеристическое явленіе. Графъ А. Толстой, какъ это видно изъ многихъ мѣстъ его автобіографіи, былъ большой любитель природы. Мы видѣли, съ какимъ паросомъ отзывался онъ о влияніи на него малороссійской природы, среди которой онъ провелъ всю свою жизнь. Въ другомъ мѣстѣ своей автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить цѣлыя недѣли въ тѣсѣхъ, иногда съ товарищами, но обыкновенно въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзіи его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ, графъ очень часто обращается къ природѣ и отличается не малою щедростью въ описаніяхъ ея красоты. Но замѣчательно, что всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая эти описанія, вы не чувствуете и тѣни того обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ, не говоря уже о Пушкинѣ, Лермонтовѣ или Гоголѣ, но даже описанія С. Аксакова или Тургенева. Гдѣ ужь тутъ толковать о воспроизведеніи впечатлѣній, внушаемыхъ природою, когда изъ описаній гр. А. Толстого вы не въ силахъ обыкновенно представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами вовсе не живыя, художественныя картины, а простой перечень предметовъ въ разсыпную, при чемъ воображенію вашему, если оно живо и богато, предоставляется самому слагать эти предметы во что-нибудь дѣльное и связанное. Такъ, напримѣръ, казалось бы, что ужь какой-нибудь природѣ, какъ не малороссійской слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, особенно если мы придемъ во вниманіе, что онъ все дѣйство провелъ среди нея и съ какимъ восторгомъ говорить онъ о ея влияніи на него. А между тѣмъ, это-то именно влияніе вы и не найдете въ его стихотвореніяхъ, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, и только развѣ пробавалъ черезъ нее и видѣлъ ее мелькомъ. Не говоря уже о Гоголѣ, даже различные второстепенные малороссійскіе писатели, въ родѣ Гребенки или Марко-Вовчка, даютъ вамъ гораздо болѣе ясное и опредѣленное представленіе малороссійской природы въ ея характеристическихъ особенностяхъ, чѣмъ описанія гр. А. Толстого. Вы прочтете, напримѣръ, стихотвореніе, специально посвященное воспѣванію малороссійскаго края „Ты знаешь край“. Что здѣсь воспѣвается не что либо иное, какъ Малороссія, можно судить только потому, что упоминаются въ разныхъ мѣстахъ названія, относящіяся

въ этой странѣ, въ родѣ парубковъ, Маруси, Грицко, Чубовъ, казачекъ, или историческія имена въ родѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что же касается колорита и характеристическихъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ самыхъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, когудихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтою съ Малороссіей. Вотъ для примѣра отрывки изъ этого стихотворенія:

*Ты знаешь край, гдѣ все обильно дышетъ,  
Гдѣ рѣки млеютъ чище серебра,  
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колыхаетъ,  
Въ вишневыхъ рощахъ тонуть хутора,  
Среди садовъ деревья шумятъ долу,  
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый?  
Шумъ тростника надъ озеромъ трепещетъ,  
И чистъ, и тихъ, и ясенъ сводъ небесъ,  
Косарь идетъ, коса звенитъ и блестятъ,  
Вдоль берега стоитъ кудравый лесъ,  
И въ облакахъ, клубясь надъ водою,  
Блещитъ дымокъ сивомошей струею?*

Какъ ты думаешь, читатель, знаешь ты такой край? Что это такое? Венгрія, Богемія, Силезія, а, можетъ быть, и Нормандія или Пикардія? Въдѣ во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ могутъ существовать всѣ признаки, означенные въ приведенныхъ нами стихахъ: и обилье, и рѣки чище серебра, и деревья, глущіяся долу отъ тяжести плодовъ, и трепещущій надъ озеромъ тростникъ, и ясный, тихій и чистый сводъ небесъ, не говоря ужъ о кудравомъ лесѣ вдоль берега и дымкѣ, клубящейся надъ водою. Все, что напечатано курсивомъ въ приведенномъ отрывкѣ, составляется самая банальная общія мѣста, не курсивомъ же напечатано всего два стиха, но въдѣ и въ нихъ собственно малороссійскаго только и есть, что одно слово — хуторъ. Или вотъ важъ другой отрывокъ, который и нѣтъ полное право совершенно преобразить въ картину тирольскаго селенія, переимѣнивъ въ немъ всего одно слово:

*Ты знаешь край, гдѣ утромъ въ воскресенье,  
Когда росой подсолнечникъ блеститъ,  
Такъ звонко льется жаворонка пѣнье,  
Стада белятъ, а колоколь тудитъ,  
И въ Вожій храмъ, увѣнчанный цвѣтами,  
Идутъ тирами пестрыми толпами?*

Вслѣдствіе отсутствія всей прелести описанія мѣстнаго колорита воспѣваемаго края и наполненія стихотворенія банальными общими мѣстами, оно невольно принимаетъ характеръ сухаго, холоднаго и натянутого риторизма. Можетъ быть, этотъ риторизмъ гр. Толстой и принималъ за мажорный тонъ своей поэзіи. Фактъ этотъ меня глубоко поражаетъ: какъ это такъ — почти родиться въ Малороссіи (мы видѣли, что его туда привезли шестинедѣльнымъ ребенкомъ), прожить тамъ девять лѣтъ, часто возвращаться по толь въ родимую деревню, каждый разъ быть не въ силахъ видѣть тѣ мѣста безъ особеннаго волненія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, не вынести изъ мѣстъ этихъ ни одной живой краски, ни одной задушевноты нотки или черточки быта обитателей этого края, ихъ радостей и страданій, обычаевъ, повѣрій и пр. Это только и можно объяснить крайнею изолированностью жизни гр. А. Толстого, особенно въ дѣтствѣ. Въ то время, какъ Гоголь, Грицко-Основащенко или даже Гребен-

ка и прочіе писатели, выросшіе въ Малороссіи, жили въ родительскихъ домахъ непосредственною жизнію края и имѣли болѣе тѣсныя сношенія съ разными его слоями, между прочимъ, и съ простымъ народомъ, графу А. Толстому, конечно, только издали, изъ окна усадьбы кое-когда приходилось видѣть, какъ

*Парубки, кружась на пожнѣ гладкой,  
Взрываютъ ниль веселою присядкой.*

Но и эти буколическія картины, конечно, не столько его занимали, какъ какой-нибудь неизвѣстно когда и какъ сорванный глацинтъ, запахъ котораго погружалъ его въ разныя чудныя видѣнія, уносившія его за тридевять земель отъ окружающей дѣйствительности. Гдѣ же тутъ было напечатлѣться живыми впечатлѣніями этой дѣйствительности?

Вы посмотрите, какими общими неопредѣленно-стереотипными чертами изобразилъ онъ, между прочимъ, и характеръ вообще русской природы:

*Край ты мой, родимый край!  
Конскій бѣгъ на волѣ!  
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!  
Волчій голосъ въ полѣ!  
Гой ты, родина моя!  
Гой ты, боръ дремучій!  
Свистъ полнотный соловья!  
Вѣтеръ, степь и тучи!*

Не правда ли, что подобное восьмистишіе опять-таки можно отнести къ какой угодно степной мѣстности, но меньше всего я отнесъ бы его къ Россіи, потому что, подумайте: ну можно ли сказать, чтобы „въ небѣ крикъ орлиныхъ стай“ составлялъ одинъ изъ характеристическихъ признаковъ русской природы? Еслибы еще графъ сказалъ „воронныхъ стай“ — это куда бы еще ни шло, а то вдругъ орлиныхъ! Я уже не говорю о томъ, что очень сомнительно, чтобы орлы летали стаями.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, вслѣдствіе крайне замкнутой и изолированной жизни, можетъ быть богатъ внутреннею жизнію, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ цѣлый рядъ весьма любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ или философскихъ процессовъ. Но и этого мы не можемъ сказать о гр. А. Толстомъ. Относительно обще-философскаго міросозерцанія, гр. А. Толстой представляется намъ стоящимъ вполне и всецѣло въ уровнѣ того велико-свѣтскаго кружка, въ средѣ котораго онъ воспитался и прожилъ всю жизнь. Убѣжденія его, ясны и опредѣленны, словно отлиты изъ бронзы и въ неизмѣнной формѣ проходящія черезъ всю жизнь безъ малѣйшихъ колебаній и какого-либо движенія, поражаютъ васъ крайнею узостью чисто формальнаго шатва, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головою. Это — самая низшая ступень дѣтскаго мистицизма совершенно особеннаго рода. Мистицизмъ — мистицизму рознь. И у Достоевскаго, и у гр. Л. Толстого, и у Тургенева вы найдете не малые дозы мистицизма. Но мистицизмъ у этихъ писателей все-таки имѣетъ, съ одной стороны, свою собственную поэтическую окраску, а съ другой — въ немъ видна хоть какая-нибудь самостоятельная работа мысли. Мистицизмъ же гр. А. Толстого заключается, напро-

тивъ того, въ полномъ отреченіи отъ всякаго покушенія на мало-мальски самостоятельную мысль, въ рабской вѣрности буквѣ. Однимъ словомъ, — это вовсе не тотъ мистицизмъ, который въ поэзи создаетъ образы, хотя и дико-фантастичные, но не лишены своеобразной прелести, а тотъ, который подъ частъ, ради подобострастной вѣрности традиціи, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности. Это мы можемъ видѣть съ большою наглядностью въ драматической поэмѣ гр. А. Толстого „Донъ-Жуанъ“. Поэма эта, навѣянная „Фаустомъ“ Гете, пужно признаться, представляется однимъ изъ самыхъ неудачныхъ подражаній тѣмъ западнымъ образцамъ, которые вдохновляли нашего поэта. На первыхъ же страницахъ поэмы васъ поражаетъ, какъ грязное и безобразное пятно, своимъ антихудожественнымъ безвкусиемъ фигура сатаны. Представьте себѣ, что, вмѣсто того мрачнаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, обольстительнаго духа протеста, который является передъ нами въ поэзи Байрона, или вмѣсто гетевского Мефистофеля, шаркающего тонкимъ остроуміемъ своихъ сарказмовъ чисто вольтеровскаго пошиба, исполненнаго яда того самаго скептицизма прошлаго вѣка, олицетвореніемъ котораго и является передъ вами Мефистофель, вмѣсто, наконецъ, хотя бы стереотипно-средневѣковаго діавола въ огнѣ, дымѣ и сѣроумъ запахахъ, — передъ вами является вдругъ, въ поэмѣ гр. А. Толстого, какой-то неуклюжій буянъ, въ родѣ поддуливаго настероваго, и вся соль его сарказмовъ заключается въ рядѣ тривіальныхъ выраженій, въ родѣ шарахнулъ, напиралъ, далъ маху, лопнетъ око, караулъ и т. п. Какую идею думалъ выразить гр. А. Толстой въ образѣ этого грубаго, аляповатаго и неотесаннаго мужлана? Не приходитъ-ли вамъ невольно въ голову, что графъ только и заботился о томъ, чтобы, согласно традиціи, изобразить въ зломъ духѣ все, что только онъ могъ представить себѣ неприятнаго, а что могъ онъ представить себѣ болѣе неприятнаго съ великосвѣтской точки зрѣнія, какъ не тривіальныя выраженія? Вотъ онъ и называлъ ихъ безъ всякаго удержки и такта, желая представить въ сатанѣ самаго что ни есть pauvre genre. Но сатана является второстепеннымъ лицомъ поэмы — только въ началѣ и концѣ ея; главнымъ же героемъ парадрируетъ Донъ-Жуанъ, къ которому мы теперь и обратимся.

Легенда о Донъ-Жуанѣ относится къ эпохѣ „Возрожденія“ и чрезвычайно типично и рельефно выражаетъ собою духъ этой эпохи. Въ личности Донъ-Жуана олицетворяется протестъ человѣческой плоти противъ средневѣковаго аскетизма, все то радостное обаяніе земной жизни со всеміи ея наслажденіями, которое повѣяло на современниковъ Донъ-Жуана отъ изученія классической древности. Это — язычество, возставшее противъ тысячелѣтнаго гнета католическаго изуверства, со всеміи своими эротическими и вакхическими культами, чашами, наполненными яитарнымъ виномъ, гирляндами цвѣтовъ, страстными пѣснями и подблудами при блескѣ луны, въ тиши благоухающихъ южныхъ ночей.

Въ этомъ отношеніи, каждая подробность легенды имѣетъ свой особенный характеристическій и, можно даже выразиться, философскій, сообразно своему вре-

мени, смыслъ. Донъ-Жуанъ, подобно древнему Эросу, всюду несетъ съ собою любовь, но только не ограничивается испослланіемъ ея смертнымъ, какъ земный богъ, а напротивъ того, какъ человѣкъ, самъ ею пользуется. Но въ то же время, силы его имѣютъ чисто божественные разбѣры, выходящіе изъ человѣческихъ предѣловъ. Такъ мы видимъ, что страсть его неотразима: ни одна женщина не въ силахъ устоять противъ его обольщеній; онъ необходимъ въ бояхъ и шрамахъ, и даже святая пиквициція, со всеміи грозными атрибутами своего могущества, беспильна противъ него. Лично для него никакихъ религиозныхъ или нравственныхъ законовъ, установленныхъ средневѣковыми правами, не существуетъ. Вся поэзі жизни сосредоточивается въ его глазахъ въ любви и наслажденіяхъ земнымъ бытіемъ и прогнѣ обаянія этой поэзи для него не существуетъ ничего заветнаго и святого; разъ загорается въ его груди огонь этой поэзи — и онъ готовъ преступить все семейныя и гражданскія узы. Въ отвѣгъ своей, онъ мало того, что объявилъ войну всеміи и духовнымъ, и гражданскимъ властямъ, но дерзнулъ бросить вызовъ и самому небу. Такъ, убивши командора и обольстивши потоку, все равно, жену его или дочь, онъ приглашаетъ статуи его на пиршество. Забудьте, какая строгая последовательность мѣра и какъ вѣренъ остается Донъ-Жуанъ самому себѣ до самаго конца легенды: своимъ приглашеніемъ статуи ни на что-иное, какъ именно на пиршество, Донъ-Жуанъ словно, наконецъ, самый загробный міръ призываетъ къ вкушенію сладостей земнаго бытія. Но здѣсь, къ понятіямъ современниковъ Донъ-Жуана, переполняется чаша дерзкой отваги протеста противъ аскетизма и изуверства среднихъ вѣковъ, или лучше сказать, современники эти выдаютъ далѣе сами себя: въ страшномъ концѣ легенды, въ появленіи статуи Командора на пиршество и въ увлеченіи ею Донъ-Жуана въ пренепродимую она выразили свое отношеніе къ протесту своего времени и вообще настроеніе эпохи. Очевидно, что протестъ классицизма противъ средневѣковаго изуверства, съ одной стороны, привлекалъ ихъ, какъ нѣчто новое, освѣжающее и въ то же время вполне соответствующее естественнымъ требованіямъ человѣческой природы, освобождающее эту природу отъ оковъ, наложенныхъ мракомъ средневѣковаго невѣжества, но въ то же время это новое, освѣжающее и освобождающее дугало, именно потому, что было новымъ и выходило изъ привычныхъ рамокъ жизни, казалось страшнымъ и гибельнымъ съ точки зрѣнія освященныхъ вѣками понятій. Поэтому и Донъ-Жуанъ является, съ одной стороны, доблестнымъ героемъ, возбуждающимъ восторгъ, удивленіе и неодолимое влеченіе къ себѣ, а съ другой стороны, такимъ страшнымъ и неслыханнымъ злодѣемъ, что, наконецъ, земля была не въ состояніи держать такого нечестивца, и небо, возмущенное до послѣдней крайности его дерзостью, было вынуждено послать даже чудо, чтобы избавить міръ отъ этого чудовища.

Таковъ внутренній, философскій смыслъ легенды о Донъ-Жуанѣ, и вы видите, какую стройную поэтическую цѣльность имѣетъ этотъ послѣдній европейскій пѣснь, какъ относительно образа своего героя,

тает и относительно фабулы. Здесь каждый камушек сбивается за камушек и нѣтъ возможности ничего ни выкинуть, ни изъяснить. Реализуйте вы эту легенду, откиньте вы ширшество со статуей командора и проваливание въ адъ, и Донъ-Жуанъ сейчас же перестаетъ быть Донъ-Жуаномъ въ смыслѣ дерзкаго протестанта, бросившаго гордый вызовъ всѣмъ демонамъ и небеснымъ силамъ, а обращается въ чувствительнаго испанскаго кавалера, пьянаго забіяку и пошлаго клубничника, во что-то въ родѣ російскаго „Бурлава, еры, забіяки, собутыльника дорогаго“... Съ другой стороны, заставьте вы Донъ-Жуана раскатыться въ своихъ проказахъ и постричься въ монастырѣ для замаливанья грѣховъ молодости, и выйдетъ, а не могу я выразить, какая анти-художественная, кисло-сладкая размазня на постномъ маслѣ. Правда, впоследствии создались и другая легенда о Донъ-Жуанѣ, именно съ такимъ концомъ раскаянія и покаянія. Но подобный вариантъ легенды могъ возникнуть не иначе, какъ въ средѣ очень набожныхъ католиковъ, можетъ быть, и иезуитовъ. Очевидно, онъ принадлежитъ къ эпохѣ католической реакціи, когда, съ одной стороны, ослабѣ духъ религіознаго протеста и протестантизма, самъ испугавшись своихъ крайностей, началъ робко отступать и формироваться въ доктринерскія, окаменѣлыя ученія, а научный протестъ классицизма въ свою очередь утратилъ свое обаяніе новизны и, вмѣсто того, чтобы призывать безразлично все человѣчество къ наслажденіямъ земною жизнью, обратился къ поблажкѣ распущенности придворныхъ и великошуйтскихъ правовъ; въ то-же время возродившееся успіями братьевъ Лойолы католичество начало отвоевывать цѣлыя народы и страны. Очевидно, что только тогда Донъ-Жуанъ, отчаянно подавляя руку желѣзному показію страшнаго гонителя, могъ превратиться въ Донъ-Жуана, набожно кляцащагося въ монашеской рясѣ въ католическомъ монастырѣ.

Типы подобныхъ, жалодушно струсившихъ своей отвратительности протестантовъ являются въ литературѣ всегда не иначе, какъ въ моменты реакцій. Какъ-то Донъ-Жуанъ—это Верона, смиренно возмущавшаяся на лоно католицизма въ лицѣ Испаніи, Італіи, Франціи, Австріи, Польши. Забавительно при этомъ, что когда литература, въ свою очередь проникнутая реакціоннымъ духомъ, относится положительно къ подобнаго рода типамъ, она постоянно создаетъ нѣчто анти-художественное, припрямое-прѣсное, отталкивающее отъ себя и претящее. Это очень понятно: впечатлѣніе, отражающееся въ художественномъ образѣ, только тогда можетъ дѣйствовать сильно и стройно на нашу душу, когда оно является фальшивымъ, не разбитымъ, не преломленнымъ, не ослабленнымъ ассоціаціею съ какими-нибудь пылыми впечатлѣніями, совершенно противоположнаго рода и составляющими диссонансъ съ главнымъ. Въ этомъ-то и заключается вся тайна художественной гармоніи. Представьте-же вы теперь, что едва только вы застриглись обаяніемъ молодости, силы, отваги, гордой независимости—вообще, тѣми чарующими впечатлѣніями, какія навѣваютъ на вашу душу типы протестантовъ—и вдругъ оказывается, что это очаро-

ваніе—ложь, миражъ, нѣчто весьма недостойное и непохвальное—и вамъ въ видѣ спасительной гавани представляется тотъ же обаятельный образъ въ видѣ какого-нибудь смиреннаго святоши. Вы только представьте себѣ гордаго Чайльдъ-Гарольда, купившаго себѣ домъ въ Сити и обратившагося въ добродѣтельнаго лавочника и биржеваго игрока; Печорина, женившагося на Мери и сдѣлавшагося председателемъ губернской палаты министерства государственныхъ имуществъ; Марка Волохова, обратившагося въ губернскаго штабъ-жандарма.

Я не говорю, чтобы подобныя превращенія были невозможны въ жизни и нетерпимы въ литературѣ; я указываю только на анти-художественность положительнаго отношенія литературы къ нимъ. Вы забудьте при этомъ, что всѣ художники съ мало-мальски сильнымъ и тонкимъ художественнымъ чутьемъ, выводя типы какихъ-либо протестантовъ, постоянно оставляли ихъ протестантами до конца произведенія и по большей части заставляли ихъ умирать какою-нибудь насильственной смертію. Такъ точно и большинство европейскихъ писателей, начиная съ Габриеля Теллеца (Тирео-де-Молина) и кончая Пушкинымъ, выводившихъ на сцену Донъ-Жуана, положительно-ли, или отрицательно относились они къ этому типу, постоянно брали для фабулы своихъ произведеній первый вариантъ легенды и оставляли Донъ-Жуана самимъ собою до проваливанья сквозь землю. И одному только гр. А. Толстому пришло въ голову воспользоваться вторымъ, позднѣйшимъ вариантомъ и заставить Донъ-Жуана трогательно умирать въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ. Но этого еще мало: гр. А. Толстой вздумалъ смѣшать въ одну кашу оба варианта легенды и для этого реализовалъ ширшество со статуею командора такимъ образомъ, что Донъ-Жуанъ, по окончаніи шара, упалъ въ обморокъ и видѣлъ во снѣ появленіе статуй и увлеченіе въ адъ, а когда проснулся, узналъ, что Дона-Лина отравилась, и убѣдился, что онъ ее все-таки не перестаетъ любить—тутъ-то и раскаялся во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ.— Я не могу себѣ представить большей степени художественнаго безвкусія, какъ подобная реализація мифовъ. Я допускаю, что мифъ можетъ быть у каждаго писателя обработанъ по своему, сообразно духу времени и степени общественнаго развитія. Такъ напримѣръ, конечно, эсхилловскій Прометей, далеко не тотъ Прометей, какого создали тѣ эллины-дикари, которые только-что дошли до употребленія огня и прославили свое изобрѣтеніе въ прометеевскомъ мифѣ. Конечно, гетевскій Фаустъ имѣетъ очень мало общаго съ Фаустомъ средневѣковой легенды. Видъ и Донъ-Жуанъ у каждаго изъ писателей, выводившихъ его на сцену, выходилъ свой особенный Донъ-Жуанъ. Нисколько не въ претензіи я, что и гр. А. Толстой вывелъ своего собственнаго, особеннаго Донъ-Жуана, болѣе похожаго на Фауста, чѣмъ на Донъ-Жуана въ собственномъ смыслѣ этого слова: такъ, у гр. Толстаго Донъ-Жуанъ кутитъ и переходитъ отъ одной женщины къ другой не отъ избытка и разгула жизненныхъ силъ, вырвавшихся на волю изъ-подъ гнета католическаго аскетизма, а

вследствие романтического исканія вполне идеальной женщины и постоянного разочарованія въ дѣйствительныхъ женщинахъ. Но я протестую противъ реализаціи фантастическихъ элементовъ мифовъ и легендъ. По моему мнѣнію, если хочешь быть реальнымъ писателемъ до конца погтей, такъ и не бери легендъ фабулами своихъ произведеній, а ищи дѣйствительныхъ, вполне реальныхъ сюжетовъ. А если тебѣ хочется брать легенды, то бери ихъ всецѣло, памятью, что въ фантастическихъ элементахъ этихъ легендъ и заключается обыкновенно вся и поэтическая, и философская суть ихъ. Вамъ известна конечно, народная легенда о томъ, какъ Исусъ Христосъ явился въ одеждѣ нищаго въ русскую деревню, стучался во все окна, прося почлега; но нигдѣ его не приняли, а изъ богатыхъ хатъ прогнали даже съ бранью и побоями, а принялъ его самый бѣднѣйшій крестьянинъ, въ награду за что и былъ обогащенъ: у него уголья на шестьѣ превращены были въ червонцы. Согласитесь сами, что вся поэзія, вся сила этой легенды въ томъ именно и заключается, что тутъ является на сцену Исусъ Христосъ и что зазнавшіеся и возгордившіеся богачи гнали и поругали самого Бога. По вы воображаете себѣ только, что вышла-бы за петливость и за пошлость, если-бы иной реальный поэтъ захотѣлъ-бы воспользоваться этою легендою, да только изъ излишняго усердія къ своему реализму вздумалъ-бы замѣнить Исуса Христа какимъ-нибудь переодѣтымъ въ нищенское платье богачемъ-филантропомъ, который въ награду за гостеприимство бѣднаго мужика тихонько подложилъ-бы ему на шестьѣ подъ уголья червонцы. Но, по моему мнѣнію, еще нехитѣе, еще пошлѣе, когда фантастическій элементъ легенды представляется въ видѣ своей или обмороковъ дѣйствующихъ лицъ легенды. Донъ-Жуана, сдѣлавшаго изъ своей отваги вызовъ самому загробному міру и паршаго въ неравной борьбѣ, я понимаю въ той-же степени, какъ и Святогора, вздумавшаго похвѣяться съ тигромъ земли и въ свою очередь ушедшаго въ землю; но Донъ-Жуанъ, унавившій вдругъ въ обморокъ, какъ нервная барышня, и видѣвшій во снѣ появленіе на пиршествѣ статуи — это верхъ художественной безвкусицы, это положительный абсурдъ. Легенда, теряя такимъ образомъ свой фантастическій смыслъ, не приобретаетъ взамѣнъ этого ни малѣйшаго смысла реального, потому что, подумайте только, какихъ нелѣпыхъ сновъ не бываетъ и что значилъ подобный вздорный сонъ для Донъ-Жуана? Да я убѣжденъ, что если-бы самъ гр. А. Толстой увидѣлъ во снѣ появленіе сотни командорскихъ статуй, это не помѣшало-бы ему остаться все тѣмъ-же графомъ А. Толстымъ, встать утромъ съ постели, какъ встрепанному, и принять тотчасъ за художественное содержаніе какого-нибудь рѣдкостнаго фавна.

Остается сказать нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ гр. А. Толстаго, о его историческихъ хроникахъ (Иоаннъ Грозный, Борисъ Годуновъ, Царь Федоръ) въ связи съ романомъ „Князь Серебрянный“; но обо всемъ этомъ я ограничусь только нѣсколькими словами. Драны гр. А. Толстаго составлены очень толково, умно, вполне исторически вѣрно; на каждую, безъ сомнѣнія, положено не мало трудовъ

изученія эпохи и героевъ ея. Но главнѣе недостатки ихъ заключаются въ томъ, что въ нихъ и тѣни нѣтъ драматическаго паюса: дѣйствія въ нихъ мало, эстетическій, бытоописательный элементъ преобладаетъ надъ драматическимъ, сюжеты не представляютъ той цѣльности и законченности, какая требуется отъ драмы, вследствие всего этого драмы эти скучноваты на сценѣ и годятся болѣе для чтенія, чѣмъ для игры. Подобные недостатки этихъ драмъ, очевидно, найдутся въ тѣсной связи съ общимъ характеромъ творчества гр. А. Толстаго. Они зависятъ прямо отъ того, что, какъ все написанное графомъ, и драмы эти составляютъ продуктъ кабинетнаго, отвлеченнаго творчества по кнѣжамъ. Онѣ составлены по источникамъ, какъ составляются историческія диссертаціи, а не созданы какими-либо сильными импульсами жизни, одушевившими поэта и наизящившими его творчество. Замѣчательно при этомъ, что даже и въ этихъ произведеніяхъ, составленныхъ по древнимъ летописямъ и актамъ, несмотря на все погруженіе поэта въ чисторусскую, безпримѣсную жизнь, онъ не могъ остаться вполне самимъ собою. Нѣтъ, у него тотчасъ-же явилась претензія представить изъ себя Шекспира — и вотъ онъ въ самой видной своей драмѣ, Иоаннъ Грозный, заставилъ какихъ-то волхвовъ-королеву ражарать передъ Борисомъ Годуновымъ роль макбетовскихъ вѣдьмъ и ударился въ крайность, противоположную той, какую мы видѣли въ его „Донъ-Жуанѣ“. Тамъ онъ вздумалъ реализовать фантастическій элементъ легенды, а здѣсь, напротивъ того, ему пришло въ голову самовольно ввести фантастическій элементъ въ реальную жизнь — и вышло такъ-же нестало и такъ-же пошло.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ еще о весьма странномъ и необыкновенномъ недостаткѣ творчества гр. А. Толстаго, недостаткѣ, впрочемъ, явившемся. Мы видѣли изъ автобіографіи графа, что онъ началъ писать стихи съ 6-лѣтняго возраста, увлекшись какимъ-то толстымъ сборникомъ лучшихъ русскихъ поэтовъ. При этомъ графъ считаетъ не лишнимъ замѣтить, что какъ бы были нелѣпы его первые опыты, но въ метрическомъ отношеніи они были безупречны. Но не диво-ли, что въ то самое время, какъ поэтъ считалъ безупречными въ метрическомъ отношеніи свои первые опыты шестилѣтнаго ребенка, на дѣлѣ стихотворенія графа А. Толстаго, написанныя южъ въ продолженіи всей жизни, далеко нельзя назвать безупречными въ метрическомъ отношеніи? Я не говорю уже о томъ, что вообще его стихи тяжеловаты, не отличаются особенно гармоничностью и плавностью и видно, что не легко ему давался, но очень нѣрѣдко въ его стихотвореніяхъ вы можете встрѣтить стихи, положительны въ размѣрѣ только при искаженіи нѣкоторыхъ словъ въ ихъ удареніяхъ. Какъ вамъ понравится, напримѣръ, такіе неуклюжіе стихи:

И ничего въ природѣ нѣтъ  
Что-бы любовью не дышало...  
Галокъ стая вѣсть  
Пошла пѣзда...  
Будешь красоваться цвѣтами убрана...  
Ассиріане или какъ на стадо воины и др.

Всѣмѣчаются также и такіе стихи, которые метрически совершенно правильны, но дорого досталась пошлѣмому автору эта правильность. Напримѣръ, какъ вамъ нравится художественная прелесть и пышность такого выраженія:

Все звонкое *платство* летаетъ кругомъ,  
Лягушчи въ тысячу *словокъ*...

Эти два стиха хоть-бы и Тредьяковскому въ пору. Я не знаю ужъ, какъ объяснить эту шероховатость стиховъ гр. А. Толстого, небрежностью-ли, съ какою онъ относился къ вѣшной отдѣлкѣ своихъ стихотвореній, недостаткомъ-ли музыкальнаго уха, неуклюжестью-ли владѣть стихомъ, или и здѣсь, можетъ быть, въ свою очередь играть роль тотъ-же характеръ творчества гр. А. Толстого. Я полагаю, что каждый пишущій стихи замѣчалъ не разъ, что чѣмъ сильнѣе онъ возбужденъ или вдохновленъ, какъ выражались прежде, къ изложенію своихъ мыслей стихами, тѣмъ легче давались ему стихи, тѣмъ они выходили гармоничнѣе и плавнѣе. Напротивъ того, искусственно слагать стихи при совершенно свободномъ расположеніи духа безъ всякаго первоначальнаго возбужденія—бываетъ чрезвычайно трудно, какъ бы ни владѣли вы искусствомъ рифмоплетства. Попробуйте переложить въ стихи какую-нибудь алгебру и вы увидите, насколько это труднѣе, чѣмъ написать стихотворное любовное посланіе въ порывѣ молодой страсти. Очень можетъ быть, что оттого у гр. А. Толстого и выходили стихи такъ тяжеловаты и шероховаты, что ему приходилось писать не въ порывѣ естественныхъ жизненныхъ возбужденій, а вымучивать ихъ, искусственно слагая холодныя измышленія,—продумывать различныхъ художественныхъ созерцаній.

Я кончилъ, и мнѣ очень грустно, что о недавно умершемъ поэтѣ мнѣ пришлось изречь столько суровыхъ и черствыхъ приговоровъ. Чтобы смягчить ихъ хоть сколько-нибудь, въ видѣ послѣсловія я ставлю вотъ какой вопросъ. Мы видимъ, что во всѣхъ искусствахъ существуетъ строгое раздѣленіе двухъ областей, изъ которыхъ одна другую питаетъ и поддерживаетъ, но въ то-же время между этими двумя областями ставится рѣзкая грань, и никому въ голову не приходитъ смѣшивать обѣ области; каждая можетъ имѣть своихъ мастеровъ и свои шедевры, но опять-таки никто и не подумаетъ мастера одной области веровать въ другую. Это — область искусства въ собственномъ смыслѣ этого слова, искусства живаго, творящаго, развивающагося, и искусства, если можно такъ выразиться, аксессуарно-техническаго, низшаго, паразитно питающагося совами высшаго искусства. Такъ, напримѣръ, никто вамъ не мѣшаетъ восхищаться работами Сазикова и Овчинникова и платить за нихъ большіи деньги; но придетъ-ли кому въ голову сравнивать эти работы съ произведеніями великихъ вѣдателей въ родѣ Бенвенуто-Челлини, и съ другой стороны, съ чѣмъ сообразно, если-бы кто-нибудь вздумалъ презрительно относиться къ работамъ Овчинникова и Сазикова только потому, что эти работы не могутъ быть сравнены съ такими-же работами Бенвенуто-Челлини. Нѣтъ, всмѣй знаетъ, что Бенвенуто-Челлини одинъ изъ первыхъ мастеровъ въ

сочиненія А. Скабичевскаго.—П.

своей области, и Овчинниковъ и Сазиковъ тоже первые въ своей. Также самое и въ музыкѣ: восхищеніе Бетховеномъ или Моцартомъ нисколько не мѣшаетъ вамъ находить, что вотъ въ данномъ трактирѣ существуетъ такой прекрасный органъ, лучше котораго вы не слышали, и потому чаще посѣщать этотъ трактиръ съ спеціальною цѣлю наслаждаться звуками органа: Бетховень первый—въ своей области, трактирный органъ—въ своей, и одинъ другому въ вашихъ глазахъ нисколько не мѣшаетъ быть первымъ. Точно также можетъ быть первый декораторъ въ городѣ безъ всякаго сравненія съ Рафаэлини и Сальваторами-Розами и пр.

Скажите вы мнѣ, пожалуйте, отчего же въ одной только поэзіи не существуетъ никакого такого раздѣленія подобныхъ же областей, а всѣ поэты, мало мальски способные связать двѣ рѣкы, безразлично смѣшиваются въ одинъ безразличный хаосъ знаменитостей, всѣ тнются если не въ Шекспира и Гете, то, по малой мѣрѣ, въ Пушкины — и критика непремѣнно должна глубокомысленно рѣшать, какое значеніе имѣетъ рифмосилетатель въ судьбахъ русской литературы, что онъ внесъ въ нее, создалъ, а если окажется, что ничего особеннаго не создалъ, то непремѣнно затѣмъ долженъ послѣдовать презрѣніе, пренебреженіе — съ одной стороны, а съ другой — оскорбленіе самолюбія, если поэтъ живой, или памяти его, если онъ покойный?

А между тѣмъ, попробуйте разграничить обѣ области столь же строго, какъ онѣ разграничены въ другихъ искусствахъ, и вы сами сразу признаете первыми мастерами такихъ поэтовъ, какіе нынѣ считаются однимъ изъ самыхъ послѣднихъ, хотя, конечно, при этомъ вамъ и въ голову не придетъ задавать глубокомысленные вопросы, имѣютъ ли эти поэты какое-либо значеніе и какое именно въ судьбахъ развитія русской поэзіи.

Точно также и относительно графа А. Толстого. Конечно, послѣ тѣхъ колѣнопреклоненій передъ его поэзіею, которыя расточались въ прошломъ году и въ „Вѣстникѣ Европы“, и въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, и во многихъ газетахъ, мои приговоры имѣютъ мѣсто, какъ стремленіе утѣрить шпаль этихъ колѣнопреклоненій и опредѣлить болѣе хладнокровно и безпристрастно, чѣмъ же именно заслужила поэзія гр. А. Толстого подобныхъ оцѣнокъ. Но представьте себѣ, что заранѣе, безъ всякихъ сомнѣній и недоумѣній, было бы понятию всѣмъ и каждому, что стихотворенія гр. А. Толстого имѣютъ такое же значеніе въ литературѣ, какъ занавѣси театровъ въ живониси, какъ канделябры или бронзовыя статуи подъ лампы работы того или другаго знаменитаго мастера въ этомъ родѣ, какъ вальсы Штрауса и т. п. Тогда, конечно, мои приговоры не имѣли бы ровно никакого смысла. Говорить о недостаткахъ описаній природы въ стихотвореніяхъ гр. А. Толстого, о промахахъ поэмы „Донъ-Жуанъ“, о сюжетности его драматическихъ хроникъ или шероховатости стиховъ было бы такъ-же незлѣно, какъ замѣчать о недостаткѣ экспрессіи въ лицѣ купающейся нимфы на занавѣси театра или о несоразмѣрности членовъ бронзоваго рыцаря, держащаго въ рукахъ канделябръ со свѣчами. Напротивъ

того, а съ своей стороны готовъ былъ бы признать гр. А. Толстаго, одинъ изъ первыхъ мастеровъ по части галантерейной поэзии, готовъ былъ бы искренно признаться, что многіе изъ его произведеній не разъ доставляли мнѣ большое наслажденіе, что и впредь я готовъ послѣ сытнаго обѣда, въ приятной дамской компаніи усладить свой досугъ на ряду съ лучшими конфетами изъ модной кондитерской декламациею чего-либо въ родѣ:

Колокольчики мои,  
Цѣбтннн стѣнные и пр.

### Письмо третье.

О различіи художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности отъ художественно-техническаго («Между денегъ», романъ А. Потѣхина. Спб. 1877 г.).

Когда въ первомъ своемъ письмѣ я сдѣлалъ такое опредѣленіе основнаго эстетическаго принципа, что искусство заключается вовсе не въ стремленіи изображать дѣйствительность, какъ она есть, а, напротивъ того, въ измѣненіи ея, въ изображеніи въ преувеличенномъ и одностороннемъ видѣ, я убѣжденъ въ томъ, что такимъ опредѣленіемъ я привлекъ читателя въ немалое недоумѣніе и, несмотря на всѣ мои старанія разъяснить подобное опредѣленіе въ тѣхъ краткихъ и сжатыхъ аргументахъ, какіе могли выпасть на долю небольшой статейки въ два печатныхъ листа, именно, благодаря краткости и сжатости этихъ аргументовъ, читатель, конечно, остался неубѣжденнымъ. Къ этому, безъ сомнѣнія, немало способствовало и то, что опредѣленіе мое идетъ совершенно, повидимому, въ разрѣзъ съ тѣми эстетическими понятіями, которыя читатель воспринялъ въ себя чуть не съ молокомъ матери, съ которыми онъ сжился и которыми снабжены такія достопочтенныя атрибуты уважительности, въ видѣ разныхъ высокихъ словечекъ, что читатель въ правѣ считать эти понятія чуть не святынею. Помилуйте, какъ же не дорожить читателю, какъ святынею, такимъ эстетическимъ понятіемъ, которое гласитъ, что искусство должно изображать дѣйствительность, какъ она есть, потому что высшее святое призваніе его—отражать правду жизни. Ну, подумайте, что можетъ быть выше, краше правды, и можно ли придумать для искусства служеніе святѣе, какъ отраженіе правды? И вдругъ является господинъ, который дерзаетъ посягать на подобное эстетическое понятіе, глубоко вѣдренное всѣми своими корнями въ новѣйшее прогрессивное и реальное мировоззрѣніе, рѣшается утверждать, что истинное искусство вовсе не есть представленіе дѣйствительности въ томъ видѣ, какъ она есть, а, напротивъ того, въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ оно измѣняетъ дѣйствительность сообразно своимъ цѣлямъ, представляя ее въ преувеличенномъ или одностороннемъ видѣ. *Преувеличеніе, односторонность*—эти некрасивыя и ненавистныя слова представляются вѣдь ничѣмъ инымъ, какъ атрибутами лжи. Итакъ, дерзкій господинъ, вѣсто высокаго при-

званія служенія святой правдѣ, обрекаетъ искусство на богомерзкое дѣло мороченья, подтасовыванья, лгавья. Что это такое? Нахальная пронія, пѣбоща цѣлю, унизивъ искусство въ его высшихъ дѣлахъ, показать его ничтожество и несостоятельность, или дикій абсурдъ упрямаго ула, который во чтобы то ни стало хочетъ всѣ вещи видѣть шиворотъ на выворотѣ?

Нѣтъ, ни то, ни другое, а одна простая и безпристрастная истина. Первые дѣломъ свѣшу убѣрши читателя, что у меня и въ мысляхъ нѣтъ нѣтъ какое-либо покушеніе на отричаніе служенія искусства правдѣ. Но при этомъ я спрашиваю у читателя: знаетъ ли онъ въ мірѣ ли искусства, или въ мірѣ науки хоть одну такую правду, которая не была бы относительна и односторонна, а напротивъ того, обнимала бы предметы со всѣхъ сторонъ и во всей ихъ сущности? Вѣдь даже такая простая и несомнѣнная истина, какъ  $2 + 2 = 4$ , развѣ это не есть самая крайняя односторонность, какую только мы можемъ себѣ представить? Когда мы говоримъ, что два Ивана, да еще два Ивана составятъ четырехъ Ивановъ—вѣдь мы беремъ этихъ Ивановъ только съ одной стороны ихъ количественности и при этомъ не только совершенно упускаемъ изъ вида разныя ихъ качества и свойства, но даже въ нашихъ глазахъ они парадируютъ не какъ живые люди, а какъ отвлеченныя математическія единицы. Замѣтите, что въ наукахъ положительныхъ и точныхъ вы болѣе всего встрѣтите на каждомъ шагѣ подобнаго рода одностороннія истины. Наиболѣе отчетливые, совершенные и удачные опыты, наиболѣе богатые выводы и открытія совершаются не иначе, какъ путемъ или изолированія разсматриваемаго явленія отъ всѣхъ побочныхъ и излишнихъ для цѣлей изслѣдованія осложненій, или увеличенія до высшихъ степеней интенсивности изслѣдуемыхъ силъ, или произведенія тѣхъ искусственныхъ комбинацій, подобныя которыя въ природѣ встрѣчаются очень рѣдко или и совсѣмъ не встрѣчаются. Вѣдь вы же немало не въ претензіи на хилика за то, что онъ изолируетъ подъ стекляннымъ колпакомъ азотъ въ такомъ его чистомъ и неприѣсномъ видѣ, въ какомъ вы его нигдѣ не встрѣчаете въ природѣ. Вѣдь вы же допускаете, что ученые и техники съ научными или прикладными цѣлями усиливаютъ упругость воздуха или водяныхъ паровъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, въ какихъ въ природѣ такая упругость встрѣчается въ самыхъ рѣдкихъ и экстренныхъ случаяхъ. Вы не называете лжецомъ ученаго, который, на основаніи самыхъ точныхъ математическихъ вычисленій, опредѣлитъ какъ, какъ должна быть велика упругость водяныхъ паровъ для того, чтобы пары эти, заключенные въ нѣдра земли, разнесли на куски весь земной шаръ. Наконецъ, не обвиняйте вы въ искаженіи дѣйствительности теплота, приподносящаго вамъ нитроглицеринъ, котораго нигдѣ не ищется въ природѣ въ химическихъ заводоѣ. Однимъ словомъ, если вы не только допускаете, но и требуете, чтобы наука, специальная цѣль которой—истина, правда, измѣняла дѣйствительность сообразно цѣлямъ своихъ изслѣдованій, то на какомъ же основаніи ищете вы право требовать, чтобы искусство отказалось отъ подобныхъ же отношеній къ дѣйствительности, особенно принимая во вниманіе,



что здесь такіа отношенія возникаютъ не вслѣдствіе однихъ предумышленныхъ ухищреній изслѣдующаго ума, а выстѣ съ тѣмъ и воплотіи инстинктивно, невольно и неотразимо вслѣдствіе силы страстныхъ импульсовъ художника? На какомъ основаніи тѣ самыя пути, которые въ наукѣ ведутъ къ истинѣ, въ искусствѣ должны вести ко вслѣдственной жи? И неужели для того, чтобы искусству остаться платонически вѣрнымъ такъ-называемой „святой правдѣ“, оно должно вѣчно пребывать на той же самой низшей ступени разсматриванія дѣйствительности во всемъ ея пестромъ и сложномъ хаосѣ, на какой стоитъ человѣческій умъ при самыхъ первыхъ зачаткахъ своего развитія.

Но въ томъ-то и дѣло, что искусство въ истинныхъ своихъ проявленіяхъ всегда относилось къ дѣйствительности совершенно такъ же, какъ и наука, то есть разсматривало явленіе ея изолированно, одно-сторонне, увеличивало ихъ интенсивность или экстенсивность, наконецъ, случалось ему зачастую слогать явленія эти и въ такіа комбинаціи, какія хотя и возможны, но встрѣчаются въ дѣйствительности очень рѣдко или же и никогда. И замѣчательно, что, именно, такіа произведенія искусства, въ которыхъ явленія жизни разсматриваются наиболее изолированно, преувеличенно, въ которыхъ дѣйствительность наиболее измѣняется сообразно цѣлямъ творчества—такіа произведенія и производятъ наибольшее впечатлѣніе на читателей, они-то, въ концѣ-концовъ, и заслуживаютъ лестнаго эпитета „правдивыхъ“. Напротивъ того, всѣ попытки изображать дѣйствительность во всемъ ея пестромъ хаосѣ, разсматривать явленія жизни въ тѣхъ сложныхъ и случайныхъ ея комбинаціяхъ, въ какихъ она проявляется, обыкновенно ведутъ къ охлажденію или окончательному парализованію того основнаго впечатлѣнія, которое возбуждало творчество художника. Произведенія подобнаго рода могутъ возбудить въ васъ удивленіе относительно наблюдательности художника или искусства вѣрно схватывать предметы, но, въ концѣ-концовъ, отъ нихъ вѣгъ убійственнымъ холодомъ, вы не вынесете изъ нихъ ни малѣйшаго цѣльнаго впечатлѣнія и страстнаго импульса, а главное дѣло, умъ вашъ будетъ совершенно такъ же неопредѣленно блуждать въ пестромъ хаосѣ художественныхъ образовъ, какъ онъ блуждаетъ въ хаотической средѣ сложныхъ явленій жизни. Такіа произведенія снѣло можно уподобить тѣмъ неудачнымъ химическимъ опытамъ, въ которыхъ химикъ не позаботился изолировать свои элементы отъ излишнихъ осложненій, и, вмѣсто искомаго соединенія, у него вышла какая-то мутная жидкость, въ которой Богъ вѣгъ откуда взялся вдругъ кислородъ и для чего-то въ ней находится угольная кислота, которой вовсе не предполагалось въ искомомъ соединеніи. Нѣсколько прифривъ, я надѣюсь, разъяснятъ мои мысли. При этомъ я нарочно начну съ самыхъ простыхъ, элементарно-грубыхъ фактовъ, чтобы показать, что и въ низшихъ своихъ проявленіяхъ искусство вовсе не нуждается въ представленіи дѣйствительности во всей ея сложности и со всѣхъ сторонъ, а измѣняетъ ее сообразно своимъ цѣлямъ.

Представьте себѣ, что на сценѣ изображается гроза. Я нарочно беру грозу на сценѣ, потому что, ко-

нечно, ни поэзіа, ни музыка, ни живопись сами по себѣ въ отдѣльности не въ силахъ представить грозу такъ всесторонне, какъ сцена. Если изображеніе грозы на сценѣ въ художественномъ отношеніи вы и не сравните ни съ однимъ классическимъ произведеніемъ другихъ искусствъ, то это происходитъ единственно отъ того, что техника декоративнаго искусства, существующая безъ года недѣлю, далеко еще не развита до такихъ совершенствъ, какъ техника другихъ искусствъ, насчитывающихъ тысячелѣтіа своего существованія. Но въ воображеніи своемъ вы можете удесятить совершенство техники декоративнаго искусства и представить себѣ, что передъ вами на сценѣ въ видѣ грозы парадируетъ нѣчто, нисколько не уступающее, по своей художественной высотѣ, лучшимъ произведеніямъ всѣхъ прочихъ искусствъ. И все-таки, въ какую десятую, сотую, тысячную стонень вы ни возводили бы это совершенство, вы не должны упускать изъ виду, что это развитіе техники будетъ крайне односторонне, будетъ касаться всего на всего трехъ-четырехъ признаковъ грозы, и такихъ именно, которые изъ всей массы признаковъ разсматриваемаго явленія наиболее дѣйствуютъ на нашу душу, въ видѣ впечатлѣнія величія и страха этого явленія. Это будутъ черныя, клубящіяся облака, злобный сумракъ, ослѣпительный блескъ молніи, вой урагана, шумъ и потоки ливня. Эти симптомы театральнаго искусства будутъ стремиться не только натурализовать въ возможной близости къ природѣ, но даже и преувеличивать ихъ грозность въ виду произведенія наибольшей силы впечатлѣнія.

Но изображать грозу только со стороны ея вышеназначенныхъ признаковъ, наиболее дѣйствующихъ на нашу душу—значитъ ли воспроизводить это явленіе всецѣло, со всѣхъ его сторонъ, во всей его реальной правдѣ и сущности? Начать съ того, что о чомъ искусство не вѣгъ всего будетъ заботиться, такъ это, именно, о представленіи грозы въ ея сущности. Къ чему искусству эта сущность грозы, въ видѣ электричества со всѣми его законами? Стремиться воспроизвести грозу на сценѣ въ такой ея реальной правдѣ, чтобы передъ зрителями была не картонная только гроза, а дѣйствительная, какъ есть настоящая, электрическая, — это всегда будетъ не только роскошью, но, напротивъ того, не трудно доказать, что погоня за подобнымъ излишествомъ близости къ природѣ сразу парализуетъ достиженіе существенной спеціальной цѣли изображенія. Вѣдъ эта цѣль заключается не въ произведеніи физическаго опыта, а въ стремленіи поразить зрителей величіемъ картины грозы въ природѣ: согласитесь же, что даже при всѣхъ несовершенствѣхъ декоративной техники искусство и въ наше время стоитъ ближе къ достиженію этой цѣли, чѣмъ еслибы оно произвело передъ зрителями настоящую грозу. Вы подумайте только, какъ мизерна была бы подобная гроза подъ тѣсными сводами театральнаго сцены и какъ она мало дала бы зрителямъ понятія о настоящей грозѣ подъ необъятными сводами неба. И вотъ вѣгъ сразу открываются двѣ односторонности: съ одной стороны, односторонность науки, которая въ лихъ физика упускаетъ совершенно изъ виду величественные атрибуты грозы и представляетъ вамъ ее

въ видѣ пѣли гальваническихъ и электрическихъ приборовъ, не имѣющихъ, по своей наружности, никакого и близкаго подобія съ изслѣдуемымъ явленіемъ природы, но за то представляющихъ сущность его; а съ другой стороны—односторонность искусства, которое только съ внѣшними атрибутами грозы и имѣетъ дѣло, нисколько не касаясь сущности ея.

Но и къ внѣшнимъ атрибутамъ искусство относится столь же односторонне, нисколько не заботясь о полнотѣ и всесторонности и стави на первый планъ только такія, которые въ данномъ случаѣ соотвѣтствуютъ его цѣлямъ. Такъ, наприимѣръ, въ дѣйствительности каждая конкретная гроза осложняется массою явленій, которыя всецѣло входятъ въ нее и зависятъ отъ нея, но которыя не только не заключаютъ въ себѣ ничего величественнаго и поразительнаго, но, напротивъ того, въ извѣстной степени охлаждають и парализуютъ общее впечатлѣніе, производимое на насъ грозой. Гроза состоитъ не изъ однихъ только ослѣпительныхъ вспышекъ молній, оглушительныхъ ударовъ грома, воя урагана и шума ливня. Любуясь на нее изъ окошка, вы увидите и тоскливое зрѣлище мутныхъ потоковъ грязи по улицамъ или колеямъ дорогъ, и комическія фигуры промокшихъ до костей прохожихъ съ вывороченными зонтиками, и тутъ-же какія-нибудь бабы съ грязными подобранными подолами забавно плещаютъ по лужамъ босыми ногами, заботливо снимая съ мокраго забора повѣшанное сунуться бѣлье. Все подобныя аксессуары могутъ до такой степени занять и развлечь васъ, когда вы любуетесь грозой изъ окошка, что вы совершенно забудете о всемъ величій зрѣлища. Очевидно, что художнику, имѣющему специальную цѣль поразить васъ величіемъ грозы,—не для чего приводить подобныхъ атрибутовъ изображаемаго явленія, иначе онъ рискуетъ, при всемъ выигрышѣ относительно полноты и близости дѣйствительности проиграть въ самомъ главномъ—въ силѣ основнаго впечатлѣнія, играющаго въ произведеніи его существенную роль. Другое дѣло, если это комическій художникъ. Тогда можетъ случиться совершенно наоборотъ: все грозныя атрибуты бури отступаютъ въ его изображеніи на самый задній планъ, они будутъ едва замѣтны въ картинѣ или можетъ быть даже и ихъ художнику удастся изобразить въ какомъ-нибудь комическомъ видѣ; на первый же планъ выступятъ передъ вами различныя комическія пассажи, сопровождающіе грозу, и будутъ рисоваться передъ вами не въ приимѣръ смѣшнѣе, чѣмъ они проявляются въ дѣйствительности. Въ обоихъ случаяхъ передъ вами будетъ односторонность, преувеличеніе одного на счетъ другого, но нельзя сказать, чтобы это была ложь и искаженіе дѣйствительности. Это только естественное стремленіе художественнаго творчества выдвинуть передъ вашими глазами одну изъ правдъ, заключающихся въ предметѣ, и наиболѣе освѣтить ее, наиболѣе поразить васъ ею.

Точно самое мы видимъ, наприимѣръ, и въ ваиніи. Древніе скульпторы, нисколько не заботясь о томъ, чтобы тѣло ихъ статуй во всѣхъ отношеніяхъ походило на человеческое, выставляли въ своихъ произведеніяхъ только одинъ атрибутъ тѣла—красоту и гармонію различныхъ сочетаній линий. Это одно они

только и имѣли въ виду и далѣе затѣять для нихъ было совершенно все равно, изъ бѣлаго ли, изъ чернаго ли мрамора были изваяны ихъ статуи или вылиты изъ бронзы, соотвѣтствовали ли онѣ въ своей величинѣ человеческому росту или не соотвѣтствовали. Подобною спеціализаціею они достигали той полноты и цѣльности впечатлѣнія, какія ставятъ произведенія ихъ на недостижимую высоту. Впоследствии, когда древняя цивилизація начала падать и вкусы начали грубѣть, явилось раскрашиванье статуй. Съ точки зрѣнія натурализма, это былъ шагъ впередъ; подумайте, какая разница относительно всесторонней близости дѣйствительности, представляется ли вамъ тѣло человеческое бѣлымъ, чернымъ, бронзовымъ, или въ своемъ натуральномъ цвѣтѣ. Но спрашивается: выиграло ли древнее ваиніе отъ подобной натурализаціи? Напротивъ того: совершенно проиграло. Обратите вниманіе на общезвѣстную странность: казалось бы, что бѣлый цвѣтъ мраморныхъ статуй долженъ былъ бы болѣе всего возбуждать въ насъ представленіе о трупѣхъ, а между тѣмъ, выходитъ совсѣтъ наоборотъ: когда мы любимъ мраморными статуями, намъ и въ голову не приходитъ, что статуи эти походятъ по своему цвѣту на мертвыя тѣла; когда-же мы смотримъ на восковыя фигуры и раскрашенныя статуи, то, несмотря на ихъ натуральный цвѣтъ живого тѣла, онѣ производятъ на насъ тяжелое впечатлѣніе труповъ, и долгое пребываніе въ одиночествѣ въ обществѣ подобныхъ фигуръ способно возбудить въ васъ ужасъ, а перваго человека довести до галлюцинацій. Этотъ фокусъ очень легко объяснить: когда вы смотрите на мраморную статую, вы получаете отъ нея одно спеціальное впечатлѣніе красоты формы; это только вы и любуетесь въ статуѣ и совершенно при этомъ забываете о томъ, на сколько походитъ или не походитъ эта статуя на живое тѣло во всѣхъ друтихъ отношеніяхъ; васъ не только при этомъ не занимаетъ цвѣтъ статуи, но нисколько не шокируетъ даже отсутствіе въ ней глазъ, такъ все вниманіе ваше поглощено преобладающимъ впечатлѣніемъ красоты формы. Но попробуйте раскрасить эту статую,—и сейчасъ впечатлѣніе, получаемое вами отъ нея, осложнится, раздвоится: вы будете видѣть въ статуѣ не спеціально одну только красоту формы, но и цвѣтъ тѣла, во-первыхъ, выраженіе глазъ. Все это въ ансамблѣ невольно заставитъ васъ сравнивать статую съ живымъ человекомъ и оцѣнивать, на сколько подходитъ она къ нему, чего вы прежде не дѣлали. Подобное сравненіе немедленно-же выдвинетъ впередъ новое впечатлѣніе: именно то, что вотъ передъ вами, повидимому, совсѣтъ живой человекъ, а между тѣмъ онъ неподвиженъ, какъ трупъ. Это впечатлѣніе вопарится надо всѣми прочими и парализуетъ ихъ окончательно. Въ концѣ концовъ, вамъ будетъ не до красоты формы, не до цвѣта кожи, не до выраженія глазъ: вы будете только всматриваться въ мертвую неподвижность статуи и съ мурашками, проходящими по кожѣ, ожидать, что вотъ она сейчасъ кинется головою, пошевелитъ пальцемъ, моргнетъ глазами и пр. Согласитесь, что подобными ожиданіями обыкновенно кончаются все созерцанія восковыхъ фигуръ, какъ-бы онѣ ни были хорошо сдѣланы. Чтобы избе-

дать подобного неприятнаго впечатлѣнія мертвенности въ восковыхъ фигурахъ, люди придумали придавать имъ еще большую натурализацию, дѣлать ихъ движущимися. И хотя вслѣдствіе этого онѣ сдѣлались еще ближе къ дѣйствительности, онѣ все-таки стали не менѣе, если не болѣе отвратительны. Если въ движущихся фигурахъ васъ не поражаетъ болѣе трупная мертвенность, за то тѣмъ болѣе тяжелое, давящее впечатлѣніе производитъ методичность и однообразная періодичность однихъ и тѣхъ-же движений. Это нѣчто, при всей своей кажущейся близости къ дѣйствительности, совершенно несообразное съ нею, въ гораздо большей степени—ложь, чѣмъ статуя со своимъ бронзовымъ тѣломъ и безъ глазъ. Ну чтожь затѣмъ? Остается развѣ еще болѣе приблизить восковую фигуру къ дѣйствительности, заставить ее дѣлать самыя разнообразныя движенія и отвѣчать на ваши вопросы натуральнымъ человѣческимъ голосомъ. Но я убѣжденъ, что и въ такомъ случаѣ, вѣсто цѣльнаго эстетическаго впечатлѣнія, вы вынесете-бы еще въ большей степени тяжелое чувство, въ родѣ кошмара, которое тѣмъ сильнѣе проявилось-бы въ васъ, чѣмъ болѣе механику удалось-бы *обмануть* васъ близостью къ дѣйствительности, заставивши принять восковую фигуру за живого человѣка, а потомъ разочароваться въ это. А главное дѣло, зачѣмъ олять-таки фокусъ: въ то время, какъ при созерцаніи какой-нибудь Велеры Милосской, валъ и въ голову не приходитъ, что художникъ лжетъ, надуваетъ васъ, выдавая вамъ за живого человѣка безглазую статую съ алебастрово-бѣлымъ тѣломъ и съ такими-же бѣлыми волосами, здѣсь напротивъ того, первое представленіе, какое должна возбудить въ васъ поразительная близость восковой фигуры къ дѣйствительности, это—представленіе очень хитраго и искуснаго обмана. Этотъ фокусъ лезить въ существѣ натурализацию, поставленную единственной и спеціальной цѣлью неустоя. Когда художникъ вдохновленъ какою-нибудь правдою жизни, ну хоть наиримѣрь, въ данномъ случаѣ, правдою красоты формъ человѣческаго тѣла, онъ только и стремится къ тому, чтобы выразить эту правду, и образъ его будетъ дышать этою правдою, какъ-бы ни была она относительна и односторонна, и хотя-бы художественный образъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ не имѣлъ ничего общаго съ дѣйствительностью. Если-же художника не поражаетъ никакая реальная, данная, конкретная правда, всегда односторонняя, если подъ правдою онъ подразумѣваетъ только общее, отвлеченное понятіе рабской вѣрности дѣйствительности, въ такомъ случаѣ, каждый разъ, когда будетъ представляться къ этому кака-либо возлможность, у художника должна естественно возникать благородная цѣль своею вѣрностью дѣйствительности обмануть зрителя или читателя, заставивши ихъ забыть, что передъ ними не настоящая дѣйствительность, а только художественно воспронзведенная. Такимъ образомъ мы видимъ, что ложь лезить скорѣе въ основѣ и цѣляхъ излишней погоня за вѣрностью дѣйствительности, а никакъ не въ тѣхъ извѣстнѣйшихъ ей, какія допускаетъ истинное искусство подъ вліяніемъ различныхъ творческихъ экспе-совъ. Не поину 10 или 15, а можетъ быть и всѣхъ

20 лѣтъ тому назадъ, на академической выставкѣ была выставлена однимъ художникомъ картина, изображающая ничего болѣе, какъ задъ картины, т. е. холстъ и сосновыя рамки со шпильками по краямъ. До такой степени это было вѣрно изображено, что посетители выставки, невооруженные каталогами, въ недоумѣніи останавливались передъ этою картиною и спрашивали, за какую это провинность картина обращена передомъ къ стѣнѣ. Вотъ вамъ наглядная эмблема натурализма. Какъ назвать подобную выходку художника: безцѣльнымъ, пошлымъ обманомъ или, напротивъ того, самою реальною правдою жизни?

Обращаясь затѣмъ къ русской словесности, я наиздренъ остановиться главнымъ образомъ на произведеніи А. Потѣхина, романѣ „Между денегъ“, напечатанномъ въ трехъ послѣднихъ книжкахъ прошлаго года „Вѣстника Европы“ и появившемся недавно въ отдѣльномъ изданіи. Но прежде, чѣмъ я приступлю къ главному предмету моего письма, я наиздренъ представить двѣ параллели: одну въ видѣ контраста относительно произведеніи Потѣхина, другую-же, наоборотъ, въ видѣ подобія ему. Это именно—двѣ поэмы Некрасова „Русскія женщины“ и повѣсти Григоровича изъ народнаго быта. Выборъ этихъ произведеній сдѣланъ мной не случайно, несмотря на то, что они относятся, повидному, къ разнымъ эпохамъ и не имѣютъ ничего общаго между собою по своему содержанію. Поэмы Некрасова я избираю на томъ основаніи, что я никакъ не могу припомнить ни одного художественнаго произведенія, вышедшаго въ послѣдніи десять лѣтъ въ нашей печати, которое произвело-бы на публику такое сильное и цѣльное впечатлѣніе и которое вѣстѣ съ тѣмъ было-бы такъ систематически односторонне, какъ именно эти самыя поэмы Некрасова. Что-же касается до Григоровича, я не знаю писателя болѣе подобнаго А. Потѣхину, какъ именно этотъ беллетристъ 40 годовъ.

Начинаю съ поэмы Некрасова. Я уже сказалъ выше, что я не могу припомнить никакого другаго произведенія изъ появившихся въ послѣдніи десять лѣтъ, которое равнялось-бы этимъ поэмамъ по силѣ и цѣльности производимаго или впечатлѣнія. Изъ самыхъ произведеній Некрасова, написанныхъ до и послѣ этихъ поэвъ, вы не найдете подобныхъ ни по классически-строгой, если можно такъ выразиться, художественности. Это превосходство поэмы Некрасова произошло, по моему мнѣнію, не изъ чего иного, какъ изъ того, что предметъ ихъ оказался столь близкимъ и дорогимъ душѣ художника, что всецѣло завладѣлъ имъ, возбудилъ его творчество до высшаго напряженія и заставилъ его забыть все остальное, побочное, все, чѣмъ осложнялся въ свое время этотъ предметъ. Когда вы прочтете эти поэмы, несомнѣнно онѣ произведутъ на васъ впечатлѣніе реальной правдивости, въ васъ не закрадется и тѣни сомнѣнія, что авторъ лжвилъ дѣйствительность, одна ея стороны совсѣмъ опустыла, другія-же выдвинулъ впередъ и представилъ въ нѣсколько преувеличенномъ видѣ. А между тѣмъ, при всей реальной правдивости поэмы, авторъ все это продѣлалъ: не то, чтобы самъ онъ все это искусственно, преднаиздренно продѣлалъ, но какъ-то это само все совершилось силою его творческаго наоса.

Цѣль поэмъ Некрасова заключается въ томъ, чтобы выставить въ наиболѣе яркомъ свѣтѣ героизмъ тѣхъ нашихъ доблестныхъ соотечественницъ 20-хъ годовъ, которыя, покидая весь комфортъ роскошной жизни, всѣ прелести и приманки большаго свѣта, отправлялись за своими мужьями, раздѣлить ихъ суровую каторжную, казематную жизнь въ далекихъ и глубокихъ сѣбгахъ Сибири. И поэмы съ такою исключительностью направлены къ этой цѣли, что не найдете вы въ нихъ ни одной черты, ни одного стиха, которые были-бы лишни, побочны, были-бы сами по себѣ и отвлекали-бы отъ главной цѣли поэмъ куда-нибудь совсѣмъ въ сторону. Каждая сцена, каждая деталь въ нихъ словно нарочно подобраны въ такомъ родѣ и духѣ, чтобы наиболѣе достигнуть цѣли выставленія героинь поэмъ въ наиболѣе обильнѣйшемъ цвѣтѣ и величавомъ видѣ. Таковы контрасты золотыхъ сновъ и воспоминаній о прежней роскошной и веселой жизни, о молодости, балахъ, путешествіяхъ съ милымъ по южнымъ странамъ — съ печальной дѣйствительностью безконечнаго пути по унылымъ сибирскимъ сугробамъ, картина сибирской вьюги и почлега въ хатѣ дѣснака извѣженной львицы, въ углу на морзлой и жесткой цыновкѣ, разсказъ о всей трудности семейной борьбы, выдержанной несчастной женщиной, сцена прощанья съ сыномъ, проводовъ, сцена уговариванья со стороны губернатора и самоотверженной готовности продолжать путь пѣшкомъ, съ колодниками по этапу, и проч., и проч. Переберите вы всѣ эти сцены подъ рядъ, и вы убѣдитесь, что единственная и главная сторона, которая выступаетъ въ нихъ на первомъ планѣ, это — доблесть и сила самоотверженія выводимыхъ передъ вами героинь. Но развѣ одною этою стороною вполне исчерпываются онѣ? Вы подумайте только: сколько другихъ сторонъ долженъ былъ-бы Некрасовъ освѣтить и очертить передъ нами, если-бы онъ вздумалъ гнаться за всестороннею вѣрностью дѣйствительности? Обратите вниманіе хотя-бы на то, что героини его мыслятъ, говорятъ и дѣйствуютъ совершенно подобно тому, какъ-бы стали мыслить, говорить и дѣйствовать лучшія и образованнѣйшія женщины того-же круга въ наше время. А между тѣмъ, въ поэмахъ представляется прошлое, отстоящее отъ нашего времени на цѣлое столѣтіе. Въ это время общій колоритъ нравовъ, складъ и умственныхъ, и нравственныхъ качествъ людей, захваченныхъ струей цивилизаціи, усильи значительно видоизмѣнились. Такъ, наприимѣръ, намъ извѣстно, что 50 лѣтъ тому назадъ, въ высшихъ слояхъ общества, которые въ то время представлялись и образованнѣйшими слоями, были въ большой модѣ приторный сентиментализмъ и напускная экзальтація. Правда, что мужчины начинали въ значительной степени уже освобождаться отъ этихъ свойствъ вѣка и проникаться байроновскимъ романтизмомъ, но великосвѣтскія женщины, которыя въ то время, по своему умственному развитію, стояли далеко позади своихъ мужей, все еще были пропитаны и сентиментальности, и экзальтаціи. Качества эти, въ то время, не только не считались чѣмъ-либо позорнымъ и сѣбшнымъ, но напротивъ того, выставались на показъ и преувеличивались, потому что ими гордились, какъ признаками высшаго развитія

и избранной натуры. Но тѣмъ не менѣе, въ нашихъ глазахъ они неизбежно придаютъ смѣшной колоритъ женщинамъ начала пышнѣйшаго столѣтія не только въ мелочахъ ихъ обыденной жизни, въ родѣ проливанія горькихъ слезъ падъ раздавленной божьей коровкой, но и въ болѣе крупныхъ, роковыхъ и высокыхъ эпопеяхъ жизни ихъ, гдѣ вышепомянутые признаки вѣка проявлялись, конечно, еще въ болѣе рѣзкихъ чертахъ. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что и стремленіе къ мужьямъ въ ссылку въ Сибирь, изъ какихъ-бы высокыхъ и святыхъ побужденій оно ни происходило и каковы-бы ореоломъ героизма ни было окружено, тѣмъ не менѣе и оно, по всей вѣроятности, сопровождалось не малымъ дозою варывовъ сентиментальности и экзальтаціи. Или вотъ вамъ и другая еще черта вѣка: извѣстно, что великосвѣтскіе люди начала пышнѣйшаго столѣтія отличались безумнымъотовствомъ, доходившимъ иногда до послѣднихъ предѣловъ вѣроятія. Женщины-же того времени превосходили, конечно, въ этомъ отношеніи мужчинъ, потому что мужчины котали только изъ одной барской прихоти и самодурства, женщины-же, сверхъ того, слѣпо бросали деньги, потому что были по своему воспитанію безусловно лишены какой-бы то ни было знанія практической жизни, существовавшихъ въ то время отношеній, цѣны на различныя предметы, чѣмъ, конечно, пользовались со всѣхъ сторонъ и надували барыни самыя чудовищныя образы, бери съ нихъ сотни и тысячи рублей тамъ, гдѣ слѣдовало-бы платить копейками. Отъ такого недостатка, конечно, не были изъяты и героини наппи, и надо положить, что долгое и трудное путешествіе ихъ въ Сибирь не обошлось безъ цѣлаго ряда сценъ и комическихъ, и жалкихъ въ этомъ родѣ. Но крайней мѣрѣ, вотъ что мы читаемъ по поводу женъ декабристовъ въ запискахъ Черепанова (см. „Древняя и Новая Россія“, № 7 1876 г.): „Дамы, какъ называютъ здѣсь женъ декабристовъ, разсыпали по здѣшней мѣстности кучи денегъ, съ такою щедростью, что я самъ однажды получилъ отъ книгини Трубецкой пять рублей за очинку ей пера (тогда не было еще стальныхъ перьевъ). Это обстоятельство выдвинуло смѣлливыхъ людей изъ ничего на степень богачей. Такъ разжился мясникъ Вфремовъ, ссыльно-каторжникъ\* и т. д. Хотя, конечно, сибирскій казакъ Черепановъ — не ахти какой авторитетъ относительно достоверности сообщаемыхъ имъ свѣдѣній, и въ той-же „Древней и Новой Россіи“, номера за 2, за 3, были улнченъ въ сообщеніи невѣрныхъ свѣдѣній, именно относительно декабристовъ; но если допустить даже, что онъ все это выдумалъ, то выдумалъ довольно правдоподобно, не въ частности, такъ въ общемъ. По крайней мѣрѣ, я вполне готовъ вѣрить, что различнымъ сибирскимъ плутамъ, въ родѣ хотя-бы мясника Вфремова, выставленнаго Черепановымъ, пріѣздъ женъ декабристовъ былъ очень съ руки.

Представьте-же вы теперь, что Некрасовъ, изъ желанія воспроизвести личности изображенныхъ женщинъ какъ можно всесторонне и ближе къ дѣйствительности, не успѣлъ-бы придать имъ значительный отбѣнокъ сентиментальной экзальтаціи и вѣсѣ съ тѣмъ ребяческой непрактичности, заставлявшей ихъ сорить деньгами безъ всякаго расчета и ифры,

да ужь кстаги, прибавилъ-бы нѣсколько дозъ велико-свѣтской щепетильной гордости, отъ которой онѣ, по старой привычкѣ, никакъ не могли сразу отрѣшиться къ своему новому положенію и которая, принося нѣмало мѣлъ мелкіхъ терзаній и уяловъ, омрачала и безъ того нерадостную жизнь ихъ. Относительно полноты и всесторонней вѣрности дѣйствительности, произведе-ніе, конечно, выиграло-бы, но выиграло-ли бы оно въ достиженіи существенной сцены цѣли: увлеченія чита-теля картиною нравственной доблести героини по-эмы? Въ томъ-то и дѣло, что въ этомъ именно, въ са-момъ-то главномъ, оно и проиграло-бы. Теперь чита-тель выноситъ изъ него одно цѣльное, ничѣмъ нена-рушаемое впечатлѣніе, въ видѣ чувства восторга и нѣсть съ тѣмъ глубокой жалости къ судьбѣ героини, а тогда эта цѣльность нарушилась-бы: читатель вы-несъ-бы неопредѣленное чувство изъ нѣсколькихъ смѣ-шанныхъ впечатлѣній, изъ которыхъ одно парализо-вало-бы другое: хотя съ одной стороны героини и за-служивали-бы поклоненія за свой подвигъ, но съ дру-гой—были-бы нѣсколько и смѣшны своею сентимен-тальностью, а съ третьей, возбудили-бы и отвращеніе антипатичными чертами своей великосвѣтскости—въ родѣ надутости, щепетильной гордости, непрактичности, кокетства и пр. Такимъ образомъ и здѣсь, въ поэмахъ Некрасова, мы видимъ тотъ-же законъ обратно про-порциональнаго отношенія всесторонней вѣрности дѣй-ствительности къ силѣ впечатлѣнія, возбуждаемаго произведеніемъ. Нетрудно при этомъ доказать, что если-бы, въ другомъ случаѣ, тотъ-же Некрасовъ взду-малъ-бы представить намъ весь комизъ сентимен-тальной экзальтаціи, всю нелѣпость безумнаго готов-ства нашихъ отцовъ и дѣдовъ или всю несообразность и дикость того ребяческаго незнанія жизни, которымъ наши бабушки гордились, то опять-таки и въ такомъ случаѣ большаго успѣха онъ достигъ-бы въ своемъ произведеніи только тогда, когда все вниманіе чита-телей исключительно обратилъ-бы на эти выставляе-мые недостатки. Конечно, при этомъ было-бы совер-шенно лишнее заставлять героевъ или героинь сверхъ всего совершать какіе-бы то ни было подвиги самоот-верженія, и было-бы величайшею художественною ошибкою и чистѣйшимъ абсурдомъ въ видѣ сентимен-тально-экзальтированныхъ, безумно-расточительныхъ и дѣтски непрактичныхъ барынь изобразить вдругъ доблестныхъ женъ декабристовъ.

Но можно предположить, что Некрасовъ въ поэмахъ своихъ представилъ дѣйствительность не только край-но-односторонне, но и преувеличенно. Я убѣжденъ, по крайней мѣрѣ, что всѣ эти ярія, изгетическія, по-грисающія васъ сцены, каковы, наприимѣръ, сцены свиданія съ мужемъ въ темницѣ, губернаторскаго уго-вариванія, поименія въ рудникахъ—въ дѣйстви-тельности далеко не были столь ярки и потрясающи и носили тотъ колоритъ свѣрской заурядности, какой носить наша русская жизнь во всѣхъ своихъ прояв-леніяхъ, начиная отъ самыхъ низкихъ и коическихъ и до преисполненныхъ высокаго трагизма. Такъ, на-приимѣръ, возьмите вы хотя-бы сцену свиданія въ тем-ницѣ. Желѣзная, ищущая такого свиданія, является у насъ обыкновенно не иначе, какъ въ видѣ хлопот-ливой просительницы въ пріемныхъ людей, власть иму-

щихъ, а затѣмъ слѣдуютъ и самыя свиданія, мало чѣмъ отличающіяся отъ заурядныхъ, будничныхъ по-сѣщеній страждущихъ родныхъ въ больницахъ, при-чемъ, и не спорю, бываютъ и слезы, и патетическія сцены, но преобладаютъ, конечно, самыя будничныя хлопоты о снабженіи заключеннаго деньгами и разны-ми необходимыми продуктами. И опять-таки, я спра-шиваю у васъ: неужели поэмы Некрасова выиграла-бы, если-бы онѣ вздумали недантически соблюдать бук-вальную вѣрность дѣйствительности и наполнить-бы сцену свиданія разговорами кнарины съ мужемъ о томъ, хорошо-ли его кормятъ и не пугается-ли онѣ въ спа-рахъ или чистомъ бѣльѣ, и т. п.?

Вы сдѣлаете мнѣ, быть можетъ, такое возраженіе, что, положимъ, Некрасовъ имѣлъ свою специально-одностороннюю цѣль изобразить своихъ героинь толь-ко въ моменты совершенія или ихъ высокаго подвига; но развѣ иной художникъ не могъ-бы задаться попыт-кою объективнаго всесторонняго воспроизведенія дан-ной дѣйствительности не съ какою-нибудь цѣлю, какъ лишь съ тою, чтобы воспроизвести передъ нами ту или другую эпоху во всѣхъ ея хорошихъ и дурныхъ чертахъ, воскресить ее передъ нами во всѣхъ ея крас-кахъ? Неужели-же я отрицаю историческій романъ, да и вообще всякій романъ, какъ эпоху современной или прошлой жизни? Нѣтъ я все это допускаю, но я отри-цаю только объективно-безстрастное отношеніе худож-ника къ изображаемой имъ дѣйствительности, то объ-ективное безстрастное отношеніе, при условіи котораго только и возможно вполнѣ вѣрное и всестороннее из-ображеніе дѣйствительности. Такого рода отношеніе художника къ изображаемымъ явленіямъ совершенно, по моему мнѣнію, выходитъ изъ области искусства въ его истинномъ смыслѣ. Это вовсе не художественное творчество, а техника, ремесло. Изображенія подобна-го рода могутъ блистать своего рода совершенствами, но совершенства эти будутъ именно *своего рода*, не имѣющія ничего общаго съ совершенствами истинно-художественныхъ произведеній. Здѣсь мы будемъ имѣть дѣло съ совершенствами чисто техническими: съ вѣрными и зоркими глазами, умѣемъ схватывать колоритъ предметовъ, всѣ малѣйшіе оттѣнки ихъ и правильно разставлять подробности и пр., и пр. Но здѣсь и рѣчи не можетъ быть о истинныхъ, высшихъ задачахъ искусства—увлечать читателей изображае-мыми явленіями жизни, возбуждать въ нихъ тѣ или другіе страстные импульсы, заставлять ихъ не однимъ воображеніемъ и мыслию, но всѣмъ существомъ пере-живать изображаемую жизнь. Подобныя изображенія, наконецъ, могутъ приносить свою пользу, но и польза ихъ совершенно своя, особенная, научно-прикладная, служебная. Романы, все равно изъ исторической или современной жизни, не имѣющіе иной цѣли, какъ толь-ко объективно-всестороннее изображеніе жизни, вполнѣ и пользы атласамъ географическимъ, ботаническимъ, зо-ологическимъ и т. п. Всѣ подобныя атласы тоже могутъ имѣть свои технически-художественныя совершенства въ смыслѣ вѣрности изображенія, изящества отдѣлки и т. п. Но, какъ-бы ни были прекрасно изображены въ нихъ цвѣты, поштан, обезьяны или цѣлыя части свѣта, вѣдь не сравните-же вы ихъ съ лучшими со-

здалими живописнаго творчества и будете смотрѣть на нихъ вовсе не въ художественныхъ интересахъ въ видѣ возбужденія въ себѣ какихъ-либо страстныхъ импульсовъ, а съ чисто научно-цѣлюю помощью своей памяти и воображенію путемъ живаго и нагляднаго представленія изучаемыхъ предметовъ. Но развѣ массы романовъ на всѣхъ языкахъ не ограничиваются преслѣдованіемъ столь-же чисто научно-прикладной цѣли помогать нашему воображенію и памяти при изученіи явленій жизни исторической или современной? Что иное можетъ принести вамъ чтеніе „Князя Серебрянаго“ г. А. Толстого, какъ не наглядное представленіе эпохи Іоанна Грознаго? Или съ какими нибудь побужденіемъ можете вы приняться за чтеніе романа „Въ дѣсахъ“ Печерскаго, какъ не для того, чтобы узнать, какъ живутъ раскольники въ костромскихъ дѣсахъ, и прибавить нѣсколько лишнихъ представленій въ сокровищницу своей памяти? Я и не думаю, такимъ образомъ, отрицать ни значенія, ни пользы всѣхъ подобныхъ произведеній, но только не воображайте, чтобы они въ свою очередь были продуктами художественнаго творчества, не считайте ихъ произведеніями искусства въ строгомъ смыслѣ этого слова, и не сбивайте въ одну неопредѣленную кучу съ истинными перлами художественныхъ созданій, и притомъ дѣлайте такое строгое разграниченіе вовсе не ради установленія какой-либо іерархіи въ области искусства, возвеличенія однихъ произведеній насчетъ другихъ, а чисто въ виду ясности сознанія, что вотъ-могутъ эти вещи принадлежать къ одной категоріи, а тѣ совсѣмъ къ другой, хотя и тѣ, и другія, конечно, могутъ быть въ своей области болѣе или менѣе совершенны: ботаническій атласъ можетъ быть не въ примѣръ совершеннѣе, какъ атласъ, чѣмъ иной художественный ландшафтъ, какъ ландшафтъ; но тѣмъ не менѣе, атласъ пусть остается атласомъ, а ландшафтъ — ландшафтомъ.

При этомъ нужно обратить вниманіе и на то, что присутствіе художественно-творческаго отношенія къ дѣйствительности въ произведеніи или-же отсутствіе его не всегда зависятъ отъ одного количества творческихъ силъ, вложенныхъ въ писателя судьбою. Здѣсь играть большую роль также и напряженіе этихъ силъ, которое независимо отъ ихъ количества можетъ въ данномъ случаѣ имѣть большую или меньшую степень. Если предметъ, съ которымъ имѣетъ дѣло писатель, совершенно чужды ему, онъ относится къ нему вполнѣ индифферентно, никакая сторона этихъ предметовъ особенно не задѣваетъ его за живое, не волнуетъ, не трогаетъ, то, конечно, можно ожидать, что писатель, какими-бы громадными талантомъ ни обладалъ, будетъ относиться къ нимъ скорѣе какъ художникъ-техникъ, чѣмъ какъ художникъ-творецъ. У него, безъ сомнѣнія, тотчасъ-же должно явиться стремленіе обрисовывать эти предметы со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ ихъ мелочахъ, именно въ силу того, что всѣ стороны для него одинаково замѣчательны и незамѣчательны, а съ другой стороны, при такомъ хладнокровіи, онъ обаяется способнымъ обратить вниманіе на такія не стоящія вниманія мелочи, изъ-за которыхъ, конечно, совершенно опустилъ-бы въ виду въ порывѣ страстнаго экстаза. Въ результатѣ должно

выйти произведеніе, загроможденное ненужными подробностями, безчувственно и безсердечно холодное, не представляющее никакой основной и разумной цѣли, которая-бы двигала авторомъ, не дающее никакого цѣльнаго впечатлѣнія и, въ концѣ-концовъ, несмотря на то, что предметы въ немъ обрисованы, по-видимому, мастерскою кистью, со всѣхъ сторонъ и съ самыми мелочными подробностями, вы вынесете о нихъ темное, неопредѣленное и сбивчивое понятіе, если только рагѣе и поимно произведенія вы не успѣли составить о нихъ болѣе яснаго понятія. Какъ въ образцы такого явленія мы можемъ указать на массу бюллетенистическихъ произведеній, представляющихъ жизнь слоенъ общества, совершенно чуждыхъ авторамъ и съ которыми послѣдніе имѣютъ очень мало точекъ соприкосновенія. Таковы, напримѣръ, романы повѣсти, очерки изъ жизни крестьянъ, мѣщанъ и купцовъ. Какъ хотите, а только этимъ можно объяснить, что въ массѣ всѣ подобныхъ произведенія, несмотря на гуманное отношеніе къ героямъ со стороны авторовъ, поражаютъ насъ своею холодною объективностью, фотографичностью, полнымъ отсутствіемъ того живого, непосредственнаго отношенія къ изображаемымъ предметамъ и того горячаго одушевленія, какими бывають проникнуты повѣсти, изображающія жизнь и нравы интеллигентныхъ классовъ общества. Такъ, напримѣръ, возьмите хотя-бы романы и повѣсти Григоровича изъ крестьянскаго быта. О нихъ существовало одно время, дѣтъ десять или пятнадцать тому назадъ, ложное предубѣжденіе, не знаю какъ какъ возникшее, что будто въ повѣстяхъ этихъ изображены не настоящіе русскіе мужики, а нѣчто въ родѣ пейзажъ романовъ Жоржъ-Занда. Не знаю, можетъ быть, въ большихъ романахъ Григоровича, въ родѣ „Рыбаки“ или „Переселенцы“, вы и найдете двѣ-три фигуры, смахивающія на пейзажъ, но въ большаго случаевъ и особенно въ мелкихъ разказахъ Григоровича русскіе мужики являются вполнѣ похожими на настоящихъ и чистокровныхъ мужиковъ, со всеми мелкими деталями ихъ быта, въ чемъ я вполнѣ убѣдился, перечитавши недавно подъ радъ всѣ произведенія Григоровича въ этомъ родѣ. Отношеніе автора къ героямъ безхитростно простое, гуманное, въ то-же время безъ малѣйшей какой-либо напускной сентиментальности или идеализаціи. Рядомъ съ хорошими чертами крестьянскаго быта не упущена и масса дурныхъ. Вообще и не нашелъ почти никакой существенной разницы между этими повѣстями и современными намъ изображеніями крестьянскаго быта. Но меня поразила вотъ какаа особенность во всѣхъ этихъ разказахъ: надо замѣтить, что большая часть ихъ тенденціозны, стремятся выставить, что терпятъ крестьяннѣ подъ гнетомъ крѣпостнаго права. Съ этою цѣлю авторъ избираетъ иногда вполнѣ драматическіе сюжеты, каковы, напримѣръ сюжетъ повѣсти „Антонъ-горемыка“. Последній сюжетъ до того подкупилъ и увлекъ Бѣлинскаго, что тотъ поставилъ повѣсть эту превыше всего, что появилось въ то время въ литературѣ въ этомъ родѣ. „Несмотря на то, — говоритъ Бѣлинскій: — что вымышленна сторона разказа вертнется на пропакѣ мужицкой лошадаенки; несмотря на то, что Антонъ — мужикъ простой, вовсе не въ бой-

вѣхъ и хитрыхъ, — онъ лицѣ трагическое, въ полномъ значеніи этого слова. Это — повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснится мысль грустная и важная\*, и пр.

Я нисколько не ставлю Бѣлинскому въ вину подобный приговоръ, но все-таки мнѣ кажется, что въ лицѣ Бѣлинскаго, публицистъ преобладаетъ надъ критикомъ. Попробуйте перечитать эту повѣсть, и вы увидите, что сюжетъ ея самъ по себѣ действительно драматическій и трогательный, и нельзя сказать, чтобы былъ совсѣмъ отжившій для нашего времени: стоитъ только замѣнить въ немъ барскаго управляющаго сельскими властями, становимъ и судобнымъ приставамъ — и онъ можетъ получить вполне современное значеніе. Но странно, сужденіе наше о драматичности разсказа будетъ чистое разсудочно-логическое, и трогательный сюжетъ ни мало не тронетъ насъ; дочитавъ повѣсть до конца, вы останетесь точно также апатично-спокойны, какъ будто прочли вовсе не о бѣдствіяхъ Антона-горемыки, а рядъ художественныхъ картинъ, выставленныхъ прелесть и красоту сельской природы. Оно такъ и есть: вы, собственно говоря, это самое и прочли и одними прелестями, и ароматами сельской природы вы и должны были впечатлѣться. Дѣло въ томъ, что передъ вами вовсе не художникъ-публицистъ и драматургъ, который такъ глубоко былъ-бы взволнованъ судьбою Антона-горемыки, что вздумалъ-бы выставить на первый планъ и поразить васъ всею оскорбительностью бѣдствій героя. Нѣтъ, передъ вами художникъ-жанристъ, который, хотя поставилъ въ основѣ разсказа драматическій сюжетъ, заплятивъ имъ дань вѣку, но въ сущности сюжетъ этотъ послужилъ ему ничѣмъ болѣе, какъ лишь канвою для вышиванія своихъ любимыхъ узоровъ. Но подумайте, развѣ вы заботитесь о канвѣ, когда любуетесь вышивкою? Очевидно, что одинъ узоръ только и привлекаетъ все ваше вниманіе. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: авторъ нанизываетъ такую массу мелкихъ, иногда поразительно-микроскопическихъ деталей различныхъ оттѣнковъ сельской природы — во всѣхъ четырехъ временахъ года, въ полдень, въ полночь, вечеромъ и утромъ на разсвѣтѣ, въ лѣсу, въ полѣ, въ селѣ и въ хатѣ мужика, что идѣ уже тутъ проникаться бѣдствіемъ Антона-горемыки, когда васъ только и хватаетъ на то, чтобы любоваться, какъ «кругомъ въ лѣсу царствовала тишина мертвая; на всемъ лежала печать глубокой, суровой осени; листья съ деревьевъ падали и влажными грудями устилали застывавшую землю; вѣду чернѣлись голые стволы деревьевъ\* и пр. и пр., или какъ «возъ, навьюченный красноватымъ и спатымъ хворостомъ, медленно выѣзжалъ изъ лѣсу, скрививъ и покачиваясь изъ стороны въ сторону, какъ бы изловчался сбросить съ себя при первомъ кособоку лишнюю тяжесть\* и пр. и пр.... Вообще любая повѣсть изъ народнаго быта Григоровича производитъ впечатлѣніе путешествія по картинной галлерей пейзажей и жанра. Вы только и дѣлаете, что переходите отъ одной картинки въ другую: тамъ вы находите, что колоритъ слишкомъ ярокъ, здѣсь, что, вопреки того, положено много тѣнъ, въ третьемъ мѣстѣ васъ восхищаетъ ансамбль крестьянскихъ дѣ-

пушекъ, очень удачно, картинно и типично сгруппированныхъ вокругъ воза коробейника, въ четвертомъ васъ поражаетъ наблюдательность художника, съумѣвшаго поддѣлать удивительно тонкій оттѣнокъ природы или жизни и пр. и пр. Въ результатѣ же, какъ и послѣ каждаго долгаго путешествія по заламъ музеевъ и выставокъ, должна получиться радость съ физическою усталостью и нѣкоторая нервная осконина. Очевидно, что тутъ ужъ вамъ будетъ не до бѣдствій Антона-горемыки: закружится просто голова отъ излишества сельскихъ пейзажей и ароматовъ, и вы начнете въ угнетеніи перевертывать страницу за страницей, въ нетерпѣнн ожидая, что когда же все-му этому будетъ конецъ?

Въ этомъ отношеніи повѣсти Григоровича изъ народнаго быта могутъ служить вамъ прекрасными образцами, показывающими, что выходитъ изъ того, если художникъ преслѣдуетъ въ своемъ произведеніи разномъ нѣсколько цѣлей, не сосредоточиваясь исключительно ни на одной. Очевидно, что въ такомъ случаѣ онъ или не достигаетъ ни одной изъ нихъ, и произведеніе его будетъ производить неопредѣленное и смѣшанное впечатлѣніе, или же въ результатѣ окажется перевѣсъ за тою цѣлю, достиженіе которой болѣе интересуетъ художника, ближе его душѣ, сообразнѣе свойствамъ его таланта и складу его характера подъ влияніемъ воспитавшихъ его условій среды и вѣка. Такъ вотъ и въ данномъ случаѣ: художникъ-пейзажистъ и жанристъ вытѣснилъ художника публициста, вълѣдствіе того, что стороны сельской жизни, которыя болѣе всего занимали Григоровича и возбуждали его поэтическое творчество, встали на первый планъ и заслонили собою тѣ иныя стороны быта мужика, которыя Григоровичъ постигалъ только головою. Однимъ словомъ, здѣсь случилось нѣчто аналогическое съ тѣмъ, что происходитъ при различныхъ химическихъ опытахъ, въ родѣ, напри- мѣръ, разложенія воды — при чемъ вещества, излю- щившія химическое сродство съ водородомъ, соединяются съ нимъ и освобождаютъ кислородъ, и обратно.

Но сочиненія Григоровича поучительны для насъ въ данномъ случаѣ не только сами по себѣ. Они могутъ служить подтвердительными фактами при нашемъ дальнѣйшемъ анализѣ новаго романа А. Потѣхина, потому что представляютъ изъ себя явленія, вполне аналогичныя какъ съ этимъ романомъ, такъ и со многими произведеніями А. Потѣхина. Въ самомъ дѣлѣ, трудно смыска въ нашей литературѣ двухъ писателей, столь схожихъ по своей литературной дѣятельности, какъ Григоровичъ и А. Потѣхинъ. Одинъ словно служитъ дополненіемъ и продолженіемъ другого. Правда, что между ними найдете вы кое-какую и разницу: такъ, Григоровичъ покажется вамъ, конечно, талантливѣе и умнѣе А. Потѣхина; онъ не задается съ такою беззаветною пошлостью сентенціями прописной морали, какъ это бывало зачастую съ А. Потѣхинымъ; въ тоже время онъ отличный пейзажистъ, тогда какъ Потѣхинъ совсѣмъ не обладаетъ этимъ даромъ, и въ его произведеніяхъ вы почти не найдете ни одного описанія природы. За то, въ то время, какъ Григоровичъ ограничивается однимъ только помѣщиками и крестьянами, Потѣхинъ

сверхъ того, изображаетъ купеческій и мѣщанскій бытъ; Григоровичъ подвизается исключительно въ области романа и повѣсти, тогда какъ Потѣхинъ, сверхъ того, извѣстенъ и какъ драматическій писатель. — Вотъ и все, чѣмъ эти два писателя отличаются другъ отъ друга. Но за то въ существенномъ они вполне сходятся: именно, оба представляются самими ревностными приверженцами натурализма. Оба — жалятся съ ногъ до головы, и какими-бы сюжетами для повѣсти или романа ни задались, заботятся не столько о набобѣ сильномъ выполненіи сюжета, сколько о томъ, какъ-бы очертить каждый встречающійся въ повѣсти предметъ со всѣхъ сторонъ, какъ-бы не опустить ни малѣйшей подробности, и какъ у одного, такъ и у другого произведенія вѣдствіе этого распадаются на массы мелкихъ жанровыхъ картиночекъ, разглядываніе которыхъ заставляетъ васъ совершенно забывать о главномъ содержаніи произведенія.

Въ этомъ отношеніи, къ новому роману Потѣхина совершенно можно приписать то, что я говорилъ объ „Автоп-горемыкѣ“ Григоровича. Въ основѣ романа лежитъ сюжетъ, самъ по себѣ исполненный печальнаго трагизма. Но, когда вы читаете романъ, трагизмъ этотъ нисколько не трогаетъ васъ; вы находите даже въ недоумѣніи: зачѣмъ это авторъ повѣствуетъ намъ о какихъ-то грязныхъ любовныхъ шашняхъ, какія ежедневно заводятся на заднихъ дворахъ помѣщичьихъ усадебъ или купеческихъ фабрикъ, не столько изъ потребности любви, сколько изъ жажды поживиться на счетъ предмета страсти? Только, когда вы дочитаете романъ до конца, и сюжетъ его развернется передъ вами во всей полнотѣ, вы, наконецъ, сообразите, что въ основѣ романа лежитъ цѣлая трагедія. Но вы сообразите это только своимъ разсудкомъ и въ тоже время останетесь совершенно равнодушны къ судьбѣ дѣйствующихъ лицъ, точно будто романъ окончился общимъ благополучіемъ или, еще того лучше, ровно ничѣмъ не кончился, а между тѣмъ, въ результатѣ получается одна разбитая жизнь и одинъ новый кулакъ на Русь, разбитый самымъ возмутительнымъ образомъ. Этотъ недостатокъ сильного и цѣльнаго впечатлѣнія завистъ, по моему мнѣнію, отъ двухъ причинъ: съ одной стороны, отъ излишняго нагроможденія всевозможныхъ деталей, отвлекающихъ вниманіе читателя отъ главнаго содержанія романа и, въ концѣ-концовъ, утомляющихъ его, а съ другой стороны — отъ неправильнаго освѣщенія дѣйствующихъ лицъ романа, оттого, что автору, вѣдствіе холоднаго безучастія къ своимъ героямъ, не удалось измѣнить изображаемую дѣйствительность, выдвинувши впередъ такіа стороны, какія были нужны сообразно характеру сюжета.

Для того, чтобы это вполне было ясно читателю, я попробую извлечь сюжетъ изъ всего загроможденнаго его хлама и представить его въ самомъ ясномъ видѣ, обративши вниманіе только на тѣ его стороны, въ которыхъ онъ выступаетъ во всемъ своемъ драматизмѣ. А затѣмъ, мы посмотримъ, что сдѣлалъ изъ него Потѣхинъ.

На первомъ планѣ романа рисуется передъ нами

семейство Терентья Савельевича Скоробогатаго, богатаго крестьянина деревни Сногицево, записанаго въ купеческой гильдіи, владѣльца небольшой ткацкой фабрики и кабачнаго заведенія. Это былъ сѣдой, но бодрый еще старикъ, съ черными живыми глазами, блестящими изъ подъ нависшихъ, вѣчно хмурыхъ бровей; онъ смѣлъ человѣкомъ скушать, наладить, непривѣтливомъ. Отъ сельчанъ своихъ стоялъ въ сторонѣ и не сблизался съ ними, смотря на нихъ свысока, какъ на своихъ фабричныхъ работниковъ; богачи-фабриканты, съ своей стороны, также смотрѣли на него свысока и не психодили до хорошаго знакомства съ нимъ; бѣдной родни своей онъ дичился, какъ чужбѣ богатый и скупой, да къ тому же и непривѣтливый, а съ родней новостенъ, взятой изъ небогатаго купеческой семьи сосѣднаго города, онъ не задумывалъ изъ-за расчетовъ о приданомъ. Вѣдствіе этого, Скоробогатый жилъ одиноко, и даже въ храмовой праздникъ, когда все село шумно паровало и принимало гостей со всего околотка, у него не было никакихъ гостей и ворота его были на запорѣ.

«Несмотря на то, читаемъ мы въ романѣ, что у Терентья Савельевича считали не одинъ десятокъ тысячъ закладнаго капитала и оборотъ его фабричныхъ заведеній шелъ также на десятки тысячъ, онъ жилъ совсѣмъ по-мушкетеру: прилуги почти не держалъ, прибрала въ домъ и кушанье етрапала его сестра, самъ онъ не глумился и задать корма лошади, и заложить ее, если отъ фабрики жалбось оторвать рабочаго, а нужно было куда-нибудь ѣхать. Все семью онъ держалъ въ великомъ страхѣ и послушаніи. Тринадцатилѣтній сынъ исполнялъ только его приказанія, самодично не могъ ничѣмъ распорядиться и былъ у отца, какъ говорится, на помыслахъ, несмотря на то, что въ послѣднее время старикъ какъ будто меньше сталъ заниматься дѣломъ, рѣдко ходилъ на фабрику и больше все сидѣлъ дома — деньги сторожилъ, какъ говорили въ деревнѣ. Сестра старика, Анфиса, была совсѣмъ ходячей женщиной, разъ заведенной и нушеной въ ходъ для веденія всего домашняго хозяйства, неимѣнно по однажды заведенному порядку. Дочь Степанида Терентьевна, молчаливая, етепенная, скопидомка и боготомка, пользовалась еще нѣкоторымъ влияніемъ на отца, но и это влияние значительно уменьшилось съ тѣхъ поръ, какъ братъ женился и привезъ въ домъ невестку. Эта послѣдняя, блѣлая, румяная, тучная сопливая, была любимшей старика и могла называться настоящей хозяйкой, потому что дѣлала, что хотѣла или, лучше сказать, вовсе ничего не дѣлала, но перѣдко ломалась и капризничала надъ всей семьей, и старикъ терпѣливо переносилъ ся капризы».

Познакомившись въ главныхъ чертахъ съ членами семейства Скоробогатаго, теперь мы обратимъ все вниманіе на дочь Скоробогатаго Степаниду Терентьевну, которая и является главною героиней нашего романа. Степанида осталась послѣ матери 14 лѣтъ в самые юные годы свои провела въ полнѣйшемъ уединеніи и одиночествѣ. Братъ былъ моложе ея только двумя годами, но онъ былъ постоянно занятъ на заводѣ, и она рѣдко его видѣла. Только утрюмый и мелодичный отецъ, да тетка Анфиса, послѣ смерти матери привившая въ свои руки хозяйство, дѣлили ея одиночество. Степанида не знала веселья деревенской жизни, не имѣла подружки, не ходила на гулянья или на посѣдки, не водила хорошедовъ, не пѣла пѣсенъ. Отецъ, старавшійся стать въ позицію купца,



не хотѣлъ позволить ей никакого сближенія съ простыми деревенскими дѣвками; притомъ, хотя и правослаивный, онъ былъ воспитанъ въ духъ старой вѣры, которой придерживались его родители, и считалъ всякое веселье бѣсовскимъ наводненіемъ и великимъ грѣхомъ. Остались Степанида въ дѣвкахъ и не вышла замужъ, благодаря зломъ отца. Послѣ жены, Терентій Савельичъ привыкъ къ постоянному присутствію дочери: она ему наливала чай, укладывала его спать, шила ему рубашки, съ нею онъ иногда отъ скуки перекидывался словами, другимъ. Не малую роль при этомъ играла и скупость Терентія Савельича: женихи являлись и изъ купеческаго звана, кавказали и свахи, но никогда не могли добиться лишняго—никакого опредѣленнаго обѣщанія на счетъ приданаго. Особенной красотой Степанида не отличалась и вообще была не въ купеческомъ вкусѣ: слишкомъ суха, неглубока, очертанія лица рѣзкія, мужественныя, глаза очень выразительныя, но строгія, непривѣтливыя; ни особенной бѣлизны, ни румянца. Понятно, что не нашлось ни одного жениха, который, несмотря на опасность ничего не получить болѣе существеннаго, рѣшился-бы добиваться ея руки. Какъ бы то ни было, по наступило время, когда Степанида перестала считать себя невѣстой и остановилась на мысли, что должна остаться вѣкъ своей въ дѣвкахъ; тогда появилась въ ней склонность къ богомолью, убѣжденіе, что она предназначена служить Богу, быть Христовой невѣстой. Это богомолье главнымъ образомъ выражалось въ томъ, что она сдѣлалась первою начетчицей въ селѣ и передъ каждымъ праздникомъ непременно уже читала канони и акафисты въ сельской часовнѣ, участвовала въ разныхъ крестныхъ ходахъ и т. п.

Ударившись въ богомольство, удовлетворенная общими почетомъ и уваженіемъ, сдѣлавшись излюбленною дочерью церкви, Степанида думала, что нашла настоящее свое призваніе, успокоилась, выкинула изъ головы всѣ грѣховныя дѣвичьи мечты и считала себя неуязвимою для стрѣлъ лукаваго. По лукавый силенъ, какъ выражается Потохнинъ, и вотъ у нея явился вдругъ искуситель.

Это былъ Капитонъ Абрамовъ Обожаухинъ, одинъ изъ фабричныхъ рабочихъ, человекъ бѣдный, семейный. Жена у него, Алена, была молодая, веселая, бойкая женщина, высокая, статная; сѣрые глаза ея, улыбка и все лицо выражали полную, беззапятную веселость. Эти глаза и лицо своимъ постояннымъ, почти неизмѣннымъ выраженіемъ, казались, говорили одно: я хочу жить, жить и жить, весело и сытно, безъ труда и заботы, брать отъ жизни все, что она даетъ отдыха, не думая о слѣдующемъ днѣ, и Капитону, въ свою очередь, тоже хотѣлось жить весело и сытно, безъ труда и заботы; видъ посторонняго богатства и всякой достаточности возбуждалъ въ немъ естественную зависть и жажду разжиться. Но разжиться честнымъ трудомъ въ положеніи фабричнаго работника—дѣло трудное, и вотъ онъ рѣшился достигнуть своего стремленія окольнымъ путемъ, употребивъ на это единственный природный даръ, какими онъ владѣлъ: именно—красоту и умѣнье ухаживать за дѣвками. Коротко сказать, онъ вздумалъ приволокнуться за Сте-

панидою, увлечь ее и попользоваться на ея счетъ, пригрѣть руки возлѣ ея капиталовъ. Замѣчательно, что къ предпріятію этому онъ приступилъ не безъ вѣдома жены, имѣвъ съ нею по этому поводу слѣдующаго рода оригинальный разговоръ на сонъ грядущій:

— Алена, сказала вдругъ Капитонъ шопотомъ, обнимая жену одной рукой.

— Ась? Что? спросила Алена съ новымъ зѣвкомъ.

Капитонъ отвѣчалъ не вдругъ.—Давай гулять по согласу, неожиданно протворилъ онъ.

— Какъ по согласу? живо повторила Алена, уже не зѣвая.

— Такъ, чтобы по любви... Вотъ мы съ тобой живемъ ладно, а достатковъ у насъ нѣтъ, бѣдота одна... Работашь, работашь, а все ничего нѣтъ... Вотъ я теперь около Скоробогатихи обиходъ повелю; можетъ до чего дойдемъ...

— Ну... торопила его Алена.

— Ну, такъ чтобы ужъ тебѣ не въ обиду... Гуляй и ты... Вотъ по согласу...

Алена захохотала.—Нѣтъ ты что выдумать... чего мнѣ и въ голову-то не вступало... Да съ кѣмъ же гулять-то?..

— Да съ кѣмъ хощь, я спрашивать не стану: хочешь—скажешь, хочешь—нѣтъ, только, чтобы не въ обиду... потому... надо домъ поднять... не все въ бѣдности жить... Изъ дома чтобы не тащить... одно... потому все съ тобой, а ни съ кѣмъ, намъ вѣкъ-то коротать...

— Да мнѣ не надо, у меня и думки-то никакой нѣтъ...

— А это и того лучше... Было бы сказано, былъ бы согласъ, а нѣтъ никого, такъ и ладно, я жить легло... Только смотри, чтобы и отъ тебя супротивъ меня никакой обиды не было...

— А долго ли гулять-то?

— Давай на два года...

— А послѣ любить будешь?

— Да и теперь буду, коли хощь...

Алена опять зашѣлалась.—Поострѣлъ экой... Гуляй, ничего... толькомотри, и я, боли вздумавъ—гулять стану...

— Ужъ сказано, по согласу...

— Ахъ ты... чтобы тебя... Что выдумать... Ну-ка, да спе подъ праздникъ-то...

— Памятійъ будетъ... шутили Капитонъ.

— Ахъ Капитонша, подлець... Пра, похлуй! Алена смѣялась и со смѣхомъ уснула. Капитонъ уснулъ велѣтъ за нею.

Послѣ такого уговора съ женою, Капитонъ началъ энергически ухаживать за Степанидою, прикинулся святошей, началъ убѣждать ее, чтобы она учила его грамотѣ, чтобы онъ самъ могъ читать все божественное и т. п. Степанида, можетъ быть, и удержалась бы отъ грѣха, какъ ни силенъ былъ соблазнъ, но тутъ приключились такія обстоятельства, которая побудили ее стремглавъ броситься въ разверзнувшуюся подъ ногами пропасть. Обстоятельства эти являются въ видѣ семейнаго раздора, который все болѣе и болѣе разгорался въ домѣ Скоробогатовыхъ. Старикъ началъ явно обнаруживать снохаческія наклонности по отношенію къ Матренѣ Каровнѣ, а послѣдняя, пользуясь этимъ, начала вертѣть по своему всѣмъ домомъ. Дошло дѣло до того, что старикъ, подъ ея вліяніемъ, отнялъ у Степаниды ключи отъ хозяйства и передалъ ихъ торжествующей невѣсткѣ. Это была кровная обида для Степаниды, которая привыкла большачничать въ домѣ. Она увидѣла теперь себя одинокою, безучастною сиротою, преданною врагамъ, въ видѣ Матрены Каровны, на поруганіе, лишнюю спидей въ

колесницѣ въ родительскомъ домѣ, лишенною всякой нравственной опоры... „Всѣ люди веселятся о празднествѣ... А я одна-то одиноконька, на всемъ бѣломъ свѣтѣ одна“, думала про себя Степанида. — „Какъ весь вѣкъ прожила? какую радость себѣ видѣла? Отецъ родной... такъ и тотъ въ пору хоть изъ дома выгнать... таково я ему мила... Вона, какъ равкнулъ кто-то: захотать... видно весело!.. Никакъ за забормомъ шепчутся... впежаты, сѣются... цѣлуются... Всѣсъ-то, всѣсъ-то весело, всѣ какъ люди...“

Подъ вліяніемъ подобныхъ тяжелыхъ, развѣдающихъ душь, въ Степанидѣ естественно начала все болѣе и болѣе разгораться страсть къ Капитону, который не переставалъ называть ей въ уши сладкіи рѣчи. Она начала смотрѣть на него, какъ на единственнаго человѣка во всемъ мірѣ, который принимаетъ въ ней участіе и жалѣетъ ее; въ любви его начала она видѣть всю нравственную опору и все содержаніе своей жизни, и вотъ она отдалась ему и душою, и тѣломъ. Это была, такимъ образомъ, та роковая, страшная страсть отчаянья, которая возможна бываетъ только въ зрѣломъ возрастѣ, страсть, въ которой вся жизнь ставится на карту и человѣкъ дѣлается способнымъ на все. Чтобы понять, чѣмъ пожертвовала Степанида, вы прините только во вниманіе тотъ ореолъ всеобщаго уваженія, какимъ пользовалась она въ обществѣ своимъ благочестіемъ и святостью.

„Что я теперь, развѣ прежняя? размышляла она послѣ своего паденія:—прежде-то я всѣмъ прямо въ глаза смотрѣла, ни бояться, ни стыдиться мнѣ было ничего, всѣ мнѣ кланялись, уважали меня, даже грѣшнику меня чуть не святой почитали... А теперь закона я стала? что-бы было, кабы узнали все про все, какъ бы смотрѣть на меня стали? не то что кланяться, а на смѣхъ-бы подняли, пальцами-бы показывать стали... Попуститъ ты, Господи, попутать меня лукавому... И изъ-за чего я грѣху поддаюсь, изъ-за какой радости? Стыдъ, да тоска одна, ровно ночь темная кругомъ, только и солнышко мое выходитъ, какъ онъ придетъ да сидитъ со мной, и то пока не вспомню, что онъ женатъ, что жена у него есть, что онъ любитъ ее... А вспомню и опять ровно изъ рай въ адъ, во тьму кромѣшную... А грѣхъ-то? а отвѣтъ-то на страшность судъ, а муки-то вѣчныя?... Батюшки мои, что же мнѣ съ собой дѣлать?... Бросать бы его, убѣжать бы куда, чтобы не воротаться, не видѣть и не слышать о немъ... Да куда я отъ него уйду, коли здѣсь вотъ онъ передъ глазами стоитъ кажинный часъ, минуту каждую... И въ сердечушкѣ, и въ думушкѣ—все онъ одинъ!..“

Такимъ образомъ, немного радости принесла Степанидѣ страсть ея: ридомъ съ чувствомъ стыда и униженія ее начала терзать безумная ревность, изъ боязни потерять въ лицѣ апаго единственное утѣшеніе въ жизни. Она ревновала Капитона и къ женѣ его Аленѣ, и къ своей невесткѣ Матренѣ Карловнѣ, которая, въ свою очередь, дѣлала глазки Капитону и склоняла его поступить на мѣсто кучера къ нимъ въ домъ. Всѣ эти терзанія Степаниды были на руку Капитону, и онъ очень ловко пользовался ими. Онъ началъ склонять ее заставить отца выдать ей наслѣдство, оставшееся ей отъ матери, и бѣжать съ нимъ куда-нибудь на край свѣта, въ мѣста укромыя, внизъ по матушкѣ по Волгѣ. Для Степаниды это предложеніе Капитона, конечно, было единственнымъ спасительнымъ исходомъ, и она съ радостью ухватилась за него. Но

не такъ-то легко было уговорить старика отпустить ее, якобы, на богомолье, какъ она формулировала свое желаніе оставить родительскій домъ, а главное дѣло—побудить его разстаться съ ея деньгами. Старикъ уперся на своемъ: „Молись дома: кто тебѣ мѣшаетъ? Идти, Степанида, это ты и въ мысленіи не можешь, чтобы вовсе уйти отъ меня... Чего быть никогда невозможно! Была дочерью покорливой, такъ будь до конца... Каковъ я ни есть грубошникъ, а все ты—мои плоть, завсегда я это чувствую, не сульвайся... Ступай-ка съ Богомъ въ свое мѣсто...“

Тогда Капитонъ началъ уговаривать ее рѣшиться на послѣднее отчаянное средство. „А вотъ что дѣлать, говоришь онъ:—коли любовь я тебѣ, коли надобно, коли хочешь въ любви со мной жить и не хочешь дать заѣсть свой вѣкъ вовсе, такъ ждаль да надѣяться на отца нечего, а надо короткимъ манеромъ взять свои деньги, да и уйти...“

Короче сказать—украсть ихъ изъ сундука отца. Когда Степанида ужаснулась на первыхъ порахъ передъ подобнымъ предложеніемъ, Капитонъ постарался изъяснить ей, что „равнѣ кто свои деньги беретъ, тотъ воруетъ? Видь ты свои деньги возьмешь—не его“... Истерзавшаяся Степанида, наконецъ, рѣшилась на все... Въ ночь, когда отецъ, узнавъ отъ нея же о плутняхъ сына, поѣхалъ на ярмарку, она пробралась въ комнату отца, достала ключъ отъ его сундука, выбрала оттуда столько пачекъ денегъ, сколько могло ихъ помѣститься въ носовомъ платкѣ и спрялась изъ дома. На условленномъ заранѣ мѣстѣ въ „Ямкахъ“ ее ждалъ Капитонъ съ телегой. Замѣлъ идеть слѣдующаго рода возмутительная сцена:

— Ты? спросилъ онъ ее, еще за нѣсколько шаговъ.

— И, я... отвѣчала Степанида, задыхаясь и протягивая къ Капитону руку съ намѣреніемъ обнять его.

— А достала?

— Вотъ... и она указала на узелъ, который держала въ другой руке.

— Молодецъ, Степа, ну, теперь покатишь. Идемъ скорѣе къ лошади...

— Какъ бѣжала-то, какъ торопилась-то... говорила Степанида, слѣдуя за Капитономъ.—Думаю: жаль онъ меня...

— Ждаль и есть... Много ли взяла?

— Не знаю ужъ... вотъ! Врала, сколь уложится... Подошли къ телегѣ.—Погоди-ка, я слезу перво въ телегу-то, да возки возьму, а гнѣздо-то нулши подхватываетъ вдругъ... Пожалуй, понесеть... поворилъ Капитонъ, въѣзая въ телегу. Ну, гдѣ деннито? давай, да и подѣвай сама.

Степанида протянула къ нему узелъ, который Капитонъ взялъ и положилъ на дно телеги. Потомъ она, держась руками за край телеги, поставила ногу на ступицу колеса и приподнялась—было уже, чтобы занести другую ногу въ телегу, какъ вдругъ сильный толчекъ въ грудь опрокинулъ ее назадъ, и въ то же мигновеніе, Капитонъ крикнулъ, дождавшись хватилъ съ мѣста и понесла Степанида, какъ ил была ушиблена и оглушена паденіемъ, но быстро вскочила и побѣжала вѣдѣть за телегой.

— Стой, стой, погоди!... кричала она, но только нѣсколько мигновеній слышала крики Капитона, которыми онъ понукалъ лошадей, потомъ слъ концы, стукъ колесъ и громыханье телеги, видѣвъ вдали желѣкающей сидуэтъ милаго человѣка, его телеги и лошади, затѣмъ все затихло, все скрылось. Но Степанида бѣжала еще и тогда, задыхаясь, плача и крича что-то

близкое, диким, прерывистым голосом. Наконец, у нее помутилось въ глазахъ, стѣснено дышало, ноги отказывались двигаться; невыразимая тоска, усталость охватили ея душу, какіе-то отравлины мыслей, чувства пронеслись черезъ голову, сердце... И вдругъ все спуталось, смѣшалось: мысль, чувства, дыханіе оборвались—Степанида упала безъ чувствъ».

За этою ужасною сценою быстро уже развивается развязка романа. Жену Капитона, Алену, не особенно обрадовали пакки денегъ, которыя онъ принесъ домой. — «Салт не вороваль, отвѣчала она мрачно на его утѣренія, что деньги не краденныя: — такъ на тебя, можетъ, уворованы... Знаю я, чьи онѣ... Скоробогатаго... Степанида украла, тебѣ передала... И она сразу захвѣлилась относительно своего обычнаго расхожденія духа: веселость совсѣмъ пропала въ ея глазахъ, исчезла съ ея прежде всегда беззаботно-улыбавшагося лица; какая-то новая, безпокойная мысль, новое, неприятое чувство отразилось теперь на ея лицѣ; сдвинуло ея брови, провело морщину на лбу и сбѣвало складку около губъ. Она была честнѣе мужа. Несмотря на все его старанія свести ее съ сыномъ Скоробогатаго, Иваномъ Терентьевичемъ, для того, чтобы и она, въ свою очередь, могла пожить на его счетъ, она не могла притупить себя сойти безъ любви съ человѣкомъ, который былъ ей противенъ. Такъ и теперь она не могла переварить тѣхъ средствъ, какія употребилъ ея мужъ для обогащенія. Между тѣмъ, Степанида, очнувшись отъ своего обморока, возилась домой, въ страшномъ душевномъ разстройствѣ. Обманутая, поруганная, лишившись послѣдней святости, которую только и дорога была ей жизнь, она рѣшилась, не помня себя, на отчаянную мѣсть. Въ слѣдующую ночь, когда все село уснуло, она пошла и подошла хату Капитона. Но мѣсть эта ни къ чему не пошла: хата споргла, Капитонъ же съ женою спашки; а деньги онъ заранѣе успѣлъ зарыть въ землю и онѣ остались цѣлы».

«Черезъ недѣлю послѣ пожара стоялъ стоялъ въ дождѣ Терентій Савельича, читаемъ мы въ заключеніи романа: воротясь съ ярмарки, онъ открылъ пролазу денегъ. Старикъ рѣвѣлъ, метался, рвалъ на себѣ волосы, кричалъ и тоналъ надъ Степанидой. Она стояла передъ нимъ молча, какъ ибма. Иванъ ругалъ, Матрона ревла».

— Да скажешь-ли ты мнѣ хоть слово одно, вѣдьма ты прокл... вскричалъ, наконецъ, выйдя изъ себя Терентій Савельичъ, и бросаясь на дочь. Толчкомъ въ голову онъ свихъ съ нея платокъ. Степанида была совсѣмъ сѣдая... У Терентія Савельича опустелись руки».

«Много лѣтъ послѣ того, ежедневно, во время службы въ церкви села Нагорнаго, можно было видѣть на полахъ, у задней стѣны церковной, старую, жесткую, всю въ черномъ, смиренную и всегда безмолвную Степаниду».

Таковъ сюжетъ романа Потѣхина. Я не намѣренъ входить здѣсь въ подробное разбирательство, стоило или не стоило задаваться подобнымъ сюжетомъ. Очень жаль статься, что еслибы я былъ беллетристомъ, то я и не остановился-бы на немъ, потому что меня звали-бы болѣе существенныя и вопіющія явленія, совершающіяся «около денегъ», чѣмъ случайная любовь интрига съ цѣлью нажить случайнаго прохода въ лицѣ Капитона. Но попробуемъ взглянуть на сюжетъ этотъ съ чисто объективной точки зрѣнія,

и согласимся, что на почвѣ буржуазнаго индивидуализма, на которой стоитъ всецѣло А. Потѣхинъ, сюжетъ его романа, во всякомъ случаѣ, заслуживаетъ вниманія, и на немъ могъ-бы съ успѣхомъ остановиться художникъ съ крупнымъ талантомъ, въ родѣ, напримеръ, Островскаго. И вотъ, становясь на такую точку зрѣнія, я и говорю, что, избравъ для своего романа довольно богатый въ своемъ родѣ сюжетъ, Потѣхинъ не смогъ увлечься имъ настолько, чтобы отнестись къ нему не какъ художникъ-техникъ, а какъ художникъ-творецъ.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте: какая можетъ быть цѣль выбора подобнаго сюжета? Очевидно, та, чтобы, съ одной стороны, привести читателя въ негодованіе при видѣ того возмутительнаго безчеловѣчія, къ которому можетъ прийти узкій эгоизмъ въ лицѣ Капитона въ преслѣдованіи своекорыстныхъ цѣлей; съ другой стороны — исполнить читателя жалости и участія къ несчастной и неповинной жертвѣ этого эгоизма въ лицѣ Степаниды. Чтобы успѣшнѣе достигнуть этой цѣли, авторъ долженъ былъ-бы во-первыхъ употребить все усилія, чтобы увлечь читателя личностью Степаниды, сдѣлать для него дорогою судьбу ея, чтобы было что жалѣть и чему сострадать. А этого авторъ могъ достигнуть только въ такомъ случаѣ, еслибы самъ онъ увлекся своею героиней и выставилъ-бы впередъ наиболѣе симпатичныя стороны ея характера. Однимъ словомъ, автору слѣдовало-бы сдѣлать со Степанидой тоже самое, что Островскій сдѣлалъ съ Катериною въ Грозѣ. А въ сюжетѣ мы видимъ все даянная, чтобы сдѣлать Степаниду столь-же симпатичною, какъ и Катерина. Возьмите вы во вниманіе, что она должна быть столь-же страстная и кипучая натура, такая-же прямодушно честная, искренняя и одаренная такимъ-же богатимъ воображеніемъ. Прибавьте къ этому глубокую сосредоточенность, развившуюся въ ней, вследствие той отчужденности отъ всѣхъ и родныхъ, и чужихъ, въ условіи которой она была воспитана съ дѣтства, четырнадцати лѣтъ лишившись матери, не имѣя никогда ни одной подруги, не вида возлѣ себя ни одного близкаго лица, которому могла-бы открыть свою душу. Саяя ея религіозная экзальтація, по моему мнѣнію, должна проистекать прямо изъ подобнаго уединеннаго, замкнутаго существованія, а вовсе не изъ одного положенія старой дѣвы, какъ это довольно цинически объясняетъ Потѣхинъ. Въ ханжествѣ заурядныхъ старыхъ дѣвъ, обыкновенно, преобладаетъ черствый формализмъ, заключающійся въ безмысленномъ преслѣдованіи буквы и въ рабской ея вѣрности. Подобная ханжа, будучи спокойна, никогда не допуститъ себя до такого смертнаго грѣха, какъ увлеченіе женатымъ человѣкомъ; мало того, если человѣкъ этотъ окажется-бы и холостымъ, то достаточно, что онъ былъ ничтожнымъ батракомъ на ихъ фабрикѣ, и для брака съ нимъ было-бы препятствіе со стороны священной родительской воли, чтобы она поспѣшила употребить все усилія для отогнанія всѣхъ грѣховныхъ помысловъ. Наконецъ, ханжи подобнаго рода, при всемъ своемъ благочестіи, въ тоже время отлично знаютъ счетъ деньгамъ, и ужъ вы ихъ не надуете, и какъ-бы онѣ васъ страстно, по-видимому, ни любили, повѣрьте, онѣ не отдадутъ вамъ

своих денег иначе, как пересчитав их тщательно и взявши отъ васъ тутъ-же, изъ рукъ въ руки, надлежащій документикъ. Степанида же, въ экстазъ своей страсти способна, оказывается, отдаться своему милому, не входя ни въ какихъ соображенія, ни религіознаго, ни матеріально-практическаго свойства, готова, оказывается, всёи пренебречь, на все махнуть рукою и послѣдовать за своимъ милымъ на край свѣта. Степанида, какъ видно, жила до сихъ поръ въ такихъ заоблачныхъ сферахъ, что не знаетъ, сколько у нея своихъ денегъ, и до послѣдней минуты не подумала привести это въ извѣстность, а съ полной довѣрчивостью отдала все свое достояніе въ руки милому человѣку, полагая счастье своего существованія не въ деньгахъ, а въ немъ самомъ. — у такой женщины религіозный мистицизмъ долженъ проявиться не въ одномъ гнусливомъ чтеніи акакистовъ и пошени образъ въ крестныхъ ходахъ, а представить изъ себя болѣе рационально-мечтательный характеръ.

Вы мнѣ скажете, быть можетъ, что вѣдь все это есть въ романѣ Потѣхина, потому что откуда-же, какъ не изъ романа, взяты всѣ эти черты? Я и не говорю, чтобы ихъ совсѣмъ не было, потому что все это лежитъ въ характерѣ сюжета. Я утверждаю только, что автору не удалось поднять эти черты своей героини, подчеркнуть, выставить ихъ на первый планъ во всей ихъ поэтичности, въ то время, какъ цѣлый рядъ второстепенныхъ, крайне симпатичныхъ чертъ, въ родѣ, на примѣръ, мелочной сварливости съ невѣсткой изъ-за первенства въ домѣ, гнусливаго чтенія акакистовъ, вишней непривлекательности и пр., авторъ могъ-бы смѣло совсѣмъ опустить или отодвинуть все это на самый задній планъ. Авторъ же поступилъ какъ разъ совершенно наоборотъ: симпатичныя стороны Степаниды именно и упоминаются въ романѣ вскользь, онѣ-то и стоятъ на заднемъ планѣ или совсѣмъ опускаются, какъ на примѣръ, рационально-мечтательный характеръ мистицизма Степаниды; на первомъ же планѣ пародируютъ самыя не-симпатичныя, мелочныя стороны ея характера.

Въ то время какъ Потѣхинъ такъ неправильно опустилъ съ своею героинею, не менѣе ложно отнесся онъ и къ герою. Здѣсь, напротивъ того, такія возмутительно-отвратительныя черты его характера, какъ свотскій эгоизмъ, жадность къ деньгамъ, грубое и чертовое безчеловѣчіе, способное дойти до открытаго грабежа денегъ изъ рукъ любящей женщины, которая беззавѣтно отдалась этому негодю, какъ-то ступеньваются въ вашихъ глазахъ при чтеніи романа передъ такими привлекательными качествами героя, какъ физическая красота, удалъ, донь-жуанская жилка, въ видѣ ужьна влѣзть въ сердце къ каждой женщинѣ, смысленность и продуная хитрость. Однимъ словомъ, передъ вами рисуется какой-то лихачъ-худревичъ, которому на роду написано выйти въ люди и разбогатѣть, потому что во лбу у него сіяетъ свѣтель мѣсяцъ, и даже не свѣтель мѣсяцъ, а чуть что не само солнце красное.

При такой постановкѣ сюжета, романъ производитъ на васъ совсѣмъ обратное и крайне фальшивое впечатлѣніе. Вмѣсто того, чтобы проникаться уча-

стіемъ и жалостью къ героинѣ и возмущаться герою, какъ отъявленнымъ негодяемъ, вы, напротивъ того, невольно становитесь на сторону героя противъ героини. Она представляется вамъ какими-то агорафобнымъ пугаломъ, неуклюжею, простоватою дуракомъ, которая сама такъ и лѣзетъ въ ротъ обману, и вы думаете: ну чтожъ, такъ тебѣ глупая баба и надо, не соблазнился амурами на старости лѣтъ и не въвязался въ первомъ встрѣчному на шею, не разобравши, что она за человѣкъ. Герой же, напротивъ того, возбуждаетъ въ васъ невольное участіе своею красотою, молодцоватостью, ухоретвомъ, смысленностью и пр., и пр. Когда читаете романъ, вы такъ и слѣдите за его шагами: „ахъ, какой молодецъ, что за шустрый паренъ! Ахъ, удастся-ли ему это предпріятіе? Что какъ промахнется или похѣшають?.. Итѣть, удалось-таки облопошить глупую бабу. И какъ ловко всё кони спрятать, и деньги въ землю закопать, такъ что и поджогъ ни къ чему не повелъ. Молодецъ, одно слово, молодецъ!“ Подумайте, чему въ такомъ случаѣ вы будете такъ радоваться, невольно, неотразимо радоваться, помимо всѣхъ доводовъ разсудка? Вѣдь ни чему иному, какъ порожденію новаго кулака!

Я убѣжденъ, что Потѣхину и въ голову не приходило, какой эффектъ будетъ производить его романъ, но все это произошло изъ того, что онъ вовсе не заботился ни о какомъ эффектѣ. Онъ избралъ свой сюжетъ совершенно случайно, ни мало не увлекшись имъ, не проникшись душевно, взявъ его чисто какъ канву, чтобы наивзвать на ней свои узоры, и въ этомъ наизываніи узоровъ, въ видѣ массы мелкихъ банальныхъ сенокъ, онъ положилъ всю свою душу; въ этомъ одномъ только и сосредоточилъ весь свой художественный трудъ. Поэтому, если вы хотите видѣть въ романѣ какія либо достоинства, вы должны совершенно забыть о сюжетѣ его, перестать разсказывать его, какъ нѣчто цѣлое, и совсѣмъ не принимать въ расчетъ, какое вы вынесете впечатлѣніе отъ прочтенія его всего до конца, а напротивъ того, обратить все вниманіе на отдѣльныя бытовыя, жаргонныя сценки, въ которыхъ все дѣло заключается въ вѣрномъ и разностороннемъ изображеніи дѣятельности. Многія изъ этихъ сценъ поразятъ васъ полнотою подробностей и наблюдательностью автора, не упускающаго ни одной микроскопической черточки изображаемой дѣятельности. Таковы, на примѣръ — картины сельскаго храмоваго праздника, отдѣльныхъ пирушекъ въ хатахъ крестьянъ, вечерню молель въ часовнѣ, крестнаго хода, неловкаго положенія и недоумѣнья церковнаго причта, явившагося въ домъ Скоробогатыхъ славить и поздравить въ самую неудобную минуту семейнаго раздора. Все это — въ своемъ родѣ шедевры, хотя шедевры, по моему мнѣнію, одной художественной техники, а никакъ не поэтическаго творчества въ истинномъ смыслѣ этого слова. Но, чтобы достойно оцѣнить эти шедевры, я не совѣтую читать ихъ всѣ подъ рядъ въ той длинной галерей въ формѣ романа „Около денегъ“, въ которой они развѣшаны: вы рискуете очень скоро вынести тяжелое утомленіе и вамъ будетъ не до шедевровъ. Лучше же всего, не заботясь совсѣмъ о чтеніи всего романа подъ рядъ, а такъ, изрѣдка, возьмите и про-

печатайте какую-нибудь одну отдѣльную сценку—она покажется вамъ гораздо лучше, чѣмъ въ связи съ другими.

Однимъ словомъ, въ то время, какъ въ лицѣ графа А. Толстого мы видѣли образецъ типа великодушнаго и притомъ отвлеченно-кабинетнаго творчества, въ лицѣ же А. Потѣхина представляется намъ образецъ художника-техника, возросшаго на почвѣ буржуазной поэзіи, этой поэзіи близорукаго натуралиста, который до такой степени съ головою весь ушелъ

въ созерцаніе микроскопическихъ черточекъ, отбѣпочковъ обыденной, будничной дѣйствительности, что совершенно упускаетъ изъ виду существенныя стороны жизни и для котораго вся идеальная конечная цѣль поэтическаго творчества заключается въ томъ, чтобы не забыть сосчитать, сколько волосковъ красовалось въ бородѣ сельскаго дьякона въ Сногичевѣ въ тотъ моментъ, когда онъ служилъ всенощную накануне храмоваго праздника.

## АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ ЛЕВИТОВЪ.

(ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ).

Не раздѣль и отдѣль  
Въ утрѣ пасмурныхъ дней.  
*Полежаевъ.*

### I.

Въ лицѣ Александра Ивановича Левитова, умершаго въ 1877 г. въ ночь со 2-го на 3-е января, русская литература утратила еще одну молодую и подлинную силу; еще одною свѣтлою надеждою, загорѣвшеюся въ началѣ прошлаго десятилѣтія, стало менѣе; еще просторнѣе сдѣлалась и безъ того оустѣлая арена молодой пореформенной баллетристики. Поразительна судьба всѣхъ дѣятелей мысли, вышедшихъ на поприще жизни въ концѣ 50-хъ или началѣ 60-хъ годовъ, но баллетристовъ въ особенности. Мало того, что имъ какъ-то не живется на свѣтѣ, что они такъ и умираютъ, одинъ за другимъ, едва достигая шестидесятаго возраста. Помяловскій, Рѣшетиновъ, Левитовъ, Кудзевскій, Вороновъ и многіе менѣе извѣстные хогли-бы составить цѣлое созвѣдіе въ современной намъ литературѣ, но они всѣ послѣднимъ убрался въ могилы въ такую пору, когда силы писателя обыкновенно только-что начинаютъ развертываться во всемія цвѣтѣ. Этого, я говорю, еще мало: судьба всѣхъ этихъ баллетристовъ замѣчательна въ другомъ еще отношеніи. Съ одной стороны, если взять въ расчетъ направленіе и содержаніе поэтическихъ образовъ этой молодой школы русскихъ баллетристовъ и тѣ общественныя слои, изображенію которыхъ эта школа посвятила себя, то можно думать, что она представляетъ собою немаловажный шагъ впередъ въ развитіи нашей литературы. Изъ узко-сословной сферы изображенія жизни однихъ образованныхъ слоевъ общества, въ какой пребывала по преимуществу баллетристика 40-хъ и 50-хъ годовъ, школа эта перешла рѣшительно, свѣло и безповоротно на почву народной жизни въ связи ея съ жизнью всѣхъ прочихъ общественныхъ слоевъ; изъ узкой сферы исключительнаго психическаго анализа индивидуальныхъ страстей и душевныхъ движеній она обратилась къ вопросамъ общественнымъ и массовымъ. Казалось-бы, что этотъ

важный прогрессивный шагъ впередъ нашей баллетристики долженъ былъ-бы ознаменоваться появленіемъ новыхъ блестящихъ талантовъ и выходомъ въ свѣтъ произведеній, которыя затмили бы все предыдущее, не только по своему общественному значенію, но и въ чисто-художественномъ отношеніи, въ силу большей широты захвата поэтическаго творчества, вслѣдствіе того, что творчество, въ настоящемъ случаѣ, начало возбуждаться впечатлѣніями не одного какого-нибудь узенькаго общественнаго уголка, а свѣжею, широко и могучею струею народной жизни, быющею живымъ ключомъ богатой красками и звуками и страстной поэзіи. Но на дѣлѣ вышло нѣчто совершенно иное: молодые баллетристы не только не создали до сихъ поръ ни одного произведенія, которое можно было бы поставить рядомъ съ „Мертвыми душами“ или „Ревизоромъ“, но которое выдержало бы соперничество хотя бы съ лучшими произведеніями баллетристовъ 40-хъ годовъ. Въмѣсто тщательно-обработанныхъ, художественно-стройныхъ и законченныхъ произведеній, какими мы такъ избалованы всей предыдущею литературою, они подарили намъ рядомъ незаконченныхъ отрывковъ и безформенныхъ ключковъ, неуклюжихъ, нестройныхъ, отягощенныхъ мѣстами длинными и скучными разсужденіями, жѣтами фотографическимъ сырьемъ или безконечными описаніями мелочныхъ деталей. Передъ вами точно будто снова выплыло нѣчто архаическое и первобытное, возвратился хлосъ первыхъ дней созданія. Литература, въ лицѣ этихъ молодыхъ баллетристовъ, словно бросила всѣ свои заимствованныя съ Запада, мѣками выработанныя, совершенныя формы и возвратилась къ тому безыскусственному виду, въ которомъ она пребывала въ эпоху Погодина и Котошихина, когда наивныя граматѣи валили въ одну безформенную рѣчь подъ заглавіемъ „забѣчанія“ или „слова“ все, что было у нихъ на душѣ—и мораль, и сатиру, и публицистику, и душевный плачь о неурядицахъ земли русской, и фантастическія свѣдѣнія о заморскихъ странахъ.

Но этого мало, что въ техническомъ, формальномъ отношеніи литература наша сдѣлала такимъ образомъ

шагъ назадъ въ лицѣ молодыхъ нашихъ беллетристовъ; въ тоже время мы не видимъ ни малѣйшаго роста ихъ литературныхъ талантовъ. Какими являются они въ своихъ первыхъ и самыхъ юныхъ произведеніяхъ, такими-же видимъ мы ихъ и въ послѣднихъ, написанныхъ иногда лѣтъ черезъ 10 или 15, а у нѣкоторыхъ, какъ, напримеръ, у Кущевского, замѣчается и регрессъ въ послѣдующихъ произведеніяхъ.

Странное явленіе это не разъ останавливало вниманіе многихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ, причемъ каждый объяснялъ его по своему. Считаю излишнимъ перечислить эти объясненія и входить въ подробный разборъ ихъ, я только замѣчу, что всѣ они распадаются на двѣ категоріи: одни, люди наиболѣе благосклонные къ беллетристамъ молодой школы, старались объяснить все это враждебнымъ влияніемъ общихъ условий жизни. Къ другой категоріи принадлежатъ враги молодой школы, которые всю причину настоящей бѣды полагали въ самомъ возникновеніи и существованіи этой школы. По мнѣнію этихъ людей, школы эта такова ужъ по своему существу, что должна парализовать всякое развитіе, губить и сводить въ преждевременную могилу каждый талантъ, пошедшій по этому направленію, какъ бы онъ ни былъ великъ. Это происходитъ будто-бы въ силу того, что писатель, увлекшійся направленіемъ этой школы, перестаетъ быть самимъ собою, выходитъ изъ предѣловъ высокой культуры образованныхъ слоевъ общества, умалается, принижается до узкихъ интересовъ и грубыхъ вкусовъ тѣхъ сферъ, изобраителямъ которыхъ онъ является, а, главное дѣло, съ почвы естественнаго и непосредственнаго творчества онъ переходитъ на почву творчества тенденціознаго, подчиняетъ свой талантъ разнымъ искусственнымъ требованіямъ либеральныхъ идей, начинаетъ писать на заданныя темы и этимъ путемъ убиваетъ всякій ростъ и развитіе своего таланта.

Что касается враждебнаго влияния общихъ условий жизни, то люди, оправившіеся на это влияніе въ своихъ объясненіяхъ рассматриваемаго явленія, забываютъ одно: именно, что условия эти потому уже сакому, что они *общіи*, должны были бы враждебно вліять на всю литературу во всей ея сложности, а не на одну небольшую группу ея. И если-бы этими общими условіями объяснялись какъ смертность, такъ и отсутствіе роста талантовъ въ беллетристахъ молодой школы, то слѣдовало-бы ожидать, что беллетристы 40-хъ годовъ должны были бы подвергаться еще большей смертности и еще меньшему развитію, потому что на самомъ разцвѣтѣ ихъ талантовъ они встрѣтили условия жизни не въ примѣръ тягостнѣе и враждебнѣе, чѣмъ молодые таланты прошлаго десятилѣтія. Но имъ не только не видимъ этого, а напротивъ того: лучшие беллетристы 40-хъ годовъ дожили до самыхъ преклонныхъ лѣтъ, пережили почти всѣхъ своихъ юныхъ претендовъ и наследниковъ, и успѣли обогатить литературу нашу произведеніями высокаго достоинства, которыми она вполне вправе гордиться. Въ томъ-то и дѣло, что, вмѣсто того, чтобы все зло полагать во враждебности общихъ условий, не слѣдуетъ-ли попенять особенныхъ и частныхъ условий, вліявшихъ на жизнь нашихъ молодыхъ беллетристовъ?

Что же касается мнѣній второй категоріи, оправившіеся на вредъ самой школы, вредъ приниженія до грубыхъ вкусовъ толпы или насилуванія творчества подчиненіемъ его либеральнымъ тенденціямъ, то мнѣнія эти отличаются крайнею субъективностью. Люди, придерживающіеся ихъ, судятъ вполне по своимъ себѣ, и сужденія ихъ могли-бы имѣть блѣдную тѣнь справедливости применительно къ нимъ самимъ. Они до такой степени исключительно замкнуты въ узкія сословныя рамки своей среды, что видъ культурныхъ нравовъ, обычаевъ, приличій этой среды имъ ничего не могутъ допустить, кромѣ непрогляднаго мрака, невообразимой грубости нравовъ и самой животной низменности побужденій. Видъ интересовъ и содержанія своей среды, все иное представляется для нихъ совершенно чуждымъ, непонятнымъ, какъ-бы вовсе не существующимъ. Понятно, что, если-бы они вздумали спуститься до интересовъ толпы, стоящей гдѣ-то тамъ далеко внизу подъ ними, и начать изображать ея жизнь и нравы, это было-бы для нихъ самымъ тяжкимъ насиліемъ, чѣмъ-то совершенно искусственнымъ, натянутымъ, для чего они должны были каждый разъ, принимаясь за перо, совершенно выходить изъ своей тарелки и изворачивать себя въ три погибели. Подобный чисто субъективный предразсудокъ въ значительной степени поддерживается и тѣмъ, что въ литературѣ нашей вы встрѣтите, въ продолженіе послѣднихъ 30 лѣтъ, не мало произведеній, которые и въ самомъ дѣлѣ представляютъ подобныя насилія и изворачиванія себя различныхъ гуманныхъ господъ, нисходившихъ до изображеній народныхъ нравовъ. Въ силу этого предразсудка, у насъ сложился даже стереотипный образъ беллетриста народныхъ нравовъ, представляющійся непременно въ видѣ косяка, переодѣтаго мужикомъ, или же безъ переодѣванія, въ соломенной шляпѣ, въ поджачкѣ и съ тросточкою въ рукахъ ходящаго, во время лѣтнихъ каникулъ, среди простаго народа по кабакамъ, постоялымъ дворамъ и ярмаркамъ съ спеціальною цѣлью занесенія въ записную книжечку каждаго мѣскаго выраженьица или разсказника для того, чтобы потомъ, зимою, воротясь въ столицу и въ ея дружки блестяще высшею интеллигенціею, предать владѣющимъ анализамъ и обсужденіямъ собранный матеріалъ и состригать какой-нибудь очеркъ или разсказъ изъ народнаго быта. Что-жь, развѣ у насъ не было подобнаго рода наблюдателей и собирателей, временно ниспускавшихся въ народныя массы, но въ то же время остававшихся совершенно чуждыми какъ народной жизни, такъ и народнымъ интересамъ? Но развѣ подобнаго рода явленія и субъективные мнѣнья, основанные на нихъ, исключаютъ возможность выхода изъ самыхъ нѣдръ народныхъ массъ писателей, съ младенческихъ лѣтъ воспитанныхъ въ этихъ нѣдрахъ, глубоко-проникнутыхъ ихъ интересами и до самой смерти не перестававшихъ жить въ глубокой связи со своею родною средою, ея непосредственною жизнью? Для такихъ писателей изображеніе народныхъ нравовъ, очевидно, должно представляться вовсе не насилуваніемъ творчества, изворачиваніемъ себя, искусственнымъ списываніемъ со стороны въ угоду либеральныхъ тенденцій, а, напротивъ того,

исполнѣ естественнымъ, непосредственнымъ продуктомъ творчества. Такіе писатели рискуютъ впасть въ искусственность, надуманность и ломанье себя именно тогда, когда пытаются изображать чуждые имъ нравы и мотивы такъ называемыхъ культурныхъ слоевъ общества, что, напримеръ, было съ Рѣшетниковымъ, когда онъ пускался выводить на сцену великобѣтскихъ людей, или съ Кольцовымъ, когда онъ брался за философскія темы.

Такъ вотъ, такимъ образомъ и представляется вопросъ: тѣ молодые беллетристы, о которыхъ идетъ у насъ рѣчь, были-ли они больше ничего, какъ гуманные баричи, которымъ, по ихъ происхожденію, воспитанію и образу жизни, гораздо свойственнѣе было бы изображать нравы и мотивы интеллигентныхъ слоевъ общества, а они ломали себя я, наблюдая чуждую имъ народную жизнь со стороны, насилывали свое творчество, подчиняя его либеральнымъ тенденціямъ, или же, напротивъ того, они сами были выходцами изъ народа, и творили такъ-же естественно, произвольно и непринужденно, какъ, по мнѣнію нашихъ чистыхъ эстетиковъ, творять А. Майковъ и Фетъ? Въ первомъ случаѣ, вѣри мы, конечно, совершенно правы. Но, если мы имѣемъ дѣло со вторымъ обстоятельствомъ, если оказываемся, что наши молодые беллетристы, происходя изъ народа и не переставая жить его жизнью и въ тѣсной связи съ нимъ, творили воплѣ естественно и произвольно, нимало не насилуя своего таланта, творили, какъ только могли и умѣли, и все-таки не могли создать до сихъ поръ ни одного крупнаго произведенія, то, конечно, все толкованія враговъ молодой школы рунутся сами собою; вопросъ останется вопросомъ, и разрѣшенія его слѣдуетъ искать въ иномъ мѣстѣ.

Жизнь Александра Ивановича Левитова, въ связи съ его сочиненіями, способна, по моему мнѣнію, какъ нельзя болѣе привести насъ къ разрѣшенію этого вопроса. Съ одной стороны, эта жизнь покажетъ намъ, какъ воплѣ органически и какъ нельзя болѣе естественно каждое произведеніе умершаго писателя вышло изъ его жизни и какую глубокую связь имѣло оно съ нею; съ другой стороны, мы увидимъ, какія скорбныя обстоятельства мѣшали А. И. Левитову возмѣститься надъ своими первыми очерками и создать что-нибудь крупное.

## II.

Для внѣшнихъ фактовъ жизни А. И. Левитова будетъ намъ служить некрологъ Нефедова, напечатанный въ шартовской книжкѣ „Вѣстника Европы“ 1877 г., въ сожалѣнію, единственный хоть сколько-нибудь обстоятельный изъ всѣхъ, появившихся вслѣдъ за смертію А. И. Левитова въ различныхъ периодическихъ изданіяхъ. Но изъ этого некролога намъ придется заимствовать только самыя крупныя факты и кое-какія изъ особенно характеристическихъ обстоятельствъ. Самыя же интересныя подробности жизни поэта, а главное дѣло, факты внутренней психической жизни мы найдемъ въ самыхъ сочиненіяхъ А. И. Левитова. И вотъ вамъ, на первомъ же шагѣ доказательство, какъ блистательно рунутся все тол-

кованія объ искусственномъ творествѣ чуждой по эту жизни, приниженіяхъ, ломаніяхъ и т. п. Въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ одного изъ тѣхъ субъективнѣйшихъ поэтовъ, которые въ каждомъ произведеніи выкладываютъ всего себя и по сочиненіямъ которыхъ, словно по дневникамъ, можно написать биографію не только ихъ внутренняго психическаго развитія, но и многихъ внѣшнихъ обстоятельствъ ихъ жизни.

А. И. Левитовъ родомъ былъ тамбовецъ. Его воспитали и взлѣбляли тѣ самыя тамбовскія поля, широкое раздолье которыхъ подарило намъ уже однимъ дорогимъ сердцу каждому русскаго и незабвеннымъ поэтомъ — Кольцовымъ. Онъ былъ сынъ сельскаго священника \*) и дѣтство его прошло въ самой бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличающейся отъ обстановки любого крестьянина изъ неособенно зажиточныхъ. Въ отрывкѣ изъ своей автобиографіи, посвященъ заглавію „Мое дѣтство“ (см. „Горѣ селъ и деревень“, стр. 101), онъ приводитъ нѣсколько весьма характеристическихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ.

«Я очень рано начинаю помнить себя,—говоритъ онъ,—но эти раннія воспоминанія, какъ туманъ, затонутыя множествомъ сѣрыхъ, обыденныхъ дней будничной сельской жизни, необыкновенно-похожихъ другъ на друга. Теперь, пристально всматриваясь въ непроглядный туманъ этихъ дней, я какъ будто вижу въ немъ что-то неясное, неопредѣленное, но вмѣстѣ съ тѣмъ страстно любимое мною: воевъ, напримеръ, подъ однообразный, но могучій шумъ большой рѣки, обтекавшей село съ трехъ сторонъ, проходить предо мною эта, такъ манившая меня въ настоящую минуту, тишина сельской жизни, идетъ она, или даже не идетъ, а тихо-тихо летитъ, какъ нѣчто живое, имѣющее свой образъ, который въ моихъ глазахъ имѣетъ совершенно-опредѣленную форму. Да, я ослѣпительно ясно вижу, какъ надъ молчаливыми сельскими буднями, поднявшись нѣсколько выше свѣтлаго креста на новой церкви, на бѣлыхъ крыльяхъ паритъ, вмѣстѣ съ летучими облаками, кто-то свѣтлый и тихій, съ лицомъ студливимъ и кроткимъ, какъ у нашихъ дѣвцъ... Такъ я теперь, отдаленный отъ роднаго села долгими годами шумной столичной жизни, исполненной неразличныхъ страданій, представляю себѣ мирнаго гения тихой сельской дѣятельности.

«Но неслезно влѣбно, и опять плутъ медленнаго сельскаго будня. Въ ушахъ раздаются неразборчивый гулъ безпрестаннаго работниа — деревенскаго дня. Въ какой-то угрюмой печали придушиваются къ этому гулу понурья и растрепанная крыша домовъ и время отъ времени по улицѣ пролетитъ какая-нибудь лихая помѣщицья тройка, неистово позванивая ваддайскими колокольцами и громихачъ безчисленными бубенчиками; вло пролетѣетъ прощальна-мѣщанскій изъ соседняго города, съ краснымъ товаромъ; за тройкой и за мѣщанскимъ одинаково любоватно прорышутъ сельскіе ребятишки и дѣвчонки, и опять—тишь, важная, медленная и челоука, желающая поговорить съ нею, поджидать въ ней хоть какіе-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучающая своимъ хмуримъ и какъ бы упрямымъ молчаніемъ.

\*) У Нефедова значится сыномъ дьякона. Но А. И. Левитовъ въ своей автобиографіи говоритъ, что отецъ его былъ священникомъ. Я позволяю себѣ считать свѣдѣніе, исходящее изъ-подъ пера самого А. И. Левитова, за болѣе достоверное.

Между прочимъ, авторъ описываетъ тяжкую болѣзнь, продолжавшуюся всю зиму и едва прекратившуюся весной, къ святой недѣлѣ. Сквозь эту болѣзнь, по всей вѣроятности, тифъ, сопровождаемый безпамятствомъ и бредомъ, мелькаютъ кое-какія смутныя воспоминанія, изъ которыхъ особенно характеристично описаніе Рождества и христославленія отца автора.

«Будили меня,—говоритъ авторъ:—по временамъ брики матери, разговоръ Оомы, топанье мужиковъ, вносившихъ отца, какъ и меня больного, въ горницу на рукахъ и укладывавшихъ его на постель. Помню я, одинъ изъ мужиковъ несъ самого отца, въ рукахъ у другихъ находилась его высокая мѣховая шапка съ зелено-писовымъ верхомъ, третьи держали его красивый кумачный кушакъ, войлочный теплый сапогъ, обшитый кожей. Все они говорили матери съ улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

«—Матушка! Извольте принять: все въ сохранности. Вотъ—кушакъ-съ; а вотъ—шапка; а вотъ—денюговъ рупъ пять копеекъ... Въ цѣлости все, потому мы—не какіе-нибудь, а дѣти духовныя, своего батюшку-священника помнимъ и знаемъ. По рюмочкѣ, матушка, мужичкамъ для праздника Христовна, ваша милость будетъ...»

«—Однѣхъ курочекъ, маменька, тридцать семь, ласкательно говорилъ раскрасившійся Оома, вдругъ врывается въ горницу:—четыре пѣтушка, маменька, это двадцать шесть хлѣбцовъ-съ. Вотъ, мы познѣшній день-съ какъ съ батюшкой орудовали-съ... Пожалуйста ручку-съ, маменька!

«Мужики, смотря на ухорство Оомы, принимались смѣяться, закрывая, впрочемъ, свои рты широкими и закорючлими ладонями, чтобы попасть въ него улыбокъ, а мать кричала на Оому:

«—Разбойникъ! Разбойникъ! Доколы ты меня мучить будешь? Видѣ это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чѣмъ-бы побережь хозяина, а онъ—накосъ! Ишь, какъ самъ нализался! Не просила ли я тебя, безстыжня твой бѣлышъ, побережь его, а?.. Просила, или нѣтъ, слышай! Помни мое слово, Оома, послѣ новата года я тебя въ три шен отъ себя протурю».

Рядомъ съ этими грустными и тоскливыми дѣтскими воспоминаніями по всѣмъ «Стеннымъ очеркамъ» А. И. Левитова разсыяны и болѣе оградныя и свѣтлыя картины его дѣтства: это — живо обаяніе южной, степной природы, положившее глубокой, неизгладимой слѣдъ на всю его жизнь и дѣятельность, сцены дѣтской бѣготни по широкому раздолью степей, игръ, занятій, пѣсенъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній. Особенно въ этомъ отношеніи отличается очеркъ: «Уличныя картины. — Ребяти учители». «Дѣти раздольныхъ полей, говоритъ А. И. Левитовъ:—широкихъ луговъ и улицъ, мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про эти колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды» (Ст. очерки, гл. 2, стр. 51). Очеркъ «Дворянка» отличается, по всей вѣроятности, въ такой же степени субъективностью личныхъ воспоминаній. Въ немъ описываются игры степныхъ ребятъ подъ предводительствомъ полоумной старухи Забавки, помѣшавшейся вслѣдствіе того, что младшая сестра ея, оставшаяся на ея рукахъ, была обольщена какимъ-то баринкомъ и умерла, приживши съ нимъ ребенка и покинутая имъ. Этотъ ребенокъ въ видѣ черноглазой, бойкой и ласковой степной суглиняки, является въ очеркѣ первую любовь рассказчика.

Племянница Забавки предводительствовала вѣдѣ дѣтскими играми, командовала надъ самою полоумною теткою и вскорѣ такъ привязалась къ рассказчику, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже, когда вырастутъ большіе, вступить въ законный бракъ.

«Отецъ принялся, между прочимъ, учить меня грамотѣ, рассказывалъ А. И. Левитовъ:—которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣле для различія меня съ дѣвочкой. Я бесполезно проводила мучительно-длинные и жаркіе дѣтніе дни, сидѣла надъ азбукой и тосковала о знакомомъ огородѣ. Его неселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо, покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ все эти азбучныя азы и титлы; а черномазая дѣвочка, съ своими длинными волосами, съ ясными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затѣнила глаза мои, такъ что они очень плохо знакомилась съ раскрашенными яркою краской картинками въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ заохотить меня въ грамотѣ...»

Послѣ цѣлаго рада руготни и истязаній отецъ мальчуга, видя, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сыну, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанію отца, и читать, и писать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ «Сто четырехъ священныхъ исторій» съ картинками они перешли къ знакомой уже намъ Четви-Миней.

«Цѣлый годъ, повѣствуетъ А. И. Левитовъ:—кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о приобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные приемы мучениковъ и мученицъ закалили наши головы страстнымъ, истомляющимъ желаніемъ идти куда нибудь и прославить святое имя Христово по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ воинъ Четви-Миней... Но Четви-Миней была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то достался отецъ божественныхъ книгъ... Однажды услышавъ наши разговоры дяконовскій сынъ—семинаристъ, который ходилъ къ моему отцу учиться живописи. Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была «Графъ Монте-Кристо». Послѣ Монте-Кристо мы перечитали всѣ историческія романы Дюма, а потомъ семинаристъ, прѣхавъ черезъ тѣ же уже на дѣтнія ваканціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Хрестоматию». Онъ терпѣливо и охотно всеялъ все дѣло въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ «Бусурманомъ», весело смѣялись съ Кирией, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уніе Лермонтова!..»

Все эти факты дѣтства А. И. Левитова обнаруживаютъ намъ его въ видѣ крайне болѣзненнаго и перво-впечатлительнаго ребенка, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ влияніемъ чтенія Четви-Миней и слушанія всевозможныхъ сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обилии была исполнена среда, окружавшая мальчуга. Въ играхъ съ сверстниками онъ, конечно, не былъ заглавной и предводителемъ. Отсутствие физическаго силъ, вмѣстѣ съ пламенною экзальтацией и грезами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ, дѣлало его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально-мыслящихъ степныхъ мальчугановъ какимъ-то особеннымъ



существомъ, не то блажененькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозвали не иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена того мрачнаго ожесточенія противъ людской несправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному — ожесточенія, составлявшаго главную сущность поэзи Левитова. Узкая бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

### III.

Для этого самаго ужаснаго періода жизни А. И. Левитова отличнымъ матеріаломъ для насъ будетъ служить разсказъ его „Петербургскій случай“, въ которомъ рисуется передъ нами петербургскій чиновникъ Иванъ Николаевичъ, мрачный, недобродный, сосредоточенный, сильно пьющій и подъ конецъ сходящій съ ума. Описывая галлюцинаціи бѣлой горячки своего героя, авторъ заставляетъ его вспоминать дѣтство и училищные годы, и передъ нами воскресаютъ, очевидно, воспоминанія самого автора, да мало еще того: въ разсказъ вклеены отрывки изъ семинарскаго дневника, съ обозначеніемъ даже чиселъ. Какъ небыли детали этихъ воспоминаній, такъ и самый тонъ ихъ, исполненный слишкомъ нервно-болѣзненнаго и мрачнаго ожесточенія, доходившаго до отчаянія, несомненно заставляютъ насъ думать, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чисто автобиографическими фактами.

«Во снѣ, повѣствуетъ авторъ про своего героя, Ивана Николаевича: — очень долгое время передъ нимъ бѣжалоavorостовое стадо разношерстныхъ ребятишекъ, голыхъ и потому воровавшихъ у всякаго все, что только попадало подъ руку; безприворочныхъ и потому позорно изодравшихся; безъ хорошихъ, руководящихъ примѣровъ и, следовательно, въ самомъ дѣствѣ уже обреченныхъ на гибель, какъ, шити безъ исключенія, погибаютъ всѣ люди, неприкосновенные съ раннихъ лѣтъ къ правильнымъ пошленимъ и отношеніямъ къ жизненной дѣйствительности. Пронзительный звонъ колокольчика загоналъ это стадо въ какія-то смрадные стойла, гдѣ большою частью ему говорились какія-то ни въ одномъ слогѣ общественной жизни неупотребляемыя слова. Шипѣе габилыхъ, двухъ-аршинныхъ розогъ, реетъ десятка дѣтей, которыхъ въ разныхъ стойлахъ почесали ими, зломъ колокольчика и, наконецъ, ни отчего отъ этого непрерывавшееся вращеніе тарбарелой гибели, по непрерывавшееся вращеніе общій, исполненный самаго варварскаго безобразія гулъ, и заставали Ивана Николаевича, какъ одержимаго горячкой метаться на постели и кричать:

— Боже, мой! Боже мой! Что-же это за несчастная времена были! Сколько честнаго и даровитаго гублено ими!..»

Загнѣмъ воспоминанія Ивана Николаевича переселяютъ насъ въ губернскій городъ и въ семинарію, и тутъ уже начинаются выписки изъ дневника, въ самомъ разсказѣ внесенныя въ новычки:

«3-го сентября. Какъ только я, проводивши отца, пришелъ въ классъ, ученики прозвали меня франкомъ, потому что я былъ въ вапной сибирскій желтой вапки и въ замшевыхъ перчаткахъ, такъ какъ тутъ у меня дома отъ работы и отъ нечистоты заворотывали, и отецъ намазалъ мнѣ ихъ сѣрой съ коровинымъ масломъ. Всѣ меня со смѣхомъ принились бить, плевать въ лицо, а за мальчика съ большими глазами, который наканунѣ укралъ у меня задачу,

стали звать вмедужкой, т.-е. ябедникомъ. Пришелъ профессоръ въ короткомъ сюртукѣ и въ нестрихъ штанахъ, которые были на манеръ ситцевыхъ. Онъ сталъ говорить со мной, и тогда весь классъ почему-то вдругъ громко захохоталъ, а я сталъ плакать. Профессоръ, вмѣсто того, чтобы заступиться за меня, подморгнувъ ученикамъ и сказавъ имъ: «не тревожьте его, братцы! Это — прекрасный молодой человекъ, сочиненіе Поль-де-Кока, романъ въ двухъ частяхъ».

«Цѣлыхъ полтора часа издѣвался надо мною профессоръ, а классъ грохоталъ и, наконецъ, когда пробили звонокъ, онъ сказалъ мнѣ: «ну, прощай, дамскій порнои! ха, ха, ха!».

«Такъ съ тѣмъ я и остался, и ни отъ кого мнѣ не было прохода, и имени мнѣ отъ товарищей другого не было, какъ только дамскій порнои и прекрасный молодой человекъ. Всѣми силами старался я подружиться съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, но всѣ они, обругавши меня, насмѣивались надо мною, уходили отъ меня.

«Декабря 1-е. Дали сочиненіе: «Весна пріятна». Нужно было написать три періода: причинный, уступательный и относительный; но я не понялъ, какъ профессоръ училъ сдѣлать это, а просто ввелъ и сталъ говорить, какъ приходитъ весна, какъ солнце сушитъ грязь и, вмѣсто нея, встанешь иной разъ поутру, увидишь тропинку мягкую такую, такую бѣлую... Кто протопталъ ее за ночь, не знаешь; а потому побѣжишь по ней... Она криво бѣжитъ въ лавкѣ, въ попу, въ кабакъ, потомъ въ дѣсь, гдѣ и пречется въ прошлогодней, успѣвшей уже обтаять, травѣ. Въ травѣ вода чистая и холодная, какъ ледъ. Руки и ноги, бывало, ужасно какъ зазнобишь, бродя въ этой водѣ. Онѣ сдѣлаются, бывало, красныя, какъ огонь, а потомъ посинѣютъ. У кого посинѣютъ руки и ноги, мы тому скажемъ: «у тебя руки и ноги помертвѣли», потомъ всѣ бросимся на этого мальчишку или дѣвчонку и станемъ отирать, а сами хохочемъ на весь дѣсь... Около насъ шумѣла глубокая и широкая рѣка, а по ней скоро неслись большія льдины съ густымъ камышомъ. Подъ нимъ бѣгали и жалобно кричали зайцы, а самія льдины сѣли на солны такъ, что мы жмурили глаза... Мы смотрѣли на это по цѣлымъ днямъ и цѣлые дни смѣялись.

«Все это и такъ и написалъ. И много другого еще про бабочекъ, про птицъ — потомъ, какъ у насъ однажды въ полноводье лодка шмыла съ мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдругъ прорвавшаяся плотина. Въ лодкѣ была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дѣти у ней въ лодкѣ ползали и кричали, а кто былъ на берегу, всѣ молили Бога, чтобы онъ помогъ ей. Когда-же она подлѣзала къ берегу, тогда всѣ бросились плыпать ее, а ребятишки, какіе тутъ были, смѣялись и плясали.

«На другой день пришелъ въ классъ профессоръ и спросилъ меня: — кто это тебѣ, чуело, написалъ сочиненіе? Я ему сказалъ: — никто! Это я самъ написалъ, и въ это время у меня лицо сдѣлалось красное, потому что я на него осерчалъ, зачѣмъ онъ мнѣ не вѣрить, и мнѣ хотѣлось плакать. Тогда онъ схватилъ меня за уши и закричалъ: — врешь, подлецъ! Сейчасъ сознавайся, кто тебѣ это написалъ? Я громко зарыдалъ, а ученики захохотали.

«Профессоръ согналъ меня въ это время съ перваго мѣста на послѣднее, а я написалъ письмо матери, чтобы она прѣехала ко мнѣ и исключила меня, потому, что я не могу понять ученыхъ, т.-е., какъ писать.

«Мать привезла мнѣ сухой мазины и ореховъ; долго плакала, прыскала мнѣ голову святою водой, потому что голова у меня горѣла, какъ въ огнѣ, а потомъ уѣхала домой съ обратными мужиками, и я остался одинъ».

«Передъ Святой, какъ-то сидѣли мы въ классѣ и профессоръ сказалъ намъ: — ну братцы! Теперь скоро публичный экзаменъ будетъ, и намъ нужно на-

попробовать стихи сочинять. Вотъ они какіе бывають стихи-то; какъ развернулъ книгу и началъ намъ читать стихотворенія разныхъ размѣровъ, объясненія при этомъ, что такое ямбъ, хорей, дактиль, анапестъ и т. д. И, какъ я у дѣдушки, у протопопа, такихъ стиховъ прежде много читалъ, то и подумалъ, что писать ихъ не мудрено... Еще подумалъ, что какъ только я напишу стихи, сейчасъ меня всѣ полюбятъ, и профессоръ посадитъ меня на первое мѣсто... Ну, кто-же напишетъ, братцы? еще разъ спросилъ онъ, и тогда я всталъ съ мѣста и сказалъ, что я могу писать. Онъ задалъ мнѣ Осень— и къ концу класса я приготовилъ вотъ какіе стихи:

Перезрѣли въ просахъ зерна,  
Перезрѣли,  
Звонкий летомъ надъ рѣками  
Птицы пролетѣли.  
Велѣдъ имъ пушень громкій выстрѣлъ  
Отъ стѣнаго этого.  
До весны прощайте, птицы,  
Путь вамъ и дорога!  
Имъ стрѣлою сказалъ, ступая  
Топкой колесю.  
Былъ онъ съ темными усами,  
Съ мерзлой бородою.

«Отъ этихъ стиховъ мнѣ стало еще хуже. Профессоръ избилъ меня за то, что онъ думалъ, что я ихъ списалъ изъ какой-нибудь книги, и все спрашивалъ меня, какого они размѣра, но я не зналъ этого. Пуще прежняго всѣ возненавидѣли меня; ученики изъ другихъ классовъ останавливали меня на улицахъ, въ коридорахъ и требовали, чтобы я прочиталъ имъ что-нибудь *вдругъ изъ своего ума*, и когда я не могъ этого сдѣлать, они били меня и говорили:—эхъ ты, сочинитель писанныхъ щей!

«Однажды я попалъ на глаза инспектору. Онъ спросилъ у профессора словесности: этотъ, что-ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняетъ? Профессоръ отвѣтилъ: такъ точно-съ! Дрянъ самая безправственная... Извольте обратить вниманіе на морду, ваше—іс! всегда внизъ... А это, доложу вамъ—вѣрнѣйшій признакъ злохудожной души-съ...»

«Инспекторъ долго и свирѣпо смотрѣлъ на меня, потомъ принялся ощупывать мою голову, стучать по ней въ разныхъ мѣстахъ концами пальцевъ и кулакомъ (всѣ говорили, что онъ отлично умѣетъ узнавать человѣческія способности, и потому многие господа привозили къ нему для этого своихъ дѣтей) и потомъ, обратившись къ профессору, сказалъ:

«— У него, дѣйствительно, очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель, не шей!... Знаю я вашего брата. Всѣ вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за нимъ поостроже, за каждый шагъ пробирайте... Побойсь, остынетъ, а то, вѣдь, это искушеніе сильно... Не всякій съ нимъ совладѣетъ... О-охо-хо!... Пошолъ прочь!...»

«Прошло цѣлыхъ два года еще такого-же безсмысленнаго горя, оскорбленій, слезъ—и видно было, что ребенокъ формируется. Онъ уже не плакалъ, а злился и негодовалъ, и эта злость и негодование были выражены уже не ребячьимъ лепетомъ, а жаркимъ слогомъ юноши, въ которомъ закипѣло страстное и сильно-чувствующее сердце.

«Все-бы это опротивило мнѣ до безумія, писалъ мальчикъ—если-бы и не подружился съ Васильемъ Западнымъ, который однажды заступился за меня, а потомъ поговаривалъ мнѣ, чтобы я самъ старался всякому носъ сорвать...»

«— Какого ты чорта смотришь на этихъ подлецовъ? говорилъ Западновъ.—Колони въ морду какого-нибудь мерзавца, сейчасъ-же тебѣ отъ этого веселье сдѣлается... Это, братъ—вѣрно! Ей Богу! Я это пробовалъ и, вотъ, самъ видишь, кто теперь на

меня налетаетъ? А во, вѣдь, и меня, чуть-чуть въ заклевали...»

«И очень его полюбилъ, и вчера мы выпили съ нимъ потихоньку отъ нашихъ квартирныхъ подшитофъ сантуринскаго и потомъ за полночь читалъ книгу *«Мертвая Душа»*. Я много плакалъ, смѣялся, а въ некоторыхъ мѣстахъ мнѣ дѣлалось до того странно чего-то, что зубы мои стучали, какъ въ дѣхорадкѣ... Въ мозгу пробѣгала какая-то смутная мысль о томъ, что «если-бы и мнѣ такъ-то»... Потомъ мысль эта вдругъ смѣнялась стѣномъ и зловоніемъ на себя за то, что она повелится во мнѣ. Въ груди и головѣ моей неотступно сдѣлать кто-то и вѣдливо говорилъ: развѣ ты смѣешь желать этого? Этотъ говоръ былъ настолько елишикъ мнѣ, что я терялъ всякую надежду на что-то; а между тѣмъ, впервые услышанный мною *грозъ друзей романъ*, которыми постъ живописалъ людей и природу, ласка на меня неизъяснимо-увлекавшей музыкой, отъ которой вздрагивало тѣло и расширялась грудь, въ переполненна чѣмъ-то кипучимъ и необыкновенно сильнымъ...»

«Сантуринское вино вмѣстѣ съ потрясающимъ впечатлѣніемъ чтенія Гоголя произвело то, что мальчикъ упалъ въ безсмысленство и снова тяжело заболѣлъ. Очнулся онъ въ больницѣ послѣ крика, смута, повидимому, не малое время:

«— Да что ты, чортовъ сынъ, когда перестался барахтаться-то? загремѣлъ, разсказываетъ онъ, надо мною голоеѣ человека, старавшагося схватить мои руки. Ишь, дяволенокъ, ишь здоровый какой повторялъ этотъ голоеѣ.

«И открылъ глаза и увидѣлъ выбѣлшенныя стѣны семинарскаго больницы, мать, умовавшую фельдшера не бить и не вязать меня и обѣщавшую за то сейчасъ же пойти въ лавку и отрезать ему сукна на штаны, и Васю Западова.

«— Ну, мать, молниѣ Богу! заговорилъ фельдшеръ матери.—Очнулся, значить, сто дѣтъ пролеветъ. Вѣжи теперь, тащи мнѣ сукна, да прихвати атласцу на галстукъ аршинчкъ. Очень я галстухами-то пообносился... Ухвати, кетати, лизеньки, четверточку табаку жуецу, ми тутъ воскуримъ съ твоимъ птенцомъ. Теперьца ему это оченъ въ пользу пойдетъ...»

«И странное дѣло! Вышелъ я изъ больницы съ совершенно облѣзлой головою. Посмотрю на себя въ зеркало, толкать толкачомъ, какъ ешь урокъ и между тѣмъ ничто надо мною не сдѣлалось. Я сталъ думать, отчего это меня обижать перестали, хотя, по прежнему, смотрѣли недоброекалательн, неподобья, сумрачно—и дѣло объяснилось очень просто: мы всегда и въ классѣ сдѣлали, и по улицамъ ходили вдвоемъ съ Западнымъ и, если на насъ влетѣлъ кто-нибудь съ драгой, мы его колотили до того, что начинали, противъ воли, исторически хотать надъ его болями и бросали тогда уже, когда намъ самимъ дѣлалось нестерпимо больно отъ нечего съѣха... Потомъ, мы съ Западнымъ стали брать деньги за то, что писали за другихъ учениковъ сочиненія—и на эти деньги покупали краше вино, которое въ банѣ и выпивали. Это еще болѣе увеличило почетъ, которымъ мы начинали пользоваться. У насъ оказалось много преданныхъ ребятъ, которымъ мы писали даромъ, я они разсказывали всѣмъ, что мы необыкновенно умны и добры, такъ что къ намъ стали ласкаться изъ старшихъ классовъ. Разсуждая обо всемъ этомъ, мы съ Васильемъ очень смѣялись надъ товарищами и говорили другъ другу: вотъ скоты! Когда мы ихъ хотѣли душу отдать, они издѣвались надъ нами, какъ надъ собаками, а теперь... вошь какая штука пошла!..»

«Долго мы съ своими неопытными умами верѣлись около этой штуки и, наконецъ, рѣшились поступать всегда такимъ образомъ: пробирать всѣхъ и всѣхъ, а то самого убьютъ...»

«Ужъ и доставалось же отъ насъ нашимъ при-

тотчасъ! Мы оставили себѣ изъ двухъ нашихъ ма-  
ленькихъ физическихъ силъ одну, о которую раз-  
считались всѣ остальные, а нравственные силы къ  
намъ обогать сами пришли... Понявши этотъ фактъ,  
мы смѣлились и колушмятили, колушмятили и смѣ-  
лись...

— Вотъ теперь въ насъ съ тобою сидятъ по-  
лныя злохудожныя души! часто съ громкимъ хо-  
лохомъ говаривалъ Василій, раздавая направо и на-  
лѣво забористые тумачи.

Впрочемъ, когда мы оставались съ Западнымъ  
ономъ, мы долго совѣтывались, какъ бы намъ безъ  
драги помириться со войнѣю — и не находили ника-  
кого другого средства. Я до слезъ унывалъ отъ  
этого, а Васютка надвинуть-бывало брови, по лицу  
у него забѣгаютъ въ это время угрымы и вмѣстѣ  
позаковыя тѣни — и скажетъ:

« — Э! не плачь! Чортъ съ ними! Давай-ка чи-  
тать... »

И они съ жадностью принимались читать... и да-  
же воспоминавшаго А. И. Левитова передаютъ рядъ  
замѣчательнѣйшихъ, производимыхъ на юношей чтеніемъ  
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Диккенса, Тэккера  
и проч.

#### IV.

Это обиліе чтенія имѣло тѣ послѣдствія, что на  
17-мъ году А. И. Левитовъ покинулъ семинарію, бу-  
дучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отпра-  
виться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ  
средствъ, ему пришлось совершить это путешествіе  
въ 500 верстъ пешкомъ. Прийдя въ Москву, онъ на-  
чалъ слушать лекціи въ университетѣ и готовиться  
ка вступительному экзамену. Горизонтъ его жизни въ  
эту пору значительно прояснился; это была, повиди-  
мому, лучшая эпоха его жизни. Онъ поналъ въ Москву  
и въ университетъ въ самое оживленное и горячее  
время общественнаго пробужденія передъ реформами.  
Послѣ той страшной семинарской каторги, какую мы  
идѣли на предъидущихъ страницахъ, началась для  
него, полная надеждъ и мечтаній, горячихъ споровъ,  
разумнаго чтенія, жизнь въ студенческое кружкѣ  
(въ которомъ, вмѣстѣ съ Левитовымъ, былъ Кельси-  
скій). Выдержавши вступительный экзамень, А. И.  
Левитовъ, однако же, не остался въ московскомъ уни-  
верситетѣ, а переехалъ въ Петербургъ, гдѣ посту-  
пилъ въ medico-хирургическую академію. Здѣсь жизнь  
его текла такъ же дѣятельно, разумно и оживленно,  
какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими заняті-  
ями, онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію  
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ поэтовъ и бел-  
летристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все; Ле-  
витовъ былъ залуганъ въ какія-то исторіи, исклю-  
ченъ изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ —  
въ Шенкурскѣ, потомъ въ Вологдѣ.

Эта шенкурская и вологодская эпоха тяжело отра-  
зилась на всей жизни А. И. Левитова. Влали отъ ин-  
теллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ ничтою, сред-  
ствъ убаганнаго общества, тонущаго въ грубомъ матеріа-  
лизмѣ, А. И. Левитовъ омончательно ожесточился,  
сначала и ожиделъ съ тѣми низшими слоями общества,  
образителямъ жизни которыхъ онъ является. Въ  
тоже время, скука, праздноствіе, лишенія и уныніе,  
вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей  
его среды, развили и ожесточили въ немъ тотъ по-

рокъ, задатки котораго, въ видѣ вымиванія сантурни-  
скаго и краснаго вина вмѣстѣ съ Западнымъ, мы ви-  
дѣли уже въ семинарской жизни А. И. Левитова. Если  
можно какими добрымъ помянуть этотъ періодъ его  
жизни, то развѣ тѣмъ, что въ это время онъ серьезно  
приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шен-  
курскѣ были начаты имъ „Степные Очерки“, а, съ  
переездомъ въ Вологду, онъ въ состояніи былъ окон-  
чить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ  
Москву, въ редакцію одного журнала. Въ 1861 го-  
ду, повѣствуетъ Нефедовъ въ своемъ некрологѣ: —  
Левитовъ возвратился въ Москву. Возвращеніе это  
потребовало нѣсколькихъ мѣсяцевъ: онъ шелъ, по  
обыкновенію, пешкомъ и безъ гроша денегъ. Чтобы  
не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее пу-  
тешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ  
селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ пра-  
вленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику  
въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы\*.

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе въ  
литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала  
въ журналахъ: „Зритель“, „Развлеченіи“, „Русской  
рѣчи“, потомъ во „Времени“, „Современникѣ“, „Би-  
бліотекѣ для Чтенія“, „Искрѣ“, „Недѣлѣ“ и мно-  
гихъ другихъ періодическихъ изданіяхъ. Къ этому-  
же времени относится между прочимъ и знакомство  
его съ разными литературными дѣятелями того вре-  
мени, на примѣръ съ Ал. Григорьевымъ, который при-  
вѣтствовалъ его поименно на литературное поприще  
и поощрилъ начинавшій талантъ. Вся дальнѣйшая  
жизнь А. И. Левитова носитъ довольно однообразный  
характеръ, такъ что, вмѣсто подробнаго перечисленія  
фактовъ ея по годамъ, что было бы и довольно затруд-  
нительно, вслѣдствіе неимѣнія обстоятельныхъ свѣдѣ-  
ній для этого, я ограничусь одною общою характер-  
стикою этой жизни.

Въ сущности, это была не жизнь въ истинномъ  
смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанное маянье  
и постепенное угасаніе. Литературный трудъ очень  
плохо обезпечивалъ бѣднату и, къ тому-же, онъ по-  
спѣшилъ обзавестись семьей, чѣмъ еще болѣе отя-  
чилъ и безъ того перадостную жизнь свою. Можно  
положительно сказать, что въ продолженіи всей жи-  
зни человѣкъ этотъ не зналъ, что значить имѣть свой  
домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя бы самую  
убогую: онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странни-  
комъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленький че-  
лодачникъ, и съ этимъ челодачникомъ скитался по  
меблированнымъ кожнатамъ, по столичнымъ черда-  
камъ и подваламъ. Къ тому же, онъ не могъ не толь-  
ко примкнуть къ одному какому-либо изданію и сдѣ-  
латься его постояннымъ сотрудникомъ, но и укорен-  
иться въ одной изъ столицъ: поживеть въ Москвѣ  
годикъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, и начи-  
наетъ тяготиться московскою жизнью: „здѣсь все на-  
чинаетъ плесневѣть, говорить раздраженно своимъ  
близкимъ: — тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или  
сопшенсомъ...“ Бѣдетъ въ Петербургъ: тамъ, въ сущно-  
сти — тоже самое: подвальчики, чердачки, борьба съ  
ничтою, да еще къ тому и убійственный климатъ,  
подъ влияніемъ котораго у Левитова ожесточается  
кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли —

онъ ъдетъ опять въ Москву—поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ опять ждетъ его все та же убогая, сырая, холодная комнатка гдѣ-нибудь въ захолустьѣ, и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями смрадной, удушливой физической и нравственной атмосферы столичной жизни и тщетными порывами степняка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей.

Такъ жестоко страдалъ, томился и вянущъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригнѣтый въ суетѣ и смрадѣ столичной жизни... Тоска по родинѣ и тщетныя порыванія въ родной край „на наследственную полосу“ проходить по всѣмъ сочиненіямъ А. И. Левитова; отражаются они и въ искроломѣ Нефедова.

«Я усталъ, говорить Александръ Ивановичъ Нефедову въ одну изъ бесѣдъ:—мнѣ необходимо отдохнуть. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ этомъ нечего и думать... Довольно, будетъ ужъ ст. моя *столицей*-то: слава Богу, въ заливочкѣ-то достаточно-таки онѣ наклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ таетъ, если-бы ты зналъ!.. Стариковъ моихъ живѣе ужъ нѣтъ—не хватило у нихъ силъ, мочи перенести горе; мой Шенкурскъ убили и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться съ стариками... Теперь остались только сестра и братъ. Хотѣли бы на нихъ взглянуть!..»

И вотъ, не въ силахъ, за неимѣніемъ средствъ, попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ начинаетъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Рязскѣ. „Рязскъ, говоритъ онъ:—вѣдь это—ужъ почти что моя родина: отъ Рязска до Козлова по желѣзной дорогѣ, а тамъ—рукой подать, мое село“. Съ большими мтарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто А. И. Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: „много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но, говоря по всей совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Рязскъ“, и на рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Такъ-же неудачна была попытка его посѣтить родину и позже, въ 1870 году. Въ июлѣ этого года, онъ писалъ Нефедову: „Буду на родину. Пробѣздомъ черезъ Москву, непремѣнно заверну къ тебѣ. Наконецъ-то сблизилъ мои давнишнія мечты и желанія: я увижу родину“!.. Но, пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и, вмѣсто родины, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ ваганьковского кладбища, въ коноркѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозъ крышу дождь, и опять пошла жизнь, полная страданій и лишений.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что не одинъ недостатокъ въ средствахъ и дороговизна центральныхъ квартиръ загоняли его постоянно на городскія окраины, въ глушь, какъ онъ выражался, „дѣвственныхъ улицъ“. Эти дѣвственныя улицы привлекали его также и потому, что въ нихъ не было ненавистнаго ему городского шума, и онѣ напоминали ему своимъ полудеревенскимъ видомъ его родину, какъ объ этомъ самъ онъ говоритъ во многихъ мѣстахъ своихъ сочиненій.

Но не одна сельская обстановка и тишина дѣв-

ственныхъ улицъ, разгонявшія хандру городской суеты и успокоивавшія раздраженные нервы страдающаго, манили его къ себѣ: любилъ онъ и скромныхъ, былыхъ обитателей этихъ улицъ, безхитростно-простыхъ, радушныхъ, душевныхъ людей нищеты, касторовыхъ мѣщанъ, отставныхъ солдатъ и т. п. Отъ бѣжалъ къ этимъ людямъ отъ нравственныхъ противрѣчій, искусственности, напускной гуманности и чуждаго высокомерія интеллигентныхъ слоевъ общества и чувствовалъ себя у нихъ, какъ дома, отдыхалъ среди нихъ душою. Довѣріе, которое они питали къ нему, ужь было стоять съ ними на равной ногѣ по-приятельски—составляли его нравственную гордость, которую онъ высказывалъ въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій и которую тщеславились передъ своимъ интеллигентнымъ читателемъ.

Тщеславясь разницею отношеній простого люда къ нему и читателю, въ другомъ мѣстѣ онъ, наоборотъ, выставляетъ на видъ различіе своихъ личныхъ отношеній къ простому люду и къ интеллигентному слою. Изображая себя въ одномъ изъ очерковъ („Фигурки троны о московской жизни“) проснувшимся послѣ сильной попойки у знакомаго московскаго обывателя дѣвственныхъ улицъ, Чижъ, онъ восклицаетъ:

«Повторяю, въ концѣ концовъ, что я былъ очень радъ, что очутился у Чижъ, потому что часто также приходится мнѣ трудить оналѣбую голову вашу загадкой, у кого именно изъ моихъ барятельскихъ друзей встрѣчаю я извѣстное утро, тысячу невѣрныхъ и неслынныхъ для посторонняго глаза помосовъ и лицъ то безощадно осуждающее меня бездомовнаго пьяницу, то слово жалѣющее и плачущее надо мною горячими слезами родныхъ людей, которыхъ я хочу выжить изъ моей памяти и никакъ не выживу?.. Съ ужасомъ думаю я, разговаривая съ Чижихой: что-бы было со мной, ежели-бы я проснулся теперь не въ ея квартирѣ? Благовопителный другъ мой читалъ-бы мнѣ мораль, что необходимо и проч., отпавать-бы кофеомъ, говорить-бы о мною *по-мужички*, либерализмалъ; между тѣмъ, самъ я, въ каждомъ звукѣ, изъ кашихъ состоялѣ-бы его нескончаемья рачей, автвенно разбиралѣ-бы звонкій, нестерпимо-рѣвущій хохотъ уродливаго дьяволенка шланства, который самымъ подлымъ образомъ выхлался-бы переждо мной въ синемъ пламени спиртовой лампы, варившей кофе, дразнилѣ-бы меня и кричалъ другу моему и наставнику:

— Да что это ты ему разговоры разговариваешь? ха, ха, ха!—Ему погромче тебя въ мильионъ разъ говорили когда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха! („Горе есль и деръ“, стр. 420).

«Въ Москвѣ у меня бездна литературныхъ и университетскихъ друзей, повѣстуетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. (См. Ж. моск. закоул., стр. 296);—которые меня весьма терпятъ и у которыхъ, слѣдовательно, я удобно могъ-бы сложить свой странническій посохъ, но, послать ихъ въ души моей къ Богу и рай, я, по пріѣзду въ Москву, направился прямо въ дѣвственную улицу, гдѣ жилъ мой старый другъ, старый отставной унтеръ-офицеръ, который былъ кумъ, т. е. у котораго, благодареніе Создателю, мнѣ довелось присесть въ крещеную вѣру трехъ дѣтей».

Все это ясно показываетъ намъ въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не интеллигентнаго наблюдателя народныхъ правовъ со стороны, а человѣка, вполне сливавагося съ народною жизнью и до конца своихъ дней не перестававшаго быть человѣкомъ народа. Не на народъ, а на интеллигентные слои онъ смотрѣлъ со стороны, и то презрѣніе къ ихъ напускной гумани-

ности, искусственности и нравственнымъ противорѣчіемъ, каѳос мы видѣли въ вышеприведенныхъ цитатахъ, доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочиненій до крайней нетерпимости. Такъ, въ очеркѣ „Крымъ“ (Жизнь моск. закоул.), онъ изливаетъ по добны чувства именно на одного изъ эlegantныхъ наблюдателей народныхъ нравовъ, затесавшагося въ кабакъ и ломавшагося тамъ своими легковѣсными фразами въ либеральномъ духѣ:

«Между тѣмъ, говорить онъ:—вашиновѣтскія манеры моего случайнаго знакомаго неимовѣрно бѣсны мнѣ, потому что, чѣмъ дольше сидѣли мы съ нимъ въ зловонномъ трактирѣ, тѣмъ больше онъ противопоставлялъ харчевенную атмосферу своими тончайшими духами, такъ-что самые нахальные крымскіе глаза безъ какаго-то смущенія и даже какъ будто бы страха не могли выносить блеска онага въ его золотой будавкѣ, а въ то время, когда, казалось, самыя стѣны подземелья хотѣли лопнуть отъ шумнаго ежолшда, тискавшагося въ немъ, около нашего стола, непонятнымъ образомъ, былъ нѣкоторый просторъ. «Чортъ его побери совсѣмъ! злобно думалъ и про моего эlegantнаго друга:—угораздитъ-же человека, одѣлага въ такую изищную жакетку, въ галстукъ котораго блестятъ, наконецъ, такое сверкающее произведеніе Фульды, затесается въ Крым! Кажется, мнѣ придется хорошенько раскровянить его!» И вклянувшись, раскровянить этого молодца непременно-бы слѣдовало, потому что его барство до крайности напугало присѣвшаго къ нашему столу стараго солдата. По его задумавшемуся лицу я очень хорошо видѣлъ, что солдатъ, такъ-же какъ и я, съ большимъ удовольствіемъ слѣзидаль-бы въ физиономію къ баричу».

Въ этой цитатѣ А. И. Левитовъ—весь передъ нами, со всѣми его симпатіями и антипатіями и во всей павной грубости стѣннаго дикаря. Хотя къ этому пужно замѣтить, что грубость эта была однимъ внѣшнимъ слоемъ грязи, наросшимъ на поэтѣ, вслѣдствіе обстановки жизни его, но въ сущности это была натура крайне нѣжная и деликатная, нисколько не способная приводить въ дѣйствіе тѣ угрозы, которыми онъ разражался противъ эlegantнаго друга, смутившаго его своимъ пребываніемъ въ „Крымѣ“. Объ этомъ мы можемъ судить по тѣмъ рефлексіямъ и насмѣшкамъ надъ собою, которыми ниже въ своемъ очеркѣ разражается поэтъ въ сознаніи неспособности къ выполнению грубой угрозы.

Послѣдніе годы жизни А. И. Левитова носятъ все то-же мрачней колоритъ, что и вся его жизнь, если еще не мрачнѣе. Съ 1870 года до самой смерти, Левитовъ почти безвыѣдно жилъ въ Москвѣ; въ послѣдній разъ онъ посѣтилъ Петербургъ на короткое время въ 1871 году. Попрямому, зимою онъ жилъ гдѣ-нибудь у драгомиловскаго моста, въ подвалѣ, или у ваваньковскаго кладбища; потомъ переселился въ какую-нибудь подгородную деревню или Петровско-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться все чаще и чаще. Литературная его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ „Грамотѣй“, и носитъ заглавіе „Аховскій посадъ“. Главнымъ, если не единственнымъ средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть, злобнѣйшій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть пришлось ему, какъ умираютъ многіе такіе-же бездомовные и безпріютные страпники, закинутые въ чужезадальную сторону, какимъ былъ и онъ: въ казенно-чертовой обстановкѣ университетской клиники.

Я не знаю, какиѣ пужны комментаріи и нужны-ли какиѣ-бы то ни было, при видѣ этой столь безотраднотрожитой жизни, для уясненія тѣхъ особенныхъ причинъ, которыя погнѣшали молодыхъ беллетристамъ, и А. И. Левитову въ томъ числѣ, возвыситься въ развитіи своихъ талантовъ до чего-либо великаго. Впрочемъ, что касается до читателей, не отличающихся особенною быстротою соображенія, я прошу ихъ представить только себѣ общій характеръ жизни всѣхъ предъидущихъ, дореформенныхъ нашихъ поэтовъ и беллетристовъ, и читатели поймутъ тогда, какую диаметрально противоположность представляютъ пореформенные беллетристы. Прежніе наши поэты и беллетристы съ самаго нѣжнаго возраста были окружены всѣми и матеріальными, и умственными благами, способствовавшими къ процвѣтанію и быстрому развитію ихъ талантовъ. Дѣтство ихъ проходило гдѣ-нибудь на лонѣ природы, подъ тѣнистыми садами родимыхъ усадебъ, въ холѣ и нѣгѣ со стороны не чающихъ въ нихъ души родителей, подъ пощеченіемъ русскихъ и иностранныхъ пѣтуновъ, причемъ будущіе украсители русскаго слова начинали свой младенческой лепетъ по-французски или по-англійски. По большей части случалось такъ, что или отецъ, или мать имѣли большое пристрастіе къ литературѣ, и въ домѣ была масса книгъ, журналовъ, книжечекъ, или гдѣ-нибудь въ углу дома таилась дѣдовская бібліотека, въ которой мирно почивалъ, въ русскомъ захоластѣ, гордый царствоважъ разума XVIII-й вѣкъ. Глядишь, мальчикъ шести лѣтъ уже становился къ классическія поэмы и декламировалъ передъ гостями изъ Расина или Корнеля, а 10-ти лѣтъ писалъ стихами цѣлыя поэмы. Затѣмъ, слѣдовали юношескіе годы, университетъ, отвлеченно-философскіе споры и шумныя студенческія попойки, на которыхъ торжественно варилась жонка и весело лилось шампанское... Потомъ начиналась настоящая жизнь, описаніе которой биографы относительно почти каждаго писателя, начинаютъ съ того, что „вырвавшись изъ подъ школьной феруры, NN или ZZ нѣсколько лѣтъ провелъ въ вихрѣ шумныхъ, свѣтскихъ развлеченій“... Затѣмъ, если литературное призваніе преодолевало страсть къ волокитству, кутежамъ и картамъ, то оспеннившійся поэтъ закрался въ кабинетъ и имѣлъ возможность предоставить полную волю своему вдохновенію. Ему ничто не мѣшало то или другое произведеніе по нѣскольку разъ переписывать, передѣлывать, работать надъ нимъ мѣсяцы и годы, пока, наконецъ, оно не возводилось въ его глазахъ въ „перлъ творенія“. Въ то-же время, онъ принималъ къ какому-нибудь литературному кружку, чему-нибудь въ родѣ „Весѣды любителей русскаго слова“, „Араамаса“, или позже къ кружку, группировавшемуся вокругъ Вѣлипскаго. И вотъ, не ограничиваясь уединенными бесѣдами съ музой, каждую написанную строчку подвергалъ онъ неоднократнымъ чтеніямъ авторитетнымъ и компетентнымъ друзьямъ, при чемъ слѣдовали взаимныя обсужденія и обсужде-

ние этихъ обсуждений, совѣты и обсуждения этихъ совѣтовъ, передѣлки и новые обсуждения этихъ передѣлокъ и т. д. Одинъ литературный ветеранъ добраго стараго времени недавно еще выражалъ по этому поводу удивленіе, сравнивая его время, когда каждая написанная страница чуть не навзрусь выучивалась всѣми друзьями и почитателями поэта прежде, чѣмъ отправиться въ типографію, и наше время — когда авторы спѣшатъ сдавать наборщикамъ свои рукописи, не перечитывая ихъ и не дожидаясь даже, чтобы обсохли на нихъ чернила. Но пусть этотъ ветеранъ познакоится съ обстоятельствами жизни А. И. Левитова, и онъ убѣдится, имѣли-ли возможность, какъ онъ, такъ и многіе собратья его (Поняловскій, Рѣшетниковъ, Куцевскій), культивировать, развивать свои таланты и творить такъ, какъ это дѣлали ихъ предшественники? Мы видимъ, что въ самомъ нѣжномъ ихъ дѣтствѣ, подъ сѣнію родительскихъ дозовъ, успѣвали уже вѣдраться въ ихъ сердца задатки унынія и ожесточенія. Ихъ окружала со всѣхъ сторонъ и смущала младенческа думи тяжкіи хлопоты о насущномъ хлѣбѣ и развѣдающіи дразги нищеты. Случалось, что родители проклинали часъ и день ихъ рожденія, смотря на нихъ, какъ на лишніе, голодные рты, и съ тукманками совали въ эти голодные рты послѣднюю черствую корку хлѣба. Въ родительскихъ домахъ они не только не видѣли ни одной свѣтской книжонки, напротивъ того, встрѣчали ту подозрительность и нерасположеніе къ свѣтской литературѣ, которая до сихъ поръ загѣбается среди народа. Затѣмъ слѣдовала отупляющая семинарская долбня, сопровождаемая рядомъ самыхъ безчеловѣчныхъ посяваній. Затѣмъ, послѣ большихъ выгараствъ и съ громадною тратою молодыхъ силъ, добирался юноша до столицы, но тамъ его встрѣчали голодъ, холодъ и сырость убогихъ каморокъ „снебильно“, и безпомощный, не припритый ни чьимъ участіемъ, юноша окончательно надламывался. Эта надломленность потомъ производила свое обратное дѣйствіе и парализовала всякую возможность къ дальнѣйшимъ шагамъ его на пути жизни. Являлась опущенность, апатія и полное равнодушіе къ окружающей обстановкѣ. Мало того: укоренялось что-то въ родѣ привычки къ скитальчеству и безпріютности, и послѣднее возводилось во что-то въ родѣ нравственнаго принципа. Такъ, когда юношѣ улыбался какой-либо успѣхъ, являлся хорошій заработокъ и нѣсколько лишнихъ копеекъ въ карманѣ, ему начинало казаться, что онъ сейчасъ-же разлѣтится, ожирѣетъ, зазнается и забудетъ свое горе и горе тысячъ подобныхъ ему; и вотъ, вѣсто того, чтобы употребить зашедшую въ карманъ лишнюю копейку на улучшение своего положенія и средствъ къ дальнѣйшимъ успѣхамъ, онъ сѣбильно поставилъ ее ребромъ, отхлѣбываясь отъ нея, словно она жгла его карманъ и какъ будто въ ней-то именно и лежало все зло и весь ядъ нравственной гибели. Такъ, А. И. Левитовъ, по словамъ многихъ его знавшихъ, начиналъ чувствовать себя словно будто отступникомъ и испытывать муки совѣсти, когда ему приходилось вѣснецъ-другой проживать не въ какой-либо роскоши, а въ мало-мальски чистенькомъ номерѣ меблированныхъ коннатъ, которымъ едва удовлетворился-бы студентъ, во,

пожалуй, и побрезговать-бы средней руки чиновницъ. У меня вотъ лежитъ на конторѣ одна ненапечатанная еще нигдѣ рукопись Левитова, поля которой исписаны выдержками изъ русскихъ повтвъ, особенно пригласившимися и поразившими Левитова, и на первомъ планѣ красуется слѣдующее лѣсто изъ Левитова:

Глушецъ! Гдѣ посохъ твой дорожный?  
Возьми его, пускай вдалѣ.  
Пойдешь-ли ты черезъ пустыню,  
Иль городъ пыльный и большой,  
Не обожай ничью святыню,  
Нигдѣ пріютъ себѣ не строй...

Это было, такимъ образомъ, не одна вынужденная обстоятельствами нищета, но возведенная въ принципъ, своего рода подвижничество. Прибавьте ко всему этому, что всѣ беллетристы, о которыхъ мы говоримъ, изъ самаго ранняго возраста выносили пристрастіе къ вину и очень рано начинали пить горькую чашу, и пьянство ихъ представляло изъ себя не одинъ веселый загулъ молодости, а носило тотъ мрачный характеръ питья въ одиночку, какой представляетъ изъ себя такъ часто залой русскаго человѣка, и вамъ понятно станетъ, можно-ли было и думать объ особенномъ тщательномъ культивированіи, о развиваніи ихъ поэтическихъ талантовъ. Однимъ словомъ, въ лицѣ этихъ беллетристовъ, представляется ничто иное, какъ нѣскольکو выходцевъ изъ стѣней и различныхъ російскихъ захолустій, наивно-простодушныхъ самоучекъ, которые безхитростно выражали въ своихъ разсказахъ и очеркахъ все, что видѣли, слышали, сами испытывали, все, что волновало, поражало и ожесточало ихъ. Передъ вами самородное и самодѣльное русское искусство, естественно возросшее на чистотѣ воздуха русской жизни, въ всихъ тенлици, искусствственныхъ орошеній и подогрѣваній. Поэтому, произведенія этихъ писателей вдвое поучительны въ томъ смыслѣ, что показываютъ вамъ, какое искусство можетъ произрастать на настоящей русской почвѣ, сообразно качеству ея и всѣхъ условий произрастанія.

Въ то же время, изъ всего вышесказаннаго понятно станетъ, почему произведенія этихъ беллетристовъ представляютъ изъ себя такой необработанный въ техническомъ отношеніи видъ и хаотическій характеръ. Имѣли-ли возможность эти писатели заниматься тщательною обработкою своихъ произведеній и придаваніемъ имъ художественно-совершенныхъ и прекрасныхъ формъ, когда съ одной стороны — въ лицѣ ихъ мы видимъ самоучекъ, не успѣвшихъ даже и познакомиться иногда со всѣми таинствами традиціонной, художественной техники, не только что имѣли успѣть ихъ, а съ другой стороны — до того-ли было имъ возводить свои произведенія въ „перлъ созданія“, когда каждую едва написанную строчку приходилось восторбѣ торопиться сбивать на литературный рынокъ, изъ опасенія завтра остаться безъ обѣда! Имъ очень часто некогда было и оканчивать свои произведенія, не только что обрабатывать ихъ. Такъ мы видимъ, что весьма многіе разсказы А. И. Левитова представляются началами, отрывками, эпизодами изъ большихъ работъ, задуманныхъ, но оставшихся невыполненными. Чтобы читателямъ представлялись вполне наглядно причины подобной невыполнен-

ности работъ и отрывочности разсказовъ А. И. Левитова, я считаю нелишнимъ сдѣлать нижеслѣдующую выдержку изъ некролога Нефедова. Когда въ 1870 году Левитовъ прѣѣхалъ изъ Петербурга въ Москву съ цѣлю отправиться далѣе на родину, у него былъ задуманъ романъ подъ заглавіемъ „Сны и факты“ съ эпиграфомъ изъ Некрасова „Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ“, и онъ сообщилъ уже Нефедову планъ этого романа.

— Первую главу я уже началъ писать, говоритъ Левитовъ.— Ноѣду теперь на родину, поживу тамъ и буду продолжать.

Но, продолжаетъ Нефедовъ:— видно ужъ такъ на роду было написано, чтобы желаніи Левитова никогда не исполнились: злая судьба не переставала надъ нимъ гнѣтаться. Выѣдетъ родину, ему пришлось остаться въ Москвѣ и поселиться близъ ваганьковскаго кладбища, въ каморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и дуть сквозъ крышу дождь. Опять жизнь, полная лишений и страданій. Одинъ изъ его друзей перетаскилъ его на другую квартиру, на Остоженку. Здѣсь Левитовъ окончилъ первую главу своего романа. Здоровье его ухудшалось; видимо, онъ ужъ началъ сомнѣваться, что не въ силахъ будетъ осуществить планъ. Выѣдетъ романа, Левитовъ хотѣлъ написать повѣсть, которая была бы эпизодомъ изъ романа; заглавіе повѣсти онъ далъ: „Говорящая обезьяна“. Онъ не окончилъ и этой повѣсти; гнетущая нужда, необходимость дневнаго существованія вынуждали его нескать денегъ. Написавши первую главу „Говорящей обезьяны“, Левитовъ отослалъ ее въ одну изъ петербургскихъ редакцій и черезъ нѣсколько времени получилъ гонораръ до насчетанія; при этомъ была возвращена и рукопись, такъ какъ не найдено было возможнымъ печатать разсказъ въ такомъ несовершенномъ видѣ.

Вотъ, въ какомъ ужасномъ видѣ представлялось зачастую творчество нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Ну, не сѣбно-ли, въ виду всего этого, претендовать на законченность и совершенство художественныхъ формъ ихъ произведеній?

Вообще, обращая вниманіе на всѣ условія жизни А. И. Левитова, остается удивляться не тому, что онъ преждевременно сошелъ въ могилу, не успѣвъ возвыситься надъ своими нервыми разсказами и создать что-либо выдающееся и великое, а напротивъ того, поразительно, какъ онъ могъ все-таки прожить 45 лѣтъ и остаться до своей смерти на высотѣ своихъ „Стенныхъ очерковъ“, которые, при всѣхъ ихъ техническихъ недостаткахъ, во всякомъ случаѣ, облечены въ немъ несомнѣнное и весьма недюжинное художественное дарованіе. Это, еще разъ повторю я, заслуживаетъ большаго удивленія и показываетъ, какими мощными физическими, умственными и нравственными силами обладалъ покойный поэтъ.

## V.

Познакомившись съ фактами жизни А. И. Левитова, теперь мы обратимся къ его сочиненіямъ. Эти факты жизни выяснили передъ нами обстоятельства и условія, которыя дѣйствовали на творчество поэта подобно тому, какъ поздніе весенніе и дѣтніе морозы дѣйствуютъ на всходы хлѣбовъ, особенно-же иѣжныхъ полуденныхъ растений, несвойственныхъ слишкомъ сѣвернымъ широтамъ, и помѣшали этому твор-

честву развернуться вполне роскошнымъ и богатымъ цвѣтомъ, во всей его красѣ. Теперь мы посмотримъ, какъ тѣ-же самыя обстоятельства обусловили собою характеръ и содержаніе произведеній А. И. Левитова, какъ вполне естественно и органически вытекли образы и мотивы творчества покойнаго поэта изъ фактовъ и условій его жизни. Мы увидимъ, такимъ образомъ, въ лицѣ А. И. Левитова вовсе не одного изъ тѣхъ искусственно-тенденціозныхъ писателей, какими привыкли у насъ представлять себѣ всѣхъ беллетристовъ этой школы. Подобное представленіе предполагаетъ обыкновенно отсутствіе всякой органической связи между жизнью поэта и образами его произведеній. Онъ можетъ быть богатъ и бѣденъ, счастливъ или несчастливъ, можетъ жить въ какой угодно средѣ общества, пожалуй, хоть въ полномъ затворничествѣ кабинетнаго труженничества, это — рѣшительно все равно: онъ искусственно нанизываетъ въ своихъ произведеніяхъ тѣ факты жизни, какіе внушаетъ ему тенденціозность. Его сердце, можетъ быть, переполнено счастьемъ и блаженствомъ только-что удовлетворенной любви, но долготъ велитъ ему изображать муки и слезы семейнаго раздора, и онъ долженъ во что-бы то ни стало настраивать свои нервы на скорбный ладъ и выжимать изъ глазъ непослушныя слезы; ему тепло и сытно послѣ какого-нибудь дукуловскаго обѣда передъ ярко-горящимъ каминномъ, а ему слѣдуетъ во что-бы то ни стало изображать муки голода и холода непокрытой нищеты. Сочиненія А. И. Левитова въ связи съ обстоятельствами его жизни показываютъ намъ совершенно противоположное. Мы видимъ, въ лицѣ А. И. Левитова, поэта въ истинномъ смыслѣ этого слова, — который въ каждой строкѣ выражалъ всего себя всецѣло, со всѣми внутренними тайниками своей души, каждая строка котораго была пережитая, вымучена не однимъ задѣваніемъ симпатическихъ струвъ его сердца, но и личнымъ, тяжкимъ опытомъ. Однимъ словомъ, передъ нами — вовсе не поэзія гуманнаго сочувствія и состраданія, а поэзія личнаго горя. Въ этомъ отношеніи скорѣе можно усомниться относительно органической связи съ жизнью и непосредственности въ твореніяхъ весьма многихъ нашихъ поэтовъ, считающихся представителями „чистаго искусства“, въ родѣ, напримеръ, Ал. Майкова, Тютчева, Фета и проч., чѣмъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Можно скорѣе подумать, что какой-нибудь „Клермонтскій соборъ“ Ал. Майкова или „Василій Шибановъ“ гр. А. Толстого суть произведенія искусственно вымышленныя, не имѣющія ни малѣйшей связи ни съ внутреннимъ міромъ поэтовъ, создавшихъ эти произведенія, ни съ внѣшними обстоятельствами ихъ жизни, чѣмъ предположить это относительно любого изъ очерковъ А. И. Левитова.

Стоитъ обратить вниманіе на одну важность произведеній А. И. Левитова, на форму ихъ, языкъ, приемы автора, „физиономію“ поэзіи его, если можно такъ выразиться, чтобы убѣдиться въ этомъ. Произведенія эти, какъ уже было объ этомъ говорено нами выше, представляютъ рядъ отрывочныхъ, клочковатыхъ, нестройныхъ и по большей части несовершенныхъ очерковъ. Но, собственно говоря, названіе „очерковъ“ не совсѣмъ точно и можетъ дать нѣ-

сколько ложное понятие о формѣ произведеній А. И. Левитова. Подъ очеркомъ разужьется произведеніе объективно-эпическое, изображающее тѣ или другія явленія жизни въ общихъ, наиболѣе круцихъ чертахъ и притомъ касающееся преимущественно вѣшнихъ сторонъ, не заходя глубоко въ сущность изображаемыхъ явленій. Но А. И. Левитовъ былъ слишкомъ субъективный поэтъ для того, чтобы быть способнымъ писать подобнаго рода художественно-созерцательные или тенденціозно-поучительные очерки. Поэтому, если вы захотите въ точности опредѣлить форму произведеній его, то вы не найдете иного термина, какъ развѣ „безформенныя лиро-эпическія импровизаціи“! Каждое произведеніе А. И. Левитова представляетъ изъ себя обыкновенно разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и воллей наболѣвшей души. Все это въ нестройнъ хаосѣ тѣснится, словно сѣвша и едва поспѣвая другъ за другомъ и сѣвнясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ сѣвняются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы, наконецъ, добраться. И всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ тою-же произвольностью, съ какою въ головѣ каждаго человѣка одни представленія сѣвняются другими, внося его иногда не вѣсть въ какую область. Ему, напримеръ, хочется изобразить намъ горе какого-нибудь сапожника или отставнаго солдата, но начинаетъ онъ рѣчь не иначе, какъ съ самого себя, изображал свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизаго, обычнаго своего псевдонима, и вотъ онъ рассказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ какого-нибудь московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими фонарями. И вотъ развертывается передъ вами картина этого хмѣльнаго чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ развѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшной мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется передъ вами, въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ, степная картина, блестящая яркими красками и ограднымъ, теплымъ колоритомъ, а далѣе—опять мракъ, свѣжные сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей-же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается жѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушно-веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ, видно, что авторъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соотвѣтствіи частой своего произведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранѣе, куда она его занесетъ. Фантазія-же эта была живая, пламенная, и вообще можно сказать, что поэзія А. И. Левитова по яркости колорита, по страстности и лиричности, вполне представляетъ изъ себя южный типъ. Это отражается и въ языкѣ А. И. Левитова. Слогъ его своею музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патети-

ческихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, преобладаетъ въ этомъ отношеніи слогъ Гоголя: рѣчь А. И. Левитова представляетъ собою рядъ периодовъ, такихъ-же длинныхъ и закрученныхъ, какъ у Гоголя, и точно также длиннота ихъ, главнымъ образомъ, происходитъ отъ массы картинныхъ и затѣйливыхъ эпитетовъ, метафоръ и уподобленій, которыми до излишества оснащена рѣчь поэта. Въ то же время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза и весьма характеристическихъ особенностей поэзіи А. И. Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у А. И. Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собою или съ геронми стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ одномъ очеркѣ, онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ одномъ степномъ селѣ, въ образъ пропившагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлыя монологи о кабачныхъ посѣтителяхъ, садившихся на него казакать между собою; а подъ конецъ бревно это, возмущившись спенами, происходившими возлѣ кабака, „приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожники пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ нему взвилась и всего его затуманила“. Въ другомъ-же мѣстѣ своихъ произведеній („Вѣрно средство отъ разоренія“) онъ заставляетъ разговаривать между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ одного купеческаго дома въ Москвѣ, и статуи произносятъ цѣлыя сатирическія монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ и пр. Эта страсть къ олицетвореніямъ, выходящая мѣстами изъ всѣхъ границъ и отягощающая излишними длиннотами рѣчь, и безъ того уже чрезвычайно образную и иреспонненную яркими метафоръ и уподобленій, суть тоже свойства южнаго типа поэзіи А. И. Левитова.

Но довольно о вѣшной физіономіи поэзіи А. И. Левитова; обратимся теперь къ внутреннему ея характеру и содержанію. Но здѣсь на пути нашемъ стоитъ рядъ ходячихъ предразсудковъ, обойти которые нѣтъ никакой возможности и отъ которыхъ первымъ деломъ слѣдуетъ расчислить путь нашей характеристики. Предразсудки эти происходятъ вслѣдствіе отсутствія всякаго твердаго и опредѣленнаго критерія относительно беллетристики народнаго быта. Каждый руководствуется въ этомъ случаѣ своими личными требованіями и вкусами, смотри по тому, какими самъ глазами смотритъ на бытъ народа, насколько ему знакомо или незнакомо этотъ бытъ и что въ немъ онъ предполагаетъ или отрицаетъ. Такъ мы видимъ, что одни читатели и судьи вполне удовлетворяются вѣрностью изображенія народнаго быта съ одной вѣшной его стороны, въ духѣ грубаго натурализма. Для нихъ совершенно достаточно, чтобы изображаемые мужики говорили вполне вѣрно по-мужички, чесали въ затылкѣ пятернею, когда слѣдуетъ, и просили на водку совершенно такъ же точно, какъ это происходитъ въ дѣйствительности. Затѣмъ, если писатель сумѣетъ описать довольно натурально базарный или праздничный день въ селѣ, знаетъ, гдѣ у мужика де-



жать соха и боропа, когда и какъ происходитъ сватовство, какія рѣчи ведутся и какія пѣсни поются на дѣвичникѣ, при этомъ съумѣеть описать ухаживанье парня за дѣвкою такъ, что оно выйдетъ настоящимъ деревенскимъ ухаживаньемъ, а не облеченнымъ въ мужицкія рѣчи пѣжными изліяніями въ любви салонныхъ селадоновъ, да если еще ко всему этому съумѣеть ловко ввернуть два-три мѣстныхъ словечка или особенности жаргона, то весьма многіе будутъ готовы видѣть въ авторѣ самаго толкаго и глубокаго знатока народнаго быта. За то нѣмѣе подходитъ къ этой беллетристичѣ съ такими страшными по своей необязности и туманности требованіями, что невольный ужасъ беретъ за обидныхъ изобразителей народнаго быта. Людямъ этимъ постоянно мерещится, что гдѣ-то тамъ, въ нѣдрахъ народныхъ массъ, въ самой глубокой глубинѣ народной, словно на морѣ окіанѣ, на островѣ Буянѣ, за тридцатью замками, таится вѣкій кладъ, въ видѣ особеннаго какого-то народнаго міросозерцанія, народныхъ идеаловъ, достиженіе которыхъ и должно будто бы составлять задачу каждаго правописателя народнаго быта. Народъ, по вѣщью этихъ господъ, вовсе не проводитъ открыто въ самой жизни этихъ своихъ завѣтныхъ идеаловъ, а блюдетъ ихъ въ своей душѣ и особенно тщательно скрываетъ ихъ отъ каждаго человѣка, носящаго европейское платье, питая въ такихъ людяхъ крайнее недовѣріе. Поэтому, самую высшую заслугою и конечною, идеальною цѣлію правописателя должно представляться умѣнье заслужить полное довѣріе народа, войти въ его душу и успѣть захватить тамъ за хвостъ исскому жаръ-птицу, для того, чтобы вынести ее на свѣтъ Божій въ очеркахъ, повѣстяхъ или романахъ. Такія рѣчи приходилось мнѣ не разъ слышать не отъ однихъ славянофиловъ, но и отъ людей, не имѣющихъ ничего общаго съ этимъ ученіемъ. Это—своего рода мистицизмъ, исканіе чего-то невѣдомаго, особеннаго, фантастически-чудснаго и желаннаго, но чего именно—искатели сами не могутъ дать себѣ отчета.

Я не говорю, чтобы мы вполнѣ знали народную жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и разнообразныхъ отношеніяхъ, знали всѣ нужды, желанія народа, всѣ его симпатіи и антипатіи и пр., и чтобы намъ нечего было изучать въ этой области и нечему поучаться въ ней. Напротивъ того, я первый готовъ утверждать, что область эта мало изучена, что мы—большія невѣжды въ ней и что все, сдѣланное до сихъ поръ для этого изученія—капля въ морѣ нашего невѣжества. Но, въ то же время, мнѣ сдается, что изученіе это должно быть настоящимъ, реальнымъ изученіемъ различныхъ народныхъ отношеній, нуждъ и возникающихъ изъ нихъ требованій, а вовсе не мистическимъ искаженіемъ нѣкагого клада, который можетъ быть въ одинъ прекрасный день найденъ и открытъ ключемъ довѣрія и проникновенія въ душу простаго человѣка, и затѣль должны будто бы послѣдовать сразу различные сліянія, просвѣтленія, возрожденія и т. п. Путемъ науки, рассматривающей жизнь народа въ ея обратительномъ цѣломъ, науки, вооруженной статистическими, экономическими, этнографическими, филологическими, историческими и пр., и пр. данными,

мы можетъ быть раньше или позже дойдемъ до болѣе обстоятельнаго и точнаго знанія народнаго быта, чѣмъ какое имѣемъ въ настоящее время, но какимъ бы безконечнымъ довѣріемъ вы ни пользовались въ кругу простыхъ людей, и хоть бы, пользуясь этимъ довѣріемъ, вы залѣзли въ души тысячъ мужиковъ на всемъ пространствѣ Россіи, повѣрите, что, вмѣсто искомыхъ таинственныхъ идеаловъ, вы всегда будете наткаться на массу конкретныхъ отношеній и драгъ жизни, въ хаосѣ которыхъ совсѣмъ потеряетесь, и какъ ни будете копаться въ испытуемыхъ душахъ, ничего въ нихъ не откроете, кромѣ мелочныхъ будничныхъ насущныхъ заботъ о кускѣ хлѣба, о томъ какъ бы свалить съ плечъ недоимку, выгодно сбыть съ рукъ негодную лошаденку, которю въ прошлую ярмарку надулъ барышникъ, прибрать къ рукамъ и поутюжить лѣвивую невѣстку и т. п.—и тщетны будутъ всѣ ваши исканія. Но подите, вразумите въ этомъ нашихъ мистиковъ по части народныхъ идеаловъ: повѣрите, что какія бы новыя данныя и открытія ни представляла имъ наука въ своемъ изученіи народнаго быта, они все будутъ оставаться недовольны; имъ все будетъ казаться, что за этими данными и открытіями таится нѣчто такое, что именно и составляетъ самую суть-то, такъ сказать, путь земли.

Понятно, что подобныя господа должны остаться неудовлетворенными и недовольными всѣми беллетристическими произведеніями изъ народнаго быта, какія только когда-либо появлялись въ нашей литературѣ, не исключая даже произведеній и такихъ знатоковъ народнаго быта, какъ Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій или Левитовъ. Имъ подавая такой рассказъ, въ которомъ на нѣсколькихъ печатныхъ листахъ народная жизнь была бы начерчена вся до гласа, со всѣхъ ея сторонъ, во всей ея глубинѣ и во всей сути народныхъ идеаловъ, и чтобы въ рассказѣ этомъ героями парадировали не какіе-либо Федоръ, Иванъ, Сидоръ, а нѣкій собирательный русскій человѣкъ, въ лицѣ котораго весь народъ предсталъ бы передъ ними, какъ онъ есть до самого нутра. Но замѣтите при этомъ, что еслибы появился такой чудо-рассказъ и сразу избавилъ-бы васъ отъ заботы изученія народнаго быта, предоставивъ вамъ только прочесть его и въ мигъ постигнуть всѣ таинства народныхъ идеаловъ, то мистики наши, все-таки, не удовлетворились бы, имъ все-таки казалось-бы что нѣтъ, это—не то, что народные идеалы, все-таки продолжаютъ скрываться гдѣ-то за тридцатью замками на морѣ окіанѣ, на островѣ Буянѣ.

Имѣя въ виду всѣ подобнаго рода требованія отъ рассказовъ изъ народнаго быта,—съ одной стороны, требованія слишкомъ поверхностныя и жалкія по своимъ результатамъ, съ другой—слишкомъ строгія и несполнимыя, я впередъ заявляю, что произведенія А. И. Левитова стоятъ совершенно внѣ этихъ требованій, не имѣя съ ними ничего общаго. Вовсе не заботясь о тщательномъ изученіи жизни народнаго быта со стороны, А. И. Левитовъ ни мало не заботился и о томъ, чтобы изображать народный бытъ въ его внѣшнихъ проявленіяхъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и въ то же вре-

ми не имѣлъ онъ въ виду никакихъ мистическихъ проникновеній въ суть народныхъ идеаловъ. Какъ истинный, вполне живо-непосредственный художникъ, будучи самъ членомъ народа и жившій его жизнью до послѣднихъ своихъ дней, онъ изображалъ въ своихъ произведеніяхъ не всю народную жизнь всецѣло, а только тѣ ея стороны, которыя его занимали, поражали, соответствовали фактамъ его личной жизни и въ слѣдствіе этого наиболѣе возбуждали его творчество.

Такимъ образомъ, въ произведеніяхъ А. И. Левитова мы имѣемъ изображеніе народной жизни только съ нѣкоторыхъ сторонъ, наиболѣе авторомъ любимыхъ и завѣтныхъ, и, согласно законамъ художественнаго творчества, эти стороны народной жизни представляются въ произведеніяхъ А. И. Левитова въ гораздо болѣе рельефномъ, рѣзкомъ, поразительномъ цвѣтѣ, чѣмъ онѣ существуютъ въ дѣйствительности, гдѣ онѣ ступиваются въ массѣ разнородныхъ, конкретныхъ фактовъ.

#### VI.

Какія-же именно стороны народной жизни наиболѣе отразились въ произведеніяхъ А. И. Левитова, и почему онѣ именно, а не какія-либо другія? Ответить на этотъ вопросъ было-бы очень легко даже а priori, не читая произведеній этихъ и будучи совсѣмъ съ ними незнакомымъ. Очевидно, что человѣкъ, прожившій жизнь такъ мрачно и безотрадно, какъ прожилъ ее А. И. Левитовъ, вынесшій изъ нея такъ много горя, слезъ и униженій, долженъ невольно обращать вниманіе преимущественно на мрачныя стороны окружающей къ сердцу всяческаго горе своихъ близкихъ и чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно, это мы и видимъ въ произведеніяхъ А. И. Левитова. Онъ вполне справедливо и весьма чѣтко озаглавилъ одно изъ изданій своихъ сочиненій „Горемъ сель, деревень и городовъ“. Дѣйствительно, въ лицѣ А. И. Левитова мы видимъ ивица народнаго горя и, прибавимъ мы отъ себя, народнаго плачущаго, вытекающаго изъ этого горя и сопровождающаго его. Подъ „народнымъ горемъ“, ивъцомъ котораго является А. И. Левитовъ, слѣдуетъ разумѣть здѣсь не одно какое-либо тенденціозное горе, что-либо въ родѣ „гражданской скорби“ по случаю несправедливостей исправника или неправедныхъ поборовъ станового, но горе вообще во всѣхъ его многообразныхъ видахъ: горе нищеты, семейнаго раздора, горе невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, горе обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, горе безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганья, локанья и помыканья всяческой силы надъ всяческой слабостью и пр., и пр. Однимъ словомъ, это—то самое „горе-злосчастіе“, которое народъ воспѣваетъ во множествѣ пѣсенъ и сказокъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда спрятаться доброму молодцу, ни въ пескахъ сычужихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Уже „Степные очерки“, этихъ сборникъ первыхъ юношескихъ произведеній автора, являются передъ

нами преисполненными этого горя. Кстати здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что ничто такъ не говоритъ въ пользу полной органичности и произвольной естественности произведеній А. И. Левитова, какъ время и обстоятельства жизни, подъ влияніемъ которыхъ они являлись. Такъ, нѣтъ ничего естественнѣе, что извивный степнякъ, возросшій среди простора и раздолья заводскихъ луговъ, подъ теплыми лучами полуденнаго солнца и затѣмъ кинутой судьбою на дальній сѣверъ въ шенкурскую глушь, долженъ былъ, томимъ тоскою по родинѣ, съ особенною отрадою и грустью вспоминать родную сторону. Всѣ ея краски должны были ярко воскресать въ его воображеніи, гораздо ярче, чѣмъ еслибы онъ оставался на родинѣ и не покидалъ ея; всѣ малѣйшія подробности ея бытія должны были принять радужно-поэтическій, волшебный колоритъ. И, конечно, первыя произведенія поэта въ положеніи А. И. Левитова должны были отразить все это настроеніе и быть посвящены воспоминаніямъ о родномъ краѣ. Такъ, Роговъ, прѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего одинокаго скитальчества по Петербургу и всякихъ вытарствъ, писалъ „Вечера на хуторѣ близъ Дикавки“; такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни роднаго края и написалъ рядъ „Степныхъ очерковъ“. И дѣйствительно, „Степные очерки“, это лучшее произведеніе А. И. Левитова, блестящее особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красоты степной природы, всѣхъ малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массою личныхъ воспоминаній дѣтства разбѣланы по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій очеркъ обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ дугамъ и лѣсамъ и живущихъ одною жизнью съ окружающей природою. И въ то же время, какды малая черточка выведена съ горячею, нѣжною любовью и блестяще слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чужезаднюю сторону.

Но всѣ прелести степной природы и все поэтическое обаяніе воспоминаній беззаботнаго дѣтства не могли заглушить преобладающихъ струвъ поэзіи А. И. Левитова, и въ своихъ „Степныхъ очеркахъ“, какъ и во всѣхъ послѣдующихъ своихъ произведеніяхъ, А. И. Левитовъ является передъ нами все тѣмъ же ивъцомъ народнаго горя; общее впечатлѣніе, какое выносите вы изъ „Очерковъ“, сводится все къ тому же всеобщему горю, которое одно только и видѣть поэтъ во всей окружающей его жизни.

„Истинно скажу, говоритъ онъ въ своемъ очеркѣ „Уличныя картины.—Ребячьи учителя“ (см. „Степ. Очерки“, т. II, стр. 68):—что человѣкъ, которому приведетъ судьба не только что родиться на ягкой почвѣ нашихъ сельскихъ улицъ, но и помять этого травы этой, обгаючи по ней дитя неразумнымъ до тѣхъ поръ, пока придется ему въ послѣдній разъ потащить гробомъ своимъ ихъ родную ширину, такъ присмотрится къ нимъ человѣкъ этотъ, что и самъ непременно сдѣлается такимъ же молчаливо-печальнымъ, такимъ же покорно-страдающимъ, какими кажутся улицы, потому что во всю его жизнь лишь одно только горе, какъ обозъ какой пескочаемай,

тянулось по нимъ. Родить горе степного человека и оно же его, по нашей поговоркѣ, въ ранній гробъ кладеть. Голова у него закружится и глаза ослѣнутъ отъ слезъ при видѣ страданья, безсмысленно ползущаго по уличной пыли, при видѣ нищеты, пугово, какъ настрашенный звѣрь, сравнившейся съ той пылью. Смотритъ на все это степной человекъ каждый день. Божій до того, что и на свѣтлое солнышко взглянуть ему некогда, да и нельзя никакъ проглянуть къ нему, потому что настолько заслоняютъ его отъ хорошихъ глазъ пыльные столбы, вздымаемые страданьемъ и нищетою, сколько тѣ громадные, все небо занимающіе клубы, которые издымаются на нашихъ улицахъ глухая, чвалливая, но богатая стѣна, когда она съ кривилымъ хвостаньемъ, заглашающимъ всякій человѣческій голосъ, валитъ по посадку вперед и велѣтъ за горемъ страдающимъ и горемъ нищенствующимъ...\*

Иногда авторъ до такой степени увлекается зрѣлищемъ всеобщаго горя, что ему кажется, будто сама природа, цвѣтущая и роскошная степная природа, въ свою очередь, пренеполнена горя, и она вмѣстѣ съ людьми страдаетъ и стонетъ. Такъ, въ очеркѣ „Степная дорога днемъ“ на 115 страницѣ опять развивается передъ вами слѣдующую картину страданія природы:

«Чувствую я, говорить она:—что голову мою начинаеть жечь палачій жаръ степной. Удрученная своею скорбною думою, съ каждымъ шагомъ развивавшеюся все печальнѣе и печальнѣе, она невыразимо страдала: какія-то проклятыя сланились въ ней, какая-то мука тяготѣла надъ нею и не давала ей возможности образовать, лучъ-ли солнечный бить въ нее этою мукой, или какое-то смертное томленіе, обыкновенно приобретаемое въ пустынь, когда солнце заливаетъ ее потоками своего палачаго свѣта, застаиваетъ ее страданья?»

«И дѣйствительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всеобщаго, такъ сказать, страданія.

«И, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго въ этихъ случаяхъ; только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удручающую, гнетущую полноту...»

«Придорожныя вѣтви, какъ человекъ въ нежданномъ несчастіи, распустили свои запыленные вѣтви и молчаливо стояли будто окаменѣлая. Десятки вѣтвей унизали ихъ кривыя сушья. Идете вы и видите, какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткій и пулистый, теперь и не думаетъ примѣчать васъ. Вышла она острими когтиами въ древесную кору, раздвинула сѣрныя крылья и озадаченно смотритъ на васъ, удивляясь, повидимому, вашей охотѣ шататься въ такую мучительную пору. Навстрѣчу вамъ, время отъ времени, пробѣжитъ топтал, искалѣченна, съ перебитою ногою, собака, съ хвостомъ, волочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна та-же мука. Такъ жалобно поемотрѣла на васъ собака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что будто просила васъ помочь какъ-нибудь ея перебитой ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги изъ золотыхъ волнъ ржи мелькаютъ блѣдыя рубахи на трудящихся спинахъ людей. Вамъ не видны красныхъ, изможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ потомъ—и думи!»

«И все это какъ-то непріязненно молчать молчаніемъ мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещенію... Но приходяща биваютъ дорожныя

думы... Бдете вы и думаете: что было-бы, ежели бы все это, не вынесши своей тяжкой боли, вскрикнуло вдругъ?...»

Подобные тоскливые мотивы проходятъ сквозь всѣ „Степные очерки“ А. И. Левитова, и мотивамъ этимъ вполне соответствуютъ сюжеты рассказовъ и выходящія сцены. Повсюду передъ вами, какъ я уже сказалъ выше, льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутого сиротства, повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только-что разцвѣтающая жизнь. Такимъ образомъ, передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце то обстоятельство, что далеко не всѣ эти драмы имѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу: напротивъ того, передъ вами развѣртывается картина дикаго, чисто средневѣковаго неурюстройства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и бессмысленный случай, то такіе неоспоримо невѣроятные факторы, какъ суевѣріе, грубость нравовъ и культуры и т. п. При такихъ условіяхъ, вы видите, что въ этой средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе ни въ малѣйшей степени не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ воровъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, въ видѣ какого-нибудь волка, который съѣстъ ребенка, и что всего ужаснѣе, что гроза эта разразится нежданно-пегаданно, изъ-за самыхъ, повидимому, пустыхъ и ничтожныхъ поводовъ.

Такъ, прочтите, наприкладъ, очеркъ „Расправу“. Жила-была убогая вдова Козлиха, терѣла самую горемычную бѣдность и беззащитность, но тянула свой сиротскій вѣкъ кое-какъ, такъ какъ была у нея и хатка, и кое-какое хозяйство, овечекъ даже имѣла. Такимъ образомъ, могла-бы скоротать весь вѣкъ, свыкнувшись съ своей горемычной долей, какъ вдругъ выпалъ такой ничтожный случай, какихъ ежедневно можете быть по нѣскольку въ каждой деревнѣ, и посмотрите, что изъ этого случая вышло:

По сосѣдству отъ ея убогой хатки, жилъ богатый и свѣсвый мужикъ Федотъ, воротила всего сельскаго міра. Однажды, когда стадо возвращалось съ поля домой, Козлихина ярочка пошла во дворъ Федота. Козлиха обратилась тотчасъ-же къ Федотовой старухѣ съ ласковою просьбою возвратитъ ей ярочку, но та не тутъ-то было. Слово за слово, поругались старухи, закинула брань, а тамъ за каменья, насили мужики розняли. Сѣрая бабочка была прогнана въ три шеи сыновьями Федотихи. Но этимъ не кончилось дѣло. Федотъ созвалъ міръ и началъ щедро угощать его съ цѣлю учинитъ судъ надъ Козлихою. Упоенный щедростію Федота, міръ жло того, что присудилъ горемычную Козлиху къ рогань, но и къ штрафу въ десять рублей, а такъ какъ десяти рублей у нея не было, то вышло вотъ какое окончательное рѣшеніе:

— Знаете вы, православные, обратился къ міру Федотъ: убогая баба Козлиха, вдова, ни роду, ни племени нѣтъ у нея. Такъ я теперь-ка за пазу ей дамъ пять рублей, за дворъ, и за животину, какая у нея есть, тоже пять рублей. Пусть на міру знаютъ, што

не притѣснитель я какой, не грабитель, а припрюмъ, на убожество ея взираючи, призрѣть хочу. За ее самое, ежели то-исъ присудить вамъ захочется эдакъ, даю десять рублевъ за посмертную кабалу.

Миръ на томъ и порѣшилъ. Продали Федоту-же весь домашній скарбъ Козлихинъ и ее самое въ вѣчную ему кабалу, да еще и дивились ея счастью.

Вотъ передъ нами другая столь-же мрачная картина и такая-же ужасная драма, и опять-таки въ ней играетъ роль столь же слѣпой и непредвидѣнный случай (см. „Деревенскій Случай“, т. 2, стр. 28):

Горькая солдатка сидитъ передъ печкою у огня и горюетъ. Живетъ она, правда, въ своей отповской семьѣ, но не радостна жизнь ея: „Весь вѣкъ такъ-то гнусь, — говоритъ она сама съ собою: — а радости-то только и было, когда съ матерью въ дѣвкахъ жила. Да пожалуй, и тогда-то не очень плясала. Голодъ то съ холодомъ изъ избы отъ насъ, сиротъ, никогда не выхаживали. Смотрѣли мы только на другихъ отповскихъ ребятъ, да на ихъ счастье серчали... Внѣ вонъ братецъ родимый растить себѣ сынка-то — вѣтру вольному подуть на него не даетъ. Такъ онъ и всю свою жизнь проживетъ, а мой, горемычный, теперь-то всей семьѣ на потѣху данъ (исхитрились сиротѣ прозвище дать: Безбокинъ, вѣсто крещенаго имени, зовуть!..); а какъ вырастетъ, на службу за нихъ ступай, по чужимъ сторонамъ свою молодость развѣивай... Какое это счастье людское чудное? — шепотомъ спрашиваетъ стрипуха у избяной тишины. — Вонъ мальченка то мой: такъ, вѣдь, онъ тоже, какъ и я, до самой темной могилы не знаячи свѣтлыхъ дней, поидетъ, потому безъ меня съ нимъ въ нашей избѣ и горевать бы некому было. Вонъ все какіе веселые люди въ этой избѣ безъ насъ-бы жили!“

Говорить это горькая солдатка, а сама съ великой досадой на сынишку старшаго брата глядитъ. И между тѣмъ, какъ мать, вся уйдя въ свои скорбныя думы, совсѣмъ упустила изъ виду игру мальчугановъ, вдругъ въ избѣ раздаемъ болѣзненный крикъ:

„— Мамушка! — какъ будто вся эта большая изба закричала. — Онъ меня полыхнулъ...“

Опомнилась мать отъ этого крика, смотритъ, а ея послѣдняя радость лежитъ на полу, вся залитая горячею кровью. Мальчикъ въ красной рубахѣ равнодушно стоялъ надъ зарѣзаннымъ Безбокинъ съ новымъ хлѣбнымъ ножомъ и поучительно растягивалъ:

„— Я, вѣдь, тебѣ толкомъ сказывалъ, что полыхну, коль играть не станешь со мной. Тебѣ все въ медвѣдя хотѣлось!..“

Несчастливая мать тотчасъ-же сошла съ ума, и на другой день ее увезли въ городъ, прикованною къ телѣ.

Хотя въ этой трагедіи и играетъ роль непредвидѣнный случай въ видѣ ножа, подвернушагося подъ руку ребенку, но не имъ однимъ обуславливается исходъ ея; за этимъ непредвидѣннымъ случаемъ, всотакъ, таится здѣсь семейный раздоръ и притѣсненіе, а главное дѣло — сиротская беззащитность женщины, лишенной въ лицѣ взятаго въ солдаты мужа всякой опоры въ своей семьѣ. Но въ очеркахъ встрѣчаются и такого рода трагедіи, которыя лишены всякихъ побудительныхъ причинъ, въ которыхъ неждан-

но-негаданно является на сцену тяжелый родительскій кулакъ, обрушивается на любимое и желанное дѣтище и губитъ его, дѣлая на всю жизнь несчастнымъ. Такъ, напримѣръ, въ очеркѣ „Блаженненькая“ авторъ рисуется передъ нами прелестную картину лѣтняго полудня въ степной деревнѣ; всѣ взрослые ушли на страду, остались дома одни дѣти. И вотъ передъ нами мажонькая дѣвочка, одна-одинехонькамъ, прокрадывается въ свою избу и начинаетъ въ ней хозяйничать. Съ большимъ трудомъ достаетъ она съ полокъ горшки съ свѣтлымъ, поставленные туда родителями, и начинаетъ уписывать говядину. А между тѣмъ, на сосѣдней завалинѣ какая-то старуха рассказывала дѣтямъ сказку про непослушнаго брата Аленушки, Ванюшу. Заслушался ребенокъ этой сказки и забылъ про говядину.

Въ это время къ воротамъ подѣхала телѣга. Съ нея соскочилъ мужикъ и пошелъ въ избу. Это былъ отецъ дѣвочки, что-то забывшій дома. Его прѣзда не замѣтила очарованная сказкой шалунья. Только-что вошелъ въ избу сердитый хозяинъ, кошка безмятежно убиравшая украденную говядину, стремглавъ бросилась подъ печку, оставивъ на полу обличающія кости; мухи поднялись черною жужжащею тучей; отъ грохота прихлопа дверью голуби слетѣли съ избяной пелены; но ничего этого не слышала дѣвочка. Попрѣжену уткнулась она въ окно и напряженно слушала сказку, которая съ каждымъ словомъ становилась все занимательнѣе, а передъ нею стоялъ опустошенный горшокъ, валяясь объѣдки ужина уработавшейся семьи. Злость взяла отца.

„— Ахъ, ты каторжника! — крикнулъ онъ на дочь, и съ этимъ словомъ, захваченнымъ съ собою кнутомъ вытянулъ онъ ее вдоль спины.“

„— А-а-ахъ! дико раздалось въ избѣ. По тѣлу бѣдняжки пробѣжала дрожь; она, какъ обожженная, вскочила съ лавки и бросилась въ сторону, противоположную той, съ которой послѣдовалъ ударъ. Въ ея прыжкѣ было что-то такое, что болѣе походило на отчаянный прыжокъ подстрѣленного зайца, нежели на прыжокъ ребенка, сознательно увертывающагося отъ наказанія. Она прижалась въ уголъ и безъ обыкновенныхъ въ этомъ случаѣ слезъ и воплей смотрѣла на отца.“

„— Што это ты падѣлала, озорница? — спрашивалъ ее отецъ, съ котораго спалъ первый припадокъ гнѣва. Сказывай, што?“

Дѣвочка по прежнему молчала и все такъ же слупно, такъ же бессмысленно смотрѣла на него. И на отповскую ласку потомъ ни однимъ звукомъ, ни однимъ движеніемъ не отвѣтила бѣднымъ ребенкомъ. Помертвѣвшее смуглое личико, посинѣвшія губы и потухшіе глазки ясно сказали отцу, что дочь его отнынѣ уже ничего разумно не услышитъ, ни на что разумно не отвѣтитъ.

Такъ и остался ребенокъ на всю жизнь идиотомъ, „блаженненькою“, какъ ее прозвали, на свое собственное и родителей мученіе и на людское посмѣиваніе.

Подобный фактъ нѣсколько разъ повторяется въ „Стенныхъ очеркахъ“ А. И. Левитова: такъ, одинъ дьячекъ погубилъ сына своего Петрушу за то, что тотъ не удержалъ сдѣланный отцомъ змѣй: схватилъ

онъ его въ охапку, да объ дорогу, какъ камень тяжелыми тѣлѣгами убитую, бросилъ. Оказался мальчикъ послѣ этого случая хромъ и горбатъ, и какъ онъ прежде того еще немножко раскосъ былъ, такъ глаза-то у него пуше, послѣ отповскаго наказанія раскосилъ. Такъ, наконецъ, богатый купецъ на посадѣ Луба Петровичъ однажды разсердился за что-то на своего единственнаго сына, да какъ царапнетъ его по головѣ палкой, тотъ и ополоумѣлъ. А прежде этого несчастія хорошій былъ мальчикъ. Пятнадцать годовъ ему въ то время считали, и торгаша такого сметливаго по хлѣбной части, во всекъ увѣдѣ найти нельзя было, и грамотѣ зналъ не хуже приходскаго священника, а какъ отецъ паренка по головѣ опарашилъ, не выдержалъ паренекъ и ополоумѣлъ: ополоумѣвши, блаженничать сталъ. Распустилъ слюни и въ глубокомъ безмолвіи сталъ бродить по селу\*.

Вообще, описаніе несчастнаго, забитаго и запуганнаго дѣтства представляеть одну изъ излюбленныхъ темъ А. И. Левитова, и весьма часто повторяется, какъ въ „Степныхъ очеркахъ“, такъ и во многихъ позднѣйшихъ его разсказахъ, что, безъ сомнѣнія, представляеть глубокую связь съ его собственнымъ дѣтствомъ. Такъ, въ „Степныхъ очеркахъ“ мы находимъ дѣлкій разсказъ „Горбунъ“, посвященный изображенію любви двухъ запуганныхъ дѣтей—Анюты, дочери кушца Козакова, и того самаго Петруши, котораго отецъ сдѣлалъ на-вѣки горбатымъ изъ-за злѣя. Разсказъ этотъ принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ, какъ по своему содержанию, такъ и по своей поэтичности; видно, что авторъ положилъ въ него всю душу. На первыхъ же страницахъ трогаеть васъ до слезъ высокохудожественная картина забытой мучажь-тираномъ матери, раздѣляющей съ маленькой своей дочерью общее ихъ горе.

Что касается типовъ, выведенныхъ въ „Степныхъ очеркахъ“, то всѣ они, горетъ повитые и печально влидѣнные, рѣзко распадаются на двѣ совершенно противоположныя категоріи. Одни изъ нихъ представляють людей загнанныхъ, забытыхъ, кроткихъ, терпѣливо выносящихъ всѣ невзгоды, обиды и поношенія. Обезпеченные и обездоленные, они съ смиренною покорностью стараются вымолить себѣ у судьбы и у людей право не на счастье, а хоть-бы на самое горькое существованіе, и одними лишь слезами горючили и стенами протестуютъ противъ ружающихся на нихъ невзгодъ и поношеній. Таковы знакомые уже намъ Козиха, солдатка, такова мать Анюты и сама она съ своимъ милымъ горбуномъ-музыкантомъ и пр. Въ противоположность этимъ кроткимъ страдальцамъ рисуется передъ нами рядъ личностей, которыя, подъ вліяніемъ того же горя и тѣхъ же обстоятельствъ, доходятъ до ирачнаго ожесточенія. Это — натуры страстныя, крутыя, хищныя, глубоко сосредоточенныя; за каждую обиду стараются они заплатить вдостало, возмущаются, наконецъ, не только противъ всѣхъ людскихъ неправдъ, но и вообще противъ всего человѣчества и падаютъ въ неравной борьбѣ или сливаются въ одиночествѣ полного отчужденія ото всѣхъ и вся. Наиболее рѣзко и осмысленно проведена параллель между двумя столь противоположными типами въ очеркѣ „Степные высылки“, самою обшир-

ножъ изъ всѣхъ степныхъ очерковъ, наиболее глубоко задуманномъ и тщательно отдѣланномъ, хотя, къ сожалѣнію, тоже неконченнымъ. Здѣсь представляются намъ на первомъ планѣ два типа: типъ Ивана и Петра Крутого, которые, при довольно схожихъ обстоятельствахъ ихъ дѣтства, развились въ два совершенно противоположные чловѣка.

Въ „Степныхъ очеркахъ“ вы найдете нѣсколько такого рода гордыхъ и непокорливыхъ личностей, какъ Петръ Крутой. Таковы сапожникъ Шкурланъ со своими шестью сыновьями, защищавшій своихъ односельчанъ отъ обидъ властей и богатыхъ людей, недопускавшій бѣдныхъ парней сдавать неправильно въ рекруты и потомъ, во время войны, добровольно сдавшій въ солдаты всѣхъ своихъ шестерыхъ сыновей и самъ пошедшій съ ними. Таковъ Петруша-художникъ, дѣлчковъ сынъ (см. Ст. очерки, „Степная дорога ночью“, стр. 52), который не захотѣлъ покориться молодому барину и поклониться ему и заѣхалъ ему въ физиономію, за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и засажень въ сумасшедшій домъ. Таковъ Теокритовъ (тамъ-же, „Степная дорога днемъ“, стр. 81), который, подобно автору, шель пѣшкомъ въ столицу искать счастья въ наукѣ, но возмущенный самодурскими ломаньями и издѣваньями зятя надъ его горемычной сестрою, всадилъ этому зятю ножъ въ сердце и угодилъ, такимъ образомъ, подъ уголовицу. Такова бабушка Маслиха, уличная торговка, поражающая дѣтей своимъ пѣшемъ псаломомъ и заступавшаяся за несчастныхъ семинаристовъ, готовая въ глаза вѣшиться какому-нибудь слишкомъ ужъ безчеловѣчному изъ семинарскихъ воспитателей. Всѣ эти личности, утѣющія не только возмущаться и мстить за личныя обиды, но и стоять за други и братья, представляются передъ нами словно маяками, освѣщающими непроглядный мракъ новѣжества, притѣсненій съ одной стороны, и приниженности—съ другой; они свидѣлствуютъ своимъ присутвіемъ въ „Степныхъ очеркахъ“, что не все еще окончательно подавлено въ той средѣ, которая рисуется передъ нами въ очеркахъ А. И. Левитова и, слѣдовательно, не все еще окончательно погибло.

## VII.

Заплативши, такимъ образомъ, дань своей родинѣ и воспѣвши ее въ „Степныхъ очеркахъ“, А. И. Левитовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей скитальческой жизни по неблизкимъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1875 года подъ заглавіемъ „Жизнь московскихъ закоулковъ“, и ранѣе въ изданіи 1874 года—„Горе солдъ, дорогъ и городовъ“ (таковы очерки этого изданія: „Безпечальный народъ“, „Петербургскій случай“, „Фигуры и тропы о московской жизни“, „Московскія уличныя картины“, „Шоссейный день“ и проч.). Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другою категоріею сочиненій А. И. Левитова, рѣзко отличающеюся отъ первой категоріи степныхъ разсказовъ и не имѣющею съ ними ничего общаго. Какъ ни много мрачныхъ красокъ народнаго горя собрано въ „Степныхъ очеркахъ“, но эти мрач-

ныя краски, все-таки, смягчаются нѣсколько съ одной стороны обаяніемъ стеной природы, съ другой — присутствіемъ цѣльныхъ, сильныхъ и благихъ характеровъ, на созерцаніи которыхъ отдыхаетъ сердце наше, измученное зрѣлищемъ горя, слезъ, страданій и изнуряній. Въ „Стенныхъ очеркахъ“ вы найдете не мало, наконецъ, и такихъ страницъ, въ которыхъ авторъ какъ-бы на время совершенно забываетъ главный предметъ своей поэзіи — изображеніе народнаго горя, увлекаясь то какими-нибудь воспоминаніями о впечатлѣніяхъ дѣтства, то бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда-же вы приметесь читать „Жизнь московскихъ закоулковъ“, вы должны проговорить про себя известную вамъ надпись на вратахъ Дантова ада: „оставь за собою всякую надежду“. Начать съ того, что, вмѣсто юности, исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ, изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкою и съ непрерывными проклятіями на устахъ окончательно ожесточенный голякъ, утратившій всякія надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло вамъ съ зубнымъ скрежетомъ сѣшьте набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то-же время какъ будто тщеславится передъ вами своею одинокою, безучастною нищетою, своими стрѣпьями и своимъ безпробуднымъ пьянствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя, голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ или петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду, въ какой-нибудь рваномъ пальтишкѣ — и непременно въ кабакъ или изъ кабака.

Какъ на наиболее рѣзкій примѣръ укажу на очеркъ „Грачевку“, начинающійся такимъ образомъ (см. Ж. моск. зак., стр. 146): «Начало весны для человека, неодрѣтаго въ драповое пальто на легкой ватной подкладкѣ, необутаго въ крѣпкія каалоши—вещь, по общему мнѣнію, далеко неблагоприятная. Такимъ образомъ было однажды начало весны, а у меня не было драповаго пальто на легкой ватной подкладкѣ и каалошъ не было, потому собственноручно, можетъ быть, что были сапоги, которые, что называется, просили каши. Они, т. е. мои несчастные сапоженки, до того широко разинули свои рты, что какъ будто хотѣли вычерпать всю грязную воду, залитую грязныя улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ описываемое время отъ холода первой весенней ночи, и какъ не отвалились у меня ноги, обваренныя рѣжущимъ кипяткомъ наталкившей изъ сѣрка воды. И такъ, было начало весны. На дворѣ стояла непроглядная ночь, именно та самая ночь, которой можно дать имя ночи любовнотетствующей, ночи вселенски старавшейся опредѣлить, что крѣпче изъ семъ свѣтъ есть: дерево-ли фонарныхъ столбовъ, или дѣи пѣшеходовъ, несчастно бѣдные дѣи, осужденные во время любовнотетствующихъ ночей стукаться не только объ означенные столбы, но, пожалуй, даже, говоря возвышенною рѣчью, и о холодный гранитъ тротуаровъ. Можете себѣ представить, какъ я благословлялъ эту ночь, шлепая по ея думамъ, утопая въ ея канавкахъ и ежминутно удовлетворяя ея любовнотетствующую насчетъ того, такъ сказать, насколько я мѣдно-лобенъ. Весеннийъ страницамъ Фета, положительно докладываю, весьма было бы лезло украситься благословеніями, которыя я призывалъ на первую весеннюю ночь».

И далѣе авторъ описываетъ, какъ квартирный хо-

зинъ выгналъ его за неплатежъ денегъ, какъ тщетно искалъ онъ ночлега у разныхъ своихъ пріятелей, и никто изъ нихъ не принялъ его, на томъ основаніи, что у всѣхъ у нихъ, по случаю рабочаго шабана въ субботній день почевали пріятельницы, какъ онъ встрѣтилъ, наконецъ, гдѣ-то на бульварѣ, знакомаго, такого же, какъ и онъ, безпріютнаго почлежника подъ открытымъ небомъ, и тотъ потащилъ его въ Грачевку, въ какой-то ужасный казурническій вортель. — Мы, сказалъ пріятель, — тамъ на гривенникъ хватимъ самой оглушающей водки и вдобавокъ проспимъ цѣлую ночь бездано, безношленно.

„Я, говоритъ авторъ при этомъ: — не буду вѣтъ никакого меда, когда меня обѣщаютъ сводить въ какое-либо мѣсто, въ родѣ пехорошевскаго клуба, гдѣ обыкновенно гнѣздятся по ночамъ тѣ ночныя птицы человѣческаго рода, рѣдкое появленіе которыхъ на улицѣ среди бѣлаго дня колетъ какъ будто свѣтлые глаза Вожьему солнцу. Я быстро шагаю за мной руководителемъ въ пехорошевскій клубъ, куда меня тянетъ магнетическая надежда на возможное тепло, а въ темной дали яркой путеводною звѣздой блещетъ стаканъ водки, заглушающій человѣческое горе».

Въ другихъ очеркахъ авторъ съ большими подробностями описываетъ свои возвращенія съ различныхъ пооекъ, какъ онъ брелъ по темнымъ, тускло освѣщеннымъ закоулкамъ московскихъ трущобъ, шатаясь и отуманенный виномъ, разговаривалъ съ фонарями и другими неодушевленными предметами, которые оживали и принимали фантастическія формы, подъ влияніемъ мрачныхъ и гнетущихъ грезъ бѣлой горячки.

Въ этой категоріи очерковъ мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но куда горю „Стенныхъ очерковъ“ сравняться съ нимъ: это не то горе, которое идетъ размыкаться въ дѣсь дремучій и тамъ услоковывается на лонѣ ласкающей природы — или разливается въ звучной пѣснѣ на все село, или, наконецъ, находитъ себѣ исходъ въ кельѣ Вожьей невѣсты, послушницы. Это — горе, безвыходно и безучастно задымающееся въ сиротѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ, горе, стоны и вопли котораго безслѣдно исчезаютъ, заглушаемые шумомъ и гамомъ столбичной суеты, горе, наконецъ, находящее себѣ единственный исходъ въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми визгиваніями и бѣшеною пляскою тренаки и общею кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмѣлья. Поэтому, очерки этой категоріи, представляя нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ пооекъ и потасовокъ, и являясь какъ бы специально посвященными изображенію народнаго пьянства. Ни одного очерка, можно положительно сказать, не обходится безъ описанія какой-нибудь оргіи, въ которой непосредственнымъ участникомъ является и самъ авторъ. Созерцаніе этого пьянства вмѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ, словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ его жизни и поэзіи. „Обвиняйте, сколько угодно, мой злоязыкъ, говоритъ онъ въ очеркѣ „Крымъ“ (см. Ж. моск. зак., стр. 128): — сжали вамъ это понравится; но, вѣдь, я зачѣмъ пришелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ тою цѣлью, чтобы смотреть цѣлую ночь многораз-

лучше виды нашего русского гора; чтобы смотря на эти виды, провести всю ночь в болѣзненной пылѣ сердца, нелогичаго не сочувствовать сдѣланъ людскаго падеши, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣгаясь болною душой, которая видит, что и она такъ же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа\*.

Что касается до выводимыхъ личностей въ этихъ очеркахъ второй категорш, то въ нихъ вы не найдете уже тѣхъ непосредственныхъ, пѣльных, народно-попическихъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ „Степныхъ очеркахъ“. Это все — личности надломленныя, переломленыя и стертые до полной безличности въ измѣрительныхъ стѣнахъ жизни, искаженныя иногда до потери всякаго человѣческаго образа и опустившіяся до страшнаго, чудовищаго разврата. Про А. И. Левитова нельзя въ этомъ отношенш сказать, чтобы онъ лѣстилъ народу и идеализировалъ его: онъ изображалъ народъ иногда непосредственно въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представлялся ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельстве падеши. Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболее страшныхъ труппныхъ типовъ и самыхъ современныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки „Крымъ“, „Грачевка“, „Безначальный народъ“, „Не съютъ, не жнутъ“, „Шоссейный день“. — Все эти очерки обличаютъ въ А. И. Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ труппахъ, куда крохотъ него, не приходилось заглянуть ни одному еще необходимому народнымъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь эти очерки болѣе тщательно обработаны въ техническомъ, формальному отношенш и не столь растянуты, ихъ можно было бы причислить къ числу первостепенныхъ произведенш русской литературы, хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они представляются вполне своеобразными и въ высшей степени замѣчательными явленіями ея.

Изъ всего вышеизложеннаго можно заключить, что субъективный элементъ въ очеркахъ второй категорш присутствуетъ въ огромныхъ размѣрахъ, гораздо болѣе даже, чѣмъ въ „Степныхъ очеркахъ“. Но есть очерки, въ которыхъ этотъ элементъ преобладаетъ вошлѣ и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ этихъ вошлѣ субъективныхъ очерковъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго гора, а дѣлаетъ различныя сооставленія нравовъ и понятш, господствующихъ въ народной средѣ съ разными гуманными и высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сооставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора, такъ или иначе, разбиваются о грубую и грязную дѣйствительность, полную мрака невѣжества. Тоскливыя, развѣдающіе мотивы проходятъ сквозь все очерки А. И. Левитова второй категорш. Въ этихъ мотивахъ передъ нами ярко выступаетъ, въ лицѣ А. И. Левитова, типъ тѣхъ писателей народниковъ-реалистовъ, которые проявились въ нашей литературѣ въ прошлое десятилѣтіе: вы-

шедши изъ народа, вынесъ на своихъ плечахъ его страданія и извѣдо конца своихъ дней непосредственно его жизни, они не идеализировали народа, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ какихъ-либо особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали „неотразимымъ вздоромъ“ туманныя фантазіи народниковъ-мистиковъ предшествовавшаго періода въ родѣ Ап. Григорьева, олицетворенныхъ А. И. Левитовымъ въ типъ учителя-народника. Это сознание „неотразимаго вздора“ происходило, конечно, изъ того реальнаго опыта, который открылъ имъ все вѣковая извы, всю ту вѣковую грязь, которая вѣлалась въ народѣ подѣ влияніемъ условш жизни его въ теченш многихъ столѣтш!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознание: увидя народѣ не такимъ, какимъ-бы имъ хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, они исполнились глубокою, безвыходною скорбью о всехъ его извахъ и страданшхъ, и, въ то же время, дѣйствительность, представившаяся имъ, совершенно ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ уныніи и отчаяніи, опустили они руки, тоскливо восклицая: во что же послѣ этого вѣрить? Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?.. И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвенш вина и смерти.

Сочиненія А. И. Левитова въ этомъ отношенш полезны не тѣмъ только, что раскрываютъ намъ народную жизнь со стороны ея гора, страданш и всехъ наросшихъ на народѣ вѣковыхъ сыней и извъ. Они вдвойнѣ поучительны должны быть для нашихъ новѣйшихъ народниковъ-мистиковъ, которые снова, подобно ихъ отцамъ и дѣдамъ, подходятъ къ народу съ исками невѣдомыхъ міру идеаловъ. — Пусть эти народники-мистики читаютъ сочиненія А. И. Левитова и, съ одной стороны, извлекаютъ изъ нихъ представленіе о народѣ, хотя и одностороннее, но тѣмъ не менѣе, вошлѣ реальное, представленіе человѣка, который самъ былъ изъ народа и вынесъ на своихъ плечахъ его тяготу; а съ другой стороны, пусть они не забываютъ, что за періодомъ каждаго нещательнаго и фантастическаго очарованш долженъ слѣдовать періодъ отрезвленш и разочарованш при видѣ суровой дѣйствительности, рушащей воздушныя замки. Такъ мы и видимъ, что все наши беллетристы-народники 60-хъ годовъ, Помяловскій, Рѣшетниковъ, А. И. Левитовъ выразили собою моментъ разочарованш въ мистическихъ грезахъ относительно народа ихъ предшественниковъ. Теперь спрашивается: что же дѣлаютъ наши новѣйшіе народники-мистики, снова начавшіе искать въ народѣ различныхъ неказанныхъ идеаловъ, въ родѣ новыхъ деревенскихъ словъ, должствующихъ посрамить растлѣнный городъ и заткнуть за поясъ европейскую науку, какъ не начинаютъ сынова пережигать уже нашими отцами исторію фантастическаго очарованш и грозятъ въ грядущемъ новымъ періодомъ разочарованш, уныніа, отчаяннаго опусканш рукъ и восклицанш: во-что же вѣрить? куда же дѣться? къ кому идти? что дѣлать?..

Не было ли-бы въ милліонъ разъ благотворнѣе, если бы мы, вмѣсто подобнаго возвращенш къ заблужденіямъ отцовъ, вчитались и вдумались глубже въ сочиненія беллетристовъ-народниковъ 60-хъ годовъ

и взяли бы въ расчетъ дѣйствительность, открывающуюся намъ въ этихъ сочиненіяхъ? А затѣмъ, не оставиваясь на томъ уныліи и отчаяніи, на которомъ остановились эти беллетристы, ободрившись бы, собрались съ силами и занялись бы трезвымъ прискапиемъ дѣлительныхъ средствъ для излеченія тѣхъ народныхъ язвъ, которыя намъ показали эти беллетристы. Только въ подобномъ ободреніи и трезвомъ исканіи дѣлительныхъ средствъ можетъ проявиться тотъ новый шагъ впередъ и то желанное „новое слово“, о которомъ мечтаютъ наши народники-мистики.

#### Моя полемика съ пріятелемъ по поводу статьи о Левитовѣ.

Въ статьѣ о Левитовѣ я провелъ ту мысль, между прочимъ, что беллетристы-народники 60-хъ годовъ, каковы Левитовъ, Рѣшетниковъ и др., выразили трезвымъ отношеніемъ своимъ къ народу, изъ среды котораго сами они вышли, реакцію противъ той идеализации народа, которая была въ ходу въ 50-е годы. Левитовъ даже переселился въ этомъ отношеніи, такъ какъ къ концу своей жизни дошелъ даже до скептицизма и отчаянья въ томъ самомъ народѣ, бытъ котораго изображалъ всю свою жизнь. Въ заключеніе я поставилъ въ примѣръ этихъ беллетристовъ 60-хъ годовъ тѣмъ нашимъ невѣжамъ-мистикамъ, которые снова начинаютъ подходить къ народу съ исканіемъ какихъ-то особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и рискуютъ снова впасть въ разочарованіе весьма прискорбное и нежелательное.

Пріятеля моего смутили всѣ эти высказанныя мною мысли. Онъ возразилъ мнѣ, что, по его мнѣнію, въ 50-е годы никакой идеализации народа не существовало; напротивъ того, на народъ смотрѣли свысока, какъ на чернь непосвященну, и самое многое если питали гуманнаго сожалѣнія къ его бѣдственному положенію; что беллетристы-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ внѣшней его стороны: это былъ или жанръ, представлявшій народъ въ разныхъ комическихъ проявленіяхъ его невѣжества и шаяства, или лирической волью о его страданіяхъ—и что наконецъ, только нашему времени принадлежитъ болѣе глубокое и серьезное отношеніе къ народу, стремленіе проникнуть въ его душу и выяснить его идеалы. Вотъ противъ подобныхъ взглядовъ моего пріятеля я и желаю сдѣлать нѣсколько возраженій.

Буду возражать въ хронологическомъ порядкѣ, начиная съ 50-хъ годовъ. Я не спорю, что въ 50-е годы, вы можете найти весьма много людей, смотрѣвшихъ на народъ съ тѣмъ высокоумно-презрительнымъ или высокоумно-гуманнымъ взглядомъ, о которомъ говоритъ мой пріятель. Но вѣдь и въ наше время вы могли бы найти не менѣе, если не болѣе людей, продолжающихъ смотрѣть на народъ такимъ же взглядомъ. Я бы могъ представить многочисленныя примѣры отзывовъ о народѣ людей, даже принадлежащихъ къ народной средѣ, въ родѣ того что: „ну, да что вы хотите отъ мужичья“; „лужикъ—мужикомъ

и вопяетъ“, и т. п. Но очевидно, что рѣчь идетъ у васъ не о массѣ публики, не о толпѣ, а о верхахъ теченій передовой мысли, составляющихъ, такъ сказать, фарватеръ умственнаго движенія нашего времени. И вотъ, обращаясь къ этому фарватеру, мы видимъ, что не одни славянофилы или веродники-мистики въ родѣ Ан. Григорьева, не одни сердобольные ходоки ради собиранія народныхъ цѣсей, новбрій и всевозможныхъ этнографическихъ данныхъ ставили въ 50-хъ годахъ на шедесталѣ народъ и молились ему, то съуживая понятие народа до людей податныхъ сословій, то расширяя его на всѣ сословія въ смелѣ національныхъ преимуществъ русскаго народа сравнительно съ западными народностями. Вообще во всей литературѣ того времени различныхъ лагерей преобладалъ анализъ, противопоставлявшій нравственные качества простаго народа качествамъ интеллигентнаго меньшинства: съ одной стороны порицались безхарактерная тряпичность, развѣченность, изнѣженность, искусственность, любовь къ фразѣ и внѣшней выставкѣ прилестотѣ содержанія интеллигентнаго меньшинства; съ другой—возвеличивались дѣльность, непосредственность, выносливость, простота и прочія качества людей народа. На почвѣ подобнаго анализа воспитались многие писатели сороковыхъ годовъ—Черкасовъ, Д. Толстой, О. Достоевскій, Марко-Вовчокъ, Кохановскій, наконецъ и у Островскаго вы найдете тоже стремленіе простотѣ и дѣльности людей народа противопоставить развѣченность и искусственность интеллигентнаго слоя. Въ началѣ 50-хъ годовъ подобный анализъ былъ еще довольно смутенъ и неопредѣленъ, но въ концѣ—онъ успѣлъ уже прийти къ довольно ясному и опредѣленному данному. Такъ, возмите вы Добролюбова: главная пружина всѣхъ его критическихъ и публицистическихъ взглядовъ постоянно заключалась въ скептическомъ отношеніи къ различнымъ нравственнымъ качествамъ интеллигентнаго меньшинства и въ сопоставленіи съ ними нравственныхъ качествъ народа. Но не одному Добролюбову принадлежали подобныя возрѣнія. Въ то время они носились въ воздухѣ. На каждомъ перекресткѣ вы могли слышать фразы, что народъ и любить, и ненавидѣть умѣетъ глубже и сильнѣе чѣмъ мы, что ничего мы не съумѣемъ для него сдѣлать, а онъ самъ можетъ сдѣлать для себя все, что ему нужно.

Я не нахожу ничего худого въ подобныхъ возрѣніяхъ и, напротивъ того, очень уважаю ихъ, но въ нихъ былъ одинъ недостатокъ: именно неопредѣленность самого понятія „народъ“, которому поклонялись въ то время. Поклонялись именно не столько народу въ его реальной сущи, сколько отвлеченному понятію о народѣ, въ которое вкладывали свое собственное содержаніе, рядъ идеальныхъ нравственныхъ качествъ, противопоставляя ихъ недостаткамъ интеллигентныхъ сословій; но въ то же время ни яло не заботились объ анализѣ самого народа въ его различныхъ элементахъ,—анализѣ, который могъ бы привести къ убѣжденію, что далеко не всѣ элементы, срывающіеся въ народъ, заслуживаютъ поклоненія, а только нѣкоторые, и притомъ такіе, которые вовсе не составляютъ исключительной собственности



одного мужика. Недостатокъ подобаго анализа и былъ причиною, что одни, какъ напримѣръ Островскій въ некоторыхъ своихъ комедіяхъ („Не въ свои саши не садись“), расширили понятие „народъ“ до всѣхъ массъ, не носящихъ нѣмецкаго платья и не показывающихъ доскокомъ европейской цивилизаціи, и готовы были выставить противъ нравственныхъ недостатковъ интеллигентнаго меньшинства нравственную доблесть московскаго кулака въ родѣ старика Русакова; другіе же съуживали до *pes plus ultra* то же самое понятие, подразумѣвая подъ нимъ исключительно мужиковъ въ сермягахъ и лаптяхъ, и притомъ такихъ мужиковъ, которые никогда изъ своей деревни не выѣзжали, такъ что какъ попалъ мужикъ въ уѣздный или губернскаго города, — причисленіе его къ средѣ „народа“ дѣлалось уже сомнительнымъ въ ихъ глазахъ, а попалъ мужикъ въ столицу, — конечно: съ него стирались всѣ народныя клейма, и онъ совсѣмъ вычислялся изъ среды народа. Но за то каждая сермяга, не выѣзжавшая изъ своей деревни, была предметомъ слѣпнаго и совершенно безразличнаго поклоненія.

Въ 60-е годы все это сразу принимаетъ совершенно иной видъ. На первый планъ выступаетъ писаревщина, которая вполне игнорируетъ народъ, смотритъ на него свысока, какъ на тупое и безмозглое стадо барановъ, и видитъ все спасеніе въ трезвыхъ реалистахъ, Вазаровыхъ, углубленныхъ съ сигарами въ зубахъ въ различныя естественнонаучныя излѣдованія. Рядомъ съ этимъ развивается народная беллетристика, и въ этой беллетристикѣ мы не видимъ уже и слѣда какой-бы то ни было идеализаціи народа. Но было бы совершенно напрасно предполагать, какъ это дѣлаетъ мой пріятель, чтобы беллетристика-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ вѣншихъ сторонъ, въ смыслѣ чистаго жанра. Правда, были и такіе беллетристы, каковы, напримѣръ, Н. Успенскій, В. Слѣпцовъ и пр., — но развѣ можно сказать это о Рѣшетниковѣ, о Левитовѣ, о Н. И. Науумовѣ и другихъ менѣе замѣчательныхъ и теперь уже забытыхъ? Правда, они не идеализировали народа и не искали въ немъ исключительно однихъ нравственныхъ совершенствъ, но отнюдь не желая сказать, чтобы они обращали вниманіе на одніи вѣншія его стороны или смотрѣли на него свысока: они трезво анализировали народъ, разлагали его на различныя элементы, представляли его въ различныхъ видахъ: пьянымъ и трезвымъ, наживающимся и проживающимся, ищущимъ, гдѣ лучше живется, и вѣшающимся съ отчаяніемъ, прижимающимся до послѣдней степени самоуниженія и обращающимися въ завтра въ цоры вѣ наивѣншаго ожесточенія и пр., и пр. Этотъ анализъ доводилъ ихъ нѣрѣдко, какъ уже сказано а выше, до скептицизма и отчаяннаго относительнаго народа. У Рѣшетникова, какъ беллетриста непосредственно объективнаго, подобный скептицизмъ не замѣтенъ, но у Левитова, какъ у писателя крайне субъективнаго, онъ часто проявляется въ самомъ рѣзкомъ видѣ. Весьма много разсказы Левитова начинаются съ мотивовъ 50-хъ годовъ: авторъ жалуется на искусственность, раздвоенность и лабиринтъ нравственныхъ противорѣчій своихъ интеллигентныхъ пріятелей и бѣжитъ

въ среду народа, мечтая, что тамъ онъ найдетъ „обѣщанное царство благодати“, но при этомъ не забываетъ и себя продернуть въ качества интеллигентнаго человека: „Ты куда? говоришь ты себѣ: — Зачѣмъ тебѣ къ нимъ? Ты ни любишь такъ не удержишь, какъ они, ни прощать“... Но далѣе затѣмъ это „обѣщанное царство благодати“ изображается въ такомъ ужасномъ видѣ, что, вылетая изъ него стремглавъ, авторъ восклицаетъ въ отчаяніи: „Господи! Куда же я пойду?.. Гдѣ и съ какими людьми я жить смогу?“ Неужели пріятель мой жалеетъ во что бы то ни стало игнорировать подобные мотивы разсказовъ Левитова и, несмотря на всю ихъ назойливость, будетъ упорствовать въ своемъ предположеніи, что беллетристика-народники 60-хъ годовъ изображали народъ исключительно съ вѣншихъ сторонъ съ цѣлью юмора и жанра?

Перехожу теперь къ нашему времени. Въ послѣднее время въ некоторыхъ литературныхъ и нелитературныхъ сферахъ снова появились побужденія къ идеализаціи народа, въ отысканію въ немъ различныхъ нравственныхъ идеаловъ въ противоположность недостаткамъ интеллигентныхъ слоевъ. Напрасно въ этомъ отношеніи пріятель мой упрекаетъ меня, что, упоминая въ своей статьѣ о публицистахъ „Недѣли“ съ ихъ пресловутымъ новымъ словомъ деревни, и стрѣляю по разлетѣвшимся воробьямъ, такъ какъ эти публицисты давно уже не появляются на столбахъ „Недѣли“, и журналъ этотъ, повидимому, пересталъ и думать о какихъ бы то ни было новыхъ словахъ. Дѣло тутъ совсѣмъ не въ „Недѣлѣ“ и не въ ея замолчавшихъ публицистахъ. Неужели пріятель мой думаетъ, что публицисты эти были исключительнымъ, случайнымъ, эфемернымъ явленіемъ: появились ли съ того, ни съ сего, и скрылись безъ слѣда? Если бы это было такъ, то стоили ли они возраженія и въ то время, когда статьи ихъ печатались въ „Недѣлѣ“? Но мнѣ кажется, что это не такъ, что за публицистами „Недѣли“ чуется въ самой интеллигентной массѣ смутное движеніе въ духѣ тѣхъ идей, которыя публицисты „Недѣли“ высказали на страницахъ этой газеты. Это движеніе задѣло своимъ крыломъ и моего пріятеля, вслѣдствіе чего онъ и вздумалъ предшествовать нашему времени проникновеніе въ народныя идеалы. Такимъ образомъ, воробьи оказываются вовсе не разлетѣвшимися, и мой пріятель самъ находится въ ихъ стаѣ. Поговоримъ же объ этихъ воробьяхъ.

Подобно тому, какъ не вижу я ничего дурнаго въ поклоненіи народнымъ нравственнымъ идеаламъ въ пятидесятые годы, такъ-же точно я готовъ отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ такому-же явленію и въ наше время. Но въ то-же время я не желалъ-бы, чтобы поклоненіе это пошло по той-же дорогѣ, по какой оно шло 20 лѣтъ тому назадъ и отличалось такою-же слѣпотою и неопредѣленностью. Начать съ того, что на первый планъ снова выступаютъ такіе темные и туманные термины какъ *народъ*, *народность* и противопоставляются націонализму. Въ контрастѣ съ націонализмомъ термины эти какъ будто и представляють нѣчто опредѣленное, но сами по себѣ они сильно хромаютъ туманностью и неопредѣленностью. Что вы подразумѣваете подъ словомъ *народъ*? Вы мнѣ отвѣ-

тле, конечно: рабоче население, мужиковъ, и нарисуете при этомъ нравственный типъ трудового человека, прибавивъ къ этому, что онъ вездѣущъ, не принадлежитъ ни одной какой-либо національности, но встречается повсюду, гдѣ человекъ въ потѣ лица зарабатываетъ хлѣбъ свой. Прекрасно. Но вы посмотрите, сколько неточностей въ вашихъ опредѣленіяхъ: съ одной стороны, развѣ всѣ трудящіеся люди принадлежатъ исключительно къ числу мужиковъ, а съ другой стороны — можно-ли сказать, чтобы всѣ мужики представляли собою нравственные типы людей насущнаго труда? Дѣло въ томъ, что нравственный масштаб далеко не всегда сходится съ масштабомъ политико-экономическимъ или сословнымъ, потому что крошечные экономические и общественные условия на образованіе нравственныхъ типовъ вліяютъ многія иныя, болѣе частныя и случайныя. Съ политико-экономической точки зрѣнія на весьма многія отрасли труда слѣдуетъ смотрѣть, какъ на непродуцирующія и слѣдовательно вредныя, но люди, занимающіеся этими трудами, тѣмъ не менѣе все-таки могутъ представлять изъ себя вполне тотъ нравственный типъ людей труда, которому вы поклоняетесь, и при этомъ совершенно независимо отъ того, къ какому-бы классу общества они принадлежали. У шного мужика, всю жизнь шагающаго за плугомъ, вы найдете въ гораздо большей степени подленьую чиновничью душонку подъ его сермягой, чѣмъ въ иномъ мелкомъ чиновникѣ, который, въ свою очередь, можетъ вполне осуществлять собою нашъ нравственный типъ человека труда. Что мнѣ толку въ иномъ вашемъ мужикѣ, если при всей своей мужицкой внѣшности, капляхъ трудового пота на челѣ и рукавахъ, покрытыхъ мозолями, онъ только и помышляетъ о томъ, какъ-бы подвернулся ему случай спавать какинь-либо манеромъ кушникъ, обратиться потомъ въ Дерунова и начать драть шкуру съ своихъ-же братьевъ-сотоварищей по такому труду? Да я грязнаго, развратнаго щедринаскаго танера готовъ уважать въ большей степени, чѣмъ подобнаго вашего мужика. Вообще мужикъ, народъ — это вѣчто весьма сложное и разнохарактерное, чтобы можно было съ нравственной точки зрѣнія подвести его подъ одинъ типъ. А потому не лучше-ли оставить эти неподходящіе термины и заимѣнить ихъ болѣе точными и опредѣленными? Такъ, напримеръ, гораздо было-бы яснѣе и точнѣе сдѣлать вотъ какіе контрасты: противъ инстинктовъ наживы пусть парадируютъ инстинкты насущнаго труда, въ то-же время противъ инстинктовъ владычества (стремленія возвыситься въ какомъ-бы то ни было отношеніи надъ ближнимъ) — инстинкты братской любви и солидарности. Разъ вы сдѣлаете такіе контрасты и, принявъ ихъ въ соображеніе, взглянете на жизнь, — вы и увидите, что элементы эти борются не только въ такихъ обширныхъ группахъ, каковы обширные слои общества, но и въ самыхъ нѣдрахъ того, что вы называете народомъ, мужиками.

Мой пріятель скажетъ мнѣ, что я хлопочу о пустякахъ, что весь споръ сводится на споръ о терминахъ, о словахъ. Но не пренебрегайте терминами, не играйте словами: отъ нихъ иногда всецѣло зависитъ ясность и точность мысли. Особенно слѣдуетъ опасаться

вліянія новыхъ идей въ старыя термины, подъ которыми мысль людей привыкла соединять вѣчто иное, не совсѣмъ подходящее къ вашимъ идеямъ; вы всегда рискуете, что это „вѣчто иное“ прилипнетъ къ вашимъ идеѣ и потащитъ за нею ненужнымъ хвостомъ, запутывая и ваши собственные понятія, и понятія вашихъ ближнихъ. Для пріибра того, какъ неточные термины затуманиваютъ головы и ведутъ къ отвѣченнымъ умствованіямъ, повидимому, очень красивымъ и справедливымъ, но тѣмъ не менѣе вполне призрачнымъ, и приведу двѣ выдержки, взятые у двухъ совершенно различныхъ писателей, почти тождественныя по своему содержанию:

Въ повѣсти Златовратскаго „Золотыя сердца“, два молодые человека бесѣдуютъ слѣдующимъ образомъ о сближеніи съ народомъ.

«— Скажи, Башкировъ, заговорилъ пріятель: — ты хорошо вѣдь знаешь прістой народъ?»

«— Что я знаю? знаю и Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю.

«— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изумилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ добираются. Ты, значить, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну невѣрія, которая существуетъ между нами и ими?»

«— Знаю, протануль Ванюшка, хитро улыбающийся.

«— Въ чемъ же, въ чемъ штука-то? вскрикнулъ обрадовавшийся юноша: — трудно?»

«— Нѣтъ, ничего.. легко!»

«— Легко?»

«— Не сумлавайся.. легко..»

«— Ну, такъ въ чемъ же штука-то?»

«— Штука-то?.. Быть несчастнымъ!»

«Пріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ.»

Въ одномъ изъ фельетоновъ Темкина двое пріятелей бесѣдуютъ о томъ же предметѣ:

«— Позвольте, однако, Спичкѣй; вѣдь вы начали съ того, что вы готовились къ познанію, такъ сказать, народа. А между тѣмъ вы, во-первыхъ, такъ посперите, какъ будто знаете его и теперь ужъ идете и поперекъ. А во-вторыхъ..»

«— Я составилъ себѣ понятіе, перебить Спичкѣй— если увижу, что оно не полно или вздорно, такъ дополнию или брошу..»

«— А, во-вторыхъ, продолжалъ я; — узнать народъ и учить его — это двѣ разныя вещи. И я все-таки думаю, что для того, чтобы узнать его, особеннаго приготовленія не требуется. Это всякій можетъ при добромъ желаніи.

«— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это хужакъ станетъ ради вашего добраго желанія душу предъ вами раскрывать? Вы должны его уваженіемъ приобрести, представителю ему прежде всего дѣльнымъ, стоящимъ человекомъ..»

«— Прежде всего! замѣтите, вы все это еще „во-первыхъ“ говорите. Во-первыхъ, знаніе. Ну, хорошо. Значить есть и во-вторыхъ?»

«— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вторыхъ, какойнибудь физической трудъ, мастерство, чтонибудь, вообще, какаянибудь умѣлость. Неумѣлость народъ только породившимъ да блаженнаго прощаетъ, а въ-третьихъ, подвигъ..»

«— Какой такой подвигъ?»

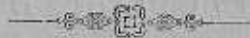
«— Какой подвигъ — это вы изъ исторіи можете узнать..» и проч.

Все это и справедливо, и несправедливо. Это справедливо по отношенію только къ тѣмъ некоторымъ элементамъ среди народа, которые осуществляютъ со-

бю нравственный типъ инстинктовъ вѣстнаго тру-  
да плюсъ инстинкты братской любви. Но вѣдь не къ  
одному народу, мужикамъ, а ко всемъ людямъ, пред-  
ставляющимъ этотъ нравственный типъ, подходитъ  
сѣдуетъ такъ, какъ предписываютъ Ванкитровъ и  
Спикей. Очень можетъ быть, чтобы заслужить довѣ-  
рѣ Златовратскаго или Темкина, тоже требуется и  
быть несчастнымъ, и быть утѣмымъ, и приобрести  
ихъ уваженіе, и подвигъ? Но вѣдь здѣсь говорится о  
народѣ вообще, о мужикахъ отуломъ. Позвольте же и  
поспорить: не ко всякому мужику подойдете вы съ  
такими качествами; иной, можетъ быть, надъ вашимъ  
несчастьемъ-то только посмѣется да погдумится, утѣ-  
дость въ васъ способенъ оценить только въ качествѣ

ловкости въ кулачествѣ и хищничествѣ, а за подвигъ-  
то схватитъ васъ за шиворотъ, да потащитъ къ ста-  
новому...

Вотъ въ этой необходимости разборчивости, — не-  
обходимости, чтобы однородное стремилось къ одно-  
родному, соединялось съ подобнымъ и гладѣло въ  
оба, какъ бы не паскочить на враждебные элемен-  
ты, — и заключается задача нашего времени. Наша  
же привычка разсуждать отвлеченными категориями,  
употребляя вѣхю и никуда негодные термины, ве-  
детъ только къ невообразимой путаницѣ мысли и  
горькимъ разочарованіямъ, а порою — и къ тяжкимъ  
опытамъ въ жизни.



1878—1880.

## НИКОЛАЙ АЛЕКСѢВИЧЪ НЕКРАСОВЪ.

### I.

Николай Алексѣвичъ Некрасовъ принадлежитъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но впоследствии обдѣлѣвшему. Отецъ поэта, Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался, повидимому, особеннымъ образованіемъ, судя по слѣдующимъ стихамъ изъ поэмы „Мать“:

Безспорно, онъ приличенъ по манерамъ,  
Природный умъ я замѣчала въ немъ,  
Но нравъ его, привычки, воспитанье...  
Умѣеть-ли онъ имя подписать?

Большую часть своей службѣ онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, которыя соединялись съ постоянными разъѣздами, такъ что Алексѣй Сергѣевичъ очень часто бывалъ то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. По однимъ повѣстіямъ, въ Варшавѣ, а по другимъ въ Херсонской губерніи, онъ случайно познакомился съ семействомъ богатаго польскаго магната Андрея Закревскаго и влюбился въ старшую дочь его, Александру Андреевну, которая и съ своей стороны отвѣчала склонности молодого русскаго офицера. Но о согласіи родителей, игравшихъ въ Варшавѣ видную роль, нечего было и думать. Что могло быть общаго между бѣднымъ, едва грамотнымъ армейскимъ офицеромъ и дочерью знатнаго польскаго богача, получившемъ изысканное образованіе, красавицею, окруженною поклонниками, по богатству и знатности не уступавшими ей родителями? Тогда, не долго думая, Алексѣй Сергѣевичъ увезъ свою возлюбленную прямо съ бала и обвѣнчался съ нею по дорогѣ въ свой полкъ. Разгнѣванный тестъ отвергъ свою дочь и не выдалъ ей капитала, назначеннаго ей въ приданое. И вотъ, жизнь изгнѣнной и привыкшей къ роскоши польской панни съ цѣлаго-же два года выдана среди всякаго рода лишеній и дрязгъ походной армейской жизни. Пространствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился съ семействомъ въ родовомъ своемъ имѣніи

Ярославской губерніи и уѣзда, въ селѣ Грешнево, на почтовомъ трактѣ, по Владимірской дорогѣ.

Вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ сестра покойнаго поэта, Анна Алексѣевна Вуткевичъ, о состояніи своихъ родителей:

«Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивавшееся столбами съ надписью столько-то душъ, принадлежавшихъ гг. Некрасовымъ, составляло только небольшую часть родовыхъ нашихъ помѣстій, находившихся, кромѣ Ярославской, еще въ Рязанской, Орловской и Сибирской губерніяхъ. Въ одно время, довольно отдаленное, все имѣніе представило въ цѣломъ нѣсколько тысячъ душъ. Изъ нихъ предѣлъ нашъ (воевода) проигралъ половину; дѣлъ нашъ, штыкъ-юнкеръ въ отставкѣ, проигралъ вторую; отцу нашему проигрывать было нечего, а въ карты игралъ онъ тоже любилъ. Въ выходу его въ отставку, по случаю раздѣла имѣнія съ братьями, на всѣхъ, т. е. трехъ братьевъ и двухъ сестеръ, оставалось 400 душъ».

Изъ этого сообщенія мы можемъ заключить, что имѣніе родителей Н. А. Некрасова едва-ли превышало 100 душъ. Между тѣмъ семейство Алексѣя Сергѣевича было весьма многочисленно: всего было 13 братьевъ и сестеръ, изъ которыхъ въ живыхъ остались, по смерти поэта, лишь два брата его, Константинъ и Федоръ Алексѣевичи, и одна сестра Анна Алексѣевна. Алексѣй Сергѣевичъ, повидимому, не отличался склонностью, жизнь велъ разгульную, страстно любя охоту и карты; кромѣ того, имѣлъ какія-то тягбы по имѣнію, что еще болѣе разстраивало благосостояніе семьи, и послѣдняя становилась не рѣдко въ затруднительное положеніе. Соображая все это, мы можемъ заключить, что если на долю Н. А. Некрасова и досталось кое-что родовое, то это могло быть лишь жалкія крохи.

«Сельцо Грешнево, — сообщаетъ дѣше сестра поэта:— стоитъ на низовой ярославско-востроумской дорогѣ. Трактъ этотъ назывался Владимірскимъ и Сибирскимъ. Барскій домъ выходилъ на салуу дорогу, и все, что по ней ѣхало и было видно, начинало съ почтовыхъ троестъ и кончалъ арестантами, закованными въ цѣпи въ сопровожденіи конвойныхъ, было постоянной нищей нашего дѣтскаго любими-

ства. Во всемъ остальномъ Грешневская усадьба ничѣмъ не отличалась отъ обыкновеннаго типа тогдашнихъ помѣщичьихъ усадебъ. Мѣстность ровная, плохая, перерѣзываемая извилистою рѣчкой Сарнаркою. Передъ нею пастбища, луга, пшени, а позади бесконечные дремучие лѣса, сливающиеся съ горизонтомъ. Не вдалекѣ Волга. Въ самой усадьбѣ болѣе всего замѣчательны старый обширный садъ, обнесенный рѣшетчатымъ заборомъ, остатки котораго сохранились донынѣ. Ничего остальнаго въѣтъ и слѣда. Гдѣ стоялъ обширный домъ, тамъ теперь спрочное зданіе съ надписью: «Расшвычно и на выносъ»—и ничего больше. Самый трагикъ, по случаю сильныхъ весеннихъ размывовъ, давно упраздненъ; почтовая гоньба идетъ теперь по другому, высочному берегу Волги, гдѣ въ старое время почта ѣздата только весной, по случаю бездорожья. Куда какъ глухо тамъ теперь стало. Не вѣрите, что 20 верстъ до Ярославля и 40 до Костромы».

## II.

Николай Александровичъ родился еще во время походной жизни отца, въ 1821 году, 22 ноября, въ Подольской губерніи, въ Винницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ. Онъ очень рано началъ помнить себя. По крайней мѣрѣ, въ памяти его живо сохранился со всѣми подробностями эпизодъ вступленія въ наслѣдственный пріютъ, между тѣмъ, какъ ему было тогда всего три года.

«Я помню, рассказывалъ онъ впоследствии матери:—какъ мы подъѣхали къ дому, какъ меня взяли на руки; кто-то свѣтилъ, иди впереди, и внесли въ комнату, въ которой былъ на половнику снятъ полъ и виднѣлись земля и поперечины. Въ слѣдующей комнатѣ я увидалъ духъ старушечь, сидѣвшихъ передъ нагорѣвшей свѣчей, другъ противъ друга, а большимъ столомъ (это были бабушка и тетинька Алексѣя Сергѣевича). Онѣ вазали чулки и обѣ были въ очкахъ.»

Хорошая память всю жизнь составляла одно изъ главныхъ качествъ ума Н. А. Некрасова.

Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ этой, такъ рано пробудившейся памяти. Въ нѣкоторыхъ своихъ стихотвореніяхъ Н. А. Некрасовъ даетъ намъ ясное представленіе о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома. Такъ, лирическое стихотвореніе: „Родина“, всецѣло посвящено печальнымъ воспоминаніямъ дѣтства. Въ поэмѣ „Несчастныя“ кодобныя-же дѣтскія воспоминанія рисуются еще въ болѣе подробныхъ и рѣзкихъ чертахъ.

Для дополненія всѣхъ такихъ нерадостныхъ картинъ слѣдуетъ представить себѣ, что тутъ-же, на глазахъ мальчика, плакала и увидала молодая прекрасная женщина, угнетенная, непригубная и оскорбленная во всѣхъ своихъ самыхъ заветныхъ чувствахъ и эта женщина была мать несчастнаго ребенка. Вышедшая изъ болѣе цивилизованной среды и получившая блестящее образованіе, она, конечно, была лучомъ свѣта среди того непрогляднаго мрака, какой окружалъ дѣтство Н. А. Некрасова. Вліяніе ея на дѣтей было, конечно, громадно и пужливо-ли прибавлять, въ высшей степени благотворно. Не даромъ Н. А. Некрасовъ такъ часто вспоминалъ ее въ своихъ стихотвореніяхъ и постоянно относился къ ней съ счастливымъ благоговѣніемъ, какъ къ своему ангелу-

хранителю, которому онъ обязанъ всѣмъ, что только было въ немъ святаго и хорошаго:

И если я легко стряхнулъ съ годами  
Съ души моея тлетворные слѣды,  
Поправшей все разумное ногами,  
Гордившейся невѣжествомъ среди,  
И если я наполнилъ жизнь борьбою  
За идеалъ добра и красоты,  
И носить плень, сласаемая мною,  
Живой любви глубока черта,—  
О, мать моя, подвинуть я tobacco!  
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Если мы возьмемъ въ расчетъ сильное, неотразимое нравственное вліяніе, какое оказывала мать на своего сына и которое, безъ сомнѣнія, еще болѣе усиливало привязанность его къ ней, то можно себѣ представить, что долженъ былъ чувствовать несчастный мальчикъ при видѣ слезъ и рыданій этого прекраснаго существа, всѣхъ тѣхъ униженій и оскорбленій, какія она безропотно переносила, наконецъ, холодности и измѣны со стороны общаго тирана. Какое мрачное, жѣдкое, непримривое ожесточеніе на всю жизнь долженъ былъ вынести юноша изъ всего этого ада кровопитнаго! А что слова поэта представляютъ въ поэмѣ: „Мать“ не вымышленныя, а живыя черты, непосредственно относящіяся къ его личной жизни, въ этомъ можетъ убѣдить насъ свидѣтельство Ф. М. Достоевскаго, знавшаго Н. А. Некрасова въ эпоху его молодости и передающаго о немъ слѣдующее воспоминаніе („Дневникъ писателя“, № 12, 1877 г.):

«Лично мы сходились мало и рѣдко,—говоритъ Достоевскій,— и лишь однажды исполнѣ съ беззаветнымъ, горячимъ чувствомъ, именно—въ самомъ началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятый годъ, въ эпоху «Вѣднхъ людей». Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя, разъ на всегда, обрисовался передо мною этотъ загадочный человекъ самой существенной и самой загадочной стороны своего духа. Это, именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его и была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ дѣтствѣ, о безобразной жизни, которая измучила его въ родительскомъ домѣ, о своей матери—а то, какъ говорилъ онъ о своей матери, та ешла умленія, съ которою онъ вспоминалъ о ней, рождали уже и тогда предчувствіе, что если будетъ что-нибудь святое въ его жизни, то такое, что могло бы спасти его и послужить ему малкомъ, путевой забадой даже въ самыхъ темныхъ и роковыхъ мгновеніяхъ судьбы его, то ужъ, конечно, лишь одно это первоначальное дѣтское впечатлѣніе дѣтскихъ слезъ, дѣтскихъ рыданій вѣстѣ, обнявшихъ гдѣ-нибудь утробкой, чтобъ не видали (какъ рассказывалъ онъ мнѣ) съ мученицей-матерью, съ существомъ, столь любимымъ его. Я думаю, что ни одна потомъ привязанность въ жизни его не могла-бы такъ-же, какъ эта, повліять и вѣдательство похѣдствовать на волю и на ния темныхъ неудержимыхъ влеченій его духа, преслѣдовавшихъ его всю жизнь.»

Въ дореформенной помѣщичьей жизни мы встречаемъ многочисленныя примѣры, что дѣти, воспитанныя при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ воспитывался Н. А. Некрасовъ, въ первые-же годы дѣтства получали стремленіе облизаться съ народомъ. Естественно, что ничто такъ не сближаетъ людей, какъ общій гнетъ или общее горе. Отъ шума и содо-

на грязныхъ оргіи и дикихъ порывовъ необузданнаго гнѣва—малютки убѣгали въ дѣвичьи, въ людскіе флигеля, а не то и въ деревню, если она была по близости отъ усадьбы. Тамъ они находили свои дѣтскія привязанности среди простаго народа, страдали за нихъ и съ ними, плакали и заступались за своихъ любимцевъ. То-же самое, безъ сомнѣнія, было и съ Н. А. Некрасовымъ, какъ онъ свидѣтельствуесть объ этомъ въ своемъ стихотвореніи „Родина“:

Но помню я: здѣсь что-то всѣхъ давило,  
Здѣсь въ маломъ и большомъ тоскливо сердце  
И къ нянькѣ убѣгалъ... нило,

«За нашимъ садомъ,—сообщаетъ объ этомъ предметѣ сестра покойнаго поэта,—непосредственно начинались крестьянскія избы. Я помню, что это со-сѣдство было постояннымъ огорченіемъ для нашей матери: толпа ребятишекъ, нарочно избивавшая для своихъ игръ мѣсто возлѣ рѣшетки усадебнаго сада, какъ магнитъ притягивала туда брата; никакія прослѣдованія не помогали. Вслѣдствіи онъ прохѣзжалъ ласейку и при каждомъ удобномъ случаѣ выхѣзавъ къ нимъ въ деревню, принималъ участіе въ ихъ играхъ, которыя нерѣдко оканчивались обидой дракой. Иногда высмотрѣвъ, когда отецъ уходилъ въ мастерскую, гдѣ доморощенный етоляръ Ватахинъ изготовлялъ несатѣйливую мебель, братъ завывалъ къ себѣ своихъ друзей. Бѣловолосыя головы одна за другою пролѣзали въ садъ, разсыпались по аллеямъ и начинали безразличное олуствошеніе отъ цѣтовъ до зеленой смородины и пр. Заслыша гамъ, старуха-нянька, приоровившаяся выживать «по-стрѣловъ», трусила съ другаго конца сада крича: «баринъ, баринъ идетъ». Слупнутые ребята бросались опрометью къ своей ласейкѣ. Вслѣдствіи, когда братъ уже былъ въ гимназій и прѣзжалъ въ деревню на каникулы, сношенія съ пріятелями возобновлялись: онъ пронадалъ по цѣлымъ днямъ, бродилъ съ ними по лѣсамъ или отправлялся на рѣку удить рыбу. Еще позднѣе, когда онъ прѣзжалъ уже изъ Петербурга (съ 1844 г.), тѣ же пріятели возили его въ своихъ несатѣйливыхъ экипажахъ на охоту».

Въ то-же самое время, какъ было уже говорено выше, передъ окошками родительской усадьбы постоянно мелькали сцены изъ народной жизни весьма мрачнаго характера: бурлаки, охая и крехта, тянули свои лямки, оглашая окрестность своими заунывными пѣснями; по дорогѣ проходили, звеня цѣпями, этапъ съ каргожниками. Одно время отецъ Некрасова былъ исправникомъ и любилъ часто, скуки ради, брать сына въ разѣзды по дѣламъ службы. Такимъ образомъ, мальчикъ 12—13 лѣтъ присутствовалъ при разныхъ сценахъ народной жизни, иногда очень печальныхъ и раздражающихъ душу, при уголовныхъ слѣдствіяхъ, при вскрытіи труповъ и кулачныхъ расправахъ въ духѣ прежняго времени. Все это и само по себѣ должно было тяжело дѣйствовать на воспримчивые нервы мальчика, но это дѣйствіе, конечно, было еще сильнѣе на ребенка несчастнаго и угнетеннаго, ребенка, который самъ дрожалъ, какъ осиповый листъ, смотря, какъ въ ногахъ у его отца валялся, прося помилованія, какой-нибудь провинившійся мужикъ, весь въ грязи и крови. Понятно послѣ того, что въ то время, какъ заунывныя пѣсни и жалобы бурлаковъ безслѣдно пронеслись мимо ушей не одного изъ нашихъ поэтовъ, подобно Некрасову проведенныхъ дѣтство на Волгѣ, на послѣднемъ они произвели потрясающее впечатлѣніе, о которомъ онъ свидѣтельствуесть намъ въ другой своей поэмѣ: „На Волгѣ“.

## III.

Началомъ своего умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ, опять-таки, конечно, матери:

Та блѣдная рука, ласкавшая меня,  
Когда у догоравшаго огня  
Въ младенчества я сидѣвалъ съ тобою,  
Мнѣ въ сумерки жерешилась порою,  
И голосъ твой мнѣ слышался въ потѣмахъ,  
Неполненный мелодій и ласки,  
Которымъ ты мнѣ сказывала сказки  
О рацаряхъ, монахахъ, короляхъ.  
Потомъ, когда читалъ я Данта и Шекспира,  
Казалось, я ведрѣвалъ знакомыя черты:  
То образы изъ ихъ живого міра  
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.  
И сталъ я понимать, гдѣ мысль твоя блуждала,  
Гдѣ ты душой, страдалица, жила,  
Когда кругомъ насилье ликовало,  
И стая цесовъ на псарнѣ завывала,  
И пьюга въ окна била и мола!

Рано, съ семилѣтняго возраста, началъ мальчикъ писать стихи, и у матери его сохранялись первые его безсвязныя младенческія вирши, начивавшіяся такъ:

Любозна маменька, примите  
Сей слабый трудъ  
И разсмотрите,  
Годится-ли куда ибудь.

Вслѣдствіи онъ читалъ все безъ разбора, что попадалось въ руки, и, по собственнымъ словамъ его, „что прочтаетъ, тому и подражаетъ“. Такимъ образомъ, къ 15-ти годамъ составила у него уже цѣлая тетрадь, съ которой онъ и уѣхалъ въ Петербургъ.

Что-же касается первоначальнаго обученія, то имъ занимались съ дѣтми насмѣны учителя изъ ярославскихъ семинаристовъ, а въ 1832 году Н. А. Некрасовъ былъ опредѣленъ въ ярославскую гимназій. Изъ подъ суроваго гнета родительскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ попалъ вдругъ на безграничную свободу почти вполне самостоятельной жизни: онъ поступилъ въ гимназій приходящимъ, а для жительства ему съ братомъ была нанята отдѣльная квартира въ городѣ, и къ нимъ приставленъ былъ для прислуживанія и надзора крѣпостной человѣкъ, причемъ, конечно, крѣдники и каникулы братья проводили дома, въ деревнѣ.

Такой внезапный переходъ отъ строгости домашней ферулы къ безграничной свободѣ, при отсутствіи всякаго разумнаго надзора и попеченія за дѣтми, самъ по себѣ не представлялъ ничего утѣшительнаго. Но зло еще увеличивалось недобросовѣстностью дядки. Ему полагалось на содержаніе, какъ себя, такъ и дѣтей, по 50 копѣекъ въ сутки, и деньги давались ему на руки, но онъ 20 копѣекъ удерживалъ себѣ и тратилъ ихъ на вышивку, прослуживая по цѣлымъ днямъ въ кабакѣ, а тридцать копѣекъ отдавалъ дѣтямъ, предоставляя имъ корчиться на нихъ, гдѣ и какъ угодно. Они не отставали отъ своего пестуна и въ свою очередь шатались по трактирамъ.

Квартира Некрасовыхъ сдѣлалась притгономъ всякаго рода гимназическихъ шалостей, сначала дѣтскихъ, а потомъ уже и не дѣтскихъ. Ученые шло при этомъ, разумѣется, не завидно. Особенно не давались Н. А. Некрасову древніе языки. Однакожъ, все-

твил въ теченіи шести лѣтъ онъ достигъ кое-какъ до 5-го класса. По всей вѣроятности, онъ прошесть-бы и весь курсъ, но, къ несчастью, прижилились весьма патипутныя отношенія къ начальству. Продолжая неуклонно писать стихи, Н. А. Некрасовъ, между прочимъ, написалъ нѣсколько шуточнѣхъ и сатирическихъ сатиръ на товарищевъ и на гимназическое начальство. Сатиры эти съ восторгомъ читались и заучивались наизусть товарищами, но тогда, наконецъ, дошли онѣ до начальства, оставаться долѣе въ гимназій было немислимо.

## IV.

Въ одно время съ этимъ преждевременнымъ выходомъ изъ гимназій произошло событіе, произшедшее на пошю не менѣе потрясающее впечатлѣніе: это была смерть любимата брата Андрея, первая потеря близкаго человѣка. По словамъ сестры Николая Алексѣевича, эта потеря произвела сильный нравственный переселотъ въ юношѣ; онъ словно очнулся отъ той распушенности, въ какой провелъ свои гимназическіе годы, впервые серьезно задумался о своей участи. Подобныя размышленія, конечно, еще болѣе обострились гдѣ были вѣнныя положеніемъ, какое испытываетъ въ родительскомъ догѣ юноша, исключенный изъ училища. Отецъ Некрасова, послѣ неудачи сына въ гимназій, рѣшился послать его доканчивать ученіе въ Петербургъ въ дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ, бывшій на Петербургской сторонѣ). Этимъ исполнялось всегдашнее желаніе его, чтобы сынъ шелъ по его путю въ военную службу. И вотъ, съ родительскимъ нѣсломъ отъ пріятеля отца, прославскаго прокурора Полозова, къ началнику III округа корпуса мандартовъ, генералу Полозову, и нѣсбѣ съ тѣмъ, съ тетрадкою стиховъ, отправился 15-ти-лѣтній мальчикъ одинъ одиноконекъ, скудно снабженный матеріальными средствами, изъ деревенской глуши въ омутъ столичной жизни. Въ которомъ это было году, объ этомъ существуютъ разнорѣчивыя извѣстія. Такъ, въ краткой біографіи, приложенной къ изданію стихотвореній Н. А. Некрасова, „Русская Библиотека“, выи. VII, и написанной со словъ Н. А. Некрасова, означено 1839 г. Между тѣмъ, по сообщенію сестры покойнаго, онъ отправился въ Петербургъ 20-го июля 1838 года, полгода спустя послѣ смерти любимата брата, и везъ съ собою тетрадку стиховъ. Самъ-же Николай Алексѣевичъ, не разъ и при многихъ свидѣтеляхъ, говорилъ, что онъ прибылъ къ Петербургъ въ 1837 году, именно, въ годъ смерти Пушкина. Это послѣднее извѣстіе согласуется и съ разказами Некрасова о первыхъ своихъ мытарствахъ въ Петербургѣ, причемъ онъ представлялъ себя во время этихъ мытарствъ 15-ти-лѣтнимъ мальчикомъ; въ 1839 же году ему было уже 17 лѣтъ.

## V.

Во всякомъ случаѣ, время, въ которое Н. А. Некрасовъ прибылъ въ столицу, принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ, какъ въ русской жизни, вообще, такъ въ литературѣ въ особености. Жизнь, ка-

залось, совершенно замерла и оконечила. Ни малѣйшаго просвѣта въ будущее, ни тѣни какого-либо движенія въ настоящекъ. Разъединенность, мелкость интересовъ, скука и апатія безусловно царствовали во всѣхъ слояхъ общества. Только въ Москвѣ шевелилось въ тиши кое-что, похожее на нѣкоторое умственное броженіе, въ отвлеченныхъ сферахъ метафизики. Тамъ слагались новыя философско-литературныя партіи, готовыя лѣтъ черезъ пять выступить на состязаніе, воспитывались и развивались новыя, могучія силы. Петербургъ-же представлялъ изъ себя поляншю „мерзость заустыня“, совершенно согласно съ слѣдующимъ началомъ одного малоизвѣстнаго стихотворенія Н. А. Некрасова:

Въ то время пусто и мертво  
Въ литературѣ нашей было.  
Скончался Пушкинъ — безъ него  
Любовь къ ней въ публикѣ остыла.  
Ничья могучая рука  
Ея не направляла къ цѣли,  
Лишь два задорныхъ полка  
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.

Это была эпоха триумвирата Сенковского, Греча и Булгарина, которые безусловно дарили въ петербургской прессѣ, раздавали вѣнки на славу и безсмертіе своимъ приверженцамъ и кліентамъ, и глушили свысока надъ такими дорогами русскими иенами, какъ Гоголь и Лермонтовъ. Полевой въ это время не тревожилъ уже молодая сердца задоромъ романтическаго свободомыслия. „Телеграфъ“ давно былъ закрытъ, и издатель его мыкался по петербургскимъ редакціямъ и книжнымъ лавкамъ, унижаясь до кумовства съ вышепоименованными триумвирами, и поддаживаясь подъ господствующій въ литературѣ ихъ калертонъ, порицалъ Гоголя, ставилъ на сцену патриотическія драмы и издавалъ спекулятивные книжонки, помышляя лишь о прокормленіи семейства. Вблинскій былъ извѣстенъ въ этой литературѣ, какъ недоучившійся мальчишка, задорный московскій крикунъ, раздражающійся гегелевскими цитатами съ чужого голоса, и надъ нимъ тоже глужились свысока. Его звѣзда только что восходила. Онъ сотрудничалъ еще въ жалкихъ, едва влчавшихъ свое существованіе московскихъ журнальцахъ и къ тому же былъ увлеченъ въ то время правымъ лагеремъ гегелизма, что въ сильной степени затемнило его природное, гениальное, критическое чутье. Литературныя свѣтила первой величины, Жуковский, Лермонтовъ — чуждались литературныхъ кружковъ и пребывали въ великосвѣтскихъ и придворныхъ сферахъ. Гоголь, только-что замыслившій „Мертвыя души“, бѣжалъ за границу, скупенный и разочарованный тѣмъ враждебнымъ толкамъ, какіе возбудилъ въ полуобразованномъ обществѣ его „Ревизоръ“; онъ былъ уже исполненъ инстинктивна и объять той душевной болѣзью, которая разрушила его талантъ и свела его въ преждевременную могилу. Литературныя кружки состояли изъ посредственностей, вроде Кукольника, Воейкова, Р. Зотова, Тимофѣева, Вернеста, Межевича и т. п., которые воображали себя гениями и, въ напыщенномъ самолюбіи, то ублажали другъ друга грубою лестью, то грызлись, осывая другъ друга оскорбительными колкостями и бранью устно и печатно. Въ то же время, на

первомъ планѣ въ литературѣ господствовала спекуляция. Это былъ вѣкъ необузданнаго литературнаго ажіотажа, когда впервые люди вполне ясно сознали, что литература не есть одно безкорыстное служеніе музѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и коммерческое дѣло, при удачномъ веденіи котораго можно наживать. И вотъ, различнаго рода литературныхъ дѣлъ мастера и лавочки, люди безъ всякихъ убѣжденій, безъ знанія дѣла, иногда и съ весьма покладливою совѣстью, съ алчностью ухватились за эту сторону литературной промышленности—и духъ спекуляціи всецѣло воцарился въ петербургской литературѣ, заразивъ даже и такіа когда-то почтенныя личности, какъ Н. А. Полевой. Въ печати духъ этотъ выразился цѣлымъ рядомъ эфемерныхъ изданій, въ родѣ „Папороты С.-Петербурга“ Башуцкаго, „Энциклопедическаго лексикона“ Плюшара, „Утренней зари“ Владиславлева, массы всякаго рода альманаховъ, сборниковъ и лубочныхъ, на скорую руку состряпанныхъ изданій для полубразованнаго класса, исторій великихъ людей, сказокъ, иностранныхъ романовъ скабрзнаго содержанія и т. п. Еще болѣе усилился этотъ спекулятивный духъ, когда перестали разбивать основаніе новыхъ журналовъ; тогда существовавшіе журналы стали перепродаваться за значительныя суммы. Нѣкоторые изъ немногихъ, имѣвшихъ привилегію на изданіе журналовъ, и кое-какъ издававшіе ихъ—ловко воспользовались этимъ и перепродавали ихъ, дѣлая, такимъ образомъ, очень хорошія спекуляціи. И въ этомъ-то смутѣ пришлось провести Н. А. Некрасову первые самые пѣжкие и впечатлительные годы своей юности. Очень можетъ быть, что этой школою онъ былъ обязанъ и той литературно-промышленной практичностью, какая развилась въ немъ ко времени знакомства съ Вѣликинъ. Юный, 16-ти-лѣтній литературный работникъ, какъ волъ трудившійся ради скуднаго заработка, вмѣсто правильнаго развитія въ разумномъ кружкѣ, въ духѣ тѣхъ или другихъ идей, только и слышалъ, что одни спекулятивно-копѣчные расчеты; вокругъ него то и дѣло раздувались и доносились литературно-коммерческія предпріятія—и долгое время, цѣлые годы, литературное дѣло было обращено къ нему, преимущественно, своею матеріально-промышленною стороною.

## VI.

Въ первые дни по прибытіи въ Петербургъ, Некрасовъ не покидалъ еще намѣренія поступить въ дворянскій полкъ, явился къ Полозову съ рекомендательнымъ письмомъ, былъ имъ представленъ Я. И. Ростовцову, и дѣло было почти рѣшено. Но случайная встрѣча съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, перерѣшила всю судьбу юности. Глушицкій вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Коссовымъ (впоследствии известными учеными технологами и заслуженными профессорами) начали отговаривать Некрасова отъ поступления въ корпусъ и развивать передъ нимъ все преимущества университетскаго образованія, и такъ увлекли его, что Некрасовъ рѣшился во что-бы то ни стало идти въ университетъ. Остановка была за всту-

пительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и въ математикѣ, но Глушицкій познакомилъ своего товарища съ профессоромъ духовной семинаріи, Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взяли въ приготовителъ Некрасова въ университетъ. Тогда Некрасовъ сообщилъ Полозовымъ о своемъ намѣреніи промѣнять дворянскій полкъ на университетъ. Они одобрили это намѣреніе и вмѣстѣ съ тѣмъ сообщили о томъ въ Ярославль своему родственнику. Когда, наконецъ, узналъ объ этомъ отецъ Некрасова, онъ воспылалъ сильнымъ гнѣвомъ на осудившаго сына и отписалъ ему, что если онъ не отложитъ своего намѣренія идти въ университетъ и не покорится родительской волѣ, то пусть онъ впредь не разсчитываетъ ни на одну копейку родительской помощи, а существуетъ—какъ и чѣмъ знаетъ.

Такимъ образомъ, шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ къ жизни и безъ всякаго положенія съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ „целородна изъ дворянъ“, по которому Н. А. Некрасовъ жилъ до конца своихъ дней.

Онъ поселился съ какимъ-то неизвѣстнымъ товарищемъ по университету на Малой Охтѣ. Довольствоваться имъ приходилось очень немногимъ: у сожителъ былъ еще крѣпостной мальчикъ, приставленный къ нему родителями—и они не могли тратить болѣе 15 коп. на троихъ на обѣдъ, который брали изъ какой-то ужасающей кухмистерской. Приятныя, должно быть, впечатлѣнія оставили по себѣ эти пятнадцатикопѣчные обѣды на троихъ, когда Некрасовъ, будучи уже на смертномъ одрѣ, серьезно говорилъ, что именно этимъ обѣдамъ онъ былъ обязанъ зародиться той болѣзни, которая сводила его, 40 лѣтъ спустя, въ гробъ. Потомъ Некрасовъ перебрался къ профессору Успенскому, у котораго ему было все-таки немного помытвѣ, хотя и довольно иногда безпокойно. Это былъ человекъ добрый и очень усердно занимался со своими ученикомъ классическими языками.

Пришелъ экзаменъ. Приготовленіе Успенскаго оказалось такимъ успѣшнымъ, что известный тогда профессоръ римской словесности Фрейтэгъ, очень требовательный латинистъ, поставилъ Некрасову на приемномъ экзаменѣ изъ латинскаго языка—5 „съ плюсомъ“; „новыя физическія науки“,—читаемъ мы въ биографіи при „Русской Вибліотекѣ“, т. VII, Стасюлевича, — самъ почтенный филологъ Успенскій былъ слабъ, и это отразилось роковымъ образомъ на ея ученикѣ: Некрасовъ чувствовалъ, что изъ физики онъ не можетъ получить отмычки выше единицы. Это-бы еще ничего, такъ какъ одна единица въ то время не была препятствіемъ къ поступленію въ университетъ; но бѣда заключалась въ томъ, что льготная единица была уже приобретена на экзаменѣ изъ географіи у профессора Касторскаго.

„Въ виду такого почального обстоятельства, Некрасовъ рѣшился явиться къ ректору П. А. Плетневу и откровенно высказать ему свое положеніе: онъ противъ воли отца поступаетъ въ университетъ—и теперь, если его не примутъ въ число студентовъ, его положеніе будетъ отчаянное. Плетневъ справился о прочихъ отмычкахъ, отлично рекомендовавшихъ юношу, желавшаго притомъ поступить на философскій



факультетъ (имѣлъ—историко-филологическій), и обещалъ Некрасова общаіемъ ходатайствовать за него въ совѣтъ. На основаніи этого общаія, Некрасовъ совѣтъ не явился на экзаменѣ изъ физики, и въслѣдствіе того въ совѣтъ о немъ не было и рѣчи. Поэтому-же и Плетневъ не вспомнилъ о немъ, но послѣ, при свиданіи, убѣждалъ его все-таки не оставлять университета и поступить вольнослушателемъ. Некрасовъ сначала не рѣшался. Нѣсколько дней спустя, на старомъ псаакіевскомъ мосту онъ видитъ, что кто-то догоняетъ и идетъ съ нимъ рядомъ, всматриваясь въ него. Это былъ Плетневъ. Онъ снова сталъ убѣждать его, и Некрасовъ подалъ прошеніе. Такъ началась университетская жизнь Некрасова, продолжавшаяся въ теченіи 1839—1841 годовъ\*.

Матеріальное положеніе Некрасова во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться все-какъ грошовыми уроками и случайными журнальными работами, которыя не всегда были подъ рукою. «Ровно три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, бывало, для виду газету, а самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь\*... Силы Некрасова постоянно надрывались и, наконецъ, онъ сильно заболѣлъ. Доктора объяснили причину болѣзни продолжительнымъ голоданіемъ и приговорили уже его къ смерти. Однако-же, молодой и крѣпкій организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все-таки, по убѣжденію Некрасова, свои слѣды на всю жизнь его.

Нужно-ли говорить о томъ, что матеріальное положеніе, и безъ того незавидное, было окончательно подорвано этою болѣзнію. Приходилось пользоваться милостію квартирныхъ хозяевъ—какого-то отставнаго унтеръ-офицера и его жены, у которыхъ онъ нажилъ комнату на Разъѣзжей улицѣ. Задолжалъ имъ Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяйка, разсказываетъ онъ,—еще ничего, но хозяйка сильно безпокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За переторжкою постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ, въ одинъ прекрасный день, ко мнѣ явился хозяинъ, облепивъ свои опасенія съ полною откровенностію и просилъ меня написать ему расписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальныя вещишки. Я написалъ. Думаю: чего добраго, не стану-ли и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдныя. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало, однако, лучше, и вскорѣ я настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону, въ одному знакомому студенту-медику. Добравшись все-какъ до него, я тамъ засталъ до позднего вечера. Возвращаясь ночью домой, вильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью, въ октябрѣ или въ ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ, говорятъ, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяйка считаетъ себя вполне удовлетвореннымъ моимъ имуществомъ, которое я имъ отдалъ за долгъ, въ чѣмъ и выдалъ расписку. Свѣрну стало мнѣ. Я остался одинъ на

улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ, въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія вставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябѣлъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ, уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, съжалился надо мною и пригласилъ меня съ собою куда-то почевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный, полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищие, которые собирались здѣсь почевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 копѣекъ.»

Замѣчательно, что тутъ же, почти рядомъ съ такою страшною нищетою, голодомъ и труппными стенами притона нищеты, Н. А. Некрасовъ видѣлъ передъ собою картины смѣтой и празднои роскоши и даже самъ порою участвовалъ на ея утонченныхъ шпиряхъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ вышеупомянутой биографіи «Русской Библиотеки»,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки смѣшивали въ себѣ все состоянія и званія. Бѣдный молодой человекъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юношами вѣсшихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сближался, но, благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ даже первенствовать между ними; на студенческихъ собраніяхъ и ширинкахъ, устраиваемыхъ въ то время на подобіе пѣмечныхъ вѣснговъ и коммершей, предводительствовалъ не тотъ, кто знатнѣе всѣхъ, но кто лучше дрался на эспадронахъ и раширѣ, кто былъ мужественнѣе и физически ловче. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ кружкахъ внезапно оцѣлился провинціальный юноша, взросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обыденною жизнью и нравами другихъ общественныхъ классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ влияния въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также и на условия дальнѣйшей жизни: завязаннымъ имъ тогда связи сохранились и впоследствии; недостатки и слабая сторона жизни вѣсшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ и хорошо знакомы.»

## VII.

При такой тяжелой борьбѣ за существованіе, Некрасову, конечно, нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта путемъ свободнаго и несрочнаго творчества. Онъ долженъ былъ приняться почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ (15-ти лѣтъ) за черныя литературный трудъ, въ видѣ разныхъ срочныхъ журнальных работъ, наvertsавшихся ему случайно. Работалъ онъ такимъ образомъ и въ «Литературныхъ прибавленіяхъ» къ «Инциалцу», и въ «Литературной Газетѣ» А. Краевского, и въ «Сынѣ Отечества» Н. А. Полевого, съ которыми познакомилъ его какой-то профессоръ университета, и въ «Пантеонѣ», и въ «Отечественныхъ Запискахъ»; писалъ водевили для Александринскаго театра; былъ поставщикомъ у кни-

гепродавца Полякова азбукъ и сказокъ по его заказу (такова, напримеръ, сказка „Ваба-Лга“, гдѣ черезъ тридцать вновь изданных по какому-то праву Печаткинымъ съ громкимъ именемъ автора). Такимъ образомъ, по собственнымъ его словамъ, онъ написалъ въ своей жизни до 300 печатныхъ листовъ прозы. Отъ этой массы написаннаго особенно большая доля выпала на рецензию.

«Разбирать приходилось,—разказывать Николай Алексеевичъ,—всякія книги, какія только попадались подъ руки, не однѣ художественныя, но и подчасъ и самыя ученые. Собственныхъ-то благоприобрѣтенныхъ знаній на это, конечно, не хватало: за то выручала публичная бібліотека. Пойдешь туда, поднимешь всю ученость по предмету книги, ну, и ничего, сходило съ рукъ».

Особенно помочь ему встать на ноги и избавиться отъ крайностей нищеты Григорій Францовичъ Венецкій, бывшій тогда наставникомъ-наблюдателемъ въ казескомъ корпусѣ и преподавателемъ въ дворянскомъ полку. Гдѣ и какъ познакомился съ нимъ Некрасовъ—неизвѣстно. Это былъ очень хорошій человѣкъ, судя по словамъ Некрасова, и послѣдній всегда вспоминалъ о немъ съ любовью и уваженіемъ. Онъ содержалъ что-то въ родѣ приготовительнаго націона для поступающихъ въ казескій корпусъ или дворянскій полкъ и предоставилъ Н. А. Некрасову занятія при этомъ заціонѣ по всякъ русскія предмета. Это избавило юношу, по крайней мѣрѣ, отъ прелеостей почтоговъ подъ открытымъ небомъ. Венецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ и появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Мечты и Звукъ“. Матеріальное положеніе его въ 1840 году вообще настолько уже улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько денегочковъ для этого изданія. Но онъ все-таки, по всей вѣроятности, не рѣшился-бы на это дѣло, если-бы его не склонили къ тому Венецкій, обязавшись продать по билетамъ заранѣе рублей на 500. Припявшись за изданіе, Некрасовъ все-таки колебался, и на него пашло однажды такое раздумье, что онъ готовъ былъ отказаться отъ дѣла; но было уже поздно: Венецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Какъ тутъ быть? Въ раздумьи Н. А. Некрасовъ рѣшился пойти за совѣтомъ къ Жуковскому.

«Меня принялъ,—разказывалъ Некрасовъ,—стѣпенскій, согнутый старичекъ, взялъ книгу и велѣлъ придти черезъ нѣсколько дней. Когда я пришелъ, онъ похвалилъ одно изъ этихъ стихотвореній, сказалъ, что у меня есть талантъ, но къ этому прибавилъ:

— Вы потомъ пожалеете, если выпустите эту книгу. Я сказалъ ему на это, что теперь уже поздно, и объяснилъ почему.

— Тогда снимите съ книги ваше имя,—посоветовалъ Жуковскій.

Некрасовъ послушался этого совѣта, и книжка вышла лишь съ заглавными буквами его фамиліи Н. Н. Это небольшая книжонка въ восьмую долю листа, напечатанная на сѣрой бумагѣ, въ 102 страницѣ, въ типографіи Егора Алшанова. На заглавной страницѣ выставленъ 1840 годъ, цензурная-же отмѣтка, съ надписью цензора А. Фрейганга, помѣчена 25-го іюня 1839 года. Книга наполнена небольшими лирическими стихотвореніями вполне дѣтскаго характера. Въ

нихъ нѣтъ ни малѣйшаго проблеска-поддѣлшаго Некрасовскаго таланта. Это рядъ несвязныхъ и безсодержательныхъ вѣршней, какія въ то время писались весьма многими четырнадцатилѣтними гимназистами подъ обаяніемъ блестящей плеяды предшествующихъ поэтовъ,—вѣршней въ родѣ нижеслѣдующихъ:

Я не сплю, не сплю,—но спится,  
Сердце грустнѣю томится,  
Сердце плачетъ въ тишинѣ,  
Сердце рвется къ вышинѣ,  
Къ безмятежному эфиру,  
Гдѣ, одѣтая въ порфиру,  
Влещетъ яркая звезда.  
Ахъ, туда, туда, туда,  
Къ этой звѣздочкѣ унылой,  
Чародѣйственною силой  
Заноси меня мечта!.. и пр.

Одно стихотвореніе, замѣчательное тѣмъ, что оно было первое, появившееся въ печати въ „Сынѣ Отечества“ 1838 года, носило заглавіе „Мысль“:

Спитъ дряхлый міръ, спитъ старень-обветшалый,  
Подъ грустной тѣнью ночного покрывала,  
Едва согрѣтъ остатками огня  
Уже давно погаснуваго дня.  
Спи, старень, спи!.. отраднаго покоя  
Минуты уладятъ заботы едина  
Воспоминаніемъ минувшей старины...  
И можетъ быть, въ тебѣ зажжется ретивое  
Огнемъ страстей, погаснувшихъ давно,  
И вспыхнетъ для тебѣ прекрасное былое!..  
И, можетъ быть, распухнетъ верно  
Въ тебѣ давно угасшей жизни сила,  
И новой жизнью заглушиа морила,  
Печальный міръ, повздохъ надъ тобой!  
И снова ты проснешься отъ дремоты,  
И снова, юноша съ пылающей душой,  
Забудешь старье, утраченные годы,  
И будешь жить ты жизнью молодой,  
Какъ въ первый день созданія природы!..

Нѣтъ! тотъ-же все проснуется ты,  
Такой-же дряхлый, обветшалый,  
Еще дряхлѣй безъ покрывала...  
Скрой безобразье наготы  
Опять подъ мрачной ризой ночи!  
Поддѣльнымъ блескомъ красоты  
Ты не мой обманешь очи!..

Изданіе Некрасова встрѣтило, какъ всѣмъ извѣстно, безпощадный отзывъ Вѣлинскаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Это былъ одинъ изъ тѣхъ красивыхъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждай книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безразлично появившихся въ то время изданій стихотвореній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Вѣлинскій въ своей рецензиі не входитъ даже и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивается нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой промахъ дѣлаютъ люди, не одаренные поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами. Проза для нихъ благодарнѣе стиховъ:

«Если въ прозѣ нѣтъ даже чувства и воображенія, то могутъ быть умъ, остроуміе, наблюдательность, или хоть гладкій языкъ... Если стихъ пишетъ человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства, чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихомъ и рифмою, онъ, подъ веселой чашей, еще можетъ позабавить читателя своею бездарностью и ограниченностью: великая крайность имѣеть свою цѣну, а

поэту В. К. Третьяковскій, «профессору элоквенціи и паме хитростей поэтических» — есть безсмертный поэт; но прочесть цѣлую книгу стиховъ, встрѣтить все знакомыя и истертыя чувствованія лица, обаянія мѣста, гладкіе стишки, и много-много если дакнутья иногда на стихъ, вышедшій изъ души въ кучѣ рифмованныхъ строчекъ; воля ваша, это чтение, или, лучше сказать, работа для рецензента, а не для публички, для которой довольно прочесть въ журналѣ извѣстіе въ родѣ: «Выѣхалъ въ Ростовъ». Посредственность въ стихахъ нестерпима. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты и Звукъ» г-на Н. Н.»

Вотъ и вся рецензія Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе жестока, чѣмъ короче и сжатѣе она. Впрочемъ, въ «Сѣверной Пчелѣ», «Библіотекѣ для чтенія» и «Современникѣ» Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе достойныя для себя рецензіи, видѣвшія въ его стихахъ проблески таланта и возлагавшія на него надежды. Книга, розданная на комиссію въ разные магазины, конечно, не пошла, и въ послѣдствіи Некрасовъ, какъ писателю, саль ее скушалъ и истребилъ, подобно Бюлоу, истребившему такимъ образомъ своего «Ганца-Кюхельгартена».

Неудача съ «Мечтами и Звуками» имѣла, между прочимъ, присорбное вліяніе на оставленіе Некрасовымъ университета, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ Николай Глушицкій со словъ своего покойнаго брата Андрея Глушицкаго. (См. письмо его въ «Петербургскомъ Листѣ» 1875 года).

Некрасовъ, въ качествѣ вольнаго слушателя, посѣщалъ университетскія аудиторіи въ 1839, 1840 и 1841 годахъ. Всего болѣе онъ любилъ посѣщать лекціи тогда еще молодого и краснорѣчиваго профессора русской словесности А. В. Никитенко, пока тотъ однажды, въ одной изъ своихъ лекцій о новѣйшей русской литературѣ, жестоко и безпощадно не поострился и даже не подумился надъ Николаемъ Алексѣевичемъ, какъ надъ начинающимъ поэтомъ. А. В. Никитенко было извѣстно, что въ числѣ его слушателей находится и прославскій гимназистъ Некрасовъ, уволенный изъ 5-го класса гимназіи за свою сатиру на тамошнее начальство, и что этотъ недоучившійся гимназистъ, не пугался великихъ тѣней Пушкина и другихъ нашихъ знаменитыхъ поэтовъ, дерзко осмѣливается выступить передъ публикою съ своимъ тогдашнимъ сборникомъ стихотвореній «Мечты и Звукъ», въ которыхъ, по мнѣнію А. В. Никитенко, — не было ни признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна вода, да дубовые стихи и одно пустое рямондетство, отъ которыхъ А. В. совѣтывалъ поскорѣе избавиться автору. Такимъ, въ сущности, былъ приговоръ А. В. Никитенко надъ нашимъ начинающимъ поэтомъ. Честь и слава стойкости и увѣренности Некрасова въ своихъ поэтическихъ силахъ, что онъ подчинился не мздоушному этому преждевременному приговору и смѣло продолжалъ свою литературную дѣятельность. Оправдательное и даже отчасти неумѣстное сужденіе о Некрасовѣ, какъ о молодомъ поэтѣ, произнесенное въ университетской аудиторіи, однако, имѣло нѣсколько и другихъ послѣдствій для Николая Алексѣевича: онъ тотчасъ-же распрощался съ аудиторіей суроваго профессора-словесника, а потомъ вскорѣ и вовсе покинулъ университетъ, не переставая, впрочемъ, под-

держивать и продолжать дружбу и сношенія съ своими земляками и товарищами, оставшимися въ университетѣ\*.

### УШ.

Съ 1841 по 1845 годъ, слѣдуетъ періодъ жизни Некрасова, — самый темный въ біографическомъ отношеніи. Это былъ важнѣйшій періодъ во всей его жизни, потому что впродолженіи его окончательно сформировались всѣ его и умственные, и нравственныя силы, и подъ конецъ его онъ является уже передъ нами такимъ, каковыя оставался почти неизменно во всю свою послѣдующую жизнь. Въ то же время, въ этотъ періодъ, отъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ «Мечтахъ и Звукахъ», онъ перешелъ къ стихотвореніямъ, напечатаннымъ въ началѣ перваго тома изданія его произведеній. Но какъ произошла эта сформировка и этотъ радикальный переворотъ, изъ посредственнаго рямослагателя сдѣлавшій первостепеннаго поэта, — это остается необъясненнымъ. Мы знаемъ только, что въ это время, продолжая жить литературнымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ, великосвѣтскихъ, чиновныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ и пр. Къ атому-же времени относится и знакомство его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который, безъ сомнѣнія, и былъ главнымъ двигателемъ умственнаго развитія Некрасова и виновникомъ переворота, опредѣлившаго всю дальнѣйшую литературную дѣятельность его.

«Въ началѣ 40-хъ годовъ, — говоритъ объ этомъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ, — къ числу сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» присоединился Некрасовъ; нѣкоторые его рецензіи обратили на него вниманіе Бѣлинскаго, и онъ познакомился съ нимъ. До этого Некрасовъ имѣлъ прямыя сношенія съ Краевскимъ. Я въ первый разъ встрѣтилъ Некрасова въ половинѣ 30-хъ годовъ (?) у одного моего пріятеля. Ему было тогда лѣтъ 17, онъ только-что падалъ небольшую книжечку своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: «Мечты и Звукъ», которую впоследствии онъ скушалъ и истребилъ. Мы возобновили знакомство съ нимъ черезъ семь лѣтъ (?). Онъ, какъ и всѣ мы, очень увлекался въ это время Жюль-Зандомъ. Онъ былъ знакомъ съ нимъ только по русскимъ переводамъ. Я звалъ его къ себѣ и обѣщалъ прочесть ему отрывки, переведенныя мною изъ «Спиридона». Некрасовъ вскорѣ послѣ этого зашелъ ко мнѣ утромъ, и я тотчасъ же приступилъ къ исполненію своего обѣщанія.

«Съ этихъ поръ мы видались чаще и чаще. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе сходилъ съ Бѣлинскаго, разсказывалъ намъ свои горькія литературныя похождения, свои разчеты съ редакторами различныхъ журналовъ, и принесъ однажды Бѣлинскому свое стихотвореніе: «На дорогѣ».

«Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго начала очень пріятное впечатлѣніе. Онъ полюбилъ его за его рѣзкій, нѣсколько ожесточенный умъ, за тѣ страданія, которыя онъ испытывалъ такъ рано, добываясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ смѣлый, практическій взглядъ не по лѣтамъ, который вынесъ онъ изъ своей труженнической и страдальческой жизни — и которому Бѣлинскій всегда мучительно завидывалъ.

«Некрасовъ пускался передъ этимъ въ изданіе разныхъ мелкихъ литературныхъ сборниковъ, которіе постоянно приносили ему небольшой барышъ,

Но у него уже развивались въ головѣ болѣе обширныя литературныя предпріятія, которыя онъ сообщалъ Вѣлинскому.

«Слушая его, Вѣлинскій дивился его сообразительности и сметливости и восклицалъ обыкновенно: — Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что мы... Онъ наживетъ себѣ капиталъ!»

«Ни въ одно изъ своихъ пріятелей Вѣлинскій не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента и, преувеличивая его въ Некрасовѣ, онъ смотрѣлъ на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ.»

«Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Вѣлинскій полагалъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ, но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе: «На дорогѣ», у Вѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ—и поэтъ истинный?»

«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотвореніе: «Къ Родинѣ», привело Вѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ пріятелямъ... У Вѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ своихъ друзей... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка.»

Къ этому періоду увлеченія Некрасовымъ относятся и тѣ строки письма Вѣлинскаго къ Тургеневу, которыя приводитъ А. Н. Пыпинъ въ своей биографіи Вѣлинскаго (см. 275 стр. II части): «Некрасовъ написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе (дѣло идетъ о стих. „Нравственный человѣкъ“, помѣщенное въ № 3 „Современника“). Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ № 3), то пришлю къ вамъ въ рукописи. Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!»

Въ вышеприведенной выдержкѣ изъ воспоминаній И. Панаева проглядываетъ уже передъ нами то радикальное различіе въ складѣ воспитанія, которое сразу обнаружилось между Некрасовымъ и кружкомъ Вѣлинскаго. Съ одной стороны, передъ нами идеалисты, воспитывавшіеся преимущественно по книгамъ, судившіе обо всемъ съ различныхъ теоретическихъ, философскихъ точекъ зрѣнія, выработанныхъ западною наукою, но въ то-же время до дѣтской простоты и наивности чуждые практики жизни и того индуктивнаго знанія ея и народа, какое дается только непосредственнымъ опытомъ, путемъ всевозможныхъ столкновений съ различными житейскими дризмами. Съ другой стороны, мы видимъ человѣка, несмотря на свои 23—24 года, прожженного практикою жизни, успѣвшаго ожесточиться подъ гнетомъ борьбы за существованіе и въ то-же время представлявшаго изъ себя непосредственную натуру, черноземную силу, чуждую какому-бы то ни было идейнаго развитія. Это различіе еще ярче обрисовывается передъ нами въ разсказахъ самого Некрасова о своихъ спорахъ и столкновенияхъ съ людьми, принадлежавшими къ кружку Вѣлинскаго.

«Гажелое,—говорятъ онъ,—производили на меня впечатлѣніе всѣ эти люди: преобладала чисто фраза, диалектика, говорили общія мѣста, говорили больше о западной Европѣ, видно было незнаніе русской жизни и русскаго народа. Я сознавалъ, что все это

было не то, что намъ нужно, но въ то-же время спорить съ ними не могъ, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все болѣе и болѣе, что намъ нужно что-то иное, я началъ работать, учиться...»

Эти слова двоякии многозначительны: наглядно указывая намъ на то различіе, какое существовало между Некрасовымъ и его новыми друзьями, въ то-же время они свидѣтельствуютъ и о томъ сильномъ вліяніи на умственное развитіе Некрасова, какое было произведено столкновениемъ его съ кружкомъ Вѣлинскаго. Въ нихъ такъ и сквозитъ пробудившееся сознаніе недостатка теоретическаго развитія, научныхъ знаній и необходимости восполнить этотъ пробѣлъ. Такое сознаніе естественно должно было развиваться въ Некрасовѣ вслѣдствіе соприкосновенія съ средой, болѣе его умственно развитою и обогащенною знаніями. Рядомъ съ этимъ и нравственные идеалы Некрасова должны были значительно возвыситься и расширяться. Онъ не могъ не проникнуться тѣмъ горячимъ энтузіазмомъ къ новымъ идеаламъ и требованіямъ отъ жизни, какой господствовалъ въ кружкѣ подъ вліяніемъ Вѣлинскаго. По крайней мѣрѣ, въ томъ образѣ, въ какомъ рисуетъ намъ Некрасова Достоевскій въ своемъ „Дневникѣ писателя“, разсказывая о знакомствѣ своемъ съ нимъ именно въ ту эпоху его жизни, мы видимъ достаточную долю тому самому восторженнаго идеализма, съ которымъ Некрасовъ стоялъ, по своимъ словамъ, въ такой оппозиціи. Вотъ что разсказываетъ Достоевскій:

«Тогда (это тридцать лѣтъ тому назадъ!) произошло что-то такое молодое, свѣжее, хорошее—изъ того, что остается навсегда въ сердцѣ участвовавшихъ. Намъ тогда было по двадцати съ немногими лѣтъ. Я жилъ въ Петербургѣ, уже годъ какъ вышелъ въ отставку изъ инженерова, самъ не знавъ зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленными цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ-пятого года. Въ началѣ зима, я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой етатейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Баженовъ, онъ тогда собирался уѣхать на дѣло къ себѣ въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Некрасова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «Принесите рукопись (самъ онъ еще не читалъ ея); Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ надать, я ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ, и поспѣрѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова...»

«Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ Душахъ» и читали ихъ, въ который разъ, но помню. Тогда это бывало между молодежью; сидятъ двое или трое: «а не почитать-ли намъ, господа, Гоголя!»—садятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. Вернулся я домой уже въ четыре часа, въ блѣдую, свѣтлую, какъ день, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, открылъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба

чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ возвратились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». По прочтѣ десяти страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. «Читаешь ошь про смерть студента, — передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ: — и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ на гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержавъ, стукнулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» — это про васъ-то, и этакъ мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатныхъ листовъ), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что-жь такое, что спать, мы разбудимъ его, это выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутой, почти мнительный, осторожный, мало общительный. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи была, по-истинѣ, проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробѣли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговаривали, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торжесткомъ; говорили о поэзии, и о правдѣ, и о «тогдашней положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ Душъ», но главное — о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня-же принесу вашу повесть, и вы увидите — да вѣдь человекъ-то, человекъ-то какой! Вотъ вы познакомятесъ, увидите, какаа это душа» — восторженно говоритъ Некрасовъ, трясъ меня за плечи обѣими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!»

«Некрасовъ принесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день. Онъ благоволилъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его по всю жизнь свою. Тогда Некрасовъ ничего еще не написалъ такого размаха, какъ удалось ему невотъ, черезъ годъ потомъ, Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько мнѣ извѣстно, дѣтъ шестнадцать совершенно одинъ. Писать онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О знакомствѣ его съ Бѣлинскимъ я мало знаю, но Бѣлинскій его угадалъ съ самаго начала и, можетъ быть, сильно повлиялъ на настроеніе его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такия минуты, и уже сказаны были такия слова, которыя вліяютъ на вѣкъ и связываютъ неразрывно... «Новый Гоголь явился!» — закричалъ Некрасовъ, входя къ нему съ «Бѣлыми людьми». «У всѣхъ Гоголи-то, какъ грибки растутъ», — строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ».

Вотъ въ видѣ какого восторженнаго и увлекательнаго романтика рисуется передъ нами Некрасовъ въ рассказѣ Достоевскаго. Что-же касается до сборниковъ, издаваемыхъ Некрасовымъ, о которыхъ говоритъ Павловъ, то ихъ извѣстно намъ четыре: «Статьи въ стихахъ безъ картинокъ», изд. въ 1843 г.; «Физиологія Петербурга», изд. въ 1845 году; «Первое апрѣля», изд. въ 1846 г., и «Петербургскій сборникъ» — 1846 г.

«Статьи въ стихахъ безъ картинокъ» — этотъ сборникъ издавъ былъ въ двухъ томахъ, по 30 коп. каждый. Содержаніе сборника лирическое — сатирическое; здѣсь мы встрѣчаемъ «Говоруна», сатиру, явившуюся потомъ въ полномъ изданіи стихотвореній Некрасова.

«Физиологія Петербурга» вышла въ двухъ томахъ. Сборникъ этотъ носитъ еще на себѣ слѣды того спекулятивнаго духа петербургской прессы, въ школѣ которой Некрасовъ былъ воспитанъ. Даже самая мысль

изданія подобнаго сборника отзывается подражаніемъ другому, столь-же спекулятивному предпріятію — именно «Панорамѣ Петербурга» Башуцкаго, о чемъ можно судить и по предисловію, въ которомъ излагается цѣль изданія сборника:

«Во Франціи, — читаемъ мы въ предисловіи, — обо всемъ уголки ея, сколько-нибудь и въ какомъ-нибудь отношеніи замѣчательномъ, не одна книга написана, а сочиненія о Парижѣ образуютъ собою большую отдѣльную литературу. Правда, Петербургъ описанъ не разъ въ отношеніи топографическомъ, климатическомъ, медицинскомъ и т. п. Башуцкій, въ своей «Панорамѣ Петербурга», предпринялъ было описать не только видимость первой нашей столицы (улицы, здания, дома, рѣки, каналы, мосты и т. д.), съ историческимъ обзоромъ построения и распространія города, но и бросить взглядъ на характеристическія отличія петербургскаго быта и нравовъ; но почему-то его предпріятію, весьма полезному и прелестно начатому, не суждено было дойти до окончанія, не говоря уже о томъ, что, со времени его изданія, Петербургъ во многомъ уже измѣнился. Сверхъ того, книга Башуцкаго имѣетъ въ виду преимущественно описаніе, а не характеристическую Петербурга, и ея типъ и характеръ болѣе officialный, нежели литературный. Содержаніе нашей книги, напротивъ, не описаніе Петербурга въ самомъ бы то ни было отношеніи, но его характеристика преимущественно со стороны нравовъ и особенностей его народонаселенія».

«Что касается лично до составителей этой книги, они совершенно чужды великихъ притязаній на поэтическій или художественный талантъ; цѣль ихъ была самая скромная — составить книгу въ родѣ тѣхъ, которыя такъ часто появляются во французской литературѣ и, занимая вниманіе публики, уступаютъ мѣсто новымъ книгамъ въ томъ-же родѣ. Все самолюбіе составителей этой книги ограничивается надеждою, что читатели найдутъ, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ, если не во всѣхъ изъ нашихъ очерковъ петербургской жизни болѣе или менѣе вѣрный взглядъ на предметъ, который казались они изображать. Также касается до нѣсколькихъ статей, помѣщенныхъ въ нашей книгѣ и подписанныхъ извѣстными въ нашей литературѣ именами, эти имена сами отвѣчаютъ за ихъ достоинство, и мы предоставляемъ судить о нихъ публикѣ».

Такимъ образомъ: «Физиологія Петербурга» не есть безразличный литературный сборникъ или альманахъ, какіе часто выходили въ то время, но является приуроченнымъ къ определенной спеціальной цѣли, совершенно которой подобраны и всѣ статьи. Такъ, въ первой части, тотчасъ-же послѣ вступленія, помѣщена статья Бѣлинскаго: «Петербургъ и Москва»; далѣе слѣдуетъ рассказъ В. И. Луганскаго — «Петербургскій дворникъ»; Д. В. Григоровича — «Петербургскіе шарманщики»; Е. И. Гробовки — «Петербургская Сторона», и заканчивается первая часть рассказомъ самаго Некрасова: «Петербургскіе углы», отдѣльно отъ прочихъ рассказовъ почему-то пропензурованнымъ Никитенкою. Этотъ незатѣшливый рассказикъ Некрасова носитъ на себѣ яркое отраженіе его прежней литературной нищеты. Героемъ его является интеллигентный пролетарій, нанимающій уголь на заднемъ дворѣ у квартирной хозяйки и созерцающій изъ своего угла пьяную оргію прочихъ обитателей трущобы, управляющихъ новосельемъ новаго постояльца. Въ этомъ заключается все содержаніе рассказика, чуждаго какой-бы то ни было идеи и написаннаго вполнѣ въ духѣ жанра или «натуральной школы», какъ тогда вы-

ражались. Въ некоторых мѣстахъ видно явное желаніе подражать гоголевскому компану.

Во второй части сборника, среди ряда статей и разсказовъ, точно также трактующихъ о нравахъ и особенностяхъ петербургской жизни, Некрасовъ помѣстилъ большую свою сатиру— „Чиновникъ“, вошедшую потомъ въ приложение къ третьей части послѣдняго изданія его сочиненій.

Сборникъ былъ украшенъ рисунками Тима, Вернадскаго и Маслова. Издателемъ „Физиологій Петербурга“ является книгопродавецъ Ивановъ, а Некрасовъ называется лишь редакторомъ сборника.

За этотъ сборникъ, въ слѣдующемъ 1846 году, является альманахъ: „Первое апрѣля“. Полное его заглавіе слѣдующее: „Первое апрѣля, комическій иллюстрированный альманахъ, составленный изъ разсказовъ въ стихахъ и прозѣ, достопримѣтельныхъ писемъ, куплетовъ, пародій, анекдотовъ и пуфозъ“, С.-Петербургъ. 1846 г. Начинается сборникъ комическимъ вступленіемъ, въ которомъ авторъ, потѣшаясь надъ обычаемъ надуть другъ друга 1-го апрѣля, разсказываетъ, какъ надуваютъ въ Петербургѣ въ этотъ день въ разныхъ слояхъ общества.

«Прочитъ вамъ, однако, любезнѣйшій читатель, говорится въ концѣ вступленія:— не думайте, что все сказанное нами сколько-нибудь касается нашей книги; нѣтъ! оно такъ только къ слову пришло. Мы не интриганы и, смѣемъ увѣрить, гордимся этимъ. Скажемъ болѣе, трудъ нашъ добросовѣстенъ, до того добросовѣстенъ, что мы рѣшились даже посвятить нѣсколько страницъ однимъ пуфамъ, разнымъ лживымъ анекдотамъ и совершенно невѣроятнымъ исторіямъ съ тою только цѣлю, чтобы заглавіе книги «Первое апрѣля» имѣло какое-нибудь значеніе, смыслъ; хоть сколько-нибудь относилось-бы къ содержанию и не показало-бы публикѣ одною пустою обманчивою вывѣскою, выставленною такъ только для приманки. Если-же благосклонному читателю нѣкоторыя страницы, тѣ или другія, придутся не по вкусу, то да проститъ онъ намъ великодушно, или— что еще лучше— пусть вырветъ ихъ вовсе вонъ изъ книги. Богъ съ нами, мимо нихъ! Пусть предастъ ихъ даже пламени, закуритъ или трубку, обернетъ что-нибудь, словомъ— распорядится этою дрянью по благоусмотрѣнію. Мы заранее на все соглашаемся и утѣшаемъ тѣмъ только, что вѣдь «одниъ Богъ безъ грѣха».

Послѣднія строки написаны не даромъ: онѣ имѣютъ то значеніе, что въ книжкѣ на каждомъ шагѣ вы встрѣтите личные намеки и обличенія. Такова статья о томъ, „какъ одинъ господинъ приобрѣлъ себѣ за безцѣнный домъ въ полтораста тысячъ“, обличающая нѣкоего Ведрина (Погодина), столь прославившагося своими путевыми записками. Такова „Портретная галлерей“, заключающая въ себѣ пять стихотворныхъ портретовъ разныхъ личностей того времени; изъ нихъ особенно замѣчательна всѣмъ известная эниграма на Вулгарина:

Онъ у насъ восьмое чудо.  
У него завидный нравъ... П. т. д.

Такой-же обличительный характеръ имѣютъ статьи: „Дядюшка и племянникъ“, „Пощечина“, а также и „Водевилить“.

Здѣсь-же помѣщена шутка Кульчицкаго, избущая отношеніе къ страсти Вѣлинскаго къ преферансу: „Какъ играютъ въ новѣйшее время въ преферансъ

образованнѣйшіе люди“. Книжка переполнена Некрасовскими куплетами. Между ними находится и преслѣвшая популярность известная пародія на стихотвореніе Лермонтова: „И скучно, и грустно— и некого въ карты надуть“. Изъ вошедшихъ въ позднѣйшія изданія стихотвореній Некрасова здѣсь помѣщено только одно: „Передъ дождемъ“. Книга украшена массою карикатурныхъ политичекихъ. Некрасовъ самъ уже является издателемъ ея, безъ участія какой-либо книгопрозавческой фирмы.

Въ томъ-же 1846 году былъ изданъ Некрасовымъ и третій альманахъ, известный подъ заглавіемъ: „Петербургскій сборникъ“.

Этотъ сборникъ не имѣетъ уже ничего общаго съ предыдущими, ни по своей вѣнности, ни по своему содержанию. Тутъ уже не бросается намъ въ глаза спекуляція, нѣтъ замысловатыхъ предисловій. Почтенный по своимъ размѣрамъ сборникъ имѣетъ вполне солидно-литературный видъ и напоминаетъ собою толстые номера журнала, совершенно въ родѣ одного изъ номеровъ послѣдовавшаго за нимъ „Современника“. Здѣсь встрѣчается рядъ лучшихъ литературныхъ именъ того времени: Тургенева (Шофтицкій), Исандера (Капризы и Радумье), А. Майкова, Селогоуба, Кроненберга. Начинается сборникъ „Вѣдникъ людямъ“ Достоевскаго, оканчивается „Мысли и замѣтки о русской литературѣ“ Вѣлинскаго. Самъ издатель помѣстилъ въ немъ четыре своихъ стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Пьяница“, „Кольбельная пѣснь“ и „Отрадно видѣть“.

Практическіе совѣты Некрасова, а еще болѣе усиліи этихъ сборниковъ такъ подѣйствовали на Вѣлинскаго, что и самъ онъ увлекся было издательскою дѣятельностью и предпринялъ изданіе сборника подъ заглавіемъ: „Левизантъ“. Уже было собрано много матеріала для этого изданія, когда лѣтомъ 1846 года, во время путешествія Вѣлинскаго по Россіи, Некрасовъ съ Панаевымъ порѣшили купить у Плетнева Пунжискій „Современникъ“, значившій самое близкое существованіе. По возвращеніи изъ путешествія, Вѣлинскій такъ былъ увлеченъ новымъ предпріятіемъ Некрасова, дававшимъ возможность всему кружку Вѣлинскаго имѣть свой самостоятельный органъ, что оставилъ тотчасъ-же свое намѣреніе издать „Левизантъ“ и передалъ Некрасову для первыхъ номеровъ „Современника“ весь собранный для проектировавшагося сборника матеріалъ. Съ 1847 года „Современникъ“ началъ издаваться подъ новою редакціей.

Здѣсь мы приближаемся къ факту, всѣмъ известному, но до-сихъ поръ мало разъясненному, — къ разрыву Вѣлинскаго съ Вѣлинскимъ и кружкомъ его изъ-за положенія Вѣлинскаго въ „Современникѣ“. Пришла въ разсчетъ значеніе Вѣлинскаго, какъ вообще въ литературѣ, такъ и по отношенію его къ новому журналу, друзья Вѣлинскаго оспорили, что онъ вождь въ журналъ полнымъ хозяиномъ его, рядомъ съ Некрасовымъ и Панаевымъ, не только въ литературномъ, но и въ матеріальномъ отношеніи; по Вѣлинскій вошелъ въ журналъ лишь въ качествѣ постоянного сотрудника по критическому отдѣлу съ опредѣленною годовою платою сначала въ 7.000, а потомъ

10,000 руб. ассигн. Это положеніе показалось имъ слишкомъ второстепеннымъ для Вѣдлинскаго: они обратили къ новому журналу и заявили, что они будутъ смотреть на него, какъ на новыя „Отечественныя Записки“, и будутъ посылать свои статьи безразлично въ оба журнала. Что касается до самого Вѣдлинскаго, то сколько можно судить изъ обнаруженной до сихъ поръ переписки (см. „Вѣдлинскій“, соч. А. Н. Пынина, т. II, гл. 9), положеніе его во всемъ этомъ недоразумѣніи было между двухъ огней. Онъ то соглашался со своими друзьями относительно ненормальности своего положенія въ „Современникѣ“, писалъ友人 письма о Некрасовѣ и вступалъ съ нимъ въ личныя объясненія, то становился на сторону послѣднихъ и начиналъ укорять друзей въ неправомерности допущенія дѣла и въ совершенно неосновательномъ охлажденіи ихъ къ „Современнику“.

Для разъясненія этого обстоятельства мы сопоставимъ рядомъ взгляды на него двухъ главныхъ вѣдомцевъ разлада — Вѣдлинскаго, въ видѣ писемъ его къ Тургеневу, помѣщенныхъ въ „Воспоминаніяхъ Тургенева о Вѣдлинскомъ“ (Вѣстникъ Европы\*, 1869 г., № 3), и двѣ записки Некрасова, написанныя имъ скорѣе по обнаруженіи Тургеневымъ этихъ писемъ. Вотъ письма Вѣдлинскаго.

1) \*С.-Петербургъ, 19-го февраля 1847 года.—Получилъ отъ В. ругательное письмо, но не показывать Некрасову. Послѣдній ничего не знаетъ, но гадается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объясненіи со мною онъ былъ не хорошъ; каничалъ, заикался, говорилъ, что на то, что я желаю, онъ, кажется, для моей же пользы согласится никакъ не можетъ по причинамъ, которыя сейчасъ же объяснить и по причинамъ, которыхъ не можетъ мнѣ сказать. Я отибалъ, что не хочу знать никакихъ причинъ — и сказалъ мои условия. Онъ повеселѣлъ и теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки; видно, что доволенъ мною вполне! По тону моего письма, вы можете ясно видѣть, что я не въ блѣдность и не въ преувеличиванія. Я любилъ его, такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то жалко его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мнѣ трудно переболѣть внутреннимъ разрывомъ съ человѣкомъ, а потому — ничего. Природа мало дала мнѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя мнѣ несправедливости; я скорѣе способенъ возненавидѣть человека за разность убѣжденій или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредныя. Я и теперь высоко цѣню Некрасова, и тѣмъ не менѣе онъ въ моихъ глазахъ — человѣкъ, у котораго будетъ капиталъ, который будетъ богатъ, а я знаю, какъ это дѣлается. Вотъ ужъ началъ съ меня. Но довольно объ этомъ.

...Сказу, какъ новость: я, можетъ быть, буду и Сидсей. В. достаетъ мнѣ 2,500 руб. асс. Я было часто отказался — ибо съ чѣмъ-же я бы оставилъ семейство — а просить, чтобы мнѣ выдали жалованье за время отгулныя — мнѣ не хотѣлось. Но послѣ объясненія съ Некрасовымъ я подумалъ, что перепасть глупо. Онъ очень былъ радъ, онъ готовъ былъ сдѣлать все, только-бы и... Я написалъ къ В., и теперь отвѣтъ его рѣшить дѣло.

2) \*С.-Петербургъ, 1-го марта 1847 года.—Сказу вамъ, что я почти перемѣнилъ мое мнѣніе насчетъ истиннаго извѣстныхъ поступковъ Некрасова. Мнѣ теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно, основываясь на объективномъ правѣ — а до понятія о другомъ, высказать, онъ еще не досрочъ, а приобрѣсти его не могъ, по причинѣ того, что выросъ въ гнѣздой положительности и никогда не былъ ни идеалистомъ, ни романтикомъ на нашъ манеръ.

Видю — изъ его примѣра — какъ этотъ идеализмъ и романтизмъ можетъ быть полезенъ для иныхъ натуръ, предоставленныхъ самимъ себѣ. Гадки они — этотъ идеализмъ и романтизмъ; но что за дѣло человеку, что ему помогло дурное на вкусъ лекарство, даже и тогда, если избавили его отъ смертельной болѣзни, привило къ его организму другія, но уже не смертельныя болѣзни; главное тутъ не то, что оно гадко, а то, что оно помогло».

Вотъ что написалъ Некрасовъ подъ главнымъ впечатлѣніемъ этихъ двухъ писемъ:

«Мнѣ попался здѣсь «Вѣстникъ Европы», и я прочелъ выдержки изъ писемъ Вѣдлинскаго. Прямо беру ихъ на себя, ибо онѣ для меня — не новость. Не такой былъ человѣкъ Вѣдлинскій, чтобы долго молчать. Помолчавъ нѣсколько дней, онъ высказалъ мнѣ горячо и болѣе рѣзко, чѣмъ въ этихъ письмахъ, свое неудовольствіе и свои сожалѣнія о внутреннемъ разрывѣ со мною и съ Панаевымъ. Можетъ быть, плодомъ этихъ объясненій и было второе письмо къ Тургеневу, въ значительной долѣ уничтожающее первое. Сопоставивъ эти два письма, останется, что «Н. дѣйствовалъ добросовѣстно, но не перешелъ той черты, гдѣ начиналась его невзгода, изъ-за принципа, до котораго онъ не досрочъ». Кажется, такъ? Я останался на этомъ. Я былъ очень бѣденъ и очень молодъ, восемь лѣтъ боролся съ нищетою, видѣлъ лицомъ къ лицу годовую смерть, въ 24 года я уже былъ надомленъ работой изъ-за куска хлѣба. Не до того мнѣ было, чтобы жертвовать своими интересами чужимъ. Вѣдлинскій это понималъ, иначе не написалъ-бы въ томъ-же первомъ обвиняющемъ меня письмѣ, что онъ и теперь меня высоко цѣнитъ. А во второмъ письмѣ онъ говоритъ, что почти пережилъ свое мнѣніе и насчетъ источника моихъ поступковъ. Съ меня этого довольно. Я не знаю, исчезло-ли въ его возрѣніи на меня впечатлѣніе это мнѣніе, по отношенію наши до самой его смерти были коротки и хороши. Я не былъ точно идеалистомъ (иначе прежде всего не взялся-бы за журналъ, требующій практическихъ качествъ), еще менѣе былъ я равенъ ему по развитію; ему могло быть скучно со мною, но помню, что онъ всегда былъ радъ моему приходу. Отношенія его ко мнѣ до самой смерти сохраняли тотъ характеръ, какой имѣли въ началѣ. Вѣдлинскій видѣлъ во мнѣ богато-одаренную натуру, которой недостаетъ развитія и образованія. И вотъ около этого-то держались его бесѣды со мною, имѣвшія для меня значеніе поученія<sup>1)</sup>. Не смотря на сильнѣйшій по тому времени успѣхъ «Современника» въ первомъ году, мы понесли отъ перваго года 10,000 убытка (въ 1-мъ году «Современникъ» имѣлъ 2,000 подписчиковъ); денежные заботы, необходимость много работать — все, такъ сказать, черновая работа по журналу; чтеніе и исправленіе рукописей, а также добываніе ихъ, чтеніе корректуръ, объясненія съ цензорами, возстановленіе смысла и связи статей послѣ ихъ карандашной лежалки на мнѣ, да и еще писать рецензій и фельетоны. — все это, а также и поствѣдованія съ февраля 1848 года цензурнаго гонимія, сопровождавшагося крайней шаткостью почвы подъ ногами каждаго причастнаго тогда къ литературѣ — довело здоровье мое до такого разстройство, что Вѣдлинскій часто говаривалъ, что я немогилъ лучше его. Вѣдлинскій вообще зналъ мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и строго говаривалъ мнѣ: «Что вы съ собой дѣлаете, Некрасовъ? смотрите! берегитесь, иначе съ вами то же будетъ, что со мною». При этомъ въ его умирающихъ глазахъ я увидѣлъ однажды выраженіе, кото-

<sup>1)</sup> Далѣе вычеркнута Некрасовымъ слѣдующія строки: «онъ любилъ меня часто на словахъ — и одно слово давало ему поводъ высказать мнѣ многое, что было для меня и ново, и полезно».

рое не умѣю иначе истолковать какъ тою любовью, о которой упоминается въ письмѣ къ Тургеневу, какъ о потерянной мною. Въ этомъ взглядѣ была она глубокая скорбь. Вспослѣдствіи я узналъ отъ обидныхъ нашихъ друзей, что въ блаженной моей смерти онъ былъ убѣжденъ положительно. Припоминая и тысячу разъ передумывая, я прихожу къ убѣжденію, что главная моя вина въ томъ, что я дѣйствительно не умеръ вскорѣ за нимъ, но за эту вину я готовъ выносить не только клеветы г-на А., но и тонкіе намеки г-на Т., которые онъ хитро старается скрѣпить авторитетомъ Влѣискаго.

Вотъ и другая записка подобнаго-же рода, открывающая намъ другую сторону дѣла, именно, отношеніе Некрасова къ Ив. Панаеву.

«Мнѣ повался здѣсь № 4 «Вѣсти Европы» и я прочелъ намеки Тургенева и выдержки изъ писемъ В. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо онѣ для меня не новость: все это, даже въ болѣе прямомъ и рѣзкомъ видѣ слышалъ я отъ самого Влѣискаго; онъ былъ не такой человекъ, чтобы молчать. Подумавъ на меня нѣсколько дней, онъ самъ искалъ мнѣ свои неудовольствія и свое сожалѣніе о послѣдовавшемъ въ немъ внутреннемъ разрывѣ со мною. Послѣдовали объясненія не со мною однимъ, но и съ Панаевымъ. Не надо думать, чтобы и имѣлъ тогда вліяніе на Панаева, какое приобрѣлъ впоследствии. Онъ былъ десятью годами старше меня и находился въ эту эпоху на верху своей извѣстности. Я его, какъ и онъ меня — тогда зналъ мало: онъ былъ для меня авторитетъ; притомъ деньги на журналъ были его (моихъ было только 5 т. р. асс., которые незадолго до того дава мнѣ взаймы на неопредѣленный срокъ Наталья Александровна Герценъ). Даже контрактъ съ Плетневымъ былъ заключенъ на имя одного Панаева. Значитъ, въ сущности, онъ одинъ былъ хозяиномъ дѣла. Только послѣдствіемъ, спустя нѣсколько дѣтъ, при перемѣнѣ контракта съ Плетневымъ, прибавлено было въ контрактѣ мое имя, чѣмъ права мои уравнились съ правами Панаева. Не хочу этимъ сказать, что Панаевъ помѣшалъ мнѣ сдѣлать желаемое Влѣискому, но я не могъ-бы этого сдѣлать помимо его. А вліяніе Панаева было то-же, что и мое, именно, что представленіе Влѣискому доли было-бы безплодно для него и опасно для дѣла, въ виду неминуемо близкой смерти Влѣискаго, которая была рѣшена врачами, что не было тайной ни для кого изъ друзей его: пришлось-бы связать себя въ будущемъ, имѣя дѣло не съ нимъ, а съ его наследниками... Это особенно пугало Панаева.

## IX.

Чтобы вполнѣ ясно представить себѣ нравственный міръ Некрасова въ эту эпоху, въ которую онъ является передъ нами окончательно сформированнымъ человекомъ, надо обратить вниманіе прежде всего на общее состояніе нравственныхъ идеаловъ въ это время, а потомъ мы увидимъ, какъ ярко эти общіе идеалы отразились въ одномъ изъ тогдашнихъ произведеній Некрасова, весьма важнымъ въ этомъ отношеніи.

Въ эту эпоху на Западѣ бродили новыя политико-экономическія ученія, которыми представляли собой насущный вопросъ дня, обуславливая собою какъ общественные, такъ и индивидуальныя нравственные идеалы; но въ нашей жизни эти ученія, если и усвоивались нѣкоторыми наиболее передовыми и начитанными людьми, то оставались въ отвлеченной сферѣ науки, безъ малѣйшаго прижизненія не только къ общественнымъ интересамъ, но и къ личному поведенію.

Но этого мало. Люди, увлекавшіеся мечтами объ осуществленіи въ отдаленномъ будущемъ теорій всеобщаго благосостоянія, въ настоящемъ продолжали руководствоваться рутинною практическою жизнью: передъ умственными очами ихъ носились такіе нравственные идеалы, которые, не имѣя ничего общаго съ новыми политико-экономическими ученіями, тѣмъ не менѣе увлекали людей, въ свою очередь, какъ нечто новое и прогрессивное. Это обуславливалось тѣмъ, что Россія въ эту эпоху доживала свой патриархально-крѣпостной складъ жизни. Съ каждымъ днемъ онъ чувствовался все болѣе и болѣе невыносимымъ. Въ оппозицію крѣпостной расуищенности нравовъ, у насъ явились новыя буржуазныя идеалы бережливости, скромности, семейной чистоты и наживы путемъ индивидуальнаго труда или честной промышленности. Въ русскомъ обществѣ подобныя идеалы развились тѣмъ быстрѣе, что передъ нашими глазами былъ уже готовый образецъ ихъ на Западѣ, гдѣ въ то время буржуазный строй достигъ апогея своего владычества и поражалъ насъ своими успѣхами промышленности, представляя бросающуюся въ глаза противоположность съ сонною неподвижностью и апатіею помѣщичьей жизни, день ото дня вклинившейся къ полному разоренію. Въ силу этого, въ литературѣ нашей и начали появляться типы практическихъ Адуевыхъ, энергическихъ Штольцевъ, предприимчивыхъ Кошачниковъ и купцовъ на манеръ англійскихъ пропріетаровъ и негодяиковъ — въ противоположность извѣстнымъ, расуищеннымъ, непрактичнымъ и дѣлѣнно-слабымъ обитателямъ Обловоковъ.

Нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы судить о томъ, усвоилъ-ли усвоитъ Некрасовъ въ то время, когда вращался въ кружкѣ Влѣискаго, тѣ новыя политико-экономическія идеи, которыми до нѣкоторой степени увлекался теоретически кружокъ, и насколько могъ онъ ихъ усвоить; но мы имѣемъ несомнѣнныя данныя, что онъ былъ въ это время всецѣло увлеченъ тѣми буржуазно-нравственными идеалами, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь. Объ этомъ мы можемъ судить по роману его «Три страны свѣта», который, въ цѣломъ своемъ составѣ, представляетъ изъ себя не что иное, какъ апофеозъ честной наживы путемъ энергической, практической предприимчивости. На первыхъ-же страницахъ этого романа рисуется передъ нами герой его Каютичъ въ видѣ интеллигентнаго пролетарія, въ образѣ котораго Некрасовъ воспоминаетъ свою молодость. Каютичъ, подобно автору, вышелъ изъ помѣщичьей среды.

«Отцы его промотали; на послѣдніи деньги отправилъ сына въ Петербургъ къ старому соседу-шцу съ просьбою опредѣлить мальчишка въ дворянскій полкъ. Съ тѣхъ поръ Каютичъ не выдалъ своего отца и своей родины. Старикъ скоро умеръ. Его деревню, проданную съ публичнаго торга, купилъ родственникъ покойнаго, приходившійся дядею нашему герою по матери. Поступить въ дворянскій полкъ возможности не представилось, за что Каютичъ, не чувствовавшій призванія къ военной службѣ, послѣдствіемъ горячо возблагодарилъ судьбу. Его отдалъ въ гимназію. За него платилъ дядя. Каютичъ никогда не отличался особеннымъ прилежаніемъ, но началъ понимать свое положеніе, учился настолько хорошо, что выдержалъ экзаменъ въ университетѣ. Около того времени дядя, человекъ причудливый,



рѣшительно отказался давать ему содержаніе. Каютинь сталъ жить уроками, причѣмъ имѣлъ удовольствіе убѣдиться собственнымъ опытомъ, какъ труденъ и подчасъ горекъ хлѣбъ, добываемый продажей своего времени въ томъ періодѣ жизни, который нуженъ человѣку на собственное образованіе. Кочивъ куревъ, онъ пробовалъ служить, но служба требуетъ труда упорнаго и непрерывнаго, а Каютинь хотѣлось жить. Онъ не всегда являлся аккуратнымъ въ своей должности и подвергался выговорамъ. Тутъ примѣшались дѣла, которыя называютъ сердечными—Каютинь сошелся съ Поленькой (бѣдной швей-сиротой) и горячо полюбить ее: аккуратно ходить на службу не оказалось уже никакой возможности. Каютинь вышелъ въ отставку и возвратился къ урокамъ, проводя все остальное время у своей невѣсты...»

Въ началѣ романа мы находимъ его въ страшной видѣтѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вполнѣ олицетворяетъ собою типъ, выросшій на почвѣ крѣпостнаго строя жизни. Онъ добръ, великодушенъ, никакая обида и неприятность долго не застаиваются въ немъ, и потому онъ вѣчно сохраняетъ веселое настроеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ—онъ лѣнивъ, вѣтренъ, безпеченъ. Хозяйствъ выставляеть у него ралу за неплатежъ квартирныхъ денегъ, а онъ возвращаясь поздно домой съ пьяной кирушки, не замѣчаетъ этого, ложится спать въ комнату, продуваемой осеннимъ вѣтромъ, и у него плечья крадутъ послѣднее платье. Отправившись искать счастья по обѣду свѣту на послѣдніи трудовыи деньги, занятая у Поленьки, онъ проигрываетъ эти деньги въ карты на одной изъ станцій какимъ то незнакомымъ совсѣмъ людямъ, и вѣдѣвъ затѣмъ, самовольно завладѣвая ружьемъ смотрителя станцій, отправляется на озеро бить утокъ, затѣмъ попадаетъ на помѣщичью свадьбу и влюбляетъ въ себя невѣсту и т. д. Размышляя съ Поленькой о своемъ печальномъ положеніи, Каютинь додумывается до слѣдующихъ мыслей, составляющихъ весь узелъ романа:

«— Въ Петербургѣ тебѣ нельзя работать, а въ провинціи дѣлать нечего,—сказала Поленька.

«— Нечего!—воскликнулъ Каютинь.—Какъ—нечего? Напротивъ, тамъ-то и работа нашему брату! Недаромъ говорятъ,—продолжалъ онъ съ шутовскою торжественностью:— что отечество наше велико и обширно! Въ разнообразной производительности нашихъ лѣсовъ и горъ, земель и необятныхъ рѣкъ выражаются неисчерпаемые источники богатствъ, неразработанные, не тронуты! Нужно только ухитриться да твердая, желѣзная воля... Бываютъ-же примѣры и у насъ, что чеховѣкъ, не имѣвшій гроша, черезъ десять, двадцать лѣтъ ворочаетъ сотнями тысячъ; а отчего? онъ отказывается себѣ во всемъ, отказывается отъ всего... обрѣкаетъ себя на безсрочную разлуку съ роднымъ утробомъ, съ дѣтми, со вѣкъ дорожитъ его сердцу... Съ опасностью жизни переплываетъ онъ огромныя пространства на плоту, на драной баркѣ, мерзнетъ, мокнетъ, пытается Богъ знаетъ чѣмъ, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривану на рубль за доставку чужого хлѣба подкрѣпить и одушевляетъ его въ долгомъ, скучномъ и опасномъ плаваніи. Только успѣвъ онъ вздохнуть свободно, почувствовать подъ ногами твердую землю, какъ новый выгодный оборотъ увлекаетъ его часто на совершенно-противоположный конецъ нашего необятнаго царства. И вотъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ уже мыслитъ на однихъ по унцой и однообразной тундрѣ, покупаетъ, вымѣшиваетъ у дикарей звѣриныя шкуры, братается съ ними... А черезъ годъ, ему, можетъ быть, придется быть въ Сибирѣ... Та-же оштра, лишеныя, вѣчный страхъ

и вѣчная, неумирающая надежда... Вотъ какъ куются денежки, Поленька! «Счастье!» говоримъ мы, когда такой человѣкъ поротится къ намъ съ миллиономъ. А многіе безъ дальнихъ справокъ просто пожалуютъ его въ плуты... Не всѣ наживаются плутнями и рѣшительно никто не наживался безъ долгаго, упорнаго, самоотверженнаго труда... Но мы—бѣлоручки: мы ждемъ, чтобы деньги сами пришли къ намъ, упали съ неба... о, тогда мы радеохонки... да притомъ всѣ мы большіе господа: если мы не служимъ, такъ намъ давай, по крайней мѣрѣ, занятіе профессора, литератора, артиста... Званіе артиста конекъ нашъ,—а конецъ, подрядчикъ, промышленникъ... намъ обидно и подумать! Какъ будто быть дѣятельнымъ купцомъ не почетнѣе и не полезнѣе, чѣмъ ничего недѣлающимъ гулякой, каковъ я, напримеръ... А, не правда-ли, Поленька?

«— Ну, ты еще будешь дѣлать,—отвѣчала она.— Вѣдь ты годъ только какъ вышелъ изъ университета: когда-же тебѣ...»

«— И еще надо взить въ расчетъ,—началъ Каютинь, увлеченный своею мыслью:—что люди, пускающіеся у насъ въ такіе отважные промыслы, всѣ они безъ образованія, даже часто безъ свѣдѣній, необходимыхъ въ томъ дѣлѣ, которому они посвятили себя. Врожденный умъ, инстинкты,—скорѣе: желѣзная настойчивость, постепенно приобретаемый опытъ, русская сметливость, да русское авось—вотъ единственные ихъ руководители... Что-же можетъ сдѣлать человѣкъ, у котораго при доброй волѣ, трудолюбіи, настойчивости и умѣ, разумеется, есть еще свѣдѣнія?... Я имѣю,—продолжалъ Каютинь, одушевляясь болѣе и болѣе начиная скорыми шагами ходить по комнатѣ:—нѣкоторыя свѣдѣнія въ механикѣ, въ горномъ искусствѣ... водныя пути сообщенія были всегда предметомъ особенныхъ моихъ заботъ...»

«— Поѣзжай въ провинцію!—тихо и нерѣшительно сказала Поленька.»

Вѣдѣтвие этого разговора Каютинь и отправился въ провинцію сколачивать копейку торговлею. Послѣ долгихъ странствій по тремъ странамъ свѣта, всевозможныхъ мытарствъ, неудачъ, опасностей и разнообразныхъ столкновеній со всевозможнаго рода людьми, Каютинь прибылъ въ Петербургъ совершенно перерожденнымъ: изъ сонливаго шалопа и бѣлоручки онъ превратился въ предприимчиваго, энергическаго и практическаго дѣльца и привезъ своей Поленькѣ нѣсколько сотенъ тысячъ, которыя сдѣлали ее счастливою.

Дѣланіе подобнаго рода буржуазныхъ идеоловъ въ ту эпоху не только не мѣшало любви и сочувствію къ народу, но даже обѣ вещи казались вполнѣ солидарными другъ съ другомъ и выходившими одна изъ другой. Подобно тому, какъ во Франціи, въ прошломъ столѣтіи, люди, глубоко проникнутые стремленіями улучшить участь народа, воображали, что стоитъ только справиться съ феодализмомъ, и народъ тотчасъ-же процвѣтетъ, вѣдѣтвие одного того, что каждому будутъ дарованы право и свобода наживать-ся честнымъ трудомъ по тому или другому промыслу, такъ точно и у насъ разсуждало большинство интеллигентныхъ людей до крымской кампаніи: отрицалось одно заѣданіе крестьянскаго хлѣба на почвѣ крѣпостнаго права, и въ этомъ одномъ видѣлось все зло, при чемъ думали, что стоитъ только освободить народъ отъ крѣпостной зависимости, и ничто не помѣшаетъ ему наживаться въволюшку, мирно эксплуатируя богатства роднаго края.

На такой точкѣ зрѣнія стоялъ и Некрасовъ, когда писалъ свои „Три страны свѣта“. Но было-бы совершенно ошибочно предполагать, чтобы идеаломъ узкаго практицизма весь нечерпывался этотъ человекъ. Въ тѣхъ-же „Трехъ странахъ свѣта“, во второмъ томѣ ихъ, въ дневникѣ Каятина, мы видимъ нѣсколько какъ-бы случайно брошенныхъ взглядовъ на русскаго крестьянина, взглядовъ, глубоко прочувствованныхъ и весьма многозначительныхъ, которые совершенно выходятъ изъ рамокъ того времени, въ которое были высказаны, и не теряютъ своей современности до сегодня. Взгляды эти показываютъ намъ все богатство и многостороннюю сложность натуры Некрасова. Вотъ эти взгляды:

«Въ моихъ странствованіяхъ, и несчастіяхъ, и трудахъ одна была у меня отрада, безъ которой, можетъ быть, я не вынесъ-бы своей тяжелой раны. Не зналъ я русскаго крестьянина; готовая истина была въ основѣ моего о немъ мнѣнія. Какъ же мы, измѣняя и каждый поступокъ его по вѣщности факта, а еще чаще стараясь удалить такихъ мыслей, также какъ и столкновеній съ простымъ классомъ».

«Но необходимость свела меня съ нимъ, скука и общая доля сблизила; познакомился и породнился я съ русскимъ крестьяниномъ... среди моря, гдѣ равно каждому не разъ грозила смерть, въ сѣвѣнныхъ степяхъ, гдѣ отогрѣвали мы другъ друга рукопашной борьбой, а подъ-часъ и дыханьемъ, въ сырой и тѣсной избѣ, гдѣ голодные и холодные жались мы другъ къ другу, шестьдесятъ дней не видя солнца Божьяго...»

«Трудень доступъ къ его сердцу. Онъ суровъ, неразговорчивъ, неохотно обнаруживаетъ свое чувство; глубоко запрягиваетъ въ душу тяжелую кручину. Ошибается тотъ, кто иначе думаетъ, кто, побродивъ по базару въ праздничный день, увидавъ двѣ—три деревенскія сходы, поговоривъ, хоть и за чаркой, съ нѣсколькими мужиками, думаетъ знать всю ихъ подноготную... Жалокъ такой наблюдатель! Нѣтъ, сердце его открывается не всякому и не вдругъ. Вотъ ужъ, кажется, ты довольно сблизился съ нимъ: онъ волею съ тобою въ обращеніи и за словомъ въ карманъ не ходитъ; ты думаешь, говоритъ онъ тебѣ свою подноготную... Погоди, она у самого у него неясна, а ты не настолько расположилъ его къ себѣ и расшевелилъ, чтобы она у него выяснилась, облеклась въ слово... Ты самъ скоро убѣдишься, что не поймалъ еще истины, когда замѣтишь, что черезъ день онъ уже говоритъ не то, съ полнымъ равнодушіемъ, которое такъ часто тебя обманывало, приводя къ ложнымъ и неутраднымъ выводамъ! Будешь говорить ты съ нимъ еще разъ, узнаешь больше, услышишь много опять новаго, но и тутъ часто не то еще, чего ищешь... Будь простъ и добръ, а главное—будь искрененъ, спрячь подалеке чувство собственного превосходства, умѣй отстранить всѣ порывы неизбежной надменности, которая немально пробивается въ подобныхъ отношеніяхъ, да еще не показывай, что ты стараешься подъ него подладиться, и тогда только можешь ждать его искренности...»

«И тогда увидишь ты, что въ немъ есть душа, чувство, энергия, а что главное, въ немъ много ироніи дѣльной и мѣткой, которая уже, можетъ быть, давно твою собственную особу цустила ходячей притчей по всему околотку...»

«Ни въ комъ, кромѣ русскаго крестьянина, не встрѣчалъ я такой удали и находчивости, такой откровенности, при совершенномъ отсутствіи хвастовства (замѣтьте—черта важная!) и, опять повторяю, такой удивительной насмѣшливости. Эти черты ужасно мало говорятъ въ пользу его?»

«Я много люблю русскаго крестьянина, потому что хорошо его знаю. А кто, подобно многимъ ва-

шимъ, послѣ обычной «жажды дѣлъ», иная въ анатомію и сидятъ, сложа руки, ного треволнать спелые мысли, безотрадные, безвыходные, тому совѣтъ и, подобно шпѣ, прокатиться по раздольному нашему паркету, побывать среди всякихъ людей, по-смотреть всякихъ видовъ».

«Въ столкновеніи съ народомъ, онъ увидитъ, что много жизни, здоровыхъ и свѣжихъ силъ въ нашемъ классѣ и дорогое отечество, увидитъ, что все идетъ впередъ... можетъ быть иначе, чѣмъ думали кабинетные теоретики, но совершенно согласно съ характеромъ народнымъ, съ его судьбами, древними и настоящими, и съ неизмѣннымъ закономъ историческимъ... Увидитъ и устыдится своего бездѣйствія, своего эвентуализма и самъ, какъ русскій человекъ, разохочется, расхочется: откинетъ дѣль и положитъ посильный трудъ въ соприобщенію развитія, славы и процвѣтанія русскаго народа...»

Вотъ что думалъ Некрасовъ въ моментъ смерти Писарева и въ первые годы изданія „Современника“.

Здѣсь, встаетъ, не лишнимъ будетъ сказать нѣсколько словъ какъ о беллетристикѣ, такъ и вообще о прозѣ Некрасова. Изъ беллетристическихъ произведеній Некрасова наиболѣе известны: „Опытная женщина“, повѣсть, напечатанная въ „Отечественныхъ Запискахъ“, 1841 г.; „Необыкновенный завтракъ“, „Отеч. Зап.“, 1843 г.; „Петербургскіе угамъ“ въ „Физиологіи Петербурга“ 1846 г.; „Три страны свѣта“, „Современникъ“ 1848—1849 г.; „Новозобрѣтенная привилегированная краска Дирлинга и К<sup>о</sup>“, „Совр.“ 1850 г.; „Мертвое озеро“, „Совр.“ 1851 г.; „Тонкій человекъ“, „Совр.“ 1855 г. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Некрасовъ является полнымъ приверженцемъ натуральной школы. Во многихъ мѣстахъ онъ выдаетъ въ явное подражаніе Гоголю, какъ относительно его юмора, такъ и манеры изображенія пошлости, преимущественно, въ мелочахъ общественной жизни. Такъ, напримеръ, „Новозобрѣтенная привилегированная краска“ очень напоминаетъ собою „Невскій проспектъ“ Гоголя. Сюжетъ этой повѣсти заключается въ томъ, что петербургскій мажоранъ, въ родѣ поручика Пирогова, влюбится за женою красильщика Дирлинга, а тотъ подмѣчаетъ это и жестоко мститъ ему тѣмъ, что выкрашиваетъ его фиолетовою своей палинчочей краской и ставитъ его въ весьма неприятное положеніе передъ невесткой, за которую герой сватается. Въ то-же время, въ беллетристикѣ Некрасова преобладаетъ конкретный, фотографическій элементъ. Большинство характеровъ и даже сюжетовъ взяты непосредственно изъ действительности. Изъ этого не исключается даже и такой сложный по составу и мѣстамъ сказочный романъ, какъ „Три страны свѣта“, написанный на манеръ французскихъ романовъ школы Евгения Сю. Въ романѣ этомъ найдется не мало живыхъ чертъ тогдашней петербургской жизни. Такъ, напримеръ, всѣ подробности о книгопродавческой фирмѣ Карпичева и К<sup>о</sup> представляются фотографическими снимками съ одной изъ извѣстнѣйшихъ въ то время книгопродавческихъ фирмъ.

По свидѣтельству Авд. Як. Головачевой (бывшей Панаевой) писаніе „Трехъ странъ свѣта“ происходило такъ: сначала Н. А. Некрасовъ съ г-жею Панаевой составили общія соображенія сюжета романа, а потомъ распредѣлили, какую кону изъ нихъ писать

главу, и у г-жи Головачевой есть томъ „Трехъ странъ свѣта“, въ которомъ обозначено, что было написано ею и что Некрасовымъ. Изъ этихъ отбѣтовъ видно, что все, касающееся интриги и вообще любовной части романа, принадлежитъ перу г-жи Панаевой; Некрасовъ же на свою долю избралъ детальную, аксессуарную часть, комическія сцены, черты современной жизни и описаніе путешествій Каютина. Затѣмъ, если въ романѣ участвовало третье лицо, то оно пародируетъ въ видѣ какого-то кушца, который разекавалъ Некрасову во всѣхъ подробностяхъ, какъ проводить баринъ черезъ боровицкіе пороги. Руководствуясь этимъ разсказомъ, Некрасовъ совсѣмъ передѣлалъ 6-ю главу 4-й части романа, такъ какъ онъ никогда не былъ на боровицкихъ порогахъ и описалъ-было повсѣмъ вѣрно крушеніе барокъ Каютина.

Что же касается „Мертваго озера“, то Некрасову принадлежитъ въ немъ лишь одинъ сюжетъ, въ составленіи котораго онъ принималъ участіе вмѣстѣ съ г-жею Панаевой, и много что дѣйствительно. А затѣмъ Некрасовъ захворалъ, слегъ въ постель и рѣшительно отказался продолжать романъ. Такимъ образомъ, „Мертвое озеро“ почти всецѣло принадлежитъ перу г-жи Панаевой.

Что касается до прозы Некрасова въ истинномъ смыслѣ этого слова, то вся она состоитъ изъ критикъ, рецензій, журналистики, фельетонныхъ, носившихъ въ то время характеристическое названіе „смѣсь“ и т. п. Какъ на болѣе выдающіяся и позднѣйшія его критическія статьи, мы можемъ указать на „Журнальныя замѣтки“ въ „Современникѣ“ 1856 года, которыя онъ писалъ по случаю отъѣзда за границу Н. Панаева, завѣдывающаго этимъ отдѣломъ. Статьи эти можно легко отличить по тому, что всѣ онѣ начинаются со слова „читатель“ (на это отличіе есть письменное указаніе въ бумагахъ Некрасова).

Какъ критикъ, Некрасовъ является защитникомъ „натуральной школы“ отъ различныхъ нападокъ на нее какъ въ московской, такъ и въ петербургской прессѣ, и вообще, не вводя ничего новаго, онъ твердо придерживается идей Вѣлинскаго. Тонъ его рецензій и журнальныхъ обзорѣвъ отличается бросающеюся въ глаза благодушною мягкостью и отсутствіемъ всякаго полемическаго задора. Каждое писателя онъ, прежде чѣмъ выразить свое несогласіе съ нимъ, старается осыпать лестными похвалами, въ каждой разбраваемой вещи старается открыть свои хорошія стороны и достоинства. Трудно объяснить причину подобнаго характера его критическихъ замѣтокъ: пролежалъ-ли онъ въ дѣтствѣ цензурныхъ условій того времени, когда малолѣтски задорный, рѣзкій тонъ, хотя-бы не заключавшій въ себѣ ни малѣйшаго слѣда чело- либо политическаго, возбуждалъ уже подозрѣніе цензуры, какъ нѣчто нарушающее мирное настроеніе общества и благочиніе, — или это зависѣло оттого, что въ то время количество литературныхъ силъ было еще крайне ограничено, всѣ литераторы, болѣе или менѣе знакомые между собою, не раздѣлялись еще на такіе непримиримо враждебные лагеря, какъ впоследствии, а, напротивъ того, сблизжались общими тяжелыми условіями ихъ положенія, наконецъ, въ рѣдкихъ изъ нихъ Некрасовъ не подозрѣвалъ чело- вѣка,

который завтра-же могъ пригодиться въ качествѣ сотрудника „Современника“; такъ что здѣсь руководилъ Некрасовымъ особенный тактъ журналиста, хотя, конечно, мягкость Некрасовской критики могла обуславливаться и благодушными чертами его характера. По крайней мѣрѣ, въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующая записка, записанная сестрою покойнаго съ его словъ. Дѣло идетъ о началѣ знакомства Некрасова съ Вѣлинскимъ, когда Некрасовъ не былъ еще издателемъ журнала. Онъ написалъ въ то время рецензію на романъ Загоскина въ какой-то газетѣ. Позже, когда Вѣлинскій познакомился съ Некрасовымъ, онъ сказалъ ему:

— Вы вѣрно смотрите, но затѣмъ вы расхвалили Ольгу?

— Нельзя, говорятъ, ругать все сплошь, — отвѣчалъ Некрасовъ.

— Надо ругать все, что не хорошо, Некрасовъ, возразилъ Вѣлинскій: — нужна одна правда!

## X.

Журнальную дѣятельность Некрасова, начиная съ основанія „Современника“, можно раздѣлить на три періода: первый періодъ — съ 1847 по 1855 годъ представляется самой мрачной эпохой, какъ въ его журнальной дѣятельности, такъ и вообще въ жизни. Вѣлинскій умеръ въ 1848 году. Наступилъ періодъ самой мрачной реакціи, ударившей въ паннику подъ впечатлѣніемъ европейскихъ событій 1848 года. Журналъ все это время висѣлъ на волоскѣ, безъ денегъ, безъ подписчиковъ, подъ непрестаннымъ Давидовымъ мечомъ цензуры. До какой степени доходила въ то время строгость цензуры, можно судить по „Иллюстрированному Альманаху“, который издатель „Современника“ обѣщали выдать своимъ подписчикамъ въ приложеніи къ журналу въ 1848 году. Альманахъ этотъ предполагался въ видѣ увѣселяющаго тома, въ родѣ „Петербургскаго Сборника“, но онъ таялъ, таялъ и достигъ до 7½ печатныхъ листовъ, но и въ такомъ гонимомъ видѣ разсылка его подписчикамъ „Современника“ была воспрещена, и подписчики были такимъ образомъ невольныю обмануты. Между тѣмъ сборникъ заключалъ въ себѣ самыя невинныя вещи: „Семейство Тальниковыхъ“ Станцкаго, „Лола Монтесъ“, Дружинина, „Слотрины и рукобиты“ В. Дала, „Встрѣча на станціи“ И. Панаева, „Старушка“ Майкова, „Заборовъ“ Гребенки и проч. Все было въ томъ, что большинство этихъ произведеній принадлежало къ натуральной школѣ, въ которой въ то время видѣли все зло и которую положили по возможности истребить съ корнемъ.

Съ 1853 года положеніе „Современника“ сдѣлалось еще болѣе критическимъ: началась война, которая убавила число подписчиковъ и безъ того довольно скудное. Однимъ было не до чтенія журналовъ въ это мрачное время, другіе предпочли журналу газету. Въ 1856 году Некрасовъ предпринялъ было издаваніе своихъ стихотвореній, но издаваніе это было безусловно запрещено. Ко всему этому присоединилась тяжкая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ частію ненормальной жизни въ молодости, частію не-

устанной, изнурительной работы, такъ какъ въ это время весь журналъ лежалъ на его плечахъ. Это была упорная, неподдававшаяся никакимъ леченіямъ болѣзнь горловыхъ органовъ. Лучшие доктора русскіе и иностранные опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбежной смерти. Видя передъ собою приближеніе могилы, поэтъ, какъ это было и впоследствии лѣтъ черезъ двадцать, началъ писать свои послѣднія пѣсни:

Душа мрачна, мечты мои унылы,  
Грядущее рпеуется темно.  
Привычки, прежде милыя, постылы,  
И горекъ дымъ сигары Рѣшено!  
Не ты горька, любимая подруга  
Ночныхъ трудовъ и одинокихъ думъ—  
Мой жребій горекъ. Жаднаго вѣдута  
Я не избѣгъ. Еще мой свѣтель умъ,  
Еще въ надеждѣ глупой и послушной  
Не ищеть онъ отрады малодушной.  
Я вижу все... А рано смерть идетъ,  
И жизни жаль мучительно. Я молодъ,  
Теперь поменьше молочныхъ заботъ,  
И рѣже въ дверь мою стучится голодъ:  
Теперь бы могъ я сдѣлать что нибудь.  
Но поздно!.. И т. д.

Въ сущности же, было не только не поздно, но, напротивъ того, рано: настоящая дѣятельность Некрасова, наиболее благотворная и широкая, предстала ему еще впереди. Какъ ни мрачны были тучи, со всѣхъ сторонъ ступившія надъ его головою, и какъ ни казалось, что и конца имъ не будетъ, что его ждетъ впереди одна неминуемая гибель, но вдругъ повѣяло отряднымъ тепломъ, тучи разсѣялись, засіяло солнышко, бури какъ не бывало, и новою жизнью и энергіею преисполнился совѣтъ было увядшій поэтъ. Во-первыхъ, болѣзнь вовсе не оказалась такою смертельною, какъ предрекли медики. Профессоръ медицины-хирургической академіи Шинюланскій опредѣлилъ ее совсѣмъ иначе и предписалъ сообразно своему опредѣленію леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ со всѣми мнѣніями знаменитостей, и выздоровленіе Некрасова, тщетно проведеннаго передъ тѣмъ зиму въ Римъ и заблужденнаго тамъ немилосердно въ холодныхъ отеляхъ, пошло такъ быстро, что вскорѣ отъ мнимой чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. А затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. „Современникъ“ ожилъ: въ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возрастать тысячами.

## XI.

Здѣсь начинается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, который слѣдуетъ считать съ 1856 по 1866 годъ. Это былъ періодъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова.

Умственный и нравственный горизонтъ поэта значительно раздвинулся подъ вліяніемъ того сильнаго движенія, какое началось въ обществѣ, и тѣхъ новыхъ людей, которые окружили его. Прежніе идеалы отбрасываются новыми, и подобно тому, какъ Вѣлипскій не любилъ, когда ему напоминали объ его прежнихъ статьяхъ, въ родѣ „Вородинской годовщины“

или „Менцели“, такъ и Некрасовъ неохотно потомъ вспоминалъ о грѣхахъ своей молодости, въ родѣ „Трехъ странъ свѣта“. Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Изъ прежняго горячаго, но крайне неопредѣленнаго протестанта противъ несправедливости, рабства и вѣческаго угнетенія, онъ теперь обращается въ пѣвца народнаго горя—въ широкоулы и глубокоулы, но вполне опредѣленномъ смыслѣ. Все лучшее и наиболее сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: „Размышленія у параднаго подъязда“, „Морозъ Красный носъ“, „Коробейники“, „Желѣзная дорога“, „Крестыянскія дѣти“ и проч. Въ то же время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала: и своимъ руководителевствомъ, и своими практическими совѣтами, и связями, и наконецъ, личными трудами. Такъ, между прочимъ, ему принадлежить мысль о приложеніи „Свистка“ къ „Современнику“. Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему такъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ и, подъ впечатлѣніемъ ея, онъ вознамѣрился завести „Свистокъ“ при „Современникѣ“. Въ „Свисткѣ“ этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, изъ которыхъ нѣкоторые вошли въ приложеніе ко 2-й части полнаго собранія его сочиненій. Между прочимъ, ему принадлежатъ „Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ“, приписанная Добролюбову и напечатанная въ IV томі сочиненій Добролюбова (см. стр. 518, изд. 1871 г.). Добролюбовъ написалъ лишь одинъ примѣчаніе къ этимъ куплетамъ. Въ то же время, и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось: лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха „Современника“, Некрасовъ не мало былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было, наконецъ, ему разрѣшено въ 1860 году, вслѣдствіе ходатайства графа Александра Владиміровича Адлерберга. По этому поводу въ бумагахъ Некрасова находится слѣдующаго рода собственноручная его записка:

„Великая моя благодарность графу А. В. Адлербергу, онъ много сдѣлалъ для меня, выхлопотавъ въ 60 году позволеніе на изданіе моихъ стихотвореній, что запретилъ Порозъ въ 1856 году. Это далъ мнѣ до 150,000. Желаю, чтобы это было напечатано послѣ моей смерти. Н. Некрасовъ.“

Преображеніемъ „Современника“, въ 1866 году, кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія, весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ „Отечественныхъ Записокъ“, и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни, Некрасовъ былъ все также дѣятеленъ и бодръ духомъ, талантъ его стоялъ все на той-же высотѣ, и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній, не уступающихъ прежнимъ—каковы: „Русскія женщины“, „Кому на Руси жить хорошо“ и проч.; но въ то же время физическія силы начали наклонять ему съ каждымъ годомъ, онъ зачѣтно старѣлъ, хилѣлъ,

а въ послѣдніе пять лѣтъ часто началъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно одиозно. Зимы проводилъ въ своей городской квартирѣ, на Литейной, въ домѣ Краснаго, въ которой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимой писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ ѣзжалъ или къ брату, въ Ярославское имѣніе послѣдняго, или же въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновенно, среди сельской обстановки и природы, и возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдка осень обходилась безъ того, чтобы, по возвращеніи въ городъ, онъ не привозилъ чего-либо новаго, что читалъ обыкновенно друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столичная жизнь не вытѣсняла его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ. Объ этомъ предметѣ вотъ какія свидѣнія сообщаетъ сестра покойнаго:

«Братъ мой всю жизнь любилъ охоту съ ружьемъ и лагавой собакой. Десяти лѣтъ, онъ убилъ утку на Ичельскомъ озерѣ. Былъ октябрь; охранна озера уже заволокло льдомъ; собака не шла въ воду. Онъ погналъ самъ за уткой и досталъ ее. Это стоило ему горячки, но отъ охоты не отвалило. Отецъ бралъ его на свою неовую охоту, но онъ не любилъ ее. Приучилъ его къ перховой задръ очень оригинально и не особенно нѣжно. Онъ самъ рассказывалъ, что однажды восемнадцать разъ въ день ужалъ съ лошади. Дѣло было зимой—мыло. За то послѣ всю жизнь онъ не боялся никакой лошади и сукно садился на клячу и на быснаго жеребца. Но задръ любилъ шагомъ и хорошо стрѣлялъ съ лошади».

«По мѣрѣ того, какъ средства его росли и онъ дѣлался самостоятельнымъ, онъ придавалъ охотѣ своей характеръ, по своему вкусу и своимъ планамъ. Охота была для него не одною забавою, но и средствомъ знакомиться съ народомъ. Каждое лѣто періодически повторялось одно и то же. Поработавъ нѣсколько дней, братъ начиналъ собираться. Это значило, подавали въ крыльцо простую телѣгу, которую нагружали провизіей и пороховомъ. Затѣмъ, вечеромъ, или рано утромъ на другой день, братъ отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ съ любимой собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охотѣ братъ не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько дней, иногда на недѣлю и болѣе. По рассказамъ, превосходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты у него были уже знакомцы — мужики-охотники. Онъ до каждого добжалъ и охотился въ его мѣстности. Позади, сперва изъ двухъ троекъ, доходилъ до пяти, бралъ почтовую лошадь, ибо братъ собиралъ своихъ провожатыхъ и уже не отлучалъ ихъ до лѣтняго пункта».

«По окончаніи утренней охоты, выбиралось удобное мѣсто; братъ со всей компаніей завтракалъ, говорилъ самъ мало или дремалъ. Компанія, которая получала не мало водки и сколько угодно мяса, была разговорчива—братъ слушалъ, или нѣтъ, это—его дѣло».

«Онъ говаривалъ, что самый талантливый прощель изъ русскаго народа отдѣляется въ охотники; рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего странствованія какого-либо запаса для своихъ произведеній. Такъ, однажды, при мнѣ онъ вернулся и зашелъ за «Коробейниковъ», которыхъ потомъ при мнѣ читалъ престяжину Кузьмѣ. Въ другой разъ зашелъ на два дня—и явился «Крестьянскія дѣти». Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно выдумать форму этой идилліи? этотъ сарай съ цвѣтными глазками».

Чу! шопотъ какой-то... а вотъ вереница  
Вдоль щели внимательныхъ глазъ!  
Все сѣрие, каріе, синіе глазки—  
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты... И т. д.

«Орина, мать солдатская, сама ему рассказывала свою ужасную жизнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько разъ дѣлалъ крокъ, чтобы поговорить съ нею; а то болелъ сфаальшивить. Одно стихотвореніе, о которомъ сожалѣлъ, что не написалъ его, это — эпитафія. Съ однимъ изъ своихъ друзей—охотниковъ, онъ однажды переходилъ кладбище—Гаврило рассказывалъ ему о покойникахъ, могилы которыхъ обращали на себя вниманіе брата. И помню только эпитафію:

Зимой игралъ въ картишки  
Въ уѣздномъ городишкѣ,  
А лѣтомъ жилъ на волѣ,  
Травилъ зайчишекъ груды,  
И умеръ пьяный въ полѣ  
Отъ водки и простуды».

«На зимней охотѣ съ нимъ, однажды, былъ казусъ. Онъ набралъ до восьмидесяти человекъ и ѣхалъ на медвѣда. Мужики шли впереди. Увидѣлъ братъ зарево пожара и всю свою команду повернулъ отъ медвѣда туда. Деревню спасли, но охота на этотъ день пропала. Мужики не жалѣли медвѣда, и убить его брату не пришлось, а деньги отдал. Надували его мужики много, но часто поступали съ нимъ честно. Крутъ его лѣтней охоты — дуга смежныхъ губерній — Ярославской, Костромской, Владимирской. Онъ ихъ хорошо знаетъ, и большая часть его типовъ принадлежитъ средней Россіи. Память у него была удивительная; онъ записывалъ однимъ словечкомъ цѣлый рассказъ и помнилъ его всю жизнь по одному записанному слову. При работѣ, тетради эти съ непонятными никому отбѣлками были передъ его глазами».

## XII.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ перемогался больше года, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморроидальнымъ припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не представляють никакой серьезной опасности. Но въ веснѣ 1876 года, болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала уже серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ со своею болѣзнію, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнеможенный. Воротившись изъ Крыма, гдѣ пользовалъ его докторъ Вогкинъ, зимою въ Петербургъ—и уже почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 года, дошли до нестерпимыхъ, жестокихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты усноженія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературою и жизнью, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣдніе нѣщи. Такъ, во время пребыванія своего въ Крымѣ, онъ написалъ, по словамъ докт. П. А. Бѣлоголова («Волѣны Н. А. Некрасова», «Отеч. Зап.» 1878 г., № 10), поэмъ въ 1800 стиховъ, посвятивъ ее лечившему его тогда С. П. Вогкину. Препятствія, встрѣтившіяся къ напечатанію этой поэмъ, были послѣдними литературными неприяностями Некрасова. Жестоко пораженный этою

неудачю. Некрасовъ встрѣтилъ однажды Бѣлоголова слѣдующими словами:

— Вотъ оно, наше ремесло — литература! Когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ-же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведение, и опять такъ сталкиваюсь съ тѣми-же ножницами!

Сознаніе близости смерти не покидало его еще съ осени 1876 года. Уже тогда, вспоминая свою прежнюю болѣзнь (50-хъ годовъ) и сравнивая его съ настоящей, онъ говорилъ:

— Тогда всѣ доктора въ одинъ голосъ приговорили меня къ смерти, а у меня внутри не переставало жить убѣжденіе, что я останусь жить, а теперь совсѣмъ наоборотъ: доктора все обнадеживаютъ, а я убѣжденъ, что мнѣ не встать...

Каково было положеніе Некрасова весной 1877 года, можно судить по слѣдующему листочку, сохранившемуся въ его бумагахъ:

«Мартъ, 77 г.—Худо мнѣ! Мой домъ—постель. Мой миръ—двѣ комнаты: пока обивають одну—лежу въ другой. Похъ-рюмки кипрскато меня обиваютъ; грань опума дѣлаетъ меня идиотомъ, но всегда давая сонъ. Стиховъ уже писать не могу, но дини нападаетъ на меня самоиѣние. На-дняхъ муза моя на прощанье проѣла мнѣ такую пѣсню:

Пускай чуть слышенъ голосъ твой,  
Не громки тѣмъ пѣнопѣнья;  
Но ты воспрянешь за чертой  
Неотразимаго забвенья!»

12-го апрѣля 1877 года, была сдѣлана надъ Некрасовымъ вѣнскимъ хирургомъ, Вильротомъ, операція, которая спасла его отъ неминуемо-угрожавшей смерти, въ нѣкоторой степени облегчила его страданія и продлила его существованіе на восемь съ половиною мѣсяцевъ.

Но незавидно было это — не столько существованіе, сколько постепенное угасаніе. Вольной былъ такъ слабъ, что лѣтомъ, несмотря на всю необходимость для него сухого, здороваго и свѣжаго воздуха, его могли едва перевезти на Черную-Рѣчку, гдѣ онъ провѣлъ лѣто на дачѣ графа Строгонова. Какъ онъ страдалъ и что онъ чувствовалъ въ это время, объ этомъ можно судить по слѣдующему, сохранившемуся въ его бумагахъ, листочку его дневника, который онъ принялся-было писать во время своей дачной жизни:

«14-го іюня.—Буду писать, что приходитъ въ голову; надо же убивать время.

Онъ не былъ злобенъ и коваренъ,  
Но былъ мучительно ревнивъ,  
Но былъ въ любви неблагодаренъ  
И къ дружбѣ-нераднъ.»

«Сибиряки обнаружили особенную симпатію ко мнѣ со времени моей болѣзни. Много получаю стиховъ, писемъ и телеграммъ. Было двѣ съ двумя десятками подписей. Я хотѣлъ сдѣлать на это замѣкъ въ стихотвореніи «Валюшки-баю» — и было тамъ четыре стиха:

И ужъ посеть изъ добрей сибирскихъ  
На гробъ твой заври я вѣнецъ  
Друзей невѣдомыхъ и вѣстныхъ  
Хранимъ Богомъ посланецъ.

— да побоялся, не глупо-ли будетъ. А теперь этого вопроса рѣшить не могу и подавно.

«Вообще, изъ страха и перѣшительности и за потерю памяти, а передъ операціей, испортилъ въ поэмѣ «Мать» много мѣствъ, замѣнилъ точками нѣкия строки.

«Очень тяжело растрепоживать мысли — сейчасъ боли, какъ и въ эту минуту.

15-е іюня за полдень.

16-го іюня—Любимое стихотвореніе Бѣлинскаго было:

Въ степи широкій, широкой и безбрежной  
(Пушкинъ).

«Я же когда-то очень любилъ стихотв. Лермонтова «Вѣяетъ парусъ одинокой» и т. д. А теперь все повторяю:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,  
(Пушкинъ).

«16-го іюня, 7-й часъ.

«Хотѣлъ было анализировать свое положеніе и свои ощущенія, но слишкомъ это яичная работа, прибавишь себѣ муки — а ей много!

«Не забыть отвѣтить Пр.ду (поэтъ-юноша грамотный, но дарованія не замѣтно); написать, что прѣбывъ въ Петербургѣ на запятія деньги.

«Всего болѣе страшно, чтобы мое теперешнее положеніе не затанулось — или хоть немного-бы получше, или поскорѣй-бы конецъ.

«Ничего не понимаю, что со мной дѣлается. Очень тяжело. Дождь! (Воскресенье).»

Такъ изнывалъ поэтъ, борясь со своею смертію, и единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искреннее сочувствіе къ нему, какъ къ поэту народной скорби, вѣсегъ съ пожеланіями долготѣвѣй жизни и избавленія отъ болѣзни.

«При всей скрытности своего характера, — говоритъ д-ръ Бѣлоголовый, — и необыкновенномъ умѣнн владѣть собой, онъ не могъ не выразить ясно, какъ всѣ эти манифестаціи его трогали и возмущали въ собственныхъ глазахъ. Газъ какъ-то, показывая мнѣ двѣ телеграммы, подученныя имъ въ это утро изъ Прѣбга, онъ сказалъ: «Часто намъ приходилось въ журналистикѣ говорить, что мы не знаемъ совсѣмъ нашего подписчика, и каково онъ мнѣнія о нашей дѣятельности, а вотъ онъ теперь для меня и открываетъ!» Возбужденный этими манифестаціями, онъ сдѣлалъ гораздо разгорочнѣе, охотно сталъ вспоминать и разсказывать различныя эпизоды своей жизни, свои отношенія къ различнымъ нашимъ знаменитостямъ; подъ влияніемъ наплыва этихъ воспоминаній, онъ остановился на мысли составить свою біографію и лихорадочно приступилъ къ этому такимъ образомъ: частью онъ диктовалъ самъ, пользуясь великимъ свободнымъ отъ боли часомъ, то брату Константину Алексѣевичу, то сестрѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, иногда даже ночью будилъ ихъ и заставлялъ писать подъ свою диктовку; частью же передавалъ усно тотъ или другой эпизодъ своей жизни кому-нибудь изъ друзей. Въ то же самое время онъ редактировалъ и выпускалъ въ свѣтъ отдѣльное изданіе своихъ «Послѣднихъ пѣсень»; наконецъ, онъ тогда же счинилъ (впрочемъ, начало было имъ написано нѣсколько лѣтъ раньше) свою поему «Мать» и стихотвореніе «Валюшки-баю», появившіяся въ мартовской книжкѣ (1877 г.) «Отечественныхъ Записокъ», изъ котораго публика, какъ изъ бюллетеня, могла усмотрѣть, что здоревье поэта все падало, и что опасность близкой смерти его не устранила. Оно такъ и было на самомъ дѣлѣ»...

Дни поэта были сочтены.

«Около 20-го ноября — по словамъ доктора Бѣло-

родоваго («Новое Время», 1878 г., № 601), — стали появляться приступы панической лихорадки съ небольшими ознобами и потами, но настоять не удались, что больной не изменилъ обычный распорядок своего дня, хотя его крайнее исхудание и слабость еще замѣтно усилились за это время. Такъ продолжалось до 14-го декабря; въ этотъ день, въ седьмомъ часу вечера, онъ всталъ съ кровати и перешелъ въ столовую, чтобы посидѣть и пить чай, но съ первыми же глоткомъ съ нимъ сдѣлался потрясающій ознобъ; его тотчасъ же перевезли и уложили въ постель; однако продолжался около четверти часа и подъ переходъ его началась рвота, во время которой, безъ видимой потери сознанія, онъ сталъ невнятно говорить и затѣмъ лишился употребленія правой руки и ноги. Когда, черезъ полчаса, я пришелъ къ нему, то нашелъ его въ видѣ возбужденномъ состоянн, какъ-бы подъ влияниемъ страха; тѣмъ не менѣе, онъ удивился, увидавъ меня въ неподобающее время, и прежде всего сказалъ: «Зачѣмъ это вы такъ тревожитесь?» Затѣмъ, мнѣ явно сталъ жаловаться на чай съ лимономъ, который онъ пилъ, говорить, что было кнело и что это возбуждало въ немъ рвоту. Рвота при мнѣ была уже нѣсколько тише, а къ утру, подъ влияниемъ холоднаго шампанскаго, почти совсѣмъ прекратилась. Всю ночь онъ проводилъ безысходно, но не произнесъ ни одного слова, такъ что окружающіе думали, что онъ лишился совсѣмъ языка, но когда я пришелъ утромъ, то онъ сталъ просить, чтобы его подняли съ постели, надѣя на него самогъ и поволокли его по комнатамъ. Въ виду неотступныхъ просьбъ, ему позволили подняться, и, опираясь на двухъ чело-вѣкъ, онъ два раза прошелся по комнатамъ, волоча правую ногу и, очевидно, не понимая происшедшей съ нимъ перемены, и только постоянно повторяя одну и ту же фразу: «ну, что это?» — Затѣмъ его уложили, и съ этого времени онъ уже болѣе не вставалъ съ постели, хотя параличъ языка обнаружилъ быструю наклонность къ улучшенію: рѣчь стала гораздо чище, движеніе въ ногѣ возстановилось все болѣе и болѣе, только правая рука оставалась до конца жизни совершенно парализованна. Съ этого же дня больной все ослаблялъ, очень мало ѣлъ, но много страдалъ отъ жажды и разныхъ болей, преимущественно въ лѣвой ногѣ, на которой стали появляться ограниченныя инфльтраты въ клетчаткѣ, особенно на бедрѣ. 26-го декабря слабость достигла крайнихъ предѣловъ, рѣчь стала мѣлче вѣтвистой и односложной, глотанье затруднительно; около 5 часовъ этого дня у больного явилось такъ-бы желаніе проститься съ окружающими: онъ всегда изъ нихъ подозвалъ къ себѣ и произнесъ какое-то односложное слово, какъ-бы «простите». Часъ черезъ три послѣ этого, я нашелъ его уже въ началѣ агоніи, которая развивалась въ теченіи всего 27-го числа. Эти послѣднія сутки тѣло его оставалось совершенно неподвижнымъ: мышцы лица не выражали никакого признака страданія и какъ-бы застыли, рано и самый взглядъ, не фиксированный уже предметомъ; работала только грудная клетка, и лѣвая рука все время находилась въ постоянномъ движеніи; онъ то поднималъ ее къ губамъ, то подносилъ къ губамъ, то клалъ на грудь. Такъ было еще въ 5 часовъ вечера, но когда я пришелъ три часа спустя, то эти движенія руки уже прекратились, пульсъ почти исчезъ, дыханіе стало нѣсколько рѣже и шумнѣе, и такъ продолжалось до самаго конца, передъ которымъ вылетѣлъ легкій, короткий хрипъ изъ груди — и въ 8 часовъ 50 минутъ Некрасова не стало.»

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодевичьемъ монастырѣ. День былъ ясный, но чрезвычайно порозный, и это, конечно, было главною причиною, что толпа, шедшая за гробомъ, не превышала четырехъ тысячъ человекъ. Тѣмъ не менѣе, похороны

Некрасова, все-таки, представляли собою видъ торжественной и трогательной оваціи въ память почившаго поэта. Послѣ отпѣванія, въ церкви Новодевичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово, съ глубокимъ чувствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилою поэта, и затѣмъ толпа тихо разошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣчную память о своемъ дорогомъ поэтѣ.

### XIII.

Посмертныя изданія писателей, снабженныя портретами, факсимилли, біографіями и разными біографическими работами, бывають обыкновенно по возможности полными изданіями, обнимающими всю дѣятельность автора и знающими вѣсть съ личностью писателя со всѣхъ ея сторонъ. Но, конечно, всего этого нельзя пока и требовать отъ посмертнаго изданія сочиненій Н. А. Некрасова. Личность покойнаго поэта агнала слишкомъ выдающуюся и важную роль въ исторіи нашего прогресса въ послѣднія тридцать лѣтъ для того, чтобы тотчасъ-же послѣ смерти сдѣлаться извѣстнѣе достоинствъ исторіи. Его разнообразныя отношенія къ тѣмъ или другимъ общественнымъ слоямъ, къ тѣмъ или другимъ личностямъ, какъ умершимъ, такъ и находящимся въ живыхъ, равно какъ и его произведенія до сихъ поръ еще продолжаютъ представлять злобу дня и возбуждаютъ весьма многихъ людей не столько къ спокойнымъ и безпристрастнымъ изслѣдованіямъ, сколько къ жаркимъ полемическимъ схваткамъ, въ которыхъ выражается ожесточенная борьба изрѣй. Очень понятно, что при такихъ условіяхъ нечего и ждать отъ посмертнаго изданія поэта той полноты, кака присуща въ настоящее время лишь изданіямъ различныхъ корифеевъ дореформеннаго періода. Такъ мы видимъ, что хотя изданіе это, въ техническомъ отношеніи представляющее лучшій образецъ современнаго типографскаго искусства, дополнено произведеніями, которыя, какъ сказано въ предисловіи, были опущены авторомъ по забывчивости и на которыя онъ, однако, сдѣлалъ указаніе въ своихъ бумагахъ, и кромѣ того, приведены всѣ стихотворенія, появившіяся въ періодическихъ изданіяхъ непосредственно послѣ смерти Некрасова, въ теченіи всего 1878 года, но сюда не вошли нѣкоторыя замѣчательныя произведенія поэта, которыя не могли быть напечатаны и при жизни его. Какъ ни обстоятеленъ и почтененъ біографическій трудъ С. И. Пономарева, расположившаго произведенія поэта въ строгую хронологическую порядкѣ и снабдившаго ихъ примѣчаніями, занимающими 200 страницъ въ четвертомъ томѣ изданія, но, конечно, въ приведеніяхъ Некрасова, все-таки, много остается кое-чего неразъясненнаго и загадочнаго, что въ настоящее время и не можетъ быть разъяснено по многимъ обстоятельствамъ. Наконецъ, что касается біографическихъ свѣдѣній, приложенныхъ къ первому тому изданія и извѣстныхъ читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» (см. «Отеч. Зап.», 1878 г., №№ 5-й и 6-й), то, излагая ихъ въ страницахъ нашего

журнала, а имѣлъ уже случай зайти, что для полной характеристики Н. А. Некрасова, какъ поэта, журналиста и чловѣка, необходимо, чтобы были изданы массы писемъ, воспоминаній, записокъ и всевозможныхъ документовъ, по которымъ можно было-бы судить о разнообразныхъ отношеніяхъ покойнаго къ массѣ людей всевозможныхъ слоевъ общества и лагерей, въ теченіи сорокалѣтней литературной дѣятельности его, и что, при такихъ условіяхъ, мало-мальски обстоятельная біографія Н. А. Некрасова возможна будетъ не ранѣе, какъ дѣтъ черезъ двадцать или тридцать.

Но тогда-же я замѣтилъ, что какъ ни скудны сами по себѣ эти біографическія свѣдѣнія для полной характеристики Некрасова, какъ общественнаго дѣятеля и чловѣка, во всякомъ случаѣ, они достаточны для того, чтобы познакомить насъ, подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ жизни сложился талантъ Некрасова и въ какую сторону они направили его. И тогда-же я далъ обѣщаніе читателямъ заняться разсмотрѣніемъ поэтической дѣятельности Некрасова въ связи съ главными обстоятельствами его жизни, что я и сдѣлалъ исполнить въ настоящее время, пользуясь выходомъ въ свѣтъ посмертнаго изданія произведеній Некрасова.

Какъ это ни прискорбно, но, въ виду массы не столько критическихъ, сколько полемическихъ статей, появившихся въ прошломъ году вслѣдъ за смертью Некрасова, приходится, прежде чѣмъ начать характеристику Некрасова, какъ поэта, предпослать этой характеристикѣ нѣсколько доказательствъ въ пользу того, что Некрасовъ вполне заслуживаетъ этого названія, что онъ былъ вовсе не холодный риторъ, искусственно приписывавшійся ко вкусамъ своего времени, какъ о немъ думаютъ иные, а истинный лирикъ, непосредственно изъ жизни вынесшій свою поэзію, выстрадавшій ее, и притомъ не въ видѣ одного только сентиментально-гуманнаго сочувствія народному горю со стороны, но и путемъ тяжелыхъ опытовъ и страданій личной жизни.

При такихъ условіяхъ, моя статья естественно распадется на двѣ части. Въ первой будутъ приведены доказательства въ пользу неоспоримаго права Некрасова именоваться поэтомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова; а во второй я постараюсь разъяснить, чѣмъ былъ Некрасовъ въ качествѣ поэта.

Какъ первая, такъ и вторая части въ одинаковой степени будутъ опираться на біографическія данныя о жизни Некрасова, а потому, первымъ дѣломъ, мы обратимся къ нимъ и бросимъ общій взглядъ на характеръ жизни Некрасова для того, чтобы опредѣлить, какое вліяніе могла имѣть жизнь Некрасова на его поэзію и какъ она отразилась въ послѣдней.

#### XIV.

На первомъ планѣ представляется намъ дѣтство, проведенное въ глухую, безразсѣдную пору крѣпостнаго права подъ тяжелымъ гнетомъ необузданнаго самодурства. Все, что стояло выше въ этой средѣ, сначала заглуживало ребенка, а потомъ злило, возмущало и ожесточало, а что было ниже, все это рисо-

валось передъ дѣтскими глазами въ самыхъ мрачныхъ краскахъ, все это было задавлено, забыто, возбуждало участіе и жалость и невольно влекло къ себѣ сердце ребенка влеченіемъ общаго горя. Такіе образы, уже въ самомъ нѣжномъ дѣтствѣ въ сердцѣ Некрасова должны были образоваться два противоположныхъ теченія: съ одной стороны, отвращеніе отъ всего угнетающаго и давящаго, отъ всего „лжеущаго, праздно болтающаго, омынающаго руки въ крови“, и въ тоже время влеченіе ко всему обиженному и угнетенному. Оба эти теченія образовались, конечно, сами собою, невольно, инстинктивно, подъ вліяніемъ всей обстановки жизни ребенка, безъ всякихъ какихъ-либо постороннихъ, предвзятыхъ наущеній и настроеній. По крайней мѣрѣ, ни въ Некрасовъ-гимназистѣ, ни даже въ Некрасовѣ—студентѣ мы не видимъ никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ. Онъ является передъ нами вполне навивимъ юношей—романтикомъ, увлекавшимся поэзію Жуковского, Пушкина и Лермонтова и мечтавшимъ встать рядомъ съ ними, посредствомъ созданія стихотвореній въ ихъ родѣ и духѣ. Но гѣтъ не менѣе, въ мозгу юноши, безъ сомнѣнія, продолжались въ скрытомъ состояніи развиваться тѣ два теченія, какія были возбуждены въ немъ всѣми впечатлѣніями дѣтства—дальнѣйшіе-же факты его жизни еще болѣе усилили и углубили эти теченія.

Такъ мы видимъ, что 15-лѣтній мальчикъ, нгдѣ недоучившійся, не получившій никакихъ правъ и преимуществъ, былъ выброшенъ изъ родительскаго гнѣзда безъ всякой поддержки и участія. Въ настоящее время подобные случаи до такой степени многочисленны и такъ примелькались въ нашихъ глазахъ, что представляются однимъ изъ самыхъ обыденныхъ явленій жизни, никого не поражающихъ; но въ концѣ 30-хъ годовъ, въ той средѣ, въ которой принадлежалъ Некрасовъ, это былъ весьма рѣдкій, исключительный случай. Некрасовъ, гордо отвергнувъ всякую родительскую помощь, предлагавшуюся ему подъ условіемъ подчиненія, имѣлъ видъ чловѣка, безпримѣрно пустившагося вплавъ въ открытое море, чисто на свой собственный страхъ и рискъ, не зная, что ему встрѣтится на пути и куда занесутъ его невѣдомыя волны. Началась борьба за существованіе въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Мы видимъ, что это была за борьба съ хроническимъ голодомъ, длившимся годъ, при непосильномъ, дурно оплачиваемомъ трудѣ, всякаго рода униженіяхъ, оскорбленіяхъ и въ тоже время искушеніяхъ, представлявшихъ страстному юношѣ на каждомъ шагѣ въ омутѣ столичной жизни. Надо удивляться богатству и физическимъ, и умственнымъ, и нравственнымъ силъ этого чловѣка при зрѣлищѣ этой борьбы: какъ только удалось ему вылабраться и не умереть преждевременно отъ голода и истощенія, не спиться, не исписаться и не измалчать послѣ трехсотъ листовъ журнальной прозы, написанной подъ гнетомъ самой строгой цензуры, единственно ради скуднаго заработка, или, наконецъ, не махнуть рукой на неблагоприятное литературное поприще и не начать устраивать какую-нибудь служебную карьеру въ видѣ тепленькихъ и хлѣбныхъ мѣстечекъ, что ему не представляло особеннаго труда сдѣлать при врожденной практической сметѣ и знакомствѣ



съ некоторыми университетскими товарищами из высших сферъ. Но онъ мужественно вышелъ изъ этой тяжелой борьбы, оставшись вѣрнымъ какъ своему литературному призванію, такъ и жаждѣ независимости, и вотъ мы видимъ, что въ концѣ сороковыхъ годовъ онъ стоитъ уже на видномъ мѣстѣ въ литературѣ, въ кружкѣ передовыхъ и лучшихъ въ то время литературныхъ дѣятелей, во главѣ журнала.

Здѣсь мы встречаемся съ вліяніемъ на Некрасова Вѣлинскаго, которому Некрасовъ наиболѣе былъ обязанъ направленіемъ своей музы. Мы видимъ, что, когда Некрасовъ вошелъ въ кружокъ Вѣлинскаго, онъ былъ удивленъ отвлеченностью мысли въ людяхъ этого кружка. И это очень понятно: кружокъ Вѣлинскаго былъ чисто западнической, воспитанный на почвѣ германской философіи. Впослѣдствіи къ увлеченію Гергелемъ и Фейербахомъ присоединилось въ кружкѣ изученіе новыхъ политико-экономическихъ доктринъ. Но всѣ, какъ философскія, такъ и политическія идеи, какія вращались въ кружкѣ, разрабатывались преимущественно въ отвлеченной, международной, такъ сказать, сферѣ. Русская дѣйствительность обсуждалась съ точки зрѣнія этихъ идей въ ея общихъ основахъ и порядкахъ, причѣмъ эти основы приурочивались къ западнымъ. Вѣлинскій могъ глубоко сочувствовать народному горю и страстно желать всяческаго врачеванія его, но, какъ человекъ, всю жизнь провазавшійся въ городахъ, онъ не имѣлъ возможности присматриваться къ проявленіямъ народной жизни въ дѣйствительности и мало зналъ мужика: мужикъ былъ для него отвлеченною категоріею, сначала философскою, въ смыслѣ непосредственной стихіи народнаго духа, потомъ политическою, въ смыслѣ инертной массы, жаждущей освободителей въ лицѣ интеллигентныхъ людей, просвѣщенныхъ въ духѣ гуманныхъ идей. Натуральная школа была въ это время въ апогей своего развитія, но въ изображеніяхъ своихъ она не спускалась ниже желатаго чиновника, за исключеніемъ развѣ одного казака Луганскаго, который, впрочемъ, изучалъ народъ болѣе со стороны этнографической и филологической, чѣмъ социальной. Мотивы реальнаго народнаго горя являются въ нашей литературѣ съ появленіемъ новыхъ молодыхъ силъ, но большей части выходцевъ изъ провинцій, которые входятъ во вторую половину сороковыхъ годовъ въ кружокъ Вѣлинскаго и, одолеваясь идеями этого кружка, воплощаютъ эти идеи въ свои собственныя реальныя наблюденія. Таковы были сначала Кольцовъ, потомъ Тургеневъ, Григоровичъ и Некрасовъ. Можно положительно сказать, что только съ появленіемъ этихъ писателей вносится въ нашу литературу сермяга. И замѣчательно при этомъ, что мужикомъ одновременно занялись три молодые вышеупомянутые писателя, бывшіе въ то время въ большой дружбѣ между собой. Вліяніе Вѣлинскаго въ этомъ случаѣ могло быть только освѣщающее и осмысливающее тотъ матеріалъ, который лежалъ въ скрытомъ видѣ въ мозгу Некрасова и его друзей.

Суди по тому, въ какомъ видѣ представляетъ Некрасова Достоевскій, вспоминая о началѣ своего знакомства съ нимъ, можно полагать, что первая пора близости Некрасова съ Вѣлинскимъ была однимъ изъ

самыхъ свѣтлыхъ мгновеній въ жизни Некрасова. Но не долго продолжалось это восторженное состояніе. Едва только взялъ на свои плечи Некрасовъ „Современникъ“, какъ умираетъ Вѣлинскій, главная сила и опора паданія и въ тоже время дорогой учитель, которому былъ обязанъ Некрасовъ разцвѣтомъ своего таланта. Потянулись тѣ мрачныя годы, о которыхъ пережили ихъ до сихъ поръ вспоминать съ ужасомъ. Въ эти годы тяжело было существовать въ сторонѣ отъ всего, ничѣмъ не занимаясь; каково-же было издавать журналъ, дрожать за каждый номеръ, съ каждымъ годомъ видѣть убыль подписчиковъ и не знать, что будетъ завтра. Сколько новой жолчи должно было ежедневно наливаться въ сердца, и безъ того уже ослепительно и изнеможенно всю предшествующую борьбою съ гнетущими обстоятельствами. Прибавьте еще къ этому тотъ мрачный колоритъ, который лежалъ въ то время на всей русской жизни, тѣ удручающія и раздражающія черныя тѣни, которыя, помимо серьезныхъ и крупныхъ невгодъ, ложились даже и на тѣ немногія утѣхи, какія были допущены мыслящему человеку. А потомъ, когда общественный горизонтъ нѣсколько прояснился, когда журналъ упрочился и началъ процвѣтать, когда, по словамъ Некрасова, въ жизни его стало „поменьше мелочныхъ заботъ и рѣже въ дверь его стали стучаться голоды“, привязалась опасная болѣзнь и начала угрожать ему преждевременною нѣгилою.

Можно положительно сказать, что только въ концѣ пятидесятихъ годовъ Некрасовъ могъ вздохнуть нѣсколько свободнѣе болѣе полной грудью и если дальнѣйшая жизнь его была не безъ невгодъ и тяжелыхъ утратъ, то, все-таки, по крайней мѣрѣ, онъ былъ матеріально обеспеченъ. Такимъ образомъ, только въ сорокалѣтнемъ возрастѣ Некрасовъ началъ нѣсколько пользоваться тѣмъ завиднымъ комфортомъ, который многіе ставятъ въ противорѣчіе съ мрачнымъ тономъ его поэзіи. Но въ сорокъ лѣтъ человекъ окончательно уже является сформированнымъ; начинается уже преклонный возрастъ, въ который черты характера и привычки являются уже прочно установившимися; человекъ уже мало измѣняется и пользуется плодами своей предыдущей жизни, тѣмъ накопленнымъ матеріаломъ опыта, знаній, впечатлѣній, какія онъ успѣлъ собрать въ болѣе молодые и цвѣтущіе годы. Естественно, трудно было ожидать, чтобы въ этомъ почтенномъ возрастѣ поэзія Некрасова вдругъ сразу измѣнила свой характеръ, какъ и содержаніе, и прониклась какими-нибудь бравурными, радостными и ликующими звуками.

## XV.

Если мы возьмемъ во вниманіе всѣ эти обстоятельства жизни Некрасова, то для насъ нѣтъ ясно открывается причина преобладанія въ поэзіи его мрачныхъ, скорбныхъ и жальныхъ звуковъ. Звуки эти прямо и непосредственно вытекаютъ изъ жизни поэта, изъ всего склада его нравственнаго характера, и скорѣе всего можно было-бы заподозрить поэзію Некрасова въ искусственности, если-бы онъ, при тѣхъ-же самыхъ обстоятельствахъ своей жизни, вздумалъ на-

страивать свою лиру, во что-бы то ни стало, на торжественный или эстетически-сентиментальный тонъ и

Въ долину горы  
Красу долины, небесъ и моря,  
И ласки милой воспѣвать...

Подобно большинству лириковъ, Некрасовъ посвятилъ нѣсколько своихъ стихотвореній опредѣленію своей музы, и ему, конечно, мы болѣе должны вѣрить, чѣмъ постороннимъ людямъ, плохо знавшимъ обстоятельства жизни поэта и еще менѣе — тѣ внутренніе творческіе процессы, которые таились въ душѣ его. Таково стихотвореніе „Муза“, въ которомъ поэтъ прямо говоритъ, что „музы ласково поющей и прекрасной не помнилъ надъ собою онъ пѣсни сладкогласной“:

«Но рано надо мной отяготѣли узы  
Другой, неласковой и недоброй Музы,  
Печальной спутницы печальныхъ бѣдниковъ,  
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ и т. д.

Въ звукахъ этой музы, даже и разгульныхъ, поэту слышалось въ смятеніи безумномъ:

Разчеты мелочной и жадной суеты,  
И юношескихъ лѣтъ прекрасныхъ мечты,  
Погибшая любовь, подавленные слезы,  
Проклятыя, жалобы, безсмысленныя угрозы...

А въ заключеніе поэтъ говоритъ:

Такъ вѣчно плачущей и непонятной дѣвы  
Лелѣла мой слухъ суровые напѣвы,  
Позуда, наконецъ, обычной чередой  
Я съ нею не вступилъ въ ожесточенный бой.  
Но съ дѣтства прочнаго и кроваваго сока  
Со мною разорвать не торопится Муза:  
Черезъ бѣдныя темныя насилія и злы,  
Труда и голода она меня вела,  
Почувствовать свои страданья научила  
И свѣту возвѣстити о нихъ благословила...

Въ другомъ своемъ, подобномъ-же стихотвореніи Некрасовъ обуславливаетъ свое творчество прямо тѣми чувствами, какія возбудила въ немъ жизнь:

Прадникъ жизни—молодости годы—  
Я убилъ подъ бременемъ труда,  
И поэтомъ, блатовнемъ свободы,  
Другомъ лѣни—не былъ никогда.  
Если долго сдержанныи муки,  
Накпѣвъ, подъ сердце подойдутъ,  
И пишу: рябованные звуки  
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Ниже въ этомъ стихотвореніи поэтъ обращается къ своему стиху съ слѣдующими словами:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,  
Мой суровый, неуклюжий стихъ,  
Нѣтъ въ тебѣ творцаго искусства...

Здѣсь, безъ сомнѣнія, подъ „творцимъ искусствомъ“ поэтъ подразумѣваетъ то объективно-слокопное, олимпийско-безстрастное творчество, идеаломъ котораго, въ глазахъ Некрасова, была поэзія Пушкина. Иными словами, Некрасовъ, обуславливая свое творчество исключительно накпѣвшими муками, подходящими подъ сердце, отрицаетъ въ себѣ именно то разсудочно-произвольное и выстѣ съ тѣмъ холодно-дидактическое творчество, которое ему приписываютъ нѣкоторые критики.

#### XVI.

Если мы бросимъ теперь общій взглядъ на составъ стихотвореній Некрасова, то мы еще болѣе убѣдимся въ полной естественности и органичности ихъ, въ

зависимости творчества Некрасова не столько отъ какихъ-либо разчетовъ холоднаго разсудка, сколько отъ различныхъ вѣтвей самой жизни. Такъ у Некрасова, какъ у всѣхъ лириковъ, мы видимъ значительное присутствіе личнаго элемента. Отъ сорока до пятидесяти пѣсней въ посмертномъ собраніи сочиненій Некрасова вы найдете такихъ, которыя или относятся непосредственно къ личности поэта, носятъ автобиографическій характеръ, или вообще отличаются крайнею субъективностью. Это составляетъ четверть всего, помѣщеннаго въ полномъ изданіи. Таковы стихотворенія: „Родина“, „Въ невѣдомой глуши“, „На Волгѣ“, „Рыцарь на часъ“, „Мать“ и проч. масса любовныхъ элегій, посланій къ друзьямъ. Уже если идти отъ той мысли, что Некрасовъ не былъ истиннымъ лирическимъ поэтомъ, а былъ лишь холоднымъ риторомъ, то придется и такія поэмы, какъ „О, писемъ женщины намъ милой!“ или „Бурю“ („Долго не сладалась Любушка сосѣдка“) подводить, во что бы то ни стало, подъ какія-либо тенденціи, что было бы въ высшей степени наивно и курьезно.

Далѣе затѣмъ, вы видите рядъ стихотвореній, еще менѣе чѣмъ автобиографическія и субъективныя, имѣющія что-либо общее съ дидактикою въ духѣ той школы публицистовъ, въ угоду которымъ будто бы Некрасовъ писалъ. Таковы: „Ваня“, „Школьникъ“, „Похороны“, „Мама“, „Свадьба“, „Аукціонъ“, „Коробейники“, „Зеленый шумъ“, „Крестьянскія дѣти“, „Дядя Мазай“ и проч. Если предполагать тенденціозный дидактизмъ даже въ такихъ вещахъ, какъ трагическое изображеніе барыни, навывающей немотирныя дѣти на распродажу, потому что ей жалко разставаться съ своимъ насѣженнымъ, семейнымъ гнѣдышникомъ, или сѣтованія о томъ, что бессердечная Мама толкаетъ въ гробъ труженника-музыа своихъ потовство и страсть къ нарядамъ, въ такомъ случаѣ, чтобы не навлечь подозрѣнія въ дидактизмъ, поэту только и остается, что изображать одни неуловимые предметы, потому что нѣтъ такого случая въ жизни человѣческой, въ которой нельзя было бы усмотрѣть какой-либо тенденціи. Но въ томъ то и дѣло, что значеніе этихъ стихотвореній заключается въ ихъ полной непосредственности. Холодному дидактизму они не могли бы прійти и въ голову и не имѣли бы онъ ни малѣйшаго повода писать ихъ. Но поэтъ могъ поразиться тою или другою чертою жизни при случайной встрѣчѣ съ нею, провести эту черту сквозь творческій процессъ, осмыслить и вывести ее во всей ея драматичности или поэтичности, ни мало не заботясь о томъ, какое дидактическое значеніе будетъ имѣть его стихотвореніе. А подобныхъ непосредственныхъ стихотвореній вы найдете тоже не мало въ изданіи; вмѣстѣ съ автобиографическими, они составляютъ почти половину всего написаннаго Некрасовымъ.

Но есть основаніе предполагать и относительно большинства воплѣ тенденціозныхъ стихотвореній, что Некрасовъ обязанъ былъ происхожденіемъ ихъ не столько какимъ-либо соображеніемъ холоднаго разсудка, сколько непосредственнымъ впечатлѣніемъ жизни, возбуждавшимъ творчество поэта. Такъ, мы видимъ изъ біографическихъ свѣдѣній о жизни Не-

Некрасова, что Арина, мать солдатская, сама рассказывала ему о своемъ горѣ. Столь же непосредственному знанію жизни былъ обязанъ Некрасовъ и своимъ „Размышлениямъ у параднаго подъѣзда“, этихъ тенденціознѣйшимъ своимъ произведеніемъ. По разсказу г-жи Головачевой, Некрасовъ однажды утромъ пришелъ къ своему другу Панаеву, не только безъ малѣйшихъ помышлений объ этомъ произведеніи, но вообще жалуюсь, что фантазія его крайне оскудѣла и что ему совсѣмъ нечего писать. Какъ вдругъ вниманіе его привлекла именно та самая мужицкая сцена у параднаго подъѣзда знатнаго барина, жившаго противъ Панаева, которая описана въ вышеупомянутомъ стихотвореніи. Сцена эта такъ поразила и потрясла его, что въ тотъ же день по возвращеніи отъ Панаева онъ принялся за перо и написалъ свои „Размышленія у параднаго подъѣзда“. Наконецъ, во многихъ тенденціозныхъ произведеніяхъ мы видимъ, въ свою очередь, неслабое присутствіе личнаго элемента. Такъ, напримеръ, вся первая часть обширной поэмы „Несчастные“ посвящена личнымъ воспоминаніямъ и имѣетъ чисто автобиографическій интересъ. Описывая дѣтство героя поэмы, поэтъ вспоминаетъ свое собственное дѣтство, а дѣтство, въ сопоставленіи столицы съ провинціальнымъ городкомъ, вычуже въ каждомъ стихѣ вѣрное впечатлѣніе, пережитыхъ самимъ поэтомъ въ своей жизни. Въ самомъ дѣлѣ, кто же, какъ не самъ Некрасовъ, этотъ знающій, только что пріѣхавшій изъ провинціи и восхитившійся пышностью столицы:

Лыкуеть сердце молодое—  
Въ восторгѣ юноша. Постою—  
Ты будешь говорить другое,  
Рождество постигнувъ роковое  
Межь этимъ бласкомъ и тобою!  
Пройдутъ года въ борьбѣ безумной,  
И на красивыя плечи,  
Какъ изъ машины вытъ негодный,  
Витъ мохель, брошенъ будешь ты!  
Счастливъ, кому мила дорога  
Славы, кто ей вѣрять бѣлъ,  
И въ жизни ни однажды Бога  
Въ пустой груди не ощутилъ.  
Но если той тревоги смутной  
Не чуждо сердце—пропадеи!  
Въ глухую полночь, безпріютный,  
По столамъ города поидеи;  
Громадный, стройный и суровый,  
Заснувъ подъ тучею свиной,  
Тогда предстанетъ овъ инымъ,  
И, опоясанный гробами,  
Своими пыльными дворами,  
Величьемъ царственнымъ своимъ—  
Не будетъ радовать. Невольно  
Припомнишь бѣдный городокъ,  
Гдѣ солнца каждому довольно, и пр.

Возьмите вы также сатирическую поэму „Судъ“,— сколько вы найдете въ ней стиховъ, вполне субъективныхъ, прямо относящихся къ личности и жизни самого Некрасова. Кого же, какъ не самого себя, описываетъ поэтъ, напримеръ, въ слѣдующихъ стихахъ:

И такъ, добудей: а пѣшннѣ,  
И блѣденъ, нервень, а чуть живъ,  
И таковы почти мы всѣ.  
По ты не думай, что тебѣ  
Хочу разжалобить: любя

Свой трудъ—я вовсе не роищу.  
И сожалѣнья не пишу;  
«Коварный рокъ», «жестокій рокъ»  
Не больше былъ ко мнѣ жестокъ,  
Какъ и къ любому бѣднику.  
То правда: роетъ я не въ шапку,  
Подъ бурей долго я стоялъ,  
Меня тиранила нужда,  
Гвела любовь, гвела вражда;  
Мнѣ X\* мораль читалъ  
И цензоръ слогъ мой исправлялъ,  
Но не отъ этихъ общихъ бѣдъ  
Я слабъ и хрупокъ, какъ скелетъ.  
Ты знаешь и—«любимецъ музъ»,  
А невозможно разсказать,  
Во что обходится союзъ  
Со иною музою; благодать  
Тому, чьи музъ не бойка:  
Горитъ онъ рѣдко и слегка;  
По горе, ежели она  
Славолюбива и страстна.  
Съ жельзной грудью надо быть,  
Чтобъ этимъ ласкамъ отвѣчать,  
Объятья эти выносить,  
Кинуть, горѣть—и негорѣть,  
И вновь горѣть—и снова стнть.  
Довольно! развѣ досказатъ,  
Удобный случай благо есть,  
Что я, когда начну писать—  
Перестану и ѣсть и спать..

Здѣсь вы, такимъ образомъ, видите еще одно откровеніе тайны творчества Некрасова и можете судить, на сколько характеръ этого творчества подходитъ къ разсудочно-холодному и дидактическому. Обратите, наконецъ, вниманіе еще на одно свойство поэзіи Некрасова, свойство, отличающее прямо поэта-лирика, а никакъ не дидактика: это именно готовность каждую минуту, по волѣ фантазіи, переходить отъ одного предмета къ другому, совершенно разнородному. Отъ поэта холоднаго, разсудочнаго творчества естественно было бы ожидать, что если онъ задается какою-нибудь темою, то онъ одну только эту тему и разовьетъ передъ вами, исчерпавъ ее систематически всю до малѣйшихъ тонкостей, ничего не убавить, но ничего и не прибавить. Совсѣмъ не то вы видите у Некрасова: начавши читать иное стихотвореніе, вы не можете опредѣлить, что найдете въ серединѣ его и чѣмъ оно будетъ закончено, потому что, оставаясь вѣрнымъ лишь своему преобладающему настроенію, поэтъ свободно и нисколько не стѣсняясь условіями цѣлостности произведенія, переходитъ отъ одного предмета къ другому, не имѣющему ничего общаго съ первымъ. Возьмите для примѣра хотя бы его стихотвореніе „О погодѣ“. Чего вы только не найдете въ трехъ главахъ этой элегіи? Тутъ передъ вами и убогій похороны горемыка-чиновника, и замѣчанія сторожа о литераторскихъ могилкахъ, и картина уличной давки при переходѣ черезъ долину измоченныхъ дождемъ войскъ, и разговоръ съ разсильнымъ Минаемъ о литературныхъ преданіяхъ, и трогательная картина проводовъ рекрутъ, осыпанныхъ сѣномъ, и разсужденія о томъ, что выносить изъ столичной сутолоки бѣдный промышленный людъ. Однимъ словомъ, тутъ такъ много набросано самыхъ разнородныхъ сценъ и чертъ жизни, что глаза разбѣгаются. На какую же такую предвзятую тему написано это стихотвореніе и какое можете вынести вы изъ него поученіе? Неужели же на ту мел-

ко обличительную тему, что не слѣдуетъ допускать ближеную бѣду на рысакахъ по городу, способную доходить до такого кощунства, чтобы сбивать гробы съ дорогъ, или же, еще того лучше, съ цѣлю внушенія подлежащему начальству, какъ оно дурно распоряжается, допуская существованіе кладбищъ на такихъ низкихъ, болотистыхъ мѣстахъ, что могилы чуть не до верху заливаются водою? Но тогда причѣмъ же парадируетъ здѣсь Минай съ корректурами и все прочее? Въ томъ и дѣло, что стихотвореніе это чуждо какой бы то ни было предвзятой поучительной темы. Общій смыслъ его только тогда станетъ для васъ яснѣе, если вы взглянете на него, какъ на чисто субъективно-лирическое, написанное съ единственною цѣлю выразить въ немъ всю ту гнетущую хандру, которую способна навѣять на мыслящаго человѣка картина столичной жизни въ мрачный, несчастный осенній день.

Злость беретъ, сокрушаетъ хандра,  
Такъ и просится слеза изъ глазъ—

вотъ единственная тема стихотворенія, если только можно назвать это темою, а затѣмъ поэту все равно, какіе предметы ни приводить въ своемъ стихотвореніи, лишь бы они гармонировали съ его хандрой, были бы именно тѣми самыми, которые способны еще болѣе омрачить сердце въ каждомъ, мало-мальски не зачерствѣломъ человѣкѣ, подъ сумракомъ осенняго неба, дождя и грязи. „И безъ того тошно смотрѣть на бѣлый свѣтъ, говорить намъ это стихотвореніе:— а тутъ еще куда ни обернешься, вездѣ какая нибудь мерзость, кто нибудь кого нибудь бьетъ, чьи нибудь льются слезы!“ У васъ у самихъ, при чтеніи стихотворенія, начинается разрываться сердце на части и слезы нависаютъ на глаза, а васъ стараются увѣрить, что передъ вами холодный дидактикъ распинается на какую-то заданную тему.

Вообще, нужно замѣтить, что въ общемъ писателѣ при жизни его не составилось столько одностороннихъ и предвзвѣдныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брали какой-нибудь одинъ изъ элементовъ его поэзіи, да и то не въ цѣломъ его видѣ, а часть элемента, и по этой части судили обо всей его дѣятельности. Такъ, напримѣръ, конечно, въ массѣ его произведеній вы найдете нѣсколько и такихъ, которыя написаны были не вѣдѣніемъ истиннаго и непосредственнаго поэтическаго вдохновенія, а съ предвзятими тенденціозными цѣлями: таковы, напримѣръ, хотя бы разные сатирическіе куплеты, напечатанные въ „Свисткѣ“ и другихъ издавіяхъ, но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ прочимъ, написаннымъ Некрасовымъ, что было бы въ высшей степени несправедливо по этимъ пьесамъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ, до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о сатирикѣ-обличителѣ преимущественно, какъ о чемъ то въ родѣ русскаго Ювенала. Я не отрицаю, чтобы въ поэзіи Некрасова не было сатирическаго элемента. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній не въ примѣръ серьезнѣе куплетовъ, въ родѣ „Говоруна“ или „Переписки Москвы съ Петербургомъ“, но, все-таки, это боль-

ше ничего, какъ элементъ, и въ половину не исчерпывавшій всей поэзіи Некрасова.

Если-же вы, откинувъ все эти предвзятія сужденія, будете перебирать подъ радъ все стихотворенія Некрасова, вы болѣе и болѣе будете убѣждаться, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальный смыслѣ этого слова, который, въ большинствѣ случаевъ, и самъ вполне безхитростно, повинуетъ лишь своей творческой фантазіи или накинѣвшему чувству, мало заботясь при этомъ о строгой выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній, или о томъ, въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ на читателя впечатлѣніе. Сегодня, напримѣръ, его поразили размышленія у параднаго подъязда, — онъ пишетъ сатиру, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ рассказывать вамъ о томъ, какъ „Долго не сдавался Любушка-соездка“. Сегодня, подъ гнетомъ суевы столичной жизни, онъ вамъ передастъ свои скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ несчастнаго, осенняго дня, а завтра, подъ обаяніемъ сельскаго приволья, онъ васъ подаритъ трогательною букалическою идилліею, въ которой расскажетъ о крестьянскихъ дѣтихъ, о дядѣ Мазѣ съ зайцами или о своихъ впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ ветхою, полуразрушенною сельскою церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразно по своему мрачному, тоскливому тону, за то, по формѣ и содержанию, они представляютъ самое лучшее разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-либо рубрики нѣтъ никакой возможности, безъ какихъ-либо крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторыя стихотворенія до того разнообразны, какъ по содержанию, такъ и по стилю, что можно было бы приписать ихъ различнымъ поэтамъ. Такъ, напримѣръ, статочасли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могли принадлежать поэма „Русскія женщины“ и дула „Сторона наша убогая“, элегантная элегія въ пушкинскомъ стилѣ, вродѣ „Да, наша жизнь текла катехно“, и рядомъ съ ними пѣсня, въ родѣ „У людей-то въ дому— чистота, дѣлота“. Можно положительно сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова, въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная съ великосвѣтскихъ салоновъ и клубовъ и кончая чердачкомъ труженника, интеллигентнаго пролетарія, или подваломъ мастерового, начинала съ барской усадьбы и кончала полуразвалившеюся хатой тотушки Ненилы. При такомъ разнообразіи, всеобъемлющемъ содержаніи своихъ произведеній, Некрасовъ является отнюдь не пѣвцомъ какого-либо сословія, партіи, кружка, — а однимъ изъ тѣхъ собирательныхъ лириковъ, которые отражаютъ въ своихъ произведеніяхъ душу цѣлаго вѣка своей родной земли, которые высыпаютъ въ своихъ звукахъ слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагеря, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго какихъ-либо партійныхъ увлеченій.

## XVII.

Такое широкое значеніе стихотвореній Некрасова и глубокая связь ихъ съ своимъ вѣкомъ сдѣлаются для

насть вполне ясными, когда мы рассмотрим, чѣмъ была лирика наша до Некрасова и чѣмъ стала она подъ его перомъ. Здѣсь я впередь дѣлаю оговорку для объясненія всякихъ недоразумѣній, что я отнюдь не предполагаю дѣлать какія-либо сравненія Некрасова съ его славными предшественниками — Жуковскимъ, Пушкинымъ, Лермонтовымъ — относительно степени гениальности. Я считаю подобную оцѣнку дѣломъ совершенно правды, излишнимъ и къ тому-же лишенымъ всякой основательности, которая опиралась бы на какія-нибудь осознательно-положительныя данныя, а не на одинъ произвольный личный вкусъ. Что же касается вопроса о большемъ или меньшемъ относительномъ достоинствѣ художественныхъ формъ Некрасова, то и на этотъ вопросъ я долгу останавливаться не намеренъ. Я впередь готовъ уступить нашимъ эстетикамъ ихъ приговоры относительно того, что художественныя формы Некрасова менѣе стройны, выработаны и выдержаны, чѣмъ у его предшественниковъ, что стихъ его менѣе легокъ и гладокъ, что языкъ менѣе гибокъ, блестящъ и изященъ. Я, съ своей стороны, не только допускаю это, но готовъ, не останавливаясь на одномъ критеріи эстетическаго чувства, еще болѣе утвердить эти приговоры, осмысливши ихъ слѣдующаго рода соображеніемъ: въ исторіи мы видимъ нѣсколько весьма вѣскихъ примѣровъ, что изящныя формы, выработанныя до послѣдней степени совершенства на почвѣ данного содержанія жизни и мысли, не выдерживаютъ влослѣдствіи, едва только это содержаніе расширится и обогатится. Случается иногда, что ребенокъ начинаетъ учиться говорить мало искаженными, почти цѣльными словами и правильными предложеніями, и потомъ вдругъ, при какомъ-нибудь слишкомъ быстромъ наливѣ новыхъ впечатлѣній, заговариваетъ такимъ неправильнымъ языкомъ, что самые близкіе люди съ трудомъ его понимаютъ. Тоже бываетъ и со взрослыми людьми: иной человѣкъ, обладающій довольно сноснымъ даромъ слова, вдругъ теряетъ его при какомъ-либо быстромъ слѣзкѣ въ своемъ развитіи, начинаетъ путаться въ своей рѣчи, не въ силахъ будучи ни подобрать словъ для своей мысли, ни уложить ихъ въ мало-мальски стройную рѣчь. Тоже наблюдаемъ мы и въ исторіи искусства. Изящныя формы и языкъ, выработанные при бѣдномъ содержаніи мысли и жизни, словно не выдерживаютъ налива болѣе богатаго содержанія, гнутся, ломаются, и начинается періодъ какушагося паденія и формъ, и самаго языка, но это, въ сущности, есть періодъ медленной выработки новыхъ формъ, соответствующихъ новому содержанію. Этимъ только и можно объяснить, почему многія прекрасныя формы, доведенныя искусствомъ до высшей степени совершенства, представляются навсегда утраченными для человечества, каковы, напримеръ, формы древняго искусства и преимущественно скульптуры.

Очень возможно, что тоже самое произошло и на нашихъ глазахъ, сказавшись, между прочимъ, и въ лирикѣ Некрасова. Художественныя формы его поэзіи оказываются ниже формъ его предшественниковъ не потому, чтобы онъ не въ силахъ былъ усвоить ихъ въ полномъ ихъ совершенствѣ или пренебрегалъ ими, а потому, что сами формы эти, выработанныя во вре-

мя болѣе бѣднаго содержанія нашей общественной жизни и мысли, оказались недостаточными для нашего времени. Это предположеніе еще въ большей степени побуждаетъ насъ сосредоточить все вниманіе на сравненіи Некрасова съ предшествовавшими его лириками по отношенію къ содержанію. Однимъ словомъ, ища всякіе эстетическіе вопросы о томъ, кто былъ выше, кто былъ ниже въ художественномъ отношеніи, мы займемся лишь вопросомъ о томъ, какъ различные вѣка отразились въ нашей лирикѣ — дореформенной и по-реформенной.

Помню несомнѣнной выработки художественныхъ формъ, раздѣляющей непреходимую пропасть звучный, легкій и прозрачный стихъ Пушкина отъ тяжеловѣсныхъ и неуклюжихъ виршей Кантемира и Тредьяковскаго, помню, съ другой стороны, перехода отъ художности и искусственности ложнаго классицизма на почву искренности и естественности реализма, мы видимъ въ нашей лирикѣ особеннаго рода движеніе, зависящее чисто отъ хода общественнаго развитія нашего общества въ связи съ различными западными вліяніями. Такъ, въ первую половину 18-го столѣтія, въ лирикѣ Ломоносова мы замѣчаемъ полное отсутствіе личности. Предметами вѣснѣйшей являются исключительно восторги или по поводу величія Божія выражающагося въ какомъ-нибудь грандіозномъ явленіи природы, или по поводу государственной славы, но случаемъ какого-нибудь всероссійскаго торжества. Личность является, такимъ образомъ, непрестанно тонущею въ лучахъ чьей-нибудь славы, не иначе какъ колѣнопреклоненною, повергающеюся ницъ и словословящею. Если она и вслѣпляетъ порою о самой себѣ, то ради только того, чтобы выразить удивленіе по поводу своего жалкаго ничтожества и бренности передъ какимъ-нибудь величіемъ и поклонуть при этомъ лирикой разъ на себя. Не только о завлеченіи правъ на свое личное человеческое достоинство или на самостоятельное существованіе тутъ не могло быть и рѣчи, но мы видимъ, что личность не дерзала посвящать читателей во внутренній міръ своихъ частныхъ интересовъ, радостей или страданій; она словно старалась уѣхать всѣхъ и вся, что она совсѣмъ не живетъ сама по себѣ или для себя, и способна приходить въ восторгъ или заливаться слезами единственно лишь сообразно тому, усиливается или ослабляется блескъ славы отечества.

Подобный характеръ лирики соответствовалъ вполне общественнымъ условіямъ того времени. Это былъ вѣкъ полнаго развитія крѣпостнаго строя, когда не одни крестьяне были закрѣпощены помѣщикамъ, но и всѣ классы общества, самые привилегированные, были, въ свою очередь, закрѣпощены государству, которое требовало, чтобы вся жизнь ихъ была посвящена ему, строго опредѣляло весь ихъ жизненный путь и нещадно карало за малѣйшій самостоятельный шагъ противъ обычной рутинѣ. Въ это время немалое было дѣло — существованіе поэта, который былъ бы только поэтомъ, не будучи въ тоже время вѣрнымъ и неутомимымъ служакой до сѣдыхъ волосъ: исполняя же долгу государственной службы въ канцеляріи или на плацъ-парадѣ, онъ и въ кабинетѣ своемъ, въ бесѣдѣ съ музами, долженъ былъ не забывать того же самого

долга, потому что государство управляло самими его досугами и требовало, чтобы и они были посвящены его цѣлямъ: ассамблеи и куртаги, балы, маскарады, народные гулянья и спектакли, — все это возникало не само по себѣ, по частной инициативѣ, а предписывалось, устанавливалось подъ угрозою штрафовъ и опалы за отклоненіе отъ предписанія и посвященіе своихъ досуговъ какимъ либо постороннимъ развлеченіямъ, не имѣющимъ прямого отношенія къ государственной пользѣ или славѣ. Къ тому же, воспѣваніе какихъ либо личныхъ чувствъ поэта казалось тѣмъ болѣе неумѣстнымъ, что слушатели и читатели его были преимущественно высоко поставленные, государственные люди, которые могли бы посмотреть, какъ на величайшую дерзость, на претензію поэта посвятить ихъ въ интересны своего интимнаго мірка.

Указъ о вольности дворянства былъ первою брешью, нанесенною крѣпостному строю нашего общества. Онъ эмансипировалъ отъ прикрѣпленія къ государству личность хотя бы въ средѣ одного дворянскаго сословія. Русскій дворянинъ получилъ право свободно располагать своею особою, посвящая ее государственной службѣ, или же ограничиваясь личными интересами. Это не замедлило отозваться, между прочимъ, и на лирику: освобожденная личность скромно подняла свою голову и начала заявлять о своемъ существованіи. Вторженіе личности въ лирику произошло не вдругъ, а исподволь, съ постепенностью нѣсколькихъ десятилѣтій. Сначала, въ эпоху Екатерины, когда, несмотря на указъ о вольности дворянства, большинство дворянъ все еще продолжало большую часть своей жизни посвящать государству и поэты, все поголовно, состояли на государственной службѣ — въ лирику все еще продолжало преобладать славословіе. Но радомъ съ нимъ начали допускаться и выраженія личныхъ чувствъ частной жизни, въ видѣ какого нибудь сентиментальнаго романа, идилліи, посланія и т. п., причемъ выражаемыя чувства не имѣли еще индивидуально-конкретной окраски; поэты словно будто не дерзали еще выражать свои собственныя личныя чувства, непосредственно относящіяся къ тому или другому факту ихъ жизни, а обобщали выражаемыя чувства, воспѣвая любовь, дружбу, тягость разлуки или скорбь утраты и т. п. — въ общемъ, отвлеченномъ ихъ видѣ. Такое отвлеченно-безилотное выраженіе чувствъ продолжалось вплоть до Пушкина, который первый придалъ своимъ лирическимъ стихотвореніямъ вполне индивидуально-конкретный характеръ.

По мѣрѣ того, какъ личность все болѣе и болѣе вторгалась въ лирику, славословіе отступало на задній планъ и мало-по-малу сходило со сцены, и это обуславливалось не одними только западными вліяніями, въ видѣ разныхъ либеральныхъ идей или увлеченія европейскими литературными школами, а вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣло глубокую связь съ внутреннимъ ходомъ дѣлъ. Со смертію Екатерины кончилась эпоха военной славы, когда все силы общества и народа были крайне напряжены и сосредоточены во внѣшнихъ походахъ и завоеваніяхъ; 12-й годъ былъ послѣднею славою военной эпохею, вдохновившею нашихъ отечественныхъ бардовъ. Послѣ него вдохновляться сколько-ни-

будь искренно на торжественный ладъ было уже положительно нечѣмъ. Пушкинъ заплатилъ, правда, обильную дань славословію, но, исключая оды „Клеветникамъ Россіи“, все его прочія славословія имѣютъ уже чисто ретроспективный характеръ; онъ славитъ Петра, Екатерину, славитъ все тотъ-же 12-й годъ съ его героями. А за Пушкинымъ слѣдуетъ Лермонтовъ, который посвятилъ славословію всего на все три стихотворенія: „Два великана“, „Бородино“ и „Споръ“. Но и въ этихъ трехъ произведеніяхъ струна славословія звучитъ очень слабо: такъ, въ „Двухъ великанахъ“ западный великанъ, въ образѣ Наполеона, прославляется нисколько не менѣе „старого русскаго великана“, и стихотвореніе оканчивается апоэозомъ трагической судьбы Наполеона. Въ „Бородинѣ“ поэтъ заставляетъ славословить стараго ветерана-солдата, который начинаетъ свою рѣчь съ того, что бросаетъ тѣнь на настоящее во имя славнаго предкаго:

Да, были люди въ наше время,  
Богатыри — не вы!

Въ „Спорѣ“ славословіе выражается въ видѣ разговора двухъ кавказскихъ горъ, которыя прославляютъ уже не одни бранные подвиги, а вмѣстѣ съ тѣмъ и лопату, которая

Въ камешную грудь,  
Добытая мѣдъ и злато,  
Врѣзаетъ страшный путь.

Однимъ словомъ, съ эпохи Лермонтова начинается въ лирику нашей полное господство личного элемента. Героевъ лирики является уже не государство, не храбрые Россы и всякаго рода звѣздоносцы, а интеллигентныя человѣкъ средней руки, съ его личными радостями и печальми, не только не имѣющими ничего общаго съ официальнымъ міромъ, но идущими нерѣдко въ разрѣзъ съ нимъ.

Но что-же внесла освободившаяся отъ государственныхъ узъ личность въ лирику, какими новыми звуками она насъ подарила и какія тайны повѣдала она намъ? — Увы! она раздѣлила общую судьбу всѣхъ тѣхъ освобожденныхъ, которые выходятъ на свободу въ полной наготѣ и безприютности, не зная, что съ собою дѣлать и куда дѣться. Не оказалось у нея за душою ни одного мѣднаго пятака: никакихъ заступныхъ (своихъ, внѣгосударственныхъ) традицій сзѣди, никакихъ сознательныхъ, опредѣленныхъ стремленій впереди: наивно-дѣтское міросозерцаніе при полномъ отсутствіи какихъ-либо знаній и привычекъ къ мало-мальски самостоятельному шагу въ жизни безъ постороннихъ помочей. Къ тому-же предоставленная ей свобода была чисто отрицательнаго свойства; ее только всего и освободили, что отъ обязанности не-премѣнно, во что-бы то ни стало, служить (хотя всетаки продолжали коситься на нее, если она слишкомъ пользовалась этою свободою), и предоставляли ей скромный, узкій кругъ частной жизни, въ видѣ свѣтскихъ развлеченій, созерцанія красоты природы и наслажденія дарами Вакха, Эрота и Гилея въ личномъ кругу друзей. Очень понятно, что, при такихъ условіяхъ жизни, она не могла наполнить лирику особенно разнообразными мотивами и богатымъ содержаниемъ. И дѣйствительно, бѣдность и содержанія, и во-

тивовъ дореформенной лирики поразительна. Всю ее можно подвести подъ слѣдующія рубрики: 1) самыя элементарныя и рутинныя разсужденія о превратности судьбы и бренности человѣческой жизни, 2) воспѣваніе красотъ природы, преимущественно время года съ ихъ обычными сѣнами. 3) выраженіе разныхъ любовныхъ экстазовъ при встрѣчахъ, разлукахъ, измѣнахъ и утратахъ, 4) изъясненіе вакхическихъ и эротическихъ восторговъ и, наконецъ, 5) какъ естественный результатъ крайней безсодержательности жизни — вѣчныя жалобы на скуку, тоску и душевную пустоту, которую нечѣмъ наполнить. Минуты всѣ прочія рубрики, мотивы которыхъ можно встрѣтить, между прочими, въ лирикахъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, можно сказать, что только въ пятой рубричкѣ дореформенная интеллигентная личность выразила нѣчто въ родѣ дѣйствительной своей заветной тайны:

Цѣли нѣтъ передо мною,  
Сердце пусто, празденъ умъ,  
И томить меня тоскою  
Однозвучной жизни шумъ.

Или:

И пережилъ свои желанья,  
И разлюбилъ свои мечты,  
Остались мнѣ одни страданья,  
Плоды сердечной пустоты.

И такъ, сердечная пустота, праздность ума, отсутствіе всякой разумной цѣли и томительная тоска однообразной жизни — таково было единственное горькое сознаніе, которое вынесла интеллигентная личность изъ всѣхъ своихъ встрѣчъ, разлукъ, утратъ, вакхическихъ восторговъ и созерцаній, какъ зима сѣмьвается весной, а весна лѣтомъ. Впрочемъ, и до этого презваго сознанія интеллигентный человѣкъ дошелъ не вдругъ, а съ постепенностью десятилѣтій. По крайней мѣрѣ, до 30-хъ годовъ существовало лишь одно темное, неопредѣленное чувство, выражавшееся въ сантиментальной, романтической, безпредметной меланхолии эпохи Карамзина и Жуковского. Только перомъ Пушкина промелькнуло дѣйствительно нѣчто въ родѣ опредѣленного сознанія — въ вышеприведенныхъ стихотвореніяхъ. Но и въ вѣкъ Пушкина, это сознаніе не было слишкомъ назойливо и далеко еще не составляло преобладающаго мотива лирики. Вѣкъ Пушкина былъ вѣкомъ легкомысленнымъ, веселымъ, жуированнымъ напролазую, на послѣднія деньги. Это былъ вѣкъ послѣднихъ яркихъ лучей заката старыхъ порядковъ жизни, послѣ чего старые порядки начали меркнуть и выказывать всю свою дряблость. Крестьянинъ въ то время не былъ еще разоренъ, и потому помѣщикъ, жившій на его счетъ, былъ богатъ, жизнь была дешева; страна пользовалась такимъ политическимъ могуществомъ, при которомъ она могла предписывать Европѣ законы. Преданія послѣдней бранной славы были слишкомъ еще свѣжи и наполняли сердца патриотическою гордостью. Люди жили еще большею частью внѣ себя, если можно такъ выразиться, мало углубляясь въ свой внутренний, душевный міръ и рѣдко отдавая себѣ отчетъ относительно цѣлей и содержанія жизни. Поэтому и лирика Пушкина, въ общемъ, носитъ характеръ спокойный и бодрый, порою торжественно гордый, порою

веселый и эротически-игривый, или легкомысленно-безпечный, и только изрѣдка проскальзываетъ въ ней та тоскливая нота, которую мы обозначили выше, представляя собою словно моменты тревожнаго отрезвленія отъ непрестанной оргіи.

Совсѣмъ не то мы видимъ въ эпоху Лермонтова. Въ то время, какъ славословіе совсѣмъ почти исчезаетъ изъ лирики, сознаніе душевной пустоты и безцѣльности жизни становится на первый планъ, дѣлается преобладающимъ мотивомъ, принимаетъ острый характеръ. Интеллигентный человѣкъ мечется въ гнетущей тоскѣ и нигдѣ не можетъ найти себѣ мѣста, ничѣмъ не можетъ утѣшиться. Всѣ вышеупомянутыя пять рубричекъ лирики сѣмиваются въ это время въ одну: идетъ-ли дѣло о красотахъ природы, о любви, о свѣтскихъ развлеченияхъ или вакхическихъ пріемствахъ, повсюду слышатся однѣ и тѣ-же скорбныя ноты пресыщенія и отчаянія.

Но таково въ то-же время все еще продолжалось и умственное, и нравственное убожество интеллигентнаго человѣка, что, при всей его отчаянной скорби, въ немъ не пробуждалось еще ни тѣни сознанія относительно основныхъ причинъ этой скорби, ни стремленій искупить изъ нея какого-либо разумнаго выхода. Совѣсть его въ то-же время безпробудно спала: миллионы народа стонали подъ игомъ этого самаго интеллигентнаго человѣка, а онъ не только не замѣчалъ этихъ стоновъ, но продолжалъ легкомысленно жуировать, стараясь заглушить свое отчаяніе въ забвеніи всякаго рода чувственныхъ излишествъ и истрачивая на эти излишества послѣднія крохи отцовскихъ наслѣдствъ. Пресмыкаясь въ ничтожество, онъ не только не стыдился этого ничтожества, но рисовался имъ, приравнивая свое разочарованіе и пресыщеніе къ величавымъ, мировымъ стонамъ баброновскаго синаина.

## XVIII.

Вѣкъ Некрасова былъ вѣкомъ рѣшительнаго кризиса, когда всѣ старые порядки оказались вполне несостоятельными и начали быстро разрушаться. Интеллигентная личность въ это время окончательно освободилась отъ всѣхъ своихъ романтическихъ иллюзій и ей сразу открылась самая печальная дѣйствительность; она увидѣла себя на краю мрачной пропасти. Умственные и нравственные горизонты ея успѣли къ этому времени значительно расширяться, жизнь и наука даровали ей новыя и общественныя, и личные идеалы. Идеалы эти пробудили ея дремавшую совѣсть; она исполнилась горячаго стремленія выйти изъ своего постыднаго положенія на новый путь добра и славы, но въ то-же время сознала, что надъ нею продолжаетъ тяготѣть печальное прошлое, парализуя всѣ ея благія начинанія и обращая въ никуда негодные плевецы разсѣявшаго ея сѣмена прогресса.

Тотъ періодъ рефлексій, мучительнаго раздвоенія какъ слова и дѣла, такъ и самой мысли, который характеризуетъ собою 40-е и 50-е года, обуславливается не однимъ только переходнымъ мыслительнымъ процессомъ, но глубоко коренится и въ самыхъ соци-

альныхъ отношеніяхъ. Онъ прямо зависѣлъ отъ того, что интеллигентная личность, едва пробудилась ея совѣсть, сразу почувствовала себя въ одно и то же время и жертвою, и палачемъ, исполнилась страстного желанія сліянія съ народомъ во имя общаго блага, и въ то же время сознавала, что между нею и народомъ продолжаетъ зиять непроходимая бездна, выражала скорбные и горькіе протесты противъ постыднаго ничтожества своего социальнаго положенія, раздражалась отважными призывами выйти изъ него, и въ то же время чувствовала себя немощною, дряблѣю, малодушно-трусливою и неуцѣлою сдѣлать хоть одинъ отважный и самостоятельный шагъ къ выходу.

Я не знаю, долго-ли продлился бы этотъ рефлексивный періодъ и чѣмъ бы онъ разрѣшился, предоставленный самому себѣ, еслибы въ среду интеллигенціи не вторгнулся новый элементъ, до сей поры не парадировавшій на сценѣ нашей исторіи — въ лицѣ разночинца. Разночинецъ явился примирителемъ всѣхъ противорѣчій, мостомъ, перекинувшимся черезъ пропасть, раздѣлявшую интеллигенцію отъ всѣхъ ея заветныхъ стремленій. Для него не существовало этой пропасти, потому что, не говоря уже о томъ, что по социальному положенію онъ стоялъ ближе къ народу и лучше зналъ его, но и дѣлилъ съ нимъ одну общую участь, такъ что для него вопросъ о оближеніяхъ и сліяніяхъ не былъ, собственно говоря, вопросомъ. Новые идеалы приписались ему совершенно по плечу, точно нарочно для него были сшиты, нигдѣ его не тѣснили, не были ни узки, ни широки, такъ какъ ему не пришлось наследовать отъ предковъ такой структуры, которая бы шла совершенно въ разрѣзъ съ этими идеалами. Въ то же время, онъ оказывался болѣе состоятельнымъ для борьбы въ видахъ осуществленія этихъ идеаловъ, такъ какъ былъ заваленъ борьбою за личное существованіе и явился на полѣ брани опытнымъ, обстрѣленнымъ борцомъ, успѣвшимъ нанюхаться всякаго пороха и, наконецъ, каждый новый шагъ, завоеванный въ этой борьбѣ, былъ для него не великодушнымъ лишеніемъ, а, напротивъ, — прямымъ приобретеніемъ, между тѣмъ, какъ, при пораженіи, онъ ничего не терялъ, такъ какъ ему положительно нечего было терять.

Войдя въ среду интеллигенціи, разночинецъ естественно долженъ былъ обогатить лирику совершенно новыми, до той поры неслыханными мотивами. Во первыхъ, стоя ближе къ народу, присматриваясь и прислушиваясь къ его страдъ, онъ долженъ былъ внести въ лирику мотивы его скорбной жизни. Затѣмъ онъ долженъ былъ обогатить лирику мотивами своей собственной борьбы за существованіе, звуками скудныхъ радостей и обильнаго горя своей жизни, наконецъ, то рефлексивно-унылое отношеніе къ новымъ идеаламъ, на которомъ остановилась интеллигенція 50-хъ годовъ, онъ долженъ былъ замѣнить звуками восторженнаго энтузіазма людей, для которыхъ не существуетъ никакихъ колебаній и сомнѣній и которые каждую минуту готовы животь свой положить за эти идеалы.

Широко и многостороннее значеніе музы Некрасова, какъ выразителя всѣхъ мотивовъ своего вѣка, въ томъ именно и заключается, что онъ отразилъ въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы, броженіе которыхъ и составляетъ сущность современнаго нашего кризиса. Напрасно стали бы вы подводить его подъ одинъ какой нибудь опредѣленный, исключительный типъ. Какъ лирикъ переходной эпохи, отразившій въ своихъ стихахъ самыя разнохарактерныя мотивы своего времени, онъ далеко не представляетъ той цѣльности и одноформенности, какія замѣчаемъ мы въ поэтахъ, выразителяхъ духа и мотивовъ того тѣснаго интеллигентнаго слоя, къ которому они принадлежатъ, или, съ другой стороны, чѣмъ бы могъ отличаться поэтъ, вышедшій прямо изъ народа и мало соприкасавшійся съ высшими слоями общества, въ родѣ Кольцова. Въ лирикѣ Некрасова мы постоянно замѣчаемъ присутствие двухъ человѣкъ, которые, пре всея своей тѣсною соприкосновенію другъ съ другомъ, однакоже, представляютъ значительную разпорядность и порою даже чуть-что не противорѣчіе. Такъ, мы видимъ, что, съ одной стороны, лирика Некрасова, повинувась духу времени, выражаетъ собой то пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ, которое послѣдовало, какъ было сказано выше, въ концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, тѣ отрицанія обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, горячіе порывы къ этимъ новымъ идеаламъ, протесты во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленности, дряблости и безсилія сдѣлать хоть одинъ шагъ къ осуществленію этихъ идеаловъ. Но еслибы лирика Некрасова ограничивалась этими рефлексивными мотивами умственной, нравственной и социальной раздвоенности, онъ далеко не имѣлъ бы того широкаго значенія, какое приобрѣлъ. Онъ только и былъ бы что лирикомъ рефлексивнаго періода 40-хъ и 50-хъ годовъ. Правда, что и въ этомъ отношеніи слово его было бы новымъ и онъ обогатилъ бы лирику мотивами и звуками, о которыхъ и помину не было въ вѣкѣ Пушкина и Лермонтова, но все таки тѣсенно его была бы давно уже сѣтѣю, мы относились бы къ ней, какъ къ явленію историческому, подобно тому, какъ въ беллетристикѣ мы относимся къ типамъ Рудина или Обломова, и ждали бы новыхъ пѣвцовъ, которые выразили бы мотивы тѣхъ новыхъ элементовъ жизни, которые успѣли войти въ жизнь нашу послѣ 50-хъ годовъ.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается однимъ рефлексивными мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Валѣвшая въ нѣдрахъ полѣтничьей среды, судьба, словно нарочно, выкинула его потомъ изъ нея и заставила его протануть лямку разночинца въ самую тяжеломъ ей видѣ — борьбу съ голодомъ изъ-за череваго куска хлѣба, и изъ его лиры полились совершенно особенныя, невѣдомыя звуки, съ которыми ничего не имѣетъ общаго ни лирика дореформеннаго періода, ни рефлексивная лирика 40-хъ и 50-хъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.



## XX.

По порядку элементов, обратим сначала внимание на те мотивы его лирики, въ которыхъ выражается рефлексивный духъ 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь мы видимъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста, и куза его вполне соответствуетъ тѣмъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ; она является, дѣйствительно, лузою лести и печали. Безпомядно бичуя всевозможные общественные пороки, гнѣздящаяся на почвѣ старыхъ порядковъ, онъ ни въ чемъ въ то же время не находитъ утѣшенія, потому что не видитъ никакого выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Почти глядя онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, одинъ радужный кетты, при полной дряблости и безсиліи къ осуществленію ихъ, онъ восклицаетъ:

Покорней — о ничтожное племя!  
Неспасибной и горькой судьбы:  
Захватило васъ трудное время  
Неготовыми къ трудной борьбѣ;  
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,  
Но для дѣла вы мертвы давно;  
Суждены вамъ благіе порывы,  
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаетъ во многихъ его стихотвореніяхъ. Въ поэмѣ „Сана“ онъ развивается въ цѣлый типъ, въ родѣ Рудина, и въ этомъ типѣ болѣе всего карается авторомъ именно все та же раздвоенность его поколѣнія, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,  
Сердцу его и доступно, и сродно,  
Только дающая силу и власть  
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!  
Любить онъ сильно, силѣти ненавидитъ,  
А доведись — комара не обидитъ!  
Да говорить, что ему и любовь  
Голову больше волнуешь — не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ принимаетъ гордо и къ себѣ самому, говоря:

Я за то глубоко презираю себя,  
Что живу, день за днемъ безпомядно губя;  
Что я, силы своей не питаю ни на чемъ,  
Осудилъ самъ себя безпомятымъ судомъ,  
И, лживо твердя: я ничтоженъ и слабъ!  
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;  
Что, допавши кой-какъ до тридцатой весны,  
Не спомнилъ и себѣ хоть богатой казны,  
Чтобъ глумцы у моихъ пресмыкались ногъ,  
Да и умникъ подъ часъ позабавовалъ могъ!  
Я за то глубоко презираю себя,  
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,  
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,  
А брожу дикаремъ — безпритоненъ и сирь,  
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,  
А до дѣла дойдешь — замираетъ рука!

Подобныя качества поэтъ прямо приписываетъ наслѣдственности и вліанію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,  
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,  
Проникъ уже пороку диханьемъ ядовитымъ  
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но все, что жизнь мою опутавъ съ первыхъ лѣтъ,  
Проклятымъ на меня летло неотразимымъ,  
Всему начало даешь, къ краю моемъ родимомъ!

Съ такою же скептическою проницею относится онъ и къ своей музѣ. Сначала, по его словамъ, куда ретивъ былъ его Пегасъ:

Безъ отвращенія, безъ боязни  
И шель въ тюрьму и въ мѣсту казни,  
Въ суды, въ больницы и входилъ...

Но не долго продолжалась эта свѣлость:

И что-жъ?.. мои послышавъ звуки,  
Сочли ихъ черной клеветой;  
Пришлось сложить смиренно руки,  
Иль поплатиться головой,

а поэту было всего двадцать лѣтъ тогда:

Лукаво жизнь впередъ манила,  
Какъ моря вольная струя,  
И ласково любовь сулила  
Мнѣ блага дучшія свои —  
Душа нудливо отступила...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музою:

Украдкой, бѣдная, придетъ,  
И шепчетъ пламенные рѣчи,  
И пѣши гордыя пость,  
Зоветь то въ города, то въ стени,  
Завѣтнмъ умисломъ полна,  
Но загремѣть внезапно цѣли  
И мигомъ свроется она...  
Не воюе я ея чуждался,  
Но какъ болѣя! какъ боялся!  
Когда мой ближній утопалъ  
Въ волнахъ существеннаго гора, —  
То громъ небесъ, то ярость моря  
И благодушно воспевалъ.  
Бичуя маленькихъ ворихекъ  
Для удовольствія большихъ,  
Дилтъ я дерзости мальчишекъ  
И похвалою гордился ихъ.  
Подъ игломъ лѣтъ душа погнулась,  
Остала ко всему она,  
И муза воше отвернулась,  
Презрѣнья гордаго полна.

Это рефлексивно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порою до такихъ предѣловъ, что та благодушно-простая, страстная любовь къ народу и вѣра въ его силы, которая проникаетъ многа стихотворенія Некрасова, словно будто покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами  
Не услаждаютъ очей.  
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное  
Только досаду рождаетъ...  
Что-же ты любишь, дитя малолѣтнее,  
Гдѣ-же твой идолъ стоитъ?

Остается одна лишь природа, и лишь на ее ложь шепеть отдыха и утѣшенія излученное, истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова  
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ —  
Заглуши эту музку злобы!  
Чтобъ душа ощущала покой,  
И прозрѣвшее око могло-бы  
Насладиться твоей красотой!...

Но особенное преимущество отдавалъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе исцѣляющее и умиротворяющее вліаніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ особенно-страстною любовью и нѣжностью. Такъ, въ стихотвореніи „Тишина“ онъ прямо выражаетъ свое пристрастіе къ родной природѣ передъ иноземной:

Все рождь кругомъ, какъ степь живая,  
 Ни замковъ, ни морей, ни горъ....  
 Спасибо, сторона родная,  
 За твой прачующий просторъ!  
 За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,  
 Подъ небомъ ярче твоего,  
 Искать я примиренья съ горемъ  
 И не нашла я ничего!  
 Я тамъ не свой: хандрю, нѣжю,  
 Не одолевъ свою судьбу,  
 Я тамъ погнулся передъ нею,  
 Но ты дохнула — и съумѣю,  
 Вить можетъ, выдержать борьбу!  
 Я твой. Пусть роютъ укоризны  
 За мною по пятамъ бѣжалъ,  
 Не небеса чужой отчизны —  
 И пѣсни родныя слагать!

Припомнимъ также начало поэмы „Саша“, гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія:

Словно какъ мать надъ сѣмной могилой,  
 Стонеть куликъ надъ равниной унылой,  
 Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ —  
 Долгая пѣсня за сердце беретъ;  
 Тѣбѣ ли начнется — соуса да осша...  
 Не весела - ты, родная картина!  
 Что же молчитъ мой озлобленный умъ?..  
 Сладокъ мнѣ дѣла знакомаго шумъ;  
 Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —  
 Дамъ же я волю благому порыву  
 И на родимую землю мою  
 Веѣ накупивши слезы пролью!  
 Злобою сердце питаться устало —  
 Много въ ней правды, да радости мало;  
 Спящихъ въ могилѣ виновныхъ тѣней  
 Не разбужу я враждою моею.  
 Родина мать! И душою смирился,  
 Любящимъ сномъ къ тебѣ воротился.  
 Сколько-бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ  
 Даромъ ни стигнуло силъ молодыхъ,  
 Сколько-бъ ранней тоски и печали  
 Въявилъ бури твои ни нагнали  
 На болливую душу мою —  
 Я побѣжденъ предъ тобою стою!  
 Силу сломили могучія страсти,  
 Гордую волю погнули напасти,  
 И про убитую музу мою  
 Я похоронилъ пѣсни мою.  
 Передъ тобою мнѣ плакать не стыдно,  
 Ласку твою мнѣ принять не обидно —  
 Дай мнѣ отраду объятий родныхъ,  
 Дай мнѣ забвеніе страданій моихъ!  
 Жизнью цвѣять я... и скоро я стину...  
 Мать не враждебна и къ блудному сыну:  
 Только-что ей и объятія распритъ —  
 Хлынула слезы, прибавилось силъ.  
 Чудо свершилось: убогая нива  
 Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива;  
 Ласковой машетъ вершинами тѣбѣ,  
 Солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Все вышеприведенные мотивы вполне приравниваютъ Некрасова къ его сверстникамъ, въ родѣ поэта Огарева или въ беллетристикѣ — Тургенева: та же раздвоенность, тотъ же мрачный и безотрадный пессимизмъ, наконецъ, и та же страстная любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту, сказавшаяся у Некрасова въ вышеприведенныхъ лирическихъ порывахъ, а у беллетристовъ 40-хъ годовъ въ страсти къ изображенію упротворяющихъ сельскихъ пейзажей, которыхъ, между прочимъ, не мало вы найдете и въ стихотвореніяхъ Некрасова.

## XXI.

Но мы сказали уже выше, что однимъ мотивамъ 40—50 годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу новыхъ звуковъ, остающихся совершенно чуждыми и непонятными для его сверстниковъ, но дѣлающихъ поэзію его особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній. Въ этихъ звукахъ вы не увидите и слѣда того мрачнаго и унылаго пессимизма, какими преисполнены стихотворенія его, проникнутыя мотивами 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь, напротивъ того, Некрасовъ является горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбежность побѣды свѣта надъ тьмою и правды надъ кривдою. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи „Школьникъ“:

Не бездарна та природа,  
 Не погибъ еще тотъ край,  
 Что выводитъ изъ народа  
 Столько славныхъ — то и знай —  
 Столько добрыхъ, благородныхъ,  
 Сильныхъ любящей душой,  
 Посреди тупыхъ, холодныхъ  
 И напыщенныхъ собой!

Припомнимъ также въ „Пѣснѣ Кремушки“ хотѣ бы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣе искреннимъ и горячимъ энтузіазмомъ:

Въ пошлой дѣлѣ унывающей  
 Пошлыхъ жизни мудрецовъ,  
 Будь онъ проклятъ, растлывающей,  
 Пошлий опытъ — ужъ глупцовъ!  
 Въ насъ подъ кровлею отеческой  
 Не заглохло ни одно  
 Жизни чистой, человѣческой  
 Плодотворное зерно.  
 Будь счастливѣй! Силу новую  
 Благородныхъ юныхъ дней  
 Въ форму старую, готовую  
 Необдуманно не лей!  
 Жизнью вольнымъ впечатлѣніямъ,  
 Душу вольную отдай,  
 Человѣческимъ стремленіямъ  
 Въ ней проснись не жѣмай.  
 Съ ними ты родишь природою,  
 Возледай ихъ, сохрани!  
 Братствомъ, истиной, свободою  
 Называются они.  
 Возлюби ихъ! на служеніе  
 Имъ отдайся до конца!  
 Нѣтъ прекраснѣй назначенія,  
 Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.  
 Будешь рѣдкое явленіе,  
 Чудо родины своей;  
 Не холопское терпѣніе,  
 Принесешь ты въ жертву ей  
 Неубуданную, дикую  
 Къ лютости подлости правду  
 И довѣренность великую  
 Къ безорыетному труду.  
 Съ этой ненавистью правою,  
 Съ этой вѣрою святою  
 Надъ неправдою лукавою  
 Грянешь Божіей грозой...  
 И тогда-то...

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите ни въ легковѣсно-свѣтской лирикѣ дореформеннаго періода, ни въ рефлексивной поэзіи 40-хъ — 50-хъ годовъ. Это — мотивы новаго, выступившаго на сцену челоука въ лицѣ развочинца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ

выражается вся, если можно такъ выразиться, святая святыхъ этого новаго человѣка, всё его отношеніе къ окружающей жизни и заветныя уловіянія...

Конечно, одними бравурными мотивами необузданной, дикой вражды къ лютот подлости и жадны во ня безкорыстнаго труда и святой вѣтригрануть божьей грозой надъ лукавою неправдой, не исчерпывается еще все, чѣмъ живетъ этотъ новый человѣкъ. Въ жизни его вы найдете еще болѣе гора, а подъ часъ и отчаянья, сравнительно съ интеллигентными людьми 40-хъ—50-хъ годовъ. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обусловливается другими причинами. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти, при горькомъ сознаніи безсилія возстать духомъ и заглядить вины отцовъ и свои собственныя. Здѣсь, напротивъ того, все зло лежитъ не внутри человѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ силы, какъ-бы онѣ ни были могучи. Интеллигентный человѣкъ 40-хъ—50-хъ годовъ, со своею проснувшейся совѣстью, при всѣхъ своихъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ, все-таки оставался тѣмъ-же пнѣженнымъ и празднымъ бариномъ и продолжалъ пользоваться всѣми благами жизни; разночинецъ-же, подъ гнетомъ борьбы съ нищетою, обыкновенно запываетъ. Онъ опускается въ это время, повидимому, до послѣдней степени самоуничиженія:

Запуганный, задавленный,  
Съ поникшею головою,  
Идешь какъ обезславленный,  
Гнушаеь самъ собой,  
Стараеь азобой тайпомъ...  
На скудный твой нарядъ  
Съ насмѣшкой не случайною  
Всѣ, кажется, глядятъ.

Но при всѣхъ этомъ самоуничиженіи, внушаемомъ жалкимъ внѣшнимъ видомъ его, онъ все-таки далекъ въ душѣ своей отъ какихъ-либо гамлетовскихъ самоубежаній и того растлѣвающего пессимизма, который, внушая, что не стоить ни за что приниматься, такъ какъ ничто ни къ чему не приведетъ, незамѣтнымъ образомъ оправдываетъ и узаконяетъ привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія въ немъ не перестаютъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности: едва только протрезвляется онъ,

И хочется тогда  
То славы соблазнительной,  
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ тоже время, что если онъ не въ силахъ достигнуть ни того, ни другого, то виною этою не собственная внутренняя дрянность, а слишкомъ узкъ безвыходное внѣшнее положеніе, нищета, которая заставляетъ его, во чтобы-то ни стало, гнуть спину надъ каторжными, забывающимъ трудомъ, не давая ему возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!  
Старушку полечить,  
Сестрамъ-бы нероскошную  
Обновку подарить!  
Страхнуть яро тяжелаго,  
Гнегулаго труда—  
Вать можетъ, буйну голову

Сносилъ-бы я тогда,  
Покинувъ путь губительный,  
Нашель-бы путь иной,  
И въ трудъ иной—свѣжательный—  
Повнѣль-бы всею душою.

Вы видите, что на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ немъ продолжаетъ жить все тотъ-же разночинецъ съ его энтузіазмомъ святаго, свѣжательнаго труда на общую пользу. Забудьте, въ тоже время, глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: онъ, идущій, какъ обезславленный, гнушаеь самъ собой, при видѣ своего скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ, онъ, при мечтѣ о ничтожной части, прежде всего заботится не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ бы хорошо было ее полечить, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало бы пріодѣть, а потомъ уже о себѣ. Строгіе моралисты, конечно, замѣтятъ при этомъ, что если онъ такъ заботится о своихъ родныхъ, такъ зачѣмъ же пьянствуетъ?

Но мгла отвсюду черная  
На встрѣчу бѣдняку,  
Одна открыта торная  
Дорога къ кабаку,—

отвѣчаетъ на подобное замѣчаніе конецъ стихотворенія.

Найдите во всей предыдущей поэзіи хоть блѣдный намекъ на подобный мотивъ, а между тѣмъ, онъ открываетъ вамъ душевный міръ миллионѣвъ людей, живущихъ на Руси и гибнувшихъ нѣкогда въ полномъ безучастіи, не находя ни малѣйшаго отклика ихъ трагической доли въ области поэзіи. Люди самодовольные пробѣгутъ, конечно, нѣсколько подобное стихотвореніе, и оно не оставитъ ни малѣйшаго слѣда въ ихъ сердцахъ, какъ нѣчто совершенно постороннее и чуждое имъ, способное возбудить въ нихъ самое большее, что отвлеченное сочувствіе свысока, и понятно, что они способны будутъ заподозрить искренность поэта, задѣвающего подобныя темы. Нѣкоторые въ нихъ находятъ неумѣстнымъ, что поэзія тратится на такія мизерности вмѣсто того, чтобы возвышать сердца горѣ, въ область „звуковъ сладкихъ и молитвъ“. Но тѣ, которые увидятъ въ этомъ стихотвореніи самихъ себя, должны совершенно иначе отнестись къ нему. Отъ ихъ вниманія не скроется ни та теплая задумчивость, ни тѣ горькія слезы, какими проникнуто это стихотвореніе: вѣдь это—ихъ собственная задумчивость, ихъ слезы. Понятно, что, въ концѣ концовъ, подобное стихотвореніе должно быть для нихъ ближе, роднѣе, чѣмъ всѣ великолѣпныя изображенія, какъ поэтъ лежалъ въ долину Дарестана или какъ онъ видѣлъ дѣву на скалѣ и т. п.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночиннаго гила относятся „Буря“, „Застѣнчивость“, „Будли ночью по улицѣ темной“.

„Буря“ и „Застѣнчивость“ представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите восторгъ восторжествовавшей страсти, но страсть эта носитъ совершенно иной характеръ и колоритъ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ различныхъ любовныхъ элегіяхъ предшествующей лирики и даже въ Некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ, въ самомъ разгарѣ

страсти, не перестаетъ преобладать разлагающій анализъ, умная рефлексія, которая во всё періодъ страсти вноситъ ждкую горечь то взаимныхъ попрековъ, то меланхолическихъ предчувствій неурочности земнаго счастья и т. п. Здѣсь-же, напротивъ того, вы видите полную и безавѣтную отдачу страсти безъ всякихъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствующимъ элементомъ является, опять-таки, чисто-внѣшнее обстоятельство, представляющее, въ настоящемъ случаѣ, въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается ни по чемъ, потому что Любушка соседка, въ свою очередь, не отступить передъ препятствіями, въ виду счастья любви, и, вопреки подозрѣніямъ счастливаго любовника, вовсе не такая пугливая пѣженка, чтобы въ бурю за ворота было ей выйти за диво.

Вообще, по своей своеобразности и бравурному, страстному тону, стихотвореніе это напоминаетъ собою многія пѣсни Кольцова, выражающія такую-же безавѣтную удачу страсти здороваго и не искалченнаго русскаго простаго человѣка.

Совершенно противоположный характеръ носитъ стихотвореніе „Застѣнчивость“. Здѣсь воспѣвается одна изъ самыхъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей развочинца. Здѣсь вы не видите уже удала, торжествующей страсти, а, напротивъ того, — унылое отчаяніе, вследствие невозможности избавиться отъ проклятой слабости!

На ногахъ словно гиря желѣзная,  
Какъ свинцомъ излита голова,  
Огривно руки торчатъ безполезныя,  
На губахъ замираютъ слова.  
Улыбнусь — неспорная, жесткая,  
Не въ улыбку улыбка моя,  
Пощупить захочу — шутка плоская:  
Покраснѣю мучительно я.

Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознаніе, что въ сущности онъ — совсѣмъ не такой жалкій и ничтожный, какимъ представляется въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таится могучихъ силъ:

Нѣтъ! мнѣ въ божьихъ дарахъ не отказано.  
И лицомъ я не хуже людей.  
Малодушье пустое и дѣтское,  
Не хочу тебя знать съ этихъ поръ!  
Я пойду въ ея общество свѣтское,  
Я тамъ буду уменъ и остеръ!  
Пусть пойметъ, что свободно и молодо  
Въ этомъ сердцѣ волнуется кровь,  
Что подъ маской наружнаго холода  
Безконечная скрыта любовь...

И здѣсь, наконецъ, источникъ зла таится не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ:

Придавила меня бѣдность грозная,  
Запугала меня съ дѣтства отецъ,  
Безалазная доломка слезная  
Извела, доканала въ концы!

Что касается до стихотворенія „Буду ли ночью по улицѣ темной“, то оно представляетъ собою ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго павоса, до котораго доводитъ бѣдниковъ-развочинцевъ нескончаемая борьба съ нищетой. Я не знаю ужъ, какую нужно обладать дерзливостью и черствостью, чтобы рѣшиться утверждать, что подобное стихотвореніе, въ которомъ каждый стихъ рыдаетъ передъ вами, могло быть холодно, дидактически составлено искус-

ственнымъ подборомъ мрачныхъ чертъ жизни, какъ это утверждаютъ наши критики, въ родѣ Евг. Маркова. Подобное предположеніе доказываетъ только, что они даже и близко не видали той жизни столбчатыхъ угловъ и подваловъ, эпизодъ которой развить въ этомъ стихотвореніи. Люди же, видавшіе эту жизнь, а тѣмъ болѣе сами испытавшіе ее, поймутъ, что это стихотвореніе могло быть написано только человѣкомъ, который, если не самъ лично, фактически пережилъ подобный эпизодъ, то, во всякомъ случаѣ, бывалъ въ аналогическихъ положеніяхъ и видалъ такія виды. Въ этомъ болѣе всего можетъ убѣдить не столько самъ эпизодъ, изображенный довольно общими чертами, сколько та надрылававшая скорбь, которая въ проникнуто стихотвореніи. Люди, желающіе умалить талантъ Некрасова сомнѣніемъ въ искренности его лиризма, не подозрѣваятъ, какое сверхъестественное, лежащее внѣ предѣловъ человеческой природы могущество приписываютъ они ему, воображая, что поэтъ въ состояніи поддѣлаться, притвориться до такой поразительной близости къ естественному чувству. Есть особеннаго рода нравственная высота, постигать величіе которой не дано въ удѣлъ благодушнымъ Манделовымъ, пресмыкающимся въ неизменной сферѣ лѣнчанской, пошлой морали.

Ничему иному, какъ тому-же развочинному духу, слѣдуетъ приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое жало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Между тѣмъ какъ, если серьезно и обстоятельно извѣстить это обстоятельство, то поэзія Некрасова, въ цѣломъ своемъ, можетъ представиться обладающею совершенно противоположнымъ духомъ и характеромъ, тѣмъ принято ее считать. Оказывается, что ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не изображалъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто-шпенлеровскимъ энтузіазмомъ, какъ именно этотъ самый поэтъ, котораго привыкли считать мрачнымъ пессимистомъ и жолчнымъ отрицателемъ, который, будто бы, нарочно искусственно подбиралъ и называлъ однѣ темныя стороны жизни. И что всего замѣчательнѣе — положительные, идеальные типы и образы Некрасова отнюдь не носятъ фантастически отвлеченнаго характера, внѣ всякихъ предѣловъ времени и пространства, и, съ другой стороны, тѣмъ менѣе рисуются они въ какомъ-либо одномъ субъективномъ типѣ, повторяющемся въ различныхъ вариантахъ, какъ это мы видимъ, напримѣръ, у Байрона и его подражателей. Ни чуть не бывало. Какъ у истата реалиста, идеальные типы Некрасова являются передъ вами облеченными въ плоть и кровь своего времени и той среды, къ которой они принадлежатъ. Они поражаютъ васъ разнообразіемъ конкретныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Въ то-же время, они отнюдь не принадлежатъ къ какому-либо обществу. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, въ самыхъ разнообразныхъ общественныхъ слояхъ, и можно положительно сказать, что ни одного слоя не обидѣлъ въ этомъ отношеніи.

Такъ, на самую верху общественной іерархіи, въ

великосвѣтскомъ кругу, рисуются передъ нами князья Т—ая и М. Н. В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-вѣзной любви и въ то же время гордаго и непоколебимаго, какъ сталь, самоотверженія — открывается передъ вами словно античный, классическій міръ величаваго героизма. А между тѣмъ, въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помысленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ — вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ великосвѣтскихъ барынь, мирно и безпечно вѣкогда порхавшихъ по бамбамъ и маскаратамъ, и вдругъ, силою обстоятельствъ, превратившихся въ какихъ-то римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ контрастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типичныхъ чертъ русской жизни съ античною величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная идея поэмы Некрасова. Въ то же время, чтобы представить своихъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ, чтобы показать всю цѣну ихъ самопожертвованія, поэтъ съ гениальнымъ художественнымъ тактомъ, въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебныя воспоминанія среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ, при наводнящемъ уныніи и ужасѣ завыванія вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастья, роскоши и вѣри повергаютъ читателя въ тотъ невольный трепетъ, какой способны производить только величайшія созданія искусства. Припоините также сцену борьбы съ родительскою властью и съ администраціей, въ лицѣ губернатора, — это пробужденіе въ суровомъ администраторѣ человека, эти невольныя слезы его:

«Нѣтъ! вы пойдете!» вскричалъ  
Нежданно старый генералъ,  
Закрывъ рукой глаза:  
«Какъ я васъ мучилъ... Боже мой!»  
(Нѣвъ подъ руки на усь сѣдой  
Скатилася слеза).  
«Простите! да, я мучилъ васъ,  
Но мучился и самъ,  
Но строгій я имѣлъ приказъ  
Препрады ставить вамъ!  
И развѣ ихъ не ставилъ я?  
И дѣлалъ все, что могъ,  
Передъ судомъ душа моя  
Чиста — свидѣтель Богъ!  
Острожнымъ жестыямъ сухаремъ  
И жизнью взаперти,  
Позоромъ, ужасомъ, трудомъ  
Этапнаго пути  
Я васъ старался испугать.  
Не испугались вы!  
И хотѣ-бы мнѣ не удержатъ  
На плечахъ головы,  
Я не могу, я не хочу  
Тиранить больше васъ...  
Я васъ въ три дня туда домчу...  
(отворяя дверь, кричить)  
Эй! запрагать сейчасъ!»

Художественнѣе, глубже, выше всѣхъ этихъ сценъ, можно положительно сказать, ничего еще не было въ русской литературѣ. А главное дѣло: гдѣ-же тутъ передъ нами исключительный отрицатель и жолчный пессимистъ? Неужели этотъ самый поэтъ, который даже въ суровомъ лицѣ непреклоннаго исполнителя воли начальства сумѣлъ открыть вамъ свѣтлый лучъ человѣческаго образа?

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ труженниковъ русской науки и мысли, мужественно и неустанно борющихся въ тиски невѣжества и сходящихся въ преждевременныя, безвѣстныя могилы, оплакиваемыхъ небольшою горстью друзей, которые одни только понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были Вѣлискій, Влад. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришла естественно на долю Вѣлискаго, передъ которымъ Некрасовъ, впродолженіи всей своей жизни, не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ человекомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ своею славою. Кромѣ поэмы, воспѣвающей Вѣлискаго и напечатанной въ одномъ изъ заграничныхъ изданій, кромѣ „Памяти пріятеля“, мы находимъ въ отрывкахъ изъ „Медвѣжьей охоты“ нѣсколько глубокихъ и горячо прочувствованныхъ строкъ, посвященныхъ памяти Вѣлискаго, которыя я и привожу, какъ лучшей образецъ некрасовскаго одописанія:

Вѣлискій былъ особенно любимъ...  
Молясь твоей многострадальной тѣни,  
Учитель! предъ именемъ твоимъ  
Позволь смиренно преклонить колѣни!  
Въ тѣ дни, какъ все коснуло на Руси,  
Дремля и работая позорно,  
Твой умъ кипѣлъ — и нопыя стези  
Прокладывалъ, работая упрямно.  
Ты не гнушался никакимъ трудомъ,  
«Чернорабочій я — не бѣлоручка»,  
Говаривалъ ты намъ — и напроломъ  
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!  
Ты насъ гуманно мыслять научилъ,  
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,  
Едва-ль не первый ты заговорилъ  
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ...  
Не даромъ ты, мужая по часамъ,  
На взглядъ глушцовъ казался перемѣнчивъ,  
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,  
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчивъ.  
Не думалъ ты, что стоишь ты вѣсна,  
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,  
Самимъ собой и живнью до конца  
Святое недовольство сохраняя —  
То недовольство, при которомъ нѣтъ  
Ни самообольщенія, ни застоя,  
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ  
Постыдно мы не убѣжимъ изъ строя —  
То недовольство, что душѣ живой  
Не дастъ возстать противу новой силы  
За то, что заслоняетъ насъ собой  
И старцамъ говоритъ: «вѣра въ могилы!»

Такимъ образомъ, въ поэзіи Некрасова снова воскресло славословіе, совсѣмъ было замершее въ эпоху Лермонтова, но это славословіе направилось совсѣмъ въ противоположную сторону, сбросило съ себя официальную маску раболѣвства и лести, сошло съ риторическихъ ходовъ ложнаго классицизма на реальную почву и начало воспѣвать то, что было на Руси истинно доблестнаго и великаго.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ, конечно, въ народной средѣ, и вотъ передъ нами проходитъ рядъ образовъ благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей

удали, но чуждыхъ всякой гордой кичливости въ сознаниі своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо-кроткихъ въ своемъ неисходномъ горѣ.

## XXIV.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, какъ и во всѣхъ прочихъ, мы видимъ тѣ же два разнородные элемента. Такъ, въ однихъ изъ нихъ Некрасовъ является, въ свою очередь, исключительно поэтомъ 40—50 годовъ. Отношеніе его къ народу въ этихъ стихотвореніяхъ вполне гуманное, исполненное горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ, подъ влияніемъ новыхъ освободительныхъ идей, но въ то же время рефлексивное, отрицательное, пессимистическое. Поэтъ смотритъ здѣсь на народъ со стороны и нѣсколько даже съ интеллигентнаго высока; народъ представляется ему подавленнымъ, забытымъ, обнищавшимъ, въ то же время полудикимъ, исполненнымъ всевозможныхъ предрасудковъ, бредущимъ по житейской дорогѣ

Въ безразсѣтной, глубокой ночи,  
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,  
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вмѣстѣ съ поэтомъ этотъ народъ, оплакиваете его во всѣхъ этихъ жалкихъ и убогихъ тетумкахъ Ненилахъ, Ванькахъ, топачихъ въ винѣ въ свои бурныя страсти и горе, ящичкахъ, насильно ожесненныхъ на барышникахъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, но вы тщетно стали-бы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, отраднаго, что могло-бы возбудить въ васъ не одно состраданіе къ нимъ, но и глубокое сочувствіе. Не найдете вы здѣсь также и той ободряющей вѣры, которая открыла-бы вамъ всю ширь и глубину могучаго народнаго духа, таящагося въ этихъ людяхъ, показала-бы вамъ, какіе трезвые и здоровые идеалы у нихъ, и заставляла-бы васъ, въ концѣ концовъ, видѣть въ нихъ залогъ свѣтлаго будущаго. Напротивъ того, читая эти стихотворенія, вы вмѣстѣ съ поэтомъ, способны прийти въ окончательное отчаяніе и воскликнуть: если и эти люди таковы, то гдѣ-же послѣ того выходъ и на что-же надѣяться? Однимъ словомъ:

Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,  
Гдѣ-же твой идолъ стоитъ?

И все это происходитъ отъ того, что въ подобныхъ стихотвореніяхъ поэтъ стоитъ за пропастью, которая отдѣляетъ народъ отъ интеллигенціи, является вполне чуждъ того глубокаго проникновенія въ душу и жизнь народа, которое могло-бы придавать стихотвореніямъ характеръ непосредственно-народный. Многія изъ нихъ проявляютъ страстный лиризмъ, но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько тѣхъ чувствъ, которыя переживаютъ изображаемыя личности изъ народа, сколько личнаго скорбнаго чувства самого поэта, который и стоитъ передъ вами на первомъ планѣ со своимъ проснувшимся совѣстью и душевнымъ разладомъ интеллигентнаго человека 40-хъ годовъ. Таковы стихотворенія: „Въ дорогѣ“, „Тройка“, „Извозчикъ“, „На улицѣ“ (Воръ, Проводы, Гри-

бокъ, Ванька), „Вино“, „Такъ, служба“, „Забитая деревня“, „Деревенскія новости“, „На полѣ“ и другія.

Но, рядомъ со всѣми подобными стихотвореніями, вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, личность его исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену народными личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ свои заветныя думы и чувства. Самый стихъ поэта, не теряя своеобразности, принимаетъ характеръ народныхъ нѣсеней, и языкъ его приобретаетъ такую богатую пластичность, образность, ирриность и мѣткость, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: „Морозъ красный носъ“, „Коробейники“, „Кому на Руси жить хорошо“; изъ мелкихъ — „Сторона наша убогая“, „Пахарь“, „Съ работы“, „Пѣсни“ и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы видите уже не одно отрицательное, обличительное отношеніе къ народу, въ видѣ пессимистическаго соболтзванія о его бѣдствіяхъ, изъ которыхъ не предвидится никакого выхода. Напротивъ того: народъ рисуется здѣсь прежде всего въ своихъ положительныхъ чертахъ, какъ могучій богатырь, который самымъ своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многолѣтнихъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обалденіе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе хотя-бы на „Думу“, которая начинается горькими сѣтованіями на бѣдность и недостатокъ въ заработкахъ, а кончается апофеозомъ труда совершенно въ русско-народномъ духѣ, исполненнымъ все той-же лихой удалы:

Эй! возьми меня въ работники,  
Поработать руки чешутся!  
Повели ты въ лѣто жаркое  
Мнѣ пахать пески сыпучіе,  
Повели ты въ зиму лютую  
Вырубать лѣса дремучіе —  
Только трескъ стоялъ-бы до неба,  
Какъ деревья-бы валдились:  
Вмѣсто шапки, бѣлымъ инеемъ  
Волоса-бы серебрились!

Чтобы понять вполне наглядно и ясно все диаметральное различіе двухъ вышеозначенныхъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, вы сравните стихотвореніе „Тройку“ съ поэмою „Морозъ красный носъ“. Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе, повидимому, вполне аналогично: и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. А между тѣмъ, какая неизмѣримая пропасть лежитъ между обоими произведеніями. Въ стихотвореніи „Тройка“, представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкой съ пробѣзжымъ корнетомъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Поживешь и попразднуешь въ волю,  
Будетъ жизнь и полна, и легка...  
Да не то тебѣ выпало въ долю:  
За нераху пойдешь мужика.  
Завязавши подъ мышку передникъ,  
Перетянешь уродливо грудь,  
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ  
И свекровь въ три погибели гнуть.  
Отъ работы и черной, и трудной  
Отвянешь, не успева расцвѣсть,  
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,  
Будешь нянчить, работать и вѣтъ

И въ лицѣ твоёмъ, полномъ движенія,  
 Полномъ жизни—появится вдругъ  
 Выраженіе тупого терпѣнія  
 И безмысленный вѣчный искутъ;  
 И схоронять въ сырую могилу,  
 Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,  
 Безполезно угасшую силу  
 И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь, правда, глубокое искреннее сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но сочувствіе это не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ бы сталъ въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. Въ самомъ дѣлѣ: развѣ вы не видите на первомъ-же планѣ эстетика, который прежде всего и болѣе всего оплакиваетъ потерю крестьянкой внѣшней красоты, которая скоро пропадетъ отъ тяжелаго труда? Или досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздничной вѣснѣ, при которой красота, конечно, сохранилась бы до сорока и болѣе лѣтъ, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грознаго мужика, который окажется непремѣнно ужъ злымъ привередникомъ и только и будетъ, что колотить ее взапуски со своею матерью, а главное дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что пилить, работать и, можетъ себѣ представить — ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, въ концѣ концовъ, она окажется почему-то бесполезно угасшею силою, такъ что незольно навѣривается у васъ вопросъ: ну, а какимъ-же способомъ она могла-бы оказаться на бесполезною силою? Неужели въ такомъ случаѣ, еслибы удалось ей догнать тройку съ провѣзшимъ корнетомъ и съ нимъ „попраздновать въ волю“?

Совсѣтъ не то видимъ мы въ поэмѣ „Морозъ красный носъ“. На первомъ-же планѣ рисуется здѣсь передъ вами величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, и до сихъ поръ не успѣлъ еще измѣлчать и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеніяхъ  
 Съ спокойною важностью лицъ,  
 Съ красивою силой въ движеніяхъ,  
 Съ походкой, со взглядомъ парницъ —  
 Ихъ развѣ слѣбной не замѣтить,  
 А зрячій о нихъ говоритъ:  
 «Пройдетъ—словно солнце осветитъ!»  
 «Посмотрать—рублемъ подаритъ!».

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величавостью придаѣлъ высокой трагической пафосъ всѣмъ ея прѣкшимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безсилія, подавленности, запянности, а могучіе стоны словно будто какой-то эпической героини, до послѣднихъ своихъ истинныхъ силъ борющейся съ злою судьбою. Въ семьѣ своей она — не безмысленный манекень для всеобщихъ поборовъ, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣто онъ жилъ работаючи,  
 Зиму не видѣлъ дѣтвой,  
 Ночи о немъ помышляючи,  
 Я не смыкала очей.  
 Бѣдетъ онъ, забнетъ... а я-то, печальная,  
 Изъ волоконистаго льну,  
 Словно дорога его чуждедальная,  
 Долгую нитку таяу.  
 Веретено мое прыгаетъ, вертится.  
 Въ полъ ударяется...  
 Проклушка пшнь идетъ, въ ритвинѣ престителъ,

Къ полу на горочкѣ самъ припрыгается.  
 Лѣто за лѣтомъ, зима за зимой —  
 Этакъ-то мы раздобылись казной!  
 Милостива буди къ крестьянину бѣдному,  
 Господи! все отдаемъ,  
 Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному,  
 Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ немногихъ стихахъ передъ вами обрисовывается вся доля крестьянской семьи, доля, правда, горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и въ особенности эпически-величаво рисуется здѣсь передъ нами эта женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ съ своимъ веретеномъ возвращенія мужа изъ его дальнихъ и трудныхъ странствій и въ то же время, словно Парка, придегъ свою нитку, такую же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзіи! Таково же остается героиня и до конца поэмы, когда, по смерти мужа, ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъ горькихъ сиротокъ, и въ страшной истомѣ, въ приливѣ неутихающаго горя, она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣснаго уединенія. Согласитесь, что поэма эта въ половину потеряла бы свое чарующее, хватающее за душу и потрясающее обаяніе, еслибы поэтъ не сумѣлъ представить свою героиню въ томъ величаво-идеальномъ свѣтѣ, въ какомъ она рисуется передъ нами, еслибы она хоть чуточку вышла бы пошлѣе, зауряднѣе, однимъ словомъ, — одною изъ тѣхъ тупыхъ, полумныхъ крестьянокъ съ „выраженіемъ тупого терпѣнія и безмысленнаго вѣчнаго искута“, какая рисуется передъ вами въ „Тройкѣ“. Но подумайте, въ чемъ же заключаются эти идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ такихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣляли бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ то и дѣло, что никакихъ особенныхъ подвиговъ вы не видите: совершенно согласно съ народными идеалами та самая работа и пильчье дѣтей, къ которымъ авторъ въ „Тройкѣ“ относится съ такою эстетическою безразличностью, здѣсь, напротивъ того, представлены во всемъ своемъ поэтическомъ апофеозѣ; они-то и дѣлаютъ Дарью героиней, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующую васъ не только наверху безпечнаго счастья, но и въ трагической гибели подъ ударами дикой судьбы.

Здѣсь, въ заключеніе, я долженъ сдѣлать необходимую оговорку, что, говоря о двухъ различныхъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая различныя стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, я, въ то же время, далеко отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики и рѣшительнаго расиределенія ихъ — одесную или ошую. Слово элементъ я употребляю здѣсь въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Они оба въ одно и то же время сидѣли въ мозгу Некрасова, и когда дѣйствовалъ одинъ, другой не отсутствовалъ всецѣло, а тоже оказывалъ свое влияние, и оставлялъ свои слѣды. Поэтому, въ томъ или другомъ стихотвореніи, можно видѣть только преобладаніе одного изъ элементовъ, а не полное, исключительное его господство. Есть, правда, и такіа произведенія, въ которыхъ одинъ изъ элементовъ вполнѣ господствуетъ, какъ,

напримѣръ, та же „Душа“ (Сторона паша убогая), вся проникнутая элементомъ народнымъ, или, съ другой стороны, „Рыцарь на часъ“, въ которомъ рефлексивный элементъ составляетъ всю суть. Но такихъ чистыхъ произведеній мало. Въ большинствѣ же, оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи, при преобладаніи одного. Такъ, въ поэмѣ „Морозъ красный носъ“, хотя и преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ ея вы найдете кое-какіе слѣды и рефлексивнаго. Въ „Тройкѣ“, наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Принимая же въ соображеніе всю массу стихотвореній Некрасова во всей совокупности и въ хронологическомъ ихъ порядкѣ, можно положительно сказать, что преобладаніе рефлексивнаго элемента относится къ первой половинѣ дѣятельности Некрасова, что соответствуетъ въ самомъ обществѣ господству этого элемента въ 40-ые—50-ые годы. По мѣрѣ же того, какъ разнородно-народный элементъ началъ вытѣснять рефлексивный, и въ стихотвореніяхъ Некрасова начинается преобладаніе этого элемента, который все болѣе и болѣе овладѣваетъ имъ къ концу литературной дѣятельности. Его послѣднее неоконченное стихотвореніе „Кому на Руси жить хорошо“ преисполнено народнаго элемента. Это произведеніе обѣщало быть широкою и всеобъемлющею эпопеею народной жизни въ самыхъ ея многообразныхъ проявленіяхъ, не только въ однихъ мрачныхъ ея чертахъ, но и въ самыхъ свѣтлыхъ и радостныхъ моментахъ, что мы отчасти и видимъ въ напечатанныхъ главахъ.

Эти соображенія перевертываютъ вверхъ ногами всѣ приговоры относительно Некрасова со стороны критиковъ, въ родѣ Евг. Маркова и tutti quanti. Они обыкновенно говорятъ, что Некрасовъ, подпавши подъ вліяніе литературныхъ кружковъ 60-хъ годовъ, подчинился ихъ требованіямъ отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни и народу и началъ донять свой талантъ во исполненіе этихъ требованій. На дѣлѣ же мы видимъ нѣчто совершенно обратное. Именно, подъ вліяніемъ рефлексивныхъ кружковъ 40-хъ годовъ въ немъ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Кружки же 60-хъ годовъ, въ которыхъ преобладали разночинцы, дѣйствовали на него совершенно обратно: они будили въ немъ задремавшія струны сочувствія къ народу и борьбу съ тяжелыми условіями жизни, напоминая ему его собственную горькую юность, возбуждали въ немъ восторженное отношеніе къ новымъ положительнымъ идеаламъ, любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, склоненныя неустаннымъ трудомъ и несломленнымъ вѣковыми страданіями, раскрывали ему положительные, идеальныя стороны народа, не имѣющія ничего общаго съ прежними его идеалами. И вотъ мы видимъ, что взгляды Некрасова на народъ значительно просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его началъ встрѣчаться не одиъ убогія тетушка Ненилы и пьяные Ваньки, а Проклы, дѣдушки Савельи, Мазан, Яковы, Дарьи, Катерины и проч. Однимъ словомъ—

изъ скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства рефлексивнаго періода онъ обратился въ общенароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

Послѣ всего вышесказаннаго я не знаю, нужно ли отвѣчать на вопросъ, который часто встрѣчается и въ литературѣ, и въ обществѣ въ позднѣйшее время, который касается и въ послѣднихъ стихотвореніяхъ Некрасова, именно: какъ могутъ быть долговѣчны стихотворенія Некрасова, скоро ли они могутъ, утрачивши всякое современное и живое значеніе, сдѣлаться явленіемъ вполнѣ историческаго прошлаго, и главное дѣло, проторять-ли къ нимъ дорогу народныя души, пойметъ-ли ихъ народъ и отнесется-ли къ нимъ съ тѣмъ же восторгомъ, съ какимъ мы къ нимъ относимся, назовемъ ли ихъ своими народными пѣснями?

Очевидно, что весь Некрасовъ, во всемъ своемъ составѣ, не можетъ дойти ни до потомства, ни до народа, что, между прочимъ сказать, въ сущности, одно и тоже. Такъ, многія стихотворенія съ преобладаніемъ рефлексивнаго духа 40-хъ—50-хъ годовъ и теперь уже начинаютъ утрачивать свое современное значеніе, а когда мы совсѣмъ покончимъ съ историческимъ періодомъ, начавшимся пробужденіемъ совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ и рефлексіями и ознаменованными появленіемъ разночинца, тогда и подавно всѣ подобныя стихотворенія сдѣлаются достояніемъ исторіи. Такъ, напримѣръ, кромѣ историческаго интереса, какое будетъ дѣло народу до того, какъ нѣкогда Некрасовъ оплакивалъ въ „Рыцарѣ на часъ“ свое безпутное поколѣніе, замовался на сѣнительность цензуры въ поэмѣ „Судъ“ или воспеивалъ разныя свои размоловки и недомолвки съ женщинами въ своихъ любовныхъ явленіяхъ. Не узнаетъ или, лучше сказать, забудетъ себя народъ и въ этихъ ямбикахъ, насильно ожененныхъ на дворовыхъ дѣвушкахъ, воспитанныхъ на барскую ногу, огородникахъ, сосланныхъ въ Сибирь за любовь къ похитчицѣмъ барышнямъ, и проч. А что касается до флантроповъ, Киселевъ, клубныхъ типовъ, чиновниковъ и проч., и проч., то нечего и говорить о томъ, что все это и для насъ не сегодня-завтра утратитъ всякое современное значеніе, а о народѣ и говорить нечего, чтобы всѣ эти преходящія, временныя явленія нашего безпутства могли его занимать, когда они давно уже успѣютъ сойтись съ исторической сцены и покрыться мглою общаго забвенія. Но такія вещи, какъ „Морозъ красный носъ“, „Коробейники“, „Кому на Руси жить хорошо“ и подобныя имъ произведенія, навѣрное, останутся вѣковыми памятниками Некрасова. Ихъ нельзя не понять и не полюбить народу, потому что въ нихъ онъ увидитъ самого себя, вѣковѣчныя черты своего существа. Пусть совсѣмъ измѣнится бытъ народа, но будетъ и Прокловъ, прирагающійся къ своимъ лошадаямъ-кормилицамъ на косягахъ, и Дарій, сучащихъ, въ ожиданіи труженника-мука, свою нитку, такую же длинную, какъ его дорога — и все таки останется народъ съ тѣми же вѣковѣчными идеалами святаго, неустаннаго труда и любвеобильнаго благодушія, а пока останется живъ народъ, не умретъ и пѣвецъ его—Некрасовъ.



## РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.

(По поводу романа гр. Л. Толстого „Анна Каренина“).

А вы, друзья, как ни садитесь,  
Все в музыканты не годитесь.

Вследствие того, что романъ тапился очень долго, печатался съ большими промежутками, причемъ крайнее обилие художественныхъ картинъ, сценъ, всякаго рода деталей и нюансовъ, всецѣло поглощало вниманіе читателя, — произошелъ немалый скандалъ: большинство рецензентовъ, усердно трактовавшихъ о романѣ съ появленія первыхъ страницъ его въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и до выхода послѣдней части, впадо въ просакъ, не замѣтивши громаднаго слона въ видѣ основной идеи произведенія. На романъ слотрѣли не иначе, какъ на рядъ художественныхъ картинъ изъ великосвѣтской жизни, связанныхъ лишь двумя параллельно идущими любовными сюжетами, но не являющихъ ни малѣйшей идейной подкладки, того пышнаго философскаго снятеза, который осмысливалъ бы все изображенное въ произведеніи. Раздѣляясь на два лагери, поклонники и порицатели романа спорили между собою лишь о томъ, законна или незаконна идейная безсодержательность его. Порицатели ворчали на то, что авторъ только и дѣлаетъ, что водить читателя изъ одного салона въ другой, знакомя его до мельчайшихъ подробностей, какъ великосвѣтскіе люди обѣдаютъ, танцуютъ, ведутъ прихода-расходные счета, женятся, рожаютъ, кунаютъ дѣтей, совершаютъ вальсы и невольныя прелюбодѣнія, сирѣзуютъ душелей, — и не мало не заботится о раскрытіи внутренней смысла всего этого. Поклонники-же, въ свою очередь, тѣмъ именно и восхищались, что авторъ является чуждымъ всякихъ тенденцій, безхитростнымъ бытописателемъ и сердцевѣдомъ, совершенномъ прокопелетомъ по рецепту Золя. Восхищались тѣми или другими яфстами, типами, глубиной психическаго анализа различныхъ сценъ, — и далье этого не шли въ восхищенія. Я въ жизнь свою не забуду, какъ одному изъ поклонниковъ болѣе всего понравилось въ романѣ изображеніе сердечныхъ тайнъ великосвѣтской барыни, и онъ печатно заявилъ свой восторгъ по поводу того, что гр. Толстой, будто-бы, „возвысился до общечеловѣчности, съгубивши изящную даму, лучшую изъ всѣхъ по уму, образованію, честности, представлявъ такую-же плотоядную, вздорную, эгоистичную и грубую, какъ крестьянская баба“ — и ничего выше этого не нашель онъ въ романѣ. Только когда вышла послѣдняя часть, и въ ней съ особенною рельефностью, почти что въ голомъ, отвлеченномъ видѣ выступила идея романа, рецензенты ухватились за нее, но высказали о ней лишь нѣсколько незначительныхъ словъ и то лишь въ приложеніи къ одной послѣдней части, а не ко всему роману въ его цѣломъ составѣ.

Я воображаю, въ какое удивленіе должны были привести гр. Л. Толстого всѣ эти толки рецензентовъ и въ особенности поклонниковъ, ничего не прозрѣвшихъ,

въ концѣ-концовъ, въ романѣ его, какъ лишь стремленіе унизить — а ужъ не знаю что: деревенскую-ли бабу насчетъ Анны Карениной, или наоборотъ. Помилуйте, авторъ изъ силъ выбился, чтобы отъ первой страницы до послѣдней черезъ весь романъ провести свою заветную идею, которая, можетъ быть, составляетъ продуктъ всей его жизни, и вдругъ читатели ничего не усматриваютъ, кромѣ мастерскаго изображенія грѣхопаденія Анны! Это болѣе, чѣмъ обидно, это, въ своемъ родѣ, — трагично. Разъясненіе этого трагическаго казуса и будетъ составлять предметъ настоящей статьи, и къ этому разъясненію я приступаю безъ всякихъ околичностей.

Кромѣ вышеупомянутыхъ причинъ, — растанутости печатанія и облія деталей, — трагическій казусъ, о которомъ мы говорили, имѣетъ еще и другую болѣе существенную причину. Дѣло въ томъ, что а не помню другого такого произведенія, въ которомъ художникъ находился-бы въ подобномъ-же антагонизмѣ съ мыслителемъ, какъ романъ гр. Л. Толстого. Онъ представляетъ изъ себя вполне тотъ знаменитый возъ басни Крылова, который лебедь тащитъ въ облака, какъ тянуть назадъ, а щука тянетъ въ воду. Мыслитель говоритъ одно, а художникъ представляетъ ваъ совсѣмъ другое; мыслитель требуетъ, чтобы художникъ такъ вотъ и такъ иллюстрировалъ его идею, а художникъ беретъ, да и мажетъ кистью совершенно наперекоръ мыслителю. Но такъ какъ художникъ въ тысячу разъ и сильнѣе, и правдивѣе мыслителя, то онъ кладетъ его въ лоскъ. Несчастный мыслитель низверженъ, затертъ, онъ тонетъ, задыхается въ разбушевавшихся стихіяхъ художественнаго творчества, изрѣдка онъ напоминаетъ вамъ о своей гибели, протягивая вамъ руки и испуская неистовые вопли. Эти вопли дико поражаютъ вашъ слухъ среди художественнаго шршества, но тотчасъ-же и заглушаются новыми приливами поэтическихъ волнъ, и только въ послѣдней части мыслитель выносятся передъ вами въ голомъ, обезображенномъ видѣ, — но это уже лишь истерзанный трупъ, выкинутый на берегъ враждебными волнами, какъ не имѣющей ничего съ ними общаго.

Для того, чтобы вполне разъяснить это странное, ненормальное и болѣзненное явленіе, мы займемся сначала анатоміей выброшеннаго трупа, изслѣдуемъ, что хотѣлъ сказать намъ авторъ, какъ мыслитель, а затѣмъ посмотримъ, что сказалъ онъ намъ, какъ художникъ.

Объ основныхъ воззрѣніяхъ гр. Л. Толстого было такъ много рѣчей въ послѣднее время, что а не считаю нужнымъ много распространяться объ этомъ. Всѣмъ и каждому нынѣ извѣстно, что воззрѣнія эти представляютъ не малую путаницу, въ безирѣдѣльномъ хаосѣ которой вы найдете частичку истины-из-

ма, частичку особеннаго рода московскаго культурнаго абсентизма, частичку, наконецъ, чего-то туманнаго, неопредѣленнаго, безыменнаго, въ чемъ слышится не то вліяніе новѣйшаго народолюбства, не то отрыжка сепитиментализма въ духѣ Ж. Ж. Руссо. Слѣдуетъ только отдать справедливость, что несчастный мыслитель, разгромляемый художникомъ, является въ послѣднемъ романѣ болѣе послѣдовательнымъ и опредѣленнымъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Здѣсь преобладаетъ передъ нами московско-культурный абсентизмъ, на подкладкѣ мистицизма, народолюбства же почти незаметно. Оттого и основная идея романа довольно ясна и проста. Ее можно даже выразить нѣсколькими словами. Вся суть заключается въ томъ, что единственное спасеніе для русскаго человѣка— быть самимъ собою, жить безхитрою и непосредственно, какъ создала его природа, твердо держась основныхъ культурныхъ началъ; малѣйшее же отклоненіе отъ этихъ началъ куда-либо въ сторону— тотчасъ же посылаетъ разладъ и во внутренней, и во вѣншей жизни русскаго человѣка; и чѣмъ болѣе это отклоненіе, тѣмъ и разладъ больше, такъ что люди, которые совсѣмъ уже сошли съ культурной почвы, обезличились и обезчлѣвились,—представляютъ изъ себя не что иное, какъ среду полного нравственнаго разложенія: здѣсь начинается область душевной агоніи, отчаянія, скорби и скрежета зубовъ; здѣсь гнѣдятся всѣ адскіе пороки и отсюда истекаютъ всѣ страшныя преступленія. Такова основная идея романа, взятая въ общей отвлеченной формулѣ. Формула эта имѣетъ, повидимому, славянофильскій характеръ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что для того, чтобы твердо стоять на почвѣ и обрѣсти тѣмъ душевный миръ, спасеніе и праведность, далеко недостаточно держаться различныхъ славянофильскихъ принциповъ, т. е. принадлежать къ православной церкви и исповѣдывать всѣ ея догматы, любить братьевъ-славянъ и желать имъ въ будущемъ всякихъ благъ, но не иначе, конечно, какъ подъ гегемоніею Россіи, ненавидѣть гнилой Западъ и въ особенности нѣмцевъ, и не вдаваться ни въ какія умствованія и разсужденія, а быть ниже воды и тише травы, терпѣливо и безропотно переносить всякое иго, потому что, какъ размышлялъ Левинъ, еще при Рюрикѣ народъ сказалъ варягамъ: „книжите и владѣйте нами. Мы радостно общаемъ полную покорность. Весь трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремъ на себя; но не судимъ и не рѣшаемъ“. Нѣтъ, этого всего оказывается еще недостаточно: нужно быть, кромѣ того, еще особеннаго рода избранникомъ; необходимо *родиться на почвѣ* и возрости на пей. А это возможно лишь въ двухъ положеніяхъ: въ положеніи мужика-крестьянина, или столбоваго дворянина-помѣщика, всю жизнь прожившаго въ своемъ имѣніи и ничѣмъ болѣе не занимающагося, какъ лишь сельскимъ хозяйствомъ. Да, первое условіе, чтобы кромѣ сельскаго хозяйства ничѣмъ болѣе не заниматься, потому что всякое постороннее занятіе является уже отклоненіемъ отъ культурной почвы на томъ основаніи, что все остальное оказывается заимствованнымъ нами съ Запада: не говоря уже о бюрократизмѣ, о формахъ городской свѣтской жизни,

о судахъ, о наукѣ, о литературѣ, но даже и земскія учрежденія, народныя школы и больницы, фабрики и желѣзныя дороги и пр. и пр. Все это, какъ заимствованное съ Запада и не приспособленное къ русской жизни, не вошедшее въ ея плоть и кровь,—есть искусственность, натяжка, заключаетъ въ себѣ болѣе или меньшій процентъ лжи и такъ или иначе посылаетъ разладъ во внутренней и вѣншей жизни русскаго человѣка. Повидимому такой взглядъ на вещи коренится на славянофильской почвѣ, но въ сущности онъ идетъ нѣсколько дальше: это тотъ послѣдній, крайній выводъ, который обыкновенно кончаетъ тѣмъ, что отрицаетъ всякую возможность практическаго осуществленія того ученія, изъ котораго онъ выходитъ. И дѣйствительно, разъ гр. Л. Толстой становится на такую исключительную точку зрѣнія, онъ необходимо долженъ отвергнуть и славянофильство въ томъ видѣ, въ какомъ оно осуществляется на практикѣ. Славянофильство—есть явленіе жизни городской, ложной въ самыхъ своихъ основаніяхъ, оно возникло на почвѣ науки и философіи, заимствованныхъ съ Запада, оно допускаетъ разныя умствованія и разсужденія, обнаруживающія своего рода гордость разума, оно не ограничивается одною пассивною готовностью полной искренности и принятія на себя всѣхъ жертвъ и униженій, а изъясняетъ претензію судить и рѣшать и допускаетъ активное вмѣшательство въ вопросы о судьбахъ славянъ. Наконецъ, къ славянофильству принадлежатъ не одни только столбовые дворяне, ни о чемъ не помышляющіе, какъ лишь о сельскомъ хозяйствѣ, но и свѣтскіе шаркуны, и чиновники, и профессора, и газетчики, люди безочевенные, исполненные всевозможной лжи и полнаго разлада съ самими собой. Гр. Толстой не остановился и передъ этимъ послѣднимъ выводомъ изъ своей точки зрѣнія: онъ не замедливъ поразить и самое славянофильство, отнесся отрицательно къ самому дорогому и излюбленному моменту его проявленія—тому общественному движенію въ пользу славянъ, какимъ ознаменовался 1876 годъ. Онъ прямо называетъ славянскій вопросъ однимъ изъ тѣхъ модныхъ увлеченій, которыя всегда, съ нѣною одно другое, служатъ обществу предметомъ занятія, признаетъ, что много было людей, занимавшихся этимъ дѣломъ съ корыстными, тщеславными цѣлями, что газеты печатали много ненужнаго и преувеличеннаго, съ одною цѣлію обратить на себя вниманіе и перекричать другъ друга, что при этомъ общемъ подъѣмѣ общества выскочили впередъ и кричали громче другихъ всѣ неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе безъ армій, министры безъ министерствъ, журналисты безъ журналовъ, начальники партій безъ партизановъ. Что же касается до народа, то гр. Толстой отрицаетъ всякую народность этого движенія. Тѣ сотни, тысячи добровольцевъ, которые шли въ Сербію воевать съ турками, по его мнѣнію, значили только, что въ восьмидесяти миллионномъ народѣ всегда найдутся не сотни, какъ теперь, а десятки тысячъ людей, потерявшихъ общественное положеніе, безнabasныхъ людей, которые всегда готовы—въ шайку Пугачева, въ Хиву, въ Сербію... Писаря волостные, учителя и изъ мужиковъ одинъ на тысячу, можетъ быть, знаютъ, о чемъ идетъ дѣло. Остальные-же 80 миллионныя, не только

не выражаютъ своей воли, но не имѣютъ ни малѣйшаго понятія, о чемъ имъ надо-бы выразить свою волю. Какое-же мы имѣемъ право говорить, что это воля народа?

Это и есть то, что я не могу никакъ иначе назвать, какъ московско-культурный абсентизмъ. Это своего рода феодализмъ, но не тотъ средневѣковой феодализмъ, который замыкался въ замки, окружалъ себя вассалами и отстаивалъ право чеканить монету и грабить по дорогѣ проезжихъ купцовъ, а нашъ доморощенный феодализмъ самоповѣйшей чеканки, обходясь безъ замковъ и вассаловъ и не предъявляющій претензій ни на какія иные права, какъ лишь на право восклицать: моя хата съ краю, ничего не знаю, и май на все наплевать.

«Я считаю аристократомъ себя и людей подобныхъ мнѣ,—говорилъ Левинъ Облонскому,—которые въ прошедшемъ могутъ указать на три-четыре чистыя поколѣнія семьи, находившихся на высшей степени образованія, и которые никогда ни предъ кѣмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нуждались, какъ жила мой отецъ, мой дѣдъ. Мы—аристократы, а не тѣ, которые могутъ существовать только подачками отъ сильныхъ мира сего, и кого купить можно за двугривенный».

«Я думаю,—говоритъ въ другомъ мѣстѣ Левинъ:—что двигатель всѣхъ нашихъ дѣйствій есть все-таки личное счастье. Теперь, въ земскихъ учрежденіяхъ, я, какъ дворянинъ, не вижу ничего, что-бы содѣйствовало моему благосостоянію. Дороги не лучше и не могутъ быть лучше; лошади мои везутъ меня и по дурнымъ. Доктора и пунта (медицинскаго) мнѣ не нужно. Мировой судья мнѣ не нуженъ,—я никогда не обращаюсь къ нему и не обращаюсь. Школы мнѣ не только не нужны, но даже вредны. Для меня земскія учрежденія—просто повинность платить восемнадцать копѣекъ съ десятины, ѣздить въ городъ, почевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и гадости,—а личный интересъ меня не побуждаетъ».

Представлю читателю еще одну выписку, чтобы передать намъ вполнѣ рельефно очертился тотъ идеалъ московско-культурнаго абсентизма, въ которомъ гр. Л. Толстой полагаетъ все спасеніе для русскаго чело-вѣка.

«Прежде (это началось почти съ дѣтства и все росло до полной возмужалости), когда Левинъ старался думать что-нибудь такое, что сдѣлало-бы добро для всѣхъ, для чело-вѣчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ были пріятны, но сама дѣятельность всегда бывала нескладная, не было полной увѣренности въ томъ, что дѣло необходимо нужно, и сама дѣятельность, казавшаяся сначала столь большою, все уменьшалась и уменьшалась, сходила на нѣтъ; теперь-же, когда онъ, послѣ женитьбы, сталъ болѣе и болѣе ограничивать жизнь для себя,—онъ, хотя не испытывалъ болѣе никакой радости при мысли о своей дѣятельности, чувствовалъ увѣренность, что дѣло его необходимо, видѣлъ, что оно спорится гораздо лучше, чѣмъ прежде, и что оно становится болѣе и болѣе. Теперь онъ, точно противъ воли, все глубже и глубже прѣзпался въ землю, какъ плугъ, такъ что уже и не могъ вырваться, не отворотивъ борозды».

«Жизнь семьи такъ, какъ привыкли жить отцы и дѣды, то-есть, въ тѣхъ-же условіяхъ образованія, и въ тѣхъ-же воспитывать дѣтей,—было непремѣнно нужно. Это было такъ-же нужно, какъ обдѣлать, когда вѣтъ хочется; а для этого такъ-же нужно знать, какъ приготовить обдѣл, нужно было вести хозяйственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы были доходы. Такъ-же несомнѣнно, какъ нужно от-

дать долгъ, нужно было держать родовую землю въ такомъ положеніи, чтобы сынъ, получивъ ее въ наслѣдство, сказалъ такъ-же спасибо отцу, какъ Левинъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ построилъ и насадилъ. И для этого нужно было не отдавать землю въ наймы, а самому хозяйничать, держать скотину, навозить поля, сажать лѣса».

Вотъ вамъ единственный рецептъ душевнаго мира, праведности и счастья. Другаго пути никакого гр. Л. Толстой не признаетъ; въ его все—искусственность и ложь, и какъ слѣдствіе искусственности и лжи—уныніе, разочарованіе, зубовный скрежетъ угрызеній и отчаянья.

Сообразно этой идеи и дѣйствующія лица романа распределены одесную и ошую по большей или меньшей ихъ культурности и почвенности. Крайнюю правую представляетъ собою, конечно ужъ, Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, устами котораго тлаголетъ самъ авторъ. Это главный герой романа, воплощенный идеалъ автора, чело-вѣкъ мало того, что твердо стоящій на почвѣ, но, какъ мы сейчасъ видѣли, врывающійся въ нее, какъ плугъ. Далѣе за Левинымъ слѣдуетъ семья князей Щербацкихъ, такой-же старый дворянскій московскій домъ, какъ и домъ Левиныхъ, и всегда бывшій въ близкихъ и дружескихъ отношеніяхъ съ послѣднимъ. Въ этой семьѣ культурнѣе всѣхъ оказывается самъ старый князь, всѣ симпатіи и антипатіи котораго являются постоянно вполнѣ солидарными съ Левинымъ. За тѣмъ слѣдуютъ князья Кити и Долли. Что же касается до старой княгини, то хотя по своему типу и характеру она и много заключаетъ въ себѣ культурныхъ свойствъ, но зараженная свѣтскимъ тщеславіемъ и суетностью, она значительно уступаетъ князю и прочимъ членамъ семьи, за что и платится: устраиваетъ несчастный бракъ своей дочери Долли за князя Облонскаго и чуть не губитъ младшую дочь Кити сватовствомъ за графа Вронскаго, увлекшись блестящимъ мундиромъ, связямъ и петербургскимъ свѣтскимъ доскомъ графа.

За князьями Щербацкими можно поставить дворянина Свияжскаго, предводителя дворянства въ томъ уѣздѣ, гдѣ было имѣніе Левина. Хотя этотъ Свияжскій и зараженъ былъ либерализмомъ и всякими новѣйшими заимствованными съ Запада идеями, но въ тоже время это былъ одинъ изъ тѣхъ людей, «разсужденіе которыхъ, очень послѣдовательное, идетъ само по себѣ, а жизнь, чрезвычайно опредѣленная и твердая въ своемъ направленіи, идетъ сама по себѣ, совершенно независимо и почти всегда въ разрѣзъ съ разсужденіемъ»,—и по своей жизни онъ, что-бы тамъ ни разсуждалъ, твердо держался почвы; а потому его тоже слѣдуетъ поставить одесную, и пожалуй даже мѣстомъ выше тщеславной княгини Щербацкой.

Затѣмъ идетъ уже лѣвая сторона, въ которой фигурируютъ всѣ прочія дѣйствующія лица романа: здѣсь мы видимъ такого писателя, какъ Сергій Ивановичъ Кознышевъ, который горечью неудачи шестилѣтняго труда «Опыта обзора основъ и формъ государственности въ Европѣ и Россіи», топилъ въ искусственомъ увлеченіи славянскимъ вопросомъ, здѣсь такой патентованный ученый, какъ Метровъ, который слѣпо мѣриетъ русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій; здѣсь такой

докторъ, какъ московская знаменитость на консилиумѣ у князей Щербачкиныхъ, который, потребовавши осмотра больной Кити, „съ особеннымъ удовольствіемъ, казалось, настаивалъ на томъ, что дѣвичья стыдливость есть только остатокъ варварства, и что нѣтъ ничего естественнѣе, какъ то, чтобы еще нестарый мужчина ощущивалъ молодую обнаженную дѣвушку“; здѣсь знаменитый петербургскій адвокатъ, который вмѣсто участія и скорби исполняется злобною радостью, когда къ нему приходитъ совѣщаться о разводѣ мужа, обманутой женою, въ лицѣ Алексѣя Александровича Каренина, и глаза адвоката преисполняются торжествомъ, восторгомъ, блескомъ, похожимъ на тотъ зловѣщій блескъ, который несчастный Каренинъ видалъ въ глазахъ жены. Здѣсь-же и самъ онъ—Алексѣй Александровичъ Каренинъ, бюрократическая машина, съ безцвѣтными оловянными глазами и съ длинными хрицеватыми ушами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей. Здѣсь и набожная графиня Лидія Иваловна, великосвѣтская сектантка, религиозное увлеченіе которой, вмѣсто того чтобы смягчить ея сердце, сдѣлало его еще болѣе черствымъ и безчеловѣчнымъ; здѣсь и княгиня Ветси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, который, по словамъ автора, „былъ собственно свѣтъ,—свѣтъ баловъ, обѣдовъ, блестящихъ туалетовъ, свѣтъ, держащійся одною рукою за дворецъ, чтобы не спуститься до полузвѣта, который члены этого круга думали, что презирали, но съ которымъ вкусы у него были не только сходные, но одни и тѣ же“. Здѣсь и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій—эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до головы, разворающій семейство своимъ мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью.

На самомъ-же такъ сказать низу этого адскаго винта красуются люди, окончательно отрубившіеся ото всего культурнаго, обезличившіеся виолнѣ и потерявшіе всякую почву подъ ногами. Таковъ Николай Левинъ, который въ университетѣ и годъ послѣ университета, не смотря на насмѣшки товарищей, жилъ, какъ монахъ, въ строгости исполняя всѣ обряды религіи, службы, посты, и избѣгая всякихъ удовольствій, въ особенности женщинъ; и потомъ, вдругъ его какъ прорвало: онъ сблизился съ самыми гадкими людьми, и пустился въ самый безпутный развратъ, взялъ изъ деревни мальчика воспитывать, и въ припадкѣ злости такъ избилъ, что началось дѣло по обвиненію въ причиненіи увѣчья; проигралъ деньги шулеру, далъ ему вексель и самъ подалъ на него жалобу, доказывая, что тотъ его обманулъ; ночевалъ ночь въ части за буйство; поѣхалъ служить въ западный край, и тамъ попалъ подъ судъ за побой, нанесенные старинѣ; въ концѣ концовъ вступилъ въ сожитіе съ нѣкоей Марьей Николаевной, которую взялъ изъ распутнаго дома, и вошелъ въ какія-то темныя сношенія съ социалистами. Послѣ такого ужаснаго господина остаются только преступный осквернитель чужого ложа графъ Алексѣй Кирилловичъ Вронскій и сообщница его по прелюбодѣянію Анна Аркадьевна Каренина, о которыхъ намъ предстоитъ еще много рѣчей впереди.

Но гр. Л. Толстой не ограничивается только тѣмъ,

что дѣлать свои дѣйствующія лица на два лагера,—правыхъ и лѣвыхъ, для того чтобы однихъ похвалить и поставить имъ хорошей баллы за поведение, а другихъ наказывать выговоромъ и дурными аттестатами. Не ограничивается онъ также однимъ раскрытіемъ различныхъ естественныхъ, историческихъ или социологическихъ причинъ, по которымъ культурные люди преискусываютъ и обрѣтаютъ душевный миръ, нравственное совершенство и счастье, а некультурные—душевный разладъ, угрызненіе преступной совѣсти и отчаяніе. Нѣтъ, кромѣ того онъ изъясняетъ еще претензію раскрыть намъ нѣкіе таинственные пути Провидѣнія. Онъ поставилъ эпиграфомъ своего романа евангельскій текстъ: „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“, и этимъ онъ какъ-бы хотѣлъ выразить, что само Небо заботится, чтобы люди твердо стояли на культурной почвѣ, и если они отрѣшаются отъ культурности, то оно вооружается противъ нихъ своимъ страшнымъ гнѣвомъ. Николай Левинъ, графъ Вронскій и Анна Каренина, какъ болѣе сошедшіе съ почвы, являются въ романѣ преступными жертвами небеснаго отмщенія.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется намъ графъ Л. Толстой, какъ мыслитель. И если-бы этотъ мыслитель преобладалъ надъ художникомъ, т. е. если-бы онъ былъ послѣдовательнѣе, тверже, фанатичнѣе, а художникъ былъ-бы менѣе вѣренъ своимъ творческимъ инстинктамъ, менѣе чутокъ, менѣе искрененъ и правдивъ,—тогда автору очень легко было-бы провести свою тенденцію самымъ убѣдительнымъ образомъ для читателя. Стоило только иначе освѣтить и слегка подтасовать изображенные факты, прибавить болѣе черныхъ красокъ съ одной стороны, болѣе свѣлыхъ—съ другой, такъ чтобы Анна Каренина, Вронскій и Николай Левинъ—ничего-бы не возбуждали въ читателѣ, кромѣ нравственнаго омерзенія и ужаса передъ чернотой ихъ душъ, а К. Левинъ и князя Щербачки рисовались въ самомъ обольстительномъ свѣтѣ,—и дѣло было-бы въ шляпѣ. Такъ обыкновенно и поступаютъ плохіе тенденціозные художники въ родѣ напримѣръ Бол. Маркевича: они ужъ если нарицуютъ передъ нами излюбленнаго имъ культурнаго героя, то такимъ красавцемъ, такимъ умнымъ, такимъ храбрымъ, честнымъ, великодушнымъ, что у васъ въ глазахъ рябитъ, глядя на него; за то вокругъ героя, куда ни оглянитесь—одно нравственное и физическое уродство, малодушіе, низость, подлость, распутство. Вотъ что называется—быть непоколебимо твердымъ въ заданной тенденціи и вѣрнымъ ей. Но въ романѣ гр. Л. Толстого художникъ, какъ мы выше сказали, презрѣлъ мыслителя, возмущился противъ него, пошелъ своею дорогою и привелъ читателя къ выводамъ, которые можно назвать, пожалуй, диаметрально-противоположными тенденціи романа. Посмотримъ же, что намъ сказалъ художникъ вопрека мыслителю.

А художникъ первымъ дѣломъ взялъ, да и уничтожилъ всѣ тѣ перегородки, которыми наставлялъ мыслитель, и переѣхалъ всѣ дѣйствующія лица, поставивъ передъ нами въ одинъ рядъ, какъ правыхъ, такъ и лѣвыхъ, предоставивъ любоваться всѣми ими безразлично. Изобразивши хотя и прачными красками,

но далеко не такни, какъ-бы слѣдовало по рецепту мыслителя, лѣвую сторону, онъ въ то же время не западалъ и правую, и выдалъ намъ съ головою своихъ культурныхъ героевъ. Онъ поступилъ въ этомъ отношеніи совершенно такъ, какъ поступаютъ правдивые, но тѣмъ не менѣе ужасные свидѣтели, которыхъ призываютъ въ судъ защитники для оправданія клеветовъ, а они вдругъ начинаютъ свидѣтельствовать къ еще большому обвиненію подсудимыхъ. Въ результатѣ вышла грустная, безнадежно мрачная картина, на темномъ фонѣ которой люди, претендующіе быть лучшими представителями своей среды, оказываются вдругъ чуть-что не хуже худшихъ. Это была бы гениальная и злѣбная проща, если бы только художникъ сознавалъ, что онъ дѣлаетъ, и произвелъ бы на самомъ дѣлѣ.

Гр. Толстой, въ своемъ романѣ, вводитъ насъ въ дрябый земной рай, въ который раскрыты двери лишь немногимъ избранныкамъ, и знакомитъ насъ съ нѣсколькими такими счастливыми, которыхъ, повидимому, можно отъ всей души позавидовать. Они живутъ въ своемъ раю, какъ птицы небесныя, не слѣтютъ, не жуютъ и въ житницы не собираютъ, а только срываютъ цвѣты удовольствій, да и какихъ еще удовольствій: все, что только есть на земномъ шарѣ наиболѣе красиваго, рѣдкаго, цѣннаго и улаждающаго чувства, — все это стекается со всѣхъ концовъ міра въ ихъ роскошные и благоухающіе чертоги. Стоитъ только пожелать имъ чего-либо въ предѣлахъ земного, и тотчасъ же это является къ ихъ услугамъ съ возможною поспѣшностью. Стоитъ захворать имъ насморкомъ, и ничего не стоитъ имъ собрать вокругъ одра большаго первѣйшихъ знаменитостей со всей Европы. Для нихъ не существуетъ ни буйства стихій, ни усталости путешествій, потому что по дорогамъ, въ морѣ или по улицамъ города — они повсюду продолжаютъ быть окружены такимъ же комфортомъ, какъ и дома: ни вѣтеръ не нахнетъ, ни одна капля дождя не упадетъ на нихъ. А когда они сходятся праздновать свой радостный праздникъ жизни, когда при блескѣ тысячи огней, среди тропическихъ растений, подъ чарующіе звуки музыки, смѣшиваясь съ пѣвучими, дѣльными звуками лучшаго въ мірѣ языка, мелькаютъ и кружатся ихъ разодѣтыя, раздушенные пары, когда лица ихъ сияютъ радостью и взаимнымъ радостіемъ, когда вы видите, что самыя ихъ веселья, играмы рѣчи направлены умышленно къ тому, чтобы лишь развлекать и улаждать чувства, а отнюдь не слушать сердца и не отягощать вниманія какою-нибудь головоломною и серьезною темою, — вамъ невольно приходится въ голову: вотъ оно, наконецъ, осуществленіе земнаго эдема, вотъ оно — передъ вами во стѣю царство гармоніи различныхъ западныхъ утопистовъ или Новый Сіонъ нашихъ раскольниковъ. И еще бы! вы возьмите хоть то во вниманіе, что здѣсь люди дошли до такой точности правоты, какаю только мыслима на землѣ, здѣсь невозможно никакое излишество: не только какая-нибудь безобразная пылая сцена и громкій разговоръ, но даже малѣйшій грубый жестъ или тривіальное слово; здѣсь о нѣкоторыхъ принадлежностяхъ туалета не позволяютъ себѣ даже и думать, не только что говорить. Однимъ

словомъ, каждое малѣйшее движеніе головою или ногою, каждый звукъ голоса доведены здѣсь до полного изящества съ цѣлю свидѣтельствовать о красотѣ и достоинствѣ цари земли — человѣка.

А между тѣмъ оказывается, что трудно представить себѣ людей, болѣе несчастныхъ и жалкихъ, чѣмъ эти завидные счастливыя. По крайней мѣрѣ такни изображаетъ ихъ гр. Л. Толстой. Весь романъ отъ первой страницы до послѣдней исполненъ какими то нравственными судорогами. Передъ нами словно нѣсколько темныхъ дикарей, которые сбились съ пути въ поискахъ обитаванной земли и блуждаютъ въ блаткахъ и дебряхъ, забывши откуда они пришли и куда идти. У каждаго изъ нихъ невообразимая путаница въ головѣ, и когда они бесѣдуютъ, они такъ мало понимаютъ другъ друга, какъ будто съ ними только что случилось нѣчто въ родѣ вавилонскаго столпотворенія и у нихъ стѣшались языки. Каждый изъ нихъ по своему ищетъ счастья, но въ концѣ концовъ оказывается, что если кто изъ нихъ пользуется хоть относительно спокойствіемъ и довольствомъ, такъ это лишь тѣ „счастливыя, ула недалняго дѣлывцы“, которымъ удалось разъ навсегда заглушить въ себѣ все человѣческое и, не поднимая никакихъ вопросовъ, не задавая себѣ никакихъ задачъ, поплыть по теченію, беззавѣтно отдавшись однимъ чисто свинскимъ инстинктамъ, памятуя лишь одно, что après nous le déluge. Но и изъ этихъ блаженныхъ людей ненарушимымъ счастьемъ пользуются лишь тѣ, которые усвоили себѣ мудрость наслаждаться благами чревоугодія, не дѣлая выбора изъ этихъ благъ, не устремляя всю свою алчность непрестанно на одно какое-нибудь благо, а безразлично срываетъ каждый цвѣтокъ удовольствія, попадающійся подъ руку: ананасы такъ ананасы, огурцы такъ огурцы, вчера фленсбургскія устрицы, а сегодня — кислая капуста съ лучкомъ, — ничего, — подавай намъ и канустыны. Но такихъ лицъ въ романѣ немного: Стива Облонскій, Васенька Веселовскій, княжна Ветси — и только. Для этого безмятежнаго пользованія жизнью во всѣхъ ея формахъ и видахъ необходимъ особеннаго рода темпераментъ, который не каждому дается. Большинство же дѣйствующихъ лицъ романа выбираютъ какой-нибудь особенный свой излюбленный лакомый кусокъ и всѣ свои душевныя силы употребляютъ на снисканіе именно этого куска: всякій другой кажется имъ и солономъ, и горекъ, и безвкусенъ. Но такъ какъ избранный лакомый кусокъ не всегда тотчасъ же попадаетъ въ ротъ алчущему: то кто-нибудь другой его переберетъ, то самъ по себѣ кусокъ оказывается почему-либо недоступнымъ, и вотъ — начинаются муки неудовлетворенной страсти, оскорбленнаго самолюбія, разочарованія, отчаянія. И замѣчательно, что только въ подобныя горькія минуты жизни въ этихъ людяхъ пробуждаются высшія человѣческія инстинкты. Они вдругъ словно прозрѣваютъ, что кроетъ ихъ, несчастныя лишеныя одного желаннаго лакомаго куска, есть еще тысячи, миллионы еще болѣе несчастныхъ, которые можетъ быть въ продолженіи всей жизни не видѣли даже и вдали-то чего-либо похожаго на лакомство. Сердца ихъ, которыя до того времени были глухи и стѣны ко всему, что выходило изъ предѣловъ

ихъ личныхъ, тревожащихъ вождельнѣй, смягчаются вдругъ, исполняются разными нѣжными и гуманными стремленіями; у нихъ является жажда кормить алчущихъ, поить жаждущихъ и врачевать недугоующихъ. По это просвѣтлѣніе длится обыкновенно очень недолго. Имъ становится и жутко, и неловко; они чувствуютъ себя сейчасъ же не въ своей тарелкѣ и затѣмъ, словно устыдившись своей слабости, дѣлаются еще черствѣе, жесточе и безчеловѣчнѣе.

Въ самомъ дѣлѣ, гр. Л. Толстой съ такою систематичностью провелъ черезъ всѣ почти главныя дѣйствующія лица романа это явленіе, что мы можемъ разсматривать его въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Такъ Вронскій, когда лакомый кусокъ въ видѣ Анны Карениной, оказался вдругъ далеко не столь сладкимъ, какъ онъ ожидалъ, и сердце его наполнилось горечью и пракомъ, началъ поощрять бѣдныхъ труженниковъ искусства, а потомъ вздумалъ строить въ своей усадьбѣ больницу для крестьянъ по всѣмъ правиламъ современной науки, не упустивши завести при этомъ даже особенное кресло съ машинкой въ тѣхъ видахъ, „что больной не можетъ ходить—слабъ еще, или болѣзнь ногъ, по ему нуженъ воздухъ—и онъ ѣздитъ, катается“... Анна Каренина, въ свою очередь, когда адъ, наполнившій ей сердце, дошелъ до самаго страшнаго разгара, тоже бросилась въ своего рода филантропію, взяла на свои руки семейство спившагося англичанина, бывшаго треворомъ у Вронскаго, сама начала готовить мальчиковъ по-русски въ гимназію, а дѣвочку взяла къ себѣ. Левинъ, когда лакомый кусочекъ, въ видѣ Кити, пронесся мимо его рта, увлекся, какъ мы увидимъ ниже, разными проектами улучшенія быта крестьянъ, и даже у самого у него явилось минутное поподзновеніе войти въ шкуру мужаика. М-Но Варенька, воспитанница нѣкоей ш-ше Шталь, послѣ неудачной любви бросается въ религиозный экстазъ и наполняетъ свою жизнь разными христіанскими подвигами въ родѣ ухаживанія за больными и чтенія евангелія преступникамъ. Даже Кити, добродушно наивная Кити, съ птичьимъ умишкомъ и инстинктами насѣдки, ни о чемъ не помышлявшая, какъ лишь о томъ, кого-бы осчастливить законнымъ предоставленіемъ своихъ прелестей, даже эта самая Кити, когда ей не удалось осчастливить Вронскаго, и ея душевный миръ, равно какъ и физическое здоровье, пошатнулись, тоже увлеклась примѣромъ Вареньки, прониклась жаждою христіанскихъ подвиговъ и начала ухаживать на водахъ за больнымъ художникомъ Петровымъ. Но когда послѣдній принялъ ухаживанія ея не въ религиозномъ, а совсѣмъ въ иномъ смыслѣ и влюбился въ нее, къ ужасу своей жены, Кити „какъ будто очнулась, почувствовала всю трудность безъ притворства и хвастовства удержаться на той высотѣ, на которую она хотѣла подняться; кромѣ того, она почувствовала всю тяжесть этого міра горя, болѣзней, умирающихъ, въ которомъ она жила; ей мучительно показались тѣ успѣха, которыми она дѣлала надъ собой, чтобы любить это, и поскорѣй захотѣлось на свѣжій воздухъ, въ Россію, въ Покровское“.

Наконецъ, даже самъ Алексѣй Александровичъ Каренинъ, чуть не съ пеленокъ обратившійся въ бюрократическую машину, въ которой все человѣче-

ское совсѣмъ окостенѣло до такой степени, что объ каждый разъ приходилъ чуть не въ неистовство, когда осмѣливались передъ нимъ плакать, котораго въ жизни такъ не радовало, какъ красота симметрически расположенныхъ на его столѣ письменныхъ принадлежностей, который до такой степени до привыкъ къ какимъ-либо душевнымъ движеніямъ, что запутался, произнося слово *перестрадалъ* и у него вышло *неле-неде-страдалъ*, — даже и этотъ административный манекень, въ самую трудную минуту жизни, у постели тяжело больной жены, испыталъ нѣчто въ родѣ нравственнаго просвѣтлѣнія и утѣшенія и оказался способнымъ протянуть братскую руку примиренія счастливому сопернику.

На первомъ планѣ романа разыгрывается передъ нами трагедія страсти Анны Карениной и Вронскаго. Въ этой-то трагедіи гр. Л. Толстой, въ качествѣ мыслителя, и отнесъ грозный эпитафій: „Мнѣ отищеніе и Азъ воздамъ“. Но художникъ и пальцемъ не пошевелилъ, чтобы оправдать этотъ эпитафій; напротивъ того, когда вы сѣдете за всѣми перипетіями этой драмы, то сначала вамъ дѣлается нѣсколько сѣтливо при видѣ высокопарнаго приложенія такого грознаго изреченія къ банальной великосвѣтской комедіи, а потомъ вы приходите въ полное недоумѣніе: неужели же, думаете вы, въ этой средѣ, можетъ быть въ жизни и дѣятельности самого Алексѣя Александровича Каренина, не нашлось-бы ничего, въ неизмѣримо болѣе высокой степени достойнаго отищенія и воздаянія, чѣмъ этотъ любовный пантомимъ, разыгранный двумя иррациональными существами съ одной стороны отъ скуки, а съ другой—изъ самой естественной жажды любви и счастья?

Оба они, и Вронскій и Анна, сходились въ томъ отношеніи, что ни въ дѣтствѣ, ни въ юности не испытали ни капли ничего согревающего душу.

«Вронскій, говоритъ авторъ, никогда не зналъ семейной жизни. Мать его была въ молодости блестящая, свѣтская женщина, имѣвшая по время замужества, и въ особенности послѣ, много романовъ, нѣтъ-нѣтъ всему свѣту. Отца своего онъ почти не помнилъ и былъ воспитанъ въ Пажескомъ корпусѣ. Выйдя очень молодымъ, блестящимъ офицеромъ изъ школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петербургскихъ военныхъ. Хотя онъ и ѣздилъ изрѣдка въ петербургскій свѣтъ, всѣ любовные интересы его были въ свѣтѣ. Въ Москвѣ въ первый разъ онъ испыталъ, послѣ роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближенія со свѣтскою, милою и невинною дѣвушкой (Кити), которая полюбила его».

Правда, что ухаживаніе за Кити Вронскаго имѣло нѣсколько дурной и предосудительный характеръ празднаго свѣтскаго волокитства безъ намѣренія жениться, но во всякомъ случаѣ близость первой не-испорченной женщины начала будить въ сердцѣ свѣтскаго шалопака кое-какіе и человѣческіе инстинкты. „Я самъ себя чувствую лучше, чище, говорилъ онъ себѣ: я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мнѣ много хорошаго“. А когда онъ вышелъ отъ Щербачихъ, онъ прикинулъ воображеніемъ мѣсто, куда онъ хотѣлъ-бы ѣхать. Клубъ? партія беанка, шанпанское съ Иглатовымъ? Нѣтъ, не поѣду. Chateau des fleurs, тамъ найду Облонскаго, куплеты, сазанъ? Нѣтъ, надоѣло. Вотъ именно за то и любилъ Щербачихъ».

внѣхъ, что самъ лучше дѣлаюсь. Поѣду домой\*. Онъ прошелъ прямо въ свой номеръ у Дюссо, велѣлъ подать себѣ ужинать, и потомъ, раздѣвшись, только успѣлъ положить голову на подушку, заснуть крѣпкимъ сномъ\*.

Какъ ни безцѣльно было ухаживаніе Вронскаго за Кити, но очень возможно, что дѣло кончилось-бы серьезнымъ увлеченіемъ и женитьбою. Но чувство не успѣло еще созрѣть, какъ появленіе Анны въ Москву дало совсѣмъ иной оборотъ дѣлу. Влестящая и обаятельная Анна, женщина въ полномъ развѣтѣ, сразу затмила простенькую и наивную Кити, и къ тому же у нея, какъ мы сказали выше, было болѣе духовнаго средства съ Вронскимъ. Дѣтства ея авторъ не описываетъ, но даетъ понять, что и ея сердце было такъ же мало согрѣто, какъ и Вронскаго. Въ замужествѣ ея за Каренинымъ не было и слѣда любви: это была какая-то длинная интрига ея тетки, какая именно — авторъ почти не даетъ ни малѣйшаго разъясненія. Но зато въ одномъ мѣстѣ романа онъ заставляетъ Анну очень обстоятельно и краснорѣчиво признаться, какова была жизнь ея въ теченіи восьми лѣтъ замужества.

— Правъ! правъ! проговорила она: разумѣется, онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушнѣе! Да, низкій, гадкій человѣкъ! И этого нѣтъ, кромѣ меня, не понимаетъ и не пойметъ, и я не могу растолковать. Они говорятъ: религіозный, нравственный, честный, умный человѣкъ; но они не видятъ, что я шила. Они не знаютъ, какъ онъ восемь лѣтъ душилъ мою жизнь, душилъ все, что было во мнѣ живого, — что онъ ни разу и не подумалъ о томъ, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знаютъ, какъ на каждомъ шагѣ онъ оскорблялъ меня и оставался доволенъ собою. И-ли не старалась, всѣми силами старалась, найти оправданіе своей жизни? И-ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но прошло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Богъ меня сдѣлалъ такою, что мнѣ нужно любить и жить...

Однимъ словомъ, какъ Вронскій, такъ и Анна бросились въ объятія другъ къ другу просто потому, что обонявъ въ одинаковой степени было такъ-же холодно и безпріютно на свѣтѣ, какъ какимъ-нибудь бѣднякамъ, которые гдѣ-нибудь на холодномъ чердачкѣ жмутся другъ къ другу, чтобы взаимно согрѣть свои окоченѣлые члены. И въ этомъ вся ихъ вина, и за это авторъ, въ качествѣ мыслителя, вѣспосылаетъ на нихъ отпущеніе и воздаяніе. Но курьезнѣе всего то, что по ходу драмы отпущеніе и воздаяніе обрушивается на героевъ вовсе не за самый ихъ грѣхъ. Въ свѣтѣ и въ такъ еще грѣшатъ разныя княжны Ветси и Спимы Обловскіе, — и все это имъ сходится, какъ съ гуся вода. И герои наши могли грѣшить, сколько душѣ угодно, лишь бы все было шито и крыто. Праздные люди судачили бы о нихъ гдѣ-нибудь за уголкомъ, но предлагали-бы принимать ихъ у себя, бывали у нихъ, и разсыпаться передъ ними въ любезностяхъ и всякихъ душевныхъ пожеланій. Алексѣй Александровичъ лезъ-леде — страдалъ-бы себѣ въ тихомолку, но въ концѣ концовъ остался-бы доволенъ, что жена его сумѣла поддержать достоинство его дома и утѣшился-бы новыимъ повышеніемъ по службѣ. Но вино-

вники вздумали вдругъ отнестись къ своей любви гораздо честнѣе, чѣмъ другіе: осмѣлились любить другъ друга открыто передъ всѣмъ свѣтомъ, не остановились передъ тѣмъ, чтобы пожертвовать своей любви положеніемъ въ свѣтѣ, связями, карьерой. За эту дерзость и безумство и послѣдовало, собственно говоря, отпущеніе и воздаяніе. Свѣтъ не могъ простить ослушникамъ, преступившимъ вѣковѣчный и существенный законъ его, требующій сохраненія блестящей вѣнчаности и порядочности во чтобы то ни стало, хотя-бы цѣною самаго возмутительнаго лицемерія и самой постыдной лжи. Началась положительная травля со стороны людей, которые въ тысячу разъ были преступнѣе и во всѣхъ отношеніяхъ ниже и гаже. Аннѣ нельзя было носу показать даже въ театрѣ, чтобы не испытать скандала со стороны какой-нибудь чопорной охранительницы нравственности, которая можетъ быть изъ этого-же театра готовилась отправиться на свиданіе съ любовникомъ. Даже та самая мать Вронскаго, которая въ юности только и дѣлала, что падала, сначала поощряла блестящую свѣтскую связь сына, потомъ возстала на нее, когда увидѣла, что это не шуточная свѣтская шалость, а роковая страсть, грозящая повредить карьерѣ сына. Но самое дѣятельное и безчеловѣчное участіе въ травлѣ принадлежитъ, въ качествѣ обманутаго мужа, Алексѣю Александровичу. У этой бюрократической деревяшки хватило однако же на столько іезуитскаго хитрства, чтобы облечь свои преслѣдованія въ личину религіозно-христіанскихъ обязанностей, и сначала онъ пытался было во имя этихъ обязанностей пригвоздить виновную супругу къ своему ложу силою своихъ супружескихъ правъ, а потому, когда это ему не удалось, и послѣ минутнаго смягченія у постели больной, онъ удвоилъ свою месть, отлично понявши, чѣмъ дойти несчастную женщину: онъ отнял у нея сына и запретилъ ей видѣться съ нимъ. Сцена тайнаго свиданія Анны съ сыномъ представляетъ верхъ трагическаго пафоса; это одна изъ лучшихъ сценъ въ романѣ, одна изъ лучшихъ сценъ въ нашей литературѣ. Въ ней художникъ окончательно топчетъ въ грязь мыслителя. Здѣсь передъ нами вся, какъ на ладони, судьба этой несчастной женщины, судьба русской женщины вообще, — и сердце ваше наполняется глубокой жалостью къ ней и безощаднымъ негодованіемъ къ ея мучителямъ. Не согрѣтая материнскою любовью, воспитанная лишь на показъ для продажи на свѣтскомъ базарѣ, навязанная безсердечному идиоту обманомъ и хитростью, въ родѣ того, какъ цыгане сбываютъ на армякѣ лошадей, униженная и оскорбленная во всѣхъ своихъ завѣтныхъ чувствахъ, она пьетъ послѣднюю страшную чашу униженія: ее заставляютъ тайкомъ въ родѣ воровки красться для того, чтобы только мелькомъ взглянуть на своего ребенка...

Да пусть эта самая Анна Каренина была-бы въ тысячу разъ потеряннѣе, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ, пусть-бы она шаталась по Невскому, вытаскивала-бы платки изъ кармановъ, ночевала на Стѣнной въ домѣ Виземскаго, — но есть преступленіе, которое превышаетъ всѣ возможные преступленія на земномъ шарѣ: это — отнять ребенка у матери, и изверги, которые отваживаются на это безчеловѣчіе, заслуживаютъ

въ тысячу разъ страшнѣйшаго воздаянiя и отмщенiя, чѣмъ эта самая мать, будь она наимпотеряннѣйшая женщина!

Но этимъ еще не исчерпываются все испытанiя, какими люди истерзали женщину за то, что она осмѣлилась открыто отдаться своей страсти безъ всякой лжи и притворства. Когда въ новомъ семейномъ гнѣздышкѣ, свитомъ Анною и Вронскимъ, вкрался вракъ, хаосъ и разладъ, зависѣвшiе единственно оттого, что гнѣздышко это было свито на воздухъ и не имѣло никакой твердой почвы подъ собою, когда оба обитателя этого воздушнаго гнѣздышка убѣдились, что для ихъ примиренiя и успокоенiя необходимъ формальный разводъ Анны съ своимъ мужемъ, оказалось вдругъ, что этотъ разводъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и судьба двухъ любящихся людей всецѣло зависятъ отъ какого-то проходивша, парижскаго коми, ясновидящаго Жюльа Ландо. Дѣло въ томъ, что Алексѣй Александровичъ, разставшись съ женою, кинулся въ религiозное великоблжтское сектаторство подъ влiянiемъ той самой графини Лидiи Ивановны, которую онъ въ прежнiя времена называлъ самовзромъ, а Лидiя Ивановна свела сто съ этимъ самымъ Ландо, обратившимся въ графа Беззубова. Алексѣй Александровичъ до такой степени подчинился соннабулическимъ вѣщанiямъ французскаго приваичка, что нѣсколькихъ безсвязныхъ словъ послѣдняго совершенно было достаточно ему, чтобы изречь свое veto относительно развода. Это была послѣдняя капля, переполнившая чашу. Послѣ этого послѣдняго посраженiя, нѣтъ ничего мудренаго, что измученнымъ, истерзаннымъ первамъ Анны въ каждомъ взглядѣ Вронскаго, въ каждомъ его невинномъ шагѣ и движенiи начали грезиться охлажденiе, измѣна и желанiе избавиться отъ нея. Въ концѣ концовъ только и оставалось ей, что броситься подъ колѣзда, а ему — искать смерти въ Сербiи.

Я не спорю, ничего нѣтъ особенно высокаго и блестящаго въ исключительной отдачѣ такой низменной страсти, какъ половая, и люди, которыхъ ничто не интересуетъ въ жизни, какъ лишь эта страсть, и которые считаютъ все для себя потерянными, если имъ не удастся полное удовлетворенiе ея, сами по себѣ очень жалкiе люди. Я готовъ въ то-же время согласиться, что Анна и Вронскiй отчасти и сами виноваты въ своей гибели: они возросли въ свѣтской обстановкѣ и до такой степени свыклись и сжились съ нею, что она сдѣлалась такою-же неотъемлемою стихiею ихъ, какъ воздухъ. Поэтому, если у нихъ и хватало мужества разорвать со свѣтомъ, они были не въ состоянiи обойтись безъ него и какъ нибудь иначе устроить свою жизнь, въ какой-нибудь другой стихiи, въ которой для нихъ недоступна была-бы вся та травля, которую воздвигъ на нихъ свѣтъ. Они погибли, какъ погибаетъ рыба, выкинутая на песокъ, или матросъ, выброшенный за бортъ корабля за своеволие и буйство.

Но не станемъ требовать отъ нихъ того, чего они не могли дать, и будемъ разсматривать ихъ относительно, въ предѣлахъ условiй ихъ среды и жизни. Въ такомъ случаѣ вы должны будете отдать имъ полную справедливость, что въ тѣхъ узкихъ рамкахъ, въ которыхъ вращается ихъ жизнь и ихъ интересы, они

являются людьми въ своемъ родѣ цѣльными, отдавая своей страсти безъ всякихъ колебанiй и сомнѣнiй, съ героическою готовностью пожертвовать ей и самую жизнь. Очень жалко, что на сценѣ является такая низменная страсть, какъ половая, но тѣмъ не менѣе остается несомнѣннымъ, что люди, способные съ такою непосредственною полнотою отдаться любви, съ неменьшею цѣлостностью пожертвовали-бы собою и всякой другой, болѣе высокой страсти, если-бы они могли увлечься ею при иныхъ условiяхъ жизни и среды. Важно не одно содержанiе жизни тѣхъ или другихъ людей, но и самые люди, представляющiеся тѣми, посвящающiе это содержанiе. И если желательнo, чтобы содержанiе было дѣльное, то не менѣе необходимо, чтобы и тѣхъ были хорошия, крѣпкiе и твердые. Если жалко бываетъ видѣть плохое содержанiе въ здоровыхъ, крѣпкихъ тѣлахъ, то еще въ большей степени жалко, если прекрасное содержанiе вливается въ дрянные, ветхiе, кругомъ продырявленные тѣла. А въ жизни на каждомъ шагѣ мы встречаемъ такъ, что и содержанiе-то выдѣннаго лiца не стоитъ, да и тѣхъ то являются чортъ знаетъ какiе. Особенно въ нашей русской жизни мы такъ не избалованы цѣльными характерами и могучими страстями, что насъ невольно радуется, словно вѣтеръ на насъ какъ-то свѣжитъ, ободряющимъ воздухомъ изъ иныхъ странъ, при видѣ каждаго такого проявленiя, хотя бы и не Бога въѣтъ какого высокаго свойства. Понятно, что 30—40 лѣтъ тому назадъ, въ эпоху Лермонтова, Анна и Вронскiй были-бы вознесены на пьедесталъ, какъ избранные люди, цѣлою головою выше всѣхъ окружающихъ, и за то непонятые, ослоробленные и погубленные „пошлою толпою“. Для насъ конечно они не могутъ уже быть въ такой степени героями, какъ для нашихъ дѣдовъ и отцовъ, потому что потребности наши возвысились и разширились, и насъ не можетъ удовлетворить героизмъ любви; мы жаждемъ иного, болѣе содержательнаго героизма. Оттого графу А. Толстому въ качествѣ художника ничего не стоило развѣчивать своихъ героев и представлять ихъ во всемъ ихъ реальномъ убожествѣ. Но и развѣчаные, они значительно выигрываютъ по сравненiю съ прочими дѣйствующими лицами и особенно съ героемъ россiйской культурности Константиномъ Левинымъ, котораго гр. А. Толстой, въ качествѣ мыслителя, преподноситъ намъ, какъ положительный типъ для примѣра и поученiя. Онъ мѣднаго пятака не имѣютъ за душою, да хоть въ любви-то мужественно, твердо и идутъ до конца, не оглядываясь по сторонамъ. Приступивши-же къ Левину, вы сразу проваливаетесь въ мутныя и бездонныя хляби россiйской культурности. Передъ вами тотчасъ-же раскрываются всѣ тѣ прекрасныя качества, которыя дѣлаютъ изъ россiйскаго культурнаго человека жалкое ничтожество и никуда негодную тряпку: расплывчатость, рыхлость, неопредѣленность, шаткость, легковѣсная увлеченность каждаго мигушнымъ влiянiемъ и отсутствiе всякаго упорства въ преслѣдуемой цѣли; разномыслие нѣсколькихъ самыхъ разнородныхъ стремленiй, взаимно исключаютелыхъ другъ друга, причемъ любовь всегда уже является препятствiемъ для общественныхъ стремленiй или послѣднiя становятся на дорогѣ люб-



ни, и въ то-же время человекъ и самъ не можетъ отдать себѣ отчета, любить онъ или не любитъ, вѣруеть во что или не вѣруеть, стремится къ чему-либо, или какъ только ему кажется. Мыслитель преводноситъ какъ этотъ студень, какъ образецъ человечности, какъ якорь спасенія, какъ единственный залогъ душевнаго мира и счастья. Посмотрите-же, какъ зло и бесповратно художникъ свѣтаетъ надъ мыслителемъ.

На первыхъ же страницахъ романа Левинъ являлся передъ нами прѣхавшимъ изъ деревни въ Москву свататься за Кити, и тутъ же сейчасъ начинаются передъ вами его нескончаемыя сомнѣнія и колебанія. Ему кажется, что Кити такое совершенство во всѣхъ отношеніяхъ, такое существо превышаетъ всего земнаго, а онъ такое жалкое, низменное существо, что не могло быть и мысли о томъ, чтобы другіе и она сама приземлила его достоинствомъ ея. Въ глазахъ родныхъ Кити онъ не имѣлъ никакой привычной, опредѣленной дѣятельности и положенія въ свѣтѣ, былъ помѣщикъ, занимающійся разведеніемъ коровъ, стрѣляніемъ дупелей и постройками, то-есть бездарный малый, изъ котораго ничего не вышло, и дѣлающій, во понятіяхъ общества, то самое, что дѣлають нигде негодяшіе люди. Сама же таинственная, прелестная Кити, думаетъ онъ, не могла любить такого некрасиваго, какіе онъ считалъ себя, и главное, такого простого, ничѣмъ не выдающагося человекъ.

И вотъ, вмѣсто того, чтобы ухаживать за любимой барышней, онъ упалъ духомъ и уѣхалъ въ деревню. Но пробывъ два мѣсяца одинъ въ деревнѣ, онъ убѣдился, что это не было одно изъ тѣхъ влюбленій, которыя онъ испытывалъ въ первой молодости; но чувство это не давало ему покоя; что онъ не могъ жить, не рѣшивъ вопроса: будетъ ли не будетъ она его женой; и что его отчаяніе происходило только отъ его воображенія, что онъ не имѣетъ никакихъ доказательствъ того, что ему будетъ отказано. И онъ опять поѣхалъ въ Москву, теперь уже съ твердымъ рѣшеніемъ сдѣлать предложеніе и жениться, если его принудятъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что съ нимъ будетъ, если откажутъ.

А ему взяли да и отказали. Простодушная Кити, заключающая любви и гниенія, не стала дожидаться, когда обожатель ея признаетъ себя достоинствомъ ея, въ отсутствіе его успѣла влюбиться въ прѣхавшаго въ Москву блестящаго Вронскаго и дала полную отказку своему пражнему суженному. Левинъ впасть въ окончательное уныніе.

«Да, размышлялъ онъ: что-то есть во мнѣ что-то такое, отталкивающее, и не годюсь я для другихъ людей. Гордость, говорить. Нѣтъ, у меня нѣтъ и гордости. Если бы была гордость, я не поставилъ бы себя въ такое положеніе. Да, она должна была избрать его (Вронскаго). Такъ надо, и жаловаться не на кого и не за что. Виновать я самъ. Какое право имѣлъ я думать, что она захочетъ соединить свою жизнь съ моею? Кто я? И что я? На что живу? человекъ, ни кому и ни для чего неужившій».

Съ этии мрачными мыслями онъ снова поѣхалъ въ деревню. Но дорожкии и деревенскія впечатлѣнія разсѣяли мракъ его души, ободрили его.

«Онъ чувствовалъ себя собой, говорить авторъ—и другимъ не хотѣлъ быть. Онъ хотѣлъ теперь быть только душою, чѣмъ онъ былъ прежде. Во первыхъ,

съ этого дня онъ рѣшилъ, что не будетъ больше надѣяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитба, и вслѣдствіе этого не будетъ такъ пренебрегать настоящимъ. Во вторыхъ, онъ уже никогда не позволитъ себѣ увлечься гадкою страстью, воспоминаніе о которой такъ мучило его, когда онъ собирался сдѣлать предложеніе. Потомъ и разговоръ брата о коммунистѣ, къ которому тогда онъ такъ легко отнесся, теперь заставилъ его задуматься. Онъ считалъ передѣлку экономическихъ условій вздоромъ, но онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бедностью народа, и теперь рѣшилъ про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполне правымъ, онъ, хотя и прежде много работалъ и не роскошно жилъ, теперь будетъ еще больше работать и еще меньше будетъ позволять себѣ роскоши. И все это казалось ему такъ легко сдѣлать надъ собой, что всю дорогу онъ провезъ въ самыхъ притныхъ мечтаніяхъ. Съ бодрымъ чувствомъ надежды на новую, лучшую жизнь, онъ въ девятомъ часу ночи подѣхалъ къ своему дому».

Однимъ словомъ, и съ нимъ произошло то-же, что и со всѣми прочими дѣйствующими лицами романа: отпустили его съ посохъ, не солоно хлебавши, отъ лакомаго блюда,—и онъ тотчасъ же исполнился разными гуманными чувствами, состраданіемъ къ низшей братии и стремленіемъ начать новую и лучшую жизнь. Это стремленіе, ничѣмъ особеннымъ не осуществляясь, не покидало Левина ни зимой, ни весной, ни лѣтомъ. Оно жило въ немъ и въ то время, когда онъ стрѣлялъ дупелей съ прѣхавшимъ къ нему Облонскимъ, и въ то время, когда косилъ сѣно съ мужиками. На одною же изъ сѣнокосовъ мысли его о новой жизни приняли самый опредѣленный характеръ, и притомъ такой важный и роковой, что, казалось, судьба его должна была тотчасъ же рѣшиться. Я не могу удержаться, чтобы не выписать цѣликомъ это замѣчательное мѣсто романа:

«Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ за поводъ добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на возъ грабли, и бодрымъ шагомъ, размахивая рукави, пошла къ собравшимся хорошему бабамъ. Иванъ выѣхалъ на дорогу, вступилъ въ обозъ съ другими возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя яркими цвѣтами и трещая знонкими, веселыми голосами, шли позади возовъ. Одинъ грубый, дивій бабій голосъ затянулъ пѣсню и долѣлъ ее до повторенья, и дружно, въ разъ, подхватили опять сначала ту же пѣсню полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здоровыхъ голосовъ».

«Бабы съ пѣсней приближались къ Левину, и ему казалось, что туча съ громомъ веселья подвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его,—и конна, на которой онъ лежалъ, и другія конны, и воза, и весь дугъ съ дальнимъ полемъ—все заходило и закатывалось подъ разбѣры этой дикой, развеселой пѣсни съ криками, присвистами и еканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотѣлось принять участіе въ выраженіи этой радости жизни. Но онъ ничего не могъ сдѣлать, и долженъ былъ лежать и смотреть, и слушать. Когда народъ съ пѣсней скрылся изъ вида и сдуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою тѣлесную праздноствіе, за свою враждебность къ этому миру охватило Левина».

«Нѣкоторые изъ тѣхъ самыхъ мужиковъ, которые больше всѣхъ съ нимъ спорили за сѣно, тѣ, которыхъ онъ обидѣлъ, или тѣ, которые хотѣли обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему, и очевидно не имѣли и не могли имѣть къ нему никакого зла, и никакого—не только раскаянія, но и воспоминанія о томъ, что они хотѣли обмануть его».

Все это потонуло въ морѣ вселаго общаго труда. Богъ дать день, Богъ дать силы. И день, и силы посвящены труду, а въ немъ самомъ награда. А для кого трудъ? Какіе будутъ плоды труда? Это соображенія постороннія и ничтожныя.

«Левинъ часто любовался на эту жизнь, часто испытывалъ чувство зависти къ людямъ, живущимъ этою жизнью, но нынче въ первый разъ, въ особенности подѣ впечатлѣніемъ того, что онъ видѣлъ въ отношеніяхъ Ивана Парменова къ его молодой женѣ, Левину въ первый разъ ясно пришла мысль о томъ, что отъ него зависитъ пережизнить ту столь тѣгостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и общую, прелестную жизнь.

«Старикъ, сидѣвшій съ нимъ, уже давно ушелъ домой; народъ весь разбрелся. Вблизие уѣхали домой, а дальніе собрались къ ужину и ночлегу въ дугу. Левинъ, не замѣчаемый народомъ, продолжалъ лежать на кони и смотреть, слушать и думать. Народъ, оставшійся почевать въ дугу, не спалъ почти всю короткую лѣтнюю ночь. Сначала слышался общій веселый говоръ и хотѣть за ужинами, потомъ оишь пѣсни и смѣхъ.

«Весь длинный, трудовой день не оставилъ въ нихъ другого слѣда, кромѣ веселости. Передъ утреннею зарей все затихло. Слышались только ночью звуки немолкавшихъ въ болотѣ лягушекъ и лошадей, фыркавшихъ по дугу въ поднимавшемся передъ утромъ туманѣ. Очнувшись, Левинъ всталъ съ кони, и, оглядѣвъ двѣды, поинчалъ, что прошла ночь.

«Ну такъ что же я сдѣлаю? Какъ я сдѣлаю это? сказалъ онъ себѣ, стараясь выразить для самого себя все то, что онъ передумалъ и переживалъ въ эту короткую ночь. Все, что онъ передумалъ и переживалъ, раздѣлялось на три отдѣльные хода мысли. Одинъ, это было отречение отъ своей старой жизни, отъ своего ни къ чему не нужного образованія. Это отреченіе доставляло ему наслажденіе и было для него легко и просто. Другія мысли и представленія касались той жизни, которою онъ желалъ жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни онъ ясно чувствовалъ, и былъ убѣжденъ, что онъ найдетъ въ ней то удовлетвореніе, успокоеніе и достоинство, отсутствіе которыхъ онъ такъ болѣзненно чувствовалъ. Но третій рядъ мыслей вертѣлся на вопросѣ о томъ, какъ сдѣлать этотъ переходъ отъ старой жизни къ новой. И тутъ ничего яснаго ему не представлялось. «Имѣть жену.—Имѣть работу и необходимость работы. Останутся Попровское? Купить землю? Приписаться въ общество? Жениться на крестьянкѣ? Какъ-же я сдѣлаю это?» опять спрашивалъ онъ себя, и не находилъ отвѣта. «Впрочемъ, я не спалъ всю ночь, и я не могу дать себѣ яснаго отчета», сказалъ онъ себѣ. «Я уясню послѣ. Одно вѣрно, что эта ночь рѣшила мою судьбу. Всѣ мои прежнія мечты семейной жизни вадоръ, не то», сказалъ онъ себѣ. «Все это гораздо проще и лучше».

Читаете вы это мѣсто и думаете: вотъ, вотъ сейчасъ въ жизни героя нашего произойдетъ великій переломъ, всѣ высокія стремленія его осуществятся не грохкая, но, тѣмъ не менѣе, очень почтеннымъ способомъ: праздный стрѣлокъ дупелей и унылый вѣдхатель по коварной измѣнницѣ Кити обратится передъ нами въ честнаго и скромнаго труженика. Но надо-же было случиться, чтобы какъ парочно въ эту самую минуту пробѣжала мимо эта самая Кити на пути въ усадьбу къ своей сестрѣ Долли. А Левинъ незадолго передъ тѣмъ услышалъ отъ Облонскаго, что Кити разочаровалась въ измѣнникѣ ей Вронскомъ и сдѣлалась снова свободна. Узрѣвъ Левинъ «правдивыя очи» своей Кити, блеснувшія удивленною радостью при видѣ его,—и все пошло кругомъ въ головѣ его: и мечты о припискѣ въ общество, о женитьбѣ на крестьянкѣ, о трудовой, простой жизни,—разомъ, разсѣялись прахомъ. «Итъ», сказалъ онъ себѣ, «какъ ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. Я люблю ее».

Правда, что и послѣ этой неожиданной встрѣчи онъ нѣкоторое время все еще занимался вопросомъ о своихъ отношеніяхъ къ мужикамъ: хозяйство, которое онъ велъ, опротивѣло ему и потеряло для него всякій интересъ, онъ не могъ не видѣть теперь того несправедливаго отношенія своего къ работникамъ, которое было основой всего дѣла; напротивъ того, онъ ясно видѣлъ, что то хозяйство, которое онъ велъ, была только жестокая и упорная борьба между нимъ и работниками, въ которой на его сторонѣ было постоянное напряженное стремленіе передѣлать все въ считаеми дучшимъ образцѣ, на другой-же сторонѣ естественный порядокъ вещей. И въ этой борьбѣ, онъ видѣлъ, что при величайшемъ напряженіи силъ съ его стороны и безо всякихъ усилій и даже натрѣненій съ другой, достигалось только то, что хозяйство мло ни въ чью, и совершенно напрасно портились прекрасныя орудія, прекрасная скотина и земля. Правда, что вслѣдствіи всѣхъ этихъ мыслей и соображеній у Левина образовался планъ какихъ-то новыхъ и особенныхъ отношеній къ мужикамъ, какихъ, впрочемъ, трудно понять изъ изложенія его мыслей. Все дѣло, повидимому, заключалось въ томъ, чтобы спустить уровень своего хозяйства до средняго уровня хозяйства крестьянъ и заинтересовать работниковъ въ успѣхѣ дѣла дѣлаемъ пополамъ добываемыхъ продуктовъ. Правда, что Левинъ въ такой восторгъ пришелъ отъ этого плана, что вообразилъ даже себя члѣнъ-то въ родѣ Франклина.

Но все это было больше ничего, какъ уже послѣднія тучи разсѣянной бури. По прѣздѣ большого брата къ нему въ усадьбу, онъ прочелъ про себя нѣсколько гамлетовскихъ монологовъ о тщетѣ всего земного и о неизбежности смерти, поломался еще немножко передъ Кити, не пожелавши ѣхать къ Долли и встрѣтиться у нея съ Кити, побѣхалъ заглянуть за границу, все еще въ видахъ своихъ сельско-хозяйственныхъ плановъ, но когда воротился изъ-за границы въ Москву,—всѣ планы и мысли объ отношеніи къ мужикамъ окончательно были сланы въ архивъ. Тутъ онъ снова встрѣтился съ Кити, тотчасъ же они помирились, объяснились,—и начался восторгъ неземнаго счастья. До мужиковъ-ли тутъ было?

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ сомнѣній и колебаній. Уже въ самый день свадьбы на Левина вдругъ напалъ страхъ: «Что какъ она не любитъ меня? Что какъ она выходитъ за меня только для того, чтобы выйти замужъ? Что если она сама не знаетъ того, что дѣлаетъ? спрашивалъ онъ себя. Она можетъ опомниться, и только выйдя замужъ, пойметъ, что не любитъ и не могла любить меня». И страшныя, самыя дурныя мысли о ней стали приходить ему. Онъ ревновалъ ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ, какъ-будто этотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ Вронскимъ, былъ вчера. Онъ быстро вскопчалъ: «Итъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ: «пойду къ ней, сирону, скажу послѣдній

«Итъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ: «пойду къ ней, сирону, скажу послѣдній

«Итъ, это такъ нельзя!» сказалъ онъ себѣ съ отчаяніемъ: «пойду къ ней, сирону, скажу послѣдній

рады мы свободны, и не лучше-ли остановиться? Все лучше, чѣмъ вѣчное несчастье, позоръ, невѣрность!» Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и со злобой на всѣхъ людей, на себя, на нее, онъ вышелъ изъ гостиницы и пошелъ къ ней.

Кити онъ, конечно, очень удивилъ своими подобираніями, заставилъ ее плакать, утѣшать и снова увѣрять въ любви къ нему.

Но и женившись на Кити, онъ не переставалъ при всякомъ удобномъ случаѣ подвергаться разнымъ сомнѣніямъ и разочарованіямъ. То ему вдругъ не нравился, зачѣмъ Кити тотчасъ-же по прїѣздѣ въ усадьбу передалась разнымъ хозяйственнымъ мелочнымъ заботамъ. Онъ, вотъ видите, представлялъ себѣ счастливую жизнь совсѣмъ иначе, воображалъ ее, только какъ наслажденіе любви, которой ничто не должно было препятствовать и отъ которой не должны были отвлекать мелкія заботы; онъ долженъ былъ, по его понятію, работать свою работу и отдыхать отъ нея въ счастіи любви, она должна быть любима и только. То наоборотъ, ему казалось, что Кити слишкомъ мало трудится, что не то, что она сама виновата (виновато она ни въ чемъ не могла быть), но виновато ея воспитаніе, слишкомъ поверхностное и фриволютное, что крошечный интересъ къ дому, крошечный туалетъ, и крошечный *broderie anglaise*, у нея нѣтъ серьезныхъ интересовъ: ни интереса къ дѣлу мужа, къ хозяйству, къ мужикамъ, ни къ музыкѣ, въ которой она довольно сильна, ни къ чтенію; она ничего не дѣлаетъ и совершенно удовлетворена.

По этимъ сомнѣніямъ и разочарованіямъ дѣло не ограничивается. Приходить дѣло, начали къ Левину въ Покровское съѣзжаться разные родные и знакомые, а въ томъ числѣ прїѣхалъ Васенья Вословскій. И вдругъ въ первый-же день прїѣзда послѣдняго оказалось, что Левинъ такъ мало знаетъ свою жену Кити, такъ мало довѣряетъ ей и цѣнитъ ее, и слѣдовательно, такъ мало любитъ ее, что невниманно ухажиавшаго Вословскаго за молодую хозяйкою тотчасъ-же выводитъ его изъ себя: ему начинаютъ мерещиться всякія-то особенныя безстыжія улыбки, которыми жена его отвѣчала будто-бы на улыбки Васеньки, и онъ тотчасъ-же воображаетъ себя обманутымъ мужемъ, въ которомъ нуждаются жена и любовники только для того, чтобы доставлять имъ удобства жизни и удовольствія. И кончается дѣло тѣмъ, что на третій день онъ самымъ безцеремоннымъ и грубымъ образомъ швыряиваетъ Васеньку изъ усадьбы. Хорошо, что у преследующей Кити мозгъ и сердце были курачьи, и она тотчасъ-же простила, но вообразите себѣ, какъ бы все это должно было жестоко оскорбить женщину мало-мальски учную и съ характеромъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ до такой степени подчиняется женскому мнению своей семьи въ видѣ жены и тещи, что бѣдетъ съ Кити на зиму въ Москву въ видахъ разрѣшенія ея отъ бремени и тамъ втягивается въ роскошную и разорительную свѣтскую жизнь съ головою, забывши окончательно всѣ свои сельскохозяйственныя мечтанія.

Только въ самое первое время въ Москвѣ, читая мы въ романѣ:—тѣ страшныя деревенскому читателю, произвольныя, но неизбѣжныя расходы, которые потребовались отъ него со всѣхъ сторонъ, поражали Левина. Но теперь онъ уже привыкъ

къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи то, что, говорить, случается съ пьяницами: первая рюмка—положь, вторая—соколомъ, а послѣ третьей—мелкими пташечками. Когда Левинъ размѣнялъ первую сторублевую бумажку на покупку ливрей лакею и швейцару, онъ невольно сообразилъ, что эти ливреи не нужны ливрей,—но неизбежно необходимо, судя по тому, какъ удивились княгиня и Кити при намекѣ, что безъ ливрей можно обойтись,—что эти ливреи будутъ стоить двухъ лѣтнихъ работниковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ дней отъ Святой до заговенья, и каждый день тяжелой работы съ раннего утра до позднего вечера,—и эта сторублевая бумажка еще шла колодь. Но слѣдующая, размѣненная на покупку провизіи къ обѣду для родныхъ, стоявшей двадцать восемь рублей, хотя и вызвала въ Левинѣ воспоминаніе о томъ, что двадцать восемь рублей—это девять четвертей овса, который, потѣя и крахтя, косили, вязали, молотили, вѣяли, подеывали и подеывали,—эта слѣдующая пошла все-таки легче. А теперь размѣняемая бумажка уже давно не вызывала такихъ соображеній и дѣлѣи мелкими пташечками. Соответствовать-ли трудъ, накопленный на пріобрѣтеніе денегъ, тому удовольствію, которое доставляетъ накупленное на нихъ, это соображеніе уже давно было потеряно. Разсчитать хозяйственный о томъ, что есть известная цѣна, ниже которой нельзя продать известнаго хлѣба, тоже было забыто. Рожь, цѣну на которую онъ такъ долго выдерживалъ, была продана пятьюдесятью копѣйками на четверть дешевле, чѣмъ за нее давали мѣсяцъ тому назадъ. Даже и разсчитать, что при такихъ расходахъ невозможно будетъ прожить весь годъ безъ долга, и этотъ разсчетъ уже не имѣлъ никакого значенія. Только одно требовалось: имѣть деньги въ банкѣ, не спрашивая, откуда онъ, такъ чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины. И этотъ разсчетъ до сихъ поръ у него соблюдался: у него всегда были деньги въ банкѣ. По теперь деньги въ банкѣ вышли, и онъ не знаетъ хорошенько, откуда взять ихъ. И это-то на минуту, когда Кити напомнила о деньгахъ, разстроило его; но ему некогда было думать объ этомъ.

И еще бы: до того ли было думать ему о такихъ пустякахъ, когда у малаго голова совсѣмъ пошла кругомъ отъ московской жизни. Онъ обѣдалъ въ клубѣ, сблизился тамъ съ Вронскимъ, на котораго до тѣхъ поръ глядѣлъ злѣе, пилъ съ нимъ шампанское, проигралъ на билліардѣ 40 рублей и въ концѣ концовъ отправился съ Облонскимъ знакомиться съ Анной Карениной,—и такъ плѣнился ею, что Кити, слухая его восторженія, какія онъ расточалъ по возвращеніи отъ Анны, не въ шутку подумала, что онъ влюбился въ эту женщину и отъ ревности зарыдала.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется передъ нами этотъ культурный герой, взрослый непосредственно на русской почвѣ. Не правда ли, что-то знакомое, много разъ встрѣчавшееся въ нашей литературѣ? И даже очень знакомое: вѣдь это все тотъ же нашъ старый пріятель Нехлюдовъ, съ которымъ знакомилъ насъ гр. А. Толстой въ своей прежней художественной дѣятельности. Это новый вариантъ все того же почти уже отжившаго типа. Вы можете быть думали, что типъ этотъ давно уже выродился; нѣтъ, онъ все еще пока существуетъ, но во всякомъ случаѣ часть его изжитая. Возросшій на почвѣ крепостного права, онъ не въ состояніи долго бороться съ новыми условіями жизни, и Левинъ является однимъ изъ послѣднихъ его экземпляровъ. Я убѣжденъ, что самъ онъ, этотъ Левинъ, не въ состояніи долго

удержаться въ томъ видѣ, въ какомъ онъ парадируетъ передъ нами въ романѣ, и непременно переродится со временемъ во что нибудь совсѣмъ иное: или въ Дерунова, или въ Облонскаго. Правда, въ концѣ романа онъ мирится на путаницѣ какихъ-то туманныхъ компромиссовъ. Послѣ цѣлаго ряда гамлетическихъ разсужденій въ религиозномъ духѣ относительно того, вѣрить ему или не вѣрить и во что вѣрить и какъ вѣрить, послѣ тщетныхъ попытокъ найти отвѣтъ на свои тревожные вопросы у различныхъ философовъ, Левинъ вдругъ натолкнулся на одно банальное изреченіе нѣкоего мужика Федора. „Да, такъ, значить—сказалъ этотъ Федоръ—люди разные: одинъ человекъ только для пужды своей живетъ, хоть бы Митюха, только брюхо набиваетъ, — а Фоканычъ—правдивый старикъ. Онъ для души живетъ, Бога помнить“. У Левина отъ этихъ словъ вдругъ произошло просіяніе. Слова эти сразу разрѣшили ему—и что такое Богъ, и что такое вѣра въ Бога, и какъ ему жить въ этой вѣрѣ, и сейчасъ же у него составила самая успокоительная программа жизни.

«Такъ-же, размышляя онъ, буду сердиться на Ивана кучера, также буду спорить, буду нескотни высказывать свои мысли, также будетъ стѣна между спятой святыхъ моею душою и другими, даже женою моею, также буду обвинять ее за свой страхъ и раскапываться въ этомъ, также буду не понимать разумомъ, зачѣмъ я молюсь, и буду молиться,—но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо отъ всего, что можетъ случиться со мною, каждая минута ее—не только не безмысленна, какъ была прежде, но имѣетъ несомнѣнный смыслъ добра, который я властенъ вложить въ нее!»

Но вы не вѣрите ни успокоенію Левина, ни его словамъ о томъ, что до сихъ поръ жизнь его была безмысленна, а теперь она получила смыслъ добра, который онъ въ нее вложилъ. Во первыхъ, мы уже видѣли неоднократно, что при каждомъ новомъ оборотѣ мыслей Левину казалось, что вотъ, вотъ начнется онъ новую жизнь, исполненную всякихъ благъ, а дѣло всегда кончалось или правдивыми глазами Кити, или бутылками шампанскаго въ клубѣ. А во-вторыхъ самая сила вещей влечетъ Левина по пути, от-

рцающему всякую возможность того, „смысла добра“, о которомъ онъ мечтаетъ. Въдѣ вы подумайте, что, въ собственному сознанию Левина, хозяйство его при всѣхъ усиліяхъ сводится на вѣтъ и даже приносить ему убытокъ. А между тѣмъ не разъ—не два придется ему возить въ Москву Кити изъ-за прибавленія новыхъ и новыхъ членовъ семейства, и каждый разъ онъ будетъ вынужденъ тратиться на ливрен, клубные проигрыши и разнаго рода столичныя шалѣнья. Каждое дѣло усадьба его будетъ наполняться столичными гостями. А тамъ начнутъ подростать дѣти, нужно будетъ заботиться о ихъ воспитаніи и пристроиваніи. Для удовлетворенія всѣхъ этихъ нуждъ придется удвоивать, утроивать доходы съ имѣнія. Кто знаетъ, до чего при такихъ условіяхъ дойдетъ дѣло? Можетъ быть не достаточно окажется нанять рабочихъ какъ можно дешевле и заботиться о томъ, чтобы они дѣлали какъ можно больше; понадобится и кабакъ, и постоялый дворъ окажется не лишнимъ. А не то придется вѣхать въ городъ и подобно Облонскому дожурить въ переднихъ у евреевъ, выключивая какого нибудь банковскаго мѣстечка съ кругленькимъ окладомъ. Очень возможно, что именно только тогда Левинъ найдетъ полное душевное успокоеніе отъ всѣхъ тревожащихъ его вопросовъ, хотя много-ли будетъ тогда въ жизни его „несомнѣннаго смысла добра“—объ этомъ предоставляю судить читателямъ.

Итакъ, вотъ что намъ нарисовалъ художникъ,—не правда-ли, совершенно вопреки мыслителю и тобою будто нарочно ради опроверженія всѣхъ его идей? Излюбленный культурный человекъ оказался вдругъ хуже всѣхъ прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа, нелюда негодною тряпичною, а вмѣсто спасительной почвы представилась нашимъ глазамъ какая-то мутная трясина. На этомъ основаніи я отъ души посоветывалъ бы графу Л. Толстому при слѣдующемъ изданіи романа переимѣнить эпиграфъ, и вмѣсто него напечатать тотъ самый, который поставленъ мною въ началѣ статьи. Эпиграфъ этотъ, правда, не будетъ такъ картиненъ и эффектенъ, какъ прежній, но за то гораздо болѣе будетъ подходить ко всѣмъ героямъ романа.

## ЭПИДЕМИЯ ЛЕГКОМЫСЛІЯ.

(«Литературный вечеръ», очеркъ И. Гончарова, «Русская Рѣчь» № 1).

Я не говорю уже о достоинствахъ критической статьи, но для того лишь, чтобы она была, необходимо, чтобы разбираемое сочиненіе произвело на критика какое-бы то ни было впечатлѣніе. Пусть произведеніе будетъ и бездарно, и недѣло, но лишь бы оно чѣмъ нибудь поражало, хотя бы своими отрицательными качествами. Но вѣтъ ничего болѣе неблагоприятнаго для критики произведеній скучныхъ. Известно вѣдѣ, что скуча имено и есть ничто иное, какъ отсутствіе всякихъ впечатлѣній. Можно ли ожидать отъ критика чего-либо живого, если разбираемое произ-

веденіе наводитъ лишь зѣвоту, дремоту, непреодолимое побужденіе уснуть и забыться отъ всякихъ мыслей.

Произведеніе-же Гончарова, нашего почтеннаго и маститаго беллетриста, такъ неожиданно прервавшего свое десятилѣтнее молчаніе, мало того, что скучновато, оно поражаетъ насъ своею эфемерностью.

Когда я прочелъ его, оно произвело на меня такое впечатлѣніе, какъ будто передо мной прошла полоса безцвѣтнаго, безформеннаго дыма и разсыпалась безъ всякаго слѣда. Такъ какъ я не причисляю себя къ числу присяжныхъ критиковъ, и не имѣю несчастія

быть обязаннымъ, во чтобы то ни стало, отдавать отчетъ относительно каждаго новаго произведенія литературнаго корифея, то весьма понятно, что у меня не могло явиться ни малѣйшаго побужденія не только писать объ очеркѣ Гончарова, но даже и говорить о немъ въ пріятельской бесѣдѣ.

Я и отложилъ о немъ всякія попопеченія. Но странно, не смотря на то, что я и въ головѣ не держалъ его, и многія подробности и частности успѣли уже испариться изъ памяти, невольно какъ-то, сама собою, словно въ силу тѣхъ невѣдомыхъ процессовъ, какіе порою безсознательно совершаются въ нашей головѣ, у меня явилась мысль, которая, какъ мнѣ показалось, открыла мнѣ секретъ эфемерности произведенія Гончарова. Вотъ этою то мыслью я и хочу поделиться съ читателями, тѣмъ болѣе, что я сомнѣваюсь, чтобы ктонибудь взглянулъ на произведеніе Гончарова именно съ этой стороны, какъ мнѣ представляется, весьма существенной.

Скажу вамъ прямо, что меня болѣе всего поразило въ произведеніи этомъ: именно — крайнее легкомысліе, какъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ очерка, такъ еще въ болѣе степени — легкомысліе самого автора. Гончаровъ, маститый беллетристъ, почтенный авторъ обыкновенной исторіи, Обломова, Обрыва; Гончаровъ, по ильямъ десятилѣтіямъ творящій свои увѣселяющія произведенія, тщательно обдумывающій и отдѣлывающій каждую сценку, каждый штришокъ, — и вдругъ легкомысліе: неправда ли, — два понятія трудно соединимыя? А между тѣмъ на самомъ дѣлѣ легкомысліе, проявившееся вдругъ въ лицѣ таковаго почтеннаго беллетриста, какъ Гончаровъ, дѣлаетъ это явленіе крайне замѣчательнымъ. Это показываетъ, что легкомысліе перестаетъ быть случайнымъ удѣломъ лишь нѣкоторыхъ личностей, но прирощѣ расползновенныхъ къ нему, а принимаетъ эпидемическій характеръ. Сила эпидеміи главнымъ образомъ познается по тому, на сколько болѣзнь способна бывать захватывать такіа атлетическія и поставленныя въ самыя благопріятныя условія натуры, которыя, повидимому, наиболѣе застрахованы отъ заразы. Поэтому мы вполне вправе сказать, что если даже такіе писатели, какъ Гончаровъ, проявляютъ вдругъ крайнее легкомысліе, то значитъ эта болѣзнь приняла столь широкіе размѣры, что не падаетъ уже, что называется, ни пола, ни возраста. Однимъ словомъ — это уже не тотъ или другой частный случай, а признакъ времени.

А вы не шутите съ легкомысліемъ. У насъ ни на что не смотреть такъ легкомысленно, какъ на легкомысліе. Многіе не считаютъ его даже порокомъ, а видятъ въ немъ, равно какъ и во многихъ другихъ слабостяхъ, присущихъ великосвѣтскимъ кругамъ, своего рода украшеніе человѣка. На легкомысліе, равно какъ и на расточительность, необходимо имѣть особенное привилегированное право, болѣе всего конечно присущее прекрасному полу. Если великосвѣтская красавица не легкомысленна, то она представляется многими лишненною половиною всѣхъ тѣхъ прелестей, какія соединены въ понятіи о великосвѣтской красавицѣ. А между тѣмъ, само по себѣ легкомысліе — болѣе, тѣмъ слабость и порокъ: — оно есть особеннаго рода душевная болѣзнь, первая ступень къ слабо-

умію. Я убѣжденъ, что физиологія откроетъ не сегодня, завтра, въ легкомысленномъ человѣкѣ то начало ослабленія нервныхъ центровъ, которое въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи ведетъ къ разнымъ родамъ помѣшательства. Въ самомъ дѣлѣ, что такое легкомысліе? Видъ это есть такое притупленіе мысли, при которомъ человѣкъ перестаетъ различать вещи въ ихъ взаимномъ соотношеніи цѣнности, пустяки возводитъ на степень первой важности, и въ важныхъ вещахъ ничего не находитъ кромѣ пустяковъ, руководится въ своихъ дѣйствіяхъ первыми мимолетными впечатлѣніями, теряя всякое сознаніе о послѣдовательности вещей, путая причины съ слѣдствіями, а иногда и совсѣмъ упуская изъ вида неминувость послѣдствій. Я, по крайней мѣрѣ, не могу смотрѣть иначе, какъ на своего рода помѣшанныхъ, на тѣхъ легкомысленныхъ опустошителей казенныхъ сундуковъ, какіе нынѣ парадрируютъ по всѣмъ городамъ и всякъ Россійской имперіи. Я бы понималъ логику этихъ людей, если-бы въ ихъ преступленіяхъ былъ злостный расчетъ въ родѣ быстрого обогащенія посредствомъ кражи и бѣгства отъ судейскихъ преслѣдованій, хотя бы въ Америку. Въ болѣе же части случаевъ ничего этого не замѣчается: человѣкъ опустошаетъ казенный сундукъ единственно ради сегодняшнихъ развлеченій, совершенно какъ бы потерявъ всякое сознаніе о различіи своихъ денегъ отъ чужихъ и забывая о томъ, что завтра же придетъ ревизоръ и притянетъ хищника къ суду. Является ревизоръ, хищникъ и не думаетъ скрываться, а тотчасъ же, иногда за тѣмъ же паршественнымъ столомъ, за которымъ минуту тому назадъ ему было море по колено, пускаетъ себѣ пулю въ лобъ, или же отирается на скамью подсудимыхъ съ самою безпечною и блаженною улыбкою. Что же это, какъ не тотъ же сумасшедшій, который зря зажигаетъ домъ, въ которомъ находится, ни мало не помышляя о томъ, что самъ же первый въ немъ стогреть, или бросается въ окно съ четвертаго этажа, мечтая прогуляться по тротуару?

Но легкомысліе не ограничивается однимъ спорадическими случаями. Это такая душевная болѣзнь, которая на ряду съ нѣкоторыми видами умножшательства въ родѣ, напримѣръ, религіозной мании, эпилепсін, кинувешства и т. п., можетъ принимать эпидемическій характеръ, разомъ проявляясь въ дѣльных слояхъ общества или массахъ населенія. Исторія представляетъ намъ цѣлый рядъ вѣковъ, въ которыхъ легкомысліе овладѣвало цѣлыми народами и представлялось существенною чертою времени. И замѣчательно, что подобное развитіе эпидемическаго легкомыслія постоянно являлось предвѣстіемъ великихъ событій или страшныхъ катастрофъ. Таково было легкомысліе безпечныхъ жителей Содома и Гоморры, легкомысліе пророка Вальтасара наканунѣ разрушенія Вавилона, легкомысліе римлянъ времён имперіи, римской курии въ эпоху реформации, версальскаго двора при Людовикѣ XV и пр.

Какъ я сказалъ уже выше, легкомысленнѣе всѣхъ въ очеркѣ Гончарова является самъ авторъ его. Въ самомъ дѣлѣ, вы посмотрите только, что онъ дѣлаетъ. Онъ написалъ свой очеркъ не просто, а имѣлъ серьезную цѣль — свести въ одно людей разныхъ на-

правлений и заставить их высказаться въ горячемъ спорѣ о всѣхъ злобахъ дня. Но этого мало: кромѣ того онъ пожелалъ представить вамъ всю ту разногласицу взаимнаго непониманія и озлобленія, которая дѣлитъ людей нашего времени на различные враждебные лагеря, вслѣдствіе чего нашъ русскій прогрессъ, подобно Крыловскому возу, остается на одномъ мѣстѣ. На этомъ основаніи, авторъ поставилъ и эпиграфомъ къ своему очерку знаменитые стихи басни: „Лебедь рвется въ облака, ракъ пашется назадъ, а щука тянетъ въ воду“.

Сообразно этой цѣли Гончаровъ ведетъ своихъ читателей на великосвѣтскій литературный вечеръ, на которомъ читается одинъ изъ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, которыхъ, съ легкой руки гр. А. Толстого, особенно много расплодилось, по словамъ Гончарова, въ великосвѣтскихъ слояхъ общества. По всѣмъ признакамъ романъ этотъ былъ очень слабъ и плохъ; объ этомъ можно судить какъ по длинному описанію его, которому посвящена первая часть очерка, такъ и по тому обстоятельству, что романъ этотъ, по словамъ автора, былъ скопомъ съ тѣхъ великосвѣтскихъ романовъ, плена авторовъ которыхъ не появлялись въ печати. Такъ что даже и „Русскій Вѣстникъ“, столь надбій и снисходительный къ подобнымъ романамъ, не польстился на него. Значитъ онъ былъ слабѣе даже и тѣхъ романовъ Маркевича и Авсеенки, какіе пародируютъ на страницахъ этого журнала.

Одно это обстоятельство значительно уже ослабило иллюзію очерка. Авторъ не могъ придумать для чтенія на своемъ воображаемомъ литературномъ вечерѣ болѣе удачнаго предмета, какъ подобнаго рода романъ. Вѣдь для того, чтобы сообразно цѣли очерка дѣйствующія лица его, люди различныхъ лагерей, собравшіеся на литературномъ вечерѣ, могли горячо и ожесточенно поспорить и высказать свои взгляды на различные животрепещущіе вопросы времени, необходимо, чтобы они были возбуждены чѣмъ нибудь. Другое дѣло совсѣмъ, когда въ среду общества, какъ камень въ муравейникъ, испадаетъ вдругъ такое произведеніе, какъ „Горь отъ ума“, „Ревизоръ“, „Мертвая душа“, „Обломовъ“. Тогда это общество сразу все закопошится, какъ муравьи; повсюду начинаютъ литься и горячія рѣчи, и ожесточенные споры; люди самые молчаливые раскрываютъ уста и самые сдержанные — высказываются. Я не могу понять иначе гоголевскій „Разъѣздъ“, какъ именно въ смыслѣ разъѣзда послѣ перваго представленія „Ревизора“. Будь это первое представленіе комедіи Николая Потѣхина, то „Разъѣздъ“ теряетъ уже всякій смыслъ. Но вы представьте себѣ, что дирекція вздумала-бы поставить на сцену одну изъ тѣхъ пьесъ, которымъ некогда не суждено бываетъ увидать свѣтъ ни на страницахъ журналовъ, ни на сценѣ. Мыслимо-ли чтобы публика, толпясь въ сѣняхъ театра послѣ такого спектакля, высказывала всѣ свои завѣтные убѣжденія съ такимъ жаромъ и ожесточеніемъ, какъ въ гоголевскомъ „Разъѣздѣ“? Очевидно, что еслибы тутъ лились рѣчи, то совсѣмъ другаго рода и содержанія. А между тѣмъ романъ, прочитанный на литературномъ вечерѣ „Очерка“, принадлежитъ именно къ послѣдней категоріи рукописей, которыя послѣ

прочтенія сдаются редакторами обыкновенно въ конторы для возвращенія авторамъ. Можно-ли ожидать послѣ прочтенія подобнаго хлама какихъ-либо серьезныхъ и оживленныхъ преній? А между тѣмъ, на литературный вечеръ собралось не одни только „счастливицы, ума недалекіяго лѣнивицы, которымъ жизнь куда легка“ и которые въ литературѣ понимаютъ столько же, сколько и въ дифференціальныхъ исчисленіяхъ, въ родѣ княгини Тецкой, графини Синявской, графа Пестова, Лелиной, Бибинова, Фертова и т. п. Всѣмъ этимъ легкомысленнѣйшимъ смертнымъ было сполна-гора размышлять передъ авторомъ въ свѣтскихъ восхищеніяхъ въ родѣ того что: *comme c'est beau, comme c'est joli, c'est divin, c'est Homère, doublé de Tasse; vous me donnerez un exemplaire; je le mettrai à côté de J. J. Rousseau* и т. п. По за то всѣ подобныя цѣнители дальне этихъ восклицаній и не пошли, ни въ какія пренія не пустились и разбѣхались по домамъ тотчасъ-же послѣ окончанія чтенія. Оставшіеся-же ужинать были по большей части люди образованные, эксперты по части литературы и всѣхъ прочихъ искусствъ, и знающіе лѣнну вещей. Казалось естественнѣе всего можно было-бы ожидать, что у нихъ, какъ это всегда бываетъ послѣ скучныхъ чтеній, явится побужденіе, забыться отъ скуки, нагнавшаго на нихъ романомъ, въ веселыхъ разговорахъ о разнообразныхъ, по совершенно постороннихъ роману разговорахъ, а они пустились вдругъ въ серьезъ обсуждать романъ и спорить о его достоинствахъ.

Въ томъ-то и дѣло, что въ сочиненіяхъ съ тѣмъ литературнымъ приеомомъ, который въ настоящемъ случаѣ употребилъ Гончаровъ, предметомъ обсужденія и споровъ должна быть непременно избрана такая вещь, которая возбуждала бы спорящихъ къ высказыванью своихъ мнѣній. Несоблюденіе этого существеннаго правила представляетъ первый пунктъ легкомыслія Гончарова.

По авторъ не ограничился однимъ этимъ пунктомъ. Какъ уже выше было сказано, онъ вывелъ представителей разныхъ лагерей. Такъ крайнюю правую представляетъ изъ себя Красноперовъ, сослуживецъ хозяина, бывший пѣвчода пріятедемъ Греча и Булгарина. Правый центръ олицетворяется въ лицѣ старика Чешнева, челоуѣка сороковыхъ годовъ съ славянофильскимъ отбѣнкомъ мыслей. Въ самомъ центрѣ пародируетъ профессоръ словесности, написавшій много книгъ о литературѣ. Въ лѣвомъ центрѣ слѣдуетъ помѣстить редактора журнала, приглашеннаго племянникомъ хозяина — студентомъ, и наконецъ, крайнюю лѣвую представляетъ газетный критикъ по баллетристикѣ Крыковъ, приглашенный племянникомъ-же.

Какъ только гости садятся за ужиномъ послѣ чтенія романа, такъ сейчасъ-же у нихъ возникаетъ споръ по поводу прочитаннаго произведенія (авторъ котораго не присутствуетъ за ужиномъ), но это, собственно говоря, выходитъ не столько споръ, сколько турниръ, на которомъ представители различныхъ направлений, словно по заранѣ установленной очереди, начиная съ крайней правой, выходятъ преломить копы съ рыцаремъ крайней лѣвой въ лицѣ Крыкова. Что же касается до этого Крыкова, то, какъ и подо-

бать рыцарю крайней лѣвой, онъ отличается всѣми теми стереотипными атрибутами, какими обыкновенно рисуются въ романахъ нашихъ представители этого направления: онъ бѣтъ и пьетъ за четверыхъ, говоритъ всѣмъ гостямъ въ глаза, не исключая и дадь, рѣзкія грубости, употребляетъ, не краснѣя, тризвучныя выраженія, и вообще своимъ поведеніемъ возбуждаетъ такой ужасъ въ фешенебельныхъ гостяхъ, что они только и дѣлаютъ, что раздражаются восклицаніями въ родѣ: „mais c'est une horreur! c'est une peste! L'ours mal lâché!... а пѣкій bon-vivant (Уховъ, хотя и въ шутку, но не безъ тенденціозности совѣтуетъ хозяину послать за полиціей.

Первый открываетъ туриръ Красноперовъ, заявляя, что при Гречѣ и Булгаринѣ не сжгли-бы такъ выплывать: бывало, сочинители по стрункѣ ходили, и тѣ изъ нихъ только и выходили въ люди, которые добывали въ ихъ школахъ. Сколько ихъ, бывало, являлось въ Николаю Ивановичу на поклонъ и выслушивали отъ него благіе совѣты, да слѣдовали имъ.

— Который вамъ годокъ? вдругъ спросилъ Крыковъ Красноперова.

Общій смѣхъ покрылъ его вопросъ. Тотъ сердито молчалъ.

— А что?—спросилъ Суховъ, которому очевидно нравился задоръ въ противникахъ.

— Да ужь очень отзывается добрымъ старымъ временемъ!—отвѣчалъ тотъ безпереможно. Вы, я думаю, родились при «старомъ и новомъ слогѣ?»

— А чтожъ, худо было, что-ли, тогда, при Александрѣ Семеновичѣ Шишковѣ?—сердито возразилъ Красноперовъ.—Тогда ужьли слушаться старшихъ—и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина доставалось не мало и Александру Сергѣевичу, когда онъ былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише воды, ниже травы.

— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, сжали, а Булгаринъ и Гречъ приговаривали! вдругъ провозгласилъ Крыковъ при общемъ смѣхѣ.

— Такъ и падо! не худо-бы и теперь! ворчалъ Красноперовъ ближайшимъ собесѣдникамъ:—а то ужь очень расхотѣлись. Я бы всѣмъ сочинителямъ при полиціи синьки завелъ, да выдавалъ-бы имъ желтые билеты на жителство.

Кругомъ его всѣ есмьялись.

— За что-же такъ немилостиво? спросилъ съ добродушнымъ смѣхомъ профессоръ.—Видѣ ужь это почти все было прежде; если не желтые билеты, такъ бѣла, какъ-то особая книга, куда записывали литераторовъ... но и это не помогло; сами-же вы говорите, что сочинители ушли изъ подъ федулы...

— А зачѣмъ выпускали? правительство ослабѣло, строгости нѣтъ! горчичился Красноперовъ:—вотъ и порядки нѣтъ! Страху-бы намъ, страху! вотъ что душно, а не свободу печати! Дать-бы я имъ свободу! Сколько зла отъ этого! Воже мой сколько зла!

— Какое-же зло? и будто все зло? спросилъ, толко смѣясь, журналистъ.

— Какое! Вы оне спрашиваете! Развѣ не видите! Все колобочется, равняется врозь, ни у кого нѣтъ ничего святого!

Въ заключеніе-же Красноперовъ расхотѣлся до того, что обозвалъ всѣхъ ужинавшихъ огуломъ интеллигенцію.

— Вы всѣ сами интеллигенты, вотъ что! брякнулъ онъ.

— C'est trop fort! замѣтили на другомъ концѣ стола.

— Какъ такъ! Богъ съ тобою! говорилъ Урановъ. Объяснись, пожалуйста!

— Да такъ! вы сами за одно съ этими новыми.

Кто больше, кто меньше... но всѣ, всѣ! Напримѣръ: шше изъ насъ—и я знаю кто—вѣрують въ Бога по своему, разсуждаютъ... а не такъ, какъ указываетъ православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на исповѣдь, «для примѣра»—говорятъ; другіе исповѣдуютъ противный господствующему строю правительства образъ мыслей и разсуждаютъ объ этомъ подъ рукою съ пріятелями, а синки слушаютъ да на усъ мотаютъ! Что мудренаго послѣ того, что они не признають и не уважають ничего и никого!

Понятно, что послѣ всѣхъ подобныхъ репликъ Крыковъ заявилъ Красноперову, что его стоило-бы посадить въ кунсткамеру вмѣстѣ со всѣми его умершими корифеями.

Затѣмъ выступилъ на арену профессоръ, который долго ораторствовалъ въ духѣ „нельзя не сознаться, но должно признаться“ о свободѣ искусства, при чемъ мнѣнія его точка въ точку совпадали съ тѣми мыслями, какія высказываетъ Евр. Марковъ въ своихъ критическихъ статьяхъ.

— Прежде всего, я требую свободы для искусства, говорилъ онъ; а на него въ новое время хотѣтъ наложить оковы; оно не потерпитъ этого! Высокій талантъ не выкинетъ, конечно, изъ своей картины страданій, бѣды, золь, тѣлостей и нужды человѣческихъ,—но шсть его при этомъ не обойдетъ и свѣтлыхъ сторонъ жизни: только тогда и возможна художественная правда, когда и то, и другое будетъ уравновѣшено, какъ оно есть и въ самой жизни. А новая школа уже сдѣлала себѣ специальность, можно сказать, ремесло, служить только утилитарнымъ целямъ, заставить искусство некать только всѣхъ золь, подъ еватымъ предлогомъ любви и состраданія къ ближнему.

Послѣ этихъ споровъ и отставиваи тенденціознаго искусства, Крыковъ закончилъ свои состязанія съ профессоромъ слѣдующимъ заключившимъ бой ударомъ:

— Знаете-ли что, господинъ профессоръ: видѣ этотъ ужинъ тонкій, дорогой, сказалъ онъ, куда вамъ вашимъ краснорѣчіемъ заплатитъ за него!

— Что это вы говорите, съ вѣжливой строгостью замѣтилъ хозяинъ:—къ чему тутъ ужинъ! какъ вамъ не стыдно придавать такое значеніе дружеской бесѣдѣ!

— Не оспаривайте этого, возразилъ Крыковъ:—ни профессору, ни мнѣ такъ ужинать часто не приходится; ужинать сами мы все не позволимъ; а заплатить за гостепримство хочется: это хотя не познѣсовая, а житейская правда! Такъ-ли, господинъ профессоръ?

«Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ».

Затѣмъ бросаетъ перчатку рыцарь сороковыхъ годовъ Чешневъ.

— Народность, говоритъ онъ, или, скажемъ лучше, національность—не въ одномъ языкѣ выражается; она въ духѣ единенія мысли, чувства, въ союзности всѣхъ силъ русской жизни! Пусть космополиты мечтають о будущемъ сліянн всѣхъ племенъ и національностей въ одну человѣческую семью, пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться, но до тѣхъ поръ, и даже для этой самой шбли, — селѣбъ такова была, въ самомъ дѣлѣ, конечная цѣль людскаго бытія,—необходимо каждому народу переработать всѣ силы своей жизни, извлечь изъ нея всѣ силы, все ешество, всѣ качества и дары, какими онъ надѣленъ, и привести эти національные дары въ общечеловѣческую кашгалу! Чѣмъ сильнѣе народъ, тѣмъ богаче будетъ этотъ вкладъ и тѣмъ глубже и замѣтнѣе будетъ та черта, которую онъ прибавитъ къ всемірному образу человѣческаго бытія.

— Затѣмъ ничего сказать; ну, такъ чтоже? сказалъ Крыковъ:—что вы хотѣли этимъ сказать?

— То, что русский народ исполняет эту свою великую национальную и человеческую задачу, и что въ ней ровно и дружно работают все силы великого народа, от царя до пахаря и солдата! Когда все тихо, покойно, все, как муравьи, живут, работают, как будто въ разбродѣ, думаютъ, чувствуютъ про себя; говорятъ, пожалуйста, и на разныхъ языкахъ; но лишь только двнется туча на горизонтѣ, загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ — смотрите, какъ соединяются все нравственные и вещественныя силы, какъ все сливается въ одно чувство, въ одну мысль, въ одну волю — и какъ вдругъ все, будто подъ напѣтъ Св. Духа, мгновенно поймутъ другъ друга и заговорятъ однимъ языкомъ и одною силою! Баринъ, мужикъ, купецъ — все идетъ на одну общую работу, на одно дѣло, на одинъ трудъ, несутъ милліоны и копѣйки... и умираютъ, если нужно — и какъ умираютъ! Передъ вами уже не графы, князья, военные или статскіе, не жбщане или мужики — а одна великая, будто изъ несокрушимой лѣды вылитая статуя — Россія!

— Bravo! C'est sublime! отлично! закричали все. — За здоровье Дмитрія Ивановича! человекъ, наливай шампанской приказывалъ Урановъ.

— За что? Вы все это думаете и чувствуете! говорилъ онъ, отбѣгая чоканьемъ на чоканье: — это общий отвѣтъ нашему собесѣднику г. Крякову!

— Да! да! подхватили все.

Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но вдругъ опять сѣлъ.

— До сихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ, началъ онъ, обращаясь къ Чешеву, но не договорилъ: его заглушилъ общий хохотъ. — А вы просто на просто провиняетесь! выпалилъ онъ, когда все утихло.

Въ такомъ родѣ и духѣ ведутся все состязанія. Мы привели главные ихъ пункты и положенія; они-же простираются на цѣлыя пятьдесятъ страницъ, достаточно утомляя читателя своею растянутостью. И вдругъ что-же оказывается въ концѣ-концовъ: оказывается, что этотъ самый озорникъ Кряковъ, былъ вовсе не газетный критикъ радикальнаго направленія, а актеръ императорскихъ театровъ, явившійся на ужинъ по приглашенію племянника хозяина нарочно для того, чтобы разыграть роль радикальнаго критика.

Можете себѣ представить разочарованіе! И такъ оказывается, что это былъ вовсе не турниръ, а лишь одна комедія турнира!.. Одинъ изъ самыхъ существенныхъ общественныхъ элементовъ, противъ котораго, главнымъ образомъ, велась все дебаты ужина, именно и отсутствовалъ, а жбсто его занималъ актеръ императорскихъ театровъ, которому пришлось, импровизируя свою роль, врать, что только пришло въ голову, да еще при этомъ постоянно быть насторожѣ, какъ-бы его не узнали. Но какое-же значеніе, въ такомъ случаѣ, имѣютъ все его возраженія и возраженія гостей противъ его возраженій? Они оказываются таки-же фальшивыми, какъ и борода съ усами, въ которой актеръ императорскихъ театровъ разыгрывалъ роль Крякова. Я не знаю, съ какою цѣлю устроилъ Гончаровъ подобнаго рода мистификацію? Для того-ли, чтобы придать болѣе игривости своему очерку, или, можетъ быть, имъ руководила особеннаго рода хитроумная уклончивость, желаніе остаться въ стороне и омытъ руки передъ читателями относительно Крякова, такъ что если-бы одинъ изъ критиковъ вломился въ амбицію, зачѣмъ Гончаровъ изобразилъ Крякова въ такихъ стереотипно безобразныхъ краскахъ,

бросающихъ тѣнь на представителей этого лагеря, то Гончаровъ могъ-бы ловко отговориться тѣмъ, что вѣдь онъ тутъ ни въ чемъ не виноватъ, такъ, какъ это не онъ изобразилъ Крякова въ подобномъ безобразіи, а актеръ императорскихъ театровъ, отъ котораго и требовать нельзя было чего-либо другого, а если-бы иные критики нашли, что авторъ отнесся къ Крякову слишкомъ снисходительно и не достаточно напустилъ черныхъ красокъ, представилъ его и умнѣе, и скромнѣе, и практичнѣе, чѣмъ бываетъ въ действительности подобные люди, то отдувался-бы опять-таки актеръ: что-же дѣлать, если импровизируя свою роль, онъ не сумѣлъ вполне войти въ нее и представилъ отчасти самого себя, не въ силахъ будучи довести грубость, неприличіе и безуміе мыслей до степени действительнаго Крякова.

Какъ-бы то ни было, но подобная неожиданная мистификація окончательна лишаетъ очеркъ всякаго серьезнаго значенія, и довершаетъ легкомысліе автора. Въмѣсто действительнаго столкновенія мнѣній различныхъ лагерей выходитъ какой-то водониль съ перюдѣваніями, ибчто въ родѣ известной оперетки (оффенбаха „Званый вечеръ съ итальянцами“, въ которой бойкая хозяйская дочь съ узарскими жеши претіемъ морочатъ гостей, разыгрывая роли разныхъ ибщцовъ итальянской оперы, совершенно подобно тому какъ и актеръ императорскихъ театровъ морочитъ своихъ собесѣдниковъ, разыгрывая роль Крякова.

А если здѣсь не серьезное столкновеніе мнѣній, а лишь мистификація актера, то при чемъ же тутъ лебедь, ракъ и щука? вправѣ спросить читатель. Мало сказать, что не причемъ, а совершенно наоборотъ: если вы внимательно всмотритесь въ очеркъ Гончарова, вы увидите, что все дѣйствующія лица его вѣстѣ съ ихъ авторомъ не только не танутъ врозь, а выказываютъ поразительное единодушіе въ томъ смыслѣ, что все они поголовно сходятся въ легкомысленнѣйшемъ отношеніи ко всему ихъ окружающему и въ общей всехъ ихъ въ одинаковой степени обуреваемой жаждѣ веселья и веселья.

Начать съ того, что какимъ образомъ состригались этотъ литературный вечеръ? Вы подумаете, что устроителемъ его, Урановымъ, руководилъ здѣсь какой-нибудь серьезный интересъ къ литературѣ вообще и въ частности къ тому роману, который предназначался для чтенія? Ни чуть не бывало. Это былъ пустой и праздный малый, одипокій вдовецъ, посвящавшій лишь три дня въ недѣлю службѣ въ какомъ-то свѣтѣ, который онъ именовалъ утреннимъ клубомъ въ отличіе отъ вечерняго, остальное же время онъ тратилъ на визиты, обѣды, балы, карты и прочія свѣтскія удовольствія. Наступилъ май, все началъ разбѣзжаться, кто на дачу, кто въ деревню, и Уранову пришлось умирать отъ скуки, не досчитываясь, то съѣзда за столомъ въ свѣтѣ или клубѣ, то партией въ вистѣ — и всякое утро вставать съ вопросомъ: „Кто изъ знакомыхъ увязаетъ сегодня? У кого закрываются пріемные дни? Куда позвать онъ утра, съ кѣмъ будетъ обѣдать, какъ уѣдетъ вечеръ?“

И вдругъ, какал находка: авторъ романа, сослуживецъ Уранова, предложилъ ему прочесть романъ! И него въ домѣ, въ кружкѣ знакомыхъ!



«Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны слушатели авторомъ и авторъ слушателями — дѣло для него совсѣмъ не въ томъ, а въ томъ, что вса процедура займетъ у него нѣкую недѣлю: разказы, приглашенія, и, наконецъ, желанный вечеръ, проведенный по зимнему, далеко за полночь, потомъ ужина въ утра! Кроме того, послѣ долга будутъ говорить, что авторъ читалъ первый разъ, почти публично, у него, у Уранова!»

И такъ вотъ какія эфемерныя цѣли руководили хозяиномъ въ устройствѣ у себя на дому литературнаго вечера. Затѣмъ, созная своихъ свѣтскихъ знакомыхъ и желая, чтобы на литературномъ вечерѣ присутвовалъ и учено-литературный элементъ, онъ пригласилъ профессора и своего сослуживца Красноперова, предположивши вдругъ въ немъ знатока литературы, потому что онъ былъ когда-то пріятелемъ съ Гречемъ и Булгаринимъ; приглашеніе же совершенно чуждаго ему либеральнаго элемента легкомысленно поручилъ племяннику-студенту, а тотъ взялъ и подстроилъ ему актера императорскихъ театровъ въ качествѣ радикальнаго критика. Какъ студентъ, такъ и актеръ поступили въ настоящемъ случаѣ съ одинаковымъ легкомысліемъ, не зная, къ чему все это приведетъ и что изъ всего этого выйдетъ; объ этомъ можно заключить изъ того уже, что актеръ съ самаго начала вечера покушался дать тату. Такъ, во время перваго же черерыва чтенія, онъ обратился къ студенту, косясь на звѣзды мужичиныхъ:

— Пусти меня, или пойдемъ къ тебѣ на верхъ! Еще пожалуй, проврешья — вонъ отъ тѣхъ бѣды наживешь! Онъ указалъ на сановныхъ стариковъ.

Студентъ засмѣялся. — Вадоръ какой! сказалъ онъ. Пойдемъ лучше въ буфетъ!

И дѣйствительно, опасенія актера оказались вздоромъ. Легкомысленнѣйшіе гости пустились за ужиномъ въ легкомысленнѣйшія пренія о „Вайронѣ и о матеряхъ важныхъ“, но какъ ни казались важны, оживленны и даже ожесточенны все эти пренія, во всѣхъ нихъ чувствовался одинъ преобладающій нервъ: какъ-бы повеселѣе было за ужиномъ, а на оставшее на все наплеватель. Какъ мало занимали гостей и задѣвали за живое разбираемые вопросы, можно судить потому, что науськивая другъ на друга состязавшихся, они слѣдили за ихъ преніями, какъ за пѣтушинымъ боемъ, и покатывались со смѣху, восклицая безпрестанно: ахъ, какой удачный ужинъ! Ахъ, какъ сегодня весело! Что касается до актера, то набравшись предварительно въ хозяйскомъ буфетѣ смѣлости и вдохновенія, онъ сыгралъ роль Крыкова безъ запинки по всѣмъ нотамъ своей беззаветной пошлости и привнесъ въ восторгъ всю компанію. Я не знаю, что было-бы, если-бы на пирѣ оказался вдругъ не мнимый, а настоящій Крыковъ? Можетъ быть онъ и одѣтъ былъ-бы, и флъ, и пидъ, какъ и все прочіе, не говорилъ-бы никакихъ грубостей и рѣзкостей и ничѣмъ не выдавался-бы изъ среды прочихъ гостей по внѣшней порядочности и благочинію, но чего добраго гостямъ не только не показалось-бы такъ весело, а совершенно напротивъ: его тихія и сдержанныя рѣчи покоробили-бы и взволновали пожалуй многихъ изъ присутствовавшихъ въ гораздо большей степени, чѣмъ ругательства мнимаго Крыкова; онъ невольно

заставилъ-бы задуматься безпечнѣйшихъ смертныхъ, упорно отрещивающихся отъ всякой тѣни заботы о завтрашнемъ днѣ, и все собраніе можетъ быть оптимѣло-бы отъ тоски и ужаса, словно при видѣ огненной надписи: „мапи, факель, фаресь!“ И ушелъ-бы настоящій Крыковъ отъ нихъ, сопровождаемый раздраженіемъ общей неприязни; пожалуй, никто ему и руки не подалъ-бы, и ужинъ всѣмъ единогласно былъ признанъ-бы испорченнымъ присутствіемъ этого гостя, ненавистнаго хуже татарина.

Актеръ-же императорскихъ театровъ, ловкій парень, побывавшій во всевозможныхъ передѣлкахъ, зналъ отлично, на какихъ струнахъ ему слѣдуетъ сыграть, чтобы еще болѣе развеселить линкующую компанію. Онъ понималъ, что этимъ людямъ до крайности надобѣть чопорный этикетъ свѣтскихъ приличій и пріѣлись все тѣ прѣсные любезности и комплименты, которыми они привыкли осмыпать другъ друга. Чтобы занять, развлечь и оживить этихъ пресыщенныхъ людей, требовалось что-либо выходящее изъ обиденной нормы, острое, пикантное, разнузданное. И вотъ онъ началъ, пользуясь своею ролью радикальнаго критика, бросать всѣмъ гостямъ прямо въ глаза самыя обидныя рѣзкости, подобно тѣмъ шуткамъ добраго стараго времени, которые чѣмъ болѣе грубыми и наглými островами щекотали нервы избѣженныхъ лестья придворныхъ, тѣмъ болѣе имѣли успѣха. Эффектъ дѣйствительно удался какъ нельзя болѣе: чѣмъ грубѣе, тривіальнѣе и обиднѣе выражался мнимый Крыковъ, тѣмъ болѣе хохотъ возбуждалъ онъ въ восторженной и отуманенной виномъ публикѣ, и въ концѣ концовъ, всѣ остались довольны другъ другомъ и проводили его чуть не съ объятіями, а вслѣдъ ему посыпались восклицанія: Каково! а! Помилуйте, прелесть!.. Какой умный, образованный!... и пр. и пр.

Вотъ и весь результатъ преній, столкновения враждебныхъ мнѣній; неправда-ли, какой веселый результатъ? Послѣ того, невольно отдашь справедливость, что послѣдовательнѣе и искреннѣе всѣхъ на этомъ литературномъ вечерѣ выказалъ себя нѣкій престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ; онъ во время чтенія и преній упорно молчалъ и апатично вскидывалъ порою глазами на все окружающее, такъ что лишь въ концѣ вечера вспомнили о немъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъ вдругъ хозяинъ, обращаясь къ нему:— что молчите? ни слова не сказали?

— Я давно хотѣлъ сказать, да не дали....

— Ну, говорите теперь что такое?

— А вотъ дядю и знаешь забыли, такъ и остались неразрѣзанными! сказалъ онъ.

Все засмѣялись.

Кончатъ Гончаровъ свой очеркъ бенгальскими огнями еще большей веселости: по уходѣ Крыкова гости узнаютъ наконецъ отъ студента, кто былъ на самомъ дѣлѣ мнимый критикъ, и разражаются еще большимъ хохотомъ. Дядюшка бросается на шею племяннику, который своей хитрой выдумкой такъ оживилъ ужинъ и затѣмъ, черезъ нѣсколько дней, всѣ отправляются въ Павловскъ на спектакль въ пользу герцогининевъ и осыпаютъ потѣшившаго ихъ актера всевозможными оваціями и подарками.

Но я копчилъ-бы не такъ на мѣстѣ Гончарова; въ заключеніи устроилъ-бы еще болѣе блестящій апофеозъ легкомыслія: пусть-бы вся компанія, вѣбѣтъ съ Криковичъ, пустилась-бы въ плясъ, хороводомъ вокругъ прішественнаго стола, а впереди всѣхъ, въ этомъ вихрѣ легкомыслія, пусть-бы выступалъ самъ престарѣлый беллетристъ Скудельниковъ, въ

роли короля легкомыслія съ дынею вѣбѣсто державы въ одной рукѣ и съ ананасомъ вѣбѣсто скипетра въ другой, и пѣли-бы они всѣ хоромъ, въ этомъ вихрѣ веселья, что-нибудь въ родѣ:

Давайте пѣть, любить, плясать!  
Что будетъ завтра,—наловать!

## ЖЕНСКИЙ ВОПРОСЪ

СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ПАРИЖСКАГО БУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА.

(«Les Femmes qui tuent et les Femmes qui votent»; par Al. Dumas-fils. Sixième édition. Paris, 1880).

Извѣстный всей Европѣ Александръ Дюма-филс — или le Petit-Dumas, какъ называли его при жизни отца — принадлежитъ къ числу тѣхъ остроумныхъ, блестящихъ и плодовитыхъ фразеровъ и бульварныхъ крикуновъ, къ которымъ вполне можно приписать пословицу, что они за словомъ въ карманъ не подьзуть, несмотря на то, что у нихъ нѣтъ царька въ горлѣ, и они не помнятъ никакого родства. Это послѣднее обстоятельство, т. е. отсутствіе всякаго foi и loi, не только не мѣшаетъ, напротивъ того — способствуетъ ихъ успѣху, составляющему существенную цѣль всей ихъ жизни и дѣятельности. Если-бы они вздумали прямо и безповоротно пойти въ одну какую-нибудь сторону, успѣхъ ихъ былъ-бы сомнителенъ, завися отъ судьбы ихъ партій, отъ вытѣсненія ихъ идей какими-нибудь новыми, болѣе новыми и болѣе основательными; въ то время, какъ одни изъ современниковъ носили-бы ихъ на рукахъ, другіе-бы ихъ порицали и всячески обижали. Но ни одна партія, ни одно ученіе, ни одна идея не дождутся никогда, чтобы эти люди всецѣло посвятили себя служенію имъ. Казалось-бы, что всѣ партіи, всѣ ученія, всѣ идеи должны были-бы вслѣдствіе этого возстать на нихъ и отвергнуть ихъ; а между тѣмъ выходитъ совершенно наоборотъ: въ итогѣ получается всеобщая популярность, доходящая порою до общеевропейской.

Подобная популярность достигается очень легко и просто. Во-первыхъ, тутъ не малую роль играетъ темпераментъ. Когда къ вамъ въ комнату входитъ иннацій здоровѣемъ весельчакъ и разражается цѣлыми каскадами блестящихъ любезностей, каламбуровъ, шутокъ и анекдотовъ, заставляющихъ васъ хохотать до упаду, вы легко забываете нѣкоторую резню его убѣжденій съ вашими, прощаете ему даже кое-какіе предосудительные поступки, ради того, что онъ пріятно гладитъ васъ по шерсти и забавляетъ. Но тутъ кроетъ темперамента есть и кое-что другое. Вспомните во всѣ произведенія Ал. Дюма-филса, и вы увидите вотъ что. Съ одной стороны, передъ вами человекъ, находящійся au courant прогресса своего времени: всѣ самыя передовыя изъ передовыхъ идей онъ держитъ вѣберомъ въ рукахъ и разсыпаетъ ихъ передъ вами блестящимъ фейерверкомъ; порою онъ за поясъ затыкаетъ самыхъ сильныхъ и рѣшительныхъ

мыслителей своего вѣка и такими отчаянно-крайнимъ парадоксомъ ударить васъ вдругъ по нервамъ, что у васъ духъ займетъ и голова кругомъ пойдетъ, а потомъ, глядите, въ той-же самой книгѣ, черезъ двѣтри страницы, посредствомъ различныхъ сладкоговяныхъ рудадъ и невнятныхъ соловьиныхъ трелей, авторъ переходитъ совсѣмъ въ иной тонъ и выглядываетъ самымъ степеннымъ и разсудительнымъ столпомъ консерватизма. И все это дѣлается такъ мелодично, съ такимъ умомъ, тактомъ и хитросплетенною логикою, что изъ всего изъ этого получается удивительная симфонія, которою съ одинаковымъ восторгомъ заслушиваются и самыя передовыя люди вѣка, и самыя отсталыя рутинеры.

Передовыя люди говорятъ при этомъ: — правда, онъ не совсѣмъ еще выработался и додумался, порою впадаетъ въ рутину и пошлость, но все-таки онъ славный малый, — посмотрите, какъ горячо стоитъ за наше дѣло, какъ далеко шагаетъ, высказывая такіа смѣлыя вещи, на какія не каждый изъ насъ отважился-бы.

А сѣдовласый буржуа съ брюшкою и съ высокоимъ положеніемъ, въ свою очередь, похваливаетъ:

— Правда, говоритъ, — иногда онъ и завирается, но все-таки, въ общемъ, разсуждаетъ солидно и основательно; да и завирается-то съ умомъ и не безъ хитрости. Опровергнуть всѣ эти новыя бредни трудъ не большій, и на это найдется у насъ мастеровъ не мало. А вотъ взять ихъ во всей ихъ соблазнительности, довести до абсурда и свести къ нулю, — это дѣло не простое, а онъ ловко его мастеритъ, — шалунъ!..

Такимъ образомъ автора расхваливаютъ направо, расхваливаютъ налево, расхваливаютъ впереди, расхваливаютъ назадъ, — и книгу раскупаютъ; она выдерживаетъ десятки изданій, а автору только это и нужно: онъ наполняетъ свои карманы златомъ и слѣпится срывать цвѣты удовольствій поцѣбную бульварныхъ каштановъ. И главное дѣло, — это умѣнье угодить и напичкать, и вашимъ достигается вовсе не какою-либо предназренною тактикою, путемъ разныхъ сдѣлокъ со своею совѣстью и честью, а вполне непосредственно и невинно. Авторъ искрененъ до мозга костей: что у него на умѣ, то и на языкѣ, и вы не сомнѣваетесь ни на минуту, что онъ выкладываетъ

передъ вами всю душу. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ подать примѣръ нашимъ квази-откровеннымъ писателямъ, у которыхъ вся откровенность заключается въ томъ, чтобы безъ всякаго зазрѣнія совѣсти выказывать себя передъ вами лакейскими, да и лакейскими-то самыми грязными, отъ которыхъ вѣчно разитъ запахомъ луна и постыгаго масла. Нѣтъ, это откровенность чисто европейская, утонченно-изящная, гуманная, не чужающаяся всѣхъ самыхъ передовыхъ и возвышенныхъ идей, но только помнящая ихъ особенностямъ, бульварнымъ способомъ, производящимъ эти идеи до веселой, игривой и, въ тоже время, совершенно пустой и праздно-салонной болтовни.

Таковъ передъ нами Дюла-фисъ, какъ во всѣхъ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ женскому вопросу, такъ и въ предстоящей нашей разбору новой брошюрѣ, обратившей на себя такое поразительное вниманіе всей Европы, что въ какой-нибудь мѣсяцъ разошлось шесть изданій. Начинаетъ онъ свою рѣчь очень высокимъ тономъ, тѣмъ самымъ высокимъ тономъ, какой обыкновенно употребляетъ В. Гюго, когда пророчесствуетъ о судьбахъ Франціи, Европы и человѣчества.

«Въ мірѣ нравственномъ,—говоритъ онъ,—такъ-же какъ и физическомъ—законы тѣсно сдѣланы другъ съ другомъ и непоколебимы. Въ ту минуту, какъ я пишу, морской вѣтеръ бьетъ въ стекла моей комнаты, поднимаетъ волны и надуваетъ паруса тѣхъ, которые умѣютъ пользоваться этимъ кажущимся пѣвцомъ. Онъ гонитъ на материкъ пары, испаряющія росу или дождь, и разноситъ по полямъ неподвижныя зародыши, плодотворныя или сорныя, смотря по тому, на какую они упадутъ почву; онъ укрѣпляетъ одни изъ нихъ, убиваетъ другіе; ничто не въ силахъ остановить его или отклонить; онъ творитъ, что должно, ускоряя смерть того, чему суждено погибнуть, и развивая жизнь того, чему суждено жить. То-же самое и съ идеями. Онѣ надвигаются изъ-за горизонта и идутъ прямо впередъ, оплодотворяя общество, готовы ихъ принять, и умерившая тѣ, которыя ихъ отвергаютъ или искажаютъ. Откуда происходятъ онѣ? Куда онѣ стремятся? Откуда беретъ ихъ вѣтеръ? Куда онѣ стремятся?»

Развивая далѣе подобную аналогію и не забывая особенно много о строгой ея послѣдовательности, причѣмъ идеи сравниваются въ ней то съ вѣтромъ, несущимъ зародыши, то съ самими зародышами, Дюла-фисъ находитъ, что подобно тому, какъ зародыши развиваются въ растеніи, такъ и идеи воплощаются въ живые факты. Въ этомъ, по его мнѣнію, и заключается тайна воплощенія.

«Люди, пожимающіе плечами или помирающіе со стыду, пока идея остается въ области теоріи, приходятъ въ ужасъ, когда видятъ ее во плоти, шествующею въ определенной цѣли. Сначала клеймятъ позоромъ ея послѣдователя, апостола, пророка; часто умерщвляютъ его; но онъ немедленно приобретаетъ учениковъ, вѣрующіхъ, помощниковъ, мстителей, и начинается борьба. Идея постоянно торжествуетъ, и когда, наконецъ, спустя долгое время, она принимается, утверждается, дѣлается официальною и банальною, она стремится къ еще большому развитію сообразно новымъ потребностямъ. Очень часто видятъ повтореніе въ томъ, что есть не что иное, какъ логическая дедукція и фатальный выводъ изъ первобытной идеи. И вотъ начинается новое сопротивленіе инертныхъ массъ; новое воплощеніе, новая борьба, новый прогрессъ. Пока идея

не создастъ своего человѣка, она остается безплодною; а если идея перестала создавать своихъ людей,—она умерла. Религіи, философіи, науки, политическія теоріи создаются неизбежно этимъ путемъ. Все вниманіе ваше въ этомъ отношеніи должно быть устремлено на то, происходить-ли воплощеніе: если нѣтъ, то это вѣрный признакъ близкой смерти идеи».

Я полагаю, что изъ изъ этой тирады достаточно ясно видно, что именно разумѣетъ авторъ подъ воплощеніемъ идеи,—именно людей идеи, ея проповѣдниковъ и борцовъ; онъ самъ подчеркиваетъ это слово. Въ отсутствіи подобнаго рода воплощенія онъ видитъ, что идея или еще не начала жить, или она близка къ смерти. И это совершенно справедливо. Дѣйствительно, возьмемъ какую угодно идею, существовавшую уже въ жизни, ну, хоть освобожденіе американскихъ негровъ. Когда начала эта идея осуществляться? Только тогда, когда явились проповѣдники и партизаны свободы негровъ и начали проповѣдывать и распространять свое ученіе. Въ этомъ отношеніи строго нужно различать подобнаго рода истинное воплощеніе идеи отъ тѣхъ отрицательныхъ явленій жизни, которыя вызываются какими-нибудь ненормальными условиями жизни; такія явленія могутъ въ концѣ концовъ привести къ новой идее, но сами по себѣ они не заключаютъ въ себѣ ея и было бы совершенно ложно видѣть въ нихъ какія-либо воплощенія идеи. Такъ, въ нашѣмъ примѣрѣ негры задолго до появленія идеи объ ихъ освобожденіи и бѣжали отъ своихъ плантаторовъ, и убивали ихъ. Но можно ли въ подобныхъ фактахъ видѣть воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ? Ни чуть не бывало: подобныя факты могли повторяться ежедневно въ теченіи сотенъ и тысячъ лѣтъ и проходить совершенно безслѣдно, оставаясь изолированными явленіями, ничего не внушающими законодателямъ, какъ лишь заботу объ усиленіи судебныхъ преслѣдованій и карательныхъ мѣръ за такіа дѣянія. Очевидно, что только съ той минуты, когда явились первые люди, которые сгруппировали эти факты, освѣтили ихъ новымъ свѣтомъ, показали ихъ значеніе и, въ противовѣсъ старой доктринѣ рабовладѣльчества, поставили новую доктрину освобожденія,—только съ этого момента и начинается воплощеніе идеи эмансипаціи негровъ.

То же самое, конечно, и относительно женскаго вопроса. Во всѣ вѣка, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ только помнитъ себя человѣчество, во всѣхъ странахъ земного шара, не исключая Востока, вы можете встрѣтить не мало всякаго рода семейныхъ трагедій, въ которыхъ женщина является истинницею, то за свою поправную честь, то за свое невыносимое угнетеніе, и очень можетъ быть, что именно на Востокѣ, гдѣ женщина и наименѣе умственно-развита, и наиболѣе угнетена, чаще, чѣмъ гдѣ-нибудь, практикуется убійства коварныхъ любовниковъ и жестокосердыхъ мужей. Повитно, что всѣ подобныя факты очень драгоцѣнны для женскаго вопроса, какъ наглядное доказательство ненормальности положенія женщины и необходимости реформъ въ пользу женщинъ. Но видѣть въ нихъ самихъ воплощеніе идеи женской свободы было бы очень рискованно. Сообразно такому взгляду, можно было бы предположить, что женскій вопросъ долженъ возникнуть

именно на Востокъ, гдѣ онъ наиболѣе воплощается такимъ образомъ. Но мы видимъ совершенно наоборотъ: женскій вопросъ возникаетъ въ Европѣ и Америкѣ—странахъ, гдѣ женщина угнетена въ неизмѣримо меньшей степени, чѣмъ на Востокѣ, и гдѣ случаи кровавыхъ расправъ со стороны женщинъ гораздо рѣже.

Я полагаю, что читатель вполне согласится со мною, что все только-что сказанное мною прямо вытекаетъ изъ вышеприведенныхъ словъ Дюма-фиса, и это заставляетъ насъ ждать, что дальнѣйшія страницы брошюры будутъ заключать въ себѣ лишь послѣдовательное развитіе этого основного взгляда.

Но авторъ брошюры на слѣдующихъ же страницахъ разрушаетъ всѣ эти наши ожиданія. Такъ, на первомъ планѣ онъ ставитъ три скандальные процесса, надѣлавшіе не мало шума въ нынѣшнемъ же году въ Парижѣ,—процессы: Марио Бьеръ, Виргини Дюмеръ и Тилли. Марио Бьеръ—служанка и Виргини Дюмеръ—актриса обвинялись въ убійствѣ своихъ любовниковъ, которые бросили ихъ, прижили съ ними дѣтей, а мадамъ Тилли, женщина порядочнаго общества, попала на скамью подсудимыхъ за то, что облила кислотой лицо любовницы своего мужа. Эти три процесса надѣлали шума не столько вслѣдствіе характера преступленій, не представляющихъ ничего особенно выдающагося и необыкновеннаго, сколько потому что всѣ три обвиненныя были оправданы присяжными, несмотря на сознаніе виновныхъ въ своемъ преступленіи.

Вотъ въ этихъ-то трехъ процессахъ и видѣть Дюма прежде всего воплощеніе идеи женской свободы!

«Не отвѣчаясь приводить здѣсь—говоритъ онъ—великихъ историческихъ примѣровъ, которые читатели могутъ представить себѣ и безъ насъ, мы обратимъ вниманіе на три личности, вчера еще невѣстныя, но сегодня прославленныя недавними процессами,—на m-ле Марио Бьеръ, m-ле Виргини Дюмеръ и m-ше Тилли. Что представляютъ изъ себя эти личности? Можно-ли смотрѣть на нихъ, какъ на существа изолированныя, выдѣлившіяся изъ средняго уровня жизни по своему темпераменту, нравамъ и преступленіямъ, выходящимъ изъ ряду вѣсь? Ни чуть не бывало. Это—живыя, непосредственныя воплощенія идей, проповѣдуемыхъ мыслителями, моралистами, политиками, писателями, философами,—идей справедливыхъ, логическихъ, плодотворныхъ, которымъ, по мнѣнію этихъ мыслителей людей, пришло время осуществиться.

«Какъ относилось французское общество къ этимъ идеямъ, пока онѣ представлялись исключительно въ теоретическихъ и невещественныхъ формахъ? Оно смотрѣло на представителей ихъ, какъ на сумасшедшихъ и опасныхъ мечтателей и утопистовъ. Эти люди, однако же, указывали на очевидныя опасности, предлагали неизбѣжныя реформы: они говорили законодателямъ:

«Вы должны создать законы, которые запишутъ бы невинность дѣвушекъ, достоинство женщинъ, любовь дѣтей, права супруговъ и наказывали бы виновныхъ, вмѣсто того чтобы карать невинныхъ». Но законодатели не удостоивали ихъ даже и отвѣтомъ. Тогда среди наблюденій однихъ и полного индифферентизма другихъ, вдругъ возсталъ грубый фактъ—совершилось преступленіе, пала жертва, явился убійца,—и безъ всякаго видимаго повода передъ глазами всѣхъ проявилось извращеніе всѣхъ социальныхъ плановъ, всѣхъ законовъ юридическихъ и моральныхъ: жертва возбуждаетъ ненависть, убійца сочув-

ствіе, совѣтъ присяжныхъ смущается, члены суда становятся въ тупикъ, законъ колеблется, официальная справедливость обезоруживается передъ голою, которая подвываетъ собою все, словно на народномъ собраніи или въ театрѣ.

«Вотъ это и есть воплощеніе идеи, которая взапно становится лицомъ къ лицу со старыми преданіями, несостоятельными, но упорными, и стремится посредствомъ огня и крови занять мѣсто законовъ, когда-то бывшихъ прекрасными, но сдѣлавшихся несправедливыми и варварскими вслѣдствіе измѣненія нравовъ.

«Размышлялъ-ли убійца объ этихъ вопросахъ, какъ мы это теперь дѣлаемъ? Читалъ-ли онъ, прежде чѣмъ совершить преступленіе, все, что было написано объ этомъ предметѣ? Ни чуть не бывало. Нѣтъ сомнѣній въ томъ, что онъ слѣпо повиновался своей страсти. Но его удовлетворенная страсть сама собою явилась передъ трибуналомъ заявленіемъ естественнаго, ненаружимаго человеческого права, которое общество должно было бы утвердить, но о которомъ оно не позаботилось.

«Можно-ли назвать справедливымъ оправданіе виновныхъ, произнесенное судомъ и подтверждаемое общественнымъ мнѣніемъ? Ни чуть не бывало. Это оправданіе показывало только, что законъ не можетъ дѣйствовать противъ настоящихъ виновниковъ, которыхъ онъ съ давняго времени укрываетъ, и что, будучи не въ силѣ удовлетворить абсолютной справедливости, онъ, законъ, осужденъ исполнить требованія справедливости относительной, граничащей съ несправедливостью».

Итакъ, мы видимъ, что Дюма-фисъ сначала говоритъ, что идея воплощается исключительно въ людяхъ, которые ее проповѣдуютъ, и если не убьютъ своихъ людей, то она или еще не родилась, или уже умерла; что если эти люди и подвергаются насмѣшкамъ или гоненіямъ, то это ничего не значить: на мѣсто однихъ павшихъ—явятся другіе, ученики, послѣдователи, и идея въ концѣ-концовъ должна восторжествовать. Но, потомъ, вдругъ оказывается, что и эти свои люди ничего не значатъ, такъ какъ законодатели не удостоиваютъ ихъ даже отвѣта, а что истинное воплощеніе заключается въ грубыхъ, вопиющихъ фактахъ въ родѣ вышеприведенныхъ. Но позвольте, спроситъ читатель:—что же вы видите въ этихъ фактахъ? Они повторились съ исповогъ въковы. Значить, и идея ваша всегда воплощалась? Отчего же она до сихъ поръ не восторжествовала? Не оттого ли, что не было людей идеи, которые бы обращали вниманіе на эти факты и осѣивали ихъ? Не оттого ли и самые эти обыденные факты сдѣлались вдругъ такими вопиющими, не оттого-ли и присяжные оправдали ихъ, и публика аплодировала имъ, и Дюма-фисъ закричалъ о нихъ,—что явились люди, формулировавшіе идею женской свободы и начавшіе ее проповѣдывать и распространять?

Но простимъ, пока, Дюма-фису эту маленькую непоследовательность. Должно-быть, она у него въ крови. Какъ на первыхъ страницахъ, развивая свою риторическую аналогію, онъ сравнивалъ идею то съ вѣтромъ, несущимъ зародыши, то съ зародышами, несомыми вѣтромъ, такъ теперь онъ путаетъ относительно воплощенія идеи, то находитъ его въ людяхъ, несущихъ идею, то въ грубыхъ и слѣпыхъ явленияхъ жизни. Но еще разъ повторяю, не будемъ вклинать въ большую вину автору подобнаго рода путаницу понятій; по крайней мѣрѣ, подождемъ, что

онъ дальше намъ скажетъ. Какъ бы ни были далеки отъ того, чтобы вмѣстѣ съ авторомъ считать главнымъ и существеннымъ воплощеніемъ женскаго вопроса—умерщвление коварныхъ любовниковъ или обливаніе кислотою фязіономій счастливыхъ соперницъ, но воздержимся пока слишкомъ нападать на него за это: очень можетъ быть, что это болѣе ничего, какъ увлеченіе публициста подлѣ свѣжнмъ впечатлѣніемъ тѣхъ процессовъ, на которыхъ онъ присутствовалъ. Процессы эти такъ поразили его, что онъ невольно придалъ значеніе фактамъ, парадировавшимъ на нихъ, гораздо болѣе значеніе, чѣмъ они того заслуживаютъ. Факты эти онъ и призналъ за исходную точку; но, конечно, онъ не остановится на нихъ, а пойдетъ далѣе и найдетъ въ жизни воплощенія идеи женской свободы гораздо болѣе почтенныя, разумныя и истинныя. Въ ожиданіи этого, посмотримъ, что авторъ непосредственно извлекаетъ изъ поразившихъ его процессовъ, изъ какихъ мыслей они его приводятъ. Это намъ придется для дальнѣйшаго изложенія взглядовъ автора.

На 73-й страницѣ, для большей наглядности, онъ представляетъ слѣдующій разговоръ между юстиціею и преступницами:

*Юстиція* (обращаясь къ м-ле Биеръ). Зачѣмъ вы убили этого человѣка?

*Биеръ*. Потому что ребенокъ, котораго я имѣла отъ него, умеръ черезъ него, и такъ какъ отецъ его бросилъ меня, я хотѣла, чтобы этотъ человѣкъ умеръ.

*Юстиція*. Зачѣмъ, пѣня такіа мысли, вы возобновили свои сношенія съ нимъ?

*Биеръ*. Потому что мнѣ хотѣлось имѣть другого ребенка.

*Юстиція*. Объясните намъ это.

*Биеръ*. Я не могу. Но каждая мать пойметъ меня.

«Послѣ словъ Марш Антуанетты—восклицаетъ Дюма-фисъ—передъ реполоціоннымъ трибуналомъ, ни одна женщина, возмущенная жестокостію мужчины, не произносила слова болѣе глубокаго, трогательнаго, истиннаго.» Но перейдемъ къ м-ле Виргиніи Дюмеръ.

*Юстиція*. Вы убили вашего любовника?

*Дюмеръ*. Да.

*Юстиція*. Вы сокажете объ этомъ?

*Дюмеръ*. Нисколько. Если-бы во второй разъ повторилось то-же, я опять поступила-бы такъ-же.

*Юстиція*. Зачѣмъ-же вы убили?

*Дюмеръ*. Потому что я имѣла ребенка отъ него; хотѣла, чтобы онъ призналъ и не покидалъ его.

*Юстиція*. Но вы имѣли уже ребенка отъ другого человѣка?

*Дюмеръ*. Да, но тотъ умеръ.

*Юстиція*. Такимъ образомъ, вы принадлежали уже другому человѣку?

*Дюмеръ*. Да, но я имѣла живого ребенка отъ этого.

«Перейдемъ къ м-ше Тилли.

*Юстиція*. Вы облили кислотою лицо м-ле Маршалъ?

*Тилли*. Да.

*Юстиція*. Потому что она была любовницею вашего мужа?

*Тилли*. Пѣть. Если-бы была одна эта причина, я-бы простила.

*Юстиція*. За что-же тогда?

*Тилли*. За то, что у меня дѣти, а мой мужъ, отецъ ихъ, ожидалъ только смерти моей, чтобы дать моимъ дѣтямъ новую мать въ лицѣ этой женщины; онъ мнѣ самъ сказалъ объ этомъ; а я не хо-

тѣла, чтобы мои дѣти имѣли другую мать, кромѣ меня, даже хотѣ-бы и послѣ моей смерти.

«Итакъ,—говоритъ Дюма-фисъ,—дѣло идетъ о дѣтяхъ, или, лучше сказать, о ребенкѣ. Женщина—мать, въ лицѣ комедіантки, служанки, великосвѣтской дамы, въ стыдѣ и въ славѣ, подлѣ секретомъ и открыто—произвела на свѣтъ этого ребенка среди мукъ и пытокъ, стонотъ и криковъ, и ребенокъ этотъ, законный или незаконный, живой или мертвый, изъ утробы матери, изъ колыбели или могилы, поніетъ и беретъ подлѣ защиту свою мать, которую вы хотите осудить, противъ отца, ускользающаго отъ каръ закона,—и поправившій законъ отступать. Не мало-ли это?»

«Что-бы вы ни дѣлали, что-бы вы ни говорили,—законъ природы всегда останется сильнѣе всѣхъ нашихъ кодексовъ и даже нравственныхъ правилъ; всегда они, въ концѣ-концовъ, будутъ одоливать насъ, и вы до тѣхъ поръ не будете знать покоя, пока не согласуете ваши законы и мораль съ природою. Безспорно, вы поступаете вполне нравственно и ничего вамъ это не стоитъ, когда вы говорите: дѣти природы не имѣютъ правъ отыскивать своего отца, и мы признаемъ права лишь за законными дѣтьми. Мы удостоиваемъ уваженія и покровительства только залуженую женщину. Женщина-же, начиная съ 15 лѣтъ и 3 мѣсяцевъ, уступившая мужчине, и если при этомъ не произошло никакого акта насилія, не имѣетъ права ничего требовать отъ насъ, если этотъ мужчина сблизаетъ ее матерью и броситъ. Произвольное-же убійство наказывается тюрьмою, галерами и смертью, если будетъ доказано, что оно преднамѣренно, и пр.»

«Все это вполне нравственно, просто, ясно, прекрасно, если угодно, но это не имѣетъ никакого соотношенія съ инстинктами, нуждами и потребностями всеобщаго творчества природы. Все это безполезная угрозы, не имѣющія ни малѣйшаго вѣсяна на процессъ этого творчества. И вотъ, когда великая борьба мужчины и женщины вторгается въ запертыя двери суда, женщина, выродокъ вѣкомъ преданная на жертву вашимъ социальнымъ комбинаціямъ, какъ дѣвушка, какъ супруга, какъ мать, возмущается и говоритъ намъ въ лицо:

— Ну, что-жъ! Ну, да, я любила; и то, что вы называете, папа, т. е. уступила природѣ; и отдалась мужчине, и даже нѣсколько разъ. Да, и потому совершила преднамѣренное убійство, упрямилась даже для этого во владѣніи мужскими оружіемъ. Да, я поджидала этого человѣка и поразила его изъ засады постыднымъ образомъ, въ спину, среди улицы. Да, я попросила у него послѣдняго поцѣлуя, и когда онъ жаль меня въ своихъ объятіяхъ и не могъ вывернуться отъ меня, я ему прострѣлила черепъ. Да, я наложила клеймо невѣрности своего мужа на лицо его сообщника, молодой дѣвушки, противъ которой лично я ничего не имѣла и которая не считала меня, уважаемую женщину порядочнаго общества, способною на подобное безобразіе. Все это правда; но я мать, священная особа, если я никогда не падала, и женщина, достойная прощенья, если я люблю ребенка, рожденнаго отъ моего грѣха. То, что я сдѣлала,—я сдѣлала во имя своего истиннаго ребенка, которому вы обязаны покровительствовать, но вы не покровительствуете. Вы позволили мужчине оболгать меня, сдѣлать матерью, бросить меня потомъ обезчещенною, безъ средствъ и съ ребенкомъ на рукахъ. Вы позволили ему также, когда онъ женится на мнѣ, избѣгать мнѣ, имѣть любовницъ, противъ которыхъ вы не можете и не хотите меня ни защитить, ни позволить мнѣ взять состояніе свое и дѣтей моихъ, и передать его другому; вы обрекли меня вѣчно принадлежать одному мужчине, какъ-бы онъ ни былъ презрѣнъ,—что-жъ мнѣ остается дѣлать, какъ не убивать? Вы допустили, чтобы мой ребенокъ, законный или незаконный,—могъ не имѣть отца. За-

ключите-же его въ тюрьму или убейте его мать; вамъ только это и остается. Ну, что-жь, къ дѣлу!

«Что вы можете отвѣтить на это?—Что, во всякомъ случаѣ, никто не въ правѣ творить произвольный судъ? Что преднамеренное убійство по такой-то и такой-то статьѣ кодекса должно быть наказуемо такъ-то? Но развѣ мы говоримъ, что преступники изъли право? Нисколько. Они показали лишь вамъ, что мужчина неправъ, что законъ неправъ, и тогда толпа,—т. е. инстинктъ природы, обратилась въ третейскаго судью и принудила васъ поставить вердиктъ вашъ во имя невиннаго, т. е. ребенка, и это естественное чувство дошло до такой степени, что когда государственнй прокуроръ, защитникъ вашихъ законовъ, покровитель нравственности, органъ правосудія, потребовалъ дальнѣйшаго слѣдствія, чтобы лучше узнать истину,—публика закричала, какъ въ театральнй залѣ, общественное мнѣнiе заволновалось, печать пришла въ негодование. Вслѣдствіе того, что не отпустили тотчасъ-же на свободу женщину-убийцу, которая не только не раскалась въ своемъ преступленіи, но объявила, что она готова снова повторить его,—обвинитель въ глазахъ всѣхъ сдѣлался какъ-бы подсудимымъ.

«И всѣ эти безпорядки, всѣ эти преступления, всѣ эти скандалы и беззаконія происходятъ не изъ чего иного, какъ изъ того, что вы не имѣете храбрости создать законы, которые обезпечивали-бы честь дѣвушекъ такими-же гарантіями, какими обезпечено у васъ самое грубое торговое дѣло, относилась-бы съ равною справедливостію ко всѣмъ дѣтямъ безъ различія и допускали-бы члену семейнаго союза—въ случаѣ если онъ обезпеченъ, покинуть или разоренъ другимъ членомъ—возстановить свою честь, свободу и благосостояніе, не прибѣгая для этого къ прелюбоуднiю, аскетизму, самоубійству или убійству. Такъ какъ подобныхъ предупреждающихъ узаконеній у васъ нѣтъ, то у васъ мужья дунать женъ, дѣвушки убиваютъ любовниковъ, жены обезображиваютъ соперницъ, тогда апплодируетъ всему этому,—и такимъ образомъ торжествуетъ идея».

Допустимъ, что хотя все это нѣсколько старо, но отчасти и справедливо. Дѣйствительно, законы не гарантируютъ ни чести дѣвушекъ, ни правъ женъ,—и отъ этого происходятъ прискорбныя преступленія. Но какъ въ этихъ прискорбныхъ преступленіяхъ можетъ торжествовать идея,—объ этомъ нужно спросить у автора, да и при чемъ тутъ вообще идея, т. е. женскій вопросъ въ настоящемъ смыслѣ? Неужели этотъ вопросъ весь можетъ быть исчерпанъ законами о разводѣ и правахъ незаконныхъ дѣтей?

Въ томъ-то и дѣло, что не только эти законы не исчерпываютъ женскаго вопроса, но составляютъ лишь преддверіе къ нему. Не отъ нихъ зависитъ рѣшеніе женскаго вопроса, а, напротивъ того, они сами зависятъ отъ рѣшенія послѣдняго. Женскій вопросъ, если взять его ядро и очистить отъ скорлупы всѣхъ тѣхъ нравственныхъ, юридическихъ и сословныхъ аксессуаровъ, съ какими онъ обыкновенно соединяется,—есть вопросъ чисто экономическій: о матеріальномъ обезпеченіи женщины путемъ самостоятельнаго труда. Разъ съ этимъ вопросомъ когда-либо будетъ покончено, всѣ остальные, второстепенные, рѣшатся сами собою, безъ большого труда, потому что всѣ они всецѣло зависятъ отъ этого основнаго вопроса. А безъ разрѣшенія его, какіе законы, гарантирующіе права женщины, вы-бы ни постановляли, всѣ они будутъ тщетны, всѣ они тотчасъ-же разо-

бьются о снаду экономической необезпеченности женщины. Въ самомъ дѣлѣ: къ чему можетъ послужить право развода для женщины, не приученной ни къ какому труду, да и, въ случаѣ способности трудиться, не обезпеченной своимъ трудомъ? Если она, къ тому-же, не имѣетъ состоянія, то разводъ ставитъ ее въ безвыходную нищету, обрекаетъ чуть что не на голодную смерть,—положеніе, изъ котораго представляются лишь два выхода: или покориться и терпѣть тиранію перваго мужа, или подвергнуться риску новой тираніи. А если женщина имѣетъ состояніе, то и въ такомъ случаѣ законъ можетъ гарантировать это состояніе лишь отъ насильственнаго захвата со стороны мужа. Мы въ этомъ отношеніи счастливые Франціи, и у насъ, какъ извѣстно, имущество женщины, въ какомъ-бы семейномъ положеніи она ни находилась,—неприкосновенно. Но что-же въ томъ? Это ничего не значитъ: разъ мы имѣемъ дѣло съ воздушнымъ, мимымъ созданиемъ, способнымъ лишь порхать по паркету, но вполнѣ чуждымъ всякаго знанія практической жизни,—подобное воздушное созданіе ничего не стоитъ провести, отобравъ имущество его самымъ легальнымъ путемъ купчихъ крѣпостей, дутыхъ векселей или дарственныхъ записей, и затѣмъ пустить барыню въ трубу и еще, пожалуй, съ ребенкомъ на рукахъ. И что-же въ такомъ случаѣ останется баринъ, какъ не снова приняться за револьверъ или сѣрную кислоту, потому что законъ и на этотъ разъ останется безсилень со всѣми своими гарантіями? Барыню могутъ и тогда оправдать присяжные при апплодисментахъ публики и сочувственныхъ статьяхъ прессы. Но развѣ ей станетъ отъ этого легче и улучшится участь ея хоть сколько-нибудь?

Что-же касается до гарантій бросаемыхъ отцами дѣтей, то здѣсь законъ еще болѣе безсильнъ, если вдуматься въ этотъ предметъ построже. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, какимъ путемъ можетъ законъ обезпечить покинутыхъ дѣтей? Принудить отца къ платѣ, въ видѣ ошовой или ежегодной денежной суммы, въ раздѣлѣ, необходимомъ для содержанія и воспитанія ребенка? Но какъ вы обезпечите ребенка на рукахъ необезпеченной матери? Въ результатѣ должно получиться взаимное голоданіе и матери, и дитяти, при которомъ нечего и мечтать о какомъ-бы то ни было воспитаніи. Или законъ требуетъ, чтобы виновный отецъ обезпечилъ не только ребенка, но и воспитательницу? Но въ такомъ случаѣ законъ станетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою: съ одной стороны въ его кодексѣ будетъ красоваться право свободного развода, естественно уничтожающее обязанность мужчины содержать женщину, разъ она перестала быть его законною женою, а съ другой стороны — неразрывныя денежные узы, въ родѣ супружескихъ, связующій людей, совершенно чуждыхъ другъ другу. Для избѣжанія подобнаго противорѣчія придется и для случаевъ разводовъ законныхъ браковъ учредить тотъ-же законъ, обязывающій мужа содержать разведенную жену; въ противномъ-же случаѣ любители клубнички могутъ создать особеннаго рода легальный адюльтеръ, т. е. обольщать дѣвушекъ, проведя ихъ сквозь женитбу и поканчивая съ ними разводомъ, избавляю-

идеть доведасовъ отъ тѣхъ обязательствъ, съ которыми соединялся-бы незаконный адюльтеръ. Наконецъ, законъ можетъ потребовать, чтобы отецъ бралъ на свое попеченіе прижитаго ребенка и самъ заботился о содержаніи и воспитаніи его. Но это было-бы всего выдѣлка. Потому что, нечего сказать, хорошо будетъ воспитаніе ребенка, силою закона навязаннаго родителю, не только равнодушному къ своему дѣтищу, но, зачастую, въ подобныхъ случаяхъ, ненавидящему его; и каковы должны быть чувства матери при сознаніи, что ребенокъ ея отданъ на попеченіе чужака, въ которомъ она разочаровалась, къ которому потеряла всякое уваженіе, а порою—дошла до ненависти къ нему. У меня на глазахъ совершается въ настоящее время драма подобнаго рода. Одинъ презрѣнный негодяй много лѣтъ тому назадъ женился и, приживъ съ женой нѣсколько человѣкъ дѣтей, бросилъ ее на произволъ судьбы со всеми ея дѣтьми. Потомъ онъ сошелся съ одной очень юной и совершенно неопытной дѣвушкой, и съ нею, въ свою очередь, прижилъ двоихъ дѣтей. Но и съ нею онъ въ настоящее время расходится. Однако-же, несмотря на то, что въ настоящемъ случаѣ ему гораздо легче отказаться отъ незаконныхъ дѣтей, чѣмъ, когда онъ расходился съ законною женою, онъ не рѣшается этого сдѣлать вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ. Онъ изъявляетъ полную готовность взять дѣтей подъ свое покровительство, но съ однимъ только условіемъ: чтобы мать оставила дѣтей на полное его попеченіе и, съ своей стороны, чтобы онъ съ ними ни дѣлалъ, не позволяла себѣ ни малѣйшаго вмѣшательства въ воспитаніе ихъ. И вотъ несчастная мать борется въ настоящее время сама съ собою, не зная, что ей дѣлать: отказаться отъ предложенія негодая и оставить дѣтей у себя? Но въ такомъ случаѣ она рискуетъ умереть съ ними съ голоду; согласиться—значитъ оставить дѣтей на жерву зверга, въ звѣромъ характерѣ котораго и полной депорализации она успѣла убѣдиться, проживши съ нимъ нѣсколько лѣтъ. Будь она обезпечена трудомъ настолько, насколько бываетъ обезпечены мужчина, — тогда, конечно, и думать ей было-бы не о чемъ. Въ томъ и дѣло, что лишь при трудовой обезпеченности всѣ эти законы, о которыхъ мечтаетъ Дюма-фисъ, и могутъ имѣть свою силу: только обезпеченная трудомъ женщина можетъ безъ всякаго риска пользоваться разводомъ, только для нея существуютъ гарантіи дѣтей, прижитыхъ ею незаконно. Въ-же этого вопроса о кускѣ хлѣба, какія-бы плачевныя рѣчи ни расточали Дюма-фисъ о попранныхъ правахъ женщины, всѣ эти рѣчи будутъ не чѣмъ инымъ, какъ ибѣдоу звенящею и кивалами бравадищи.

Но опять-таки, повторяю, можетъ быть, все то, что мы до сихъ поръ встрѣтили въ книгѣ Дюма-фиса, было однимъ лишь вступленіемъ къ рѣчи о женскомъ вопросѣ въ его сути. Правда, женскій вопросъ имѣетъ много входовъ и выходовъ, и очень жалько, что Дюма-фисъ ведетъ не прямою и парадною лѣстницею, а съ чернаго хода, разными грязьныякини закоулочками; но не все-ли равно, откуда-бы ни войти, лишь-бы войти. Итакъ, пойдемте далѣе за Дюма-фисомъ, и посмотримте, куда онъ насъ приведетъ.

А далѣе затѣмъ онъ, повиданому, имѣетъ намѣреніе ввести насъ прямо въ свѣтлыя и парадныя комнаты. Отъ женщинъ, которыя убиваютъ, онъ рѣзко переходитъ къ женщинамъ, которыя вопируютъ. „Это воплощеніе новой идеи—говоритъ онъ—не исчерпывается женщинами, которыя убиваютъ; въ туманныхъ сумеркахъ восходящаго солнца мы видимъ и другое воплощеніе, родственное первому“.

И вотъ, онъ приводитъ изъ какого-то журнала воззваніе къ женщинамъ Франціи. Мы не станемъ вслѣдъ за Дюма приводить цѣликомъ это воззваніе, со всеми его восклицаніями, а ограничимся только его сутью. Вотъ чего требуютъ поборницы женскаго вопроса, обращаясь ко всемъ французскимъ женщинамъ:

„Для осуществленія свободы, возможности учиться и жить независимымъ трудомъ намъ необходимо: 1) допущеніе женщинъ ко всемъ карьерамъ, къ которымъ только онѣ по природѣ способны; 2) ассоціація, а не подчиненіе въ нѣдрахъ брака; 3) допущеніе женщинъ къ судейскимъ должностямъ и въ составъ присяжныхъ и 4) право быть избирательницами и избирательницами, какъ въ общинѣ, такъ и въ государствѣ“.

Вотъ и всѣ требованія воззванія. Вы видите ясно изъ этихъ требованій, что дѣло идетъ здѣсь о самой сути женскаго вопроса. Женщины требуютъ допущенія къ разнымъ отраслямъ труда или политическихъ правъ, не ради одного тщеславнаго доказательства, что онѣ не менѣе мужчинъ способны быть судьями, чиновниками, медиками и т. п., а ради возможности жить независимымъ трудомъ, для чего естественно является первою необходимостью не только возвышеніе платы женскаго труда, но и расширеніе самой области женскихъ профессій. Пужно-ли и говорить о томъ, что лишь въ женщинахъ, заявляющихъ подобнаго рода требованія, слѣдуетъ видѣть то истинное и существенное воплощеніе идеи, о которой говоритъ Дюма въ началѣ своей книги? Онѣ-то и есть тѣ апостолы, пророки, ученики, послѣдователи, безъ появленія которыхъ идея или еще не родилась, или уже умерла. И посмотрите, какъ относится Дюма къ этимъ истиннымъ воплощеніямъ идеи.

Прежде всего онъ пророчитъ этимъ женщинамъ полный неуспѣхъ вслѣдствіе того, что никто изъ французскихъ женщинъ не прочтетъ ихъ воззванія. Для доказательства этого онъ раздѣляетъ женщинъ всего земного шара на нѣсколько категорій. Въ первомъ ряду идутъ женщины вполне счастливыя и довольныя своимъ положеніемъ. Онѣ не только не требуютъ какихъ-либо реформъ, но боятся ихъ и считаютъ сумасшедшею каждую женщину, заявляющую о какой-либо реформѣ. Затѣмъ слѣдуютъ хитрыя и ловкія женщины, которыя тщеславятся тѣмъ, что онѣ не только не подчинены мужчинамъ, но, напротивъ, властвуютъ надъ ними и царятъ, ловко пользуясь всѣми условіями своего криваго рабства. На такихъ женщинъ, конечно, нечего и разсчитывать.

Затѣмъ идутъ женщины народа и деревень, снискивающія въ потѣ лица хлѣбъ свой насущный, живущія по преданію матерей и свято передающія эти преданія дочерямъ. Сгибающіяся подъ тяжестью труда, вѣчно потупляющія взоръ свой въ землю, угнетенныя нуждою, порабощенныя привычкою, эти со-

зданія въ образѣ женщины не въ состоянїи и мыслить объ извѣненїи своей участи. Онѣ не имѣютъ ни времени, ни способности обсудить и сообразить. Да къ тому, онѣ и неграмотны; онѣ не только не въ состоянїи прочесть подобное воззваніе къ нимъ, но не узнаютъ о существованїи его.

Даже слѣдуютъ благочестивыя женщины. Религія учитъ ихъ нести крестъ свой и страдать. Онѣ не только не жаждутъ на свою участь, но видятъ въ ней залогъ награды въ будущей жизни. Онѣ смотрятъ, какъ на великій грѣхъ, на чтеніе какихъ-либо свѣтскихъ книгъ, журналовъ или газетъ. Если-бы онѣ случайно узнали, что существуютъ женщины, заявляющія о какихъ-либо правахъ, онѣ пришли-бы въ ужасъ и увидѣли-бы въ этомъ наводненіе злого духа.

Затѣмъ выступаютъ женщины не счастливыя, не ловкія, не угнетенныя нищетою, не благочестивыя, у которыхъ достаточно развитъ умъ, чтобы сойтись съ какою угодно мужчиною или устроить себѣ самостоятельно какую угодно карьеру; онѣ не имѣютъ недостатка ни въ волѣ, ни въ терпѣнїи, ни въ энергіи, ни въ честности. Онѣ обладаютъ идеальностью, нѣжностью и самоотверженіемъ въ достаточной мѣрѣ, чтобы быть хорошими женами и матерями, въ достаточной мѣрѣ чувствуютъ достоинство и самоуваженіе, чтобы не грѣшить; но именно вслѣдствіе того, что онѣ женщины, и притомъ женщины и не столь красивыя, и не столь сильныя, и не столь богатыя, какъ другія, — онѣ лишены не только чувствъ и радостей, но и того матеріальнаго благосостоянїя, на которое онѣ имѣютъ право. Казалось-бы, что на нихъ-то болѣе всего могло-бы разсчитывать воззваніе. Но нечего надѣяться и на подобныхъ женщинъ. Ихъ умъ, образованіе, невзгоды и испытанія, какія онѣ постоянно терпятъ, все имъ говоритъ о томъ, что положеніе ихъ требуетъ коренной реформы. Но ихъ скромность, привычка видѣть безплодными всѣ ихъ усилія, страхъ шума и скандала позволяютъ имъ лишь про себя, тайно сочувствовать женскому вопросу. Онѣ страдаютъ, сомнѣваются, молчатъ, а потомъ, при наступленїи извѣстнаго возраста, ни на что болѣе не надѣются.

Наконецъ, есть женщины умныя, просвѣщенныя, избавленныя отъ необходимости быть хитрыми, благодаря своей обеспеченности. Эти женщины смотрятъ на себя не какъ лишь на игрушку для удовольствія мужчины; онѣ интересуются всѣми великими общечеловѣческими вопросами и живутъ въ сообществѣ съ передовыми умами; не владая, однако, въ тотъ педагогизмъ, который бичуетъ Мольеръ. Эти женщины не сомнѣваются, что онѣ равны во всемъ мужчинамъ и послѣдствія получаютъ одинаковыя съ ними права. Но онѣ въ то же время убѣждены, что этого шага невозможно добиться однимъ скачкомъ съ ихъ стороны, что начинъ долженъ быть положенъ самими мужчинами, всякая же съ ихъ стороны рискованная попытка можетъ лишь повредить дѣлу. Къ тому же, этихъ женщинъ очень немного и разсчитывать на нихъ нѣтъ никакого основанія. Вопросъ — для ихъ слишкомъ серьезенъ, сложенъ и деликатенъ, чтобы предать его на публичное обсужденіе, гдѣ онъ можетъ попасть въ руки всякихъ нетерпѣливыхъ и экзальтированныхъ утопистовъ; подобныя союзницы, если

онѣ станутъ ихъ вербовать, скомпрометируютъ ихъ въ конецъ.

Я уже не говорю о воиющемъ противорѣчїи, тащемся во всей этой тирадѣ, которая начинается съ счастливыхъ женщинъ, не нуждающихся въ реформахъ, а кончается тѣми же счастливыми женщинами, въ которыхъ, какъ оказывается вдругъ, сосредоточивается все сочувствіе къ женскому вопросу. Спрашивается: для чего говорить все это авторъ? Не самъ ли онъ утверждалъ въ началѣ книги, что такая судьба каждой новой идеи при первыхъ ея воплощенїяхъ, что инертная толпа съ ужасомъ и отвращеніемъ встрѣчаетъ ее, гонитъ, преслѣдуетъ, но на это не слѣдуетъ обращать вниманія, потому что каждый разъ, въ концѣ концовъ, идея торжествуетъ? Что же въ томъ, что сегодня приверженцамъ женскаго вопроса способна внимать лишь горсть женщинъ, и притомъ такихъ, которыя менѣе всего нуждаются въ реформахъ? Вѣдь это повторяется съ каждой новой идеей! Когда впервые возникла идея освобожденія негровъ, друзья этой идеи внимала, въ свою очередь, небольшая кучка людей, не имѣвшихъ ни малѣйшаго личнаго интереса въ этой реформѣ. И что, если бы эти этики друзья обратились съ подобною же рѣчью: „Безумцы, къ кому вы взываете, кого вы хотите увлечь за собою, кто будетъ васъ слушать? Тѣ негры, у которыхъ господа добрыя, и которые, поэтому, слѣды и обезпечены, не нуждаются ни въ какихъ реформахъ. Негры, обладающіе умомъ, хитростью и ловкостью, сдѣлавшіеся прикащиками и старостами, управляющіе самими господами, еще менѣе нуждаются въ освобожденїи отъ рабства, изъ котораго извлекаютъ нѣмало выгоды. Негры, наиболѣе угнетенныя, согбенныя подъ бременемъ труда и побоевъ, не имѣютъ ни времени, ни способности и не мыслятъ объ извѣненїи своей участи; они не прочтутъ вашихъ воззваній, не узнаютъ о ихъ существованїи. Благочестивыя негры смотрятъ на свои страданія, какъ на залогъ будущихъ наградъ. Негры средняго положенія, въ видѣ насмѣшливыхъ и добродушныхъ труженниковъ, можетъ быть, тайно и желали бы переменъ своей участи, но они слишкомъ скромны, слишкомъ боятся шума и скандала и такъ разочарованы въ усилїяхъ, что нечего и ждать, чтобы они къ вамъ пристали. Наконецъ, если и есть горсть негровъ, которымъ счастливая случайность позволила развить свой умъ и встать за союзникъ общечеловѣческихъ интересовъ, то для нихъ вопросъ объ ихъ освобожденїи слишкомъ деликатенъ, чтобы предавать его публичному обсужденію; они убѣждены, что рискованнымъ скачкомъ можно только повредить дѣлу; по ихъ мнѣнїю, инициатива рѣшенія вопроса должна быть предоставлена плантаторамъ, иначе дѣло можетъ попасть въ руки утопистовъ, и тѣ его только скомпрометируютъ“.

Не правда-ли, что при ретроспективномъ взглядѣ на ходъ эмансипаціи негровъ, какъ на идею давно уже осуществившуюся, наглядно представляется ненужность подобныхъ рѣчей къ первымъ пионерамъ освобожденія невольниковъ? Но развѣ не то же самое говорить и Дюма пионерамъ женскаго вопроса? Помните, онъ не то еще говоритъ имъ: „Откуда идуть, — спрашиваетъ онъ, — нетерпѣливость, преувѣщенія“



вышла экзальтація всѣхъ этихъ опасныхъ партизанокъ? Мы не сомнѣваемся, что изъ искреннихъ убѣжденных; но страданія, разочарованія, личные промахи играютъ въ нихъ роль въ гораздо большей степени, чѣмъ безпристрастные наблюденія. Кто страдаетъ, тотъ и кричитъ, — скажутъ намъ эти женщины. Нѣтъ сомнѣнія въ этомъ, по сами по себѣ страданія, равно какъ и наслажденія, не составляютъ неоспоримаго аргумента. Они могутъ быть логическимъ слѣдствіемъ, фатальною карою разнузданности воображенія, безразсуднаго своеволія, несбывшихся иллюзій, чрезмѣрной гордости, недостатка энергіи и воли\*.

Съдвигаясь буржуа, читая эти строки, радостно потираетъ руками, а либеральный защитникъ женскаго пола продолжаетъ съ тѣмъ же апломбомъ. По его мнѣнію, существуетъ на свѣтѣ только два рода несчастій, въ которыхъ человѣкъ не виноватъ, — лихота и болѣзнь. Всѣ же прочія несчастія зависятъ вполне отъ насъ самихъ; всѣ они происходятъ изъ того, что человѣкъ гонится за личнымъ счастьемъ, рискуетъ, играетъ ради осуществленія своихъ фантазій, и когда эти фантазій не осуществляются, признаетъ себя несчастнымъ. Поэтому, чтобы избѣгать подобныхъ несчастій, человѣку остается не пытаться никакими иллюзіями и не рисковать, гоняясь за осуществленіемъ ихъ. Вы, наирѣдѣе, мечтаете о супружескомъ счастьи, — не рискуйте, т. е. не женитесь, и вы избѣгнете скуки, опасностей и невзгодъ, соединенныхъ съ бракомъ; вы ищите счастья въ дѣтахъ, — не имѣйте дѣтей, и вы избавитесь отъ риска потерять ихъ и претерпѣть отъ нихъ неблагодарность; довольствуйтесь капиталомъ и не стремитесь быть миллионеромъ, и вы не рискуете потерять все разомъ; не имѣйте любовницы, и никто вамъ не вѣднитъ, и т. д. И вотъ съ этою сумбурною теорією счастья онъ обращается къ женщинамъ.

«Когда женщина — говоритъ онъ, — требуетъ освобожденія отъ рабства мужчинъ и въ то же время вѣрить, что она можетъ быть независима отъ него, она глубоко заблуждается. Во-первыхъ, женщина дѣлается рабой мужчины только тогда, когда хочетъ этого, т. е. когда выходитъ замужъ, а вѣдь никто не заставлялъ ее выходить замужъ. Съ другой стороны, она не можетъ быть независима отъ него, потому что мужчина исполняетъ разныя матеріальныя работы, которыя она не можетъ исполнить, но безъ которыхъ ея независимая жизнь невозможна: такъ, мужчина въ качествѣ солдата защищаетъ ея очагъ, не только семейный, но и дѣятельный. Что же касается ея рабства, то еще разъ повторю, оно вполне добровольное. По закону женщина не только свободна въ равной степени съ мужчиной, но болѣе его. Такъ, женщина 21 года можетъ вступить въ бракъ безъ согласія родныхъ, а мужчина — только съ 25-лѣтняго возраста. Мужчина несетъ воинскую повинность, женщина свободна отъ нея. Эта повинность чего-нибудь да стоитъ, и если вы требуете еудейскихъ правъ, то несите за нихъ и обязанности. Мужчина подобныя права оплачиваетъ воинскою повинностью; пусть въ такомъ случаѣ и женщина дѣлаетъ тоже.

«Женщина, поэтому, не имѣетъ никакого основанія требовать себѣ правъ равныхъ съ мужчиной: она ихъ имѣетъ. Совершеннолѣтняя женщина насколько не менѣе свободна, чѣмъ и совершеннолѣтній мужчина: она точно также можетъ оставить семью, гдѣ угодно жить, куда угодно ѣздить, покупать, продавать, торговать и устраивать какую угодно

карьеру сообразно своимъ способностямъ, образованію и полу. Домашнюю обстановку она можетъ устроить, какую ей вздумается, и имѣть столько дѣтей, сколько ихъ ей пошлетъ природа. Вы возрадите, что женщина, живущая по своей фантазій и свободно рожающая дѣтей, сколько ей угодно, — считается безчестною и презираемою. Кѣмъ? Закономъ? Нисколько. — Правами. По обязанности каждой женщины — выйти замужъ, имѣть законнаго супруга и законныхъ дѣтей! Гдѣ вы это видите? Въ нравахъ — такъ, но въ законахъ ничего объ этомъ не сказано; законы регулируютъ бракъ, но не предписываютъ и даже не совѣтуютъ.

«Но — возрадите женщины — любовь нашъ идеалъ; материнство — наше призваніе; не только идеалъ и призваніе, но право и обязанность. И мы требуемъ осуществленія этого права.

— Бракъ и установленъ съ этою цѣлью, отвѣтите на это общество.

— Но мужчины идутъ приданыхъ и избѣгаютъ жениться на бѣдныхъ, а бѣдныхъ большинство. Можете вы принудить ихъ жениться на васъ?

— Нѣтъ.

— Прекрасно. Мужчина ищетъ свободы: онъ уклоняется не отъ любви, а отъ брака. Допустите въ такомъ случаѣ свободный союзъ. Мы только требуемъ права заключать его по контракту, во избѣжаніе измѣны со стороны свободнаго мужчины.

— Вы имѣете право, никто этого не запрещаетъ; одна только мораль.

— А кто основалъ эту мораль?

— Религіозные и политическіе законодатели.

— Значитъ, мужчины?

— Да.

— А знали они женщинъ на свиданія, прежде чѣмъ утвердить эту мораль?

— Нѣтъ.

— Однако же женщины составляютъ половину человѣческаго рода и онѣ сильно заинтересованы въ этомъ вопросѣ.

— Мужчины постановили всѣ эти рѣшенія сами.

Мы не будемъ выписывать всѣхъ этихъ репликъ, которыя тянутся нѣсколько страницъ и, отклоняясь отъ сути женскаго вопроса, трактуютъ все о той же канители, т. е. о необходимости брачныхъ разводовъ, свободныхъ любовныхъ союзовъ и гарантій незаконныхъ дѣтей. Въ этомъ одномъ, — говоритъ авторъ въ заключеніе этихъ репликъ, — а отнюдь не въ занятіи общественныхъ должностей лежитъ истинная и вѣчная задача женскаго вопроса. На этой лишь почвѣ женщина имѣетъ въ своей сторонѣ и природу, и справедливость, и всѣхъ тѣхъ, у кого есть сердце и совѣсть. Вотъ почему, когда, доведенная до крайности безстыдствомъ мужчины и варварствомъ закона, она дошла до остервенѣнія, начала убивать и казнить, правосудіе оказалось принужденнымъ молчать, а общественное мнѣніе возопило\*.

Вотъ онъ передъ вами, бульварный публицистъ, во всей своей красотѣ. Другого рода дѣло, когда передъ нимъ размышляются скандальныя процессики; въ глазахъ его мерещатся любовныя пантомимы всякаго рода — и тутъ онъ на своей почвѣ, тутъ онъ собаку съѣлъ; а какъ только дѣло касается до истиннаго и серьезнаго рѣшенія женскаго вопроса на той экономической почвѣ, на которой онъ только и можетъ быть рѣшенъ, какъ только передъ нимъ встанутъ истинныя защитницы женщинъ и говорить не о быствіи отъ надѣвшаго мужа, а о товариществѣ въ бракѣ, не о прелестяхъ свободной любви, а о трудѣ, не о вымогательствѣ гарантирующихъ подачекъ отъ

безсердечныхъ и безстыжихъ бульварныхъ довеласовъ, а о возможности посредствомъ обезпеченнаго благосостоянія, путемъ занятія мужскихъ профессій самостоятельно воспитывать своихъ дѣтей,—онъ сейчасъ же впадаетъ въ ужасъ, начинаетъ вопить о нетерпѣливости, о чрезмѣрной требовательности, о разнузданности воображенія, о несбыточныхъ иллюзіяхъ, личныхъ промахахъ и т. п. Это онъ-то, Александръ-то Дюма, укоряетъ вдругъ скромныхъ партизанокъ женскаго вопроса въ разнузданности воображенія, можете себя представить: онъ, который весь женскій вопросъ сводитъ на вопросъ о клубничкѣ, о свободѣ удовлетворенія половыхъ потребностей подь гарантією закона.

Послѣ этого Дюма-фису оставалось сдѣлать лишь одинъ блестящій шагъ: ошканивъ истинныхъ партизанокъ, ищущихъ рѣшенія женскаго вопроса на разумной почвѣ, въ то же время возвеличить своихъ бульварныхъ подругъ — парижскихъ проституттокъ, какъ наиболее благотворное одицованіе идеи женской свободы. И Дюма-фисъ этотъ шагъ дѣлаетъ.

Не всѣ-же женщины, по словамъ Дюма, покинуты любовниками или оскорблены мужьями, способны стрѣлять или брызгать кислотой. И вотъ является проституція, какъ великій социальный фактъ:

«То, чего нѣкогда стыдились и страшились, дѣлается карьерою, средою, историческимъ фактомъ, съ которымъ цивилизація должна будетъ считаться и который поведетъ къ непредвидимымъ измѣненіямъ въ нравахъ и законахъ. Эта карьера, представленная во всякое время бѣднымъ дѣвушкамъ, одареннымъ молодостью, красотой и умомъ, эта среда чувственности и наслажденій, постоянно открытая юношамъ и старикамъ, одареннымъ желаніями и деньгами, этотъ странный міръ, въ которомъ нѣтъ ни правъ, ни обязанностей, по мѣрѣ того, какъ будетъ развиваться, будетъ получать все большее и большее значеніе, подобно другимъ мірамъ современнаго социальнаго строя,—аристократіи, буржуазіи, демократіи.

«Подобно тому, какъ острова, выдвигаемыя изъ морей геологическими переворотами, покрываются сначала лѣсами, а потомъ городами, такъ и этотъ міръ будетъ имѣть въ скоромъ времени свою автономію, свои учрежденія, свои общіе интересы, свою солидарность, свой идеалъ и даже свою нравственность. Это достоверно. Придетъ время, когда эта новая общественная сила будетъ заключать договоры съ правительствами. И теперь уже знатные люди, миллионеры, принцы порою женятся на гражданкахъ этого царства, а дочери этихъ гражданокъ, ни мало не красясь за ремесло матери и не имѣя нужды продолжать его, вступаютъ въ брачные союзы, на первыхъ порахъ яко-бы законные, и своими придаными содѣйствуютъ промышленности, торговлѣ, а иногда и позлащаютъ и возстановляютъ древніе гербы. По этого мало. Женщины эти не любятъ угрызений совѣсти, онѣ не сожалеютъ о своей участи: ихъ слишкомъ много, онѣ слишкомъ организованы, богаты и славны, чтобы заниматься этимъ. И къ тому-же свѣтъ, который ихъ изгналъ и который часто завидуешь имъ, вовсе не недоступенъ для нихъ. Онѣ не только держатъ въ своихъ рукахъ мужчинъ, но вербуютъ въ свои полки и женщины этого свѣта. А подь старость онѣ становятся филантропками, расточаютъ милостыню, дѣлаются благотѣльницами околотка; администрація при этомъ почтительно услуживаетъ имъ, церковь ихъ прославляетъ...»

Такимъ образомъ вовсе не съ какими-то тамъ безумными партизанками женскаго вопроса, а вотъ съ

какимъ великимъ социальнымъ фактомъ придется считаться цивилизаціи—съ проститутками!.. Такъ!..

Правда, Дюма-фисъ далѣе въ своемъ трактатѣ допускаетъ и другой, болѣе благородный выходъ для женщинъ, ищущихъ свободы внѣ брачныхъ узъ, — именно: на поприщѣ науки. Казалось-бы, что здѣсь женѣ всего было-бы мѣста для какихъ-либо эротическихъ предположеній. Но представьте себѣ, что нашъ бульварный сластолюбецъ даже и на этой сухой и строгой почвѣ не могъ обойтись безъ сладострастныхъ представлений, да и какихъ еще представлений! Такихъ, что тутъ, можно сказать, онъ и самого себя заткнулъ за поясъ. Оказывается, вотъ видите, что подобно тому, какъ женщина на религіозной почвѣ проявила всегда гораздо болѣе фанатизма и страсти къ мученичеству за идею, чѣмъ мужчина, такъ это будетъ и на научной почвѣ.

«Она пойдетъ на самыя тяжкіе труды ради науки, на самыя мучительныя и необыкновенныя опыты для разрѣшенія задачи. Ей ничего не будетъ стоить вырѣзать у себя груди, подобно св. Агавѣ, для раскрытія тайны образованія молока; она передастъ своего ребенка съестъ, подобно св. Фелпситѣ, для того, чтобы отдалась звѣрью и провѣрить такимъ образомъ теорію Дарвина.»

И тутъ Дюма приходитъ вдругъ въ такой неистовый паеосъ, что восклицаетъ внѣ себя:

«Пятнадцатилѣтніе юноши, вы, которые читаете тайкомъ эти страницы! Вы, можетъ быть, проживете на свѣтѣ еще шестьдесятъ лѣтъ, и я вамъ этого от души желаю, потому что дѣлается все труднѣе и труднѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ интереснѣе доживать до 75-лѣтняго возраста. Вы, можетъ быть, услышите еще при жизни вашей, что кто-нибудь изъ моихъ будущихъ собратьевъ будетъ рекламировать въ пользу обезпеченія участи дѣтей, рожденныхъ отъ женщинъ и обезьянъ, какъ это и теперь дѣлаю въ пользу дѣтей, рожденныхъ отъ женщины и человека. И какъ только вы услышите подобную записку, спешите на мою могилу, постучите въ нее вашей тростью и скажите: «совершилось!» Нѣкоторою прохажіе спросите у васъ, въ чемъ дѣло; вы объясните имъ, если только въ то время будутъ еще существовать кладбища и могилы.»

Спрашивается: въ чему все это говоритъ Дюма? Для чего эта бездна отвратительнаго цинизма? Въ серьезъ развиваетъ онъ подобныя необузданно-дикія фантазіи, или и здѣсь, какъ и во многихъ убѣдахъ книги, подь наружнымъ паеосомъ скрывается ядовитая иронія надъ скромными усиліями женщинъ выбиться изъ ихъ вѣковаго ярма, стремленіе довести до смѣшнаго и нелѣпаго абсурда женскій вопросъ и поглумиться надъ нимъ? А скорѣе всего, подобныя вещи говорятся съ единственною цѣлью побалагурить, и, угода скоромнымъ вкусамъ парижской публики, придать болѣе пикантный и пранный характеръ книгѣ; и ни о чемъ при этомъ не помышлялъ Дюма-фисъ, ни о какихъ женскихъ вопросахъ, какъ лишь о томъ, какъ пятнадцатилѣтніе мальчики, а можетъ быть и дѣвочки, будутъ тайкомъ читать его интересную, во части клубнички, брошюрку.

Но за то, въ концѣ книги, Дюма-фисъ раздражается вдругъ такимъ неожиданнымъ и блестящимъ фейерверкомъ и подноситъ вамъ такой роскошный букетъ свободомыслія, что многія, даже серьезныя читательницы забудутъ, конечно, всѣ тѣ униженія и глумле-

ція, которая дѣлала онъ иль на предыдущихъ страшицахъ книги, прохаживаясь вокругъ да около инстинктивныхъ сторонъ ихъ жизни. — и, пожалуй, поднесутъ ему лавровый вѣнокъ, какъ истинному поборнику женскаго вопроса.

Нѣсколько страницъ назадъ, какъ мы видѣли, Дюма отрицалъ не только политическую, но и гражданскую правоспособность женщинъ. „Какое основаніе — говорятъ онъ — имѣютъ женщины добиваться правъ на занятіе разныхъ общественныхъ должностей и профессій? Каждое право должно оплачиваться обязанностью; мужчина за подобныя права несетъ яро воинской повинности; женщина избавлена отъ нея, зато она не должна претендовать и на мужскія права. Совершенно достаточно, чтобы были учреждены законы для свободныхъ любовныхъ союзовъ, и тогда однѣ женщины пойдутъ замужъ, другія въ великое сословіе проститутокъ, третья на подмостки театра, четвертыя будутъ дѣлать научные опыты по части столетокства, и женскій вопросъ будетъ такимъ образомъ порбшенъ, — все пойдетъ, какъ по маслу“. И вдругъ Дюма-фисъ забываетъ все это, сказанное имъ въ той-же книгѣ, нѣсколько страницъ назадъ, и является готовымъ преподнести женщинамъ не только гражданскія, но даже и политическія права!

Вы, конечно, и слышали, и читали, и хорошо вамъ извѣстно о недавнемъ процессѣ Юбертина Оклеръ. Эта дѣвушка, Юбертина Оклеръ, не убила изъ револьвера ни одного любовника, не облила кислотой лица ни одной соперницы, а принадлежить именно къ тѣмъ партизанкамъ женскаго вопроса, которыхъ обвиняетъ Дюма-фисъ въ излишней нетерпѣливости, разнузданности воображенія и т. п. Она одна изъ первыхъ представительницъ общества „Право женщинъ“ и одна изъ главныхъ сотрудницъ газеты этого общества, посвящей то же названію. Очень можетъ быть, что никто другой, какъ именно она сочинила и то воззваніе, къ которому отнесся Дюма такъ отрицательно. По крайней мѣрѣ, вотъ что говорятъ объ этой интересной личности Людовикъ въ „Хроникѣ парижской жизни“, въ № 9 „Отечественныхъ Записокъ“:

«Въ началѣ настоящаго года, эта Оклеръ потребовала отъ мэра того парижскаго округа, гдѣ она жила, внести ее имени въ списки муниципальных и парламентскихъ избирателей. Когда ей въ этомъ было отказано, она потребовала составленія объ этомъ отказѣ протокола. Черезъ нѣсколько времени, присутствуя въ мэріи на заключеніи гражданскаго брака, она произнесла цѣлую рѣчь о несправедливости, относительно женщинъ, статей гражданскаго кодекса, касающихся брака. Неожиданная эта манифестация обусловила появленіе циркуляра сенскаго префекта, который запрещалось впредь при заключеніи брака говорить кому-бы то ни было, кромѣ мэра. Нѣсколько недѣль тому назадъ, Оклеръ устроила, при пособіи своего общества, митингъ въ залѣ улицы Леневъ, для котораго залъ былъ особеннымъ образомъ убранный. Съ занесены развѣсана широкая красная лента съ напечатаннымъ на ней именемъ Луизы Мишель, участницы коммуны, отказавшейся отъ своего помолванія до тѣхъ поръ, пока въ сѣмьѣ останется хотя-бы одинъ коммунаръ. Программа вечера была напечатана крупными буквами и такъ, чтобы всѣ присутствующіе могли ее прочесть. На програмѣ этой, между прочимъ, напечатаны были слѣдующія фразы: «Нѣтъ обязанностей безъ правъ, и нѣтъ правъ безъ обя-

занностей», и слова Кондорсе: «Никто изъ людей не имѣетъ правъ, или права всѣхъ людей одинаковы; и тотъ, кто подаетъ голосъ противъ правъ другого, какой-бы религіи онъ ни придерживался, къ какому-бы полу ни принадлежалъ, какого-бы племени по цвѣту своей кожи ни былъ, — тѣмъ самимъ отказывается отъ своихъ правъ». Что касается до самого предмета чтенія, то г-жа Оклеръ съ политическимъ мастерствомъ говорила о всѣхъ сторонахъ и особенностяхъ женскаго вопроса, и такъ основательно и горячо, что увлекла своими доводами самыхъ отчаянныхъ скептиковъ, какъ, напримеръ, репортера газеты «Temps», котораго рѣшительно очаровала до того, что онъ печатно назвалъ ее «Сарою Бернаръ женскаго вопроса».

«Главнѣйшимъ орудіемъ, которымъ женщины могутъ воспользоваться для своего освобожденія, должны быть, по мнѣнію Оклеръ, отказъ въ уплатѣ налоговъ, такъ какъ, если у женщинъ отняты права, то у нихъ не можетъ быть и обязанностей. Подавъ собою примѣръ, она отказалась платить существующій въ Парижѣ налогъ на квартиру и мебель, и когда у нея за это была описана мебель, отправила въ различныя газеты слѣдующее заявленіе: «Я, представляющая собою ничто, когда дѣло идетъ о голосованіи, составляю ничто, какъ платекная единица. Сегодня описана моя мебель. Фискаль налагаетъ руку на мое имущество за то, что я требую пользованія своими правами, взаимно получасмаго съ меня налога, за то, что я не хочу платить суммы, за сборы которой я не подавала своего голоса и употребленія которой я не могу контролировать. Я протестую противъ такого захвата моего имущества. Я протестую противъ подобнаго дѣйствія правительства, состоящаго исключительно изъ мужчинъ, которое отрицаетъ мои права и, тѣмъ не менѣе, беретъ мои деньги. Я заявляю, что въ этой борьбѣ одной противъ всѣхъ я не уступлю, а подчинюсь насилью. Юбертина Оклеръ».

«И вотъ, Юбертина Оклеръ обратилась съ жалобой къ суду совѣта сенскаго префектуры. Защищала свои требованія она сама. Совѣтъ слушалъ ее сначала съ прямымъ любопытствомъ, а потомъ и съ весьма серьезнымъ вниманіемъ, такъ какъ слова ея были исполнены логики и увлекательнаго краснорѣчія. Явилась въ судъ она настоящей свѣтлой дамкой, въ очень изящномъ туалетѣ. Поддерживала ея требованія адвокатъ Антонень Левривъ, секретарь общества «Право женщинъ». При этомъ онъ ссылался на авторитетъ знаменитаго французскаго философа Кондорсе, «смысломъ науки и сознанія поставившаго вопросъ о равенствѣ обонхъ половъ», и ссылался такъ-же на Гладстона, который уже добился нѣкоторыхъ избирательныхъ муниципальных правъ для женщинъ Великобританіи и который вполнѣ сочувствуетъ ихъ стремленію къ полученію и избирательныхъ политическихъ правъ. Правительственный комиссаръ отвѣчалъ Левривъ, утверждавшему, что противъ требованій его клиентки не существуетъ опредѣленныхъ законовъ, прочтемъ тѣхъ статей кодекса, которыя относятся до податей и налоговъ и обязываютъ къ ихъ уплатѣ всѣхъ обывателей: холостыхъ молодыхъ людей и дѣвушекъ совершеннолѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, имѣющихъ средства къ существованію. Затѣмъ онъ прибавилъ, обращаясь къ г-жѣ Оклеръ: «Вы, сударыня, ошиблись дверью. Вамъ слѣдовало обратиться съ вашей жалобой не въ совѣтъ префектуры, который не имѣетъ законодательной власти, а въ палату депутатовъ или сенатъ». Тогда г-жа Оклеръ составила петицію въ парламентъ, а общество «Право женщинъ» стало собирать для нея подписи, чтобы представить потомъ въ парламентъ».

И вотъ, подъ впечатлѣніемъ этого процесса Оклеръ, на Дюма-фисъ внезапно нашло словно нѣкое проспаніе. Онъ вдругъ уразумѣлъ, что свобода жен-

щинъ отъ воинской повинности вовсе не составляетъ резона для лишенія ихъ гражданскихъ и политическихъ правъ; что, во-первыхъ, далеко не все мужчины поголовно несутъ на себѣ воинскую повинность, однако-же правами пользуются не одни солдаты, а вторыхъ—нельзя сказать, чтобы женщины вовсе не участвовали въ воинской повинности, потому что онѣ оплачиваютъ содержаніе войска наравнѣ съ мужчинами. И вотъ, Дюма-фисъ, не позаботившись хотя-бы зачеркнуть все то, что онъ говорилъ объ этомъ предметѣ на предыдущихъ страницахъ, беретъ подъ свою защиту Юбертину Оклеръ и начинаетъ ораторствовать въ защиту дарованія женщинамъ политическихъ правъ. Послушаемъ же, что говоритъ объ этомъ нашъ бульварный публицистъ:

«Въ 1847 году—говоритъ онъ—политическіе дѣтели, по правдѣ, слишкомъ требовательные, просили у правительства пониженія избирательнаго ценза и присоединенія къ нему всѣхъ правоспособныхъ. Но правительство отказало безъ всякихъ основательныхъ поводовъ, и я не знаю, представило-ли оно оно какіе-либо резоны, хотя бы неосновательные. Этотъ отказъ поведъ за собою революцію 1848 года, которая, естественно, не ограничилась первоначальнымъ проектомъ,—это было ея право, какъ революціи,—а ввела всеобщую подачу голосовъ, т. е. уничтожила всякій цензъ и допустила въ выборѣ не только всѣхъ правоспособныхъ, но и неспособныхъ мужскаго пола. Въ настоящее время всеобщая подача голосовъ существуетъ для всѣхъ мужчинъ безъ всякихъ ограниченій. И вотъ являюся женщины и въ свою очередь говорятъ: «А мы, что-жь? Мы требуемъ присоединенія правоспособныхъ и съ нашей стороны!» Можеть ли быть что-либо послѣдовательнѣе, разумнѣе и справедливѣе? Какое различіе предположите вы между мужиной и женщиной, чтобы отказать послѣдней въ правѣ вотировать, когда вы даровали это право мужчинамъ? Никакого различія.

— А польза?

— Какой польза?

— Женскій польза.

— Но какую же тутъ роль играетъ польза? Ни малѣйшей. Женщина не имѣетъ бороды, мужчина—длинные волосы. А что касается до другихъ различій, то они представляютъ такое преимущество женщинамъ, что мы лучше объ этомъ и толковать не станемъ.

— Будемъ говорить серьезно.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Тутъ идетъ дѣло не о физическомъ, а о моральномъ половомъ различіи.

— Я васъ не понимаю.

— А между тѣмъ, это ясно. По своему полу женщина слабѣе мужчины, и доказательствомъ этого служатъ то, что мы принуждены постоянно защищать ее.

— Мы защищаемъ ее такъ мало, что она принуждена защищаться сама всѣми силами изъ революціи, и мы такъ мало позаботились о предупредительныхъ мѣрахъ въ этомъ отношеніи, что принуждены оправдывать ее.

— Но это исключительные случаи. Известно, однако же, что женщина въ умственномъ отношеніи ниже мужчины. Вы сами объ этомъ писали.

— Если я это писалъ, то написалъ глупость, и сегодня я измѣняю свое мнѣніе. Не я первый, писавшій глупости, и не я послѣдній, измѣняющій мнѣніе, вотъ и все. Но я никогда не говорилъ подобной глупости. Мнѣ ее приписали; это не все равно, хотя и очень удобно въ спорѣ.

— Если вы не говорили подобной же глупости, а правды,—очень жаль, потому что она написана во

всѣхъ книгахъ религіозныхъ, философскихъ и медицинскыхъ.

— Наши религіозныя книги говорятъ намъ, что женщина привела мужчину къ потерѣ рай, значитъ—она была выше его, если могла заставить сдѣлать, что ей было угодно. Можеть быть потому мы и не хотимъ предоставить ей вотировать, что боитесь, чтобы она снова не заставляла васъ потерять рай, который вы возобновили и въ которомъ живете? Индійскія же религіозныя книги, которая древнѣе нашихъ на семь или на восемь тысячъ лѣтъ, говорятъ, что Адамъ потерялъ рай потому, что не послушался Евы, которая совѣтовала ему не переступать установленнахъ Богомъ границъ рай. Во всякомъ случаѣ, мужчина въ религіозныхъ книгахъ представляется ниже женщины. Что касается философскихъ книгъ, то онѣ совѣтуютъ намъ избѣгать, сколько возможно, сношеній съ женщинами, потому что эти обольстительныя созданія способны отвлечь мужчину отъ высшихъ помысловъ и ввернуть его въ чувственность. Философы, такимъ образомъ, констатируютъ слабость не женщины, а мужчины. Медицинскія же книги только и говорятъ о томъ, что мужчина и женщина имѣютъ различныя отправления и слабыми силами, сообразными этимъ отправлениямъ. Затѣмъ онѣ учатъ насъ, что если мужчина одаренъ большою мускульною силою, за то женщина превосходитъ его первою силой, что если разумъ зависитъ отъ развитія и тяжести мозга, то женскій мозгъ долженъ быть совершеннѣе мужского, такъ какъ самый обширный и тяжелый изъ всѣхъ звѣриныхъ мозговъ мозговъ принадлежалъ женщинамъ,—тѣмъ 2,200 граммъ, т. е. 460 граммами тяжеле мозга Кювье. Правда, что эта женщина написала книги, подобной трактату Кювье объ ископаемыхъ, но для того, чтобы подождать голосъ въ урну, вовсе не требуется ни избрѣтенія порока, какъ это достаточно доказываютъ 7,000,000 избирателей, которыхъ мы имѣемъ во Франціи, ни способности носить на плечахъ по 500 кило, такъ что я не понимаю, почему мускульная слабость женщины, исключая при этомъ рыночныхъ торговцевъ, акробатовъ и проч., прешлетвовала бы имъ вотировать. Почему мадамъ де-Севинье, если бы она была жива до сего дня и, конечно, не могла бы на народномъ празднествѣ ударить по головѣ турка съ силою 500 кило, не могла бы вотировать наравнѣ съ своимъ садовникомъ Павломъ?

— Но мадамъ де-Севинье исключеніе. Идеи же, обычаи и законы никогда не утверждаются исключеніемъ.

— Какъ и ея бабушка Шанталъ тоже исключеніе? И Лафайетъ, и Ментенонъ, и Дасіе, и Гюнонь, и Лонгевиль, и Шателаз, и Сталь, и Ролландъ, и Зандъ?

— Все исключенія.

— Во всякомъ случаѣ, польза, который представляетъ подобныя исключенія, завоевалъ полное право выражать свои мнѣнія не только при выборѣ мэра или муниципальныхъ совѣтниковъ, но и депутатовъ. Но исключенія на этомъ не останавливаются. А Клотильда, обратившая французокъ въ католичество, развѣ не имѣла вліянія на Хлодвига и на судьбу всей нашей страны? А Анна Божья, а королева Анна, а Бланка Кастильская, а Елизавета Венгерская, а Екатерина Великая, а Марія-Терезія?

— То были королевы!

— Но это не измѣняетъ ихъ пола, а показываетъ только, что женщины способны царствовать съ такимъ же умомъ и энергіею, какъ и мужчины. И никто мнѣ не докажетъ, почему польза, не имѣющая женщины быть подобными королевами, мѣняетъ имъ вотировать?

— Но дѣло идетъ здѣсь не объ однихъ только подобныхъ женщинахъ, а о массѣ, не имѣющей никакого понятія и смела въ политикѣ.

— Смыслъ этотъ вовсе не трудно приобрести:

если судить по мужчинамъ, претендующимъ на него. Развѣ мало, въ самомъ дѣлѣ, женщины, о которыхъ замѣчательные люди говорятъ: «мои мати была умнѣйшая и честнѣйшая женщина; я ей всё въ обязанъ». И я не понимаю, почему все эти обязательства въ неизвѣстности умнѣйшихъ и честнѣйшихъ женщинъ не имѣютъ права вѣтровать наравнѣ съ негодными и идиотами мужскаго пола?

— Но не вы же ли сами сейчасъ, 200 строкъ назадъ, говорили, что права должны окушаться обязанностями и что женщины не могутъ ходить на войну подобно мужчинамъ?

— А Иоанна Французская, Иоанна Фландрская, Иоанна Блуасская, Иоанна Гашетъ, по поводу которой Людовикъ XI далъ преимущество женщинамъ передъ мужчинами на праздникъ въ Бове, который она записала во главѣ прочихъ женщинъ города противъ Карла Смѣлаго? А Иоанна д'Аркъ, наконецъ? Въ такомъ случаѣ, если бы въ настоящее время какая-нибудь женщина сдѣлала то же, она все-таки не была бы допущена выбирать представителей страны, которую спасла? Это было бы отлично.

— Все эти женщины, безъ сомнѣнія, необыкновенныя и дѣлаютъ великую честь своему полу; но онѣ составляютъ исключенія, и необыкновенность ихъ доказываетъ, что онѣ стоятъ выше своего пола. Нисколько женщины могутъ быть храбры и героичны подобно мужчинамъ, женщины же всею массою не могутъ быть солдатами, а мужчины могутъ.

— Гдѣ же вы это видѣли? А тѣ, которые нѣже опредѣленнаго роста, а хромыя, а кривоногіе, а близорукіе, а чахоточныя, а лыготные, а дѣти семидесятилѣтнихъ стариковъ, а вынужденныя счастливыя вдовы, а 180,000 сиротенковъ? — Развѣ все эти мужчины носятъ ружье? А, между тѣмъ, они вѣтруютъ. Женщина избавлена отъ обязанности быть солдатомъ, потому что несетъ еще большую обязанность: она воспитываетъ солдата. И когда является завоеватель въ родѣ Наполеона, который ищетъ се 1,800,000 дѣтей, то, неимѣющая права вѣтровать противъ подобной государственной формы, развѣ она не завоевала себѣ этого права своимъ плодородіемъ, страданіями и печалью? Нѣтъ, что хотите, все возраженія, какія дѣлаютъ противъ права, требуемаго Юбертиною Оклеръ, — представляются чистою фантазю.

— И вы серьезно требуете, чтобы женщины вѣтровали?

— Непрекѣнно.

— Но вы хотите, чтобы онѣ потеряли всю свою грацію, женственность...

— Ну, вотъ, мы дошли и до пошлостей! Будете спокойны. Онѣ будутъ вѣтровать съ граціей. Сначала будетъ много сѣха, такъ какъ у насъ ничего не начинается безъ сѣха. Ну что жь, пусть по-сѣхается. Женщины введутъ въ моду шляпки а *l'air*, корсажи *au suffrage universel*, юбки *au serotin secret*. А потомъ? Потомъ—это войдетъ въ привычку, сдѣлается обязанностью, благомъ. Нѣкоторыя прекрасныя дамы въ городахъ, нѣкоторыя богатыя собственницы въ провинціяхъ, нѣкоторыя толстыя фермерши въ деревняхъ подадутъ примѣръ; прочія имъ подѣлываютъ. У нихъ будутъ свои собранія, сходки, клубы, какъ и у насъ. Подобно намъ, онѣ будутъ говорить о гласности, платиться за нихъ и вынуждаться изъ нихъ. Болѣе знатныя государственныя политиконь, онѣ мѣсто будутъ удѣлять времени кадриканской пропагандѣ, а что будетъ не дурно.

«Мы слышимъ каждый день жалобы, и иногда не лишены основанія, на всеобщую подачу голоса, что нѣкоторые избиратели не въ состояніи читать именъ, за которые они вѣтруютъ, въ рукописномъ видѣ,—необходимо, чтобы эти имена были для нихъ напечатаны. Поэтому требуютъ двухсте-

пеннаго голосованія. Прекрасно; вотъ отличный поводъ испробовать подобный способъ голосованія, предложивъ его для начала къ женщинамъ. Наконецъ, доказательство, что женское вѣтрованіе возможно, уже существуетъ на практикѣ. Я прочелъ въ одной газетѣ слѣдующее:

«Новый законъ въ Нью-Йоркѣ даровалъ женщинамъ право участвовать въ выборѣ директоровъ и администраторовъ общественныхъ школъ. Партизаны женскаго права ведутъ дѣятельную пропаганду, въ тѣхъ видахъ, чтобы 12 октября новыя избирательницы приняли участіе въ выборахъ 11,000 школьныхъ округовъ нью-йоркскаго штата. Первый опытъ былъ сдѣланъ на дняхъ въ четырехъ мѣстностяхъ, и особенно въ Staten-Island, въ окрестности Нью-Йорка, онъ далъ самыя блестящія результаты. Обыкновенно думаютъ, говорить Геральдъ, что женщины, вѣтруя, слѣдуютъ всегда за своими мужчинами, если только дѣло не касается общаго ихъ врага—мужчины. Но это предположеніе совершенно опровергается выборами въ Staten-Island. Исключая случаевъ, когда выборы были единогласны, женскіе голоса были вполне независимы. Былъ даже одинъ моментъ, возбужденный общій смѣхъ, когда одна женщина вѣтровала отрицательно сейчасъ же послѣ мужа, который далъ положительный голосъ, и мужъ поздравилъ свою прекрасную половину за храбрость имѣть свое мнѣніе».

«Вы можете учредить—говоритъ далѣе Дома—новый законъ вѣтрованія женщинъ сначала со всѣми предосторожностями и предусмотрительностями, необходимыми въ странѣ, которая такъ дорожитъ рутинною; устройте двухстепенныя, трехстепенныя выборы, но введите этотъ законъ. Необходимо, чтобы въ парламентѣ были депутаты отъ женщинъ. Франція должна подать цѣлительному міру примѣръ этой великой инициативы. Пусть она гордится; Америка готова предупредить ее».

«Я согласенъ, что эти первые депутаты отъ женщинъ въ національномъ собраніи не могутъ и не должны быть многочисленны, но они будутъ имѣть то великое преимущество передъ своими товарищами, что будутъ знать, что имъ дѣлать. Республиканскіе депутаты въ 1854 году было тоже немного, всего пять. Но нинѣ они составляютъ большинство. При этомъ нужно еще замѣтить, что большинство ничего не доказываетъ, когда меньшинство твердо въ своихъ убѣжденіяхъ и хорошо организовано. Большинство показываетъ лишь то, что есть; меньшинство же часто представляетъ зародышъ того, что должно быть и что будетъ. Десяти дѣтъ не пройдетъ, какъ женщины будутъ такими же избирателями, какъ и мужчины. А что касается до права быть избираемыми, то объ этомъ мы подумаемъ послѣ, сообразно тому, какъ онѣ будутъ себя вести».

Все это прекрасно, но какъ же согласить то вопиющее противорѣчіе, на которое намекаетъ безъ малѣйшаго зазрѣнія советъ самъ авторъ устами воображаемаго противника женскаго вопроса, напомнимающаго автору: «не вы же ли 200 строкъ назадъ говорили, что права должны окушаться обязанностями, а женщины не ходятъ на войну подобно мужчинамъ?»

Но если мы обратимъ вниманіе не на самую рѣчь произносимыя Дома въ равныхъ мѣстахъ книги, а на то, къ чему онѣ относятся, то мы, пожалуй, не увидимъ, здѣсь никакого противорѣчія. Вѣдь вы не забудьте, что въ обоихъ мѣстахъ книги дѣло идетъ о совершенно различныхъ предметахъ. Тамъ передъ Домомъ стояла женщина и требовала расширенія жен-

скихъ профессій, т. е. права на трудъ, а здѣсь дѣло идетъ о политическихъ правахъ. Повидимому, въ послѣдней случаѣ требованія женщинъ, въ значительной степени, превышаютъ первыя, въ сущности же совершенно наоборотъ, и очень понятно, почему Дюма употребляетъ тѣ самые доводы противъ расширенія женскихъ профессій, которые потомъ опровергаются, когда дѣло идетъ о политическихъ правахъ. Онъ является въ этомъ отношеніи самымъ послѣдовательнымъ представителемъ той праздно и сытой парижской толпы, которая въ настоящее время, по отношенію не къ одному женскому, а и ко всѣмъ прочимъ вопросамъ, держится одной и той же надувательной системы. Толпа эта настолько уже привыкла не питать ни малѣйшаго страха передъ разными политическими требованіями, что готова разсывать политическія права горстями, и направо, и налево, исполнѣ увѣренная, что отъ этого ничего, въ сущности, не измѣнится и все пойдетъ по-старому. Такъ всеобщая подача голосовъ существуетъ не день, не два, а тридцать слишкомъ лѣтъ; но, не говоря ужъ о соответствии парламентскаго большинства съ большинствомъ избирателей, увеличивается ли хоть сколько нибудь въ національномъ собраніи количество членовъ, которые являлись бы истинными защитниками интересовъ большинства населенія? Ничуть не бывало. Кого же выбираютъ тѣ 7.000.000 избирателей, которые тѣсятся вокругъ урнъ? Людей, отъ которыхъ находятся въ полной экономической зависимости. Переимѣнятся ли дѣло, если къ 7 милліонамъ избирателей присоединится еще столько же? Не представляются ли французскія избирательныя урны своего рода бочками данаидъ, въ которыя опускайте—не 7, не 14 милліоновъ голосовъ, а хоть въ десять разъ болѣе,—и всѣ эти голоса провалятся въ эти бездонныя урны, какъ въ бездну, а въ результатѣ получите избраніе все тѣхъ же вседовольныхъ и всеблаженныхъ говоруновъ, о которыхъ Дюма самъ выражается, что для нихъ дороже всего рутіна. Если ничтожная горсть женщинъ образованныхъ и стоящихъ за сонгаитъ прогресса и пожелаала бы выбрать защитниковъ своихъ интересовъ, то голоса ихъ безслѣдно провадутъ въ темной, невѣжественной массѣ голосовъ существъ ихъ пола, лишенныхъ всякаго разумнаго сознанія и всякой самостоятельности, и которыя въ своемъ возприваніи будутъ руководство-

ваться не какими-либо женскими интересами, а обшчаніями неизреченныхъ наградъ въ будущей жизни со стороны свшщенника или угрозю мѣра лишитъ мужа жѣста и обречетъ, такимъ образомъ, кучу дѣтей на голодную смерть.

О, повѣрьте, все это Дюма-фисъ знаетъ и отлично предугадываетъ, и именно въ этихъ соображеніяхъ онъ и готовъ даровать женщинамъ какія угодно политическія права!

Но какъ же, по вашему,—спроситъ меня иная читательница, увлеченная брошюркою бульварнаго защитника женскаго пола,—значитъ: даровать женщинамъ политическія права во Франціи—дѣло совершенно излишнее, и ничего этого не нужно?

Нѣтъ, отчего же излишнее? Но политическія права женщинъ должны имѣть свою почву, свое основаніе, иначе они будутъ мнимыми правами, бесплодными и безслѣдными. Основаніе же это можетъ быть иное, какъ въ видѣ самостоятельнаго жепекаго труда, поставленнаго на правильную экономическую почву. Вотъ этимъ именно и отличается Юбертина Оклеръ отъ бульварныхъ публицистовъ въ родѣ Дюма: она тоже хлопочетъ о политическихъ правахъ женщинъ, но она считаетъ не менѣе важнымъ и экономическую сторону вопроса; она стремится къ тому, чтобы обѣ стороны поддерживали одна другую и взаимно помогали другъ другу. Дюма же фисъ готовъ даровать женщинамъ и всевозможныя гарантіи, и всевозможныя права, а какъ только дѣло коснется до того, чтобы эти гарантіи и права были основаны на твердой экономической почвѣ,—онъ и на попятный дворъ. Ну, что жъ, милыя читательницы, увѣнчивайте вашего защитника лаврами, прославляйте его, пропагандируйте, переводите на всѣ языки,—это будетъ показывать лишь, что вы понимаете женскій вопросъ такъ же узко, пошло и легкомысленно-канцанно, какъ и вашъ герой, и что если васъ интересуетъ судьба женщинъ, то исключительно одиѣхъ женщинъ салона, а что касается до тѣхъ милліоновъ существъ вашего пола, по отношенію къ которымъ женскій вопросъ лишь и имѣетъ свое истинное и глубокое основаніе, то интересы и права этихъ существъ, для васъ не существуютъ, подобно тому, какъ не существуютъ они и для бульварныхъ публицистовъ въ родѣ Дюма-фиса, съ чѣмъ я васъ и поздравляю.

1882.

## ЖИЗНЬ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ И ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЖИЗНИ.

(ПИСЬМА КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ).

I.

Благосклонные читатели, и напередъ время отъ времени писать къ вамъ открытыя письма о томъ, что творится въ нашей текущей литературѣ. Но простите великодушно, если волею неволею мои письма подчасъ будутъ далеко выходить изъ рамокъ литературныхъ обзорѣй. Давно прошли тѣ блаженные времена, когда все умственное движеніе нашего отечества сосредоточивалось исключительно въ одной литературѣ, а въ жизни была такая тишь, гладь и божія благодать, что можно было судить и ридить о ней, нисколько не заботясь заглядывать въ нее помимо того, какъ она отражается въ литературѣ. Выйдуть бывало въ свѣтъ „Мертвыя души“, и всѣмъ и каждому было извѣстно, что куда ни кинь свой взоръ, въ Тамбовъ, Рязань, Пензу, Смоленскъ. — вездѣ обрѣтешь однихъ и тѣхъ же неизмѣнныхъ Чичикова, Ноздрева, Манилова, Коробочку и пр. безъ малѣйшихъ вариантовъ и видоизмѣненій. Вы помните, я полагаю, когда появился романъ Гончарова „Обломовъ“, критика шенно такъ и отнеслась къ нему, что повсюду на Руси, въ каждомъ градѣ и веси, снѣтъ Обломовъ, что и въ прошломъ мы видимъ рядъ Обломовыхъ, такъ что и Евгений Онегинъ, и Печоринъ, и Рудинъ, и Бельтовъ, — все это Обломовы, и въ настоящемъ — каждый дышащій смертный есть Обломовъ, и вся Русь есть ничто иное, какъ снѣщій Обломовъ, беззастѣнно-раскинувшійся на широкомъ ложкѣ, занимающемъ чуть что не половину земнаго шара. И критика въ то время была, совершенно права.

Теперь совсѣмъ не то. Жизнь наша до такой степени осложнилась, перепуталась, а главное дѣло выпала изъ своей колеи, что разобратъ въ этомъ хаосѣ не въ состояніи была бы никакая литература, хотя бы она состояла сплошь изъ однихъ Шекспировъ. Мы видимъ передъ собою пеструю и безформенную картину броженія, въ которой все кружится и

мечется въ вихрѣ книгѣй; едва вы обратили вниманіе на какую нибудь фигуру въ этомъ калейдоскопѣ, какъ ужъ ея нѣтъ въ вашихъ глазахъ, и вы не можете себѣ отдать отчета, куда она дѣвалась, погрузилась ли въ кипящую массу или лопнула пузыремъ. Зедъ съ пола-горя проповѣдывать свой протокольный романъ и создавать своихъ Макаровъ и Ругоновъ, нѣтъ дѣло съ такимъ густымъ и неподвижнымъ устоемъ, какъ современная французская буржуазія, а у насъ... Я чувствую какъ ко мнѣ проталкивается редакторская рука, чтобъ схватить меня за фалду или зажать ротъ, въ опасеніи, что я произведу немалый скандалъ: въ первомъ же номерѣ журнала, называющагося „Устоики“, начну вдругъ доказывать, что никакихъ устоевъ у насъ не имѣется. Снѣщину поэтому оговориться, что я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія какъ бы то ни было скомарометрировать почтенный журналъ, удѣлившій мѣсто для моихъ бесѣдъ съ его читателями. Я не отрицаю существованія у насъ очень твердыхъ и неизбѣжныхъ устоевъ; не падо и говорить о томъ, что устои эти слѣдуетъ искать въ народѣ, т. е. не въ томъ абстрактномъ народѣ, который только и существуетъ на страницахъ „Руси“, но въ реальномъ народѣ въ смыслѣ массы крестьянъ-земледѣльцевъ, которыми все держится на Руси, и па которыхъ, какъ на столбахъ гранитныхъ, держится и сама Русь. Но нельзя въ тоже время упускать изъ вниманія, что и въ народѣ замѣчается въ свою очередь хаотическое броженіе, исхода котораго никто не можетъ предвидѣть. Не доказываютъ ли намъ всѣ наши лучшіе изслѣдователи народнаго быта, что патриархальной общинѣ грозитъ распаденте; новая община на рациональныхъ началахъ находится въ состояніи совершенно еще не опредѣлившемся; семейный бытъ распадается; религіозныя вѣрованія представляютъ новое и сложное явленіе дѣлаго ряда сектаторскихъ движеній; одна часть народа бросаетъ землю и бѣжить въ города, наполняя ихъ массами голоднаго

пролетариата, другая часть готова сейчас же забрать весь свой скарбъ и, покинувъ родныя песелища, идти за тридевять земель искать благодатныхъ странъ съ медовыми рѣками и кисельными берегами. Если-же этотъ единственно прочный устой, основаніе всей земли, обнаруживается въ настоящее время всѣ признаки переходнаго состоянія, и соединеннаго съ нимъ хаотическаго броженія, то гдѣ же кромѣ него искать устоевъ? Не въ дворянствѣ-ли? Но не доказывала ли намъ московская пресса въ лицѣ своихъ столповъ — „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“, впродолженіи 20-ти лѣтъ, и доказывала, по моему мнѣнію, вполне основательно и правильно, что дворянство, чтобы быть не однимъ пустымъ звукомъ, а действительнымъ устоемъ, должно основываться, если не на крѣпостномъ правѣ, то на крупномъ землевладѣніи по приѣру Англіи? Но такъ какъ наше дворянство съ однимъ своимъ основаніемъ, именно крѣпостнымъ правомъ, распространилось на вѣки, что же касается другого основанія, т. е. крупнаго землевладѣнія, то всѣ мечты его объ этомъ предметѣ до сихъ разбивались прахомъ, и попытки къ осуществленію ихъ ничего не оставляли послѣ себя, кромѣ крупныхъ скандаловъ, въ общемъ же этотъ устой представлялъ собою въ послѣдніе двадцать лѣтъ одну смолотую картину разоренія и запустѣнія. — Извольте послѣ того положить на него! Затѣмъ остается буржуазія... Но стоитъ только подумать о томъ, что послѣ двухсотлѣтнихъ усилій создать у насъ буржуазію, въ настоящее время возможно появленіе вполне компетентныхъ публицистовъ, которые на основаніи весьма вѣскаго данныхъ доказываютъ, что крупное капиталистическое производство у насъ немислимо, что все оно поддерживается искусственными подпорками въ видѣ субсидій, гарантій, концессій, монополій; что стоитъ только отнять эти подпорки, и все зданіе, построенное на пескѣ, неминуемо рухнетъ и рассыплется прахомъ. Хорошо устой, о которомъ до сихъ поръ идетъ споръ, существуетъ онъ или нѣтъ, и есть ли какіе нибудь шансы для его развитія!

При такихъ условіяхъ литература терается точно такъ-же, какъ потерялись въ послѣднее время и всѣ русскіе люди. Она не въ силахъ услѣдить за всѣмъ круговращеніемъ совершающагося броженія. Передъ нею ежесекундно совершаются такіе непредвидимыя событія, подымаются такіе неожиданные вопросы, что она то застываетъ въ расплохъ и становится въ тупикъ, то принуждена бываетъ отражать въ себѣ эти событія и вопросы въ видѣ слабаго эха или советъ упускать изъ вниманія многое такое, что должно было бы составлять главный и существенный предметъ ея обсужденій. Даже и тѣ вещи, которыя не ускользаютъ отъ ея взоровъ, представляются ей крайне преходящими, эфемерными, призрачными. Она не видитъ вокругъ себя ни одного явленія, на которое могла бы положиться, какъ на нѣчто прочное, установившееся, составившее обыденную норму жизни. Если только можно примѣнить въ нашей современной литературѣ научный терминъ статики и динамики, то современная наша литература исключительно динамическая, чѣмъ она и отличается отъ литературы предшествовавшихъ періодовъ 40-хъ и 60-хъ годовъ, т. е. она разсма-

тривается не столько самыя явленія жизни въ ихъ сути, сколько непрестанныя измѣненія и всяческія пертурбаціи ихъ въ современномъ строѣ жизни. Но такъ какъ всѣ эти измѣненія представляются крайне хаотичными, невзученными, непредвидимыми, не представляющими часто никакой возможности прослѣдить за ихъ началами и концами, — это отражается и въ литературѣ крайнею шаткостью, неопредѣленностью, подъ часъ какою-то болѣзненною двойственностью взглядовъ, отрывочностью картинъ, недосказанностью, или же голословіемъ и бѣдностью аргументовъ при всѣхъ признакахъ глубокой убѣжденности. Вы обратите вниманіе, что въ одною и томъ же лагерѣ объ однахъ и тѣхъ же предметахъ вы встрѣтите самыя разнорѣчивыя мнѣнія и толки, и о какихъ еще существенныхъ предметахъ: о томъ, что такое деревня, сельская община, интеллигенція, отношеніе ея къ народу и пр. Люди вполне солидарные очень часто расходятся во взглядахъ на эти предметы до полнаго взаимнаго антагонизма; но замѣчательнѣе всего то, что, глядясь въ этотъ антагонизмъ, вы не можете себѣ отдать отчета, въ чемъ же именно эти люди не согласны между собою, гдѣ таится главный корень ихъ разлада? Вместе съ этимъ мы видимъ и еще одно явленіе, обусловливаемое тѣми же причинами, явленіе, на которое успѣла уже обратить вниманіе критика: именно, перевѣсъ въ современныхъ беллетристическихъ произведеніяхъ публицистическаго элемента надъ художественнымъ, разсужденій и размыслиній надъ образами. И вы обратителю вниманіе, что эта особенность замѣчается у наиболѣе выдающихся и руководящихъ талантовъ, каковы — гр. Д. Толстой, Салтыковъ, Гл. Успенскій и Златовратскій. И это очень понятно: беллетристамъ прежнихъ эпохъ ничего не стоило оставаться въ предѣлахъ художественнаго творчества, исключая изъ своихъ произведеній всякій анализъ изображаемыхъ предметовъ и предоставляя этотъ анализъ критикамъ и публицистамъ; они постоянно имѣли дѣло съ явленіями установившимися, хорошо всѣмъ известными, издавна услѣвшими намозолить глаза; имъ достаточно было сдѣлать иногда легкій намекъ, маленький штришокъ, чтобы всѣ сейчас же догадались, о чемъ идетъ рѣчь и чтобы читатели сами сейчас же безъ труда дополнили недоговоренное. Совершенно въ иномъ положеніи современный беллетристъ: онъ постоянно имѣетъ дѣло съ такими новыми и невѣдомыми явленіями, которыя не только читателямъ неизвѣстны, но и для самого его представляютъ рядъ загадокъ. Вслѣдствіе этого онъ пребываетъ въ непрестанномъ страхѣ, что сто не поймутъ или не повѣрятъ ему; для него недостаточно лишь показывать, а необходимо кромѣ того разъяснить, разжовывать. Въ тоже время онъ не только изображаетъ, — а изучаетъ предметы, о которыхъ пишетъ, и захѣте при этомъ, что не столько самыя предметы, сколько ихъ измѣненія и различныя движенія въ современномъ строѣ жизни, — и это не одно объективно спокойное олимпийское изученіе со стороны, а при непосредственномъ личномъ участіи въ изучаемомъ, участіи и умомъ, и сердцемъ, и нервами, и всѣмъ существомъ. Читая любое изъ выдающихся беллетристическихъ произведеній, вы видите передъ собою весь



этой скорбный и мучительный процесс изучения и непрестаннаго пытаниа; иной разъ все произведеіе, вмѣсто того, чтобы давать вамъ какіе-либо положительныя отвѣты, является наглоюннымъ однимъ вопропительными знаками, и Боже, сколько душевной боли слышится вамъ въ этихъ вопросительныхъ крикахъ, какъ леденѣть въ васъ все, и сердце обливаеся кровью, когда вы читаете подобное произведеіе.

Понятно, что литературный обозрѣватель въ свою очередь является обитымъ со всѣхъ прежнихъ прочныхъ позицій и точно также растерявшимся, какъ растерялись всѣ русскіе люди. Что ему дѣлать и какъ ему быть въ безформенномъ хаосѣ, который его окружаетъ? Слѣдовать примѣру прежнихъ обозрѣвателей, т. е. отвѣчать наиболее выдающіеся литературныя произведеіа и анализировать изображаемую въ нихъ жизнь? Ну, а если обозрѣватель замѣчаетъ, что въ литературѣ и въ десятой доли не отражается того, что всѣхъ тревожитъ и волнуетъ, чѣмъ и онъ, обозрѣватель, скорбитъ и болѣетъ до нестерпимой боли, а что и отражается порою въ видѣ отдѣльныхъ намековъ и темныхъ экивоковъ, — не представляется ли какой возможности притрогиваться къ этому, хоть слегка? А затѣмъ, принимая въ расчетъ, что въ наиболее выдающихся произведеніяхъ передъ вами не столько образы, сколько разсужденія и размысленія, опять задача: какъ вы станете въ качествѣ критика анализировать анализъ; будетъ-ли какой смыслъ въ томъ, что вы, подхватывая разсужденія беллетриста, начнете имъ поддакивать или оспаривать ихъ? если для васъ также мало ясенъ результатъ всѣхъ этихъ разсужденій, какъ и для самого беллетриста? Прочтя въ какомъ произведеніи рядъ мучительныхъ вопросовъ, что вы будете дѣлать съ ними, если вы убѣждены, что вы не въ состояніи ничѣмъ утѣшить ни беллетриста, ни его читателей, такъ какъ рѣшить эти проклятые вопросы не въ силахъ все ваше поколѣніе въ лицѣ лучшихъ его представителей, а отвѣтить на нихъ вся русская жизнь въ своемъ неизбѣжномъ теченіи, Богъ вѣсть, когда и какъ?...

Въ силу всего этого я принужденъ напередъ заявить, что находясь въ качествѣ литературнаго обозрѣвателя, и самъ въ такомъ-же недоумѣніи, въ какомъ въ настоящее время пребываеъ все на Руси, я не могу опредѣлять никакихъ рамокъ для своихъ писемъ къ читателямъ. Я могу сказать лишь одно: будетъ, читатель бесѣдовать о томъ, чѣмъ у насъ наиболее болитъ душа, и тогда, когда у насъ накопились эта боль до невозможности молчаливо сносить ее. Но придется-ли намъ разсуждать по поводу того или другаго новаго беллетристическаго произведенія, ученаго трактата, передовой газетной статьи или литературнаго скандала, — это какъ Богъ на душу положитъ. Я, по крайней мѣрѣ, до такой степени не могу поручиться ни за форму, ни за содержание своихъ писемъ, что напередъ попрошу читателей не удивляться, если въ одинъ прекрасный день, вмѣсто ожидаемаго письма, появится вдругъ поэма въ стихахъ, или трагедія, хотя ничего подобнаго у меня въ виду не имѣется.

Такъ, напримѣръ, и на этотъ разъ, казалось бы, чего естественнѣе начать свои литературныя обозрѣ-

нія съ подведенія итоговъ если не всей нашей современной литературы, то хоть за прошлый годъ. И это было бы такъ просто и легко: составить списокъ всего, что вышло въ прошломъ году наиболее выдающагося, затѣмъ разсорттировать всѣ эти произведеіа по степени ихъ талантливости или сообразно предметамъ, о которыхъ они трактуютъ, о каждомъ произведеніи сказать нѣсколько одобрительныхъ или неодобрительныхъ словъ, затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ замѣчаній о процвѣтаніи или паденіи беллетристики, — и дѣло было бы въ шляпѣ. Но былъ-ли бы какой толкъ въ подобномъ инспекторскомъ смотрѣ беллетристовъ, когда въ послѣднее время передъ нами грознымъ призракомъ всталъ радикальный вопросъ не о какихъ-либо достоинствахъ, направленіи или процвѣтаніи беллетристики, а о самомъ ея существованіи, ни болѣе ни менѣе, какъ о томъ, слѣдуетъ-ли ей продолжать свое развитіе, или гораздо будетъ правильнѣе, если мы совсѣмъ вычеркнемъ ее изъ русской жизни, истребимъ ее всю до тла, такъ чтобъ и слѣда отъ нея никакого не осталось, — было бы только неможно мокро. Ни у кого, правда, не хватило благородной смѣлости прямо поставить вопросъ объ уничтоженіи въ русской жизни Тургеневыхъ, Гончаровыхъ, Салтыковыхъ и гр. Толстыхъ, вмѣстѣ съ тѣмъ конечно ужъ за одно о разрытіи святилищъ могилъ и развѣтаніи по воздуху праховъ великихъ мучениковъ и сподвижниковъ русской мысли, начиная съ Пушкина и Лермонтова и кончая Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ. Главная особенность фантастическаго мракобсія, равно какъ пресмыкающагося передъ нимъ, поддакивающаго угодничества, заключается въ томъ, что они словно стыдятся договариваться до конца и ограничиваются тѣмъ, что высказываются на одну четверть, предоставляя вамъ объ остальныхъ трехъ четвертяхъ самимъ догадываться. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: ни у кого, конечно, не хватило на столько честной прямоты, чтобы прямо заявить: долой Тургенева, Гончарова, гр. Толстаго, Салтыкова, — мы обойдемся и безъ нихъ; но это не мѣшаетъ массѣ людей, которые продолжаютъ восхищаться всѣми этими свѣтилами русской беллетристики и прославлять ихъ, въ то же время глушиться надъ русской интеллигенціей и кричать объ ея уничтоженіи, въ видахъ отстраненія всякаго вреднаго средоствїя. Но что же такое всѣ эти писатели, равно какъ и вообще вся наша литература, какъ не исключительный продуктъ интеллигенціи? И изъ отрицанія послѣдней не вытекаетъ-ли логически отрицаніе чуть что не всего, что только есть на Руси печальнаго, кромѣ развѣ одного полнаго собранія Свода Законовъ?

Въ виду подобнаго роковаго вопроса, поставленнаго, я и самъ не могу понять чѣмъ — временемъ или сошедшимъ съ ума съ одной стороны и исподличавшимся съ другой — публицистамъ, конечно, не до инспекторскихъ смотровъ беллетристики. До того-ли тутъ, чтобы разсматривать, хороши или дурны обои въ вашей квартирѣ, когда передъ вами поставленъ вопросъ о рытіи до основанія всего того дома, въ которомъ вы живете? Очевидно, что оставая въ сторонѣ все остальное, приходится прежде всего вѣдаться съ вопросомъ о судьбахъ и значеніи интеллиген-

цій въ нашей жизни. Вопросъ этотъ въ продолженіи всего прошлаго года стоялъ впереди и наиболѣе занималъ и волновалъ всѣ умы. Изъ-за него въ журналистикѣ нашей не мало было споровъ и всяческихъ пререканій. Поставимъ и мы его впереди и посвятимъ ему первую нашу бесѣду. Я не буду входить здѣсь въ разборъ всѣхъ тѣхъ мнѣній и сужденій, какія были высказаны въ прошломъ году по этому поводу; я намеревъ ограничиться тѣмъ, что подамъ свое отдѣльное мнѣніе и предоставлю читателямъ самимъ рѣшить, на сколько это мнѣніе подвинетъ рѣшеніе спора и выяснитъ предметъ его. Но мнѣ сдается, что вопросъ въ значительной мѣрѣ перестанетъ быть вопросомъ, разъ мы его поставимъ на почву исторіи, что я тотчасъ-же и сдѣлаю. И такъ, какъ видите въ первомъ своемъ письмѣ вмѣсто того, чтобы толковать о тѣхъ или другихъ современныхъ намъ писателяхъ, намъ приходится имѣть дѣло съ исторіею. Но что-же вы будете дѣлать, если мы ее не знаемъ, или забыли?

Въ послѣднія четыреста лѣтъ европейской жизни, мы видимъ два колоссальныхъ умственныхъ движенія, весьма богатая своими результатами не только въ смыслѣ развитія просвѣщенія въ привилегированныхъ, культурныхъ классахъ европейскихъ обществъ, но и улучшенія быта народныхъ массъ. Таковы — эпохи renaissance и энциклопедистовъ. И та и другая имѣютъ совершенно различныя точки исхода и результаты, совершаются въ совершенно различныхъ областяхъ жизни, именно одна въ духовно-религіозной сферѣ, другая въ свѣтско-политической; тѣмъ не менѣе обѣ эти эпохи имѣютъ чрезвычайно много общихъ чертъ въ характерѣ и ходѣ движенія. Вотъ на эти-то черты мы и обратимъ наше вниманіе, потому что они служатъ характеристическими признаками всякаго стихійнаго и массоваго умственнаго движенія; эти самыя черты мы найдемъ и въ нашей современной жизни за послѣдніи 20 лѣтъ.

Первый существенный признакъ обоихъ движеній заключается въ томъ, что оба они начались сверху, въ высшихъ правящихъ и культурныхъ классахъ, которые въ обоихъ случаяхъ представляли изъ себя одну и ту же картину одряхлѣнія, отсутствія всякихъ высшихъ общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ и цѣлей, празднаго тунеядства при громадномъ скопленіи богатствъ и крайняго разложенія нравовъ, напоминавшаго времена паденія римской имперіи. И вдругъ эта праздная, извращенная, растлѣнная до мозга костей среда, сосущая соки изъ всѣхъ классовъ общества, внезапно озарилась яркими лучами новыхъ идей, раскрывавшихъ всю ея мерзость запустѣнія. Откуда-же являлись эти лучи? Не въ этой-же средѣ могли они возникнуть и, съ другой стороны, не изъ задавленныхъ, обобранныхъ и одичалыхъ народныхъ массъ, едва влачившихъ свое существованіе. А дѣло заключалось въ томъ, что въ обоихъ случаяхъ подъ высшимъ культурнымъ слоемъ изъ подъ земли струился совершенно особеннаго рода источникъ живой воды въ видѣ умственнаго движенія въѣка, развитія наукъ, искусствъ и всякаго рода идеаловъ религіозныхъ, общественныхъ и нравственныхъ. Источникъ этотъ находился порою въ полномъ пренебреженіи, забрасывался всякимъ мусоромъ и за-

рывался повидимому совсѣмъ подъ землю. Но въ самыя мрачныя эпохи всеобщаго одичанія и полнаго равнодушія къ умственнымъ и духовнымъ интересамъ, онъ не иссякалъ и продолжалъ журчать въ тѣни хоть по капелькѣ. Вы спросите, къ какому слою общества принадлежала эта струйка? Въ томъ-то и дѣло, что рѣшительно ни къ какому, или лучше сказать, это былъ свой особенный слой, по отнoду къ такой традиціонной, какъ всѣ прочія сословія. Слою понадалъ и членъ знатнаго рода, и дворянинъ средней руки, и монахъ, и купеческій первенецъ, и сынъ какого-нибудь ремесленника, а иногда и земледѣльца. Но главная особенность этого ручья заключалась въ томъ, что если человѣкъ не ограничивался тѣмъ, что мочилъ въ него только пальчики, а погружался въ него съ головою, онъ сейчасъ-же былъ неудержимо увлекаемъ силою теченія. — и тогда онъ переставалъ уже быть дворяниномъ, монахомъ, купцомъ и пр., а дѣлался лишь членомъ этого особеннаго слоя. То есть, если хотите, по метричѣ онъ продолжалъ числиться приписаннымъ къ тому сословію, изъ котораго вышелъ, но никто объ этомъ не думалъ, это совсѣмъ забывалось, помнили только, что онъ былъ ученый, химикъ или медикъ, профессоръ, драматургъ, скульпторъ, композиторъ и пр. Обратите вниманіе, что въ біографіяхъ большинства подобныхъ людей мы встречаемъ такую особенность, что родители, видя въ своемъ сынѣ наклонность къ той или другой умственной профессіи, возставали обыкновенно противъ этой наклонности, старались всячески подавить ее, а если это не удавалось, они проклинали своего сына, лишали его наслѣдства, смотрѣли на него, какъ на отщепенца и погибшаго человѣка. И это было естественно: дѣйствительно, человѣкъ, погружавшійся въ источникъ, о которомъ мы говоримъ, дѣлался отщепенцемъ отъ своего сословія. Въ качествѣ дворянина онъ былъ обязанъ воевать, блистать и добиваться высшихъ почестей для поддержанія чести своего рода; какъ купецъ, онъ долженъ былъ торговать и увеличивать отцовскіе капиталы; какъ монахъ, онъ всего себя долженъ былъ отдать на служеніе курии; будучи сыномъ ремесленника, онъ принадлежалъ къ извѣстному цеху и наслѣдовалъ ремесло отца. Но разъ онъ погружался въ источникъ живой воды, онъ не хотѣлъ ни воевать, ни торговать, ни дѣлать часовъ, онъ весь отдавался наукѣ или искусству, а порою жертвовалъ какой-нибудь идеѣ всѣми интересами тому сословія, изъ котораго выходилъ.

Вотъ этотъ-то совершенно особенный, отдѣльный, междусословный слой людей, исключительно работающихъ мозгомъ, и составляетъ то, что мы можемъ называть въ истинномъ и точномъ смыслѣ слова интеллигенціей страны.

Я уже говорилъ выше, что этотъ интеллигентный слой доходитъ порою до едва пробірающагося среди всякаго мусора по капелькѣ ручейка, но за то порою онъ вдругъ превращается въ необъятное море, затопляющее собою цѣлыя страны, и мчитъ бурными и бѣшенными волнами, увлекая все встречаемое на пути въ свои вѣнающіяся пучины. Такъ это и было въ эпоху тѣхъ двухъ умственныхъ движеній, о которыхъ мы говоримъ. Тотъ свѣтъ, который внезапно озарилъ ме-

эсть всеобщаго общественнаго заустѣнія, просіялъ въ интеллигентнаго слоя: въ первомъ случаѣ въ видѣ возрожденія классической образованности, во второмъ — въ видѣ философскаго движенія XVIII вѣка. Мы не станемъ распространяться о томъ, какимъ путемъ и въ силу какихъ обстоятельствъ въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя возникло то и другое движеніе; это завело-бы насъ очень далеко, да и не въ этомъ наше дѣло. Для насъ важно то, что въ обоихъ случаяхъ тотъ погучій энтузіазмъ, который скопился въ нѣдрахъ интеллигентнаго слоя, первымъ дѣломъ увлекалъ за собою тѣ самыя разложившіяся культурныя слои, которые грозили смертью всему европейскому міру. Конечно, это происходило потому, что въ силу безсодержательной пустоты жизни этихъ слоевъ и крайней нервной тряпичности и дряблости, они представляли собою самый удобоподвижный матеріалъ для увлеченія куда угодно. Но крайней мѣрѣ въ обоихъ движеніяхъ мы видимъ одно и то-же явленіе: въ эпоху renaissance наиболее ревностными поборниками классицизма были папы, кардиналы, преляты, аббаты; въ эпоху XVIII вѣка первыми поклонниками энциклопедистовъ были придворные версальскаго двора и вообще парижская знать. — Въ обоихъ случаяхъ люди умственныхъ профессій, до того времени находившіяся въ крайнемъ пренебреженіи, входили вдругъ въ моду, ихъ начинали сажать всюду на первое мѣсто, знакомства съ ними добивались, какъ высочайшей чести; деньги сыпались рѣкою на поощреніе наукъ и искусствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ среда интеллигентнаго слоя начинала быстро расширяться. Это уже были теперь не одни леядусословные отщепенцы, а, можно сказать, культурное общество всею своею массою вливалось въ берега интеллигентнаго источника, и послѣдній наводнялъ собою всю Европу. Каждый плывавшій аббатикъ, въ XV вѣкѣ, каждый истасканный петиметрикъ въ XVIII в., мнили себя новыми людьми, поощряли, покровительствовали, ораторствовали, философствовали, кощунствовали и мечтали о близкомъ наступленіи золотого вѣка. Правда, это всеобщее наводненіе очень вредило чистотѣ струй интеллигентнаго источника; очень понятно, что оны увлекали за собою всякую грязь, и весь упомянутый навозъ мнилъ себя передовою интеллигенціею; но это не мѣшало среди мутнаго и пѣнащагося потока оставаться прежнему фарватеру, наполняемому все тѣми-же чистыми и прозрачными струями, изъ которыхъ всякій могъ пить живительную влагу безъ малѣйшаго вреда для здоровья.

Къ тому-же увлеченіе новыми идеями не обходилось денежно разложившимися слоями общества: они не только никого не обманывали своею мнимой интеллигентностью, но напротивъ того сразу обнаруживали все вопиющее противорѣчіе склада своей жизни съ новыми идеями и всю свою несостоятельность прилѣпиться къ новымъ требованіямъ. Такъ, напримѣръ, никого не поражало, когда профессора разныхъ итальянскихъ университетовъ, художники или поэты увлекались произведеніями древнихъ классиковъ и въ диалогахъ Платона искали разрѣшенія всѣхъ своихъ философскихъ вопросовъ; но когда папы, преляты и вообще все католическое духовенство ударилося въ

классицизмъ, это произвело впечатлѣніе скандала. Когда въ устахъ священнослужителей имена древнихъ боговъ начали преобладать надъ именами христіанскихъ святыхъ, когда нѣкоторые изъ нихъ открыто заявляли, что для нихъ авторитеты Цицерона или Аристотеля гораздо важнѣе, чѣмъ авторитеты не только отцовъ церкви, но и самаго Евангелія, когда на святѣйшемъ престолѣ появились папы, тщеславившіяся атеизмомъ, въ это время, естественно, современникамъ могло казаться, что не только католичество, но и самое христіанство близко къ концу, и что происходитъ возвращеніе къ древнему язычеству.

Совершенно въ такой-же степени были нелѣпы всѣ эти изношенные и раздуренные маркизы и герцоги XVIII вѣка, когда они, зачитываясь энциклопедистовъ и Ж. Ж. Руссо, ораторствовали о свободѣ, равенствѣ и братствѣ, мечтали объ идиллической сельской жизни подъ соломенной крышей на лонѣ природы и среди всего своего безумнаго мотовства, кутежей и оргій проливали въ своихъ раззолоченныхъ чертогахъ сентиментальныя слезы о несчастномъ голодающемъ народѣ. Суворину, Вагнеру и кн. Демидову Сень-Донато представляется, можетъ быть, что они открыли и нѣвѣсть какую Америку — въ видѣ сердобольнаго плача о несчастныхъ обитателяхъ дома Вяземскаго и воззваній къ пожертвованіямъ для облегченія ихъ участи. Но, между тѣмъ, куда какъ превосходили ихъ въ этомъ отношеніи развратныя парижскія селадоны XVIII вѣка. У Суворина оказывается такъ мало воображенія, что оны, проживая въ Петербургѣ не одинъ уже десятокъ лѣтъ и отлично зная, что на Сѣвной есть домъ Вяземскаго и что такое этотъ домъ Вяземскаго (да и одинъ-ли, полно, у насъ такой домъ въ Петербургѣ!), до сихъ поръ не могъ себѣ представить, какъ живутъ обитатели этого дома, ни на минуту не задумывался объ этомъ предметѣ и впредь, конечно, не позаботился-бы остановиться на подобныхъ размышленіяхъ, если-бы случайно не подвернулась статистика городского населенія, и ему не пришлось-бы во-очію увидѣть, что творится въ домѣ Вяземскаго; тутъ только оны ужаснулся и расплакался. А въ Парижѣ, въ XVIII столѣтіи, не одни газетныя публицисты случайно, а маркизы, герцоги, придворныя дамы самостоятельно и нарочно лазили по чердакамъ, подваламъ и всякимъ вертепамъ нищеты и проливали тамъ не такія еще горькія слезы. Князь Демидовъ Сень-Донато, пожертвовавши 5,000 рублей, обѣщала ежегодно жертвовать такую-же сумму, и редація „Новаго Времени“ тотчасъ-же капитализировала это обѣщаніе и оцѣнила его въ 100,000. Во Франціи-же въ концѣ прошлаго столѣтія дѣло ограничивалось не одними капитализаціями обѣщаній, а на провинціальныя собранія и въ парижскихъ салонахъ собирались дѣйствительныя капиталы въ сотни тысячъ и милліоны, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить участь той страшной нищеты, до какой въ то время дошли низшіе классы страны. И при всемъ томъ, не только потомкамъ, но и современникамъ этихъ маркизовъ и герцоговъ во всѣхъ ихъ сентиментальныхъ возгласахъ и благотворительной щедрости чувствовалась бездна лицемерія и лжи.

Далѣе затѣмъ мы видимъ, что оба разсматриваемыя

нани движенія вдругъ словно переломляются. Первые дѣломъ, высшіе культурные классы быстро охладѣваютъ отъ того увлеченія, которому они первые поддались, и сторонятся отъ движенія, но за то оно все болѣе и болѣе развивается въ средних классахъ и, наконецъ, въ народѣ. Въѣсть съ тѣмъ оно совершенно измѣняетъ свой характеръ. Въ первый періодъ, въ обоихъ случаяхъ оно имѣло обще-философскій, абстрактный характеръ. Дѣло шло о прерѣшеніи всѣхъ вопросовъ жизни и религиозныхъ, и нравственныхъ, и политическихъ, и художественныхъ, и культурныхъ; все перевертывалось навзланику съ цѣлю не оставить на прежнемъ мѣстѣ ни одного камушка въ общественномъ строѣ; но все это производилось а priori, и дѣло ограничивалось одними разсужденіями, или же предпринимались повидимому широкія и радикальныя реформы, но сводились къ нулю, и все шло по старому. Такъ, въ 15-мъ вѣкѣ передъ реформациею сколько и говорилось, и писалось о необходимости перестроить церковь на совершенно новыхъ основаніяхъ, объ отрѣшеніи отъ всѣхъ прежнихъ злоупотребленій и заблужденій; издавались съ этою цѣлю буллы за буллами, собирались соборы. Но все оставалось по старому, и тѣ самые просвѣщенные папы, въ родѣ Льва X, которые зачитывались Цицеронами и Демосфенами и украшали свой Ватиканъ произведеніями классической древности, оставались все тѣми-же вавилонскими блудницами, стяжавшими въ свой всемогущій Римъ лучшіе соки со всей Европы. Также точно и всѣ реформы XVIII вѣка во Франціи, несмотря на широкія философскія идеи, на которыхъ онѣ основывались, и при всемъ искреннемъ желаніи снасти разлагающееся общество, ни на йоту не подвигали дѣла: оставались все тѣ-же разстроенные финансы, тотъ-же своевластный бюрократизмъ, тѣ-же феодальныя поборы безъ конца. Во второмъ періодѣ движенія мы видимъ совсѣмъ иной порядокъ вещей. Правда, золотой вѣкъ литературы и философіи кончается. Эразмы и Рейхлины, Вольтеры и Руссо сходятъ одинъ за другимъ со сцены. Въ литературѣ и въ мѣрѣ искусство наблюдается замѣтный упадокъ. Прекршій широкій полетъ мысли значительно суживается. Но за то мысль изъ метафизическихъ высотъ спускается на землю, на реальную почву насущныхъ вопросовъ жизни.

Вѣсть съ этимъ переходомъ умственного движенія на практическую почву, тѣ культурные классы, которые прежде стояли во главѣ движенія, привѣтствовали его и поощряли, теперь напротивъ того становятся къ нему въ самыя враждебныя отношенія. И это очень логично: дѣло теперь заключается не въ какихъ-либо отвлеченныхъ умствованіяхъ, а приходится платиться кое-чѣмъ реальнымъ; такъ въ XV вѣкѣ папы видѣли, какъ ускользало изъ ихъ рукъ всемірное владычество надъ народами и королями; такъ французскому дворянству XVIII вѣка предстояло разстаться съ феодальными привилегіями. Тогда приверженцы старины и *status-quo* начинаютъ приписывать опасность подобныхъ жертвъ не какому-либо реальному причинамъ, политическимъ и экономическимъ, а исключительно тому умственному движенію, которое яко-бы смутило умы вредными теоріями. Исключе-

тельными виновниками движенія являются тѣ самые философы, публицисты и поэты, которыхъ такъ недавно еще чуть что не воздвигали алтари. Оказывалось, что они, по совершенно произвольному умышленію, разорвали всѣ связи съ счастливыми традиціями и заварили всю кашу. И вотъ борьба падаетъ изъ своей специальной сферы, — религиозной въ первомъ случаѣ, политической во второмъ; она дѣлается чисто культурною борьбою цивилизаціи съ варварствомъ, просвѣщенія съ невежествомъ. Такъ, мы видимъ, въ XVI и XVII вѣкахъ инквизиція жгла на своихъ кострахъ не однихъ еретиковъ и всякаго рода церковныхъ отщепенцевъ, но и ученыхъ, философовъ, вообще всѣхъ интеллигентныхъ людей, державшихъ мысли свободно и самостоятельно, не сообразуясь съ католическими традиціями, въ которыхъ снова начали полагать все спасеніе. Точно также и Вандея, — если-бы восторжествовала, она конечно не ограничилась-бы одними своими политическими врагами, а набросилась-бы на всю интеллигенцію страны, увлеченную умственнымъ движеніемъ вѣка. Объ этомъ мы можемъ судить по ужасамъ облага террора въ эпоху реставраціи и по тенденціямъ такихъ реакціонеро-впущивровъ, какъ Де-Местеръ или Меттернихъ, которые возставали не противъ однихъ только политическихъ враговъ, а вообще противъ свободнаго и самостоятельнаго движенія идей въ интеллигентныхъ сферахъ; въ своихъ крестовыхъ походахъ противъ интеллигенціи они точно также опирались на здоровыя инстинкты народныхъ массъ, которымъ яко-бы прождены ихъ излюбленные традиціонныя принципы, какъ нѣкогда и инквизиція въ своихъ гонимыхъ, воздвигавшихъ противъ Галилея или Бруно, льстила себя убѣжденіемъ, что она дѣйствуетъ за одно съ народомъ, который яко-бы по самому своему существу является строгимъ приверженцемъ католической ортодоксіи и ненавидитъ всякія еретическія умствованія.

Если мы теперь обратимся къ нашему отечеству, то и у насъ вы найдете такое-же умственное движеніе, совершающееся по тѣмъ-же самымъ законамъ, какъ и тѣ два колоссальныя европейскія движенія, которыя мы только что разсмотрѣли. Толчкомъ къ нашему движенію послужило все то-же развитіе философскихъ и гуманныхъ идей XVIII-го вѣка, которое не замедлило оказать свое влияние и на культурное слою нашего отечества. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что до императрицы Екатерины въ обществѣ нашемъ было полное отсутствіе всякой умственной жизни, не замѣчалось ни малѣйшей самостоятельной мысли или какой-бы то ни было самодѣтельности. Вся интеллигенція сосредоточивалась въ правительствѣ до такой степени, что интеллигенція и правительство совершенно отождествлялись. Если являлся въ то время человекъ, выдѣлявшійся изъ темной полуграмотной массы и увлекался какими-нибудь высшими умственными интересами (Ломоносовъ, Тредьяковскій), онъ сейчасъ-же вступалъ въ ряды правительства, дѣлался чиновникомъ. Совершенно не то мы видимъ въ концѣ XVIII-го вѣка. Къ этому времени и у насъ является самостоятельный интеллигентный слой людей, выдѣлившійся изъ общественной, инертной массы и посвятившихъ всю свою жизнь служенію чисто ук-

ственнымъ и нравственнымъ интересамъ. Правда, весь этотъ интеллигентный слой принадлежалъ къ дворянскому сословию; но ни Новиковъ, Радищевъ или Фонвизинъ, ни литературные кружки 20-хъ и 30-хъ годовъ, ни такъ называемые люди 40-хъ годовъ, — по своимъ стремленіямъ, не имѣли ничего общаго съ тѣмъ сословіемъ, къ которому они принадлежали. Напротивъ того, мы видимъ, что всѣ тѣ идеи, которыя они проповѣдывали, и цѣли, къ которымъ стремились, шли совершенно въ разрѣзъ съ узко-дворянскими принципами и интересами. Въ той общественной средѣ, въ которой они вращались, они постоянно играли роль отщепенцевъ, людей лишнихъ и безпокойныхъ. Известно, чѣмъ кончилась дѣятельность Новикова. Фанусовъ говорилъ про Чапкова, что такихъ людей не слѣдуетъ и на выстрѣлъ подпускать къ столицамъ. Пушкинъ и Лермонтовъ всю жизнь владели въ изгнаніи и уморили преждевременно насильственной смертью, которой они искали, разочарованные, оскорбленные, ожесточенные окружающею ихъ ложностью. Рудины и Бельтовы бѣжали изъ отечества въ надеждѣ на чужбинѣ найти дѣло, котораго честно искали на родинѣ...

Наконецъ, въ 60-е годы мы видимъ, что движеніе, которое до того времени струилось въ тѣсныхъ галитыхъ берегахъ, едва пробиваясь среди мусора и навоза нашей жизни, вдругъ овладѣло цѣлыми массами людей изъ всѣхъ классовъ общества, а главное дѣло изъ дворянскихъ слоевъ спустилось въ средніе и низшіе классы. И у насъ мы видимъ то-же философское броженіе, то-же стремленіе перерѣшить всѣ вопросы жизни, и религиозные, и нравственные, и литературные, и общественные; и точно также подобно перерѣшенію вращалось болѣе въ отвлеченныхъ, умозрительныхъ сферахъ, а на практикѣ хотя предпринимая рядъ широкихъ реформъ, но жизнь продолжала поковаться все на тѣхъ-же старыхъ, рутинныхъ основаніяхъ.

Конецъ 60-хъ и 70-е годы представляются у насъ началомъ того перелома движенія, о которомъ мы уже говорили выше. И у насъ мы видимъ что тѣ культурные слои, которые въ 60-е годы увлекались движеніемъ, не только охладѣваютъ къ нему, но и становятся такъ или иначе во враждебныя отношенія. Въ то-же время кончается золотой вѣкъ литературы. Дѣятели 40-хъ и 60-хъ годовъ или совсѣмъ сходятъ со сцены, или доживаютъ свои годы, усѣвши совершить всю свою личную дѣятельность и ограничиваются теперь повтореніемъ стараго; но это старое никого не увлекаетъ такъ, какъ прежде, не удовлетворяетъ, не имѣетъ и тѣни прежняго обаянія. По своему содержанию движеніе значительно суживается: вы не видите уже прежнихъ полетовъ мысли, стремившейся перерѣшить всѣ вопросы жизни, не опустивши изъ виду ни одной ея стороны, общественной или индивидуально-нравственной. Теперь все поглощается однимъ вопросомъ — народнымъ, вопросомъ воли практическимъ; оказывается, что равнѣ разрѣшенія этого рокового вопроса жизни о всѣхъ прочихъ вопросахъ нечего и думать въ серьезъ: они сами собою рѣшатся, какъ только будетъ поковчено съ основнымиъ вопросами жизни.

Въ то-же время прежніе философы, публицисты-теоретики, критики и художники-созерцатели сдѣлаются практическими дѣятелями. Это мы видимъ даже и на беллетристикѣ. Въ послѣднее время не мало было толковъ о томъ, отчего нынѣ является такъ мало художественныхъ талантовъ изъ молодежи, отчего и тѣ, которые появились въ 60-ые годы (Гл. Успенскій, Н. Златовратскій, Н. Наумовъ и пр.), ограничиваются мелкими очерками и рассказами полубеллетристическаго, полупублицистическаго характера, а не создаютъ ничего такого увѣселаго, высокохудожественнаго, какое создавалось въ 40-ые и 60-ые годы. Это волюнѣ объясняется вышеприведенною причиною. Не говоря уже о томъ, что очень многіе талантливые люди, вмѣсто того, чтобы подвизаться на литературномъ поприщѣ, увлекаются практическою дѣятельностью, но и тѣ, которые предпочитаютъ литературную арену, являясь на ней все тѣми-же борцами. Не такое теперь время, чтобы возсѣдать на Олимпѣ и съ облачной высоты созерцать жизнь съ олимпийскимъ безразличіемъ. Каждое являющееся нынѣ художественное произведеніе, къ какому-бы лагерю оно ни принадлежало, носитъ характеръ борьбы, преслѣдуетъ непосредственныя, практическія цѣли, и это дѣлается вовсе не въ дѣствіе какихъ-нибудь предвзятыхъ эстетическихъ теорій, требующихъ непремѣнно тенденціозной беллетристики. Тенденціозная беллетристика принадлежала къ философскій 60-мъ годамъ и отжила вмѣстѣ съ ними. Тенденціозная беллетристика поучала, развивала идеи, обличала. Современная-же беллетристика — или задаетъ вопросы для практическаго рѣшенія ихъ, или непосредственно дѣйствуетъ, увлекая людей въ ту или другую сторону.

Наконецъ, какъ послѣдній и яркій признакъ времени, мы видимъ и возникшіе въ настоящее время толки объ устранинн интеллигенціи, интересы которой яко-бы расходятся съ интересами народа, которая прервала будто-бы съ народомъ всякія живыя связи и стоитъ поперекъ правильнаго рѣшенія народнаго вопроса. Но вопросъ, господа, что вы разумѣете подъ интеллигенціею? Если тѣ культурные слои, которые нѣкогда увлечены были энтузіазмомъ движенія, но теперь все болѣе и болѣе отстаютъ отъ него, устраняются и выказываютъ всю свою дряблость, всѣ элементы полнаго разложенія и вырожденія, наконецъ все свое лицемеріе скрываютъ подъ громкими фразами стремленій самаго узко-эгоистическаго и низменнаго характера, въ такомъ случаѣ намъ ничего не остается, какъ протянуть вамъ руку полной съ вами солидарности относительно этого предмета. Но если вы сами такіе-же лицемеры, если вы сами играете громкими словами слитія съ народомъ и служенія его интересамъ, прикрывая подъ этими фразами побужденія самаго антинароднаго свойства, если въ лицѣ интеллигенціи вы мечтаете уничтожить то самое умственное движеніе, которое съ самаго начала своего, со временъ Новикова и Радищева и до сего дня, не только ни разу не измѣняло народнымъ интересамъ, а все болѣе и болѣе проникается ими... Въ такомъ случаѣ, милостивые государи, не слишкомъ-ли ужъ вы опоздали въ своемъ благородномъ стремленіи? Легко было отстранить сразу всѣхъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ и спа-

сти Русь отъ Пушкина и Лермонтова, Вѣлинскаго и Гоголя, но теперь это довольно уже трудно, господа.

## II.

Въ прошломъ письмѣ я говорилъ, между прочимъ, о раздѣленіи каждаго умственнаго движенія на два рѣзкіе періода: первый—абстрактно-философскій и второй, періодъ—практически-дѣятельный. Теперь я хочу доказать фактами нашей современной беллетристики, что мы вступаемъ въ настоящее время во второй практической періодъ умственнаго движенія. Для этого я избираю Гл. Успенскаго, въ произведеніяхъ котораго послѣднихъ пяти лѣтъ наиболѣе ярко отражается именно то, о чемъ идетъ у насъ рѣчь.

Абстрактный періодъ умственнаго движенія постоянно отличается тѣмъ, что создаетъ цѣлый рядъ миражей, въ которыхъ приходится разочаровываться второму періоду. Это происходитъ потому, что въ первомъ періодѣ преобладаетъ отвлеченное мышленіе; вмѣсто того, чтобы анализировать факты живой дѣйствительности и изъ этого анализа дѣлать общіе выводы, люди, увлекающіеся новыми идеями, подводятъ факты подъ эти идеи, или-же путемъ логическихъ умозаключеній создаютъ такіе воображаемые факты, никакого подобія которымъ нѣтъ въ дѣйствительности. Таковы были, напримѣръ, въ XVIII вѣкѣ всѣ представленія о народѣ. Всѣмъ и каждому мало-мальски мыслящему и читающему человѣку было отлично въ то время извѣстно, что въ противоположность искусственнымъ правамъ расцѣпной цивилизаціи, отъ которой слѣдовало во чтобы то ни стало освободиться, народная среда представляетъ собою именно тѣ самые естественные, неспорченные, первобытные права золотого вѣка, о которыхъ мечталъ Руссо. Народъ не иначе рисовался въ воображеніи философовъ XVIII вѣка, какъ въ видѣ трудолюбивыхъ, добрыхъ, благодушныхъ и незлобивыхъ поселянъ, чуждыхъ всякихъ честолюбивыхъ и любостыжательныхъ страстей, зависти или мстительности, способныхъ довольствоваться самымъ малымъ и наслаждаться мирнымъ счастьемъ подъ соломенной кровлею, трогательно благодарныхъ за каждый проблескъ участія къ нимъ, терпѣливыхъ, кроткихъ и преисполненныхъ подобострастной покорности. Правда, они немного обнищали, голодаютъ, бѣдные, и вымираютъ чуть что не цѣлыми провинціями, безропотно подчиняясь своей судьбѣ, но стоить протянуть имъ руку братской помощи, вывести ихъ изъ бѣдственнаго положенія, и отечество тотчасъ же процвѣтетъ, повсюду воцарятся тѣ буколическіе права золотого вѣка, какіе господствуютъ въ народной средѣ, и на благодѣтелей со стороны облагодѣтельствованныхъ польются цѣлые потоки умиленныхъ благословеній.

И наково-же было всеобщее разочарованіе, когда, вмѣсто всѣхъ этихъ воображаемыхъ идиллическихъ пастушковъ и пастушекъ, испуганнымъ взорамъ людей XVIII вѣка предстала вдругъ толпа побросавшихъ свои истощенныя поля, свирѣлыхъ, одичалыхъ браконьеровъ, принявшихъ разорять помѣщичьи замки съ жестокостью гунновъ, или голодныхъ обор-

ванныхъ городскихъ пролетаріевъ, начавшихъ устранивать кровавыя оргіи по улицамъ Парижа. Земледѣльцы же захолустныхъ мѣстностей, какова была Владка, наиболѣе сохранившіе первобытный типъ французскаго крестьянина и подходившіе къ идиллическимъ фантазіямъ философовъ, вмѣсто благословеній за оказываемыя имъ благодарія, вздукали вдругъ ополчаться на своихъ благодѣтелей во имя сохраненія именно тѣхъ самыхъ феодальныхъ порядковъ, при которыхъ имъ такъ скверно жилось.

Историческій фактъ, приведенный нами, представляетъ собою безспорно крайнюю степень, до какой когда либо доходило обольщеніе иллюзіей; можно положительно сказать, что никогда, ни до того времени, ни послѣ него люди такъ глупо не обманывались въ дѣйствительности и такъ радикально, такъ прискорбно не разочаровывались въ ней. Особенно-же трудно представить себѣ подобнаго рода иллюзіи въ началѣ практической XIX вѣки реальнаго мышленія и трезваго анализа. Но нельзя сказать, чтобы и мы были совершенно застрахованы отъ всякихъ иллюзій. Люди могутъ руководствоваться идеями, добытыми вполне реальнымъ путемъ, но обращаться съ ними нисколько не реально. Это бываетъ каждый разъ, когда идея, сама по себѣ реальная, обращается для насъ въ готовую абстрактную формулу, которую мы прилагаемъ къ фактамъ зря, ни мало не заботясь о провѣркѣ соответствія послѣднихъ съ этою идеею. Можетъ быть, факты эти, если-бы мы начали анализировать ихъ самостоятельно, привели бы насъ совсѣмъ къ инымъ выводамъ, а мы нисколько о такомъ анализѣ не заботимся, а подходимъ къ фактамъ съ предвзятыми о нихъ мнѣніями. Это ведетъ къ новымъ иллюзіямъ, правда, не такимъ грубымъ, какъ вышеприведенная, но тѣмъ болѣе обольстительнымъ и поэтому вреднымъ, что они опираются на данныя, заслуживающія полнаго уваженія.

И вотъ мы видимъ, что 60-е годы, этотъ абстрактный періодъ нашего умственнаго движенія, не смотря на свой реализмъ, въ свою очередь завѣщали намъ рядъ обольстительныхъ иллюзій, съ которыми намъ приходится нынѣ раздѣливаться при вступленіи въ новую, практическую фазу нашего умственнаго движенія.

И замѣчательно, что эти новыя иллюзіи, хотя далеко не столь грубы, какъ иллюзіи XVIII вѣка, тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы въ нихъ не было въ-которыхъ аналогическихъ чертъ. Въ настоящемъ случаѣ во главѣ стоятъ нѣсколько азбучныхъ истинъ, въ неоспоримости которыхъ не можетъ быть ни малѣйшихъ сомнѣній. Такъ, напримѣръ, кому пришла бы въ голову усомниться въ томъ, что праздность и тупеядство расслабляютъ всѣ силы человѣка и ведутъ къ нравственному расцѣпью, а физическій трудъ напротивъ того, укрѣпляетъ мускулы и нервы и создаетъ богатырей, какъ въ физическомъ, такъ и въ психическомъ отношеніяхъ. Далѣе замѣтъ, кому неизвестно, что и трудъ труду рознь; что только сельскій, земледѣльческій трудъ на лонѣ природы, на свѣжемъ здоровомъ воздухѣ, при разностороннемъ упражненіи мускуловъ представляетъ собою идеальнѣе труда, городской же фабричный или ремесленный трудъ, въ пош-

ценіяхъ, наполненныхъ всякими ядовитыми испареніями, при крайне одностороннемъ упражненіи лускуды, не только не укрѣпляетъ человека, а напротивъ калѣбитъ его и физически, и нравственно. Соглашались сами, что все это такія идеи, передъ которыми только и остается, что снять шляпу и отвѣсить въ знакъ уваженія глубокой поклонъ. Затѣмъ изъ этихъ идей логически простекаетъ раздѣленіе всѣхъ обитателей страны на два противоположные міра, во многомъ напоминающее собою такое же раздѣленіе XVIII вѣка: съ одной стороны развращенный цивилизаціей городъ, съ другой святая деревня во всей своей первобытной простотѣ; тамъ индивидуализмъ, конкуренція, ожесточенная борьба за существованіе, здѣсь община, братство, справедливость, все „по равенію и по правдѣ“; тамъ люди такъ и лезутъ, какъ бы уклониться отъ письменныхъ, нотаріальныхъ актовъ, припечатанныхъ семью печатями, здѣсь-же свято держатъ разъ данное слово, не скрѣпяемое никакими бумагами или свидѣтельскими удостовѣреніями; однимъ словомъ—тамъ адъ крошечный, здѣсь—рай земной. И опять таки, принимая подобное дѣленіе, какъ прямой, логическій выводъ изъ совершенно справедливыхъ идей, какъ широкую абстракцію, нельзя отказать этой абстракціи въ глубокой правдѣ. Но если мы начнемъ смотрѣть на эту истину, не какъ на абстракцію, вѣрную лишь въ касовомъ, собирательномъ смыслѣ, съ птичьего полета и при разсмотрѣніи вѣковыхъ историческихъ судебъ, а отнесемъ къ ней, какъ къ чему-то конкретному, приложимому къ каждому данному факту окружающей насъ жизни, если мы въ каждой деревнѣ, въ которую входимъ, будемъ предполагать рай земной, а въ каждомъ встрѣчномъ мужикѣ или бабѣ прозрѣвать непременно идеальныхъ представителей деревенскихъ пачаевъ, мы не замедлимъ впасть въ міръ фантастическихъ иллюзій. Дѣло въ томъ, что логика жизни далеко отличается отъ логики нашего мышленія: въ то время, какъ мы выводимъ наши умозаключенія изъ двухъ трехъ посылокъ, жизнь выводитъ свои факты изъ неисчислимаго количества причинъ; мы озираемъ нашего идеальнаго мужика, соображая лишь оздоровляющія условія сельскаго труда, въ дѣйствительности же мужикъ является созданіемъ равнодѣйствующей силы самыхъ разнообразныхъ и противурѣчащихъ факторовъ, въ число которыхъ на каждомъ шагу входитъ и тотъ самый городъ, влияние котораго мы въ настоящемъ случаѣ совершенно игнорируемъ. Въ нашемъ мышленіи противоположности такъ и остаются противоположностями, враждебно обращенными другъ къ другу силами, въ жизни же противоположности неперестанно влияют другъ на друга, стремятся слиться во единое. Такъ и въ данномъ случаѣ, городъ и деревня могли-бы оставаться въ вѣчной своей противоположности, если-бы были отдѣлены другъ отъ друга китайскою стѣною; но они не только не отдѣлены, а напротивъ того тѣсно связаны другъ съ другомъ до такой степени, что ни городъ безъ деревни, ни деревня безъ города существовать не могутъ. А при такой связи они неперестанно влияют другъ на друга и производятъ рядъ факторовъ и явленій совершенно особеннаго, специфиче-

скаго свойства, не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми прямолинейными выводами, которые мы дѣлаемъ изъ нашихъ изблженныхъ абстракцій.

Пока наше умственное движеніе пребывало въ первомъ абстрактномъ своемъ періодѣ, намъ ничего не значило вполнѣ игнорировать всю эту игру жизни и довольствоваться своими азбучными абстракціями. Мы были убѣждены, что стоимъ на реальнѣйшей почвѣ, когда въ дѣлѣ изученія народнаго быта ограничивались тѣмъ, что въ лирическихъ стихотвореніяхъ или беллетристическихъ разсказахъ оплакивали золотушную тщедушность, тщетность и извращенность городского интеллигентнаго человека и противопоставляли ему богатейшей труда, гуманныхъ въ своей первобытной простотѣ, выносливыхъ, незлобиво-кроткихъ, безропотно покорныхъ своей участи. Подобно людямъ XVIII вѣка, мы проливали горькія слезы о томъ, что эти деревенскіе богатыри, которыхъ несомнѣнно принадлежить будущее, терпятъ голодъ, холодъ и всякія неудобства жизни, и воображали, что стоимъ намъ протянуть имъ руку братской помощи, и наша ручка будетъ сейчасъ-же облобызана съ чувствомъ горячей благодарности. Въ каждомъ мужикѣ и бабѣ мы предполагали полную солидарность со всѣми нашими дорогими убѣжденіями, и были увѣрены, что стоимъ намъ появиться въ народной средѣ и произнести тамъ нѣсколько словъ, какъ сейчасъ-же всѣ таящаяся въ глубинѣ народной души незнанные инстинкты тотчасъ-же всплывутъ наружу, получатъ опредѣленную формулировку, насъ, конечно, тотчасъ-же съ восторгомъ подхватятъ изъ руки и понесутъ, какъ какихъ-нибудь Прометеевъ.

Но первое практическое столкновеніе съ народною средою, первое ознакомленіе съ конкретными фактами народнаго быта должны были неизменно поставить изучателей и наблюдателей въ полное недоумѣніе. Передъ нами сразу открылся цѣлый міръ фактовъ, управляющихся своими особенными законами и не только не имѣющихъ ничего общаго съ привычными абстракціями, но подъ часъ идущихъ съ ними совершенно въ разрѣзъ. Мы не будемъ распространяться о томъ, какой невообразимый сумбуръ и смутеніе произвело въ умахъ массы мыслящихъ людей это неожиданное столкновеніе прекрасныхъ иллюзій съ печальною дѣйствительностью, сколько при этомъ было изломанныхъ и погибшихъ существованій, сколько малодушныхъ и слабыхъ людей впадо въ постыдное уныніе, скоростѣлое разочарованіе, повѣсило голову, и сложило руки въ безплодномъ отчаяніи. Обратимся прямо къ Гл. Успенскому, который намъ тотчасъ-же все это разскажетъ съ полною обстоятельностью, такъ какъ этотъ писатель является въ настоящее время наиболѣе яркимъ и полнымъ выразителемъ именно того паденія иллюзій, о которомъ идетъ у насъ рѣчь. Если гдѣ въ настоящее время таится новое слово, то вотъ гдѣ слѣдуетъ искать его: въ произведеніяхъ Гл. Успенскаго послѣднихъ лѣтъ, потому что эти произведенія вполнѣ выражаютъ собою именно тотъ важный историческій моментъ, который мы переживаемъ.

И вы замѣтите, что это новое слово принадлежитъ далеко не всей дѣятельности Гл. Успенскаго. Прежде

Гл. Успенскій былъ совсѣмъ не тотъ, чѣмъ онъ представляется нынѣ. Прежде, онъ ограничивался въ своихъ разсказахъ очерками быта городскихъ мѣщанскихъ слоевъ и такъ называемыхъ разночинцевъ; онъ только и дѣлалъ, что повѣствовалъ намъ о всѣхъ ихъ нравственныхъ, умственныхъ и экономическихъ недугахъ, порою весьма талантливо смѣялся надъ ними, порою не менѣе талантливо оплакивалъ ихъ, плакалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и надъ самимъ собою, такъ какъ во всѣхъ его произведеніяхъ сильно проглядывалъ чисто субъективный элементъ, и иногда авторъ вполне сливался со своими героями. Но въ концѣ 70-хъ годовъ въ дѣятельности его мы видимъ рѣзкій поворотъ: онъ обращается къ деревнѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ его послѣдующихъ произведеніяхъ начинаетъ проглядывать чисто прудоновскій пріемъ. Совершенно подобно тому, какъ Прудонъ постоянно занимался тѣмъ, что бралъ различныя, освященные вѣками истины, давно обратившіяся въ неоспоримыя аксіомы, и раскрывалъ въ этихъ истинахъ массу логическихъ противорѣчій, точно также поступаетъ Гл. Успенскій и съ излюбленными нашими иллюзіями. Разница заключается въ томъ, что Прудонъ совершалъ свои операціи путемъ метафизической діалектики, Гл. Успенскій же дѣлаетъ тоже самое художественными средствами представленія конкретных фактовъ жизни народа, стоящихъ въ подножь противорѣчій съ прежними иллюзіями. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что передъ вами не холодный, безстрастный анатомъ, полосующій живое мясо съ улыбкою удалства и глухой къ страданіямъ жертвы. Не нужно забывать, что иллюзіи, съ которыми ищетъ дѣло авторъ, составляютъ существенный элементъ жизни дѣлаго поколѣнія. Онъ самъ, авторъ, всю жизнь прожилъ съ этими иллюзіями, и они были для него не менѣе дороги, чѣмъ и для любого читателя его произведеній. Поэтому ему приходится рѣзать по кускамъ не только сердце читателя, но и свое собственное, и каждое изъ послѣднихъ произведеній его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ отрываетъ отъ себя по куску мяса съ нестерпимую болью и обливаясь кровью. И хотя подобное впечатлѣніе должно было-бы еще болѣе придавать дѣламъ всѣмъ мучительнымъ операціямъ Гл. Успенскаго, тѣмъ не менѣе каждое произведеніе его производитъ сенсацию чуть что не скандала. Люди, сжившіеся съ своими иллюзіями, привыкшіе дорожить ими, какъ альфой и омегой знанія народной жизни, постоянно набрасываются на Гл. Успенскаго, обвиняя его то въ безтактности, на томъ основаніи, что будто-бы онъ, подчеркивая одніи крайнія стороны народной жизни, мирволитъ крайностикамъ и реакціонерамъ, то въ недостаткѣ правильнаго логическаго мышленія, такъ какъ онъ будто-бы спѣшитъ дѣлать самыя широкія обобщенія на основаніи двухъ-трехъ фактиковъ. Авторъ настоящаго письма считаетъ своимъ долгомъ признаться, что и самъ онъ такъ былъ пораженъ рѣшительнымъ выступленіемъ Гл. Успенскаго на это новое поприще въ его разсказѣ „Черная работа“ (От. Зап., 1879 г., № 5), что не могъ сразу оцѣнить значенія этого переворота въ дѣятельности автора, и въ свою очередь, дорожа все тѣми-же пресловутыми иллюзіями,

напалъ нѣкогда на Гл. Успенскаго съ тѣми же обвиненіями въ скороспѣлости обобщеній. Только рядъ послѣдующихъ произведеній Гл. Успенскаго такого же характера, въ связи съ обстоятельствами и событіями жизни, могъ уяснить для автора важное значеніе новой дѣятельности Гл. Успенскаго, и онъ спѣшитъ заглядить свою вину настоящимъ письмомъ, посвятивъ его опредѣленію этой новой дѣятельности Гл. Успенскаго въ ея истинномъ смѣтѣ и значеніи.

Начнемъ именно съ той самой „Черной работы“, въ которой, какъ мы сказали выше, Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на свое новое поприще. Повѣсть эта замѣчательна, между прочимъ, и тѣмъ, что здѣсь авторъ высказываетъ опредѣленно и ясно тѣ мотивы, которые побудили его идти по новой дорогѣ. Начинается повѣсть тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ „тоскою, доходившею до физической боли“. Эта тоска заставила его ѣхать изъ деревни „если не навсегда, то на нѣкоторое время“, а въ послѣдній день эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки, достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, „рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда“ и не смотря на страшный бурянь, который ему пришлось вынести дорогою. Что же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ поспѣшно ѣхать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между азбучными истинами, съ которыми пріѣхалъ авторъ въ деревню и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни. „Адское душевное состояніе, говоритъ авторъ—долженъ пережить всякій, кто только, повинувшись даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ.... ну, просто хоть только „пожить въ деревнѣ“.... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревною фактовъ, въ которыхъ, по вашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимы для васъ образцы, оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣе тѣхъ цифирныхъ истинъ, каковыя учитъ васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самаго малѣйшей нити. Ниже читатель на прибрѣхъ увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія; теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получится четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное. Представивъ себѣ все это, онъ только до нѣкоторой степени поймать, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать



всякій, кто смотритъ на деревню такъ, „какъ должно“, по его мнѣнію, смотрѣть на нее“.

И вотъ далѣе въ повѣсти передъ вами раскрывается такое вопиющее противорѣчіе фактовъ деревенской жизни съ привычною вамъ табличкою умноженія, какое естественно можетъ поставить въ тупикъ каждаго свѣжаго наблюдателя. Подобный наблюдатель подходитъ къ народу конечно ужъ съ рядомъ неоспоримыхъ истинъ въ родѣ того, что крѣпостное право, малоземеліе и чрезвычайность налоговъ дѣйствуютъ на народъ деморализующимъ образомъ; ergo мужики господскихъ деревень должны быть во всѣхъ отношеніяхъ хуже мужиковъ государственныхъ, а изъ господскихъ самую высшую степенъ деморализація должны представлять крестьяне, бывшіе подъ властью наиболѣе строгихъ, жестокихъ и жадныхъ помѣщиковъ. И каково-же должно быть болѣзненное недоумѣніе наблюдателя, когда вдругъ, въ дѣйствительности, онъ встрѣчается съ фактами какъ разъ совершенно противоположными. Передъ нимъ три рядомъ стоящія деревни: Солдатская, Разладинская и Барская, изъ которыхъ первая казенная, пользующаяся обиліемъ земель и всякихъ угодій и наименѣе обложенная податями, представляетъ собою высшую степенъ деморализація; мало уступаятъ имъ разладинцы, бывшіе нѣкогда подъ властью доброй помѣщицы; лучше-же всѣхъ живетъ и умнѣе всѣхъ выглядятъ крестьянцы деревни Барской, бывшей подъ властью строгихъ и жестокихъ помѣщиковъ. „Словомъ, говоритъ авторъ, — крестьянцы, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, какъ намъ думается, болѣе угнетенный (онъ пережилъ крѣпостное право), надѣленный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ табличкамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положительнѣе, умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который, имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи, или платя сущую бездѣлицу и, слѣдовательно, имѣя всѣ условія для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣе, вольнѣе, чтобы забота его о мірскомъ благѣ была шире, и т. д., и т. д., оказывается, что такой крестьянцы ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ!... Мало того, вы видите, что отлично обставленная въ матеріальномъ отношеніи деревня какъ бы лишена даровитыхъ людей; есть мірошды и мірооливалы, а умнаго, характернаго мужика нѣтъ, но напротивъ, обиліе фальшивыхъ мужичковъ, которые за рубль продадутъ отда роднаго и изобѣщаютъ въ три короба, а ничего не дѣлаютъ, не дорого возьмутъ соврать, надуть и т. д. Что же означаетъ эта непонятная тайна непонятной деревенской таблички умноженія?“

Естественно, первое, что придетъ вамъ въ голову, когда вы прочтаете подобную характеристику трехъ деревень, будетъ то утѣшеніе, что конечно авторъ имѣеть здѣсь дѣло съ какими нибудь однимъ исключительнымъ случаемъ, и развѣ можно дѣлать какіе либо выводы изъ двухъ-трехъ фактиковъ? Но постояте, господа: во первыхъ вы не знаете, имѣете-ли вы

дѣло съ тремя исключительными фактами, или ихъ много на Руси, а во вторыхъ, если-бы фактъ, представляющійся вамъ, существовалъ и дѣйствительно въ единственномъ числѣ, то развѣ и этотъ единственный фактъ не разрушаетъ вашей таблички умноженія съ такой-же легкостью, какъ и тысяча ему подобныхъ? Въдѣ для того, чтобы вы потеряли право говорить, что всѣ люди смертны, достаточно чтобы оказался безсмертнымъ хоть одинъ изъ всѣхъ людей. Такъ и въ настоящемъ случаѣ: совершенно достаточно, чтобы существовало на Руси въ единственномъ числѣ село Барское рядомъ съ Солдатскимъ и Разладинскимъ, чтобы привести васъ въ ужасъ и исполнить сердце ваше тоскою до физической боли. Спрашивается только одно: слѣдуетъ-ли, ради сохраненія дорогихъ намъ истинъ, закрывать глаза на подобнаго рода страшные факты и правъ-ли авторъ, выставяющій ихъ на показъ? По моему мнѣнію, онъ не только правъ, онъ выступаетъ въ настоящемъ случаѣ по-истинѣ героемъ: онъ глядитъ прямо въ глаза истинѣ, не страшась плыть противъ течения и прослыть союзникомъ реакціонеровъ, которые на подобныхъ фактахъ, конечно, могли-бы воздвигнуть пѣлое зданіе, если-бы оставили послѣдніе безъ освѣщенія.

Но авторъ не ограничивается тѣмъ только, что голословно выставяетъ страшный фактъ, онъ его освѣщаетъ, и освѣщаетъ, по моему мнѣнію, совершенно справедливо, устраняя возможность всякихъ ложныхъ выводовъ изъ него въ пользу какихъ-либо реакціонныхъ пожеланій. Чтобы уяснить и представить рельефнѣе объясненія автора, мы, не ограничиваясь выписками изъ разсказа, присовокупяемъ нѣкоторые собственные замѣчанія. Дѣло вотъ въ чемъ: каждый строй жизни, порядокъ имѣеть свои идеалы, и понятно, что идеалы эти осуществляются полнѣе тамъ, гдѣ порядокъ этотъ строже примѣняется. Естественно дѣло, что и крѣпостное право имѣло свой идеаль крестьянина. На мужика смотрѣли въ то время, не какъ на человѣка, а какъ на скотъ, необходимый въ дѣлѣ хозяйства на ряду съ прочими домашними животными. Сообразно этому взгляду выработался и идеаль мужика, представляющій въ себѣ одну безустанную работу на господина при полномъ обезличеніи. „Идеаль, говоритъ авторъ: требовалъ, во 1-хъ, безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій, во 2-хъ требовалъ, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его жительство со всѣми животинками, составляютъ дѣла, не стоящія вниманія“.

„Такъ какъ такой идеаль, говоритъ далѣе авторъ: — тяготѣлъ надъ всѣмъ почти русскимъ крестьянскимъ людомъ, тяготѣлъ неумолимо сотни лѣтъ, то естественнымъ образомъ съ нимъ и выработался типъ крестьянина — населяющаго громадное большинство русскихъ деревень. Такой оставленный намъ барщиной въ наслѣдство крестьянцы, во-первыхъ, неустанный работникъ. Въ потѣ лица, изо дня въ день онъ бьется надъ работою; во-вторыхъ, аккуратная уплата податей для него первая забота, передъ которой меркнутъ всѣ личныя заботы; въ третьихъ, это человѣкъ, который отвикаетъ разсуждать объ чемъ-бы то ни было: онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется», «по чемъ сойдетъ съ души». Раскладка всѣхъ этихъ душевыхъ рублей и копѣекъ составляетъ почти единственный предметъ общественныхъ деревенскихъ

сходокъ. «Своихъ» деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходкахъ нѣтъ—отучены. И въ четвертикахъ, наконецъ, онъ неуспѣшный работникъ: работать, «биться на работѣ»—вотъ цѣль жизни, нить, связующая дни и годы въ цѣлую жизнь человѣческую. Онъ покоенъ, усталъ и измучившись на работѣ, потому что сдѣлано то, что именно требовалось; онъ сына женить насильно, потому что «беретъ работницу хорошую», а остальное ничего не стоитъ. Мало устать на работѣ, надо просто изматываться, спать съ тѣла, превратиться въ тѣнь; тотъ хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали», у кого «горятъ огнемъ», кто «лютъ», и еще лучше, «золь» на работу. Вотъ во имя этого-то идеала и продолжаютъ жить крестьянши, какъ жилъ при барщинѣ. Тамъ, гдѣ барщина царя вполнѣ, тамъ мужикъ, въ буквальномъ смыслѣ, остался такимъ-же, какимъ былъ и при крѣпостномъ правѣ: такъ-же до свѣту выдвѣсаетъ въ поле, такъ-же бьетъ изъ-за покатей, такъ-же молча, съ незадумывавшимся равнодушіемъ, исполняетъ все, что ему прочтаетъ староста, и, исполнивъ, вновь продолжаетъ мятая надъ работою, самъ перебиваясь кое-какъ и припрятывая до едаюкы. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть совершенно опредѣленный взглядъ на себя и на божій свѣтъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что дѣлаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ, почему оказывается, что бѣдная, заваленная работою и налогами деревня, не имѣющая никакихъ постороннихъ доходовъ, надѣленная сравнительно худшею, чѣмъ у соседей, землей и, притомъ, въ маломъ количествѣ, живетъ лучше, аккуратнѣе, умнѣе и благообразнѣе той деревни, гдѣ идеалъ барщины почему-либо ослабленъ».

Изъ всего этого вы можете ясно усмотрѣть, что крестьянши села Варскаго, при всей своей видимой порядочности и аккуратности, вовсе не представляютъ собой идеала мужика въ безусловномъ смыслѣ; это идеалъ относительный, выработанный крѣпостнымъ правомъ; чтобы быть безусловнымъ, такому идеалу недостаетъ самаго главнаго и, сдѣлавъ думать, существеннаго: человѣка. Крестьянши села Варскаго, въ которомъ задавлены всѣ человѣческія чувства и потребности и который обращенъ въ живую земледѣльческую машину на двухъ ногахъ, очевидно типъ отжившаго прошлаго. Это Вандеецъ, не только какъ историческая аналогія, но въ тождественномъ смыслѣ. Вѣдь и въ Вандеѣ XVIII вѣка крестьянши выгляды, правда, тупѣе, суевѣрнѣе, диче, приниженнѣе, но въ тоже время былъ зажиточнѣе и порядочнѣе, чѣмъ крестьяне прочихъ мѣстностей Франціи; онъ въ свою очередь наиболѣе сохранялъ типъ крестьянина стараго режима, и именно оишь-таки потому, что въ Вандеѣ феодальный режимъ былъ строже выдержанъ и наиболѣе сохранился. Вандеецъ и противъ революціи ополчился конечно потому, что будучи зажиточнымъ и довольнымъ своей участью, не нуждался ни въ какихъ реформахъ.

Но разъ старый порядокъ рушился, разъ крѣпостное право отошло въ вѣчность, можно-ли ожидать, чтобы типы, выработанные идеалами отжившаго порядка, могли-бы долго просуществовать? Очевидно, что если и остаются до сихъ поръ села Варскія, если ихъ еще и много на Русь, во всякомъ случаѣ, они доживаютъ послѣдніе годы. Только трехсотлѣтнюю каторгою крѣпостнаго права можно было парализовать въ такихъ крестьянахъ всякое развитіе человѣческихъ потребностей и сдерживать ихъ въ состояніи рабочаго

скота. Но разъ эта дрессирующая школа закрыта, то какія же силы могутъ остановить проявленіе въ людяхъ людей, какихъ-бы то ни было, хотя-бы и самыхъ безобразныхъ, но все таки людей, — и при такихъ условіяхъ крестьяне села Варскаго не замедлятъ обратиться въ тѣхъ же Солдатскихъ и Разладинцевъ. Читатель спроситъ конечно при этомъ, — что-же въ этомъ отраднаго, и что хорошаго можетъ обѣщать подобное превращеніе? Отвѣчать на такой вопросъ очень затруднительно. Сколько изъ этого выйдетъ хорошаго и дурнаго, это покажетъ намъ исторія. Слѣдуетъ только принять во вниманіе, что когда сходитъ со сцены какой нибудь отжившій порядокъ (въ настоящемъ случаѣ крѣпостное право) и уноситъ съ собою свои старые идеалы, подобные моменты всегда отличаются большею или меньшею распушенностью, деморализаціею, которая продолжается до тѣхъ поръ, пока не устанавливаются новые порядки и не приносятся съ собою новыхъ идеаловъ въ свѣтъ съ новыми способами ихъ осуществленія. Что народъ нашъ находится именно въ подобномъ переходномъ состояніи, объ этомъ свидѣтельствуетъ его собственное сознаніе; по крайней мѣрѣ повсемѣстно вы слышите изъ его устъ одинъ и тотъ-же говоръ, что народъ нашъ ослабъ, извольничался, излѣнился, со всѣмъ скрутился, и все это потому, что нѣтъ надъ нимъ преняго страха.

Изъ всего изъ этого, въ концѣ концовъ, слѣдуетъ тотъ выводъ, что табличка умноженія, которая повидному поколебалась представленными авторомъ фактами, въ сущности вовсе не поколебалась, а осталась во всей своей вѣрности; вѣдь и въ самомъ дѣлѣ въ результатѣ крѣпостнаго права мы видимъ всеобщую деморализацію: съ одной стороны деморализацію крестьянъ села Варскаго, обезличенныхъ и обращенныхъ въ рабочій скотъ, съ другой—деморализацію Разладинцевъ и Солдатскихъ, остающихся безъ всякаго общественныхъ и личныхъ идеаловъ, которые руководили-бы ихъ въ жизни; съ одной стороны — каторжная работа на почвѣ рабскаго альтруизма, съ другой — кабакъ. Если что поколебалось, то лишь тѣ иллюзіи, которыми мы до сихъ поръ плѣнялись: вѣсто земнаго рая, обуславливаемого оздоравливающимъ вліаніемъ сельскаго труда, авторъ нашелъ въ деревнѣ адъ крошечный, заставившій его бѣжать изъ деревни съ тоскою, доходящею до физической боли. Для пародниковъ-идиллическихъ, продолжающихъ носить въ своихъ буклическихъ иллюзіяхъ, подобное бѣгство можетъ казаться чуть что не святотатствомъ, но еще разъ воздадимъ честь автору, который ради святой истины не остановился передъ кровавою операціею вырванья кусковъ живаго мяса изъ любвеобильныхъ сердець своихъ читателей и не пожалѣлъ прекрасныхъ иллюзіи, жить съ которыми во всякомъ случаѣ и легче, и теплѣе, чѣмъ съ тѣми страшными истинами, которыя онъ намъ раскрываетъ.

Далѣе за этияъ первыиъ громогласныиъ выстрѣломъ, до настоящей минуты идетъ непрерывная пальба со стороны Гл. Успенскаго все въ тѣ же излюбленныя иллюзіи. Мы отиѣтимъ только главныя и наиболѣе яркіе его очерки подобнаго рода.

Таковы „Малые ребята“, рассказъ, составляющій

безъ малаго половину книги, издавннй г. Успенскимъ въ прошломъ году подъ общимъ, весьма характеристичнымъ заглавиемъ „Деревенская неурядица“. Въ этихъ „Малыхъ ребятахъ“, въ лицѣ петербургскаго интеллигентнаго чиновника Ивана Ивановича Полуиракова, авторъ изображаетъ именно типъ человека, провинутаго иллюзіями относительно деревенской жизни самаго букволическаго свойства, не уступающаго пастушескимъ идилліямъ XVIII вѣка. Задавшись благородною цѣлю создать изъ своихъ дѣтей идеальныхъ людей и перепробовавъ безъ всякой пользы всевозможныя педагогическія средства, Полуираковъ остановился на оздоровляющемъ вліяніи деревни.

«Всѣ нравственныя муки, читаемъ мы въ разсказѣ: всѣ неразрѣшнмыя нравственныя загадки для него оканчивались съ поселеніемъ въ деревнѣ. Она, эта самая деревня, должна дать дѣтямъ Ивана Ивановича, во-первыхъ, физическое здоровье, котораго не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скверахъ, ни дорогіе доктора. Деревня дастъ все это такъ, задоромъ. Во-вторыхъ, она дастъ необходимыя прочія начала нравственности. Въ то время, какъ ни педагогія, ни тѣмъ же самъ Иванъ Ивановичъ, не могутъ просто и ясно познакомить дѣтей съ причинностью явленій и человѣческихъ отношеній, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ дѣтямъ теплую вѣру въ Бога и зародитъ, такимъ образомъ, зачатокъ святой мысли, пробудитъ искренность чувства и дастъ ему лицу въ простотѣ и деревенской откровенности человѣческихъ отношеній. Въ третьихъ, она же, эта самая деревня, уничтожитъ ненужное и губительное въ дѣтяхъ сознание неравенства между людьми, котораго нельзя никакимъ образомъ избѣжать въ столицѣ. Дѣти будутъ въ толпѣ крестьянскихъ дѣтей, приучатся жить въ обществѣ человѣческихъ, начнутъ понимать, что такое жизнь» и т. д.

И вотъ Полуираковъ переселился со всѣмъ семействомъ въ деревню. Но деревня не замедлила предстать предъ нимъ во всей своей трезвой правдѣ, не имѣющей ничего общаго съ букволическими фантазіями барина. Начать съ того, что Полуираковъ никакъ не могъ добиться мало-мальски искреннихъ, человѣческихъ отношеній между нимъ и мужиками. Едва поселился онъ въ деревнѣ, какъ послѣдняя поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью въ видѣ барина, живущаго на готовыя деньги, и ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ безъ своекорыстныхъ цѣлей. Дѣти Ивана Ивановича ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Ивановичъ видѣлъ, что въ разсчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты духомъ и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому-же отражалась съ безпощадной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоинства. Игры заключались въ представленіяхъ помки вора или деревенскихъ пьяныхъ празднествъ въ родѣ „приванія невѣсты“, при чемъ дѣтямъ Полуиракова, какъ барчатамъ, давались самыя деморализующія роли становыхъ и всякаго рода господъ. Въ общихъ чертахъ въ деревнѣ дѣти Ивана Ивановича узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому пра-

во карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, причившихся быть нечувствительными во многихъ, весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ, получили какую-то силу, требующую серьезнаго леченія, и, наконецъ, приобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Однимъ словомъ, деревня оказалась вовсе не педагогической панацеей, какъ о ней мечталъ Полуираковъ, а именно тому самую убогую русскую деревню, какою онъ безсознательно создалъ ее вмѣстѣ съ своими отцами и дѣдами. И кончилось дѣло все тѣмъ-же ужасомъ и тѣмъ-же бѣгствомъ къ солнцу, въ богоспасаемый городъ, гдѣ и свѣто, и тепло, и въ чорта не вѣрятъ, и сифилисъ не пользуется такимъ потомственнымъ правомъ гражданства. Безпощадная, злая пропія, проникающая весь этотъ разсказъ, говоритъ сама за себя, не требуя никакихъ комментариевъ.

Такою-же пропіею отличается разсказъ „Не въ привычку дѣло“, герой котораго Михаилъ Михайловичъ отправляется въ деревенскую глушь не съ однимъ уже педагогическими цѣлями, какъ Полуираковъ, а съ чисто практическими замыслами — слиться съ народомъ на почвѣ труда, завести даже сообща съ мужиками, употребивъ въ дѣло свои наследственные капиталы, нѣчто въ родѣ сельско-хозяйственной коммуны. Но голова его была наполнена все тѣми-же обольстительными иллюзіями.

«Онъ пришелъ, читаемъ мы въ разсказѣ, трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать имѣть съ другими на солодѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ памятка общими трудомъ (какъ былъ М. М. въ этомъ глубоко увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій), должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться, какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непременно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ, но еще и разовьютъ его мысли, — въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ — это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, что не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того: въ то прекрасное время, къ фигурѣ крестьянина какъ-то неволью примыкало, кромѣ 26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно перодуманное и пережитое европейскою жизнью. Сосраваивъ все это и соединивъ все, такъ безобразно-трудно пережитое человечествомъ, въ лицѣ крестьянина, которому настало время вдохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозрѣвать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный, замученный, забитый, пенявшій и пережившій, Богъ знаетъ, какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ оныя тысячелѣтнихъ трудовъ, долженъ, непременно долженъ питать ненавистную жажду устроитъ жизнь по новому; у его въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ не дожидаясь, онъ страстно хочетъ вдохнуть полной грудью. Передъ этимъ величьемъ Михаилъ Михайловичъ — пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михаилу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую неприязнь со стороны его народныхъ соотавищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ, онъ былъ готовъ все простить и все претерпѣть... Но, увы! народъ никакимъ образомъ не

могъ простить Михайлу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное— какъ не могъ забыть и своего крѣпостнаго прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ съ одной стороны, и съ другой— то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и сокрушило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка».

Съ самаго перваго шага Михаилъ Михайловичъ всталъ съ мужиками въ самыя неискреннія и фальшивыя отношенія: онъ преклонялся передъ ними и папубратствовалъ, желая встать съ ними на вполнѣ равную ногу; а они во всемъ ему поддакивали и старались всенчески котрафлять, вида въ его дѣлѣ лишь барскую фантазію и въ то же время смотря на него, какъ на дойную корову. Онъ убѣдился наконецъ, что лишь „пригнѣрь“, результатъ видный, осязательный доступенъ будетъ пониманію теперешняго крестьянина и научить его лучше всякихъ многословныхъ разсужденій, стало быть, надо не разглазодствовать, а взять дѣло на себя, на свою отвѣтственность“, — и началъ приказывать дѣлать то или другое безъ всякихъ разсужденій. Тогда роли окончательно опредѣлились.

«Полагая, что онъ только временно, такъ сказать, надѣлъ на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того-же, что онъ баринъ, въ самомъ дѣлѣ сталъ обиваться съ равноправной ноги и воспитанное долгодѣтнимъ прошлымъ барство стало, сначала понемногу, выступать въ его умѣ и сердцѣ, и душѣ, а потомъ, и очень скоро, вылилось во всей своей прелести. Вместе съ тѣмъ, по мѣрѣ того, какъ въ Михайлѣ Михайловичѣ сталъ проступать уже неприкрашенный баринъ, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только-что вышелъ изъ крѣпости) сталъ настрѣчу барину выступать неприкрашенный рабъ. Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ принялся его надувать. Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость, молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденіемъ, котрафленьемъ, предупрежденіемъ еще породнившихся, но имѣющихъ рано-ли, поздно-ли, родиться желаний, вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать... У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше празднаго времени, ему становилось все легче и беззаботнѣе, точно кто поматерински заботился о немъ. Онъ даже лезть сталъ слушать, какъ должно, поддавался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда взялась какал-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лезбзить. И другая, и третья...»

Дѣло кончилось тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ убилъ все свои капиталы въ своемъ неудавшемся предпріятіи и въ концѣ концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Михаилъ Михайловичъ является такимъ образомъ однимъ изъ представителей тѣхъ первыхъ пионеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, не только что не зная его, но и сами неподготовленные къ тому дѣлу, за которое принимались, не успѣвшие вполнѣ отрѣшиться отъ того наследственнаго праха, который накопился на ихъ существѣ вѣками. — Поэтому здѣсь схвачены авторомъ вопросы гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однихъ иллюзіяхъ, а о тѣхъ существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отбѣляютъ глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ Михаилъ Михайловичъ.

Неудача послѣдняя произошла не только потому, что онъ не зналъ народа и имѣлъ о немъ самыя фантастическія представленія, но и потому, что во всѣхъ своихъ привычкахъ, и такихъ притомъ мелочныхъ, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, онъ оставался все тѣмъ-же баринкомъ, съ которымъ надо держать ухо востро. Довольно было того, что онъ прѣхалъ въ деревню со стапціи въ тарантасѣ, а не прѣшелъ пѣшкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попросилъ Христа ради испить, щедро давъ на водку столько мелочи, сколько поналось въ руку въ карманъ, и карьера его была рѣшена, его разсужденій не только не понимали, но и не пожелали понимать. Изъ этого всего вы видите, что плавленіи плавленіями, но избавленіе отъ нихъ однихъ еще не поможетъ дѣлу: это лишь первый шагъ, за которымъ долженъ послѣдовать дѣлкій историческій процессъ, можетъ быть очень долгій и, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно мучительный, путь котораго и народъ, и интеллигенція должны совершенно преобразоваться до самаго своего, что называется, цура, для того чтобы они могли понять другъ друга и сблизиться на какихъ-либо общихъ интересахъ.

Далѣе затѣмъ, въ рядѣ очерковъ, напечатанныхъ въ послѣдніе три года въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и частью изданныхъ отдѣльно, мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами весьма мрачную картину деревенской жизни. Такъ мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки, въ которыхъ все будто-бы совершается по правдѣ и по равенію, допускаютъ непризнанныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ въ своихъ нѣдрахъ, изъ брошенных на произволъ судьбы сиротъ, деревенскихъ злодѣевъ, которые потомъ обращаются въ конокрадовъ или поджигателей, и сельскій миръ, допустившій развитіе на свою голову подобныхъ чудовищъ, затѣмъ обрушается на нихъ подъ часъ съ какою-нибудь безпощадно жестокою кровавою самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе въ свою очередь оказывается мѣражомъ: заглядываясь въ инструкціи его можно подумать, что деревня въ самомъ дѣлѣ живетъ общественными интересами, но всматриваясь въ практическое приложеніе этихъ инструкцій, видишь, что никакой общественной силы тутъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты „оздоровленія“, „образованія“, „поднятія народной нравственности“, „оживленія народа“, ни подымались въ обществѣ, — въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія, уже грустные слова: „по гривеннику“, „по двугривенному“, „по полтинѣ“, и вся умственная дѣятельность крестьянина занята такимъ образомъ почти только одной работой: достать денегъ.

«Обведа, говоритъ авторъ (см. „Люди и нравы современной деревни“, стр. 51), вокругъ Москвы кругъ радиусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и нравленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣлится именно этимъ стремленіемъ— „добыть денегъ“, только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяется, въ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьянскомъ желаніе — уйти

куда никуда, желание какъ никуда полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремление уйти изъ сухихъ и жесткихъ условий крестьянской среды объясняется все тою-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ».

Но страшнѣе всего, какъ для настоящаго, такъ и въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михаиловъ Михайловичей, отчасти вслѣдствіе слѣблого вѣкового недоверья, отчасти отъ неужности самихъ Михаиловъ Михайловичей подойти къ народу и заставить слушать себя, и послѣдніе обращаются въ глазахъ крестьянъ въ какихъ-то гороховыхъ шутовъ и дойныхъ коровъ, а иногда во что нибуду и похуже, — въ это время единственными умственными руководителями народа является кулакъ. И вотъ опять передъ нами рушится цѣлый рядъ иллюзій и ходячихъ, рутинныхъ и мѣлкихъ относительно значеній въ деревнѣ кулака. Уже не говоря о томъ, что община, въ которой все „по правдѣ и по равенству“, въ достаточной степени окандалена одними появленіемъ въ деревенской жизни кулака, съ его стремленіемъ подворить въ деревнѣ новое крепостное право на экономическихъ началахъ, — самая роль кулака въ деревнѣ оказывается совсѣмъ не такою, какою она представляется въ глазахъ нашихъ питающихся иллюзіями теоретиковъ. Они смотрятъ на кулака, какъ на нѣчто выдѣлившееся изъ народной среды и разорвавшее съ нею живую органическую связь. Кулакъ является въ ихъ глазахъ паразитомъ, сосущимъ все соки деревни и не имѣющимъ никакихъ иныхъ отношеній къ ней. Какъ представитель индивидуализма, онъ по одному этому уже долженъ стоять въ антагонизмѣ съ общиннымъ сельскимъ миромъ, а какъ эксплуататоръ и ароднаго труда, конечно ничего болѣе не способенъ возбуждать въ каждомъ мужикѣ, кромя ожесточенной ненависти. И вдругъ въ дѣйствительности оказывается, что не только общинная деревня не находится ни въ малѣйшемъ антагонизмѣ съ кулакомъ, а напротивъ того, кулакъ является единственною умственною силою, воспитывающею деревню; онъ играетъ роль руководителя, совѣтника и чуть не благодѣтеля деревни, какъ человекъ и съ деньгами, и со связями; имъ любуются и подъ часъ гордятся, какъ передовымъ талантливымъ представителемъ сельскаго міра.

«Мы охотно вѣримъ, говоритъ Гл. Успенскій (см. «Деревенская неурядица», т. 1, стр. 130), въ дурное влияние на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплуатирующихъ эту массу. Вѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество — явленіе не наносное, а внутреннее, что это не патно, которое можно стереть, а изва, органической нодугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничество, а въ томъ, что ничего другаго, хотя мало-маленьки равнозначущаго, но разработкѣ и техникѣ, деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно устоявшее и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Суще-

ствуетъ-ли, словомъ, какое-нибудь явленіе, прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какии-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человекъ, вылившихся въ кулака, надо переждать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знать людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человекомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно гениальныя способности, и въ тоже время вы не можете не убѣдиться, что равносплннаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ міровыхъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ — не выразилось. Что же значитъ это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (это будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошелъ такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?»

«Замѣчательна, говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ — въ биографіи всякаго такого человека еще слѣдующая небезынтересная черта. Человекъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой расчетъ сокрушить этого ненавистника, но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ удовольствія иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотри! Какъ-то вы на волѣ-то поживаете! Какъ захотѣтъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда — узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что такой-то выжалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И немалое чувствуетъ симпатію, конечно, все-таки считая нагрѣвателя канальею. Канальей его считают и мужики, но разнѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которою онъ, напримѣръ, ожегъ чемадуровскаго и балабаевского барина? «Ужъ и развѣзня-же только башка у польми!» Такимъ образомъ, при илчкахъ нарицательныхъ: «шельма», «идуть», «спройдохъ», «каналья» и т. д. тому-же человеку сопутствуютъ — и ничуть не въ меньшемъ количествѣ — и похвалы: «ловко!», «отлично!», «гениально оидель!», «молодчина!» и т. д. — похвалы, основанныя, какъ видите, уже на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается глбѣльнѣе кулацкаго вліянія: онъ держится настолько-же хищничествомъ, насколько и правдивнымъ вліяніемъ на общественное сознание, которое, по множеству причинъ, не можетъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человека теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно по нля сочувствія и даже, пожалуй, невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно все сферы общества), сила кулака велика и у мужиковъ, и у баръ, и у начальства. Онъ всехъ знаетъ, онъ понимаетъ все деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столикъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежить первенствующая роль и въ деревенской дѣятельности. Дѣяніи кулака — самая крупная и замѣтная на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новал мораль, выглядывающая изъ явлений современной деревенской улицы — мораль кулацкая. А такъ какъ

подрастающее деревенское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учить дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего, производящаго ей, то мы, положа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается, главнымъ образомъ, только кулацкою моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобиліи принимаетъ впечатлѣнія, двасмыя кулацкою дѣйствительностью, и невольно, безъ протеста подчиняется ей морали».

Однимъ словомъ, интеллигенція мало того, что не пользуется среди народа никакимъ довѣріемъ, и является совершенно отъ него отстраненною, сверхъ того она принуждена созерцать въ изъомъ отчаяніи, какъ народъ воспитывается въ духѣ кулачества Кудулаевыми и Разуваевыми, обирающими его до ниточки и тѣмъ не менѣе являющимися въ глазахъ его свѣтилми ума и таланта. Вотъ какой ужасъ раскрывается передъ нами при выходѣ нашемъ изъ абстрактнаго періода умственнаго движенія и при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью. Это такой ужасъ, передъ которымъ блѣднѣютъ все тѣ страхи, какихъ натерѣлись люди прошлаго столѣтія, когда отрѣшились отъ своихъ буквалистическихъ фантазій. Эта трагедія, отъ исхода которой зависитъ существованіе не только интеллигенціи, но и самого народа.

Наконецъ, въ нынѣшнемъ году Гл. Успенскій выступилъ съ очеркомъ „Власть земли“ (От. Зап., № 1), въ которомъ съ новою энергіею набросалъ все на тѣ же иллюзіи. По силѣ, яркости и глубинѣ захвата этотъ очеркъ нисколько не уступаетъ „Черной работѣ“, „Не впривычку дѣло“ и „Малымъ ребятамъ“, и не мудрено, что онъ возбудилъ сенсацию, ни чуть не меньшую, чѣмъ никогда произвела „Черная работа“. Опять послышались негодующіи рѣчи, что Гл. Успенскій тянетъ въ руку реакціонерамъ, что его очеркъ ведетъ къ такому печальному выводу, будто чѣмъ хуже положеніе крестьянина, т. е. чѣмъ меньшимъ количествомъ земли онъ владѣетъ и большими налогами является обложенъ, тѣмъ онъ не только нравственнѣе, порядочнѣе, но и въ матеріальномъ отношеніи оказывается зажиточнѣе, и наоборотъ малѣйшее ухудшеніе благосостоянія ведетъ его къ дѣлности, цинизму и полной деморализаціи. Посмотримъ-же, насколько подобный скандальный выводъ вытекаетъ изъ очерка Гл. Успенскаго.

На первый взглядъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ фактомъ, который въ свою очередь идетъ вопреки всѣмъ нашимъ табличкамъ умноженія. Героемъ очерка является крестьянинъ Иванъ Петровъ, который былъ некогда трудолюбивымъ, нравственнымъ и зажиточнымъ мужикомъ, но потомъ вдругъ ни съ того, ни съ сего излѣнился, спился и обнищалъ до послѣдней степени. Послѣ долгихъ разсиросовъ автора, какъ это могло случиться, онъ добился отъ Ивана Петрова лишь одного объясненія, поставившаго автора въ полное недоумѣніе: именно, оказалось, что Иванъ Петровъ обнищалъ и спился ни отъ чего иного, какъ отъ „воли“, „отъ свободной жизни“.

«Такъ какъ, говоритъ авторъ—отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ,

чтобы разбѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной... вотъ отъ чего!

— Что-же это значитъ? спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять дѣловыхъ въ мѣсяцъ, нароку имѣлъ подъ начальствомъ десять человѣкъ, доходу мнѣ каждый Божій день съ вагона ужъ безпримѣрно рубль серебра, а сочтите-ко сколько въ зиму-то вагоновъ отпавить? Ну, вотъ тутъ-то я значить и забаловалъ...

«Слово «забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему мужественному, бородатому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употребить такіе выраженія, приличные только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находилъ другого, болѣе точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ тятенькѣ, бывало, кашли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотить своими руками... Да и послѣ тятеньки, когда ужъ оженился, своимъ хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ, когда угостять, да на праздникахъ, да иной разъ со скуки стаканчикъ... Все опасался, и покуда чего было, берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзалѣ, какъ сталъ мнѣ воля, стало мнѣ значить раздолье, сталъ я, однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошелъ... Жреть бывало цѣлыя сутки, и все доверху не хватало... Я какъ сейчасъ помню съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родионча именины были на Ивана Постнаго... Ну, онъ мнѣ и налилъ винограднаго стаканъ, портиль прознался... Я какъ двинулъ его, понравилось... Я и давай! А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ тѣхъ тамъхъ поръ и завелъ въ себѣ язву. А отчего? Все отъ вина!... Все отъ непривычки... Отъ легкой жизни... Вотъ отчего!... Бывало, денегъ полны карманы набью... Ну, и сталъ черезъ это самое вродѣ послѣдней свиньи»...

«Такимъ образомъ, говоритъ авторъ—оказалось, что «воля, свобода, легкое житіе, обиліе денегъ, т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, привыкаетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство, до того, что онъ дѣлается «въ родѣ свиньи».

Подобную несообразность со всѣми табличками умноженія авторъ и объясняетъ тѣмъ, что онъ называетъ „властью земли“.

«Такая эта, говоритъ онъ—по истинѣ, огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ все въ вся, народъ, который мы любили, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда на немъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ возможность ослѣпленія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ влзаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ назваться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь, съ головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра, проникнутъ и освѣщенъ теплою и свѣтлою, живущимъ на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторпите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ

заботы, которыми она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуется крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство» — и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тѣла, которое идетъ отъ него. Остается одна пустой аппаратъ пустаго человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «позная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хочешь».

Такимъ образомъ, вы видите, что не увеличеніе благосостоянія въ предѣлахъ крестьянскаго труда, т. е. не прибавленіе земли или уменьшеніе налоговъ было съ толку Ивану Петрову; его погубило то, что онъ отрѣшился отъ крестьянскаго труда, сошелъ съ земли на почву почти что даровой наживы. Но тутъ можетъ представиться вотъ какое возраженіе. Хотя Иванъ Петровъ и отрѣшился отъ крестьянскаго труда, но не на всю-же жизнь, вѣдь онъ не порвалъ всѣхъ связей съ землею, продолжалъ принадлежать своему міру, за нимъ оставался прежній надѣлъ, и жена его, оставшаяся въ деревнѣ, поддерживала его хозяйство, — такъ что мѣсто на вокзалѣ имѣло характеръ временнаго отхожаго промысла, ничего въ сущности не измѣняя въ его жизни. Спрашивается теперь, отчего Иванъ Петровъ не воспользовался открывшеюся ему возможностью нажить не одну сотню денегъ для того, чтобы потомъ на скопленный избытокъ расширить свое хозяйство и захватить припѣваючи? Отчего не хвалило у него на столько силы воли, чтобы удержаться отъ всякихъ искушеній и подумать о завтрашнемъ днѣ, вмѣсто того, чтобы ставить каждую копейку ребромъ? Вѣдь вотъ еврейчикъ Шнапъ, котораго авторъ ставитъ въ параллель Ивану Петрову, тотъ поступилъ совсѣмъ не такъ со своими заработками:

«Все онъ толпался въ равныхъ мѣстахъ и все на пустомъ наровитъ рублишко нажить. Тамъ барышъ прожогаетъ, тамъ мужику уважить, какъ и куда пройти... Ну, и даютъ кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ... все копитъ. — «На что, спрашиваютъ, копилъ?» — «Карьеру хочу дѣлать». — «Какой такой?» — «Денги наживать!» — «Зачѣмъ?» — «Давно отарывать». — «А какъ отроешь?» — «Опять денги наживать!» — «А какъ наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А какъ совсѣмъ уже много будешь?» — «Опять буду еще больше стараться...» Вотъ и гляди на него. — «Пойдемъ вышьемъ!» Найдеть! копейки не истратить».

Какъ ни предосудительно направлена энергія еврейчика Шнапа, во всякомъ случаѣ, мы видимъ здѣсь своего рода нравственный закалъ, силу воли, неуклонно направляющую человѣка къ заданной цѣли. Отъ чего-же у Ивана Петрова ничего подобнаго мы не замѣчаемъ? Что за фатальная, мистическая сила притягиваетъ его непремѣнно къ землѣ, и если земля не заставляетъ его тянуть неуклонную лямку, недождать, недосеивать, изнушаться до послѣднихъ силъ, отъ сейчасъ же зазнается и тернеть подъ ногами всякую нравственную почву? Или это не homo sapiens, а особенной породы животное, которое не въ состояніи существовать, не корня надъ землею, подобно тому, какъ рыбадохнетъ, какъ только вы ее вынете изъ воды? Или это зависитъ отъ особенной рыхлости натуры славянскаго племени? И при чемъ же опять-таки остаются всѣ наши дорогія иллюзіи? Не мы ли въ противоположность тщедушному интеллигентному

человѣку ставили этого богатыря, и физически, и нравственно закаленного въ борьбѣ со стихіями, и воображали, что для этого богатыря не существуетъ никакихъ такихъ искушеній, которыя свертываютъ съ пути нашего брата: слабонервнаго, пзвѣженнаго; гдѣ-же и искать нравственной стойкости, предусмотрительности, желѣзнаго стоицизма, — какъ не въ этой натурѣ, скованной морозами трескучими и бѣдами лютыми? И вдругъ этотъ самый богатырь оказывается такою рваною тряпкою, что стоитъ только, чтобы ему перепасть въ карманъ лишній гривенникъ, и онъ сейчасъ обращается въ какого-то забубеннаго бонь-вивана, затыкаетъ за поясъ любого аристократа безустовомъ кутежей и мотовства и кончаетъ тѣмъ, что совсѣмъ сбивается со всякаго круга! Что сей сонъ значить?

Въ сущности-же все это оттого именно и происходитъ, что вы нѣдете здѣсь дѣло съ богатыремъ, не съ прямолинейнымъ абстрактнымъ богатыремъ нашихъ фантазій, а съ реальнымъ богатыремъ — человѣкомъ. Вамъ ничего не стоитъ въ вашихъ иллюзіяхъ вообразить мужика такимъ героемъ, что сунете его въ огонь, онъ и въ огонь не сторитъ, бросете въ воду — онъ въ водѣ не потонетъ. Въ дѣйствительности-же, какой-бы онъ ни былъ богатырь, а онъ все-таки человѣкъ, которой и въ огнѣ торитъ, и въ водѣ тонетъ, и вообще подчиняется всѣмъ законамъ своей человѣческой природы. А между этими законами есть одинъ всемірный законъ, на который, къ сожалѣнію, обращаютъ очень мало вниманія, а между тѣмъ этотъ законъ участвуетъ во многихъ какъ частныхъ и незначительныхъ случаяхъ жизни, такъ и историческихъ событіяхъ первой важности. Закономъ этимъ объясняется и настоящій загадочный случай.

Дѣло вотъ въ чемъ: жизнь каждаго организма зависитъ отъ приспособленія къ окружающей средѣ. Это приспособленіе выражается въ борьбѣ съ различными внѣшними вліяніями. Успѣхъ или неуспѣхъ борьбы обусловлены тѣмъ, удастся-ли организму накопить въ себѣ столько мускульныхъ и нервныхъ силъ, чтобы быть въ состояніи выдерживать борьбу. Если количество этихъ силъ уравнивается съ силами внѣшнихъ вліяній или превышаетъ послѣднія, тогда мы и говоримъ про такой организмъ, что онъ приспособился, жизнь его обеспечена. Представьте-же себѣ такой случай, что данный организмъ инопачѣ приспособился къ выдерживаемой имъ борьбѣ, накопилъ въ себѣ столько силъ, сколько ихъ нужно для этого, и силы эти содержатся въ одномъ и томъ-же количествѣ, какъ вдругъ борьба эта сразу прекращается. Что тогда должно произойти? Очевидно, въ организмѣ получится избытокъ силъ, не находящихъ никакого приложения. Если-бы нашъ организмъ имѣлъ способность внезапно измѣняться во всѣхъ своихъ какъ формахъ, такъ и функціяхъ, тогда, конечно, ничего не стоило-бы ему тотчасъ-же уменьшить выработку силъ, теперь совсѣмъ излишнихъ и, такимъ образомъ, приспособиться къ новымъ условіямъ жизни. Но, къ сожалѣнію, организмъ нашъ лишень подобной возможности быстрыхъ превращеній; онъ подчиняется силѣ привычки, своего рода инерціи во всѣхъ своихъ отправленияхъ; къ тому-же выработка извѣстнаго

количества силъ въ продолжительное время на столько развиваютъ органы, что они не могутъ по самой своей конструкціи уменьшить выработку. И вотъ мы видимъ, что эти излишнія силы, накапливаясь въ организмѣ, производятъ въ немъ различныя и матеріальныя, и нравственныя пертурбаціи. Смотри по темпераменту и условіямъ жизни организма, ему въ такомъ случаѣ угрожаютъ ожиреніе, различнаго рода гипертрофін, или душевныя недуги, въ родѣ сиплина, запоя, жажды широкаго и необузданнаго разгула, противъ которой безсилна оказывается самая желѣзная воля. Этими только и можно объяснить многіе загадочныя случаи и въ частной, и въ общественной жизни. Не однимъ только Иванамъ Петровымъ, находящимся подъ властію земли, а людямъ всѣхъ слоевъ общества и всякихъ профессій угрожаетъ одно и тоже мы часто, по крайней мѣрѣ, встрѣчаемъ, что живетъ какой-нибудь труженикъ воздержно, аккуратно, но стоитъ ему сойти съ почвы привычнаго труда и окупиться въ сферу легкой наживы или внезапно получить наслѣдство, у него закруживается, что называется, голова и онъ теряетъ всякую власть надъ собою. Вотъ почему люди, внезапно обогатившіеся, гораздо чаще прокучиваютъ свои капиталы, чѣмъ тѣ, которые съ этими капиталами родились. И въ этомъ отношеніи естественно, что чѣмъ упорнѣе была предшествовавшая борьба съ условіями жизни и чѣмъ большаго напряженія силъ требовалъ трудъ, тѣмъ сильнѣе долженъ быть размахъ освободившихся силъ. Если даже и Акакію Акакіевичу, при томъ ничтожномъ напряженіи нервовъ, съ которымъ соединяется механическая канцелярская работа, не обходится даромъ внезапное опочиваніе на лаврахъ, то чего-же мы можемъ ожидать отъ Ивана Петрова, при той гигантской борьбѣ со всѣми силами природы, какою обуславливается крестьянская жизнь?

Я уже сказалъ выше, что тотъ-же самый законъ присутствуетъ и во многихъ крупныхъ историческихъ фактахъ. И дѣйствительно, чѣмъ-же, какъ не этимъ закономъ, можно объяснить, что аристократическія сословія Западной Европы, отличавшіяся суровыми и строгими нравами въ средніе вѣка, когда значительное количество мускульныхъ и нервныхъ силъ этихъ сословій тратилось на непрестанныя войны, вдругъ сразу деморализовались и предалися необузданному разгулу послѣ того, какъ изъ воинственныхъ феодаловъ они превратились въ праздныхъ придворныхъ? Тоже самое мы встрѣчаемъ во многихъ религіозныхъ сектахъ, которымъ изъ воинственныхъ, гонимыхъ, удавалось сдѣлаться господствующими: весь тотъ нравственный закалъ, доходящій до аскетическаго энтузіазма, который составлялъ ихъ главное достоинство, сразу исчезалъ и замѣнялся полною деморализаціей. Но не всегда „освободившіяся силы“ ведутъ къ деморализаціи. Они могутъ имѣть иные исходы, еще болѣе роковыя и грозныя. Ивану Петрову легко было предаться разгулу, потому что онъ былъ выведенъ изъ-подъ власти земли на поле даровой наживы. Представьте-же вы теперь, что онъ былъ-бы только устраненъ съ своей земли и затѣмъ предоставленъ на жертву бездомнаго скитанія: „иди, куда хошь!“ ... и предположите, что такой участи былъ-

бы предоставленъ не одинъ Иванъ Петровъ, а цѣлыя ихъ тысячи и миллионы. Подумайте, какой исходъ могъ-бы имѣть этотъ пѣлый океанъ „освободившихся силъ“, и что могло-бы остановить и сдержать въ предѣлахъ этотъ страшный океанъ? Вотъ этихъ только и можно объяснить, почему рабочія массы, какъ напримеръ, на Западѣ фабричный пролетаріатъ, не смотря на всѣ экономическія тиски, по цѣлымъ десяткамъ и сотнямъ лѣтъ безропотно переносятъ самое ужасное существованіе. Но вдругъ раздражается какой-нибудь экономической или политической кризисъ, сразу огромное количество силъ, до того времени занятыхъ ежедневной работою, освобождается, и происходитъ тогда стихійный взрывъ, сдержать который не въ состояніи оказываются вооруженныя арміи, какъ это было напримеръ въ 1848 г. въ Парижѣ. Вотъ въ этомъ отношеніи мы можемъ смѣло завѣрить публицистовъ, которые толкуютъ нынѣ о „разнузданіи звѣря“: пусть они успокоятся и будутъ увѣрены, что никакіе патріотическіе кличи мракобеснующихъ газетъ съ одной стороны, никакія пропаганды съ другой — не въ состояніи „разнуздать звѣря“, если въ нихъ не придутъ на помощь тѣ мудрые ревнители народнаго блага, которые мечтаютъ основать благосостояніе и могущество Россіи на бодромъ обезземеленіи крестьянъ. Только это обезземеленіе, если не будетъ принято противъ него самыхъ энергическихъ мѣръ, и можетъ произвести то, чего совершенно справедливо опасаются господа публицисты, произведетъ неминуемо, неудержимо, не смотря ни на какія предупредительныя мѣры.

Теперь въ концѣ концовъ и подумайте, слѣдуетъ ли изъ очерка Гл. Успенскаго такой выводъ, что, будто-бы, чѣмъ крестьянамъ хуже живется, т. е. чѣмъ у нихъ меньше земли и большими палогамъ они обложены, — тѣмъ они нравственнѣе и порядочнѣе? Напротивъ того, что же и ведетъ къ тому, что Иванъ Петровъ бросаетъ свои земли и хозяйство и идетъ искать на вокзалахъ легкаго заработка, какъ не малоземелье и излишнее обремененіе палогамъ? Развѣ ушелъ-бы Иванъ Петровъ на вокзалъ, если-бы земли у него было вдоволь и домъ его былъ-бы полною чашею? Отъ добра добра не ищутъ. И очеркъ Гл. Успенскаго представляетъ совершенно противоположное доказательство: именно, что деморализація Ивановъ Петровыхъ зависитъ отъ неустройства и скудости деревенской жизни. Власть земли перестаетъ быть властью, разъ этой земли такъ мало и такъ она скудна, что ею нельзя прокормиться. Вотъ къ какому сурово-трезвому, но глубоко-истинному взгляду ведетъ прямой взглядъ на дѣло безъ всякихъ притворныхъ иллюзій. И нѣтъ никакихъ сомнѣній, что въ этихъ взглядахъ, хотя и не льстящихъ народу, таится гораздо болѣе любви къ мужику, чѣмъ во всѣхъ идеализированіяхъ его, а что взгляды эти могутъ принести незамѣримо большую пользу и для народа, и для интеллигенціи — объ этомъ не можетъ быть и рѣчи.

### III.

Въ лицѣ Андрея Осиповича Новодворскаго (А. Осиповича) русская жизнь потеряла одного изъ своихъ



литературныхъ младенцевъ. Правда, младенецъ этотъ появился на свѣтъ въ 1877 году, 24 лѣтъ отъ роду, и существовалъ затѣмъ пять лѣтъ безъ малаго, но печатался онъ такъ рѣдко, и талантъ его, хотя и обратилъ на себя вниманіе съ первой повѣсти, все таки такъ мало еще опредѣлился, что до конца дней онъ оставался младенцемъ, главна дѣятельность, значеніе и слава котораго скрывались еще въ будущемъ. Но онъ — не расцвѣлъ и отцвѣлъ въ утрѣ пасмурныхъ дней. А случилось это потому, что онъ родился не въ сорочкѣ и былъ младенцемъ не какимъ либо государственнымъ, а именно литературнымъ. Известно вѣдь, что русская жизнь далеко не ко всѣмъ своимъ дѣтищамъ чадолюбивая мать; къ нимъ она относится какъ самая суровая мачиха; у нея есть свои любимцы, которыхъ она сама кормитъ, поитъ, не жалея молока, сама пеленаетъ, обмываетъ, и пѣсенки надъ колыбелькою расцвѣкаетъ, въ родѣ того, что „будешь въ золотѣ ходить, чисто серебро носить“; но за то другимъ она только и надѣлываетъ, что однимъ шпенями, — и къ числу самыхъ нелюбимыхъ, самыхъ заброшенныхъ, безспорно, принадлежатъ младенцы литературные. „Ахъ, чтобъ васъ черти забрали; припеска васъ нелегка на свѣтъ!“ Подобною фразою сплошь опредѣляются всѣ отношенія суровой мачихи къ своимъ нежеланнымъ и негаданнымъ пасынкамъ. Одна часть русской жизни, представителями которой являются Катковы, Суворины, Буренины и тому подобный гадъ, при народженіи каждаго новаго литературнаго младенца приходитъ обыкновенно въ такое остервенѣніе, что такъ валя и кажется, что она его схватитъ-живъ схватитъ за ноги, да головою объ уголъ. Другая часть русской жизни, правда, очень сочувствуетъ народженію новыхъ литературныхъ чадъ и очень хлопочетъ о томъ, чтобъ ихъ нарождалось какъ можно больше, но въ свою очередь все это болѣе на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. По крайней мѣрѣ прочтите короткій некрологъ Новодворскаго, Ясинскаго, напечатанный въ мартовской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“, и вы увидите, что вся жизнь сошедшаго въ преждевременную могилу литературнаго младенца ничѣмъ не отличалась отъ жизни тѣхъ покинутыхъ щенцовъ, которые отдаются въ воспитательный домъ, и затѣмъ умерщвляются въ глуши чухонскихъ деревень. До вступленія на литературное поприще, пока Новодворскій еще не народился на свѣтъ въ качествѣ литературнаго младенца, а находился еще въ эмбриональномъ состояніи, онъ существовалъ въ качествѣ молодого разночинца, борющагося за свое существованіе; это существованіе, вполне соответствующее эмбриональному періоду, представляло собою чистый урѣзъ крошечный безпріютнаго скитальчества, голода, холода или учительской каторги, исполненной всякаго рода униженій, въ нѣдрахъ барскихъ семей. Изъ этого мрака только и долетаютъ до насъ одинъ раздирающе душу стонъ въ родѣ слѣдующихъ:

«Скверно! Когда это все кончится? Такъ какъ я обязался быть религіознымъ, то на дняхъ былъ въ церкви. Бѣдная деревенская церковь, обычный священникъ, поучающій паству, усердствующій народный учитель, завывающій съ своимъ хоромъ на клиросѣ и приводящій въ восторгъ поселантъ, все это, при холодной погодѣ и пасмурномъ днѣ, произвело

на меня впечатлѣніе чего-то очень безпріютнаго, горючнчаго, сѣраго... Крестьянки причащали грудныхъ и годовалыхъ ребятъ и кормили ихъ посль перемолки крапюхой хлѣба. Мнѣ стало какъ-то очень тяжело. Я ясно почувствовалъ, что я теперь дальше отъ народа, чѣмъ когда бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочимъ, какъ мечталъ когда-то, но что даже положеніе народнаго учителя едва-ли было бы мнѣ подъ силу... А между тѣмъ почти всѣ крестьяне и крестьянки были въ шубахъ, тогда какъ на мнѣ было плохенькое пальтишко — единственное мое теплое одѣаніе; между тѣмъ какъ девять десятыхъ всѣхъ этихъ мужиковъ никогда не голодали такъ, какъ голодалъ я, и ни одинъ такъ, какъ постоянно голодаютъ мать и сестренки... Дѣло, значить, ясно: мнѣ опротивѣла та обетановка безпріютности, которую пахнетъ при словѣ мужикъ, опротивѣла потому, что я слабѣю, тогда какъ онъ не перемѣняется, что я измучился, усталъ отъ нравственныхъ мученій (каковы бы они ни были, они всегда бываютъ глуши), которыя ему меньше знакомы... А между тѣмъ я себя воспитываю, чтобы слѣтѣлся съ народомъ! Да это просто насмѣшка! Насмѣшка надъ логикой съ моей стороны и горькая проіяя обетованность надо мной!»

Или еще того прощѣ, и тѣмъ ужаснѣе:

«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голодъ... Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить въ бездонное болото, ты также прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Види также преспокойно могутъ забѣть ницата рабочаго, какъ забѣли бы Гете, если бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь! «Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она вырвалась у меня, какъ стонъ большой души, а потому я поставилъ ее въ копилку, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы; не бѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ прѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 верстъ, которыя надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мной не было вещей, но за то, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ жалчайшія лѣтнія панталоны, что были на мнѣ, въ смѣсли удобства, сѣло можно было признать равными нулю; кромѣ того, ботинки (топчаныя, помятыя, ботинки), шинелишка и башмакъ. Безъ отдыха, по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, а за то потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ...»

Насколько ухудшилось его положеніе послѣ рожденія въ качествѣ литературнаго младенца и какъ русская жизнь въ роли нѣжной матери пѣтовала свое талантливое и многообѣщающее чадо, вотъ что повѣствуетъ объ этомъ Ясинскій:

«1878—1880 гг. были особенно гибельны для здоровья Андрея Осиповича. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Жилъ онъ въ послѣднее время «роскошно», какъ онъ выражался. Уроками онъ добывалъ рублей 36—40 въ мѣсяцъ, которые и издерживалъ на себя, а литературный заработокъ отсылалъ роднымъ. Комната у него была крошечная (отъ 10 до 15 р. въ мѣсяцъ), и онъ часто перемѣнялъ квартиру, въ надеждѣ найти что-нибудь поудобнѣе, обдѣвалъ въ кухмистерскихъ, за 40 коп., одѣвался «весьма прилично», такъ что, по внѣшности, производилъ впечатлѣніе человека «благодѣтельного». Бѣдность научила его относиться къ каждой заработанной копѣйкѣ съ уваженіемъ и жить съ изумительной аккуратностью...»

«Зловѣдѣ признали исхода незамѣтной болѣзни Андрея Осиповича, которую онъ считалъ «демоническимъ бронхитомъ», появилася въ ереднѣ лѣта прошлаго года, когда онъ пожилъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сивознымъ вѣтромъ и течью. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ дождь (фигурирующій въ предсмертномъ разказѣ его: «Не-

торія») промочилъ его до костей, и онъ уже серьезно простудился, такъ что, снова появившись, въ августѣ, въ Петербургѣ, испугалъ меня своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ за границу, уви съ тѣмъ, чтобы не возвращаться на родину, которую такъ страстно любилъ и муками которой болѣлъ и терзался...

Къ этому всему остается только прибавить, что онъ умеръ въ крайней нищетѣ въ казенной больницѣ, и это было не въ какомъ-нибудь захолустьѣ, а въ Ниццѣ, гдѣ такъ много русскихъ, и притомъ среди массы нашихъ соотечественниковъ, конечно, были такіе, которые знали, что такое былъ Новодворскій, читали его, можетъ быть хвалили и цитали, относительно его, благія надежды... Скажи мнѣ, читатель, возможное-ли дѣло, чтобы въ Петербургѣ умеръ какой-нибудь пѣмецъ съ самыми маленькими литературными именами, и чтобы его соотечественники, пѣмцы, нанбуржуазнѣйшіе булочники и колбасники, оставили-бы его умирать безъ всякихъ средствъ гдѣ нибудь въ Обуховской больницѣ!.. У тебя не стынетъ кровь въ жилахъ, читатель?

А между тѣмъ этотъ непамятованный, непригнѣтый и загубленный литературный младенецъ, какъ ни мало существовалъ онъ, успѣлъ оставить замѣтный слѣдокъ въ литературѣ. Очень можетъ быть, что его младенческой лепетъ и не дойдетъ до потомства, будетъ заглушенъ иными рѣчами, болѣе мужественными, громкими и блестящими, но современники его не забудутъ, такъ какъ рассказы его въ свое время произвели на нихъ глубокое впечатлѣніе и кое-что освѣтили имъ въ пониманіи окружающей ихъ низменной сутолоки, заставили ихъ кое-о-чемъ задуматься и кое-чѣмъ встревожиться такія, что они безъ этихъ произведеній пропустили-бы безъ всякаго вниманія. Уже одно то обратило всеобщее вниманіе, что въ лицѣ Новодворскаго выступила на литературное поприще первая художественная сила изъ рядовъ молодого поколѣнія 70-хъ годовъ, и надо отдать справедливость, выступила блистательно. Отъ перваго произведенія Новодворскаго „Ни павъ, ни ворона“ сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ, и, главное дѣло, совершенно новымъ. Самая форма произведенія этого поражала своею оригинальностью и полнымъ разрывомъ съ завѣщанными традиціями; покрайней мѣрѣ, она настолько-же отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной 40-ми годами, насколько произведенія новыхъ французскихъ романтиковъ 20-хъ годовъ разнились отъ ложно-классической рутинѣ. Вездѣ южно-русскаго юмора, смѣлое введеніе въ рассказъ не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Базарова и проч.); но и самаго Тургенева, котораго авторъ заставилъ разговаривать съ героемъ его „Нови“, Соловьинымъ, безпрестанныя то лирическія, то юмористическія отступленія, и необузданное, прихотливое изложеніе, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сдѣлывающихся мыслей, чѣмъ вѣщному развитію сюжета, все это напоминаетъ гейнсовскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутинѣ привычнаго ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго, обыкновенно, по разъ установленному

порядку: глава I—встрѣча героя съ героиней, глава II—биографія героя съ рожденія до встрѣчи съ героиней, глава III—биографія героини съ рожденія до встрѣчи съ героемъ, глава IV—объясненіе въ любви, глава V—паденіе, глава VI—начало изгнѣнія, разлукъ и всякихъ мукъ и т. д. Здѣсь ничего этого не было; начиная читать страницу, читатель не зналъ, что встрѣтитъ неожиданно въ концѣ ея, и ему было весело.

Но форма формой, а главное, что всѣхъ интересовало, это содержаніе: всѣмъ и каждому было интересно узнать, что думаетъ, чувствуетъ и чѣмъ живетъ юная формація людей 70-хъ годовъ. До той поры эта юная формація изображалась или съ предвзятою каррикатурностью и съ зубовными скрежетомъ Авсеенками и Незлобинными, или-же, если и съ желаніемъ отнестись безпристрастно и правдиво, то людьми зрѣлаго и даже болѣе, чѣмъ зрѣлаго возраста, которымъ приходилось ограничиваться наблюденіями со стороны и которые волею неволею приниживали къ своимъ наблюденіямъ воспоминанія своей собственной юности, протекшей въ иную эпоху, при иныхъ обстоятельствахъ и вѣяніяхъ. Здѣсь-же къ наблюденіямъ присоединился опытъ, и само юное поколѣніе, устами лучшаго своего представителя вѣщало намъ, чѣмъ оно живетъ и къ чему стремится.

Къ величайшему сожалѣнію, какъ преждевременная смерть, такъ и различныя вѣщныя обстоятельства, незавѣщанныя отъ автора, конечно, мѣшали ему развернуть полную картину жизни современной намъ молодежи и представить послѣднюю во всѣхъ ея разнородныхъ типахъ. Ему удалось отдернуть передъ нами лишь одинъ кончикъ занавѣски, но и то, что показало онъ за этимъ кончикомъ, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ полнаго вниманія, и мы остановимся на этомъ, для того, чтобы опредѣлить значеніе того слѣдка, который оставилъ въ нашей литературѣ покойный писатель.

Повѣсти Новодворскаго очень рѣзко раздѣляются на два рода. Къ первому роду принадлежатъ: „Ни павъ, ни ворона“, „Карьера“, „Романъ“, а затѣмъ слѣдуютъ рассказы въ родѣ „Мечтатели“ и „Исторія“. Въ послѣднихъ рассказахъ авторъ нѣсколько отступилъ отъ того пути, по которому шелъ сначала: вѣсто обрисовки типовъ людей молодого поколѣнія и раскрытія передъ нами внутренней ихъ жизни, что только и возможно въ нашей современной литературѣ при всѣхъ ея тягостныхъ условіяхъ, онъ увлекся темъ особеннаго сорта беллетристикою, которая, въ два, три послѣдніе года создавалась подъ вліяніемъ событий, и время отъ времени причиняетъ не мало тревожныхъ мукъ многимъ редакторамъ, которые обыкновенно только руками разводять, не зная, что имъ дѣлать и какъ быть при вопросѣ о помѣщеніи того или другаго рассказа въ этотъ родъ. Я признаю всю неизбежность подобной беллетристики и очень хорошо понимаю всю естественность того факта, что злоба дня, волнуетъ и угнетаетъ всѣ сердца, не можетъ не употреблять всѣхъ усилій, чтобы такъ или иначе не вторгнуться въ литературу. Но надо сказать правду, — не извѣстно къ чему приведутъ всѣ эти усилія въ будущемъ, въ настоящемъ-же они представляютъ собой

ничего болѣе, какъ „шопоть, робкое дыханье“. Это — беллетристика, не въ какомъ-либо метафизическомъ, но въ буквальномъ смыслѣ — призрачная, потому что здѣсь вы не найдете ни типовъ, ни характеровъ, ни объясненій мотивовъ, поступковъ, ни психическаго анализа, а одни призраки, мелькающіе передъ вами въ густомъ, непроницаемомъ туманѣ. Герои этихъ рассказовъ, мало того, что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами и авторъ ни словечка не говоритъ о томъ, что они тамъ такое дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену (какъ напримеръ въ „Мечтателяхъ“ Новодворскаго главный герой Псевдонимовъ).

Совсѣмъ другое дѣло первые три рассказа Новодворскаго. Въ нихъ повѣствуется не о какихъ-либо внѣшнихъ событіяхъ съ героями и такихъ происшествій, о которыхъ писатель предоставлялъ бы вамъ самимъ догадываться, какъ знаете; конечно, и здѣсь неизбежно встрѣчается кое-гдѣ нѣчто подобное; но суть здѣсь не въ этомъ, а въ самомъ пути героя, въ ихъ нравственной конструкціи и типическихъ особенностяхъ. Этими рассказами мы и ограничимся.

Въ двухъ первыхъ рассказахъ, въ „Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны“, и въ „Карьерѣ“, передъ вами рисуется одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведутся оба рассказа. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что во второмъ рассказѣ герой этотъ мало того, что въ художественномъ отношеніи обрисованъ гораздо рельефнѣе, но въ тоже время и освѣщенъ гораздо правильнѣе и сознательнѣе. Видно, что когда Новодворскій писалъ „Эпизодъ“, онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, не успѣлъ еще осмыслить его вполне и неясно сознавалъ, какое мѣсто занимаетъ герой его въ нашей жизни. Вслѣдствіе этой скудности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію „ни-павства—ни-воронства“, подъ которую подвелъ всѣхъ и вся, и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа — Печерицу, и даже самаго Вѣлиника.

«Что такое Вѣлиникъ, какъ типъ?» заставляеть авторъ Соломина объяснять Тургенева, съ которымъ онъ разговариваетъ въ Ваденъ-Баденѣ: «это — «случайная правда», вѣчно страдающая, вѣчно рвущаяся къ свѣту ни павы, ни ворона... Онъ родился между воронами, въ вороньей обетановкѣ; родился впечатлительнымъ, сердечнымъ, добрымъ и сразу сталъ чувствовать себя не ладно въ вороньей средѣ. Онъ задыхается, ищетъ воздуха. А тамъ, у подножья божества, спокойно расположились павы... Недостаточная особенность его характера — неудовлетворенность и стремленіе къ идеалу. Ни воронки, ни павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничего подобнаго не зарождалось въ головахъ, а вторые усвоившись на зовѣ какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи или на такомъ громадномъ запасѣ силъ, что предъ нею все сомнѣніе, все терзаніе — нули. Вѣлинику завидно это олимпийское спокойствіе. Онъ такъ энергично рвется къ богу, что, наконецъ, можетъ достать до нея рукой и съ торжествомъ смотритъ внизъ, на громадный порочный міръ, топчущійся тамъ, далеко. Но тутъ-то оказывается, что павой ему никогда не бывать, не потому, чтобы его ослѣпили, а просто потому, что въ немъ самомъ много вороньяго; онъ страстно любитъ воронь... Вотъ и начинаеть чудить Вѣлиникъ. Онъ протягиваетъ руку внизъ, зоветъ воронь, не смотря на то,

что павамъ это, можетъ быть, вовсе нежелательно; потомъ, видя, что вороны не обнаруживаютъ ни малѣйшаго поподлинненія летѣть такъ высоко, онъ схватываетъ богиною за подолю платья и тинетъ ее внизъ, къ воронамъ; тогда и эти желанія ни къ чему не приводятъ, онъ, больной, измученный, проклинаеть и божество, и воронь, и умираеть... ни павой, ни вороней».

Все это очень и художественно, и остроумно; подобнаго рода аллегоріи можно развивать до безконечности, нагромождая одну на другую, и изъ нихъ могутъ нѣкоторые блистать не только остроуміемъ, но и глубокомысліемъ. Но если вы, отгнѣсившись на время отъ этихъ аллегорій, взглянете на знакомый вамъ черты Вѣлиника, какъ онѣ рисуются передъ вами въ его статьяхъ, письмахъ, фактахъ жизни, и затѣмъ сравните съ ними типическія черты героя рассказа Новодворскаго, сообразно тому, какъ эти черты рисуются въ его дѣйствіяхъ и помысленіяхъ, вы немедленно же убѣдитесь, что между Вѣлиникомъ и героемъ Новодворскаго ничего нѣтъ общаго, что если „ни-павство—ни-воронство“ понимать въ томъ смыслѣ, какъ авторъ прилагаетъ это къ Вѣлинику, то герой рассказа его къ подобному понятію совсѣмъ не подходитъ, и наоборотъ, если ни-павство—ни-воронство олицетворяется въ типическихъ чертахъ героя, то Вѣлиникъ тутъ останется совсѣмъ въ сторонѣ, или, если хотите правильнѣе сказать, Вѣлиникъ по отношенію къ герою долженъ парадировать чисто-правною павою.

Все это недоразумѣніе произошло изъ того, что авторъ, когда задумалъ писать свой эпизодъ, хотя художественно и вѣрно постигалъ своего героя, но такъ мало еще понималъ его, что вообразилъ его и въ самомъ дѣлѣ заправскимъ героемъ; вслѣдствіе этого поставилъ его на пьедесталъ, и мало того, что приравнялъ его къ Вѣлинику, но сверхъ того присвоилъ ему очень лестную генеалогію, по которой вышло, что дѣдъ его былъ дежонъ, отецъ Печоринъ, а Рудинъ и Базаровъ — старшіе братья. Въ концѣ концовъ, Новодворскій приравнялъ своего героя и къ себѣ самому въ своемъ дневникѣ, а за нимъ и биографъ его, Яенискій, въ свою очередь, отождествляетъ покойнаго писателя съ его героемъ. Я никогда не видалъ Новодворскаго и не знаю его; Яенискому, конечно, лучше судить объ этомъ. Но во всякомъ случаѣ подобное тождество, если-бы оно существовало, было-бы очень прискорбно, хотя мнѣ сдается, что если Новодворскій и находилъ въ себѣ черты, сходныя съ его героемъ, то конечно на самомъ дѣлѣ подобно сходство простиралось до такой лишь степени, въ какой Пушкинъ походилъ на Владимира Ленскаго или Лермонтовъ на Грушницкаго. Вѣдь увѣрилъ-же Гоголь, что сѣлся надъ своими героями, онъ въ нихъ (не исключая Хлестакова и Плюшкина) осмѣиваетъ свои собственные недостатки.

Чтоже такое представляетъ собою герой рассказовъ Новодворскаго, если мы отстранимъ все аллегоріи и авторскія объясненія, а посмотримъ на него непосредственно, какъ онъ проявляетъ себя въ жизни? А вотъ что:

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ литература наша начала изображать такъ называемыхъ героев своего

времени, она постоянно изображала ихъ въ парномъ видѣ, т. е. вмѣсто одного выводила параллельно двухъ героевъ. Оба эти героя являлись, обыкновенно, помозаванными однимъ и тѣмъ же элементомъ и поклоняющимся одному и тому-же богу ихъ эпохи, но въ тоже время между ними замѣчалась существенная разница. Одинъ изъ нихъ представлялъ изъ себя настоящаго героя, служилъ дѣйствительнымъ и полнымъ воплощеніемъ духа своего времени. Патура не только воспримчивая, но и глубокая, страстная энергія, незнающая покоя, желѣзная воля—являлись постоянно главными качествами этого героя. Иногда, подъ вліяніемъ какой-нибудь мрачной эпохи, въ подобномъ героѣ отрицательные элементы развивались насчетъ положительныхъ, и тогда онъ рисовался въ видѣ демона, въ которомъ преобладали хищническіе и разрушительные элементы; но и въ такомъ печальномъ видѣ герой заключалъ въ себѣ чарующее и обаятельное, что влекло къ нему всѣхъ мало-мальски увлеченныхъ движеніемъ вѣка.

Что-же касается второго героя, то онъ былъ или отраженіемъ перваго, или его блѣдною тѣнью и жалкою пародіею. Въ то время, какъ первый представлялъ собою силу, второй былъ олицетвореніемъ слабости: безхарактерность, нерѣшительность, апатія, слабодушіе были преобладающими качествами его. Онъ и увлекался-то духомъ времени совѣтъ иначе: идеи вѣка отражались въ немъ плоско, мелко; онъ придавалъ большее значеніе формальной сторонѣ ихъ, чѣмъ углублялся въ ихъ суть. Въ то время, какъ первый былъ отрицаніемъ пороковъ и недуговъ своего вѣка, второй, напротивъ, былъ весь проникнутъ ими. Это не мѣшало ему порою быть очень симпатичнымъ своею кротостью, прямотою и голубинымъ незлобіемъ,—но тѣмъ не менѣе онъ носилъ на себѣ всѣ грѣхи отцовъ и дѣдовъ, былъ до мозга костей зараженъ разными наследственными худосочіями и подъ блестящей вишностью передовика скрывалъ въ себѣ вполнѣ ветхаго человѣка, полагаться на котораго было опасно. Различіе его отъ пошлой толпы въ этомъ отношеніи заключалось лишь въ томъ, что онъ сознавалъ миазмы и язвы, которыми разъѣдали его организмъ, но избавиться отъ нихъ не имѣлъ ни силъ, ни воли и ограничивался лишь тѣмъ, что случалъ до боли себѣ въ грудь и разражался самообличительными тирадами.

И дѣйствительно, вы не назовете мнѣ ни одного изъ выдающихся героевъ времени, рядомъ съ которымъ не стоялъ-бы его антиподъ: такъ рядомъ съ Чацкимъ парадируетъ передъ нами произведеніе того-же духа времени—Репетиловъ, рядомъ съ Онѣгинимъ—Владиміръ Ленскій, рядомъ съ Печоринимъ—Грушницкій, рядомъ съ Рудинимъ и Вельтовымъ рисуются Круциферскіе, Чулкатурины и разные Галеты Шигровскаго уѣзда, рядомъ съ Вазаровымъ—Николай Кирсановъ, рядомъ съ Вязановымъ (герой повѣсти Слѣпцова „Трудное время“) —Щетининъ. И если мы теперь спросимъ, къ какому-же разряду относится герой рассказовъ Новодворскаго, то я полагаю, что каждый безъ малѣйшихъ колебаній скажетъ намъ, что конечно ко второму, а никакъ не къ первому. Такимъ образомъ генеалогія нашего героя со-

вершенно измѣняется: пращушкой его является Репетиловъ, дѣдушкой Владимиръ Ленскій со своимъ „душою чистогеттингенскою“, отцомъ—Чулкатуриномъ, а Кирсановъ и Щетининъ—старшими братьями. Вязановъ на нравственные черты нашего героя, и мы въ этомъ убѣдимся.

Репетиловъ—и вдругъ герой рассказовъ Новодворскаго, что можетъ быть тутъ общаго, помилуйте! Репетиловъ—богачъ, строящій каменные дома съ колоннами на Фонтанкѣ, купила, шрокъ, волокита, шатающійся ночи напролетъ то по великовѣстскимъ базарамъ и раутамъ, то по разнымъ вертепамъ развѣда. Репетиловъ, который

... бредилъ дѣвѣй въѣтъ обѣдомъ или баломъ;  
Объ дѣтихъ забывалъ, обманывалъ жену;  
Игралъ, проигрывалъ, въ опеку взять указомъ,  
Танцовщицу держалъ, да не одну—  
Трехъ разомъ;

Пилъ мертвую, не спалъ ночей по девяти;  
Все отворгалъ: законъ, еоветъ, вѣру...

и вдругъ—тщедушный, иснигтой отъ голода и шпеты юноша, весь оборванный, почти безъ шашшоекъ, плывающій въ бурю и дождь по грязи въ тенькихъ ботиночкахъ безъ подошвъ и прощающійся на пристань работать выѣтъ съ лужиками, таскать бревна. Есть-ли тутъ хоть тѣнь какого-либо подобія?

Но вѣдь и ты—читатель, каковъ бы ты ни былъ и чтобы изъ себя ни представлялъ, навѣрное не пишешь ни малѣйшаго подобія со своимъ пращушкой, несмотря на то, что навѣрное многое отъ него наследовалъ и кровь у тебя въ жилахъ течетъ зараженная тѣми же миазмами. Репетилову съ пола горы было строить дома на Фонтанкѣ, держать танцовщицу, задавать роскошные обѣды и проигрывать десятки тысячъ, такъ какъ ему досталась отъ родителей масса населенныхъ имѣній, и къ тому же, вмѣстѣ съ несметными богатствами, онъ наследовалъ отъ пращурковъ остатки богатирскихъ физическихъ силъ дѣдъ его ломалъ подковы какъ бисквиты, и одинъ выходилъ чуть не на трехъ сразу медвѣдей; не мучрено, что и Репетилову ни почему сходили и безсонныя ночи, и безумныя кутежи. Но сынокъ Репетилова—Владиміръ Ленскій былъ далеко уже не то; онъ могъ еще считаться въ деревенскомъ захолустьѣ богатымъ женихомъ, но уже ни домовъ каменныхъ съ колоннами, ни несметныхъ тысячъ въ банкѣ, ни необозримыхъ земель, ничего этого уже не было: все ба-тюшка успѣлъ спустить на цыганочекъ, да въ картишки. Да и физическими силами Ленскій былъ уже не то. Здоровье его только и сохранялось, что при умѣренной жизни среди деревенскаго воздуха. Его „геттингенская душа“ не жаждала уже того широкаго разгула и размаха, какъ безардонная душа пиленьки: онъ всю жизнь свою наполнялъ единственно тѣмъ, что писалъ стишки въ альбомы провинціаль-ныхъ барышень и воспѣвалъ Ольгу Ларину, и былъ этимъ вполнѣ доволенъ. А сынъ его Чулкатуринъ опустился еще ниже. Онъ является мелкопомѣстнымъ, ничтожнымъ дворянчикомъ. Жалкій остатокъ дворянскихъ богатствъ уже не прокармливаетъ его, и онъ, чтобы не умереть съ голоду, принужденъ приняться за мелкую службу или учительство. Маленькое дѣло

ра которое онъ беретъ единственно ради прокормленія, его не занимаетъ, бѣдность и униженное положеніе его гнѣтуть, а вырваться изъ „забѣдающей среды“ у него нѣтъ ни силъ, ни воли. На сердцѣ у него скребутся кошки сознания своей дряхлости и дряблости; зараженный грѣхами отцовъ и развинченный безпутствомъ организмъ носитъ въ себѣ зародыши всевозможныхъ хроническихъ недуговъ, — и онъ сходится въ преждевременную могилу, сифидаемый злою чахоткою.

А дѣла, — пошло еще того хуже: крестьянъ отобраны; послѣдніе крохи въ видѣ выкупныхъ свидѣтельствъ были скоро прожиты; поля начали зарастать бѣлагомъ, усадьба ветшать, службы разваливаться, слуги обратились въ непролазные чащи; наконецъ, всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ, — и семья Чулкатуринныхъ быстро дошла до послѣдней степени нищеты. „Мы, повѣствуетъ герой „Барьеры“, прожили послѣдніе вѣхи, оставшіяся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія. Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставнаго удвѣра, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежутокъ между кухонною печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце, и у нихъ оконце“...

И это была нищета гораздо горше и ужаснѣе той нищеты, которую терпятъ обыкновенно люди низшихъ слоевъ общества. Тутъ хоть что-нибудь умѣють, на что-нибудь годны, и потому для нихъ больше представляется возможности найти хоть какой-нибудь кусокъ хлѣба. А здѣсь вы видите полную растеряность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ-концовъ безвыходное отчаяніе. Люди простого класса способны хоть съ собою-то распорядиться самимъ, обшить, обмыть и т. п., а здѣсь привыкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонуть въ грязь, не въ состоянии будучи палецъ о палецъ ударить, чтобы хоть соръ-то вымести съ половъ, или вещи привести въ порядокъ. Но за то попадетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ, въ видѣ какой-нибудь подачки или заложеной у еврея оставшейся еще отъ Ольги Лариной бриллиантовой брошки, сейчасъ-же этотъ послѣдній грошъ ставится ребромъ, и въ то время, какъ забывается о томъ, что необходимо было-бы заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфеты и всякія финтифлюшки...

А что-же дѣлаетъ въ это время представитель рода Ренетилловыхъ-Чулкатуринныхъ? Онъ занимается въ это время благороднымъ дѣломъ: лежитъ на диванѣ и мечтаетъ о широкой дѣятельности. Замѣчательно, что несмотря на то, что малый кончилъ уже курсъ гимназіи, онъ не чувствуетъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу, и для него рѣшительно все равно, за что-бы ни принялся, и въ тоже время въ мечтахъ о какомъ-нибудь дѣлѣ его занимаетъ не самое дѣло, а его собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Но послушаемъ, что самъ онъ говоритъ объ этомъ предметѣ:

«Въ инженеры»... «на медицинскій»... куда, въ самомъ дѣлѣ, дѣваться? Ну, хорошо—инженеръ. Ну, построилъ дорогу, мостъ построилъ... Развѣ трудно построить дорогу, когда деньги есть? Но, положимъ, трудно. Еще что-нибудь построилъ; наконецъ, все, все построилъ, что только возможно. Что-же потомъ? Чинить и поддерживать старое? Гм... Или вотъ: медикъ. Прописать одному лекарство, другому лекарство, а черезъ мѣсяцъ они снова заболѣли. А умирать надо, — такъ ужъ ни одинъ медикъ не поможетъ. Развѣ вылечили моего отца? Умеръ вѣдь... А еостронка Вѣра? Коли башмаки дырявыя, такъ никакое лекарство не поможетъ. Чиновникъ? Но мой отецъ былъ чиновникомъ. Прійдетъ какой-нибудь ревизоръ, такъ жаль смотрѣть: суетится, ничего не помнить, дрожить... Эхъ-ма!»

«А между тѣмъ, меня такъ и подмывало, такъ и тянуло «куда-то». Замѣчательно, что для меня не существовало математики, юриспруденціи, медицины и т. д., а былъ учитель математики, задающій задачи и пугающій ученикамъ пылъ въ глаза; былъ инженеръ; былъ чиновникъ, пишущій за номерами какиѣ-то бумаги страшнымъ языкомъ, играющій въ карты, ѣздящій съ колокольчикомъ и болѣе ревизора; былъ медикъ, прописывающій рижинское масло и совѣтующій остерегаться его собрата, другаго медика, тоже прописывающаго рижинское масло.

«И началъ подробнѣе представлять себѣ всевозможнаго рода дѣятельности, потому соединялъ ихъ вмѣстѣ, и тогда получалось нѣчто гармоническое. Неприятные представители разныхъ профессій замѣнились, мало-по-малу, пыльными молодыми людьми, съ благородными порывами въ сердцѣ, съ огнемъ въ глазахъ, съ жаркимъ румянцемъ оживленія на щекахъ. Между прочимъ, было много жениховъ. Взошло яркое солнце, замутила рощи, заструились прозрачныя ручьи, явились тучныя нивы, деревья погнулись подъ тяжестью плодовъ, словомъ, вышла такая предсѣтная картина, я такъ увлекся обработкою подробностей, что не замѣтилъ, какъ наступилъ вечеръ, и въ комнатѣ стемнѣло. Легкій ударъ по плечу вывелъ меня изъ области грѣзъ.

— О чемъ ты задумался, гондубчикъ?

«То была моя старшая сестра и любимица Надя. Она присѣла ко мнѣ, склонила на плечо голову, и мы нѣсколько минутъ молчали. Я не отвѣтилъ на ея вопросъ: она сама приблизительно знала, о чемъ я задумался.

— А у насъ почти совсѣмъ денегъ нѣтъ... ты знаешь? спросила она, словно отвѣчая на новое направление моихъ мыслей.

«И кивнулъ головою.

— Право, это ужасно! Я не знаю, что съ нами будетъ... Когда у насъ еще было триста рублей, а валя тихонько дѣлѣла и спрятала. Они у мамы подъ подушкой лежали. Думаю, тебѣ дамъ; она вѣдь все равно растратитъ. Но она такъ убивалась, плакала, что я назадъ положила. Теперь очень жалѣю, что не выдержала характера.

«Мы снова помолчали, и т. д.

Что представляютъ собою подобныя мечты, въ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ, обыкновенно, не самое дѣло въ его сути и благихъ послѣдствіяхъ, а герой на пьедесталѣ? А это ничто иное, какъ одинъ изъ существенныхъ мязмовъ, которые бродятъ по завѣщанію отъ отцовъ и дѣдовъ въ крови всѣхъ Ренетилловыхъ, Чулкатуринныхъ. Въ „Эпизодѣ“ подобное отношеніе къ дѣлу выставлено еще рельефнѣе, во всемъ его циническомъ безобразіи. Героиня обозвала нашего героя филистеромъ:

«А! филистеръ! воскликнулъ онъ: такъ вотъ же тебѣ!». Подъ покровительствомъ сильнаго баса, съ аккомпаниментомъ самоотверженнаго *tenore dolce*, и сразу погружающаго въ грязь по волѣ и начинающаго что-то расчищать, во главѣ тѣлой арміи рабочихъ...

«Филистеръ? Смотри же теперь: видишь эти золотистыя руки? видишь, какъ моему голосу повинуются тысячи народа? Да какого народа! Всѣ мрачны, и силачи, словно изъ бронзы вылиты; а какъ говорить! Хочешь, любой изъ нихъ заговоритъ такимъ образцовымъ мужицкимъ нарѣчьемъ, что какую угодно книжку за поясъ затянетъ?... А я расчищаю, командую, работаю... Каждая изъ этихъ бронзовыхъ фигуръ обладаетъ бабой, которая не упрекаетъ, а только любитъ его, а я одинокъ... Ничего; мнѣ это, можно сказать, незамѣтно: другая идея у меня въ головѣ... И все командую, командую; покурю и снова командую».

Да, подобнаго рода герои никакъ не могутъ себѣ вообразить ни такого порядка вещей, ни такого дѣла, чтобы собрались люди изъ любви къ самому дѣлу, а не къ предсталу, чтобы они затѣмъ уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся передъ ними рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько же подчиняя своей волѣ товарища брата, на сколько сами подчиняясь ему.

Имъ и въ голову не приходитъ ничего подобнаго. Для нихъ неизменно нужно, чтобы они гордо возвышались надъ толпой и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ съ восторгомъ, въ это время, любовались женскія очи. Вы представьте себѣ, что все человѣчество заразилось бы тѣмъ же, и каждый смертный только о томъ и мечталъ бы, чтобы командовать и командовать, покурить и командовать? Что бы могло изъ этого выйти иного, какъ не то, что всѣ поголовно взаимно другъ друга переѣли бы, и родъ человѣческой долженъ былъ бы прекратиться. Оттого же у насъ и рунатся многиа хорошиа дѣла раньше своего возникновенія, что соберется пять шесть Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, и не столько занимается ихъ дѣло, сколько стремленіе во что бы ни стало преобладать надъ компаньонами и командовать, и въ результатъ получается рядъ интригъ, пререканій, и, перегрызшись другъ съ другомъ, люди расходятся заклятыми врагами... Да будь ты на вѣки вѣчные проклять, старозавѣтный идеаль командованія!...

Но одною этою тапгреною не ограничивается дѣло. Репетиловъ заищала своимъ потомкамъ еще одинъ мѣзъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и сѣдѣющій ихъ, а именно: необузданное сластолюбіе и честолюбіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, итъ ли гдѣ поблизу подходящаго сюжетца для романа, если возможно, то и для нѣсколькихъ романовъ. Что-бы они ни предприняли, повидимому совершенно постороннее и нейтральное, въ концѣ концовъ оказывается, что или это дѣлается ради побѣды надъ какимъ-нибудь непреклоннымъ сердцемъ, или же роковымъ путемъ сводится все къ той же неизмѣнной любовной интрижкѣ. Такъ, напримеръ, герой «Эпизода», сознавши наконецъ всю неблаговидность лежанія на диванѣ и мечтаній о широкой дѣятельности въ то время, какъ родные его чуть не умираютъ съ голоду, пошелъ на уроки, приготовить мальчика въ заведеніе. У насъ съ вами, конечно, подобнаго рода

дѣло такъ бы и ограничилось вполне прозаическимъ учительствомъ ради снисканія куска хлѣба. У героя же сейчасъ же расцвѣтъ цѣлый романъ, героиней котораго сдѣлалась сама хозяйка дома, — дама лѣтъ 30, но не безъ пикантности; и какая еще любовь, самая возвышенная! Это у насъ съ тобой, читатель, можетъ быть, выходитъ такъ, что дѣло, такъ дѣло, а любовь, такъ любовь, каждому необходимому элементу мы опредѣляемъ свое мѣсто въ жизни и повторяемъ вслѣдъ за Чацкинымъ:

Когда дѣла, я отъ веселья причусь,  
Когда дурачиться—дурачусь,  
Но смѣшивать два эти ремесла  
Есть тѣмъ искусниковъ,—я не изъ ихъ числа.

У этихъ же людей все выходитъ какъ-то наоборотъ: у нихъ дѣло, какъ мы уже говорили выше, представляется только повидимому дѣломъ, а подъ этою видимостью неизменно скрывается какая-нибудь клубничка; такъ и наоборотъ — любовь принимаетъ въ ихъ глазахъ характеръ какого-то, мало сказать — возвышеннаго дѣла, священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться вамъ, что она жаждетъ ничего болѣе, какъ любви; итъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя, конечно, и помысленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвиговъ, подвиговъ жаждетъ!

«Она склонилась ко мнѣ на грудь, — говоритъ герой «Эпизода» — и тихонько всхлипывала... Она не можетъ жить такъ; она мечтала о дѣятельности, о самоотверженіи и рѣшилась посвятить себя чело-вѣку, казаншемуся ей великимъ; она ошиблась... Т. е. онъ, конечно, прекрасный, добрый, благородный... но она ему не нужна... а онъ такъ привѣдливъ, предупредителенъ къ ней... Ей это не по силамъ, она пойдетъ за мною. Такое мелодическое жужжаніе, прерываемое слезами и ласками. Я пѣвкомъ поддерживалъ ее, не прерывалъ, далъ выплакаться въволю. Наконецъ, она успокоилась, выпрямилась и проговорила, улыбаясь юмористически, т. е. сквозь слезы:

— Не правда ли, какая я слабая?... О, отчего у меня нѣтъ твоей силы! Но вѣдь ты — скала! прибавила она черезъ минуту. Какъ она на меня посмотрѣла!

Послѣ подобной риторички чувства, выступать въ сцену обыкновенно риторички дѣла. Надо же героямъ показать другъ другу, что они въ самомъ дѣлѣ жаждутъ не однихъ только срываній цвѣтовъ удовольствія, а подвиговъ, жертвъ... и вотъ въ какомъ видѣ являются эти подвиги:

«Мы нарядились очень мило и просто. Я нашла красную рубашку и смазные сапоги; Анна Михайловна — сарафанъ съ пышными рукавами, заплета въ двѣ тиселыя косы свои прекрасные волосы, воткнула какой-то простенькій цвѣтокъ и даже не взглянула въ зеркало; въ моихъ глазахъ она видѣла, что восхитительнѣе этого костюма ничего и придумать невозможно. Мы вышли въ поле — не вечеромъ и не гулять, а въ жаркой полдень — «вазель тяжелые сны». У воротъ намъ встрѣтилась Марья Андреевна (племянница героини). Не знаю почему, я покраснѣла. На этотъ разъ не было никакого смѣшнаго: она вся превратилась въ насмѣшливый взглядъ; но интересно, что я покраснѣла еще до этого взгляда. Замѣтно было, что Анна Михайловна тоже какъ будто сконфузилась.

— Что это за маскаррадъ?

«Это было сказано про себя, но какъ ядовито сказано! Таково было начало; конецъ вышелъ еще хуже. Противный маскаррадъ!

Въ полѣ кипѣла работа. Бабы въ однихъ рубахахъ, какъ бѣлые грибы, выглядывали изъ высокой рвы; парни и мужики съ потными, загорѣлыми лицами, клали снопы за снопомъ и куда-то ужасно торопились. На жнивѣ стояла телѣга, подъ которою, въ тѣни, лежала мохнатая собака, высунувъ языкъ и ребенокъ съ соскою въ рукѣ и дѣлалъ рожи въ глазахъ. Тощая лошаденка, со спутанными ногами, паслась тутъ-же.

«Понятно, что пейзажи приняли насъ съ распротертыми облатками. Нужно было видѣть ихъ улыбки! Анна Михайловна жала болѣе граціозно, чѣмъ хорошо, а — ни граціозно, ни хорошо; мы съ удовольствіемъ оставили серны, чтобы присоединиться къ пейзажамъ, которые скоро расположились поднимать. Милый, простодушный народъ! Какъ они уставались на насъ, въ особенности бабы и дѣвки на Анну Михайловну! Какъ они ведунивались въ каждое наше слово! Не помню, о чемъ мы говорили, но очень хорошо и приятно говорили».

Маскарадъ, — какое это глубокое и мѣткое слово для выраженія не только вышеприведенной комической сцены, но и всей жизни этихъ героевъ: да, вся жизнь ихъ есть ничто иное, какъ маскарадъ, и до гробовой доски приходится имъ пародировать шутами въ разныхъ дурацкихъ костюмахъ.

Но до какой степени подо всею этою риторикою словъ и маскарадомъ дѣла у этихъ господъ развращено и изгажено обыкновенно бываетъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою „Карьеры“. Онъ былъ въ Петербургѣ, куда прѣхалъ учиться, голодалъ и искалъ уроковъ. Случайно на улицѣ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая была въ такомъ-же положеніи, какъ и онъ: тоже прѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Въдвѣнадцать дней уже не ѣла и находилась въ такомъ патологическомъ состояніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей койки и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, и у нея, очевидно, начался голодный шифъ. И вотъ мы читаемъ: „Она забормотала какую-то бессмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я разстегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на пяткахъ и съ влажными, желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ до суха хулы, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одеяломъ“... Ну и что-жь далѣе? Далѣе мы съ тобою читатель поставили-бы, конечно, точку. Сдѣлалъ герой то, что былъ обязанъ сдѣлать каждый человекъ, у котораго сердце не обратилось еще въ камень, ну и честь ему, что-жь можетъ быть далѣе? Но герой и тутъ, у постели умирающей, не забылъ своихъ клубничныхъ грёзъ, и заключивъ вдругъ вышеприведенную фразу запятой, прибавилъ къ ней слѣдующія слова: „т. е. продолжалъ все то, что, при другихъ обстоятельствахъ, могло-бы составить весьма пикантную страничку романа“.

Какъ тебѣ нравится это, читатель? Въдѣ это уже, мало сказать, — динизмъ, а чистое кощунство. Послѣ этого отъ героя можно ожидать, что онъ въ такихъ-же выраженіяхъ сталь-бы надругиваться и надъ труномъ этой самой дѣвушки, вадумалъ-бы описывать, напримеръ, какъ онъ обмывалъ похолодѣвшіе члены только-что скончавшейся, и вдругъ-бы разразился чѣмъ-нибудь въ такомъ-же родѣ: „т. е. продолжалъ все то“ и т. д. О, Репетиловъ, Репетиловъ, что ты за вѣщаль своихъ потомкамъ!..

И вотъ этотъ-то испакощенный всяческими и физическими, и нравственными миазмами, завѣщанными отъ отцовъ и дѣдовъ, выродившійся правнукъ Репетилова, рѣшается, наконецъ, повиная духу времени, отъ риторики перейти къ самому дѣлу, и даже не какъ-нибудь хитрому дѣлу, а лишь азбукѣ дѣла, держась впрямь въ трудовую лямку рабочаго человека. Но тутъ комедія превращается въ трагедію. Здѣсь подводится передъ нами роковой, окончательный итогъ всей жизни героя со всѣмъ его настоящимъ и прошлымъ. Какъ герой, онъ не могъ избрать какую-нибудь легкую и сообразную его истощеннымъ силамъ работу, а сразу рѣшился взяться за самую тяжелую, пошелъ на пристань таскать бревна... Но послушаемъ, какъ самъ онъ описываетъ свое гоетное *fiatso*:

«Въ какомъ-то сладострастномъ описаніи подошелъ и я къ полѣну, но... въ этой минутѣ, казалось, сосредоточился, какъ въ фокусѣ, все предшествовавшее, разрозненные элементы скандала: полѣно было очень тяжело, такъ что, при попыткѣ поднять его, меня всего бросило въ жаръ.

«Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту, пламенно притворился я, якобы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство...

«Ахъ какое это было чувство, «прекрасная читательница!» Если-бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ вышедшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ бала свалилось платье; если-бы только что обмывавшійся, страстно влюбленный юноша, выходя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на лапки любимой женщины можетъ отвѣчать только слезами отчаянія — ни та, ни другой, навѣрное, не испытали-бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю.

— Ну, ну! раздавались ободрительные голоса. Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погібели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его; я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки...

— Э, да что ты!

— Ха! ха! Не сладко? слышался голосъ товарищей.

«Я смутно сознавалъ все, происходившее вокругъ. Мнѣ было невыносимо жутко.

— Ну, парень, серьезно проговорилъ старикъ-рабочій, тотъ самый сѣденькій мужичекъ, въ красной рубахѣ, что сидѣлъ у мачты: — это, видно — не твое дѣло; тебѣ-бы сюда не соваться... Дай помощь, что-ли!

«Но мнѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шанку и тихо, шатаясь, пошелъ прочь...

— Утикъ, хлопци, ей Богу... ха, ха, ха! слышалось сзади.

— Ишь, целкоперъ!

— Чего зубы скалишь? Ну, навѣрно, парень хворій... Изъ лакеевъ, должно быть.

«Полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ на удачу, едва различая предметы: въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось: «хворій, хворій...» «Бѣдный, несчастный, трипка!» Мною вдругъ овладѣло быенство. «Отдайте же мнѣ мое здоровье, варвары! крикнулъ я, сжавъ кулаки. Къ кому я обращался? Кого винить? Я самъ не сознавалъ. Голосъ мой, т. е. не мой, а какое-то тончайшее сопрано, прозвучалъ весьма минорно и заставилъ меня ошомиться. Проходящая мимо баба съ корзиною въ рукахъ остановилась и сосредоточенно уставилась на меня удивленными глазами; пепельный салонъ, сѣрый пла-

токъ, вся какала-то сѣрая, лицо морщинистое, доброе, съ выраженіемъ: «хворый, бѣдняжка!»... Пробѣжала муца собака, съ глазами, говорившими какъ нельзя болѣе ясно: «проходи, знай, проходи, не трону; найдемъ и покусимъ, если зубы почищать захочется». Пробѣхалъ хомовой извозчикъ; у лошади узда была мочалкой перевязана—надо полагать, колечко потерялъ; какава-то покарда, каковой-то красной кушакъ, шляпка...

«Я очутился на мосту, оперся о перила и сталъ глядѣть внизъ. «Ты—скала... придешь за мною? И вѣдь ничего не боюсь... Пѣть, лучше не приходи, несчастный: куда тебѣ!»

«Проседавъ лодка, проплыла доска, отъ баран должно быть: гвозди торчали, шенка какава-то... И туно смотрѣлъ на все это. «А что, ежели-бъ этакъ шарахнутъ?» Какава-то сладострастная судорога, послѣднее ясное ощущеніе и послѣдняя ясная мысль»...

Вотъ она передъ вами, разгадка столь многихъ удивительныхъ выстрѣловъ, такъ часто раздававшихся въ послѣднее время. Выстрѣлы эти объясняются обыкновенно тяжкими условіями и смутными обстоятельствами нашего времени. Но сильные и дѣльные люди борются съ этими условіями и обстоятельствами. Другое дѣло Репетиловы-Чулкатуриныхъ: здѣсь послѣднимъ словомъ жизни является отрешеніе отъ самообольщенія пьедесталомъ, отчаянное сознаніе полной несостоятельности. Герой успѣлъ постыдно убѣжать отъ всего, что притязало его: убѣжалъ отъ родныхъ, которые взывали къ нему о помощи, убѣжалъ отъ женщины, которая полюбила его, убѣжалъ отъ ученья, убѣжалъ и отъ дѣла, которое оказалось ему не по силамъ, и что же ему остается, какъ не убѣжать и отъ самой жизни? Такъ скажи мнѣ теперь, читатель, что же тутъ общаго съ Вѣлискимъ, этики, въ своемъ родѣ, дѣльнымъ и сильнымъ человекомъ, который всю жизнь стремился къ одной благой и высокой дѣли и палъ вовсе не вследствие своей несостоятельности, а напротивъ, однимъ изъ самыхъ мужественныхъ и непреклонныхъ борцовъ русской мысли?.. Вотъ въ этомъ отношеніи «Карьера» и отличается отъ «Эпизода», что здѣсь тотъ-же самый герой не ставится ни на какой пьедесталъ, а является въ своемъ настоящемъ видѣ, во всемъ своемъ нравственномъ убожествѣ, съ кличкою кислятины, вполне къ нему подходящей. А главное дѣло въ томъ, что здѣсь герой этотъ отщепенъ выведеннымъ рядомъ съ нимъ типомъ совсѣмъ иного закала. Таковъ Стремилкинъ, съ его характерною кличкою злочки. Но, къ сожалѣнію, типъ этотъ далеко не такъ всесторонне развитъ и очерченъ, какъ его товарищъ. Онъ выясняется нѣсколько лишь въ концѣ разсказа, и тамъ вы видите вполне определенно всю ту разницу, какая существуетъ между нимъ и героемъ разсказа. Когда герой, послѣ всѣхъ своихъ вытарствъ и постыдныхъ фiasco, возвращается снова домой, онъ вдругъ съ ужасомъ узнаетъ, что ницета семьи его дошла до такой крайней степени, что младшая сестра его, Катя, дошла до проституціи.

«Пѣть, разсказываетъ онъ: не могу передать въ точности безобразной драмы этого дня. Катя была, представьте себѣ... у офицера!.. То есть, она прежде была у офицера, а потомъ узнала, что я приѣду, и пропала... Что было дальше, представляется мнѣ теперь, какъ во снѣ. Я убѣжалъ, помню, безъ шанка, и направился прямо къ квартирѣ «офицера». Небольшая комната, табачный дымъ, нѣсколько мужчинъ безъ сюртуковъ—за карточнымъ столомъ. Я

дрожалъ, задыхаясь; я не могъ произнести ни одного слова... Недоумѣвающимъ взглядомъ, потомъ гримасой смѣха и—«пошелъ вон!» Я вышелъ на улицу и наткнулся на злочку. Въ первый разъ, послѣ дѣтства, я ему обрадовался; въ первый разъ онъ встрѣтилъ меня безъ насмѣшки. Онъ былъ блѣденъ и страшенъ.

— Отдай мнѣ эту дѣвушку! Я ее любилъ! Онъ схватилъ меня за плечо, но сейчасъ-же опомнился.

— Ты его убилъ.

«Онъ не получилъ отвѣта, взялъ меня, какъ ребенка, за руку и мы вошли въ его комнату. Но помню, рѣшительно не помню... Это было какою-ли тяжелый кошмаръ. Крикъ и гамъ—все покрывало голосъ злочки. Онъ разломалъ стулъ и махалъ имъ во всѣ стороны. Что-то потомъ блеснуло... Кто-то крикнулъ: «прови!.. доктора!..»

Въ разсказѣ «Романъ» подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ злочки представляется въ одномъ отрицательномъ видѣ мстителя, здѣсь тотъ-же герой является передъ вами и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ гибельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь отщепенъ и далеко не является передъ вами во всей ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи, подобно тому какъ рисуются передъ вами, словно до сихъ поръ живые—Чапкинъ, Овѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Вазаровъ. Смерть помѣшала Новодворскому исполнить эту задачу и оставила на его долю лишь Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ. Впрочемъ, вообще нужно замѣтить, что до сихъ поръ и вся наша современная беллетристика страдаетъ тѣмъ-же весьма существеннымъ пробѣломъ. Въ «Запискахъ Темкина», въ «Золотыхъ сердцахъ» Златовратскаго, въ нѣкоторыхъ разсказахъ Гл. Успенскаго (напр. «Три письма»), вы встрѣтите много отдѣльныхъ чертъ и намековъ на типъ героя нашего времени, но до сихъ поръ еще полнаго образа беллетристика наша не представила. Возможно-ли въ настоящее время выполненіе этой важной и трудной задачи, когда и къ намъ она будетъ выполнена, и будетъ-ли, — это покрыто мракомъ неизвѣстности.

#### IV.

Разсказы В. Гаршина, изданные отдѣльнымъ изданіемъ, были уже разобраны разными рецензентами, и всѣ въ одинъ голосъ признали, что Гаршинъ обладаетъ выдающимся и очень симпатичнымъ талантомъ. При этомъ были кое-гдѣ заявлены сожалѣнія, что Гаршинъ стоитъ на почвѣ мрачнаго гамлетизма, что очень прискорбно и странно для писателя изъ молодого поколѣнія, въ наше мрачное и тяжелое время, когда всѣ силы должны употребляться на борьбу, а отнюдь не на какія-бы то ни было гамлетовскія рефлексіи.

Прискорбно это или не прискорбно, — дѣло личнаго вкуса. Что же касается до того, пристало-ли молодому писателю предаваться гамлетовскимъ рефлексіямъ, это вопросъ вовсе не такой легкой, чтобы рѣшить его однимъ почеркомъ пера, и я его не то чтобы рѣшительно отстраняю, но желаю подойти къ нему со всѣмъ съ другой стороны: т. е. не съ той стороны—слѣдуетъ или не слѣдуетъ быть такому странному явленію, а со стороны самого явленія. Какъ бы то ни



было, а оно на лицо: молодой писатель, съ выдающимися и симпатичными талантами, вмѣсто того, чтобы вдохновлять въ насъ мужество, выступаетъ передъ нами съ цѣлымъ рядомъ гамлетовскихъ сѣтованій на щету всего земнаго. Что сей сонъ значитъ? Разъ фактъ существуетъ, онъ, конечно, имѣетъ свои причины, вызвавшія его. Конечно, причины могутъ быть какія-нибудь случайныя, исключительныя, лежащія въ частной жизни автора и его натурѣ. Но не говоря уже о вопиющей содержаніи разсказовъ Гаршина, — напередъ, а ригоріи можно заключить, что здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ такими причинами: вѣдь если бы это было такъ, въ такомъ случаѣ Гаршинъ представлялъ бы собою явленіе исключительное, стоящее внѣ общаго теченія, и въ такомъ случаѣ онъ не производилъ бы впечатлѣніе таланта симпатичнаго, затрогивающаго сердца и возмущающаго читателей своихъ. Да и вопросъ еще, существуютъ-ли такія единичныя явленія, которыя, вызываясь своими особенными, исключительными принадлежностями причинами, стояли бы особнякомъ внѣ духа времени и среды, какъ какіе-нибудь аэролиты, занесенные изъ другой планеты?

А разъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ, хотя бы и не съ всеобщимъ и преобладающимъ въ наше время, но во всякомъ случаѣ выдающимся и принадлежащимъ обширной категоріи, то вопросъ о причинахъ его становится на первомъ планѣ, и лишь, по изслѣдованіи этихъ причинъ, и по ближайшемъ знакомствѣ съ самымъ явленіемъ, мы можемъ придти къ заключенію, какое подложить ему отвѣсти мѣсто въ нашей жизни, и если это явленіе прискорбно, то имѣемъ-ли мы возможность отъ него избавиться.

Но прежде всего, позвольте мнѣ вамъ задать такой вопросъ: имѣете-ли вы вполнѣ ясное и правильное понятіе о томъ, что такое гамлетизмъ? Понятіе это образовалось въ эпоху полного господства метафизики, и я сильно сомнѣваюсь въ томъ, пробовали-ли вы это понятіе пересадить съ метафизической почвы на реальную, или оно остается въ вашей головѣ все въ томъ же неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ вы его получили отъ отцовъ и дѣдовъ? Въ метафизическую же эпоху на гамлетизмъ смотрѣли чуть что не какъ на особенную субстанцію, какъ на природный темпераментъ особеннаго рода, предполагая, что люди отъ рожденія являются Гамлетами или Донкихотами, совершенно подобно тому, какъ они рождаются блондинами или брюнетами. Но нынѣ достаточно самаго элементарнаго знанія физиологій и психологій, чтобы понять всю нелѣпость подобнаго представленія гамлетизма. Достаточно двухъ, трехъ фактовъ историческихъ, двухъ трехъ фактовъ изъ окружающей васъ жизни или личнаго опыта, чтобы понять, что гамлетизмъ есть не что иное, какъ известное психологическое настроеніе, и что, подобно всѣмъ прочимъ психологическимъ настроеніямъ, онъ можетъ быть мимолетнымъ или хроническимъ; можно, пожалуй, родиться Гамлетомъ, но это не значитъ родиться съ какой-то неизмѣнной психической субстанціей, а все равно, какъ родятся золотушными, съ наклономъ къ чахоткѣ, какому-нибудь виду сумасшествія и даже къ пьянству. По этого мало, что гамлетизмъ, какъ известное психическое настроеніе или, пожалуй, если

хотите, болѣзнь, есть явленіе преходящее, которому каждый смертный можетъ подвергнуться, можетъ отъ него и избавиться, — происходитъ это настроеніе отъ самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ комбинацій и иногда отъ причинъ диаметрально противоположныхъ, вслѣдствіе чего и характеръ каждаго случая гамлетизма является совершенно особеннымъ, специфическій и своеобразный, такъ что подъ словомъ гамлетизмъ разумѣется понятіе крайне сложное. Общаго во всѣхъ сортахъ гамлетизма только и есть, что известное психическое настроеніе со всѣми его симптомами, какъ-то: угнетеннымъ, мрачнымъ настроеніемъ духа, упадкомъ энергій и активности, развитіемъ скептическаго и пессимистическаго взгляда сначала на свою собственную особу, а потомъ и на весь людской родъ, а въ концѣ концовъ, наклонность къ помѣшательству, пьянству или самоубійству. Но вѣдутъ къ этому болѣзненному состоянію духа тысячи путей самыхъ разнообразныхъ и достаточно перечислить нѣсколько изъ нихъ, наиболее существенные, чтобы убѣдиться, отъ какихъ иногда совершенно противоположныхъ причинъ происходитъ гамлетизмъ.

Представьте себѣ, что масса образованныхъ, передовыхъ людей, а за ними и все общество, продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ, стремились къ прекрасной и благой, намѣченной впереди цѣли. Много было принесено страшныхъ жертвъ, пролиты моря крови, чтобы достигнуть этой цѣли. Нѣсколько разъ казалось уже, что цѣль близка, почти въ рукахъ. Но, въ концѣ концовъ, она оказалась вдругъ также далека, какъ была въ началѣ. Массы охладѣли къ тщетнымъ усиліямъ, устали, махнули на все руками и предались безпробудной спячкѣ. Но среди этихъ массъ осталось нѣсколько неутомимыхъ борцовъ, неуспявшихъ стражей среди общаго сна, которые никакъ не могутъ упустить изъ вида все ту же благоую цѣль. Они продолжаютъ рваться къ ней, продолжаютъ будить окружающихъ и взывать къ нимъ. Но тщетны всѣ ихъ старанія разбудить кого-либо. Вмѣсто сочувствія, они встрѣчаютъ одинъ ропотъ недовольства, какъ беспокойные люди, мѣшающіе спать, ихъ начинаютъ гнать и всячески преслѣдовать. Видя что ничего не беретъ и что бессильны они вдохнуть въ общество прежнюю энергію, бодрствующіе борцы сами опускаютъ руки, энергія ихъ гаснетъ, они впадаютъ въ мрачное разочарованіе, въ нихъ начинается развиваться скептическое настроеніе по отношенію и къ окружающимъ людямъ, и къ самимъ себѣ, — однимъ словомъ изъ нихъ дѣлаются Гамлеты. Въ такого рода гамлетизмъ впадали идеалисты начала нынѣшняго столѣтія, выразителемъ котораго послужилъ лордъ Байронъ.

Но можетъ случиться и такъ, что опять-таки нѣсколько передовыхъ людей увлекутся цѣлью вовсе не какою-нибудь утопическою, вѣковой, а напротивъ того, самою простою и элементарною, и къ тому-же такою, которая давно уже осуществлена болѣе зрѣлыми обществами и это осуществленіе успѣло принести несомнѣнно прекрасные плоды; но, къ сожалѣнію, среда до такой степени невѣжественна, что не въ состояніи возвыситься до пониманія даже и этой простой и элементарной цѣли, и немногіе люди, сознание

ее, являются отдельными свѣтлыми точками, терпящимися въ глухомъ и непробудномъ мракѣ. Такъ этихъ людей еще мало и такъ они разрозненны, что освѣтить имъ этотъ мракъ, каждый своимъ отдельнымъ свѣточкомъ, нѣтъ никакой возможности, — и вотъ является сознание одиночества, безсилія, лишности, нужности, а затѣмъ опять-таки скептицизмъ личный и общій, — и пошла писать губернія. Нужно-ли и прибавлять, что такого рода гамлетизмъ въ обилии развивался въ 40-е годы на почвѣ нашей россійской жизни.

А вотъ и третій случай гамлетизма: человѣкъ стремится къ цѣли, въ сознаниіи его вполне осуществимой; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сознаетъ, что у него нѣтъ ни малѣйшихъ силъ для осуществленія, чувствуетъ себя полнымъ банкротомъ. Но въ тоже время онъ настолько субъективенъ (опять-таки вслѣдствіе слабости своихъ психическихъ силъ), что онъ не въ состояніи сознать, что это банкротство лишь его личное качество или можетъ быть двухъ-трехъ подобныхъ ему субъектовъ; ему представляется, что вся среда, все современное поколѣніе, племя и чуть что не все чело-вѣчество раздѣляетъ съ нимъ это банкротство; — и въ результатѣ развивается гамлетизмъ опять-таки своего особеннаго рода — гамлетизмъ современныхъ намъ героев въ родѣ „Ни павы ни вороны“ Поводворскаго (см. мое предыдущее письмо).

Въ четвертыхъ, совершенно наоборотъ, гамлетизмъ можетъ развиваться при обилии психическихъ силъ вмѣстѣ съ полнымъ отсутствіемъ какой-бы то ни было цѣли, въ достиженію которой силы эти могли-бы быть приложены. Таковъ гамлетизмъ Печорина. Въ пятыхъ, независимо отъ количества силъ, гамлетизмъ можетъ развиваться, когда человѣкъ преслѣдуетъ двѣ цѣли, однаково необходимыя, но въ тоже время совершенно противоположныя, исключаютія другъ друга и поэтому парализующія энергію человѣка. Таковъ, гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета. Въ шестыхъ, гамлетизмъ развивается очень часто въ высшихъ слояхъ общества, какъ истощеніе психическихъ силъ, вслѣдствіе пресыщенія земными благами; человѣкъ, въ такомъ случаѣ, приходитъ къ убѣжденію, что все на свѣтѣ суета суетъ и всяческая суета, потому что онъ все испыталъ, всемъ насладился и пришелъ къ заключенію, что все это выдѣннаго яйца не стоитъ. Наконецъ, въ седьмыхъ, опять-таки совершенно наоборотъ — особеннаго рода гамлетизмъ развивается на чердакахъ и въ подвалахъ отъ истощенія психическихъ силъ, вслѣдствіе голода.

Вотъ сколько видовъ гамлетизма мы насчитали, — цѣлыхъ семь, — а далеко не исчерпали всѣхъ ихъ, взяли только показавшіяся подъ руку; но если порыться въ исторіи, въ художественныхъ произведеніяхъ, въ жизни, можно очень легко насчитать и семью семь, и все-таки не дойти до конца счета, потому что жизнь въ своихъ комбинаціяхъ безконечна; каждый-же диссопаетъ ея, все, что насъ давитъ, терзаетъ, мучаетъ — все это можетъ привести къ гамлетизму, разъ мы поколебались духомъ въ борьбѣ, обезсильли, или ка-кимъ-нибудь путемъ потеряли въ нашихъ глазахъ самый смыслъ борьбы.

Въ виду всего этого сказать, что какой-то писа-

тель имѣетъ наклонность къ гамлетизму, еще не значитъ опредѣлить его. Слѣдуетъ показать, какой характеръ имѣетъ гамлетизмъ и въ какомъ отношеніи находится онъ къ своему вѣку. Вотъ объ этомъ-то мы и поговоримъ по отношенію къ Гаршину.

Выше я уже замѣтилъ, что гамлетизмъ шекспировскаго Гамлета заключается въ томъ, что человѣкъ преслѣдуетъ разомъ двѣ противоположныя цѣли, которыя тянутъ его каждая въ свою сторону и тѣмъ самымъ парализуютъ его энергію. Подобнаго рода гамлетизмъ особенно сильно развивается въ переходные періоды, на рубежѣ двухъ эпохъ, когда старые идеалы, понятія и предрасудки всякаго рода мало того, что не успѣли еще вполне утратить своего обаянія, но, покоясь на старыхъ порядкахъ, продолжаютъ еще быть обязательными, какъ основной нравственный долгъ человѣка и гражданина; а между тѣмъ явились уже новые идеалы, которые раскрываютъ передъ человѣкомъ всю несостоятельность старыхъ и влекутъ его совершенно въ противоположную сторону. Такимъ, именно, и является шекспировскій Гамлетъ. Онъ вполне олицетворяетъ въ своемъ лицѣ героя эпохи renaissance, когда средневѣковой мракъ едва успѣлъ разсѣяться, а солнце новой цивилизаціи едва озарило европейскій горизонтъ нуриумомъ восхода. Воспитанникъ Виттембергскаго университета, философъ, Гамлетъ успѣлъ уже приобщиться новаго духа гуманности. Характеръ его смягчился, утратилъ феодальную суровость; кровь ему начала црестить, и онъ не въ состояніи уже былъ проливать ее съ такимъ равнодушіемъ, какъ Лаэртъ, — этотъ человѣкъ вполне вѣрный всѣмъ преданіямъ старины, не тронутый и потому въ своемъ родѣ цѣльный. Гамлетъ былъ бы вполне на своемъ мѣстѣ въ качествѣ распространителя просвѣщенія въ своемъ отечествѣ, въ обществѣ такихъ-же, какъ онъ, философовъ, въ роли гуманнаго покровителя художниковъ и ученыхъ. Судьба-же его повлекла вдругъ совсѣмъ въ другую сторону, бросила въ грубую, полудикую среду и поставила лицомъ къ лицу съ звѣрскимъ преступленіемъ, противъ котораго возмутилась вся его природа. Средневѣковая традиція личной кровавой мести обязывала его за кровь платить кровью-же; онъ оставался вѣренъ этой традиціи, но мечъ колебался въ его рукахъ, привыкшихъ держать книги, и онъ не въ состояніи уже былъ отдаться жаждѣ мести съ такой-же безза-вѣтностью, съ какою отдался ей Лаэртъ. Оттуда и произошли всѣ колебанія, отсрочки, рефлексіи и пр.

Буквально въ такомъ-же положеніи мы видимъ героевъ перваго и третьяго разсказовъ Гаршина. Разсказы эти „Четыре дня“ и „Трусъ“ были написаны, очевидно, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ послѣдней войны. Въ послѣдней же войнѣ была такая особенность, которую мы почти не встрѣчаемъ во всѣхъ предыдущихъ нашихъ войнахъ. Въ прежнія времена наши войска состояли изъ массы рядовыхъ, но большой части безграмотныхъ и темныхъ, которые, правда, пасively отрывались отъ родины, семьи и плуга, но разъ этотъ болѣзненный процессъ выносился новобранцемъ, онъ потомъ вполне входилъ въ роль солдата и смотрѣлъ на войну, какъ на свою священную обязанность безъ разсужденій и какихъ-либо со-

ивный. Интеллигентная же часть войска (исключая рѣдкихъ случаевъ насильственной отдачи въ солдаты въ видѣ административной кары) состояла почти вся изъ добровольцевъ, смотрѣвшихъ на войну, какъ на свое единственное призваніе и притомъ считавшихъ это призваніе выше всѣхъ прочихъ государственныхъ и общественныхъ функций. Все войско, такимъ образомъ, состояло изъ ревностныхъ поклонниковъ Марса, которые случали во время мира и только на войнѣ чувствовали себя въ своей сферѣ, не только отправляли казенную службу, но священнодѣйствовали. Введеніе же всеобщей воинской повинности внесло въ ряды нашей арміи совершенно новый и до сихъ поръ невѣдомый элементъ — повобранцевъ, отрываемыхъ не отъ одного плуга, верстака, вырочки и т. п., — но и отъ книги. Представьте себѣ юношу, который въ 20 лѣтъ своей только что расцвѣтающей жизни успѣлъ уже выработать дорогое призваніе, полюбить какую-нибудь науку или искусство или увлекся высокою дѣлью общественнаго характера, которая сдѣлалась для него дорожкой жизни. И вдругъ роковымъ, неизбежнымъ путемъ онъ долженъ все это бросить и обратиться въ пушечное мясо, отданное въ полное, безпрекословное распоряженіе людей, которыхъ онъ считаетъ ниже себя по образованію. Прибавьте еще къ этому рядъ гуманнѣйшихъ идей и всевозможныхъ философскихъ взглядовъ, которые, съ одной стороны, заставляютъ его содрогаться при одной мысли, что ему придется убивать ближнихъ, такихъ-же несчастныхъ людей, какъ и онъ, къ которымъ онъ не питаетъ ни малѣйшей злобы и съ которыми готовъ былъ бы обняться побратимски, встрѣтаться съ ними не на полѣ брани; съ другой же стороны — онъ скептически смотритъ на самую пѣлосообразность войны — для рѣшенія какихъ бы то ни было вопросовъ. Что-жъ ему въ такомъ случаѣ остается дѣлать? Упогребить какія-нибудь оловянные лезвья, чтобы избавиться отъ военной повинности? Но тысячи соображеній заставляютъ его смотрѣть на этотъ шагъ, какъ на крайне неблагоприятный. Онъ видитъ во всеобщей воинской повинности круговую обязанность всѣхъ и каждого защищать родину, и уклоненіе отъ этой обязанности, во всякомъ случаѣ, принимаетъ видъ эгоистическаго слабодушія, выступленія на почву привилегированнаго положенія и измѣны демократическому знамени. Въ то же время, онъ не сознаетъ еще себя настолько полезнымъ родниѣ на излюбленномъ поприщѣ, чтобы ради этой пользы, съ спокойною совѣстью, предоставить свой рекрутскій жребій другому несчастливцу, можетъ быть въ тысячу разъ болѣе полезному члену общества или своей семьѣ. Наконецъ, въ немъ продолжаетъ сидѣть и традиціонный предрасудокъ: какъ ни скептически смотритъ онъ на служеніе Марсу, однако-жъ, основную добродѣтель, предписываемую этимъ культомъ, храбрость онъ считаетъ однимъ изъ обязательныхъ достоинствъ своей особы и боится, какъ-бы уклоненіе его отъ воинской повинности не было принято окружающими его людьми и въ особенности, конечно, прекраснымъ поломъ за трусость. И вотъ въ то время, какъ всѣ симпатіи, всѣ влеченія и убѣжденія влекутъ юношу въ одну сторону, — судьба тащитъ совсѣмъ въ противоположную, — и онъ вноситъ въ ря-

ды войскъ новый, несмысленный тамъ элементъ гамлетовскихъ рефлексій. Изъ него могъ бы выработаться вполне Доль-Кихотъ, если бы жизнь его сложилась иначе и онъ былъ-бы въ состояніи весь отдать служенію своей идее, — теперь же онъ истый Гамлетъ, и любой прапорщикъ съ итчными мозгами является передъ нимъ самымъ безукоризненнымъ Ласертомъ. Нужно-ли говорить о томъ, что подобныхъ юношей въ нашихъ полкахъ въ настоящее время не десятки, а можетъ быть тысячи, и Гаршинъ, изобразившій передъ нами подобныхъ героевъ, вывелъ на сцену отнюдь не какое-нибудь исключительное явленіе, а такое, которое съ каждымъ днемъ дѣлается все болѣе и болѣе заураднымъ.

Впрочемъ, между героями двухъ вышеупомянутыхъ рассказовъ есть нѣкоторая разница. Герой „Четырехъ дней“, когда шелъ на войну, хотя по своему общему развитію и былъ уже готовъ превратиться въ Гамлета, но въ немъ все еще преобладалъ Ласерть завитовъ временъ Очаковскихъ и покоренія Крыма. Онъ шелъ на войну не по одному велѣнію рока, а сознательно и добровольно, увлеченный идеею. Онъ не понималъ даже, въ силу чего окружавшіе его люди сжались надъ его военнымъ задоромъ и называли его „юродивымъ“.

«Когда я затѣялъ идти драться, говорить онъ: мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Осѣленный идеей, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (тогда я не понималъ), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами. Да вспомнить-ли? Прощаго не воротить. А какое странное отношеніе къ моему поступку явилось у многихъ знакомыхъ. «Ну, юродивый. Лѣзешь, самъ не зная чего!» Какъ могли они говорить это? Какъ выжугелъ такія слова съ ихъ представленіями о героизмѣ, любви къ родинѣ и прочихъ такихъ вещахъ? Видѣ въ ихъ глазахъ я представлялъ все эти доблести. И тѣмъ не менѣе, я — юродивый».

Но до чего не успѣлъ онъ додуматься въ мирныя времена, то самое онъ постигъ опытомъ военныхъ дѣйствій. Вотъ онъ лежитъ передъ вами гдѣ-то въ кустахъ, раненный, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго онъ передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожравшей жажды и отчаянья, его начинаетъ преслѣдовать цѣлый рядъ скептическихъ рефлексій:

«Прежде мною, говоритъ онъ, лежитъ убитый мною человекъ. За что я его убилъ? Онъ лежитъ здѣсь, мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ-ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ. А я? И я также... Я-бы даже полюбился ей нимъ. Какъ онъ счастливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. Это сдѣлалъ — я. Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять свою грудь подъ пули. И я пошелъ и подставлялъ. Ну, и что-же? Глушецъ, глушецъ! А этотъ несчастный феллахъ (на немъ египетскій мундиръ), — онъ виноватъ еще меньше. Прежде, чѣмъ ихъ посадили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и повезли въ Константинополь, онъ и не слышалъ ни о

Россіи, ни о Болгаріи. Ему велѣли идти, онъ и пошелъ. Если-бы онъ не пошелъ, его стали-бы бить палками, а то, быть можетъ, какой-нибудь папа всадишь-бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Русука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боимся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ ужасъ. Когда онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленькій человекъ, котораго онъ могъ-бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему пистолетъ въ сердце. Чѣмъ-же онъ виноватъ? И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За что меня мучаетъ жажда?

«Я не могу не думать о немъ, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ: неужели я брошу все милое, дорогое, шелъ сюда тысячесверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели, наконецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ что-нибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромя этого убійства? Убійство, убійца... И кто-же? Я...»

Здѣсь гамлетизмъ представляется только что на-родившимся. Это первые проблески скептицизма; всѣ вышеприведенныя мысли являются передъ нами не столько мыслями, сколько ощущеніями, и нужно было герою испытать то фантастически страшное положеніе, въ какомъ онъ находился, брошенный на полѣ битвы, рядомъ съ гниющимъ трупомъ, и мучаясь чуть что не муками агоніи, — чтобы онъ постигъ весь ужасъ и всю тигету человѣческой боины, называемой войною. Совершенно не то представляеть герой „Труса“.

Еще развѣ, чѣмъ его взяли въ ополченіе, онъ уже является передъ нами вполне сформировавшимся Гамлетомъ. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясающее впечатлѣніе.

«Первыя спрашиваетъ онъ себя, что-ли, у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами иблалъ кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, это маловѣщныя — это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ волнуемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человекъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тиллугульской наемни, стоявшая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человекъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпосинна дѣла съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человекъ, никто не обращаетъ вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеній, онъ переходитъ къ своей личности.

«Куда-же дѣнется твое «я»? спрашивалъ онъ: мы всѣмъ существомъ протестуемъ противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой человекъ, знавший до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать иную работу, трудъ любви и правды; я, наконецъ, привыкшій смотреть

на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избегаю этого зла—я вижу мое мое зданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого себя наваливающимъ на плечи то самое рубище, кляры и пятна котораго я сейчасъ только разематриваю. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ какой физической свободы располагать своимъ тѣломъ».

Далѣе затѣмъ приходитъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости.

«Быть можетъ, думаетъ онъ: всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоить-ли, дѣйствительно заботиться объ какой-нибудь одной, неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?» По герою началъ припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи— правда, немногіе—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости. «Тогда, говоритъ онъ: я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не состояніи, его претило избѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ, что-то, не подчиняющееся опредѣленію, сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклониться отъ войны. «Не хорошо»,—говорилъ ему внутренний голосъ.

Этотъ внутренний голосъ потомъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни, Марьи Петровны: «Она (т. е. другіе), сказала она: тоже не поили-бы, если-бы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые покалѣбуютъ послать знакомаго человека на войну. Я не беру на себя рѣшать, можетъ быть, это и правдиво, но мнѣ не нравится, нѣтъ!»

И онъ пошелъ, своего рода «невольникъ чести», умирать подъ непріятельскими пулями безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу ненавистной ему войны.

Велика или мала доля подобнаго рода гамлетизма въ нашей жизни (кто ее можетъ измѣрить?), но можно навѣрно сказать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ такого рода гамлетизмомъ, который представляетъ отнюдь не мимолетное явленіе, а напротивъ того, явленіе это должно съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе разрастаться. Съ каждымъ новымъ лучемъ свѣта знаній, съ каждою молодою силою, увлекаемою въ потокъ теченія передовыхъ идей, съ каждою мало-мальски искреннею и усильною попыткою распространить при-свѣщеніе въ массы, число подобнаго рода Гамлетовъ должно возрастать въ геометрической прогрессіи. Къ какимъ-бы горячимъ воззваніямъ ни прибѣгали шовинисты, когда бываетъ на ихъ улицѣ праздникъ, какия-бы великія и передовыя идеи ни выставляли они на знаменахъ войны, можно положительно сказать, что съ появленіемъ перваго Гамлета на ихъ улицѣ—дѣло ихъ рѣшительно проигранно въ буду-

мент. Я не отрицаю, что много еще может встрѣтиться такихъ моментовъ въ исторіи, въ которые идеальныя, патристическія или какія-нибудь иныя часовыя увлеченія будутъ настолько сильны, что самыя созпательныя Гамлеты забудутъ все свои рефлексіи и на время подѣлаются самыми, повидимому, беззавѣтными Лаертами, но что подобные моменты будутъ встрѣчаться все рѣже и рѣже, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Самый этотъ укоренившійся въ нынѣшнемъ столѣтіи обычай придавать войнамъ непремѣнно какую-нибудь либеральную, освободительную цѣль, которая привлекала-бы людей, вдохновляла-бы ихъ и оправдывала все отвратительныя ужасы войны, свидѣтельствуемъ о томъ, что чистый военный задоръ все болѣе и болѣе псакаютъ въ массахъ, и все менѣе становится такихъ мѣдлолѣныхъ Лаертовъ, для которыхъ въ кровавомъ боѣ, все равно изъ-за чего-бы то ни было, заключается единственное наслажденіе — колоть, рубить, крошить.

Съ поля войны Гаршинъ ведетъ насъ въ художественныя студии, въ своемъ разсказѣ „Художники“, но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвлекающаго самыхъ талантливыхъ художниковъ отъ искусства, совершенно подобно тому, какъ вполне мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны. — Дѣдовъ и Рабининъ, — это тѣ-же Лаерты и Гамлеты. Дѣдовъ въ своемъ родѣ цѣльный человѣкъ; онъ весь до мозга костей преданъ своему искусству, и крошѣ того, въ самоѣ искусствѣ исключительно пейзажной живописи; внѣ этого конька ничего для него не существуетъ, онъ живетъ и дышетъ восходами, закатами, лѣсными простѣками, пшави надъ прудами и т. п. Онъ понять не въ силахъ, какъ это можно сомнѣваться и задавать себѣ какіе-бы то ни было вопросы относительно значенія и цѣлей искусства. Для него искусство само въ себѣ и само по себѣ составляетъ цѣльный міръ, въ которомъ заключены свои начало и конецъ, исходъ и цѣль. Этому служенію чистому искусству способствуетъ во многихъ отношеніяхъ то обстоятельство, что Дѣдовъ — человѣкъ обеспеченный, получившій наслѣдство отъ тетки; дѣло извѣстное, что подобнаго рода чистое искусство всегда рождалось и рождается на почвѣ паразитизма, и въ этомъ отношеніи Гаршинъ вполне вѣрно опредѣлялъ ему мѣсто. Не менѣе вѣрно постигъ авторъ и тотъ фактъ, что Дѣдовы непремѣнно должны быть Сальери, т. е. люди съ крайне ограниченными талантами и достигающими чего нибудь въ искусствѣ лишь цѣтою усиленнаго труда. Дѣдовъ, такимъ образомъ, не только Лаертъ, но и Сальери, и это нисколько не исключаетъ одного и другого и вполне совмѣстно: Лаертъ, какъ человѣкъ, слабо и безъ разсужденій преданный своему традиціонному дѣлу, въ свою очередь, блещетъ передъ нами во всей красотѣ своего узкобѣя. И въ самоѣ дѣлѣ, Дѣдовъ относится къ своему товарищу Рабинину совершенно, какъ и Сальери къ Моцарту въ драмѣ Пушкина. „Чертовски, говоритъ онъ: талантливая натура, но за то дѣлится ужасный!“ — И Сальери почти тѣмъ-же словами съуетъ, что „геній озаряетъ голову безумца, гуляки празднаго“. Но Дѣдовъ не забудетъ Рабинину, во первыхъ, такъ какъ у него другой жанръ въ искусствѣ, и онъ избавленъ отъ со-

перничества съ нимъ, а главное дѣло, — Дѣдовъ не знаетъ никакихъ рефлексій, не понимаетъ даже возможности ихъ, считаетъ себя поэтому недостигаемо выше Рабинина и ликуетъ въ самодовольствѣ.

Рабининъ-же весь издѣненъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самоѣ себѣ, онъ безпрестанно спрашиваетъ себя, какое значеніе имѣетъ оно въ жизни и имѣетъ-ли какое-нибудь значеніе:

«Когда я хожу по выставкѣ, — говоритъ онъ, — и смотрю на картины, что я вижу въ нихъ? Хотѣть, на который накапаны краски, расположенныя такимъ образомъ, что они образуютъ впечатлѣнія, подобныя впечатлѣніямъ отъ различныхъ предметовъ. Люди ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски, такъ хитро расположены! И больше ничего. Писаны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ предметѣ: многія изъ нихъ я читалъ. Но изъ Тэнора, Карьерова, Куглерова и всѣхъ, писавшихъ объ искусствѣ, до Прудона включительно, не лветуетъ ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе имѣетъ искусство, а въ моеѣ головѣ, при чтеніи ихъ, непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣетъ его. Я не видѣлъ хорошаго влияния картины на человѣка; зачѣмъ же мнѣ вѣрить, что оно есть? Зачѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ пужно, необходимо пужно; но какъ повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ, что всю свою жизнь не будешь слушать исключительно глупому любознательству толпы (и хорошо еще, если только любознательству, а не чему-нибудь иному — возбужденію скверныхъ инстинктовъ, наприхѣр!) и тщеславію какого-нибудь разбогатѣвшаго желудка на ногахъ, который не стѣша подойдетъ къ моеѣ пережитой, выстраданной, дорогой картинѣ, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчать: «мм... ничего себѣ», сунетъ руку въ оттопырившійся карманъ, броситъ мнѣ нѣсколько сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесетъ имѣетъ съ волненіемъ, съ безсонными ночами, съ огорченіями и радостями, съ обольщеніями и разочарованіями. И снова ходишь одинокій среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечеромъ, машинально пишешь его утромъ, возбуждая удивленіе профессоръ и товарищей быстрыми усилками. Зачѣмъ дѣлаешь все это, куда идешь?»

Откуда же являются подобнаго рода рефлексіи, гдѣ рождаются эти тревожныя вопросы, нарушающіе творчество художника и возмущающіе весь его внутренний міръ? А все это происходитъ изъ той причины, что истинные художественные таланты, въ родѣ Рабинина, — люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ бы они ни старались устранить ихъ отъ жизни, — жизнь со всѣми своими ужасами, всѣми своими гадостями и грязью — непрестанно возмущаетъ ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ ихъ на страшный бой. Пужно имѣть желѣзные, лаертовскіе нервы Дѣдова, чтобы слотрѣть и не видѣть, слышать и не содрогаться, и при видѣ возмущающихъ зрѣлищъ ни о чемъ не думать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинувашагося надъ людскими безобразіями. Рабининъ этого не можетъ, — и вотъ въ немъ происходитъ лучительное, опять-таки чисто гамлетовское раздвоеніе: жизнь тянетъ его въ одну сторону, искусство — въ другую. Онъ пытается помрить этотъ разладъ, посвятивши искусство жизни, пишетъ картину, на которой изображаетъ весь испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственною грудью выдерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи закладокъ. Картина выходитъ поразительная по своему

страшному впечатлѣнію. По ожидаемаго примиренія, все-таки, она художнику не приноситъ. Онъ представляетъ себѣ свою картину на выставкѣ.

«Нельзя сказать,—думалъ онъ, чтобы на нее не смотрѣли: будутъ смотрѣть и даже хвалить. Художники начнутъ разбирать рисунокъ, рецензенты, приедемъ къ нимъ, будутъ чиркать карандашиками въ своихъ записныхъ книжкахъ. Публика... публика проходитъ мимо безстрастно или съ неприятной гримасой: дамы—тѣ только скажутъ: «ah, comme il est laid, глухарь», и поплывутъ къ слѣдующей картинѣ, къ «дѣвочкѣ съ коникой», смотря на которую, скажутъ: «очень, очень мило», или что нибудь подобное. Солидные господа съ бычачьими глазами подглазываютъ, потупить взоры въ каталогъ, испустятъ не то мычанье, не то сопѣнье и благополучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-нибудь юноша или молодая дѣвушка остановится со вниманіемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ, страдальчески смотрящихъ съ полотна, вопль, вложенный мною въ нихъ... Ну, а далѣе? Картина выставлена, куплена, увезена. Что же будетъ со мною? То, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнетъ ли безслѣдно? Кончатся-ли все только однимъ волненіемъ, послѣ котораго наступитъ отдыхъ съ испаніемъ невинныхъ сюжетовъ?..» и т. д.

А далѣе будетъ то, что какое-бы вопиющее содержаніе ни заключила въ себѣ картина Рябинина, все равно неизбежная участь ея затеряться въ покояхъ какого-нибудь Саламатова или Утробина, гдѣ она будетъ играть совершенно такую-же роль эфемерныхъ украшеній празднои роскоши, какъ и стоящія тутъ-же возлѣ нея бронзовыя канделябры. Чтобы выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябинину остается одно: бѣжать отъ искусства, не смотря на всю свою любовь къ нему и могущественный талантъ,—и онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается непосредственному дѣлу борьбы съ безобразіями жизни.

И опять-таки мы имѣемъ здѣсь дѣло отнюдь не съ какою-нибудь исключительнымъ и необыкновеннымъ явленіемъ жизни. Гамлетовъ-Рябининыхъ нисколько не меньше, если не болѣе, тѣмъ и Гамлетовъ-Трусевъ. Что во всѣхъ отрасляхъ искусства заключается нынѣ преобладаніе труженнической и ремесленной посредственности дѣловскаго пошиба и отсутствіе сильныхъ и гениальныхъ талантовъ,—это сдѣлалось ходячимъ трюизмомъ. Не разъ въ прессѣ было заявлено, что это зависитъ, по всей вѣроятности, отъ того, что слишкомъ назойливыя тревоги жизни нашей смутной эпохи отвлекаютъ наиболѣе талантливыя и чуткія натуры отъ мирныхъ бесѣдъ съ музами и втягиваютъ ихъ въ свои мрачныя пучины. И это совершенная правда. Искусству, такимъ образомъ, угрожаетъ печальная участь мало по малу и незамѣтно обратиться въ мертвое ремесло въ угоду тщеславной роскоши, и къ этому могутъ привести его не какія-либо эстетическія теоріи, а сама жизнь своимъ неизбежнымъ теченіемъ. Многія отрасли искусства успѣли уже достигнуть такой печальной окаменѣлости; таковы, напримѣръ, ваяніе и скульптура, имѣющія нынѣ значеніе скорѣе шаблонной промышленности, чѣмъ художественнаго творчества, въ выставкѣ котораго нѣкогда такіе гени, какъ Бенвенуто Челлини, вкладывали всю душу въ украшеніе какого-нибудь золотого кубка. Близко, можетъ быть, и такое время, когда чудеса кисти Айвазовскаго или Куинджи будутъ производиться паро-

выми машинами, подъ управленіемъ законченныхъ механиковъ и кочегаровъ, органы у Палкина въ своемъ симфоническомъ творествѣ заткнутъ за поясъ не только Вагнера, но и самаго Бюя. А беллетристика... она и теперь уже принимаетъ зачастую характеръ фабрично-коллективнаго производства. И вотъ, когда все это окончательно сформируется такимъ образомъ, тогда только Рябининыхъ-Гамлетовъ болѣе не будетъ, а останутся одни Лазары-Дѣдовы, совершенно подобно тому, какъ и въ настоящее время на свеклосахарномъ заводѣ можно задумываться насчетъ заработной платы, насчетъ дурнаго воздуха фабрики, но, конечно, ни одному рабочему не придетъ въ голову пуститься въ рефлексіи о тщетѣ самого производства сахара.

Совершенно иного рода гамлетизмъ представляетъ собою герой разсказа «Ночь». Въ разсказѣ этомъ авторъ, къ сожалѣнію, не выяснилъ, со всѣми подробностями, что именно привело героя его къ самоубійству; онъ представилъ намъ одинъ только моментъ самой попытки раздѣлаться съ жизнью. Но по тѣмъ мыслямъ, какія бродятъ въ героѣ въ этотъ страшный моментъ, мы можемъ судить съ достаточнымъ основаніемъ, что за типъ мы имѣемъ передъ собою. Здѣсь, очевидно, передъ нами рисуется опять все тотъ-же слабодушный и вырождающийся потомокъ Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, котораго мы видѣли въ разсказахъ Новодворскаго или у Гл. Успенскаго въ его Михаилѣ Михайловичѣ. Высокомѣріе, тщеславіе и чертвыи барскій эгоизмъ подѣляютъ личинокъ высокихъ цѣлей и громкихъ фразъ,—таковы, какъ мы видѣли, существенныя качества этого типа. Гамлетизмъ является здѣсь въ видѣ мрачнаго сознанія своей жалкой несостоятельности. Жизнь подноситъ человѣку цѣлый рядъ горькихъ опытовъ и разочарованій, вследствие которыхъ онъ трезвѣетъ отъ всѣхъ своихъ самообольщеній и, вмѣсто величественнаго полубога, видитъ въ себѣ ничтожѣйшаго, пресмыкающагося червя и къ тому-же обманщика, шулера.

«Въ прошломъ нѣтъ опоры, говорить онъ себѣ, потому что все ложь, обманъ. И лгалъ, и обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь. Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, разсказывающій о своихъ богатствахъ, которыя гдѣ-то «тамъ», «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги направо и налево. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ расчета—я банкротъ, злостный, завѣдомый».

Но само по себѣ это сознаніе не излечиваетъ еще героя отъ педуга самообожанія. У него, все-таки, не хватаетъ еще настолько мужества (да и откуда ему взять его), чтобы, честно сознавшись передъ собою въ своей несостоятельности, въ тоже время смириться душою и подавить въ себѣ всякую гордыню. Ни чужь ни бывало: даже сознавая себя ничтожѣйшимъ изъ ничтожѣйшихъ, онъ, тѣмъ не менѣе, продолжаетъ красоваться передъ собою въ гордомъ величій; изъ самого своего самоуниженія онъ устраиваетъ себѣ пышную мантію, въ которую драпируется. Даже падая съ пьедестала, онъ и не помышляетъ о томъ, что ударить въ грязь лицомъ передъ людьми. Прав-

да, онъ банкротъ, но изъ этого, конечно, вовсе не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; ничуть ни было: это показываетъ только, что всё безъ исключенія банкроты, но онъ, во всякомъ случаѣ, цѣлою головою выше человѣческаго рода, потому что люди, состоя банкротами, не сознаютъ этого и продолжаютъ пресмыкаться, а онъ созналъ и желаетъ честно отдѣлаться отъ жизни. И вотъ, на прощанье съ жалкимъ человѣческимъ родомъ, онъ пишетъ передъ смертью письмо, въ которомъ излагаетъ, что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть спящая ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ, дѣйствительно, любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любитъ, — не въ состояннн удержать его жизнь, потому что „выдохлись“. Да и не выдохлись, „почему было выдохаться“, а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понималъ ихъ. Что онъ понималъ и себя, понималъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по невѣрннмъ злымъ качествамъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Что, тѣмъ не менѣе, онъ не считаетъ себя хуже „насъ, остающихся лгать до конца дней своихъ“, и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ сакому себѣ. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма: — „Прощайте, люди! прощайте кровожадныхъ, кривляющихся обезьянъ!“

Но пустить себѣ пулю въ лобъ ему не удалось. Давно, конечно, всѣмъ извѣстно, что подобнаго рода Гамлетамъ хотя и вполне свойственно приходиться къ мысли о самоубійствѣ, но осуществлять эту мысль всегда бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ, какъ просидѣлъ въ своей комнатѣ, въ креслѣ, собираясь раздѣлаться съ жизнью, всю ночь до разсвѣта. Наконецъ, начали уже звонить къ завтраку. Звукъ колокола пробудилъ его отъ мрачнаго раздумья. „Колоколъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ наполнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всё какъ будто совершенно новымъ для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь же почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души“.

Однимъ словомъ, воспоминанія дѣтства воскресили въ немъ совершенно иной строй души, простой, безхитростный, чуждый всякихъ развѣдающихъ рефлексій, но чуждый, вмѣстѣ съ тѣмъ, и узкаго эгоизма, когда „онъ думалъ именно то, что думалъ, любилъ отца и зналъ, что любить“.

«Видъ есть-же мнѣ, воскликнулъ онъ подъ обаяніемъ всѣхъ этихъ воспоминаній: колоколъ напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить. И такъ любить, какъ любить дѣти... Обра-

титься и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значитъ, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ гниетъ, соестъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи».

Это были, однимъ словомъ, тѣ старыя, но вѣчно новыя, народныя демократическія идеалы, которые были чужды ему до сей поры, но которые теперь наполнили сердце его невѣдомымъ восторгомъ. „Онъ почувствовалъ, что не все еще покаяно и доломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло — онъ не зналъ, да въ ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всё его мученія въ одиночку ничего не значили, и понималъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его наступитъ миръ“.

Но, къ сожалѣнію, это великое сознаніе, что слѣдуетъ жить не для себя, а для другихъ, эта святая готовность принять на себя хоть частицу мірскихъ страданій, — явились къ нему слишкомъ поздно. Не говоря о томъ, что запасъ нравственныхъ силъ его былъ уже истощенъ, но и физическія силы были до такой степени надломлены, что гдѣ уже было думать ему о страданіяхъ за другихъ, когда онъ не въ состояннн былъ вынести и того восторга, которымъ преисполнился съ нимъ произошло нѣчто въ родѣ разрыва сердца, и онъ тутъ-же и умеръ, не доживя до утра. Однимъ словомъ, новое вино не удержалось въ старыхъ мѣхахъ. Для этого новаго вина оказалось мало одного нравственнаго возрожденія со стороны старыхъ людей, а необходимы новыя люди съ новымъ запасомъ не только нравственныхъ, но и физическихъ силъ.

Нужно ли и говорить о томъ, что и здѣсь мы имѣемъ дѣло, отнюдь, не съ какимъ-нибудь исключительнымъ и необикновеннымъ явленіемъ. Хорошо исключительное явленіе, когда о немъ приходится намъ бесѣдовать съ читателями въ каждомъ письмѣ, нѣтъ дѣло съ такими разнообразными вариантами этого типа, какъ Михайлъ Михайловичъ Гл. Успенскаго, „Папа, ни верона“ Новодворскаго, герой „Почт“ Гаршина; а стоитъ еще копнуть героевъ разсказовъ М. Вѣлискаго (что отъ насъ еще не уйдетъ), такъ мы не избежимъ подобнаго рода Гамлетовъ. Очевидно, это одно изъ крупныхъ и выдающихся явленій нашей современной жизни. Это обычный историческій фактъ, который постоянно повторяется, когда какой-нибудь слой общества окончательно, что называется, изживется, выдохнется, дойдетъ до полнаго истощенія всѣхъ и психическихъ, и физическихъ силъ.

Именно на почвѣ подобнаго вырожденія и является этого рода гамлетизмъ. Онъ рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ видовъ гамлетизма, какъ самый антипатичный; и еще бы: однимъ тѣмъ уже отвращаетъ онъ отъ себя, что отъ него разитъ запахомъ тѣннн, угрожающимъ заразить все живое. По счастью, подобнаго рода гамлетизмъ недолговѣченъ: въ то время, какъ разсмотрѣнные нами выше виды,

имѣють, какъ мы видѣли, всѣ шансы на развитіе и распространіе въ будущемъ (конечно, пока условія жизни, вызывающія ихъ, не измѣнятся), — этотъ, напротивъ того, обуславливается лишь явленіемъ, вполне уже отжившимъ, именно крѣпостнымъ правомъ; онъ является лишь отрывкомъ дореформенныхъ порядковъ, царствовавшихъ на Руси до крымскаго погрома. Гамлеты этого рода — ничто иное, какъ послѣдніе могикине того извращенія, какому подверглась человѣческая природа на почвѣ рабства. Вскорѣ послѣ паденія феодальнаго режима и Западнаго Европа была знакома съ этого рода Гамлетами въ образѣ Вертеровъ, Рене и т. п. Но нынѣ они представляются лишь достояніемъ исторіи. Вскорѣ простятся съ ними и мы.

Наконецъ, въ послѣднихъ двухъ разсказахъ „Attalea princeps“ и „То, чего не было“, — является передъ нами гамлетизмъ самого автора, и это обстоятельство дѣлаетъ разсказы эти вдвое любопытнѣе. Мы обратимъ вниманіе на „Attalea princeps“, какъ на болѣе цѣльную и къ тому же спорную.

На „Attalea princeps“ многіе критики (и изустно, и печатно) взглянули крайне косо и заподозрили въ этой сказочкѣ даже нѣчто ретроградное. Помилуйте: росла пальма въ оранжереѣ, представляющая собою, очевидно, эмблему свободомыслія. Но крайней мѣрѣ, она одна тяготилась спертымъ воздухомъ оранжереи и низкими ея сводами: ей хотѣлось свѣжаго воздуха и небеснаго простора. И вотъ она вздумала перерости всѣ прочія растенія и одна, своими силами, разрушить стеклянный куполь тюрьмы. Сказано, сдѣлано.

Но когда Attalea princeps достигла своей цѣли, и стекла оранжереи посыпались подъ напоромъ ея вѣтвей, она горько разочаровалась:

„Только-то? думала она. — И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнутъ было для меня высочайшею цѣлью?“

„Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ пополамъ съ снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковатая тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ, да еляхъ стояли темнозеленыя хвои. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. „Замерзнешь! какъ будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое морозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?“

„И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, видѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ внизу, въ теплицѣ, не рѣшатъ, что дѣлать съ нею“.

А люди порѣшили сплнить ее, такъ какъ не сто-

ить дѣлать надъ нею новаго купола: она опять вырастетъ и все сломаешь.

Вотъ въ этомъ-то во всемъ мудрые критики и провидѣли своего рода ретроградство, заключающееся, будто бы, въ слѣдующемъ правоученіи, проистекающемъ изъ судьбы пальмы: не старайтесь переростать вашихъ ближнихъ гордымъ разумомъ, не стремитесь къ свободомыслію, ибо такое стремленіе ни къ чему не приводитъ, какъ лишь къ горестному разочарованію и къ пагубѣ.

Но подобнаго рода выводъ, отъ котораго, дѣйствительно, вѣетъ духомъ Фаустова и Молчалина, слѣдуетъ думать, принадлежитъ самимъ господамъ критикамъ, которые совершенно напрасно навязываютъ его разсказу Гаршина изъ особенной архангелской привычки предполагать, что въ каждой баснѣ непременно должна заключаться моральная сентенція. Вѣдь, если захотѣть отыскивать въ художественныхъ произведеніяхъ моральныя сентенціи, то любую повѣсть, въ которой изображается порядочный человѣкъ, терпящій трагическій исходъ, можно подвести подъ что нибудь подобное: не будьте порядочнымъ человѣкомъ, ибо вамъ угрожаетъ презрѣніе и ненависть пошляковъ, гоненія и преждевременная смерть. Попробуйте же взглянуть на сказку Гаршина, помню всѣхъ сентенцій, вполне объективно, и тогда навѣ откроется въ ней совершенно иной смыслъ.

Attalea princeps, съ ея стремленіемъ къ чистому воздуху и небесному простору, съ ея призывомъ ко всѣмъ прочимъ растеніямъ „рости“ выше и шире — очевидно, олицетворяетъ собою передовую и лучшую часть нашей интеллигенціи. Интеллигенція эта, по своимъ идеямъ, представляющимъ продуктъ иной, высшей цивилизаціи, дѣйствительно, является среди насъ словно какинъ-то заморскимъ растеніемъ, хитрющимъ въ тѣсныхъ оранжерейныхъ рамкахъ нашей жизни. Напрасно взываетъ она, чтобы окружающія ее растенія стремились на просторъ воздуха и свѣта. Никто ей не внемлетъ или отвѣчаютъ ей одними презрительными восклицаніями: „несбыточная мечта! вздоръ! нелѣпость!“ и т. п. Когда же она одна рѣшается выступить изъ затхлыхъ сводовъ оранжереи на просторъ полей и луговъ, — дѣйствительно, что-то до сихъ поръ встрѣчало и встрѣчаетъ ее, какъ не горькое разочарованіе? Вмѣсто тепла и свѣта, т. е. вмѣсто того восторженнаго привѣта, который она надѣется встрѣтить за предѣлами оранжерейныхъ стѣнъ, на нее начинается дуть со всѣхъ сторонъ морозный вѣтеръ нашего самобытнаго невежества; игла и сырость нашихъ отечественныхъ болотъ прохватываютъ ее до костей... Вспомните, обходилось ли хоть одно свѣтлое мгновеніе, хоть одинъ восторженный и сильный порывъ нашей интеллигенціи (напр. шестидесять летъ) безъ того, чтобы дѣло не кончилось все однимъ и тѣмъ же восклицаніемъ: „только-то? И это все, изъ-за чего томилась и страдала мы такъ долго?“ Съ этимъ восклицаніемъ уходитъ у насъ въ молчу чуть ли не каждый истинно-интеллигентный человѣкъ, чуть ли не каждое поколѣніе.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ гамлетизмомъ совершенно особеннаго рода, вызываемымъ не тѣми или другими частными обстоятельствами, а



сумью всѣхъ условій нашей жизни. Это гамлетизмъ нашего вѣка, лежащій въ основахъ всѣхъ нашихъ общественныхъ отношеній. Сердитесь сколько угодно на Гаришина, зачѣмъ онъ раскрываетъ передъ нами эту горькую скорбь своего вѣка и бередитъ раны, пропихивая глубоко въ наши сердца, но, согласитесь, что онъ тысячу разъ правъ въ своемъ гамлетизмѣ, и что гамлетизмъ этотъ, отнюдь, не случайное, личное качество автора и не пустой капризъ больной фантазій, а болѣзнь, общая всѣмъ намъ.

## V.

Напѣвнѣйшій годъ ознаменовалъ себя цѣлою облавою, воздвигнутою противъ сѣренскихъ, миролюбивыхъ, дружныхъ и кроткихъ зайчиковъ нашей интеллигенціи, именующихся либералами, или чаще всего „либералами“ съ прибавленіемъ всякаго рода забористыхъ эпитетовъ. На этихъ невпныхъ зѣбровъ съ длинными, подвижными ушами, кроткими глазками и пушистыми лордочками напустилась цѣлая стая бѣшеныхъ псовъ съ лапами, визгомъ, лѣною вокругъ разинутыхъ пастей и хвостами, загнутыми вверхъ съ самыми рѣзвительнымъ воинственнымъ паосомъ. Уже во говоря о „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, и „Новое Время“, и „Минута“, и даже „Недѣля“ и пр., и пр., такъ взапуски и летѣли пожрать несчастныхъ зайчиковъ, и и такъ и ждалъ, что вотъ, вотъ сейчасъ отъ нихъ не останется ни одного клочка.

Но дни шли за днями, а картина оставалась одною и тою-же: все также летали пузатые зайчики, заглушивши уши назадъ, а за ними, по прежнему, гнались разъяреннѣе псы съ разинутыми пастьми, и все это въ тоже время какъ бы не двигалось съ мѣста, словно нарисованное на холстѣ. По повелѣ, начало мѣся, наконецъ, приходитъ въ голову, что это одинъ ирразъ, и что, какъ зайчики, такъ и псы въ сущности звѣри одного рода и вида, а только перерядились въ разные костюмы, что они вовсе не въ серьезъ преслѣдуютъ другъ друга; а такъ только забавляются, какъ школьники.

Въ этомъ убѣдило меня еще и вотъ какое обстоятельство. За неимѣніемъ никакой такой газеты, которая ипалнѣ бы соответствовала моимъ убѣжденіямъ и вкусамъ, я подписываюсь на „Голосъ“, ну а „Голосъ“, дѣло известное, считается у насъ представителемъ либерализма и органомъ, наиболѣе излюбленнымъ всѣми либералами, и на газету эту въ большей степени, чѣмъ на всѣ прочіе либеральные органы, устремляется травля вышеозначенныхъ псовъ. Ну такъ вотъ, читая „Голосъ“ изо дня въ день, и замѣтивъ странное явленіе, поставившее меня положительно въ тупикъ: каждый разъ, когда „Голосъ“ начинаетъ полемизировать съ „Московскими Вѣдомостями“, или-же, какъ онъ обыкновенно съ безразличностью вырывается, „съ иною газетою, имя которой неприлично называть въ печати“, вы видите, что „Голосъ“ противъ московскихъ тенденцій и нападеній выставляетъ и защищаетъ какъ будто и въ самомъ дѣлѣ различные либеральные принципы, и является, такимъ образомъ, на высотѣ своего призванія. Но, какъ только тотъ-же самый „Голосъ“ заговоритъ самъ по се-

бѣ безъ всякихъ полемическихъ цѣлей, а особенно если рѣчь зайдетъ о той или о другой крупной и вопиющей злобѣ дни, глядишь иной разъ и очамъ своимъ не вѣришь: да вѣдь это совершенно тоже самое, что говорятъ и „Московскія Вѣдомости“, это мало того, что тѣ-же тенденціи, но и выраженія, фразы, слова буквально одни и тѣ же. Изъ-за чего-же „Голосъ“ встаетъ на дыбы и мечетъ такіе громы противъ „Московскихъ Вѣдомостей“, изъ-за чего противъ „Голоса“ учиняется такая бѣшеная травля? Стоитъ-ли огородъ городить, стоитъ-ли капусту садить? Не лучше-ли милымъ друзьямъ и братьямъ, вмѣсто того, чтобы грызться не на живомъ, а на мертвомъ, — помириться, поцѣловаться и затѣмъ, рука въ руку и обнявшись, бодро шествовать по одному и тому-же прогрессивному пути всероссійскаго недомыслия?

Это явленіе привело меня къ еще большому сомнѣнію въ дѣйствительности всей этой буйной распри между консервативными и либеральными органами. Что нибудь тутъ да не такъ, думалось мнѣ; это чисто недоразумѣніе и если не обѣ стороны, то одна ужъ навѣрное тутъ лишь прикидывается и напускаетъ на себя, можетъ быть и сама того не признавая. Но кому же напускать на себя и играть роль? Если и предположить, что органы, въ родѣ „Новаго Времени“ или „Минуты“ способны пить съ чужого голоса, не имѣя никакого своего, то ужъ никакъ вы не подозреваете, чтобы главный зацѣвало хора, „Московскія Вѣдомости“, искусственно играли какую-нибудь роль. Рѣчь ихъ постоянно такъ опредѣлена, тверда, послѣдовательна, какъ дай Богъ всякому органу. Съ самаго начала своего существованія они, не сворачивая ни направо, ни налево, твердо, неуклонно, и по истинѣ сказать, побѣдоносно, шествовали по одному и тому же пути. Да къ тому же и тенденціи „Московскихъ Вѣдомостей“ все такого рода, что лишь имѣя глубокую и непоколебимую вѣру въ нихъ, можно рѣшаться проповѣдывать ихъ такъ открыто и рѣзко, какъ это дѣлають „Московскія Вѣдомости“, и не имъ прикрывать что либо иное, а скорѣе всего отъ нихъ свойственно прикрываться въ какую-нибудь овечью шкуру. Остается, слѣдовательно, предположить, что все недоразумѣніе, въ настоящемъ случаѣ, коренится на столбахъ „Голоса“, что играніе роли и прикидываніе принадлежить именно этой газетѣ, что размахивая знаменемъ либерализма, она вовсе не серьезно дѣлаетъ это, а только играетъ роль, причемъ сотрудникамъ ея приходится волей-неволей облекаться въ костюмы, совершенно несвойственные имъ, и бѣднѣмъ, имъ такъ не по себѣ въ этихъ костюмахъ, такъ трудно выдерживать свои роли, что, волей-неволей, они безпрестанно сбиваются съ своихъ репликахъ и впадаютъ въ толъ своихъ противниковъ. Оттого-то, конечно, и выходитъ, что лишь въ полемическомъ задорѣ, когда имъ приходится говорить въ шку „Московскимъ Вѣдомостямъ“, и они имѣютъ передъ своими глазами тенденціи своихъ противниковъ, противъ которыхъ ратуютъ, имъ легко выставлять знамя либерализма и вертѣть имъ передъ носомъ Каткова и Суворина, а когда приходится самостоятельно обсуждать какое-нибудь явленіе жизни или вопросъ и вѣтъ передъ ними мѣтнѣй противниковъ, которые

указывали-бы имъ, какую принять позицію, они невольно впадаютъ въ тонъ этихъ самыхъ противниковъ, потому что по своей натурѣ, по своему натур, на самую дѣлѣ они ничѣмъ почти отъ нихъ не отличаются.

Какъ же объяснить это странное явленіе? Отчего же это выходитъ такъ, что органъ, стоящій во главѣ либеральныхъ тенденцій, имѣющій самый обширный кругъ читателей и почитателей и пользующійся немалымъ авторитетомъ и у насъ, и въ Европѣ, именно какъ выразитель русскаго либерализма, такъ странно колеблется, такъ плохо выдерживаетъ свою роль и такъ часто впадаетъ въ тонъ, не имѣющій ничего общаго съ какинъ-либо самымъ скромнымъ либерализмомъ? Или противники „Голоса“ — выходятъ правы, когда утверждаютъ, что либерализмъ въ нашей жизни есть явленіе напосное, беспочвенное, не имѣющее ничего соответственнаго условіямъ нашей жизни, поэтому, молъ, если и ничего не стоитъ проводить его à priori, въ видѣ отвлеченныхъ тенденцій, то въ отношеніи къ тому или другому реальному факту, онъ оказывается положительно непрѣмливъ?

Это недоразумѣніе на-дняхъ разрѣшилъ намъ Кошелевъ въ своемъ фельетонѣ, напечатанномъ въ № 337 „Голоса“, и, надо ему отдать справедливость, разрѣшилъ блистательнымъ образомъ. Но произошелъ при этомъ не малый скандалъ: можете себѣ представить, на страницахъ органа, имѣющаго претензію ратовать за либерализмъ во чтобы то ни стало, вдругъ появилась статья, которая совершенно въ унисонъ съ противниками либерализма доказываетъ намъ, какъ дважды два, что либерализмъ, не какъ одна политическая тенденція, а въ практическомъ примѣненіи, въ настоящее время дѣло положительно невысказанное. И что замѣчательно — доказываетъ это намъ человѣкъ, который отъ первой страницы до послѣдней самъ является истиннымъ либераломъ, и доказательства свои строитъ на такихъ основаніяхъ, которыя куда далеко оставляютъ за собою всѣ доказательства въ этомъ родѣ противниковъ. Тѣ основываются обыкновенно на такихъ темныхъ и туманныхъ мистическихъ данныхъ, которыя вамъ приходится брать на вѣру, сомнѣваясь, чтобы и сами господа публицисты имѣли объ этихъ данныхъ какое либо ясное понятіе: то вы имѣете дѣло съ разными самобытностями и припущены на слово вѣрить господамъ публицистамъ, что они собаку съѣли въ этихъ самобытностяхъ, не допускающихъ либерализма на русской почвѣ, то дѣло идетъ о народномъ міросозерцаніи, и опять таки вамъ предоставляется вѣрить господамъ публицистамъ, что они такъ хорошо знаютъ народъ и его отвращеніе отъ либерализма, что имѣютъ полное право говорить отъ лица народа. Кошелевъ имѣетъ дѣло съ реальными и осязаемыми условіями нашей жизни, и несостоятельность либерализма въ настоящее время основывается именно на этихъ данныхъ.

Только въ началѣ статьи Кошелевъ нѣсколько обивается съ прямого пути своей аргументаціи и высказываетъ нѣсколько такихъ обветшалыхъ и банальныхъ взглядовъ, которые совершенно не вяжутся съ концомъ статьи и кромѣ того имѣютъ такой общій двусмысленный характеръ, что могутъ быть употреб-

лены противъ какихъ угодно возрѣній, существующихъ на Руси. Такъ, напримеръ, онъ говоритъ:

«Отчего же мы, такъ называемая интеллигенція, хотя тоже русскіе, такъ склонны къ крайностямъ, такъ падали въ нихъ впасть? Отчего на пути либерализма мы легко впадаемъ въ утопізмъ, въ западные социализмъ и коммунизмъ, даже въ безсмысленный нигилизмъ? Отчего на пути консерватизма мы стараемся возможнымъ какъ бы приостановить теченіе солнца, стараемся не только удерживать, что есть, но и воскресить умершее; чаемъ даже возстановить крѣпостное право, если и не въ прежнихъ, то въ иныхъ, нѣсколько измѣненныхъ образахъ, упуская изъ вида, что разь отшедшее въ вѣчность уже не возвращается къ жизни и что власть сильна, только вооруженная современными средствами? Отчего все это такъ происходитъ?»

«Оттого, что мы шли не естественнымъ, постепеннымъ путемъ развитія, соблазнившись плодами уже выработанной на Западѣ цивилизаціи, схватили за верхушки, сами не положили на нее достаточно своего труда, не ныкали въ глубь собственныхъ потребностей, и, ослѣжденные яркимъ, но чуждымъ свѣтомъ, блуждаемъ умомъ, чувствомъ и волею по поверхности обширной области человѣческой дѣятельности, не имѣя, притомъ, возможности открыто высказывать свои мнѣнія и чувства и умирать ихъ прозою жизненнаго опыта. Какъ, при такихъ обстоятельствахъ, не впасть въ крайности и не увлечься мечтами, даже нелѣпостями?»

Все это давно уже очень и очень многими говорилось, повторялось и намозолило глаза, и главное дѣло совершенно напрасно. Не говоримъ уже о томъ, что если послѣдовательно проводить до конца подобную рода теорію, то можно придти къ отрицанію всякаго воспитанія и къ закрытію даже школы грамотности на томъ основаніи, что статочное-ли дѣло, что въ то время какъ человечество дѣлами тысячелѣтія употребило, чтобы додуматься до азбуки и таблички умноженія, дѣтямъ нашимъ сразу все это дается въ какіе-нибудь два три года; не правильнѣе-ли каждому изъ нихъ предоставить самимъ самостоятельно и постепенно продѣлывать всю эту вѣковую работу человечества. Но, главное дѣло, здѣсь отрицаются не одні только крайности, но и самый умеренный либерализмъ: вѣдь онъ составляетъ продуктъ Запада и дается намъ безъ всякаго вѣкового труда. Но мы оставимъ въ сторонѣ эти обветшалыя отрывки 40-хъ годовъ, — тѣмъ болѣе, что далѣе въ своей статьѣ авторъ выходитъ на прямую дорогу, и оказывается, что не одна легкость усвоенія продуктовъ западной цивилизаціи, а и самыя условія нашей русской жизни роковымъ путемъ ведутъ русскихъ людей къ тѣмъ или другимъ крайностямъ.

И въ самомъ дѣлѣ, что такое тотъ умеренный либерализмъ, о которомъ идетъ въ настоящемъ случаѣ рѣчь? Какую опору долженъ онъ имѣть въ жизни и какія условія могутъ способствовать его процвѣтанію?

Возьмемъ Францію 30 и 40-хъ годовъ, именно такую эпоху, когда либерализмъ мало того что процвѣталъ, но и былъ господствующею партіею въ государствѣ. Что такое были всѣ эти либералы, составлявшіе большинство палаты, занимавшіе министерскія мѣста и царствовавшіе на биржахъ?

Прежде всего — это были люди, имѣвшіе всѣ шансы быть вполнѣ довольными современнымъ положеніемъ

дѣль страны и не желать ничего лучшаго. Свобода эксплуатировать богатства страны въ какія-нибудь 20 лѣтъ сдѣлала то, что и земледѣліе, и промышленность достигли такихъ колоссальныхъ успѣховъ, о какихъ не спилось отцамъ и дѣдамъ. Изъ обнищавшей, залуговой и обанкротившейся страны, Франція обратилась въ богатѣйшее государство въ мірѣ. Очень похвально, что люди, въ рукахъ которыхъ находились всѣ эти богатства, начали дорожить тѣми учрежденіями, подъ охраною которыхъ богатства эти такъ быстро создались. Не было поэтому ни малѣйшаго противорѣчія въ томъ, что либералы эти проявлялись въ тоже время самыми рьяными консерваторами: они охраняли то, чѣмъ пользовались, что было въ ихъ рукахъ, охраняли настоящее, или лучше сказать — свое, набитую золотомъ, кошель. Эта мощь и была точкою ихъ опоры во всѣхъ аргументаціяхъ: ленивосты могли только краснѣть отъ стыда, когда они показывали имъ на современное процвітаніе страны въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ была Франція прежде; радикалы же возражали, что отъ добра добра не ищутъ, и пугали, что господство ихъ поведетъ въ анархію, къ паденію цивилизаціи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ новому варварству и обнищанію. Если они стремились все болѣе и болѣе подчинить своей власти правительству, то дѣлали это вовсе не на основаніи какихъ-либо отвлеченныхъ политическихъ теорій, а чисто изъ личнаго эгоизма, единственно заботясь о томъ, чтобы правительство не могло преслѣдовать никакихъ такихъ цѣлей, которыя мѣшали бы имъ еще болѣе накоплять богатства.

Если бы у насъ либерализмъ могъ имѣть подобнаго же рода точку опоры, то Кошелевъ, конечно, не замедлил бы публицистамъ Москвы представить рядъ доводовъ совершенно въ такомъ-же родѣ, въ какомъ западные либералы представляли своимъ де-Местрамъ, т. е. вотъ что мы были прежде при крупнѣйшихъ праздникахъ, закрытыхъ судахъ, откупахъ и т. п., и вотъ что мы стали теперь. Посмотрите-же, какую картину современнаго положенія дѣла развѣртываетъ передъ нами Кошелевъ.

«Вездѣ застои и уныніе. Замѣчательно, что во чуждымъ такомъ настроеніи люди даже въ тѣхъ сферахъ, гдѣ всего болѣе отстаиваютъ существующее если и не порядки, то способы дѣйствія: и тутъ признаютъ необходимость исправить, измѣнить и то, и другое, и третье — почти все.

«Крестьянское самоуправленіе идетъ какъ нельзя хуже. Въ первые годы по освобожденіи крестьянъ, они было взяли за это дѣло недурно; но теперь крестьянское «самоуправленіе» стало словомъ почти безсмысленнымъ. Къ этому присоединились неурожай, истощеніе почвы, участившіяся, вслѣдствіе большаго движенія людей, скотскіе падежи, увеличившіяся пожары, поджогы, всякаго рода воровства, возмущенія, высканія податей; наконецъ, съ горя посядаемые кабаки — окончательно ввергли крестьянство въ страшную бѣдность, безразличность, почти въ отчужденіе.

«Дворяне-землевлдѣльцы находятся въ положении, немного лучшемъ, чѣмъ крестьяне. Земли ихъ почти всѣ въ залогѣ въ разныхъ земельныхъ банкахъ, неурожай, скотскіе падежи, пожары, поджогы, воровства и проч. не минуютъ и этого отъ дѣла сельскаго населенія; хищенія со стороны управляющихъ и неисполненіе условий рабочими — факты ежедневные. Вдобавокъ ко всему этому, те-

перь съ особеннымъ усердіемъ занимается розньскою людей «неблагонадежныхъ». Стоить вамъ выплывать много газетъ и журналовъ, посвящать время чтенію и не вести обычнаго провинціального образа жизни — вы непременно становитесь предметомъ «бдительности». Понятно, что, при такихъ обстоятельствахъ, бывшіе помѣщики бѣгутъ изъ деревни и ищутъ гдѣ-нибудь пріютиться на казенной, компанейской и, по необходимости, даже на земской службѣ. Въ послѣдніе пятнадцать лѣтъ, интеллигентное деревенское населеніе значительно уменьшилось, — едва половина, едва треть изъ него теперь осталась въ уѣздахъ. Вслѣдствіе этого, и земское самоуправленіе, и мировой судъ значительно ухудшились; собранія избирателей стали очень малочисленны; избранные гласные едва собираются въ законномъ числѣ на земскія, даже очередныя, собранія; а если и собираются, то черезъ нѣсколько дней разлѣзываются, и дѣла откладываются. Да и къ чему связываться, работать и тѣмъ, пожалуй, навѣвать на себя подозрѣніе въ «неблагонадежности»? Сидишь вѣкъ и какъ-нибудь утвердился, дѣла управомъ разрѣшаются, а обсуждать, выработать и отправлять... ходатайства о мѣстныхъ нуждахъ — это трудъ бесполезный, совершенно непроизводительный... Что же касается мирового суда, то въ послѣдніе годы, по недостатку лицъ, живущихъ въ деревнѣ и имѣющихъ установленный, весьма высочайшій имущественный цензъ, онъ едва замѣщается и отправляетъ дѣла съ явной, все болѣе и болѣе усиливающейся небрежностью.

«Въ городахъ уѣздныхъ, губернскихъ и даже столичныхъ житье-бытье обставлено немного лучше: каждый изъ нихъ имѣетъ свои неудобства и неприятности. Уѣздные города пусты, безжизненны, и одни служащіе по необходимости обитаютъ въ нихъ; даже кушны и мѣщане, если только могутъ, переселяются въ города вышенаго ранга; на родинѣ нѣсколько удерживаются ихъ только возможность куда-нибудь поехать и въ мутной водѣ рыбу ловить. Губернскіе города, кромѣ университетскихъ, немногимъ чѣмъ лучше уѣздныхъ: конечно, клубы нѣсколько многочисленнѣе; бываютъ спектакли и концерты; но общественной жизни вообще такъ мало, и ее нѣсколько оживляетъ развѣ одинъ разъ въ годъ состоявшееся очередное земское собраніе. Пребываніе въ городѣ начальника губерніи бываетъ обыкновенно въ двухъ видахъ. Если губернаторъ чловѣкъ энергичный, не сдерживающій своего произвола, врагъ земства и новыхъ судовъ, дѣйствующій по рецептамъ проновѣдниковъ «сильной власти» — былъ изъ губернскаго города и изъ губерніи, потому что все, несогласное съ мнѣніями, желаніями и требованіями начальства, истолковывается, какъ дѣйствіе чловѣка «неблагонадежнаго», и подвергается изъ виновника разнымъ неприятностямъ со стороны полиціи. Къ счастью, такихъ губернаторовъ немного, и даже тѣ, которые прѣзжаютъ съ такими «похвальными намереніями и правилами», очеловѣчиваются и потомъ остаются только исправными бюрократами. Если же губернаторъ, какъ большая часть изъ нихъ, суть обыкновенныя чиновники — они хлопчатъ объ очисткѣ бумажнхъ нумеровъ и о томъ, чтобы была возможность доносить, что «все обстоитъ благополучно». Но въ этомъ случаѣ былъ изъ губерніи, потому что тогда начальства ограничиваютъ свою дѣятельность полученіемъ и отправкою бумагъ, а воровства, грабежи и проч. не знаютъ границъ, и безтолочь и неурядица въ дѣлахъ полная. О столицахъ много говорить имѣтъ надобности: нѣмнѣйшая въ нихъ жизнь всѣмъ слышномъ извѣстна или по личному опыту, или по словамъ людей, въ нихъ живущихъ. Слухи «о разныхъ государственныхъ комбинаціяхъ», съ большою быстротою и рвѣніемъ распространяемые въ обществѣ; самыя разнообразныя, часто другъ другу противорѣчащія сужденія о дневныхъ собы-

тияхъ, страшныя, даже недѣльныя ожиданія и опасенія; скука, тоска и общее уныніе—вотъ отличительныя черты шибѣннаго житья-бытья въ столицахъ. Выгодно ли такое положеніе вообще для Россіи, для власти и для гражданъ? Не толкаетъ ли, не гонитъ ли оно людей въ крайности...

Вотъ какими красками рисуетъ Кошелевъ современное положеніе дѣлъ. Мы не будемъ говорить о томъ, что по прочтеніи подобной картины,—и „Московскія Вѣдомости“, и „Новое Время“, и „Минута“, и даже, пожалуй, „Недѣля“ могли-бы однимъ залпомъ выпалить: „вотъ до чего, о лжеллибералы, довели насъ ваши излюбленныя реформы по западнымъ образцамъ!“ Допустимъ, что они этого не вскричатъ, потому что имѣютъ наклонность видѣть современное положеніе вещей болѣе въ розовомъ свѣтѣ, чѣмъ въ такомъ мрачномъ, въ какомъ представляетъ намъ его Кошелевъ. Но, во всякомъ случаѣ, что-же дѣлать нашимъ либераламъ при такомъ положеніи вещей? И оказывается, по словамъ Кошелева, что рѣшительно нечего дѣлать, что нѣтъ имъ возможности оставаться даже скромными и разсудительно-трезвыми людьми какого-нибудь маленькаго дѣльца.

«Знавали мы, говорить онъ, людей крайнихъ мнѣній, пылкаго характера, алкавшихъ все преобразовательной дѣятельности; но какъ скоро они посвящали себя какому-нибудь положительному занятию—сельскому хозяйству, должности мирового судьи или члена земской управы, государственной или даже компанейской службѣ и проч.—тотчасъ они измѣнились и становились болѣе или менѣе умѣренными и разсудительными. Если нѣкоторые изъ нихъ впоследствии возвращались къ прежнимъ мнѣніямъ и стремленіямъ, причины тому были разныя, отъ нихъ независѣвшія обстоятельства—или совершенная невозможность спокойно и безопасно жить въ деревнѣ, или неспрѣятности по службѣ, или какинибудь другія причины. Дѣльное и производительное занятіе всего вѣрише и дѣйствительнѣе осаживаетъ и успокоиваетъ людей; а мы такого именно занятія и лишены. Мечемся туда и сюда, съ жаромъ ухватываемся за дѣло, но встрѣчаемъ затрудненія, не изъ него прямо исходящія, а совершенно дѣлу постороннія и, притомъ такія, которыя требуютъ не усиленной дѣятельности, не особенныхъ какихъ-нибудь нравственныхъ напряженій, а, напротивъ, или подчиненія незаконнымъ требованіямъ, или угожденія, или обхода существующихъ законовъ, или другихъ, достоинство человѣка роняющихъ уступокъ».

И такъ, оказывается, по словамъ Кошелева, что даже сельскимъ хозяйствомъ или компанейской службой (даже, какъ говоритъ Кошелевъ въ другомъ мѣстѣ своего фельетона, пудкой въ впитъ и пожираниемъ кудеяки съ осетриной) нельзя намъ заниматься, не утрачивая своего человѣческаго достоинства и невольно, въ силу обстоятельствъ, не пересаливая и не ударяясь въ какую-либо крайность. Что-же остается дѣлать нашимъ разсудительнымъ либераламъ? Надѣяться, что въ одинъ прекрасный день вдругъ къ намъ съ неба свалится какое-то мистическое и мнѣнческое оживленіе, котораго часть Кошелевъ въ концѣ статьи? Но намъ не вѣкъ чудесь, и ничего не свалится съ небесныхъ высотъ на голову Кошелева, кромѣ дождя или снѣга.

Въ томъ-то и дѣло, что бывають въ исторіи такіе моменты, въ которые, въ силу фатальныхъ обстоятельствъ и неумолимой логики событій, возможны бывають лишь двѣ партіи, два противныя и борющіяся между собою теченія, какъ два полюса магнита, какъ тезъ и антитезъ гегелевской философіи, и между ними немислимо никакое среднее, промежуточное направленіе. И это зависить вовсе не отъ легкости усвоенія нами западныхъ продуктовъ, какъ думаетъ Кошелевъ въ началѣ своей статьи, а отъ тѣхъ роковыхъ условій, какія онъ выставляетъ въ концѣ. И въ жизни западныхъ народовъ, которымъ, по словамъ Кошелева, давалось все не иначе, какъ вѣковыми опытомъ, мы могли-бы указать подобныя-же моменты, въ которые вся жизненная борьба сосредоточивалась въ какихъ-либо двухъ крайнихъ историческихъ теченіяхъ; среднія, промежуточные направленія мысли играли въ такіе моменты самую жалкую роль, и люди, проповѣдывавшіе ихъ, представляли собою пласуновъ, балансирующихъ по канату безъ всякой надеждою точки опоры и баланса и тщетно старающихся удержаться прямо, въ то время, какъ сила тяжести тащъ и тянетъ ихъ то вправо, то влѣво.

Послѣ этого понятны и всѣ тѣ противорѣчія, эта та вопиющая непоследовательность мысли, обнаруживаемая нашими либеральными органами. Кошелевъ произнесъ приговоръ тому самому „Голосу“, на страницахъ котораго запечатанъ его фельетонъ. Конечно, ничего не стоитъ содружникамъ этой почтенной газеты въ своихъ ежедневныхъ передовыхъ статьяхъ, шущахся среди полного затихія и одурающей скуки, царящей повсюду, женать и пережевывать тертые и перетертые либеральные трюизмы, но вдругъ жизнь нарушается какимъ-нибудь выдающимся скандаломъ, и каждый разъ приходится терять голову: „Голосъ“ въ такихъ случаяхъ то вдругъ краснѣетъ, и тогда въ него слытся цѣлый градъ московскихъ перуночекъ, инсинуаций, каръ; московская пресса торжествуетъ, доказывая, что либеральная надпольная пресса ничѣмъ не отличается отъ радикальной подпольной. То наоборотъ, „Голосъ“ блѣднѣетъ, самъ впадаетъ въ тонъ московской прессы, глядитъ на обсуждаемый фактъ совершенно такими-же глазами, какъ и всѣ московскіе публицисты, взятыя вмѣстѣ, и тогда полемика съ почвы принциповъ, переходитъ на почву взаимныхъ киваній другъ на друга: „Московскія Вѣдомости“ говорятъ: „это вы, либералы, расплодили подобныя мерзости“, а „Голосъ“ отвѣчаетъ имъ: „вѣтъ, эти мерзости печальный плодъ нашего пракобѣсія!“

Да, Кошелевъ тысячу разъ правъ, и не въ бровь, а въ самый глазъ колеть всѣмъ своимъ единомышленникамъ, когда говоритъ: „Мы и страшные прогрессисты, и такіе-же ретрограды; мы и братолюбивы до самозабвенія, и своекорыстны до жестокости, и, вслѣдствіе того, у насъ въ людяхъ, въ обществѣ и въ учрежденіяхъ (слѣдовало-бы прибавить: и въ либеральныхъ органахъ нашихъ въ родѣ „Голоса“) — ужасная разноголосица, безтолочь, безурядица, чистый сумбуръ“.

Этими словами Кошелева я могу покончить, какъ нельзя лучше, свою настоящую бесѣду съ читателями.

# † НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКЪ ДЕРЕВНИ.

«Власть земли», очерки Гл. Успенскаго.—Сочиненія Златовратскаго, т. II: «Устой, исторія одной деревни», повесть въ четырехъ частяхъ.

## I.

Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя всеобщее вниманіе, какъ двѣ крупнѣйшія силы въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоположные полюса воззрѣній на народъ, отрицательный — съ одной стороны, положительный — съ другой. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей подозрѣвали даже тайную, зашаскированную полемику, которую будто-бы они вели между собою, не рѣшаясь по разнымъ обстоятельствамъ открыто выступать другъ противъ друга. Даже и читатели ихъ раздѣлились на два лагера: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, при чемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то въ родѣ скрытаго крѣпостничества.

Правда, писатели эти рѣзко отличаются одинъ отъ другого. Но отлчіе это далеко не такъ существенно, какъ это кажется. Оно не простирается далѣе художественныхъ фисіономій этихъ двухъ писателей. Въ то время, какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, беспощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Н. Златовратскій хоть-бы разъ улыбнулся: скорбитъ или радуется, онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эническаго пабосса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что-то какъ будто въ родѣ гекзаметра. Художественный элементъ преобладаетъ у Н. Златовратскаго. Онъ рѣдко впадаетъ въ разсужденія, говорить и доказываетъ преимущественно образами; любить при этомъ изображать деревенскую природу и въ своихъ ландшафтахъ отличается не малымъ мастерствомъ. Гл. Успенскій является постоянно критикомъ своихъ собственныхъ произведеній, и на подстранички художественныхъ изображеній вы навѣрно найдете у него страницъ пять, а то и десять публицистическихъ разсужденій по поводу этихъ изображеній. Въ то-же время какихъ-либо ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ у Гл. Успенскаго вы не ищите; въ этомъ отношеніи онъ самый строгій ригористъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ.

Все это различіе безъ сомнѣнія не маловажно, и рѣзко бросаясь въ глаза, они именно и придаютъ этимъ писателямъ видъ двухъ противоположностей. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, если вы взглянете пристальнѣе въ содержаніе ихъ произведеній, отъ всего этого антагонизма не останется въ вашемъ представленіи почти ни малѣйшаго слѣда, и вы придете къ убѣжденію, что и представляемые этими писателями

факты народной жизни, и воззрѣнія ихъ на эти факты почти тождественны. И это очень понятно. Какъ-бы ни были различны Гл. Успенскій и Златовратскій по своимъ художественнымъ темпераментамъ, оба они представляются одинаково добросовѣстными наблюдателями и оба наблюдаютъ одинъ и тотъ-же предметъ — народную деревенскую жизнь; понятно, что и видѣть въ этой народной жизни они должны одни и тѣ-же явленія. А такъ какъ оба они люди одного вѣка, одного образованія, то и воззрѣнія ихъ на эти явленія не могутъ представлять существенной разницы.

Чтобы вполне удостовѣриться въ этомъ, возьмемъ «Власть земли» Гл. Успенскаго и нѣкоторые другіе соприкасающіеся съ нею очерки его, а съ другой стороны «Устой» Н. Златовратскаго, какъ произведеніе, наиболѣе полно и всесторонне выражающее воззрѣнія автора на народную жизнь.

## II.

По мнѣнію Гл. Успенскаго, бытъ и нравственность крестьянина опредѣляются не какими-либо отвлеченными идеями, выработанными разумомъ и сознательно проводимыми въ жизни, а стихійными силами природы, тяготящими надъ крестьянскимъ трудомъ и опредѣляющими всю его жизнь и все его міросозерцаніе. Это и есть то, что называетъ Гл. Успенскій *властію земли*.

«Тайна эта, — говоритъ Гл. Успенскій, — по истинѣ огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно сильна и дѣтски кропка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за искупленіемъ душевныхъ мукъ — до тѣхъ поръ сохранять свой могучій и кроткій тилъ, покуда надъ нимъ царитъ *власть земли*, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ *невозможность* ослушанія ея *повелѣній*, покуда они наполняютъ его существованіе... Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуешь крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство», и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой апаратъ пустатаго чловѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т.-е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь. «Иди, куда хощь»...

«У земледѣльца, — говоритъ ниже Гл. Успенскій, — нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые-бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Что ты хочешь — торьмы или роговъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть выбѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобы только сейчасъ-же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля,

не дожидается: пужно косить, ебно пужно для скотины, скотина пужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тьоты, подъ которой человекъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться, — тутъ-то и лежить та необыкновенная *лѣзвость* существованія, благодаря которой Селинниковъ могъ сказать: «меня любить мать сыра земля». И точно любить: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣлкомъ, не за то *онъ и не отъчасти* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *земля* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человека, который увелъ у него лошади — и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя прицепать къ землѣ; у него перемерли все дѣти — онъ опять невиновенъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену — невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ; а главное, какое счастье не выдумывать себя жизни, не разсказывать себѣ интересовъ и ощущений, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открыть глаза! Дождь на дворѣ — долженъ сидѣть дома, ведро — долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отомая*, ничего *не придумывая*, человекъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую, повидимому, никакого результата (что выработаютъ, то и съдѣлятъ), но имѣющую результатъ, именно, въ самой себѣ. Для чего растеть этотъ дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тинуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и, въ концѣ концовъ, кормить желудками свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растеть*, просто зеленѣеть, такъ, самъ не аная, зачѣмъ. Тоже самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ — это и есть жизнь и интересъ жизни, а результатъ — ноль».

Но не только крестьянинъ въ своей личной, семейной жизни приравняется Гл. Успенскимъ къ типу чисто растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ, а тою-же властію земли.

«Если вы поймаете галку, говоритъ Пигасовъ въ разсказѣ «Безъ своей воли», — и рассмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ другому, нѣтъ ни шухъ ни лишняго пера, ни угла, ни линии ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка — гениальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ, эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человекъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Несомнѣнными путями предугазано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаютъ «пучить», и, въ концѣ концовъ, подучается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ миллионы разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человекомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а такъ... И народная жизнь, въ огромномъ большинствѣ са-

мыхъ величественнѣйшихъ явленій, удивительно гармонична, красива, *просто такъ*».

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ быту, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей, — говоритъ онъ во «Власти земли», — по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятники», которые посылаются стерлядинъ въ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба — сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходяковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впередъ «общества», и, подойдя къ заводу, которые становятся рыбными поперекъ рѣкъ, начинаютъ преобывать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мѣрской сазаній ехотъ съ страстной стремительностью устремляется на заводъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многие погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются»...

Однимъ словомъ, и въ общественномъ отношеніи крестьянской мѣры, то, что называется «община», представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто въ родѣ пчелинаго улья или муравейника.

Безъ сомнѣнія подобное отрицаніе сознанія, воли, ума въ крестьянской жизни должно быть принято условно. Слѣдное повиновеніе власти земли не отрицаетъ, конечно, и дѣйствія ума въ извѣстномъ районѣ. Выборъ въ жены хорошей работницы, равно какъ и выборъ хорошаго дерева для рубки, удачная покупка, ловкій торговый оборотъ при продажѣ овса и т. п. — все это требуетъ соображенія, воли. Наконецъ, для того, чтобы подчиниться власти земли, необходимо было и самую землю подчинить своей власти: выдумать соху, борону, топоръ, приручить животныхъ и т. п. Но и во всѣхъ этихъ несомнѣнныхъ дѣйствіяхъ человеческого разума мы видимъ все-таки два обстоятельства: во-первыхъ, работа крестьянскаго ума и возбуждается, и направляется исключительно властію земли, поглощается ею до такой степени, что въ районѣ земледѣльческаго труда, умъ совершенно отказывается отъ всякой работы, и здѣсь для крестьянина наступаетъ царство мрака и безсознательности. А во-вторыхъ, что самое главное, въ крестьянскомъ мѣрѣ традиціонный умъ рѣшительно преобладаетъ надъ личными. Не говоря уже о сложныхъ отношеніяхъ общественныхъ порядковъ, даже и такіа элементарна орудія земледѣльческаго труда, какъ соха, борона, топоръ были изобрѣтены не творческимъ умомъ отдельныхъ личностей, а въ теченіе многихъ вѣковъ традиціонной работой тысячъ поколѣній. Традиціонный умъ стремится подчинить въ сельскомъ мѣрѣ умъ личный не только въ общемъ строѣ быта, но и въ отдельныхъ случаяхъ жизни, въ родѣ, напримеръ эпидемій, падежа, пожара и т. п. Призываетъ въ село новое начальство съ новыми требованіями, проводитъ по сосѣдству чугуна, — и тутъ крестьянинъ, прежде, чѣмъ пустить въ ходъ творчество личнаго ума, ищетъ указаній въ традиціяхъ, въ какомъ-либо аналогическомъ прилѣрѣ отцовъ и дѣдовъ.

Вотъ это-то преобладаніе традиціоннаго ума и сбиваетъ съ толку наблюдателей народной жизни. Вѣдь традиціонный умъ все-таки тотъ же человеческій ра-

зумъ, да еще собирательный, массовый, непрестанно действовавший въ теченіе вѣковъ. Умъ этотъ отражается въ сознаниі каждому крестьянина. Мужикъ *сознаетъ, разсуждаетъ*, что поступать такъ, а не иначе, дѣлать, напримѣръ, поля по равнению, пригнать сироту въ чужую семью, идти миромъ на повою ко вдовѣ—значить поступать по-Божески, какъ съ коновъ вѣковъ поступали отцы и дѣды, но сознавать не значитъ творить, выдумывать что-либо новое, а сознание крестьянина не идетъ далѣе слѣпаго повиновенія традиціи. Традиція же рядомъ съ такими прекрасными вещами, какъ равенія, помочи и т. п. внушаетъ крестьянину и звѣрскіе поступки, въ родѣ убійства коноврада, насильственного брака по хозяйственнымъ расчетамъ и т. п. Въ концѣ-концовъ и выходитъ, что крестьянинъ какъ будто и разсуждаетъ, а какъ будто и совѣтъ не разсуждаетъ, а только слѣпо повиновется. Подобное же преобладаніе традиціоннаго ума дѣлаетъ крестьянскій миръ еще болѣе похожимъ на улей или муравейникъ, гдѣ производится поразительныя вещи, въ свою очередь однимъ слѣпымъ повиновеніемъ традиціоннымъ инстинктамъ.

И нельзя сказать, чтобы, констатируя подобные факты, Гл. Успенскій открывалъ намъ новую Америку. Вѣдь что такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это сохранившійся типъ первобытнаго общества. Исторія свидѣтельствуетъ намъ, что всѣ народы начинали съ общиннаго быта. Но это мало: у всѣхъ народовъ, въ началѣ ихъ исторіи, мы видимъ преобладаніе традиціоннаго ума надъ личнымъ. У всѣхъ народовъ сохраняются мѣны о золотомъ вѣкѣ, когда человекъ былъ чистъ и повиненъ божю, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ; не было тогда на землѣ ни ссоры, ни кровопролитія; всѣ люди соединились въ обществѣ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противоположныя, которая рисуютъ намъ этихъ смѣлыхъ ангеловъ золотаго вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными титанами, окруженными ленивыми чудовищами, и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противоположности, подобныя мѣны одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда человекъ, слѣпо повиноваясь велѣніямъ природы и традиціи, подобно крестьянину Гл. Успенскаго совершалъ въ одно и тоже время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, былъ и ангеломъ золотого вѣка, и звѣремъ эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, позваніе на сцену героя и своевольнаго человека,—вотъ то, что въ мѣнахъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человека возмущился противъ завѣтовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушилась, началось смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ, началась исторія, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смлченіе правды—*цивилизация*; люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестаютъ быть и звѣрями.

## III.

Теперь обратимся къ „Устоямъ“ Златовратскаго. Здѣсь передъ нами исторія одной крестьянской общины—„Волчьего поселка“. Основателемъ ея является Мосей Волкъ, мужикъ, по словамъ автора „идейный“, у котораго вся жизнь была осуществленіемъ „идеи“, и пока онъ ее не выполнитъ, онъ не успокоится. Что же это была за идея? А заключалась она въ томъ, что влюбился Мосей въ молодую, веселую, березовую барскую рошу на спускѣ рѣчки и упросилъ барина поставить его въ сторожа къ рошѣ. Когда же онъ „узналъ, что баринъ хочетъ продать рошу, закрутилъ, упалъ на колѣни передъ баринкомъ и сталъ просить отпустить его на сторону“, съ тѣмъ, что черезъ пять лѣтъ онъ вернется и купитъ рошу. Черезъ пять лѣтъ вернулся: сапоги кушачные, на плечахъ сибирка, бурмистръ его въ передній уголъ садитъ. Гдѣ пропадалъ, откуда и какъ нажилъ денегъ, чтобъ заплатить барину за рошу, Мосей не любилъ рассказывать.

Безспорно это была „идея“, но идея вполне крестьянская, въ духѣ все той-же „власти земли“. Сколько было потрачено энергіи, приято грѣха на душу,—и все это изъ-за березовой рошцы. Развѣ это не тотъ-же мужикъ Гл. Успенскаго, готовый съ мужествомъ Мушія Сцевола перенести всяческое изтязаніе, лишь-бы сѣно было во время скошено? Это идея личной натики, которая въ выборѣ влюбленнаго ибѣтечка для улья, безъ сомнѣнія, въ свою очередь руководствуется своими утилитарными и эстетическими соображеніями. Движимыя наслѣдственными инстинктами, животныя вьютъ гнѣзда, ни мало не размышляя, что мѣсто поселенія можетъ быть эксплуатировано другимъ существомъ въ иныхъ цѣляхъ; ичелы устраиваютъ въ дуплѣ стараго дерева улей, не подозревая, что придетъ лѣсникъ и срубитъ это самое дерево. Но лучше поступилъ и Мосей съ своей излюбленной рошцой. Онъ залатилъ за нее барину деньги и вообразилъ, что этимъ дѣло и кончено; ему и въ голову не пришло, что при крѣпостномъ правѣ крестьянинъ не имѣлъ права купить ни пади земли у своего барина, такъ какъ и самъ онъ, и вся земля принадлежали помѣщику. Понятно, что послѣ воли излюбленная рошца снова оказалась барскою. Положимъ, что старый баринъ былъ человекъ честный и добрый, помнилъ совершенную продажу и не хотѣлъ обижать мужика, но иная музыка лошда, когда пріѣхала въ имѣніе барыня совѣтъ другаго закаяла.

Въ незапамятныя времена, когда много земли, никому не принадлежавшей, лежало вьустѣ, общины выдѣлились одна изъ другой такимъ-же естественнымъ путемъ, какъ и ичелиныя рои. Переполнится община отъ нароста населенія, сдѣлается тѣсно, являются выселки, и изъ нихъ образуются новыя общины. Такъ образовался и „Волчій поселокъ“. Купивши у барина землю, Мосей ушелъ въ свою излюбленную рошцу, построилъ въ ней малую избу; близъ этой малой избы залутилъ улья, пригласилъ къ себѣ ходить за пчелами старую бобылку „Оеклушу“ и „ушелъ отъ жизни“, „отрѣшился“. Семью-же свою,

состоявшую изъ трехъ женатыхъ сыновей и дочери, оставилъ въ „Дергачахъ“ на прежнемъ положеніи, сдѣлавши своимъ сыновьямъ заказъ „не только проситься, ниже помышлять объ отходѣ въ столицы, пока Господь Богъ грѣхамъ терпитъ и голодомъ не гонитъ“, потому что въ столицахъ „грѣха много“. Затѣмъ Мосей, вѣрный своимъ общиннымъ инстинктамъ, явился въ Дергачи на сходъ и заявилъ, что часть пріобрѣтенной имъ, вмѣстѣ съ рожей, въ пустошахъ пустопорожней земли, прилегавшей къ деревнѣ, онъ отдаетъ въ пользованіе міру, который въ землѣ нуждается, а ему съ ней дѣлать нечего, — и при первоумъ же передѣлѣ Мосей самъ сдѣлалъ на свою землю жеребьи и вмѣстѣ съ другими вынулъ жеребій для своихъ сыновей.

Но вотъ, въ настоящемъ случаѣ не путемъ естественнаго прироста населенія, а вслѣдствіе вѣшнихъ обстоятельствъ, дергачевская община оказалась въ стѣсненномъ положеніи. Пріѣхала, какъ мы выше говорили, барыня, затѣмъ землекѣрь и, при помощи исправника, ввели въ отношеніяхъ мужиковъ къ барыню „порядокъ“ и опредѣленность, которые сразу заявили себя передъ дергачевцами повышеніемъ податей и урѣзаніемъ пользованія землею до  $1\frac{1}{2}$  дес. надѣла, въ который оказался врѣзаннымъ даже одинъ клочекъ земли, уступленный Мосеемъ общинѣ. Когда дергачевцы протестовали противъ послѣдняго обстоятельства, имъ сказали, что земля эта барская, такъ какъ Мосей, во время крѣпостнаго права, не смѣлъ покупать землю на свое имя. Дергачевцы только крикнули, а Мосей и совсѣмъ боялся слово шикнуть, чтобы и послѣднюю землю съ рожей не взяли. Между тѣмъ къ этому времени семья Мосей Волка „набрала въ себя большую силу“: съ самикъ Мосеемъ она считала уже 10 душъ, — 5 мужскаго и 5 женскаго пола. Такая огромная семья должна была, конечно, поглощать значительную долю общественныхъ земельныхъ жеребьевъ. Такъ или иначе, пужно было выселиться. Первымъ дѣломъ предстояла настоятельная необходимость поскорѣ „осѣсть“ на свою землю, чтобы хотя фактомъ заселенія укрѣпить ее за собой; а вторымъ дѣломъ, односельцы прямо заявили Мосеею, что „какъ-никакъ, а тебѣ съ семьей въ собственники идти надоть, потому у васъ земли есть своя, а у міра и безъ васъ дѣлать нечего, — разсуди по-божьи“.

И вотъ переселился Мосей въ свою изблюбленную рощицу со всеми своими чадами и долочадцами. Вокругъ этой семьи, поселившейся въ четырехъ избахъ, какъ вокругъ ядра или сердцевины, и начала мало-по-малу наростать новая община, подобно тому, какъ наростали подобныя общины и въ стародавнія времена. Первымъ дѣломъ дергачевскій міръ упростилъ Мосей дозволить переселить на его землю мужика Сатиры Кривою.

За Сатиру Кривою, и полгода не прошло, дергачевскій міръ опять билъ челомъ Мосеею, чтобы онъ взял на свою землю вдову-солдатку Сиклетеею съ безчисленнымъ количествомъ дѣтей. За солдаткой Сиклетеею такимъ-же порядкомъ былъ переселенъ въ Волчій поселокъ старикъ, сторбленный заштатный пономарь Осотиничъ. Затѣмъ самъ-собой пришелъ и поселился неизвѣстный, безродный человѣкъ, Иванъ

Забутый. И вотъ такимъ образомъ создавалась община, и потекла въ ней та тихая, спокойная, зоологическая жизнь, какая исполонѣ въковъ текла въ деревенскихъ общинахъ. Началась идиллія золотого вѣка, заставившая дергачевскаго старосту воскликнуть:

— О, дуй васъ горой! Что это у васъ за жизнь за всеміръ! Эй-Волу! Кажись, только денекъ пожить бы, тутъ бы и умеръ отъ удовольствія!.. Да ежели здѣсь недовольство можетъ быть, такъ ужъ это, выходятъ, Господа Бога въ концѣ изобличать!.. Да тутъ, други мои, до скончанія вѣка, надъ вами благодать Господня ненарушимо будетъ!..

Но, увы, эпоха золотого вѣка давно минула, и аркадская идиллія, въ родѣ той, какую представлялъ собой „Волчій поселокъ“, возможна имѣть лишь какъ мимолетный призракъ, какъ мелькнувшее на одномъ мгновеніи воспомнаніе о временахъ давно миновшихъ и безвозвратно канувшихъ въ вѣчность. „Какъ ни привлекательна была, — говоритъ Златовратскій, — фантазія Макридія Софроновича, тѣмъ не менѣе, когда прошелъ порывъ всеобщаго „благодунія“, всѣ какъ-то еще яснѣе почувствовали, что на мирную жизнь поселка наплываетъ что-то „новое“, что-то „чуждое“. Въ чемъ состоитъ это „новое“, опредѣлительно сказать никто бы не могъ; только чувствовалось, что изъ жизни мужика не бываешь идилліи, что суровая мужицкая судьба не преллнетъ забыть о себѣ.

## IV.

Это „новое“, „чуждое“, начавшее наплывать на мирную жизнь поселка, является ни чѣмъ инымъ, какъ именно пробужденіемъ личности человѣческой, стремленіемъ ея освободиться отъ традиціонно-стихійнаго прозябанія, однимъ словомъ, здѣсь мы видимъ то-же самое явленіе, какое характеризуетъ собою паденіе всѣхъ золотыхъ вѣковъ, какіе только бывали въ исторіи.

Начать съ того, что вся эта идиллія только и могла имѣть мѣсто въ тѣ незапамятныя времена, когда земли было много, а людей мало, и дергачевцамъ ничего не стоило выселять на новыя мѣста всѣхъ неостоятельныхъ членовъ общества въ родѣ Сатиры Кривыхъ или Сиклетей. Но и въ тѣ времена, стоило произойти какой-нибудь неурядицѣ, бѣдствію въ родѣ пожара, голода и падежа, или личному несчастію въ родѣ болѣзни и смерти большака въ страдную пору, — и гармонія нарушалась — являлось неравенство, — съ одной стороны голытьба, обнищавшая, отбившіеся отъ ржаванаго поля бобыли, съ другой — богачи-мировды. Правда, въ то время люди богатѣли и бѣднѣли только отъ земли и землею, какъ выражается Гл. Успенскій въ своей „Власти земли“. Счастье, такая то удача, равно и неудача были земледѣльческія; понятно было богатство, понятна бѣдность, и никто ни передъ кѣмъ не былъ виноватъ. Но и тогда уже люди разбогатѣніе выдѣлялись изъ темной массы, какъ представлятели умственной силы, старались жить своимъ умомъ, не только не подчиняясь міру съ его зоологическою традиціей, но сами при случаѣ пытались подвинуть міръ своей непреклонной волѣ; и тогда уже они перою совсѣмъ оторывались отъ міра и уходили въ горы.



Но нарушение традиционной гармонии и выделение личности получили еще более места в последнее время, после освобождения крестьян, когда все стародавние условия земледельческого быта нарушились, и вместе съ тѣмъ въ крестьянскій міръ нахлынула масса новыхъ, чуждыхъ элементовъ въ видѣ даровыхъ наживъ всякаго рода, городскихъ правовъ и воззрѣній. Въ то время, какъ держачевцы получили въ надѣлъ всего по полъ-десятинѣ, въ среду этихъ помещичьихъ надѣловъ затесались новые собственники, пошла черезполосица, поземельныя отношенія достигли страшной, невообразимой путаницы, начались переделы, „судьбища“, все это, само по себѣ разорявшее держачевскій міръ, сопровождалось потоками мірскихъ полюекъ, приводившихъ къ еще большому разоренію да еще сплавивъ другъ друга. При такихъ условіяхъ мірское дѣло со всѣмъ его традиционнымъ ритуаломъ перестало влиять къ себѣ въ держачевцахъ священное уваженіе; напротивъ того, оно сдѣлалось тяжестью, на него начали поглядывать съ презрѣніемъ и враждебностью, какъ на агломератъ общественной неурядицы и отсутствіе всякой правды. Люди „умственные“ начали сторониться отъ него, повторяя слова Св. Писанія: „блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“. Понятно, что тутъ-то и началось выделение личнаго элемента уже не спорадическими случаями, а какъ эпидемія.

Н. Н. Златовратскій приводитъ намъ нѣсколько формъ выделенія личнаго начала. Таковы, напримеръ, типъ Смыса Строгаго. У Строгаго была здоровая, „желѣзная“ натура и здоровый мозгъ. Этотъ мозгъ, во-первыхъ, хотѣлъ мыслить, во-вторыхъ — мыслить самостоятельно. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатого мужика. Когда тестъ умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ они держали или работника, или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что ни самъ Строгой, ни его жена никогда не чувствовали необходимости „тинуть изъ себя жилю“, а работали столько, сколько требовалось это обилие складомъ деревенскаго труда. Самъ Строгой постоянно былъ на мельницѣ, въ особенности по осени; помощниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ онъ не любилъ. Напротивъ, онъ любилъ даже хвалиться тѣмъ, что одинъ всю мельницу правилъ. За-то по зимамъ и весной онъ пользовался извѣстнымъ досугомъ. Въ это время его начинали одолевать разные вопросы — и вотъ онъ пускался за поисками „умственного человека и умственной бесѣды“, ѣхалъ къ попу, дякону, писарю, учителю, раскольникъ начетчику, а въ городѣ у него завелось знакомство съ однимъ казеннымъ, не крупнымъ чиновникомъ. Впрочемъ, ко всѣмъ этимъ лицамъ Строгой не выказывалъ ни особой любви, ни особаго довѣрія. Всѣхъ ихъ опредѣлялъ онъ однимъ словомъ: „труса“. Въ этомъ понятіи соединялъ онъ все качества этихъ людей: легковѣрность, непостоянство, разладъ дѣла и слова и крайнюю умственную ибшанину. Въ свою очередь, всѣ эти „умственные“ люди звали Строгаго „меланхолей“, хотя въ немъ походяго на настоящую меланхолю и слѣда не было. „Меланхолей“, по ихъ мнѣнію, была та умственная „блажь“, которая одолевала Строгаго. А

эта „блажь“ шѣла результатомъ то, что Строгой неожиданно пришелъ къ слѣдующему выводу: „надо быть справедливымъ, потому — всѣ виноваты. А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ“. И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтъ, и писарь, и учитель, то водки имъ, къ изуленію гостей, онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою „меланхолю“ и подъ ея давленіемъ, онъ выработалъ совершенно своеобразныя взгляды на весь деревенскій обиходъ. Прежде всего онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синий кафтанъ, выходилъ на задъ своей избы, становился на колѣни, и здѣсь, молясь на свергавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгой отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ „мірскихъ чаяхъ“, въ „мірскихъ четвертихъ и полуведрахъ“. „Не товарищъ, — говорилъ онъ, — пушай безъ меня онаяють народъ-то, съ нами здѣсь не споемся, а сошьемся“ и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или въ монастырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. „Меланхолия“ его развивалась въ какой-то тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали держачевцы, чѣмъ больше запутывались они въ какія-то клейкія, но неуловимыя и тонкія паутины „мірскихъ дѣлъ“, тѣмъ Строгой все больше и больше уходилъ отъ „міра“.

„Замежуетесь и не размежуетесь во вѣки вѣковъ“, говорилъ онъ и бросилъ обрабатывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совѣтъ осердились и стали Строгаго допрашивать систематически, начали навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ совѣтъ рѣшился уѣхать въ городъ и записаться тамъ въ мѣщане.

Рядомъ съ типомъ Строгаго стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра въ видѣ сына Пилана, Бориса. Ище при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу-Пилану какимъ-то образомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челоуъ барину, желая избавить сына отъ очереди, чтобы баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, царень ему понравился, и въ деревнѣ составилось тогда-же мнѣніе, что Борисъ „пойдетъ теперь далеко“, что онъ при своемъ умѣ „барина самого завертнетъ“, и пророчество это сбылось: умный, но не столько провицательный, сколько талантливый и бойкій, Пилановъ сынъ „пошелъ далеко“: черезъ два года онъ уже исполнѣ сдѣлался довѣреннымъ добраго барина, а еще черезъ два года, едва ему минуло двадцать семь лѣтъ, вся Вальковщина была въ его рукахъ; и не только Вальковщина трепетала передъ нимъ, передъ нимъ трепеталъ самъ управляющій и даже управляющіе и буринстры сосѣднихъ помѣстій. Онъ не былъ ни на сторонѣ богатыхъ, ни на сторонѣ бѣдныхъ, не грабилъ ни мужиковъ, ни барина; если былъ иногда суровъ, то былъ также неожиданно и щедръ, милостивъ и справедливъ. Вальковщина стала приносить барину несслыханныя прежде доходы. Борисъ вдругъ поднялъ на ноги всю тысяче-

душную, мирно прозабавшую цѣлый вѣкъ Вальковщину. Цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ Борисъ народъ на работы: то заведетъ по всѣмъ деревнямъ общественныя запашки, — и въ одинъ въ два дня громадные стоги сѣна и скирды хлѣба уже стояли на поляхъ; то стонитъ народъ въ лѣсъ, и цѣлыя вереницы возовъ потянутся изъ него съ хворостою, буреломомъ, сучьями, прежде гнившими безъ толку; то цѣлые мѣсяцы заставлялъ всю Вальковщину стоять по поясъ въ водѣ, въ болотѣ, копать канавы на протяженіи пяти верстъ, заставляя тоже дѣлать всѣ сосѣднія помѣстья, грозя затопить ихъ луга и поля, спустивши воду съ своихъ болотъ. Вѣчно веселый, бодрый, Борисъ съ какинь-то запоемъ отдавался этой дѣятельности. Онъ страстно любилъ смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятныя труды и въ одинъ-два дня совершали такіа дѣла, какиихъ хватило-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно, что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова. Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Денегъ — не грабилъ, не припрятывалъ, — онъ не зналъ ни ихъ счета: послѣ каждаго новаго предпріятія скоплялось у него ихъ столько, что онъ могъ отдавать ихъ также безъ счета барину, какъ безъ счета бралъ себѣ самъ. Борисъ завелъ любовницъ, тройку лошадей, тарантасъ, посадилъ на козлы ямщика съ павлиньимъ перомъ въ плюсовой безрукавкѣ и рыскалъ по сосѣднимъ селамъ и городкамъ, ухорскій, беззавѣтный, встрѣчаемый всюду съ изумленіемъ и невольнымъ страхомъ и уваженіемъ. Добрый баринъ гордился и даже хвалился на дворянскихъ выборахъ „своимъ министромъ“... Вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перекутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: „Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Вописамы его... Жить не стало отъ страха!..“ возмолвились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли бояться, значить есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо. — А! Теперь я знаю... въ чѣмъ ты виноватъ! сказалъ онъ, и къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высѣкъ своего собственнаго бурмистра... Говорили, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ-было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ: онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спусти лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубашкѣ, въ плюсовой поддевкѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщинѣ, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ овна изъ теснами, — и снова исчезъ изъ Дергачей съ женою и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою

запѣновѣдую избу, — то съ женою и сыномъ, то съ однимъ сыномъ, — расколачивалъ окна, — и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плюсовыхъ шароварахъ, казакинахъ и лумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грязя орѣхи, угощались и утѣшая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло было зимой, они закупили статнаго жеребца со всею сбрусою и санями; рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и шутили, что называется, шилъ въ глаза всей дергачевской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа, лошадей и сбрую спускались опять за безцѣнокъ, — и страшная семья исчезала тола на два. Много, конечно, ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовало о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани, откупавшимъ огромныя рыбныя участки, собиравшаго артедь до 200—300 человекъ рыбаковъ; то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшего потопившій пароходъ; то сплавлявшего цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непрестанно во главѣ огромной массы рабочаго народа, — который опять стогнали въ лапы отца съ сыномъ словно какиа-то перидимныя силы... А отецъ съ сыномъ ухорски и беззавѣтно шарилъ надъ нею... Чаею послѣ одной изъ такихъ «операций» въ ихъ рукахъ скопились огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропоявъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращался доканчивать съ другою половиною въ родные Дергачи».

Оба эти типа, какъ Строгий, такъ и Борисъ, не представляютъ въ сущности ничего новаго собой; это — два вида первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгий населилъ русскіе города и были родоначальники всѣхъ купеческихъ родовъ, какие только существуютъ на Руси, Борисы породили массу удамыхъ головъ, начиная съ новгородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями «Мертваго дома» Достоевскаго.

Совершенно въ иномъ видѣ представляется третій типъ выдѣленія личнаго начала, представителемъ котораго является Петръ Воиновъ-Волкъ, ввукъ Мосей, главный герой «Устоевъ» Н. Златовратскаго. Это типъ совершенно уже новый, необычайный доселѣ въ дергачевской жизни. Онъ не отрѣшается отъ «міра», не дѣлается чуждымъ элементомъ, а стремится встать во главѣ своихъ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала «умственности», сознанія своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ дергачевцы гордятся, отъ котораго ждутъ спасенія, и онъ сознаетъ свое призваніе спасти дергачевскій міръ и весь живетъ этимъ сознаніемъ. Вотъ этимъ-то героемъ мы теперь и займемся.

## V.

Когда Петръ былъ еще мальчикомъ и жилъ у отца въ Волчьемъ поселкѣ, у него былъ другъ Филаретка, мальчикъ грамотный и большой любитель книгъ, получившій изъ разсказовъ своего отца, стараго деревенскаго, очень радужное представленіе о нравахъ ученыхъ и благородныхъ людей. Обольстительно рисовалъ онъ Петру всю прелесть «пнижака» и знанія законовъ, которые непремѣнно защитятъ ихъ и ихъ отцовъ, и братьевъ, и дядьевъ отъ всякихъ «прежи-

мокъ\*, колотушекъ, обидь. Но Филаретка была натурою увлекающаяся, легко хвляла предметы своего увлечения и скоро угнбался въ насыточныхъ мечтахъ. Не то былъ Петръ. Онъ слушалъ Филаретку и молчалъ, смотря на него изподлобья своими пытливыми карими глазами. Самолюбивый и недовѣрчивый, онъ рѣдко дѣлился своими мыслями даже съ Филареткой. Но что разъ задало въ его душу, то утрамбовывалось въ ней плитою. И въ отношеніи къ ближнимъ они были различны: Филаретка была вообще добродушный, любящій; когда обижали деревню—ему было жалко, Петру—было стыдно. Филаретка соблазновала и плакала объ обиженныхъ и негодовала противъ притѣснителей, грози имъ въ будущемъ „пни-каномъ“ и „заковами“. Петръ негодовалъ и на тѣхъ, и на другихъ, — и на притѣсняемыхъ, пожалуй, больше, чѣмъ на притѣснителей; за притѣсняемыхъ онъ стыдился, краснѣлъ за ихъ „рукосуево“, безответность, прикиженность и за этого стыдъ онъ платилъ имъ почти презрѣніемъ, хотя и готовъ былъ вымѣстить обиду за нихъ на притѣснителяхъ.

Вслѣдствіи Петръ подпалъ подъ влияние своего крестнаго отца Строгаго, который взялъ крестника къ себѣ въ городъ и потомъ 16-ти лѣтъ отвезъ его въ Москву, гдѣ пристроилъ подручнымъ мальчикомъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К<sup>о</sup>. И вотъ, живя въ Москвѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ артели своихъ земляковъ, съ длинными нарами, съ тараканами, съ запахомъ капусты, прѣли, чернаго хлѣба и подолубковъ, съ коренастыми и горластыми мужиками въ ситцевыхъ рубахахъ и посконныхъ штанахъ, нѣкогда мечтавшій въ деревнѣ о прелестяхъ столичнаго „благороднаго обхожденія“, съ завистью смотрѣлъ Петръ на тѣхъ изъ своихъ сослуживцевъ, которые успѣли завестись „отдѣльными помѣщеніями съ небелью“, жили по одному или по двое, въ тихой, благородной бесѣдѣ раскивали собственные чай изъ собственныхъ сервизовъ. И какъ было приятно ему, когда приглашали его въ свою „тихую, степенную, благородную бесѣду за собственными сервизами“ его сослуживцы, когда чистота, опрятность маленькаго „отдѣльнаго помѣщенія“ съ цвѣтами на окнахъ, съ гитарой, съ платиномъ шкафомъ, съ стариннымъ маленькимъ диваномъ, съ половниками у двери, съ вышитымъ на-чисто поломъ, охватывали все его существо...

Но вотъ прикипиль онъ деньжонокъ и получилъ возможность нанять „отдѣльную комнатку съ небелью“. Съ большою все-таки нерѣшительностью остановился онъ у подъезда квартиры, гдѣ отдавалась такая комнатка въ „благородномъ семействѣ“. — Не жирно ли будетъ?—повторилъ онъ про себя, смущенный этою надписью. Но вѣстѣ съ тѣмъ припомнился ему и часто повторявшійся слова его крестнаго, Еремея Строгаго: „Не люди мы, что ли!“ и онъ рѣшился позвонить къ „благородному семейству“.

Благородное семейство Ивана Степановича Дрекалова, въ которое попалъ Петръ, было, по словамъ автора, „одною изъ тѣхъ широко распространенныхъ на Руси современныхъ семей, отличительной чертой которыхъ является полнѣйшая эфемерность существованія: ни назадъ, ни впередъ, ни въ настоящемъ нѣтъ

у этихъ семей ничего такого, про что они могли бы сказать: „да вотъ это *наше* было—и будетъ; за это *свое* мы ляжемъ костью; это *свое* не уступимъ, не продадимъ во вѣки, хоть бы пришлось изъ-за этого страдать“. Одно, только одно у нихъ есть *свое*, это—страшная жажда бездѣятельнаго покоя и созерцательной лѣни, за которую они готовы кривить душой, пять разъ продать себя, унижаться, плутовать, лишь бы гарантировать себѣ это право безпечальнаго индифферентнаго существованія“.

Тѣмъ не менѣе люди эти были нѣсколько обвѣсны новыми духомъ времени. Вокругъ двухъ дочерей Дрекалова группировалась молодежь въ видѣ денежныхъ студентовъ, сибиряковъ и грузинскихъ князей, молодыхъ актеровъ, писателей и т. п. На вечеринкахъ у нихъ то раздавались „возвышенны“, полныя благороднаго, молодого увлеченія рѣчи, то слышался шепотъ, искренній и умоляющій, зовущій куда-то въ золотую страну высокихъ помысловъ и думъ, то пѣлись „Дубинушка“, „Gaudemus“.

Петра вся эта молодежь встрѣтила съ распростертыми объятіями, какъ „любопытный экземпляръ“, „сына народа“, „дита деревни“, „непосредственную натуру“ и т. п. Начались развѣиванія, лекціи. Петръ, не смотря на свою замкнутость, скоро облизался съ молодыми друзьями. „Онъ вдругъ почувствовалъ какую-то свободу, какъ будто его выпустили изъ какой-то кѣтки, или онъ самъ прозрѣлъ, что кѣтка вовсе не была такъ неразрушима, какъ ему казалось... Всѣ эти „баре“, „ученые“—какіе простые, добрые люди! И отчего это прежде онъ чувствовалъ къ нимъ такое недовѣріе, даже страхъ, отчего „спіише“ съ ними прежде казалось ему такъ невозможнымъ? И что же въ нихъ такого, чего бы стоило бояться? Это все деревня виновата, невѣжественная деревня, которая наболтала про нихъ Богъ знаетъ что“. И Петръ дошелъ до такого довѣрія къ новымъ друзьямъ, что отдалъ Дрекалову на сохраненіе скопленные 200 рублей.

Друзья же, не довольствуясь одними своими лекціонными лекціями, свели Петра къ вѣроу Пугаеву, полюбившему сектанту, создавшему какую-то „новую религію нравственнаго возрожденія человѣчества“, и при всѣхъ своихъ раздогольствованіяхъ объ этомъ „нравственномъ возрожденіи“, о „просіяніи“, отличавшемуся большою нечестностью и разгильдяйствомъ въ своей личной жизни. Пугаевъ сначала затуманилъ Петра своими мистико-философскими и историческими параллелями, а затѣмъ, когда послѣ очень шумно проведенныхъ Святокъ, онъ пришелъ къ философу, чтобы разсѣять туманъ сомнѣній и услышать „хорошее слово“, Пугаевъ огоршилъ его слѣдующими рѣчами:

— Юноша, что васъ привело сюда, въ городъ? Что отняло васъ отъ родной земли, отъ благодатной почвы, отъ сохи и бороны? Чья святотатственная рука бросила васъ въ эту кошачью разврату, лжи, лицемерія? Я знаю, я знаю, что мнѣ отвѣчать. Мнѣ отвѣчать: здѣсь умъ, знаніе, богатство, сила, цивилизація, право... Пустня, громкія слова! Печальное, горькое заблужденіе! Это несчастнѣйшіе, безумнѣйшіе люди! Ихъ терзаетъ вѣчная жажда неудовлетворенія, тоски, и чѣмъ больше стараются они залить въ себѣ огонь этой жажды, тѣмъ сильнѣе и

силѣе она загорается. Значитъ ли, юноша, что вотъ мы,—мы ученые, образованные, богатые, сильные, мы проклинаемъ свою жизнь, мы мученики нашего ума, мы несчастные страдальцы, бѣжимъ изъ городовъ въ сѣмя, туда къ твоимъ терпѣливымъ, смиреннымъ и сильнымъ отцамъ и дѣдамъ. Да, вотъ гдѣ мы хотимъ найти нравственное успокоеніе для себя, миръ для своей души, любовь для сердца и истинныхъ воспитателей нашихъ дѣтей» и т. п.

Эти рѣчи Пугаева были до такой степени неожиданны для Петра, что пронавали впечатлѣніе испуга. Онъ вдругъ почувствовалъ, что у него изъ-подъ ногъ начинаетъ исчезать почва. «Что это такое?.. Вдругъ на все, что съ самыхъ юныхъ лѣтъ онъ понималъ ясно, опредѣленно, во что вѣрилъ беззавѣтно, на чемъ покоились его смутныя, но возвышавшія и оживлявшія его надежды и упованія, вдругъ на этотъ свѣточъ, такъ ярко озарившій его собственную душу, на этотъ свѣтильникъ, осмысливавшій передъ нимъ всю сложную жизненную процедуру и освѣщавшій ему твердый, прямой путь, вдругъ на этотъ свѣточъ дунули—и онъ потухъ»...

Петръ бросился было въ дергачевскую артель, но тамъ наткнулся на безобразнѣйшую сцену пьяной потасовки и полицейской расправы. Кинулся онъ къ Дрекаловымъ, но и тамъ было не до него: онъ встрѣтилъ пошлѣйшее сватовство одной изъ барышень съ господниномъ сомнительной репутаціи, когда-то сброшеннымъ съ лѣстницы торговаго дома Башмаковыхъ. Онъ сразу почувствовалъ себя чужимъ, лишнимъ, въ которомъ болѣе не нуждались и поспѣшили указать ему надлежащее мѣсто въ «благородномъ семействѣ». Онъ захворалъ послѣ всѣхъ этихъ потрясеній, и Федосьѣ было строго наказано не подавать барской посуды Петру: боялись заразы отъ больного мужика, «который могъ, Богъ знаетъ что, принести съ собой». Онъ потребовалъ своихъ денегъ, и послѣдовала дикая сцена, закончившаяся тѣмъ, что Петръ подрался съ женихомъ, попалъ въ кутузку и былъ приговоренъ къ тремъ днямъ ареста при полиціи за буйство... Смирно, не говоря ни слова въ оправданіе, выслушавъ онъ постановленіе, но подъ видимымъ смиреніемъ затаялъ въ душѣ своей тайную, глубокую злобу ко всѣмъ, ко всѣмъ имъ...

И вотъ послѣ всѣхъ этихъ мытарствъ возвратился онъ въ Волчій поселокъ, совершенно переродившимся, новымъ человекомъ деревни, не имѣвшимъ ничего общаго съ своими земляками, рѣзко отличавшимся отъ нихъ по самой своей внѣшности.

Едва показавшись онъ въ деревнѣ, какъ уже успѣлъ съ достоинствомъ обрѣзать высокопородную наглость мѣстнаго кулака Маркова, на благородную дистанцію поставить отъ себя мѣстнаго землевладѣльца и адвоката Кораната Львовича съ его фамильярнымъ заглазіемъ въ душу мужика и отдалить отъ себя Филаретушку съ его наивною болтливостью и простоватостью. Идеалы, которые принесъ онъ съ собою въ деревню, были весьма немногочисленны: это было постановленіе выше всего, съ одной стороны, «умственности» въ отличіе отъ пассивнаго разгильдяйства и темноты людей традиціонной рутинѣ, съ другой—сознанія личнаго достоинства въ противность смиренію и припаченію. На каждомъ шагѣ у него такъ и

срывались съ языка фразы въ родѣ: «Умному человеку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо!» «Умному человеку вездѣ ходъ!» Въ то-же время, на слова тетюшки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что «куда намъ, старикамъ эти формсы», онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросить смиренство-то да припаченье... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы другихъ хуже! Нужно тоже и свою гордость имѣть!..—и сказавши это, Петръ весь вскинулся.

Но съ особенною ясностью высказались эти идеалы въ его разговорѣ съ двумя дергачевцами, которые пришли въ Волчій поселокъ посмотреть на прѣзжаго изъ столицы паренка, облекшись, по осеннему времени, въ валеные сапоги и полушубки, и забавлялись тѣмъ, что, какъ малыя ребята, «баловались», сидя на землѣ и перетягивая другъ друга за палку.

«Петръ давно ужъ замѣтилъ мирную компанію, но когда онъ разглядѣлъ, чѣмъ эта мирная компанія занималась, ему вдругъ стало ужасно стыдно. Ему хотѣлось обойти ихъ, отвести мимо и своего пріятеля, москвича, но обойти было нельзя. Притомъ-же его примѣтилъ и таявшійся за палку породитый дергачевецъ, бывшій замѣтно навеселѣ.

— Петру Воинфантычу! Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видалши! закричалъ онъ ему на петръчу.— А мы вотъ не утерпѣли... Сами лвидлись. Полюбостететовать, выходить,—прибавилъ онъ,—когда дошелъ Петръ.

— Интереснаго мало, проворчалъ Петръ.

— Помилуйте... Какъ, можно-съ! Вѣдь у насъ такіе люди на рѣдкость! Столичное поведеніе, такъ скажемъ... Совсѣмъ, значить, особая статья...

— На палкѣ не тягачемся—это вѣрно! опять отрывисто замѣтилъ Петръ.

— Ну, вотъ, вотъ! Какъ есть! Вѣдь это наше дурацкое поведеніе. Потому что какъ дѣловые дураки, выходятъ! заговорилъ задѣтый за живое дергачевецъ.

— А онъ, братцы, у насъ изъ дѣловыхъ, промочески замѣтилъ другой дергачевецъ:—не даромъ съ москвичемъ-то дружешь... не успѣлъ роднымъ чезъ сдѣлать, да ужъ и за дѣло.

— Въ дѣлѣ грѣха пѣтъ...

— По коммерческой части, продолжалъ рыжебородый дергачевецъ:—смотрите, какъ-бы и васъ живо не запродали, подмигнувъ онъ лядьямъ.

— Ни о чемъ не думая, скорѣй себя запродашь, а умный человекъ еще другихъ закупить, отвѣчалъ Петръ, лихорадочно постукивая себя пальцами по борту кафтана и стоя въ полъ-оборота къ присутствовавшимъ.

— Такъ, такъ... Неравно продавать будете, такъ спросить не забудьте. Можетъ кто и не согласится еще!

— Отъ счастья люди не отказываются.

— Какъ знать? Мы вѣдь деревенскіе дураки! Можетъ, по глупости и счастья не признаемъ...

— Случается. Подъ носомъ не видать. До старости по боямъ ходить, на палкахъ танцевать, на пяду охотятся. А тѣмъ времемъ на спинкахъ-то горбы выростаютъ, а на этихъ горбахъ только дѣшвы не катаются. Други да пріятели послѣ самими-же въ глаза нахохочутъ! А тамъ, малое время года, филарить начнемъ! За рюмку водки хоть пашкой въ лѣнь-то Волчій...

«Петръ говорилъ, ни на кого не смотря, и только блескъ его глядѣвшихъ сердито изъ подлѣба глазъ, да порывистые движенія руки по борту кафтана выдавали его волненіе.

— Такъ, такъ! подтвердилъ дергачевецъ: это, братъ, что вѣрно, то вѣрно! Эту самую палку судьбу рас-

писалъ ты чудесно... А съ приходомъ, братъ, поздравиться надо-бы прибавить онъ, утеревъ бороду. — Этой безхарактерностью мы не занимаемся! друто закончилъ Петръ и, замѣтивъ подхордившихъ отца и москвича, зашаталъ къ своей избѣ».

## VI.

Не правда-ли, въ какомъ непривлекательномъ видѣ рисуется передъ нами фигура этого новаго человека деревни? Тѣмъ не менѣе, Петръ является однимъ изъ героев, которыхъ можно немало встрѣтить въ европейской исторіи. Постоянно, когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традицій и пробуждалось чувство человеческого достоинства, являлись на сцену подобныя мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ принижавшихъ массъ, во имя идеала „умственности“ готовые отрицать и своихъ, и чужихъ. Во хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корня самого существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что въ продолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ, во имя царства разума и освобожденія личности отъ средне-вѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же примоднейшимъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Ему-то и обязана быть Волчій поселокъ уничтоженіемъ своей идилліи. Первымъ дѣломъ его „умственности“ было поправить ошибку Мосей и закрѣпить за собою купчею крѣпостью Волчій поселокъ. Купивши его снова у законной владѣлицы и сдѣлавшись настоящимъ владѣльцемъ дѣдовскихъ земель, Петръ потребовалъ, чтобы поселкомъ владѣли одни его родные, а всѣхъ чужихъ и пришлыхъ, начиная съ Сатира и кончая Иваномъ Забытымъ, чтобы и духу не было. „Какія земли-то вокругъ насъ, — разкивалъ онъ картину новой жизни въ Волчьемъ поселкѣ передъ Строгимъ, — приволье! А если-бы Господь далъ собрать ихъ въ одиѣ-то руки, къ одному мѣсту — это-ли-бы разоренье было? Въ барскомъ-бы долѣ всѣ сообща поселились, фундаментомъ подъ него подвели-бы, крыши желѣзомъ вывели, скотные дворы-бы открыли... А тамъ, глядяи, пошли бы по Окѣ наши барки... Сани-бы провозжали ихъ стали, вплоть до Рыбинска! Флаги распустили! Капты съ рѣзбой! Лоцмана въ кумачевыхъ рубахахъ! А дамы-бы дожа были, каждый при своей части. А тетка на скотномъ дворѣ пусть хозяйничаетъ съ сестренкой. Зани умственнаго въ долѣ введемъ“.

Но дядя и тетка, вѣрные своимъ традиціоннымъ, общиннымъ порядкамъ, всѣ возстали противъ такихъ „умственныхъ“ нововведеній Петра, потребовали раздѣла, началась разорительная тяжба, которая кончилась тѣмъ, что Петръ одинъ съ отцомъ сдѣлался владѣльцемъ Волчьяго поселка, а всѣ родные его вновь поселились въ Дергачахъ, отказавшись отъ всѣхъ его предложеній и проклявши его.

Но не смотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергачевскомъ мѣстѣ. Послѣ-же того, какъ онъ приобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ „хозяйственными“ мужиками и женился на дочери Пимана, Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; но настоящимъ заправителемъ волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостнаго писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей „умственности“ на полной волонкѣ. Во имя своего примоднейшаго идеала, онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ, свихнувшимся бѣднякамъ, запямятовавшимъ и разорившимся, не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже сбѣкъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ „высудилъ“ для міра при помощи непримѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по прежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки, давать во временное пользованіе только „настоящимъ“ хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старшіе люди-общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотой, начали поить ее водкою. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Набросился онъ съ кулаками даже на отца, когда тотъ заявилъ что хочетъ жениться на бѣдной солдаткѣ, у которой трое дѣтей и съ которой онъ живетъ уже давно. Его не могли при этомъ остановить ни жена, ни Пиманъ, ни его работникъ — и только, когда бѣдная солдатка крикнула: „Ахъ ты безстыжій, безстыжій... Мы думали, онъ человекъ, а онъ какъ мужикъ дерется!“ — Петръ усмирился.

Наконецъ, возмущенный „продажной“, какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ пристагъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ сына своего Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра; Пиман обрутали „старымъ дуракомъ“, но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видно, чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе. Услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь мѣръ „дураками“, и пораженный поднявшейся общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ, какъ разобраться, отказался отъ дѣла и самовольно уѣхалъ въ Москву...

## VII.

Если-бы наша жизнь шла тѣми-же путями, какъ и жизнь Европы, то впередъ можно было-бы предугадать, къ какимъ печальнымъ результатамъ могли-бы привести ее „умственные люди“ въ родѣ Петра. Освободивши личность отъ средне-вѣковыхъ традицій во имя царства разума, т. е. той-же „умственности“

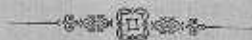
Петра, западно-европейскіе герои оставили ее одинокою и безпомощною въ омутѣ жизни, лишенною какихъ-бы то ни было нравственныхъ и матеріальныхъ устоевъ. Въ концѣ-концовъ, удививши міръ чудесами ужасности и хозяйственности, разнузданная и потерянная личность тщетно ищетъ опоры и съ отчаяніемъ оглядывается на тѣ золотыя вѣка, когда она была сыта и нравственно дисциплинирована подъ властью земли. И вотъ, на сѣбѣ одной, черствой правды надменныхъ героевъ „умственности“, выступаетъ опять на сцену старая, здоровая правда власти земли, но уже не въ прежнее зоологически-традиціонное видѣ, а освященная свѣтомъ разума, — и разнузданная личность жаждетъ вновь подчиниться авторитету этой правды, подобно тому, какъ блудный сынъ ищетъ пути къ родительскому дому.

Наши культурные классы представляютъ собою совершенно такое-же явленіе разнузданной и потерявшейся личности, какъ и въ Западной Европѣ, съ тою еще разницею, что тамъ освободившаяся личность все-таки можетъ указать на тѣ успѣхи цивилизаціи и промышленности, какими ознаменовалось XIX столѣтіе, а у насъ и этого нѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣпостного права, которое одно только доставляло культурной личности матеріальную поддержку и вмѣстѣ съ тѣмъ вкладывало жизнь ея въ извѣстныя традиціонныя рамки, — личность увидала себя въ состояніи полнато банкротства и матеріальнаго, и нравственнаго. Что такое Дрекаловы съ ихъ страшнымъ эфемернымъ существованіемъ сегодня на 200 р., данныхъ имъ на сохраненіе мужикомъ-жильцомъ, завтра чуть-что не на фальшивые векселя, — какъ не пагидный примѣръ, до какого отчаяннаго положенія дошла культурная личность. Этимъ и объясняются все тѣ хаотическія безалаберныя шатаванія, какія-только замѣчались въ послѣднее время въ интеллигентной средѣ: и мистическое сектаторство въ великосвѣтскихъ кругахъ, и попытка заняться земледѣльческими трудами, все, вплоть до эпидеміи самоубійствъ, являющихся прямымъ результатомъ отчаянія, вслѣдствіе потерянности и безпомощности культурной личности. А съ другой стороны, изъ этого-же вытекаетъ и то чуть-ли не религіозное поклоненіе, которое не одни Пугачевы, а вся наша литература высказываетъ по отношенію къ деревенской общинѣ. Возьмите вы хотя-бы того-же саната Златовратскаго съ его „Устоями“. Чѣмъ-же объяснить этотъ восторженный навозъ, эти гексаметры, какъ не скорбью души по утраченному раю? Изъ подъ каждой строки Н. Златовратскаго проглядываетъ томительная, скорбная зависть безпомощной личности, одинокой и потерянной въ толпѣ подобныхъ-же личностей, разнузданныхъ и несвязанныхъ никакою солидарностью интересовъ. Такимъ об-

разомъ, въ нашей жизни мы видимъ два совершенно противоположныхъ теченія: въ средѣ народа — стремленіе къ обособленію личности и возвышенію ея надъ зоологическою непосредственностью, въ интеллигентной средѣ, наоборотъ, стремленіе къ обузданію личности и новому разумному дисциплинированію ея. Въ то время, какъ Петръ въ своемъ „умственности“ протестъ противъ зоологической глупости и рутинности держачевцевъ готовъ всю цѣль держачевского міра развѣднить на отдѣльныя звенья, при чемъ выбросить и, если можно, совсѣмъ искоренить полонину годныхъ звеньевъ, Пугачевы, наоборотъ, только и мечтаютъ о томъ, какъ-бы связать эту цѣль навѣки нерушимо разумною связью, да и самими какъ-нибудь прицѣпиться къ этой цѣпи. Которое изъ этихъ двухъ теченій побѣдитъ, отъ этого конечно зависитъ все наше будущее. Въ „Устояхъ“ Н. Златовратскаго побѣждаетъ пока узкая правда Петра. Лиза Дрекалова, сблжавшись учительницей сельской школы въ Держачахъ, встрѣчается съ Петромъ въ качествѣ попечителя школы, и напрасно старается она уничтожить обаяніе, какое Петръ производитъ на ея учениковъ: они чуть не молятся на Петра, какъ на новаго героя деревни.

«Вы вѣроятно ожидали, что встрѣча моя съ Петромъ, — пишетъ она къ Пугачеву, — не обошлась безъ какого-нибудь чрезвычайнаго столкновенія... Нѣтъ, ничего больше не было; ни я, ни онъ ни не сказали другъ другу ни слова, не глядѣли одинъ на другого... И тѣмъ не менѣе, добрый мой, составаніе совершилось. И бѣдное сердце воней бѣдной Лизы разбито и развѣяно по вѣтру, какъ дымъ, все, во имя чего она пришла сюда. И побѣдилъ ее вѣтеръ тотъ «смішной вихоренокъ», тотъ «хорошій паренекъ», которымъ она когда-то такъ игриво играла и забавлялась. И ничто не спасло ея здѣсь. Что такое она, со своей любовью, со своей жертвой, со своими большими и тревожными думами передъ этимъ смиреннымъ, добродушнымъ, робкимъ старикомъ, попавшимъ за «міръ» въ острогъ, и передъ этимъ низенькимъ, худощавымъ, полуграмотнымъ молодымъ «умственнымъ» мужикомъ, который до этого самъ дошелъ своимъ умомъ? За ними стоять все, а за мною?..»

Положимъ, что по одной Лизѣ съ ея тщедушною, хилою, чахоточной натурою и эфемернымъ воспиканіемъ трудно судить о побѣдѣ той или другой правды. Положимъ, что и черствая, односторонняя правда Петра во многомъ зависитъ отъ того, что въ своемъ соприкосновеніи съ интеллигентною средою онъ не встрѣтилъ никого лучше и состоятельнѣе Дрекаловыхъ и Пугачева. Если-бы вся интеллигенція поголовно испчеривалась подобными личностями, конечно, Петру только и оставалось, что, дѣйствуя своимъ умомъ, идти по старой европейской дорогѣ. Но такъ-ли это?



1885—1887.

МЫСЛИ И ЗАМѢТКИ

ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИХЪ ИДЕЙ

гр. Л. Толстого.

II.

ПО ПОВОДУ КНИГИ М. С. ГРОМЕКИ.

Последнія произведенія гр. Л. Н. Толстого, критическіе этюды М. С. Громеки; Москва 1885 года\*.

I.

Книга эта распадается на двѣ части, отличающіяся одна отъ другой и по содержанію, и по формѣ. Первая часть заключаетъ въ себѣ критическій разборъ романа „Анна Каренина“. Во второй—въ диалогической формѣ бесѣды Громеки съ Левинымъ—излагаются философскія воззрѣнія гр. Л. Толстого послѣдняго времени. Понятно, что главный интересъ книги заключается во второй ея части. Что-же касается до первой, то критика „Анны Карениной“, представляя нѣсколько хорошихъ мѣстъ въ видѣ характеристикъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ цѣломъ стоитъ на ложныхъ основаніяхъ, и мы не можемъ согласиться съ нею.

По нашему мнѣнію, при разборѣ „Анны Карениной“, надо строго разграничивать художественную и философскую стороны романа. Въ художественномъ отношеніи онъ представляется, безспорно, однимъ изъ тѣхъ великихъ произведеній, которыя, подобно трагедіямъ Шекспира, каждый вѣкъ будетъ по своему анализировать, толковать и открывать въ нихъ новыя, невидимыя нами стороны и перспективы. Философская-же сторона романа—самая слабая, потому что гр. Толстой находился во время писанія своего произведенія въ переходномъ состояніи, не успѣвши уяснить себѣ многое, что ему удалось уяснить впоследствии.

Поэтому, во взглядахъ автора, выразившихся въ романѣ, встрѣчается масса противорѣчій и туманныхъ неопредѣленностей, и понятно, что самъ гр. Л. Толстой впоследствии высказывалъ недовольство своимъ романомъ.

Между тѣмъ Громека буквально придерживается туманныхъ воззрѣній романа и при томъ весь свой анализъ основываетъ на эпитафій его: „Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ“, и это придаетъ критику несвойственный ей теологическій характеръ, да къ тому-же еще нѣчто ветхозавѣтное, жестокосердое. Громека сѣбѣтается надъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ (стр. 61), который, сія звѣздали и яснымъ лицомъ, кроткимъ голосомъ возражалъ ему и говорилъ, что безнравственная, испорченная женщина непремѣнно должна была принять заслуженную казнь, и что казнившій ее художникъ есть „добрый сынъ отечества и благоправный гражданинъ“, но вѣдь и самъ онъ строитъ свою критику на тѣхъ-же основаніяхъ и только выражается языкомъ болѣе философскимъ, чѣмъ простой и топорный языкъ генерала. Понятно, что какъ ни изощряется критикъ, онъ никакъ не можетъ избавить насъ отъ неотразимаго впечатлѣнія, какое мы выносимъ изъ романа въ связи съ вышеозначеннымъ эпитафиемъ: выходитъ все-таки, что можно ежедневно грѣшить такъ порочно и грязно, какъ грѣшили Стива и княгиня Ветси, и за это не потерять никакого воздаянія; отмщеніе-же слѣдуетъ за такой грѣхъ, какой языкъ вашъ не поверачивается и грѣхомъ назвать,—за серьезную страсть двухъ существъ, стремившихся соединиться павѣки. Является здѣсь нѣчто въ родѣ древняго фатума, который изъ зависти боговъ къ смертнымъ обрушивался на людей, богато одаренныхъ и сильныхъ, слабыхъ-же и ничтожныхъ допускалъ творить всякія

накости, сколько душъ угодно. Въ томъ и дѣло, что драма, развиваемая въ романѣ, требуетъ для анализа ея иныхъ, болѣе глубокихъ и сложныхъ воззрѣній, и никакимъ образомъ не объясните вы ея средневѣковой теоріей грознаго и немилосерднаго возмездія.

Но фельетонъ мой предназначенъ вовсе не для опроверженія критики М. С. Громеки. Это завело-бы насъ далеко и отвлекло-бы отъ главной и наиболѣе интересной цѣли — знакомства съ новыми воззрѣніями гр. Л. Толстого. Къ этому мы теперь и приступимъ.

## II.

Въ жизни какъ отдѣльныхъ людей, такъ и общества мы видимъ два рода настроеній: вѣры и скептицизма. Здѣсь я долженъ прежде всего оговориться, что подъ *строю* я разумю вовсе не какія-либо религіозныя воззрѣнія, а подъ *скептицизмомъ* отнюдь не отрицаніе религіи, а совсѣмъ иное, вѣчто въ роѣ того, что Тургеневъ подразумѣвалъ подъ *донкихотствомъ* и *замлетизмомъ*. Ни философіи, ни наука до сихъ поръ не отырли намъ конечной цѣли существованія какъ всего міра, такъ и въ этомъ мірѣ маленькой козявки, называемой человѣкомъ, да и врядъли когда-нибудь умъ человѣскій дойдетъ до открытія этой тайны. Тѣмъ не менѣе, бываютъ періоды, когда человѣкъ *отрится*, что все существующее не есть игра безцѣльнаго случая, а неудержимо стремится къ какой-то разумной и благой цѣли. Такая вѣра постоянно совпадаетъ съ вѣрою человѣка въ самого себя, въ то, что жизнь его, въ свою очередь, исполнена разумнаго и благого содержанія. Мало того, что обѣ эти вѣры совпадаютъ, но первая зависитъ отъ второй, т. е. человѣкъ до тѣхъ только поръ и вѣритъ въ цѣлесообразность вселенной, пока въ своей личной жизни онъ видитъ разумное и цѣлесообразное содержаніе. Но лишь только въ душу человѣка закрадывается сомнѣніе въ разумности содержанія его личной жизни, онъ тотчасъ-же переноситъ свои сомнѣнія и на всю вселенную: ему начинаютъ казаться, что и все существующее не имѣетъ ни смысла, ни цѣли. И вотъ тогда-то наступаетъ періодъ скептицизма, характеризующійся въ личной жизни глубокою меланхоліей, пессимизмомъ, разлагающими рефлексіями, наклонностью къ унынію или самоубійству, а въ общественной жизни — появленіемъ такихъ идей и ученій, какія мы встрѣчаемъ въ ектлезіастъ царя Соломона, въ поэмахъ Байрона, въ философскихъ системахъ Шопенгауера и Гартмана и пр.

А такъ какъ главная причина наступленія періода скептицизма заключается прежде всего въ недовольствѣ человѣка содержаніемъ личной или общественной жизни, то и выходъ изъ этого періода возможенъ только въ томъ случаѣ, если человѣкъ наполнитъ жизнь свою новымъ содержаніемъ, въ разумность котораго увѣруетъ. И дѣйствительно, періоды скептицизма постоянно ведутъ за собою выработку новыхъ идеаловъ, новой вѣры. Бываютъ при этомъ попытки возвращенія и къ старымъ вѣрамъ, но всѣ подобныя реставраціи терпятъ басю по той простой причинѣ, что какъ же убѣдите вы людей снова увѣрывать въ то, въ чемъ они разувѣрились, что собственно и при-

вело ихъ въ пропасть скептицизма? Вотъ въ этомъ отношеніи глубокую ошибку дѣлаетъ Громека на 5-й стр. своей книги, ставя въ одинъ уровень Гартмана, Вл. Соловьева и Л. Толстого, а я знаю людей, которые, къ этимъ именамъ пристегиваютъ еще О. Достоевскаго. Но что общего между Гартманомъ, этимъ полнымъ олицетвореніемъ пессимизма и скептицизма нашего времени, Вл. Соловьевымъ и О. Достоевскимъ съ ихъ безплодными попытками въ реставраціонномъ духѣ, и гр. Л. Толстымъ, стремящимся къ единственному возможному и разумному выходу изъ скептицизма, — къ исполненію своей жизни новымъ содержаніемъ, новою вѣрою?

## III.

Сущность новой вѣры гр. Л. Толстого заключается отнюдь не въ одномъ лишь измѣненіи какихъ-бы то ни было теоретическихъ умозрѣній, а въ стремленіи измѣнить самое содержаніе жизни, весь ея складъ, такъ какъ и скептицизмъ, къ которому пришелъ гр. Л. Толстой, заключался главнымъ образомъ въ сознаніи пустоты содержанія его жизни.

Такъ, мы видимъ, что воспитался онъ на почвѣ старыхъ и отживающихъ основъ обособленности и нравственной распущенности личности, представленной самою собою на жертву давиновской теоріи борьбы за существованіе и безграшчюю, эгоистической конкуренціи съ ихъ богомъ — „богомъ силы, власти, казней, убійства, жесты, съ его аггелами — властью, оружіемъ, умомъ, красотою, талантомъ, обязаномъ“. Эти начала имѣютъ свою вѣру — къ совершенствованію, въ прогрессъ, при чемъ предполагается, что это совершенствованіе для каждой личности имѣетъ одну существенную цѣль: возвыситься надъ всѣми другими личностями и покорить ихъ своей власти. Въ духѣ этой вѣры былъ воспитанъ и гр. Л. Толстой.

«Я старался, — говоритъ онъ (стр. 161), — совершенствовать свою волю, составляя себѣ правила, которыми старался руководить. Совершенствовалъ себя физически всякими упражненіями, изощряя силу и ловкость и великими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего было, разумеется, нравственное самосовершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнее другихъ. Гадко вспомнить даже объ этомъ. Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть — всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, прозялая эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе».

Въ самомъ своемъ поэтическомъ творчествѣ гр. Л. Толстой усматриваетъ все тѣ-же ветхія начала:

«Побужденіе къ творчеству, — говоритъ онъ (стр. 163), — было у меня, дѣйствительно, искреннее. Но я желалъ также и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что желаніе авторской славы есть желаніе суетное. Значитъ, я тоже писалъ изъ тщеславія, или по крайней мѣрѣ, приближалъ къ своему писанію это жалкое побужденіе. Потому, развѣ я былъ равно-



душевнѣ въ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, которыя мнѣ платили за то только, что я, слѣдуя своему же побужденію писать безъ всякаго почти напряженія повѣсточки, романы и даже торговался; я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состояніе на эти деньги. И, значитъ, я былъ не чуждъ въ этомъ дѣлѣ и корыстолюбія. Гордость,—я тутъ всего болѣе было,—гордость силы, которой я долго не зналъ къ чему прилѣпить, которой ничтожество и глупость долго не признавали и тѣмъ раздражали меня, гордость—мой первый грѣхъ, съ которымъ я долго, очень долго упорно боролся. Я часто боюсь, не было-ли гордости въ томъ, что я открыто передъ всѣми приносилъ въ ней покаяніе. Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, я, какъ и большинство, полагаясь силъ и красотѣ силъ, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я болѣе всего воспеивалъ все красивыя проявления индивидуальной силы. И еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда находилъ ее безъ примѣси приговора и ничтожества, то принималъ за правду, когда въ действительности это было только силой—силой въ чистомъ, безиримѣсномъ ея состояніи»...

#### IV.

«Мнѣ было 26 лѣтъ,—говоритъ далѣе гр. Л. Толстой (стр. 164),—когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и поселился съ писателями. Меня приняли, какъ своего, любили мнѣ даже. И не успѣвъ и озадачившись, какъ есоловные писательскія взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно нагладили во мнѣ все мои прежнія попытки сдѣлать-ся лучше. Взгляды эти подъ распушенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идея развиившаяся, и что въ этомъ развитіи главное участіе принадежало мнѣ, люди мысли, а паче людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы—художники, поэты. Наше призваніе—учить людей, не зная чему: художникъ—де и поэтъ учить безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И потѣя, художникъ, поэтъ, писатель и учитель, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значить, то, чему я училъ, было очень хорошо».

Но вотъ на второй и особенно на третій годъ такой жизни гр. Л. Толстой сталъ сомнѣваться въ непогрѣбности этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не все были согласны между собою: они спорили, ссорились, бранились, обманывали, илудовали другъ противъ друга. Много было между ними и не заботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ помощью писательской дѣятельности.

«Все это,—говоритъ Л. Толстой (стр. 165),—заставило меня усомниться въ истинности самой нашей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти все жрецы эти, писатели, были люди безнравственными и въ большинствѣ—люди плохіе, ничтожныя по характерамъ, много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и веселой жизни, но самоуверенные и совершенно довольные собою. Люди мнѣ опротивили, и самъ я себя опротивилъ».

Но разувѣрившись въ средѣ и въ самомъ себѣ, гр. Л. Толстой все-таки продолжалъ еще сохранять вѣру въ прогрессъ, и вѣру эту еще болѣе поддержало пу-

тешествіе за границу, сближеніе съ передовыми и учеными европейскими людьми.

«Только парѣдка,—говоритъ онъ (стр. 166),—не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя свое непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности-же я жилъ, продолжая исповѣдывать только вѣру въ прогрессъ...» «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а значитъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ тогда формулировать свою вѣру...»

Вернувшись изъ-за границы, гр. Л. Толстой поселился въ деревнѣ и началъ на занятіе крестьянскія школы.

«Здѣсь,—говоритъ онъ (стр. 166),—я тоже дѣйствовалъ во имя прогресса. Но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ некоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно и что вотъ надо отнестись къ нервобитнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ... Истиннѣе говорилъ мнѣ перво: дѣти, мужики лучше насъ, ученыхъ людей, знали смыслъ жизни, чему нужно учить людей. Но глупость моя и вліяніе мое въ томъ и заключаются, что я, все это чувствуя въ глубинѣ души своей, вмѣсто того, чтобы идти у нихъ учиться, я самъ, ничего не зная и зная, что ничего не знаю, на ходули становился, чтобы исполнить свою похоть учительства, за границу ѣздилъ, школы тамъ научалъ, посредникомъ сдѣлался мировицкѣ, школу завелъ въ журналъ, и важничалъ, и оскорблялся, и всѣхъ училъ, не зная, чему я учу, не зная того, чему нужно учить...»

«Снаружи все гладко выходило, какъ будто, но въ душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ. Я забодѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ—дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью... Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Новая, естественная условія семейной жизни уже совершенно отвлекли меня отъ всякаго исکانія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ къ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, къ прогрессу теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, тогда я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукокопееканія за ничтожный трудъ, и предавался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ великихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей...»

#### V.

Но вотъ въ жизни гр. Л. Толстого начало происходить что-то очень странное: на него стали находить минуты недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто онъ не зналъ, какъ ему жить, что дѣлать, терялся и впадалъ въ уныніе. Чаше и чаше стали повторяться вопросы: зачѣмъ?.. ну, а потомъ? настоятельныя и настоятельныя требованія отвѣты и, какъ точки, падали все на одно мѣсто, сплелись въ одно черное пятно.

«Я нашелъ,—говоритъ Л. Толстой (стр. 169),—что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо и отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ

ихъ и попытался развѣрить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, и тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важнѣе въ жизни вопросы, и что сколько бы я ни думалъ, я не могу развѣрить ихъ. Прежде, чѣмъ заняться самарскимъ итѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тыс. дес., 300 головъ лошадей, а потомъ?.. И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ воспитывать дѣтей, я говорилъ себѣ: *зачѣмъ?* Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, и вдругъ говорить себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славіи, которую приобретутъ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну, хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шевченка, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну и что-же? И я ничего не могъ отвѣтить».

И вотъ, такимъ образомъ, наступилъ для гр. Л. Толстого періодъ мрачнаго скептицизма, разочарованія въ себѣ, въ людяхъ, во всемъ существующемъ. Напрасно онъ обращался къ философіи, къ наукѣ, ища разъясненія смысла жизни, — философія давала ему одни мертвыя, искусственно-логическія улобостроенія, въ которыхъ умъ человѣческой вертѣлся, какъ бѣлка въ колесѣ, тщетно отыскивая начало всѣхъ началъ; наука внушала одни относительныя знанія и прямо заявляла, что за предѣлами ихъ она ни на что отвѣтить не въ состояніи. Дошло дѣло до мысли о самоубійствѣ, какъ единственномъ избавленіи отъ безмыслии и безцѣльной жизни. Мы не будемъ много распространяться объ этомъ періодѣ скептицизма, такъ какъ самъ по себѣ онъ представляетъ мало интереснаго; всѣ подобныя галлетовскія настроенія человѣческаго духа слишкомъ однообразны и похожи одинъ на другой всѣми своими симптомами, различаясь лишь сообразно темпераментамъ, возрастамъ, умственнымъ силамъ и развитію тѣхъ или другихъ людей. Обратимъ лучше вниманіе на тотъ выходъ изъ скептицизма, къ которому, въ концѣ концовъ, пришелъ гр. Л. Толстой.

## VI.

Послѣ тщетныхъ поисковъ разъясненія смысла жизни въ книгахъ, гр. Л. Толстой обратился непосредственно къ самой жизни, началъ приглядываться къ людямъ и притомъ не къ однимъ избраннымъ людямъ его круга, а къ массамъ всякаго народа; тутъ только впервые созналъ онъ ту крайнюю замкнутость, въ которой до той поры онъ жилъ.

«Я зналъ,—говоритъ онъ (стр. 179),—только тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, и думалъ, что онъ и составляетъ все человѣчество, и что тѣ миллиарды живущихъ и живыхъ—это масса, какіе-то скоты, не люди. Какъ ни странно, неизвѣрно непонятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой степени невольно заблуждаться, чтобы думать, что жизнь моя—жизнь Соломоновъ и Шоентауеровъ, есть настоящая нормальная жизнь, а жизнь миллиардовъ—есть не стоящее вниманія обстоятельство,—какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ... Я долго жилъ въ этомъ сумасшествіи, свойственномъ именно самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря какой-то странной физической любви къ настояще-

му рабочему народу, заставившей меня понять его и увидеть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія въ томъ, что лучше, что я могу сдѣлать—это повѣстись,—я чувалъ, что если я хочу жить и понимать смыслъ жизни, то *искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхъ миллиардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себя несутъ свою и нашу жизнь*».

Люди, которые *дѣлаютъ жизнь*, которые *на себя несутъ свою и нашу жизнь*,—какія это великія слова!.. Вотъ гдѣ, въ концѣ концовъ, оказалось, таится весь смыслъ жизни, вотъ гдѣ источникъ всяческой *истины*,—вѣры въ самого себя, въ человечество вообще и во всю вселенную!..

«Не найдя,—говоритъ гр. Л. Толстой (стр. 196),—удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе мною вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое въ жизни вѣрующихъ нашего круга было противоположнымъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вглядываться въ жизнь и вѣрованіе людей, и тѣмъ болѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣждался, что у нихъ была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противоположность тому, что люди нашего круга противопоставляли и недогавали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, а съ спокойною и твердою увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это—добро. Въ противоположность тому, что чѣмъ мы умѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти съ спокойствіемъ, чаще-же всего съ радостью. И я облылся тоже вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огромныхъ массъ людей. И я увидѣлъ такихъ понавшихъ смыслъ жизни, умѣющихъ умирать—не двухъ, трехъ, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И всѣ они, безконечно различныя по своему нраву, уму, образованію, положенію, всѣ одинаково и совершенно противоположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишенія и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я полюбилъ этихъ людей... И чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опротивѣла мнѣ, но потеряла великій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ балаболомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія-же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единственнымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ (стр. 199), что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потому уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего человечества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ,

не думать о себѣ, любить другихъ,—это одно средство, чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ... Птица существуетъ такъ, что она должна летать, собирать пишу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множить, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознание, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. И человекъ точно также долженъ добывать жизнь, какъ и животныя, съ тою огромною разницею, что онъ погибаетъ, добывая ее одинъ: онъ долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознание, что онъ счастливъ и жизнь его разумна. Если смѣять человеческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ-же я, проживъ изразитомъ тридцать лѣтъ сознательной жизни, могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть безмыслица и зло? Она была безмыслица и зло...

Я полагаю, что изъ всего вышеприведеннаго вполне ясно для каждаго непредубежденнаго человека, что разумѣетъ гр. Л. Толстой подъ выходомъ своимъ изъ періода скептицизма и тѣмъ переворотомъ, какой онъ пережилъ. Здѣсь прямо и безъ всякихъ обиняковъ вѣра становится въ полную зависимость отъ жизни, и говорится не о томъ, какъ мыслить, а какъ жить, чтобы жизнь не казалась безмыслицею и зломъ, и въ примѣръ ставятся тѣ миллиарды народа, которые дѣлаютъ жизнь и отсюда почерпаютъ всю свою вѣру. Между тѣмъ, Громека клонитъ къ тому болѣе, что весь переворотъ гр. Л. Толстого заключается будто-бы въ томъ, что онъ отвергъ расудочный путь мышленія и обратился къ наивному вѣрованію народа, и такимъ образомъ, переворотъ ставится на чисто умственную почву.—Но въ такомъ случаѣ, тѣмъ-же отличается г. Л. Толстой отъ тѣхъ людей своего круга, которые вѣруютъ такъ, а живутъ иначе, и къ чему-же сводится переворотъ гр. Л. Толстого, какъ не къ тѣмъ-же безысходнымъ противорѣчіямъ, которыя въ прежнее время довели его чуть не до самоубійства?

## II.

Графъ Л. Толстой въ своихъ статьяхъ „Изъ воспоминаній о переписи“.

### I.

Въ сентябрьской и октябрьской книжкахъ „Русскаго Богатства“ 1885 г. обращаютъ на себя вниманіе статьи гр. Л. Толстого „Изъ воспоминаній о переписи“. Статьи эти любопытны въ двухъ отношеніяхъ. Онѣ представляютъ въ себѣ нѣсколько не лишенныхъ интереса наблюденій надъ нравами московской „Рязановской крѣпости“, играющей такую-же роль въ Москвѣ, какъ дома кн. Вяземскаго въ Петербургѣ, и, кромѣ того, служатъ къ немалому разъясненію того нравственнаго переворота, который переживаетъ гр. Л. Толстой.

Прежде всего надо разъяснить, что гр. Л. Толстой, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, принявъ участіе въ однодневной переписи жителей Москвы—не спроста,

не ради одного только артистическаго желанія изучать нравы московскихъ трущобъ, а съ особеннаго рода нравственною цѣлью. Передъ тѣмъ онъ составилъ филантропическій кружокъ изъ нѣсколькихъ очень богатыхъ лицъ въ Москвѣ, общавшихъ со дѣйствовать въ оказываніи помощи бѣднымъ, и отправился вмѣстѣ со студентами, занимавшимися переписью, въ рязановскую крѣпость со спеціальною цѣлью облагодѣтельствовать обитателей этой трущобы нравственно и матеріально.

И вотъ, при первомъ-же вступленіи въ рязановскую крѣпость графъ обнаружилъ наивность, поразительную для такого гениальнаго художника, какимъ онъ извѣстенъ намъ, хотя въ то-же время и весьма понятную для человека, у котораго большая часть жизни протекла въ уровнѣхъ бѣдъ-этажей и которому никогда прежде не приходилось ни спускаться этажемъ ниже, ни подыматься на этажъ вверхъ. Представьте себѣ: онъ воображалъ, что обитатели рязановской крѣпости всѣ подрядъ только и дѣлаютъ, что, словно какія-то тѣни дантова ада, бродятъ въ страшныхъ рубищахъ и въ мучкахъ голода и холода ежеминутно стонуть, простирая длани и взывая о помощи къ безчувственному человечеству.

И судите объ удивленіи графа, когда оказалось вдругъ, что они, какъ и всѣ смертныя, горюютъ и радуются, скушаютъ и веселятся, ссорятся и мирятся, и не чужды даже амурныхъ развлеченій. Такъ, едва графъ вошелъ во дворъ рязановской крѣпости, какъ онъ услышалъ вальсъ, наверху, на деревянной галлереѣ, топотъ шаговъ идущихъ людей, сначала по доскамъ галлерей, а потомъ по ступенямъ лѣстницы. Прежде выбѣжала худая женщина съ засученными рукавами, въ слинявшемъ розовомъ платьѣ и ботинкахъ на босу ногу. Вслѣдъ за ней выбѣжалъ лохматый мужчина, въ красной рубахѣ и очень широкихъ, какъ юбка, портахъ, въ галошахъ. Мужчина подъ лѣстницей схватилъ женщину. „Не уйдешь“,—проговорилъ онъ, смѣясь.—„Видишь, косоглазый чертъ“,—начала женщина, очевидно, польщенная этимъ преслѣдованіемъ, но увидѣла графа и злобно крикнула: „Кого надо?“ Такъ какъ графу никого не надо было, то онъ смутился и ушелъ... И тотчасъ-же послѣдовало наивнѣйшее открытіе:

„Я,—говоритъ гр. Толстой,—понялъ тутъ въ первый разъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ я хотѣлъ благодѣтельствовать, кромѣ того времени, когда они, страдая отъ холода и голода, ждуть выпуска въ домъ, есть еще время, которое они на что нибудь да употребляютъ, есть еще 24 часа каждыя сутки, есть еще и цѣлая жизнь, о которой я прежде не думалъ. Я понялъ здѣсь въ первый разъ (!), что если эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ холода и насытиться, должны еще жить какъ нибудь то двадцать четыре часа каждыя сутки, которыя имъ приходится прожить такъ-же, какъ и всякимъ другимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердиться, и скучать, и хворать, и тосковать, и веселиться. Я, какъ ни странно это сказать, въ первый разъ ясно понялъ, что дѣло, которое и затѣвалъ, не можетъ состоять въ томъ только, чтобы накормить и загнать подъ крышу 1,000 барановъ, а должно состоять въ томъ, чтобы сдѣлать добро людямъ. И когда я понялъ, что каждыя изъ этихъ тысячи людей такой-же точно человекъ, съ такимъ-же прошедшимъ, съ такими-же страстями, соблазнами, за-

блужденіями, съ такими-же мыслями, такими-же вопросами, такой-же человекъ, какъ и я, то затѣнное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ трудно, что я почувствовалъ свое безсиліе; но дѣло было начато, и я продолжалъ его...

Однимъ словомъ, остается только диву даваться при мысли о томъ, что гр. Толстому, съ такою гениальностью проникшему въ тайники сердецъ Анны Карениной и Вронскаго, не приходило никогда до сихъ поръ въ голову такихъ элементарныхъ вещей, что на каждой улицѣ существуетъ по одному или по нѣскольکو кабаковъ, что въ праздники бѣдные люди ходятъ пошатываясь по улицамъ съ гармониками, а дома пьютъ чай, играютъ въ орлянку и т. п. Понятно, что жизнь, доходящая до такой изолпрованности и исключительности, должна была разразиться какимъ-нибудь тяжелымъ нравственнымъ кризисомъ при одномъ открытіи, столь удивительномъ, что, представте себѣ, въ самомъ дѣлѣ, — 24 часа существуютъ не для однихъ обитателей бель-этажей, а и для всѣхъ прочихъ смертныхъ!

## II.

Но вотъ гр. Л. Толстой вошелъ въ предѣлы ржановской крѣпости и вынесъ онъ изъ всѣхъ своихъ наблюденій такой выводъ, что жители этихъ трущобъ раздѣляются на два разряда: одни люди, действительно, безпомощные, но помогать имъ рѣшительно не стоитъ, потому что, сколько имъ ни помогай, никакого толку изъ этого не выйдетъ, и они останутся въ столь-же безпомощномъ положеніи, въ какомъ находились и прежде; другіе-же ни въ какой помощи не нуждаются, потому что, по своему, живутъ припеваючи, безъ всякихъ благодѣтелей.

Къ первому разряду принадлежатъ всѣ люди, не приученные и неспособные ни въ какому труду и приемыши снискивать пропитаніе какимъ-нибудь легкимъ и дешевымъ способомъ. — Таковы оказались всѣ обитатели ржановскаго дома изъ дворянъ. Тамъ была даже квартира, сидомъ занятая дворянами; ихъ тамъ было человекъ сорокъ.

«Водѣ надшихъ, говоритъ гр. Л. Толстой, несчастныхъ, и старыхъ, обрѣдшихъ, и молодыхъ, блѣдныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ домѣ. Я поговорилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ. Почти все одна и та-же исторія, только въ разныхъ степеняхъ развитія. Каждый изъ нихъ былъ богатъ, или отецъ, или братъ, или дядя его были или теперь еще богаты; или отецъ его, или самъ онъ имѣли прекрасное мѣсто. Потомъ случилось несчастіе, въ которомъ виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вотъ онъ потерялъ все и долженъ погибать въ несвойственной, чуждой ему обстановкѣ — во вшахъ, оборванныхъ, съ пылинками и развратниками, питаясь печеной и хлѣбомъ и протягивая руку. Всѣ мысли, желанія, воспоминанія этихъ людей обращены только къ прошедшему. Настоящее представляется имъ чѣмъ-то несестественнымъ, отвратительнымъ и не заслуживающимъ вниманія. У каждаго изъ нихъ нѣтъ настоящаго. Есть только воспоминанія прошедшаго и ожиданія будущаго, которыя могутъ всякую минуту осуществиться, и для осуществленія которыхъ нужно очень мало, но этого-то малаго и нѣтъ, негдѣ взять, и вотъ погибаетъ напрасно жизнь у одного перваго года, у другого пятый, у третьяго трид-

цатый... Они всѣ говорятъ, что имъ нужно только что-то вѣннее для того, чтобы снова стать въ то положеніе, которое они считаютъ для себя естественнымъ и счастливымъ»...

«Если-бы я не былъ, — продолжаетъ гр. Л. Толстой, — отуманенъ своею гордостью добродѣтели, мнѣ стоило-бы только немножко вглядѣться въ ихъ молодыхъ и старыхъ, большею частію, слабыхъ, чувственныхъ, но добрыхъ лицъ, чтобы понять, что несчастныхъ не исправитъ высшими средствами, что они ни въ какомъ положеніи не могутъ быть счастливы, если взгляды ихъ на жизнь останутся тотъ-же — что они не какіе-нибудь особенные люди въ особенно несчастныхъ условіяхъ, а они тѣ самые люди, которыми мы окружены со всѣхъ сторонъ, какіе мы сами. Я понять, что разница только въ степени и времени... Хотя этимъ я заблуждаю и впередъ, но скажу здѣсь, что изъ всѣхъ этихъ людей, которыхъ я записалъ, а действительно не помогъ никому, несмотря на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ было сдѣлано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло-бы поднять ихъ»...

## III.

Къ этому-же разряду относились и проститутки. Гр. Л. Толстому стоило поговорить съ двумя-тремя изъ нихъ, чтобы убѣдиться, что оказать имъ действительно, а не фиктивную помощь, вывести ихъ изъ ихъ ужаснаго положенія не было никакой возможности. Здѣсь авторъ сдѣлалъ нѣсколько сближеній между проститутками и дамами бононда, поражающихъ своею глубиною и неожиданностью. Такъ, одной изъ проститутокъ онъ предложилъ найти мѣсто кухарки.

— Кухарки? да я не умѣю хлѣба-то печь, — сказала она и засмѣялась. «Она сказала, что не умѣетъ, продолжаетъ гр. Л. Толстой, но я видѣлъ по выраженію ея лица, что она не хочетъ быть кухаркой, что она считаетъ положеніе и званіе кухарки низкимъ. Женщина эта, самымъ простымъ образомъ пожертвовавшая, какъ евангельская вдова, всѣмъ, что у ней было, для больной, вѣдѣть съ тѣмъ такъ-же, какъ и другія ея товарищи, считаетъ положеніе рабочаго человека низкимъ и достойнымъ презрѣнія. Она воспиталась такъ, чтобы жить не работая, а той жизнью, которая считается для нея естественной ея окружающими. Въ этомъ она несчастна. И этимъ несчастіемъ она попала и удерживается въ этомъ положеніи. Это привело ее къ необходимости сидѣть въ трактирѣ. Кто-же изъ насъ — мужчинъ или женщинъ — будетъ исправлять ее отъ ея ложнаго взгляда на жизнь? Гдѣ среди насъ тѣ люди, которые убѣждены въ томъ, что всякая трудовая жизнь уважительнѣе праздной, — убѣждены въ этомъ, и живутъ сообразно этому убѣжденію, и сообразно этому убѣжденію цѣнятъ и уважаютъ людей? Если-бы я подумалъ объ этомъ, я-бы могъ понять, что ни я и никто изъ тѣхъ, кого я знаю, не можетъ лечить отъ этой болѣзни».

Показали автору на другую проститутку, торгующую своею 13-лѣтнею дочерью. Но и здѣсь онъ пришелъ къ тому-же сознанию невозможности спасти ни мать, ни дочь.

«Отнять, — говоритъ онъ — насильно можно эту дочь отъ матери; но убѣдить мать, что она дѣлаетъ дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если ужъ спасать, то спасать надо было эту женщину-мать гораздо прежде, спасать отъ того взгляда на жизнь, одобряемаго всѣми, при которомъ женщина можетъ жить безъ брака, т. е. безъ рожденія дѣтей и безъ работы, служа только удовольствію чувственности. Если-бы я подумалъ объ этомъ, то я-бы повѣлъ,

что большинство тѣхъ дамъ, которыхъ и хотѣлъ при-  
слать сюда для спасенія этой дѣвочки, не только  
сами живутъ безъ рожденія дѣтей и безъ работы,  
служатъ только удовлетворенію чувственности, но и  
возвратительно посчитываютъ своихъ дѣвочекъ для этой  
самой жизни: одна мать ведетъ дочь въ трактиръ,  
другая на балъ. Но у той и другой матери миросо-  
зерпаніе одно и то-же, и именно, что женщина  
должна удовлетворять похоть мужчины, и за то ее  
должны кормить, одѣвать и жалѣть. Такъ какъ-же  
наши дамы будутъ исправлять эту женщину и ее  
дочку?»

Точно къ такому-же безотрадному выводу привелъ  
автора и дѣви-спириты ржановской крѣпости, не при-  
ученная ни къ какому труду, и которыхъ ждетъ  
страшная будущность. Одного изъ такихъ дѣтей,  
12-лѣтняго мальчика Серёжу, оставшагося безъ  
пріюта, потому что хозяйнѣ его повалъ въ острогъ,  
гр. Л. Толстой взялъ къ себѣ въ домъ и помѣстилъ  
на кухню.

«Нельзя-же—говоритъ онъ— было вшиваго мальчи-  
ка изъ вертепа разврата взять къ своимъ дѣтямъ.  
И за то, что онъ стѣсняется—не жила, а нашу при-  
слугу на кухню,—и за то, что кормилъ его тоже не  
я, а наша кухарка, и за то, что я отдавалъ ему ка-  
кіе-то обноски надѣть, считалъ себя очень добрымъ  
и хорошимъ... Мальчикъ пробылъ недѣлю въ граф-  
ской кухнѣ, и когда гостившій у автора мужикъ  
сталъ звать его въ деревню, въ работники, къ семье,  
онъ отказался и не пошелъ. И зачѣмъ оказалось, что  
онъ на Прѣсеневскихъ прудахъ нанялся по 30 коп.  
въ день въ процессію какихъ-то дикарей въ костю-  
махъ, водившихъ слона. «Если-бы я вздумалъ тогда  
въ жизнь этого мальчика,—говоритъ авторъ,—и въ  
свою, я-бы понялъ, что мальчикъ испорченъ тѣмъ,  
что онъ узналъ возможность веселой жизни безъ  
труда, что отвѣлъ работать. А я, чтобы благоудѣ-  
тельствовать и исправить его, взялъ его въ свой  
домъ, гдѣ онъ видѣлъ... что-же? Моехъ дѣтей — и  
старше его, и моложе, и ровесниковъ,—которые  
когда ничего для себя не только не работали, но  
своими средствами доставляли работу другимъ. Онъ  
и понялъ это, и не пошелъ къ мужику убирать ско-  
тину и бѣть съ нимъ картошку съ квасомъ, а ушелъ  
въ Зоологическій садъ, въ костюмѣ дикаго водить  
слона за 30 копѣекъ...»

#### IV.

Итакъ, для перваго разряда обитателей ржанов-  
ской крѣпости, усилія гр. Л. Толстого благотвори-  
тельствовать родъ человѣческой потерѣли полное бѣсъо; хотя руки тутъ такъ со всѣхъ сторонъ и протяжи-  
вались, довольствуясь хоть бѣдными штаканъ, но изъ  
раздачи безъ всякаго разбора не штакановъ, а рублей,  
ничего не вышло, кромѣ унижительной и безобразной  
сцены, изъ которой авторъ вынесъ одинъ стыдъ пе-  
редъ окружающими его людьми, при сознаніи съ своей  
стороны какой-то крайне глупой и даже безирравствен-  
ной роли. Относительно-же людей втораго разряда,  
т. е. живущихъ своимъ трудомъ и не нуждавшихся въ  
великобѣтскихъ подачкахъ, графъ еще болѣе убѣ-  
дился, что тутъ ему рѣшительно нечего дѣлать.

«Первое впечатлѣніе, говоритъ онъ, было то, что  
большинство живущихъ здѣсь все рабочіе люди и  
очень добрые люди. Большую половину жителей мы  
заставали за работой: прачекъ надъ корытами, сто-  
ларей за перстаками, сапожниковъ на своихъ стуль-  
яхъ. Тѣсни квартиры были полны народомъ и шла  
энергическая, веселая работа. Шахло рабочимъ по-

томъ и у сапожника кожей, у столяра стружками,  
слышалась часто пѣсни и видѣлись засученныя му-  
скулистые руки, быстро и ловко дѣлавшія привыч-  
ныя движенія. Многихъ мы заставали за обдумъ  
или часомъ и всякій разъ на привѣтъ наши: «хлѣбъ  
да соль» или «чай да сахаръ» они отвѣчали: «пре-  
симъ милости» и даже сторонились, давая намъ  
мѣсто. Въето того притона постолино перемѣняю-  
щагося населенія, которое мы думали найти здѣсь,  
оказалось, что въ этомъ домѣ было много квартиръ,  
въ которыхъ живутъ подолгу. Одинъ столяръ съ ра-  
бочими и сапожникъ съ мастерами живутъ по десяти  
лѣтъ. У сапожника было очень грязно и тѣсно, но  
народъ весь за работой былъ очень веселый.

«Я попытался поговорить съ однимъ изъ рабочихъ,  
желая выпытать отъ него воображаемую мою бѣд-  
ственность его положенія, задолжанія хозяйну, но  
рабочій не понялъ меня и съ самой хорошей сторо-  
ны отозвался о хозяйнѣ и о своей жизни. На одной  
квартирѣ жили старичокъ со старушкой. Они тор-  
гуютъ яблоками. Комната ихъ тепла, чиста и пол-  
на добромъ. На полу постланы соломённые шиты  
(плетенки); они берутъ ихъ въ яблочномъ складѣ.  
Сундуки, шкафы, самоваръ, посуда. Въ углу обра-  
зовъ много, теплятся двѣ лампы; на стѣнѣ зашпи-  
наны простыней крытыя шубы. Старушка съ вѣзъ-  
дообразными морщинками, ласковая, говорливая, оче-  
видно, сама радуется на свое тихое, благообразное  
жизнь».

Однимъ словомъ, авторъ испыталъ полное разоча-  
рованіе. Онъ мечталъ встрѣтить въ ржановской крѣ-  
пости ичто ужасное,—и не только не нашелъ ниче-  
го подобнаго, но ему представилось ичто хорошее,  
такое, которое невольно вызывало уваженіе. И этихъ  
хорошихъ людей было такъ много, что оборванные,  
погибшіе, праздные люди, которые парѣдка попада-  
лись среди нихъ, не нарушали главнаго впечатлѣнія.  
Когда-же графъ встрѣчалъ нужду, онъ всегда нахо-  
дилъ, что она была уже покрыта, уже была подана  
та помощь, которую онъ хотѣлъ подать,— и подана  
вѣкъ-же!—тѣми самыми несчастными, развращенны-  
ми созданіями, которыхъ онъ собрался съясать,  
подана такъ, какъ онъ-бы не могъ подать.

#### V.

И оставалось, такимъ образомъ, нашему благодѣ-  
телю рода человѣческаго сложить на груди неуязвимы  
руки. Какъ, неужели?—спроситъ читатель. Неужели  
тѣ самые труженники, такіе хорошие и такіе, повиди-  
мому, довольные своимъ положеніемъ,—такъ-таки и  
не нуждались ни въ кадышей помощи? Да не смѣ-  
ли графъ Л. Толстой описывать тотъ ужасъ, кото-  
рый онъ испыталъ, когда переходилъ только черезъ  
дворъ ржановской крѣпости. «Изъ сѣней, говоритъ  
онъ, мы спустились на покатыя дворъ, весь застроен-  
ный деревянными, на каменныхъ нижнихъ этажахъ,  
постройками. *Вонъ на всемъ дворъ была очень  
сильная. Центромъ этой вонн было отхожее  
мѣсто.* Мальчикъ, оберегая свои бѣлые панталоны,  
осторожно проваль меня мимо этого мѣста *по замерз-  
шимъ и намерзшимъ нечистотамъ*. Затѣмъ,  
когда авторъ вошелъ въ жилье, на него пахло  
*мыльными парами, подкимъ запахомъ дурной пды  
и табаку*... И вотъ этии сирадомъ дышуть изо-дня  
въ день всѣ эти хорошие люди, вполне довольные сво-  
имъ положеніемъ. Положивъ, что они настолько при-

нюхались ко всемъ окружающимъ ихъ зловоніямъ, что совсѣмъ не замѣчаютъ ихъ и зловоніе нисколько не мѣшаетъ или энергично работать и даже веселиться на заработанные гроши. А, между тѣмъ, подумать только, какъ не прочно ихъ кажущееся благосостояніе. Вѣдь, достаточно одного вздоха, наполненного тифозными микробами въ этомъ гниломъ и спрадномъ воздухѣ, чтобы глава семьи отправился въ сплосиска, а жена и дѣти его остались безпомощными и голодными...

Но, конечно, что-же вы тутъ подбываете грошовыми великосвѣтскими подачками или, еще того лучше, душевспасительными глаголами? Правда, тутъ могла-бы большую помощь оказать хотя, напримѣръ, наука, которая внушаетъ, какъ должны строятся жилища для того, чтобы въ нихъ было достаточно тепла, свѣта и свѣжаго воздуха, необходимыхъ для человека, изобрѣтаетъ всякія ассенизирующія средства, борется съ эпидеміями, стремится къ наибольшему удешевленію всѣхъ необходимыхъ питательныхъ или согревательныхъ продуктовъ, и напротивъ, къ возрастанію цѣнности труда и пр., и пр. Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой проклиналъ эту самую науку, такъ какъ она не могла отвѣтить ему на тѣ трансцендентальные вопросы, разрѣшенія которыхъ онъ требовалъ отъ нея, а тогъ скрытый свѣтъ и тепло, какіе льются отъ нея на человечество, показались ему слишкомъ жалкими и презрительными въ его великосвѣтскомъ разочарованіи... Подождемъ-же, когда душевспасительные глаголы „новой игры“ гр. Л. Толстого въ такой-же степени способны окажутся уничтожить зловоніе и миазмы ржановскихъ клоаки, какъ это должно сдѣлать изобрѣтенная все тою-же презираемою наукою карболовая кислота.

### III.

#### По поводу статьи гр. Л. Толстого „Въ чемъ счастье“.

##### I.

Въ послѣднее время въ литературѣ нашей утвердилось мнѣніе, что философія статьи гр. Л. Толстого наиболее сильны и вліятельны своимъ отрицательнымъ анализомъ условий жизни современнаго человечества; съ положительной-же своей стороны онѣ представляютъ рядъ идеаловъ, слишкомъ элементарныхъ и наивныхъ, чтобы онѣ могли оказать какое-либо существенное вліяніе на разрѣшеніе сложныхъ и роковыхъ вопросовъ нашего времени. Статья: „Въ чемъ счастье“, помѣщенная въ январской книжкѣ „Русскаго Богатства“ 1886 г., какъ нельзя болѣе подтверждаетъ это мнѣніе, и мы займемся ею въ видахъ разъясненія и подтвержденія его.

Прежде всего слѣдуетъ оговориться, что если я считаю идеалы гр. Л. Толстого слишкомъ элементарными и наивными, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы я ихъ отрицалъ; я только отрицаю ихъ исключительную компетентность въ разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ нашей нравственной жизни. Я сравниваю гр. Л. Тол-

стого съ математикомъ, который вдругъ увлекся-бы табличкою умноженія, и на томъ основаній, что она заключаетъ въ себѣ рядъ математическихъ аксіомъ, самыхъ простыхъ, общедоступныхъ, вѣчныхъ, неоспоримыхъ и предшествовавшихъ съ испоконъ вѣковъ всѣмъ послѣдующимъ математическимъ открытіямъ, началъ-бы отрицать и биномъ Ньютона, и логарифмы, и дифференціальныя вычисленія, и предлагать-бы во всѣхъ изслѣдованіяхъ ограничиваться одною табличкою умноженія, потому что могутъ-ли сравняться всѣ тѣ запутанныя, хитроумныя формулы, которыми адепты науки списываютъ цѣлые листы, съ такою ясною, простою, для всѣхъ равно доступною и неизбѣжно вѣчною истиною, какъ  $2 \times 2 = 4$ . Такъ, вотъ, я и говорю, что, положимъ,  $2 \times 2 = 4$  великая и неоспоримая истина, и въ ней воистинѣ выражается та вѣковѣчная и неисчерпаемая наша разуму премудрость, которая движетъ міромъ и которою живетъ и дышетъ вся вселенная; во почему-же эту самую премудрость не могу я видѣть и въ логарифмахъ, и въ биномѣ Ньютона, и дифференціалахъ?

##### II.

Въ самомъ дѣлѣ, обратите вниманіе на пять пунктовъ *счастья*, которые предлагаетъ гр. Л. Толстой людямъ, взаимѣ того мнимаго, призрачнаго счастья, къ которому они стремятся, и вы воистинѣ убѣдитесь, что гр. Л. Толстой имѣетъ дѣло всего-на-всего съ табличкою умноженія, съ которою и носится вотъ ужъ нѣсколько лѣтъ, какъ съ единственнымъ волшебнымъ талисманомъ, способнымъ спасти человечество. Вотъ эти пять пунктовъ:

1) «Одно изъ первыхъ и всеми признаваемыхъ условий счастья—есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека съ природою, т. е. жизнь подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при свѣжемъ воздухѣ, общеніе съ землею, растеніями, животными. Всегда всѣ люди считали лишніе этого большаго несчастьемъ. Заключенные въ тюрьмахъ лишены всего чувствуютъ это лишніе. Посмотрите-же на жизнь людей, живущихъ по ученію міра. Чѣмъ большаго они достигли успѣха по ученію міра, тѣмъ больше они лишены этого условия счастья. Чѣмъ выше то мірское счастье, котораго они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солнца, поля и лѣса, дивныхъ и домашнихъ животныхъ.»

2) «Другое несомнѣнное условіе счастья—есть трудъ, во-первыхъ, любимый и свободный трудъ, во-вторыхъ, трудъ физическій, дающій аппетитъ и крѣпкій, успокоивающій сонъ. Опять, чѣмъ большаго, по своему, счастья достигли люди по ученію міра, тѣмъ больше они лишены и этого другаго условия счастья. Всѣ счастливцы міра, чиновники и богачи, или какъ заключенные, вовсе лишены труда и безустанно борется съ болѣзнями, проходящими отъ отсуствія физическаго труда и еще болѣе безуспѣшно со скукой, одолевашою ихъ, или работаютъ ненавистную или работу, какъ банкиры, прокуроры и тому подобнае...»

3) «Третье, несомнѣнное условіе счастья—есть семья. И опять, чѣмъ больше ушли люди въ мірскомъ успѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно отказываются отъ радостей семьи, подчиняясь только ей неудобствамъ. Если-же они и не прелюбодѣи, то дѣти для нихъ не радость, а обуза. Если-же у нихъ есть дѣти, они лишены радости общенія съ

нии (отдавая ихъ на руки чужимъ воспитателямъ).

4) «Четвертое условіе счастья—есть свободное, добровольное общеніе со всѣми разнообразными людьми міра. И опять, чѣмъ выше ступени достигли люди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого главнаго условія счастья, тѣмъ выше, тѣмъ уже, тѣмъ же гуще кружокъ людей, съ которыми возможно общеніе, и тѣмъ ниже по своему умственному и нравственному развитію тѣ нѣсколько людей, составляющихъ этотъ заколдованный кругъ, изъ котораго вѣтъ выхода...

5) «Наконецъ, пятое условіе счастья—есть здоровье и безболѣзненная смерть. И опять, чѣмъ выше люди на общественной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе они лишены этого условія счастья. Возьмите средняго богача и его жену и средняго крестьянина и его жену, не смотря на весь голодъ и непомѣрный трудъ, который несетъ крестьянинъ, и сравните ихъ. И вы увидите, что, чѣмъ ниже, тѣмъ здоровѣе и чѣмъ выше, тѣмъ болѣзненнѣе мужчины и женщины».

### III.

Все это рядъ истинъ, такихъ-же неоспоримыхъ, какъ  $2 \times 2 = 4$ . Но суть не въ томъ, что истинны эти не представляютъ ни малѣйшихъ сомнѣній, а въ вопросѣ,—что мѣшаетъ человѣчеству идти по пути этихъ неоспоримыхъ истинъ? Вѣдь не одинъ десятокъ или сотня лѣтъ существуютъ онѣ, а цѣлыя тысячелѣтія, и проповѣдывались онѣ людьми, можетъ быть, въ десять разъ и гениальнѣйшими, и краснорѣчивѣйшими, чѣмъ самъ графъ Л. Толстой; тѣмъ не менѣе, мы и до сегодня видимъ одно и то-же: несомнѣнными истинами гинуть въ одну сторону, а человѣчество стремится, повидимому, совершенно въ другую, вслѣдъ за своими мечтами призрачнаго мірскаго счастья. Въ чѣмъ-же заключается причина и когда будетъ конецъ этой раздвоенности?

И вотъ, пока мы будемъ стремиться рѣшить этотъ вопросъ однимъ апіорнымъ путемъ, не заглядывая ни въ исторію, ни въ нѣмъ науки,—мы вѣчно будемъ путаться съ нашей великою табличкою умноженія въ безвыходныхъ противорѣчіяхъ и дилеммахъ. Одни будутъ говорить вамъ, что законы свѣты, по исполнителямъ дикіе существа, что вѣковѣчныя истины прекрасны, но люди такъ низко пали, такъ тонуть въ своей грѣховной сущности, такъ нравственно расцѣпаны, что остаются глухи и слѣпы къ истинамъ, въ которыхъ заключается все ихъ спасеніе. Другіе-же, напротивъ того, говорятъ, что истины эти обветшали, что человѣчество потому остается равнодушнымъ къ нимъ, что выросло изъ нихъ, и для него требуется иной нравственный кодексъ, болѣе соответствующій высотѣ и сложности современной цивилизаціи. Одни говорятъ: нужно, прежде всего, поднять нравственность каждаго отдѣльнаго человѣка, убѣдить его слѣдовать вѣковѣчнымъ истинамъ, а затѣмъ, общественными отношеніями между людьми сами собою измѣнятся къ лучшему и сдѣлаются вполне гармоничными все съ тѣми-же пресловутыми истинами. Другіе-же говорятъ: сколько ни проповѣдуйте, ничего не подѣлаете; нравственность отдѣльныхъ людей зависитъ отъ общихъ условій общественной жизни. Прилагайте всѣ заботы къ улучшенію этихъ условій и повѣрьте, что

нравственный уровень самъ собою возвысится по мѣрѣ этого улучшенія.

Однимъ словомъ, повторяется все тотъ-же дѣтскій вопросъ о томъ, что прежде произошло на свѣтѣ— молотъ или наковальня. И вѣчно онъ будетъ повторяться, пока мы не отбросимъ нашу невѣжественную гордыню передъ наукою, и не обратимся къ ней, къ ея скромнымъ, но безпристрастнымъ, точнымъ указаніямъ. Что-же намъ гласить на этотъ счетъ наука? А вотъ что:

### IV.

Обративъ вниманіе на основную догмату ученія графа Л. Толстого, на непротивленіе злу насиліемъ. Графъ Л. Толстой противоположностью этому догмату ставитъ ветхозавѣтное *око за око, зубъ за зубъ*. И вотъ, на первыхъ-же порахъ, наука возвыщаетъ намъ, что подобное противопоставленіе далеко не исчерпываетъ всего историческаго хода развитія нравственныхъ понятій въ человѣчествѣ. Дѣло въ томъ, что ветхозавѣтный догматъ равномернаго отищенія представляетъ собою довольно уже высокую ступень нравственнаго развитія человѣчества, большой шагъ впередъ въ исторіи цивилизаціи. Первоначально-же, можетъ быть, нѣмая тысяча лѣтъ, человѣчество руководствовалось инымъ принципомъ, еще болѣе звѣрскаго характера. Дикарь не ограничивался вырваніемъ ока за око и зуба за зубъ, а за самое ничтожное пораненіе и мелкую обиду онъ поджаривалъ врага на огнѣ, сдиралъ съ него съ живого кожу, отрубалъ голову и черепъ его вѣшалъ въ своей хижинѣ, какъ трофей—знакъ того, что онъ умѣетъ постоять за себя. Первобытные люди за одного украденнаго барана истребляли до тла цѣлыя сосѣднія племена.

Въ чѣмъ-же заключается причина какъ самого побужденія къ отищенію, такъ и чрезвѣрности этого побужденія въ дикаряхъ? И вотъ, другая наука или, лучше сказать, цѣлый рядъ наукъ указываетъ, что главная причина заключается здѣсь въ психическихъ основахъ низшаго порядка, въ такъ-называемыхъ, нервныхъ рефлексахъ, побуждающихъ всякое животное, въ томъ числѣ и человѣка, отражать полученныя впечатлѣнія въ тѣхъ или другихъ соответствующихъ движеніяхъ и дѣйствіяхъ. Дакъ наука показываетъ, что чѣмъ ниже стоитъ человѣкъ по своему умственному развитію, тѣмъ болѣе преобладаютъ въ немъ рефлекторныя движенія, тѣмъ они необузданнѣе и тѣмъ менѣе способенъ онъ сдерживать ихъ. Ребенокъ и дикарь, какъ извѣстно, въ одинаковой степени отличаются тѣмъ, что самое ничтожное впечатлѣніе способно вызвать въ нихъ массу рефлекторныхъ движеній, совершенно выходящихъ изъ всѣхъ предѣловъ.

Съ развитіемъ высшихъ мозговыхъ центровъ, люди дѣлались все сдержаннѣе и сдержаннѣе въ своихъ рефлексахъ, болѣе и болѣе привыкали подчинять ихъ высшимъ нравственнымъ требованіямъ. И вотъ, подумайте, какой былъ великій прогрессъ, когда человѣчество дожило, наконецъ, до *ока за око*, т. е. до того, что перестали самовольно сдирать кожа съ живыхъ людей за малѣйшее недоразумѣніе, а вѣсто этого условались въ такомъ уравнивленіи возмездія, чтобы

за судьянное зло платилось ровно столько, ни на югу болѣе или менѣе, чѣмъ это зло стоить. Люди навѣрное смотрѣли на это уравновѣшеніе, какъ на высшій нравственный законъ, коимъ вправѣ гордиться человечество, и дѣйствительно, съ водареніемъ этого закона въ человѣческую среду хлынуло разомъ столько обезнеченности и благосостоянія, о которыхъ до того времени трудно было и помышлять.

Уравновѣшеніе возмездія повело за собою учрежденіе судовъ. И вотъ опять-таки гр. Л. Толстому очень легко съ точки зрѣнія своихъ высокихъ идеаловъ провозглашать: „не судите, да не судимы будете!“ Но подумайте только, сколько добра, свѣта, нравственной и общественной дисциплины внесли суды въ полудикія массы, которыя до того времени руководствовались одними зѣринными, необузданными рефлексами, приводящими къ поголовному взаимному истребленію, потокамъ крови и самымъ чудовищнымъ зѣрствамъ.

## V.

Обратите вниманіе на другое проявленіе возмездія — войну. Противъ войны много писали и говорили задолго до графа Л. Толстого. Но до сихъ поръ все эти проповѣди остаются гласомъ вопиющаго въ пустынь. Между тѣмъ, что-же мы видимъ на самомъ дѣлѣ: помимо этихъ проповѣдей и здѣсь совершается то-же постепенное подчиненіе низшихъ рефлексовъ разумнымъ требованіямъ. Какъ ни часты и кровопролитны истребительныя войны, а все-таки жизнь современной Европы представляетъ собою картину завиднаго мира сравнительно съ тѣмъ, что было тысячу или двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ. Тогда война была ежедневнымъ, будничнымъ явленіемъ жизни, и воевали не только государства съ государствами или племена съ племенами, но и городъ съ городомъ, деревня съ сосѣднимъ селомъ, воевали изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, иногда и безъ всякаго повода, чтобы только выказать молодечество, дать просторъ кинучей крови. Съ теченіемъ вѣковъ районъ мира становился все шире, и вытѣснить изъ своихъ предѣловъ знали войны. Такъ въ Россіи образовались сначала нѣсколько маленькихъ центровъ, — княжествъ, въ предѣлахъ которыхъ люди обязывались жить другъ съ другомъ мирно, разрешая свои несогласія не мечемъ, а судомъ; воевать имѣли теперь возможность только княжества между собою, а никакъ уже не сосѣднія селенія. Затѣмъ, княжества начали соединяться въ крупныя областныя массы и, наконецъ, образовалось одно сильное московское царство, въ предѣлахъ котораго мирнымъ обывателямъ могло угрожать лишь нашествіе иноземныхъ народовъ.

## VI.

Изъ всего этого вотъ что слѣдуетъ. Ваши прекрасные идеалы, гр. Л. Толстой, существующіе безъ малаго двѣ тысячи лѣтъ, остаются до сихъ поръ въ однихъ отвлеченныхъ предѣлахъ сознанія и не могутъ исполнѣ осуществиться, по той-же причинѣ, по какой и не менѣе неоспоримая математическая истина, что  $2 \times 2 = 4$ , остается въ области одной нашей фанта-

зіи, пока мы въ дѣйствительности не имѣемъ двухъ и двухъ, чтобы изъ нихъ вышло четыре. Сколько-бы вы ни убѣждали людей не сопротивляться злу насиліемъ, вы ихъ до тѣхъ поръ не убьдете, пока рефлексъ ихъ будутъ настолько еще сильны, чтобы, заглушая все внушенія разума, неудержимо побуждать ихъ ко всякаго рода возмездіямъ. Подчиненіе-же рефлексовъ разумной волѣ совершается не сразу однимъ наповненіемъ волшебнаго жезла, а вырабатывается постепенно отъ поколѣнія къ поколѣнію; какъ между первобытнымъ зѣрствомъ и ветхозавѣтнымъ принципомъ уравновѣшеннаго возмездія, такъ равно между послѣднимъ и нашимъ принципомъ непротывленія злу насиліемъ существуетъ цѣлый рядъ промежуточныхъ стаций, миновать которыя нѣтъ никакой возможности. Такъ, напримѣръ, вы, вотъ, отрицаете судъ даже и въ тѣхъ мягкихъ и гуманныхъ формахъ, до какихъ онъ дошелъ въ послѣднее время, а подумайте, давно-ли человечество избавилось отъ ужасовъ инквизиціи и пытокъ, и какой большой шагъ въ смягченіи нравовъ и подчиненіи животныхъ рефлексовъ — представляло собою хотя-бы только появленіе Веккаріи съ его отрицаніемъ пристрастнаго допроса. Я вполнѣ согласенъ съ тѣмъ, что весь этотъ прогрессъ смягченія нравовъ и медленнаго приближенія къ вѣковѣчнымъ нравственнымъ идеаламъ, завѣщаннымъ намъ древнимъ Востокомъ, совершается отнюдь не путемъ сопротивленія злу насиліемъ, а есть результатъ совершенно особеннаго великаго и всеобщаго биологическаго процесса. Изъ всего выше сказаннаго достаточно явствуетъ, что я вовсе не стою за принципъ противленія злу насиліемъ; я объясняю его, какъ варварское состояніе человечества, какъ недостатокъ полнаго подчиненія низшихъ рефлексовъ внешнимъ разумнымъ требованіямъ. Но что-же вы подѣлаете съ человечествомъ, если рефлексъ его все еще бунтуютъ, преобладаютъ и до сихъ поръ еще оно ихъ не упорядочило? Впадать вслѣдствіе этого въ отчаяніе, въ пессимизмъ, роптать на глухоту и слѣпоту людей, неспособныхъ сразу обратиться на путь спасенія, — не есть-ли самая высокомерная гордыня, какую только можно представить себѣ, не есть-ли это преступная и малодушная хула противъ вѣковѣчной премудрости, установившей незлыбленные законы, по которымъ совершаются все процессы развитія во всей вселенной?

## IV.

Графъ Л. Н. Толстой о женскомъ вопросѣ.

## I.

Я знаю молодую чету, которую я всегда люблю, какъ однихъ изъ лучшихъ украшеній нашего средняго интеллигентнаго круга. Мужъ — учитель и воспитатель въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній; жена, кончивъ медицинскіе курсы нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимается жѣсто дужкаго врача в, сверхъ того, имѣетъ кое-какую практику. Въ общей



свадьбы мужъ и жена зарабатываютъ тысячь до трехъ, причежъ на женскую долю приходится рублей до тысячи заработка, т.-е. треть семейнаго бюджета. Конечно, для людей, привыкшихъ жить на проценты съ долулліаннаго состоянія, для людей, соображающихъ, что пропорціонально тремъ копѣйкамъ, отдавши нищему мужикомъ, имъ слѣдовало-бы давать эту самую нищему по три тысячи рублей, — что значить заработокъ въ какую-нибудь тысячу рублей! Слово изъ-за такихъ пустяковъ на курсы ходить и херувимовъ рѣзать! Но каждый, кто не à priori, а на практикѣ испыталъ, что такое значить проживать съ семьею среднему интеллигентному человѣку въ столицѣ 2,000 руб., тотъ пойметъ, какое великое подспорье составляетъ въ настоящемъ случаѣ каждая дюжина тысяча.

Они держатъ всего двѣ прислуги: кухарку и няньку; между тѣмъ, чистота и опрятность царятъ въ ихъ квартирѣ ненарушимыя, образцовыя. У нихъ трое дѣтей, — и всѣ такіе здоровяки, съ пухлыми, румяными щечками. Цѣлый день оба занятые своими профессіями, какъ они успѣваютъ въ то-же время содержать свое хозяйство въ такомъ образцовомъ порядкѣ, — объ этомъ я не могу вамъ подробно сообщить, такъ какъ не слѣдилъ за каждымъ шагомъ ихъ повседневной, будничной жизни, но я это вполне понимаю. Главный секретъ въ томъ, именно, и заключается здѣсь, что оба они — люди занятые. Обратите вниманіе, въ какомъ кабинетѣ найдете вы болѣе порядка, чистоты и опрятности? Вы думаете, что у человѣка болѣе свободнаго, имѣющаго много досуда заниматься разстановкою своихъ вещей? Совершенно наоборотъ: чѣмъ болѣе человѣкъ занятъ, тѣмъ оказывается болѣе порядка вокругъ него во всей его обстановкѣ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: усиленный трудъ такъ нравственно дисциплинируетъ, подтягиваетъ человѣка, что у него является неуправляемая потребность и во всѣ мелочи своего обихода вносить ту гармонію, ту порядочность, которая онъ ощущаетъ въ своемъ нравственномъ мірѣ. И наоборотъ, — праздность, расслабляя нервы, приводитъ людей къ особаго рода душевному недугу, называемому распушенностью, а разъ этотъ недугъ завязался у человѣка, онъ проявляется, опять-таки, во всѣхъ мелочахъ его жизни: подобно тому, какъ лѣнь принятъ ему за дѣло, такъ-же точно лѣнь ему и убрать за собою.

Что-же касается до времени, необходимаго для уюдаченія домашней жизни и всего, что касается такъ называемаго, *хозяйства*, то, надо сказать по правдѣ, у насъ сильно раздуваютъ этотъ предметъ, воображая, что для маленькаго хозяйства семьи, проживающей отъ трехъ до пяти тысячь, — необходимо потратить цѣлкомъ въсѣхъ женскихъ жазней. Въ результатъ такого предразсудка выходитъ то, что праздныя барыни, воображающія себя образцовыми хозяйками, нарочно растрачиваютъ на пѣлый день дѣло, которое можно все переделать въ четверть часа, принципиаютъ искусственнымъ и совершенно ненужнымъ занатіямъ, лишь-бы только убить время и успокоить совесть. Но крайней мѣрѣ, въ той семьѣ, о которой я говорю, нѣтъ ни одной такой женщины, которая весь день суетилась-бы и бѣгала изъ комнаты въ комнату

по пустякамъ, воображая, что она совершаетъ какое-то священнодѣйствіе, домашній очагъ соблюдаетъ: мужъ весь поглощенъ своею педагогіею; жена — медицинною; кухарка знаетъ только свою кухню; нянька — дѣтей; и въ то-же время всѣ члены семьи между дѣломъ успѣваютъ вполне соблюдать домъ съ чиновою порядкѣ.

Да не подумаетъ читатель, что я изобразилъ что нибудь необыкновенное и исключительное. Въ настоящее время вы можете встрѣтить не одну уже семью, въ которой жена является такою-же труженницею, какъ и мужъ, и это нисколько не мѣшаетъ тому, чтобы и щи подавались во-время на столъ, и дѣти родились, выкармливались и выращивались правильно.

## II.

Скромная труженница, съ утра до ночи занятая своимъ дѣломъ, всегда чисто и опрятно одѣтая, и иногда даже щеголевато принаряженная, знакомая моя вовсе не выглядитъ синимъ чулкомъ, не произносить никакихъ рѣчей въ пользу женской эмансипаціи, не громить мужчинъ и не найдете вы въ ней ничего ухарскаго и напускнаго. Но, конечно, она очень близко принимаетъ къ сердцу женскій вопросъ, сама на своемъ собственномъ опытѣ убѣдившись, сколько и нравственнаго удовольствія, и матеріальной обеспеченности принесло ей то обстоятельство, что вотъ, она кончила курсъ медицинскихъ наукъ нисколько не менѣе успѣшно, чѣмъ кончаютъ его мужчины, приносить свою ленту пользы и обществу, и своей семьѣ, и что осталась она вдовою, она, хоть и скромно, а, все-таки, поддерживаетъ свою семью, и не придется ей кланяться о милостивыхъ подаянкахъ и искать благодѣтелей.

Зная такой образъ мыслей и настроеніе моей приятельницы, я ожидалъ, что ее въ большое негодованіе приведетъ дражная книжонка о женщинахъ съ вопросительными знаками, изданная Суворовымъ, съ ея скабрено-циничнымъ содержаниемъ, съ ея взглядами на женщинъ исключительно съ точки зрѣнія особыхъ привѣтъ, съ ея призывомъ, наконецъ, запретить снова женщинамъ въ терема, ради болѣе удобнаго созерцанія и пользованія этими особыми привѣтами. Но представьте, я былъ очень удивленъ, когда приятельница моя не только ничѣмъ не возмущалась въ вышеозначенной книгѣ, а лишь прониклась глубокою жалостью къ автору ея. Даже слезы показались на ея глазахъ, когда она произнесла слѣдующія слова: — „Вѣдмый, бѣдный! должно быть не было у него ни доброй матери, которую-бы онъ страстно обожалъ и любилъ, ни сестры, за честь которой онъ стоялъ-бы горюю, и не видѣлъ онъ въ теченіи всей жизни своей ни одной маломальски порядочной женщины!.. Вѣдмый!.. Гдѣ онъ родился? Гдѣ онъ прожилъ всю свою жизнь?“...

При этихъ послѣднихъ словахъ мнѣ сдѣлалось даже страшно. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ родился? Гдѣ прожилъ всю жизнь? Представьте себя (я говорю не объ авторѣ книги, не зная, что за личность скрывается подъ вопросительнымъ знакомъ, а такъ, вообще), представьте, что человѣкъ родился-бы въ пансіонѣ известнаго сорта, провелъ-бы все дѣтство и часть

ности въ такомъ богоугодномъ заведеніи. — имѣли-бы мы право требовать, чтобы господинъ этотъ глѣдѣлъ на женщинъ и на женскій вопросъ съ какой либо иной точки зрѣнія, какъ не съ той, съ какой этотъ предметъ представляется въ его alma mater? Только и оставалось-бы вмѣстѣ съ моею пріятельницей восклицать: бѣдный, бѣдный!

### III.

Но совершенно иное впечатлѣніе произвели на ту же самую барыню рѣчи гр. Толстого по поводу женскаго вопроса, которыя привелось ей слышать изъ его устъ, въ бытность ея въ Москвѣ. Надо замѣтить, что гр. Л. Толстой былъ до сихъ поръ большой любитель моею пріятельницы, и послѣднія сочиненія его она читала съ увлеченіемъ, и это очень понятно. Скроменная и усердная труженица, она къ себѣ самой прибывала весь тотъ апофеозъ труда, который находила въ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого; она смѣло причисляла себѣ къ тѣмъ людямъ, которые, по выраженію гр. Л. Толстого, *дѣлаютъ жизнь* и изъ этого почерпаютъ всю свою *отдуву* въ нее. Подобно гр. Л. Толстому, она осуждала роскошь и чуждалась ея; если-же и имѣла двѣ прислуги, то это совсѣмъ было не то, что графскіе слуги; это были лишь помощники ея, не мѣшавшіе ей своими руками совершать половину своего семейнаго обихода. Симиатизировала она даже и ученію гр. Л. Толстого о непротивленіи злу насиліемъ, что совершенно гармонировало съ ея мирнымъ существованіемъ, исполненіемъ труда, равно необходимаго для добрыхъ и злыхъ, строгихъ и кроткихъ. Ея некогда было и думать о какихъ-либо противленіяхъ, и только иногда возмущалась въ ней женщина и она говорила:

— „Я готова, пожалуй, уступить гр. Л. Толстому не только обѣ ланиты, но и шею; но если кто вздумаетъ тронуть моего ребенка, тутъ ужъ извините, я не ручаюсь, что не обращусь въ тигрицу, и чувствую, что никакая сила воли не удержитъ меня... Гр. Л. Толстой — лучина, и ему никогда этого не понять!“

Нынѣ, на Рождествѣ, пришлось моею пріятельницѣ пробѣхать въ Москву, и тамъ она гдѣ-то встрѣтилась съ гр. Л. Толстымъ. По приѣздѣ оттуда, при первомъ-же моемъ визитѣ къ нимъ, она почти сразу заговорила о своемъ свиданіи съ авторомъ „Войны и мира“, — и, можете себѣ представить, я ея не узналъ: щени ея пылали, глаза метали искры и были полны слезъ. Она имѣла видъ женщины, глубоко кѣмъ-либо оскорбленной.

— Представьте себѣ, восклицала она съ негодованіемъ, — графъ-то Левъ Николаевичъ, святой человекъ не отъ міра сего, что мнѣ наговорилъ насчетъ нашей братіи, учащихъ женщинъ!... Да никто еще въ жизни моей не нанесъ мнѣ такого кроваваго оскорбленія, не попралъ всѣхъ моихъ идеаловъ такъ безчеловѣчно и черство, не насмѣялся такъ надъ всѣми моими самыми лучшими инстинктами. И все это такъ бездоказательно, хотя въ тоже время, на основаніи, яко-бы, ученія любви и милосердія!... Это возмутительно!... ужасно!... Я ничего подобнаго не встрѣчала и не ожидала, и отъ кого-же!...

Я просила пріятельницу успокоиться и рассказать толкомъ, въ чемъ дѣло. Долго горячилась барыня и ограничивалась одними восклицаніями, въ родѣ вышеприведенныхъ; наконецъ, изливъ все свое негодованіе, она передала во всѣхъ подробностяхъ отъ слова до слова свое свиданіе съ гр. Л. Толстымъ. Оказалось, что почтенный авторъ „Войны и мира“ затронулъ въ разговорѣ съ пріятельницей женскій вопросъ и отнесся къ нему весьма неблагоклонно. По счастью, не надѣясь на свою память, барыня записала все, что говорилъ ей гр. Л. Толстой по этому поводу. И я, съ своей стороны, считаю не лишнимъ поѣлѣться этимъ съ моими читателями. За то, что барыня совершенно вѣрно передала мысли гр. Толстого и ничего не прибавила отъ себя, я могу поручиться. Такъ вотъ, какъ смотритъ гр. Л. Толстой на женскій вопросъ:

### IV.

«Какъ сказано въ библии—объявляя отъ моею пріятельницѣ,—мужчинѣ и женщинѣ данъ законъ—мужчинѣ законъ труда, женщинѣ—законъ рожденія дѣтей. Хотя мы по нашей наукѣ и nous avons changé tout ça, но законъ мужчины, какъ и женщины, остается неизмѣннымъ, какъ печень на своемъ мѣстѣ, и отступленіе отъ него казнится все также неизбѣжно смертью. Разница только въ томъ, что для мужчины отступленіе отъ закона казнится смертью въ такомъ бликомъ будущемъ, что оно можетъ быть названо настоящимъ, для женщинъ же отступленіе отъ закона казнится въ болѣе далекомъ будущемъ. Отступленіе общее всѣхъ мужчинъ отъ закона уничтожаетъ людей тотчасъ-же; отступленіе всѣхъ женщинъ уничтожаетъ людей слѣдующаго поколѣнія. Отступленіе-же нѣкоторыхъ мужчинъ и женщинъ не уничтожаетъ рода человеческого, а лишаетъ только отступившихъ разумной природы человека. Отступленіе мужчинъ отъ закона началось давно въ тѣхъ классахъ, которые могли насилловать другихъ, и, все распространяясь, продолжалось до нашего времени, а въ наше время дошло до безумія, до идеала, состоящаго въ отступленіи отъ закона, до идеала, выраженнаго княземъ Блохинимъ и раздѣляемаго Ренаномъ и всѣмъ образованнымъ міромъ: будучь работать машины, а люди будутъ наслаждающиеся комки первовъ. Отступленія отъ закона женщинъ почти не было. Оно выражалось только въ проституціи и въ частныхъ преступленіяхъ убиванія плода. Женщины круга людей богатыхъ исполняли свой законъ, тогда какъ мужчины не исполняли своего закона, и потому женщины стали сильнѣе и продолжаютъ владѣть и должны владѣть надъ людьми, отступившими отъ закона и потому потерявшими разумъ. Обратъ обыкновенно, что женщина (парижская женщина преимущественно, бездѣтная) такъ стала обворожительна, пользуется всѣми средствами цивилизаціи, что она этимъ своимъ обаяніемъ овладѣла мужчиной. Это не только несправедливо, но какъ разъ на-оборотъ. Овладѣла мужчиной не бездѣтная женщина, а мать,—та, которая исполняла свой законъ, тогда какъ мужчина не исполнялъ своего. Та-же женщина, которая неукоснительно дѣлается бездѣтною и влѣиваетъ мужчину своими плочами и локонями, это—не властвующая надъ мужчиной женщина, а развращенная мужчиной, оступившаяся до него, до развращеннаго мужчины, женщина, сама, такъ-же, какъ и онъ, отступившая отъ закона и теряющая всякій разумный смыслъ жизни. Изъ этой ошибки вытекаетъ и та удивительная глупость, которая называется правами женщинъ. Формула этихъ правъ женщинъ такая: «А! ты,

мужчина, — говоритъ женщина, — отступилъ отъ своего закона настоящаго труда, а хочешь, чтобы мы несли тяжесть нашего настоящаго труда? Нѣтъ, если такъ, то мы, также, какъ и ты, сумѣемъ дѣлать то подобіе труда, которое ты дѣлаешь въ банкахъ, министерствахъ, университетахъ, академіяхъ; мы хотимъ, также, какъ и ты, подъ видомъ раздѣленія труда, пользоваться трудами другихъ и жить, удовлетворяя одной похоти». Онѣ говорятъ это и на дѣлѣ показываютъ, что онѣ никакъ не хуже, еще лучше мужичиѣ умѣютъ дѣлать это подобіе труда. Такъ называемый, женскій вопросъ возникъ и могъ возникнуть только среди мужичиѣ, отступившихъ отъ закона настоящаго труда. Стоить только вернуться къ нему, и вопроса этого быть не можетъ. Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужичиѣ, — въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ мужичиѣ богатаго класса.

«Если-бы только женщины попили свое значеніе, свою силу и употребляли ее на дѣло спасенія своихъ мужей, братьевъ и дѣтей, на спасеніе всѣхъ людей! Женѣ—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онѣ страдаютъ, въ вашихъ рукахъ. Не тѣ—женщины, которыя заняты своими талантами, турнирами, приключеніями и пѣвнотельностью для мужичиѣ и, противъ своей воли, по недогадкѣ, съ отчаяніемъ рожаютъ дѣтей и отдають ихъ кормилицамъ; и не тѣ тоже, которыя ходятъ на разные курсы и говорятъ о психомоторныхъ центрахъ и дифференціаціи и тоже стараются избавиться отъ рожденія дѣтей съ тѣмъ, чтобы не прельстившись своему одурманію, которое онѣ называютъ развитіемъ, а тѣ—женщины и матери, которыя, имѣя возможность избавиться отъ рожденія дѣтей, прямо, сознательно подчиняются этому вѣчному, неизмѣнному закону, зная, что тирость и трудъ этого подчиненія есть назначеніе ихъ жизни, вотъ эти-то женщины и матери нашихъ богатыхъ классовъ—тѣ, въ рукахъ которыхъ, больше чѣмъ въ чьихъ-нибудь другихъ, лежитъ спасеніе людей нашего міра отъ удручающихъ ихъ бѣдствій. Вы, женщины и матери, сознательно подчиняющіяся закону Бога, вы одни знаете, въ нашемъ несчастіи, изуродованности, потерявшемъ образъ человѣческой кругу, вы одни знаете весь настоящій смыслъ жизни, по закону Бога, и вы одни своими примѣромъ можете показать людямъ то счастье жизни въ подчиненіи волѣ Бога, котораго они лишаютъ себя. Вы одни знаете тѣ восторги и радости, захватывающія все существо, то блаженство, которое предназначено человѣку, не отступающему отъ закона Бога. Вы знаете счастье любви къ мужу—счастье, не кончающееся, не обрывающееся, какъ все другое, а составляющее начало новаго счастья, любви къ ребенку. Вы одни, когда вы проситъ и покорны волѣ Бога, знаете не тотъ шуточный парадный трудъ, въ мундирахъ и въ ослѣпленныхъ залахъ, который мужичиѣ нашего круга называютъ трудомъ, а знаете тотъ истинный, Богомъ положенный людямъ трудъ и знаете истинныя награды за него, то блаженство, которое онѣ дастъ».

## V.

Но тутъ барыня вырвала у меня изъ рукъ записку свою, которую я читалъ громко и вскричала:

— Нѣтъ, ради Христа, будетъ, будетъ, я не въ силахъ слушать болѣе, а боюсь, что сейчасъ разрыдаюсь!.. Ну, положимъ, пусть гр. Л. Толстой, уткнувшись въ свой затхлый и темный уголокъ, просматривалъ тотъ общій и дружный отпоръ, какой сдѣлало наше интеллигентное общество ученію Мальтуса, въ лицѣ

лучшихъ своихъ литературныхъ и ученыхъ представителей, такъ что увлеклись этимъ ученіемъ развѣ только одни мутные подонки этого общества, нѣсколько растлѣнныхъ и распущенныхъ сластолюбцевъ, вышедшихъ изъ вульгарныхъ сералаей. Допустимъ, что мы, посѣщающія курсы и дерзающія говорить о психомоторныхъ центрахъ, и въ самомъ дѣлѣ проклятыя отродья, которыхъ графъ, съ высоты своей святости, имѣеть полное право ставить въ одинъ рядъ съ француженками-кокетками и преситутками, хотя я, все-таки, никакъ не могу понять, чѣмъ я не жена своему мужу, чѣмъ я не мать своимъ дѣтямъ, и какъ это медицина можетъ помѣшать мнѣ честно исполнять семейныя обязанности мои!.. Но допустимъ... Какъ-же графъ упустилъ изъ вида тѣ самыя трудящіяся массы, которыя, по его мнѣнію, дѣлають жизнь, и которыя онѣ ставятъ, поэтому, въ основѣ жизни?.. По его мнѣнію, вся жизнь женщины, все ее время должно быть поглощено однимъ дѣтороженіемъ со всѣми его заботами?.. Ну, а крестьянка, которая, сверхъ этого, является помощницею своего мужа во всѣхъ его трудахъ, крестьянка, которая жнетъ, убираетъ сѣно, молотитъ, ходитъ за скотомъ, сажаетъ овощи въ огородахъ, полетъ грады, мочитъ ленъ, дѣлаетъ изъ него пряжу и проч., и проч., — значить, она тоже отступаетъ отъ основнаго закона своей природы и искажаетъ свой человѣческій образъ?.. Моя подруга провела надъ книгами нѣсколько лѣтъ самаго упорнаго труда для того, чтобы сдѣлаться образцовой учительницею. Вотъ уже три года, какъ она, завѣдуя сельскою школою, работаетъ, не жалея своихъ молодыхъ силъ, стараясь разлить вокругъ себя свѣтъ грамотности и науки! И она обречена проклятію, потому только, что судьба не послала ей до сихъ поръ мужа, который помогъ-бы ей исполнить вѣковѣчный законъ, хотя она вовсе не прочь отъ этого! И отъ кого-же остается намъ вдругъ ожидать спасенія? Отъ женщинъ, которыя, правда, никогда и не слышали о Мальтусѣ, но которыя безсознательно, въ силу однихъ условій своей жизни, очень часто доходятъ до полнаго безплодія. Развѣ не показываетъ намъ статистика, что плодородіе чаще имѣеть мѣсто, именно, среди трудящихся классовъ, тамъ, гдѣ женщина сверхъ дѣтороженія несетъ на себѣ массу мужскаго труда. Въ классахъ-же, гдѣ женщина имѣеть возможность заниматься однимъ только дѣтороженіемъ, напротивъ того, мы встречаемъ на каждомъ шагѣ барынь, приводящихъ своихъ безплодныхъ цѣлые роды къ вымиранию»...

Долго, возмущаясь и клянясь, возразила моя знакомая, приводя массу и изъ современной, и изъ исторической жизни примѣровъ женщинъ, во всѣхъ отношеніяхъ снѣтыхъ и пользующихся всеобщимъ почетомъ не за одно только дѣтороженіе и плодородіе. Если-бы я захотѣлъ привести все эти доводы, то ихъ хватило-бы на цѣлую книгу. Тщетно старался и испоконъ свою приятельницу и заставить ее взглянуть на дѣло болѣе хладнокровно. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, въ чѣмъ-же, главнымъ образомъ, заключался источникъ всего ее раздраженія, какъ не въ ней-же самой? Вольно-же было ей возводить графа Л. Толстого въ какой-то кумиръ и авторитетъ для того, чтобы потомъ такъ жестоко разочароваться въ него! Давно

слѣдовало ей понять, что разъ человѣкъ отвергнулъ и науку, и искусство, и вмѣстѣ съ гнилыми плодами цивилизации, все тѣ свѣжіе и питательные плоды ея, проквѣстаніе которыхъ стоило человѣчеству тысячелѣтняго упорнаго и кроваваго труда, отвернулся отъ жизни и весь ушелъ въ буквѣдство, въ схоластическую премудрость сличенія текстовъ, то что-же мудренаго, если онъ и не до такихъ нелѣпостей договорится еще!

## V.

## Мой отвѣтъ Оболенскому.

## I.

Въ апрѣльской книжкѣ „Русскаго Богатства“ Оболенскій, или я ужъ не знаю кто изъ его соудниковъ (статья не подписана), — представилъ нѣсколько возраженій на мою замѣтку объ отношеніи гр. Л. Толстого къ женскому вопросу. Начинаетъ мой оппонентъ съ того, что я неправильно приписываю графу Л. Толстому отрицаніе науки и искусства, и въ доказательство приводитъ слѣдующую выписку изъ того-же самаго трактата графа Л. Толстого, изъ котораго цитировалъ и я.

«Наука и искусство, — говоритъ графъ Л. Толстой, — такъ-же необходимы для людей, какъ пища, питье и одежда, даже необходимѣе; но они дѣлаются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то, что мы называемъ наукою и искусствомъ, — необходимо, а только потому, что они дѣйствительно необходимы. Вѣдь, если для тѣлесной пищи людей будутъ готовить сѣно, то мое убѣжденіе въ томъ, что сѣно есть пища людей, не сдѣлаетъ того, что сѣно станетъ пищею людей. Я, вѣдь, не могу сказать: «что-жъ ты не ѣшь сѣна, когда оно — необходимая пища». Пища необходима, но можетъ случиться, что то, что я предлагаю, — вовсе не пища. Вотъ это самое и случилось съ нашею наукою и искусствомъ. Сколько-бы мы ни говорили, — *дѣло, которымъ мы занимаемся, считалъ козлякомъ и изслѣдуя гимическимъ (?) составъ млечнаго пути, рисуетъ русалокъ и историческія картины, сочиняя повѣсти и симфоніи, — наше дѣло не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, пока оно не будетъ охотно приниматься теми людьми, для которыхъ оно дѣлается. А до сихъ поръ не принимается.*

Итакъ, повидимому, графъ Л. Толстой считаетъ науку и искусства столь-же необходимыми для людей, какъ пища, питье и одежда, — чего-же, вѣздось-бы, убѣдительно, что онъ ихъ не отрицаетъ? Да, но это только *повидимому*, и напрасно оппонентъ мой возражаетъ мнѣ далѣе, что графъ Л. Толстой считаетъ наши науки и искусства фиктивными только потому, что они сосредоточены въ рукахъ немногихъ лицъ, которыя, занимаясь ими, присваиваютъ себѣ привилегію отклоняться отъ физическаго труда. Смѣшно было-бы отрицать пользу и достоинство какой-нибудь вещи только потому, что вещь эта, сама по себѣ драгоценная, лежитъ запертою въ комодѣ, а не предоставляется во всеобщее употребленіе. Да гр. Л. Толстой этого и не дѣлаетъ. Правда, въ приведенной выпискѣ онъ говоритъ, что наше

дѣло (козляки, млечный путь, повѣсти, симфоніи) не станетъ ни наукою, ни искусствомъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ приниматься охотно теми, для кого дѣлается; но на одной этой фразѣ нельзя еще строить весь взглядъ гр. Л. Толстого на значеніе науки и искусства, какъ это дѣлаетъ мой почтенный оппонентъ. Слѣдуетъ взять во вниманіе весь трактатъ гр. Л. Толстого объ этомъ предметѣ, и тогда мы увидимъ, что въ подчеркнутой нами фразѣ таится совершенно особенный смыслъ, и что нельзя понимать ее такъ, какъ понимаетъ мой почтенный оппонентъ.

## II.

Вѣдь, если-бы въ трактатѣ гр. Л. Толстого все дѣло сводилось къ тому горячему когда-то, но давно сданному въ архивъ спору о чистой наукѣ и чистомъ искусствѣ, который въ концѣ 50-хъ годовъ стоялъ на первомъ планѣ въ нашей литературѣ, то стоило-ли гр. Л. Толстому огорождать городить и напусту сдѣлать? Для кого-же теперь не ясно, какъ божій день, что ученый не долженъ быть архивною крысою и, уткнувшись въ какую-нибудь узенькую специальность, всю жизнь проводить въ томъ, чтобы изучать бугорокъ на какой-нибудь микроскопической козлякѣ, а обязанъ охватывать всю науку и все прилегающія къ ней отрасли знанія и стремиться прилагать свои свѣдѣнія къ пользѣ своего народа и всего человечества; что и художникъ, въ свою очередь, долженъ творить не для одного личнаго самоуслажденія и эстетическихъ восторговъ небольшой кучки знатоковъ, а для массы, съ дѣльною подлитью умственнаго и нравственнаго ихъ уровня. Если-бы весь трактатъ гр. Л. Толстого сводился къ подобнымъ трионизмамъ, то это было-бы безцѣльное повтореніе задовъ и новое открытіе Америкъ.

Но въ томъ-то и дѣло, что гр. Л. Толстой отрицаетъ науки и искусства отнюдь не въ томъ смыслѣ, какъ это полагаетъ мой оппонентъ, т. е. что они, молъ, существуя на народныхъ деньгахъ, стоить народу очень дорого, а ничего ему не даютъ. Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ. Во многихъ мѣстахъ своего трактата Л. Толстой очень прямо и ясно даетъ понять, что наука и искусства, въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, по самому существу своему фиктивны и не способны дать что-либо народу, что, если-бы они ничего народу не стоили, а предлагались-бы ему даромъ, если-бы, затѣмъ, ученые, между прочимъ, занимались какими ни на есть каторжными физическими трудами, то въ такомъ случаѣ народъ не принялъ-бы нашихъ наукъ, а презрительно отвергъ-бы, потому что для народа необходимы совсѣмъ иныя науки и искусства... Какіе-же именно?..

## III.

Объ искусствѣ мы спорить не будемъ. Относительно его критика не одинъ уже десятокъ лѣтъ твердитъ, что для того, чтобы искусство встало вполнѣ на народную почву и удовлетворяло массы, оно должно подвергнуться полному перевороту, причежь, конечно, переворотъ этотъ зависить не отъ личнаго произво-

да художниковъ, а отъ естественнаго и органическаго хода вещей. Объ искусствѣ тѣмъ болѣе безплодно намъ спорить, что дѣятельность на половину непроизвольная, обусловливаемая и духомъ времени, и духомъ среды, и личными особенностями тѣхъ или другихъ художниковъ, — искусство, дѣйствительно, подъ вліяніемъ ненормальныхъ условий можетъ всецѣло стоять на ложной дорогѣ и быть фиктивнымъ, каковы, напримѣръ, и были произведенія ложно-классическія, романтическія и масса другихъ, имѣющихъ лишь одно историческое значеніе, и которыми если и продолжаютъ восторгаться, то по рутинѣ, утвердившейся въ нами, словно по какой-то, хотя и скучной, но, все-таки, священной обязанности.

По другое дѣло — наука, стоящая на отвлеченной, международной и междувременной почвѣ врожденной человѣку любознательности. Разъ истина есть несомнѣнная истина, то какъ можетъ быть она фиктивна или не фиктивна, полезна или бесполезна? Какъ сказать уму: вотъ эти-то ты, умъ, интересуешься, это изслѣдуй, а сюда и заглядывать не смѣй. Я очень былъ бы радъ, чтобы Оболенскій, именно никто иной, какъ Оболенскій, издающій научно-популярный журналъ, на страницахъ котораго очень часто вы встрѣчаете рѣчи и о козьякахъ, и о млечномъ пути, далъ мнѣ списокъ, какими предметами науки я имѣю право интересоваться и какими не имѣю.

Вѣдь, вотъ я въ своей душевной простотѣ наивно думалъ, что заниматься козьяками не только интересно, но и полезно для самого того народа, о которомъ такъ заботятся гр. Л. Толстой и Оболенскій. Мнѣ, когда и вспоминалъ Дженнера съ его вакцинаціей, приходило на память, что, когда у насъ вводилась вакцинація, народъ сильно сопротивлялся этому и подозрѣвалъ въ оснопрививаніи наложеніе антихристовыхъ печатей. Теперь Оболенскій, дѣлая выписку изъ трактата Л. Толстого о фиктивности занятія козьяками, пока народъ не будетъ съ охотою принимать научныя истины и, соглашаясь съ этою выпискою, предлагаетъ мнѣ эти-то самымъ считать фиктивными и Дженнера, и ту несомнѣнную пользу, которую принесла народу вакцинація, избавивъ въ теченіе ста лѣтъ не одинъ десятокъ тысячъ людей отъ преждевременной смерти.

О пользѣ-же изученія состава млечнаго пути, далеко не представляющей такой очевидности, какъ изслѣдованія Дженнера и Пастера, — и говорить, конечно, нечего. Долой всю астрономію безъ всякихъ возраженій, — для чего она народу!..

Да, Оболенскій, я жду отъ васъ, какъ манны небесной, осыпайте меня спискомъ наукъ нужныхъ и ненужныхъ. Особенно дорого мнѣ получить отъ васъ такой списокъ потому именно, что изъ вашего журнала я извлекъ убѣжденіе, что всѣ науки, всѣ отрасли знанія находятся въ тѣсной и неразрывной связи между собою, что нѣтъ возможности вынуть хоть одинъ кирпичикъ и надѣяться, что дѣло можетъ обойтись безъ него и чтобы все зданіе не рухнуло. Связь эта не только не уменьшается, а напротивъ того, растетъ, и можетъ быть близко время, когда всѣ науки сольются въ одну единую и нераздѣльную. На этомъ основаніи я полагаю, что если одну

науку мы станемъ считать несомнѣнно полезною для народа, то полезны и всѣ прочія, потому что нѣтъ возможности изучать одну безъ посредства другихъ. Такъ, напримѣръ, положимъ, что знаніе состава млечнаго пути можетъ казаться совершенно безплоднымъ и празднымъ; но, вѣдь, это часть астрономіи. Безъ изученія-же астрономіи, немислима метеорологія, — наука, пользу которой для народа, даже и въ настоящемъ ея несовершенномъ видѣ, отрицать болѣе чѣмъ курьезно.

Въ томъ-то и дѣло, что, увы, никогда Оболенскій не дастъ мнѣ списокъ, о которомъ я прошу, потому что заняться составленіемъ такого списокъ, значило бы для него отказаться отъ всего своего прошлаго и настоящаго, и поставить и самого себя, и журналъ, который онъ издаетъ, въ невозобразимый и невозможный абсурдъ!

#### IV.

А вотъ гр. Л. Толстой, если мы обратимся къ его трактату, тотчасъ-же безъ малѣйшаго замедленія и затрудненія отвѣтитъ на нашъ вопросъ съ тою смѣлостью и категоричностью, съ которыми онъ трактуетъ обо всѣхъ вещахъ. Ко всѣмъ, безъ исключенія, наукамъ, изъ которыхъ многія не перестаетъ уважать Оболенскій и до сегодня, гр. Л. Толстой относится съ открытымъ презрѣніемъ и ненавистью. Самыя слова: „положительное знаніе“, „точная наука“ и т. п. въ глазахъ его имѣютъ, словно, какое-то бранное значеніе и онъ въ трактатѣ своемъ не иначе употребляетъ эти слова, какъ прибавляя къ нимъ различныя уничижительныя выраженія, въ родѣ „такъ-называемыя“ и „съ позволенія сказать“. Всѣ науки, преподаваемыя въ университетахъ, — и астрономію, и физиологію, и химію, и физіку, и медицину, и пр., — онъ считаетъ въ одинаковой степени не стоящими выдѣленнаго янца, и, опять-таки, не потому, чтобы науки эти были для народа дороги и существовали для немногихъ, а потому, что народъ по существу не нуждается въ нихъ. Для народа необходима совсѣмъ иная наука, которая учила-бы не тому, что такое млечный путь, или какое-то тамъ, прахъ его возьми, тиготоніе, а какъ человѣку жить праведно, чтобы спастись. Вотъ это-то и есть, по мнѣнію графа Л. Толстого, наука истинная въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ, фиктивныхъ; ея-то, именно, народъ и жаждетъ; ея-то только и способенъ онъ принимать охотно. Гр. Л. Толстой приводитъ въ своемъ трактатѣ списокъ тѣхъ истинныхъ мудрецовъ, которые учили людей не млечнымъ путямъ и козьякамъ, а какъ жить праведно; таковы были Будда, Конфуцій, Магометъ и прочіе проповѣдники въ такомъ-же родѣ. Эти провозглашатели вѣковѣчныхъ истинъ, по мнѣнію гр. Л. Толстого, одни только могутъ быть признаны истинными мудрецами и учеными; они одни только доступны и необходимы народу. Это разъясняетъ намъ и тотъ сокровенный смыслъ, который таится въ приведенной мною почтеннымъ оппонентомъ цитатѣ, — смыслъ, который совершенно напрасно оппонентъ мой угадываетъ. Да, совершенно справедливо, что гр. Л. Толстой считаетъ науку необходимѣе нищи, платя,

одежды, — но какую науку? Именно науку Будды, Магомета, Конфуція и пр., учащую народъ, какъ ему праведно жить; а прочія всѣ науки представляются гр. Л. Толстому тѣмъ самымъ сѣномъ, которое мы предлагаемъ народу подъ видомъ пищи. Когда-же гр. Л. Толстой говоритъ, что наши науки до тѣхъ поръ не будутъ науками, пока не станутъ охотно приниматься народомъ, онъ не безъ лукавства раздражаетъ здѣсь, что онъ и никогда не способен охотно приниматься народомъ; поэтому онъ и заканчиваетъ свою рѣчь проницательнымъ восклицаніемъ: „а до сихъ поръ не принимается!...“ Оппонентъ мой этого слова-то, именно, и не примѣтилъ. Читалъ-ли онъ весь трактатъ слюна?

## V.

Теперь обратимся къ возраженіямъ оппонента моего относительно женскаго вопроса. Возраженія эти оппонентъ мой начинаетъ съ того, что обвиняетъ меня въ искаженіи одного мѣста цитаты, приведенной мною изъ трактата графа Л. Толстого. У меня было приведено такъ: „Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣжный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ трудѣ мужчины: въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла потребовать участія только въ мнимогъ трудѣ мужчины богатого класса“. Слѣдуетъ же читать такъ: „Женщина, имѣя свой особенный несомнѣнный, неизбѣжный трудъ, никогда не можетъ требовать еще лишняго фальшиваго труда мужчинъ богатыхъ классовъ. Ни одна жена истинно рабочаго человѣка не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рудникахъ, на пашнѣ“.

Если Оболенскій предполагаетъ здѣсь какое-нибудь умывленное искаженіе съ моей стороны, то онъ очень ошибается. Я дословно привелъ цитату изъ бывшаго въ моихъ рукахъ текста, и не моя вина, если въ текстѣ оказался пропускъ, хотя нужно взять еще тутъ во вниманіе и вотъ какое обстоятельство. Известно ли Оболенскому, что глава изъ трактата гр. Л. Толстого о женщинахъ существуетъ въ двухъ редакціяхъ: первоначальной, наиболее рѣзкой и переполненной непечатными словами, и позднѣйшей, въ которой гр. Л. Толстой многое измѣнилъ, сократилъ, выпустилъ. Я имѣлъ дѣло съ послѣдней редакціей, первоначальной-же не видалъ, и очень возможно, что разница, замѣченная Оболенскимъ, происходитъ отъ этого обстоятельства, а, можетъ быть, и отъ какого-либо иного, — я не знаю; да, къ тому-же, и разница эта далеко не такъ важна, и нисколько она не измѣняетъ дѣла, чтобы на ней особенно долго останавливаться. Обратимся къ самому дѣлу.

Возраженія моего оппонента заключаются въ томъ, что я будто-бы не замѣтилъ, что гр. Л. Толстой отрицаетъ стремленіе женщинъ не къ тому труду, который онъ считаетъ необходимымъ, полезнымъ, а къ тому, который онъ отрицаетъ и у мужчинъ. Гр. Л. Толстой видитъ, что есть женщины, которыя понимаютъ „женскій вопросъ“ въ томъ смыслѣ, что надо добиваться правъ на тотъ самый трудъ, который и для мужчинъ гр. Л. Толстой признаетъ безнравственнымъ;

какъ-же онъ можетъ отнестись иначе къ этому стремленію, какъ не отрицательно?

Далѣе оппонентъ мой утверждаетъ, что вотъ и нашъ знаменитый сатирикъ, Щедринъ, говори о женскомъ вопросѣ, поставилъ, будто-бы, дѣло совершенно сходно; онъ указалъ на тѣ отдѣлы интеллигентнаго мужскаго труда, которые ему, по его убѣжденію, казались особенно несимпатичными, и спрашивалъ: „неужели женщина будетъ добиваться правъ и на эти роды мужскаго труда, которые ему, по его убѣжденію, казались особенно несимпатичными, и спрашивалъ: „неужели женщина будетъ добиваться правъ и на эти роды мужскаго труда?“ Въ свою очередь, и Михайловскій, обсуждая женскій вопросъ, писалъ въ 70-хъ годахъ, что онъ не понимаетъ отдѣльнаго женскаго вопроса, что есть одинъ вопросъ — „рабочій“, и въ этотъ-то вопросъ входитъ, какъ часть, вопросъ женскій, но именно только какъ „рабочій“ женскій вопросъ. И только такому женскому вопросу можно сочувствовать, а вовсе не тому женскому вопросу, который имѣеть въ виду тѣ права и привилегіи женщины, которыя нежелательны и у мужчинъ...

## VI.

И опять-таки осмѣливаюсь заявить моему почтенному оппоненту, что онъ имѣеть дѣло не съ подлиннымъ гр. Л. Толстымъ, а съ фиктивнымъ, или самымъ, можетъ оппонентомъ, сочиненнымъ. Подлинный гр. Л. Толстой вовсе не ограничивается однимъ отрицаніемъ стремленій женщинъ къ такимъ интеллигентнымъ трудамъ, которые онъ считаетъ ложными и безнравственными у мужчинъ, а категорично утверждаетъ, что у женщинъ искони вѣковъ существуетъ уже свой специальный женскій трудъ рожденія и воспитанія дѣтей, что этотъ трудъ есть единственный истинный и вѣковѣчный женскій трудъ; — другихъ-же женскихъ трудовъ нѣтъ и быть не можетъ. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что женскій вопросъ — фиктивенъ, въ свою очередь, по существу, что если-бы интеллигентный мужской трудъ сдѣлался истиннымъ, нравственнымъ, полезнымъ, женщина и въ такомъ случаѣ не должна была-бы добиваться его. Зачѣмъ-же это ей, когда она имѣеть уже свой собственный трудъ, опредѣленный ей вѣковѣчнымъ закономъ? Судите сами, что же тутъ общаго со взглядами на женскій вопросъ Щедрина и Михайловскаго? Изъ только и остается открещиваться отъ моего оппонента, который воображаетъ, что и они, подобно гр. Л. Толстому, держатся того мнѣнія, что женщины только и опредѣлено рожать и кормить, кормить и рожать.

До какой прямой и крайней послѣдовательности доходить въ этомъ отношеніи гр. Л. Толстой, мы не можемъ судить изъ того, что, ради отстаиванія своего положенія о вѣковѣчномъ законѣ женскаго труда, онъ совершенно перевернулъ весь центръ тяжести своего мировоззрѣнія послѣднихъ дѣтъ. Обыкновенно въ мировоззрѣніи этомъ онъ опирался на народъ, на тѣ массы, которыя дѣлають жизнь; отъ этихъ массъ онъ учился и ихъ непосредственной вѣрѣ, и происходящей изъ нея знаперадостности, и уворству въ торжломъ трудѣ, и незлобію, и спокойному отношенію къ болѣзнямъ, страданіямъ и самой смерти. Но дошло до женскаго вопроса, — и массы, творящія жизнь, оказались материаломъ совершенно неподхо-

идишь. Правда, ни одна жена истинно рабского человека не потребуетъ права участія въ его трудѣ: въ рубничкахъ, паининъ, но не потребуетъ просто потому, что нѣтъ никакой надобности и требовать того, что и безъ всякихъ требованій исполняется на практикѣ само собою: если имѣется нужда, то жена мужика и поле вспашетъ, и коней напоятъ, и въ тѣхъ сѣздахъ за дровами. А развѣ не встрѣчается большачихъ, которыми, въ качествѣ представительницъ душевныхъ надблговъ, управляютъ въ свой чередъ должностъ сотскихъ? А развѣ не случается, что иная большачиха, стоя во главѣ многочисленной семьи, ведетъ обширную торговлю?

Итъ, массы, дѣлающія жизнь, оказываются здѣсь не къ чему непригодными, и вдругъ, отвращаясь отъ нихъ, графъ Л. Толстой обращается внезапно въ другую сторону и восклицаетъ: „Жены—матери богатыхъ классовъ, спасеніе людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онѣ страдаютъ, въ вашихъ рубчихъ“ и т. д. Это какъ нельзя болѣе понятно и въ высшей степени послѣдовательно: дѣйствительно, гдѣ же мы можемъ найти женщинъ, наиболѣе подходящихъ къ идеалу гр. Л. Толстого—исключительнаго исполненія вѣковѣчнаго закона дѣтороженія, какъ не въ тѣхъ классахъ, гдѣ женщина настолько обезпечена, что ничто не можетъ побудить ее заниматься несвойственными ей занятіями и она способна отдаться всецѣло своимъ дѣтямъ?

А мой почтенный оппонентъ разсмысленъ вдругъ въ увѣщаніяхъ гр. Л. Толстому обратить вниманіе на средніе классы и уразумѣть, что для нихъ куры составляютъ вовсе не одну забаву и поблажку лоды, а существенную необходимость, и при этомъ нечлнются всѣ пункты этой необходимости. Но неужели моему почтенному оппоненту неизвѣстно, что гр. Л. Толстой искони признавалъ достойными вниманія, какъ основы и краи руской земли, только два класса: богатыхъ дворянъ и крестьянъ; на средніе-же классы онъ всегда смотрѣлъ презрительно, какъ на пеструю и безхарактерную толпу безчеловѣчныхъ проходимцевъ, какъ на нѣчто межечеловѣчное, ублюдочное, какъ на клонку, въ которую стекаются все выродившееся и потому обѣднѣвшее изъ высшихъ классовъ и все растлѣнное и оторванное отъ крестьянскаго міра. Такъ сейчасъ, по указанію редакціи „Русскаго Богатства“, гр. Л. Толстой и обратитъ свое благосклонное вниманіе на средніе классы,—дожидайтесь!...

## VI.

„Трудъ мужчинъ и женщинъ“ гр. Л. Толстого и новыя возраженія мои на мнѣнія гр. Толстого о женскихъ обязанностяхъ.

### I.

Въ № 5—6 „Русскаго Богатства“ мы встрѣчаемъ два возраженія противъ тѣхъ изъ моихъ замѣтокъ, въ которыхъ я оспаривалъ идеи гр. Л. Толстого относительно женскаго вопроса и науки вообще:

возраженіе гр. Л. Толстого въ маленькой статейкѣ „Трудъ мужчинъ и женщинъ“ и самого издателя „Русскаго Богатства“, Оболенскаго, въ статьѣ: „Л. Н. Толстой и О. Контъ о наукѣ“. Вотъ, этими возраженіями теперь мы и займемся.

Игнорируя совершенно историческіе факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ различно было положеніе женщинъ и взгляды на ихъ обязанности у различныхъ народовъ, и какое въ этомъ отношеніи пестрое разнообразіе видимъ мы и въ настоящее время на поверхности земного шара, гр. Л. Толстой категорически утверждаетъ, какъ нѣчто непреложное, что подобно тому, какъ солнце съ незапамятныхъ вѣковъ всегда восходило на востокѣ, а заходило на западѣ, такъ и женщина самою природою вещей предназначена только рожать и воспитывать дѣтей и всегда повсюду только этимъ и занималась и только сообразно этому и оцѣнивалась. „Таково,—говоритъ онъ,— всегда было общее мнѣніе и таково оно всегда будетъ, потому что таково сущность дѣла“.

При этомъ, подобно тому, какъ и въ первоначальномъ своемъ трактатѣ о женскомъ трудѣ, и въ своихъ настоящихъ возраженіяхъ гр. Л. Толстой совершенно игнорируетъ положеніе женщины въ томъ классѣ, который, сообразно вѣдѣю его основнымъ идеямъ, сохраняетъ вполнѣ нормальную, разумно-естественную жизнь, долженствующую служить нашимъ идеаламъ, именно въ земледѣльческомъ классѣ. Гр. Л. Толстому не можетъ быть неизвѣстнымъ, что мужикъ оцѣнивается въ женщинѣ прежде всего работницу, въ качествѣ помощницы его въ земледѣльческомъ трудѣ, а потомъ уже самку. Онъ и при выборѣ себѣ жены руководствуется не тѣмъ, чтобы жена побольше дѣтей ему рожала, да была-бы хорошею кормилицею, а, чтобы она именно была *расторонною работницею*. Гр. Л. Толстому, вѣроятно, кромѣ того, хорошо извѣстно, что, кромѣ пахоты и косыби, баба участвуетъ во всѣхъ прочихъ земледѣльческихъ работахъ, безъ исключенія. И неужели-же гр. Л. Толстому неизвѣстно, что совершенно вопреки его мнѣнію, будто нравственность женщины всегда и вездѣ оцѣнивается лишь по тому, насколько она правильно и честно исполняетъ свое исключительное призваніе, въ земледѣльческомъ классѣ выходитъ совершенно наоборотъ: если женщина обладаетъ дюжею силою, проворствомъ и неустанною энергіею въ земледѣльческомъ трудѣ, то и родные, и міране обыкновенно сквозь пальцы смотрятъ и на ея безилодіе, и на болѣе тяжкіе грѣшки по части вѣрности семейному долгу и не перестаютъ относиться къ ней съ уваженіемъ; крестьянка же, которая только и оказывается способною рожать и вскармливать, является несчастнымъ существомъ, терпящимъ всеобщее презрѣніе и даже побои отъ мужа и его родныхъ.

Я указываю на этотъ фактъ, какъ на основное опроверженіе взглядовъ гр. Л. Толстого на обязанности женщинъ, опроверженіе тѣмъ болѣе вѣское, что оно основывается на существенныхъ началахъ его же собственнаго ученія, указывающаго намъ на *массы, дѣлающія жизнь*, призывающаго насъ идти изъ города въ деревни, на лоно природы и учиться жить у мужиковъ. Гр. Л. Толстой могъ въ первоначаль-

ножъ трактатѣ о женщинахъ упустить изъ вида этотъ фактъ по неосмотрительности, по недомыслию, или просто потому, что онъ не успѣлъ еще отдѣлаться отъ нѣкоторыхъ своихъ ветхихъ и узкословныхъ предразсудковъ, но разъ ему указано было на такой колоссальныхъ размѣровъ фактъ, и онъ въ своихъ возраженіяхъ, все-таки, продолжаетъ оспаривать его, то это выходитъ уже болѣе чѣмъ странно...

## II.

Но разъ гр. Л. Толстой, призывающій насъ учиться у мужа, излекаетъ свои непреложные догматы женскихъ обязанностей изъ быта привилегированныхъ классовъ общества, жизнь которыхъ онъ самъ же считаетъ ненормальною, то этимъ онъ и намъ развязываетъ руки обратиться къ этимъ классамъ и посмотреть, дѣйствительно-ли здѣсь мы видимъ тотъ порядокъ въ распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, который гр. Л. Толстой считаетъ непреложнымъ, вѣдущимъ и вѣчнымъ закономъ, его же не преидши.

Но и здѣсь мы находимъ со стороны гр. Л. Толстого какое-то странное, слѣпое упорство въ искаженіи фактовъ, самыхъ очевидныхъ и общезнаемыхъ. Въ земледѣльческихъ классахъ мы видимъ, что, вопреки взглядамъ гр. Л. Толстого, женщина оцѣнивается не только какъ самка, но и какъ участница наравнѣ съ мужемъ во всѣхъ почти работахъ. Здѣсь же, наоборотъ, намъ приходится отстаивать мужшину и доказывать, что совершенно напрасно полагаетъ гр. Л. Толстой, будто обязанности продолженія человеческого рода принадлежатъ исключительно женщинамъ, а мужчина совсѣмъ ихъ не раздѣляетъ и не участвуетъ въ нихъ. Вы только обратите вниманіе на большинство труженниковъ всякаго рода, живущихъ на зарабатываемы деньги, чуждыхъ всякихъ новыхъ идей и вполне сохраняющихъ установленную вѣками норму семейной жизни; однимъ словомъ, мужъ занимается тою или другою профессіею, жена рождаетъ, вскармливаетъ дѣтей, хозяйничаетъ и только.

На первый поверхностный взглядъ намъ кажется, что такая семья вполнѣ соответствуетъ идеалу гр. Л. Толстого относительно распредѣленія обязанностей. Но это можетъ показаться, именно, только на первый взглядъ, самый поверхностный и легкомысленный. А если взглянемъ въ подобный семейный строй глубже, что же мы увидимъ? Мы увидимъ, что дѣйствительно женскія обязанности по отношенію къ дѣтямъ являются передъ нами гораздо интенсивнѣе, чѣмъ мужскія: женщина несетъ на себѣ иго беременности, родитъ въ страшныхъ мукахъ, ежеминутно угрожающихъ ей смертію, кормитъ ребенка своею грудью (не всегда, правда, но мы беремъ вполнѣ нормальную, идеальную семью), ходитъ за ними, нянчитъ, обмываетъ, любитъ его страстно и нѣжно, чѣмъ отецъ... Но мы не говоримъ уже, что и во всѣхъ этихъ первоначальныхъ процессахъ продолженія человеческого рода роль мужа не маловажная, не говоримъ также и обо всѣхъ аксессуарахъ дѣторожденія, созданныхъ жизнью (акушеркахъ, крестинахъ, дѣтскихъ игрушкахъ и т. п.), — для того уже, чтобы вполнѣ правильно и

гигиенично совершился актъ беременности и родовъ и чтобы женщина оказалась хорошею кормилицею, т. е., чтобы продолженіе человеческого рода не было одною комедіею, а дѣйствительно, имѣло вѣсто, мужъ обязанъ принять въ этомъ участіе, окруживъ жену такою обстановкою, чтобы она могла быть здоровою роженицею и кормилицею. Обстановка же эта дается не даромъ труженнику, не лишнему готовыхъ капиталовъ; средства на нее необходимо заработать; и вотъ является излишекъ труда, въ которомъ человѣкъ не нуждается бы, если бы былъ одинъ со своею головою, а теперь приходится вырваться въ лишніе оглобли и нести дань тому же продолженію рода. Женщина, отбывши свою повинность, покоится на лаврахъ; а для мужчины тутъ только и начинается страда, которая съ каждымъ годомъ растетъ, какъ комъ снѣга, скатывающійся съ горъ, и экстенсивно разстилается порою на всю жизнь до гробовой доски. И если бы еще страда ограничивалась одними материальными средствами, которыми мужъ снабжалъ бы жену, предоставляя ей всецѣло заботиться о воспитаніи дѣтей, а то вѣтъ: мужъ обязанъ участвовать въ воспитаніи дѣтей наравнѣ съ женою. Плохой тотъ отецъ, который не чечется о нравственною и умственною воспитаніи дѣтей, не учитъ ихъ, чему можетъ, не заботится о помѣщеніи ихъ въ учебное заведеніе, не слѣдитъ за ихъ успѣхами и нравственностью. Тутъ вѣтъ физическихъ болей, но сколько здѣсь зато нравственныхъ мукъ, пытокъ, не ограничивающихся какими-нибудь девятидесятидневными сроками, а изъ года въ годъ таящихся безпрерывно.

## III.

Противники женскаго труда говорятъ, обыкновенно, что разъ женщина несетъ и безъ того очень тяжелыя обязанности по дѣторожденію и хозяйству, жестоко было бы налагать на нее новыя еще тяжести. Но, главнымъ образомъ, опираются они на то, что семейныя обязанности совершенно прелятствуютъ женщинамъ запыта чѣмъ-либо постороннимъ: представьте себѣ, говорятъ, — что назначено засѣданіе суда, а председателю или прокурору въ юбкѣ вдругъ приходитъ время рожать. Но не будемъ долго останавливаться на опроверженіи подобныхъ абсурдовъ и достаточно будетъ привести намъ тотъ доводъ, что женщина можетъ рожать только разъ въ годъ, председатель же, мужчина, можетъ разъ десять въ годъ внезапно захворать, и никому не приходитъ въ голову опровергать на подобныхъ паткахъ основаніяхъ компетентность мужчинъ на занятіе судейскихъ должностей.

Обратимъ лучше вниманіе вотъ на какое обстоятельство. Если не только внимательство женщины въ мужскіе труды, но самое образованіе ея, мало-маленьки превышающее элементарную грамотность, гр. Л. Толстой считаетъ уже щепотью, засыпающимъ драгоценный черноземъ, который весь исключительно долженъ быть употребленъ на жатву человеческого рода, то, по закону раздѣленія труда, совершенно логически и послѣдовательно, мы должны и мужчинъ, обремененныхъ исключительно на труды увеличенія блага въ



существующемъ человечествѣ, освободить отъ всѣхъ дѣлопроизводительныхъ работъ и считать эти работы тоже своего рода землемъ, засоряющимъ черноземъ. Помилуйте, содержаніе ребенка, вмѣстѣ съ воспитаніемъ, самое скромное, нищенское, никакъ не можетъ обойтись дешевле 200 р. въ годъ. Если дѣтей въ семействѣ шестеро (а графъ Л. Толстой о томъ только и хлопочетъ, чтобы ихъ было побольше), то дѣлопроизводительный бюджетъ долженъ простираться до 1,200 рублей. Предполагая затѣмъ, что поставленіе ребенка на ноги простирается не менѣе 20 лѣтъ, мы имѣемъ капиталъ въ 24,000, который чадолобивый отецъ обязанъ затратить на своихъ дѣтей въ продолженіе своей жизни. Теперь подумайте, сколько на этотъ капиталъ могъ сдѣлать бы мужчина затратъ, необходимыхъ для улучшенія своего труда, если бы, согласно предположеніямъ гр. Л. Толстого, онъ былъ преданъ окончательно своимъ мужскимъ обязанностямъ, т. е., въ свою очередь, представлялъ бы изъ себя дѣвственный черноземъ, не засоряемый никакими посторонними мусорами? Но вы мало того что допускаете, — вы требуете, чтобы мужчина часть своего времени и зарабатываемыхъ денегъ употреблялъ на продолженіе человечества; вы смотрите, какъ на человѣка въ высшей степени безправственнаго, какъ на презрѣннаго негодая, на мужикну, который, производя дѣтей, бросаетъ ихъ на руки женщины и не тратится на нихъ, не заботится о нихъ, какъ подобаетъ отцу. На какомъ же основаніи, заботясь о томъ, чтобы съ женщины не сдирали двухъ шкуръ, вы хотите сдирать по двѣ шкуры съ мужчины?

Понимаете-ли вы, какая кроется здѣсь вопіющая несправедливость и отсутствіе всякой логики? И никогда мы не выберемся изъ этого лабиринта противорѣчій, если мы не признаемъ, что еднственный, вполне логичный, справедливый и разумный идеалъ семейной жизни заключается въ томъ, чтобы какъ на мужа, такъ и на жену, въ равной степени, смотря, конечно, по особенностямъ мужской и женской природы, были возлагаемы обязанности какъ продолженія человечества, такъ и увеличенія блага въ средѣ его. Это мы и видимъ въ крестьянской семьѣ. Гр. Л. Толстой-же отвращается отъ крестьянской семьи, а ищетъ идеала семейной жизни въ богатыхъ слояхъ общества, гдѣ масса всякаго рода извращеній и лжи осѣдляютъ его и приводятъ къ извращеннымъ и ложнымъ выводамъ.

#### IV.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, откуда могъ взять гр. Л. Толстой тотъ законъ распредѣленія мужскихъ и женскихъ обязанностей, который онъ считаетъ чѣмъ-то всегда существовавшимъ, существующимъ и на мѣки вѣковъ непреложнымъ? Изъ той прародительской заповѣди, которую онъ ставитъ во главѣ своего трактата? Но прародительская заповѣдь, заповѣдая мужчине въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой, а женщинѣ — въ муслахъ рожать чада, не заключаетъ въ себѣ и тѣни какого-либо отрицательнаго смысла въ видѣ запрещенія мужчине заботиться о дѣтяхъ

своихъ, а женщинѣ — вмѣшиваться въ зарабатываніе хлѣба. Въ крестьянскомъ быту, въ свою очередь, гр. Л. Толстой не могъ найти ничего подобнаго. Даже и въ городскомъ извращенномъ быту, въ трудящихся классахъ, какъ мы видимъ, не существуетъ такого правильнаго распредѣленія: правда, женщина здѣсь рѣдко и мало участвуетъ въ мужскихъ трудахъ, зато мужчина, относительно дѣтей, только что не рождаетъ, да грудью не вскармливаетъ, а всѣ остальные заботы и хлопоты о чадахъ въ большей степени лежатъ на его плечахъ, чѣмъ жены его. Гдѣ-же, наконецъ, это *сеида и вездѣ* гр. Л. Толстого? А вотъ гдѣ: тамъ, гдѣ люди не трудятся, а бѣдятъ даровой хлѣбъ, гдѣ, дѣйствительно, женщины, если она помнитъ о своихъ человѣческихъ обязанностяхъ, только и остается, что рожать дѣтей и воспитывать ихъ, а мужчина можетъ отложить о дѣтяхъ всякія попеченія, такъ какъ даровой хлѣбъ и безъ его заботъ прокормитъ ихъ, и ему только и остается, что предаваться различнымъ общественнымъ обязанностямъ, если онъ не желаетъ помереть со скуки.

Такимъ образомъ, вотъ откуда ведутъ свои начала тѣ идеи о распредѣленіи мужскихъ и женскихъ обязанностей, съ которыми выступаетъ нынѣ гр. Л. Толстой такъ догматически и категорически. Это сидитъ въ почтенномъ авторѣ „Войны и мира“ весьма ветхая закваска крѣпостнаго права. Я весьма далеко отъ какихъ-либо изысканій и пытаній относительно того, насколько гр. Л. Толстой въ своей личной жизни вѣренъ своимъ идеямъ и насколько противорѣчитъ имъ, — предоставляю это дѣло его совѣсти и не беру на себя права судить его, какъ человѣка, тѣмъ болѣе, что и не знаю его жизни и поведенія. Но другое совсѣмъ дѣло, когда мы читаемъ его напечатанныя строки, и онъ передъ нами является какъ публицистъ и проповѣдникъ; въ предѣлахъ его писательской дѣятельности мы имѣемъ право не только указать на каждое противорѣчіе однихъ словъ съ другими, но и опредѣлить источникъ этого противорѣчія. — И вотъ въ настоящемъ случаѣ мы ни мало не желаемъ унизить въ гр. Л. Толстого человѣка, когда говоримъ, что источникъ его дикихъ взглядовъ на мужскія и женскія обязанности лежитъ въ старой закваскѣ крѣпостнаго права. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы гр. Л. Толстой былъ сознательнымъ крѣпостникомъ. Очень часто, помимо нашего сознанія и воли и совершенно вопреки всѣмъ нашимъ убѣжденіямъ, выработаннымъ жизненнымъ опытомъ и многолѣтними размышленіями, въ насъ заявляютъ о себѣ осадки разныхъ ветхихъ предрассудковъ, въ духѣ которыхъ мы были воспитаны или которые унаследовали въ крови отъ предковъ нашихъ. Мы съ дѣтства привыкаемъ думать, что тотъ семейный строй, въ предѣлахъ котораго мы находимся, существуетъ вездѣ и всегда, какъ нѣчто непреложное, и что тѣ понятія, которыя высказываютъ намъ старшіе, раздѣляются всѣмъ человечествомъ и господствуютъ во всѣхъ слояхъ общества; и, съ другой стороны, большихъ успѣй стоитъ намъ усвоивать себѣ тѣ мысли и чувства, которыя волнуютъ людей иной среды и строя. Я очень хорошо понимаю, что, не испытавши на себѣ и десятой доли той семейной ноши и всѣхъ тѣхъ мучи-

тельныхъ заботъ и тревогъ о дѣтяхъ, какія испыты-  
ваютъ городскіе труженники, гр. Л. Толстой можетъ  
легко вообразить, будто мужичинъ только и предостав-  
лены однѣ общественныя обязанности, въ дѣлѣ-же  
продолженія человечества онъ и въ усь не дуетъ; по-  
нимаю я также, какъ трудно ему войти въ душу му-  
жика и вполнѣ ясно представить себѣ, какъ это му-  
жикъ можетъ до такой степени дѣлать въ бабѣ ра-  
ботницу, чтобы изъ-за этой оцѣнки быть готову по-  
давить въ себѣ ревность или помпираться со скорбною  
долею бездѣтной семьи. До такой степени все это труд-  
но гр. Л. Толстому, что, повидному, ему и въ голову  
до сихъ поръ ничего подобнаго не приходило; онъ  
ездѣ и всегда предполагалъ тѣ самыя семейныя на-  
чала, какія привыкъ видѣть вблизи себя...

## VII.

### Нужны-ли для народа особенныя науки и иску- ства?

#### I.

Ни въ чемъ не проявляется такъ ясно и наглядно  
наше дикое невѣжество, сквозящее иногда изъ-подъ  
самаго блестящаго лоска поверхностной образованно-  
сти, какъ въ рабскомъ поверганіи нищѣ передъ каж-  
дымъ мало-мальски прославившимся человѣкомъ, въ  
безпрекословномъ подчиненіи передъ его авторитетомъ,  
доходящемъ порою до полного самоуничтоженія и умо-  
помраченія. На Западѣ великіе люди почитаются, мо-  
жетъ быть, болѣе еще, чѣмъ у насъ, но каждый изъ  
нихъ дѣлится не иначе, какъ лишь въ предѣлахъ сво-  
его величія, шпенно за то, чѣмъ человѣкъ великъ. Ни-  
кому въ голову не придетъ, на томъ основаніи, что Гете  
создалъ Фауста, назначить его вдругъ предводителемъ  
войска или отъ него-же ожидать разрѣшенія какого-  
нибудь философскаго вопроса. Поэтому и великіе лю-  
ди на Западѣ скромнѣе, подвизаются на своихъ спе-  
ціальныхъ поприщахъ, не изъясняютъ ни калѣбныхъ  
претензій на всезнайство и всемогущество и не яв-  
ляются готовыми съ англобомъ непогрѣшимого божес-  
тва съ легкостью серны порхать по всѣмъ вопросамъ  
науки и жизни.

У насъ-же это дѣлается не такъ. У насъ стодтъ  
человѣку приобрести популярность за что нибудь одно,  
и сейчасъ на него начинаютъ смотрѣть, какъ на все-  
объемлющее божество, способное сегодня написать  
геніальное произведеніе, завтра одержать морскую по-  
бѣду, послѣ завтра создать новую религію, а главное  
дѣло — каждое слово его внимается съ благоговѣніемъ,  
въ каждомъ изреченіи его видятъ непреложную исти-  
ну и бездонную глубину премудрости. Зато и великіе  
люди у насъ, въ свою очередь, суются со своими ге-  
ніальными носами, куда имъ вздумается, и рады при-  
няться за что угодно. За примѣрами ходить недалеко.  
Стоило, напримѣръ, одному нашему великому чело-  
вѣку прославиться, какъ хорошему хирургу, и затѣмъ  
въ счастливый моментъ подъема общественнаго духа  
написать маленькую статеечку, въ которой обмол-

виться нѣсколькими тепленькими, но крайне общими  
и неопредѣленными фразами относительно пользы пра-  
свѣщеніи, — и вотъ его, отъ роду никогда не зна-  
маваго педагогію, кромѣ развѣ обычныхъ дешевыхъ  
уроковъ въ студенческіе годы, дѣлаютъ вдругъ  
почетителемъ учебнаго округа, подобострастные рос-  
сіяне начинаютъ повергаться нищѣ передъ каждымъ  
его педагогическимъ изреченіемъ, и не малаго труда  
стоило литературѣ разубѣдить ихъ въ непогрѣшимости  
этого педагогическаго кумира, когда онъ началъ  
доказывать нѣчто въ родѣ, если не пользы, то  
во всякомъ случаѣ, необходимости розогъ. — Возьмемъ  
вы другой примѣръ — генерала Скобелева. — Стоило  
приобрѣсти ему популярность въ качествѣ побѣдоно-  
снаго полководца и храбраго вѣчна, и подобострастные  
россіяне начали уже благоговѣнно внимать каждому  
его сужденію о разныхъ политическихъ и социаль-  
ныхъ вопросахъ, и еслибы судьба продлила его годы,  
и не сомнѣваюсь, что онъ додумался-бы до какогони-  
будь собственнаго своего мірообъемлющаго ученія и  
навѣрное имѣлъ-бы тысячи адептовъ и поклонни-  
ковъ. Но чего не успѣлъ Скобелевъ по случаю своей  
преждевременной смерти, то съ большимъ успѣхомъ  
совершилъ гр. Л. Толстой, которому стоило только на-  
писать „Войну и миръ“ и „Анну Каренину“ для того,  
чтобы приобрести право на безапелляціонное рѣшеніе  
всѣхъ вопросовъ жизни и смерти, и я ни мало не буду  
удивленъ, если въ одинъ прекрасный день гр. Л. Тол-  
стой вдругъ объявитъ себя непогрѣшимымъ диагно-  
стомъ по всѣмъ внутреннимъ и наружнымъ болѣзнямъ;  
повѣрьте, что сначала вся Москва, а за нею и все  
Россія, покинувъ и Воткина, и Захарьина, и прочіе  
медицинскія свѣтила, бросятся къ этому новоовладе-  
ному цѣлителю недуговъ. — „Помилуйте, — ска-  
жутъ, — у кого-же и лечиться, если не у гр. Л. Тол-  
стого?“

#### II.

Избалованные подобнымъ поклоніемъ, наши ве-  
ликіе люди поневолѣ дѣлаются такими самодурками,  
подобныхъ которымъ вы не сыщете на всемъ блгозѣ  
свѣтѣ. Можно положительно сказать, что для нихъ  
не существуетъ никакихъ законовъ — ни божескихъ,  
ни человѣческихъ; они сочиняютъ свои собственныя  
законы; на то они великіе люди, а ваше дѣло внимать  
имъ и подчиняться. Вы, напримѣръ, думаете, что рѣ-  
ки текутъ сверху внизъ, а великому человѣку придетъ  
вдругъ въ голову, что онѣ текутъ снизу вверхъ, — и  
не смотря на всю очевидность, не смотря на всѣ до-  
воды разума и доказательства науки, великій чело-  
вѣкъ съ упрямствомъ Кита Китыча будетъ твердить,  
не переставая: — „рѣки текутъ вверхъ, рѣки текутъ  
вверхъ!“ и не только массы простыхъ смертныхъ,  
но и патентованныя свѣтила науки начнутъ сомнѣ-  
ваться: „А что какъ и въ самомъ дѣлѣ рѣки-то те-  
кутъ вверхъ? На какомъ-нибудь основаніи да на-  
чать-же утверждать эту истину столь великій умъ!“

Оттого и случается обыкновенно такъ, что у на-  
шего великаго челоѣка хватаетъ геніальности лишь  
на то, чтобы прославиться и сдѣлаться популярнымъ,  
а затѣмъ онъ начинаетъ съ каждымъ годомъ все бо-

дѣе и болѣе совершать нѣчто совершенно несообразное, стараясь, въ качествѣ гения, ходить на головѣ, зѣвать ногами, слушать глазами, смотрѣть носомъ; да и въ чеху сталь-бы онъ поддерживать свое величье новыми успѣхами и трудами, когда онъ увѣренъ, что что-бы онъ такое ни сплосилъ, хотя бы и совершенно бессмысленное, всему этому будутъ аннотировать и ахать.

Вотъ, напримеръ, гр. Л. Толстой: мы нисколько не удивимся, если завтра-же пзъ-за своего высокоблагороднаго презрѣнiя къ „научной наукѣ“ онъ начнетъ доказывать намъ, что солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два—стеариновая свѣчка; и отчего-же ему не доказывать этого, если не только какiя-нибудь следивыя барыни съ идеальными воздыханiями тотчасъ-же повѣрятъ ему на слово, но и Оболенскiй въ своемъ научномъ журналѣ начнетъ тотчасъ расширяться, подтверждая, что дѣйствительно солнце ходитъ вокругъ земли и дважды два—стеариновая свѣчка. Вѣдь вотъ посмотрите, до чего дошелъ сѣбъ неуслышанный страхъ наукъ въ своемъ пресмыканiи иерархъ гр. Л. Толстымъ. Казалось-бы, что развѣ не такъ-ли-же очевидная для каждаго ребенка и вѣковѣчная аксиома, какъ дважды два четыре, слѣдующее хотя-бы положенiе, высказанное впервые Кондорсе и затѣмъ подтверждаемое Контомъ—что не стремленiе къ гнѣмъ или другимъ полезнымъ изобрѣтенiямъ приводить ученыхъ къ изслѣдованiю законовъ природы, а, напротивъ того, изученiе этихъ законовъ ведетъ за собою изобрѣтенiя? Возьмемъ хотя-бы всѣ тѣ многочисленные примѣненiя, которыя въ послѣднiе годы сдѣланы на счетъ электричества.—Очевидно, что всѣ эти примѣненiя только тогда и сдѣлались возможны, когда наука настолько изслѣдовала законы этой силы, что доставила людямъ возможность извлекать ее изъ природы, возбуждать и направлять сообразно своимъ цѣлямъ. Раньше-же этого наука не могла и предвидѣть, къ чему приведутъ ее изслѣдованiя. Могли-ли Вольта или Гальвани, дѣлая свои опыты, напередъ знать, что эти опыты въ результатѣ своемъ лѣтъ черезъ 50, черезъ 100 поведутъ за собою изобрѣтенiе телеграфовъ, телефоновъ и т. п. Очевидно, имъ и не снилось ничего подобнаго да и не могло сниться; дальше громоотводовъ они не шли въ своихъ предположенiяхъ о пользѣ электричества; но это не хѣшало имъ сдѣлать массу изслѣдованiй и опытовъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ громоотводами и въ то-же время не заключавшихъ въ себѣ никакихъ сознательныхъ и предвзятыхъ утилитарныхъ цѣлей, изслѣдованiй вполнѣ въ духѣ чистой науки, по которымъ, тѣмъ не менѣе, привели къ самымъ богатымъ и совершенно неожиданнымъ результатамъ въ техническомъ отношенiи. Такъ точно и въ настоящее время можемъ-ли мы стремиться изобрѣсти что-либо, если мы не знаемъ тѣхъ законовъ, изъ которыхъ вытекло-бы это изобрѣтенiе? Очевидно, что мы не только не можемъ стремиться, но и представить себѣ не въ состоянiи, какаго рода будетъ это изобрѣтенiе. Думать иначе—все равно, что стараться поцѣловать себя въ спину или заказать себѣ увидѣть тотъ или другой сонъ. На этомъ основанiи Кондорсе и сказалъ, что „наука только тогда можетъ быть полезна жизни, когда она

совсѣмъ о ней забываетъ, и, наоборотъ, едва она начинаетъ заботиться о жизни, она гибнетъ не только какъ наука теоретическая, но и какъ практическая“. Контъ-же подтвердилъ эту мысль Кондорсе, говоря, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ наука приноситъ практическую пользу только тогда, когда о ней совершенно не заботились, а увлекались только теоретическими умозрѣнiями.

Если эти утвержденiя Кондорсе и Конта мы можемъ признать не совсѣмъ вѣрными, то развѣ въ одномъ только отношенiи: вѣрно здѣсь то, что будто наука, задающаяся предвзятыми утилитарными цѣлями, гибнетъ и какъ теоретическая наука, и какъ техника. Итъ, она не гибнетъ, но путь отъ теорiи къ практикѣ, все-таки, остается до такой степени единственнымъ и неизбежнымъ, что даже когда люди мечтаютъ идти по иному пути, они, все-таки, сами того не сознавая, идутъ все по той-же дорогѣ. Задаваясь предвзятыми утилитарными цѣлями, они начинаютъ изслѣдовать законы природы сообразно этимъ цѣлямъ, увлекаются затѣмъ изслѣдованiями совершенно уже безкорыстно и приходятъ вдругъ къ результатамъ совершенно неожиданнымъ; является не одно, а нѣсколько изобрѣтенiй, о которыхъ прежде и не мечтали. Такъ, въ среднiе вѣка наука имѣла строго утилитарный характеръ; занимались ею исключительно для того, чтобы научиться дѣлать золото или эликсиръ безсмертiя; но на пути къ этимъ предвзятымъ цѣлямъ наткнулись на массу открытiй, которыя повели къ драгоценнымъ изобрѣтенiямъ, не имѣвшимъ ничего общаго съ первоначальными цѣлями, и увидѣли такимъ образомъ, что шли совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ воображали идти, а все тѣмъ-же переходомъ отъ неожиданныхъ открытiй къ непредвидимымъ изобрѣтенiямъ.

### III.

И вотъ, можете себѣ представить, противъ этой-то, именно азбучной аксиомы и вооружается вдругъ Оболенскiй, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого. Въ этой аксиомѣ ему мерещатся отрѣшенiе науки отъ жизни и увлеченiе ея отвлеченно-умозрительными цѣлями. Наука, по его мнѣнiю, должна непосредственно служить жизни, а такъ какъ науки бываютъ разныя и не каждая изъ нихъ можетъ сейчасъ-же въ одинъ мигъ преподнести вамъ лопотъ или вальсъ, то опять таки мы приходимъ все къ тому же вопросу, какими науками намъ заниматься, а какiя презрѣть? По крайней мѣрѣ, иначе мы никакъ не можемъ понять слѣдующей хотя-бы выдержки изъ трактата гр. Л. Толстого, приводимой Оболенскимъ въ подтвержденiе своихъ мыслей:

«Область знанiя вообще всего человѣчества такъ многообразна—отъ знанiя, какъ добывать желѣзо, до знанiя движенiя свѣтила,—что человѣкъ терается въ этой многочисленности существующихъ знанiй и въ безконечности возможныхъ знанiй, если у него нѣтъ руководящей нити, по которой-бы онъ могъ располагать эти знанiя, распредѣлить ихъ по степени ихъ значенiя и важности. Прежде, чѣмъ человѣкъ познаетъ что-бы то ни было, онъ долженъ рѣшить, что этотъ предметъ познанiя важенъ для него и важнѣе, и нужнѣе, чѣмъ тѣ другiе безчи-

сленные предметы познания, которыми онъ окруженъ. Прежде, чѣмъ изучить что нибудь, человекъ рѣшаетъ, для чего онъ изучаетъ этотъ предметъ, а не остальные. Изучать же все, какъ проповѣдуютъ въ наше время люди научной науки, безъ соображенія о томъ, что выйдетъ изъ этого изученія, прямо невозможно, потому что число предметовъ изученія безконечно...»

И такъ, какъ видите, число предметовъ изученія безконечно, изучать все невозможно, нужно выбрать, что поважнѣе и поуживѣе; ну, а прочее все, конечно, отбросить. И опять—таки мы спрашиваемъ у Оболенскаго, какія науки прикажетъ онъ намъ выкинуть за бортъ? Можно-ли, напримеръ, изучать намъ астрономію, съ ея химическимъ (!) изслѣдованіемъ млечнаго пути, или-же не прикажетъ-ли намъ Оболенскій, въ компаніи съ гр. Л. Толстымъ, раздѣлять вѣрованія народа о трехъ книгахъ?

Впрочемъ, по нѣкоторымъ выдержкамъ изъ гр. Л. Толстого мы можемъ до нѣкоторой степени составить понятіе о томъ, какого рода науки допускаетъ графъ, а за нѣмъ и Оболенскій, и что вообще они подразумеваютъ подъ тѣмъ научнымъ утилитаризмомъ, какой они проповѣдуютъ.

«Всѣ вопросы о томъ,—говоритъ гр. Л. Толстой на 309 стр. т. XII своихъ Сочиненій:—какъ лучше раздѣлять время труда, какъ лучше питаться, чѣмъ, въ какомъ видѣ, когда, какъ лучше одѣваться, обуваться, противодѣйствовать холоду, какъ лучше жить, кормить дѣтей, пеленать, *именно, въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ находится рабочий народъ,*— всѣ такіе вопросы еще и не поставлены...» Далѣе (тамъ-же, стр. 307): «Техникъ умѣютъ вычислить высшей математикой дугу моста, вычислить силу и передачу двигателя и т. п., но передъ простыми запросами народнаго труда они становятся въ тупикъ: какъ улучшить соху, телѣгу, какъ сдѣлать провѣдшимъ ручей, *все это въ тѣхъ условіяхъ жизни, въ которыхъ находится рабочий,*—онъ ничего этого не знаетъ и не понимаетъ. Дайте ему мастерскую, народу всякаго въ поле, выписку машинъ изъ-за границы, тогда онъ распорядится. А при данныхъ условіяхъ труда миллионовъ людей найти средства облегчить этотъ трудъ,—этого онъ ничего не знаетъ и не можетъ, и по своимъ знаніямъ, и привычкамъ, и требованіямъ отъ жизни не годится для этого дѣла». Далѣе, на 308 стр.: «Наука вся пристроилась къ богатымъ классамъ и своей задачей ставитъ, какъ считать тѣхъ людей, которые все могутъ достать себѣ, а потомъ послать лечить тѣхъ, у которыхъ нѣтъ ничего лишняго—тѣми-же средствами». И, наконецъ, на стр. 312 гр. Л. Толстой говоритъ: «Служеніе народу науками и искусствами будетъ только тогда, когда люди живутъ среди народа, и, какъ народъ, *не заывая никакихъ правъ,* будутъ предлагать ему свои научныя и художественныя услуги, принять или не принять которыя будетъ зависеть отъ воли народа».

Я нарочно привелъ всѣ тѣ мѣста, на которыя, главнымъ образомъ, опирается Оболенскій. Что-же мы здѣсь видимъ? Мы видимъ порицаніе науки, повидному, на такихъ почтенныхъ и высокыхъ основаніяхъ, какъ народное благо и польза; наука отрицается на томъ основаніи, что она пристроилась къ богатымъ классамъ; испинный ученый, другъ народа, долженъ идти въ его среду и работать непосредственно въ видахъ его насущныхъ нуждъ. Но вдумайтесь пристальнѣе во всѣ приведенныя нами мѣста и вы увидите, какая бездна возмутительнаго лицемерія скры-

вается здѣсь подъ высокими и сердобольными фразами о народномъ благѣ.

Гигіена, напримеръ, доказываетъ, что для здоровья необходимо, чтобы на каждого человека приходилось столько-то кубическихъ футовъ воздуха. Но такъ какъ только одни богатые могутъ пользоваться этими благами, то оказывается, что наука служитъ для однихъ богатыхъ классовъ; что-же касается до бѣдныхъ классовъ, то вмѣсто того, чтобы позаботиться о томъ, чтобы и ихъ снабдить, согласно указаніямъ гигиены, необходимымъ количествомъ воздуха, мы начинаемъ возмущаться на гигиену, зачѣмъ она не служитъ народу, не сообразуется съ настоящими условіями его жизни, а пребываетъ въ отвлеченныхъ сферахъ; чтобы сдѣлаться вполне утилитарной, она должна снискать къ народу и, вмѣсто того, чтобы внушать ему чрезмѣрныя требованія о правахъ на такое-же количество кубическихъ футовъ воздуха, какими пользуется гр. Л. Толстой, должна научить его обходиться совсѣмъ безъ воздуха. Наука создала рядъ полезнѣйшихъ земледѣльческихъ машинъ, которыя и въ Америкѣ, и въ Европѣ значительно облегчаютъ тяжесть сельскихъ трудовъ. Казалось-бы, что и при нынѣшнемъ, далеко не блистательномъ экономическомъ положеніи, народъ, еслибы былъ вооруженъ самыми небольшими знаніями, могъ-бы уже пользоваться этими машинами, покупая ихъ въ складчину цѣлыми волостями. Но оказывается, что и машины эти приобретены не для народа, а для гр. Л. Толстого. Ревнуя-же о народномъ благѣ, ученый не ступитъ какъ нельзя лучше, если забудетъ всѣ механическія премудрости, а пойдетъ въ деревню и тамъ займется кое-какимъ усовершенствованіемъ патріархальной прародительской сохи или приладитъ какой-нибудь лишній винтикъ къ телѣгѣ; для мужика и этого довольно... Для насъ съ вами хлѣба и карлсбадскія воды, а мужикъ и отъ ивовою коры выздоровѣетъ, зачѣмъ ему Маріенбадъ!

Повиаете-ли теперь, почему наши ревнители народнаго блага такъ не любятъ науки? Потому, что наука ставитъ свои вопросы ребромъ; ея указанія обязательны для всѣхъ людей безъ различія, си употребленія направлены къ тому, чтобы осчастливить все человечество. Наши-же ревнители народнаго блага хотятъ, чтобы ученые ломали головами надъ тѣмъ, какъ бы создать такую науку, чтобы она служила народу непременно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ существуетъ, не смѣя и думать о какихъ-либо измѣненіяхъ этихъ условій, однимъ словомъ—помогала мужику дышать безъ воздуха въ затхлоу дымовѣ, питаться безъ хлѣба, работать непременно первобытными орудіями времени Микуды Селяниновича и никакими другими. Однимъ словомъ, гр. Л. Толстой предписываетъ наукѣ идти той-же дорогою, какою онъ самъ идетъ на поприщѣ искусства. Онъ рѣшилъ, что художникъ, въ свою очередь, долженъ служить исключительно народу. Что можетъ быть выше такого рѣшенія? Но на практикѣ оказалось вѣдучъ, что изъ столь благороднаго рѣшенія вовсе не происходило, чтобы для народа началъ создавать гр. Л. Толстой произведенія, равносильныя, по своему художественному значенію, прежнимъ его твореніямъ. Нѣтъ, и здѣсь

казалось, что для насъ съ вами — „Война и миръ“, „Анна Каренина“, а для мужика, о — для него за глаза довольно нѣсколькихъ насоро сестрицанныхъ побасенокъ съ чудесами, чертями грошевою моралью.

#### IV.

Всѣ подобныя радѣнія о народномъ благѣ весьма падаютъ намъ помѣщичьи проекты освобожденія крестьянъ, во множествѣ предлагавшіеся правительству въ 40-е и 50-е годы. В. И. Семеновскій въ XV главѣ своего трактата „Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Императора Николая“ приводитъ нѣсколько такихъ проектовъ. Всѣ они имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ. Повсюду разсыпаны такія высокія и громкія фразы о необходимости великихъ жертвъ, объ избавленіи народа, стонущаго подъ ненавистнымъ игомъ рабства, отъ его вѣковыхъ нѣпней, повсюду радѣнія о его счастья и благосостояніи, — и въ концѣ концовъ, все сводится къ нулю и остается то-же крѣпостное право, только нѣсколько замаскированное, или предлагаются такія мѣры къ его постепенному уничтоженію, при которыхъ эмансипація могла-бы совершиться не менѣе, какъ въ тысячу лѣтъ.

Кстати, В. И. Семеновскій сообщаетъ въ своей статьѣ весьма любопытныя свѣдѣнія о положеніи крестьянъ передъ освобожденіемъ въ имѣніяхъ гр. Л. Толстого. Мы не имѣемъ охоты судить гр. Л. Толстого, какъ землевѣда, но не можемъ на этотъ разъ воздержаться и не привести выдержки изъ статьи В. И. Семеновскаго, такъ какъ, по нашему мнѣнію, выдержка эта даетъ намъ отличный ключъ къ уразумѣнію взглядовъ гр. Л. Толстого на науку и искусство въ связи съ народнымъ благомъ. Вотъ это мѣсто въ статьѣ В. И. Семеновскаго.

Приводя содержаніе гр. Л. Толстого „Утро помѣщика“, В. И. Семеновскій говоритъ:

«Мы не считаемъ себя вправе придавать этому разсказу гр. Л. П. Толстого автобиографическаго значенія \*), но данныя изъ жизни знаменитаго автора этой повѣсти приводятъ къ печальному выводу о несостоятельности той части интеллигенціи, которая создала несправильность своихъ отношеній къ крестьянамъ, но думала исправить зло не освобожденіемъ своихъ крестьянъ на такихъ условіяхъ, чтобы имъ не приходилось жаловаться на малоземелье, а лишь нѣкоторыхъ улучшить ихъ быта. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій («Такъ что-ль намъ дѣлать?») гр. Л. П. Толстой говоритъ: «Когда я былъ рабовладельцемъ и понималъ безправность своего положенія, я старался избавиться отъ него. Избавленіе-же мое состояло въ томъ, что я старался какъ можно менѣе предьявлять своихъ правъ рабовладельца, а жить и оставлять людей жить такъ, какъ будто этихъ правъ не существовало». — Сравнимъ это заявленіе автора съ показаніями, данными въ 1859 г. имъ самимъ

или, быть можетъ, его управляющимъ, по требованію ревизіонныхъ комиссій.

«Въ известномъ имѣніи гр. Л. П. Толстого, сельцѣ Ясной Полянѣ съ деревнями, крапивненскаго уѣзда, тульской губерніи, было въ то время 204 души кр. мужск. пола, 41 душа мужского пола дворовыхъ. Крестьяне были на оброкѣ и платили по 30 р. съ тягла; удобной земли на душу они имѣли по 2,82 дес. Оказывается, что по раздѣлу надѣла имѣніе гр. Л. Толстого принадлежало къ среднимъ, но по величинѣ оброка было выше средняго уровня: изъ 25 имѣній этого уѣзда, исполнѣ или частью бывшихъ на оброкѣ и въ которыхъ намъ известенъ его раздѣлъ, въ 17 оброкѣ былъ ниже, а именно, отъ 18 до 25 р. съ тягла, въ двухъ онъ измѣнился отъ 20 до 30 р. съ тягла, въ четырехъ (въ томъ числѣ и Ясной Полянѣ) равнялся 30 р. и только въ двухъ былъ выше (33 и 35 р.). Не слѣдуетъ думать, что выше оброки всегда совпадаютъ съ меньшимъ раздѣломъ надѣла; въ одномъ изъ имѣній, гдѣ крестьяне платили всего по 13 р. съ тягла, они имѣли по 3,04 дес. на душу, т. е. болѣе, чѣмъ у гр. Л. Толстого, въ другомъ, гдѣ платили по 14 р. 30 к. съ тягла, имъ было отведено даже по 4,58 дес. на душу. Такимъ образомъ, огромный оброкъ въ имѣніи гр. Л. Толстого не можетъ быть извиненъ раздѣломъ надѣла, а прибавить земли было изъ чего, такъ какъ за помѣщикомъ оставалось ея столько, что при отводѣ всей ея крестьянамъ пришлось-бы еще по 3,55 дес. на душу. Въ другомъ имѣніи гр. Л. П. Толстого, суджанскаго уѣзда, курской губерніи, которымъ онъ владѣлъ не одинъ, а вмѣстѣ съ двумя братьями, мы также не видимъ особыхъ стараній объ улучшеніи положенія крѣпостныхъ: здѣсь крестьяне *состояли на барщинѣ* и притомъ имѣли всего по 1,26 дес. удобной земли на душу и еще по 3 поза сѣна на тягло, въ томъ числѣ пахатной земли числилось всего по 1,09 дес. на душу, что было значительно ниже средняго уровня остальныхъ имѣній этого уѣзда».

В. И. Семеновскій очень ядовито относится къ этому факту жизни гр. Л. П. Толстого и видитъ здѣсь противорѣчіе между дѣломъ и словомъ, особенно-же современными словами гр. Л. Толстого. Я-же никакого противорѣчія здѣсь не нахожу, а, напротивъ, вижу строгую послѣдовательность: подобно тому, какъ имѣлъ гр. Л. Толстой проповѣдуетъ, что служить народу, помогать ему мы должны ухитряться такъ, чтобы это было въ предѣлахъ условій его быта безъ малѣйшихъ покушеній на улучшеніе этихъ условій, такъ и прежде онъ держался того правила, чтобы отнюдь не облегчать условій жизни народа, — и не облегчать.

#### VIII.

Нападки Оболенскаго на критиковъ гр. Л. Толстого и достоинство его собственныхъ полемическихъ пріемовъ.

#### I.

Есть полемика и полемка. Есть полемика честная, заключающаяся въ открытой борьбѣ имѣній, причестъ противники не касаются личностей другъ друга, не зализываютъ никуда въ сторону и не употребляютъ никакихъ драмныхъ пріемовъ, имѣющихъ цѣлью дискредитировать противника, обходя

\*) Выхдя со второго курса юридическаго факультета, гр. Л. П. Толстой прожилъ вторую половину сороковыхъ годовъ въ доставшейся ему, по раздѣлу, деревнѣ Ясной-Полянѣ (отенъ его умеръ въ 1837 году, и съ того времени до раздѣла имѣніе находилось въ опекуновомъ управленіи). Въ 1851 г. гр. Л. П. Толстой уѣхалъ на Кавказъ и тамъ, въ 1859 г., написалъ «Утро помѣщика».

его сзади, а ограничиваются тѣмъ, что каждый оставляетъ свое мнѣнiе исключительно одними научными или диалектическими способами. И есть полемика столь-же предсудительная, какъ и та школьная борьба, въ которой борцы стараются повалить другъ друга не одною силою мышцъ, а разными злоухищренiями, въ родѣ такъ называемыхъ „подножекъ“ и т. п.

Вы, напримѣръ, спорите съ кѣмъ-нибудь объ Александрѣ Баттенбергѣ, доказывая, что онъ ничтожный проходивецъ, желавшiй лишь наловить рыбки въ мутной водѣ. И вдругъ на всѣ ваши доводы противникъ вашъ, съ пѣною у рта доказывающiй, что Ал. Баттенбергъ—герой, — возражаетъ вамъ, что вы со всѣмъ некомпетентны въ этомъ спорѣ, что онъ и спорить съ вами не намеренъ, такъ какъ вы не знаете грамматики. Послѣ такого страннаго возраженiя противника вамъ остается только вытаращить глаза и спросить его, что онъ хочетъ сказать этимъ?

— Да какъ-же, — отвѣчаетъ вамъ противникъ: можете-ли вы имѣть основательныя данныя для утвержденiя, что за человекъ — Александръ Баттенбергъ, если вы настолько невѣжественны, что слово Баттенбергъ произносите черезъ одно *m*.

— Положимъ, вы ошибаетесь, — возражаете вы: я произношу слово Баттенбергъ черезъ два *m*, — но какое-же отношенiе имѣеть это къ нашему спору?

— А такое, что я самъ своими ушами слышалъ, какъ вы все время произносили Баттенбергъ, а не Баттенбергъ, и только послѣ моего уже указанiя въ послѣднiй разъ изволили произнести — Баттенбергъ, и это показываетъ въ васъ не только невѣжественность, а и недобросовѣстность, такъ какъ вы, воспользовавшись моимъ указанiемъ на вашу грамматическую ошибку, отрекаетесь отъ нея. А развѣ добросовѣстность и честность на моей сторонѣ, а не на вашей, то, слѣдовательно, на моей сторонѣ и правда; ergo, Ал. Баттенбергъ — герой.

Извольте спорить съ кѣмъ либо на такой почвѣ. Къ сожалѣнiю, у насъ всѣ полемики постоянно принамаютъ, въ концѣ-концовъ, подобный оборотъ.

## II.

Вотъ и Оболенскiй идетъ по тому-же доблестному пути. Въ августовской книжкѣ своего „Русскаго Богатства“ 1886 г., онъ снова полемизируетъ со мною по поводу идей гр. Л. Толстого, имѣя въ виду мой фельетонъ въ № 180 „Новостей“. Въ фельетонѣ этомъ, я, между прочимъ, занялся защитою мнѣнiя Кондорсе и Кюста объ отношенiи чистыхъ наукъ къ прикладнымъ, противъ нападокъ на эти мнѣнiя Оболенскаго. Съ цѣлью этой защиты я привелъ сначала мнѣнiя Кондорсе, а потомъ и говорю: *и вотъ, можете себя представить, противъ этой-то, именно, азбучной аксиомы вооружается вдругъ Оболенскiй, преклоняясь передъ идеями гр. Л. Толстого*. Уже изъ однихъ этихъ словъ, казалось-бы, ясно можно заключить, что дѣло идетъ здѣсь не о чьѣхъ помъ, какъ о мнѣнiи Кондорсе, противъ котораго Оболенскiй вооружается.

И вдругъ Оболенскiй возражаетъ мнѣ на это, буд-

то, вотъ я какой безчестный и недобросовѣстный человекъ: *взявъ изъ его-же статьи единственный противъ него аргументъ (мнѣнiе Кондорсе), не упомянувъ даже объ этомъ!*

Какое-же тутъ еще вы хотите упоминанiе, когда все дѣло идетъ именно о мнѣнiи Кондорсе, которое Оболенскiй опровергаетъ, замѣняя его своимъ собственнымъ, а я стараюсь его защитить и опровергнуть мнѣнiе Оболенскаго, — и вдругъ я попалъ въ какiе-то воры. И выходитъ, что вамъ противникъ утверждаетъ, будто Баттенбергъ герой. Вы ему возражаете: „Баттенбергъ герой? это отчего?“ А вамъ противникъ въ отвѣтъ на это вамъ вдругъ шлетъ: — „Вы повторяете мои слова, не упоминая, что они мои? Какой-же вы послѣ этого воръ!“

Съ чѣмъ-же можно сравнить подобную полемику, какъ не съ старанiемъ повалить противника „подножкой“?

## III.

А главное дѣло въ томъ, что я до сихъ поръ никакъ не могу понять, противъ чего спорить Оболенскiй, изъ-за чего онъ такъ рьяно коня ломаетъ? Видь, если вдуматься внимательно во всѣ доводы и возраженiя его и всмотрѣться во всѣ перипетии спора, то окажется, что между нимъ и его противниками вовсе нѣтъ какого-либо такого радикальнаго разнедагiя, которое оправдывало-бы полемику, что, въ сущности, спорить ему вовсе не изъ чего, а онъ все это дѣлаетъ: принисываетъ своимъ противникамъ такiя мнѣнiя и такiя побужденiя, о которыхъ нѣтъ и не слыхать, да потомъ возражаетъ противъ этихъ мнѣнiй заблужденiй доводами, которые беретъ изъ арсенала своихъ-же противниковъ. Въ концѣ концовъ, обидимъ противникамъ, прибывшимъ въ стѣнѣ, только и остается, что, открещиваясь отъ тѣхъ обвиненiй, которыя Оболенскiй на нихъ возводитъ, обѣими руками подниматься подъ весьма многими изъ его горячихъ возраженiй. Спрашивается, къ чему-же онъ все это дѣлаетъ?

Такъ, напримѣръ, на стр. 127, въ № VIII „Р. В.“ онъ говоритъ:

«Нѣкоторыя критики по поводу Толстого распространяются о другомъ противоположномъ злѣ, объ излишнемъ ханжествѣ публики передъ гениями. Такъ, Скабичевскiй говоритъ: «у насъ Скобелева, за то, что онъ великiй воинъ, считали способнымъ быть и великимъ политикомъ, а Толстого за то, что онъ великiй художникъ, считаютъ способнымъ быть и великимъ философомъ». Да, скажемъ мы, это большое зло, и слѣдуетъ разсматривать идеи человека по существу, а не потому, что онъ гений. Но, однако, изъ такое предубѣжденiе въ пользу гениевъ-художниковъ есть и основанiя: напримѣръ, тотъ-же Скабичевскiй (черезъ два фельетона послѣ того, что выше написано, и, вѣроятно, забывъ, что онъ писалъ о неистинности ожиданiя отъ гениальныхъ художниковъ хероншей философiи), пишетъ въ „Новостяхъ“ отъ 9-го августа: «Нельзя быть гениальнымъ художникомъ, не будучи широко образованнымъ и мыслительнымъ человекомъ». Но отсюда прямой выводъ, что отъ каждаго гениальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ интересныя идеи, развѣ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко мыслящимъ и образованнымъ человекомъ. Подобныя противорѣчiя у

Слабичевского, когда дѣло идетъ о Толстомъ, представляютъ любопытное психологическое значеніе: относительно генивъ умственное рабство сказывается въ двухъ противоположныхъ формахъ: одни работаютъ, а другие, наоборотъ, стараются дѣлать видъ, что вовсе ими не увлечены, что у нихъ достаточно собственного ума, чтобы къ гению относиться критически, и они дѣлутъ изъ кожи вонъ, чтобы удивить у него какую-нибудь оплошечку, противорѣчіе и при этомъ часто впадаютъ въ невозможныя вѣдності» и т. д.

Надо замѣтить, что въ связи съ этимъ, нѣсколько замше, Оболенскій не одного меня, а и всю русскую критику обвиняетъ въ особеннаго рода мыслибоязни, заключающейся въ томъ, что мы до такой степени не привыкли къ возникновенію у насъ оригинальныхъ мыслителей, теоретиковъ, творцовъ философскихъ и моральныхъ системъ, до такой степени привыкли жить мыслию массовою, стадной или-же замаскированной, что появленіе малѣйшей оригинальности, малѣйшаго отступленія отъ шаблоннаго цикла либеральныхъ или консервативныхъ идей, къ которымъ мы привыкли, является намъ чуть не свѣтопреставленіемъ...

«Отъ этого,—говоритъ Оболенскій (стр. 123),—наша критика представляетъ совершенную противоположность европейской: тамъ знаютъ цѣну плодамъ оригинальнаго творчества и умѣютъ хвалиться съ страстностью и даже абсурдами генивъ, выбирая полезное и цѣнное, что они даютъ человечеству; тамъ понимаютъ, что безъ творческой оригинальности прогрессъ остановился-бы, и мысль обратилась-бы въ китайскій застой, а потому и не пугаются экстравагантностей, присущихъ всякой оригинальности. У насъ критика понимала это лишь въ моментъ подъема нашей мысли, въ 60-хъ годахъ, когда имѣла въ литературѣ людей глубоко и всесторонне-образованныхъ. Одинъ изъ нихъ въ своемъ знаменитомъ публицистическомъ романѣ выразилъ устами героя слѣдующую мысль: «гораздо полезнѣе и интереснѣе прочесть толкованіе помѣшаннаго, но гениальнаго Ньютона на Апокалипсисъ, чѣмъ сотни книгъ, переведенныхъ чужія мысли». Теперешняя наша критика, вмѣсто того, чтобы идти по стопамъ европейской и умѣть выискивать пользу изъ гениальнаго творчества, умѣетъ исполнять лишь одну роль,—роль критики еретики Европы, такой критики, какой подвергли Джордано Бруно, Галлею, т. е. она стремится только показать, въ чемъ писатель отступилъ отъ шаблона (либеральнаго или консервативнаго), и затѣмъ сыплетъ на него прокурорскіе громы отъ имени либерализма или консерватизма, смотря по своей принадлежности къ тому или другому лагерю».

#### IV.

Но, во-первыхъ, подумайте, есть-ли хотя какое-нибудь противорѣчіе между двумя моими фельетонами, на которые указываетъ Оболенскій: въ одномъ изъ нихъ говорится о томъ, что свѣтло предполагать, будто великій художникъ долженъ быть мастеръ на все руки и ожидать отъ него, чтобы онъ былъ такъ-же великимъ полководцемъ или основателемъ новой религіи, а въ другомъ утверждается, что какой-бы ни былъ талантъ у художника, онъ никогда не сдѣлается великимъ, если не будетъ заботиться о своемъ образованіи. Я полагаю, что эти двѣ одинаково справедливыя истины могутъ преспокойно ужиться рядомъ, нисколько одна другую не опровергая, тѣмъ болѣе, что между ними нѣтъ ничего общаго, никакихъ

точекъ соприкосновенія. Не имѣя между собою разноты по существу, обѣ эти истины могутъ въ равной степени быть отнесены къ гр. Л. Толстому опять-таки безъ малѣйшаго противорѣчія. Такъ, мы имѣемъ полное право сказать, что изъ гр. Л. Толстого никогда не выработался-бы великій художникъ, если-бы онъ не позаботился о своемъ образованіи, а что онъ о немъ заботился и продолжаетъ заботиться, это мы можемъ заключить и изъ его художественныхъ произведеній, и изъ его исповѣди, и изъ его трактатовъ послѣдняго времени. Но развѣ мы признаемъ гр. Л. Толстого образованнѣйшимъ человекомъ нашего времени, то развѣ слѣдуетъ изъ этого, чтобы отъ него мы должны были-бы ждать и славы полководца, и мудрости основателя новой религіи? Что идеи его, во всякомъ случаѣ, интересны, что онѣ заслуживаютъ полнаго вниманія, кто-же обѣ этомъ станетъ спорить и изъ чего Оболенскій въ правѣ заключить, что идеи гр. Л. Толстого не интересуются? Вотъ, если-бы критика замалчивала эти идеи, относилась къ нимъ съ полнымъ индифферентизмомъ, это было-бы другое дѣло, и Оболенскій тогда въ полномъ правѣ былъ-бы упрекнуть критику, что «отъ каждаго гениальнаго художника можно ожидать по меньшей мѣрѣ нѣкоторыхъ идей, развѣ онъ въ то-же время не можетъ не быть широко-мыслимымъ и образованнымъ человекомъ». Между тѣмъ, мы видимъ совершенно наоборотъ: критика изрожденіи безъ малѣйшаго двухъ дѣтъ только и дѣлаетъ, что возится съ идеями гр. Л. Толстого; значитъ, она ихъ цѣнитъ и придаетъ имъ свое значеніе. Чего-же еще нужно Оболенскому?

И если-бы еще изъ-за двухъ-трехъ спорныхъ положеній критика отрицала идеи гр. Л. Толстого вслѣдствіе, ставила-бы крестъ надъ всею его дѣятельностью послѣднихъ лѣтъ и ограничивалась одними глумленіями надъ авторомъ «Войны и мира». Но и этого мы не видимъ. Напротивъ того, до послѣдняго времени критика относилась къ идеямъ гр. Л. Толстого весьма благосклонно. Правда, она не благоговѣла и не становилась передъ ними на колѣни, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые слѣпые поклонники гр. Л. Толстого, но она поступала съ ними именно такъ, какъ это носитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ слова та европейская критика, которую Оболенскій ставитъ намъ въ примѣръ: т. е. все цѣнное она подчеркивала и отдавала ему справедливость, а все ложное отмѣтала, да мало того, что отмѣтала, но и старалась показывать источники этого ложнаго. Такъ, напримеръ, Оболенскій или не читалъ, или совсѣмъ забылъ мои первые фельетоны о гр. Л. Толстомъ. Онъ не обратилъ вниманія, что и извѣстный догматъ противленія здравому разуму я условно принялъ, какъ прекрасный идеалъ будущаго человечества, замѣтивъ только, что осуществленіе этого идеала зависитъ не отъ теоретическаго установленія этой формулы, а отъ того смѣленія нравовъ, которое постепенно вырабатывается и въ камп. Оболенскій, не знаю ужъ, умышленно или неумышленно, игнорируетъ все эти мои прежніе фельетоны и вдругъ набрасывается на меня постъ того, какъ я отнесся отрицательно къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого о женщинахъ и о наукѣ. Допустимъ, что Обо-

ленскій не согласенъ съ моими возраженіями относительно этихъ предметовъ, что онъ болѣе склоненъ въ пользу идей гр. Л. Толстого, какъ относительно распределенія обязанностей и занятій между обоими полами, такъ и относительно существованія двухъ наукъ, одной—для господъ, другой—для мужиковъ. Ну, и возражай онъ противъ меня, доказывай, что правъ не я, а гр. Л. Толстой, какъ онъ это дѣлаетъ въ выноскѣ на стр. 144. Къ чему-же выставляетъ Оболенскій примѣръ европейской критики? Вѣдь не преклонилась-же эта самая европейская критика передъ толкованіемъ „Апокалипсиса“ Ньютона пзъ-за того только, что Ньютонъ открылъ великій законъ тяготѣнія? Или еще того лучше, вѣдь не приваля-же она дословно мнѣніи Прудона о призваніи женщинъ (кстати, очень близко подходящихъ къ мнѣніямъ гр. Л. Толстого), на томъ только основаніи, что Прудонъ былъ замѣчательный политико-экономъ? Одниѣмъ словомъ, всѣ эти ссылки на примѣръ европейской критики — ничто иное какъ одно пустословіе, въ которомъ ничего болѣе не усматривается, какъ именно желаніе дискредитировать противника, подойди къ нему сзади.

## V.

Очень негодуетъ, между прочимъ, Оболенскій на критиковъ за то, что они упрекали гр. Л. Толстого въ противорѣчій между словомъ и дѣломъ, относительно, напр., 600,000, 12-го тома и т. п. Оболенскій видитъ въ этомъ нѣкое злорадство: у критиковъ, видите, пробудилась совѣсть вслѣдствіе проповѣди гр. Л. Толстого, отъ старыхъ-же дурныхъ привычекъ отстать имъ трудно, и вотъ въ нихъ является страшная потребность доказать, что моральистъ самъ не исполняетъ своихъ неисполнимыхъ идей. И опять-таки, это не болѣе, какъ одно пустословіе и подставленіе противника „подножекъ“.

Если смотрѣть на этотъ предметъ съ общей, философской точки зрѣнія, то противорѣчія между словомъ и дѣломъ являются фактами неизбежными въ человеческой природѣ и вытекаютъ прямо изъ того, что наша мысль опережаетъ практику жизни: создавать прекрасные идеалы гораздо легче, чѣмъ исполнять ихъ, и къ тому-же очень часто случается, что для исполненія прекраснаго идеала необходимо предварительно измѣнить такую массу условій жизни, что борьба съ этими условіями становится не подъ силу одной личности. Но, тѣмъ не менѣе, противорѣчія противорѣчійъ рознь. Представьте себѣ труженника, у котораго каждый грошъ въ карманѣ является не иначе, какъ результатомъ упорнаго труда, и рядомъ поставьте господина, существованіе котораго безъ всякаго труда обезпечено 20,000 годового дохода; по между ними та разниа, что труженникъ каждый свой грошъ ставитъ ребромъ и проливаетъ, да еще не на какой-нибудь водкѣ, а въ лучшемъ ресторанѣ на шампанскомъ; рентаеръ-же, освобожденный отъ всякаго насущнаго труда, проводить свое время въ томъ, что отъ скуки проповѣдуетъ людямъ предельную бѣдность, необходимость въ потѣ лица снискивать хлѣбъ свой и т. п. Оба эти господина представляютъ, каждый въ своемъ

родѣ, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ; ничто нѣтъ идеальнаго ни въ томъ, что труженникъ каждый свой заработанный грошъ несетъ къ Борелю, ни въ томъ, что рентаеръ проповѣдуетъ о предельной бѣдности, а самъ преспокойно кладетъ въ карманъ до 20,000 въ годъ. Но неволью, неотразимо, инстинктивно вы отнесетесь къ этимъ двумъ разладамъ словъ и дѣлъ совершенно различно; кутащій не по средствамъ труженникъ вызоветъ въ васъ глубокую жалость къ себѣ; рентаеръ-же, распространяющійся о предельной бѣдности, приведетъ васъ въ недоуваніе, и не потому только, что онъ рентаеръ, зачѣмъ онъ, молъ, получаетъ 20,000; мимо десяти рентаеровъ, получающихъ по 200,000 въ годъ, вы пройдете совершенно равнодушно; здѣсь-же васъ выведетъ изъ себя, именно, рѣчи его; онъ неволью долженъ привести на васъ впечатлѣніе словно какого-то копушества надъ тѣми прекрасными евангельскими истинами, которыя идутъ совершенно въ разрѣзъ съ практикою жизни этого господина. Оболенскій-же толкуетъ вдругъ о какой-то пробужденной совѣсти въ убогихъ критикахъ, едва сводящихъ концы съ концами, и для оправданія гр. Л. Толстого употребляетъ слѣдующій фортель.

Потому, вотъ, видите, гр. Л. Толстой не можетъ осуществлять своихъ идей въ жизни, что въ кругу его идей, между прочимъ, входитъ отрицаніе деспотическаго насилія для проведенія своихъ идей какъ въ семьѣ, такъ и въ обществѣ.

«Когда я былъ у Толстого прошлой осенью,—говоритъ Оболенскій,—онъ былъ очень увлеченъ вегетарианствомъ, т.-е. шгашилъ одною растительною пищею, чтобы не мучить и не убивать животныхъ. Посмотрите-же, какъ онъ проводитъ и какъ могъ проводить свои идеи въ своей-же семьѣ. А проводилъ онъ свои идеи такъ: прежде всего самъ не сталъ есть мяса, а затѣмъ, старался убѣждать свою семью отказаться отъ него, и я слышалъ, что два члена семьи уже не ѣли мяса. Скажутъ, что это очень ялше результаты, что этимъ онъ спасалъ въ годъ какую-нибудь сотню куринъ, десятка два быковъ, полсотни барановъ отъ насильственной смерти, что это капля въ морѣ. Согласенъ, но теперь посмотримъ, какой-же другой способъ могъ употребить Толстой? Какъ глава семьи, онъ могъ распорядиться деспотически, т.-е. просто запретить своимъ дѣтямъ и женѣ есть мясо, а въ случаѣ сопротивленія прибѣгнуть къ силѣ; повару-же долженъ былъ запретить готовить мясо. Такъ-ли? Сдѣлалъ-ли-бы это кто-либо изъ васъ, господа, упрекающіе Толстого въ томъ, что онъ, будто-бы, неослѣдительно своимъ идеямъ только потому, что отрицалъ что-либо, не запрещаетъ своей семьѣ этимъ пользоваться, пока сама семья не убѣдится. Если-бы онъ распорядился деспотически, то развѣ вы, господа, не закричали-бы на него первое, что это—величайшій деспотизмъ, что онъ не смѣетъ заставлять насильно другихъ есть и дѣлать не то, что они хотятъ, что онъ долженъ въ семьѣ дѣйствовать убѣжденіемъ, а не насиліемъ?»

## VI.

Но скажите, пожалуйста, гдѣ и когда-же это критики требовали, чтобы гр. Л. Толстой что-бы то ни было навязывалъ своимъ домочадцамъ? Рѣчь шла и идетъ постоянно о немъ самомъ лично. Если-же безрассудно и дико навязывать что-бы то ни было деспотично своей семьѣ, то не менѣе безрассудно и дико



чтобы семья что-либо деспотично навязывала своему главу, вопреки его убяженіямъ. Никто и не думалъ поэтому требовать, чтобы графъ Л. Толстой, въ угоду своимъ ученіямъ, роздалъ все свое имущество и насильно навязалъ семьѣ, хотя-бы, наприѣръ, ту крестьянскую долю, которую онъ считаетъ идеаломъ жизни. Но развѣ не бывало приѣровъ, что люди, вовсе не занимающіеся проповѣдью какой-либо цѣльной моральной системы, изъ одной только страсти къ какой-нибудь профессіи, да изъ желанія существовать своимъ трудомъ, предоставляли роднымъ жить, какъ имъ угодно, а сами устраивали свою жизнь тоже, какъ имъ нравилось? Я полагаю, что, если-бы гр. Л. Толстой это сдѣлалъ, то самое то нравственное вліяніе его на членовъ своей семьи, о которомъ говоритъ Оболенскій, сдѣлалось-бы и сильнѣе, и благотворнѣе.

Вотъ также и исторія съ 12-мъ томомъ. На-дняхъ, какъ извѣстно, она развѣшилась какъ разъ въ пользу критиковъ, нападавшихъ на этотъ фактъ: 12-й томъ появился въ продажѣ отдѣльно, и это обстоятельство какъ нельзя болѣе подтверждаетъ, что критика имѣла свои основанія нападать. Вѣдь, дѣйствительно, похвально ученія гр. Л. Толстого и какихъ-бы то ни было идей его, фактъ этотъ самъ по себѣ былъ настолько покрасивъ, что не могъ не возбудить противъ себя негодованія и въ публикѣ, и въ печати. Публика не могла не быть поражена, видя, что обыкновенные книгопродавцы и издатели, не рвущіе ни о какихъ евангельскихъ идеяхъ, не поступаютъ такъ, какъ поступилъ гр. Л. Толстой, т.-е. допускаютъ продажу отдѣльныхъ томовъ сочиненій авторовъ, а не навязываютъ покушку неиремивно пѣлаго изданія. Ходить слухи о какихъ-то створонныхъ обстоятельствахъ, пѣвшихъ жѣсто въ настоящемъ случаѣ. Но я не знаю, какія такіа обстоятельства могли-бы заставить меня, наприѣръ, выпустить книжку въ 10 листовъ подъ единственнымъ условіемъ назначеніи за нее сторублевой платы? Въ крайнемъ случаѣ, если это противно моему совѣсти, никто не могъ-бы воспрепятствовать мнѣ положить преспокойно рукопись въ столъ и отказать отъ ея изданія.

Но оставимъ мы Оболенскаго съ его пустословіемъ. А сдѣлаемъ мы лучше вотъ что: отложивши въ сторону разборъ ученія гр. Л. Толстого въ его частностяхъ, отдѣльныхъ положеніяхъ и внутреннихъ противорѣчій, возьмемъ его въ цѣломъ его видѣ, какъ историческій фактъ, и постараемся показать, изъ какихъ общественныхъ потребностей вытекло это ученіе, насколько оно удовлетворяетъ этимъ потребностямъ и если не удовлетворяетъ, то что намъ нужно видѣто него.

## IX.

**Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ общественнымъ настроеніемъ, нравственными нуждами и недугами нашего времени.**

### I.

Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, что увлеченія общественными вопросами и реформами сдѣляются

увлеченіями вопросами моральными, и что, подобно тому, какъ въ первомъ случаѣ господствуетъ та идея, что нравственность отдѣльныхъ лицъ волеяъ зависитъ отъ общихъ условій жизни и что она несправедлива безъ общественныхъ реформъ, такъ во второмъ случаѣ люди болѣе дѣлаются склонны предполагать, что никакія реформы не помогутъ, никакія прекрасныя учрежденія не спасутъ, если люди будутъ нравственно несостоятельны. Гизо, какъ извѣстно, дѣлалъ даже всеобщую исторію на развѣренные періоды, усматривая въ ней періодически правильныя сдѣяны эпохъ общественныхъ реформъ и выработки индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. — Но, и не соглашаясь съ Гизо относительно этой кристаллической правильности въ сдѣянахъ эпохъ, все-таки мы не можемъ отрицать, что дѣйствительно бываютъ моменты сильныхъ увлеченій всего общества исключительно вопросами общественного характера, бывають и такіа времена, въ которыхъ преобладають вопросы чисто моральные. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ стихійнымъ, движеніемъ, эпидемически увлекающимъ массы.

Нужно ли говорить о томъ, что общественныя движенія являются всегда какъ результатъ добытаго путемъ науки или ряда горькихъ опытовъ сознанія какого-либо общественного недуга, грозящаго распаденіемъ всего общественного строя. Это есть ничто иное, какъ обострившееся стремленіе отстранить то, что жѣшаетъ людямъ жить и благоденствовать, или-же завести то, что по всеобщему сознанію должно усилить это благоденствіе. Моральныя-же движенія являются по большей части тогда, когда всѣмъ обществомъ овладѣваетъ горькое разочарованіе въ предшествовавшихъ увлеченіяхъ общественными вопросами, когда оказывается, что предпріятыя реформы или не доставили того, чего отъ нихъ ожидали, или-же не удалось, и не удалось, повидимому, потому, что какъ люди, исполнявшіе ихъ, такъ и пользовавшіеся ими, оказались ниже своего призванія. И вотъ, среди всеобщаго изнеможенія, уныніи, апатіи, тоски, является томительное стремленіе оглянуться вокругъ себя и рѣшить, почему-же это люди или не сумѣли совершить того, что хотѣли, или оказались неспособными пользоваться этимъ? Стремленіе это ведетъ прямо къ индивидуально-нравственному анализу; являются сатирики, моралисты, проповѣдники, по косточкамъ разбирающіе поведеніе современныхъ иль людей и указующіе лучшіе пути для нравственнаго совершенства, выставляющіе новые идеалы, которые противуполагаются установившейся практикѣ жизни.

## II.

Несомнѣнно, что такую именно эпоху моральнаго движенія переживаемъ мы въ настоящее время. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ вопросы о личной нравственности, сдѣяванія обь отсутствіи нравственныхъ идеаловъ, вопросы о томъ, какъ жить, во что вѣрить, къ чему стремиться отдѣльному человеку, у всѣхъ стоять на первомъ планѣ, висятъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этимъ объясняется и та наклонность, которую мы замѣчаемъ въ послѣднее время въ нашемъ интел-

лигентномъ обществѣ къ сектанству, къ увлеченіямъ разнымъ заѣзжими и отечественными религіозными проповѣдниками и моралистами. Этого же чисто морального характера носятъ и всѣ появляющіеся въ печати народническіе толки о растлѣвающемъ вліяніи города, о преимуществахъ деревенской жизни, объ общинной нравственности въ противоположность индивидуальной, о нравственной цѣлности мужика сравнительно съ шатаніями и нравственнымъ банкротствомъ интеллигентнаго человѣка, вопросы, наконецъ, о пессимизмѣ и оптимизмѣ и пр. Все это обнаруживаетъ неоспоримое моральное движеніе, которое на нашихъ глазахъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охватываетъ наше общество. И вотъ, среди всѣхъ этихъ моральныхъ исканій и порываній, ученіе гр. Л. Толстого занимаетъ самое импонирующее положеніе. На него обращено наибольшее вниманіе, чѣмъ на всѣ прочія моральныя ученія, оно болѣе возбуждаетъ общество, приобретаетъ массу адептовъ и грозитъ если не всецѣло завладѣть мыслью современнаго общества, то, во всякомъ случаѣ, стать во главѣ моральнаго движенія, совершающагося передъ нашими глазами, направивъ его въ свою сторону.

Въ видахъ этого обстоятельства, ученіе гр. Л. Толстого приобретаетъ особенную важность въ глазахъ каждаго мыслящаго человѣка, способнаго проникать въ глубины жизни, не ограничиваясь однимъ созерцаніемъ поверхностной игры свѣта и тѣни. — Если это ученіе представляетъ собою рядъ заблужденій, то это отнюдь не случайная ошибка большого ума, а удѣлъ массы интеллигентныхъ людей, способныхъ заблуждаться такъ же, какъ заблуждается и гр. Л. Толстой, и идти по стопамъ его.

Дѣло въ томъ, что, признавая общественныя и моральныя движенія, какъ нѣчто стихійное, роковое, съ чѣмъ слѣдуетъ считаться, мы въ то же время отнюдь не можемъ утверждать, чтобы каждое такое движеніе было непременно плодотворно и вело къ благимъ результатамъ. Развѣ мы не видимъ въ исторіи, что иногда весьма сильныя общественныя движенія или разбиваются прахомъ о массу неодолимыхъ препятствій, или принимаютъ совершенно ложное направленіе и ничего не оставляютъ послѣ себя, кромѣ напрасныхъ жертвъ и всеобщаго разочарованія. Тоже самое происходитъ иногда и съ моральными движеніями; они, въ свою очередь, могутъ разбиться на мыльномъ пузырькѣ и, не принеся съ собою никакого нравственнаго обновленія, лопнуть въ воздухъ, не оставивъ послѣ себя ни одной брызги. Тутъ все зависитъ отъ того, какой характеръ приметъ моральное движеніе, отправится ли оно отъ какихъ-либо опредѣленныхъ и ясно сознанныхъ моральныхъ недостатковъ своего времени и будетъ стремиться къ борьбѣ съ этими недостатками на реальной почвѣ возможнаго и осуществимаго сегодня, или же оно сразу задастся такими утопическими мечтаніями, осуществленіе которыхъ возможно лишь въ перелективѣ вѣковъ.

### III.

Хотя гр. Л. Толстой опирается главнымъ образомъ на Евангеліе и воображаетъ, что все свое ученіе онъ извлекаетъ изъ единственнаго этого источника, но

это далеко несправедливо. Каждый, кто внимательно читаетъ хоть одинъ трактатъ гр. Л. Толстого, можетъ въ достаточной мѣрѣ убѣдиться, что въ ученіи его, кромѣ евангельскихъ истинъ, отражается масса всякаго рода политико-экономическихъ идей, бродившихъ въ послѣдніе годы въ нашемъ обществѣ. Такъ, напримеръ, конечно, не Евангелію обязанъ гр. Л. Толстой тѣмъ ратованіями противъ раздѣленія труда, какія мы у него находимъ, или чисто народническіе отрицаніемъ городской жизни и выставленіемъ преимуществъ сельскаго, земледѣльческаго быта. Въ Евангеліи вы не найдете ничего подобнаго; что же касается до требованія гр. Л. Толстого, чтобы каждый служилъ самъ себѣ, собственноручно исполняя около себя всѣ грязныя работы, то это требованіе, по моему мнѣнію, противорѣчитъ даже духу евангельскаго ученія: мы видимъ въ немъ скорѣе духъ американскаго демократизма, обособляющаго личность и замыкающаго ее въ самое себя, чѣмъ ученіе, требующее, чтобы мы служили другъ другу и были готовы исполнить другъ для друга что-бы то ни было, ничѣмъ не брезгая. Наконецъ, самое то отрицаніе разныхъ общественныхъ функцій, какое выводитъ гр. Л. Толстой изъ Евангелія, путемъ произвольнаго толкованія нѣкоторыхъ словъ, которыми можно перевести съ греческаго такъ или иначе, — развѣ не представляется отголоскомъ не столько Евангелія, сколько тѣхъ полѣйшихъ теорій, которыя точно также предполагаютъ, что различныя общественныя функціи потеряютъ свое значеніе въ будущемъ человѣчествѣ?

Однимъ словомъ, я хочу сказать, что ученіе гр. Л. Толстого отнюдь нельзя выводить изъ одного какого-нибудь источника. Оно имѣетъ характеръ собирательный, эклектичскій. Въ этомъ его сила, его значеніе, но и въ этомъ же его слабость, заключающаяся въ отсутствіи строгой послѣдовательности и систематичности, въ массѣ противорѣчій, неизбежныхъ при соединеніи несоединимаго. Но мы не будемъ касаться этихъ слабостей, такъ какъ это опять привело-бы насъ къ разбору частностей, а этого мы въ настоящее время избѣгаемъ. Обратимъ лучше вниманіе на то, къ чему ведетъ это ученіе въ его цѣломъ, что оно представляетъ и насколько его предписанія жизненны, т. е. реальны и исполнимы.

Предположимъ, что вы вполнѣ прониклись тѣмъ идеаломъ, который рисуетъ передъ вами гр. Л. Толстой: вы убѣдились, что въ основѣ вашей нравственности должны стоять любовь не къ отвлеченному человечеству, а къ вашему ближнему, брату, желаніе быть всѣмъ ему полезнымъ, чѣмъ только можете, снисходительность ко всѣмъ его слабостямъ, стремленіе заглянуть къ нему въ душу и пробудить въ немъ человѣка. Въ то-же время вы отрицаете вполнѣ всякое насилие надъ ближнимъ, вы ни за что никогда не подымете на него руки, не вызовете его въ судъ; если онъ отниметъ все ваше достояніе, вы будете оглядываться вокругъ себя, нельзя-ли отдать ему еще что-нибудь сверхъ этого. Но этого всего мало: вы должны все дѣлать сами для себя; въ потѣ лица заботиться хлѣбъ свой, но не однимъ физическимъ трудомъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ вы изъ человѣка превращаетесь въ жертвую машину въ рукахъ

другихъ, и тѣмъ болѣе не однимъ интеллигентнымъ трудомъ, являясь какъ тогда вы обращаетесь въ высококормящаго паразита, за котораго дѣлаютъ все другіе для того, чтобы онъ величался своимъ умственнымъ превосходствомъ и замыкался въ интеллигентный кругъ, ничѣмъ не вознаграждая физическіе труды на него ближнихъ. Физическій и умственный труды должны тѣсно переплетаться въ вашей жизни и оба должны быть направлены на общую пользу: при этомъ подъ физическими трудами подразумѣваются преимущественно труды сельскіе, земледѣльческіе, на чистомъ воздухѣ, среди обаятельной природы, чтобы вокругъ птицы пѣли и ручейки журчали...

#### IV.

Я нисколько не спору, что подобный идеалъ имѣть въ себѣ много привлекательнаго, что мы должны имѣть его въ виду, какъ конечную цѣль, къ которой обязано стремиться человечество, что, сообразно этой цѣли, должны производиться какъ всѣ общественныя реформы, такъ рано и всѣ нравственныя совершенствованія: но иное дѣло — конечная цѣль, осуществленіе которой будетъ возможно, можетъ быть, дѣть черезъ тысячу, иное дѣло — моральные идеалы, которые требуются людьми для руководства въ повседневной жизни теперь, сегодня. И вотъ скажемъ прямо и категорически, что идеалы, развиваемые гр. Л. Толстымъ, при всей кажущейся ихъ простотѣ, являются совершенно неосуществимыми утопіями. Можно сдѣлать въ этомъ отношеніи вотъ какое сравненіе: представьте себѣ, что являлся-бы человѣкъ, который вздумалъ-бы рисовать передъ нами волшебный край, лежащій за тысячу верстъ отъ насъ; тамъ изобиліе всего, нѣтъ ни холоду, ни жару, рѣчки медвѣдями, берега кисельные, а на деревьяхъ, отягченныхъ плодами, день и ночь распѣваютъ райскія птицы. Не угодно-ли пожаловать туда? Но какъ отдѣлаться отъ этого края тысячу верстъ лѣсовъ дремучихъ, болотъ бездонныхъ. Казалось-бы, что первымъ дѣломъ надо было-бы позаботиться о томъ, чтобы проложить дороги къ заветной цѣли, вырубить лѣса, наложить мосты. Но господинъ увѣряетъ насъ, что ничего этого не нужно. Стоитъ только захотѣть, нарисовать лодку на стѣнѣ, да на ней и перенестись въ мгновеніе ока въ волшебный край.

Вотъ въ этой-то лодкѣ, нарисованной на стѣнѣ, и заключается вся ахиллесова пята ученія гр. Л. Толстого. Возьмите вы, напримѣръ, не какого-нибудь разбойника и тата, а средняго, весьма порядочнаго человѣка, того-же, напримѣръ, Ивана Ильича, смерть котораго изобразилъ гр. Л. Толстой такъ гениально. Представьте себѣ, что этотъ Иванъ Ильичъ вдругъ проикся-бы учениемъ гр. Л. Толстого. Что-же ему слѣдовало-бы въ такомъ случаѣ дѣлать? Перестать, конечно, судить, выйти въ отставку, выучиться какому-нибудь ремеслу, напримѣръ, шитью сапоговъ, и начать въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой. Все это, казалось-бы, такъ просто и удобоисполнимо, а

на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ просто. Начать съ того, что пока онъ выучился-бы сапожному ремеслу на столько, чтобы былъ саму самому и съ семействомъ, онъ рисковалъ-бы десять разъ умереть съ голоду, и все-таки сомнительно, вынешь-ли бы изъ него сколько-нибудь способный сапожникъ, такъ какъ мускулы его преетвенно въ ряду нѣсколькихъ поколѣній успѣли настолько атрофироваться, что неспособны уже къ упорному физическому труду. Если-бы и оказалось въ нихъ на столько ловкости, чтобы усвоить приемы мастерства, то все-таки не хватало-бы настолько энергій, чтобы изо дня въ день, часовъ по десяти, безъ усталости тачать и тачать, какъ работаютъ сапожники. Но положимъ, что и это преодолѣлъ-бы Иванъ Ильичъ, — куда же дѣвалъ-бы онъ свои изнѣженные нервы, въ свою очередь, выхолопанные и доведенные до крайней раздражительности безпутною жизнью нѣсколькихъ поколѣній? Мы видимъ, что и у заправскихъ сапожниковъ, имѣющихъ желѣзные нервы, они иногда помалыиваютъ: работаетъ человѣкъ упорно до перваго праздника, а тамъ вдругъ его словно прорветъ, душа его требуетъ мало того, что водки, но какого-нибудь широкаго, дѣкаго безобразія, и это явленіе вырвавшейся на волю души — совершенно естественное, стихійное, непреодолимое. Не знаемъ также, насколько хватитъ нервовъ у Ивана Ильича, чтобы ласково улыбаться, когда какой-нибудь капризный заказчикъ сунетъ ему сапогъ въ носъ. Въдѣ это на отвлеченной почвѣ легко рассуждать о подставленіи щекъ, на самомъ же дѣлѣ необходимо имѣть очень сильныя нервы, чтобы каждый разъ сдерживать возбужденныя рефлексы. А у Ивана Ильича навѣрное такіа возбужденія будутъ на каждомъ шагѣ, онъ будетъ окруженъ ими со всѣхъ сторонъ. Одна Прасковья Федоровна чего стоитъ: она, конечно, начнетъ побѣдомъ его бѣсть съ самой его отставки. Келати, ее-то мы и забыли: какъ-же она-то, горемычная, помирится съ новымъ своимъ званіемъ сапожницы? Ивану Ильичу спозагора, такъ какъ онъ завѣтъ Льва Николаевича исполняетъ, ну, а ей за что приходится принимать въ чужомъ паре похмѣлье? Въ самомъ дѣлѣ, что прикажете дѣлать съ нею Ивану Ильичу, особенно принимая во вниманіе, во-первыхъ, перасторжливость браковъ, предписываемую гр. Л. Толстымъ, а во-вторыхъ, отрицаніе какого-бы то ни было насилія надъ семьею въ проведеніи своихъ убѣжденій?

Если-бы еще Иванъ Ильичъ имѣлъ лишній достатокъ, тогда проклятыя деньги, къ которымъ прилипли потъ и кровь тысячъ тружениковъ, работавшихъ для накопленія въ рукахъ Ивана Ильича этого достатка, помогли-бы ему осуществить свои безсребренныя идеалы: онъ предоставилъ-бы Прасковьѣ Федоровнѣ жить, какъ ей угодно, на эти средства, а самъ поселился-бы тутъ-же въ каморочкѣ и началъ-бы свое безконечное постукиванье молоточкомъ. Но представьте себѣ, что у Ивана Ильича ни одной лишней копѣйки за душою не имѣется: жить онъ до той поры исключительно однимъ жалованьемъ. Какъ же ему теперь быть, чтобы соблюсти идеалъ, ничего въ то же время семьѣ не навязывая? Оболенскій, подумайте-ка объ этомъ и дайте совѣтъ.

## V.

Мы только слегка, немного коснулись одного Ивана Ильича, но жизнь, со всѣмъ ея нестремляемымъ разнообразіемъ, сложными и удивительными комбинаціями, безъ сомнѣнія, на каждомъ шагѣ представитъ вамъ и не такія еще пропасти между идеалами гр. Л. Толстого и дѣйствительностью, которую, вѣтъ ни верги, ничего съ нею не подблещешь. И еще бы: мы имѣемъ дѣло здѣсь, во-первыхъ, съ массою учреждений, которыя измѣнить мы не властны, да и не имѣемъ и права сообразно идеаламъ, запрещающимъ всякое активное внимательство въ жизнь, и вотъ мы видимъ, что гр. Л. Толстой отстраняетъ отъ себя обязанность присяжнаго засѣдателя, чтобы не судить и не быть судимымъ, а самъ, въ видѣ косвенныхъ налоговъ, оплачиваетъ содержаніе тѣхъ самыхъ судовъ, къ которымъ относится столь отрицательно. Во-вторыхъ, мы видимъ массу привычекъ, наклонностей, слабостей, пороковъ, укоренившихся въ камнѣ, вошедшихъ въ плоть и кровь людей, сдѣлавшихся ихъ второю природою. Чтобы побороть эти привычки или пороки, требуется, въ свою очередь, работа въѣсковъ. Иному человѣку для того, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться къ идеалу гр. Толстого, необходимо, чтобы отъ всего состава его порченной крови не осталось ни одной капли, другой—родился уже съ непреодолимую наклонностью къ пьянству, у третьяго похотливость развита до такого болѣзненного состоянія, что никакая сила воли не можетъ сдержать его чувственныхъ порывовъ, и происходитъ это оттого, что и матушка, и бабушка, и прабабушка его очень много на своей вѣкѣ грѣшили. Мы видимъ, наконецъ, что цѣлыми сословіями слагаются въ опредѣленные типы, имѣютъ свои характеристическіе недостатки, которые упорно удерживаются въ продолженіе сотенъ лѣтъ въ странахъ, въ которыхъ давно уже рухнули всѣ сословныя перегородки и жизнь приняла совершенно иной характеръ. Для гр. Л. Толстого ничего подобнаго не существуетъ. Онъ воображаетъ, что идеалы его такъ просты и удобополночны, что стоитъ только захотѣть и сейчасъ же вы ихъ и осуществите. Онъ даже выставляетъ на видѣ, подчеркиваетъ именно легкость ихъ исполненія. Однимъ словомъ, онъ держится въ этомъ отношеніи средневѣкового ученія безусловной свободы воли, и это существенная ошибка его ученія.

И къ чему-же это ведетъ? А ведетъ именно къ тѣмъ, подчасъ крайне смѣшнымъ, а иногда и весьма прискорбнымъ противорѣчіямъ, въ канія на каждомъ шагѣ владають люди, проникнушіеся идеалами гр. Л. Толстого. Поставить человѣка передъ собою свой возвышенный идеалъ и молится на него, а самъ въ своей практической жизни волею-неволею встаетъ въ рядъ компромиссовъ, которыхъ или не сознаетъ, не замѣчаетъ, или старается помирить со своимъ идеаломъ дутые самыхъ хитросплетенныхъ и чисто иезуитскихъ софизмовъ. Олицъ оставляетъ жизнь свою въ прежнемъ нарушенномъ порядкѣ на томъ, видите ли, основаніи, что онъ не желаетъ ничего навязывать своимъ роднымъ, и весь нравственный переворотъ его будетъ заключаться въ томъ лишь, что отъ такого-то и до такого-то часа онъ будетъ строгать на столыр-

номъ станкѣ или пойдетъ въ крестьянскую избу въдовъ печку сложить, причѣмъ елу и въ голову не придумаетъ, что эта починка печи есть только видоизмѣненная форма той-же самой тщеславной рисовки, которая сидитъ у него въ крови и съ которою онъ въ юности лихо отхватывалъ мазурку на удивленіе все балльной залы. Другой ограничится тѣмъ, что будетъ издавать убогія книжечки, которыя должны замѣнить народу и науку, и искусство, словомъ, всю человеческую мудрость. Третьи пойдутъ на какіе-нибудь Аркаскіе острова основывать земледѣльческую колонію: поспотришь на нихъ,—всѣ такіе прекрасные, развитые, гуманные, добрые, всѣ въ одинаковой степени такъ глубоко и искренно проникнуты идеалами гр. Л. Толстого,—и, тѣмъ не менѣе, будьте увѣрены, что черезъ два, три года переругаются самымъ прозаическимъ образомъ и разойдутся съ ненавистью другъ къ другу, ко всеобщему скандалу. И еще-бы: одинъ окажется лѣнтивѣ-лѣнтивѣмъ, только и заботящимся о томъ, какъ-бы свернуть дѣло на другое; другой и радъ бы стараться, да окажется такимъ и неуклюжимъ, и неопытнымъ, и безтолковымъ, что дѣло само будетъ валиться у него изъ рукъ; одна барыня проявитъ вдругъ неудержимое стремленіе надъ всѣми властвовать и всѣхъ держать подъ башмакомъ, другая будетъ ежедневно терзать колонію мелочными капризами и истериками, а третья, при всей готовности быть дѣломудренно-вѣрной женой, вдругъ согрѣшитъ съ пріителемъ мужа и сама будетъ недоумѣвать, какъ это случилось.

## VI.

И вотъ, такимъ образомъ, можетъ произойти, въ концѣ-концовъ, что, при всей прелести идеаловъ гр. Л. Толстого, ничего не получится отъ нихъ въ результатѣ, кромѣ все того-же нравственного шатанія, неудовлетворенности, разочарованія, отчаянія. При этомъ я весьма далека отъ того, чтобы всю вину въ этомъ отношеніи слагать на одного гр. Л. Толстого, зачѣмъ онъ являетъ намъ такую идеаль, а не какой-нибудь другой. Онъ дѣлитъ вмѣстѣ съ нами недостатки, свойственный всѣмъ намъ, лежащій въ духѣ нашего времени.

Мы всѣ страдаемъ тѣмъ, что отрываемся постоянно отъ земли и летимъ въ камняхъ-то надзвѣздныхъ пространствахъ, въ области всеобъемлющихъ и туманныхъ идеаловъ. И не въ томъ собственно бѣда, что мы носимся съ подобными идеалами, но въ нашѣмъ отношеніи къ нимъ. Пусть-бы мы, разъ поставивъ передъ собою идеалы эти, какъ конечную цѣль человеческой жизни, отделились затѣмъ вокругъ себя и принялись во имя этихъ идеаловъ за ту расчисленную, ведущую въ волшебный край, о которой я говорила выше,—это было бы совсѣмъ другого рода дѣло, это было-бы чисто реальное дѣло, которое наполнило бы нашу жизнь тѣмъ, что не было бы въ ней мѣста ни для скуки, ни для отчаянія.

Прежде всего намъ слѣдуетъ опереться на тотъ горькій опытъ, какой мы вынесли изъ нашего недавняго прошлаго,—сознать тѣ тяжкіе нравственные недуги, которыми мы преимущественно страдаемъ, и всѣ усилія воли употребить на излеченіе именно

этих недуговъ. Недуги же эти у всѣхъ передъ глазами и они ни отъ кого не скрыты: нравственная расщепленность, заключающаяся въ привычкѣ беззавѣтно отдаваться каждому чувству и каждой похоти, какъ бы онѣ ни были низменны, мерзки, предосудительны и глупы, небрежное, халатное отношеніе къ дѣлу, отсутствие малѣйшей усидчивости въ трудѣ и хоть капли упорства въ достиженіи цѣли, вѣчная безалаберная смѣна увлеченій, обуславливающая безпрестанные переходы отъ одного занятія къ другому, періодическія сдѣлны выходящихъ изъ всѣхъ границъ экстазовъ или полнаго отчаянія послѣ первой ничтожной неудачи, — таковы нравственные болѣзни, свойственны большинству нашей интеллигенціи. Въ виду этихъ недуговъ, должны быть поставлены не одинокіе всеобъемлющій, а нѣсколько нравственныхъ идеаловъ, правда, маленькихъ, относительныхъ, но дай

Богъ, чтобы мы съумѣли хоть ихъ-то достигнуть, — какой бы это былъ шагъ впередъ. А то выходить подчасъ очень смѣшно и печально: поется иной человѣкъ съ широкимъ, всеобъемлющимъ идеаломъ въ духѣ гр. Л. Толстого, разливается потоками празднаго пустословія и резонерства, а самъ, глядишь, не способенъ оказывается честно и гуманно отнестись къ женщинѣ, которую поигралъ и бросилъ, забываетъ платить долги не по неизбѣжному средству, а изъ одной небрежности, зачитываетъ чужія книги и живетъ по уши въ грязь, какъ свинья. Все это, видите, желочи, на которыя не стоитъ обращать вниманія людямъ, рѣшающимъ судьбы міра!

Однимъ словомъ, какъ ни хороши идеалы гр. Л. Толстого, а съ ними одними мы вѣчно будемъ топтаться на одномъ мѣстѣ.

## В Л А С Т Ъ Т Ъ М Ы .

«Власть тьмы» или «Норготъ увязъ—всей птичкѣ пронасть», драма гр. Л. Толстого.

### I.

Ни одно произведеніе гр. Л. Толстого не раздѣлило до такой степени публику нашу на два лагеря, какъ это. Тутъ мы имѣемъ дѣло не съ одними рыаными поклонниками нравственно-философскаго ученія гр. Л. Толстого, противъ которыхъ стоитъ масса публики, ученія этого не раздѣляющая. Нѣтъ, безразлично отъ этого дѣленія, вся публика сама по себѣ раздѣлилась на людей, считающихъ драму гр. Л. Толстого однимъ изъ лучшихъ перловъ его творчества, и людей, отрицающихъ ее всецѣло, говорящихъ даже, что если бы подъ нею не стояло имя автора „Войны и мира“, то никто не обратилъ бы на нее вниманія.

Поклонники драмы прежде всего увлекаются универсальностью гр. Л. Толстого въ знаніи русской жизни съ самыхъ ея разнообразныхъ слоевъ. Ихъ естественно удивляетъ, что какъ это писатель, который до сихъ поръ болѣе всего изображалъ великосвѣтскую жизнь, изучивши ее до изумительныхъ тонкостей, въ то же время оказывается такимъ же компетентнымъ и въ сферѣ деревенской мужицкой жизни. И здѣсь опять-таки оказывается, что авторъ изучилъ изображаемую жизнь до такихъ же изумительныхъ тонкостей, какъ и великосвѣтскую.

Обратите въ самомъ дѣлѣ вниманіе на языкъ, какимъ выражаются дѣйствующія лица: вѣдь мало сказать, что это до фотографической точности тотъ самый языкъ, какимъ говорятъ крестьяне; вы видите, что у каждого дѣйствующаго лица онъ принимаетъ особенный индивидуальный характеръ; у каждого свой собственный языкъ, соответственный его типу, не исключая даже маленькой Анютки. Возьмите вы, напримеръ, языкъ Акимя: не говоря уже о томъ, что онъ на каждомъ словѣ тинетъ, словно прискивая слова

и выраженія, вслѣдствіе чего и является у него частое повтореніе частицы „тае“, но замѣчательно въ то же время его словосочиненіе; онъ говоритъ отдѣльными, отрывочными словами, почти не связывая ихъ въ предложенія: то у него вы встрѣтите рядъ существительныхъ безъ глаголовъ, то наоборотъ; напримеръ: — „Такъ и угадывалъ, значить, женю, значить, малаго отъ груха, значить; онъ дома, значить, тае, какъ должно по закону, а ужъ я, значить тае, въ городу похлопочу“. Вѣдь это, какъ есть языкъ дикаря, языкъ труженника, весь вѣкъ копящагося въ землѣ, привыкшаго болѣе думать, чѣмъ говорить, а если и говорить, то по большей части со скотомъ или предметами неодушевленными. — Поставьте вы рядомъ съ языкомъ Акимя языкъ Никиты, и васъ сразу поразитъ неизмѣримая разниа. Въ драмѣ ни однимъ словомъ не упоминается, что Никита былъ въ Питерѣ, но вы сразу догадываетесь объ этомъ по одному его языку, искреннему такимъ словами, какъ рассчитываю, окончательно, правда, исторія, скандаль и т. п.

Вмѣстѣ съ характернымъ языкомъ поражаетъ васъ и та рельефная типичность, съ какою рисуются передъ вами дѣйствующія лица драмы. Они какъ живые стоятъ передъ вами, не расплываются, не ступиваются въ стереотипныя представленія деревенскихъ мужиковъ и бабъ, парней и дѣвокъ, а каждое вырисовывается передъ вами со всею своими достоинствами и недостатками и мельчайшими индивидуальными особенностями и врѣзывается въ вашу память навсегда.

Не менѣе замѣчательно знаніе деревенскаго быта до такихъ поразительныхъ мелочей, какъ, напримеръ, та, что Анютка, въ четвергомъ дѣйствіи, нѣсколько разъ обзываетъ Анисью наньдой. Иной читатель сразу

и не догадается, о какой такой нянькѣ идетъ здѣсь рѣчь. Суть же въ томъ, что не только дѣти, но и взрослые въ деревняхъ называютъ няньками тѣхъ своихъ сестеръ или тетокъ, которые ихъ нѣкогда нянчили. Авторъ не упустилъ и подобную микроскопическую подробность.

Наконецъ не мало подкупаетъ поклонниковъ драмы и то обстоятельство, что они ожидали отъ гр. Л. Толстого совсѣмъ иного отношенія къ народному быту. Они приехали къ тому, что гр. Л. Толстой постоянно указывалъ въ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ на народныя массы, какъ на носителей тѣхъ идеаловъ, къ которымъ онъ предлагалъ стремиться людямъ своей среды, вспоминали тѣхъ Караева, внушившій Шеру Безухому просвіщеніе, и естественно ждали фальшивой идеализаціи народнаго быта, въ угоду излюбленнымъ тенденціямъ графа, и вдругъ нашли нѣчто совершенно противоположное: оказалось какъ нельзя болѣе неожиданно, что народная деревенская жизнь изображена въ драмѣ съ той же фотографической точностью и глубокой реальной правдивостью, съ какою изображается она въ послѣднее время у такихъ ея знатоковъ, какъ Гл. Успенскій. Какъ же было не увлечься такимъ обстоятельствомъ?

Поридатели же драмы болѣе всего не понравились въ ней слишкомъ ужъ безцеремонная и, въ то же время, какъ будто предвзятая и совершенно излишняя грубость реализма. Зачѣмъ это на каждомъ шагу грязные ошуч, сортиры, вонь, бранныя слова, выходящія изъ вѣхъ предѣловъ приличія, и въ концѣ концовъ убійство ребенка чуть что не на самой сценѣ, и съ такими пиническими подробностями, что у васъ морозъ подираетъ по кожѣ. Реализмъ — реализмомъ, говорятъ поридатели, но все таки не надо забывать, что искусство имѣетъ свои предѣлы, передъ которыми оно обязано останавливаться во имя традиціонныхъ, тысячелѣтними выработанныхъ законовъ эстетическаго. Цѣль искусства заключается не въ томъ, чтобы терзать наши нервы и доводить до истерикъ; оно имѣетъ свои эстетико-нравственныя задачи, выполняя безъ поманныхъ излишествъ, и которыми эти излишества даже вредятъ. Иначе во имя реализма обещается допустить такія вещи, какъ сцены повисенія, отрубленія головы со всеми ужасающими подробностями, полканія крови, предсмертныя корчмы, допуститъ, наконецъ, и Богъ въеть какія нечестивости. Но такимъ путемъ легко дойти до древняго римскаго шута и вѣсело тѣхъ высокопоставленныхъ и просвѣтительныхъ вліяній, какія мы требуемъ отъ сцены, обратитъ ее въ школу одичанія нравовъ и разубитія въ толлѣ провокаціонныхъ инстинктовъ.

Далѣе затѣмъ поридатели указываютъ на истинческую тенденцію, лежащую въ основѣ драмы и заключающуюся въ изображеніи (о нихъ рѣчь будетъ впереди), которыми пришло вытекающее изъ стремленія автора провести по что-бы то не стало всю тенденцію.

Все это столь разнорѣчные толки завязать, по какому мѣстѣ, отъ тѣхъ элементовъ, которые мы найдемъ въ самой драмѣ гр. Л. Толстого. Они происходятъ все отъ того же разлада художника и мыслителя, который мы видѣли въ романѣ „Анна Каренина“

и который здѣсь повторяется въ томъ же самомъ видѣ и съ тѣми же результатами. Какъ тамъ, такъ и здѣсь мыслитель тянетъ насъ въ одну сторону, а художникъ совсѣмъ въ другую. Мыслитель проводитъ излюбленную свою тенденцію и действительно доускаетъ нѣкоторыя ни къ чему ненужныя излишества, искажаетъ нѣкоторые факты; художникъ-же, въ концѣ концовъ, посрамляетъ мыслителя, торжествуетъ надъ нимъ и приводитъ читателя совершенно въ инымъ результатамъ.

Отсюда и вытекаетъ все разнорѣчіе въ сужденіяхъ о драмѣ гр. Л. Толстого. Тѣ, которые отстраняются отъ тенденціи автора и смотрятъ, на сколько эта тенденція вѣрно проведена, истинна-ли она сама и въ какихъ прискорбныхъ излишествахъ приводитъ она автора, — конечно, приходятъ къ отрицательнымъ выводамъ. Тѣ же, которые отстраняютъ тенденцію, какъ ненужную прикѣсь и къ тому-же прикѣсь, совершенно посрамленную художникомъ, а обращаютъ вниманіе на торжествующее начало драмы, на ту поразительную картину, которую нарисовалъ намъ художникъ, помимо своей воли и желанія, силою своего непосредственнаго творчества, — тѣ приходятъ отъ драмы въ восторгъ. Сообразно всему этому мы приедемъ для нашего разбора драмы гр. Л. Толстого совершенно такой же планъ, какому мы слѣдовали при разборѣ „Анны Карениной“. Сначала мы рассмотримъ, что хотѣлъ гр. Л. Толстой изобразить, а затѣмъ обратимъ вниманіе на то, что онъ изобразилъ.

## II.

Не можетъ быть и сомнѣнія, что когда гр. Л. Толстой писалъ свою драму, онъ имѣлъ въ виду, ни болѣе, ни менѣе, какъ провести въ ней все тѣ же излюбленные идеи, которыя проводятся во всехъ его трагатахъ послѣдняго времени, начиная съ „Исповѣди“ и кончая „Въ челямъ моя вѣра“. Объ этомъ можно свидѣтельствовать и самое заглавіе драмы, отъ котораго вѣдетъ на насъ такимъ-же мисивно-трагическимъ ужасомъ, какъ и отъ известнаго эпитафия къ „Аннѣ Карениной“: „Миръ отищеніе, и азъ воздамъ“. Драма завязывается гораздо ранѣе перваго дѣйствія, въ которомъ она уже является передъ нами во всемъ разгарѣ. Она коренится въ томъ обстоятельстве, что мужикъ Петръ дѣлается настоящимъ богатымъ, во-первыхъ, онъ можетъ обходиться безъ труда, держа работника и пользуясь чужими руками, а во-вторыхъ, ему ничего не стоитъ купить за деньги не только чужой трудъ, но и супружеское ложе. Такъ послѣ смерти первой жены Петръ женится на молодой дѣвушкѣ Аннѣ, которую выдалъ за него, конечно, насильно, единственно ради того, что женихъ онъ очень выгодный, богатый. Неравный бракъ не замедлил истощить послѣднія силы человека уже пожилораго, и вотъ, въ началѣ перваго дѣйствія, мы видимъ его болѣзненнымъ, раздражительнымъ, угасающимъ. Онъ сознаетъ ненормальность всего строя своей жизни. „Ужъ эти работники! говоритъ онъ: бытъ-бы здоровъ, ни въ жизнь бы не сталъ ихъ держать. Одинъ грѣхъ съ ними!“ — но это сознаніе было уже ия позднею, и празднымъ. Грѣхъ и болѣзнь до такой

степени опутали уже его, что не было никакой возможности возвращаться къ праведной жизни насущнаго труда; оставалось только съѣздить по скользкому пути гибели, по какому велъ его поселившійся въ домъ его демонъ въ видѣ денегъ.

Анисья, между тѣмъ, женщина молодая, что называется, въ соку, всего 32 лѣтъ, легковерная щеголиха, любящая повеселиться и пожить, естественно ничто не можетъ питать въ старому, больному и капризному мужу, время ненависти; она обходится съ нимъ грубо, зубъ за зубъ, называетъ его не иначе, какъ „гнилой чортъ носастый“, и вступаетъ въ связь съ работникомъ, живущимъ въ ихъ домѣ, 25-ти лѣтнимъ парнемъ Никитой.

Никита, какъ мы уже говорили объ этомъ, интересъ, щеголяющій своею умственностью и отборными столичными словечками. Въ то же время онъ деревенскій сердцевѣль и бабникъ. Онъ, конечно, уже въ Петербургъ привыкъ ухаживать за кухарченками, и въ деревнѣ не упускаетъ изъ вида ни одной бабенки или дѣвки. „Люблю, говоритъ онъ, а этихъ бабъ, какъ сахаръ, а что меня бабы любятъ, а въ этомъ ее причина?“

Но довольствуясь Анисьею, онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, сироту Марину. Отецъ его, трудящійся, какъ вель, и богобоязненный крестьянинъ старикъ завѣтовъ, требуетъ, чтобы сынъ прикрылъ грѣхъ свой бракомъ. Никита, при всемъ своемъ старостолби, парень вовсе не жестокосердый, не особенно противится желанью отца. Съ одной стороны, Анисья, очевидно, успѣла ему понравиться, а съ другой стороны, онъ по своей подленькой и малодушной натурѣ явилъ оправдывалъ извѣстную поговорку: „баудаль, какъ конна, трусливъ, какъ заяць“, и ему не особенно пріятно улыбалась перелектава пауки въ волостномъ въ случаѣ его сопротивленія. — „Уперся одинъ такой-то, говоритъ онъ Анисья въ свое оправданіе: такъ его въ волостной такъ испрыгнули... Очень просто. Тоже не хочется. Сказываютъ — щекотно“...

Во Анисья вмѣстѣ обвилась вокругъ своего возлюбленнаго и грозилась лишить себя жизни, если онъ женится на Маринѣ; если-же онъ останется въ домѣ ихъ при ней, обѣщала выйти за него замужъ и сдѣлать его хозяиномъ богатого дома. Въ то же время лаять Никиты — Матрена, женщина хитрая, вкрадчивая, не останавливающаяся ни передъ какими средствами для достиженія цѣли и играющая въ пьесѣ роль Мефистофеля, склонительница на всѣ преступления и пособница, является сторонницею Анисьи, желая, чтобы сынъ женился впоследствии на богатой вдовѣ, — и чтобы ускорить этотъ бракъ, она передаетъ Анисья ядъ для отравленія больного мужа, говоря, при этомъ, что „это такое сладкое, что если давай пить — никакого духа нѣтъ, а сила большая: на семь разовъ, по щекоти на разъ. До семи разовъ давай. И слобода тебѣ скоро откроется“.

Перицатели драмы гр. Л. Толстого находятъ здѣсь первую несообразность. „Зачѣмъ было, говорятъ они, Матренѣ предлагать Анисья ядъ для отравленія Петра, а Анисья принимать его, когда очевидно было, что Петру, при его крайней болѣзненности, не долго оставалось коротать на бѣломъ свѣтѣ?“

Но по моему мнѣнію, настоящій моментъ драмы обдуманъ гр. Л. Толстымъ въ надлежащей мѣрѣ. Дѣла стояли въ этотъ моментъ въ такомъ положеніи, что ни за одинъ день нельзя было ручаться. Съ одной стороны Анисья, сегодня соглашаясь оставить Никиту попрежнему у Петра, завтра могъ передумать и снова настаивать на женитьбѣ сына; съ другой стороны и Анисья, да и сама Матрена не могли рассчитывать на вѣтреную и шальную голову Никиты. Надо было спѣшить укрѣпить его въ домѣ Петра болѣе прочными узлами. Между тѣмъ, какъ ни былъ болѣзненъ Петръ, все таки не настолько, чтобы смерть его предвидѣлась въ близкомъ будущемъ: онъ могъ протянуть и годъ, и два, и болѣе, а въ это время Богъ знаетъ что могло случиться. Надо было ковать желѣзо, пока оно было горячо, и ядъ являлся здѣсь какъ нельзя болѣе кстати.

### III.

Второе дѣйствіе замыкается именно въ отравленіи Петра. Сначала Анисья колеблется, даетъ ядъ самими малыми дозами; ей непривычно, жутко, страшны эти первые шаги по преступной стезѣ.

— „О-о, головушка моя бѣдная! говоритъ она Матренѣ: И что дѣлать теперь, сама не знаю, и жутость беретъ, — помиралъ-бы ужъ лучше самъ. Тоже на душу брать не хочется“.

Но Матрена и тутъ является злою искусительницею, продолжая играть роль Мефистофеля въ юбкѣ. Опять на сцену выступаютъ деньги, которые оказываются главными адскими оружіями во всѣхъ преступленияхъ. — Прежде чѣмъ Петръ укрѣтъ, оказывается дѣломъ первой важности овладѣть его капиталомъ, которые онъ неизвестно куда прячетъ. Тщательно обыскиваетъ Анисья всѣ углы. Между тѣмъ Петръ, чувствуя приближеніе смерти, посылаетъ за своєю сестрою Марсюю и является опасность, что онъ передастъ деньги ей. Тогда дѣло обостряется въ такой степени, что Анисья только и остается, что или заплатить Петру такую дозу яду, чтобы онъ сразу скончался до прихода Марюи, или-же проститься навсегда и съ деньгами Петра, и съ перспективою замужества за Никиту. Анисья рѣшается, наконецъ, на ужасное дѣло.

Въ третьемъ дѣйствіи Анисья является уже женою Петра, но бракъ этотъ, конечно ужъ, не приноситъ счастья любовникамъ, и надъ домомъ ихъ тяготѣетъ проклятіе. Никита, послѣ брака узнавшій отъ матери о преступленіи Анисьи, сразу охлаждаетъ къ ней. И ослышѣла-же она мнѣ, — говоритъ онъ, — съ этого разу. Какъ мнѣ мать сказала тогда, ошметывала она мнѣ, не смотрѣла-бы на нее глаза...“ Онъ началъ пить и въ то-же время связался съ Акулиной, дочерью покойнаго Петра отъ перваго брака.

Анисья знаетъ объ этой связи, но молчитъ и смотритъ сквозь пальцы. Какъ преступница, она совершенно оказывается въ рукахъ своего сообщника, который куражится надъ нею, какъ ему вздумается, а она безропотно все это переноситъ, въ страхъ, конечно, какъ-бы не раздражить его и какъ-бы въ гнѣвѣ онъ не проговорился. Глубокую психологическую вѣр-

ностью отличается слѣдующая сцена прѣзда няного Никиты изъ города, куда онъ ѣздилъ съ Акулиной за получениемъ процентовъ изъ банка, закупивши своей новой любовницѣ дорогихъ обновъ.

Никита. Анисья, жена, кто прѣхалъ? *(Анисья, вслѣдываетъ и, отворачиваясь, молчитъ).*

Никита *(громко)*. Кто прѣхалъ? Ахъ заѣла!

Анисья. Будетъ форсить-то. Иди.

Никита *(все громче)*. Кто прѣхалъ?

Анисья *(подходить и беретъ за руку)*. Ну, мужъ прѣхалъ. Иди въ избу-то.

Никита *(утирается)*. То-то. Мужъ, а какъ звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья. Да, ну тебя—Микитой.

Никита. То-то! Невѣжа—по отчеству говори.

Анисья. Акимъ. Ну!

Никита *(все въ дверяхъ)*. То-то. Нѣтъ, ты скажи фамилія какъ?

Анисья *(сметаетъ и тлѣетъ за руку)*. Чиликинъ. Эка падуся.

Никита. То-то. *(Удерживается за косякъ)*. Нѣтъ, ты скажи, какой ногой Чиликинъ въ избу ступаетъ?

Анисья. Ну, буде—пастушій.

Никита. Говори, какой ногой ступаетъ? Обязательно сказать должна.

Анисья *(про себя)*. Надоѣтъ теперь. Ну, дѣвой. Иди, что-ль.

Никита. То-то.

Велѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ сцена перебранки Анисьи съ Акулиной, не менѣе значительная, какъ тонкимъ психическимъ анализомъ, такъ и поразительнымъ знаніемъ народной жизни. Анисья подходитъ къ столу, чтобы приготовить чай, и видитъ разложенныя на вѣнѣ обновки Акулины.

Анисья. Ну вѣтъ, разложили.

Никита. Ты глянь-ка сюда.

Анисья. Что мнѣ глядѣть! Не видала я, что-ль? Убери ты. *(Словиваетъ рукою на полъ полуизмазанъ).*

Акулина. Ты что швырнешься? Ты своимъ шварей. *(Поднимается).*

Никита. Анисья! Мотри.

Анисья. Чего смотрѣть-то?

Никита. Ты думаешь, я тебя забылъ. Гляди сюда. *(Показываетъ свертокъ и садится на него)*. Тебѣ гостиница. Только заслужи. Жена, гдѣ я сижу?

Анисья. Будетъ куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что-жъ ты на чьи деньги гуляешь, да своей жирехъ гостиницы купнешь? На мои.

Акулина. Какже твои! Украсть хотѣла, да не пришлость. Уйди ты. *(Хочетъ пройти, толкаетъ).*

Анисья. Ты что толкаешься-то? Я-то толкну.

Акулина. Ну-ка сунься. *(Нипирается на нее).*

Никита. Ну, бабы, бабы. Буде. *(Становится между ними).*

Акулина. Тоже дѣзетъ. Молчала-бы, проѣсбра-бы знала. Тоже дѣзетъ. Ты думаешь, не знаютъ?

Анисья. Что знаютъ? сказывай, сказывай, что знаютъ?

Акулина. Дѣло про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, съ чужимъ мужемъ живешь.

Акулина. А ты своего извела.

Анисья *(бросается на Акулину)*. Врешь.

Никита *(удерживается)*. Анисья! Забыла?

Анисья. Чего страшась? Не боюсь я тебя.

Никита. Вонъ! *(Поворачиваетъ Анисью и выталкиваетъ).*

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я изъ своего дома.

Никита. Вонъ, говорю. И ходить не смѣй.

Анисья. Не пойду. *(Никита толкаетъ, Анисья плачетъ и кричитъ, швыряетъ за дверь)*. Что-жъ это, изъ своего дома въ зашей топтать? Что-жъ ты, зло-

дѣй, дѣлаешь? Думаешь, на тебя я суда нѣтъ. Погоди-же ты!

Никита. Ну, ну!

Анисья. Къ старостѣ, къ уряднику пойду!

Никита. Вонъ, говорю *(выталкиваетъ)*.

Анисья *(изъ-за двери)*. Удастся!

Однимъ словомъ передъ нами развертывается самая мрачная картина полного семейнаго разлада. Отсюда Никиты, Акимъ, который навѣдался къ сыну какъ разъ въ эту минуту съ просьбою покончить въ пущѣ. прішеть въ такой ужасъ при видѣ всѣхъ этихъ возмутительныхъ сценъ, что отказался отъ предлагаемыхъ денегъ и не захотѣлъ оставаться у него пить чай и почевать.

Акимъ *(схватываетъ и падъ воемъ шубу. Подгоняетъ къ столу, кладетъ на него бумажку)*. На—денеги твои. Прибери.

Никита *(не видя бумажки)*. Куда я брава одѣвши-то?

Акимъ. А пойду, пойду я, значить, простите, Христа ради. *(Беретъ шапку и уходитъ)*.

Никита. Вотъ-те на. Куда пойдемъ-то ночевать дѣлошь?

Акимъ. Не могу я, значить тас, въ нашемъ домѣ, тас, не могу значить быть, быть не могу, простите.

Никита. Да куда-же ты отъ чаю-то?

Акимъ *(подползаетъ)*. Уйду потому, значить, не хорошо у тебя значить, тас, нехорошо, Микитина, въ домѣ, тас, нехорошо. Значить, влохо ты живешь, Микитина, шлохо. Уйду я.

Никита. Ну, буде толковать, садись чай пить.

Анисья. Что-жъ это батюшка, передъ людьми стыдно будетъ. На что-жъ ты обижался?

Акимъ. Обиди мнѣ, тас, никакой нѣтъ, обиди нѣтъ, значить, а только что, тас, вижу я, значить, что къ поги ели, значить, сынъ мой, къ пошибелъ сынъ, значить.

Никита. Да какая пошибель? ты докажи.

Акимъ. Пошибель-то, пошибель, всеъ ты въ пошибели. Я тебѣ дѣлошь что говорилъ?

Никита. Да мало ты что говорилъ.

Акимъ. Говорилъ я тебѣ, тас, про сироту, что обидѣлъ ты сироту Марину, значить обидѣлъ.

Никита. Эхъ покинуть. Про старика дрожжи не поминать дважды, то дѣло прошло...

Акимъ *(разоряется)*. Прошло? Нѣ, братъ, это не прошло. Грѣхъ значить за грѣхъ отбавить, на себоя тынешь, и завязъ ты, Микитина, въ грѣхѣ. Завязъ ты, слотрю, въ грѣхѣ. Завязъ ты, погрузъ ты, значить.

Никита. Садись чай пить и разговоръ весь.

Акимъ. Не могу я, значить, тас, чай пить. Потому отъ скверны отъ твоей значить, тас, гнусно мнѣ, даже гнусно. Не могу я, тас, съ тобой чай пить.

Никита. П... канителить. Иди къ столу-то.

Акимъ. Ты въ богатствѣ, тас, какъ въ сѣтахъ, въ сѣтахъ ты, значить. Ахъ, Микитина, душа вѣдобна.

Никита. Какую ты имѣешь полную праву въ моемъ дохѣ меня упрекать? Да что ты въ самомъ дѣлѣ пристаешь? Что я тебѣ, мальчишъ дался за шки драсть? Ниче ужъ это оставили.

Акимъ. Это точно, слыхалъ я нянче, что я тас, что и отповъ за бороды траутъ, значить, да на пошибель это, на пошибель, значить.

Никита *(сердито)*. Живешь, у тебя не просишь, а ты-жъ къ намъ прішеть съ нуждой.

Акимъ. Денги? Денги твои вонъ онѣ. Побираться, значить, пойду, а не тас, не возмю, значить.



Никита. Да буде. И что ерцаели, компаню разстраиваеши. (*Удерживает за руку*).  
 Акимъ (*вздыхает*). Пусти, не останусь. Лучше подь заборомъ переночую, чѣмъ въ пакости въ злоей. Тыфу, прости Господи. (*Уходитъ*).

## IV.

Мы нарочно такъ долго остановились на третьемъ дѣйствіи и привели изъ него такъ много выписокъ, что это дѣйствіе представляется самымъ лучшимъ во всей драмѣ, наиболее естественнымъ, характернымъ и художественно-обработаннымъ. Далѣе-же затѣмъ мы вступаемъ въ мрачную область преувеличеній, натяжекъ и полныхъ искаженій дѣйствительности ради того, чтобы подогнать ее къ проводимой тенденціи.

Такъ, напримеръ, въ четвертомъ дѣйствіи развертывается передъ нами рядъ ужасающихъ сценъ новаго преступленія героевъ драмы, — именно убійства ребенка Акулины, прижитаго ею съ Никитомъ. Здѣсь приходится выдать гр. Л. Толстому порпателямъ его драмы съ головою и ибтъ никакой возможности защитити его отъ ихъ нападокъ. Дѣйствительно, здѣсь одна несообразность ведетъ за собою другую, и надуманность, искусственность всѣхъ этихъ несообразностей мечутся намъ въ глаза. Такъ, для насъ совершенно непонятно, какъ это — въ то время, какъ все деревня знала о беременности Акулины, да и не могла не знать, такъ какъ въ деревнѣ, гдѣ не посятъ ни перестовъ, ни криволиковъ, ни турнировъ, трудно скрыть беременность дѣвушки, — и вдругъ одни сваты, прибавшіе сватать Акулину ничего объ этомъ не знали. А если знали, и все-таки сватали, ибѣ въ виду богатое приданое Акулины, то какой смѣль имѣть слѣдующая сцена:

Свять (*одна выходя изъ стѣнъ храма*). Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. (*Смотритъ отъходящая*). И Богъ е знаетъ какъ... что-то не того, не радуется... Ну, да какъ старуха...

Матрена (*выходя изъ стѣнъ-же*). А я сморю: гдѣ свать? гдѣ свать? А ты, родной, во гдѣ... Ну что-жъ, родимый, слава тѣ Господи, все честь честь. Сватать не хвастать. А я хвастать и не учтаю. А какъ пришли вы за добрымъ дѣломъ, такъ дасть Богъ, и вѣкъ благодарить будете. А первѣта-то, чѣдашь, на рѣдкость. Такой дѣвкѣ въ округѣ похвалять.

Свять. Оно такъ, да насчетъ денегъ не сморгать-би?

Матрена. А насчетъ денегъ не толкуй. Что ей отъ родителей награжденіе было, все при ней. Но наипишему времени, легко ли: три полета.

Свять. Мы и не обижася, а свое все дѣтине. Какъ подучше хочетъ.

Матрена. И тебѣ, свать, истинно говорю: кабы не я, въ жизни бы тебѣ не найти. У нихъ отъ Кормичиныхъ тоже засылка была, утѣ я застоля. А насчетъ денегъ — вѣрно сказываю, какъ покойный, царство небесное, помиралъ, такъ и приказывалъ, чтобъ въ домъ двоя Микиту приняла, потому мнѣ чрезъ сына все извѣстно, а денежки, значить, Акулинѣ. Вѣдь другой бы покорствовался, а Микита все до чиста отдасть. Легко ли, деняшки какия.

Свять. Народъ богатеетъ, денегъ больше за ней приказано. Малай-то тоже проворъ.

Матрена. И... голубчикъ бѣлье. Въ чужихъ рукахъ лодотъ возникъ; что было, то и дають. И тебѣ сказываю, ты все чекни брось. Закрѣпкой тверже. Дѣвка-то какая, какъ бобочекъ хорошая.

Свять. Оно такъ. Мы одно съ бабой мекать насчетъ дѣвки-то: — что-жъ не вышла? Думаемъ, что-жъ какъ хвора?

Матрена. И-и... Она-то хвора? Да противней въ округѣ ибтъ. Дѣвка какъ лгала — не ушибешь. Да вѣдь ты намедни видѣлъ. А работать — страсть! Съ глушиной она, это точно. Ну, да черпотоинка красному яблочку не покорь. А что не вышла-то, это, вѣдашь, съ глазу. Сдѣлано надъ ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, вѣдашь, что створь, ну и напушено. Да я отговоръ знаю. Завтра встанетъ дѣвка. Ты насчетъ дѣвки не сумлевайся.

Свять. Да что же — дѣло полагено.

Матрена. То-то, ты ужъ того, и не пытайся. Да мени не забудь. Хлопотала я тоже. Ужъ ты не оставь...

А затѣмъ надо-же было случиться, чтобы Акулиной пришлось родить какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ прѣхалъ сватать свать.

Но допустимъ это, какъ случайное совпаденіе. Далѣе затѣмъ, къ чему понадобилось героямъ написать новое преступленіе въ видѣ убійства ребенка? Что побуждало ихъ свести младенца въ городъ въ воспитательный, что и предлагалъ Никита? Ну, а если бабы рѣшились на это страшное дѣло, чтобы поскорѣй, не откладывая въ долгій ящикъ, срыгать концы въ воду, то развѣ не было въ ихъ рукахъ совершить убійство гораздо проще, чѣмъ они это сдѣлали? Вѣдь бабѣ ничего не стоить только-что рожденнаго младенца не допустить даже и вскрикнуть, и вынести-бы онѣ Никитѣ трупики, заливши, что младенецъ родился мертвымъ. Нѣтъ, гр. Л. Толстому непременно захотѣлось, чтобы Никита чуть что не передъ глазами публички нажалъ живаго младенца доскою и съѣлъ на нее, чтобы косточки захрустѣли. Очень понятно, для чего гр. Л. Толстому понадобились эти отвратительныя по своимъ подробностямъ, лютительныя сцены. — Необходимо было, чтобы послѣднее преступленіе героевъ производило самое ужасающее впечатлѣніе и чтобы такимъ образомъ вполне оправдывалось заглавіе драмы, что увязъ поглотокъ и вся итчка попала. Необходимо было, чтобы Никита этимъ преступленіемъ былъ окончательно подавленъ, чтобы хрустѣнье косточекъ и предельный пискъ младенца мерещились ему дню и ноцно, не давали ему житья, чтобы совѣсть его до такой степени истерзала, что-бы онъ готовъ былъ на самой свадьбѣ Акулины, при многочисленномъ собраніи чуть не всей деревни, встать на колѣни и каяться во всѣхъ содѣянныхъ преступленіяхъ.

Вообще, трудно себѣ представить болѣе искусственнаго, дѣланнаго и мелодраматичнаго, какъ все патое дѣйствіе, написанное какъ разъ въ угоду проводимой тенденціи; въ балаганной-же сценѣ покаянія не достаетъ только звона колоколовъ и какой-нибудь херувимской пѣсни въ воздухѣ, или чтобы пединимо присутствующая власть тьмы, при видѣ покаянія грѣшника, съ зубовымъ скрежетомъ провалялась бы сквозь ноль, сопровождаемая адскимъ пламенемъ.

Я несколько не удивляюсь, что простые люди, которымъ, по рассказамъ, была прочтена драма, замѣтили, что въ сценѣ публичнаго покаянія Никита какъ будто „сбрендилъ“. Это мнѣніе вытекаетъ вовсе не изъ какой-либо нравственной тупости и неразвито-

сти не понимающих, какъ это можно признаваться въ содѣянномъ преступленіи и подвергаться уголовнымъ карамъ добровольно. Здѣсь мы видимъ скорѣе всего инстинктивное чутье, что вся эта сцена неестественна, что въ жизни такъ не бываетъ. И дѣйствительно, начать съ того, что совершенно не въ характерѣ русскаго человѣка, при его скромности и застѣнчивости, публичныя манифестація въ родѣ покаяній на колѣняхъ передъ всѣмъ міромъ. Онъ если и рѣшится на что-нибудь подобное, то попросту пойдетъ въ волостное правленіе и тамъ признается первому попавшемуся, старостѣ или сотскому. Въ особенности-же трудно ожидать покаяній отъ Никиты: это — натура слишкомъ малодушная, трусливая и дрянная, чтобы быть способною на подобный, во всякомъ случаѣ, подвигъ. Совсѣмъ иначе долженъ онъ проявлять себя послѣ всѣхъ совершенныхъ имъ преступленій, и совсѣмъ въ иномъ родѣ представляется естественный финалъ драмы, финалъ виолеттѣ ясно раскрывающійся передъ нами въ третьемъ дѣйствіи. Уже тогда, какъ мы видели, Никита сталъ покушаться, охладѣлъ къ Анисѣ и началъ куражиться надъ нею. Послѣ новаго преступленія жена окончательно должна была ему опротивѣть; въ то-же время Никитѣ, терзаемому совѣстью и жаждущему забыться, только и оставалось, что начать пить мертвую чашу, все таща изъ дому. Начались-бы ежедневныя сцены семейнаго раздора, еще болѣе ужасающія, чѣмъ въ третьемъ дѣйствіи, сцены кровавыхъ потасовокъ, — и кончилось-бы дѣло тѣмъ, что или въ одну изъ такихъ потасовокъ Никита совершилъ-бы свои преступленія, исколотивши Анисью до смерти, или она, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобной жизни, пошла-бы въ волостное жаловаться на мужа, — и тутъ въ дикомъ озлобленіи другъ на друга они открыли-бы всѣ свои преступленія. — Деревенскія семейныя драмы, по большей части, кончаются именно такимъ образомъ: запоемъ, разореніемъ, побойками на смерть и волостнымъ судомъ, на которомъ разомъ всплываютъ такіе ужасы, что волосы встаютъ дыбомъ у слушателей.

Въ числу такихъ-же предвзятыхъ, надуманныхъ частностей, занимающихъ въ драмѣ мѣсто единственно ради проведенія излюбленныхъ тенденцій гр. Л. Толстого, принадлежатъ и такія вещи, какъ наивные разговоры Акиля съ Митричемъ о банкахъ или о городскихъ ватерлозетахъ, возбуждающіе въ читателяхъ невольную улыбку. Наконецъ, къ чему понадобился гр. Л. Толстому всѣ эти грязныя онучи, комарьяныя мозоли на ногахъ и оснащение рѣчей дѣйствующихъ лицъ почти что непечатными словами? Это тоже неспроста. Гр. Л. Толстой выражаетъ въ этомъ свой протестъ противъ того *изящнаго* искусства, которое существуетъ для изысканнаго меньшинства, услаждаетъ изысканныя чувства одними прекрасными образами, избѣгая всего, что могло-бы, какъ-бы то ни было, покоробить или оскорбить чопорныхъ любителей эстетическихъ наслажденій, и въ то-же время ни къ чему не ведетъ, какъ лишь къ развитію чувственности. — Въ противоположность этому искусству для меньшинства, гр. Л. Толстой создаетъ новое искусство для народа, не боящееся глядѣть правдѣ жизни

прямо въ глаза, не прикрашивающее жизнь, а изображающее ее во всей ея грязи, съ вонью, онучами, мозолями и непечатными словами.

Если хотите, это имѣетъ свою долю основанія, но лишь тогда, когда художникъ изображаетъ правду жизни безхитро, не задаваясь при этомъ никакими стремленіями удивить читателей пахучимъ букетомъ этой правды. Въ такомъ случаѣ непосредственное художественное чутье подскажетъ автору хѣру, перехода которую правда перестаетъ быть правдою. Въ самомъ дѣлѣ, какая-же правда, въ томъ, что авторъ начнетъ нагромождать сальность на сальность, нарочно для того, чтобы рисовать передъ нами свободу отъ великобѣтской щепетильности? Это крайность противъ крайности — и больше ничего.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъ предвзятыхъ излишествъ, равно какъ искусственности и надуманности сюжета, драма не производитъ на васъ и тѣни того впечатлѣнія, на которое рассчитывалъ авторъ. — Зрители сколько не убеждаютъ въ томъ, чтобы, дѣйствительно, стоило увязнуть поглотку — и всей птичкѣ пропасть, и проникаются подобною азбучною сентенціею въ гораздо меньшей степени, чѣмъ слушая старинныя французскія мелодрамы, въ родѣ „Тридцать лѣтъ или жизнь игрока“, гдѣ подобныя-же сентенціи проведены съ большимъ блескомъ, трескомъ, и раздражительными эффектами. Въ концѣ концовъ, драма гр. Л. Толстого производитъ на насъ такое впечатлѣніе, что какъ будто авторъ самъ не особенно глубоко вѣритъ въ то, что берется доказать намъ и относится къ своей задачѣ съ необлѣбимой холодною, напоминая тѣхъ художниковъ новѣйшихъ временъ, которые берутся за религиозные сюжеты, не въ силахъ будучи внести въ свои картины ни одной капли того религиознаго энтузіазма и той сердечной теплоты, которыми провинкуты были безхитро, но глубоко вѣрующіе художники прежняго времени.

При всѣхъ этихъ условіяхъ драма гр. Л. Толстого была-бы произведеніемъ, лишеннымъ всякаго смысла, если-бы не нашелся въ ней иной смыслъ, который высказался самъ собой, помимо сознанія автора, въ силу глубокой реальной правды образовъ пьесы, и этотъ смыслъ совершенно заслоняетъ собою азбучную мораль драмы, заставляя васъ забыть о ней. Драма, дѣйствительно, производитъ на васъ потрясающее впечатлѣніе, но совсѣмъ не тѣмъ, на что рассчитывалъ авторъ.

## V.

„Власть тьмы“! Дуракъ-ли гр. Л. Толстой, когда далъ такое заглавіе своей пьесѣ, что этимъ заглавіемъ онъ очерчиваетъ весь глубокий и таинственный смыслъ своей драмы? Судя по всѣмъ его идеямъ послѣдняго времени, можно думать, что подъ властью тьмы авторъ разумѣетъ власть сатаны, ада; лежу тѣмъ, вся драма отъ первой страницы до послѣдней словно вопіетъ передъ вами: смотрите, какая тьма непроглядная вокругъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы; они совсѣмъ во власти этой тьмы; они бредятъ въ ней, совершенно растерянные, словно не люди, а ночные лѣсные звѣри. Свѣту, свѣту побольше, знавая,

лучше они кончатъ тѣмъ, что взаимно перебьдуть другъ друга!

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только живую, дышащую великихъ духовныхъ радостей и наслажденій, какихъ-бы ни было, религиозныхъ, умственныхъ, эстетическихъ: церковь вереть за пятнадцать, а вблизи ни душевспасительнаго слова, ни книги, которая повѣстала-бы, какъ жить, и научала; или каторжная страда, или кабакъ. Прибавьте къ этому жизнь въ тѣсныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ телятами и овцами, причѣмъ всѣ члены семьи спятъ чуть не въ поклажу въ одной избѣ, что само по себѣ располагаетъ во всякаго рода грѣховнымъ сближеніямъ и кровосмѣшеніямъ. А далѣе, затѣмъ, вы видите рабскую зависимость отъ первой непогоды, градобітія, падежа: ни во время стаетъ зима или весна запоздаваетъ, — и сезонъ можетъ рушиться благосостояніе, нажитое годами кроваваго труда. Отсюда какъ нельзя болѣе понятна жадность мужика къ деньгамъ: не къ богатству, а именно къ деньгамъ, къ грошамъ, къ каждой копейкѣ. Въ деньгахъ мало-мальски умственный мужикъ видитъ единственное спасеніе и обезпеченіе отъ всѣхъ градобітій и неурожаевъ, и вотъ ради снискавія денегъ, если представляется случай, умственные крестьяне готовы на все: женить сына на развратной дѣвкѣ, ограбить на дорогѣ купца, отравить стараго мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью молодой вдовы, зарыть живымъ младенца, если онъ стоитъ на пути хозяйственныхъ расчетовъ — все это ни почемъ оказывается, лишь-бы хотя часокъ вздохнуть сознаниемъ обезпеченности.

Глубокая иронія скрывается въ драмѣ гр. А. Толстого въ томъ обстоятельствѣ, что единственная вполнѣ добродѣтельная личность въ пьесѣ, богобоязненный мужикъ Акинь, — является въ то-же время великъ-го полудидломомъ, который едва можетъ связать два-три слова, и то черезъ каждое слово повторяя: *мае да мае*. Вы такъ и видите въ этомъ Акинь архаично вола, безпрекословно подчиненнаго *власти землѣ*, и изъ этого слѣпото, бессмысленнаго подчиненія, совершенно согласно теоріи Гл. Успенскаго, проистекаетъ вся добродѣтель Акина, вся вѣрность священнымъ дѣдовскимъ традиціямъ. Все-же остальные дѣйствующія лица — люди умственные, но вся ихъ умственность проявляется исключительно въ шельфовствѣ городскихъ нарядовъ, гармоникахъ, хересахъ и необузданной страсти къ наживѣ какими-бы то ни было средствами.

Захѣйте къ тому-же вотъ еще какое обстоятельство: вы видите въ драмѣ гр. А. Толстого, что преобладающую роль во всѣхъ поступкахъ дѣйствующихъ лицъ играютъ женщины: отъ нихъ идетъ инициатива всѣхъ преступленій, и онѣ по своей волѣ распоряжаются всѣмъ мужскимъ персоналомъ драмы. Даже добродѣтельный Акинь находится подъ башмакомъ у своей Матрены, и не только не въ силахъ помѣшать ей спать яло, но вполнѣ подчиняется ея злой волѣ, и Матрена даже бахвалится въ первомъ дѣйствіи передъ Анисейей: „Ихъ, дураковъ, ягода, все тасъ-то навить надо. Все въ согласьи, какъ будто. А до чего

дѣло доидеть, сейчасъ на свое и повернешь. Баба, вѣдаешь, съ печи лотить, севъдесять семь думъ переудашь“...

Такимъ образомъ, вмѣсто „власть тьмы“ можно было-бы вполнѣ вѣрно озаглавить драму „власть бабъ“. По въ томъ-то и дѣло, что эта власть бабъ является сугубо властью тьмы, потому что если деревенскіе мужики бродить въ потемкахъ, то бабы, помыкающія или, еще того болѣе, и въ четвертомъ дѣйствіи вы встрѣчаете замѣчательный діалогъ бывалаго солдата Митрича съ дѣвочкой-подросткомъ Анюткой, діалогъ, бросающій яркій свѣтъ на внутренней смыслъ драмы.

**А н ю т к а.** До десяти годовъ все младенецъ, душа къ Богу може еще поидеть, а то, вѣдь, изгадинься.

**М и т р и ч ѣ.** Еще какъ изгадинься-то! Вашей сестрѣ какъ не изгадинься? Кто васъ учить? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только тусность одну. Я хоть немножко учень, а кое-что да знаю, не твердо, а все не какъ деревенская баба. Деревенская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры въ Россіи большіе миллионы, а всѣ какъ кроты сонные, — ничего не знаютъ. Какъ коровью смерть опаживать, привороты всякіе, да какъ подъ наебетъ ребить носить къ курамъ — это знаютъ.

**А н ю т к а.** Матушка и то носила.

**М и т р и ч ѣ.** А то-то и оно-то. Милліонны васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а всѣ какъ зѣрильшеные. Какъ выросла, такъ и помереть. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть въ кабаки, а то и въ замѣкъ, случаетъ, али въ солдатствѣ, какъ я, узнаеть кое-что. А баба что? Она не то, что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ толкомъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси, какакія — она и не знаетъ. Такъ, какъ шенята елѣные позлають, головами въ наволъ тичатся... Только и знаютъ ибени свои дурачки: го-го, го-го... А что го-го? — сами не знаютъ...

**А н ю т к а.** А а, дѣдушка, Вотчу до половины знаю.

**М и т р и ч ѣ.** Знаешь ты много! Да и спросить съ васъ тоже нельзя. Кто васъ учить? Только пьяный мужикъ поучить когда возжаи. Только и ученья. Ужъ и не знаю, кто за насъ отвѣчать будетъ. За рекрутовъ, такъ съ дядьки или старшаго спросить. А за вашу сестру и спросить не съ мого. Такъ, безвѣстная скотина озорная самая, бабы эти — самое глупое наше сословіе. Пустое самое наше сословіе.

**А н ю т к а.** А какъ-же быть-то?

**М и т р и ч ѣ.** А такъ и быть... Завернишь съ головой и спи. О, Господи!

Однимъ словомъ, драма гр. А. Толстого производитъ на васъ ужасающее и потрясающее впечатлѣніе, но вовсе не въ силу творящихся въ ней грѣховъ и преступленій. Тутъ нѣтъ злодѣевъ и негодяевъ, которые возмущали-бы васъ и приводили въ негодование; передъ вами просто рядъ дикарей, которые руководятся одними слѣбыми инстинктами и стихійною игрою неосмысленныхъ страстей и похотей, которые и въ самыхъ своихъ добродѣтеляхъ, равно какъ и въ порокахъ повинуются импульсамъ чисто зоологическаго характера и дѣйствуютъ въ потемкахъ, не вѣдая, что творять. И если подумать, что такихъ дикарей десятки миллионны, живущихъ совершенно такою-же жизнью, какою жили предки ихъ при Гостомыслѣ, морозъ по кожѣ подереть.

# ПѢСНИ О ЖЕНСКОЙ НЕВОЛѢ.

Полное собраніе сочиненій Ю. В. Жадовской, посмертное изданіе въ 3 томахъ. Сиб. 1885.

## I.

Въ произведеніяхъ Ю. В. Жадовской, конечно, нельзя найти такого яркаго таланта, какъ у ея младшихъ современницъ—В. Крестовскаго (псевдонима) и Марко-Вовчка; скромное имя ея отступаетъ передъ этими видными литературными именами. Многимъ покажется даже, что отъ произведеній ея вѣетъ какою-то стародавнюю стариною. И дѣйствительно, хотя Жадовская умерла лишь въ 1883 году, имя ея напоминаетъ намъ что-то очень давнишнее, тѣ до-стопамятные времена, когда по всей Руси скакали еще ухарскія тройки, а на тройкахъ красовались трехъ-аршинные фельдъегери, когда богатые полѣщики задавали еще волшебныя празднества, на которыхъ събѣжались цѣлыя уѣзды, когда ни о какихъ вопросахъ никому и не снилось, и дѣвушки шли не на курсы, а прямо замужъ, да и то не шли, а выдавались.

Но какъ-бы ни уступала по размѣру таланта Жадовская своимъ знаменитымъ современницамъ, имя ея не будетъ забыто, и произведенія ея, въ связи съ жизнію писательницы, всегда будутъ имѣть свой особенный интересъ, какъ весьма характерный памятникъ вѣка. Дѣло въ томъ, что упомянутыя знаменитыя современницы Жадовской или вмѣстѣ съ прочими выдающимися беллетристами 40-хъ и 50-хъ годовъ впереди своего вѣка, вели за собою молодыхъ поколѣнія, учили ихъ, и уже этимъ однимъ занимали совершенно исключительное положеніе въ ряду культурныхъ женщинъ своего времени. Онѣ изобразили судьбу этихъ женщинъ съ точки зрѣнія самыхъ передовыхъ идей, какъ нѣчто давно ими пережитое и для нихъ совершенно постороннее. Не такова была Жадовская. Она стояла на уровнѣ массы образованныхъ обыкновенныхъ женщинъ своего времени, отличаясь отъ нихъ лишь нѣсколько большою начитанностью и литературною способностью. Раздѣляя судьбу этихъ женщинъ, она испытала и всѣ тѣ горькія превратности, какія висѣли дамокловымъ мечемъ надъ ихъ головами, и къ тому-же превратности эти пришлось испытать ей въ самомъ рѣзкомъ и остромъ видѣ. А такъ какъ, при крайней субъективности своего таланта, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ она изображала одну и ту-же героиню,—самое себя, то произведенія эти и любопытны, именно, какъ непосредственное и наивное изображеніе судьбы средней культурной женщины до-реформеннаго времени. Но этого мало сказать—изображеніе,—такъ какъ передъ нами не поэтическіе вымыслы, болѣе или менѣе близкіе къ дѣйствительности, а какъ есть, сама дѣйствительность, которую мы осозаемъ въ лицѣ сочинительницы, составляющей нѣчто одно нераздѣльное съ своими произведеніями.

Въ то-же время, читая эти произведенія, мы видимъ, какими медленными, тяжелыми шагами и съ какими тяжкими усилиями женщина выбивалась изъ той трясины зависимости, безличности, въ которой она тонула, какъ трудно было бороться ей не только съ окружающими ее условіями, но и съ самой собою, съ тѣми предразсудками, въ духѣ которыхъ она была воспитана вѣками. И въ самомъ дѣлѣ: въ лицѣ Жадовской, съ ея скромными произведеніями, передъ нами является весьма умная, талантливая и въ то-же время глубоко несчастная женщина; вся жизнь ея была задавлена и загублена самымъ грубымъ и безчеловѣчнымъ образомъ, и лишь цѣною этого горькаго опыта коды-концы уже жизни она додумалась до первыхъ элементарныхъ понятій женской свободы, хотя-бы только въ выборѣ мужа. Такимъ образомъ, передъ нами развертывается картина постепеннаго, органическаго паростанія такъ-называемаго женскаго вопроса, и мы убѣждаемся, что вопросъ этотъ все не явился сразу и ex abrupto, навѣянный со стороны, а логически и неизбежно вытекъ изъ самой нашей жизни, вмѣстѣ съ другими насущными вопросами 60-хъ годовъ.

## II.

По происхожденію своему, Ю. В. Жадовская принадлежала къ среднему дворянскому сословію. Отецъ ея служилъ сначала во флотѣ, потомъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при ярославскомъ губернаторѣ и, наконецъ, предсѣдателемъ ярославской гражданской палаты. Мать, Александра Ивановна Гогольцева, тоже дворянскаго происхожденія, прожила въ замужествѣ всего три года и оставила по себѣ двухъ дѣтей—дочь Юлію и сына Павла. Юлія родилась 29 іюня 1824 года, въ родовомъ имѣніи отца, селѣ Субботинѣ, любилскаго уѣзда, ярославской губерніи. Отъ самаго рожденія на ней лежала печать горя. Дѣвочка родилась калѣкою и, къ довершенію всего, осиротѣла, лишившись матери, когда ей не было еще и двухъ лѣтъ.

Оставшись вдовцомъ, отецъ Жадовской постыжись, повидимому, отдѣлаться отъ дѣтей. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что сынъ Павелъ былъ отведенъ въ Москву, въ первый кадетскій корпусъ (это двухлѣтній-то ребенокъ!); трехъ-лѣтняя-же дѣвочка Юлія была взята на попеченіе родною бабкою съ катеринской стороны, Настасьей Петровною Гогольцовой, которая и перевезла внучку въ свое родовое имѣніе, село Полежаново, находящееся въ двадцати верстахъ отъ уѣзднаго городка Буя.

Въ сторонѣ отъ большого свѣта\*, имѣющаго автобиографическій характеръ, Жадовская такими чертами характеризуетъ свою обо-

глазую бабушку, добрую и простодушную захоластную помещицу начала нынѣшняго столѣтія:

«Она до старости сохранила въ душѣ чувствительность и заливалась слезами надъ произведеніями Августа Лафонтена и другихъ чувствительныхъ писателей, и съ трепетомъ слѣдила за ужасами «Удольфскаго Таинства». Но эта чувствительность не распространялась у ней на все безъ разбора, кетати и не кетати. Въ практической жизни бабушка была добрая хозяйка, любившая хорошо покушать и пашить кофею по утру. Она не была тѣмъ, что называютъ образованною, и не имѣла на это никакихъ претензій; воспитываясь у своей бабушки, она одна изъ всего семейства не знала французскаго языка; но по многихъ случаяхъ обнаруживала умъ лисній и практическій. Она не любила задавать тону, то есть, казаться выше того, что есть, но любила, чтобы все у нея было хорошо, чтобы соседка, уѣзжая съ ея обѣда, говорила: «Какой прекрасный столъ у Авдотьи Петровны! Когда ни завѣдай, голодна не будешь»...

«Какъ теперь гляжу на эту добрую старушку: рѣдкій капотъ и бѣлая косинка на головѣ, новизанная «маленькой головкой», составляли ея будничскій нарядъ. Ченцова она не любила, потому что они закрывали ей уши и усиливали глухоту, и этого чепецъ являлся на ея головѣ только по воскресеньямъ или по случаю какого-нибудь рѣдкаго явства дальнѣйшей, богатой соседки. Въ воскресенье и праздники старушка облачалась какою-то торжественностью и особеннымъ достоинствомъ, но эта торжественность продолжалась только до обѣда; послѣ обѣда которая-нибудь изъ соседокъ говорила: «Что это вы, родная, не изволите спать чепчикъ?» Старушка всегда съ радостью принимала подобное предложеніе, и голова ея снова красовалась въ бѣлой косинкѣ»...

«Появленіе мое въ домѣ бабушки, говорить далѣе Жадовская, принесло ей большую радость. Я была новымъ звеномъ, призывавшимъ ее къ землѣ. Она теперь имѣла право, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, желать продолженія жизни, потому что эта жизнь нужна была маленькому существу, отданному ея покровительству. Воспитаніе мое... по у меня не было того, что называется воспитаніемъ. Я не знала гвернантокъ, бабушка терять ихъ не могла. Русской грамотѣ я выучилась еще на пятномъ году, съ пяти лѣтъ пристрастилась къ чтенію и до пятнадцати ничему большому не училась. Въ то-же время я выучилась и писать самымъ оригинальнымъ образомъ. Малюткой я копировала сперва печатныя буквы, потомъ стала подражать почерку пѣкельныхъ старинныхъ писемъ и бумагъ, хранившихся въ незапертомъ сундукѣ, въ углу диванной; мнѣ было позволено разбирать ихъ, съ тѣмъ, чтобы, насмотрѣвшись, я снова уложила ихъ въ прежнемъ порядкѣ. Если удавалось мнѣ написать нѣсколько уродливыхъ строчекъ, я съ восторгомъ показывала ихъ бабушкѣ, которая иногда замѣчала, что «азы» у меня точно пьвяные, поначнулись на-божь, или «червь» похвѣлъ на крышечкѣ; но тутъ-же цѣловала меня и прибавляла, что если я буду стараться, то выучусь писать скоро и хорошо.

«Я ѣла съ бабушкой по средамъ и пятницамъ постное; вставала съ ней къ заутрени и вообще восхлидала всехъ тѣмъ, что была «какъ большая». Такъ жила я была слабый, худенькій ребенокъ, то бабушка всю зиму держала меня безвыходно въ комнатѣ, какъ говорить, въ хлопкахъ, что не мѣшало мнѣ простужаться и хворать. Тогда работамъ и огорченіямъ доброй старушки не было конца: поднималась вся домашняя аптека; мнѣ обкладывали голову листьями соленой капусты, поили мятой, и только въ крайнихъ случаяхъ давали огуречнаго рассола. Бабушка не вѣрила докторамъ, да, правда, въ деревнѣ по-неволѣ обходилось дѣло безъ доктора: гу-

берскій городъ былъ за 200 сажень версты, а уѣздный врачъ находился, болѣею частью, или на слѣдствіи, или гдѣ-нибудь у помещиковъ.

«Въ сумерки бабушка сажала меня передъ собой на столъ, спуетя ноги мои къ себѣ на колѣни, и, поглаживъ меня по головѣ, начинала разсказывать, по моему просебѣ, сказку. Сперва разсказывала мнѣ о «хитрой лисицѣ и волкѣ», о «Строевой дочкѣ». Съ какимъ наслажденіемъ я слушала бабушку! Однажды бабушка вдругъ припомнила сказку изъ «Тысячи одной ночи». Кушцы, прищипы, прищессы, волшебница потянувшись передо мной пестрою вереницей. Весь вечеръ я была въ какомъ-то обалтѣи. Легши въ постель, я стала припоминать сказку и,— страшное дѣло!—передо мной явилась рядъ новыхъ образовъ, новыхъ приключеній, о которыхъ не разсказывала бабушка, но которыя родились въ моемъ, сильно потрясенномъ, воображеніи. Съ этихъ поръ являлась у меня странная способность разсказывать, мысленно, самой себѣ, сказки, созданныя моимъ-же собственнымъ воображеніемъ. Сперва это были сказки, послѣ—дѣлье романы. Эта способность, которую нѣтъ возможности объяснить тѣмъ, кто не имѣлъ ее, была для меня источникомъ невыразимой отрады. Бывало, по цѣлымъ часамъ хожу и задумчиво взадъ и впередъ по комнатѣ, и если-бы былъ при мнѣ какой-нибудь опытный наблюдатель, то вѣрно-бы удивился, увидѣвъ на дѣтскомъ лицѣ моемъ то слезы, то радость, то ужасъ, то испугъ. Этихъ дѣлныхъ путешествій по комнатѣ не могла не замѣтить и бабушка; и въ самомъ дѣлѣ, странно было видѣть маленькую дѣвочку, расхаживающую съ самымъ глубокомысленнымъ видомъ. На всѣ вопросы бабушки, о чемъ я думаю—я отвѣчала неопредѣленнымъ «такъ»... и она переставала спрашивать меня, сказавъ:

— Ну, Христосъ съ [ней] она что-нибудь да думаетъ.

Замѣчательно, что буквально подобное-же первое проявленіе творчества, въ видѣ разсказыванія самой себѣ сказокъ собственнаго изобрѣтенія, мы видимъ въ дѣтствѣ Жоржъ-Зандъ въ ея «Histoire de ma vie» (т. II, гл. XI).

### III.

Когда дѣвочки минуло пятнадцать лѣтъ, бабушка, не смотря на всю привязанность къ внучкѣ, рѣшилась разстаться съ ней, такъ какъ барышнѣ пора было поучиться нѣсколько посерьезнѣе, и вотъ бабушка отвезла ее въ Кострому, къ ея родной теткѣ, Аннѣ Ивановнѣ Корниловой, урожденной Готовцевой.

«Тетка эта,—говоритъ биографъ Жадовской,— была женщина свѣтская, весьма образованная для своего времени, страстно любила литературу и сама участвовала въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ конца двадцатыхъ годовъ: въ «Московскомъ Телеграфѣ», «Синѣ Отечества», «Галатѣ» С. Е. Рачи и друг., помѣщая статьи и стихотворенія. Анна Ивановна дѣлательно принялась за образование своей племянницы; сама преподавала ей языки, географію и исторію, а сельскій священникъ училъ ее закону Божію. Потомъ, по желанію отца, Юлія Валеріановна поступила въ костромской пансіонъ Прибытковой, гдѣ училась прекрасно, но особенные успѣхи оказывала въ русской словесности. Предметъ этотъ преподавалъ въ пансіонѣ молодой талантливый педагогъ, Петръ Мироновичъ Перевальскій, кандидатъ московскаго университета, впоследствии профессоръ александровскаго лицея, извѣстный своими трудами по филологіи и исторіи словесности. Онъ обратилъ особенное вниманіе на Юлію Валеріановну, сталъ руководить ея занятіями, выбиралъ

ей книги для чтения и способствовали развитію ей эстетическаго вкуса. Кончилось тѣмъ, что учитель влюбился въ свою ученицу, которая отвѣчала ему взаимностью».

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ весьма характерныи романомъ добраго стараго времени, на тему котораго написано очень много всякаго рода повѣствованій. Тема эта, конечно, известна и переизвѣстна каждому, кто читалъ старыя русскія романы 30-хъ и 40-хъ годовъ: она была дочь богатыхъ и знатныхъ родителей, онъ — темный бѣднякъ. Они полюбляли другъ друга. Но родители и слышать не хотѣли о такомъ неравномъ союзѣ и на вѣки разлучили молодыхъ сердца.

Цифъ подобныя драмы возможны только или въ очень высокомъ кругу, или въ купеческомъ и крестьянскомъ. Но въ старину и въ средѣ небогатаго дворянства онѣ были не въ рѣдкость и какъ нельзя болѣе характеризовали то вполнѣ подневольное положеніе полной безличности, въ какомъ находились въ то время барышни. Не далеко ухода отъ дворовыхъ своихъ прислужницъ, Машекъ и Дашекъ, по умственному развитію и образованію, барышни дѣлили съ ними и одну и ту-же горькую чашу своего рода крѣпостной зависимости. Совершенно подобно тому, какъ Машки и Дашки выходили замужъ не иначе, какъ по приказанію господъ, за кого тѣ ихъ предназначаютъ, также точно поступали родители и съ барышнями, располагая ихъ судьбою по собственнымъ своимъ практическимъ соображеніямъ, и нисколько не принимая при этомъ въ расчетъ ихъ сердечныхъ влеченій. Разница заключалась только въ томъ, что Машки и Дашки и послѣ замужества продолжали служить прежнимъ господамъ, барышни-же дѣлались безирекословными рабами своихъ мужей.

Но не всегда при этомъ родители руководствовались вполнѣ разумными практическими соображеніями, и здѣсь мы видимъ новое сходство судьбы барышень съ судьбами Дашекъ и Машекъ. Господа очень часто отказывали своимъ дворовымъ въ бракѣ по одному самодурству, безъ всякихъ сколько-нибудь разумныхъ основаній; точно также поступали они и по отношенію къ дѣтямъ, разлучая любящихся, изъ одного безиричиннаго каприза или досады, какъ съшли ихъ дочери помыслить о бракѣ самостоятельна и безъ ихъ вѣдома. Подобное проявленіе родственнаго самодурства имѣемъ мы и въ настоящемъ случаѣ, и притомъ въ самомъ рѣзкомъ и характерномъ видѣ. Бѣды не Богъ знаетъ, какое знатное лицо представлялъ собою отставной капитанъ-лейтенантъ и предсѣдатель гражданской палаты, и, конечно, молодой учитель, вѣнчавшій ученицу, стоялъ выше его не только по своему умственному развитію, но и по болѣе свѣтлому будущему. Въ то-же время надо взять во вниманіе и то, что дочь этого предсѣдателя гражданской палаты, не блестя красотою и будучи даже калѣкою, не имѣла за собою особенно припащиваго приданаго, рисковала остаться на вѣки старою дѣвою. Казалось, сама судьба скалилась надъ обиженною природою сиротою и послала ей счастье въ видѣ достойнаго человѣка, который ее полюбилъ. И вотъ, когда этотъ человѣкъ обратился къ отцу Жадовской,

прося ея руки, старикъ презекъ свое рѣшительное уето. „Зараженный старыми предрасудками, — говоритъ биографъ, — онъ никакъ не могъ помириться съ мыслию, что дочь его, дворянка, выйдетъ замужъ за бывшаго семинариста“.

И такова была въ то время сила патриархальной власти, что кроткая Юлія Валеріановна безирекословно повиновалась и рѣшилась разстаться на вѣки съ любимымъ человѣкомъ, вослѣвъ свою первую любовь въ слѣдующей стихотвореніи, посвященъ заглавіемъ „Короткая повѣсть“.

«Они оба такъ молоды были  
И другъ друга такъ нѣжно любили!  
Мало счастья дано имъ въ удѣлъ —  
Иль разсудокъ разстаться велѣлъ.  
Они, бѣдникъ, плакали много,  
И пошла въ жизни разная дорогой...»

Переулѣвскій былъ переведенъ въ Москву на службу, а Юлія Валеріановна переехала жить къ отцу въ Ярославль.

#### IV.

И вотъ потянулись въ жизни Жадовской долгіе годы тяжелой неволи въ домѣ отца подъ вѣгомъ суроваго деспотизма. Что эта была за жизнь, на которую промѣняла дворянка свое счастье, объ этомъ можно судить по тому портрету ея отца, который, по свѣдѣтельству ея биографа, мы встрѣчаемъ въ томъ-же ея романѣ: „Въ сторонѣ отъ большаго свѣта“. Вотъ этотъ самый портретъ:

«Особенность этого характера заключалась не въ главныхъ правилахъ и убѣжденіяхъ; — объясненіе и разъясненіе этихъ правилъ и убѣжденій указало бы только на одну сторону его и сдѣлало бы его похожимъ на многихъ и многихъ, тогда какъ это сходство не довершало бы и въ половину портрета. Нѣтъ, — у него въ характерѣ было нѣсколько фидіомій, если можно такъ выразиться, и все онѣ сливались въ одну, подъ однимъ господствующимъ суровымъ колоритомъ. Духъ неудержимаго противорѣчія царствовалъ въ душѣ этого человѣка; онъ противорѣчилъ всему и каждому; противорѣчилъ даже самому себѣ, если слылъ собственныи свои мѣнія въ устахъ другихъ, особенно въ устахъ тѣхъ, кому онъ хотѣлъ доказать, что они глуше его и что у него на все свой взглядъ. Онъ даже до того увлеклся этою страстію имѣть свой взглядъ, что, будучи человѣкъ умнымъ отъ природы, говорилъ иногда несообразности. Эти противорѣчія были страннымъ потокомъ особенно тогда, когда дѣло доходило до предметовъ, выходящихъ изъ круга ея понятій; неказавъ эти предметы, налагать на нихъ печать своего страстнаго сужденія — было для него какии-то особенныи наслажденіемъ.

«Но когда онъ встрѣчался съ людьми практическими, когда дѣло шло о какой-нибудь матеріальной общественной пользѣ или общественномъ учрежденіи, или рѣшался такъ, между собой, какой-нибудь административный вопросъ, тогда онъ называлъ мудрость прямую, опытную, здравую. Честность и правдивость его признавались всеми. Этотъ человѣкъ, за порогомъ своей домашней жизни и за порогомъ интересовъ души и сердца, искусства и науки, былъ человѣкъ полезный и дѣльный.

«Въ домашней жизни онъ создалъ себѣ жалкіи тронъ, и воля его близкихъ, нравственная самостоятельность ихъ личности разбивалась объ этотъ тронъ. Онъ преслѣдовалъ ихъ даже въ самыхъ нагнреніяхъ.

они подозривали, угадывали эти намерения, это значить, что они все таки понимали человеческую природу, и громилъ, душилъ, давилъ ихъ своимъ грознымъ, раздражающимъ сентенциямъ. Онъ неутомимо преслѣдовалъ одну дѣль: заставить своихъ близкихъ, а хорошо бы и всѣхъ, думать, чувствовать, глядѣть на Божій свѣтъ и людей такъ, какъ онъ самъ думаетъ, чувствуетъ и глядитъ. Никакого отступленія отъ этихъ требованій онъ не допускалъ, самую натуру хотѣлъ бы онъ перефрѣзать.

Такимъ же капризнымъ и непреклоннымъ деспотомъ былъ онъ и во всѣхъ мелочахъ своей жизни. «Старый морякъ, по словамъ біографа, привыкшій къ служебной дисциплинѣ, завелъ у себя въ домѣ строгіе порядки на военный манеръ. Къ чаю, обѣду и ужину всѣ домашніе обязанности были собирались въ назначенные часы — и минута въ минуту. Къ одинадцати часамъ ночи, по его приказанію, огни въ домѣ гасились, и все погружалось въ глубокій сонъ».

Не стала одна Юлія Валеріановна. Втихонолку, гадучку и скрывалась, какъ раба, отъ зоркихъ очей своего грознаго повелителя, она писала ночи напролетъ свои стихотворенія, мечтая о любимомъ человѣкѣ и оплакивая свою несчастную любовь. Только двоюродная сестра, дѣвушка-сиротка, которая, по желанію Юліи Валеріановны, была съ девяти лѣтъ взята въ домъ Жадовскихъ и дѣлила съ нею одинокую, пекельную жизнь, была единственною позитивною этихъ тайныхъ поэтическихъ восторговъ и единственною читательницею стихотвореній молодой поэтессы.

Но трудно было долго скрываться отъ бдительнаго родительскаго надзора. Старикъ скоро провѣдалъ о поэтическихъ занятіяхъ своей дочери, и ужъ не знаемъ, какъ это объяснить, отъ того-ли, что онъ ждалъ хоть чѣтъ-нибудь вознагражденія за поправное счастье, или-же попалъ на него такой «стихъ» по прихотливому капризу самодурнаго права, — онъ не только не сталъ преслѣдовать поэтическихъ порывовъ дѣвушки, но принять участіе въ нихъ и даже, чтобы дѣль ходъ ея дарованію, повезъ ее въ Москву и Петербургъ.

Это было въ 1844 году, когда Юлія Валеріановна было 20 лѣтъ. Въ Москвѣ, черезъ знакомаго своего отца, знавшаго ее маленькой дѣвочкой, она познакомилась съ М. П. Погодинымъ, который обладалъ ея, привѣтствовалъ въ ней задатки несомнѣннаго таланта и порекомендовалъ въ «Москвитинѣ» ея стихотвореніе «Водяной», а затѣмъ и нѣсколько другихъ ея пьесъ. Въ Петербургѣ она посѣщала вечера извѣстнаго любителя искусства и владѣльца знаменитой картинной галлерей, Фед. Ив. Прянишникова, у котораго собирався самое лучшее общество — художники, артисты, литераторы. Здѣсь, между прочимъ, она познакомилась съ извѣстнымъ переводчикомъ Гетевского «Фауста», М. П. Вронченко, который принялъ въ ней большое участіе, ввелъ ее въ разные литературные кружки, познакомилъ съ Тургеневымъ, Дружининымъ, кн. Вяземскимъ, Розенгеймомъ, Губеромъ и друг.

Въ 1846 году, Жадовская собрала всѣ свои стихотворенія, печатавшіяся преимущественно въ «Москвитинѣ», и, добавивъ нѣсколько новыхъ, издала ихъ отдѣльной книгой, въ количествѣ пятидесяти-восьми пьесъ. Книга была встрѣчена сочувственнымъ отзывами во всей печати того времени, и имя Жадовской получило всеобщую извѣстность. Послѣ этого она

сочинилъ А. СЕВЯЧЕВСКАГО. — П.

еще разъ посѣтила обѣ столицы и затѣмъ, вернувшись въ Ярославль, снова возвратилась къ своей затворнической и подневольной жизни и, въ продолженіе десяти лѣтъ, прожила безвыѣздно въ домѣ отца, постоянно переписываясь со своими литературными друзьями и написавъ въ этотъ періодъ почти всѣ свои оставшіяся послѣ нея произведенія.

Для большей полноты ея нравственнаго образа приводимъ изъ біографіи еще двѣ черты, весьма характеристическія. Такъ, проведя большую часть жизни въ провинціи, да еще подъ игомъ суроваго, патриархальнаго деспотизма, она до свѣдѣхъ полюсь сохранила типъ провинціальной нелюбки, страстной любительницы сельской природы и уединенія, терпящейся въ большомъ и шумномъ обществѣ. Хотя въ Петербургѣ, говоритъ ея біографъ, Юлія Валеріановна встрѣтила радушный пріемъ и часто выслушивала похвалы своему таланту, но живя въ столицѣ тяготила ее. Она чувствовала себя, какъ на чужбинѣ, и ее влекло къ роднымъ мѣстамъ, къ лону природы, которую она такъ чисто и неизмѣнно любила. Рѣбкая, застѣнчивая дѣвушка не была создана для шумной жизни; она предпочитала тишину, спокойствіе, уединеніе глуши, гдѣ любила уходить въ себя и мирно отдаваться занятіямъ поэзіей. Петербургъ ей вообще не понравился; онъ подавлялъ ее своимъ мрачнымъ великолѣпіемъ, своими гранитными сооружениями; комплименты и похвалы нѣсколько льстили ея авторскому самолюбію, но не туманили ей головы, и она безъ сожалѣнія покинула невскую столицу, откуда переселилась въ Москву. Москва, эта грозная деревня, пришлась ей болѣе по сердцу; здѣсь пробыла она довольно продолжительное время, познакомилась съ Хомяковымъ, Загоскинымъ, Глинкой, И. С. Аксаковымъ и т. д. Замѣчательно при этомъ, что это нерасположеніе къ Петербургу, пристрастіе къ Москвѣ и знакомство съ московскими славянофилами не сдѣлали ее славянофилькою. Впрочемъ, она въ равной степени оставалась чужда всѣмъ существовавшимъ въ ея время ученіямъ литературныхъ кружковъ и партій. Она жила исключительно однимъ сердцемъ.

Въ связи съ этою исключительною жизнію сердце, являясь и другая черта, характеризующая ее: именно, она до смерти сохранила чистоту и неприкосновенность своихъ религиозныхъ вѣрованій. Это отноше не была та нервная, истерическая экзальтація, доходившая до фанатизма, какую мы видимъ у нѣкоторыхъ изъ ея современниковъ мужскаго и женскаго пола (Гоголь, Кохановская), а простая и безхитростная вѣра, какая встрѣчается въ массахъ. «Вотъ и опять въ Ярославль — пишетъ Жадовская своему другу, Ю. В. Бартеву: послѣ пятидневнаго томленія, ужаснѣйшей дороги, и захворала, потомъ гоняла и приобщалась, а теперь не успѣла оглянуться, какъ ужъ и праздникъ на дворѣ, и поздравленіе не будетъ не кстати. Пусть письмо скажетъ вамъ за меня отърадное: Христосъ воскрес!»

## V.

Послѣ всего вышесказаннаго понятнымъ становится то преобладаніе тоски, печали, унынія, вообще минорныхъ тоновъ, какое мы видимъ въ стихотворе-

нѣяхъ Жадовской. На всѣхъ на нихъ лежитъ печать поправнаго счастья и долгихъ годовъ тяжелой неволы. Это стоны женскаго рабства со всеми его муками, чувствомъ безпомощности, одинокости, горькаго униженія, стыда передъ собственными своими беспліемъ и тщетными стремленіями утѣшиться, забыться—то въ религиозныхъ порывахъ, то въ сезерваніяхъ красота природы.

Оплакиваніе первой любви, такъ безжалостно задупенной въ самоѣ ея яркомъ разцвѣтѣ, занимаетъ наиболѣе видное мѣсто среди этихъ пѣсенъ женской неволы... Стоитъ только представить себѣ дѣвушку, похоронившую безвозвратно свое молодое счастье и влачащую долгіе и безконечные годы однообразной жизни подъ игомъ суроваго и ворчливаго старика, безъ всякой надежды впередъ; стоитъ представить себѣ ее среди ночной тишины и бессоницы, когда съ особенною яркостью воскресаютъ всѣ дорогія воспоминанія,—чтобы цонить мрачный трагизмъ такихъ хотя-бы обращеній къ своему заснувшему сердцу:

Ну, слушай-же—еще воспоминанье,—  
И если отъ него ты не проснешься—  
Тогда ужъ спи, тогда ужъ вѣчно спи..  
Ты помнишь ли тяжелый часъ разлуки,  
Разлуки съ тѣмъ, кого такъ безгранично,  
Дофривно, восторженно любилъ,  
Чье имя было для тебя святыней,  
О комъ и мысль казалася молитвой?..  
Ты помнишь-ли послѣднее свиданье,  
Въ печальной комнаткѣ, гдѣ все такъ бѣдно,  
Гдѣ по стѣнамъ доскутъями обоя  
Висѣли; гдѣ все украшенье было—  
Въ углу съ блескашей ризою икона,  
Да передъ ней хрустальная лампада?  
Ты помнишь-ли, какъ весь онъ былъ взволнованъ,  
Какъ онъ мечталъ о томъ завѣтномъ счастьи,  
Которому не сбыться суждено?  
Ты помнишь-ли, какъ онъ, мужчина, плакалъ?  
Ахъ, съ той поры на бѣдную меня  
Обрушилось такъ много, много горя,—  
Забвенье, холодъ, боль пренебреженья,  
Глубокое, нѣмое оскорбленье,  
На дно души упавшее какъ камень  
Тяжелый,—все извѣдано глубоко!  
Судьба однимъ безжалостнымъ ударомъ  
Убила всѣ мои святые упованья,  
Прошедшее на вѣки отравила;  
О будущемъ и думать я боюсь..  
Мнѣ кажется, что я шлуну безъ цѣли  
Бездоннымъ моремъ; берега не видно,  
А небо скрыто тучами густыми,  
И море то зовется безнадежностью..  
Но, Боже мой, что это? плачу и?!  
А! Ты проснулось, чувствую я, сердце!..  
Стѣснилась грудь... въ глазахъ тѣмнѣеть.. душно..  
Нѣтъ, больно мнѣ!.. усни, усни опять!..

Еще въ болѣе патетическихъ звукахъ выражается воспоминаніе о той же пережитой катастрофѣ въ стихотвореніи— „Тяжелый часъ“:

Что чувствовала я въ минуту роковую,  
И сколько я въ тотъ часъ перестрадала—  
То знаетъ Богъ, то знаетъ это сердце!  
Казалось, все по мнѣ убито было;  
Способность лишь страдать одна мнѣ оставалась—  
Способность жалка! И все перенесла..  
Я думаю, что самый смерти часъ  
Не можетъ быть труднѣе и ужаснѣй.  
Смерть—что она? Покой, забвенье, сонъ,  
Блаженство, можетъ быть,—а въ ту минуту  
Ни умереть и ни уснуть я не могла!

Но какъ бы то ни было, катастрофа была пережита; молодая сила вынесла страшный ударъ, но за то все въ сердцѣ дѣвушки было разбито, и вѣсть того, чтобы прожить съ милымъ всю жизнь, дѣла вѣсть съ нимъ всѣ радости и невзгоды, ей пришлось ограничиваться тѣмъ, что носить въ душѣ любимый образъ, постоянно вызывая его въ памяти при каждомъ случаѣ:

Ты везду предо мной: повѣсть ли весна,  
Я чувствую тебя въ ея отрадѣ тайной;  
Любуюсь ли днѣтвомъ, я ужъ тоски полна,—  
Я мыслю о тебѣ; забросить ли случайно  
Холодная дуна свой блѣдный дучъ ко мнѣ,  
Иль кроткая звѣзда вечерняя сияетъ,—  
Все это мнѣ тебя, мой другъ, напоминаетъ;  
И плачу о тебѣ въ печальной тишинѣ.  
Тоской, любовью, разлукою томима,  
Вел жизнь моя—безсильная борьба..  
Меня гнететь недугъ нестерпимый  
И неизбежный какъ судьба.

Эти жгучія муки завѣтныхъ воспоминаній, конечно, были еще тяжелѣе и мучительнѣе, при горькомъ сознаніи своего рабскаго безсилія бороться съ жестокою судьбою. По крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ мы видимъ словно какой-то стыдъ передъ собою, нѣчто въ родѣ укоровъ совѣсти, за свое смиреніе и рабство. Таково, напримѣръ, стихотвореніе— „Невыдержанная борьба“:

Боролась я долго съ суровой судьбой—  
Душа угомилась неравной борьбой!  
Всей силой надежду я въ сердцѣ хранила;  
Но силы не стало—судьба ихъ убила;  
И я съ загадной глубокой тоской,  
Склонилась эмпирно предъ мощной судьбой.  
Что дѣлать? Мнѣ стыдно и грустно, и больно..  
И лью я горячія слезы невольно..

Этотъ стыдъ, эти угроженія совѣсти при сознаніи своего безсилія въ борьбѣ и смиренного склоненія передъ мощной судьбой должны были съ особенною силою воскресать и обостряться въ нѣкоторыя минуты жизни, и при томъ, замѣтимо, повидному, самыя неподходящія къ такимъ чувствамъ. Такъ, напримѣръ, на шумномъ балу, въ разгарѣ всеобщаго веселья, подъ рѣзвые звуки вальса, вдругъ посѣщала ее странная мысль, что въ то время, какъ она, отказавшаяся отъ борьбы, веселится, порхаешь, пользуясь всеми благами жизни, ей повинувшій милый, быть можетъ, умираетъ отъ голоду:

Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,  
Тѣмъ на душѣ моей печальнѣй и темнѣй,  
Завительнѣе боль сердечнаго недуга,  
И голосъ дальняго, оставленнаго друга  
Мнѣ нятивѣй слышится!.. Ахъ, блѣдный и худой,  
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!  
Среди довольныхъ лицъ, среди гула ликования,  
Онъ мнѣ является съ печатію страданья,  
Оставленной на немъ бесплодною борьбой  
Съ врагами, бѣдностью и самою судьбой! [мнѣ  
Быть можетъ, въ этотъ часъ, когда за ужинъ шлю-  
Иду я среди другихъ своей стопой несминой,  
Ты голоденъ и слабъ—въ отчаяньи вѣтомъ.  
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ,—  
И я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!  
И, полная тоски, глубокой и безгласной,  
Я шлуну головой, не слышу ничего  
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,  
Средь этой пѣтраной, себялюбивой [знати  
Готова я рыдать неловко и нескетати!..



Но въ томъ и дѣло, что зарыдать пеловку и пекстятю—средь вѣтряной, себялюбивой знати\* легко только на словахъ; на дѣлѣ же, она сознаетъ себя принужденною затаивать свое горе, улыбаться, казаться веселою среди людей, чуждыхъ ей и ненавистныхъ, въ которыхъ къ тому же она усматриваетъ, можетъ быть, главныхъ виновниковъ всего своего горя:

Я въ душѣ огорчена глубоко,  
Я готова горько зарыдать.  
Но сейчасъ ко мнѣ придуть чужіе,—  
Я должна съ улыбкой ихъ встрѣчать.  
Не сказать же имъ, что душу мучать,  
Не сказать, какъ я оскорблена!  
Я должна предъ ними улыбаться,  
Я при нихъ веселою быть должна.  
Какъ мнѣ быть веселою, улыбаться,  
Если грудь моя тоски полна,  
Если ловко, тонко и прилично,  
Но глубоко я оскорблена?  
Если все во всемъ мнѣ изъѣмается,  
Всюду вижу пошлость и обманъ?..  
О, какъ трудно, грустно и обидно  
Мнѣ скрывать всю боль сердечныхъ ранъ!  
Какъ-то справляюсь я съ моею ролью?  
Какъ-то слезы, горе утаю?  
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта  
Я печаль душевную мою?  
Ничего,—немножко только воли,  
И печезнутъ слезы на глазахъ;  
Ничего... еще одно усилъе,—  
И мелькнетъ улыбка на устахъ!..

Какая страшная трагедія таится во всѣхъ этихъ приведенныхъ нами выдержкахъ, и какое глубокое откровеніе сердца женщины дореформеннаго періода! —Этотъ смѣхъ сквозь затаенныя слезы, эти веселыя, улыбающіяся, ласковыя лучины, скрывающія за собою цѣлый адъ невыносимыхъ страданій, обиды, стыда, ненависти, отчаянья, — здѣсь дореформенная женщина передъ нами вся, какъ на ладони, со всѣмъ ея нравственнымъ міромъ.

Къ сожалѣнію, эти минуты горькаго и страшнаго сознанія своего рабства и стыда передъ нимъ рѣдко посѣщали дореформенную женщину и были дѣйствительно только одиными минутами. По большей-же части она безропотно и пассивно склонялась передъ своею жалкою долею и апатично влячила безцвѣтную жизнь, во всемъ обвиняя не себя и не людей, а какую-то мистическую всеильную судьбу:

Никто пазъ насъ, никто не виноватъ:  
Ни ты, ни я,—судьба ужъ такъ рѣшила!..  
Судьба страшна, всеильна, говорятъ,—  
Она и насъ съ тобою разлучила!..

Разъ женщина рѣшила, что виновата во всемъ всеильная судьба, то, конечно, ей только и оставалось, что сложить на груди безильныя и никому ненужныя руки и искать утѣшенія... прежде всего, конечно, въ созерцаніи всепримиряющей природы; и вотъ передъ нами цѣлый рядъ стихотвореній, въ родѣ нижеприведеннаго:

Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно  
Мнѣ дыханье вѣтерка;  
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно,  
Отражаетъ ихъ рѣка;  
И въ раздумьи, наклонивши  
Вѣтви гибкія деревъ;  
И, какъ звѣзды, засвѣтились

Свѣтляки среди кустовъ,  
Дышетъ все святой отрадою  
На землѣ и въ вышинѣ;  
Ночь весенняя прохладною  
Освѣжаетъ сердце мнѣ.  
Что-то въ душу чудно прояснѣло,  
Проникаетъ въ глубину,  
И невольно мысль уносится  
Все туда, все въ вышину!  
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно  
Мнѣ дыханье вѣтерка;  
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно...  
Спать на днѣ души тоска!

Но природа не всегда усыпляетъ и умпротворяетъ. Напротивъ того, очень часто она будитъ воспоминанія и расстраиваетъ старыя раны; къ тому-же она прискучиваетъ, и разъ въ душѣ поселяются апатія и равнодушіе ко всему, то и природа утрачивается для насъ всю свою прелесть:

Да, днѣ мнѣ жить! Пускай, пускай весна  
Цвѣты и счастье всюду щедро сѣетъ,—  
Я равнодушнѣе и скукою больна,—  
Мнѣ радость и весна ужъ не навѣтъ!  
Тяжело мнѣ, когда придетъ она,  
Когда покровъ полей зазеленѣетъ;—  
Тяжело мнѣ—воспоминаній рой  
Меня гнететъ безильемъ и тоской!

Остается послѣ этого всего, отчаявшись въ земномъ счастьи, искать счастья небеснаго, возноситься горѣ и въ небесахъ находить успокоеніе отъ всѣхъ соблазновъ и мукъ жизни:

Не на землѣ ищи ты вдохновенья,  
Не въ этой жизни бѣдной, мелочной,  
Но чаще ты, въ часъ уединенья,  
Гляди на небо съ мыслию благой.  
И думы свѣтлыя въ умѣ твоемъ родятся,  
Забьется сердце чаще и сильнѣе,  
И чувства все надеждой озарятся:  
Душою станешь ты и лучше, и свѣтлѣе.

Но эти минуты религіозныхъ созерцаній и порывовъ не могутъ наполнить дѣлой жизни. Онѣ лимолетны; онѣ лишь на мгновенье одно позволяютъ забыть все земное; смертному и думать суждено о смертномъ, и вотъ, послѣ молитвенныхъ восторговъ, это смертное еще назойливѣе врывается въ душу и слова молитвы дѣлаются холодны и мертвы:

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ  
Сномъ!

Не слышу лишь я одна въ безмолвіи ночномъ!  
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,  
Напрасно я ищу спасительныхъ молитвъ,  
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста—  
Душа моя земнымъ, ничтожнымъ занята!  
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ,  
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!..

Есть еще одно утѣшеніе, — что время, всеуничтожающее и приводящее къ одному знаменателю—забвенію, погаситъ все горячія страсти, измладитъ изъ памяти все жгучія воспоминанія и уврачуеетъ раны сердца. Такъ, обращаясь къ своему неутомному сердцу съ вопросомъ: долго-ли будетъ оно томиться и въ нѣмомъ страданіи о любви молиться, — Жаловская въ заключеніе общается ему слѣдующую перспективу:

Погоди: придавить  
Этой жизни бремя...  
Не умаетъ горе,  
Такъ осилитъ время...

Но къ какому полному охлажденію и очерственію ли привело-бы время, не изгладитъ оно одного: горькаго сознанія пустоты жизни, прожитой безцѣльно и безилодно, сознанія угасанія и охлажденія всѣхъ силъ, лишшающаго человѣка какихъ-бы то ни было надеждъ впереди, а между тѣмъ и позади не оказывается ничего отрадннго, и въ результатѣ остаются слезы горькаго разочарованія при подреденіи всѣхъ итоговъ прошлаго:

И плачу все о томъ, что сердце увядаетъ,  
Что леденитъ его холодный свѣтъ,  
И что его ничто, ничто не оживляетъ,  
Что радости исчезнуль легкій слѣдъ.  
И плачу и о томъ, что сладостной надеждѣ,  
По прежнему, предаться не могу,  
Что не могу мечтать и плакать такъ, какъ прежде...  
И плачу я, и слезъ не берегу!  
И плачу и о томъ, что грустно и ничтожно  
Проходить быстро молодость моя;  
Что ранняя тоска души моей тревожной  
Мнѣ отравила предѣсть бытія.  
И плачу и о томъ, что, скучною машиной,  
Между людей я тихо прохожу;  
И плачу и о томъ, что въ мірѣ ни единой  
Родной души себѣ не нахожу!

Мы исчерпали почти всѣ главные мотивы музы Жадовской. Есть, правда, и другіе; таковы, напримеръ, два-три подражанія Кольцову и Никитину, въ родѣ: „Грустная картина“ (102) и „Нива моя, нива“ (170); стихотворенія эти прелестны, но ихъ такъ мало, что, по пословицѣ — одна ласточка не дѣлаетъ весны — не ими опредѣляется духъ и характеръ поэзіи Жадовской. По большинству произведеній, все-таки ея поэзія остается скорбною пѣснью женской неволи.

## VI.

Прозанческія произведенія Жадовской значительно уступаютъ ея стихотвореніямъ. Та крайняя субъективность, которая составляетъ неотъемлемую принадлежность лирики, въ романахъ и повѣсти является недостаткомъ; мы ждемъ здѣсь характеровъ, типовъ, правды, и разочаровываемся, находя всюду одного только автора среди блѣдныхъ и стереотипныхъ персонажей. — Тѣмъ не менѣе, для насъ романы Жадовской представляютъ особенный интересъ. Читая ихъ одинъ за другимъ, мы видимъ, какъ постепенно, подъ вліяніемъ движенія времени, освобождалась Жадовская отъ своихъ патріархальныхъ понятій.

Первое, что вездѣ поражаетъ въ этихъ романахъ, это — то, что повсюду въ нихъ, если не въ главномъ сюжетѣ, то въ побочныхъ эпизодахъ, мы встречаемся все съ той-же самой драмой, которую пережилъ авторъ. Такъ, въ первой-же повѣсти, написанной въ 1847 году: „Простой случай“, изображена несчастная любовь молодой дѣвушки дворянскаго рода и бѣднаго гувернера, служащаго въ домѣ ея отца. Молодые люди, снѣдаемые страстью, не смѣли и помыслить о соединеніи. Живить безъ имени, безъ состоянія... о, никогда, никогда! въ отчаяніи восклицала молодая учитель: — отравить жизнь ея своимъ ничтожествомъ; заставить ея краснѣть при имени мужа... это хуже смерти! Дядя ея выгонитъ меня изъ дому при одномъ намека объ этомъ. Богатая наслед-

ница — и выйти за бѣднаго безыменнаго гувернера! Эта мысль недоступна ея гордымъ родственникамъ!..

Изъ этой пьесы видно, что не одни „гордые родственники“, но и самъ молодой человѣкъ считалъ себя жалкимъ ничтожествомъ и предполагалъ, что дѣвушка, которую онъ полюбитъ, будетъ почему-то краснѣть при его имени. А она, въ свою очередь, положила руку въ нему на плечо и томно закативъ назадъ головку, тихо говорила: — „Мой другъ, такъ Богу угодно!..“

Этихъ возвышеніемъ воли „гордыхъ родственниковъ“ до высоты Божіей воли, и предположеніемъ, что само Небо заботится о томъ, чтобы богатыя наследницы не выходили замужъ за ничтожныхъ гувернеровъ, исчерпывается вся философія романа. Мы видимъ со стороны обоихъ молодыхъ людей беспредсловное преклоненіе передъ святостью патріархально-сословныхъ понятій, безъ малѣйшаго дерзновенія на какую-либо борьбу съ ними... Однимъ словомъ, — „такъ Богу угодно“, и нечего тутъ разсуждать, не на что надеяться. Затѣмъ только и остается барышня — уѣхать съ растерзаннымъ сердцемъ.

Въ романѣ: „Въ сторонѣ отъ большого свѣта“, написанномъ во второй половинѣ 50-хъ годовъ и помѣщенномъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1857 года, сюжетъ основанъ на той-же коллизіи. Опять передъ нами молодая дѣвушка изъ помѣщичьей семьи влюбляется въ бѣднаго учителя изъ семинаристовъ, и опять-таки молодые люди расстаются, не смѣя и помыслить о бракѣ. Стоило имъ устроить тайное *partie de plaisir* въ лѣсъ за грибами, чтобы родственницы дѣвушки, тетуски, пришли въ ужасъ:

— Знаешь-ли, Геничка, что ты стоишь на краю пропасти? — сказала тетуска № 1-й.

— Ахъ, Геничка! ахъ, другъ мой, что было тебѣ надѣлала! — произнесла съ ужасомъ другая тетуска.

— Да, ты стоишь на краю пропасти, и видно еще молитвы матери твоей услышаны, что Богъ послалъ тебѣ во мнѣ ангела-хранителя!.. — продолжала тетуска № 1.

Отъ дерзновеннаго учителя на другой-же день, конечно, и слѣдъ простылъ. Молодая дѣвушка только и видѣла изъ окна, какъ онъ шагалъ съ узломъ за плечами по дорогѣ къ лѣсу и искорѣ скрылся за лѣсъ, оставивъ своей возлюбленной на память записку слѣдующаго содержанія: „Я ухожу; жена ваша опасна для васъ и выгнана. Прощайте! да хранитъ васъ Богъ... Уходя, и плачу о васъ. Помолитесь за преданнаго вамъ“... .

Но этотъ романъ не кончается. Напротивъ, онъ тянется очень долго, занимая дѣлать томъ, причемъ описывается жизнь героини чуть-что не день за днемъ, со всѣми искушеніями, которыя встрѣчалась ей на пути. Такъ, между прочимъ, мы встречаемъ здѣсь эпизодъ ея любви къ нѣкому обольстительному Динарову. Онъ оказывается женатымъ, но не живущимъ съ женою, и предлагаетъ дѣвушкѣ увезти ее: „Пусть, говоритъ онъ, о насъ забудутъ, какъ мы забудемъ обо всѣхъ. Мы устроимъ чудную жизнь, мы окружимъ себя полнымъ счастьемъ... Уѣдемъ, моя милая! Не разсуждай, если любишь! Намъ нельзя такъ разсуждать! На зло судьбѣ мы будемъ счастливы... Не такъ-ли?..“

Сегодня вечеромъ все будетъ готово. Я снова буду ждать тебя здѣсь, счастливый выше всякаго выраженія — я приму тебя въ мои объятія, чтобы никогда, никогда не разставаться!»

Но молодая дѣвушка отвергла подобную незаконную любовь, и несмотря на всѣ укоры милаго, несмотря на то, что захворала вследствие нравственнаго потрясенія, она осталась вѣрна своему долгу и прекраснымъ патриархальнымъ понятиямъ, въ духѣ которыхъ была воспитана. Въ вознагражденіе за это, судьба сочетала ее законнымъ бракомъ съ предположительно первой любовью, тѣмъ самымъ семинаристомъ, который былъ изгнанъ изъ дому за прогулку съ нею въ дѣсь за грѣбани. Но и на этотъ разъ дѣвушка была обязана своему счастью не какой-либо активной борьбѣ съ своей стороны, а благопріятно сложившимся обстоятельствамъ: она была безприданница, круглая сирота, и не было у нея отца, который защищалъ-бы честь своего дворянскаго рода отъ брака дочери съ семинаристомъ; тетка № 1 умерла, а тетка № 2, въ домѣ которой дѣвушка поселилась, сама занялась „ауражи“, племянница ей вѣдала, и она рада была сбыть ее съ рукъ за кого-бы то ни было.

## VII.

Затѣмъ появилась: „Женская исторія“ — въ 1861 году, въ журналѣ „Время“; здѣсь мы видимъ значительное уже измѣненіе въ мировоззрѣніи автора на женскую долю. Такъ, героиня этого романа является не просто барышней, видящей въ замужествѣ единственное назначеніе своей жизни, а дѣвушкой, ищущей самостоятельнаго труда. Правда, героиня обязана этимъ тому обстоятельству, что она дочь не помѣщика, а, всего на все, управляющаго, по смерти отца остается круглою сиротой, и ей представляется что нибудь изъ двухъ — или самостоятельный трудъ, или проживание въ чужомъ богатомъ помѣщицкомъ домѣ въ униженной роли приживалки: правда, что трудъ фигурируетъ здѣсь въ рутинной формѣ гувернантской дамки; правда, что въ продолженіе всего романа героиня все талко собирается трудиться, когда-же ей предлагается руку и сердце богатый помѣщикъ, то трудъ дѣлается извѣстнымъ; но во всякомъ случаѣ и въ томъ уже былъ большой шагъ впередъ, что здѣсь не является прежней роковой дилеммы — или любовь, или смерть: между любовью и смертью ставится трудъ, хотя-бы и въ самой рутинной формѣ. Но этого мало: въ романѣ этотъ впервые является новый идеалъ женщины, не имѣющей ничего общаго со всѣми прежними героинями, хотя и онъ въ свое время нѣдѣлъ претензіи на идеальность. Такова Ольга Васильевна Мартова. Это — дѣвушка, отстраившаяся отъ всѣхъ свѣтскихъ предразсудковъ, поставившая жизнь свою на вѣдѣніи самостоятельную почву и приводящая въ ужасъ своихъ чопорныхъ родныхъ.

— Я не отрицаю отъ нея нѣкоторыхъ достоинствъ и ума, — говорила одна изъ ея родственницъ, Прасковья Александровна, — но, признаюсь, свобода ея мѣдѣній и поступковъ ужасаетъ меня.

— Да объясни пожалуйста, какіе собственно поступки осуждаешь ты? — спросилъ Михаилъ Александровичъ.

— Во первыхъ, то, что она живетъ одна, уѣзжаетъ одна, куда вздумаетъ, не отдавая никому отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, не прибѣгая за совѣтами къ старшимъ. Постоянно въ мужескомъ обществѣ; знакома со всякимъ сбродомъ. Говоритъ и проповѣдуетъ о такихъ вещахъ, о которыхъ дѣвушка и судить неприлично; напримѣръ, ты знаешь эту скандальную исторію съ Казановой, — что же? Она третьяго дня, при гостяхъ, стала ее жарко оправдывать и неясными софизмами доказывать, что она невиновата. Женщина бѣжала отъ мужа — и невиновата! Положимъ, что мужъ ее — мануасъ sujet; да мало ли женщины живутъ и терпятъ все. Я говорю, что можно бы было Казановой все устроить и сохранить приличія... А твоя Ольга, забывъ всякую вѣжливость, стала со мною спорить, — со мною, которая и старѣе, и опытнѣе, и не глупѣе ее, — что Казанова не должна была обманывать, по чувству, — извольте ли видѣть, — высокой нравственности, ни себя, ни мужа... И вообще то ей не слѣдовало бы вступать въ такой разговоръ. Я дочерей принуждена была удавить изъ комнаты.

— Ольга не дорожитъ пустыми толками. Она ищетъ только уваженія тѣхъ, кого она знаетъ и любитъ. И ее любятъ всѣ, кто ее знаетъ, — сказалъ Михаилъ Александровичъ съ твердостью.

— Я бы давно прекратила съ нею всякія сношенія, если-бы не родство.

— Полно, не это только... Ты боишься ея рѣзкости, ея гнѣва.

— Я? а, протестъ, можетъ быть. Я не хочу раздражать такую сумасшедшую, вѣнечную дѣвочку, готовую наговорить дерзости, не стѣсняясь ни мѣстомъ, ни временемъ.

Ниже героиня описываетъ, какъ эта самая Ольга Мартова проводитъ свой день:

«До самаго обѣда, — говоритъ она, — хозяйка была постоянно занята. То больной, то погорѣлый мужикъ являлись, кто за помощью, кто за совѣтомъ. Меня удивляли ея знаніе нуждъ, потребностей, интересовъ простаго народа, ея терпѣніе, простота рѣчи, довѣріе, съ которымъ къ ней обращались; удивляла эта ясная дѣятельность, это умѣнье и легкость, съ которыми переходила она отъ труда кабинетнаго къ простымъ домашнимъ занятіямъ. Видно было, что больше всего она старалась достигнуть той независимости, того умѣнья не потеряться нигдѣ и ни при какихъ обстоятельствахъ, о которыхъ она всегда говорила съ уваженіемъ; что она больше всего избѣгала приторной извѣженности свѣтскихъ женщинъ. Она все умѣла дѣлать; мнѣ кажется, коса и серія ловко заходили бы въ ея маленькихъ, гибкихъ ручкахъ... Обращеніе ея съ домашними было кротко и любезно».

Конечно, ужъ такая дѣвушка не только не позволяла-бы кому-бы то ни было распоряжаться ея судьбою, но со всею своею энергіею помогала своей кузинѣ Лидіи, богатой невѣстѣ, выйти замужъ за бѣднаго Дарельскаго, несмотря на то, что родные, по обыкновенію, сопротивлялись этому браку; здѣсь и вопроса уже не представлялось о томъ, что „такъ Богу угодно“, или что не будетъ-ли невѣста красивѣе, нося скромное имя жениха.

## VIII.

Наконецъ, повѣсть: „Отсталая“, послѣднее произведеніе Ждановской, является еще болѣе пропикнутою новымъ духомъ времени. Здѣсь Ждановская уже съ полнымъ отрицаніемъ относится къ тѣмъ чопорнымъ барышнямъ-недотрогамъ, какія воспеивались тогда въ глуши и на почвѣ „барскихъ“

предразсудковъ и патриархальныхъ понятій. Такъ, она показываетъ намъ все безсердечіе, скрывавшееся подъ мнимыми цѣломудріемъ и нравственною гордостью въ героинѣ повѣсти, Машѣ, когда дворовая дѣвушка Матрена, подруга Маши, навивно рассказываетъ ей о своей любви.

Выслушавъ рассказъ Матрени, барышня быстро подняла голову и обратила къ своей собесѣдницѣ пылающее гнѣвомъ и гордостью лицо:

— Какъ ты смѣла мнѣ это рассказывать? — крикнула она: — какъ ты могла дойти до того, чтобъ мнѣ говорить это? Ты забыла, кто я и кто ты!

Когда-же Матрена, впоследствии, по обнаруженіи ея грѣха, была изгнана изъ дома своею госпожею, матерью Маши, и, бросаясь съ громкими рыданіями къ ногамъ подруги своей, проговорила прерывистымъ, задыхавшимся голосомъ: — „Матушка-барышня! простите!“ — причемъ съ любовью и отчаяніемъ ловила полу ея платья, Мама поднялась съ своего мѣста, гордая и безпощадная. Она сознавала себя безгрѣшной и потому считала себя не только въ правѣ, но какъ-бы обязанной поднять камень...

— Прочь! — крикнула она такъ, что сдѣлала-бы честь трагической актрисѣ. — Прочь! не дотрогивайся до меня! Я тебя знать не хочу и видѣть не хочу!..

Но впоследствии эта самая гордая своею нравственною чистотою героиня сдѣлала то же самое, что и Матрена. Отправленная матерью въ городъ къ знакомой ея, Ненилѣ Павловнѣ, развлекается отъ деревенской скуки, Мама попала въ салонъ Ненилы Павловны въ кружокъ молодыхъ развивателей, которые произвели въ ней такой и нравственный, и умственный переворотъ, что она, въ концѣ-концовъ, бѣжала съ однимъ изъ нихъ изъ дому матери, и воротившись черезъ нѣсколько лѣтъ совершенно другимъ человекомъ, на колѣняхъ вымаливала прощенья у Матрени за прошлое оскорбленіе.

Замѣчательно, что въ этой повѣсти въ послѣдній разъ произвела Жадовская судъ надъ драмою своей жизни, но этотъ судъ былъ совсѣмъ уже въ другомъ родѣ, чѣмъ прежде. Тутъ уже не говорится о томъ, „что намъ разстаться разсудокъ велѣлъ“, или, что „судьба страшна, всеильна, говорятъ, — она и насъ съ тобою разлучила“, а представляется дѣло въ его настоящемъ видѣ, причемъ младшее поколѣніе въ лицѣ Маши произноситъ безпощадный приговоръ надъ старшимъ — въ лицѣ Ненилы Павловны.

— Сама была молода, — говорила Ненила Павловна, вызывая Машу на откровенность, — сама любила. Ахъ, Мама, чего мнѣ стоило съ нимъ разстаться, выйти замужъ противъ сердца!

— Зачѣмъ же вы выходили? Зачѣмъ принесли себя въ жертву расчета или эгоизма?

— Ахъ, другъ мой, какъ можно такъ говорить!.. Что могла я сдѣлать, бѣдная, молоденькая, запуганная дѣвочка? Все родные были противъ. Конечно, еслибъ тогда у меня была теперешняя опытность, не стубила бы я своего счастья!.. Онъ тогда былъ очень невзначительный человекъ, а послѣ такъ далеко пошелъ, Мама! Голова-то у него свѣтлая.

— Вы такъ и разстались? Вы не выжили съ нимъ?

— Пѣть. Ужъ онъ давно женатъ на другой, да-но позабылъ обо мнѣ. Онъ — мнѣ сказалъ одинъ знакомый — сперва былъ въ отчаяніи, потому сталъ называть меня пустой, безхарактерной, говорилъ, что у меня не достало силъ принести жертву, что я не любила его, а такъ только — увлекалась!.. Мнѣ это было очень горько — такая несправедливость. Ахъ, еслибъ онъ зналъ, сколько слезъ пролила я, какіе тяжкіе дни и ночи проводила! Сколько разъ проклинала жизнь!.. однажды отравиться-было хотѣла, но какъ-то страшно стало, не рѣшилась!..

— Бѣдная Ненила Павловна! — сказала Мама, устремивши на нее полный состраданія взоръ: — вы были сами виноваты; вамъ бы бѣжать съ нимъ.

— Не рѣшилась, мой ангелъ; шутка — бѣжать!

— Но если вы такъ любилъ? кому вы принесли пользу, что измучили себя?

— Конечно, глупа была, характеру не достало. «Мама глубоко задумалась».

Вообще такъ былъ силенъ духъ того времени, что, увлекши автора, онъ отразился не только въ послѣднихъ произведеніяхъ ея, но и въ самой жизни. Такъ, въ 1862 году, 38 лѣтъ уже отъ роду, она рѣшилась, наконецъ, сдѣлать такой шагъ, на который не хватило у нея характера въ 18 лѣтъ, именно освободиться отъ тягостной опеки отца, выйдя замужъ за старика доктора К. В. Северна. „По собственному признанію Юліи Валеріановны, — говоритъ биографъ, — она рѣшилась на такой шагъ единственно ради того, чтобы стать, наконецъ, свободной и выйти изъ-подъ матеріальной и нравственной опеки отца, котораго характеръ дѣлался съ каждымъ днемъ тяжелѣе, и который писательница не въ состояніи была выносить въ послѣднее время“.

Конечно, лучше поздно, чѣмъ никогда, но все-таки неволью беретъ каждаго тяжелое раздумье, что вотъ, почти 60 лѣтъ прожила на свѣтѣ женщина, талантливая, хорошая, и лишь двадцать лѣтъ она пользовалась полною самостоятельностью, да и то это были послѣдніе годы, когда и думается, и чувствуется не такъ уже, какъ въ молодые годы. Положимъ, — суровый отецъ не препятствовалъ своей дочери предаваться поэтическимъ восторгамъ, но деспотизмъ его, во всякомъ случаѣ, лежалъ тяжкимъ гнетомъ на духѣ дѣвушки и мѣшалъ развиваться ея таланту такъ, какъ бы онъ могъ развиваться на полной свободѣ. Когда-же она, наконецъ, вырвалась изъ-подъ своего ига, было уже поздно, — литературная дѣятельность ея завершилась. Послѣднія ея произведенія: „Женская исторія“ и „Отстадая“, долго не находили себѣ пріюта въ печати, и, лишь благодаря хлопотамъ одного изъ постоянныхъ сотрудниковъ, появились въ 1861 году во „Времени“. Публика отнеслась съ полнымъ равнодушіемъ къ этимъ произведеніямъ, и критика не обмолвилась о нихъ ни однимъ словомъ. Это такъ огорчило Юлію Валеріановну, что она рѣшилась совсѣмъ прекратить свое литературное поприще. Это и было, конечно, причиною, что въ послѣдніе годы жизни имя ея, нигдѣ не встрѣчавшееся въ печати, имѣло болѣе историческій, чѣмъ современный интересъ.

# НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ.

## I.

Историческія повѣсти Карамзина: «Натаалья, боярская дочь» и «Марфа Посадница». Безперемонное отношеніе къ исторіи Нарѣжскаго въ его романѣ «Бурсакъ» и его же «Словесное пещера».

Родоначальникомъ беллетристики считается у насъ Карамзинъ. Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ и до Карамзина не мало было у насъ беллетристики, но все она была до такой степени дубочна и лишена какихъ бы то ни было литературныхъ достоинствъ, и до такой степени нѣтъ она забыта, что за Карамзинъ все-таки остается званіе родоначальника, такъ какъ, укротивши литературный языкъ и дерзнувши впервые *писать, какъ говорятъ*, онъ первый началъ писать повѣсти легко и удобочитаемы. Ему же принадлежатъ и первыя попытки историческихъ повѣстей. Но къ сожалѣнію историческія повѣсти, какъ Карамзина, такъ и современника его Нарѣжскаго, по-казываютъ только намъ, до какой крайней степени люди того времени были чужды какого бы то ни было чувства исторической дѣятельности.

Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Какъ Карамзинъ, такъ и Нарѣжскій воспитались на ложномъ классицизмѣ. Въ молодости они зачитывались Сумарокова, Хераскова, Озерова, Княжнина и проч. Ложный классицизмъ очень часто прибѣгалъ къ нашему историческому прошлому и любилъ выставить героями то Гостомысла и Вадима, то Юрика, Ярополка, Дмитрія Донскаго или Дмитрія Самозванца, — но во всѣхъ пошлахъ и трагедіяхъ изъ старой русской жизни не было и слѣда ни исторической правды, ни хотя какого-нибудь историческаго колорита. Передъ вами проходятъ рядъ отвлеченныхъ, ходульных олицетвореній различныхъ страстей, добродѣтелей и пороковъ, то необыкновенные по своей доблести герои, то злодѣи такіе странные, что морозъ подираетъ по кожѣ при одномъ взглядѣ на нихъ, однимъ словомъ — злодѣи, которые такъ прямо и говорятъ о самихъ себѣ:

Я вѣдаю, что я нежалостный зла зритель,  
И всѣхъ на свѣтѣ семъ безстудныхъ дѣлъ творитель.  
(Сумарокова «Дмитрій Самозванецъ».)

Юрики и Гостомыслы произносятъ длинныя, напыщенныя рѣчи, которыя оказываются дѣлкомъ переведенными изъ различныхъ трагедій Корнели и Расина. Вообще, нужно замѣтить, что нашъ ложный классицизмъ, при всемъ своемъ рабскомъ подраженіи французскимъ образцамъ, имѣлъ и свою особенность, заключающуюся въ томъ, что въ то время, какъ классическіе герои французской трагедіи смахивали на современныхъ французовъ, у насъ они ни на что не смахивали, положительно, можно сказать, не имѣли никакого образа и подобія человеческого.

Понятно, что для развитія историческаго романа

школа эта была весьма плохая. Не много помогло и тотъ сентиментализмъ, который внесъ въ нашу литературу Карамзинъ. Правда, что съ появленіемъ сентиментализма превыспренняя кровавая трагедія была замѣнена слезною драмою, а ходульный герой съ вулканическими страстями — обыкновеннымъ простымъ смертнымъ, но только этотъ простой смертный оказался черезъ-чуръ ужъ чувствителенъ и плаксивъ, и если въ повѣсти изъ современной жизни, какова напримѣръ «Вѣдная Лиза», избытокъ чувствительности и плаксивости поражаетъ насъ, какъ нѣчто крайне приторное и неестественное, то въ исторической обстановкѣ эти необходимые атрибуты сентиментализма представляютъ рядъ невообразимыхъ курьезовъ. Такое именно впечатлѣніе крайней несообразности сентиментализма съ допетровскою стариною производитъ первая историческая повѣсть Карамзина — «Натаалья, боярская дочь», написанная имъ въ 1798 году.

Въ началѣ повѣсти Карамзинъ предпосылаетъ своему разсказу вступленіе, въ которомъ онъ высказываетъ свое умиленіе передъ старою Русью и любовью къ давнопрошедшимъ временамъ.

«Кто изъ насъ, говоритъ онъ, не любитъ тѣхъ временъ, когда русскіе были русскими; когда они въ собственное свое платье наряжались, ходили своєю походкою, жили по своему обычаю, говорили своимъ языкомъ, по своему сердцу, то есть говорили, какъ думали? По крайней мѣрѣ а люблю сіи времена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію давно истѣвшихъ вѣтовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ, бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа русскаго, и съ извѣстностью цѣловать ручки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со мною, надвинуться моему разуму, потому что я, разсуждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ, всегда отдаю преимущество ихъ подпалкамъ и шубейкамъ предъ нынѣшними bonnets à la... и вежами таллоальбионскими нарядами, блистающими на московскихъ красавицахъ въ концѣ осьмнадцатой вѣка... и т. д.

Но иное дѣло умиляться передъ русскою стариною, иное дѣло знать и понимать ее, и хотя далѣе Карамзинъ и говоритъ, что старая Русь извѣстна ему болѣе, нежели многимъ изъ его согражданъ, но на дѣлѣ показываетъ только, какое смутное представленіе имѣлъ въ то время объ этой старинѣ даже такіе люди, какъ Карамзинъ, воспитавшійся подъ влияніемъ Новикова, который, какъ извѣстно, всю жизнь возился съ русскою стариною.

Такъ мы видимъ, что на первомъ планѣ въ повѣсти парадируетъ московскій бояринъ Матвей Андреевъ, «человѣкъ богатый, умный, важный слуга царскій и по обычаю русскихъ великій хлѣбосоль». — Желая охарактеризовать его гражданскія доблести,

Карамзинъ говоритъ, что „когда царю надлежало разбирать важную тяжбу, онъ призывалъ себя въ помощь боярина Матвѣя, и бояринъ Матвѣй, кладя чистую руку на чистое сердце, говорилъ: *сей правъ не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то году, но по моей совѣсти; сей виноватъ по моей совѣсти*—и совѣсть его была всегда согласна съ правдою и совѣстью царскою. Дѣло рѣшалось безъ замедленія: правый подымалъ на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на добраго Государя и добраго боярина; а виноватый бѣжалъ въ густые лѣса, сокрытъ стыдъ свой отъ человѣковъ“.

Для характеристики же хлѣбосольства боярина Матвѣя, Карамзинъ говоритъ, что въ каждый двенадцатый праздникъ поставлялись длинные столы въ его горницахъ, чистыя скатерти накрывались, и бояринъ, сидя на лавкѣ подлѣ высокихъ воротъ своихъ, звалъ къ себѣ обѣдать всѣхъ мимоходящихъ бѣдныхъ людей, сколько ихъ могло помѣститься въ жилищѣ боярскомъ. „Послѣ обѣда всѣ немущіе братья, наполнивъ виномъ свои чарки, восклицали въ одинъ голосъ: „Добрый, добрый бояринъ и отецъ нашъ! мы пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ нашихъ чаркахъ, столько лѣтъ живи благополучно!“ Они шли и благодарныя слезы ихъ капали на бѣлую скатерть“.

У боярина Матвѣя была дочь, любезная Наталья, составлявшая „внѣць его счастья и радости“; описывая красоту ея, Карамзинъ представляетъ читателю „вообразить себѣ бѣлизну итальянскаго мрамора и кавказскаго снѣга; онъ все еще не вообразитъ бѣлизны лица ея—и представитъ себѣ цвѣтъ Зафировой любовницы, все еще не будетъ имѣть совершеннаго понятія объ алоści щекъ Натальиныхъ“.

Когда Натальѣ минуло семнадцать лѣтъ или, выражаясь языкомъ Карамзина,

«Семнадцатая весна жизни ея наступила; трава зазеленѣлась, цвѣты разцвѣли въ полѣ, жаворонки забили—и Наталья, сидя поутру въ свѣтлицѣ своей подлѣ окна, смотрѣла въ садъ, гдѣ съ кусточка на кусточекъ порхали птички, и нѣжно добываясь своими маленькими носиками, пряталась въ густоту листьевъ, красавица въ первый разъ замѣтила, что онѣ летали парами—сидѣли парами и скрывались парами. Сердце ея какъ будто-бы вздрогнуло—какъ будто-бы какой-нибудь чародѣй дотронулся до него волшебнымъ жезломъ своимъ! Она вздохнула—вдохнула въ другой и въ третій разъ—посмотрѣла покрутъ себя—увидѣла, что съ нею ничего не было, ничего, кромѣ старой пани (которая дремала въ углу горницы на красномъ весеннемъ солнышкѣ)—опять вздохнула, и вдругъ бриллиантовая слеза сверкнула въ правую глазу ея, потомъ и въ лѣвую, и онѣ выкатились, одна кинула на грудь, а другая остановилась на румяной щекѣ, въ маленькой вѣковой ямкѣ, которая у милыхъ дѣвушекъ бываетъ знакомъ того, что кувидонъ цѣловалъ ихъ при рожденіи...»

Однимъ словомъ, случилось съ любезною Натальею вотъ что:

«Съ небеснаго лазореваго свода, а можетъ быть откуда-нибудь и повисше, слетѣла, какъ маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетѣла въ Натальино вѣковое сердце—*потребность любить, любить, любить!!!*... Вотъ вся загадка; вотъ причина красавициной грусти—и есть-ли она покажется кому-нибудь изъ читателей

но совѣсть понятною, то пусть требуетъ онъ подробнѣйшаго изъясненія отъ любезнѣйшей ему осымнадцатилѣтней дѣвушки»...

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ читатель можетъ въ достаточной мѣрѣ уразумѣть, при чемъ тутъ старая русская жизнь и древность. — Единственнымъ хоть сколько нибудь историческимъ чертамъ заключаются развѣ въ томъ, что сентиментальная барышня въ духѣ современницъ Карамзина живетъ въ терему, встречается со своимъ любезнымъ не иначе, какъ въ церкви, и затѣмъ этотъ любезный, Алексѣй Любославскій, подкупивши нянюшку, проникаетъ въ теремъ для того, чтобы объясниться ей въ любви опять-таки вполнѣ во вкусѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Далѣе оказывается, что прекрасный молодой человѣкъ въ голубомъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, сынъ опальнаго боярина, находится въ нѣкоторомъ отношеніи на нелегальномъ положеніи и живетъ въ дремучемъ лѣсу, куда онъ и привозитъ Наталью, похитивъ ее и обвѣнчавшись съ нею тайно. — И опять-таки, какъ это нелегальное положеніе, такъ и похищеніе побудили Карамзину вовсе не ради соблюденія историческаго колорита, а единственно для того, чтобы изобразить излюбленное сентиментализмомъ счастье съ милымъ въ лѣсу въ бѣдной хижинѣ подлѣ соломенной кровлею. Однимъ словомъ, вся суть разсказа заключается въ слѣдующей сценѣ:

«Такимъ образомъ прошла зима; снѣгъ растаялъ; рѣки и ручьи зашумѣли, земля опушилась травою и зеленыя почки распустились на деревьяхъ. Алексѣй выбѣжалъ изъ своего домика, сорвалъ первый пѣтушокъ и принесъ его Натальѣ. Она улыбнулась, поцѣловала своего друга—и въ самую сію минуту забили въ лѣсу весеннія птички. *Ахъ! какая радость! какое веселье!* сказала красавица: *мой другъ! пойдемъ гулять!*—Они пошли и шли на берегу рѣки. «Знаешь-ли, сказала Наталья сурругу своему—знаешь-ли, что прошедшей весной не могла я безъ грусти слушать птичекъ? Теперь мнѣ кажется, будто я ихъ разумѣю и одно съ ними думаю. Посмотри! здѣсь на кусточкѣ локоть двѣ птички—кажется, махаютъ крыльями—посмотри, какъ онѣ обнимаются крыльями, онѣ любятъ другъ друга такъ, какъ и люблю тебя, мой другъ, и какъ ты меня любишь! Не правда-ли? Всѣмъ можетъ вообразить себѣ отгадъ Алексѣевъ и разныя удовольствія, которыми весна привнесла съ собою для нашихъ пустышничковъ.»

Но если до сихъ поръ разсказъ очень мало имѣлъ точекъ соприкосновенія съ допетровскою стариною, то далѣе онъ совершенно выходитъ изъ историческихъ рамокъ. Возгорается война съ литовцами и мучъ Натальи, Алексѣя, слѣпить на войну, чтобы загладить и грѣхъ своего отца передъ царемъ, и свою собственную вину передъ бояриномъ Матвѣемъ. — Наталья же, переодѣвшись въ мужское платье, слѣдуетъ за своимъ мужемъ на поле брани и тамъ, выдвывая себя за младшаго брата Алексѣя, закрываетъ его щитомъ своимъ отъ вражескихъ ударовъ. Въ концѣ концовъ, русскіе побѣждаютъ и побѣдою своею оказываются обязанными исключительно Алексѣю. Онъ съ триумфомъ въѣзжаетъ въ Москву и затѣмъ слѣдуетъ трогательная сцена всеобщаго примиренія и прощенія.

Какъ ни кажется намъ все это курьезно, но до какой степени въ свое время эта первая историческая повѣсть на Руси производила въ продолженіи, по край-

ней мѣрѣ, тридцати лѣтъ глубокое и обаятельное впечатлѣніе, — это мы можемъ судить по роману Загоскина „Юрій Милославскій“. Мы видимъ, что Загоскинъ завязалъ любовную интригу въ своемъ романѣ совершенно также, какъ завязана она у Карамзина, т. е. встрѣчку героя съ героиней въ церкви, назвавъ своего героя почти также, какъ и Карамзинъ, а затѣмъ закончилъ свой романъ еще съ большимъ сходствомъ. Карамзинъ рассказываетъ, что за нѣсколько лѣтъ передъ симъ, прогуливаясь осенью по берегу Москвы рѣки, близъ теплой сосновой рощи, онъ нашелъ надгробный камень, заросшій зеленымъ мохомъ и разломленный рукою времени, и съ великимъ трудомъ могъ прочесть на немъ слѣдующую надпись: „здесь погребенъ Алексій Милославскій съ своею супругою“. Точно также и романъ Загоскина описывается описаніемъ плиты съ надписью: „здесь 7180-го октября въ десятый день, преставился рабъ Божій, бояринъ Юрій Милославскій и супруга его Анастасія“.

Затѣмъ десять лѣтъ спустя, въ 1803 году, Карамзинъ написалъ вторую свою историческую повѣсть „Марья Посадница или покореніе Повгорода“. Въ это время Карамзинъ собирался уже писать свою исторію, подготавливалъ для нея матеріалы, рылся въ архивахъ, читалъ лѣтописи, — и былъ болѣе знакомъ съ историческими фактами и допетровскою стариною, чѣмъ десять лѣтъ тому назадъ. И дѣйствительно вы видите, что съ фактической стороны пелъза отказалъ Карамзину въ знакомствѣ съ эпохою паденія Новгородца, и въ этой отношеніи повѣсть можно назвать вполне историческою. Но въ тоже время и здѣсь вы не видите ни малѣйшаго слѣда чужды исторической дѣйствительности, тѣхъ красокъ и колорита, которые заставили бы насъ всецѣло перенестись въ эпоху Юліана III и признать дѣйствующихъ лицъ повѣсти людьми вполне живыми и принадлежавшими своему времени. — Напротивъ того, здѣсь мы видимъ словно будто шагъ назадъ со стороны Карамзина, т. е. отступленіе изъ области сентиментализма снова на почву классицизма. Самый языкъ повѣсти уже не тотъ простой, легкій, разговорный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ десять лѣтъ тому назадъ: своимъ торжественнымъ пѣвучимъ тономъ, высокопарными эпитетами и славянизмами онъ вполне соответствуетъ тому, что называлось у лужиклассиковъ *высокимъ слогомъ*. Соответственно съ этимъ высокимъ слогомъ и все дѣйствіе разказа поставлено на ложно-классическія ходули. Передъ вами словно будто не Новгородъ, а какая-то древняя республика, и читая ципероповское краснорѣчіе московскаго боярина князя Холмскаго и затѣмъ Марфы, вы совершенно забываете, что такіа великолѣпныя рѣчи говорились на новгородскомъ вѣчѣ, а не въ Кантоліи.

„Народы дикіе любятъ независимость, ораторствуютъ какъ Холмесій, народы мудрые любятъ порядокъ; и нѣтъ порядка безъ власти самодержавной. Ваши предки хотѣли править сами собою и были жертвою жадныхъ сосѣдямъ или еще жаднѣйшихъ внутреннихъ междоусобій. Старцы добродѣтельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклинали ихъ избрать владыка. Они повѣрили ему, ибо человекъ при дверяхъ гроба можетъ говорить только истину“...

Марья-же въ свою очередь домогается:

«Знай Новгородъ, что съ утратою вольности изсохнеть и самый источникъ твоего богатства: она оживляетъ трудолюбіе, изощряетъ сери и златитъ нивы; она привлекаетъ иностранцевъ въ наши стѣны съ сокровищами торговли; она-же окрыляетъ суда Новгородскія, когда они съ богатымъ грузомъ по волнамъ несутся... Вѣдноты, бѣдноты накажутъ недостойныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія отцовъ своихъ! Померкнетъ слава твоя, градъ Великій, опустѣютъ многочисленные концы твои; широкія улицы заростутъ травой, и великолѣпіе твое, печальнувъ навѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно любовитный стражникъ среди печальныхъ развалинъ захочетъ искать того мѣста, гдѣ собиралось Вѣче, гдѣ стоялъ дворецъ Ярославова и мраморный образъ Вадима: никто ему не укажетъ ихъ. Онъ задумается горестно и скажетъ только: «здѣсь былъ Новгородъ!...»

И вотъ, чтобы еще болѣе воспалить умы, Марья показываетъ цѣпь, гремитъ ею въ рукѣ своей и бросаетъ на землю; народъ въ изступленіи гнѣва топчетъ оковы ногами, взывая: „Новгородъ Государь нашъ! война Юанну“!...

Всего этого вполне достаточно, чтобы читатель могъ судить, насколько все это похоже на историческую дѣйствительность эпохи паденія Новгородца. Что касается до общаго взгляда на изображаемое историческое событіе, то надо отдать справедливость Карамзину, онъ старается сохранять полное безпристрастіе. „Мудрый Юаннъ, говоритъ онъ въ предисловіи, долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область Новгородскую къ своей Державѣ; хвала ему! Однако-жъ, сопротивленіе Новгородцевъ не есть бунтъ малыхъ-нибудь яковинцевъ; они сражались за древніе свои уставы и права, данные имъ отчасти самими Великими князьями, напримѣръ Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразумно: они должны были предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной жертвы“.

Въ силу этого взгляда на относительную правоту Новгородцевъ, личность Марья Посадница въ продолженіи всей повѣсти рисуется въ весьма величественномъ и симпатичномъ видѣ, и особенно обаятельное впечатлѣніе производитъ она, когда спокойно и величаво кладетъ голову на плаху, громко заявляя народу: „подданные Юанна! умираю гражданкою Новгородскою“...

Нарѣжский, родившійся въ 1780 г., а умершій въ 1825 г., представляется такимъ образомъ младшимъ современникомъ Карамзина, и его можно назвать писателемъ несчастнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Начать съ того, что рѣдко кто не знаетъ Нарѣжскаго хоть по имени, и между тѣмъ вы не найдете ни одной хоть сколько-нибудь обстоятельной біографіи этого писателя, кромѣ самыхъ краткихъ свѣдѣній о его жизни, въ родѣ послужнаго списка о его успѣхахъ по полученію чиновъ и орденовъ.

Писатель онъ былъ очень плодовитымъ, и послѣ смерти сочиненія его были изданы въ 10 томахъ, куда вошло далеко не все, что онъ успѣлъ написать въ теченіи своей 45 лѣтней жизни... И представьте себѣ, что изъ всего имъ написаннаго сохранился въ

памяти потомства всего на всего одинъ пресловутый романъ его „Бурсакъ“, и то благодаря тому, что въ первыхъ главахъ этого романа описаніе жизни кievскихъ бурсаковъ напоминаетъ подобное-же описаніе въ гоголевскомъ „Вѣѣ“. Между тѣмъ самъ по себѣ „Бурсакъ“ далеко не изъ лучшихъ произведеній „Нарѣжнаго“ и очень мало даетъ понятія о талантѣ автора. Если смотрѣть на Нарѣжнаго только какъ на прототипъ Гоголя, то и въ такомъ случаѣ слѣдовало бы обратить вниманіе прежде всего не на „Бурсака“, а на „Двухъ Ивановъ или страсть къ тяжбамъ“, гдѣ вы находите прототипъ „Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“; на „Аристѳона“, — гдѣ вы встрѣчаете типъ помѣщика, весьма напоминающаго вамъ Плюшкина. Наконецъ, не надо забывать, что Нарѣжный написалъ замѣчательный романъ „Русскій Жильблазъ“, до сихъ поръ не изданный еще въ цѣломъ видѣ. И есть еще у Нарѣжнаго романъ „Черный годъ“ или „Горскіе Князья“, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ котораго сатира его, по своимъ смѣлымъ штрихамъ, выходитъ уже изъ рамокъ правоописательной и является прототипомъ уже не гоголевской, а скорѣе щедринской соли. Но все это забыто, исключая одного несчастнаго „Бурсака“, о которомъ намъ приходится сказать нѣсколько словъ ради нѣкоторыхъ соприкосновеній этого романа съ исторіей.

Впрочемъ, „Бурсака“ нельзя назвать романомъ историческимъ не только въ строгомъ, но и снисходительномъ смыслѣ. Собственно говоря, это романъ сказочнаго характера; главная суть его заключается въ хитросплетенной любовной интригѣ и въ фантастическихъ романтическихъ приключеніяхъ героя Неона Хлопотинскаго, который изъ мнимаго сына дьячка превращается въ концѣ романа во внука малороссійскаго гетмана. Мы могли-бы совсѣмъ оставить въ сторонѣ этотъ романъ, если бы онъ не служилъ намъ весьма нагляднымъ примѣромъ, какъ безмеренно относимся еще у насъ къ исторіи недавнѣе, какъ въ 20-е годы. Такъ мы видимъ, что дѣйствіе романа все развивается на почвѣ малороссійской старины; тутъ вы встрѣчаете не однихъ кievскихъ бурсаковъ, но и заворожскую сѣчь, и дворъ гетмана. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ романа видно, что дѣло происходитъ въ половинѣ XVII столѣтія, какъ разъ въ эпоху присоединенія Малороссіи къ Великороссіи. Тутъ даже изображается война казаковъ съ поляками въ союзѣ съ великороссами, кончающаяся миромъ, по которому, какъ говорится въ романѣ, „король польскій отказался навсегда отъ господства надъ Малороссіею, а рѣка Днѣпръ поставлена границею обоимъ владѣніямъ. Гетманъ обязался царя русскаго почитать верховнымъ повелителемъ, помогать ему въ военное время ратными людьми и платить ту же самую подать, какаю доселѣ платила была Польша“... Кто-же могъ быть этотъ Гетманъ? Конечно, Богданъ Хмельницкій. И вдругъ онъ оказывается Никодимомъ, отцемъ преступной дочери Евгеніи и дѣдомъ героя романа Неона. Однимъ словомъ, въ то время ничего не стоило не только измѣнять имена историческихъ лицъ, но и приписывать имъ по произволу своей фантазіи какія угодно романтическія происшествія.

Но у Нарѣжнаго есть нѣсколько повѣстей спе-

ціальна-историческаго содержанія, такъ называемыя „Словенскіе вечера“. Сочиненія эти, очевидно, относятся къ юпошескимъ годамъ Нарѣжнаго, такъ какъ впервые они были напечатаны въ 1809 году. Любопытны эти „Словенскіе вечера“ въ томъ отношеніи, что показываютъ намъ, какъ писатели конца XVIII и начала XIX вѣковъ, воспитавшіеся на ложномъ классицизмѣ, не могли въ серьезъ коснуться ничему историческаго безъ того, чтобы не встать на дыбы; и тонъ ихъ рѣчи дѣлается тотчасъ-же высокотоносивеннымъ и восторженнымъ, и слогъ витиевато-высокимъ. Такъ, люди, знакомые съ Нарѣжнымъ лишь по его „Бурсаку“, могутъ не повѣрить, что авторъ „Словенскихъ вечеровъ“ все тотъ-же Нарѣжный. Обратите вниманіе на самое предисловіе его къ „Словенскимъ вечерамъ“:

«На величественныхъ берегахъ моря Варяжскаго, тамъ, гдѣ вѣчно-юнная сосна смотритъ въ струи Навы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Петрова и вѣчнаго грохота, по стопамя его звучащаго,—при склоненіи солнца багринаго съ неба свѣтлаго въ волны румянна, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба величественнѣе, склонясь подъ тѣнь деревъ вѣсокихъ и обращая въ лилахъ времена протекшія.

«Тамъ иногда сонныя друзѣи моихъ и предстныхъ дѣвъ земли Русскія окружаютъ меня. Кроткое пѣніе ихъ разливается по берегу, и журча вдали среди кустовъ зеленыхъ, теряется въ пространствѣ воздуха. Иногда берутъ они звонныя орудія и свѣтлыми звуками ихъ прославляютъ величье добродѣтели и вѣрныхъ друзѣи ея. Потому глаза ихъ смягчаются, звонны орудія едва примѣтны. Они поютъ любовь невинную и съ пріятности. Въ кроткомъ упоеніи души я впадаю имъ:

«Видѣлъ я страны чуждыя и красоты земель отдаленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ осень обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ, нежели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видѣлъ я старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Словеновой.

«Воспой намъ, вѣщали они мнѣ, «воспой намъ пѣсни о доблестяхъ витязей и предстгахъ дѣвъ земли Русскія во времена давно протекшія!»

«Исполню желаніе ваше», отвѣтствовалъ я. «При закатѣ солнца лѣтняго въ воды тихія приходице сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Словеновой».

И вотъ слѣдуютъ одинъ за другимъ четырнадцать вечеровъ въ слѣдующемъ порядкѣ: первый вечеръ содержитъ рассказъ о Кіѣ и Дулебѣ, второй—о Словенѣ, третій—о Рогдѣ, четвертый—о Велесилѣ, пятый и шестой—о Громобовѣ, седьмой—объ Иренѣ, восьмой—о Мирославѣ, девятый—о Михаилѣ (Черинговскомъ), десятый, одиннадцатый и двѣнадцатый—о Любославѣ, тринадцатый—объ Игорѣ и, наконецъ, четырнадцатый, подъ заглавіемъ „Александръ“, переноситъ читателей во времена самого автора и славоноситъ войну 12-го года.—Всѣ эти вечера, промѣ послѣдняго, представляются рядомъ небольшихъ полуфантастическихъ, полунсторическихъ повѣстей, въ которыхъ не малую роль играетъ любовь. Для того, чтобы познакомить читателей какъ съ характеромъ, такъ и съ языкомъ этихъ рассказовъ, мы выберемъ рассказъ о Велесилѣ, какъ не очень большой, но тѣмъ не менѣе вполне романтической. Вотъ его содержаніе.



Начинается рассказъ съ того, что одинъ изъ витязей двора Владимірова, Велесиль, коему погнл провиборетловать Рогдай и Добрыня, мужи непобѣдимы, вѣбѣтъ съ Бориполкомъ, своимъ оруженосцемъ, стоялъ у подножія холма высокаго, и слезы струились по сѣдой бородѣ мужа великаго\*.

„На вершинѣ холма того, — читаетъ мы далѣе, — стоялъ кипарисъ возвышенный; на вѣтвяхъ его висѣли доспѣхи ратные, булава и мечъ великій. Съ другой стороны низменный древесный крестъ, къ дерну салониившійся. Мрачный витязь хранилъ безмолвіе свое. Наконецъ, онъ поднимаетъ тяжкую десницу свою, опускаетъ ее со стремленіемъ на широкую грядъ; — глухой стонъ раздался вокругъ холма; Велесиль вѣщаль, указывая перстомъ на холмъ могильный:

„Тако, Бориполкъ, тажъ подь полустѣлвннмъ крестомъ сокрыто все, что было въ лрѣ семь прекраснѣшаго и драгоцѣннѣшаго для моего сердца. Се любовь моя, — безлѣрная, безпредѣльная любовь днѣй пылкой юности, повергла несчастную въ обитель вѣчнаго прака. — Воже! Обладателю земли! Кто воззоветъ ее оттолѣ?“

„Умолкнѣ; горестная тишина носилась по челу его. Се есть печатъ тоски неутолимая\*.

Наконецъ на вопросъ Бориполка, Велесиль прерываетъ молчаніе и рассказываетъ своему оруженосцу романъ своей юности. Оказывается, что когда Владиміръ воевалъ съ Греціею, и грозные полки его, подобно тучѣ, носящей въ вѣдрахъ своихъ громы ровущіе, — протекали черезъ области Греческія, на берегу свѣтлаго Иллиса обитали пастыри дружелюбные. Глаза ихъ вышли къ Владиміру во срѣтеніе и предлагать дары сельскіе.

— Не разорай явлицъ нашихъ, князь непобѣдимый! — сказалъ онъ Владиміру, простершись во прахъ ногъ его; мы не имѣемъ оружія, — не знаемъ битвъ поражающихъ. Если нужно тебѣ усюкоеніе, — хижина наша открыта; плоды древесные и яско стады нашихъ утолятъ жажду и алчбу твою.

Князь склонился на слова старца, и ни одинъ пастырь не пролилъ слезы горестной. У старца была дочь Софія. „Прекрасна была она, подобно цвѣту вѣжному, едва возникшему. Плѣнительны были взоры ея, и возвышенная грудь обѣщала адезь небесный счастливому смертному, который возбудитъ въ ней о себѣ вздохъ\*. И Владиміръ, и витязь его Велесиль, оба разомъ влюбились въ такую красавицу, и князь поручилъ Велесилу похитить ее и отвезти въ Кіевъ: „хочу, да по прибытїи моемъ въ Кіевъ, когда сердца народныхъ уживаться будутъ радостно, — хочу, да первый, кто поздравитъ меня съ побѣдой, — будетъ прекрасная Софія\*.

Велесиль исполнилъ приказаніе Владиміра, похитилъ Софію, но вѣсто того, чтобы отвезти ее въ Кіевъ, поселилъ ее въ особую пещеру, окружилъ роскошью и приставилъ своего оруженосца Блистара стеречь ее. Владиміру-же сказалъ, что она умерла. Но тщетно старался онъ склонить къ любви сердце ея. На всѣ его признанія она отвѣчала:

„Я равнодушна! Владиміръ-ли, князь Кіевскій — или Велесиль, витязь и другъ его; — ни того, ни дру-

того не будетъ любить сердце мое. Поклонники идоловъ бездушныхъ презрѣны въ душѣ моей! Кровавады убойцы не найдутъ мѣста въ сердцѣ моемъ!“

Непреклонна оставалась она и послѣ того, какъ Велесиль вернулся къ ней по окончанїи войны.

— Чудовище! — были первыя слова ея, обогранный кровію, облитый слезами, покрытый проклятіемъ моихъ соотчичей, — ты дерзашь предстать глазамъ моимъ?

— Удостой меня любви своей, Софія, и все излѣнится, — отвѣчалъ Велесиль, простершись передъ нею.

— Никогда! — сказала она, и отвратила взоры свои.

„Такъ прошли лѣта многія, — продолжалъ Велесиль: — я обращался въ битвахъ, и отчаяніе, водившее моею рукою, дѣлало всегда меня побѣдителемъ. Я погружался въ веселїяхъ, и самый Владиміръ удивлялся неуязвимости моей и благодѣтельнымъ дарамъ небесъ, оградившимъ меня неизлѣнною крѣпостью. Все испытать я, дабы погасить пламень, повдающей мою внутренность, — и опыты мои были тщетны. Часъ отъ часу я дѣлался злополучнѣе и недовольнѣе своимъ существованіемъ; всякую весну навѣщаль я непреклонную гречанку и всякій разъ находилъ ее блѣднѣе, мрачнѣе и непреклоннѣе. Подобно догорающей былинкѣ, едва-едва мерцала жизнь въ полугасшихъ взорахъ ея“.

Но вотъ, наконецъ, Владиміръ принялъ христіанскую вѣру и крестилъ весь народъ свой. „Съ чувствомъ неизъяснимаго носторга, повѣствуетъ Велесиль, погрузился я въ купель священную, и казалось, грозное бремя, меня тяготившее, пало съ раменъ моихъ\*. И вотъ онъ посѣщилъ къ своей возлюбленной, мечтая, что теперь-то она, наконецъ, смиляется, но уви, вошедши въ пещеру, онъ увидѣлъ слѣдующее зрѣлище:

„На возвышенномъ одрѣ лежала Софія, блѣдная, подобно мѣсяцу въ осень глубокую. Закрыты были уста ея и взоры. Цвѣтныя вѣнцы лежалъ на главѣ страдалицы, и малый крестъ въ рукахъ ея. Вокругъ одра стояли возженные свѣтильники. Сѣдой Блистаръ сидѣлъ у ногъ ея, и горькія слезы старца лились по щекамъ его.

— Ка нѣтъ уже, витязь! — сказалъ онъ, обратясь къ Велесилу, — и Велесиль адезь, подобно дубу высокому, громомъ пораженному.

Лишь на третій день очнулся Велесиль. Тогда онъ приказалъ Блистару вырыть могилу. „Тутъ, говорилъ онъ, предали мы землѣ прекраснѣйшее созданіе природы. Мы насыпали холмъ возвышенный, и я водрузилъ крестъ древесный\*. „Подобно снѣгающей тнни отверженнаго небомъ грѣшника, повѣствуетъ далѣе Велесиль, блуждалъ я по граду Кіеву. Видѣлъ богатство и великолѣпіе, видѣлъ ширшества и веселіе, — но ничто уже въ мірѣ не могло занять пустоты души моей. Тако правосудіе горней власти грозно отпущаетъ старцу за преступленіе юности...“

Когда вы читаете подобныя вещи, стояція всецѣло на ложно-классической почвѣ, совершенно отвлеченныя, чуждыя всякой жизни и историческихъ красокъ, написанныя такимъ высокопарнымъ, высокимъ, тяжелымъ, чисто-шишковскимъ слогомъ, еще разъ по-

вторую, вы не вѣрите, чтобы это были произведенія того-же самаго Нарѣжваго, который впоследствии шагнул куда впередъ отъ Карамзина въ своихъ разсказахъ и повѣстяхъ изъ современной ему жизни.

## II.

Романтическое движеніе, національный вопросъ и успѣхи историографіи, возбуждавшіе въ литературѣ и обществѣ интересъ къ изученію русской старины. — Экскурсія Пушкина и Гоголя въ область исторіи. — Арапъ Петра Великаго. — Капитанская дочка. — Страшная мѣсть. — Печь на Рождество. — Вій. — Тарасъ Бульба.

Если теперь мы отъ такихъ произведеній, какъ „Словенскіе вечера“ Нарѣжваго, перенесемся черезъ 25 лѣтъ, къ концу 20-хъ годовъ, то можно подумать, что прошло не 25 лѣтъ, а добрая сотня, или что въ этотъ періодъ общество пережило какой-нибудь крутой переворотъ, въ продолженіи котораго каждый годъ шелъ за пять — до такой степени радикально измѣнились и литературный языкъ, и художественныя формы, и эстетическіе вкусы. Не только отъ ложнаго классицизма, но и отъ карамзинскаго сентиментализма не осталось и слѣда. Языкъ окончательно очистился отъ всѣхъ славянизмовъ и барбаризмовъ и блисталъ въ звучныхъ, музыкальныхъ стихахъ Пушкина и въ воздушно-легкой прозѣ его-же созданія. Высокій слогъ оплакивалъ одинъ Шишковъ, доживавшій свои послѣдніе годы. Даже и романтизмъ, переводимый на русскій языкъ Жуковскимъ, колебался уже, и съ каждымъ годомъ въ литературѣ замѣчалось все болѣе и болѣе реальныхъ струй. О прежнемъ историческомъ индифферентизмѣ, подводившемъ историческія личности всѣхъ народовъ и временъ подъ одинъ общій знаменатель классическихъ героевъ съ античными поэмами и вулканическими страстями, не было теперь и помину. Напротивъ того, въ теченіи 20-хъ годовъ постоянно развивалось стремленіе къ изученію народности въ смыслѣ племенныхъ и культурныхъ особенностей каждаго народа въ его настоящей и прошедшей жизни. Это стремленіе принесъ съ собою романтизмъ. Вѣдь что-же такое и былъ самъ по себѣ романтизмъ, какъ не протестъ противъ отвлеченности и универсальности классицизма, какъ не стремленіе пересадить поэзію на народную почву? Во всѣхъ странахъ Европы въ это время создавалась своя національная литература, при чемъ особенное вниманіе обращалось на историческое прошлое, такъ какъ понятно, что въ этомъ прошломъ національныя особенности, не сглаженныя еще позднѣйшимъ сближеніемъ народовъ и вліяніемъ ихъ другъ на друга, выступали наиболѣе рѣзко. Не ограничивался одною чисто литературною областью, идея націонализма проникла, какъ извѣстно, въ то время и въ философскія системы, и въ политику. Во имя идеи націонализма вся Европа была покрыта въ то время стѣною тайныхъ обществъ, и производились такія возстанія, какъ въ Греціи въ 20-е годы и Польшѣ въ 1830 году.

У насъ, въ свою очередь, уже во время войны 12-го

года возникаетъ протестъ противъ рабской подражаемости всему иностранному и въ особенности французскому и стремленіе къ національной самостоятельности. Это движеніе, первоначально чисто патристическое и вызванное ожесточеніемъ противъ французствъ, послѣ войны мало-по-малу переносится на литературную почву. Въ 20-е годы уже всѣ передовые люди были немаложко славянофилы и порицали „духъ пустого рабскаго слѣпого подражанья“ подобно Чацкому на бадю у Фамусова. Къ концу-же 20-хъ годовъ образуется въ Москвѣ кружокъ шаллинистовъ, и въ ихъ журналахъ идея націонализма является уже обоснованною философскими идеями. Вся суть существованія каждаго народа и вся его историческая миссія начинаютъ обуславливаться ничѣмъ инымъ, какъ національными способностями его. „Мы должны взирать на каждый народъ, говоритъ Веневитиновъ въ программѣ „Московского Вѣстника“, какъ на лицо одѣланное, которое къ *самопознанію* направляетъ всѣ свои нравственныя усилія, ознаменованныя печатью особеннаго характера. Развитие сихъ усилій составляетъ просвѣщеніе; дѣлъ просвѣщенія или *самопознанія* народа есть та степень, на которой онъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своихъ дѣлахъ и опредѣляетъ сферу своего дѣйствія“...

И вотъ, во имя этого самосознанія всѣ огуломъ бросились изучать, такъ называемую, *народность*, подраживая подъ этимъ именемъ тѣ племенные особенности, которыя русскій народъ выразилъ въ своемъ настоящемъ и прошломъ, особенно-же въ своихъ историческихъ письменныхъ и устныхъ памятникахъ. Такому изученію много содѣйствовали успѣхи историографіи, которые особенно обнаружилась въ періодъ царствованія Александра I. Такъ мы видимъ, что къ началу царствованія Николая вышли уже всѣ 12 томовъ исторіи Карамзина. Одновременно съ тѣмъ, какъ Карамзинъ выускалъ томъ за томомъ своей исторіи, графъ Румянцевъ занимался основаніемъ русской палеографіи и археологіи, и множество изслѣдователей группировалось вокругъ него. Это было время плодотворной дѣятельности К. О. Пайдаловича, положившаго начало истинно-научнаго изданія и толкованія памятниковъ. Въ этому-же времени относятся труды П. С. Строева: его описаніе многихъ библиотекъ и археографическія путешествія по Россіи, положившія начало археографической комиссіи. Рядомъ съ Строевымъ, археологическими путешествіями и розысканіями занимались тогда и такіе почтенные ученые, какъ А. Н. Оленинъ, К. П. Воронцовъ и А. И. Ермолаевъ, причемъ труды ихъ печатались не въ какихъ-либо специальныхъ и недоступныхъ нубликъ изданіяхъ, а напротивъ, — въ обычныхъ литературныхъ журналахъ того времени — „Отечественныхъ Запискахъ“, „Сѣверномъ Архивѣ“, „Телеграфѣ“, „Вѣстникѣ Европы“. Значительно въ то время подвинулось знакомство съ народною поэзію. Такъ въ 1804 были изданы Жуковичемъ былинны Кирилы Давыдова, вышедшими изъ тѣмъ въ 1818 г. Калайдовичемъ вторично изданіемъ. Въ 1819 году появилось изданіе кн. Цертелева, „Полное собраніе малороссійскихъ пѣсень“. Въ 1827 г. М. А. Максимовичъ, въ свою очередь, издалъ собраніе малороссійскихъ пѣсень. И вотъ мы видимъ, что къ

болду 20-хъ годовъ увлеченіе историческимъ прошлымъ дѣлается всеобщимъ, овладѣваетъ всѣмъ литературнымъ міромъ. Такъ, первыи поэтъ того времени Пушкинъ уже въ половинѣ 20-хъ годовъ, будучи еще въ ссылкѣ въ селѣ Михайловскомъ, обратился къ историческому прошлому и написалъ драму „Борисъ Годуновъ“. Въ 30-хъ-же годахъ подъ колыбель своей жизни онъ все болѣе и болѣе склонялся, какъ известно, къ исторіи, получивши оставшееся послѣ смерти Карамзина вакантное мѣсто придворнаго исторіографа и вѣсть съ тѣмъ доступъ въ государственные архивы, и занялся сначала исторіею пугачевского бунта, а затѣмъ собраніемъ матеріаловъ для исторіи царствованія Петра I.

Гоголь, едва пріѣхавши въ Петербургъ въ концѣ 20-хъ годовъ, былъ до такой степени охваченъ атмосферой историческихъ интересовъ, что тотчасъ-же въ письмахъ къ роднымъ и знакомымъ началъ умолять ихъ присылать ему всевозможныя историческія свѣдѣнія о Малороссіи, описаніе нравовъ, обычаевъ, костюмовъ, игръ, пѣсенъ, легендъ и проч. „Это мнѣ очень, очень нужно“, пишетъ онъ при этомъ. „Приносите чувствительнѣйшую благодарность, пишетъ онъ къ матери (27-го іюля 1828 г.)—за ваши драгоценныя извѣстія о малороссіицахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Вы лишь удивленія готовлю запасъ, котораго, по радочному не обработавши, не пушу въ свѣтъ; я не люблю свѣтить, а тѣмъ болѣе заниматься поверхностно“.

Передовой журналистъ и критикъ того времени, П. Ал. Полевой, въ свою очередь, бросается въ историческія изслѣдованія, пишетъ свою „Исторію русскаго народа“, а въ послѣдствіи рядъ историческихъ монографій, драмъ и романовъ.

Прямимъ результатомъ всего этого общаго увлеченія исторіею и древностями и было появленіе въ 30 и 40 годахъ несметной массы историческихъ романовъ. Первый историческій романъ, появившійся въ свѣтъ, былъ, какъ извѣстно, „Юрій Милославскій“ Загоскина, изданный въ 1829 году. Съ Загоскина намъ и слѣдовало-бы, по настоящему, начинать наше обзорнѣе историческихъ романовъ 30 годовъ. Но нѣкоторое обстоятельство заставляетъ насъ на первый разъ отступить отъ строгаго хронологическаго порядка. Дѣло въ томъ, что мы имѣемъ нѣсколько историческихъ романовъ Пушкина и Гоголя, которые представляютъ собою нѣчто совершенно особенное, не имѣющее ничего общаго со всѣми прочими историческими романами 30 годовъ, отличающееся отъ нихъ, какъ небо отъ земли. Ставить ихъ въ одинъ рядъ съ романами Загоскина или Лажечникова, по этой причинѣ, не представляется никакой возможности. Они непремѣнно должны быть выдѣлены и поставлены на первый планъ, чтобы служить маяками для нашихъ дальнѣйшихъ обзорнѣй. Ихъ высокое, гениальное достоинство будетъ освѣщать и отгнѣять передъ нами слабыя стороны и недостатки исторической belletristiki 30 годовъ. Съ нихъ мы поэтому и начинаемъ.

Пушкинъ, какъ мы выше говорили, обратился къ исторіи уже въ первой половинѣ 20 годовъ, живши въ селѣ Михайловскомъ. Въ то время онъ былъ еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, сказавшагося въ

его драмѣ „Борисъ Годуновъ“. Но во второй половинѣ 20 годовъ, онъ совершенно освободился отъ этого вліянія до такой степени, что въ 1830 г., въ своей „Лѣтописи села Горехина“, онъ пародируетъ высокопарный языкъ и нѣкоторые даже взгляды Карамзина, представляя ихъ въ самую комическую видѣ. Въ это время въ портфель его лежало уже начало первой его исторической повѣсти „Арапъ Петра Великаго“, написанное имъ въ 1827 году.

Въ повѣсти этой впервые вполне обнаружилось тонкое и гениальное историческое чутье Пушкина. Первое, что насъ поражаетъ здѣсь, это идеальная объективность разсказа. Ничего тутъ ни преувеличено, ни преуменьшено. Не встрѣтите вы ни какой-либо идеализаціи съ одной стороны, ни излишнихъ черныхъ красокъ съ другой, а только одну трезвую, реальную и безпристрастную историческую правду.—Петербургская жизнь эпохи Петра такъ живо и рельефно рисуется передъ вами, что вы совершенно переноситесь въ ея сферу до такой степени, что насъ нисколько не поражаютъ рѣзкія особенности этой жизни, какъ нѣчто совершенно отличное отъ настоящаго времени, что трудно было-бы себѣ и представить; напротивъ того, вы сразу осваиваетесь съ изображаемою средою, совершенно какъ будто переживаете изображаемое время, точно будто имѣете дѣло съ какими-то вашими собственными воспоминаніями.

Но главное достоинство повѣсти заключается въ гениальномъ умѣнѣ уловить духъ времени въ различныхъ мелкихъ нюансахъ обыденной жизни. Такъ, наприимѣръ всѣмъ извѣстно, что въ то время существовала цѣлая масса оппозиціоннаго дворянства, очень неблагоприятно относившагося къ нѣмецкимъ нововведеніямъ Петра и дорожившаго всѣми обычаями до-петровской старины. Романецъ съ мелкимъ талантомъ и плохимъ историческимъ чутьемъ, если-бы вздумалъ вывести семью подобнаго дворянина-консерватора, непремѣнно изобразилъ-бы его въ видѣ боярина XVII вѣка, въ древне-русскомъ костюмѣ, съ бородою, съ женою и дочерью, залетыми въ теремъ, съ хозяйкою, обходящею полушубныхъ гостей съ чаркою и поцѣлуемъ и т. п. Но Пушкинъ очень хорошо понималъ, что въ то время правы не только сподвижниковъ Петра, но и оппозиціоннаго дворянства значительно уже отошли отъ старины XVII вѣка и измѣнились. Вся оппозиція выражалась въ одной поркотѣ, въ однихъ жалкихъ вздохахъ по старинѣ, которой сами приверженцы на каждомъ шагѣ измѣняли. И вотъ въ четвертой главѣ повѣсти рисуется передъ вами великолѣпная картина праздничнаго обѣда оппозиціонной дворянской семьи, и картина эта до такой степени во всѣхъ своихъ подробностяхъ вѣрна своей эпохѣ, что вы сразу чувствуете, что именно такъ обѣдали въ Петербургѣ знатные бары только при Петрѣ, и никакой нѣтъ возможности перенести эту картину на полстолѣтіе раньше или позже.

Такъ, мы видимъ, что какъ ни старается Гаврила Авокасевичъ слѣдовать старинѣ и воспитывать дочь свою по старинному, окружаетъ ее мамушками, нянюшками, подружками и сѣными дѣвушками, заставляетъ шить золотомъ и не учить грамотѣ, — но нельзя же не вывезти ее ко двору, на ассамблеи. Къ этому

побуждает не одна воля царя и страхъ его грознаго гнѣва, но и собственное тщеславіе и честолюбіе, боязнь быть оттерту назадъ, забыта. Въ то-же время и дочь, которую, естественно, тянетъ ко всему новому и модному, вліяетъ на старика. И вотъ волею неволею сбрасываетъ онъ свою бороду, облекается въ нѣмецкій кафтанъ, не можетъ противиться желанію дочери учиться плясать нѣмецкимъ у плѣннаго шведскаго офицера, который спеціально для этой цѣли поселается въ домъ его.

На праздничный обѣдъ гости съѣзжаются уже по новому обычаю съ женами и дѣтьми. Правда, дочь Гаврилы Аеонасьевича, Наталья Гавриловна, по старинѣ подноситъ каждому гостю серебряный подносокъ, уставленный золотыми чарочками, но поцѣлуй, получаемый въ старицу при такомъ случаѣ, оказывается уже вышедшимъ изъ обыкновенія. Гости садятся за столъ по чинамъ, наблюдая старшинство рода, мужчины по одну сторону, а женщины по другую, но въ этомъ смутномъ отголоскѣ нѣстничества только и выражается память о старинѣ. А затѣмъ является на сцену дура Екшювна, старуха набѣленная и парумяненная, убранная цвѣтами и мишурую, въ штофную роброндѣ, съ открытой шеєю и грудью, и, прихвывая и подлизывая, объявляетъ, что она «нарядилась для дорогихъ гостей, для Вожія праздника, по Царскому наказу, по боярскому приказу, на смѣхъ всему міру, по нѣмецкому маніру». Гости злорадно хохочутъ при видѣ этой живой каррикатуры на новые нѣмецкіе обычаи, и затѣмъ начинается обычная въ то время воркотня, въ сущности самаго невиннаго свойства, вся сводящаяся на мелочную экономическую почву, въ родѣ слѣдующей рѣчи бывшаго рязанскаго воеводы: «Охъ матушка, Татьяна Аеонасьевна! по мнѣ жена какъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей, хоть болдыханомъ, только-бы не каждый мѣсяцъ заказывала себѣ новыя платья, а прежнія — бросала повехенькія. Бывало, внучкѣ въ приданое доставался бабушкинъ сарафанъ, а нынѣшнія робронды — поглядишь, сегодня на барынь, а завтра на холопѣ. Что дѣлать? Разореніе русскому дворянству! Вѣда да и только».

Но для болѣе яснаго представленія всей ничтожности и эфемерности подобной оппозиціи, Пушкинъ изобразилъ далѣе внезапное появленіе Петра на этомъ самомъ обѣдѣ. — Тотчасъ-же отъ всей этой оппозиціи не осталось ни слѣдочка. Сдѣлалась суматоха. Хозяинъ бросился на встрѣчу Петра; слуги разбѣгались, какъ одурѣлые; гости перетрусили; иные даже думали, какъ-бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ передней раздался громозвучный голосъ Петра; все утихло, и Царь вошелъ въ сопровожденіи хозяина, *оторопѣлаго отъ радости*. «Здорово господа!» сказалъ Петръ съ веселымъ лицомъ. Всѣ низко поклонились. Выстрые взоры Царя отыскали въ толпѣ молодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья Гавриловна приблизилась довольно смѣло, но покраснѣвъ не только по уши, а даже по плечи. «Ты часъ отъ часу хорошеешь», сказалъ ей Государь и, по своему обыкновенію, поцѣловалъ ее въ голову; потомъ, обратясь къ гостямъ: «что-же? я вамъ поцѣлывалъ? вы обѣдали; прошу садиться опять, а мнѣ, Гаврила Аеонасьевичъ, дай-ка анисовой водки». Хо-

зяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ наполнилъ золотую чарку и подаль ее съ поклономъ Государю. Петръ выпилъ, закусилъ кренделекъ и вторично пригласилъ гостей продолжать обѣдать. Всѣ заняли свои прежнія мѣста, кромѣ карлицы и барской барыни, которая не смѣла оставаться за столомъ, удостоеннымъ царскими присутствіемъ. Петръ сѣлъ подлѣ хозяина и спросилъ себѣ щей. Государевъ денщикъ подаль ему деревянную ложку, оправленную слоновою костью, ножикъ и вилку съ зелеными костянками черенками, ибо Петръ никогда не употреблялъ другаго прибора, кромѣ своего. *Обѣдъ, за минуту передъ симъ шумно оживленный весельемъ и говорливостію, продолжался въ тишинѣ и принужденности. Хозяинъ, изъ почтенія и радости, ничего не пилъ; гости также чинились и съ благоговѣніемъ слушали, какъ Государь по нѣмецки разговаривалъ съ кѣлымъ шведомъ о походѣ 1701 года.*

Обратите вниманіе, какъ здѣсь нѣсколькими легкими чертами обрисовывается вполнѣ передъ нами и политическое, и нравственное состояніе цѣлаго словія въ эпоху Петра, со всеми его и рабскими страхомъ, и подобострастнымъ ничтожествомъ передъ неоглятною силою грознаго реформатора, который шутить не любилъ. Но далѣе все это выступаетъ еще ярче. Оказывается, что Петръ пріѣзжалъ не сватать, а сватать дочь хозяина за своего любимца Арапа Ибрагима. Подобнымъ сватовствомъ нарушались всѣ гордыя традиціи стараго дворянскаго рода. Гаврила Аеонасьевичъ не могъ не чувствовать глубокаго униженія при мысли, что дочь его сваталась за купленнаго невольника, да къ тому-же и чернаго. Но объ изъясненіи какого-либо протеста не приходилось и поминать.

— Батюшка—братецъ!—сказала старуха (сестра Гаврилы Аеонасьевича) слезливымъ голосомъ: не погуби ты своего родимаго дитяти, не дай ти Натальюшки въ когти черному дьяволу.

— Но какъ-же, — возразилъ Гаврила Аеонасьевичъ, отказать Государю, который за то облагодѣлалъ намъ свою милость, мнѣ и всему нашему роду?

— Какъ!—воскликнулъ старый князь (тестъ), у котораго сонъ совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку мою, выдать за купленнаго Арапа?

— Онъ роду не простого, — сказала Гаврила Аеонасьевичъ, онъ сынъ Анапскаго султана. Васурмане взяли его въ плѣнъ и продали въ Царьградъ, а нашъ посланникъ испручилъ и подарилъ его Царю. Старшій братъ Арапа пріѣзжалъ въ Россію съ знатнымъ выкупомъ и...

— Слыхали мы сказку про Бову Королевича изъ Ерусалана Лазаревича!

— Батюшка Гаврила Аеонасьевичъ — прервала старуха: рассказали-тко намъ лучше, какъ отыскалъ Государю на его сватанье.

— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше холопые дѣло повиноваться ему во власть.

Въ эту минуту раздался за дверью шумъ. Гаврила Аеонасьевичъ пошелъ отворить ее, но почувствовалъ сопротивленіе. Онъ сильно ее толкнулъ, — дверь отворилась, и онъ увидѣлъ Наташу въ обморокъ, простертую на окровавленномъ полу.

Такъ завязывается узелъ драмы. Въ приведенной нами сценѣ, что ни слово, то драгоцѣнный перлъ. — Положительно не знаешь, что тутъ лучше, что лучше

обрисовываетъ всю неприглядную психическую пещету выведенныхъ дѣйствующихъ лицъ: надежда на милости, ради которыхъ люди эти готовы не только забыть всю обожаемую старину, но и поступиться судьбою любимой дочери, или-же жалкое утѣшеніе униженной гордости, что Ибрагимъ не простой черный невольникъ, а чуть не изъ царскаго рода. Эти слѣпые и гордые люди поражаютъ васъ въ то же время рабской приверженностью своей, и Петръ со своею непреклонною волею тяготѣетъ грознымъ рокомъ надъ всѣми дѣйствующими лицами романа. Въѣстъ съ тѣмъ открывается передъ вами и вотъ какая историческая черта въ личности Петра. Въ то время, какъ оппозиціонные дворяне, при всей приверженности къ старинѣ, на каждомъ шагу вольно и неволью измѣнили ей, Петръ, не смотря на любовь ко всему иностранному и при всемъ стремленіи совершенно отрѣшиться Россію отъ всѣхъ традицій старины, въ самомъ себѣ неволью и безсознательно носилъ не мало этихъ традицій. Таково, между прочимъ, было произвольное вѣщательство его въ частныя, семейныя дѣла своихъ приближенныхъ, что носило характеръ чего-то стародавняго, патриархальнаго, вотчиннаго.

Такое же историческое безпристрастіе, полное отсутствіе какихъ-либо патриотическихъ славословій и трезвый реализмъ видите вы и въ „Камитанской дочкѣ“ Пушкина. Начать съ того, что здѣсь нѣтъ героя въ томъ пошломъ видѣ безукоризненно идеальнаго молодого человѣка, блестящаго всѣми и матеріальными, и умственными доблестями, въ какомъ подобный герой подвизался въ то время во всѣхъ романахъ, какъ изъ исторической, такъ и изъ современной жизни. Гриневъ, отъ лица котораго ведется рассказъ, не имѣетъ ничего общаго съ такими героями. Это самый заурядный помѣщичій сыночекъ 18-го вѣка, не особенно далекий, не Богъ вѣсть какъ образованный, отличающійся всего на всего доброю душою и нѣжнымъ сердцемъ. Дѣтство его описано не безъ юмора, именно того добродушнаго, тонкаго и чисто народнаго пушкинскаго юмора, который, къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще не оцѣненъ въ должной мѣрѣ, хотя, по моему мнѣнію, онъ нисколько не уступаетъ гоголевскому юмору. Такъ мы видимъ, что съ рожденія барчука былъ записанъ въ Семеновскій полкъ сержантомъ по милости майора князя В., близкаго родственника Гриневыхъ, и считался въ отпуску до окончанія наукъ. Научами-же занимался съ мальчикомъ стремянной Савельичъ, пожалованный въ дядьки за трезвое поведение.

Подъ его надзоромъ герой на двѣнадцатомъ году выучился русской грамотѣ и могъ очень здраво судить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время навали для него французъ, мосье Вопре, котораго выписали изъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Мосье Вопре былъ добрый малый, но вѣтренъ и беззастѣнъ до крайности. Главной его слабостью была страсть къ прекрасному полу, но любилъ онъ и хлебнуть лишнее, привыкнувъ къ русской востойкѣ и предпочитая ее винамъ своего отечества, какъ не въ примѣръ болѣе полезную для желудка. „Мы, говоритъ Гриневъ, тотчасъ поладили, и

хотя по контракту обязанъ онъ былъ учить меня *по французски, по нѣмецки и всѣмъ наукамъ*, но онъ предпочелъ на скоро выучиться отъ меня кое-какъ болтать по русски, и потомъ каждый изъ насъ занимался своимъ дѣломъ...“ Но когда прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коровница Акулька разомъ кинулись въ ноги своей барынѣ, выпяся въ своей преступной слабости и съ плачемъ жалуюсь на мосье, обольстившаго ихъ неопытность, и когда старикъ Гриневъ пошелъ на расправу въ комнату сына и засталъ тамъ мосье мертвецки пьянымъ и спавшимъ глубокимъ сномъ, а сына дѣлающимъ змѣй изъ географической карты и привязывавшимъ хвостъ къ мысу Доброй Надежды, мосье Вопре былъ тотчасъ же изгнанъ изъ дома. „Тѣмъ и кончилось, говоритъ Гриневъ, мое воспитаніе. Я жилъ недорослемъ, гоня голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками“. Когда же мальчику минуло 16 лѣтъ, отецъ надумалъ отправить его прямо на службу, конечно, военную. Мальчикъ былъ этому очень радъ, но не какія-либо идеальныя мечты о принесеніи пользы отечеству, о пораженіи враговъ отечества волновали его при этомъ, а какъ и надо было ожидать „мысли о службѣ, говоритъ онъ, сливались во мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ петербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ гвардіи, что по мнѣнію моему, было верхомъ благополучія человѣческаго“. Но практической и умной старикъ-отецъ рѣшилъ иначе: „Петрушка въ Петербургъ не поѣдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургѣ? Мотать да повѣсничать? Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ ляжку, да понюхаетъ пороку, да будетъ солдатъ, а не шенатонъ въ гвардіи!“—И онъ послалъ сына къ старинному товарищу и другу служить подъ его начальствомъ въ арміи въ Оренбургѣ.

„И такъ, говоритъ Гриневъ, въ мои блестящія надежды рухнули! Вмѣсто веселой петербургской жизни ожидала меня скука въ створѣ глухой, отдаленной. Служба, о которой за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ, показала мнѣ тяжкимъ несчастьемъ...“

Но дѣлать было нечего, поѣхалъ молодой недоросль по батюшкину приказанію, невѣдомо куда и зачѣмъ. Средній романистъ того времени не преминулъ бы заставить героя на дорогѣ кого-нибудь спасти отъ неминуемой смерти и вообще оказать какія-нибудь чудеса храбрости. Гриневъ не только никакихъ чудесъ не оказываетъ, но, какъ и надо было ожидать, 16-ти-лѣтняго мальчугана въ Симбирскѣ нѣкій шатающійся шулеръ самымъ прозаическимъ образомъ обыгрываетъ на билліардѣ. Спасителемъ же отъ смерти оказывается не Гриневъ, а его самого спасаетъ отъ опасности замерзнуть во время матели какой-то бѣглый казанъ, оказавшійся потомъ Пугачевымъ, и за это молодой добрый баринъ весьма естественно и просто поитъ казака водкой и даритъ ему лишній ошчипный тулупъ, изъ котораго онъ самъ уже давно выросъ и который поэтому раздѣвается по всѣмъ швамъ на плечахъ дожара казака...

Но вотъ мы и въ Вѣдгорской крѣпости, описаніе которой, равно какъ и комическихъ обитателей ея—

добродушнаго капитана Миронова изъ выслужившихся солдатъ, его энергической жены, Василисы Егоровны, которая, держа своего мужа подъ башмакомъ, на дѣла службы смотрѣла, какъ на свои хозяйскія и управляла крѣпостью такъ точно, какъ и своимъ доможъ, кривого гарнизоннаго поручика Ивана Игнатьевича, коварнаго деморализованнаго брегера Швабрина. — все это наизусть почти извѣстно каждому грамотному русскому человѣку изъ любой дѣтской христоматіи и не требуетъ особенныхъ комментариевъ. Не требуетъ комментариевъ и романъ, который завязывается въ этой захолустной средѣ; такъ незатѣливъ и простъ этотъ заурядный романъ прапорщика, который пописываетъ стишки въ духѣ Сумарокова въ честь своей любезной и вызываетъ на дуэль дерзкаго оскорбителя чести ея Швабринъ, за то, что тотъ посовѣтовалъ вмѣсто поднесенія плохихъ стишковъ купить лучше дѣвущкѣ пару серегъ. Героиня этого романа въ свою очередь не прельщаетъ васъ какою-нибудь неземною красотой, не сверкаетъ солнцемъ у нея во рту и глаза ея не мечутъ всепожирающаго пламени. Она именно въ такомъ родѣ, въ какомъ можно себѣ представить дочь гарнизоннаго капитана Бѣлогорской крѣпости, выросшую въ глухой и безлюдной глуши: застѣнчивая дикарка, которая съ перваго знакомства можетъ показаться даже весьма недалекою, такая трусиха, что по словамъ матери „до сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла изъ ружья — такъ и затрепещется, а какъ тому два года Иванъ Кузьмичъ выдумалъ въ мои именины пальнуть изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свѣтъ не отправилась. Съ тѣхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки“. Помышляютъ онѣ вмѣстѣ съ маленькой только о томъ, какъ бы найти добраго человѣка и выйти замужъ. — Когда Гриневъ дѣлаетъ ей предложеніе, она безъ всякаго жеманства говоритъ, что ея родители, конечно, рады будутъ ея счастью, „но подумай хорошенько, со стороны твоихъ родныхъ не будетъ-ли препятствій?“ Когда-же отецъ Гринева написалъ грозное письмо своему сыну за его одновременное сватовство, она возвратила это письмо своему милому дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ:

— Видно мнѣ не судьба... Родные ваши не хотятъ мени въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня! Богъ лучше насъ знаетъ, что намъ надобно. Дѣлать нечего, Петръ Андреевичъ, будьте хоть вы счастливы!.. На готовность-же Гринева жепиться на ней помимо воли родителей, она отвѣчаетъ:

— „Нѣтъ, Петръ Андреевичъ, я не выйду за тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ ихъ благословенія не будетъ тебѣ счастья. Покорился волѣ Божіей. Коли найдешь себѣ суженую, коли полюбишь другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреевичъ, а я за васъ обоихъ“...

Она заплакала и ушла отъ Гринева. — „Съ той поры, говорить онъ, положеніе мое перемѣнилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избѣгать меня“.

Однимъ словомъ, передъ вами, какъ живой, стоитъ тишь простой, заурядной, захолустной дѣвочки изъ средняго круга, 18-го вѣка, дѣвочки безъ всякой

аффектаціи и сентиментальности, у которой любовь и замужество соединяются въ одно неразрывное понятіе и которая видитъ въ этомъ не плѣнительные и усладительные амуры, а серьезное и, можно даже сказать, религиозное дѣло всей жизни.

Такимъ образомъ и здѣсь подобно тому, какъ и въ „Арапѣ Петра Великаго“, Пушкинъ является передъ нами не только реалистомъ вообще, но и натуралистомъ въ томъ смыслѣ, что въ обоихъ произведеніяхъ передъ вами развертывается картина жизни не какихъ-либо идеальныхъ и эксцентрическихъ личностей, а самыхъ заурядныхъ людей; вы переноситесь въ обыденную массовую жизнь восемнадцатаго вѣка и видите, какъ эта жизнь текла день за день со всеми своими мелкими будничными интересами. Этихъ и отличаются историческіе романы Пушкина отъ всѣхъ послѣдующихъ изображеній жизни восемнадцатаго вѣка, въ которыхъ жизнь, отстоящая отъ насъ не болѣе какъ на сто или полтора стъ лѣтъ, рисуется передъ нами въ какомъ-то мнѣческомъ волшебномъ туманѣ, причемъ изображаемымъ личностямъ придаютъ необыкновенно титаническіе размѣры: все это оказывается широкія, размашистая натуры, то поражающія мѣръ своею роскошью и необузданнымъ мотовствомъ и разгуломъ, то приводящія въ ужасъ демоническимъ хищничествомъ, коварствомъ и эксцентричностью своихъ преступленій въ родѣ замуравливанія въ стѣны живыхъ людей или срыгтія цѣлыхъ усадебъ. Я не говорю, чтобы ничего подобнаго не было въ 18-мъ вѣкѣ; но отнюдь не изъ такихъ баснословныхъ характеровъ и ужасовъ слагалась ежедневная, будничная жизнь того времени. Они были лишь выдающимися точками, исключеніями изъ уровня ея. А чтобы понять этотъ уровень, слѣдуетъ обратиться къ Пушкину. Перенесясь за сто лѣтъ назадъ въ его „Капитанской дочкѣ“, вы отнюдь не попадаете въ какой-то сказочный мѣръ, а видите все ту-же самую жизнь, которая, катясь годъ за годъ, докатилась и до сего дня. И дѣйствительно, вѣдь эта жизнь все-таки самая, а не другая какая, особенно въ провинціальной глуши. Одно простое соображеніе должно внушить вамъ, что если и въ настоящее время провинціальная глушь представляетъ собою мертвое царство непробуднаго сна и полнаго застоя, то сто лѣтъ тому назадъ она должна была быть еще однообразнѣе, монотоннѣе и неподвижнѣе. И дѣйствительно, вы видите передъ собою въ разсказѣ такое стоячее болото, что даже столь грозная буря, какъ пугачевскій погромъ, могла покрыть поверхность этого болота лишь едва замѣтною зыбью. Обитатели Бѣлогорской крѣпости, жившіе въ самомъ очагѣ бунта, въ своей буквалической невинности до такой степени не знали, что дѣлается вокругъ нихъ, что когда бунтъ уже начался и герой сообщалъ коменданту, что онъ слышалъ въ Оренбургѣ, будто на Бѣлогорскую крѣпость собираются напасть башкиры, комендантъ отвѣчалъ:

— Пустяки! У насъ давно ничего не слыхать. Башкиры — народъ напуганный, да и киргизы проучены. Небось на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ острастку, что лѣтъ на десять утормоно.

И нужно было, чтобы Пугачевъ пришелъ къ крѣпости и взялъ ее безъ малѣйшихъ усилій, и лишь тогда, когда на площади воздвиглись висѣлицы, обитатели поняли, наконецъ, значеніе и ужасъ пугачевского бунта.

Но верхъ художественнаго совершенства по строгой, трезвой реальности, историческому безпристрастію и глубинѣ пониманія безспорно представляетъ собою образъ самого Пугачева. Можно смѣло сказать, что во всей нашей литературѣ другого такого Пугачева вы не найдете. Изобразить вѣрно и въ настоящемъ свѣтѣ подобнаго рода личность тѣмъ труднѣе, чѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ она на воображеніе и невольно влечетъ художника къ какимъ-нибудь преувеличеніямъ. Стоило Пушкину немножко болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, перепустить густыхъ черныхъ красокъ, что было такъ легко сдѣлать сообразно тому ужасу и отвращенію, какое возбуждалъ Пугачевъ въ современникахъ Пушкина, и вышелъ-бы мелодраматическій злодѣй, ни съ чѣмъ несообразное нравственное чудовище; стоило-бы отъ живой дѣйствительности хоть на одинъ шагъ вступить въ область эффектныхъ романтическихъ образовъ, и вышелъ-бы нѣчто въ родѣ Карла Моора, образъ очень красивый самъ по себѣ, но чуждый исторической правды. Пушкинъ гениально избѣгъ и того, и другаго. Ему и Пугачева удалось свести на почву осозательной и будничной дѣйствительности. Правда, является онъ на сцену романа не безъ поэтичности: словно какой-то мимическій духъ грозы и бури онъ внезапно вырисовывается передъ читателемъ изъ мутной мглы бурана, но вырисовывается вовсе не для того, чтобы сразу поразить васъ, какъ нѣчто выдающееся и необыкновенное. Является онъ простымъ бѣлымъ казакомъ, полураздѣтымъ бродягомъ, только что промившимъ въ кабакѣ послѣдній свой тулупъ. Онъ поражаетъ пробжавшихъ своею сметливостью и тонкостью чутья, но едва уловимому запаху дыма указавъ на близость селенія; но это вовсе не какалыбо особенность Пугачева, какъ Пугачева, а общая черта, свойственная всѣмъ степнымъ бродягамъ. Наружность его показалась Гриневу замѣчательна. Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. На черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые большіе глаза такъ и бѣгали. Лицо его носило выраженіе довольно пріятное, но плутовское. Спрашивается теперь что же такое могло быть пріятнаго въ лицѣ Пугачева? Очевидно, это было выраженіе того особеннаго рода добродумія, смѣшаннаго съ эхеромъ и ироніею, какое вы встрѣтите въ лицѣ массы русскихъ людей, порою самыхъ хитрыхъ и плутоватыхъ. Развѣ вы не встрѣчали такихъ людей: съ одной стороны, глаза у нихъ такъ подозрительно бѣгаютъ, что трудно имъ въ чемъ-либо довериться, а съ другой—такъ и влечетъ васъ къ нимъ выраженіе въ ихъ глазахъ чего-то такого мягкаго и обаятельнаго. Такимъ является передъ вами и Пугачевъ въ первой сценѣ, ничѣмъ особенно не выдающийся и до конца главы остающийся самымъ зауряднымъ степнымъ бродягомъ, столь довольнымъ подаркомъ заячьию тулупу съ барскаго плеча, что онъ провожаетъ барина до избытки и говоритъ ему на прощаніе съ низкимъ поклономъ: „Спасябо, ваше благородіе! На-

градѣ васъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не забуду вашихъ милостей“. Вы подумайте только, сколько здѣсь глубокой вѣрности дѣйствительности и поразительной простоты.

Такимъ-же является Пугачевъ и въ дальнѣйшемъ развитіи романа. — Это вовсе не злодѣй и не герой, вовсе не человѣкъ, устрашающій и увлекающій толпу обаяніемъ какой-нибудь грозной и бездонной мрачности своей титанической натуры, и тѣмъ болѣе отнюдь не фанатикъ, сознательно стремившійся къ развѣ намѣченной цѣли. До самаго конца романа онъ остается все тѣмъ-же случайнымъ степнымъ бродягомъ и добродушнымъ плутомъ. При иныхъ обстоятельствахъ изъ него вышелъ-бы самый заурядный конокрадъ; но историческія обстоятельства внезапно сдѣлали изъ него совершенно неожиданно для него самого самозванца, и онъ слѣпо влечется силою этихъ обстоятельствъ, причемъ вовсе не онъ ведетъ за собою толпу, а толпа влечетъ его, совершенно подобно тому, какъ въ разсказѣ Гл. Успенскаго бакинскія черны обратила внезапно въ Скобелева отставнаго солдата, за минуту передъ тѣмъ и не подозрѣвавшаго ничего подобнаго. Натура его, въ сущности, вовсе не хищная и не кровожадная; онъ радъ-бы и прощатъ; добродушіе, не покидающее его до конца романа, заставляетъ его помнить мелочную дорожную услугу, оказанную ему Гриневымъ; онъ готовъ казнить Швабрину, защищая отъ его козней спроту; но всѣ эти добрые порывы идутъ совершенно въ разрѣзъ съ настроеніемъ окружающей его толпы, возбуждающей въ ней протесты, и, отдаваясь имъ урывками, онъ поневодѣ долженъ напускать на себя грозное величіе и безпощадность. До какой степени онъ весь отдался влекущему его теченію, не преслѣдуя никакой сознательной личной цѣли, и былъ вполнѣ въ рукахъ толпы, это отлично обнаруживается передъ нами въ слѣдующемъ разговорѣ его съ геросемъ:

— А ты полагаешь идти на Москву?—спросилъ его Гриневъ.

Самозванецъ нѣсколько задумался и сказалъ вполголоса: *«Вотъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они боятъ. Мнѣ должно держать ухо острѣе; при первой неудачѣ они свою шею выкупятъ моею головою».*

— То-то,—сказалъ Гриневъ Пугачеву.— Не лучше-ли тебѣ отстать отъ нихъ самому заблаговременно, да прибѣгнуть къ милосердію Государяни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся.— *«Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,— поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ пощаденія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось и удастся! Грешка Отрешевъ вѣдь царствовалъ-же надъ Москвою».*

— А знаешь ты, чѣмъ онъ кончился! Его выбросили изъ окна, зарѣзали, сожгли, зарядили его пеньюломъ пушку и выпалили!

— Слушай,—сказалъ Пугачевъ съ казнь-то дикимъ вдохновеніемъ,— расскажу тебѣ сказку, которую въ ребячествѣ мнѣ рассказывала старая камишка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего на всего только тридцать три года?— *«Оттого, батюшка, отвѣчалъ ему воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь жертвенной».* Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ-же. Хорошо! Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли пахую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клонуть развѣ, клонуть другой, мах-

нуль крыломъ и сказала ворону: «нѣтъ, братъ воронъ: чѣмъ триста лѣтъ пытаться надалью, лучше разъ напишеся живою кровью; а тамъ что Богъ дастъ!» Какова казачья сказка?

— Затѣйлива, — отвѣчалъ ему Гриневъ. — Но жглы убійствомъ и разбоемъ, значить по мнѣ клеветать мертвецкину. Пугачевъ посмотрѣлъ на Гринева съ удивленіемъ и ничего не отвѣтилъ.

Не отвѣтилъ онъ ничего и не могъ отвѣтить, потому что и мечтательный походъ на Москву, и дикая разбойническая сказка, — все это было у Пугачева напускное, совершенно не вяжущееся съ его натурою, и барину ничего не стоило сбить его однимъ словомъ съ пьедестала, на который онъ громоздился.

На верхъ совершенства слѣдующая глѣбая сцена въ Вѣлгорской крѣпости послѣ казни и прошенія Гринева. «Мы, говоритъ Гриневъ, остались глазъ на глазъ. Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ шутства и насмѣшливости. Наконецъ, онъ засмѣялся, и съ такою неспривторною веселостію, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная, чему». Здѣсь Пугачевъ рисуетъ передъ вами весь, каковъ онъ былъ, до самаго нутра, безъ малѣйшей рисовки и притворства.

Наконецъ, слѣдуетъ обратить вниманіе въ свою очередь и на то историческое безпристрастіе и гениальную иронию, какия обнаружилъ Пушкинъ въ самомъ развитіи сюжета романа, заставивши Пугачева быть добрымъ гениемъ и устроителемъ судьбы героя романа, и въ концѣ концовъ — Гринева придти къ слѣдующему сознанию: «Но между тѣмъ, говоритъ онъ, странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодѣѣ, обрызганномъ кровью столькихъ повинныхъ жертвъ, о казни, его ожидающей, тревожила меня пошеволю: «Емеля, Емеля! — думалъ я съ досадою — зачѣмъ не паткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь. Лучше ничего не могъ-бы ты придумать». Что прикажете дѣлать! Мысль о немъ неразлучна была во мнѣ съ мыслию о пощадѣ, данной мнѣ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и объ избавленіи моей невѣсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина».

У Пушкина есть еще одинъ отрывокъ историческаго романа, подъ заглавіемъ «Рославлевъ»; но этотъ отрывокъ имѣетъ такое тѣсное отношеніе къ роману Загоскина подъ тѣмъ-же заглавіемъ, что мы будемъ его разбирать въ свое время, въ связи съ романомъ Загоскина. Теперь-же обратимся къ Гоголю.

Уже въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» у Гоголя проглядываетъ кое-гдѣ историческій элементъ. Такъ, въ рассказѣ «Ночь на Рождество» Гоголь переноситъ насъ вмѣстѣ съ своимъ героемъ кузнецомъ Вакулою изъ захолустной малороссійской деревеньки въ Петербургъ ко двору Екатерины. Кромѣ самой императрицы здѣсь выступаютъ на сцену Потемкинъ и Фонвизинъ. Правда, все это очерчено крупными красками и мелькомъ, но нельзя сказать, чтобы тутъ все не было и кое-какихъ историческихъ чертъ. У насъ сохранилось отъ того времени не мало анекдотовъ о простодушно-наивныхъ и грубоватыхъ отвѣтахъ казаковъ на вопросы Екатерины, поражающихъ

чопорный дворъ во время приѣма запорожскихъ полковъ. Просьба Вакулы о червикахъ и благосклонное вниманіе императрицы къ его простодушію какъ нельзя болѣе передаетъ характеръ этихъ аудіенцій.

Затѣмъ рассказъ «Страшная мѣсть» — весь построенъ на исторической почвѣ войнъ казаковъ съ лахами, хотя надо признаться, что при всей художественности рассказа, при всей предести отдѣльных мѣстъ его въ родѣ знаменитаго описанія Дибра, въ историческомъ отношеніи рассказъ представляетъ рядъ общихъ стереотипныхъ мѣстъ, но обнаруживающихъ еще въ молодомъ авторѣ особенно глубокаго знанія малороссійской старины. Обратите вниманіе, напримеръ, на восьмую главу, въ которой описывается польскій пиръ:

«На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались духи и шируютъ уже два дня. *Что-то не мало всей сволохи. Сошлись вѣрно на какой-нибудь нападѣ: у нихъ и мушкетъ есть; чокаются шпоры; брякають сабли: пани оселяются и ховстають, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православіемъ; зовуть народъ украинскій сосими аголопями, и важко крутятъ усы, и важно, задравивъ головы, разговариваются на аекакъ. Съ ними и ксендзь вмѣстѣ; только и ксендзь у нихъ на ихъ-же языкѣ; и съ виду дамо не похотѣлъ на христіанскаго попа; ксендзь и дуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ еракими рѣчи. Ни въ чемъ не уступать даже и челядь: позакладывали назадъ рукава оборваннаго жунановъ свитка и годять козыремъ, какъ будто-бы что турское. Играють въ карты, бьютъ картами одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ: крикъ, драка! Пани бѣснуются и спускають шутки: хватають за бороду жидъ, машутъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковскъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Небывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно уаь еѣ Богъ опредѣлялъ за грѣхи терпѣть такое посрачленіе!»*

Грубость и дубочность такихъ красокъ смѣшавъ бросается въ глаза, чтобы требовать какихъ-бы то ни было комментаріевъ.

Къ числу такихъ-же фантастически-легендарныхъ рассказовъ въ малороссійской старины относится и повѣсть Гоголя «Вій»; но здѣсь вы встрѣчаете несравненно болѣе чертъ реальныхъ и исторически-вѣрныхъ, чѣмъ въ «Страшной мѣсти». Въмѣсто того высокопарно-эпическаго тона, какимы написанъ вышеозначенный рассказъ, здѣсь вы видите простую рѣчь, исполненную съ самою первой страницей того гениальнаго юмора, которымъ Гоголь обратилъ на себя вниманіе всей Россіи съ первыхъ-же своихъ произведеній. Авторъ переноситъ васъ всецѣло въ малороссійскую казацкую старину съ ея простотою и широкими разгульными нравами. Рядомъ съ жизнію вѣвскихъ бурсаковъ съ ихъ классическими зубреніемъ, кулачными боями, мистеріями и кантами, расцѣваемыми или подъ окнами хуторовъ, рисуется передъ вами усадебная жизнь богатаго пана сотника съ ея широкимъ разгуломъ. Отъ одной сцены совершенно въ теперешней вѣсѣ, вы переноситесь къ другой не менѣе характерной и комической; передъ вами развертывается то картина пирушки дорожныхъ казаковъ въ грязной жидовской корчмѣ, то ужинъ многочисленной дворни богатаго пана. Этотъ рядъ бытовыхъ картинъ со-



заставляетъ главное достоинство разсказа и его историческое значеніе. Понятно, что историческая беллетристика заключается не въ одномъ только выставленіи кружныхъ историческихъ личностей и событій; изобразить вѣрно и рельефно картину нравовъ той или другой эпохи до мельчайшихъ ихъ подробностей и во всей ихъ обидности, въ свою очередь, можетъ составить задачу исторической повѣсти, которая въ такомъ случаѣ имѣетъ полное право обойтись совершенно безъ всякаго упоминанія о какихъ-либо историческихъ фактахъ изображаемой эпохи. Фантастическій-же элементъ не только не нарушаетъ гармоніи, напротивъ того, еще болѣе усиливаетъ историческій колоритъ повѣсти, совершенно перенося вась въ ХУП вѣкъ со всѣми его суевѣрїями. Мнѣ кажется даже, что безъ вѣдьмъ и Вія картинъ украинскаго быта ХУП вѣка не была-бы такъ полна и характерна.

Но уже въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ, когда Гоголь писалъ еще свои „Вечера на Хуторѣ“, онъ рядомъ съ этимъ дѣлалъ свои первыя попытки написать историческій романъ изъ малороссійской старины въ полномъ смыслѣ этого слова. Такими были оставшіеся послѣ него черновые наброски нѣсколькихъ главъ романа „Остранца“ и „Плѣнникъ“. Но всѣ эти попытки были лишь предварительными пробами пера, тѣми ручейками, которые сливаясь образуютъ мощную рѣку. Рѣкою этою и была знаменитая историческая эпопея Гоголя „Тарасъ Бульба“, появившаяся въ печати въ 1834 г. Пересказывать содержаніе этой эпопеи и вообще входить въ подробную характеристику произведенія, которое каждому образованному человеку на Русѣ извѣстно во всѣхъ подробностяхъ, подобно тому, какъ каждому древнему греку была извѣстна Илиада, я считаю совершенно излишнимъ.

Мы обратимъ лучше всего вниманіе вотъ на какое обстоятельство: на то впечатлѣніе, какое производитъ романъ Гоголя, когда вы его начнете читать непосредственно сейчасъ-же послѣ историческихъ повѣстей Пушкина. Передъ вами сейчасъ-же во всей ясности предстанетъ все то громадное различіе, которое существуетъ между южнымъ типомъ поэзіи малороссійской и сѣвернымъ — великороссійской. Это различіе особенно ярко выступаетъ въ произведеніяхъ такихъ великихъ представителей обоихъ типовъ, каковы были Пушкинъ и Гоголь; оно простирается не только на содержаніе этихъ произведеній, характеръ образовъ, но и на форму, слогъ и языкъ.

У Пушкина вась поражаетъ прежде всего языкъ, доведенный до послѣдней степени простоты, ясный, прозрачный, съ лаконической сжатостью передающій лишь то, что нужно, остерегаящийся сказать хоть одно лишнее слово и съ пуританскою строгостью чуждающійся какого-бы то ни было поднятїа тона. Все это какъ нельзя болѣе соответствуетъ тому свойству сѣвернаго русскаго человѣка, что онъ словно стыдится выражать свои чувства громко и цвѣтисто и любить, напротивъ того, блистать сдержанностью и неизмѣнно-равнымъ, холоднымъ, объективнымъ безпристрастіемъ.

Совершенно не таковъ языкъ Гоголя. Творецъ „Тараса Бульбы“, напротивъ того, блистаетъ крайне-цвѣтистымъ языкомъ, оснащеннымъ на каждомъ шагѣ

самыми рискованными эпитетами и метафорами, что еще болѣе удлиняетъ и безъ того длинныя періоды, при чемъ слова въ этихъ періодахъ всегда расположены биваютъ такъ, что слогъ принимаетъ совершенно плѣвучій, словно разжѣренный тонъ. Замѣчательно въ этомъ отношеніи, что читая нѣкоторые стихи Пушкина (особенно, напримѣръ, въ Евгеніи Онѣгинѣ), вы встрѣчаете такую простую разговорную рѣчь, что забываете совсѣмъ, что это стихи, и только одни рѣзны напоминаютъ вамъ объ этомъ. Читая-же иную прозу Гоголя, особенно его описанія природы, напротивъ того, вы забываете, что это проза, а не стихи. Музыка рѣчи до такой степени порою увлекаетъ Гоголя, что изъ-за нея онъ забываетъ дѣйствительность и далеко переходитъ за предѣлы реальности. Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе, какъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“ Андрей объясняется въ любви панночкѣ:

— Царица, — воскликнулъ Андрей, полный сердечныхъ, и душевныхъ, и великихъ забытковъ: — что тебѣ нужно, чего ты хочешь? прикажи мнѣ! задай мнѣ службу самую невозможную, бакай только есть на свѣтѣ — я побѣгу исполнить ея! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человекъ, — я исполню, погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но нѣтъ, нельзя сказать того!... У меня три хутора, половина табунновъ отцовскихъ — моя, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она — все мое! Нѣтъ ни у кого теперь изъ казаковъ нашихъ такого оружія, какъ у меня; за одну рукоятъ моей сабли дають мнѣ лучшій табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою, черною бровью! Но знаю, что, можетъ быть, несю глушій рѣчи, и не катать, и нейдетъ все это сюда; что не мнѣ, проведенному жизнь въ бурѣ и на Запорожїи, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ биваютъ короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ возможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное твореніе Бога, нежели всѣ мы, и далеко впередъ тобою другія боярскія жены и дочери-дѣвы».

Рѣчь панночки, въ свою очередь занимающая около страницы, отличается не меньшимъ витѣватостью и напыщенностью. Уже не говоря о томъ, что и нигдѣ никто не говоритъ подобными кудреватыми, длинными и плѣвучими періодами, подумайте только, что такъ изъясняются между собою люди ХУ вѣка, — и вы поймете, насколько это естественно. Между тѣмъ таковъ Гоголь ведетъ въ своемъ романѣ, гдѣ онъ заставляетъ говорить дѣйствующихъ лицъ; повсюду онъ самъ говоритъ за нихъ, увлекаясь музыкою своихъ собственныхъ рѣчей.

Тоже самое слѣдуетъ сказать о содержаніи историческихъ произведеній Пушкина и Гоголя.

Въ то время, какъ Пушкинъ все необычайное и выдающееся старается свести къ будничному, показать намъ, что необычайнымъ оно кажется только издали, а на самомъ дѣлѣ тонетъ въ уровнѣ повседневной жизни; Гоголь, наоборотъ, всѣ образы въ своемъ романѣ освѣщаетъ бенгальскимъ огнемъ, и они рпеуются передъ нами въ дивномъ, волшебномъ сіяніи. Пестрота красокъ и яркость колорита слѣбитъ ваши глаза на каждой страницѣ, и въ то-же время вы не обернетесь здѣсь самыхъ рѣзкихъ преувеличеній. Обратите для примѣра вниманіе хотя-бы на изоб-

раженіе Запорожской Сѣчи. Общія черты безспорно исторически-вѣрны, но въ частностяхъ на каждомъ шагѣ вы встрѣтите вопіющія преувеличенія.

«Вся Сѣчь, говоритъ Гоголь, представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то непрерывное пищество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами или держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ кармавахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пищество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бравадниковъ, напившихся съ горя; но было просто бѣшенное разгулье веселости. Великій приходившій сюда позабывалъ и бросалъ все, что до-голь его занимало. Онъ, можно сказать, плавалъ на свое прошедшее и беззаботно предавался полѣ и товариществу такихъ-же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшенную веселость, которая не могла-бы родиться не изъ какого другого источника... Разсказы и болтовни, среди собравшейся толпы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живого разсказа, что нужно было пить всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранить неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,—рѣзкая черта, которою отличается до нынѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россиянинъ. Веселость была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черныи кабакъ, гдѣ мрачно искажающимъ весельемъ забывается человекъ; это былъ тѣсный кругъ шельныхъ товарищей» и т. д.

Все это очень картинно, очень эффектно, но во всемъ этомъ, безъ сомнѣнія, одна десятая доля трезвой правды. Такое зрѣлище, бесспорно, представляла Сѣчь во время какихъ-нибудь праздниковъ, которые могли длиться недѣлями, но все-таки должны были кончаться просто потому, что нервы человѣческіе устаютъ праздновать подобно тому, какъ устаютъ они и отъ долгаго непрерывнаго труда. Ну, а разъ праздникъ угасъ, что-же наступало тогда въ Сѣчи? — Уже потому представленіе непрерывнаго пищества, бала, начавшагося шумно и потерявшаго конецъ свой, неестественно, что если-бы это было такъ, казаки не могли-бы быть такими богатырями, какими они рисуются въ романѣ, и были-бы все подъ рядъ одержимыми бѣлою горячкою, пронобцами съ трисушившимися руками и ногами, и знаменитая Сѣчь скоро прекратила-бы свое существованіе. Интересно было-бы знать, въ какомъ видѣ представилась-бы намъ эта самая Сѣчь, если-бы вздумалъ изобразить ее Пушкинъ. Нечего и сомнѣваться въ томъ, что никакого непрерывнаго бала мы не увидѣли-бы передъ собою, а напротивъ того, Сѣчь показала-бы намъ гораздо прозаичнѣе, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ. Раскинулось-бы передъ нашими глазами заурядно-станичное, казачье поселеніе, съ бѣлыми мазанками съ соломенными крышами, все тонущее въ непролазной грязи и навозѣ. «Ну ужель это тѣ самые прогрѣтѣвшіе въ исторіи запорожцы?», воскликнули-бы мы въ удивленіи, увиди передъ собою ширныхъ пахарей, рыбаковъ, кузнецовъ, столаровъ, сапожниковъ и т. п., усердно работающихъ, чтобы въ праздники снести заработанный пятакъ шинкарю-жиду, въ ежевыхъ рукавахъ котораго все эти храбрые рыцари, конечно, неизменно пребывали вилоть отъ одного еврейскаго по-

громадо другого. А затѣмъ намъ представилась-бы рядъ сѣренскихъ, будничныхъ сценъ въ родѣ переругиванья двухъ казаковъ изъ-за мѣшка овса, а въ праздники вмѣсто «околдовывающаго пищества» мы только и увидѣли-бы, что «пьяный тонотъ трепака передъ порогомъ кабака...»

А Однимъ словомъ, сравненіе историческихъ повѣстей Пушкина и Гоголя, написанныхъ почти въ одно время, приводитъ насъ къ слѣдующему соображенію. Обыкновенно Гоголя считаютъ у насъ родоначальникомъ натурализма въ Россіи. Но это большое заблужденіе. Инициатива истиннаго натурализма, этого сѣвернаго типа поэзіи, безусловно, принадлежитъ Пушкину (конечно, въ послѣднемъ періодѣ его литературной дѣятельности, въ 30-хъ годахъ и особенно въ его прозаическихъ произведеніяхъ). Гоголь-же, выступившій вполне на поприще натурализма только въ половинѣ 30-хъ годовъ, съ изданіемъ «Миргорода», — является уже не инициаторомъ, а послѣдователемъ Пушкина, его ученикомъ, воспитавшимся при томъ не надъ однимъ твореніемъ своего великаго учителя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его личными, устными наставленіями. Пушкинъ, какъ извѣстно, внушилъ Гоголю все лучшее сюжеты его послѣдующихъ произведеній — и «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ»; онъ-же, конечно, и направилъ его на путь изображенія обыденной дѣятельности. Однимъ словомъ, въ лицѣ Пушкина сѣверный гений поворитъ своему неотразимо-энергическому мужескому вліянію блестяще-яркій, но женственно-мягкій, южный гений, олицетвореніемъ котораго представляется Гоголь.

Въ своемъ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголь, такъ сказать, заплатилъ послѣднюю дань и своей роднѣ, воспѣвши ея историческую славу, и южно-русскому типу поэзіи со всеми его особенностями.

Впрочемъ, надо отдать справедливость Гоголю: при всѣхъ преувеличеніяхъ, какія вы встрѣчаете въ его романѣ-поэзіи, вы не находите уже въ ней тѣхъ грубо-глубочныхъ и стереотипныхъ чертъ, какія поражаютъ насъ въ его «Страшной мести». Все-таки здѣсь видно гораздо болѣе близкое изученіе быта и нравовъ вѣка, и историческое безпристрастіе. Такъ, мы видимъ, что съ одной стороны, поляки далеко уже не рисуются передъ нами все подъ рядъ какими-то карриатурными хвастунами и извергами. А съ другой стороны и казаки представляются не въ одномъ только картинно-героическомъ видѣ великодушныхъ богатырей. Авторъ не скрываетъ и дикихъ чертъ вѣка въ ихъ грубыхъ нравахъ. Такъ, описывая хищные набѣги казаковъ, онъ говоритъ: «часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ небы всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ — и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ-же на мѣстѣ. Казалось, больше пиروвали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дымомъ стоялъ-бы нынѣ вомосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣстия полудикаго вѣка, которые приносили вездѣ запорожцы. Избитые владенцы, обрѣзанныи груди у женщинъ, содранныи кожа съ ногъ по колѣна у вилученныхъ на свободу, — словомъ, крупною конетою ошличивали казаки прежніе долги...»

Въ заключеніе укажемъ еще на одну характери-

стичскую черту историческихъ повѣстей Гоголя и въ томъ числѣ „Тараса Бульбы“. Именно, въ нихъ особенно ярко высказался оригинальный взглядъ Гоголя на женщинъ и половую любовь, взглядъ, если хотите, вполне архаическій, донетровскій, принадлежащій къ тѣмъ вѣкамъ, когда въ женщинъ видѣли сосудъ діавола, а въ плотской любви гибельное сатанинское прельщеніе.

Правда, въ „Тарасѣ Бульбѣ“ вы встрѣтите патетическое мѣсто, въ которомъ Гоголь оплакиваетъ трагическую участь женщины въ Запорожьѣ, при видѣ жены Тараса, расстающейся съ сыновьями. „Въ садѣ дѣлѣ, говоритъ онъ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалого вѣка. Она лигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ее покаралъ ее для сабли, для товарищей, для брачества. Она видѣла мужа въ годъ два-три дня, а потомъ вѣсколько лѣтъ о немъ не было слуха. Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вѣсть, что за жизнь ее была? Она терпѣла оскорбленія, даже лобок; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безжизненныхъ рипарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой“ и т. д.

Но такое трогательное участіе оказываетъ Гоголь только по отношенію лишь къ престарѣлой казачкѣ, при взглядѣ на всю ее уже прожитую жизнь. Совершенно въ иномъ видѣ является у него дѣвушка, кто бы она ни была, — полька или малороска. Повсюду она является началомъ обольстительнымъ, гибельнымъ, отвлекающимъ казака отъ его и общественныхъ, и нравственныхъ обязанностей, и влекущимъ его въ пропасть. Поэтому самая любовь является чѣмъ-то крайне преступнымъ и предосудительнымъ. И такова не только любовь Андрия къ польской паннѣ, заставляющая Тараса воскликнуть: „велика власть слабой женщины, многихъ сильныхъ погубила она!“ но и любовь Остроаницы къ своей соотечественницѣ, къ Галѣ, въ свою очередь, заставляетъ его бросить своихъ сововадшей на полѣ битвы и быть готовымъ даже предаться полякамъ, лишь-бы соединиться съ нею. „Увидѣлъ хорошую дичину — и все позабылъ, все къ чорту, разсуждаетъ самъ съ собою Остроаница: охъ, очи, черныя очи!.. Захотѣлъ Воръ погубить людей за беззаконья и послалъ васъ!“ Въ „Страшной мести“, въ свою очередь, славнаго казака, пана Данилу, губить жена его, Катерина. Наконецъ, въ Вѣѣ дѣвушка со своею губительною страстью прямо уже олицетворена въ видѣ вѣдьмы, вступающей въ союзъ со всѣмъ чертями, чтобы погубить несчастнаго философа.

Въ этомъ архаическомъ взглядѣ Гоголя на женщину сказались его исключительная натура, съ одной стороны — казацкая, съ другой — религиозно-аскетическая. Ничего подобнаго во всей исторической беллетристикѣ мы не найдемъ. Гоголь является въ этомъ отношеніи не только объективнымъ бытописателемъ быта и нравовъ своихъ предковъ, но какъ-бы самъ уходитъ въ историческія рамки и, усвоивши міросозерцаніе и нравственныя воззрѣнія людей XV вѣка,

слагаетъ скіжеты своихъ повѣствованій такъ, какъ-бы стали слагать ихъ эти стародавніе люди.

### III.

Умственное состояніе массъ въ началѣ 30-хъ годовъ; ихъ міросозерцаніе и литературные вкусы. Биографическія свѣдѣнія о Загосинѣ, характеристика его «Юрія Милославскаго» и причины необыкновеннаго успѣха этого романа.

Чтобы отъ Пушкина и Гоголя перейти къ современнымъ имъ беллетристамъ по части историческаго романа, намъ приходится дѣлать отчаянный скачекъ черезъ весьма глубокую пропасть. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ такимъ явленіемъ нашей жизни, которое неизбѣжно присутствуетъ въ нашей исторіи, начиная съ Петра I, если не раньше. Явленіе это заключается въ томъ, что въ каждый вѣкъ мы замѣчаемъ два резко отличающіеся другъ отъ друга слоя умственнаго движенія: слой небольшой горсти наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы и науки, и слой интеллигентной массы. — Каждый слой обыкновенно по своему смотритъ на вещи и имѣетъ свои собственные симпатіи и антипатіи. Передовые верхи, особенно въ моменты сильныхъ подъемовъ духа, обгоняютъ массу иной разъ лѣтъ на пятьдесятъ, если не болѣе. Масса увлекается ими, поклоняется имъ, старается слѣдовать за ними, но по уровню своего образованія и міросозрѣнія не можетъ поспѣть за ихъ быстрымъ ходомъ, начинаетъ отставать, начинаетъ все ленѣе и менѣе понимать ихъ и, наконецъ, совсѣмъ теряетъ ихъ изъ виду, и тогда заводитъ своихъ собственныхъ представителей и выразителей въ литературѣ, стоящихъ на одномъ съ нею уровнѣ, достигшихъ вѣкъ ее незатѣйливымъ и неизменнымъ вкусомъ и потребностями.

Такъ было и въ 30-ые годы. Въ то время, какъ Пушкинъ и Гоголь полагали основаніе русскаго натурализма и смѣло поворачивали нашу литературу на этотъ путь, толпа продолжала еще упиваться и сентиментализмомъ Карамзина, и романтизмомъ Жуковскаго. Въ изображеніи обыденной дѣйствительности она не видѣла ничего интереснаго; подъ поэтическимъ она подразумевала не иное что-либо, какъ выходящее изъ будничной нормы жизни, эффектное, чувствительное, бьющее по вѣсьмъ нервамъ. Поэтъ или беллетристъ непременно должны были то привести своихъ читателей въ такой ужасъ, чтобы волосы у нихъ встали дыбомъ и мурашки поползли по спинѣ, то заставить ихъ рыдать и впадать въ истерики, и непременно при этомъ приводить ихъ къ забвенію всего окружающаго, увлекать въ какой нибудь волшебный міръ. Понятно, что эта толпа изъ произведеній Пушкина выше всего цѣнила первыя его поэмы въ байроновскомъ духѣ, холодно относилась къ его „Евгенію Онегину“, цѣня въ немъ только звучные стихи, и совсѣмъ не понимала его позднѣйшихъ произведеній, особенно беллетристическихъ. Гораздо выше ихъ ставила она романы и повѣсти Марлинскаго, которыми зачитывалась именно потому, что авторъ

ихъ умѣлъ угодить ей эффектностью своего риторического слога и содержания. На романъ смотрѣла она исключительно какъ на сказку, которая должна всецѣло поглощать читателей сложностью интриги и рядомъ необыкновенныхъ и трогательныхъ приключеній героевъ. Однимъ словомъ, толпа жаждала романа какъ есть средневѣковаго рыцарскаго, и не ставила въ грѣхъ вѣрность дѣйствительности, все равно какой-бы то ни было, современной или исторической. Повинуясь этому требованію толпы, обусловливаемому уровнемъ образованности, романъ и долженъ былъ, прежде чѣмъ пойти по тому новому пути, который пролагали великіе представители литературы, пережить всѣ прешествовавшія фазы своего развитія, начиная со сказочно-рыцарской.

Также точно отставала толпа и въ своемъ общемъ міросозерцаніи отъ наиболѣе передовыхъ дѣятелей литературы. Она, въ свою очередь, была возбуждена и выведена изъ своей летаргіи тѣмъ могучимъ толчкомъ, какимъ ознаменовался 1812-й годъ; въ свою очередь, преисполнилась патриотизма, начала мечтать о самосознаніи, стремиться къ народности. Но все это выразилось у нея совершенно иначе. Въ передовыхъ кружкахъ движеніе это имѣло научно-философскій характеръ. Предполагали, что самосознаніе должно являться не сразу, а какъ результатъ самостоятельной цивилизаціи, какъ послѣднее слово и вѣнецъ исторической жизни народа, при чемъ одни думали, что русскій народъ, прежде чѣмъ сказать свое историческое слово, долженъ воспринять въ свои вѣдра всю западную цивилизацію и затѣмъ повести ее далѣе, другіе мечтали объ очищеніи современной жизни отъ всѣхъ чужеземныхъ наростовъ и о возвращеніи къ основнымъ началамъ нашей народности, лежащимъ въ общинныхъ и вѣчевыхъ порядкахъ древней Руси. Но и тѣ, и другіе сходились въ одномъ: именно, что самосознаніе и самобытность вовсе не есть нѣчто дающееся сразу; это искомый иксъ, опредѣленіе котораго должно составить работу многихъ поколѣній въ теченіе вѣковъ.

Совершенно иначе смотрѣла на это интеллигентная масса. Известно, что люди полуобразованные отличаются очень быстрымъ и легкимъ рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, надъ которыми философскіе и ученые умы мучаются годами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, то самое, что передовыми людьми было предположено, какъ путь для грядущихъ поколѣній, интеллигентная масса порѣшила сразу, какъ нѣчто несомнѣнное, съ испоконъ-вѣковъ лежащее въ жизни всѣхъ и каждого и чѣмъ каждому можно пользоваться, сколько душа пожелаетъ. — Оказалось, что для самосознанія вполне достаточно прочесть 12 томовъ исторіи Карамзина и узнать изъ нихъ, что вся наша исторія заключалась въ одномъ твердомъ, неизмѣнномъ и неуклонномъ развитіи государственности; для опредѣленія самобытности достаточно взглянуть съ Воробьевыхъ горъ на матушку Москву съ ея сорока-сороками церквей и пролить слезы умиленія, слушая музыку колокольнаго звона въ пасхальную ночь; а объ народности и говорить нечего: ею ничего не стоило ушиться и восторгаться на каждомъ шагу, и при видѣ вилуна, поддевки и лаптей, и при звукахъ балабайки

или какой нибудь разухабистой амщичкой пѣсни, или вквашая поросенка подъ хрѣномъ и запивая его квасомъ и т. п. Такимъ образомъ и произошла тотъ всѣмъ известный и страшный фактъ, что въ 30-хъ годахъ образовалось вдругъ два совершенно различныхъ стремленія къ народности: рядомъ съ высшимъ, философски-утонченнымъ изученіемъ народныхъ основъ жизни нѣкоторыми передовыми людьми или такими гениальными писателями, какъ Пушкинъ и Гоголь, — то грубое упоеніе лубочною народностью, принявшее впоследствии officialный характеръ, которое тогда-же было окрещено П. А. Полевымъ *кваснымъ патриотизмомъ*.

И вотъ мы видимъ, что историческій романъ, не въ силахъ будучи удержаться на той высотѣ, на которую пытались поставить его Пушкинъ и Гоголь, сразу опустился въ ту низменную струю, которая соответствовала уровню образованности интеллигентныхъ массъ, началъ согласоваться съ ея требованіями, вкусами, міросозерцаніемъ; опредѣленіе же сказать — принялъ сказочный характеръ средневѣковыхъ рыцарскихъ романовъ и пріиhsъ лубочною народностью квасного патриотизма.

Творцомъ историческаго романа считается Михаилъ Николаевичъ Загоскинъ; романы его пользовались наибольшею популярностью и славой; ими зачитывались до самоубвенія и старые, и малые; и до настоящаго времени вы не найдете грамотнаго человѣка на Руси, который не прочелъ хотя бы „Юрія Милославскаго“. И вотъ этою самою популярностью Загоскинъ былъ обязанъ, по моему мнѣнію, не столько какому-нибудь необыкновенному таланту, знаніямъ, сколько именно тому, что былъ непосредственный, наивный человѣкъ толпы, и потому инстинктивно чувствовалъ, чего этой толпѣ было нужно.

Начать съ того, что М. Н. Загоскинъ не получилъ ровню никакого образованія. Родившись 14 июля 1789 г., Пензенской губерніи и уѣзда, въ селѣ Рамзаяхъ, онъ до 14 лѣтъ жилъ безвыѣздно въ деревнѣ въ усадьбѣ отца. — Правда, биографъ его говоритъ, что онъ очень много читалъ въ своемъ дѣтствѣ и одиннадцати лѣтъ написалъ уже повѣсть „Пустынный“; но что могъ онъ читать въ пензенской глуши въ послѣднихъ годахъ прошлаго и въ первыхъ нынѣшняго столѣтія? Это были, конечно, какія-нибудь и въ то время уже обветшалыя поэмы и трагедіи въ ложно-классическомъ духѣ, переводные романы Радклифъ, и лучшимъ чтеніемъ были сентиментальныя повѣсти Карамзина. Онѣ, по всей вѣроятности, произвели самое сильное впечатлѣніе на мальчика; не даромъ вплиніе ихъ отражается на первомъ романѣ Загоскина, какъ мы выше объ этомъ говорили. И вотъ въ 1802 году, когда мальчику не было еще и полныхъ 14 лѣтъ, отецъ отправилъ его въ Петербургъ, и тамъ юноша опредѣлился прямо на службу въ канцелярію государственнаго казначея, и въ теченіе 10 лѣтъ продолжалъ онъ свою службу въ низшихъ канцелярскихъ чинахъ по различнымъ вѣдомствамъ, терпя въ Петербургѣ порою горькую нужду. Затѣмъ въ 1812 году, уже 24-лѣтній юноша, вступилъ офицеромъ въ ряды петербургскаго ополченія, въ корпусъ графа Витгенштейна. Въ сраженіи подъ Полоцкомъ онъ

былъ раненъ въ ногу и получилъ за храбрость орденъ Анны 3-ей степени на шауру. По излеченіи раны, онъ возвратился къ своему полку и, по желанію графа Леша, былъ назначенъ къ нему адъютантомъ; въ этой должности находился онъ до сдачи Данцига, то есть до окончанія войны. Съ прекрасной паружностью, говоритъ биографъ его С. Аксаковъ, внушавшей расположение и доверчивость, веселый, живой, откровенный, добрый и постоянно веселый, Загоскинъ былъ любимъ товарищами и всѣми его окружавшими. Истинный русакъ, исполненный добродушнаго юмора, онъ имѣлъ множество самыхъ смѣшныхъ столкновеній съ нѣмцами въ продолженіи долгой осады Данцига. Онъ любилъ объ этомъ рассказывать даже въ немолодыхъ своихъ годахъ, и рассказывалъ такъ оригинально, живо и забавно, что увлекалъ всѣхъ своихъ слушателей, и громкимъ смѣхомъ выражалась общаѣ, искренняя веселость. Нѣкоторыя происшествія, описанныя Загоскинымъ въ четвертомъ томѣ Росславлева, дѣйствительно, случились съ нимъ самимъ, или съ другими его сослуживцами, при осадѣ Данцига.

По окончаніи войны и распушеніи ополченія, Загоскинъ снова опредѣлился на службу по гражданскому вѣдомству, и гдѣ только ни служилъ онъ: и въ департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, и въ дирекціи Императорскихъ театровъ, и въ Императ. публичн. библиотекѣ, и опять потомъ въ дирекціи театровъ и т. д. Съ 1815 года онъ началъ писать комедіи и въ томъ же году дебютировалъ на петербургской сценѣ комедіею „Проказникъ“, о которой кн. Шаховской отзывался, что „онъ былъ пріятно изумленъ, когда между десятками бездарныхъ произведеній, попавшихъ ему въ руки эта небольшая комедія, въ которой онъ замѣтилъ много живости и неподдѣльной веселости“. Сойдясь послѣ того съ кн. Шаховскимъ, Загоскинъ написалъ массу комедій въ его духѣ и родѣ. Всѣ онѣ давались на сценѣ и имѣли болѣе или меньшій успѣхъ. Особенно понравилась публикѣ комедія въ стихахъ „Урокъ холостымъ или наследники“, которая въ 1822 г., 4 мая, была сыграна на московской театрѣ и тогда же напечатана.

Сближившись съ Шаховскимъ, Загоскинъ естественно подчинился его вліянію, найдя въ немъ человека, стоявшаго гораздо выше его по образованію. — Кн. Шаховской же былъ, былъ, какъ извѣстно, шишковецъ (тогда еще не было славянофиловъ въ познѣтлѣе смыслѣ этого слова), онъ осмѣивалъ въ своихъ комедіяхъ и Карамзина, и Жуковского и вообще возставалъ на подражательность всему иностранному. Прямому этому слѣдовалъ и Загоскинъ, и въ свою очередь, дѣлалъ тоже самое въ своихъ пьесахъ. Такимъ образомъ уже съ самаго начала своего литературнаго поприща, съ 1815 года, въ немъ поселился зародокъ того явнаго патриотизма, который потомъ вполне развился въ его историческихъ романахъ.

Наиболѣе дѣятельная работа для театра продолжалась у Загоскина до 1823 г., а затѣмъ до 1828 года онъ ничего не печаталъ. „Литературная дѣятельность его, говоритъ биографъ, какъ будто приостановилась; на это были слѣдующія причины: во-первыхъ, онъ усердно занялся своей хлопотливой

должностью (въ конторѣ дирекціи Московскаго театра въ качествѣ члена по хозяйственной части); во вторыхъ, ему очень не нравилась служебная перспектива въ чинѣ вѣчнаго титулярнаго совѣтника, потому что, не воспитавшись ни въ одномъ казенномъ заведеніи, онъ не могъ быть произведенъ въ слѣдующій чинъ, и Загоскинъ рѣшился выдержать экзаменъ для полученія чина коллежскаго ассессора.

Къ экзамену надо было притереться, и Загоскинъ посвящалъ на это все свободное отъ службы время; въ продолженіи полтора года онъ трудился съ такою добросовѣстностью, что даже вытерпѣлъ назваться „Римское право“. Наконецъ, онъ выдержалъ испытаніе блистательно, и самъ требовалъ отъ профессоровъ, чтобы его экзаменовали какъ можно строже. Въ письмѣ къ С. Аксакову Загоскинъ очень забавно описываетъ свои экзамены и, между прочимъ сердится на одного изъ профессоровъ, который предложилъ ему вопросъ: кто такой былъ Ломоносовъ? — „Ну, можно-ли объ этомъ спрашивать (пишетъ Загоскинъ) не мальчика, а литератора, уже давно получившаго нѣкоторую извѣстность? Я хотѣлъ было отвѣчать ему, что Ломоносовъ былъ сапожникъ“. Сваливъ съ плечъ экзаменъ, Загоскинъ, давно ничего не писавши, принялся за большую комедію въ стихахъ, которую ему и прежде хотѣлось написать; онъ писалъ долго, — и наконецъ, въ 1828 году, „Влагодородный театръ“, комедія въ 4-хъ актахъ, была сыграна на московской сценѣ. Эта пьеса имѣла самый полный успѣхъ: зрители задыхались отъ смѣха, хохотъ мѣшалъ хлонать, и громъ рукоплесканій вырывался только по временамъ, особенно по окончаніи каждаго акта; только въ послѣдующія представленія неутолкаемые рукоплесканія раздавались вѣстѣ со смѣхомъ.

Надо прибавить ко всему этому, что биографъ не даромъ говоритъ, что Загоскинъ писалъ свою комедію долго. Вы не забудьте, что она была въ стихахъ; стихи-же давались Загоскину очень трудно.

«До 1821 года — говоритъ биографъ: — Загоскинъ не писалъ стиховъ; онъ не чувствовалъ наденія и мѣры стиха, и самъ признавался, что это не его дѣло. Одинъ разъ въ кругу короткихъ пріятелей разсердили его тѣмъ, что не хотѣли даже выслушать какихъ-то его замѣчаній на какіе-то стихи, основываясь на томъ, что онъ въ стихотворствѣ ничего не понимаетъ. Загоскинъ вспыхнулъ и сказалъ, что онъ докажетъ вамъ, какъ понимаетъ это дѣло, и черезъ два мѣсяца прочелъ прекрасное, довольно длинное посланіе къ П. И. Гнѣдичу, написанное шестилетними ямбами съ римами. Оно стоило Загоскину немовѣрныхъ трудовъ: не имѣя уха, каждый стихъ онъ раздѣлялъ черточками на слоги и стопы, и надъ каждымъ слогомъ ставилъ удареніе; въ иной день ему не удавалось выковать болѣе четырехъ стиховъ, и изъ такой египетской, тяжелой работы стихи вышли легки, свѣжи, звучны и естественны! Всѣ были изумлены. Тутъ проявилась полная настоящая русская, разухбетел, талантливая натура Загоскина: сказалъ — сдѣлаю — и сдѣлалъ, да еще едва-ли не лучше учителей».

Все это прекрасно, но какъ-бы ни была талантлива русская натура Загоскина, но написать комедію не то, что посланіе, и если посланіе стоило Загоскину два мѣсяца египетской работы, то понятно, что на комедію ему приходилось тратить годы.

И такъ что-же видимъ мы изъ всѣхъ этихъ біографическихъ данныхъ: мы видимъ самоучку, обладавшаго кое-какимъ талантомъ, преимущественно комическаго свойства, талантомъ вполнѣ достаточнымъ, чтобы съ успѣхомъ идти по стопамъ своего учителя кн. Шаховскаго; но далеко не настолько сильнымъ, чтобы создать что либо новое и свое. Занятый большую часть дня службою довольно хлопотливою, онъ могъ посвящать литературѣ только по нѣскольку часовъ досуга, при чемъ вплоть до 1828 года эти досужные часы употреблялись имъ исключительно на созданіе комедій, и при томъ при такомъ египетскомъ трудѣ, какъ писаніе стихами, не имѣя врожденнаго дарованія къ этому. Понятно, что тутъ нѣтъ никакой возможности предположить, чтобы Загоскинъ сверхъ всего этого занимался еще русскою исторіею и подготавливалъ матеріалы для своихъ будущихъ романовъ, настолько серьезно изучая различные эпохи, чтобы быть въ состояніи художественно воспроизводить ихъ. Ничего этого и не было, иначе біографъ не упустилъ бы выставить этотъ фактъ, какъ весьма важный для писателя историческихъ романовъ. Напротивъ того, судя по словамъ С. Аксакова, мысль написать историческій романъ явилась у Загоскина внезапно, не болѣе какъ за годъ до появленія въ свѣтъ „Юрія Милославскаго“.

«Еще до окончанія комедіи «Благородный театр»,—говоритъ Аксаковъ, овладѣла Загоскинымъ мысль написать русскій историческій романъ. Ему до смерти надобно, какъ онъ самъ мнѣ часто говорилъ, «таскать гандала условныхъ, противоречивыхъ законовъ, которые носятъ сочинитель, пишущій комедіи, да еще шестистопными стихами съ проклятыми римами». Вспомнивъ трудности, съ какою Загоскинъ писалъ стихи, и охоту шеголять мудреными римами,—легко понять, что онъ говорилъ очень искренно; впрочемъ Загоскинъ, иначе и говорить не умѣлъ. Романъ казался ему «открытымъ полемъ, гдѣ можно свободно разгуляться воображенію писателя». Немедленно послѣ первыхъ предположеній «Благороднаго театра», вполнѣ удовлетворившихъ самолюбію Загоскина, принялся онъ готовиться къ сочиненію историческаго романа. Онъ былъ весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совершенно; его всецѣлная разсѣянность, къ которой давно привыкли и которую уже не замѣчали, до того усилилась, что всѣ ее замѣтили, и всѣ спрашивали другъ друга, что сдѣлалось съ Загоскинымъ? Онъ не видитъ, съ кѣмъ говорить, и не знаетъ, что говорить. Встрѣчаясь на улицѣ съ короткими прителеми, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на поклоны и не слышалъ привѣтствій: онъ читалъ въ это время историческіе документы и жилъ въ 1612 году. Наконецъ, обдумавъ содержаніе, выбравъ эпоху, прочтя добросовѣстно все къ ней относящееся, съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ принялся онъ писать, и въ 1829 году напечаталъ свой первый романъ «Юрій Милославскій, или Русскіе въ 1612 году, въ 3-хъ томахъ».

Мало-мальски знающій читатель можетъ судить, насколько возможно человѣку, не занимавшемуся до той поры совсѣмъ исторіею и имѣвшему въ день очень немного часовъ, свободныхъ отъ службы, въ нѣсколько мѣсяцевъ вполнѣ добросовѣстно изучить такую бурную и смутную эпоху, какъ междоцарствіе. Тѣмъ не менѣе романъ имѣлъ успѣхъ, небывалый еще на Руси, не испытанный и самимъ Пушкинымъ. «Появленіе этого романа, говоритъ Аксаковъ, составляетъ

эпоху въ жизни Загоскина, въ литературномъ и общественномъ отношеніи. Восхищеніе было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполнѣ раздѣляли. Публика обвѣхъ столицъ, и вслѣдъ за нею, или почти вмѣстѣ съ нею, публика провинціальная, пришли въ совершенный восторгъ. Всѣ обрадовались „Юрію Милославскому“, какъ общественному пріятному событію; всѣ обратились къ Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы,—обратились со всѣми знаками уваженія, съ восторженными похвалами, всѣ, кто жилъ или пріѣзжалъ въ Москву, ѣхали къ Загоскину; кто былъ въ отсутствіи — писалъ къ нему. Всякій день получалъ онъ новыя письма, лестныя для авторскаго самолюбія. Жуковский писалъ: «Вотъ что со мною случилось: получивъ вашу книгу, я раскрылъ ее съ нѣкоторою къ ней недоумчивостію, съ тѣмъ только, чтобы заглянуть въ нѣкоторыя страницы, получить какое-нибудь понятіе о словѣ вообще, но съ первой страницы перешелъ я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышла, наконецъ, что и всѣ три толка прочиталъ въ одинъ присѣвъ, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшительное доказательство достоинства вашего романа».

Пушкинъ выразился почти также въ своемъ письмѣ: «М. г. Михаилъ Николаевичъ. Прерываю увлекательное чтеніе вашего романа, чтобы сердечно благодарить васъ за присылку „Юрія Милославскаго“, — лестный знакъ вашего ко мнѣ благорасположенія. Поздравляю васъ съ успѣхомъ полнымъ и вполнѣ заслуженнымъ, а публику съ однимъ изъ лучшихъ романовъ нынѣшней эпохи. Всѣ читаютъ его. Жуковский провелъ за нимъ цѣлую ночь. Дамы отъ него въ восхищеніи. Въ „Литературной Газетѣ“ будетъ о немъ статья Погорьльскаго (псевдонимъ Ал. Ал. Перовскаго). Если въ ней не все будетъ высказано, то постараюсь досказать. Простите. Дай Богъ вамъ много лѣтъ, т. е., дай Богъ намъ много романовъ и пр. Января 11, 1830».

Въ одно изъ писемъ кн. Шаховскаго, писанномъ прежде писемъ Жуковскаго и Пушкина, интересно слѣдующее описаніе литературнаго обѣда у гр. Ф. П. Толстого, которое показываетъ впечатлѣніе, произведенное „Юріемъ Милославскимъ“, при первомъ его появленіи въ печати: «Я уже совсѣмъ одѣлся, чтобъ ѣхать на свиданіе съ нашими первоклассными писателями, какъ вдругъ принесли мнѣ твой романъ; я ему обрадовался и повезъ съ собою мою радость къ гр. Толстому. Но тамъ меня его уже встрѣтили. Первое дѣйствующее лицо авторскаго обѣда, явившееся на сцену, былъ Пушкинъ, и тотчасъ заговорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками твоего романа, которые онъ читалъ въ журналѣ; входилъ Крыловъ изъ дворца: разспросъ о тебѣ и умбательныя одобренія твоему роману; входилъ Гаттичъ—въ восхищеніи отъ прекраснаго твоего романа; наконецъ, является Жуковский и, сказавъ два слова, объявляетъ, что не спалъ вчера всю ночь,—отъ чего-же? Все-таки отъ твоего романа, который онъ получилъ, развернулъ, хотѣлъ прочесть кое-что и, не сходя съ мѣста и не ложась спать, не могъ не прочесть всѣхъ трехъ томовъ: и это самая лучшая по-

хвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію; онъ проситъ меня сейчасъ къ тебѣ написать о дѣйствіи, которое ты надъ нимъ произвелъ, о своей благодарности и о томъ, что хотя онъ еще не успѣлъ похвалить твоего романа Императрицѣ, но предварялъ ее, что она увидитъ диво на нашемъ языкѣ\*.

Многое измѣнилось, продолжаетъ Аксаковъ, вокругъ Загоскина: недоброжелатели сдѣлались друзьями, корисатели комика — хвалителями романиста, съ важностью прибавляя, что, наконецъ, Загоскинъ попалъ на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными въ обществѣ дѣлѣ, и много прекрасныхъ писемъ получили Загоскинъ отъ женщинъ, совершенно ему незнакомыхъ: однимъ словомъ, онъ сдѣлался знаменитостью, подпыль человѣкомъ, необходимою обидовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литературнымъ направлениемъ, львомъ тогдашняго времени. Вниманіе и одобреніе Государя довершили торжество Загоскина\*.

Въ продолженіи 30-хъ и 40-хъ годовъ „Юрій Милославскій“ имѣлъ восемь изданій, онъ былъ переведенъ на французскій, нѣмецкій, итальянскій, голландскій, англійскій, а впоследствии и на чешскій языки, и вездѣ былъ принятъ съ большими похвалами; на французскій языкъ было сдѣлано вдругъ четыре перевода въ Москвѣ и Петербургѣ. „Я видѣлъ, говоритъ Аксаковъ, у Загоскина много писемъ отъ разныхъ европейскихъ литературныхъ знаменитостей, писемъ, наполненныхъ лестными отзывами; было даже одно или два письма отъ Вальтеръ-Скотта\*.

Чему же былъ обязанъ романъ такимъ необыкновеннымъ успѣхомъ? И вотъ, если мы вздумаемъ подойти къ нему съ тѣми идеальными требованіями, какия мы вправѣ предъявлять каждому художественному произведенію вообще и въ частности историческому роману въ истинномъ значеніи этого слова, — мы увидимъ, что романъ стоитъ ниже всякой критики.

Не забудьте, что романъ озаглавленъ: „Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году“. Сообразно этому заглавію вы ожидаете, конечно, что авторъ развернетъ передъ вами картину смутной эпохи во всей ея ширинѣ и глубинѣ, покажетъ духъ времени и тѣ внутреннія историческія пружины, которыя управляли всѣми событіями того времени. Видѣ шутка-ли сказать: *Русскіе въ 1612 году*. Здѣсь, конечно, слѣдуетъ подразумевать не однихъ только Мининыхъ, Пожарскихъ, Юріевъ Милославскихъ, бояръ въ родѣ Кручины и т. п., а русскихъ вообще во всѣхъ слояхъ общества, и прежде всего и болѣе всего — *народъ*. Я полагаю, что ни въ каждомъ, кто мало-мальски знакомъ съ этою эпохою, извѣстно, что это было броженіе, отнюдь не сосредоточивавшееся исключительно въ верхнихъ слояхъ государства, въ боярскихъ skutaxъ и драмлахъ, а напротивъ того, — всенародное, поднимавшее и помутившее океанъ народной жизни до самаго дна. Оно было вызвано не одними только случайными историческими фактами въ родѣ прекращенія роуриковской династіи или галнственнаго убіенія царевича Дмитрія, — а всѣми условіями народной жизни того времени — и экономическими, и юридическими. Не говори уже о такомъ крупномъ фактѣ, какъ уничтоженіе знаменитаго юрьева дна, — тотъ хроническій

голодь, который изъ года въ годъ повторялся въ то время по всѣмъ мѣстностямъ Руси, свидѣтельствуемъ о томъ экономическомъ кризисѣ, какой переживалъ въ то время народъ. Принимая все это въ соображеніе, понятно, мы вправѣ требовать отъ романиста, чтобы онъ не ограничивался одними боярскими палатами, но показалъ намъ, какъ въ то время жили подъ соломенными кровлями люди посадскіе и сельскіе, чтобы мы могли понять самое главное: что заставляло въ то время людей такъ легкомысленно принимать каждый отважнаго проходивца за спасающаго Дмитрія, бросать свой насущный трудъ, домъ, семью и идти, невѣдомо куда и зачѣмъ, на вѣрную гибель.

Ничего подобнаго не найдете въ романѣ Загоскина и слѣда: онъ, повидному, и не подозревалъ этого. Если-бы кто-нибудь прочелъ романъ Загоскина, не имѣя предварительно буквально никакихъ свѣдѣній о смутной эпохѣ, тотъ могъ-бы подумать, что все дѣло заключалось въ намѣстивъ поляковъ — съ цѣлью поработить Русь, пользуясь ея безначаліемъ, причиненнымъ прекращеніемъ династіи, и навязавши ей царя въ видѣ сына Сигизмунда — Владислава, затѣвъ обратить ее въ католичество. Но если цѣль поляковъ представляется ясною и опредѣленною, за то чѣмъ руководились бояре польской партіи, этого вы изъ романа ни за что не поймете, и вамъ будетъ казаться, что они дѣйствовали такъ, зря, но совершенно безпричинному капризу. Народъ-же представляется въ романѣ тушью, инертнымъ стадомъ, которое, не принимая никакого активнаго участія въ совершившихся историческихъ событіяхъ, подвергалось только одиѣмъ неприятностямъ анархіи смутнаго времени, какъ это явствуетъ, хотя-бы изъ слѣдующей сцены романа:

«Путешественники вѣхали на постоялый дворъ. Юрій легъ отдохнуть, а Алексѣй, убрывъ лошадей, пошелъ къ хозяйкѣ, которая въ одномъ углу избы трудилась за пражкою и спросилъ ее: «Не слышно ли чего-нибудь о полякахъ?»

— И родимый! наше дѣло крестьянское, — отвѣчала хозяйка, поправивъ надъ собою дощечку — мы ничего не вѣдаемъ.

— А что, развѣ поляки никогда не бывали въ нашемъ селѣ?

— Какъ не бывали!

— Ну что, голубушка, чай, они вамъ памяты?

— Вѣстимо, кормилецъ.

— Ужь нечего сказать, знатные ребята! но такъ-ли? Хозяйка взглянула недоумчиво на Алексѣя и — не отвѣчала ни слова.

— Куда, чай, съ ними восседо хлѣбъ-соль поить, — продолжалъ Алексѣй; — не правда-ли?

— Вѣстимо, батюшка, — промолвила въ полголоса хозяйка. — Дай Богъ имъ здоровья — люди добрые.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Какъ-же! такіе привѣтливые.

— Что ты, шутишь что-ли?

— И, родимый, до шутокъ-ли намъ!

— Неужели въ самомъ дѣлѣ? Кого-же ты больше любишь: своихъ или поляковъ? Ну что-жъ ты молчишь, лебедка? или языкъ отнялся? Ну казывай, кого?

— Кого прикажешь, батюшка.

— Не о привази рѣчь, я толкомъ тебѣ говорю: кого любишь, насъ или поляковъ?

— Васъ, батюшка, насъ! А вы за кого стоите, господа честные?

— Чего тут спрашивать: за матушку святую Русь.

— Полно, такъ-ли, родимый?

— Видитъ Богъ, такъ. Мы идемъ подъ Москву биться съ поляками не на животь, а на смерть.

— Ой-ли! Помогли вамъ Господи!.. Разбойники! Въ раззоръ насъ раззорили! Прошлой зимой такъ всю и одежонку-то у насъ обобрали. Чтoby имъ самимъ ни дна, ни покрывки! Передохнуть-бы вебшь, какъ въ чадной избѣ тараканамъ... Еретики, душегубцы!.. нехристь проклятая!

— Ба, ба, ба! что ты, молодца? Кого ты это изволишь честить?

— Кого?.. какъ кого?.. вѣтимо кого!.. Кого ты, родимый, того и я.

— Да что ты переминаешь? Чего ты боишься? или не видишь, что мы православные?

— О, охъ батюшки! перанни православные! Этакъ съ часъ мѣста останавливались у насъ двое проѣзжихъ бояръ, съ ними человекъ сорокъ холопей. Вотъ стали меня также, какъ твоя милость, изъ ума выводить; а я съ дуру-то и выболтай все, что на душенькѣ было; и лишь только вымолвила, что мы дежно и ночью молимъ Бога, чтобы вся эта нищенская сволочь убрались во свояси, вдругъ одинъ изъ бояръ, мужчина такой ражій, Богъ съ нимъ! какъ заореть въ восточной голось, да ну меня изъ своихъ рукъ плетью! Ужь онъ каталъ, каталъ меня! Кабы не молодая боярыня, дочка что-ль его, не апаю, такъ онъ-бы заперолъ меня до смерти! Дай Богъ ей доброе здоровье и жениха по сердцу! вступилась за меня горемычную и, когда господа стали съѣзжать со двора, потихоньку сунула мнѣ въ руку серебряную копечку. То-то добрая душа! Изъ себя не такъ, чтобы очень красива, не дородна, взглянуть не на что... Ахти я дура!—промолвила хозяйка, вкочивъ торопливо со скамьи, заболталась съ тобой, кормилецъ!.. Чай, у меня хлѣбъ-то пересидѣли...»

Я не скажу, чтобы подобный разговоръ съ крестьянкою былъ неестественъ и невозможенъ въ смутное время. Наивно-добродушная хитрость слабой умомъ деревенской бабы, вся исчерпываемая словами: „за кого ты, батюшка, за того и я“, — конечно, должна въ однихъ и тѣхъ-же стереотипныхъ формахъ обнаруживаться при каждой смутѣ, и сцену въ родѣ вышеприведенной можно пѣликомъ похѣстить въ любую романсъ, чтобы онъ ни изображалъ: эпоху-ли междуцарствія, пугачевщину или нашествіе французовъ въ 1812 г. Но неужели этою сценою вполне исчерпывается все состояніе народа и духъ его въ 1612 году? Неужели во всю эпоху междуцарствія народъ только и дѣлалъ, что мирно сидѣлъ по деревнямъ, а когда къ нему приходили поляки или казаки, полчища самозванцевъ или ватаги крамольныхъ бояръ, у него всѣмъ былъ одинъ отвѣтъ: „за кого, батюшка вы, за того и мы?..“ И затѣмъ онъ безпрекословно подвергался всевозможнымъ грабежамъ и обидамъ?

Историческій романистъ, мало-мальски заботящійся о томъ, чтобы обстоятельно познакомиться насъ съ эпохою, конечно, сводилъ-бы насъ и въ тушинскій лагерь, и къ полякамъ, показавъ-бы изъ какихъ людей состояли полчища самозванцевъ, что эти люди думали и говорили, къ чему стремились поляки старшіе и младшіе, что побуждало русскихъ бояръ однихъ держать сторону Владислава, другихъ — Минина и Пожарскаго. Ничего подобнаго не найдете вы въ романѣ и слѣда. Такъ, поляки, которые являются въ ро-

манѣ главными и чуть что не исключительными дѣятелями эпохи междуцарствія, изображены Загоскинымъ въ духѣ противоположныхъ типовъ: каррикатурной фигурѣ пана Конычинскаго и благородной личности пана Тишкевича. Эта параллель показываетъ, что Загоскинъ желалъ выказать по отношенію къ полякамъ полное безпристрастіе, весьма естественное въ концѣ 20-хъ годовъ, когда польское возстаніе не успѣло еще развиться, и русскому романисту ничто не мѣшало еще играть на какихъ угодно безпристрастныхъ струнахъ. Но съ одной стороны, въ фигурѣ Конычинскаго Загоскинъ пересолил, и она вышла у него каррикатурна до грубого дубочнаго шаржа, и къ тому-же, по словамъ С. Аксакова, оказывается, что въ пресловутой сценѣ угощенія гусемъ, Загоскинъ перенесъ въ 17 столѣтіе ходячій анекдотъ его времени, забывши только рябчики гусемъ. Съ другой стороны, и великодушно честная личность Тишкевича, съ презрѣніемъ относящася къ тому, что бояринъ Кручина повѣсилъ портретъ короля Сигизмунда въ своихъ хоромахъ, Тишкевича, готовога воздать должную справедливость истинной храбрости, кто-бы се ли оказалъ, русскій или полякъ, — въ свою очередь, вышла стереотипною фигурою храбреца, такою-же блѣдною и безцвѣтною, какъ и всѣ положительныя типы Загоскина; полякомъ, и при томъ именно полякомъ 17-го столѣтія тутъ и не пахнетъ.

Но и въ русскихъ нижегородскаго лагеря, вмѣсто живыхъ историческихъ типовъ, вы видите все тѣ-же стереотипныя манекены, произносящіе длинные, напыщенно-риторическія тирады въ каразинскомъ стилѣ и въ духѣ кваснаго патриотизма 30-хъ годовъ. Особенно въ этомъ отношеніи дубочностью отличается пресловутая сцена воззванія Минина къ народу на нижегородской площадѣ. Рѣчи Минина очень напоминаютъ подобныя-же напыщенныя тирады Маренъ Посадницы въ повѣсти Карамзина.

Но болѣе всего не удался Загоскину главный герой романа, самъ Юрій Милославскій. Авторъ имѣлъ намѣреніе сдѣлать его романическииъ героемъ въ полномъ смыслѣ этого слова, надѣлать его всѣми и физическими, и умственными, и нравственными совершенствами, чтобы онъ, какъ сказочный Ивалъ Паревичъ и въ водѣ не тонулъ, и въ огнѣ не сгоралъ, непрестанно удивлялъ читателей своими необыкновенными подвигами и въ концѣ романа поймалъ за хвостъ жаръ-птицу. Но мало того, что ничего этого не вышло, что герой вышелъ и блѣденъ, и безцвѣтенъ, — на каждой страницѣ онъ возбуждаетъ въ читателей противъ себя положительно ожесточеніе. Пушкинъ не въ бровь, а въ самый глазъ въ своемъ „Архивѣ Петра Великаго“ заставилъ одно дѣйствующее лицо, при упоминаніи имени Милославскаго, замѣтить, что онъ „богатъ и глухъ“. Правда, это было сказано о потомкѣ Милославскаго, современникѣ Петра, и къ тому-же повѣсть Пушкина была написана раньше романа Загоскина, но тѣмъ не менѣе Пушкинъ словно предугадалъ, что глухость составляетъ неотъемлемое качество рода Милославскихъ, хотя можно думать, что онъ ранѣе появленія въ свѣтъ романа Загоскина звалъ уже о глухости главнаго героя его,



или, можетъ статья, впоследствии вставилъ вышеупомянутую фразу.

Какъ-бы то ни было, но глувость Милославскаго бросается въ глаза, преслѣдуетъ насъ черезъ весь романъ. Представьте себѣ въ самомъ дѣлѣ человека, который постоянно находится подъ давленіемъ какой-нибудь клятвы, данной имъ невпопадъ, и которая заставляетъ его дѣйствовать совершенно вопреки совѣсти, здраваго смысла, и природнаго влеченія, и тѣмъ не менѣе онъ съ уюорствомъ педанта старается быть, во чтобы то ни стало, вѣрнѣе разъ данной клятвѣ. Такъ, и забывъ отца, и все личныя симпатіи влекутъ его въ русскій лагерь подъ знами Пожарскаго, но онъ нѣтъ несчастіе присягнуть Владиславу вмѣстѣ съ жителями Москвы и считаетъ своимъ долгомъ оставаться подъ польскими знаменами. Жителямъ Москвы вынужденная клятва нисколько не помѣшала широко отворить ворота войскамъ Пожарскаго; — несчастный-же герой нашъ только и дѣлаетъ, что терзается и проклиняетъ свою злосчастную судьбу. На нижегородской площади происходитъ сильное народное движеніе, созывается ополченіе, дѣлаются пожертвованія, энтузіазмъ охватилъ весь городъ, а нашъ несчастный герой въ отчаяніи бѣжитъ, слома голову, не зная куда и зачѣмъ: „какъ громомъ пораженный послѣдними словами старика, читаемъ мы, Юрій, не видя ничего передъ собою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ухахъ его раздавались слова умирающаго огня; ему казалось, что его преслѣдуютъ, что кто-то называетъ его по имени: что множество голосовъ повторяютъ: „вотъ онъ! вотъ Милославскій“... Вся кровь застыла въ его жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ за нимъ прогремѣлъ ужасный голосъ: „да выдетъ вѣчная клятва на главу извѣнника!“ Волосы его стали дыбомъ, смертный холодъ пробѣжалъ по всѣмъ членамъ, въ глазахъ потемнѣло, и онъ уналъ безъ чувствъ въ двухъ шагахъ отъ Волги, на краю утесистаго берега, застроеннаго обширными сараями“.

Только давши слово посвятить себя Богу и вступить въ плоческій санъ, Юрій, въ качествѣ уже послушника Авраама Палицына, разбѣившаго ему присягу Владиславу, могъ отправиться съ чистою совѣстью въ станъ Пожарскаго. Но и эта новая клятва оказалась данною невпопадъ. Едва только онъ далъ се, какъ вдругъ случай заставилъ его обвиняться съ любовию дѣвушкою для того, чтобы спасти ее отъ грозившей ей смерти: если-бы онъ не обвинчался съ нею, ее растерзали-бы шныи. И опять злосчастная жертва своихъ безразсудныхъ клятвъ терзается разладомъ долга и сердечнаго влеченія. Супруга его, едва спасшаяся отъ вѣрной смерти и обвинчанная, наконецъ со своимъ милымъ послѣ всевозможныхъ злоключеній, конятно, чувствуетъ себя на седьмомъ небѣ и говорить: — „Безцѣнный мой!.. избавитель мой!.. О какъ снова мнѣ жизнь становится мила!.. Она твой даръ, мой возлюбленный!.. она вся принадлежитъ тебѣ!.. Ахъ!.. повтори еще разъ, что ты меня любишь“!.. — А онъ въ отвѣтъ на эти восторженные рѣчи огорошиваетъ ее вдругъ слѣдующими словами:

— Но знаешь-ли ты, сирота злополучная?... Такъ!

къ чему откладывать!.. для чего томить тебя медленной смертью!.. Анастасья!.. я не супругъ твой!

— Ты не супругъ мой?.. Но не ты-ли сейчасъ обошелъ со мною напой церковный? Не съ тобою-ли и помянулась этимъ перстнемъ?..

— Чтобы спасти тебя, я долженъ быть это сдѣлать; но я не могу быть ничѣмъ супругомъ.

— Не можешь?

— Да, Анастасья! Вчера, надъ гробомъ преподобнаго Сергія, я клялся оставить свѣтъ и пропзпести обѣтъ, по окончаніи брани, возложить на себя одежду инока.

И опять-таки все тому-же Авраамію Палицыну стоило не малыхъ усилій, чтобы вразумить безумца, показать ему всю безразсудность его скороспѣлыхъ клятвъ и соединить его вновь съ его супругою Анастасією.

Вообще нужно сказать, что вся драматическая и патетическая часть романа вышла ниже всякой критики и обнаруживаетъ въ Загоскинѣ полное отсутствіе этого рода таланта. Авторъ комедій въ романѣ своемъ остался все тѣмъ-же коикомъ, и самыя удачныя мѣста въ романѣ комическія. Такъ, весьма педурно очерчены комическія лица бояръ союзниковъ Кручины Шалонскаго — Лесута Храпуновъ и Замятня Опалевъ. Въ то-же время вы найдете въ романѣ нѣсколько бытовыхъ сценокъ, не лишенныхъ народнаго колорита, хотя и не имѣющихъ ровно никакого историческаго значенія, могущихъ быть помѣщенными въ романѣ, изображающемъ какую угодно эпоху, хотя-бы даже современную Загоскину. — Такова, наприимѣръ, сценка встрѣчи запорожца Кирина съ незнакомою дѣвушкою по дорогѣ на пчельникъ колдуна Кудимыча:

— Здорова красная дѣвица, сказала Кирина, приподнявъ вѣжливо свою шапку. Откуда идешь?..

Дѣвушка сначала испугалась, но ласковый голосъ и веселый видъ запорожца ее успокоили. «Я иду домой, господишь честной», отвѣчала она, отвѣсивъ низкій поклонъ Киришѣ.

— И вѣрно ходила верояжить на пчельникъ?

— А почему ты это знаешь? спросила она, взглянувъ на него съ удивленіемъ.

— Видно знаю! Ну, что? радостную-ли вѣсточку сказалъ тебѣ Кудимычъ?.. Скоро-ли свадьба?

— Архивъ Кудимычъ бантъ, что скоро. Да почему ты знаешь?

— Какъ не знать! А что лебедука, чай, ты не съ пустыми руками къ нему ходила?

— Коли съ пустыми! Я ему носила на поклонъ под-сорока яицъ, да двѣ копѣйки.

— Экъ твой суженый-то разкарчидся!

— Вотъ еще, велико дѣло двѣ копѣйки! Для меня Ванюша не постоятъ и за два алтына. Да почему ты знаешь?

— Мало-ли что я знаю, голубушка! А что, отсюда недалеко до пчельника?

— Ближехонько.

— Прощай красавица!..

Подобная сценка и другія въ ея родѣ показываютъ, что Загоскинъ не былъ лишень наблюдательности и пародийный быть былъ ему до извѣстной степени знакомъ, хотя-бы и съ одной вѣнней стороны. Вообще замѣчательно, что у Загоскина мужики выведены гораздо естественнѣе, правдивѣе и художественнѣе, чѣмъ бояре.

Теперь спрашивается, отчего-же этотъ романъ за-

служилъ такую популярность? Чѣмъ обуславливается тотъ успѣхъ, какой онъ приобрѣлъ въ массахъ публики, и успѣхъ, замѣтите, прочный, долгодѣйный? Что поставило его на ряду съ такими первоклассными произведеніями, которыя и теперь раскупаются также, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ? На это можетъ быть одинъ отвѣтъ: масса наша въ немъ то, что было ей совершенно по плечу и въ честь она чувствовала потребность, нашла романъ-сказку, напоминающую, съ одной стороны, средневѣковые рыцарскіе романы, а съ другой — наши доморожденные сказки о Ерусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ... Что ей было за дѣло до того, что бытъ начала 17-го вѣка изображенъ въ романѣ въ самыхъ общихъ и лубочныхъ чертахъ, что вся обстановка романа напоминаетъ скорѣе какъ-нибудь декорации Александринскаго театра, чѣмъ вѣрную и точную историческую живопись талантливаго художника-археолога, что герои изъясняются порою на такомъ высокопарномъ языкѣ, на какомъ никогда никто не изъяснялся, выражая такія пламенные чувства, какія лежатъ внѣ человеческой природы? Вѣдь, она привыкла къ тому, что дѣйствіе сказокъ совершается въ невѣдомомъ царствѣ, пещерахъ-полкахъ государствъ, при какомъ-то жившемъ въ незапамятныя времена царѣ Горохѣ, и что для подвиговъ сказочныхъ богатырей никакихъ законовъ природы не существуетъ. Здѣсь-же ее убѣждали, что рассказываютъ ей о томъ, какъ жили предки наши не далѣе, какъ 200 лѣтъ тому назадъ, и ужъ это было въ глазахъ ея большое преимущество. Не вдаваться-же ей было въ археологическія разысканія для проверки отважнаго романиста. Тѣмъ болѣе, что самая существенная въ ея глазахъ сторона романа, именно сказочность его, удовлетворяла вполне ея вкусамъ.

И въ самомъ дѣлѣ, надо отдать полную справедливость Загоскину, — по части развитія интриги романа и возрастающей съ каждой страницей занимательности Загоскинъ оказался мастеромъ своего дѣла. Не даромъ самъ Жуковский не спалъ всю ночь и какъ принялся съ вечера за романъ, такъ и не могъ оторваться отъ него, пока не дочиталъ до послѣдней страницы. Безъ сомнѣнія и каждый изъ насъ въ юности своей, въ свою очередь, читалъ Юрія Милославскаго не лизаче, какъ залпогъ въ одинъ присѣсть. Обратите вниманіе, что самое развитіе сюжета имѣетъ характеръ, совершенно подобный средневѣковому рыцарскимъ романамъ, — именно характеръ странствія героя: русский рыцарь XVII вѣка, со своимъ слугою Алексѣемъ, замѣняющимъ оруженосца, странствуютъ по объѣзду апархій Руси и въ каждой главѣ подвергаются какъ-нибудь новымъ неожиданнымъ приключеніямъ и напастьмъ. Доходитъ дѣло до того, что въ концѣ второй части и баринъ, и его слуга попадаютъ подъ ножъ убійцъ, стерегущихъ ихъ въ засадѣ, а въ началѣ третьей части читателю намекается, что герой можетъ быть убитъ и трушъ его брошенъ въ Волгу, и вдругъ онъ оказывается живъ, сидитъ и мучается голодомъ въ темницѣ, въ мрачномъ подземельѣ въ глуши муромскихъ лѣсовъ въ имѣніи коварнаго боярина Кручины, который собирается его убить въ самый тотъ моментъ, когда замороженецъ Кириша внезапно спасаетъ его. Однимъ словомъ, какіе только

ужасы могли обрушиться на голову злополучнаго героя въ смутныя и страшныя времена всеобщей сумятицы, Загоскинъ ни однимъ такимъ ужасомъ не обидѣлъ его, и въ концѣ концовъ, къ радости читателя, заставилъ его выйти сухимъ изъ воды, холоднымъ изъ огня и сочетаться благополучнымъ бракомъ съ прекрасною Анастасією, которая въ свою очередь исполненіи всего романа только и дѣлаетъ, что все попадаетъ изъ огня да въ полымя.

Такимъ образомъ, какъ это ни странно, мы видимъ, что въ концѣ 20-хъ годовъ, въ то самое время, когда въ передовой, первоклассной беллетристичѣсской чувствовалась струя того натурализма, къ которому стремились уже въ то время и все европейскія литературы, рядомъ съ этимъ возникаетъ въ истинно-исторической оболочкѣ романъ приключеній вполне въ средневѣковомъ духѣ и успѣхъ этого романа, энтузіазмъ, который онъ возбуждалъ, показываетъ, что толпа по своему литературному развитію стояла еще всецѣло на средневѣковой почвѣ, ожидая своего Сервантеса въ лицѣ Гоголя съ его „Мертвыми душами“.

## IV.

Отзывы Пушкина о «Юрія Милославскаго» — «Рославловъ» Загоскина и «Рославловъ» Пушкина. — Типъ передовой женщины 12 года и родовенныя черты этого типа съ передовыми женщинами позднѣйшихъ эпохъ. — Несколько словъ о прочихъ романахъ Загоскина.

Пушкинъ сдержалъ свое слово, данное намъ въ письмѣ Загоскину, и въ „Литературной Газетѣ“, въ началѣ 1830 года помѣстилъ коротенькую рецензію на „Юрія Милославскаго“. Въ рецензіи этой онъ съ большою, конечно, похвалою отзывается о романѣ, находить даже, что Загоскинъ точно переписалъ насъ въ 1612 годъ.

«Добрый нашъ народъ, говоритъ Пушкинъ, бояре, казаки, монахи, буйные пиши,—все это угадано, все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было дѣйствовать, чувствовать въ смутныя времена Мнѣна и Авраамія Палишина. Какъ шпы, какъ занимательныя сцены старинной русской жизни, сколько истины, добродушной веселости въ изображеніи характеровъ Кириши, Алексѣя Бурмана, Федки Хомика, пана Кошчинскаго, батьки Еремѣя! Романическое происшествіе безъ насилья входитъ въ раму обширнѣйшаго происшествія историческаго. Авторъ не сѣбитъ своимъ рассказомъ, останавливается на подробностяхъ, заглядываетъ и въ сторону, но никогда не утомляетъ вниманія читателя. Разговоръ (живой, драматическій, вездѣ, гдѣ онъ престопающій) обличаетъ мастера своего дѣла. Но всепримное дарованіе г. Загоскина измѣняетъ ему, когда онъ приближается къ лицамъ историческимъ. Рѣчь Мнѣна на Нижегородской площади слаба въ ней и въ порывовъ изреченнаго прасеорбѣи. Божская дума изображена холодно. Можно замѣтить два—три легкіе анахронизма и нѣкотораго погрѣшности противъ языка и костюма и т. д.

Такимъ образомъ и Пушкинъ, при всей благосклонности отзыва, замѣтилъ ту рѣзкую особенность романа, что онъ только и хорошеетъ въ простонародныхъ бытовыхъ сценахъ, а какъ только дѣло касается исто-

дѣл, то талантъ принадлежитъ автору. Для насъ любопытнѣе самый фактъ появленія Пушкинымъ рецензій въ „Литературной газетѣ“, показывающей, какъ живо заинтересовался Пушкинъ появленіемъ „Юрія Милославскаго“. Въ настоящемъ случаѣ это былъ интересъ не только человека, принимающаго страстное участіе въ судьбахъ русской литературы, но и къ тому-же писателя, который самъ въ это время увлекался историческою бездистинкціою. Нѣтъ ничего удивительнаго, что, когда появился второй романъ Загоскина „Рославлевъ“, Пушкинъ не ограничился уже одною рецензіею, а написалъ своего „Рославлева“, въ которомъ, очевидно, выразилъ протестъ противъ двойности късанаго патриотизма Загоскина и принялъ подъ свою защиту одну изъ героинь романа Загоскина, выставивъ ее совѣтъ въ иномъ родѣ и духѣ. Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ повѣсти Пушкина, мы познакомимся съ романомъ Загоскина.

Принялся за него Загоскинъ немедленно-же по окончаніи перваго романа, причѣмъ смотрѣлъ на свой новый романъ, какъ на продолженіе прежняго, такъ какъ руководствовался широкимъ замысломъ изобразить Россію въ два наиболѣе крупныя момента ея исторической жизни, когда патриотизмъ народа проявился въ самомъ интенсивномъ и напряженномъ видѣ: оттого и заглавіе новаго романа „Русскіе въ 1812 году“, соответствуетъ вполне заглавію перваго романа „Русскіе въ 1612 году“. Предполагая сочинить эти два романа, говоритъ Загоскинъ въ предисловіи къ „Рославлеву“, а имѣлъ въ виду описать русскихъ въ двѣ достопамятныя историческія эпохи, сходныя между собою, но раздѣленныя двумя столѣтіями; а желать доказать, что хотя наружныя формы и фисіономія русской націи совершенно измѣнились, — но не измѣнились въѣтъ съ нами наша непоколебимая вѣрность престолу, привязанность къ вѣтъ предковъ и любовь къ родимой сторонѣ\*.

Но большая разница описывать эпоху, которой шло 200 лѣтъ и почти современную намъ. Въ первомъ случаѣ Загоскину ничего не стоило увлечь невѣдомую по части исторіи толпу сказочнымъ элементомъ своего романа и летать на крыльяхъ воображенія, заставляя навѣныхъ читателей думать, что русскіе въ 1612 году и въ самомъ дѣлѣ были такіе, какими они изображены въ „Юрїи Милославскомъ“. Совсѣмъ другое дѣло было 1812 годъ. Послѣ него прошло всего 18 лѣтъ, когда Загоскинъ принялся писать свой второй романъ. Большинство участниковъ, изображенныхъ въ романѣ событій были еще живы, да и самъ Загоскинъ былъ, какъ мы видѣли, участникомъ въ войнѣ 1812 года. Такимъ образомъ это былъ романъ почти что изъ современной жизни, и его можно назвать историческимъ въ такомъ лишь смыслѣ, въ какомъ въ настоящее время можно-бы назвать эпикъ именемъ романъ, описывающій эпоху 60-хъ годовъ. Понятно, что Загоскинъ принималъ на себя слишкомъ большую отвѣтственность: тутъ уже не могли помочь ни интересъ интриги, ни отсутствіе историческихъ знаній въ массѣ: требовалось основательное знаніе того, чему многие были очевидцами, а главное дѣло — художественность. Недаромъ Жуковский, услышавъ о новомъ предпріятіи Загоскина, пи-

салъ ему: „Мнѣ сказывалъ кн. Шаховской, что вы въ pondantъ вашему 1612 году, пишете романъ 1812 года; не хочу съ вами спорить, но боюсь великихъ предстоящихъ вамъ трудностей. Историческія лица 1612 года были въ вашей власти, вы могли выставить ихъ по произволу; историческія лица 1812 года вамъ не дадутся. Съ первыми вы могли легко познакомиться воображеніемъ читателя, и онъ, благодаря вашему таланту, увѣрять съ вами, что они точно были такими, какими ваше воображеніе ихъ представило вамъ; съ послѣдними этого сдѣлать нельзя; мы знаемъ ихъ, мы слишкомъ къ нимъ близки; мы уже предупреждены на счетъ ихъ, и сущность загородить для насъ вымыселъ. Впрочемъ, нѣтъ невозможнаго. Я говорю только: трудно! На выскомъ шагѣ порога испоткаться легко\*“.

Но Загоскинъ не унывалъ. Успѣхъ перваго романа вскружилъ ему голову, и къ тому же все заранѣе обѣщало новому роману еще большій успѣхъ. Общая увѣренность, что „Рославлевъ“ будетъ еще лучше, или по крайней мѣрѣ интереснѣе „Юрїи Милославскаго“, была такъ велика, что въ Москвѣ, по словамъ біографа, произошло въ своемъ родѣ событіе, неслыханное въ лѣтописяхъ книжной русской торговли. Романъ еще не былъ конченъ, какъ содержатель типографіи Степановъ сталъ просить Загоскина, чтобы онъ его продалъ: за право напечатать четыре завода, т. е. 4,800 экземпляровъ Степановъ предложилъ ему сорокъ тысячъ ассигн. (а тогда ассигнаціи имѣли большой курсъ) съ тѣмъ только, чтобы онъ не печаталъ втораго изданія въ продолженіи трехъ лѣтъ. Замѣчательно при этомъ, что Степановъ дѣлалъ эту покупку не на капиталъ, котораго у него не было, а московскіе книгопродавцы купили экземпляровъ будущаго романа, съ обыкновенною уступкою 20 процентовъ за комиссію, на 36 тысячъ рублей ассигн., и внесли деньги впередъ, обязуясь продавать не дороже 20 р. за экземпляръ.

Но Степановъ испыталъ горькое разочарованіе въ своихъ расчетахъ. Новый романъ Загоскина пошелъ неизвѣримо туго перваго. Книгопродавцы продали купленные ими 2400 экземпляровъ, но затѣмъ требованія на книгу прекратились, и Степановъ принужденъ былъ продать другую половину экземпляровъ за безцѣнокъ, потерявши отъ всего предпріятія убытокъ.

Этотъ неуспѣхъ романа вполне оправдывается его содержаніемъ. Предсказаніе Жуковского сбылось вполне, тѣмъ болѣе, что и относительно войны 1812 года Загоскинъ обнаружилъ такіе-же жидкія историческія свѣдѣнія, какъ и въ первомъ своемъ романѣ. И еще бы: онъ приступилъ ко второму роману съ тою-же поспѣшностью, какъ и къ первому, безъ какихъ-бы то ни было подготовительныхъ работъ и сколько-нибудь основательнаго изученія изображаемой эпохи. Личное участіе его въ войнѣ не могло оказать ему большой услуги въ этомъ отношеніи, такъ какъ, будучи въ маленкихъ чинахъ, понятно, что онъ могъ видѣть одни закоулки столь сложнаго и колоссальнаго событія, какъ война 1812 года. Это участіе только и принесло ему развѣ ту пользу, что дало возможность довольно живо изобразить нѣсколь-

ко сценъ бивуачной жизни и мелкихъ стычекъ съ неприятелемъ.

Отсутствіе основательнаго изученія эпохи привело Загоскина къ весьма забавной уловкѣ: боясь представить историческія личности и историческіе факты невѣрно, да и не знавъ ихъ, конечно, во всѣхъ подробностяхъ, Загоскинъ взялъ да и обошелъ ихъ; въ самомъ дѣлѣ, во всемъ романѣ вы не найдете ни одного крупнаго лица (только въ одномъ мѣстѣ, при пожарѣ Москвы, мелькаетъ передъ вами стереотипная фигура Наполеона) и ни одного большаго сраженія. О ходѣ историческихъ событій упоминается кое-гдѣ мимоходомъ, въ краткихъ перечняхъ, чтобы только какъ-нибудь связать развитіе романтической интриги, и, опять таки, вся суть романа заключается именно въ этой интригѣ. Но, увы, интрига эта только мѣстами напоминаетъ полныя неожиданныхъ и чудесныхъ приключеній странствія Юрія Милославскаго; но, чтобы добраться до этихъ мѣстъ, читателю приходится прервать черезъ большое количество скучныхъ, сухихъ и вялыхъ страницъ. Довольно сказать, что только съ третьей главы второй части начинается война 12 года. Вся-же первая часть занята изображеніемъ картины жизни и настроенія русскаго общества передъ войною, — и это изображеніе стоитъ ниже всякой критики. Такъ, прежде всего авторъ ведетъ насъ въ самое пысканное свѣтское общество, о которомъ онъ не имѣлъ никакого понятія, такъ что даже снисходительный Жуковскій замѣтилъ ему въ письмѣ: „признаюсь вамъ только въ одномъ: по прочтеніи первыхъ листовъ я долженъ былъ отложить чтеніе, и эти первые листы произвели было во мнѣ нѣкоторое предубѣжденіе противъ всего романа, и я побоялся, что онъ не пойдетъ на ряду съ Милославскимъ. Описание большаго свѣта мнѣ показалось невѣрно, и въ гостиной князя Радугина я не узналъ свѣтскаго языка“.

Правда, большинство россианъ, столь-же мало знакомыхъ съ великосвѣтскою жизнью, какъ и самъ авторъ, конечно не обратило вниманія на это обстоятельство, но не могло не броситься въ глаза крайняя односторонность и исключительность всѣхъ изображаемыхъ Загоскинымъ сценъ. Всѣ выводимыя дѣйствующія лица только и говорятъ, что о патриотизмѣ или французоманіи, и особенно въ этомъ отношеніи надобѣесть главный герой романа, Рославлевъ. Подобно тому, какъ Юрій Милославскій въ продолженіи всего романа только и дѣлалъ, что все терзался въ оковахъ своихъ клятвъ, такъ Рославлевъ съ первой-же страницы рветъ и мечетъ, чтобы непрестанно доказывать всѣмъ и каждому, что онъ истинный сынъ отечества и что у него русское сердце. Отправляется онъ пообѣдать съ пріятелемъ въ гостиницу и тамъ сейчасъ-же вступаетъ въ споръ по этому поводу съ французомъ, обѣдавшимъ съ нимъ за однимъ столомъ; идетъ затѣмъ на раутъ къ княгинѣ Радугиной, и немедленно сдѣлывается на этомъ раутѣ съ французскимъ дипломатомъ. При этомъ всего курьезнѣе, что спорившіе нисколько уже предвидѣли, что будетъ война 12-го года, но даже знали, что она будетъ народная, и наиболѣе въ этомъ отношеніи замѣчательно оказывается пророческій даръ самаго Рославлева. Такъ, въ спорѣ съ французомъ, когда по-

слѣдній спросилъ, что останется въ случаѣ войны съ Наполеономъ отъ Россіи, если Польша, Швеція, Турція и Персія возьмутъ назадъ свои области, если всѣ крупные города займутся французскими войсками, если...

— Вы забыли, вскричалъ Рославлевъ, вкочинивъ съ своего мѣста, что въ Россіи останутся русскіе; что тридцать милліоновъ русскаго народа, говорящихъ однимъ языкомъ, исповѣдующихъ одну вѣру, могутъ легко истребить многочисленнаго войска нашего Наполеона, составленнаго изъ всѣхъ народовъ Европы!..

— Похилуйте, возразилъ французъ: да что такое народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, которое, несмотря на свою многочисленность, не значитъ ничего въ военномъ отношеніи; и Воже васъ сохрани отъ народной войны! Наполеонъ ужьется быть великодушнымъ побѣдителемъ; по горе той землѣ, гдѣ народъ мѣшается не въ свое дѣло! Половина Испаніи погнута немцами; та же участь можетъ постигнуть и ваше отечество. Солдатъ выполняетъ свою обязанность, когда дерется съ неприятелемъ; но мирный гражданинъ долженъ оставаться дома. Въ притномъ случаѣ, онъ разбойникъ, бунтовщикъ и не заслуживаетъ никакой пощады.

— «Разбойникъ!» повторилъ Рославлевъ прерывающимся отъ истеріи и досады голосомъ. «И вы смѣете называть разбойникомъ того, кто защищаетъ своего Государя, отечество, свою семью»...

Но Рославлевъ при всей своемъ пламенномъ патриотизмѣ все-таки пребываетъ въ предѣлахъ здраваго смысла и благоразумной умѣренности и горячится только на словахъ. Но въ романѣ есть другой герой, какой-то неизвѣстный полчаливый офицеръ, о которомъ Загоскинъ въ предисловіи своемъ говоритъ, что читатели узнаютъ въ немъ историческое лицо тогдашняго времени и что этотъ офицеръ дѣйствительно былъ, подъ именемъ флорентискаго куша, въ Давидѣ, но не въ концѣ осады, а при началѣ ея. Вотъ у этого самаго офицера пенанисъ къ французамъ Загоскинъ довелъ до чудовищной маніи и кровожадной жестокости. Нѣкоторыя черты этого типа представляють собою малое подобіе тѣхъ хищныхъ дѣмоническихъ натуръ и бретеровъ, которыя въ то время начали уже появляться на горизонтѣ нашей жизни. Онъ напоминаетъ собою нѣсколько Долохова въ „Войнѣ и мирѣ“. Но Загоскинъ совершенно искажилъ этотъ типъ, обративъ его въ узколобаго и прямолинейнаго фанатика, который только о томъ и бредитъ, какъ бы истребить французовъ (затѣмъ, еще до войны 1812 года) безъ всякой пощады и милосердія. Такъ, узнавши въ вышеозначенномъ французѣ, спринимемъ въ гостиницѣ съ Рославлевымъ, наполеоновскаго шпіона, онъ тотчасъ-же вызываетъ его на дуэль и затѣмъ слѣдуетъ отвратительная сцена этой дуэли:

«Оба противника, читаемъ мы, отошли по пяти шагамъ отъ барьера, и повернулись въ одно время, стали медленно подходить другъ къ другу. На второмъ шагу французъ сдѣлалъ курокъ—пуля свиснула, и пробитая на вылетъ фуражка свѣтла съ головы офицера.

— «Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хорошо!»—сказалъ сквозь зубы кавалеристъ.—«Смотри, братъ, не промахнись!»

Раздался второй выстрѣлъ, и вмѣстѣ всѣмъ тѣмъ рускаго француза облила кровью.

— «Эхъ, братецъ!»—сказалъ кавалеристъ;—«немного-бы по мѣте. Я говорилъ тебѣ взять мои пистолеты. Какая, чортъ, стрельба безъ шпінера!»

«Прошло еще нѣсколько секундъ: сердце Рославлева почти перестало биться. Разстояние между соединенными становилось все меньше; но уже осталось не болѣе шести или восьми шаговъ... вдругъ раздался третій выстрѣлъ.

— Ты раненъ? — вскричалъ кавалеристъ.

— «Нѣтъ», — отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хладнокровно на правое плечо свое, съ котораго пулей сорвало эпюлетъ. «Теперь милости прошу, сюда къ барьеру!» — продолжалъ онъ, устремивъ свой неподвижный взоръ на француза.

— Je suis mort! — промолвилъ вполголоса раненный.

— «Боже мой! онъ истекаетъ кровью!» — сказалъ его секундантъ, вынимая бѣлый платокъ изъ кармана.

— «Не трудитесь!» — прервалъ офицеръ, — «онъ доживетъ еще до послѣдняго моего выстрѣла. Ну, что же, сударь? Да подходите смѣлѣе! Видъ я не стану стѣснять, пока вы не будете у самаго барьера».

— «Господишь офицеръ!» — вскричалъ иностранецъ. — «Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все равно»...

— «Если-бы я пригавилъ ему мой пистолетъ ко рту? — Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ напереру почетнаго Легиона! Прощу покорно!»

— «Et bien soit!» — сказала французъ, бросивъ въ сторону свой пистолетъ — Онъ подошелъ, шатаясь, къ барьеру, и, сложивъ крестъ на крестъ руки, сталъ прямо грудью противъ своего соперника. Кровь ручьемъ текла изъ его раны; смертная блѣдность покрывала лицо; но онъ смѣло смотрѣлъ въ глаза офицеру, и только едва замѣтная судорожная дрожь пробѣгала отъ времени до времени по вѣстамъ его членивъ. Офицеръ приближался — конецъ его пистолета упирался въ лобъ французу. Вся кровь застыла въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать; но языкъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спустилъ курокъ, на полкъ всыпнулъ; но пистолетъ не выстрѣлилъ.

— Ты живъ еще, мой другъ! — вскричалъ секундантъ француза.

— «Не надолго!» — промолвилъ хладнокровно офицеръ. — «Подошли на полку, братецъ!»

— «Ради самого Бога!» — сказали отчаяннымъ голосомъ иностранецъ, — «попадите этого несчастнаго! У него жена и шестеро дѣтей!»

«Видѣто охвата, офицеръ улыбнулся, и взглянувъ спокойно на блѣдное лицо своей жертвы, устремилъ глаза свои въ другую сторону. Ахъ! если-бы они плакали бѣшенствомъ, то несчастный могъ-бы еще пахтаться, — и тигръ имѣетъ минуты милосердія; но этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражающій одно мертвое равнодушіе, не обмануть никакой пощадой.

— «Господишь офицеръ!» — продолжалъ иностранецъ, — «если жалость вамъ неизвѣстна, то подумайте, по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправить въ эту минуту должностъ палача.

— Да, я желалъ-бы быть палачемъ, чтобы отъ одного удараго голову всей вашей націи. Посторонитесь!»

— «Одно слово, сударь», — прошепталъ едва слышимъ голосомъ раненный. «Прощай мой другъ!», — продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секунданту. — «Не забудь разсказать всѣмъ, что я умеръ какъ храбрый и благородный французъ; скажи ей...» Онъ не могъ докончить и упалъ безъ чувствъ въ объятія своего друга.

— «Жаль!» — сказала кавалеристъ: онъ не трусетъ! И признаюсь, если-бы я былъ на твоёмъ мѣстѣ...»

— «И полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше. Теперь кажется отъбчи не будетъ», — прибавилъ офицеръ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взялъ курокъ... и т. д. (Рославлевъ, смотрѣвшій за дуэтами на всю эту возмутительную сцену, выбѣжалъ и оставилъ смертоубійство).

Мы не будемъ говорить уже о томъ, насколько

ко мерзка эта сцена сама по себѣ, принимая особенно во вниманіе, что этотъ офицеръ до самаго конца романа играетъ роль положительнаго типа; вы подумайте только, на сколько правдоподобна она въ Петербургѣ, въ маѣ 1812 года, когда Россія сохранила еще миръ и даже дружбу съ французами. Откуда-же могла развиться такая необузданная, слѣпая и дикая ненависть къ французамъ въ молодомъ офицерѣ того времени?

Впрочемъ, у Загоскина не одни интеллигентные люди, но и купцы изъ Замоскворѣчья заранѣе уже предугадываютъ не только нашествіе Наполеона, но и пожаръ Москвы. Такъ, одинъ такой купецъ спросилъ у Рославлева:

— Скажите-ка, батюшка, точно-ли правда, что Бонапартиѣ собирается на насъ войною?

— Это еще не рѣшено, отвѣчалъ Рославлевъ.

— А какъ рѣшится, такъ что-жъ онъ на Москву что-ли пойдетъ?

— Можетъ быть. Онъ избалованъ счастьемъ и привыкъ заключать миръ въ столицахъ своихъ приятелей.

— Вотъ что! Да что-жъ онъ въ нихъ дѣлаетъ?

— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей контрибуціи, то есть деньги.

— И ему платятъ?

— По неволѣ: противъ силы дѣлать нечего.

— Какъ нечего? Что вы сударь! По нашему вотъ какъ. Если дѣло пошло наперекоръ, такъ не доставайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи Боже мой! У меня два дома, да три лавки въ Панскомъ ряду, а если Божиимъ натушеніемъ прагъ придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой запалю. На вотъ тебѣ! Не хвались-же, что моимъ владѣньемъ! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ упрямятъ; вели только нашъ Царь-Государь, такъ ми этому Наполеону такую хлѣбъ-соль поднесемъ, что онъ, хоть и семи падей во лбу, а—вотъ-те Христосъ! подавится.

— Нѣтъ, это не хвастовство! подумалъ Рославлевъ, смотря на благородную и исполненную души физиономію купца. «Дай мнѣ свою руку, почтенный гражданинъ!» сказалъ онъ. Ты истинно русскій, и если-бъ всѣ такъ думали, какъ ты!»

До такой степени увлекся Загоскинъ своимъ узко-тенденціознымъ и кривымъ патриотизмомъ, что даже самую любовную фавбу романа онъ основалъ на немъ. Сюжетъ романа заключается въ томъ, что дочь одного богатаго подмосковнаго дворянина Полина, путешествуя съ матерью своей, большою поклонницею всего французскаго, за границею, влюбилась тамъ въ французскаго полковника, графа Синекюра, но скрывала отъ всѣхъ любовь свою и даже дала слово выйти замужъ за Рославлева, и лишь всячески оттягивала свадьбу. Разгорѣлась война, Рославлевъ долженъ оставить свою невѣсту и ѣхать на защиту своего отечества. Между тѣмъ графъ Синекуръ попался въ плѣнъ, и его, раненаго, препроводили какъ разъ въ усадьбу родителей Полины. Здѣсь романъ молодой русской барышни и плѣннаго француза окончательно созрѣлъ; она дала слово принадлежать ему и никому больше, а онъ, какъ подобаетъ врагу отечества, отъѣлся, зазнался:

— Расхаживаетъ себѣ помѣщикомъ по хоромамъ изъ комнаты въ комнату, разсказываетъ о немъ одинъ крестьянинъ Рославлеву: курить изъ господской пѣнковой трубки, которую покойникъ берегъ цѣле своего

глаза. Подавай ему того, другого; да какъ покрикиваетъ на людей—словно баринъ какой! А какъ пойдеть гулять по саду съ барышней, такъ—Господи Боже мой! подбоченится, задереть голову... Ну, чортъ ему не брать...

Кончилось дѣло тѣмъ, что влюбленные, боясь скапдала и народнаго волненія, рѣшились при участіи матери Полины обвиняться тайкомъ, ночью, въ кладбищенской церкви. Загоскинъ напрягъ все свои силы, чтобы обставить обрядъ вѣчанія какъ можно эффектибѣе, и вышла мелодрама самаго что ни на есть трескучаго характера: громъ, молнія, завыванія вѣтра, похоронныя дикія рѣчи безумной юродивой Федоры, и тутъ какъ вѣтромъ принесло вдругъ Рославлева, возвращавшагося домой лечить раненую руку, и когда молодые вышли изъ церкви, первое зрѣлище, представившееся имъ при блескѣ молніи и оглушительныхъ раскатахъ грома, былъ самъ герой романа, лежавшій на наперти въ растяжку, безъ чувствъ и истекающій кровью изъ раскрывшейся отъ волненія раны.

Это не помѣшало Полину уѣхать съ своимъ суженымъ въ Москву, въ наполеоновскую армію, не смотря на то, что Рославлевъ послалъ ей вслѣдъ грозное посланіе, исполненное самыхъ страшныхъ проклятій. «Слушайте приговоръ вашъ! писалъ онъ:—вы не укроете ни отъ стыда, ни отъ раскаянія; проклетіе всѣхъ русскихъ, которое прогремитъ надъ преступной главой вашей, не убьетъ васъ—нѣтъ! вы станете жить. Прижавъ къ сердцу обгащенную кровью русскихъ, кровью братьевъ вашихъ, руку мужа, вы пойдете вмѣстѣ съ нимъ по пути, устланному трупами вашихъ соотечественниковъ. Торжествуйте вмѣстѣ съ нимъ побѣду злодѣевъ вашихъ! Забудьте, что вы русская, забудьте Бога!» и т. д.

Проклятія отверженнаго жениха не замедлили обрушиться на голову преступной измѣнницы своего отечества. Она должна была пережить весь ужасъ бѣгства французовъ изъ Москвы, смерть мужа, тысячу униженій со стороны французовъ, которые не признавали ее женою умершаго графа Синскура, а слотрѣли на нее, какъ на его содержанку. Наконецъ, она очутилась въ Данцигѣ во время осады его, и тамъ Рославлевъ нашелъ ее на одрѣ смерти, терзаемую самыми ужасными мученіями совѣсти, такъ что, когда Рославлевъ заговорилъ о возвращеніи ея на родину, она вскричала въ отчаяніи:

— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отечество?... Развѣ несчастная Полина не отказалась навсегда отъ своей родины?... Развѣ найдется во всей Россіи уголокъ, гдѣ-бъ дали приютъ русской, вдовѣ плываго француза?... Отечество!... О, если бы прошедшее было въ нашей волѣ, я не стала-бы тогда заботиться о моемъ спасеніи! Съ какою-бы радостью я обрела себя на смерти, чтобы только умереть въ моемъ отечествѣ. Безумная, я думала, что могу сказать ему: твой Богъ будетъ моимъ Богомъ, твоя земля—моею землею. О нѣтъ, мой другъ! кто покладаетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно, а умереть по ней съ тою...

Наконецъ, на тотъ домъ, гдѣ лежала больная, пала бомба и прекратила физическія и нравственныя страданія умирающей.

Мы нарочно такъ подробно остановились на сюжетѣ,

и именно на судьбѣ главной героини Полины, потому что именно эта сторона романа наиболее обратила на себя вниманіе Пушкина, повидному, глубоко взволновала его и заставила написать своего собственнаго „Рославлева“, нарочно въ разрѣзъ роману Загоскина, какъ протестъ противъ пошлаго некажениа действительности въ угоду узко-патріотической тенденціозности автора „Рославлева“, какъ защиту оскорбляемой тѣни, и ради этой защиты Пушкинъ изобразилъ такой обаятельный типъ русской женщины—гражданки, подобной которому не было до того времени въ русской литературѣ. Мало того, въ повѣсти Пушкина мы видимъ первое сознаніе женской равноправности, о чемъ въ то время никому и не грезилось.

Дѣло въ томъ, что судьба Полины оказалась не вымышленною, а взятою изъ жизни. Интрига новаго романа,—говоритъ Загоскинъ въ своемъ предисловіи,—основана на истинномъ происшествіи—теперь оно забыто; но я помню еще время, когда оно было предметомъ общихъ разговоровъ, и когда проклинали оскорбленнаго Россіянъ греками надъ главою несчастной, которую я назвалъ Полиною въ своемъ романѣ\*.

Пушкинъ начинаетъ свою повѣсть именно съ того, что высказываетъ свои впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ романа Загоскина, и заявляетъ о главной дѣлѣ своей повѣсти устами второстепенной героини, отъ имени которой ведется рассказъ:

«Читая Рославлева, говоритъ рассказчица, съ плутономъ увидѣла я, что завязка его основана на истинномъ происшествіи, слишкомъ для меня известномъ. Нѣкогда я была другою несчастною женщиною, избранною г. Загоскинымъ въ героиню его повѣсти. Онъ вновь обратилъ вниманіе публики на происшествіе забытое, разбудилъ чувства негодованія, угнетенныя временемъ, и возмущилъ спокойствіе моды. Я буду защитницею тѣни,—и читатель признаетъ слабость пера моего, уваживъ сердечный мой побужденіе...»

Далѣе рассказчица повѣствуетъ о своемъ сближеніи съ героиней въ 1811 году, когда ее впервые стали вывозить въ свѣтъ.

«Между двѣнадцатю, выѣхавшими вмѣстѣ со мною, говоритъ она, отличалась княжна \*\* (г. Загоскинъ назвалъ ее Полиною; оставляю ей это имя). Мы скоро подружились—вотъ по какому случаю. Братъ мой, двадцатидухлѣтній малый, принадлежалъ въ сословію тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ иностранной коллегіи и жилъ въ Москвѣ, танцовалъ и вѣнчался. Онъ влюбился въ Полину и уговорилъ меня обвѣнчать наши дома.

«Отецъ Полины былъ заслуженный человекъ, т. е. бѣднѣе цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду; широчень, былъ вѣтренъ и простъ. Мать ея, напротивъ, была женщина степенная и отличалась важностью и строгимъ смысломъ. Полина являлась певадъ; она окружена была поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и слуха придавала ей видъ гордости и холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому лицу и къ чернымъ бровямъ...

«Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора. Ключъ отъ библіотеки отъ нея былъ у нея. Библіотека болѣею частью состояла изъ сочиненій писателей XVIII вѣка. Французская словесность отъ Монтегье до романовъ Кребльона была ей знакома. Русско знала она наизусть. Въ библіотекѣ не было ни одной русской книги, кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не открывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ раз-

брасаетъ русскую печать, и вѣроятно ничего порусскія не читала, но исключая и етпшювы, поднесенныхъ ей московскими стихотворцами).

Надо замѣтить здѣсь, что Пушкинъ подчеркиваетъ тотъ фактъ, что Полина не читала русскихъ книгъ и едва разбирала русскую грамоту нарочно въ виду Загоскину, чтобы, приведя въ ужасъ, какъ его, такъ и всѣхъ класныхъ патриотовъ 30-хъ годовъ, принятъ затѣмъ свою героиню подъ защиту и отпѣть всѣмъ имъ внислѣдующую относѣдь, прекрасно характеризующую бѣдность русской литературы того времени и всю пошлость сѣтованій, затѣмъ ею преперегали великовѣстскіе люди.

«Вотъ уже слава Богу, дѣтъ тридцать, какъ бравятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы порусскіе не читаемъ и не умѣемъ (будто-бы извѣститься на отечественномъ языкѣ. (Н. Автору «Юрія Милославскаго» грѣхъ повторять пошлыя обвиненія: мы всѣ прочли его, и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ переводомъ своего романа на французскій языкъ). Дѣло въ томъ, что мы рады-бы читать порусски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но *всѣмъ-же это вслѣдъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ* (прелестно!). Въ прозѣ имѣемъ мы только исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года назадъ; между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой занимательнѣе, слѣдуютъ одна за другою. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля наша, а все-таки предпочтѣю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, вѣвѣтія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ и мыслимы мы на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которыя мыслить и слѣдить за мыслями человеческого рода). Въ этомъ признавались и самые знаменитые наши литераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писателей на пренебреженіе, въ коемъ оставались мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ торговцевъ, негодующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ у Секлеръ и не довольствуемся произведениями вѣтромехныхъ модистокъ».

Эта начитанность поставила Полину высоко надъ всѣмъ окружающимъ ее обществомъ и она относилась къ нему съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Особенно выразилось это рельефно, когда прѣѣхала въ Москву знаменитая Сталь, и въ Москвѣ не знали, какъ угощать знатную иностранку. Полина сидѣла, какъ на помѣхахъ, на обѣдѣ, который отецъ ея далъ Сталь, при видѣ, какъ пошло, глупо, безтактно ведетъ себя общество. Когда-же Сталь отпустила какой-то двусмысленный и смѣлый каламбуръ, и всѣ были въ восхищеніи, — лицо Полины запыхало, слезы показались въ ея глазахъ.

— Что съ тобой сдѣлалось, та снѣге, спросила ее подруга: неужели шутка немного волная когда-то такой стѣнѣи тебя смутить? — «Ахъ, милая, отвѣчала Полина: я въ отчаяніи! Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщины! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла въ увлекательному разговору внешней образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного занимательнаго слова въ теченіе трехъ часовъ! Тушя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомлен-

ною! Она видѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... И сгорѣла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ объ этой свѣтской мелочи мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она этому старому несносному шуту, который изъ угожденія къ иностранкѣ вадумалъ было смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, который тому сто лѣтъ отстоялъ свою бороду, отстоятъ въ наше время и свою голову». Какъ она мила! Какъ я люблю ее! Какъ ненавижу ея гонителя!»

Но вотъ началась война, начался и kwasной патриотизмъ, и въ то время, какъ Загоскинъ восторгается имъ въ своемъ «Рославлевѣ», Пушкинъ заставляетъ свою рассказчицу относиться къ нему не безъ сарказмовъ:

«Гонители французскаго языка и Кузнецкаго моста, говорить она, взяли въ обществахъ рѣшительный верхъ, и гостиницы наполнились патриотами: кто высматривалъ изъ табакерки французскій табакъ и есталъ нюхать русскій; кто ежаго десятку французскихъ брошюрокъ; кто отказался отъ лафита и принялся за киселья ши. Всѣ заклимались говорить по французски; всѣ закричали о Пожарскомъ и Мининѣ и етали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ Саратовскія деревни».

«Полина не могла скрыть своего презрѣнія, какъ прежде не скрывала своего негодованія. Такая проворная перемѣна и трусость вывели ее изъ терпѣнія. На бульварѣ, на Пресненскихъ прудахъ, она нарочно говорила по французски; за етою-же, въ присутствіи слугъ, нарочно осмаривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности наполеоновскихъ войскъ, о его военномъ гениѣ. Присутствующіе бѣднѣли, опасаясь доноса, и етпшили укорить ее въ приверженности къ врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай Богъ, говорила она: чтобы всѣ русскіе любили свое отечество, какъ я люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда ввѣлась у нея такая смѣлость. «Пожилу!» сказала я однажды: охота тебѣ вабиниваться не въ наше дѣло. Пусть мужчины себѣ дерутъ и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходить, и мнѣ дѣла нѣтъ до Бонапарта». Глаза ея засверкали. «Стыдись, сказала она: развѣ женщины не любятъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей, развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы насъ на балъ вертели въ еко-ецагахъ, а дома заставляли есмыивать по канавъ собачекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое свѣтіе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю умноженія, къ которому присуждаютъ насъ. Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ немъ, какъ съ непріятельской силой. И дядюшка смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостью при приближеніи французской арміи: «будьте покойны, сударини! Наполеонъ вонетъ противъ Россіи, а не противъ насъ...» Да! Еслибы дядюшка попался въ руки французамъ, то его-бы пустили гулять во Пале-Роялю; но M-me de Staël въ такомъ случаѣ умерла-бы въ государственной темницѣ. А Шарлотта Кордѣ? а наша Марва Посадница? а княгиня Д\*\*\*? чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостью души и рѣшительностью!»

Такимъ образомъ среди русскаго общества начала XIX столѣтія Пушкинъ подвѣтилъ уже и имѣлъ возможность нарисовать свою гениальною кистью, во весь ростъ передъ нами, тотъ мужественный и герой-

скій типъ женщины—гражданки, который до такой степени присущъ нашей русской жизни, что черты подобнаго рода характера мы можемъ встрѣтить не только въ нашей историческомъ прошломъ, но даже въ народныхъ былинахъ, относящихся Богъ въсть къ какой стѣдой древности.—Подобнаго рода типы случалось и намъ встрѣчать, конечно, въ наше время, наиболѣе богатое ими, и замѣчательно, что всѣ они имѣютъ такое поразительное сходство между собою, словно отливаются изъ одной разъ когда-то созданной формы: всѣ подобныя женщины съ одинаковымъ негодованіемъ и презрѣніемъ относятся къ окружающему ихъ обществу со всею его пошлостью, суетностью и дикимъ невѣжествомъ, и идутъ въ разрѣзъ съ обычною рутинною жизнью, поражая всѣхъ окружающихъ тою смѣлостью, съ которою онѣ нарушаютъ всѣ общепринятые обычаи и приличія; всѣ онѣ тяготеютъ своею женскою долею и увлекаются до самозабвенія какою-нибудь общественною идеею, жертвуя ей всеми благами жизни. Наконецъ, во всѣхъ нихъ замѣчательна одна типическая черта: любовь стоитъ у нихъ постоянно на послѣднемъ планѣ; онѣ словно тяготеютъ ею; мужичина, который имѣетъ несчастіе полюбить ихъ, если не отвергается ими, то во всякомъ случаѣ дѣлается ихъ рабомъ; онѣ помыкаютъ имъ, какъ механическии орудіемъ для исполненія своихъ мечтательно-широкихъ замысловъ.

Такова передъ нами Полина въ своихъ отношеніяхъ къ страстно любящему ее брату подруги ея.

«Вы чѣмъ пожертвуете? спросила она у моего брата, повѣтствуетъ разсказщица.—Я не владѣю еще ничѣмъ кромѣ, отвѣчалъ мой повѣса. У меня всего-на-все 30,000 долгу, приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества». Полина разсердилась. «Для нѣкоторыхъ людей» сказала она: «и честь, и отечество—все бездѣлица. Братья ихъ умираютъ на полѣ сраженія, а они дуратаются въ гостиныхъ. Не знаю, найдется-ли женщина, довольно низкая, чтобы позволить такимъ фиглярамъ притворяться передъ нею въ любви».

Произошла ссора, и молодые люди помирились лишь тогда, когда молодой повѣса вернулся въ полкъ. Отправляясь на мѣсто дѣйствія, онъ предложилъ ей свою руку. Она согласилась, но отерочила свою свадьбу до конца войны.

Вскорѣ послѣ того началось обмѣнение ея съ графомъ Синекуромъ, однимъ изъ четырехъ пѣвчихъ французомъ, которыхъ отецъ Полины повѣстилъ въ ихъ домъ. «Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принадлежалъ хорошему дому. Лице его было приятно, тонъ очень хорошій; мы тотчасъ отличили его. Даки принималъ онъ съ благородною скромностью. Онъ говорилъ мало; но рѣчи его были основательны. Полинѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно ей истолковать военныя движенія и движенія войскъ. Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ, что отступленіе русскихъ войскъ было не бессмысленный побѣгъ и столько-же безпокойно Наполеона, какъ и ожесточало русскихъ.—«Да вы, спросила его Полина, развѣ вы неубѣждены въ необходимости нашего императора?» Синекуръ (назову-ль и его именемъ, даннымъ ему г. Загоскинымъ), Синекуръ нѣсколько помолчалъ, отвѣчалъ, что въ его положеніи откровенность была-бы затруднительна. Полина настоятельно требовала отвѣта. Синекуръ признался, что стремленіе французскихъ войскъ въ сердце Россіи могло сдѣлаться для нихъ опасоно, что походъ 1812 года, кажется, конечно, но не представляеть ничего рѣшительнаго. «Конченъ!» возразила Полина, а Напо-

леонъ все еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ.—«Тѣмъ хуже для насъ», отвѣчалъ Синекуръ, и заговорилъ о другомъ предметѣ.

Своими основательными сужденіями Синекуръ производилъ на Полину тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что отъ своего жениха получала она письма, въ которыхъ толку невозможно было добиться; они были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полинѣ, пошлыми увѣреніями въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадовала и пожимала плечами. «Приваивайся, говорила она подругѣ, что твой Алексѣй преудетой человекъ. Даже въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, съ поля сраженія, находить онъ способъ писать ничего незначащія письма; какова-же будетъ мнѣ его бесѣда въ тихой семейственной жизни?»

Она примирилась съ пошлостью своего жениха, только когда его убили въ Бородинскомъ сраженіи, и даже огорчилась его смертію. «Она не была влюблена въ брата,—повѣтствуетъ разсказщица,—и часто на него досадовала, но въ эту минуту видѣла она въ немъ лученика, героя, и ослѣпилась въ тайнѣ отъ меня. Нѣсколько разъ и заставляла ее въ слезахъ. Это меня не удивляло; я знала, какою болѣзненнымъ участіемъ принимала она въ судьбѣ страждущаго нашего отечества. Я не подозрѣвала еще, что было причиною ея горести».

Но во всемъ величій своего энтузіазма, во всей своей нравственной ростъ, если можно такъ выразиться, выступаетъ передъ нами Полина въ заключительной сценѣ разсказа, при извѣстїи о пожарѣ Москвы. Сцена эта проходила въ саду, гдѣ были Синекуръ и разсказщица, когда къ нимъ быстрыми шагами подошла Полина.

«Блѣдность ея меня поразила, повѣтствуетъ разсказщица:—«Москва влѣта!» сказала она мнѣ, не отвѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое скакало, слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупилъ глаза».

«Влагодородные, просвѣщенные французы, продолжала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія, ознаменовали свое торжество достойнымъ образомъ. Они зажгли Москву—Москва горитъ уже два дня.—«Что вы говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ быть!»—«Дождитесь ночи, отвѣчала она сухо, можетъ быть увидите зарю.»—«Боже мой! Онъ погибъ, сказалъ Синекуръ; какъ? развѣ вы не видите, что пожаръ Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону нигдѣ нечѣмъ будетъ держаться, что онъ принужденъ будетъ скорѣе отступить сквозь разоренную и недовольную? И вы могли думать, что французы сами избрали себѣ ады: русскіе, русскіе зажгли Москву!»—Теперь все рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасости; но что будетъ съ нами, что будетъ съ нашимъ императоромъ?»

«Онъ оставилъ насъ. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, сказала она, Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы—нашихъ дѣло? Если такъ... О, иль можно гордиться именемъ россиянина! Вседнякая изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше мнѣ не страшно,—честь наша спасена; никогда Европа не осмѣлится уже бороться съ народомъ, который рубить самъ себя руки и жметъ свою столпу».

Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ. «Ты знаешь? сказала мнѣ Полина съ видомъ вдохновеннымъ: твой братъ... онъ счастливъ; онъ не въ плѣну—радуйся; онъ убить за спасеніе Россіи». Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея объятія».



Мы нисколько не удивляемся, что Пушкинъ изобразилъ подобный типъ. Онъ навѣрно не одну подобную героиню видѣлъ въ числѣ женъ своихъ друзей, тѣхъ самыхъ знаменитыхъ женъ, которыя въ то время, какъ поэтъ писалъ свой рассказъ, раздѣляли уже далекую ссылку своихъ мужей;—удивительно, что критика наша и до сихъ поръ не обмолвилась ни однимъ словомъ объ этомъ замѣчательномъ типѣ, достойномъ занимать первое мѣсто въ ряду типовъ русскихъ женщинъ. Такъ Вѣдлинскій, останавливаясь подробно на женскихъ типахъ романа „Евгеній Онегинъ“—Татьянѣ и Ольгѣ и считая Татьяну лучшею женщиною, какая только мыслима въ нашей жизни, совершенно упустилъ изъ виду Подину, да и вообще „Рославлева“ онъ пропустилъ молчаливѣе, вѣроятно изъ того предубѣжденія, которое онъ питалъ ко всѣмъ повѣстямъ Вѣлкина. Добролюбовъ, разбирая тургеневскую Елену въ „Наканунѣ“, въ свою очередь совершенно, повидимому, игнорировалъ, что типъ Елены не впервые является въ нашей литературѣ въ романѣ Тургенева, что онъ имѣеть своего предшественника и въ лицѣ Подины является изображеніемъ еще болѣе совершенно и гениально.

Мы не будемъ долго останавливаться на прочихъ историческихъ романахъ Загоскина, такъ какъ въ первыхъ двухъ романахъ своихъ авторъ выразился вполне, и мы достаточно познакомились съ ними при характеристикѣ этихъ романовъ. Въ послѣдующихъ же своихъ произведеніяхъ этого рода Загоскинъ не только не подвинулся впередъ и не обнаружилъ никакихъ-нибудь новыхъ достоинствъ или сторонъ своего таланта, но напротивъ того, съ каждымъ романомъ являлся передъ читателемъ все рутиннѣе, блѣднѣе и безцвѣтнѣе.

Такъ, въ 1833 году Загоскинъ напечаталъ новый историческій романъ въ 3-хъ частяхъ подъ заглавіемъ „Аскольдова могила, повѣсть временъ Владиміра перваго“. Уже одно заглавіе этого романа показываетъ, какъ легкомысленно относился къ исторіи нашъ первый историческій романистъ. Въ самомъ дѣлѣ, писать историческій романъ изъ такой мнѣшечкой эпохи, какъ эпоха Владиміра Святаго, имѣлъ право только такой компетентный ученый, который до тла изучилъ археологію, сравнительную славянскую мифологію и Византійскія древности девятаго вѣка; да и такой ученый подумалъ-бы, есть-ли возможность хоть приблизительно вѣрно изобразить такую темную и недубасно-ловную эпоху. Загоскинъ-же, безъ долгихъ размышлений и какихъ-бы то ни было сомнѣній, вооружился первымъ томомъ Карамзина и Сборникомъ былинъ Кириши и ровно въ такое-же количество времени, какое употребилъ онъ на каждый изъ предыдущихъ романовъ, т. е. въ два года, написалъ свою „Аскольдову могилу“.

Карамзинъ не замедлилъ оказать свое вліяніе на Загоскина. Такъ мы видимъ, что въ романѣ Загоскина, въ девятомъ вѣкѣ уже простые кievскіе рыбаки, преисполненные такого-же пламеннаго патріотизма, какъ и москвичи въ 1812 г., представляли уже Рос-

сію могучимъ и цѣльнымъ государствомъ, а Владиміра доблестнымъ единоподержавнымъ царемъ ея. Такъ, въ первой-же главѣ является къ этимъ рыбакамъ какой-то неизвѣстный, оказавшійся потомъ главнымъ мелодраматическимъ злодѣемъ романа, и начинаетъ возмущать ихъ противъ Владиміра, говоря о счастливыхъ старыхъ временахъ, когда Русью правили князья Аскольдъ и Диръ. Когда неизвѣстный ухмыляется на людѣ, между рыбаками происходитъ такая сцена:

— А что, паренъ, прервалъ дѣтина съ рыжей бородой, вѣдь этотъ долговязый себѣ на умъ! И впрямь, житье-то наше позавидное. Эхъ, кабы воля, да воля! чтобы намъ хоть одного проклятаго матальника покупать въ Дмитръ?

— А тамъ добрались-бы и до всѣхъ? прервалъ старикъ. И злыхъ, и добрыхъ — тоши всѣхъ сразу! Нѣтъ, ребяташи! Какъ у нашего брата руки расходятся, такъ и воля будетъ хуже неволи.

— Да за чтожь, дѣдушка, въ старину-то насъ никто не обижалъ?

— Право! Да вы никакъ въ самомъ дѣлѣ повѣрили этому краснобаю? Эхъ, дѣтушки! И два вѣка изжили, такъ лучше повѣрите мнѣ, старикъ. Бывало и худо, что грѣхъ тать; и при бабушкѣ нашего государя, премудрой Ольгѣ, аме господи народъ обижали, и при смнѣ ея Святославѣ Игоревичѣ. Коли безъ того! Вѣдь одному за всѣми не усмотрѣть. И то говорить — и при нашемъ батюшкѣ, Великомъ князѣ, подъ часъ бываесть ео всячиною. Да чтожь дѣлать, ребяташи? видно ужъ свѣтъ на томъ стоитъ!

— Да о какомъ-же онъ все толковалъ Аскольдѣ, дѣдушка?

— Поужели не знаешь? Ну, вотъ, что похороненъ тамъ... банъ моста Угорскаго подъ самою рѣкою.

— А кто онъ былъ таковъ?

— Прахъ его знаетъ! Такъ, какой-нибудь ледащій князюшка. Чай, въ его время дѣшнѣе не обижалъ Киевъ. То-ли дѣло теперь, и подумать-то никто не смѣетъ. Вотъ недавно завозились было Ятвяги, да Радимичи; много взяли! Лишь только нашъ удалой князь брови нахмурилъ, такъ они мѣта е нашіи! Что тутъ говорить, — продолжалъ старикъ съ возрастающимъ жаромъ. Да бываль-ли на Руси когда-нибудь такой могучій Государь? да леталь-ли когда по поднебесью такой ясный соколъ, какъ нашъ батюшка Владиміръ Святославичъ?!

— Правда, правда! — закричали почти всѣ рыбаки.

— А какъ выведетъ нашъ кормилецъ, — промолвилъ одинъ изъ нихъ — на борзомъ конѣ своемъ, впереди своихъ удамыхъ витязей — что за молодежь такой! Такъ, глядя на него, сердце запыгаетъ отъ радости.

— Да какъ сердцу и не радоваться, — подхватилъ другой — вѣдь онъ нашъ родной! Ему честь — намъ честь.

— Эхъ, ребята! вскричалъ третій, напрасно мы не связали этого разбойника. Лишь его знаетъ, кто онъ таковъ! Уже не Ятвяги-ли его подослали и т. д.

Или, еще того лучше, дѣшной пустынный Алексій слѣдующими словами укоряетъ своего преступнаго брата, все того-же неизвѣстнаго, желающаго погубить Владиміра и съ этою цѣлю призвать Печенѣговъ:

— Пѣтъ! не кормилецъ тотъ земли русской, кто предастъ ее во власть враговъ! *Владыка силенъ любовью своихъ подданныхъ*; и горе имъ, если онъ долженъ прибѣгать подъ защиту иноземныхъ. *Тогда только блаженствуетъ страна, когда царь и народъ, какъ душа и тѣло, неразделимы между собою.* И неужели ты думаешь, что признавшия тобою Печенѣги, истребивъ войско Владиміра, удовольствуются

временною данью и удалится спокойно отъ предѣловъ нашихъ? О, нѣтъ! ты знаешь самъ, что эти хищные звѣри покроютъ пепломъ всю землю русскую; уведутъ въ неволю женъ и дѣтей нашихъ; запрудятъ широкій Днѣпръ трупами беззащитныхъ поселенъ, и до тѣхъ поръ не покинутъ Кіева, пока развалины его не пороснутъ травою. Несчастнѣйшій не довольно еще ты собралъ проклятій на главу свою? Ты никогда любилъ отечество, ты съ гордостью называлъ себя русскимъ! Подумай, что готовишь ты для своей родины?.. Если Печенѣги не разорятъ до конца Кіева, то пощадятъ-ли его соседніе народы? Не слетятся-ли надъ его трупомъ, какъ алчные коршуны, Итвиги, Радимичи, Литва и Хорваты? Отвѣтствуй мнѣ! Спасетъ-ли тогда неопытнѣйшій юноша отъ рабства и вѣчной гибели растерзанное прагман, смутами и междоусобіями, влосчастное Царство Русское!

Какъ вамъ нравится подобная тирада, уснащенная словами въ родѣ отечество, русское царство, поданные и т. п. въ устахъ современника Владимира, когда слово Русь, во всей вѣроятности, употреблялось еще, какъ названіе племени или княжеской дружины, когда вѣсто казого-бы то ни было царства только и было на Руси, что два княжества — Новгородское и Кіевское, — что же касается до такихъ словъ, какъ *отечество*, *родина*, то навѣрное они совсѣмъ не существовали еще, и каждый отдѣльный человѣкъ считалъ себя принадлежащимъ не русскому государству, а такому-то городу или селу.

Вотъ какова „исторія“ въ „Аскольдовой могилѣ“. За то сказочному элементу здѣсь не было ни малѣйшаго удержа, и онъ могъ разыгрываться на полномъ просторѣ, какъ объ этомъ говоритъ и самъ авторъ въ началѣ первой главы: „пусть называютъ мой рассказъ баснею: тамъ, гдѣ безмолвствуетъ исторія, гдѣ вымыселъ сливается съ истинкою, довольно одного преданія для того, кто не ищетъ славы дѣписателя, а желаетъ только забывать русскихъ разсказами объ ихъ отечествѣ“. Впрочемъ, надо признаться, что сюжетъ романа во многомъ уступаетъ сюжету „Юрія Милославскаго“; онъ слишкомъ грубо мелодраматиченъ, и къ тому-же Загоскинъ кое въ чемъ повторяется: такъ Торопка-Голованъ напоминаетъ собою запорожца Киршу, варягъ Фрелатъ — пана Калущинскаго.

Подобно „Рославлеву“, „Аскольдова могила“ выдержала два изданія; но этиль и ограничивается сходство въ судьбѣ этихъ двухъ романовъ, — далѣе затѣвъ начинается различіе. „Рославлеву“, передѣланной въ драму кн. Шаховскаго, не имѣлъ успѣха, въ то время, какъ „Аскольдова могила“, передѣланная самимъ Загоскинымъ въ оперу, затмила собою романъ, благодаря какъ сценичности либретто, такъ и талантливой музыкѣ А. П. Верстовскаго. Довольно сказать, что поставленная въ первый разъ на сцену 16 сентября 1835 года, опера 50 лѣтъ существуетъ уже на сценѣ, не утрачивая своего обаянія на публику.

Позднѣйшіе романы Загоскина относятся уже къ 40-мъ годамъ. Такъ въ 1842 году явился въ свѣтъ романъ его въ 4 частяхъ — „Бузьма Петровичъ Мирошевъ, русская быль времени Екатерины II“, выдержавшій, въ свою очередь, два изданія. Собственно говоря, романъ этотъ, если судить строго, нельзя от-

нести къ историческимъ, такъ какъ эпоха XVIII вѣка рисуется въ немъ самыми общими и блѣдными чертами. Такой-же самый скромный Мирошевъ со своимъ скромнымъ романомъ, могъ-бы существовать и въ 40-хъ годахъ, исключая развѣ только эпизода объѣда у вельможи Екатерининскихъ временъ. Тѣ открытыя пиришества, на которыя можно было приходиться съ улицы кому угодно и которыя задавали екатерининскіе сановники, безспорно составляютъ характеристическую черту 18-го вѣка; но эту одну единственную историческую черту только и можно найти во всехъ романахъ.

Затѣвъ въ 1846 году былъ напечатанъ романъ „Брынскій лѣсъ, эпизодъ изъ первыхъ годовъ царствования Петра Великаго“. Романъ этотъ запутанностью и сказочностью интриги, основанной на томъ, что героиня оказывается похищенною въ дѣтствѣ и воспитанною совсѣмъ въ другой семьѣ, и лишь въ концѣ романа узнаетъ своихъ настоящихъ родителей, — напоминаетъ нѣсколько „Юрія Милославскаго“, но публику второй половиною 40 годовъ нельзя уже было увлечь одною сказочною интригою. Эта публика привыкла уже къ натурализму Гоголя, и прошла сквозь школу критическихъ статей Бѣлинскаго; она требовала уже простыхъ, естественныхъ и реальныхъ сюжетовъ. Историческій-же элементъ романа, по обыкновенію, крайне слабъ и блѣденъ; авторъ и здѣсь обходитъ крупными событіями эпохи, и излагая ихъ въ краткихъ перечняхъ, все вниманіе читателей обращаетъ на изображеніе сентиментально-приторной любви своихъ героевъ. Желая изобразить эпоху во всѣхъ ея элементахъ, Загоскинъ, между прочимъ, выставилъ въ своемъ романѣ нѣсколько типовъ раскольниковъ, но всѣ они вышли у него слишкомъ ужъ мрачными и нетерпимыми изувѣрами, скроенными по одному рутинному и стереотипному шаблону, показывающему, что онъ имѣлъ очень поверхностныя свѣдѣнія о значеніи раскола на Руси и о его внутреннихъ характерахъ. Какъ-бы то ни было, въ средней публикѣ романъ все-таки имѣлъ успѣхъ на столько, что выдержалъ три изданія.

Наконецъ, послѣдній романъ Загоскина „Русскіе въ началѣ восемнадцатаго столѣтія, разсказъ изъ времени единодержавія Петра I-го“ былъ изданъ уже въ 1848 году. Здѣсь рисуется эпоха Петра во всемъ разгарѣ реформъ. Загоскинъ употребляетъ все усилія, чтобы изобразить эту эпоху во всей пестротѣ ея элементовъ: тутъ передъ нами предстаютъ и молодые приверженцы новыхъ порядковъ съ ихъ ломаннымъ языкомъ, уснащеннымъ иностранными словами, и стародумы съ ихъ упорнымъ коснѣніемъ въ обычаи старины и тайными заговорами, и ассамблеи, и нѣмецкіе генералы, и самъ Петръ, наконецъ, въ самую роковую минуту своего царствованія, въ плѣну на рѣкѣ Прутѣ, — но нѣтъ одного: того гениально-паразительнаго умѣнія двумя-тремя тонкими и живыми чертами совершенно перенести васъ въ историческую эпоху, какое мы нашли въ „Арапѣ Петра“ Пушкина. Все это выходитъ у Загоскина, хотя на этотъ разъ и исторически вѣрно, но какъ-то алиловато, лубочно и поверхностно. — Нѣтъ ничего мудренаго, что романъ не имѣлъ успѣха. Публикѣ, очевидно, крайне уже при-

дѣясь въ то время историческіе романы, особенно-же въ эпохи Петра, которыми успѣлъ набить ей оскоми-ну Н. Кукольникъ. Къ тому-же сюжетъ романа показанъ слишкомъ простымъ и бѣднымъ для читателей, любящихъ сказочныя интриги, а для высокоинтеллигентной публики этотъ самый сюжетъ показанъ на-противъ того слишкомъ вычурнымъ и неестествен-нымъ, особенно въ концѣ романа, гдѣ герой отличает-ся необыкновеннымъ великодушіемъ, являясь спаси-телемъ отъ заслуженной кары своего соперника, ко-торого онъ считалъ лучшею своей возлюбленной, ну и, конечно, очень обрадовался, узнавши, что героиня еще не замужемъ и что спасти соперника не для че-го. — Было очень странно уже читать любовныя объ-ясненія въ сентиментальномъ каразинскомъ стилѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда на литературную арену выступили уже и Гончаровъ, и Тургеневъ, и Достоевскій, и Григоровичъ. Пѣсенка Загоскина оче-видно была уже слѣта.

## V.

Происхождение и дѣтство И. И. Лажечникова. — Его воспитаніе. — Первые литературные опыты. — Предварительная служба. — Участіе въ войнѣ 1812—1815 гг. — Первая историческая повѣсть «Малиновка». — Служба подъ начальствомъ Магницкаго. — Сближеніе съ Вѣлинскимъ.

Рядомъ съ именемъ Загоскина, въ тѣсной и неразрывной связи, ставятъ всегда имя другого романиста, считающагося въ свою очередь основателемъ русскаго историческаго романа, — Ивана Ивановича Лажечникова, хотя по правдѣ сказать Загоскинъ только и имѣетъ общаго съ Лажечниковымъ, что оба они почти въ одно время начали писать историческіе романы; а затѣмъ ни въ чемъ они не сходятся: ни въ степени ихъ талантовъ, ни въ образованности, ни въ происхожденіи и обстоятельствахъ жизни, ни въ характерѣ ихъ романовъ.

И. И. Лажечниковъ происходилъ изъ купческаго рода. Отецъ его былъ богатѣйшій коломенскій хлѣботорговецъ, коммерціи совѣтникъ, одинъ изъ первыхъ воротилъ въ своемъ родномъ городѣ Коломнѣ, унаслѣдовавшій отъ своего отца богатое наслѣдство. Домъ его въ городѣ поражалъ своимъ великолѣпіемъ. Домъ этотъ, повѣствуетъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о 12-мъ годѣ: славился роскошью своего убранства: вездѣ паркетъ изъ краснаго, чернаго, пальмоваго дерева, мраморъ, штофъ... Въ немъ отецъ мой угощалъ великолѣпныхъ сыновъ кончавшагося вѣка

Изъ стаи славной  
Екатерининскихъ орловъ,

и угощалъ великолѣпно, не ударялъ лицомъ въ грязь передъ важными господами, не брезгавшими водить хлѣбъ-соль съ купцомъ. Онъ жилъ, вообще, какъ богатые дворяне того времени. И чтобы совѣтъ походить на нихъ, онъ купилъ себѣ даже помѣстье въ 23 верстахъ отъ Коломны, «Красное Сельцо». Помѣстье это было куплено на имя хорошаго пріятеля Лажеч-

никова, московскаго губернатора Обрѣзкова, на чужое имя, какъ мы полагаемъ, потому, что купцамъ въ то время было воспрещено покупать населенныя имѣнія\*....

«Во время цвѣтущаго покоемъ дѣла, говорится въ автобіографіи, читанной О. Ливановымъ на пятидесятилѣтнемъ юбилей Лажечникова: — Красное Сельцо было настоящимъ Эльдорадо того времени. Туда стекались дворяне убѣзда на приманку вкусныхъ обѣдовъ съ аршинными стераздами, пойман-ными въ собственныя прудахъ, и двухфунтовыми грушами, только что сорванными въ своихъ оранжерейхъ. Все это приправляли радушіе, умъ, любезность хозяина и красота хозяйки, петовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринославскаго кирасирскаго полка, стоявшаго въ окрестности, толпились каждый день у гостепріимнаго амфибіона. Трехъ-этажный домъ и таковой же флигель не могли вмѣстятъ на сонъ грядущій посѣтителей. Губернаторы, ѣздившіе ревизовать губернію, дѣлали нѣсколько верстъ крюку по проселочной дорогѣ, чтобы откушать хлѣба-соли у радушнаго помѣщика — купца. Периодичный оркестръ домашнихъ музыкантовъ во время обѣдовъ услаждалъ слухъ гостей увертюрами изъ тогдашнихъ модныхъ оперъ».

Но не одной роскошною внѣшностью подражалъ отецъ Лажечникова дворянцѣ, и также и по своему образованію онъ значительно выдѣлялся изъ своихъ собратьевъ-купцовъ. «Надо прибавить, говоритъ Лажечниковъ о своемъ отцѣ въ своемъ автобіографическомъ романѣ «Вѣленскіе, черненскіе и сѣренскіе», — что онъ имѣлъ врожденное стремленіе къ образованію себя. Случай развила еще болѣе эту склонность. Въ одну изъ частыхъ побѣдокъ своихъ въ разные предѣлы Россіи, которая онъ всякій годъ совершалъ по торговымъ дѣламъ, познакомился онъ гдѣ-то съ ка-кимъ-то господиномъ Новиковымъ. Новиковъ полюбилъ молодого человѣка, бесѣдовалъ съ нимъ часто о благахъ, доставляемыхъ просвѣщеніемъ, и снабдилъ его спискомъ всѣхъ книгъ и журналовъ, какіе только были изданы на русскомъ языкѣ. Молодой купчикъ не замедлилъ купить эти книги и читалъ ихъ съ жадностью»...

Эта начитанность отца Лажечникова повела за собою два послѣдствія: во-первыхъ, въ домѣ его царствовали ненарушимыя благочиніе, приличіе и гуманная кротость въ обращеніи съ домочадцами и слугами, что составляеть большую рѣдкость въ купеческихъ домахъ, даже и до сего дня. А во-вторыхъ, чувствуя себя выше всѣхъ согражданъ по своему образованію, гордясь, въ то же время, своею честностью и прямо-тою, — отецъ Лажечникова отличался необузданною острою и колкостью своего языка; при чемъ остро-ты его, попадая не въ бровь, а въ самый глазъ, создавали ему множество враговъ среди людей важныхъ, такъ какъ, не ограничиваясь своими согражданами, онъ отпускалъ колкости и на счетъ городскихъ властей. Такъ, напримѣръ, городничаго, который состоялъ въ амурахъ съ одной отпѣвкою графиней, жившей въ окрестностяхъ города, и потому вѣчно про-падалъ въ имѣніи ея и весьма мало заботился о городскихъ дѣлахъ, онъ прозвалъ убѣднымъ городни-чавъ, и клочка эта такъ и осталась за нимъ. Мало этого: по словамъ Лажечникова, онъ «иной разъ такъ смѣло выражался о разныхъ важныхъ предме-

тахъ и лицахъ, что у трусливаго человѣка, слушавшаго его, волосы дыбомъ становились\*.

Все это сходило старику, благодаря богатству его и связямъ, а главное дѣло мягкимъ и снисходительнымъ правамъ эпохи Екатерины. Но когда настала суровый и строгій режимъ царствованія Павла Петровича, ему пришлось жестоко поплатиться за своевольныя мысли. Однажды отпустилъ онъ какую-то остроуту на счетъ высокопоставленнаго коломненскаго духовнаго лица. Священникъ, обучавшій дѣтей Лажечникова русскому языку, считая своимъ священнымъ долгомъ передать духовному сапожнику von mot Лажечникова, а тотъ, воспылавши гнѣвомъ, недолго думая ошесся въ Петербургъ съ жалобою на Лажечникова, какъ на несомнѣннаго якобинца. И вотъ неожиданно въ глухую ночь домъ Лажечниковыхъ былъ разбуженъ страшнымъ стукомъ, шумомъ и звономъ колокольчиковъ на дворѣ. Поднялась суматоха, и вслѣдъ затѣмъ, пишетъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, я увидѣлъ рыдающую мать мою, прощаніе ея съ отцомъ, благословеніе его дрожащею рукою надо мной и братомъ моимъ. На дворѣ стояли три таинственныя тройки, запряженныя въ рогожевыя кибитки. При нихъ были какіе-то солдаты. Въ одну кибитку посадили моего отца, въ другую губернатора Monsieur Beaulieu, въ третью священника, нашего русскаго учителя; казалося ихъ увезли въ вѣчность. Вслѣдъ затѣмъ слышны были только перешептыванія, рыданія матери и причитанія женской прислуги. Въ этомъ происшествіи никто ничего не могъ понять. Дядька мой Ларивонъ угрюмо молчалъ, нянька Домна усердно молилась и приказывала мнѣ молиться\*.

Собравши по возможности больше денегъ и взявъ обоимъ сыновей своихъ, Лажечникова на слѣдующій же день отправилась по слѣдамъ мужа въ сопровожденіи преданнаго слуги своего Ларивона. Но пріѣздѣ въ Москву, говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, мы отправились въ тайную канцелярію, находившуюся на углу Мясницкой и Лубянской площади, что нынѣ домъ московской духовной консисторіи. Здѣсь какой-то генералъ дозволилъ намъ свиданіе съ плѣнникомъ. Мы простились съ нимъ, не зная, увидимъ-ли его когда-нибудь. По дальнѣйшимъ свѣдѣніямъ извѣстно намъ стало, что узника посадили въ Петропавловскую петербургскую крѣпость и отобрали у него ножи и вилки\*.

Походатайству жены за узника взялись усердно хлопотать приближенные императору Павлу лица, Куракинъ и Лобановъ-Ростовскій. Воспользовавшись тѣмъ, что въ день Михаила Архангела, въ сентябрѣ, Павелъ Петровичъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, они осмѣлились доложить ему и убѣдить императора, что коломненскаго купца оклеветали напрасно. Имъ повѣрили, и Лажечниковъ былъ освобожденъ. Доносчика же священника перевели въ Тульскую губернію на низшее мѣсто и онъ вскорѣ сошелъ съ ума. День Михаила Архангела сталъ священнымъ въ семействѣ Лажечниковыхъ. Каждый годъ онъ праздновался самымъ торжественнымъ образомъ. Катастрофа эта не прошла даромъ Лажечниковымъ. Не говори уже о томъ, что не малыхъ денегъ стоили имъ хлопоты и ходатайства объ освобожденіи главы дома, торговля

дѣла ихъ оказались сильно запущенными за время его отсутствія. Съ каждымъ годомъ послѣ того благосостояніе ихъ начало клониться къ упадку, а въ 1811 г., вслѣдствіе нѣкоторыхъ торговыхъ неудачъ, дошло дѣло до того, что для спасенія отъ банкротства пришлось распродать все недвижимое имущество.

Но это случилось, когда нашему будущему романисту было уже 19 лѣтъ. Когда же онъ родился, 14 сентября 1792 г., родительскій домъ представлялъ еще изъ себя полную чашу, и ничто не смущало безмятежнаго дѣтства будущаго романиста. Первымъ воспитателемъ его былъ приставленный къ нему дядькою, вышеупомянутый Ларивонъ, человѣкъ большой душевной чистоты и мягкости, никогда не позволившій себѣ грубаго слова. Воспитанникъ не видалъ отъ него сердитаго толчка, не только розги (которая, правда, ни отъ кого никогда не была на малюткѣ); никогда бранное слово не вырывалось изъ устъ воспитателя, а если нужно было сдѣлать выговоръ, такъ это дѣлалось во имя стыда. — «Эхъ! какъ вамъ не стыдно, Иванъ Ивановичъ! — говаривалъ онъ въ минуты крайней необходимости, когда видѣлъ непростительную шалость своего питомца: — этого и бурлака не сдѣлаешь\*».

«Я учился, говоритъ Лажечниковъ въ своей автобіографіи, сначала русской грамотѣ у священника. Когда мнѣ минуло шесть лѣтъ, взяли въ мать въ домъ губернатора Monsieur Beaulieu, французскаго эмигранта, не походившаго на своихъ собратьевъ-проходимцевъ. Онъ получилъ образованіе въ Страсбургскомъ университетѣ, зналъ основательно французскій и нѣмецкій языки, на русскомъ изъяснялся чисто, по ученымъ нельзя было его назвать. Мы нашь въ домъ поступилъ онъ, кончивъ воспитаніе дѣтей въ домѣ князей Оболенскихъ, по рекомендаціи знаменитаго подвижника русскаго просвѣщенія въ Россіи — Новикова, которому, сколько могу сообразить, былъ братъ по масонству. Всегда неукоризненно одѣтый во французскій кафтанъ короткаго цвѣта, съ косомъ и бантомъ за плечами, являлся онъ въ общему столу и учению. Манеры его были просты, но изобличали въ немъ дворянина дореволюціонныхъ временъ, доброту, не доходящую, однакожь, до слабости. Старшій братъ мой, увидѣвшись у него, любилъ его, какъ второго отца. Память о немъ до сихъ поръ съ глубокою благодарностью сохраняется въ сердцѣ моемъ. Никогда не видалъ я надъ собою розогъ, и все наказаніе учебное ограничивалось у насъ ставленіемъ за обидомъ въ уголь, каковое наказаніе огорчало меня до обильныхъ слезъ».

Вывставляя этого самого Monsieur Beaulieu подъ именемъ Ришара въ своемъ романѣ „Немного лѣтъ назадъ“, Лажечниковъ восторженно говоритъ о своемъ наставникѣ, что не имѣя глубокихъ познаній въ наукахъ, онъ, однакожь, успѣлъ передать ученику все свои познанія и, что дороже всякихъ знаній, любовь ко всему прекрасному и благородному и ненависть къ угнетенію и несправедливости.

«Выучившись читать по русски, — говоритъ далѣе Лажечниковъ въ своей автобіографіи: — я съ жадностью бросился на книги и перебралъ всю бібліотеку отца моего, въ которой, сколько припомнить могу, нашелъ «Всемирный путешественникъ», сочиненія Ломоносова и все, что издано было по русской литературѣ до того времени. Когда я хорошо ознакомился съ французскимъ языкомъ и порядочно съ нѣмецкимъ, моя литературная жатва была обиль-

нѣе; мало по малу, съ физическимъ и умственнымъ ростомъ моимъ, и сталъ читать на французскомъ языкѣ сочиненія аббата де-Сенъ-Пьера, Эмиля Руссо, трагедіи Вольтера и Расина, Тацита, Тита Ливія по французскому переводу, кажется, Лермише, Шиллера на нѣмецкомъ языкѣ и др.; говорю только о любимыхъ моихъ писателяхъ. Въ это время, еще будучи четырнадцати лѣтъ, и возлюбилъ сильную охоту къ сочинительству и сдѣлалъ на французскомъ языкѣ описаніе Мллкаго Кургана, что по дороге изъ Москвы въ Коломну; пятнадцати лѣтъ сочинилъ на толь-же языкѣ стихотвореніе, а 16 лѣтъ написалъ: «Мысли въ подражаніе Лабрюйеру», и послалъ статью эту въ «Вѣстникъ Европы», издававшийся тогда Каченовскимъ. Редакторъ, не подозревая въ авторѣ мальчика, напечаталъ статью въ своемъ журналѣ, а такъ какъ я грозилъ въ одной фразѣ тирановъ, то онъ сдѣлалъ на нее собственноручное замѣчаніе».

По правдѣ сказать, мысли эти вполнѣ ребяческія, но въ стать пятнадцати-лѣтнему мальчику, и мы приводимъ нѣкоторые изъ нихъ для того только, чтобы читатели могли видѣть, какія дѣтскія сочиненія находилъ себя въсто на страницахъ лучшихъ журналовъ начала нашего столѣтія:

«Гордость, — размышляетъ юный Лажечниковъ: — разумно, благородно — должна быть видна и въ монархіи, и въ народѣ, для того чтобы заставить себя уважать и страшиться, — въ бдѣннѣмъ и несчастномъ человѣкѣ; для того, чтобы заставить почитать добродѣтель и въ рубшищѣ...»

«Кто не былъ несчастливъ, не знаетъ, что есть истинно наслаждаться счастьемъ; кто не видалъ указовъ бури, не ощущаетъ живого удовольствія въ ласковую погоду; кто не былъ палымъ солнечнымъ зносомъ, не знаетъ, что есть прохлада тѣнистой рощицы и свѣжій струи ручейка кристальнаго!...»

«Когда безсмысленные мальчишки бросаютъ въ меня камнями, что долженъ я дѣлать? — Вызвать отъ нихъ и спрятаться за высокимъ заборомъ...»  
п. т. д.

А вотъ то самое размышленіе, въ которомъ Лажечниковъ, по словамъ его, грозилъ тирановъ:

«Какое различіе между женщиною и царемъ переидеи? — Деспотическое правленіе первой основано на законахъ природы — то есть красоты, добродѣтели; а второго — на законахъ, установленныхъ съ одной стороны жестокостью, съ другой — страхомъ. Какъ пріятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связываетъ смертныхъ узамъ любви! — Какъ несносно безпредѣльное могущество второго, ибо оно оковываетъ подданныхъ тяжкими цѣпями тиранства!...»

Вотъ это размышленіе и вызвало со стороны Каченовскаго слѣдующее примѣчаніе:

«Неограниченная, во зло употребляемая власть женщины столь-же несносна, какъ и безпредѣльное могущество переидекаго царя, во зло имъ употребляемое (все курьезы Каченовскаго). Люди уже наслаждаются счастьемъ, живучи подъ властью отеческою, на взаимной довѣренности и правителя, и управляемыхъ основанною, прежде нежели пришло имъ на мысль писать обществено «договоры»».

Между прочими своими наставниками и лицами, оказавшими вліяніе на его умственное развитіе, упоминаетъ Лажечниковъ (въ своемъ романѣ «Вѣленіе, черенки и сѣренькіе») и того самаго городничаго, котораго отецъ его заклеилъ вѣличкою «Узданаго».

«Узданный городничій, — говоритъ онъ, — даскалъ Ваню и имѣлъ отчасти вліяніе на его воспитаніе...»

научилъ его первымъ правиламъ стихотворства и декламации. Ваня съ одушевленіемъ и вѣрно читалъ его стихи передъ многочисленной публикой и даже разъ провнесъ русскій акростихъ, заранѣе переведенный на французскій языкъ, передъ поэтической графиней, которой городничій представилъ его, какъ ранній талантъ. Ваня декламировалъ стихи «съ тактомъ, чувствомъ, разстановкой», и графиня наградила ранній талантъ похвалою и французскимъ молитвенникомъ въ роскошномъ переплетѣ».

Между тѣмъ, по обычаю того времени, въ 1804 году, когда Лажечникову было всего 10 лѣтъ, отецъ записалъ его уже на службу «студентомъ въ московскій архивъ иностранной коллегіи», котораго начальникомъ былъ тогда И. Н. Бантишъ-Каменскій. Въ 1806 году юный Лажечниковъ получилъ уже повышеніе, именно произведенъ въ актуаріуса; и тогда онъ началъ уже дѣйствительную службу, сталъ заниматься въ архивѣ, приводить въ порядокъ хранящіеся тамъ документы. Съ этою цѣлью отецъ поселилъ мальчика въ Москву, гдѣ онъ жилъ или у родителей, которые иногда проводили въ столицѣ нѣсколько зимнихъ мѣсяцевъ, или въ домѣ друга отца — генерала Обрѣзкова. Одновременно со службою Лажечниковъ продолжалъ свое образованіе: такъ, онъ бралъ уроки риторики у адъюнкты-профессора Побѣдоносцева и слушалъ частныя лекціи у Мерзлякова.

Въ 1810 году Лажечниковъ мѣняетъ службу. По совѣту все того-же Обрѣзкова, отецъ переводитъ сына въ канцелярію генералъ-губернатора для подготовки «къ болѣе дѣльной службѣ». Но молодой человѣкъ занимается не столько подготовкой къ службѣ, сколько литературою. Такъ, въ 1808 году онъ помѣщается въ «Русскомъ Вѣстникѣ» Глинки стихотвореніе «Военная нѣснѣ»; въ 1811 году — въ «Вѣстникѣ Европы» разсужденіе «О безопасности»; одновременно съ этимъ въ «Аглаѣ» князя Шаликова появляется цѣлый рядъ повѣстей, разсужденій и стиховъ.

Когда разразилась война 1812 года, восемнадцатилѣтній юноша не могъ не увлечься всеобщимъ энтузіазмомъ, и въ свою очередь началъ рваться въ околоченіе. Въ началѣ войны Лажечниковъ продолжалъ нести гражданскую службу. Въѣтъ о Бородинскомъ сраженіи, о рѣшеніи Кутузова сдать Москву безъ боя — встала еще Лажечникова въ Москвѣ. Служебныхъ занятій у него въ это время не было, потому что самую канцелярію, гдѣ служилъ Лажечниковъ, перевели на владимірскую дорогу. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ отца разрѣшительнаго письма изъ деревни. Но родители не раздѣляли патристическаго увлеченія своего сына, и отецъ велѣлъ ему немедленно выѣхать въ деревню. «Я плакалъ, какъ ребенокъ, пишетъ Лажечниковъ въ своей автобиографіи, но скоро одумался. Чего-бы ни стоило, сказалъ я самъ себѣ, — а буду военнымъ, хотя-бы солдатомъ».

Но тщетно умолялъ онъ родителей въ теченіи нѣсколькихъ недѣль; они были непреклонны.

«Тогда, — пишетъ Лажечниковъ, — я далъ себѣ клятву исполнить мое намѣреніе — во что бы то ни стало бѣжать изъ дому родительскаго. Намѣренію моему пришелъ я скоро живое исполненіе. Въ городѣ (Коломнѣ) остановился отставной кавалеристъ Беклемішевъ, посѣждавшій въ болахъ, который, записавъ сына въ гусары, собирался отправить его въ армию».

Съ этимъ молодымъ человѣкомъ ѣхалъ туда-же одинъ гусарскій конверъ, сынъ богатаго армянина. Я открылъ имъ свое намѣреніе: старикъ благословилъ меня на святое дѣло, какъ онъ говорилъ, и обѣщавъ доставить въ главную квартиру рекомендаціонное письмо, а молодые люди дали мнѣ слово взять меня съ собою. За душой не было у меня ни копейки; коломенскій торговецъ-аферистъ купилъ у меня шубу, стоящую рублемъ 300, за 50 рублей, подозрѣвая, что я продаю ее тайно,—съ этимъ богатствомъ и дѣдовскою мѣховою курткой, покрытой зеленымъ рыхлымъ бархатомъ, шелъ я на службу боевую. Назначенъ былъ день отъѣзда. Всѣ приготовления хранились въ глубочайшей тайнѣ. Роковой день наступилъ—сердце было не на мѣстѣ. Въ одиннадцатомъ часу вечера простился я съ матерью, раточая ей самыя нѣжныя ласки; съ трудомъ удерживалъ я слезы, готовая упасть на ея руки, я сказалъ ей, что хочу ранѣе лечь спать, потому что у меня разболѣлась голова. И она, будто по предчувствію, необыкновенно ласкала меня и раза два принималась меня благословлять. Въ своей спальнѣ я усердно молился, прося Господа простить мнѣ мой самовольный проступокъ и облегчить горесть и страхъ моихъ родныхъ, когда они узнаютъ, что я ихъ осудилъ и бѣжалъ отъ нихъ. Меньшому брату, который спалъ со мною въ одной комнатѣ, сказалъ я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы онъ не беспокоился, если я долго не приду. Помолвшись еще разъ, я вышелъ въ сѣни. Условный колокольчикъ зашелъ за воротами; я видѣлъ, какъ имѣлись на лухой тройкѣ промчался мимо ихъ, давая мнѣ знать, что все готово къ отъѣзду. Еще нѣсколько шаговъ—и я на свободѣ. Но въ сѣняхъ встрѣтилъ меня дядька мой Ларивонъ. «Худое, баринъ, затѣлили вы,—сказалъ онъ съ неудовольствіемъ, я знаю всѣ ваши продѣлки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчасъ доношу папешкѣ, и вамъ будетъ нехорошо». Точно громовымъ ударомъ ошпарила меня эти слова. Я обидно сталъ упрекать дядьку, что онъ выдумываетъ на меня неблицу, заставляя его, что я только хочу пройтись по городу. Но Ларивонъ былъ неумолимъ. «Воля ваша,—продежалъ онъ,—заднія сѣни въ садъ у меня заперты на замокъ; я стану на караулъ въ нижнихъ сѣняхъ, что на дворѣ, и не пропущу васъ, а если выдумаете бѣжать силою, такъ я тотчасъ подниму тревогу по всему дому. У воротъ поставилъ я караульнаго, и онъ тоже сдѣлаетъ въ случаѣ удачи вашей выразься отъ него». Тутъ я переклѣпалъ упреки на моленіи; я слышно просилъ его выпустить меня и нѣжно пѣловалъ его. Но дядька былъ неумолимъ. Дѣлать было нечего: надо было оставаться въ заключеніи. Отчаяніе мое было ужасно; можно сравнить это положеніе только съ состояніемъ узника, который поднималъ свои цѣпи и рѣшетку тюрьмы, готовъ былъ бѣжать и вдругъ пойманъ... Дядька мой преспокойно есмалъ внизъ. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдалъ, какъ ребенокъ. Вся эта сцена происходила въ верхнемъ этажѣ очень высокаго дома. Изъ дверей сѣней видѣлъ былъ, сквозь проломъ деревяннаго кремля, огонь въ квартирѣ стараго гусара, который собирался посвятить меня въ рыцари. Я вышелъ на балконъ, чтобы взглянуть въ послѣдній разъ на этотъ завѣтный огонекъ и проститься навсегда съ прекрасными мечтами, которыя такъ долго тѣшили меня. Вдругъ, съ правой стороны балкона, на столѣтней ели, растущей подлѣ него, зашевелилась птица. Какая-то невидимая сила толкнула меня въ эту сторону. Вижу, довольно крѣпкій суекъ отъ ели будто предлагаетъ мнѣ руку спасенія. Не разсуждая объ опасности, перелѣзаю черезъ перила балкона, бросаюсь внизъ, цѣпляюсь проворно за суекъ, висну на немъ и упираюсь ногами въ другой, болѣе твердый суекъ. Тутъ, какъ вѣсна, събѣгаю пропорю съ дерева, обдираю себя до крови руки и колѣна, становлюсь на землѣ и пробѣгаю минуты

въ три довольно обширный садъ, бывшій за домомъ, на углу двухъ переулковъ. Отъ переулка, ближайшаго къ моему вѣли, былъ заборъ сажени въ полторы вышины: никакая преграда меня не останавливаетъ. Перелѣзаю черезъ него, какъ искусный вольтижеръ. Если-бы заставили меня это сдѣлать въ другое время, у меня не достало-бы на это ни довольно искусства, ни довольно силы. Но таково когусество воли, что она удосагеряетъ всѣ способности душевныя и тѣлесныя. Перелѣзавъ переулокъ и площадь, раздѣлявшую домъ отъ кремля, и влетѣть въ домъ, гдѣ ожидали меня, было тоже дѣломъ нѣсколькихъ минутъ. Я прибѣжалъ, задыхаясь, готовый упасть на полъ; на головѣ у меня ничего не было, волосы отъ поту лиши въ разгорѣвшися щекамъ. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось-ли со мною какой невзгоды. Старый гусаръ благословилъ меня образомъ, преждъ которыми только-что отслужили молебень; на меня находили первый попавшійся картузъ. Мы сѣли въ повозки и помчались, какъ вихрь, черезъ городъ».

Родные, конечно, тотчасъ-же узнали о бѣгствѣ сына, бросились за нимъ въ погоню и настигли его въ селѣ Троицкомъ, но уже не для того, чтобы воротить его домой; они рѣшились благословить его на службу. На другой день пишетъ Лажечниковъ: отендъ повезъ меня въ Москву и представилъ бѣглеца московскому гражданскому губернатору Обрѣзкову, который возвратился въ столицу съ должностными чинами (онъ стоялъ тогда въ Леонтьевскомъ переулкѣ). Губернаторъ, въ присутствіи многихъ лицъ, сдѣлалъ мнѣ строгій выговоръ, что я егорчилъ родителей своимъ побѣгомъ, но приказалъ однакожъ тотчасъ выдать мнѣ служебное свидѣтельство и вручить мнѣ рекомендаціонное письмо къ главному начальнику исповснаго олоученія. Вскорѣ прѣхалъ я въ московское ополченіе офицеромъ и черезъ нѣсколько дней былъ переведенъ въ московскій гренадерскій полкъ. Счастье мнѣ улыбнулось: начальникъ 2-й гренадерской дивизіи, принцъ мекленбургскій Карлъ, взялъ меня къ себѣ въ адъютанты\*.

Но въ штабѣ принца Лажечниковъ пробытъ не долго, онъ поступилъ въ военную службу не для карьеры; его ганила жизнь лагерная и боевая, и вотъ, въ декабрѣ 1813 г., онъ уволился отъ должности штабнаго адъютанта и былъ назначенъ адъютантомъ къ генералу Полуектову. Это дало ему возможность участвовать въ дѣлѣ подлѣ Вріеномъ и во взятіи Парима и получить орденъ за храбрость.

По возвращеніи арміи въ Россію, Лажечниковъ зиму 1814 — 1815 годовъ провелъ въ Дерптѣ. Здѣсь онъ познакомился съ Жуковскимъ, гостившимъ у Воейкова. Эти литераторы, прослушавши отрывки изъ „походныхъ записокъ“ молодого офицера, отвесили къ нимъ весьма благосклонно и поощрили его къ дальнейшей литературной дѣятельности.

Между тѣмъ, вновь возгорѣвшаяся война послѣ высадки Наполеона въ Капль, вызвала Лажечникова выѣхать съ его полкомъ снова за границу и во Францію. Въ 1818 году онъ поступилъ адъютантомъ къ графу Остерману-Толстому и, вскорѣ послѣ того отправился съ нимъ въ Варшаву, гдѣ (въ свѣтѣ Государя Императора) былъ ежедневно въ кругу тогдашнихъ знаменитостей и близкимъ зрителемъ достопамятныхъ событій того времени\*. Въ этомъ-же году

Лажечниковъ, продолжая состоять адъютантомъ при Остерманъ-Толстомъ, очень его любившемъ, былъ переведенъ съ чиномъ поручика лейб-гвардіи въ павловскій полкъ, а въ декабрѣ 1819 года вышелъ въ отставку и, заручившись рекомендаціями своего генерала, на родственницѣ котораго вскорѣ женился, поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія, о чемъ всегда мечталъ.

Послѣдніе годы своей офицерской службы Лажечниковъ усердно занялся литературой. Съ 1817 года онъ началъ помѣщать въ „Вѣстникѣ Европы“, „Сынѣ Отечества“ и „Соревнователѣ просвѣщенія и благотворенія“ отрывки изъ своихъ „Походныхъ записокъ“. Въ томъ-же году онъ издалъ первое собраніе своихъ сочиненій, большею частью уже напечатанныхъ имъ въ разныхъ журналахъ, — подъ заглавіемъ „Первые опыты въ прозѣ и стихахъ“.

Во всѣхъ этихъ первыхъ литературныхъ опытахъ, не исключая и „Походныхъ записокъ“, — мы видимъ сильное подчиненіе вліянію Карамзина, дошедшее до такой степени, что, издавши свою книжку, авторъ и самъ устыдился незрѣлости и несамостоятельности своихъ трудовъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ въ своей автобіографіи: „въ сожалѣнію, увлеченный сентиментальнымъ направлениемъ тогдашней литературы, которой заманчивые образцы видны въ „Вѣднѣ Лизѣ“ и „Натальѣ боярской дочери“, онъ сталъ писать въ этомъ родѣ повѣсти, стишки и разсужденія. Впослѣдствіи времени онъ издалъ эти первыя произведенія въ одной книжкѣ, подъ названіемъ „Первые опыты въ прозѣ и стихахъ“, но, увидѣвъ ихъ въ печати и устыдясь ихъ, вскорѣ послѣдшль истребить всѣ экземпляры этого изданія“.

Между прочимъ, въ книгѣ этой была напечатана первая историческая повѣсть Лажечникова „Малиновка“, навѣянная чтеніемъ „Натальи боярской дочери“. До какого рабскаго подражанія Карамзину доходилъ въ это время Лажечниковъ, мы можемъ судить по слѣдующему содержанію этой повѣсти:

Малиновка — это дѣвушка, сирота изъ роду Натихъ. Живя на попеченіи дяди Мирослава, она скрывалась съ нимъ „близъ Тулы, въ густотѣ березоваго лѣса“, отъ преслѣдованія „честолюбія Годунова“. Сначала она была безмятежно счастлива: „весело просылалась съ красивымъ солнышкомъ; весело встрѣчала первую вечернюю звѣзду. Прекрасная съ веселостью топтала зеленые дуга, съ безпечностью терлась по извилистымъ тропамъ березоваго лѣса, въ сладкомъ забвеніи засыпала на колыбняхъ ноченнаго родственника“. Но пришла пора любви, Малиновка „почувствовала одиночество. Скука встрѣчала ее на мурасахъ; тоска слѣдовала за нею во всѣхъ прогулкахъ; вздохи ея слышны были даже и въ тѣ минуты, когда старикъ разными играми и ласками старался вызвать улыбку на юное ея лицо. Малиновка все ждала, „сама не зная кого“.

Между тѣмъ, при дворѣ Годунова блистала юноша Миловидъ, — „дрѣтъ юношей, краса витазей, любовь дѣвъ престольнаго града“. Внезапно Годуновъ далъ ему приказаніе разыскать въ тульскомъ лѣсу Мирослава и „отягченнаго цѣпями привести въ столицу“. Напрасно отклонялъ отъ себя добросердечный Мило-

видъ столь жестокое порученіе. „Грозный тиранъ“ былъ неумолимъ. Въ товарищи ему данъ былъ злодѣй Скрытосердъ.

Долго блуждали они по тульскому лѣсу и ничего не находили. Но вотъ, однажды, „при закатѣ румянаго солнышка, пробираясь черезъ лѣсъ“, они услышали чудную пѣснь. То пѣла Малиновка, „славившаяся своимъ умѣніемъ слагать пѣсни и пѣть ихъ. Когда она пѣла радости безпечной юности, рѣзвую беззаботность, быстрые часы удовольствія, тогда старцы почитали себя моложе, мечтали съ улыбкою о дѣлахъ пропедшихъ и порхали воображеніемъ по душистымъ розамъ любви“. Миловидъ, внимая звукамъ пѣсни еще невидимой пока пѣвицы, „чувствовалъ что-то необыкновенное, чего не могъ изъяснить“. Но вотъ показалась и сама пѣвица „во всей свѣжести, со всѣми прелестями лѣтъ весеннихъ“. Миловидъ былъ пораженъ. Въ свою очередь „Малиновка“, сравнивая его съ крылатымъ юношею, такъ часто посѣщавшимъ ее въ мечтахъ свидѣнія, подумала: точно омы! Тотчасъ воспослѣдовали между ними „иѣна сердце и переливъ душъ“.

Вслѣдъ затѣмъ „молодые рыцари проводили красавицу до жилища ея. У воротъ тесовыхъ пожелали они ей добраго дня, не смѣя слѣдовать за нею въ теремъ, потому что дядя ея Боголюбъ былъ не совсѣмъ здоровъ (какъ разсказала она имъ дорогою, не открывая имъ настоящаго его имени)“.

Хитрый Скрытосердъ сразу, однако, сообразилъ, что тутъ что-то не такъ, и черезъ нѣсколько дней „хитрыми допросами окружныхъ поселятъ, обманами, увѣщаніями и даже угрозами“ узналъ, кто въ дѣйствительности мнимый Боголюбъ. Миловидъ же, „въ сладостныхъ мечтахъ любви, забываетъ грозное порученіе тирана“ и идетъ свиданія съ Малиновкой. Въ первую же встрѣчу они объяснились въ любви: „души любовниковъ порхали на пламенныхъ устахъ ихъ... они соединились на вѣки съ первымъ невиннымъ поцѣлуемъ. Высоко поднималась грудь красавицы; точно тлѣлся огонь въ глазахъ ея! Какъ преступница, стояла она передъ другомъ своимъ и не смѣла заглянуть въ глубину души, боясь найти что нибудь противное правиламъ, внушеннымъ ей почтеннымъ родственникомъ“.

На слѣдующій день она открыла Мирославу свою тайну и привела къ нему Миловида. Свиданіе было ужасное. „Они встрѣчались нѣкогда въ палатахъ и узнали другъ друга... Что дѣлалось тогда въ душѣ несчастнаго юноши? Сколько страстей стеклось въ нее для борьбы между собою! Долгъ, состраданіе, вѣрность къ престолу, рабство и любовь... Но послѣдняя превозмогаетъ“. Миловидъ открываетъ Мирославу данное ему порученіе и рѣшается въето исполненія его — отправиться въ Москву и выпросить у Годунова прощеніе старцу.

Между тѣмъ коварный Скрытосердъ не дремлетъ; онъ извѣщаетъ обо всемъ Годунова, и царь приходитъ въ страшный гнѣвъ. „Мирославъ и Миловидъ въ разное время отягчены цѣпями, разными дорогами приведены въ Москву и свергнуты въ кракъ теплицъ; обоимъ ожидается смерть — и смерть постыдная!..“ Уже назначена на завтра казнь. „Только

последней, единственной милости передъ казною требуютъ два несчастливца: свиданія съ Малиновкой\*. — „Я слышала, что она мастерица шить и шить на гусляхъ, и хочу узнать опытомъ, таково-ли велико искусство ея, какъ мнѣ объ этомъ сказали“, — сказала властелинъ и отдалъ повелѣніе привезти Малинову въ престольный градъ.

Царскій посланникъ нашелъ ее при дверяхъ гроба; но вѣсть о свиданіи съ другомъ, который былъ ей всегда вѣренъ, оживила ее. „Такъ не забудь меня Творецъ! Я могу еще умереть съ ними!“ — сказала она, и съ твердостью въ душѣ послѣдовала за посланнымъ. Какое явленіе ожидаетъ ее въ Москвѣ, въ залахъ царскихъ! Годуновъ на престолѣ, окруженный всею пышностью двора своего. Съ одной стороны бояре, подпора царства русскаго; съ другой — супруги ихъ, цвѣтъ Москвы бѣлокаменной; вдали... грозная стража, и между ею... отгадало-ли сердце твое, несчастная Малиновка?.. — туманится образъ старца и юноши... оба въ дѣлкахъ!.. Сердце ея бьется сильнѣе, глаза ея покрываются мрачнымъ облакомъ, ноги ея готовы подломиться! — Такъ это они!.. одинъ — второй отецъ, другой — милый другъ души ея!.. Она хочетъ броситься къ нимъ, Годуновъ даетъ знакъ — и Малиновка съ трепетомъ къ нему приближается.

«Никогда дворъ царевъ не украшался такими прелестями; никогда царство русское не производило подобной красоты!.. Старикъ желалъ-бы излѣчить ее своею дочерью, молодой — супругою, а жена боярская, заглядывая ей, удивлялась! Самое сердце властелина чувствуетъ къ ней сожалѣніе. Онъ повелѣваетъ ей подойти къ приготовленнымъ для нея гуслямъ и разсказать въ пѣняхъ повѣствованіе любви ея. Какое повелѣніе! Исполнить его трудно, не исполнить — значило-бы навести сильнѣйшую грозу на чету несчастливцевъ!.. Она садится за гусли; еще разъ взглядываетъ на грозную стражу, на злопудного старца, на милого друга, еще разъ на него... и поетъ... сперва побѣгъ рождественника, невинность его, любовь свою и свои несчастья — и потомъ умоляетъ! На лицѣ тирана пріятно смущеніе; бояре и жена ихъ закрываютъ платками слезы, текущія по лицу ихъ. Малиновка видитъ торжество свое. Какое-то неизъяснимое предчувствіе говоритъ ей, что въ словѣ пѣней ея заключается спасеніе двухъ ближайшихъ сердцу ея существъ. Она снова поетъ... и надежда на великодушіе царя изливается въ ея пѣняхъ. Никогда чувство и природа не соединилась съ болѣе искусствомъ, чтобы шлѣпить слухъ и сердце; никогда дарованія не давали красотѣ столько власти, какъ теперь! Еще усилила любви и искусства — и Малиновка читаетъ *милостъ* въ глазахъ Годунова. «Пѣсни твои меня тронули!» сказалъ властелинъ, побѣжденный въ первый разъ природою; «дарованія твои должны получить награду. Вотъ она!» прибавилъ онъ, указывая на чету несчастливцевъ: «тебѣ предоставляю снять съ нихъ дѣли».

Таково первое историческое повѣствованіе Лажечникова. Читая его, вы еще болѣе убѣждаетесь въ громадности того скачка, какой сдѣлала литература наша въ теченіи 20-хъ годовъ. Скачекъ этотъ особенно видѣнъ на такихъ второстепенныхъ талантахъ, каковы были Нарѣжннй и Лажечниковъ: между ихъ молодыми произведеніями и писанными въ зрѣломъ возрастѣ лежитъ непроходимая пропасть, и замѣчательно при этомъ, что подобнымъ переворотомъ эти второстепенные писатели отнюдь не были обязаны

какому-либо вліянію первостепенныхъ талантовъ: мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что въ теченіи 20-хъ годовъ первостепенные таланты (Жуковский, Пушкинъ) занимались исключительно стихами. Повѣствовательная литература была, повидимому, въ полномъ пренебреженіи; и вдругъ къ концу 20-хъ годовъ она дѣлаетъ небывалые успѣхи, при чемъ самые маленькіе беллетристы сразу дѣлаются неузнаваемыми.

Мы видѣли выше, что въ концѣ 1819 года Лажечниковъ, по рекомендаціи своего генерала Остермана-Толстого поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія. Онъ былъ назначенъ директоромъ училищъ Пензенской губерніи и вскорѣ затѣмъ посланъ визитаторомъ саратовскихъ училищъ. Въ декабрѣ 1823 года въ благодарности за усиленную занятію онъ былъ назначенъ директоромъ Императорской казанской гимназіи и директоромъ училищъ Казанской губерніи. Въ концѣ-же 1825 г. и началѣ 1826 г. Лажечниковъ нѣсколько мѣсяцевъ исправлялъ должность инспектора студентовъ казанскаго университета.

Въ это время казанскіе учебныя округа управляла какъ разъ знаменитый Магницкій, оттого и называють Лажечниковъ шесть лѣтъ службъ своей подъ его начальствомъ своимъ „казанскимъ плѣбніемъ“. Надо удивляться тому искусству, съ которымъ удалось Лажечникову во все время этого плѣбніа лизать между Сциллою и Харибдою, не потерпѣвъ ни малѣйшаго крушенія, и не запятнавъ своей памяти. Съ одной стороны, какъ самъ говоритъ онъ въ своихъ воспоминавіяхъ о Магницкомъ, онъ пользовался его *горячимъ, порывистымъ благорасположеніемъ*, слылъ даже лѣтъ пять его *любимцемъ*. И въ то же время онъ хвалится въ тѣхъ-же своихъ воспоминавіяхъ, что, состоя инспекторомъ университета, онъ не гнулъ студентовъ въ угоду Магницкому, не слѣдилъ инквизиторски за ихъ „духомъ“, что ни разу ни одного студента не сажалъ въ карцеръ. Наконецъ, что онъ оставилъ въ Пензенской губерніи хорошаго воспоминанія о себѣ, свидѣтельствуя то, что Бѣлинскій и его товарищи по прїездѣ въ Москву обрадидись первымъ дѣломъ къ Лажечникову за протекцію, и послѣ перваго своего визита къ нему Бѣлинскій писалъ М. М. Попову: „Вы доставили мнѣ случай видѣть человека, котораго я всегда любилъ, уважалъ, любилъ *видѣть и говорить съ нимъ*“.

Это расположеніе Бѣлинскаго къ Лажечникову продолжалось до самой смерти Бѣлинскаго. „Пока я жилъ въ Москвѣ, говоритъ Лажечниковъ въ своихъ воспоминавіяхъ, — онъ (Бѣлинскій) нерѣдко посѣщалъ меня; мы сблизились, не смотря на разстояніе лѣтъ; въ было заботы и надежды, не было юношескаго увлеченія, которыхъ онъ не повѣрялъ-бы мнѣ; случалось мнѣ и отечески пожуричь его“. Такъ, мы видимъ изъ матеріаловъ для біографіи Бѣлинскаго, помѣщенныхъ кн. Бгальчевымъ въ Рус. Стар. 1876, что Бѣлинскій читалъ Лажечникову своего „Владимира“, что Лажечниковъ отечески совѣтовалъ Бѣлинскому оставить въ портфель свою драму, надѣлавшую ему столько неприятностей, хлопотала за Бѣлинскаго при поступленіи въ университетъ и помогла ему въ пріисканіи занятій послѣ изгнанія изъ университета.



Своимъ успѣхомъ службы подъ начальствомъ Магницкаго Лажечникова безъ сомнѣнія былъ обязанъ съ одной стороны крайней мягкости характера, а съ другой — непоколебимой прямотѣ и искренности натуры. Встрѣчаются такіа спонтаннныя личности, которыя, при всей непоколебимой вѣрности своимъ принципамъ, невольно влекутъ къ себѣ и покоряютъ людей самымъ противоположнымъ убѣжденіемъ и взглядамъ. Таковъ, безъ сомнѣнія, былъ и Лажечниковъ.

Свое казанское плѣненіе между прочимъ ознаменовалъ Лажечниковъ инициативою поставленія памятника Державину. На торжественномъ актѣ гимназій, въ концѣ 1825 года, въ рѣчи иль произнесенной, Лажечниковъ, по словамъ его автобіографіи, «въ первый разъ горячо выразилъ обязанность соорудить въ Казани памятникъ Державину, ученику казанской гимназій. Слѣдо можно сказать, что рѣчь эта была первымъ краеугольнымъ камнемъ, поставленнымъ въ основаніи памятника». Тотчасъ послѣ этой рѣчи присутствовавшій на актѣ управляющій Казанскою губернію, А. Я. Жмакинъ, изъявилъ ревностное желаніе собраніемъ пожертвованій осуществить предложеніе директора, въ случаѣ соизволенія на это высшаго начальства. Соизволеніе послѣдовало, и Лажечниковъ по праву могъ сказать: «послѣдствіи извѣстныхъ памятникъ Державину стоитъ на площади противъ университета. Горжусь, что я положилъ первый камень въ основаніе этого памятника».

Въ началѣ 1826 года кончилось казанское плѣненіе Лажечникова; онъ вышелъ съ отставкою и поселился въ Москвѣ.

## VI.

«Послѣдній Новикъ» Лажечникова. — Отзывъ о немъ Вѣлинскаго. — Различіе между Лажечниковымъ и Загоскинымъ. — Подражательность Вальтеръ-Скотту. — Неваженіе историческихъ фактовъ. — «Ледяной домъ» и его преимущества передъ «Послѣднимъ Новикомъ». — Ложное представленіе Волынскаго и Троицковаго. — Письмо Пушкина. — «Баурганъ», какъ chef d'oeuvre Лажечникова. — Недостатки и достоинства этого романа. — Либерализмъ и западничество Лажечникова и отраженіе этого въ романахъ его.

Выйдя въ отставку въ 1826 году и поселившись въ Москвѣ, Лажечниковъ принялся, наконецъ, за свой трудъ, который наиболее выдвинулъ впередъ его литературное имя, — за сочиненіе перваго своего историческаго романа. Такими образомъ лишь 34 лѣтъ отъ роду выступилъ онъ на предназначенную ему дорогу. Принимая же во вниманіе, что Загоскинъ лишь въ 1828 году приступилъ къ Юрію Милославскому, — въ 1826 же году и не помышлялъ еще ни о чемъ подобномъ, — мы должны были бы инициативу русскаго историческаго романа признавать за Лажечниковымъ, и если Загоскинъ превосходилъ у послѣдняго пальму первенства, то благодаря лишь скороспѣлости своего труда, при своемъ крайне легкомысленномъ отношеніи къ дѣлу. Въ то время какъ Загоскину достаточно было одного года, чтобы и матеріалъ собрать, и написать романъ, Лажечниковъ шесть лѣтъ

трудился надъ своимъ «Послѣднимъ Новикомъ», и надо отдать ему справедливость, — трудился съ рѣдкою для русскихъ романистовъ усидчивостью, хотя усидчивость эта и не привела Лажечникова, какъ мы увидимъ ниже, къ особенно блестящимъ результатамъ.

Не говоря уже о томъ, что Лифляндскій край, который избралъ онъ мѣстомъ дѣйствія своего романа, былъ знакомъ уже ему прежде, такъ какъ въ «Походныхъ Запискахъ» его мы находимъ цѣлый отрывокъ: «Исторія города Дерпта», онъ съ новымъ жаромъ и усердіемъ принялся за изученіе его, и не только книжное, но и наглядное. Такъ, въ своей статьѣ «Знакомство мое съ Пушкинымъ», онъ говоритъ объ этомъ изученіи слѣдующее:

«Прежде чѣмъ писать мои романы, я долго изучалъ эпоху и людей того времени, особенно главныя историческія лица, которыя изображалъ. Напримѣръ, чего не перечиталъ я для своего «Новика». Могу прибавить, я былъ столько счастливъ, что мнѣ попалась подъ руку весьма рѣдкіе источники. Сажу мѣстность, нравы и обычаи страны описывать я во время моего двухмѣсячнаго путешествія, которое сдѣлалъ, пройдя Лифляндію вдоль и поперекъ, болѣею частью по проселочнымъ дорогамъ. Все, что сказано мною о Гюльб, воспитанникъ его, Паткуль, даже Бахъ и Розъ, и многихъ другихъ лицахъ моего романа, взято мною изъ Вобера, Маштейна, жизни графа А. Остермана на нѣмецкомъ 1743 года, «Essai critique sur la Livonie par le comte Bray», Бергмана «Denkmäler aus der Vorzeit», старинныхъ нѣмецкихъ историческихъ словарей, открытыхъ мною въ бібліотекѣ сенатора графа О. А. Остермана, драгоценныхъ рукописей кашпера графа П. А. Остермана, которыми я имѣлъ случай пользоваться, и, наконецъ, изъ устныхъ преданій маріенбургскаго пастора Рила и многихъ другихъ на самыхъ мѣстахъ, гдѣ происходили главныя дѣйствія моего романа».

При такихъ условіяхъ лишь въ 1831 году появилась въ альманахѣ «Сиротка» — первая глава первой части романа «Долина Мертвецовъ», а затѣмъ, въ томъ же году, вышли одна за другою первыя двѣ части романа; весь же романъ, во всѣхъ своихъ четырехъ частяхъ, вышелъ лишь въ 1833 году. Но при всемъ этомъ тщательномъ и многолѣтнемъ изученіи исторіи и мѣстности дѣйствія романа, Лажечниковъ своимъ произведеніемъ можетъ для насъ служить лишь однимъ лишнимъ доказательствомъ того, что никакія долговременныя и тщательныя изученія, никакая кропотливая работа не могутъ замѣнить таланта. Правда современная критика встрѣтила романъ восторженно и даже Вѣлинскій въ своей первой критической статьѣ въ «Молвіѣ»: «Литературныя мечтанія» — отзывался о «Новикѣ», за исключеніемъ нѣкоторыхъ незначительныхъ оговорокъ, въ самомъ дѣствіи, хвалебною тоною. «Лажечниковъ, — по его словамъ (Соч. В. Вѣлинскаго, изд. 5, т. I, стр. 113) — не только не обманулъ возлагавшихся на него надежды, но даже превзошелъ общее ожиданіе и по справедливости признанъ первымъ русскимъ романистомъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Новикъ» есть произведеніе необыкновенное, ознаменованное печатью высокаго таланта. Лажечниковъ обладаетъ всеми средствами романиста: талантомъ, образованностью и пламеннымъ чувствомъ, и опытомъ лѣтъ и жизни... Какое сильное и обильное воображеніе, читаемъ мы ниже: какаго вѣрнаго жи-

волицъ лицъ и характеровъ, какое разнообразіе картинъ, какая жизнь и движеніе въ разсказѣ! и т. д.

Панегричность этого отзыва Бѣлинскаго мы можемъ объяснить лишь тремя причинами: во 1-хъ, молодостью великаго критика, едва только дебютировавшаго передъ публикой своею статьею, во 2-хъ, крайне романтическимъ настроеніемъ, отдававшимъ предпочтеніе не трезвой реальной правдѣ, а наиболѣе яркимъ, эффектнымъ краскамъ; не даромъ онъ замѣчаетъ ниже, что „эпоха, избранная авторомъ, есть самый романтический и драматическій эпизодъ нашей истории и представляетъ самую богатую жатву для поэта“, и не даромъ лучше всѣхъ дѣствующихъ лицъ романа понравилась ему Роза съ ея романтической, самоотверженной страстью къ Паткулю. Въ третьихъ, не малую роль играло здѣсь и дружественное расположеніе Бѣлинскаго къ Лажечникову, вѣшавшее ему взглянуть на романъ болѣе безпристрастными глазами.

На самоѣ-же дѣлѣ, стоитъ только сравнить „Послѣдній Новикъ“ съ „Юріемъ Милославскимъ“, чтобы увидѣть, на сколько при всѣхъ недостаткахъ послѣдняго, авторъ его все таки превосходитъ своимъ талантомъ Лажечникова. Правда, при недостаткѣ историческаго изученія, при скороспѣлости своей работы, Загоскинъ, вмѣсто историческаго романа, написалъ сказку, но сказку все таки хоть сколько нибудь оригинальную и самобытную. Если въ своихъ историческихъ воззрѣніяхъ и патетическихъ мѣстахъ Загоскинъ и подчиняется вліянію Карамзина, за то вы найдете въ романѣ рядъ бытовыхъ сценъ исполненныхъ жизни, народности, комизма. Однимъ словомъ, романъ Загоскина со всеми своими достоинствами и недостатками представляетъ собою все таки нѣчто живое, естественное, имѣющее свою особенную физиономію и поэтому свое мѣсто въ литературѣ. Въ романѣ же Лажечникова все, начиная съ чисто карамзинскаго слога и кончая вальтерскоттовскимъ сюжетомъ — взято на прокатъ съ чужого плеча; все здѣсь искусственно, надумано, вымучено долгимъ и кропотливымъ трудомъ и отъ всего поэтому пахнетъ мертвечиной. Начать съ того, что, какъ вы полагаете, почему вздумалось Лажечникову мѣстомъ дѣйствія русскаго историческаго романа избрать вдругъ полуиностранную, полухохонскую Лифляндію? Въ первой главѣ своего романа, играющей роль предисловія, Лажечниковъ, по видимому, вполне основательно разъясняетъ намъ это обстоятельство.

«На случай вопроса, говорить онъ, почему избралъ я сценою для русскаго историческаго романа Лифляндію, которой одно имя звучитъ уже иностранномъ, скажу, что ни одна страна въ Россіи не представляетъ народному романету пріятнѣйшаго и выгоднѣйшаго мѣста дѣйствія. Крымъ, Кавказъ вытравляютъ, въ сравненіи съ Лифляндіей, красотами мѣстной природы, но теряютъ передъ ней историческими воспоминаніями. Въ палладумахъ нашихъ, Троицкомъ монастырѣ, Нижнемъ Новгородѣ, Москвѣ разгуливаю уже вмѣстѣ съ истиной воображеніе писателя, опередившаго меня временемъ, извѣстностью и талантами своимъ. Другіе края Россіи бѣдны или исторіею, или мѣстностью; но въ живописныхъ горахъ и долинахъ Лифляндіи, на развалинахъ ея рыцарскихъ замковъ, на берегахъ ея озеръ и болотъ, русскій напечатлѣлъ неизгладимые

слѣды своего могущества. Здѣсь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы, здѣсь русскій воинъ положилъ на грудь свою первое крестное знаменіе за первую побѣду, дарованную Богомъ надъ образованнымъ европейскимъ солдатою; отсюда — дивная своею судьбою и достойная этой судьбы Жена, неразлучная подруга преобразователя нашего отечества и спасительница нашего величія на берегахъ Прута; здѣсь многое говорить о Петрѣ безпримѣрномъ. Вотъ причины моего влеченія къ Лифляндіи: Эррасферъ, Гуммельсгофъ, Мариенбургъ, Квинцы, Лусть-Эландъ — нилѣ имена мѣста, елика извѣстныхъ русскимъ, между тѣмъ, какъ въ нихъ происходили тѣ великія явленія, о которыхъ идетъ дѣло. Въ этихъ-то мѣстахъ хотѣлъ-бы я пробить свѣжую, цвѣтущую дорогу; хотѣлъ-бы, чтобы любовь къ народной славі, поощряя ихъ, съ гордостью указывала на нихъ иностранцу, и чтобы сердце русскаго било съ силой, повторяя ихъ имена. Чувство, господствующее въ моемъ романѣ, есть любовь къ отчизнѣ. Въ краю чужомъ оно отечивается склянѣ; между иностранцами, въ толпѣ ихъ, подъ сильнымъ вліяніемъ иностранцевъ, виднеяся выражается русская народная физиономія. Даже главнѣйшія лица изъ иностранцевъ, введенныя въ моемъ романѣ, сердцемъ или судьбою влечутся непреодолимо къ Россіи. Вездѣ родное имя торжествуетъ, нигдѣ не унижено оно — безъ униженія, однакожъ, неприятелей нашихъ того времени, которое описываю. Вотъ чего хотѣлъ я достигнуть, поощряя героя моего въ Лифляндіи!»

Но какъ ни просто и убѣдительно резонерируетъ Лажечниковъ и какъ ни много патриотизма въ его только что приведенной рѣчи, но сдается все таки намъ, что въ избраніи Лифляндіи мѣстомъ дѣйствія — умыселъ совсѣмъ другой тутъ былъ. Главное дѣло въ томъ, что никакая другая мѣстность Россіи не представляла Лажечникову такого широкаго поля для подражанія Вальтеръ-Скотту, какъ Лифляндія съ ея феодальными баронами, средневѣковыми замками съ подъемными мостами, рвами, бойницами, фантастическими легендами и тому подобными романтическими предѣлами и ужасами.

И дѣйствительно: вторая же глава романа озаглавлена заманчивымъ заглавіемъ: „Долина мертвецовъ“, и въ этой главѣ кучеръ Фрицъ рассказываетъ путешественникамъ, которыхъ везетъ, страшную легенду въ средневѣковомъ духѣ о садежикѣ, который разрывалъ могилы, съ цѣлью найти кладъ, и кончилъ ужасною и сверхъестественною смертью съ кладомъ въ рукахъ, рассыпавшимся прахомъ, послѣ чего въ „Долинѣ мертвецовъ“ начали твориться по ночамъ разные ужасы, соответствующіе этой легендѣ. Затѣмъ, въ восьмой главѣ описывается замокъ Гельмго, принадлежавшій по правамъ аллодіальнымъ баронессѣ Амаліи Тегевольдъ; въ девятой — вы читаете характеристики домочадцевъ этого замка. Далѣе изображается пиръ въ замкѣ, по случаю дня рожденія дочери владѣтельницы замка, Луизы, на который собираются всѣ феодальные владѣльцы со всего округа, а на дворѣ угощаются поселане. Пиръ разстраивается военною тревогою по случаю пришествія русскихъ. Однимъ словомъ, передъ вами развертывается рядъ картинъ, которыя вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ Вальтеръ-Скотта, и вотъ именно ради этихъ картинъ, а не для чего иного, и избралъ Лажечниковъ Лифляндію. ✕

Сюжетъ романа въ свою очередь построенъ совер-

по образцу вальтерскоттовскихъ и вообще западныхъ романовъ; здѣсь не найдете вы и тѣни той простоты и естественности, какими всегда отличались сюжеты русскихъ романовъ. Напротивъ того въ основѣ лежитъ самая хитросплетенная интрига, въ которой какихъ только семейныхъ тайнъ, предательствъ, злодѣйствъ не напичкано съ начала и до конца романа; злодѣи въ родѣ барона Балдуина Фюрентофа и Никлазона, какъ и подобаетъ злодѣямъ, скрежещутъ зубами и, пылая злобою на весь міръ, утопаютъ въ корыстолюбіи, сластолюбіи и прочихъ семи смертныхъ грѣхахъ; добродѣтельные люди, терпя отъ ихъ неправдъ, лишь въ концѣ романа находятъ соответственную ихъ добродѣтелямъ награду. Самая любовная завязка происходитъ здѣсь не такъ просто, какъ въ другихъ романахъ, а съ особенною вычурю: прелестная Луиза, дочь владѣтельницы замка Гельмютъ, съ дѣтства была предана назначена въ замужество за Адольфа, наследника барона Фюрентофа. Какъ вдругъ въ замокъ прѣзжаетъ молодой офицеръ шведской арміи, въ отсутствіе владѣтельницы замка, матери Луизы, и какъ Луиза, такъ и всѣ прочіе домочадцы принимаютъ его за Адольфа; а на самомъ дѣлѣ это былъ двоюродный братъ его Густавъ, какъ двѣ капли воды похожій на своего кузена. Пользуясь этимъ сходствомъ, Густавъ несмѣлито ввести обитателей замка изъ заблужденія и сближается съ Луизой, на правахъ мнимаго жениха. Молодые люди страстно влюбляются другъ въ друга, но, наконецъ, совѣсть начинаетъ терзать Густава, онъ рѣшается открыть Луизѣ свой обманъ, и вотъ слѣдуетъ сцена въ гротѣ совершенно въ варажинскомъ стилѣ:

При видѣ подошвы на столѣ грота, состоящей изъ двухъ словъ: „милый Адольфъ!“ Густавъ воскликнулъ съ замирающимъ въ груди голосомъ: — Счастливъ Адольфъ! — несчастливъ тотъ, кого приняли за Адольфа!

— Я васъ не понимаю! — сказала испуганно Луиза: — что это значитъ? Вы блѣды, вы нездоровы? Боже мой, что съ вами дѣлается?

Густавъ упалъ передъ нею на колѣна. — Я — обманщикъ! — произнесъ онъ съ выраженіемъ страсти и отчаянія, — сначала ошибкою служителя и вашихъ домашнихъ, потомъ безразсудствомъ, наконецъ любовью, я невольно вовлеченъ въ обманъ, — любовью истинною, безкорытною, которая можетъ только съ жизнью моею кончиться. Нѣтъ достойной казни для наказанія подобнаго мнѣ изверга! Кляните, кляните меня: я этого достоинъ! Я — не Адольфъ!

— Кто же вы? — спросила Луиза замирающимъ голосомъ.

— Густавъ! двоюродный братъ Адольфа.

— Густавъ! что вы со мною сдѣлали? — могла она только произнести, показавъ головой, закрывъ глаза руками, и не въ состояніи будучи перевести удара, поразившаго ее такъ неожиданно, упала безъ чувствъ на дерюговую скамейку. Въ иступленіи онъ схватилъ ея руку: рука была холодна, какъ ледъ; на лицѣ ея не видно было свѣда жизни. Боже мой, я убилъ ее! — кричалъ онъ, какъ сумасшедшій, блѣгая по саду и ломая себѣ руки...

Послѣ этого Густаву было тотчасъ же отказано отъ дома матерью Луизы, и началась драма со всѣми кунами неудовлетворенной страсти и разлуки, и молодые люди были обязаны лишь великодушію Адольфа (который, узнавъ о страсти Луизы и Густава, отка-

зался отъ своей невѣсты) и блестящимъ побѣдамъ русскихъ войскъ, что въ концѣ романа они могли наконецъ соединиться законнымъ бракомъ.

Но исторія страсти Луизы и Густава составляетъ лишь второстепенный, чисто романическій эпизодъ романа. Главный же интересъ сосредоточивается на двухъ чисто историческихъ эпизодахъ, — судьбѣ Паткула и Новика. Личность Паткула, по правдѣ сказать, очерчена въ романѣ весьма блѣдными и тусклыми красками, и вы не выносите изъ его изображенія никакого мало-мальски рельефнаго и опредѣленнаго представленія, и развѣ только составляете о немъ отвлеченное понятіе, что это былъ хитрый, но при всей своей хитрости весьма благородный человѣкъ, и вообще во всемъ этомъ эпизодѣ, даже въ самой казни Паткула, читателя занимаетъ не столько самъ Паткулъ, сколько любовница его, крестьянка Роза съ ея мелодраматическою страстью къ нему.

Что же касается до Новика, самого главнаго героя романа, то онъ составляетъ большое черное пятно въ романѣ, какъ въ историческомъ, такъ и въ чисто-художественномъ отношеніяхъ. Въ историческомъ отношеніи здѣсь тотъ непростибельный грѣхъ, что Лажечниковъ впервые ввелъ безцеремонное отношеніе къ историческимъ фактамъ. Надо отдать справедливость въ этомъ отношеніи Загоскину, при всемъ его плохомъ знаніи исторіи, и можетъ быть именно благодаря этому обстоятельству, онъ никогда не позволялъ себѣ вносить въ область исторіи вымыслы досуговой фантазіи. Въ романахъ его романическіе эпизоды вездѣ рѣзко отдѣлены отъ историческихъ. Незвѣстный исторіи Юрій Милославскій могъ у него хоть на головѣ ходить, и онъ по отношенію къ нему давалъ полную волю своей фантазіи; но въ тоже время Загоскинъ ни за что не рѣшился бы выдумать изъ своей головы небывальщины въ родѣ того, напримеръ, чтобы заставить вдругъ князя Пожарскаго влюбиться въ дочь Минина и прижить съ нею ребенка, который оказался-бы вноствѣдствіи Степкою Разиннымъ. Для Лажечникова же ничего не стоило сочинять свои собственные историческіе факты. Такъ, мы видимъ, что главный герой романа, Владиміръ, тотъ самый послѣдній Новикъ, который стоитъ въ заглавіи романа, является нигдѣ инымъ, какъ незаконнымъ сыномъ царевны Софіи, прижитымъ ею съ княземъ Голицынымъ. При этомъ Лажечниковъ сочиняетъ фантастическую интригу для доставленія царевнѣ Софіи возможности воспитать сына при своемъ дворѣ: такъ, когда Владиміръ родился и надо было скрыть грѣхъ, воспользовался тѣмъ, что въ одно время съ этимъ у боярина Кропотова тоже родился сынъ, и ловкая бабка подбѣдила младенцевъ. Настоящій сынъ Кропотова былъ отвезенъ въ Валевскій скитъ и тамъ воспитанъ, сынъ же Софіи былъ черезъ два года взятъ у Кропотова къ двору Софіи и воспитанъ въ ижмѣнн Голицына подъ надзоромъ Андрея Денисова изъ рода князей Мышецкихъ, а потомъ былъ взятъ ко двору Софіи нажемъ. Владиміръ чувствовалъ къ царевнѣ самую пѣжкую привязанность, инстинктивно чувствуя, что она мать его, и однажды, когда Петръ настѣхался надъ своею сестрою и угрожалъ ей, молодой Новикъ чуть было не подрался съ царемъ.

«Съ быстротою молніи, рассказываетъ онъ, кровь у меня начала перебитая по всему тѣлу. Съ нами въ комнатѣ была пария Марья Матвѣевна.

— Полно быть дѣвичьимъ прихвостникомъ! продолжалъ Петръ, положивъ руку на мое плечо.— Ты здѣсь послѣдній Новикъ, у меня можешь быть первымъ потѣшникомъ.

— Пускай потѣшаютъ тебя иѣмцы,—отвѣчалъ и угрюмо, сбросивъ ее плеча своего руку Петра:— я русскій, лучше хочу быть послѣднимъ слугою у законной царицы, чѣмъ первымъ бояриномъ у тебя. Царь-отроклъ вспыхнулъ, и сильная оплеуха раздалась по моей щекѣ. Не помня себя, я замаяхнулся было... но почувствовалъ, что меня держали за руку и что иѣжныя женскія руки обхватили станъ мой, силнее увлечь меня далѣе отъ Петра, все еще стоявшаго на одномъ мѣстѣ съ видомъ гордымъ и грознымъ. Софья Алексѣевна приказывала мнѣ удалиться немедленно. Марья Матвѣевна, не выпуская меня изъ своихъ объятій, со слезами на глазахъ умоляла не губить себя. На крикъ ихъ прибѣжали комнатные люди, и меня вывели изъ терема, но не прежде, какъ я послалъ въ бердею своего обдѣчника роковую клятву отомстить ему!..»

И вотъ, во исполненіе этой клятвы Владиміръ, послѣ бѣгства Петра въ Троице-Сергіевскую лавру, отправляется туда съ цѣлью извести Петра. Онъ настигаетъ его въ Троицкомъ соборѣ въ алтарѣ, бросается на него съ ножомъ въ рукѣ и уже заноситъ надъ нимъ ножъ.

«Раздается крикъ матери, рассказываетъ онъ: ужасный крикъ, разодравшій мою душу, поворотившій мнѣ всю внутренность, крикъ, отзывавшійся и теперь въ груди моей... Движеніемъ, которое я сдѣлалъ, чтобы поймать добычу, падаешь съ жертвенника распятіе. Одинъ изъ монаховъ товарищей грошно выхватываетъ мнѣ: *«постой, не здесь, не у престола; въ другомъ мѣстѣ онъ не увидитъ отъ нас!»* Блуждъ въ набѣтъ—и все въ одно мгновеніе! Я упалъ духомъ; рука, неукрепшавшаяся въ дѣлахъ крови, осталась въ нерѣшительности дѣйствовать. Этотъ мигъ спасъ Петра и Россію!.. Слышу, нѣсколько монаховъ хватаютъ меня съзади за руки и вырываютъ поля. Связанный, я брошенъ въ какой-то погребъ».

Но такъ какъ въ исторіи неизвѣстно намъ, чтобы на жизнь Петра покушался его родной племянникъ, то друзья Новика тотчасъ-же освобождаютъ его изъ темницы, подбѣгнувъ его мертвецки пьянымъ стрѣльцомъ, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ лавру. Стрѣлецъ этотъ и былъ казненъ вмѣсто Новика.

Вотъ какъ перебѣжана у Лажечникова историческая была съ пѣвцами. Освободившись такимъ образомъ изъ темницы и отъ казни цѣною головы своего товарища, Новикъ бѣжалъ изъ Россіи и нѣсколько лѣтъ скитался по Швеціи, снискивая пропитаніе игрою на гусляхъ и иѣніемъ. «Иѣсни, рассказываетъ онъ, сочиненныя мною на разные случаи моей жизни, переносили меня въ прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая изъ очей сладкія слезы. Молва о лосковитскомъ музыкантѣ переходила по горамъ и долинамъ; на семейныхъ праздникахъ, на свадьбахъ мнѣ первому былъ почетъ; всѣ возрасты слушали меня съ удовольствіемъ: старость весело притопывала мнѣ мѣру; юность то являла подъ мою игру, то горько задумывалась... Очень возможно, что шведы, не знавшіе русскаго языка, и восторгались игрою на гусляхъ Новика; что же касается до пѣсенъ, сочиненныхъ имъ, то, суди по тому образчику, который

приводитъ въ своемъ романѣ Лажечниковъ («Сладко пѣлъ душа соловуника»), можно думать, что пѣсни эти были не весьма высокаго достоинства и представляли собою грубую и неуклюжую поддѣлку подъ народные пѣсни въ сентиментально-плаксивомъ тонѣ (это не шло однако тому, что пѣсни Новика были переложена на музыку и была въ тридцатыхъ годахъ моднымъ романсомъ, и самъ Бѣлинскій находилъ ее прекрасною).

Послѣ разныхъ мытарствъ, онъ, наконецъ, сблизившись съ Паткулемъ, появился въ Лифляндіи воякомъ какого-то полусунашедшаго, но тѣмъ не менѣе, какъ увидѣвъ ниже, вѣщаго слѣнца, и терзаясь тоскою по родинѣ, сдѣлался шпиономъ русскыхъ войскъ. Ему обѣщано было за исполненіе этой доблестной обязанности возвращеніе на родину. «Новикъ, говоритъ Лажечниковъ, отъ природы строитливый, пылкій, нетерпѣливый, взялся нести на себя яро ужасное и постыдное; притворствоваться, обманывать, продавать себѣ подобнаго—такова была его обязанность! Но въ награду ему обѣщано отечество, и вѣтъ жертвы, на которую-бы онъ не рѣшился за эту цѣну».

И такъ, если вы помнрали со смѣху, вида, какъ Юрій Милославскій постоянно давалъ клятвы неисполнадъ, то представьте себѣ сентиментальнаго шпиона, который въ продолженіе всего романа только и дѣлаетъ, что все проливаетъ слезы въ тоскѣ по родинѣ,—что это за курьезный образъ во всей своей поразительной неслѣпости!

Не менѣе искажена въ свою очередь и исторія Екатерины I въ романѣ Лажечникова. Такъ, Лажечниковъ считаетъ почему-то необходимымъ вывести ее изъ дворца. Отецъ ея, по его словамъ, служившій квартирмейстеромъ въ шведскомъ эльфсбургскомъ полку, умеръ вскорѣ послѣ ея рожденія (въ 1684 году). Мать ея была благородная лифляндка, по имени перваго мужа, секретари какого-то лифляндскаго суда, Моршцъ. Лишившись втораго мужа, она изъ Гермунаредъ, что въ Вестготландіи, пріѣхала по дѣламъ своимъ на родину съ малолѣтнею дочерью своею (нашею героинею) въ рингенское помѣстье господъ Розенъ, гдѣ и скончалась въ непродолжительномъ времени и т. д. Далѣе-же оказывается вдругъ, что мужъ Екатерины цейгмейстеръ Вольфъ (по словамъ Лажечникова—далній ея родственникъ, служившій иѣкогда съ отцомъ ея въ одномъ корпусѣ и дѣлившій съ нимъ послѣдній сухарь солдатскій), тотчасъ-же послѣ свадьбы своей великодушно объявилъ пастору Глюку, что онъ женился на Екатеринѣ съ единственною цѣлью въ знакъ горячей любви къ пей передать ей свое имя и состояніе, самъ же онъ намѣренъ тотчасъ-же собственноручно взорвать Мариенбургскую крѣпость. И дѣйствительно, едва пасторъ Глюкъ со своею воспитанницею вышли изъ Мариенбурга в русскія войска начали входить въ крѣпость, она была взорвана Вольфомъ, который, конечно, первый-же погибъ подъ ея развалинами.

На самомъ-же дѣлѣ не Катерина Рабе, а Марья, сирота изъ семьи литовскаго крестьянина Снавроценко, выросла въ семействѣ Глюка, не воспитанницею, а просто служанкою, была выдана имъ замужъ не за цейгмейстера Вольфа, а за драгуна шведскихъ

войскъ Иоганна, и послѣдній, послѣ сдачи Мариенбурга, преспокойно ушелъ въбѣгъ со шведскими войсками, разставшись навсегда со своею супругою. Можете судить опять-таки, насколько и здѣсь искажена историческая правда.

Послѣ всего этого нѣтъ ничего удивительнаго, что при своей великой фантазіи Лажечниковъ, въ виду блестящей будущности Екатерины Рабе, не могъ утерпѣть, чтобы не помѣстить въ своемъ романѣ нѣсколькихъ пророчествъ относительно ожидавшей ее судьбы. Такъ, уже въ седьмой главѣ романа пищій-слѣпецъ, котораго водилъ Новикъ, прямо предсказываетъ ей корону.

«Схвативъ дрожавшую руку дѣвушки, читаюсъ мнѣ, — онъ забился въ какою-то внутреннемъ созерцаніи; всрѣдѣ оцн его горѣли; наконецъ, возвысивъ вдохновенный голосъ, какъ-бы прощаясь въ небо: — Вижу, — сказалъ онъ: — вижу: изъ сумрака выступаютъ дѣва, любимица небесъ; голова ея поникнута, взоры опущены долу, волосы падаютъ небрежно по открытымъ плечамъ; румянецъ стыдливости, играя по щекамъ ея, сворачиваетъ съ румянцемъ зари утренней, засвѣтлившей востокъ. Встааетъ алмазная гора, дивною рукою извѣщенная. Оступилась дѣва на первой ступени, еще ночью тѣнью одѣтой; смиренно преклонилась колѣно, — и вздохъ, тяжелый вздохъ залетаетъ изъ груди ея! Векорѣ, обновленная дивною неслепной, встааетъ и шествуетъ далѣе, не поднимая очей своихъ. Еще четыре ступени, и голубъ алтарь... и розовый вѣнецъ обвиваетъ ея прекрасное чело. Старецъ совершаетъ надъ нею дивное таинство. Взоры ея уже не опущены, волосы неуклюже подобраны назадъ. Изумленная, она озирается кругомъ: она не вѣритъ своему счастью, но уже его ощущаетъ. Еще четыре ступени, и розовый вѣнецъ смѣняетъ алмазною короною...»

Кагда-же происходило бракосочетаніе Екатерины съ Вольфомъ, произошло нѣчто въ родѣ чуда:

«Невѣста и женихъ стали на свои мѣста. Пасторъ съ благоговѣніемъ совершалъ священныя обряды. Слезы полились изъ глазъ его, когда онъ давалъ четъ брачное благословеніе. Съ послѣдними движеньями руки *опускаетъ въ стани русскою кому-то четъ барабаннымъ боемъ...* (sic) и вслѣдъ затѣмъ, въ комнатѣ, гдѣ совершалась церемонія, загремѣлъ таинственный пророческій голосъ, какъ торжественный звонъ колокола: *«и се на главѣ ея лежитъ корона!»* Всѣ невольно вздрогнули и отступили. На порогѣ двери стоялъ слѣпецъ. Онъ казался необыкновенно высокъ; грудь его колебалась, всрѣдѣ оцн горѣли, какъ въ то время, когда онъ рассказывалъ свои видѣнія въ Долгий мертвецовъ. Какимъ образомъ пришелъ въ комнату, гдѣ совершалось таинство, слѣпецъ, одинъ, безъ проводинка, безъ посоха? Кто былъ его проводитель?... Три дня уже онъ сильно переболѣлъ. Съ изумленіемъ, молча, смотрѣли на него, какъ на пришлеца съ того свѣта. Вдругъ онъ началъ колебаться, некалъ кого-то руками и произнесъ слово: *«лован!»* — грянулся на полъ. Владимиръ подбѣжалъ къ нему; онъ чувствовалъ еще позаніе его руки, но черезъ лигъ улыбка смерти порхала уже на лицѣ старца. Владимиръ цѣловалъ его руку и орошалъ ее слезами».

Вотъ какіе перлы заключаются въ романѣ Лажечникова, и надо замѣтить, что подобные перлы вы можете найти на каждой страницѣ. Какъ-то не вѣрится, чтобы эта сентиментально-историческая фантазія подъ именемъ историческаго романа, изложенная архаическимъ языкомъ эпохи «Наташи боярской дочери» могла появиться въ 30-хъ годахъ, когда существовали уже первые опыты реальнаго романа Пуш-

кина и Гоголя и былъ уже окончательно выработанъ прозаическій языкъ почти въ такомъ уже видѣ, въ какомъ существуетъ онъ и въ наше время. Но еще невѣроятнѣе, что лучший критикъ того времени, — Гѣллинскій, съ отрицаніемъ и нѣкоторымъ даже презрѣніемъ относившійся къ прозѣ Пушкина, съ восторженными привѣтствіями встрѣтилъ «Послѣдняго Новика», какъ произведеніе, свидѣтельствующее о высочайшемъ талантѣ автора.

Если критика въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей пришла въ такое восхищеніе отъ «Послѣдняго Новика», то пужно-ли удивляться, что публикѣ романъ пришелся совершенно по плечу и имѣлъ такой успѣхъ, что въ теченіе перваго-же года послѣ выхода всѣхъ частей романа все изданіе разошлось и было выпущено новое, а черезъ нѣсколько лѣтъ и третье, не смотря на то, что романъ продавался за 20 р. асс., что на нашу нынѣшнюю курсъ равнялось бы 20 р. серебромъ. Когда въ 1836 году Лажечниковъ задумывалъ романъ «Колдунъ на Сухаревой башнѣ», Глазуновъ обязывался уже нотаріальною бумагою уплатить за него 19,000 р. асс., а въ томъ-же году Лажечниковъ заключилъ договоръ съ книгопродавцемъ Шприневымъ, по которому получалъ за предстоящее изданіе «Басурмана» 20,000 р. асс. Это показываешь, въ какой модѣ были въ то время историческіе романы и какъ они быстро раскупались.

Лажечниковъ дописывалъ своего «Новика» уже въ Твери, гдѣ онъ съ 1831 года по 1837 годъ занималъ мѣсто директора училищъ Тверской губерніи. Тамъ-же написалъ онъ и второй свой романъ «Ледяной домъ», вышедшій въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1835 году. Романъ этотъ, еще болѣе поправившійся публикѣ, окончательно упрочилъ славу Лажечникова, какъ историческаго романиста. И слѣдуетъ сказать по всей справедливости, въ общемъ романъ этотъ производитъ гораздо болѣе выгодное впечатлѣніе, чѣмъ «Послѣдній Новикъ». Въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ прочихъ, Лажечниковъ въ свою очередь представляетъ полную противоположность Загоскину. Въ то время, какъ Загоскинъ весь свой талантъ исчерпалъ на одномъ «Юриіи Милославскомъ», затѣмъ съ каждымъ новымъ романомъ становился все слабѣе и несостоятельнѣе; Лажечниковъ-же наоборотъ: видно, что это была не рыхлая дворянская, а напротивъ того — кряжистая мужицкая натура, упорная въ трудѣ и настойчиво добывающаяся развѣ положенной цѣли. Подобно тому, какъ, задумавъ идти въ ополченіе, онъ не смотря на всѣ препятствія въ окошко выльзъ, да настоялъ-таки на своемъ; также точно завоевалъ онъ отъ жизни и талантъ, котораго ему недоставало, и славу выдающагося русскаго романиста. И замѣчательно при этомъ, что съ каждымъ новымъ произведеніемъ, не смотря на свои преклонныя лѣта, онъ развивался и дѣлался талантливѣе.

Такъ «Ледяной домъ» при всѣхъ его недостаткахъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже, отстоитъ отъ «Послѣдняго Новика», какъ небо отъ земли. Начать съ того, что романъ этотъ написанъ далеко уже не такимъ высокимъ карамзинскимъ слономъ, какъ первый, а болѣе простымъ и современнымъ языкомъ. Въ то же

время не видите вы здѣсь и того рабскаго подражанія Вальтеръ-Скотту, какое поражало насъ въ „Послѣднемъ Новикѣ“. Нѣтъ здѣсь ни разваливъ средне-вѣковыхъ замковъ, ни долиньъ жертвецовъ, ни ужасающихъ семейныхъ тайнъ и тому подобнахъ ухищреній въ романтическомъ духѣ. Избавши мѣстохъ дѣйствія романа Петербургъ первой половины восемнадцатаго вѣка и эпоху бироповщины, Лажечниковъ сразу окунулся въ русскую дѣйствительность, и надо отдать справедливость ему, дворъ Анны Ивановны и вообще петербургская жизнь того времени изображена довольно вѣрно съ вѣдшей исторической стороны, и обнаруживаетъ въ авторѣ тщательное изученіе эпохи—шуты, карлы, раженые, всякаго рода потѣхи, начиная съ постройки ледянаго дома и кончая родинами козы, все это сразу переноситъ насъ въ эпоху Анны Ивановны. Надо отдать справедливость Лажечникову и въ томъ отношеніи, что, рисуя ужасы бироповщины, онъ нисколько не сгустилъ красокъ и не преувеличилъ, что можно было ожидать отъ его пылкой фантазіи и страсти къ раздражающимъ эффектнымъ сценамъ. Правда, личность Вирона очерчена весьма неопредѣленными и блѣдными чертами; относительно его клеветовъ самъ Вѣлипскій, при всѣхъ панегирикахъ, какіе онъ расточаетъ роману, замѣтилъ, что „жалъ только, что всѣмъ имъ авторъ придалъ и рыжіе волосы, и рты до ушей; злодѣйство и пороки безобразны, но только не въ такомъ смыслѣ“. Но за то какъ нельзя болѣе удался Лажечникову характеръ Анны Ивановны. Какъ жила, стоитъ она передъ вами въ романѣ Лажечникова, со своимъ добрымъ сердцемъ, но полнымъ отсутствіемъ воли и слабодушіемъ, заставившимъ ее, ради личнаго спокойствія, сѣбно отдаваться внушеніямъ то Вирона, то Волынскаго, то опять Вирона, готовая подписать смертный приговоръ тому изъ своихъ приближенныхъ, котораго вчера еще считала самымъ преданнымъ своимъ слугою и другомъ.

Но, къ сожалѣнію, Лажечниковъ не могъ освободиться и здѣсь отъ того существеннаго недостатка для писателя историческихъ романовъ, который онъ обнаружилъ въ своемъ первомъ романѣ, именно отъ безцеремоннаго отношенія къ историческимъ фактамъ. Здѣсь эта безцеремонность сказалась въ томъ, что онъ выдулъ своего собственнаго сентиментально-идеальнаго Волынскаго совершенно вопреки исторической правдѣ. Въ дѣйствительности Волыпскій представлялся личностью далеко не казистою и былъ вполне чуждымъ своему времени. Эпоха первой половины XVIII вѣка выставила передъ нами не мало мрачныхъ личностей, которыя вѣсть съ грубыми и длинными зѣбрствомъ необузданнаго самодурства въ личной жизни, соединяли полную деморализацію въ гражданской отношеніи. Хитрые и лѣстные царедворцы, легко усвоившіе вѣдшій лоскъ европейской придворной жизни, коварные интриганы, они въ то-же время были черствыми честолюбцами и сластолюбцами, безпощадными грабителями и казнокрадами, грубыми циниками и жестоки въ своемъ зѣбрствѣ мучителями. Таковъ былъ между прочимъ и Волыпскій. Будучи губернаторомъ въ Казани и потомъ министромъ, онъ не только бралъ взятки, но вымогалъ у

людей почти силою огромнѣйшихъ суммъ то подъ видомъ займа, а то и другими путями. Заколочивать людей до смерти ему приходилось ни сколько не мѣше, чѣмъ и Вирону. Такъ однажды онъ велѣлъ отдрать кошками полицейскаго служителя за то, что тотъ, проходя мимо его дома, не снялъ шапки. Одно-го изъ колюховъ, за какую-то провинность, заставилъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ ходить по деревяннымъ сницамъ вокругъ стола. Мичмана ип. Мещерскаго Волыпскій посадилъ на деревянную кобылу, предварительно выказавъ лицо его сажею, а затѣмъ привязалъ къ его ногамъ гири и живыхъ собакъ. Наконецъ извѣстна его палочная расправа съ Тредьяковскимъ. Оппозиція его противъ пѣмцевъ прости-кала вовсе не изъ какого-либо патріотическаго рвенія, а была просто на просто придворною интригою противъ Остермана. Вирону-же онъ въ то-же время льстивъ и всячески завскаивалъ у него, и поссорился съ нимъ лишь тогда, когда Остерману удалось вооружить временщика противъ Волынскаго, и тотъ не принялъ его.

У Лажечникова-же Волыпскій является самоотверженнымъ героемъ, жертвовавшимъ жизнью своею въ борьбѣ съ врагами отечества. „Это, по словамъ Вѣлипскаго, человекъ глубокой, могучей духомъ, пламенный патріотъ, душа чистая, благородная, но легкой, вѣтронной; тонкій политикъ и мальчикъ, не умѣющій совладать съ самимъ собою; государствен-ный мужъ—и волокита, гуляка праздный...“

Замѣчательно, что самъ Вѣлипскій при всемъ своемъ панегирическомъ отношеніи къ „Ледяному дому“ сознавалъ, что Лажечниковъ искажилъ Волынскаго, но для оправданія автора выдвинулъ дѣлую теорію отношенія искусства къ исторіи.

«Герой—Волыпскій, говоритъ онъ (см. Соч. Вѣл. т. III, стр. 12), какъ историческое лицо, онъ и теперь еще загадка. Одни видятъ въ немъ героя, мученика за правду; другіе отрицаютъ въ немъ не только патріота, но и порядочнаго человека. Но мы оставимъ историческаго Волынскаго—намъ до него нѣтъ дѣла: мы пишемъ не объ исторіи, а о романѣ. Тутъ представляется другой вопросъ: имѣеть-ли право поэтъ искажать историческое лицо? Да и нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто-бы занесъ святотатственную руку на искаженіе Петра Великаго и умышленно сѣмблялся-бы сдѣлать уродливую кару изъ великаго человѣчества; но анахронизмы, искаженіе событий, влѣдствіе требованій ткани и механизма романа—но только безъ искаженія идеи лица,—могутъ казаться позволительными или преступными только выходящему разсудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительныхъ или неважныхъ историческихъ лицъ, то и говорить нечего: въ произведеніи искусства должно искать соблюденія художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнаго сына или дурного человека, сдѣлалъ идеальнаго возвышеннаго, благороднаго человека? Худо не это, а то, что его драма есть произведеніе риторики, и ея лица—риторическія аллегоріи, а не живые создания. Что намъ за нужда, что Гете изъ восемнадцатилѣтняго Эгмонта, отца многочисленнаго семейства, сдѣлалъ молодого, кинящаго избыткомъ жизни юношу? Онъ хотѣлъ изобразить не Эгмонта, а кинящаго набаткомъ душевныхъ силъ юношу въ полоненіи Эгмонта. Исторіи служила ему только «поэтическимъ изображеніемъ», а главное дѣло въ томъ, что его драма—великое произведеніе великаго художника. Кю

хочетъ знать исторію, тотъ учись ей не по романахъ и драмамъ. Поэтому, для насъ смѣшны нападки нѣкоторыхъ аристарховъ на Лажечникова, что онъ смилъ десятка два или три дѣтъ съ плечъ Волынскаго (добро-бы еще исказилъ историческій характеръ!)...

Кто и говорить, поэты и даже такіе, какъ Шекспиръ, въ своихъ художественныхъ цѣляхъ очень часто совершенно искажаютъ историческіе факты. Но въ такомъ случаѣ никто и не смотритъ на произведенія ихъ, какъ на историческія. Кто-же въ маршизѣ Поэъ или Эмпотѣ будетъ предполагать портреты историческихъ личностей, писавшихъ тѣ-же пьесы? Но зайдите же, что и подобное право поэтовъ рисовать на исторической канвѣ свои собственные поэтическіе узоры имѣеть свой предѣлъ. Шиллеру никто не поставилъ въ укоръ, что онъ идеализировалъ маркиза Поу, ну а если-бы онъ выкроилъ своего маркиза Поу изъ мрачной фигуры герцога Альбы, стала-бы тогда одобрять критика подобное искаженіе исторіи? Что заговорилъ-бы Вѣлинскій, если-бы Лажечниковъ превратилъ Вирона въ идеалическаго пастушка, распевающаго сентиментальныя романсики передъ тою-же Маріорицею или представилъ его героемъ, непонятныхъ неблагоприятныхъ современниками? А вѣдь Волынский стоитъ совершенно въ одномъ ряду съ Вирономъ по своимъ душевнымъ качествамъ; если хотѣть, Виронъ даже превосходитъ нѣсколько своею культурностью и сдержанностью необузданнаго самодура съ дикими нравами, какіе представляется намъ Волынский.

Такимъ образомъ, если предположить даже, что Лажечниковъ вовсе не думалъ написать историческій романъ и познакомить своихъ читателей съ эпохою Анны Іоанновны въ своемъ „Ледяномъ домѣ“, а подобно Шиллеру и Гете преслѣдовалъ свои собственныя художественныя цѣли, то и въ такомъ случаѣ выборъ Лажечникова для этихъ цѣлей эпохи бирюзовщины и Волынскаго какъ нельзя болѣе неуцѣпленъ. Но ради какихъ-же такихъ особенныхъ художественныхъ цѣлей былъ написанъ „Ледяной домъ“? Неужли для того только, чтобы изобразить всепоглощающую страсть шлюхой дочери востока Маріорицы и борьбу чувства съ семейнымъ долгомъ въ Волынскомъ? Какъ Вѣлинскій, такъ за ниль и биографъ Лажечникова, г. Венгеровъ (см. Соч. Лажечникова, изд. 1884 г., т. I, стр. СХХІХ) очень высоко ставятъ эту сторону романа Лажечникова. По мнѣнію Вѣлинскаго, характеръ Маріорицы удачнѣе всѣхъ прочихъ. „Это рѣшительно лучшее лицо во всемъ романѣ. Она ничѣмъ не измѣняетъ себя. Она сходитъ со сцены, какъ вошла на нее: какъ звезда любви, которая ярче и прекраснѣе всѣхъ небесныхъ свѣтилъ — и вечеромъ, когда является, и утромъ, когда скрывается. Последнее ея свиданіе съ Волынскимъ было апоэозомъ всей ея жизни, и мы рѣшительно отрицаемъ всякое челоѣбическое, не только эстетическое, чувство въ томъ, кто-бы, увлеченный сухимъ, какъ аршинъ, моральшакомъ, увидѣлъ въ последнемъ мнѣніи ея жизни паденіе, а не просвѣтлѣніе, не торжественное просвѣтлѣніе, не торжественное свершеніе подвига жизни... Словомъ, Маріорица есть самый красивый, са-

мый душевный цвѣтокъ въ поэтическомъ вѣнкѣ нашего даровитаго романиста“.

Г. Венгеровъ въ свою очередь восклицаетъ: „Да, нужно отвлечь фигуры Волынскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, и вы тогда получите глубоко-правдивую и трогательную повѣсть о любви двухъ сердецъ, которымъ условія жизни не дадутъ насладиться всею полнотою заслуженнаго ими счастья. Въ этомъ отношеніи „Ледяной домъ“, можетъ быть, первая въ русской литературѣ проповѣдь *свободы чувства*“.

Какъ мы ни вчитывались, какъ мы ни вдумывались, какъ мы ни старались отвлечь фигуры Волынскаго и Маріорицы отъ современной имъ эпохи, уны, ничего не удалось намъ увидѣть въ этомъ любовномъ эпизодѣ романа Лажечникова, бромъ одной напыщенной риторикой моднаго въ то время романтизма. Подобныя-же вулканическія страсти, и такихъ-же сильныхъ Маріоридъ вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ того времени, особенно-же у того самаго Марлинскаго, къ которому Вѣлинскій относился столь отрицательно. Что-же касается пониманія проповѣди *свободы чувства*, то подобная проповѣдь была далеко не новость въ нашей литературѣ не только въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, но гораздо ранѣе, и притомъ проповѣдь далеко не такая робкая и не съ такими огорками въ духѣ казенной морали, какъ это мы видимъ у Лажечникова. Стоитъ припомнить „Цыганъ“ Пушкина, появившихся въ 1824 году, т. е. одиннадцатью годами ранѣе „Ледяного дома“.

Въ томъ-то и дѣло, если мы вдумываемъ смотрѣть на „Ледяной домъ“, какъ на романъ не историческій, а психологическій, какъ на своего рода „пѣснь торжествующей любви“, въ такомъ случаѣ онъ теряетъ всякое значеніе. Но, конечно, Лажечниковъ, когда приготавливалъ для него историческіе матеріалы, рылся въ мемуарахъ и всякаго рода документахъ того времени, — когда наконецъ писалъ этотъ романъ — думалъ создать романъ именно историческій, а не пѣснь торжествующей любви. Да и публика приняла этотъ романъ, какъ историческій, и такъ слѣпо повѣрила всему, что въ немъ написано, что личность Волынскаго глубоко запечатлѣлась въ памяти ея въ томъ героическомъ видѣ, въ какомъ она рисуется въ романѣ. Могла Волынскаго на Выборгской сдѣлалась даже предметомъ поклоненія: исторіи пришлось потомъ считаться съ романомъ и употреблѣть все успія, чтобы поколебать въ обществѣ тотъ предразсудокъ, каковой въ ней утвердился Лажечниковымъ относительно личности Волынскаго.

Если-же мы будемъ смотрѣть на романъ Лажечникова, какъ на историческій, потому что, еще разъ повторю, иначе смотрѣть на него мы не имѣемъ никакого права, въ такомъ случаѣ любовный эпизодъ Волынскаго и Маріорицы долженъ показаться намъ верхоу нецѣлостности. Начать съ того, что какъ нельзя болѣе курьезно предполагать борьбу страсти съ семейнымъ долгомъ въ Волынскомъ, у котораго, какъ у всѣхъ бояръ русской партіи того времени, навѣрное были цѣлѣе крѣпостные сералы, нисколько не смущавшіе ихъ совѣсти и въ тоже время нисколько не возбуждавшіе въ супругахъ ихъ такой острой ревности, чтобы послѣднія готовы были дѣлать своихъ невѣрныхъ

мужьямъ публичные и придворные скандалы. Нѣтъ ничего мудреннаго, что Волынский могъ приволокнуться за смазливенькой молдаванкой, но навѣрное это было не первое и не послѣднее волокитство его, и врядъ-ли оно могло кого-бы то ни было смутить и привести въ ужасъ. Не забудьте, вѣдь, что это былъ вѣкъ Людовика XV, когда заразителный примѣръ Версаля развелъ во всѣхъ европейскихъ дворахъ крайне легкомысленные и терпимые нравы; на супружескую невѣрность начинали тогда уже смотрѣть вовсе не какъ на что-то крайне преступное и ужасное, а напротивъ, какъ на великосвѣтскій шикъ, да и дѣвичья пещищность нельзя сказать, чтобы особенно строго охранялась въ тѣ беспутныя времена.

Наконѣцъ, если-бы Волынский и дѣйствительно представлялъ изъ себя такую второстепенную и незначительную личность, то придаче ему героическихъ качествъ и романтическихъ порывовъ, хотя-бы и было пятномъ на картинѣ и анахронизмомъ, но не мѣшало-бы картинѣ самой по себѣ быть совершенно полною и законченною. Но въ томъ-то и дѣло, что картина вѣка Анны Ивановны не можетъ быть полною и законченною безъ изображенія крупной личности Волынскаго во всей ея трезвой, хотя и непривлекательной правдѣ, потому что Волынский представляется весьма характеристическимъ типомъ своего вѣка, безъ изображенія котораго нельзя составить себѣ истиннаго понятія о томъ вѣкѣ грубаго эгоизма, открытыхъ взяточничества и продажности и необузданнаго варварства и звѣрства, едва прикрытыхъ лоскомъ европейской культуры.

Пушкинъ былъ въ этомъ отношеніи какъ нельзя болѣе правъ, когда, получивъ отъ Лажечникова экземпляръ „Ледяного дома“ и прочитавъ его, выразилъ въ письмѣ своемъ къ Лажечникову почти такое-же мнѣніе объ исторической невѣрности романа. Но прежде, чѣмъ мы приведемъ отрывокъ изъ письма Пушкина, мы считаемъ необходимымъ сдѣлать нѣсколько предварительныхъ объясненій.

Надо замѣтить, что если вообще талантъ Лажечникова былъ не великъ, то какого-либо колизма или впадения въ этомъ талантѣ былъ полнѣйшій недостатокъ, а между тѣмъ Лажечниковъ очень любилъ при случаѣ выставлять комическія личности и быть при этомъ забавнымъ. Но подобныя личности выходили у него дубочно-карикатурными, крайне уродливыми и неестественными; самый языкъ у него при такихъ изображеніяхъ дѣлался вычурнымъ и напруженнымъ, и въ результатѣ получалось нѣчто, не только не вызывающее у читателя ни малѣйшей улыбки, а напротивъ производящее непріятное и тяжелое впечатлѣніе. Такое впечатлѣніе производитъ между прочимъ въ „Ледяномъ домѣ“ личность В. К. Тредьяковскаго. Лажечниковъ не позамѣтилъ красокъ, чтобы изобразить его мало того что въ количномъ видѣ, но и въ самомъ черномъ свѣтѣ. Никто не будетъ спорить, что Тредьяковскій игралъ при дворѣ Анны Ивановны очень жалкую и унизительную роль, желая этимъ устроить свою ученую карьеру, и что вообще существо человѣческаго достоинства и нравственная гордость были въ немъ весьма мало развиты. Но отъ этихъ недостатковъ до клеветы и предательства очень еще

далеко. Между тѣмъ Лажечниковъ въ четвертой части, носящей заглавіе „Куда вѣтеръ подуетъ“, рассказываетъ, какъ одинъ изъ клеветовъ Бирона, Подачкинъ, подговаривалъ Тредьяковскаго клеветать на Волынскаго: „Тебя потребуютъ къ государынѣ — ты прямо въ ноги и Расскажи, какъ страдалъ тебя Волынский висѣльщикою, плахою, хотѣлъ тебя убить изъ своихъ рукъ, коли не скажешь молдаванкѣ, что она вдоваецъ, и не станешь носить его писемъ, какъ заставлялъ тебя писать вирши противъ ея величества и раздавать народу“. На что Тредьяковскій отвѣчалъ: „возлагте упованіемъ своимъ на меня, какъ на алмазъ каменъ. Чего не возмogu я исполнить за великія щедроты, которыя ниспосылаютъ на меня его свѣтлость“!

Если здѣсь можно усмотрѣть клевету — то жестокую клевету со стороны Лажечникова на Тредьяковскаго, потому что въ дѣйствительности ничего подобнаго не было. Правда, Тредьяковскій жаловался Бирону на Волынскаго, но при какихъ обстоятельствахъ? Когда поруганный, избитый, измученный Волынскимъ безъ всякаго повода, просто потому, что попалъ подъ руку самодура не въ добрый часъ, онъ вѣдъ себя прибѣгалъ къ Бирону, не зная куда ему броситься, гдѣ искать защиты отъ истязаній необузданнаго звѣря. Я полагаю, есть нѣкоторое различіе между подобнымъ порывомъ чловѣка, обезумѣвшаго отъ боли и страха, и спокойно, сознательно обдуманнми клеветами въ обществѣ съ клеветами Бирона.

Вотъ противъ подобнаго злостнаго искаженія исторической правды и возсталъ Пушкинъ, принявъ подъ свою защиту не только Тредьяковскаго, но и самого Бирона. „Позвольте, милостивый государь, писать оиъ Лажечникову: благодарить васъ теперь за прекрасные романы, которые все мы прочли съ такою жадностью и съ такимъ наслажденіемъ. Можетъ быть, въ художественномъ отношеніи „Ледяной докъ“ и выше „Послѣдняго Новика“, но истина историческая въ немъ не соблюдена, и это современникъ, когда дѣло Волынскаго будетъ обнародовано, конечно, повредитъ вашему созданію; но поэзія всегда останется поэзіею, и многія страницы вашего романа будутъ жить, доколѣ не забудется русскій языкъ. За Василіемъ Тредьяковскаго, признаюсь, я готовъ съ вами поспорить. Вы оскорбляете чловѣка, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей. Въ дѣлѣ-же Волынскаго играетъ оиъ лицо лучезарное. Его донесеніе академіи трогательно чрезвычайно. Нельзя его читать безъ поглованія на его мучителя. О Биронѣ можно-бы также потолковать. Оиъ имѣлъ несчастіе быть нѣмцемъ; на него свалили весь ужасъ царствованія Анны, которое было въ духѣ его времени и въ правахъ народа. Впрочемъ, оиъ имѣлъ великій умъ и великіе таланты“. Этою выдержкою изъ письма, показывающею намъ, какой глубокой, правильный и трезвый взглядъ на историческіе факты обнаруживалъ Пушкинъ даже относительно такихъ эпохъ, изученіемъ которыхъ оиъ, повидимому, не занимался, мы можемъ закончить разборъ „Ледяного дома“.

Вышедши въ 1837 году въ отставку, Лажечниковъ поселился въ деревнѣ подѣ Старицей, на берегу



Возни, и здѣсь былъ написанъ имъ третій историческій романъ „Басурманъ“, появившійся въ свѣтъ въ 1838 году. Романъ этотъ имѣлъ гораздо меньшій успехъ, чѣмъ предыдущіе: публика раскупала его не такъ быстро, и онъ выдержалъ лишь два изданія. Вѣдическій въ свою очередь отзывался о немъ довольно холодно и нашелъ, что онъ слабѣе двухъ предыдущихъ. Со стороны публики это охлажденіе къ любимому романисту можно объяснить тѣмъ, что сюжетъ романа, взятый изъ слишкомъ отдаленной эпохи Юань-ши III, могъ показаться публикѣ мало занимательнымъ и археологическимъ. Что же касается до Вѣдического, то онъ находился въ то время въ самомъ зенитѣ своего увлеченія Гегелемъ и теорію искусства для искусства; онъ повсюду искалъ художественныхъ красотъ, и не видя такихъ въ новомъ романѣ Лажечникова, ни дѣйствительныхъ, ни мнимыхъ, и въ тоже время не особенно высоко цѣнилъ въ немъ то, чѣмъ онъ особенно замѣчательнъ: рѣдкую чистоту и послѣдовательность основной идеи. Въ этомъ отношеніи „Басурманъ“ представляетъ новый шагъ впередъ со стороны Лажечникова, и по нашему мнѣнію, если что достойно отъ Лажечникова охраниться въ памяти потомства, такъ именно его „Басурманъ“.

Безъ сомнѣнія, въ романѣ вы найдете не мало недостатковъ, обусловливаемыхъ и временемъ, въ которое онъ былъ написанъ, и ограниченностью таланта автора. Такъ, никто не будетъ спорить, что всѣ тѣ главы романа, въ которыхъ дѣйствіе происходитъ на Западѣ, имѣютъ мало сказать мелодраматическій, но чисто сказочный характеръ. Въ самомъ дѣлѣ,—вспомните хотя-бы мѣсть Антонія Фіоравенти, заключающуюся въ томъ, что онъ соглашается спасти любимую жену барона Эрнштейна съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы баронъ отдалъ въ его распоряженіе своего первенца, когда тому минетъ годъ. Такъ, именно, начинаются многія сказки, въ которыхъ роль Фіоравенти играютъ волшебницы и колдуньи. Правда, что и главный герой, лекарь Антоній, представляетъ изъ себя личность стереотипную и избѣдную, подобно всѣмъ добродѣтельнымъ героямъ романовъ того времени, что любовь его къ Настасьѣ не выходитъ изъ предѣловъ шаблонныхъ романтическихъ любей и производитъ впечатлѣніе скудной мантильяльной размазни, что злодѣи такъ-же странны, какъ и въ предыдущихъ романахъ, а комическія личности также уродливо карикатурны и неестественны. Но рядомъ съ этимъ вы находите, какъ и уже сказано выше, поразительную чистоту основной идеи и не мало исторической правды въ частностяхъ романа.

Основная идея романа Лажечникова опредѣляется общимъ направленіемъ его мыслей. Надо замѣтить, что и въ этомъ отношеніи Лажечниковъ представлялъ полную противоположность Загоскину. Въ то время, какъ послѣдній тянулъ болѣе къ славянофильству, Лажечниковъ, напротивъ, воспитанный французомъ Волье, обязанный, по его собственнымъ словамъ, ему „любовью ко всему благородному и несправедливости“, прошедши затѣмъ воспитательный для молодежи того времени курсъ по-

ходовъ 13 и 14 годовъ, былъ истымъ западникомъ и либераломъ въ духѣ 20 годовъ. Во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ, при всякомъ удобномъ случаѣ и насколько позволяла строгая цензура того времени, Лажечниковъ не упускалъ высказывать свои либеральныя мысли. Такъ, даже въ „Послѣднемъ Новикѣ“, этомъ наименѣ либеральномъ своемъ романѣ, онъ дѣластъ кое-гдѣ вылазки противъ крѣпостнаго права. Такъ, напримѣръ, описывая пиръ въ замкѣ Гельмгофъ, онъ говоритъ:

«Правда, и крестьянамъ баронессы готовились угощенія и веселости: жарились для нихъ цѣлые быки, катились на господскій дворъ бочки съ виномъ, шились парадныя для новобрачной четы и слышались гудочки и волынчички. Чухонцы, слышавъ объ этихъ приготовленияхъ, заранѣе развѣвали ротъ отъ удивленія и съ нетерпѣніемъ поджидали у своего окна, когда староста или кубасъ той палкой въ замокъ ихъ погонитъ веселиться, которая столько разъ и такъ немилосердно гоняла ихъ на барщину и напоминала о податяхъ. Таковъ грубый сынъ природы! Сытное угощеніе, шумный праздникъ, заставляють забыть все бремя его состоянія и то, что веселости эти дѣлаются на его счетъ. Надо прибавить: таковы иногда бывали и помѣщики, что рѣшались скорѣе израсходовать тысячу на сельскій праздникъ, нежели простить нѣсколько десятковъ рублей оброчной недоимки или рабочимъ днямъ немощнымъ крестьянамъ».

Самое искаженіе личностей Волынского, Бирона и Тредьяковскаго въ романѣ „Ледяной дождь“, вопреки исторической правдѣ, произошло не изъ изъ чего иного, какъ изъ желанія Лажечникова въ лицѣ Волынскаго изобразить свой собственный идеалъ гордаго чувства собственнаго достоинства въ неподкупномъ государственномъ мужѣ, готовомъ пострадать за свою идею и сѣло вооружающемся на тиранство злого временщика; ну и понятно, что какъ злой временщикъ сообразно этому замыслу изображенъ въ самыхъ черныхъ краскахъ, такъ и Тредьяковскій низостью своей пресмыкающейся душонокки долженъ былъ оттънать величіе героя.

Въ „Басурманѣ“ же мы видимъ полный апофеозъ западничества. Представлены здѣсь западные ученые люди въ самый горячій моментъ эпохи renaissance, въ моментъ великаго движенія умовъ, когда только что проснувшаяся послѣ средневѣковаго мрака европейская мысль работала на всѣхъ парахъ: каждый день приносила какія нибудь новыя, важныя открытія и изобрѣтенія: впереди раскрывались широкія и блестящія перспективы. И вотъ въ этотъ моментъ молодой докторъ Антонъ Эрнштейнъ—тотъ самый воспитанникъ Антоніо Фіоравенти, котораго послѣдній оттигалъ отъ отца его, барона, сказочнымъ путемъ, какъ было о томъ сказано выше,—увлекся вызовомъ въ Москву лекаря, какъ въ то время всѣ живые люди увлекались странствіями въ дальнія и невиданныя страны. „Въ Московію, отзывалось въ душѣ его, какъ будто на зовъ, знакомый съ первыхъ лѣтъ младенчества. Она и прежде, въ лучшихъ мечтахъ своихъ, просила дали неизвѣстнаго, новыхъ земель и людей. Антонъ желалъ быть тамъ, гдѣ не ступала еще нога врача. Можетъ статься, допроситъ онъ тамъ природу суровую, еще свѣжую, какими силами задержать долѣе на землѣ временнаго жильца ея, можетъ статься

допытаетъ дѣвственную почву о тайнѣ возрожденія, откроетъ на ней родникъ живой и мертвой воды“...

И вотъ поѣхалъ Антонъ въ неизвѣстную и заманчивую Московію; и только что подѣхалъ къ матушкѣ Москвѣ златоверхой, первое зрѣлище, поразившее заморскихъ путниковъ, было слѣдующаго рода:

«Пылалъ костеръ сажени двѣ въ ширину. Въ противной сторонѣ послышались радостныя торжественныя восклицанія. Множество людей вело на себѣ что то огромное. Не колоколь ли? Но какъ скоро друшлага упряжка разступилась, увидали кѣтку съ рѣшеткою изъ толстой, желѣзной проволоки, и сквозь нее двухъ человекъ. Одинъ былъ молодой, другой старикъ. Отчаяніе въ глазахъ ихъ, моленія, плакающей костеръ, желѣзная кѣтка, радость черни... о! навѣрно готовится казнь. Западию съ половиною долой, и прямо на плакающей костеръ. Огонь, задвигавший тяжкамъ бременемъ, нетерпѣливо закурился; донде начало коробиться и вскорѣ затрещало. Съ кѣтки послышался стонъ. Сердце путниковъ оледѣло, волосы встали дыбомъ. Антонъ и его товарищи просили пристава освободить ихъ отъ печальнаго зрѣлища. Имъ на это отвѣчали только, что въ примѣръ другимъ совершается казнь надъ мерзкимъ, богопротивнымъ измѣнникомъ, литвинномъ княземъ Иваномъ Лукомскимъ, и его сообщникомъ, толмачемъ Матифосомъ, которые хотѣли отравить великаго государя, господина всея Руси, Ивана Васильевича...»

Прѣзжаетъ Антонъ въ Москву; великій князь Іоаннъ принимаетъ его весьма пріятливо, и первымъ же дѣломъ, желая похвастаться своимъ могуществомъ, ведетъ его по своимъ тюрьмамъ, мрачнымъ, вонючимъ, душливымъ кѣтямъ, гдѣ томилась различныя плѣнники князя, государственныя преступники, между прочимъ Мароа Борецкая (кстати сказать, изображенная въ романѣ весьма мастерски; ея разговоръ съ Іоанномъ—верхъ совершенства). Далѣе затѣмъ поселяется Антонъ у боярина Образца, и видитъ, что хозяева замуравились отъ него каменною стѣною, чтобы не имѣть никакого сообщенія съ проклятымъ басурманомъ.

Онъ начинаетъ сблизаться съ окружающими его людьми, присматриваться къ нимъ, лечить, и съ ужасомъ видитъ, что все они не только его считаютъ колдуномъ, но и повсюду вокругъ себя видятъ чары, наговоры и различныя сверхъестественныя вліянія. „Русь, читаемъ мы въ романѣ, была тогда полна чарованіи! Родные предрасудки и повѣрья, остатки міра младенческаго, мнѣческаго, — духи и геніи, налетѣвшіе толпами изъ Индіи и глубокаго Сѣвера и сроднившіеся съ нашими богатырями и дурачками, — царицы, принцы, рыцари запада, принесенные къ намъ въ котомкахъ итальянскихъ художниковъ; все это населяло тогда дома, лѣса, воды и воздухъ, и сдѣлало изъ нашей Руси какой-то поэтической, волшебный міръ. Духи встрѣчали новорожденнаго на порогѣ жизни, качали его въ колыбели, рвали съ дитятей цвѣты на лугахъ, плескали въ него играючи водой, аужались въ лѣсахъ и заводили въ свой лабиринтъ, гдѣ наши Тезеи могли убить льятаго Минотавра не иначе, какъ выворотивъ одежду и закліатіемъ, купленнымъ у лихой бабы, или, все равно, русской Маден. Духи носелились въ глаза, чтобы взглядомъ испортить кого, падали разсыпной звездою надъ женщиною, предававшейся слазкимъ, полудночнымъ гре-

замъ, тревожили недобраго человека въ гробу, илѣ, проявляясь въ лихомъ мертвецѣ, ночью выходили въ доховина пугать прохожихъ, если православные забывали вколотить добрый колъ въ ихъ могилу. Все необыкновенныя случаи, все недуги и сильныя страсти были дѣломъ духовъ...“

Вотъ въ какую полудикую среду пошалъ Антонъ послѣ ученыхъ университетскихъ диспутовъ, радуженныхъ фразовъ, скандировавшихъ стихи Горациа, великихъ художниковъ, создавшихъ въ то время безсмертныя творенія и т. п. И тѣмъ не менѣе, сквозь непроницаемую кору варварства онъ увидѣлъ массу добродушій, великодушныхъ порывовъ, молодой, свѣжей энергіи, любознательности въ загадочной народѣ, среди котораго ему пришлось жить. Онъ завязалъ кое какія связи и даже любовную патригу, и такъ началъ обживать въ Москвѣ, что готовъ былъ даже принять православіе и жениться на дочери боярина. И вдругъ стоило ему залечить татарскаго царевича Каракача, и то не залечить, а враги Антона вѣрочно отравили больного, чтобы обвинить ненавистнаго лекаря передъ княземъ, и вотъ тому, который самъ же вызвалъ Антона изъ плѣтчины и осыпалъ его большими милостями, ничего не стоило безъ жалости выдать Антона татарамъ, а тѣ зарѣзали его на Москвѣ рѣкѣ.

Все это производитъ на читателя очень сильное и цѣльное впечатлѣніе. Картина старой Руси въ ея зѣрской дикости и грубомъ невѣжественномъ изувѣрствѣ рисуется передъ вами во всемъ своемъ ужасномъ мракѣ. Среди этой картины угрюмо возвышается мрачная личность собирателя Руси, изображенная мастерски и исторически вѣрно. Здѣсь вы найдете мѣста, въ которыхъ одна какая нибудь фраза рисуется передъ вами эту личность во всей ея сути. Такъ, напримѣръ, обратите вниманіе на то мѣсто, гдѣ князю докладываютъ о скандалѣ, происшедшемъ на пиру у Палеолога, и между прочимъ о томъ, что Антонъ, услыша бранныя рѣчи Палеолога противъ князя, бросилъ ему въ лицо цѣль, которую тотъ подарилъ ему за леченіе Ганды. Князь очень польщенъ такою поступкомъ Антона, по чуть же у него воскресаетъ инстинктъ скупого и разсчитливаго скопидона, и онъ осуждаетъ молодого лекаря, пренебрежнаго драгоценнымъ подаркомъ: — неразумно, говорить онъ: коли была дорога (т. е. цѣль).

Не менѣе характеристичны, исторически правды второстепенныя детали, оживляющія общую картину, напримѣръ, сцена кулачнаго боа, божьяго суда, охоты за орлами—и пр. Вообще въ „Басурманѣ“ мы имѣемъ замѣчательный историческій романъ, который и до сихъ поръ читается съ удовольствіемъ и не безъ пользы.

Но, къ сожалѣнію, это былъ послѣдній историческій романъ Лажечникова. Далѣе онъ пустился въ автобиографическіе романы, каковы: „Вѣленскіе, черенскіе и сѣренскіе“ и „Немного лѣтъ назадъ“, въ которыхъ онъ является безхитростнымъ, но, вѣдо признаться, очень скучнымъ расказникомъ, знающимъ читателей съ бытомъ и людьми своей казенской родины. Закончилъ же онъ большимъ романомъ „Виучка панцирнаго боярина“ изъ польскаго

достоинствъ, романомъ очень печальныхъ свойствъ во всѣхъ отношеніяхъ. Но повсемѣстно распространяться не нахвренъ, такъ какъ это не входитъ въ предметъ моего труда.

## VII.

Наводненіе литературы 30-хъ и 40-хъ годовъ историческими романами и сѣтованіа Бѣлинскаго по этому поводу. — Романъ изъ русской жизни А. Лафонтена. — Биографическія очерки Рафаэля Зотова и его романы: «Послѣдній потомокъ Чингизъ-хана», «Леопидъ» и «Тайственный монахъ».

«Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно же историческихъ романовъ и повѣстей? Кто? только люди ничего не пишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причина? Объ этомъ можно-бы много сказать, но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозою. Эти господа думаютъ, что событіе (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда бываетъ одно и то же: герой, одаренный всѣми добродѣтелями, красотой и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже — феячикъ своего пола. За все обыкновенно сватается какой-нибудь «клюдѣй» на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуетъ разная препитствія и страданія; но вѣрность и постоупство превозмогаютъ — даже адравый смыслъ, — и герой, по претерпѣннн разныхъ несчастій, соединяется наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому виду г. сочинитель приплещаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вождѣльнаго соединенія кровей своего романа, такъ что у иного такого сочинителя и полтавская битва, и бородинское сраженіе даются имонно съ этою цѣлю и, кромѣ счастливаго брака глухихъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Соглашусь, что такъ писать легко: печего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взять перо — и пошелъ писать! Чудакъ — эти сочинители!»

Такъ мѣтко характеризовалъ Бѣлинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1843 г. большинство историческихъ романовъ, выходившихъ въ его время, и такъ онъ сѣтовалъ на ту поразительную легкость и скороспѣлость, съ какими эти романы писались и появлялись на свѣтъ. И дѣйствительно, было на что сѣтовать и негодовать. Тотъ необычайный успѣхъ, какимъ ознаменовалось появленіе романовъ Загоскина и Лажечникова, не могъ пройти безслѣдно и не возбудить конкуренціи въ то время, когда книгопродавецкая дѣятельность только-что успѣла встать на ноги и литературная спекуляція была въ полномъ разгарѣ. Чего только не предпринималось въ то время съ цѣлю улавливать неопытнаго читателя и наживаться на счетъ его легковѣрія и невѣжества: и альманахи, и иллюстраціи, и такія съ виду почтенныя, а въ сущности эфемерныя изданія, какъ энциклопедическій лексиконъ Плюшара, «Панорама С.-Петербурга» Вамуцкаго, «Россія» Булгарина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что съ легкой руки Загоскина и

Лажечникова историческіе романы въ свою очередь посмѣались, какъ изъ рога изобилія. Какъ велика была эта эпидемія исторической беллетристики, можно судить по числу наиболѣе выдающихся именъ, подвизавшихся въ то время на этомъ поприщѣ. Такъ, кромѣ Пушкина, Гоголя, Загоскина, и Лажечникова мы видимъ въ качествѣ русскихъ В. Скоттовъ: — Р. Зотова, Н. Полеваго, О. Булгарина, Н. Кукольника, Свиньина, Ал. Кузмича, Воскресенскаго, П. Федорова, А. Андреева, А. Чуровскаго и проч. Женскій трудъ, въ свою очередь, не замедлитъ представить свою лепту всеобщему увлеченію въ лицѣ О. Шишкиной, о которой будетъ у насъ рѣчь впереди, и другой безвѣстной писательницы, написавшей романъ «Супруги Владиміра» и затѣвъ историческую повѣсть, одно обширное, но совершенно безразлагное заглавіе которой можетъ свидѣтельствовать о томъ, что это за произведение. Вотъ это замѣчательное заглавіе: *«Шпионы. Русская повѣсть XVI столѣтія. Съ точнымъ описаніемъ житія-бытія Русскихъ бояръ, изъ прибитія въ отчину, покорность женъ, три великоможей и наконецъ Царская вечеринка. Мимоходомъ замѣчены монахи того времени, изъ поклонницы; не забыты и истинно святые мужи, какъ-то старцы: Семіонъ Курбекій, Вассіанъ Патрикеевъ и Максимъ Грекъ, въ достоверную эпоху вторичнаго брака царя Василія Ивановича. Выбрано изъ рукописей издательницею „Супруги Владиміра.“ Москва 1834 года.»*

Создательница «Шпионовъ» все таки разсчитывала на кое-какую извѣстность, именуи себя издательницей «Супруги Владиміра», но во второй половинѣ 30-хъ годовъ начали фабриковаться цѣлыми массами историческіе романы безъ всякихъ поминований авторовъ. Это были дубочныя изданія, которыя преимущественно отличались московскіе книгопродавцы; кое какъ скомпилированные на скорую руку, частью по Карамзину, частью по вышедшимъ уже въ свѣтъ романамъ, печатаемые на сѣрой, чуть не оберточной бумагѣ, съ грубѣйшими грамматическими ошибками и опечатками, и непремѣнно съ громкими заманивающими заглавіями въ родѣ вышеприведеннаго, романы эти тѣмъ не менѣе расходились по ярмаркамъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Книжная спекуляція на этомъ пути дошла наконецъ до такой крайней безцеремонности, что начали издавать историческіе романы съ заглавіями, похожими на заглавія романовъ, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ. Такъ появились Ольга Милославская, княжна Рославлева и т. п.

Предпринимавшая по части дубочной книжной спекуляціи, Москва, пользуясь страстью публики къ чтенію историческихъ романовъ, ухитрилась даже издать переводный, историческій романъ изъ русской жизни. Такъ въ 1830 г. вышла книга *«Князь Федоръ Д—кій и княжна Марія М—ва, или вѣрность по смерти. Русское происшествіе. Сочиненіе Августа Лафонтена. Переводъ съ Нѣмецкаго.»*

Это было новое изданіе романа, имѣвшаго успѣхъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, но давно забытаго, и вотъ въ 1830 году, романъ Лафонтена, благодаря всеобщему увлеченію историческою беллетристикой,

вновь вынырнуть на свѣтъ, не смотря на то, что въ 30-е годы онъ представлялъ собою совершенный анахронизмъ и, распространяясь рядомъ съ „Капитанскою дочкой“ Пушкина или романами Загоскина имѣлъ видъ покойника, внезапно воскресшаго и начавшаго разгуливать въ старомодномъ костюмѣ среди совершенно чуждыхъ ему нравовъ и обычаевъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ сентиментальный романъ въ письмахъ начала нынѣшняго столѣтія, чуждый какихъ-бы то ни было живыхъ историческихъ красокъ и типическихъ чертъ времени и мѣста. Дѣйствующія лица только и дѣлаютъ, что пишутъ письма своимъ друзьямъ, разражаясь при этомъ безпрестанно длинными, чувствительными тирадами о добродѣтели, любви къ отечеству и щетѣ честолюбія и роскоши. Сюжетъ заключается въ томъ, что два вѣжные голубка, князь Оедоръ Долгорукій и княжна Марія Меншикова, пылая самою высокою и добродѣтельною взаимною страстью, поклялись принадлежать другъ другу до гробовой доски, не смотря на то, что ихъ раздѣляла непримиримая вражда ихъ родителей — вѣчно въ родѣ вражды Монтеки и Капулетти. — Не встрѣчая поощренія ихъ страсти со стороны родныхъ, молодые люди собрались уже было бѣжать за границу; все было готово къ побѣгу: въ каналѣ стояла яхта, снабженная нужнымъ количествомъ людей и съѣстными припасами; оставалось только сѣсть на нее и уѣхать, но любовь къ добродѣтели остановила героевъ въ самую рѣшительную минуту.

— Марія! воскликнулъ князь Оедоръ, съ огнемъ любви смотря въ глаза княгини Маріи: вотъ судно, которое унесетъ насъ отъ твоего отца. Кака была-бы для меня радость, если-бы нога твоя на него ступила! Но я не хочу, Марія, похитить тебя силою. Ты меня любишь; для меня этого довольно. Мое счастье стоило-бы слишкомъ дорого, если-бы оно было куплено слезами горести, проливаемыми тобою. Подумай, Марія, и на что нибудь рѣшишься. Тебѣ должно оставить отечество, родителей, сестру, родственниковъ, должно оставить свою знатность, отказаться отъ своего имени, а я, въ награду за все это, не могу обещать тебѣ ничего болѣе, кромѣ своего сердца, вѣрнаго своего сердца!“

Въ отвѣтъ на это Марія прижала его къ своему сердцу и сказала: „Дражайшій Оедоръ! я готова броситься съ тобою въ пропасть. Счастливою, несказанно счастливою была бы я у твоего сердца! Но — какъ можно оставить матушку... Однако избирай Оедоръ, и на все готова!“

— Я уже избралъ, безцѣнная Марія, сказалъ онъ съ вѣжностью, избралъ спокойствіе невиннаго твоего сердца, а не свое счастье. Мы въ состояніи умереть другъ для друга; это всегда сдѣлаетъ насъ счастливыми! Слезы горести будутъ мочить глаза твои, но никогда — слезы раскаянія! Пойдемъ враздѣ, милая Марія! лучше останемся несчастными, нежели виновными!

И они вернулись на стезю добродѣтели. Послѣ того обертъ-злудѣй романа, князь Меншиковъ, началъ сватать свою дочь за императора Петра II, а князя Долгорукова заключить въ крѣпость; но вскорѣ послѣ-

довало надсеіе и ссылка въ Березовъ самаго обертъ-злудѣя; князь же Долгорукій, освобожденный изъ своего заточенія, послѣдовалъ въ Сибирь вслѣдъ за своею возлюбленною, объявивши роднымъ и знакомымъ, что онъ ѣдетъ за границу. — Приставъ по дорогѣ къ семейству Меншиковыхъ, Долгорукій сблизился съ павшимъ временикомъ, и тотъ такъ полюбилъ его, что въ Березовѣ началъ уговаривать свою дочь, чтобы она бѣжала со своимъ возлюбленнымъ. — Но было уже поздно: роковой недугъ, развившійся вслѣдствіе всѣхъ передрагъ, подтачивалъ жизнь Маріи, и молодые люди ограничили тѣмъ, что осмысленный священникъ соединилъ ихъ законнымъ бракомъ. Замѣчательно при этомъ, что авторъ романа, незнакомый съ русскими обычаями, изобразилъ обрядъ вѣчанія въ хижинѣ, гдѣ жили Меншиковы. Далѣе затѣмъ авторъ поражаетъ своихъ читателей эффектнымъ эпизодомъ въ дико-романтическомъ духѣ. — Молодые поѣхали въ Тобольскъ для закупки припасовъ. На возвратномъ пути, вѣдучи вдоль по берегу Оби, вышли они изъ кляски, чтобы поспострѣть на мысъ, который былъ весь покрытъ разными деревьями. Но пока они любовались природой и восхищались, внезапно мысъ отдѣлился отъ береговъ и понесся внизъ по рѣкѣ, увлекаямъ теченіемъ. Послѣ тщетныхъ попытокъ спастись, князь Оедоръ Долгорукій и княгиня Марія Меншикова, читаемъ мы въ романѣ: „взошли на холмъ, бывший по срединѣ, потому что глубокая вода затопила уже нижнюю часть острова. Здѣсь сѣли они и объялись крѣпко, ожидая смерти. Плывшій ихъ островъ попался въ быстрый потокъ рѣки и неся, какъ стрѣла. Любовники еще крѣпче обхватились, потому что островъ начиналъ колебаться и большіе отломки отдѣлялись отъ него. Уже думали они потонуть въ волнахъ, и кровь ихъ оледенѣла. Шумъ ярхъ волнъ и ужасный громъ возстающей бури заглушали ихъ чувства; и когда высоко-бьющія волны брызгали на нихъ, то они думали уже, что уилывуть съ волнами. „Оедоръ! любезный Оедоръ! я вѣчно твоя!“ — „Марія! любезная Марія! я вѣчно твой.“ — Такъ восклицали они оба и крѣпко прижимали другъ къ другу холодныя уста свои“.

Но все обошлось благополучно. Коварный островъ вновь присталъ къ берегу, и супруги выбрались на твердую землю, для того, чтобы остатокъ дней провести въ мирномъ счастіи подъ соломяною кровлею. Марія вскорѣ умерла, князь Оедоръ, конечно, не пережилъ ее и отправился на тотъ свѣтъ черезъ мѣсяцъ послѣ ея смерти. Ихъ похоронили рядомъ, чѣмъ и кончается чувствительный романъ, надъ которымъ, безъ сомнѣнія, не мало было пролито слезъ нашими бабушками. Но появленіе этого романа вновь въ срединѣ 30-хъ годовъ показываетъ, что и наши матушки все еще были не прочь поплакать надъ подобною сентиментальною чепухою, хотя они были окружены литературными образцами совсѣмъ въ иномъ духѣ и вкусѣ.

Не имѣя ни нужды, ни возможности перебирать всѣ подрядъ историческіе романы, вышедшіе въ 30-е и 40-е годы, мы ограничимся лишь наиболѣе выдающимся, известными и составлявшими нѣкогда любимое чтеніе нашихъ отцовъ, а также и наше въ на-

мень дѣтствѣ. Такъ, первое мѣсто послѣ Загоскина и Лажечникова занимаетъ, безспорно, Рафаэль Михайловичъ Зотовъ. Съ него-то мы и начнемъ.

Романы Р. Зотова, хотя и уступаютъ по таланту автору романамъ Загоскина и Лажечникова, тѣмъ не менѣе имѣютъ свои рѣзкія особенности, и особенности эти вполне зависятъ отъ нѣкоторыхъ условий происхожденія и жизни Зотова, и потому мы считаемъ не лишнимъ прежде всего нѣсколько познакомить читателей нашихъ съ этими условиями, выходящими изъ общаго уровня.

Начать съ того, что Р. М. Зотовъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ царственнаго происхожденія. Онъ былъ зять Бату-хана, брата послѣдняго крымскаго владетеля Шагинъ-Гирея. Отецъ его родился отъ невольницы Заремы, дѣвушки обольстительной красоты и тоже какого-то восточнаго происхожденія. До 8 лѣтъ мальчика скрывали въ тайникахъ гарема, потому что ханы не любили, чтобы братья ихъ играли дѣтей, и лишь когда Бату-ханъ убѣдился, что братъ его не питаетъ къ нему вражды, а напротивъ того, любитъ вѣздить съ нимъ на охоту и проводить съ нимъ вечера, онъ открылъ ему въ тайнѣ рожденія своего сына. Ханъ принял это очень милостиво, приказалъ даже представить себѣ племянника. Съ этихъ поръ мальчикъ получалъ уже лучшее воспитаніе, къ которому былъ способенъ тогдашній бахчисарайскій дворецъ, подъ руководствомъ итальянца Сальви, занимавшаго при дворѣ должность звѣздочета, врача и казначея.

Братья, впрочемъ, не долго жили мирно. Оба они были и честолюбивы, и сластолюбивы. Шагинъ-Гирей заинтересовался красотой Заремы, и братъ долженъ былъ уступить ему свою любимѣйшую жену, но въ душѣ возмущеннаго отомстить ему и составилъ заговоръ съ цѣлью умертвить брата и завладѣть престоломъ его. Все уже было готово къ исполненію этого замысла, дворецъ былъ наполненъ убійцами, какъ вдругъ сынокъ Заремы все разомъ разрушилъ: онъ подслушалъ о готовящемся переворотѣ и сообщил своему воспитателю Сальви, а тотъ пошелъ къ хану и убѣдилъ его бѣжать въ русскій лагерь въ Перекопъ. Бату-ханъ немедленно-же возсѣлъ на престолѣ брата. Въ Константинополѣ приняли посольство Бату самымъ ласковымъ образомъ и обнадѣжили его въ султанской помощи, а русскій генералъ Бальменъ отправилъ въ Петербургъ эстафетъ съ донесеніемъ о случившемся. Черезъ полгода, когда уже Бату-ханъ воображалъ себя полнымъ владетелемъ Крыма, Бальменъ, получивъ приказаніе, быстро двинулся къ Бахчисараю, и, въ свою очередь, Бату-ханъ принужденъ былъ бѣжать въ Константинополь; сынъ-же его былъ отправленъ вмѣстѣ съ матерью въ Петербургъ въ качествѣ аманата.

Начавши такимъ образомъ свою карьеру доносомъ на отца, отецъ Р. Зотова былъ доведенъ до Петербурга лишь одинъ, такъ какъ мать его дорогою умерла. — Какъ до отъѣзда, такъ и дорогою онъ не переставалъ учиться русскому языку сначала у бахчисарайскаго консула Горозуло, потомъ у поручика Палея, который его возъ въ столицу. По прѣѣздѣ онъ былъ представленъ сначала Ланскому, потомъ импе-

ратрицѣ, которая рѣшила окрестить его и при этомъ пожаловать сержантомъ гвардіи. При крещеніи нарекли его Михайломъ, а фамилію Зотова дали потому, что онъ случайно походилъ на одного изъ камердинеровъ императрицы, носившаго эту самую фамилію. Затѣмъ мальчика опредѣлили въ шляхетный корпусъ, гдѣ принять въ немъ большое участіе графъ Ангальтъ. По выходѣ изъ корпуса Михайлъ Зотовъ былъ по волѣ Павла оставленъ при корпусѣ наставникомъ, но вскорѣ обратилъ на себя вниманіе императора необыкновенною своею силою и переведенъ въ число дворцовыхъ гренадеръ. — Но въ этой должности онъ оставался не долго, такъ какъ Ламсдорфъ, получивши мѣсто псковскаго губернатора, взялъ его къ себѣ чиновникомъ особыхъ порученій, а вскорѣ затѣмъ онъ былъ назначенъ капитанъ-исправникомъ.

Здѣсь съ нимъ случилось весьма важное событіе въ его жизни. Надо замѣтить, что въ то время нравы дворинскаго сословія не отличались особенною чистотою, и какъ въ столицѣ, такъ и по провинціальнымъ городамъ жизнь свѣтскихъ обществъ представляла собою непрерывную оргію пьянства, карточной игры и вольности. — Нужно-ли и говорить о томъ, что молодой человекъ атлетическаго сложенія, въ жилахъ котораго текла горячая восточная кровь, унаследовавшій, къ тому-же, отъ своихъ властительныхъ и женулюбивыхъ предковъ не малую дозу сластолюбія — послужилъ лакомою приманкою для дяди псковскаго боярда и сразу завелъ бездну интрижекъ и между прочимъ къ нему оказала свою благосклонность жена вице-губернатора Брылкина. Но онъ имѣлъ неосторожность, не довольствуясь госпожою, полюбиться на ея служанку, крѣпостную дѣвушку, и возбуждалъ въ вице-губернаторѣ неукротимую ревность. Она потребовала, чтобы капитанъ-исправникъ тотчасъ-же женился на обольщенной имъ дѣвушкѣ, въ противномъ случаѣ, угрожала пожаловаться на него самому государю. Эта угроза въ тѣ времена была не шуточная. Навѣтъ и, какъ извѣстно, очень строго относился къ нравственности офицеровъ, и нарушителей ея обыкновенно заставляли жениться на обольщенныхъ дѣвушкахъ. Такъ, мѣсто Альбрехтъ, бывшій потомъ казначеемъ при театрѣ, принужденъ былъ жениться на охтенской молочницѣ, подавшей подобную жалобу.

Михайлъ Зотовъ не пожелалъ допустить разгнѣванную вице-губернаторшу до жалобы и рѣшился добровольно жениться на ея крѣпостной. Первымъ плодомъ этого союза и былъ будущій романистъ Рафаэль Зотовъ.

Этотъ насильственный бракъ, конечно, не могъ быть особенно счастливымъ. По крайней мѣрѣ, мы видимъ, что Михайлъ Зотовъ почти не жилъ со своей женою. Онъ купилъ для своей семьи домъ на Завеличьи и нѣсколько душъ, а самъ уѣхалъ въ Парижъ въ качествѣ наставника дѣтей у одного псковскаго богача. Здѣсь онъ имѣлъ какія-то странныя и нѣсколько двусмысленныя сношенія съ русскимъ дворяномъ и первымъ консуломъ Бонапарте, съ его министрами, съ актрисами Жоржъ и Жюли Эвра; затѣмъ онъ авailed въ Пултускѣ въ русскую армію, представился Беннигсену и получилъ мѣсто по провіантской части.

Послѣ этой кампаніи онъ побывалъ опять во Псковѣ по устройству своихъ домашнихъ дѣлъ, потомъ опять отправился въ Петербургъ, взявши съ собою семилѣтняго сына. Тутъ онъ, въ чинѣ подполковника, получилъ довольно важное мѣсто въ молдавской арміи, куда и отправился, оставивши сына на попеченіи своей прежней покровительницы Фед. Ив. Елагиной,—и затѣмъ пропалъ безъ вѣсти. Австрійскій консулъ сообщилъ изъ Калафата, что подполковникъ Зотовъ, переѣзжая черезъ Дунай, утонулъ и похороненъ; бумаги-же его препроводилъ къ Прозоровскому. Но черезъ тридцать лѣтъ Р. Зотовъ встрѣтилъ своего однофамильца и изъ разговора съ нимъ узналъ, что тотъ былъ братъ его и родился отъ того-же самага М. Зотова послѣ уже таинственнаго исчезновенія его. Оказалось такимъ образомъ, что М. Зотовъ и не думалъ утратить, а долго жилъ въ Турціи, не скрывая своей фамиліи, но будучи двоюроднымъ, не могъ уже возвратиться въ Россію. Попросту-же сказать, онъ ловко отдѣлался отъ силою навязанной ему семьи и завелъ другую, по душѣ.

Читатель, конечно, будетъ удивленъ, что я, вмѣсто того, чтобы остановить вниманіе его преимущественно на фактахъ жизни самага романиста, рассказываю такъ подробно жизнь его отца. Но, во-первыхъ, дѣлая это, я пересказываю сюжетъ одного изъ романовъ Р. Зотова, а, во-вторыхъ, біографическія данныя отца Р. Зотова скорѣе дадутъ намъ ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ особенныхъ чертъ романовъ Р. Зотова, чѣмъ его собственная жизнь.

Что касается до послѣдней, то она лишь въ началѣ замѣчательна своими, но истинно-фантастическимъ характеромъ. Представьте себѣ мальчика, завезеннаго отцомъ въ Петербургъ и оставленнаго въ доми Фед. Ив. Елагиной; затѣмъ отецъ вдругъ исчезаетъ, а Елагина разоряется и уѣзжаетъ со своимъ семействомъ въ деревню, мальчикъ-же остается на рукахъ гувернера, нѣкоего Краузе, выходца изъ Варшавы, гдѣ онъ имѣлъ прежде мѣсто полицей-инспектора, а затѣмъ опредѣлился къ Елагиной учить ея дѣтей (онъ зналъ нѣсколько языковъ) и ухаживать ей оркестръ изъ ея крѣпостныхъ. Краузе сидитъ безъ мѣста, и маленький Р. Зотовъ голодаетъ виѣтѣ съ его семействомъ. Краузе опредѣляется въ какой-нибудь богатый домъ наставникомъ и гувернеромъ, и мальчикъ поселяется въ этомъ совершенно чужомъ домѣ и начинаеть учиться съ дѣтьми барина. Наконецъ, Краузе, желая избавиться отъ подкинутого ему ребенка, принуждаетъ его припомнить, съ какими людьми отецъ его наиболѣе былъ знакомъ. Мальчикъ припоминаетъ фамилію Чихачева и Кожевникова. Идутъ наудачу сначала къ Чихачеву, тотъ принявъ ихъ сухо и не пожелавъ взять на воспитаніе чужого ребенка; отправляются тогда къ Кожевникову, и послѣдній, по словамъ Р. Зотова, принимаетъ съ открытыми объятіями сына своего друга, тотчасъ-же беретъ его въ домъ и помѣщаетъ въ гимназію, гдѣ мальчикъ кончаетъ курсъ въ 1810 г., 15 лѣтъ отъ роду.

Далѣе жизнь Р. Зотова не представляетъ собою ничего особенно замѣчательнаго. По призыву всей мало-мальски порядочной молодежи того времени, онъ участвовалъ въ войнѣ въ 1812 году, въ качествѣ

ополченца и, выдержавши всю кампанію, возвратился въ 1814 году съ десятью ранами и Анною 3-й степени. Затѣмъ пристроился къ театральной дирекціи и занималъ разныя мѣста при театрахъ въ продолженіи 25 лѣтъ. На этой службѣ изъ него выработался, мало-по-малу, истинный бюрократъ, умѣвшій и въ начальствѣ ловко подлѣхивать, и подставить, кому нужно, попку, и не упустилъ случая воспользоваться предлагавшимся кускомъ общественнаго пирога. Къ повышеніямъ, наградамъ и особенно къ орденамъ онъ питалъ большую нѣжкость; по крайней мѣрѣ, повсюду въ своихъ запискахъ, гдѣ только касается дѣло этого предмета, онъ говоритъ обо всемъ этомъ съ увлеченіемъ. Такъ, напримѣръ, по поводу представленія новому директору Осолопову въ качествѣ секретаря, онъ замѣчаетъ: „я явился къ Осолопову и былъ принятъ довольно ласково. Но странно было видѣть, что у директора былъ только Владиміръ 4-й степени, а у секретаря Анна на шеѣ“. Женитьба его, чуждая какихъ-либо романтическихъ и поэтическихъ красокъ, въ свою очередь, совершенно послѣ характеръ вступленія въ законный бракъ по всѣмъ формамъ житейской практики чиновника, имѣющаго солидное мѣсто и Анну 3-й степени. По крайней мѣрѣ, вотъ какъ онъ повѣствуетъ объ этомъ обстоятельствѣ своей жизни: „Мнѣ былъ только 21-й годъ, но я уже сдѣлалъ походъ и четыре года былъ на службѣ. Съ окладомъ въ 600 р. не снѣлъ я рѣшиться на женитьбу, но съ 2000 и получивъ 1200 за переводъ—можно было свататься. Жена моя была не богаче меня, и мы въ будущемъ не могли упрекать другъ друга. *Книжъ Тюблякинъ былъ моимъ посаженнымъ отцомъ и для брачной церемоніи далъ мнѣ свою карету*“. Коротко, ясно и такъ тихо, что не требуетъ ни малѣйшихъ разъясненій.

Выйдя въ отставку изъ театральной дирекціи, Р. Зотовъ долго оставался безъ мѣста и тщетно хлопоталъ гдѣ-либо пристроиться. Прежде всего, по словамъ его, онъ обратился къ начальнику III отдѣленія Мордвинову, съ которымъ когда-то дѣлалъ военную кампанію. Мордвиновъ тщетно хлопоталъ о Р. Зотовѣ у гр. Бенкендорфа, но государь отказалъ даже и его ходатайству. Мордвиновъ вскорѣ вышелъ въ отставку и передалъ Зотова Л. В. Дубельту, который, въ свою очередь, старался пристроить его въ различныя канцеляріи, но безуспѣшно, и лишь послѣ того, какъ онъ, по случаю построенія Николаевского моста, вздумалъ написать нѣсколько стиховъ, конечно, хвалебныхъ, гр. Клейнмихель пригласилъ его на службу членомъ общаго присутствія департамента ревизій отчетовъ.

Литературная дѣятельность Р. Зотова была по истинѣ изумительна своею плодотворностью и многосторонностью. Такъ, во время своей службы при театрахъ, онъ успѣлъ написать и перевести 110 пьесъ. Затѣмъ онъ писалъ романы, какъ историческіе, такъ и изъ современной жизни и не только европейской или русской, но изъ китайской (его романъ Цынъ-Киу-Тонгъ), писалъ популярныя статьи по астрономіи, въ родѣ „Геогонія и космогонія“, „Сонъ въ лѣтнюю ночь въ Павловскѣ“, „Фантастическій обзоръ всего міра-аданія“, „Путешествіе на Венеру“, „Путешествіе на

Марсъ\*, „Пребываніе на нѣкоторыхъ звѣздахъ“, „Солнце и его міровая система“, „Міровѣдѣніе“. Подавалъ высшему начальству проекты, каковы, напримеръ: объ охраненіи зданій отъ пожаровъ; объ учрежденіи въ Россіи гражданской стражи; о построеніи желѣзной дороги изъ Петербурга въ Одессу; объ обмеленіи всѣхъ рѣкъ въ Россіи по причинѣ истребленія лѣсовъ; о нищенствѣ; наконецъ, о всеобщей воинской повинности и военной службѣ не долѣе трехъ лѣтъ. „Это,—говоритъ онъ,—превратило-бы Россію въ постоянный и всеобщій лагерь, который вмѣстѣ съ тѣмъ занимался-бы всѣми вѣтвями промышленности, науками, художествами. Главное, при этомъ, было-бы обязательное ученіе всѣхъ сословій такъ, чтобы окончившіе курсъ въ университетахъ эгалитали въ военную службу въ офицерскомъ чинѣ, а съ гимназическимъ курсомъ имѣли-бы право только на унтеръ-офицерское званіе. Военное воспитаніе должно быть всеобщимъ, и оно на всю жизнь сохранить каждому духъ дисциплины и общественного порядка“.

Въ своихъ литературныхъ сношеніяхъ Р. Зотовъ былъ также неразборчивъ, какъ и въ служебныхъ. Такъ, мы видимъ, что онъ мало того, что всю жизнь вращался и работалъ въ литературныхъ кружкахъ весьма предосудительнаго свойства, но и попалъ-то въ эти кружки самымъ нелитературнымъ способомъ. Вотъ, какъ рассказываетъ онъ объ этомъ въ своихъ запискахъ:

«Я не упоминаю о моихъ газетныхъ сотрудничествахъ. *Переве я получилъ по ходатайству Л. В. Дубельта* у Греча и Булгарина. Они мнѣ дали 4000 р. ассигн. за то, чтобы я писалъ театральныя статьи и всякую другую мелочь. Конечно, я помнилъ свое масонское знакомство съ Гречемъ (въ юности Р. Зотовъ вмѣстѣ съ Гречемъ участвовалъ въ нѣмецкой ложѣ Peter zur Wahrheit и мечтали объ учрежденіи русской ложи), хотъ онъ и предалъ меня, пославъ къ Шаховскому мои стихи противъ него, съ другой стороны, не доверялъ и Булгарину, потому что былъ не его партіи (?); но мнѣ выбирать было не изъ tego и я пріютился у этихъ людей, у которыхъ добросовѣстно работалъ четырнадцать лѣтъ, и долженъ имъ отдать справедливость: *они были ко мнѣ всегда ласковы*. Взвѣвъ потомъ и политическій отдѣлъ (потерый весь состоялъ изъ переводовъ), я довелъ свое малопанье до 1200 р. серебромъ и никогда не есорился съ ними. Четырнадцатилѣтній періодъ безъ есора очень важная вещь для газетныхъ редакцій, но все-таки кончилось тѣмъ, что мы поссорились. Одно анонимное общество предложило мнѣ принять на себя редакцію предпринимаемой газеты «Россія», съ тѣмъ, чтобы я составилъ планъ и дѣйствовалъ передъ правительствомъ отъ своего имени; я согласился и подавъ этотъ планъ въ III отдѣленіе. Сынъ Булгарина служилъ въ III отдѣленіи и передалъ это извѣстіе Гречу, съ прибавкою, что проектъ мой почти принятъ. Этого было довольно, чтобы возбудить страшный гнѣвъ Греча. Онъ разразился ругательствами за мою неблагодарность и упрекалъ за то, что я подорву «Шчедау». Письмо кончилось, разумеется, тѣмъ, что я съ этой минуты уволенъ отъ сотрудничества. Что мнѣ было дѣлать? Я отвѣчалъ объясненіемъ всего дѣла и отвѣта, который получалъ отъ III отдѣленія, и затѣмъ разстался съ Гречемъ навсегда».

Изъ историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ и до сихъ поръ не забытыхъ, мы остановимся на трехъ—на романѣ „Леонидъ или нѣ-

которыя черты изъ жизни Наполеона“, вышедшемъ въ 1832 г.,— „Тайственный монахъ, или нѣкоторыя черты изъ жизни Петра I“—изданномъ въ 1842 г. и „Послѣдній потококъ Чингисъ-Хана“, неизвѣстно когда написанномъ Р. Зотовымъ, изданномъ-же въ 1880 г. сыномъ романиста, Вя. Зотовымъ, девять лѣтъ спустя послѣ смерти отца. Читатель извинитъ, что, нарушая хронологическій порядокъ, мы начнемъ прямо съ послѣдняго. Это намъ нужно потому, что въ этомъ романѣ наиболее рѣзко выражаются тѣ особенности романовъ Р. Зотова, о которыхъ у насъ тотчасъ-же пойдетъ рѣчь.

Главная и существенная особенность заключается въ томъ, что герои романовъ Р. Зотова по отношенію къ женскому полу слѣдуютъ нравственнымъ принципамъ, рѣзко расходящимся съ принципами героевъ прочихъ историческихъ романовъ того времени. Мы уже знакомы съ героями романовъ Пушкина, Загоскина и Лажечникова. Всѣ они отличаются крайне строгимъ цѣломудріемъ, доходящимъ порою до суроваго аскетизма. Какъ только влюбится герой въ первой главѣ романа, и къ тому-же, по большей части, въ первый разъ жизни, такъ и остается вѣрнѣ предмету страсти до послѣдней страницъ, пока авторъ не заблагоразсудитъ, наконецъ, сочетать своихъ героевъ законнымъ бракомъ послѣ массы всякихъ злоключеній. Строгое отношеніе къ чувству долга и презрѣніе къ чувственности доходитъ иногда у этихъ героевъ до того, что, какъ мы видѣли, Юрій Милославскій, обвинянный уже съ Анастасіей, отталкиваетъ вдругъ ея страстныя объятія и предлагаетъ ей разойтись навсегда и обимъ избрать иноческую жизнь. Одинъ князь Волынской избиваетъ своей супруги и допускаетъ себя вступить въ незаконную связь съ Мариолицей, но чего это ему стоило, какихъ душевныхъ страданій, какихъ ужасныхъ угрызений совѣсти: читатель такъ и ждетъ, что земля тотчасъ-же разверзнется подъ преступникомъ и онъ въ адскомъ пламени провалится въ преисподнюю.

Совершенно иначе устриваютъ свои сердечныя дѣла герои Р. Зотова. Взглядъ ихъ на половыя отношенія принадлежитъ вполнѣ къ мусульманскому типу, и въ этомъ отношеніи романы Р. Зотова представляютъ весьма любопытную игру природы. Нѣтъ сомнѣнія, что здѣсь проявляетъ свое вліяніе законъ наследственности. Потомокъ владѣтельныхъ хановъ, утопавшихъ въ наслажденіяхъ гарема, и сынъ татарина, первая девять лѣтъ своей жизни проведеннаго въ стѣнахъ Бахчисарайскаго серала, Р. Зотовъ до извѣстной степени остался вѣрнѣ нравственной системѣ своихъ предковъ. Извѣстно, какъ смотритъ на женщину и свои отношенія къ ней мусульманинъ. Съ одной стороны, онъ вовсе не отрицаетъ глубокой и страстной любви къ одной женщинѣ. Мы видѣли, что дѣдъ Р. Зотова такъ былъ привязанъ къ своей Заремѣ, что когда братъ отнялъ ее отъ него, онъ вышелъ изъ своего восточнаго кейфа и устроилъ цѣлый заговоръ противъ брата. Но эта любовь, какъ-бы она ни была сильна и постоянна, нисколько не обижаетъ мусульманина быть вѣрнымъ предмету своей страсти. Онъ дѣлаетъ любимую женщину хозяйкой дома, госпожею гарема, но это не мѣшаетъ ему имѣть десятки

второстепенныхъ женъ подъ ея владычествомъ, и притомъ эти второстепенныя жены не всегда служатъ одною только погѣхою чувственности мусульманина; нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ, въ свою очередь, любить — однихъ за одни качества, другихъ за другія.

Герои романовъ Р.Зотова не игноруютъ, правда, гаремовъ, живя среди русской культуры. Но это нисколько не мѣшаетъ имъ держаться по отношенію къ женскому полу совершенно мусульманскаго закона. Таковъ, въ особенности, герой романа „Послѣдній потомокъ Чингисъ-хана“, и это тѣмъ болѣе кстати, что въ романѣ этомъ Р.Зотовъ почти дословно, съ нѣкоторыми лишь украшеніями цѣтами авторской фантазіи, изобразилъ жизнь своего отца, начиная съ его рожденія отъ прелестной Заремы и до многима песенноненія въ волнахъ Дуная. Любовныя подвиги Михаила Гиреева, какъ именуется герой романа, начинаются тотчасъ-же по прибытіи его въ Псковъ въ качествѣ чиновника особыхъ порученій и затѣмъ капитанъ-исправника. Намъ извѣстно, какъ дорого обошлись Гирееву тѣ легкія побѣды, которыя онъ началъ совершать въ псковскомъ бою. Тутъ нѣтъ еще ничего спеціально мусульманскаго. Конечно, любой, самый чистокровно-русскій поручикъ того времени сталъ-бы дѣлать то-же самое и могъ-бы также, въ концѣ концовъ, влопаться въ женитбу на крѣпостной. Но ни одинъ русскій романтикъ и не сталъ-бы возводить подобнаго поручика въ степень идеальнаго героя. Такъ, мы видимъ, что у Пушкина въ „Капитанской дочкѣ“ первостепеннымъ героемъ является цѣломудренный Гриневъ, а не сластолюбивый Швабринъ. Въ то-же время въ побѣдахъ Гиреева мы видимъ не одно сластолюбіе чувственнаго саладона. Гиреевъ идеально и чисто юношески увлекается каждою женщиною, съ которою сходитъ: и къ Катеринѣ Николаевнѣ Брылкиной онъ чувствуетъ влеченіе, и къ ея младшей сестрицѣ Манѣ, и къ гувернанткѣ французкѣ Эрестинѣ, и къ Фискѣ, на которой его заставили жениться. Самый этотъ насильственный бракъ является въ романѣ въ сущности вовсе не насильственнымъ. Губернаторъ предлагаетъ Гирееву избавить его отъ этого брака, уславъ въ командировку, но Гиреевъ вовсе этого не желаетъ, а стремится непремѣнно жениться на Фискѣ. Когда молодые послѣ свадьбы остаются одни, между ними происходитъ низвергающій разговоръ. Молодая кинулась мужу въ ноги и, заливаясь слезами, сказала:

— Прости меня, батюшка Михаилъ Емельяновичъ, что я несчастная погубила тебя. Я буду вѣкъ каяться въ этомъ передъ Богомъ и передъ людьми.

— Что ты, милая Анфиса!— вскричалъ Гиреевъ и, поднявъ ее, посадилъ подлѣ себя; ты ошибаешься. Правда, твоя барыня съ баринимъ насильно хотѣла женить меня, но губернаторъ заступился и велѣлъ мнѣ бѣжать по дѣламъ въ Петербургъ. Онъ велѣлъ мнѣ отправиться еще сегодня поутру, и если-бы и самъ не хотѣлъ, то разумеется, нашей свадьбы не было-бы; но я самъ упрямилъ генерала отправить меня завтра поутру, а свадьбу позволить сыграть сегодня. Я самъ желаю этого, и ты не должна себя ни въ чемъ упрекать.

— Какъ не упрекать! Не крѣпостную-ли дѣвку ты взялъ за себя? Всякая княгиня съ радостью-бы вышла за тебя, моего красавца. Это я все виновата. Да какъ-же мнѣ было противиться тебѣ? Вѣдь ты

красивѣе всѣхъ въ городѣ, а мощеть и по всей Русси. Баринъ, конечно, берегъ меня для себя, да мнѣ онъ былъ противенъ. Вотъ за что онъ и злитъ на тебя и хотѣлъ погубить.

— Есть моя милая, поговорка: Богъ поможетъ, свинья не съѣстъ. Другіе добрые люди не даи-бы погубить меня. Они думали наказать меня этою свадьбою, а я доказалъ имъ, что могъ-бы легко освободиться отъ нея, но самъ захотѣлъ взять тебя, чтобы вырвать изъ рукъ ихъ. Что мнѣ за дѣло, что ты была крѣпостною. Теперь ты дворянка и будешь, конечно, доброю и послушною женою.

— Батюшка, Михайло Емельяновичъ, вскричала она: самая покорная буду раба твоя; хотъ въ ухо вдѣнь меня. Ни на волосъ не выступлю изъ твоей воли.

— Я завтра поутру уйду, и можеть быть съ полгода не вернусь. Отецъ Юсифъ будетъ твоимъ почитаемъ. Ты у него будешь и на хлѣбахъ: я ему впередъ заплатилъ за все. Ты, конечно, будешь посѣщать церковь, но больше всего старайся учиться грамотѣ у него: я его тоже просилъ объ этомъ, а какъ скоро выучишься, то первое свое письмо напиши ко мнѣ.

— Ахъ! какая это будетъ радость! Да я день и ночь буду учиться. Добрый, милый Михайло Емельяновичъ, дай мнѣ расплывать твои ручки.

«Онъ ее обнялъ и оба пошли провести остальной вечеръ къ священнику—черезъ сѣни».

Если-бы Гиреевъ былъ герой въ духѣ прочихъ историческихъ романовъ, то, казалось-бы, и роману конецъ послѣ того, какъ добровольно женившись на обольщенной имъ крѣпостной дѣвушкѣ, онъ показалъ намъ и свое рыцарское великодушіе, и презрѣніе къ сословнымъ предразсудкамъ. Между тѣмъ романъ только что начинается этимъ эпизодомъ. На другой же день послѣ вышеприведенной нѣжной сцены съ женою, Гиреевъ отбѣзжаетъ въ Петербургъ, и тамъ, поселяясь въ домѣ Блдинной съ цѣлю вести ея гражданскій процессъ, немеленно съ вступаетъ въ любовную связь, какъ съ самою хозяйкой, такъ и съ горячюю Наташею, приходившею каждый вечеръ стлать ему постель и раздѣвать барина. Герой пользовался, конечно, въ этомъ отношеніи тѣмъ выгоднымъ положеніемъ, что разъ женивши на Фискѣ, его не могли уже женить во второй разъ на Наташѣ. И затѣмъ, въ какой только городѣ не прибѣгаетъ онъ, куда ни кидаетъ его судьба, вездѣ является къ его услугамъ новый предметъ нѣжной страсти. Такъ, пока онъ пребывалъ въ Парижѣ въ качествѣ шіона прусскаго короля и здѣсь рѣшалъ судьбы Европы, за панибрата обходясь и съ Фуше, и съ Талейраномъ, и съ самимъ Наполеономъ, онъ успѣлъ сблизиться съ легитимисткою, графинею Лоранж, и двумя актрисами Жоржъ и Филисъ. Далѣе затѣмъ, примкнувъ къ русской арміи и получивъ отъ Беннигсена мѣсто генералъ-провіантмейстера, онъ воспыталъ неудержимую страсть къ нѣкой Естеръ, дочери еврейскаго negocianta изъ Молдавіи,— Братіано, который помогалъ ему продовольствовать русскую армію. Оказалось, что эта новая страсть была самою роковою и послѣднею страстью его. Естеръ была даже своею наружностью, какъ дѣвѣ капли воды похожа на Гиреева, такъ что въ книгѣ судебъ она была предвѣщена другъ для друга отъ рожденія. Эта-то страсть и побудила Гиреева бѣжать въ Турцію, устроивши мнимое потопленіе свое въ Дунай. Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ это сдѣ-



заль, роковая и predetermined страсть нисколько не помѣшала ему захватить, на возвратномъ пути изъ за границы, къ своей законной супругѣ, съ радостью увидать, что она превосходно занимается хозяйствомъ, что дѣти его подросли и съ успѣхомъ обучаются наукамъ, и какъ ни мнимо было его пребываніе въ тихой пристани законной семьи, результатомъ этого пребыванія было то, что жена его, Анфиса родила дочь Ольгу, такъ что, если-бы не существовало въ Россіи законъ, карающій двоеженство, то что мѣшало бы Гиреву наслаждаться семейнымъ счастьемъ попеременно: одинъ годъ въ Псковской губерніи въ обществѣ Анфисы, а другой — гдѣ нибудь въ Одессѣ, у ногъ прелестной Естеры?

Читатель можетъ возразить мнѣ, что женолюбие Гирева и широта сердца его, способнаго вмѣщать въ себя разомъ нѣсколько привязанностей, вовсе не составляетъ субъективной особенности таланта Р. Зотова: послѣдній могъ отлично понимать, что въ лицѣ Гирева онъ изображаетъ татарина, только что обрусьшаго, и въ тому же принять въ расчетъ всеобщую раснущенность нравовъ конца XVIII и начала XIX столѣтій, такъ что авторъ, изображая многочисленныя любовныя связи своего героя, былъ какъ нельзя болѣе объективенъ и реаленъ; что же ему было дѣлать, если отецъ его, жизнь котораго онъ изобразилъ, былъ именно такимъ, какимъ онъ является передъ нами въ романѣ?

Но вотъ возьмемъ мы первый историческій романъ Р. Зотова „Леонидъ“. Въ немъ, въ лицѣ главнаго героя романа, мы видимъ уже не татарина, а истинно русскаго: Леонидъ происходилъ изъ дворянства, и отецъ его былъ управляющимъ у богатого помѣщика Сидина. Помѣщикъ воспиталъ Леонида вмѣстѣ со своимъ сыномъ Евгениемъ и далъ ему возможность кончить курсъ въ московскомъ университетѣ. Леонидъ, въ качествѣ героя романа, былъ надѣленъ авторомъ, конечно, уже всѣми возможными добродѣтелями: онъ былъ и великодушенъ, и отчаянно храбръ, и уменъ, какъ змій, и находчивъ. Единъ только недостатокъ у него былъ: чрезвычайная вспыльчивость, навлекшая ему бездну неприятностей и вълѣдствіе которой онъ не разъ былъ на краю гибели. Что же касается отношеній Леонида къ женщинамъ, то широта сердца его нисколько не уступала Гиреву. Въ первомъ томѣ романа онъ страстно влюбился въ дочь Сидина Натану, которая отвѣчала ему полною взаимностью, и такъ какъ Сидинъ и слышать не хотѣлъ, чтобы она вышла замужъ за бѣднаго и темнаго дворянина, а прочилъ ее за генерала Сельмара, полковаго командира Евгения и Леонида, то молодые люди рѣшились при помощи Евгения обвиняться тайно, что и исполнили къ концу перваго тома.

Затѣмъ во второмъ томѣ начинаются военныя походы героя въ кампанію 1805 года. Онъ оказывается, конечно, чудеса храбрымъ, чуть не беретъ въ плѣнъ Наполеона и дѣлается лично извѣстнымъ, какъ послѣднему, такъ и императору Александру. Но излишняя запальчивость губитъ его карьеру; онъ убиваетъ своего ближайшаго начальника — штабсъ-капитана Стрѣльскаго, человека безъ всякихъ нравственныхъ правилъ и пылваго непримиримою ненавистью

къ Леониду за то, что тотъ помѣшалъ нѣкогда ему обыграть Евгения въ карты. Убийство совершилось въ то время, когда Леонидъ стоялъ въ цѣни; по военнымъ законамъ, онъ подлежалъ за это преступленіе смертной казни, и ему оставалось только спастись бѣгствомъ изъ Россіи.

Надо замѣтить, что какъ разъ передъ этимъ онъ успѣлъ уже въ первый разъ помѣнить своей супругѣ, сойдясь съ пѣткой графиней Авророй Б., богатую польскую помѣщицу, какою-то таинственною политическою авантюристкою, которая сразу ухитрилась быть наполеоновскимъ агентомъ въ русской арміи, и русскимъ агентомъ во французской, а сама тайно преслѣдовала легитимистскіе замыслы, имѣвшіе конечною цѣлью погубить Наполеона и возстановить въ Европѣ дореволюціонныя порядки. Плѣнившись красотою и доблестямъ Леонида, она употребила всѣ чары своего кокетства, чтобы прельстить его; когда же это ей удалось, Леонидъ въ первую минуту былъ въ отчаяніи.

— Милосердый Боже, что я сдѣлалъ! вскричалъ онъ: Я погибъ! Преступленіе мое можетъ загладиться только одною смертію.

— Пѣть, Леонидъ, сказала графиня по нѣкоторомъ молчаніи, стыдливо закрывъ глаза рукою; я болѣе васъ виновна. Я искала вашего сердца; вы мнѣ противились, и неожиданно оба мы пали. Но повѣрьте мнѣ, во всякомъ паденіи всегда болѣе виновна женщина.

— Ахъ, пѣть, графиня! Преступленіе мое ужасно, невыразимо. Вы не знаете еще моей тайны, которую я такъ безумно до сихъ поръ скрывалъ отъ васъ. Преступокъ мой, мое несчастіе не имѣютъ границъ.

«Графиня сдѣлалась вдругъ внимательнѣе къ словамъ Леонида, потому что сначала думала видѣть въ рѣчахъ его обыкновенный эпизодъ мнимаго раскаянія любовниковъ.

— Какимъ же это тайна, которая увеличиваетъ ваше преступленіе?—спросила она его съ видимымъ безпокойствомъ.

— Я... женатъ!

«При этомъ словѣ провзвѣтный вопль вырвался изъ груди графини; нѣсколько секундъ взоры ея дико и неподвижно были устремлены на Леонида, потомъ съ тихимъ, продолжительнымъ стономъ закрылись, и она безъ чувствъ опрокинулась на подушки софы. Леонидъ бросился помогать ей, привелъ ее въ чувство, осмыслилъ руки ея нѣжными поцѣлуями и умолялъ о прощеніи. Долго она, отъкрывъ глаза, въ нѣмой безчувственности, смотрѣла на него, какъ-бы не понимая его словъ. Наконецъ, съ какимъ-то ужасомъ она оттолкнула его, сказавъ въ полголоса: «Оставьте меня, оставьте ради Бога!»—Съ отчаяніемъ въ сердцѣ и съ поникшею головою пошелъ Леонидъ въ свою комнату.—Здѣсь бросился онъ съ изступленіемъ на кровать и ручьями слезъ горькаго раскаянія нѣсколько облегчилъ его грудь. Нѣсколько времени пролежалъ онъ въ мучительномъ сѣмъ положеніи; наконецъ, сонъ одолѣлъ изуревенныя его силы; но и тутъ безпокойныя, вразительныя мечтанія терзали его душу».

Все это нисколько не мѣшало Леониду, тотчасъ же послѣ убійства Стрѣльскаго и побѣга, обратиться къ покровительству графини, и она взялась быть ангеломъ хранителемъ его; повела его прямо къ Наполеону, и тотъ послалъ его въ Вѣну подъ фамиліей барона Липпенберга наблюдать и доносить ему, что дѣлается въ вѣнскихъ политическихъ кружкахъ.

И вотъ Леонидъ очутился въ Вѣну въ качествѣ французскаго шпіона подъ личиною мнимаго баварскаго барона. Здѣсь онъ снова началъ оказывать чудеса храбрости, дипломатической тонкости, предусмотрительности, находчивости и прочихъ доблестей, вступаясь въ сѣти тайныхъ политическихъ и мистическихъ обществъ, которыми была въ то время полна Европа. Между тѣмъ великодушная графиня, не смотря на всю свою любовь къ Леониду, рѣшилась написать изъ Россіи и доставить ему жену его Наташу. Она побѣжала къ Силину, который послѣ смертнаго приговора надъ Леонидомъ и бѣгства его, снова требовалъ, чтобы Наташа вышла замужъ за Сельмара. Графиня явилась къ старику, изобличила Сельмара въ томъ, что онъ дѣлалъ и ей тоже предложеніе, и требовала, чтобы онъ сдержалъ обѣщаніе. Видя себя между двухъ невѣстъ, Сельмаръ предложилъ ѣхать вмѣстѣ троимъ, т. е. Наташѣ, графинѣ и ему въ Вѣну къ Леониду, и если Наташа удостовѣрится въ невѣрности Леонида, то должна будетъ выйти замужъ за Сельмара, въ противномъ случаѣ, останется у своего мужа, Сельмаръ-же женится на графинѣ. Сельмаръ рассчитывалъ на то, что Леонидъ возобновитъ свою связь съ графинею, а онъ подстережетъ ихъ и выдастъ Наташѣ; но оказалось вдругъ, что не для чего ему и придумывать подобную западню. Когда они прѣехали въ Вѣну и явились къ Леониду, они застали его какъ разъ въ пламенныхъ объятіяхъ съ нѣкоей актрисой Розаліей, съ которою Леонидъ успѣлъ сойтись, ведя свою политическую игру. Произошла невозобразимая сцена. Съ полураскрытымъ ротомъ, съ выпученными и кровью налитыми глазами, съ протянутыми впередъ руками, стоялъ Леонидъ, какъ истуканъ, и съ безчувственною неподвижностью смотрѣлъ на лица, коихъ внезапнаго появленія не постигалъ. Наташа первая начала говорить.

— Вотъ достойная награда за то, что я ему всѣмъ пожертвовала: дружбою отца, мнѣніемъ свѣта, счастьемъ жизни! Несчастный! Какъ глубоко ты упалъ! Но я не хочу увеличивать твоихъ мученій бесполезными упреками. Ты зналъ, какъ я тебя любила, — узнай же теперь, какъ я удѣю и мстить. Карлъ Андреевичъ! Вы искали руки моей. Вотъ она. Мы сегодня же обвиняемся! — Съ этимъ словомъ поджала она руку Сельмару, который съ лукаво торжествующимъ видомъ поклонился Леониду и вышетъ съ Наташей. Графиня осталась\*.

Да, графиня осталась. Она, повидимому, не особенно была огорчена невѣрностью Леонида разомъ двумя своимъ возлюбленнымъ, и вскорѣ заключила съ нимъ брачныя узы. Такимъ образомъ Леонидъ, подобно Гирееву, сдѣлался двоеженцемъ, и что замѣчательно, онъ питалъ въ душѣ своей нѣжность къ обѣимъ супругамъ: глубоко скорбѣлъ объ утратѣ Наташи и обожалъ графиню, которая до самой смерти своей продолжала быть ангеломъ хранителемъ его. Послѣ смерти графини и дѣлага ряда новыхъ приключеній, причѣмъ Леонидъ, по прежнему, то оказывалъ чудеса храбрости, то былъ на волосокъ отъ гибели — онъ былъ не только прощень, но удостоенъ особенныхъ знаковъ высочайшаго благоволенія, Евгенийъ помирилъ

его съ Наташею и бракъ ихъ, по обоюдной просьбѣ, снова былъ признанъ дѣйствительнымъ.

Что касается романа Зотова „Тайственный монахъ“, то хотя герой его Гриша далеко не является такимъ отчаяннымъ сердцеѣдомъ, какъ Гиреевъ и Леонидъ, но и у него вы находите въ нѣкоторой степени подобные же зачатки любвеобильнаго сердца. Впрочемъ, если въ романѣ этомъ вы не найдете полтагемъ, за то есть полиандрія, такъ какъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ является двумужницею. Содержаніе романа заключается въ слѣдующемъ.

Въ продолженіи всего романа на первомъ планѣ рисуется передъ нами нѣкій тайственный монахъ Іона, человекъ весьма жестокосердый, совершающій въ каждой части романа какія-нибудь смертоубійства, причѣмъ всѣ стремленія его черной души направлены къ тому, чтобы извести царя Петра, и въ этомъ отношеніи онъ мало того, что является главнымъ гениемъ романтической интриги и держитъ въ своихъ рукахъ всѣ нити сюжета, но оказывается, что и всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная съ стрѣлецкихъ бунтовъ и кончая измѣною Мазепы, совершились по инициативѣ этого самаго Іоны, имъ были измышлены и направлены. Читатель, конечно, заинтересуется знать, что же это за тайственное лицо, играющее столь важную и существенную роль въ русской исторіи. Но авторъ тщательно скрываетъ это, съ каждой страницей все болѣе и болѣе заинтриговывая читателя, и лишь въ самомъ концѣ романа снимаетъ, наконецъ, маску съ своего героя и объявляетъ намъ настоящее его имя. Что касается до меня, то я не желаю долго мучить своихъ читателей, а прямо заявляю, что сей тайственный монахъ былъ никто иной, какъ малороссійскій гетманъ Василій Дорошенко. Сверженный съ своего гетманства при Алексѣѣ Михайловичѣ, онъ скрылся бѣгствомъ изъ Сосницы, и между тѣмъ какъ всѣ считали его умершимъ, онъ подъ личиною монаха Іоны тайно управлялъ всѣми событіями того времени. Отецъ твой лишилъ меня гетманства, говоритъ онъ Петру: ты ли, другой ли бы царствовалъ на русскомъ престолѣ, — вы всѣ были моими врагами. Я думалъ, истребя васъ, сдѣлать Малороссію независимую, — и вотъ цѣль моихъ преступленій\*.

Но не одного гетманства былъ лишенъ Василій Дорошенко. Не задолго передъ своимъ бѣгствомъ, онъ тайно обвинчался съ дочерью Мазепы Еленою, и имѣлъ уже отъ нея сына Григорія. Елена, которую неизвѣстно почему-то Хованскій въ первой главѣ называетъ Наташею, была схвачена стрѣльцами во время взятія Чигирина и бѣгства своего мужа, и Хованскій распорядился съ нею, какъ съ военною добычею. Но когда узналъ, что она дочь Мазепы, онъ посватался за нее у отца ея и женился на ней законнымъ бракомъ, и такимъ образомъ Елена Хованская сдѣлалась двумужницею.

Между тѣмъ Дорошенко воспиталъ сына своего Григорія подъ сѣнью Воскресенскаго монастыря и затѣмъ, когда мальчику было семь лѣтъ, подкинулъ его къ князю Хованскому. Почти одновременно подкинутъ былъ къ князю Хованскому и другой мальчикъ изъ того же монастыря, Александръ, совершенно неиз-

вѣстнаго происхожденія, и тайна этого происхожденія такъ и осталась неразрушенною до самаго конца романа. Григорій превратился потомъ въ главнаго героя романа, а изъ товарища его Александра вышелъ знаменитый Александръ Даниловичъ Меншиковъ. — Вы, можетъ быть, и не подозревали, что Меншиковъ былъ воспитанникомъ князя Хованскаго, — такъ вотъ вамъ историческій фактъ, открытый, или лучше сказать изобрѣтенный Р. Зотовымъ. — Выросши вмѣстѣ, подъ нѣжными попеченіями княгини Хованской, Григорій и Александръ подружились, и послѣ казни князя Хованскаго каждый пошелъ своею дорогою. Александръ сдѣлался пирожникомъ, чтобы превратиться потомъ въ потѣшнаго и сдѣлался девицею и любовникомъ цари, а Григорій былъ опредѣленъ къ Хованскому въ стрѣльцы, когда ему не было еще и 15 лѣтъ. Потомъ онъ оказалъ чудеса храбрости, защищая своего благодѣтеля князя Хованскаго отъ царской стражи, нававшей на князя съ цѣлью арестовать его, былъ раненъ и затѣмъ послѣ казни князя Хованскаго, оставаясь въ стрѣльцахъ, подпалъ подъ руководство монаха Юны, въ которомъ онъ и не подозревалъ еще отца, называя его дядею. Но тщетно отецъ Юна старался направить Григорія по стопамъ своимъ и сдѣлать его своимъ сподвижникомъ во всѣхъ крамолахъ и смутахъ, какія онъ замышлялъ противъ Петра. — Григорій оказался отъ самой колыбели преисполненъ самыхъ вѣроподданническихъ чувствъ, и отецъ, и сынъ сдѣлались Ормузомъ и Ариманомъ романа. Каждый разъ, когда Юна былъ близокъ уже къ осуществленію своего мщенія, вѣрныи престолу и отечеству сынъ его отводилъ преступную руку отца и спасалъ царя. Такъ, когда послѣ казни Хованскаго, стрѣльцы ворвались въ Сергіево-Троицкую лавру, оказалось, что это ихъ возбудилъ къ тому все тотъ же монахъ Юна, и вотъ мы читаемъ въ романѣ слѣдующую сцену:

«Съ небольшою толпою не отвѣтавшихъ отъ него стрѣльцовъ и Григоріемъ, устремился монахъ въ главную церковь и, найдя главныя двери запертыми, пошелъ отискивать другія, ведущія въ алтарь. Вскорѣ отыскалъ онъ ихъ. Однимъ ударомъ сорвалъ съ петель и вошелъ во внутренность церкви. Товарищи его бросились къ образамъ на святотатственную грабежь, а монахъ очутился одинъ съ Григоріемъ. Въ эту минуту раздался на главной колокольнѣ звонъ большого колокола. Монахъ остановился. Лицо его сдѣлалось мрачнѣе обыкновеннаго.

— Это вѣбать! они зовутъ на помощь, — сказалъ онъ сквозь зубы... но авось не воспѣютъ; а если... но, все равно! тѣмъ лучше: — больше рѣзніи, истребленія. Послѣ этихъ словъ бросился онъ впередъ. Пройдя алтарь, сѣвернаго придѣла церкви, вступилъ онъ въ главный и во впадинѣ за жертвенникомъ увидѣлъ вдругъ женщину, уже довольно пожилыхъ лѣтъ, на лицѣ которой, при взглядѣ на ужасное лицо монаха, изображалось странное смѣшеніе страха, твердости и величія. Подлѣ нея, еще даѣе въ углу, стоялъ юноша стройнаго стана, лѣтъ около 13-ти, съ черными вьющимися волосами, съ пріятною и гордою наружностью, блистающими взорами и поблѣднѣвшимъ лицомъ. Съ наумленнымъ обративъ глаза Григорію на эту чету, а потомъ на своего дядю, — и сколь ни привыкъ уже онъ въ продолженіи сегодняшнихъ ужасовъ видѣть троганое выраженіе лица его, — но теперь онъ затрепеталъ, глядя на пламя, разливавшееся изъ очей его, на дрожавшія уста его, хотѣвшія улыбнуться и

на руки его, схватившіяся за ножъ, торчащій за поясомъ. «Царица Наталья! Царь Петръ!» глухо вскричалъ онъ: «вы здѣсь!» — и быстрыми шагами подошелъ къ жертвеннику.

— Что ты хочешь сдѣлать, дядя? — съ робкою рѣшимостью спросилъ онъ его: онъ царь, помазанникъ Божій, — а здѣсь алтарь! Звѣреки посмотрѣлъ монахъ на Григорію, поднявъ руку съ ножомъ, — но Григорію имѣлъ довольно силы, чтобы удержать его. — «Пѣтъ, я не допущу!» вскричалъ онъ. Не здѣсь, не у алтаря... Въ эту минуту и старика опомнилась: съ силою изступленія бросилась на монаха и повисла на рукахъ, державшей ножъ. Юный Петръ все это время молчалъ.

«Невольно опустилъ монахъ руку, свирѣпымъ взоромъ окинулъ всѣхъ троихъ, покачалъ головою съ видомъ мрачнаго презрѣнія, и схвати другою рукою Григорію, съ силою повернулъ его на другую сторону.

— И ты, дерзкій мальчишка, — сказалъ онъ ему съ видомъ, выразившимъ болѣе сожалѣніе, чѣмъ гнѣвъ, — и ты удержалъ меня отъ удара мести! Идемъ, я слышу шумъ. Съ этимъ словомъ потащилъ онъ Григорію въ алтарь, бросивъ еще одинъ злобный взглядъ назадъ».

Разбирая „Послѣдняго Новика“ Лажечникова, мы видѣли, что покушеніе на Петра въ алтарѣ Троицкой лавры совершаетъ племянникъ царя, сынъ Софьи отъ князя Голицына, а здѣсь тѣмъ-же самымъ покушителемъ является Василій Дорошенко, спасителемъ-же ввукъ Мазепы, Григорій. Въ обоихъ случаяхъ намъ только и остается, что удивляться той смѣлости, съ какою наши Вальтеръ-Скотты распоряжались историческими фактами!

У Петра тогда-же вѣзчалась въ памяти физиономія своего спасителя. Между тѣмъ заговоры и тайныя совѣщанія у царевны Софьи продолжались. Юна стоялъ по прежнему во главѣ и водилъ на всѣ совѣщанія и ночныя экспедиціи сына своего Григорія. Съ радостнымъ сердцемъ возвращался Григорій всякій разъ домой, видя безуспѣшность покушеній. Наконецъ, на 9-е августа, было предположено ночное нападеніе стрѣльцовъ на село Преображенское, гдѣ жилъ Петръ со своею матерью, — послѣдняя вѣбра, и самая грозная. Сердце Григорія стѣснилось, и невѣдомая тоска овладѣла душою его. Какъ разъ въ это время Григорій встрѣтился съ своимъ товарищемъ дѣтства Сашею и рассказалъ ему, какою опасностью угрожаетъ царю; Саша передалъ это Лефорту, у котораго былъ слугою въ это время, а Лефортъ предупредилъ царя, и Петръ могъ такимъ образомъ заблаговременно спастись изъ села Преображенскаго въ Сергіево-Троицкую лавру.

— Скажи-же ты мнѣ теперь, Григорію, — уверялъ его Юна, — что ты думаешь сдѣлать хорошаго, отрывъ ничтожному мальчишкѣ тайну твоихъ друзей, начальниковъ и дяди и предавъ ихъ всѣхъ въ руки палача?

— Я думалъ, — зашпалась отвѣчалъ Григорію, — что ты и я не только будемъ черезъ это спасены, но еще получимъ награду отъ царя за спасеніе его отъ убійцъ. Вѣдь, онъ царь, онъ помазанникъ Божій... и участвуя въ заговорѣ противъ него, я не только гублю себя въ этой жизни, но и въ будущей.

«Мрачно опустилъ Юна голову и долго не отвѣчалъ Григорію ни слова; наконецъ, схватилъ его за руку и спросилъ: а если-бы спасенные тобою были личными врагами твоими, которые отняли-бы у те-

ба семейство, имущество, славное имя и даже родину.—чтобы ты сказалъ?

«Гриша съ минуту задумался потому съ немнѣмъ взоромъ отвѣчалъ: онъ—царь, онъ—земной Богъ, и за дѣла его будетъ судить Небесный Царь; настъ-же учить Священное Писаніе...

— Довольно; теперь пора идти,—сказалъ съ нетерпѣніемъ Іона—и повелъ Гришу за собою по удѣцъ.—Такимъ образомъ и спасеніемъ своимъ отъ покушенія Щекловитаго Петръ былъ обязанъ все тому-же внуку Мазепы и сыну Дорошенки—Григорію. Когда Григорій предсталъ передъ царя для допроса, Петръ тотчасъ-же узналъ въ немъ прежняго своего спасителя, а когда удостоверилъ изъ слѣдствія, что Григорій вторично спасъ его, щедро наградивъ его, велѣлъ записать въ боярскія дѣла, далъ ему имя Григорія Усordova и отправилъ его въ стрѣлцкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ».

Далѣе затѣмъ Арханъ на время восторжествовалъ, такъ какъ Іонѣ удалось побудить стрѣлцкій полкъ, стоявшій на Литовской границѣ, пользоваться путешествіемъ Петра за границу, ринуться къ Москвѣ и по дорогѣ разграбить Преображенскій монастырь, причежь въ этотъ бунтъ былъ вовлеченъ и Григорій, воображившій, что Петра уже нѣтъ, и стрѣлцы идутъ къ Москвѣ съ единственною цѣлью возстановить порядокъ и освободить Россію отъ нѣмцевъ. Допло дѣло до того, что Григорій вмѣстѣ съ товарищами былъ присужденъ къ смертной казни, и мы лишились-бы преждевременно героя романа, если-бы Іона не спасъ его изъ темницы.

Въ той-же части Григорій окончателью уже вступаетъ на путь благонравности: онъ оказываетъ Петру важную военную услугу; тотъ его прощаетъ при содѣйствіи князя Меншикова и принимаетъ въ свою гвардію. И ужъ послѣ этого тщетно старикъ Іона старается увлечь сына подъ мятежныя знамена Мазепы.—«Нѣтъ, Боже сохрани меня, батюшка!»—восклицаетъ Григорій:—ни за какую цѣну въ свѣтѣ не хочу быть участникомъ въ судьбѣ измѣнника Мазепы. Не знаю вполнѣ твоихъ причинъ къ ненависти и мщелю, но ты ничѣмъ лично не былъ обязанъ царю, и я только сожалѣю, что ты отвергаешь его милосердіе. Но Мазепа 20 лѣтъ былъ безпрерывно имъ облагодѣтельствованъ, и его предательство гнусно, постыдно! Въ успѣхѣ и неудачѣ имя его равно заслужить вѣчное проклятіе».

Въ заключеніе-же Григорій объявляетъ отцу: «ты ишь, къ несчастію, открылъ обстоятельство, которое долгъ чести и присяги не позволяютъ ишь скрыть. Я долженъ буду довести царю объ измѣнѣ Мазепы. Скрою отъ него только то, что ты участникъ въ этомъ возмущеніи».

Старикъ отвѣчалъ ему на это: «Дѣлай, что Богъ и совѣсть тебѣ приказываютъ. Кто знаетъ, къ чему все это приведетъ насъ. Мазепа все еще колеблется, боится. Узнавъ-же, что царю открыта его измѣна, онъ долженъ будетъ сбросить личину и дѣйствовать рѣшительно. Судьба наша скорѣе тогда кончится. Прощай-же, другъ мой. Прощай, до свиданія»...

И Григорій летитъ съ быстротою молніи донести Петру объ измѣнѣ Мазепы. Его не пускаютъ, такъ какъ была ночь и Петръ спалъ крѣпкимъ сномъ; но онъ объявляетъ, что отъ минуты промедленія зави-

снѣтъ, можетъ быть, участь всей войны и государства, и рѣшается самъ разбудить Петра, постучавшись въ его дверь, не смотря на опасность разгнѣвать царя. Узнавъ объ измѣнѣ Мазепы, Петръ сейчасъ-же созываетъ военный совѣтъ, и на другой-же день Меншиковъ съ сильными отрядомъ уже быстро шель къ Батурину.

Такимъ образомъ оказывается, что и полтавскаго побѣдою, и самою судьбою російскаго государства Петръ обязанъ былъ все тому-же ревностному Григорію, который успѣлъ во время донести на своего дѣда, Мазепу. Внуку Мазепы и сыну В. Дорошенко, спасающей Россію, — вотъ какъ удивительно и непостижимо складываются историческія событія въ романѣ Р. Зотова и какова фантазія у нашего романиста! Напомнимъ, что за всѣ подобныя подвиги героя не только самъ онъ былъ возвышенъ и освященъ царскими милостями, но и мятежный отецъ его былъ навсегда прощенъ царемъ: — «Я однажды далъ слово, сказать Петръ, когда Іона открылъ ему, кто онъ такой: и не беру его назадъ. Дорошенко былъ знаменитый человекъ, — и я его почитаю; но онъ умеръ, и дѣла его пусть судитъ Богъ. Таинственный монахъ Іона бунтовалъ и злодѣйствовалъ противъ меня, — и въ великій день Полтавской побѣды я простилъ его, желая, чтобы искреннимъ раскаяніемъ онъ также-бы заслужилъ себѣ небесное прощеніе. Сынъ Дорошенки честный и хорошей воли, — и я радъ буду воздать ему за преданность ко мнѣ. Теперь дѣло кончено. Живи съ спокойіемъ и супругомъ, которую тебѣ храбрый-же твой сынъ спасъ, въ тишинѣ и безвѣстности, и во всемъ мірѣ я одинъ буду знать, что отецъ Григорія еще живъ».

Но всѣ эти ратные и государственныя подвиги несколько не мѣшали герою не давать маху и по сердечной части. Такъ, уже въ концѣ первой части онъ спасъ отъ неистовства разъяренныхъ стрѣлцовъ князя Трубецкаго и дочь его Машу и тогда-же воспыпалъ къ ней пылкомъ страстью, а она — къ нему, какъ къ своему спасителю. Но князя Трубецкаго была слишкомъ высока для безроднаго стрѣлца, и онъ, затѣвъ въ душѣ свою страсть, въ то время, какъ полкъ его стоялъ на Литовской границѣ, отъ скуки занялся любовью съ Великолуцкою вдовою Грунею, и очень нѣжно они другъ друга полюбили. Пять лѣтъ уже наслаждались они любовью, какъ вдругъ стрѣлцкій полкъ взбунтовался, и Григорій долженъ былъ идти съ отцомъ и товарищами къ Москвѣ. Григорію очень грустно было разставаться съ Грунею, хотя въ то-же время привлекала его и перспектива общаго отцомъ его возможности снискать Машу Трубецкую; но отецъ-Іона очень легко и просто избавилъ сына отъ унижающей его высокое происхожденіе связи съ Грунею: онъ взялъ да и пристрѣлилъ послѣднюю изъ ружья, съ такимъ-же невозмутимымъ хладнокровіемъ, съ какимъ убиваютъ бѣснаго пса или топчутъ таракана. Онъ взомель къ ней въ свѣтелку, когда она набожно молилась, разставалась мысленно съ своимъ милымъ. «Спокойнымъ окомъ, — читаемъ мы въ романѣ, — слѣдуя за всѣми движеніями молящейся, грозный старикъ непримѣтно приложился, и въ то мгновеніе, какъ Груня въ набожномъ своемъ восторгѣ, казалось, совершенно отдѣлилась отъ земли, — роковой

курокъ спустился и прежде чѣмъ раздался вѣрный выстрѣлъ—ея уже не стало. Все тѣло ея вздрогнуло, нѣсколько зашаталось и съ едва внятнымъ стономъ она упала къ подножію кіота. Бросивъ на безжизненную страдалицу взглядъ глубокаго состраданія, убійца медленно вышелъ на лѣстницу. Нѣсколько стрѣльцовъ, услыша выстрѣлъ, бросились было наверхъ, но, встрѣтивъ мрачный и кровью налившійся взоръ Юны, они остановились и съ недоумѣніемъ на него смотрѣли. — Чего вамъ надобно? Ступайте на мѣста! — грознымъ голосомъ закричалъ онъ имъ. — Одинъ изъ стрѣльцовъ сквозь зубы проворчалъ ему о выстрѣлѣ. — Такъ вамъ что задѣло? — возразилъ онъ: развѣ вы здѣсь надсмотрщики, или судьи? Заботься всякій о самомъ себѣ, и береги свою голову. Ступайте по мѣстамъ. Мы сейчасъ выступаемъ. — Безколѣбно повиновались стрѣльцы, а Юна вышелъ изъ уличья и, поверота къ заставѣ, медленно пошелъ на общее сборное хѣсто.

Признаться сказать, омерзительнѣе этой сцены трудно найти во всей нашей литературѣ. Положимъ, что нравы въ тѣ времена были грубѣе и жестокіе, но и при всей грубости и жестокости нравовъ русскіе люди и тогда были слишкомъ добродушный народъ, чтобы быть способными на подобную, совершенно татарскую расправу. Убійство Груни мотивируется, правда, тѣмъ, что Григорій имѣлъ неосторожность передать ей о походѣ стрѣльцовъ на Москву. Но вѣдь стрѣльцы не тайкомъ, а открыто, въ виду всего города, отправлялись въ свой ятежскій походъ, и почему-же одна Груня должна была смертию своею искупить откровенность своего милаго? Хорошъ былъ и ялмай, на котораго это звѣрское убійство отца его не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія; точно какъ будто отецъ ничего болѣе не сдѣлалъ, какъ лишь избавилъ его отъ мѣшавшей ему въ пути хромой лошади, и всеысли юноши вновь устремились къ Манѣ Трубецкой.

Затѣмъ, когда Григорій окончательно былъ прощенъ Петромъ и сдѣлался гвардейцемъ, Мама Трубецкая оказалась уже вышедшею за товарища Григорія, Коричина. Вы подумайте только, что послѣ этого сдѣлались-бы съ любовью герояемъ Загоскина, — Юрїемъ Милославскимъ или Рославлевымъ? Они навѣрное пришли-бы въ полное отчаяніе и устремились-бы въ самый опасный пунктъ битвы, чтобы умереть отъ непріятельскихъ пуль, или бросили-бы все земныя дѣла и удалились въ монастырь. Григорій-же ни мало не палъ духомъ; онъ ловко воспользовался тѣмъ, что товарищъ его и соперникъ Коричинъ былъ весьма преданъ спиртнымъ напиткамъ, и, не смотря на все увѣщанія, на весь ужасъ благочестиваго пастора Глюка (воспитателя Евтерины I), вполне свободно занялся съ своею возлюбленною Машею адюльтеромъ. Тутъ уже вслѣдъ за благочестивымъ Глюкомъ, и самъ авторъ разразился дѣльнымъ потокомъ нравственныхъ сентенцій на ту тему, что человѣкъ рожденъ добрымъ, чистымъ, невиннымъ, но страсти постепенно и почти противъ воли увлекаютъ его въ проступки и что, совершивши однажды проступокъ, только въ первыя минуты возвращается первобытное, никогда вполне не заглушаемое чувство добра и невинности, но уже поздно, — и съ удовле-

творенною, но уже ослабѣвшею страстію, человѣкъ продолжаетъ идти по стезѣ заблужденія, потому что воротиться уже нельзя. И на томъ основаніи, что воротиться было уже нельзя, автору только и оставалось сдѣлать, что убить во время Полтавской битвы Коричина и прикрыть грѣхъ своихъ героевъ, соединивъ ихъ законнымъ бракомъ.

Что касается историческаго элемента романовъ Р. Зотова, то въ романахъ „Леонидъ“ и „Послѣдній потомокъ“ вы находите у него нѣсколько болѣе основательное знаніе исторіи, чѣмъ у Загоскина; видно, что онъ хорошо изучилъ эпоху наполеоновскихъ войнъ со всеми дипломатическими сношеніями того времени, тайными обществами, политическими броженіями, военными дѣйствіями и пр. Онъ даже, видимо, цѣлюетъ свою эрудицію; но это лишь относительно начала нынѣшняго столѣтія, что-же касается до романа „Таинственный монахъ“, то здѣсь мы видимъ не только поверхностное и скудное знаніе эпохи Петра, чѣмъ у всѣхъ прочихъ историческихъ романистовъ того времени. Романистъ выказываетъ на однихъ лишь самыхъ крупныхъ и общезвѣстныхъ фактахъ, и тщетно вы будете искать у него колорита эпохи, духа партій, мелкихъ и тонкихъ чертъ быта и нравовъ— все это грубо, аляповато и дубочно до послѣдней степени: стрѣльцы все подрядъ какія-то кровожадные чудовища; царь Петръ и его сподвижники сіяютъ однимъ сплошнымъ лучезарнымъ блескомъ.

Выше мы видѣли, что Лажечниковъ ввелъ вредный обычай изобрѣтать силою своей фантазіи историческіе факты. Р. Зотовъ не только пошелъ по стопамъ Лажечникова въ этомъ отношеніи, но значительно превзошелъ его. Онъ не ограничивался уже тѣмъ, что изобрѣталъ инимыхъ сыновей и внуковъ различныхъ историческихъ личностей, но заставлялъ своихъ героевъ вращать судьбами Россіи и Европы, управлять всѣми историческими событіями. Такъ, мы видѣли, что не будь Григорія, трижды спасшаго Петра, то Петръ или погибъ-бы еще мальчикомъ, или юношей былъ-бы убитъ въ селѣ Преображенскомъ, или проигралъ-бы войну со шведами, — и во всѣхъ трехъ случаяхъ Россія была обижана Григоріемъ, что Петръ благополучно царствовалъ до 1725 года, успѣлъ и Петербургъ основать, и Россію вдвинуть въ систему европейскихъ государствъ. Точно такими-же устроителями историческихъ судебъ являются и прочіе герои романовъ Р. Зотова. Равница только та, что имъ не приходилось спасать императора Александра I, такъ какъ онъ не подвергался въ продолженіи своей жизни никакимъ опасностямъ; но за то они ежеминутно спасали всѣхъ прочихъ европейскихъ вѣнценосцевъ, питая ко всѣмъ имъ безразлично одинаковыми чувствами благоговѣнія и преданности, не смотря даже на враждебныя отношенія Россіи къ кому-либо изъ нихъ. Такъ, наприимѣръ, Леонидъ со своимъ отрядомъ въ одномъ ночномъ дѣлѣ наткнулся какъ разъ на Наполеона и жизнь послѣднего была въ его рукахъ.

«Стоявшій близъ Наполеона генералъ, — читаемъ мы въ романѣ— схватилъ его за руку, и стараясь загородить его и увлечь, закричалъ: «Ваше Величество, спасайтесь! это Русскіе!» Восклицаніе сіе внезапно остановило въ какомъ-то оштрапѣннѣи Леонида, машинально сдѣлавшаго отряду знакъ не двигаться

съ мѣста. И такъ передъ нимъ былъ Наполеонъ! Съ жадностью вперилъ онъ взоръ свой на существо, передъ нимъ стоявшее, и не вѣрилъ чудесному случаю, приведшему его столь близко къ величайшему военному гению своего вѣка. Наполеонъ, изумленный нечаяннымъ появленіемъ русскаго отряда, коего малочисленность тотчасъ онъ замѣтилъ, освободилъ руку свою отъ заботливо увлеканнаго его генерала. Мгновенная блѣдность, явившаяся на лицѣ Наполеона, уступила мѣсто обыкновенному величію и спокойствію. Замѣтивъ неподвижность отряда, приказалъ онъ свѣтъ своей и караулу гренадеръ атаковать слабую горсть, предводимую Леонидомъ, и подвинуть шесть батальоновъ, позади кладбища расположенныхъ.

— Ваше Величество!—вскричалъ Леонидъ по французски,—отгнѣните приказаніе атаковать насъ, потому что необходимость защиты принудитъ отрядъ мой сражаться,—и ваша жизнь будетъ въ опасности, а это привело-бы меня въ отчаяніе, потому что жизнь каждаго вѣдущаго священна для русскаго. И добровольно отступаю къ главному моему отряду,—почитая себя слишкомъ счастливымъ, что видѣлъ такъ близко знаменитѣйшаго человека нашего столѣтія.

«Наполеонъ бросилъ на Леонида пронизательный взглядъ, движеніемъ руки остановилъ гренадеръ своихъ, летѣвшихъ уже впередъ, и спросилъ Леонида, какъ его зовутъ.

— Русскіе офицеры Волосовъ и Сидинъ удостоились видѣть такъ близко Ваше Величество,—и день этотъ запишутъ они для сохраненія въ памяти своего потомства. Теперь позвольте намъ идти.

— Русскіе благородны,—сказалъ Наполеонъ,—а это зналъ. Поступокъ вашъ дѣлаетъ вамъ честь. Прощайте, господа!..

Вообще, управляя судьбами Европы, герои романовъ Р. Зотова только и дѣлаютъ, что все возвращаютъ въ высшихъ государственныхъ сферахъ, завтракаютъ съ посланниками, обѣдаютъ съ министрами, ужинаютъ съ маршалами и безпрестанно представляются то австрійскому императору, то прусскому королю, то Наполеону, и всѣ послѣдніе ихъ лично знаютъ, оказываютъ къ нимъ благоволеніе, возвышаютъ ихъ и щедро награждаютъ. Герои-же, съ своей стороны, мало того, что относятся къ нимъ съ подобающимъ почтеніемъ, но говорятъ не иначе, какъ отрывистыми фразами совершенно въ духѣ военной дисциплины. Такъ, наприимѣръ, насъ несколько не удивляетъ, что Гиреевъ, въ качествѣ дворцоваго гренадера, при той строгости солдатской выправки, которой требовалъ императоръ Павелъ I, отвѣчалъ ему нислѣдующими фразами при своемъ представленіи царю:

Плацъ-комендантъ представляетъ его съ двумя другими офицерами.—Павелъ I заставилъ сдѣлать нѣсколько ружейныхъ приемовъ и былъ ими доволенъ.

— Хорошо-ли, князь, спалъ на покоевѣ?—милостиво спросилъ государь у Гиреева.

— Мнѣ вездѣ хорошо, ваше императорское величество,—отвѣчаетъ тотъ, не шевеля ни однимъ мускуломъ,—гдѣ я имѣю счастье служить вашей священной особѣ.

— Спасибо; а будешь хорошо служить, самому хорошо будетъ. Тебѣ императрица, моя родительница, пожаловала пенсію?

— Въ тысячу рублей, ваше императорское величество, и я вседневно молю Господа о успокоеніи души ея и о здравіи вашего императорскаго величества.

— Много-ли ты помнишь изъ своего дѣтства о ханствѣ?

— Все помню, ваше императорское величество. И въ это время еще выучился по-русски, по-французски, исторіи и ариметикѣ.

— Кто-же тебя училъ?

— Въ Бахчисарай русскій консулъ Горюло, а потомъ адъютантъ генерала Вальжена.

— Сколькохъ лѣтъ привезли тебя въ Россію?

— Десяти лѣтъ, ваше императорское величество, и тогда-же принялъ православную вѣру.

— И присягу на вѣрноподданничество?

— Точно такъ, ваше императорское величество, и сохранию эту священную клятву до гробовой доски.

— Спасибо.

«Павелъ подаль ему руку, и Гиреевъ, ставъ на колѣни, поцѣловалъ ее.

И можете себѣ представить, что совершенно тѣмъ-же самымъ тономъ дворцоваго гренадера бесѣдуетъ Гиреевъ при представленіи своемъ Наполеону.

— Вы конечно новоприбывшій князь Гиреевъ?—спросилъ его Наполеонъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ Гиреевъ.

— Вы коренной русскій? ваша фамилія монгольскаго происхожденія?

— Я сынъ послѣдняго крымскаго хана.

— Шагинъ-Гирей?—сказалъ Бонапарте, какъ-бы желая блеснуть своею ученостью.

— Вагу-Гирей; Шагинъ былъ его братъ, который сперва свергъ его, а потомъ долженъ былъ бѣжать передъ русскою армією.

— Да, да! свѣршая Солпратидя забрала насъ въ свои руки. Вы недавно были въ Берлигѣ у прусскаго короля?

— Я имѣлъ честь представляться его величеству.

— И получили орденъ за заслуги?

— Точно такъ.

— А здѣсь вы не прикомандированы къ посольству? Мнѣ сказали, что вы хотите воспитывать чинхъ-то дѣтей.

— Точно такъ. Франція такъ опередила насъ въ своемъ просвѣщеніи, что намъ не стыдно заимствовать у нея свѣта.

Выше-же мы видѣли, что и Леонидъ, встрѣтясь съ тѣмъ-же Наполеономъ, на полѣ брани, какъ съ неприятелемъ, обращается къ нему въ томъ-же лаконическомъ тонѣ фельдфебельскаго характера.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну замѣчательную особенность историческихъ романовъ Р. Зотова, имѣющую то значеніе, что этою особенностью не замедлили воспользоваться всѣ историческіе балетристы низшаго сорта, и скорѣ она сдѣлалась господствующею въ историческихъ романахъ лубочнаго характера. Дѣло въ томъ, что Р. Зотовъ рѣзко раздѣлялъ повѣствовательныя главы романовъ отъ чисто историческихъ, такъ что у него правильно чередуются главы, въ которыхъ разговариваютъ и дѣйствуютъ герои, и главы, въ которыхъ авторъ ограничивается сухими и краткими пересказомъ историческихъ событій. Читая послѣднія главы, вы забываете порою, что передъ вами романъ, а не краткій учебникъ по русской исторіи. Впрочемъ, весьма многіе современники и особенно современницы Р. Зотова были за это какъ нельзя болѣе благодарны ему, такъ какъ они столько могли, не читая перевертывать тѣ главы, въ которыхъ излагается случайная исторія, и переходить лишь къ тѣмъ, гдѣ заключались разговоры дѣйствующихъ лицъ романа.—Такъ обыкновенно и читались романы Р. Зотова русскою дубликою.

## VIII.

И. В. Кукольникъ.—Быстрое возвышеніе и столь же быстрое паденіе его популярности.—Причины того и другого.—Подражательность Кукольника.—Характеръ его историческихъ романовъ и повѣстей.—Повѣсть «Сержантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ».—Наговицъ гр. Бенкендорфа и отзывъ критики того времени.—Романъ «Два Ивана, два Степановича, два Костылькова».

Въ лицѣ Нестора Кукольника мы видимъ далеко не одного изъ тѣхъ скромныхъ тружениковъ, какими намъ представлялись Загоскинъ, Лажечниковъ и Р. Зотовъ, которые при всемъ успѣхѣ своихъ произведеній и при всей своей популярности никогда не воображали о себѣ слишкомъ много, не заносились и не считали себя великими людьми. Несторъ-же Кукольникъ считалъ себя никогда звѣздой первой величины и пережилъ эпоху такой блестящей славы, какая выпадаетъ на долю лишь немногихъ избранныхъ блаженной судьбы. Вообще 30-е годы были эпохой, замѣчательною въ нашей литературѣ въ томъ отношеніи, что въ это время рядомъ съ нѣсколькими писателями, дѣйствительно великими и приобрѣвшими въ послѣдствіи почетное званіе русскихъ классиковъ, пролетѣли по небосклону русской словесности нѣсколько ослѣпительныхъ метеоровъ, блескъ которыхъ въ свое время, пожалуй, что превышалъ ихъ истинно великихъ современниковъ; но метеоры эти быстро разсыпались, не оставивъ по себѣ ни малѣйшаго слѣда. Таковы были Марлинскій, Бенедиктовъ; таковъ же былъ и Н. Кукольникъ.

Н. Кукольникъ, повидимому, имѣлъ все даннаго, чтобы изъ него выработался порядочный писатель. Родившись въ 1809 г., въ селеніи профессора Влѣдскаго университета, дѣтстваго въ свое время весьма обширную эрудицію, онъ съ дѣтства жилъ въ мірѣ книгъ. Въ 1829 г. онъ кончилъ курсъ въ Нѣжинскомъ лицей, будучи сотоварищемъ Гоголя, съ которымъ, впрочемъ, почему-то не сошелся, и уже въ 1833 году, 24 лѣтъ, произвелъ всеобщій восторгъ въ петербургской публикѣ своею драмою „Торкватто Тассо“. Сенковскій въ своей „Библиотекѣ для чтенія“ прямо поставилъ его наравнѣ съ Гете и называлъ его не иначе, какъ „великій Кукольникъ“. Въ литературныхъ кружкахъ и въ обществѣ только и слышалось, по свидѣтельству Н. Панаева: „Какія колоссальныя надежды долженъ подавать поэтъ, вступающій съ такимъ произведеніемъ!“ и самъ Панаевъ пришелъ въ восторгъ отъ этого произведенія. „Петербургская молодежь, говоритъ онъ, занимавшаяся литературой, въ высшей степени заинтересована была личностью автора „Тассо“. Носились слухи, что онъ привезъ съ собою множество удивительныхъ произведеній, долженствующихъ сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ“.

Наибольше-же всего возросла слава Кукольника послѣ перваго представленія патристической драмы его „Рука Всевышняго отечество спасла“. Это первое представленіе въ мартѣ 1834 г. носило характеръ какого-то патристическаго торжества. Высочайшія особы присутствовали на спектаклѣ. Вызовамъ автора и оваціямъ не было конца.

Н. Кукольникъ постоянно былъ окруженъ цѣлою толпою поклонниковъ, которые всюду сопровождали его, приходя въ восторгъ отъ каждаго его слова, преклоняясь передъ нимъ и осипая его непрестанно самыми работѣнными похвалами. На журфиксахъ по средамъ собиралось у него до 80 человѣкъ его почитателей, людей всѣхъ сословій, званій, состояній, причемъ нѣсколько преобразженскихъ офицеровъ составляли нѣчто въ родѣ почетной свиты его, и онъ иногда обращался къ нимъ, словно какой-нибудь военачальникъ, собирательнымъ воззваніемъ *преобразженцы*. Такъ, однажды за ужиномъ, поднимая бокалъ и указывая на портретъ брата, Кукольникъ провозгласилъ:

— Преобразженцы! за здоровье отсутствующаго Платона.

Когда на вечерахъ у него Глинка собирался пѣть, Кукольникъ, обращаясь къ офицерамъ, шепталъ, прикладывая указательный перстъ къ губамъ: „слушайте, слушайте, преобразженцы“.

Ореолъ Кукольника еще болѣе возблесталъ въ глазахъ поклонниковъ его, когда онъ сблизился съ Брюловымъ и М. Глинкою, и они составили своего рода триумvirатъ искусствъ,—живописи, музыки, поэзіи, причемъ Кукольникъ распространялъ и поддерживалъ ту мысль, что этотъ союзъ долженъ оказать громадное вліяніе на успѣхи искусствъ въ нашемъ отечествѣ.

Слава Пушкина, доживавшаго въ то время свои послѣдніе годы, казалось, совсѣмъ померкла въ блескѣ славы Кукольника. По крайней мѣрѣ, послѣдній на своихъ вечерахъ трюмогласно заявлялъ всей публикѣ:

— Пушкинъ, безспорно, поэтъ съ огромнымъ талантомъ; гармонія и звучность его стиха удивительны, но онъ легкомысленъ и не глубокъ. Онъ не создалъ ничего значительнаго; а если ишѣ Богъ продлитъ жизнь, то я создамъ что нибудь прочное, серьезное и можетъ быть дамъ другое направленіе литературѣ...

И многочисленные поклонники Кукольника, серьезно внимая этимъ вѣднѣмъ словамъ своего кумира, ждали отъ него литературнаго переворота.

Это дикое и съ перваго взгляда совершенно непонятное увлеченіе объясняется въ сущности очень просто. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ явленіемъ нашей русской жизни, очень печальнымъ, но неоднократно уже повторившимся въ нашей исторіи и совершающимся даже нынѣ передъ нашими глазами. Явленіе это заключается въ томъ, что каждое новое литературное движеніе на Западѣ, каждая новая школа, возникающая въ Германіи, Англіи и особенно во Франціи, непременно находитъ среди насъ своихъ поклонниковъ и послѣдователей, несмотря на то, что у насъ подобное движеніе и эта самая новая школа являлись уже чѣмъ-то пережитымъ, и притомъ пережитымъ гораздо полнѣе, шире и глубже. Такъ, напримеръ, кто могъ ожидать, что послѣ столь великихъ и могучихъ образцовъ натурализма, какіе преподали намъ Гоголь, Островскій, Щедринъ, Тургеневъ, Гончаровъ и прочіе беллетристы 40-хъ годовъ, у насъ было-бы возможно увлеченіе современнымъ французскимъ натурализмомъ? Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что французскіе натуралисты не только не возвысились

надъ нашими натуралистами 30-хъ и 40-хъ годовъ и не опередили ихъ въ чемъ-либо, но наоборотъ, большинство ихъ съзидало натуралистическую школу, вставивши ее въ тѣсныя рамки исключительнаго изображенія и анализа половыхъ влеченій съ физиологическихъ и патологическихъ точекъ зрѣнія. И вдругъ среди молодыхъ, вновь вышедшихъ на литературное поприще, беллетристовъ, нашлось нѣсколько прихвостней французскихъ натуралистовъ, которые забыли всѣ наши великія преданія столь недавняго прошлаго, и начали слѣпо пересаживать на русскіе нравы пресловутые документы французскихъ натуралистовъ, заимствуя при этомъ у ихъ кумира, Золи, не то, чему дѣйствительно стоило-бы у него поучиться, т. е. умѣнью его рисовать широкія картины современной общественной жизни, а лишь страсть къ соверпанію женскихъ подвязокъ.

То же самое мы видимъ и въ 30-ые годы. Къ этому времени литература наша, повидимому, успѣла уже вполне пережить романтизмъ и подъ нѣмецкимъ, и подъ англійскимъ вліяніемъ. Подражали мы и Клонштоку, и Уланду, и Гете, и Шиллеру, и Шекспиру, и Байрону; наконецъ, начали мало по малу переходить, съ одной стороны, на путь національной самобытности, съ другой—на поэзу реализма. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что Пушкинъ во второй половинѣ своей литературной дѣятельности былъ не только самобытенъ, но и глубоко реаленъ. Въ то же время къ половинѣ 30-хъ годовъ Гоголь успѣлъ уже написать и свои «Ветера», и «Арабески», и всѣ комедіи.

Между тѣмъ съ Франціею и въ тотъ разъ случилось то же, что и въ наше время: увлеченная своими политическими движеніями, она нѣсколько запоздала со своею литературою, и въ то время, когда у насъ были уже Пушкинъ и Гоголь, а въ Англии—Диккенсъ и Теккерей, Франція только что успѣла покоячить съ классицизмомъ, и у нея возникла своя романтическая школа, побѣда которой надъ классицизмомъ, въ лицѣ Виктора Гюго и его неистовыхъ послѣдователей, соизнала какъ разъ съ революціею 1830 г. И вотъ наша молодежь того времени поспѣшила тотчасъ же увлечься новою и модною школою французскаго романтизма, громко трубишею на всю Европу свою запоздалую побѣду надъ классицизмомъ.

Какъ велико и слѣпо было это увлеченіе, можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ записокъ И. Панаева:

«Послѣ появленія «Notre Dame de Paris», я почти готовъ былъ идти на плаху за романтизмъ. Я узналъ о «Notre Dame de Paris» изъ «Московского Телеграфа». Вскорѣ послѣ этого весь читающій по французски Петербургъ началъ кричать о новомъ сенсационномъ произведеніи Гюго. Всѣ экземпляры, полученные въ Петербургѣ, были тотчасъ-же разхватааны. Я едва досталъ для себя экземпляръ и съ нервическимъ раздраженіемъ приступилъ къ чтенію. И прочелъ его, почти не отрываясь. Никогда еще я не испытывалъ такого наслажденія отъ чтенія. Клодь-Фролло, Эсмеральда, Квазиmodo не выходили изъ моего воображенія; снону, когда Клодь-Фролло приводитъ ночью Эсмеральду въ вѣселищъ и говоритъ: «выбирай между мною и этою вѣселищею»—я выучилъ наизусть. Я больше двухъ мѣсяцевъ бредилъ этимъ романомъ и перечитывалъ отрывки изъ

него Кречетову и нѣкоторымъ изъ моихъ товарищей, съ которыми болѣе симпатизировалъ.»

Но и тогда съ нашими россиянами случилось то же, что и нынѣ. То, что было наиболѣе замѣчательнаго, почтеннаго и цѣннаго въ сочиненіяхъ В. Гюго, тѣ новыя идеи, которыми были проникнуты эти сочиненія, прошли совершенно мимо ушей поклонниковъ В. Гюго.

Но не одинъ И. Панаевъ, только что сошедшій тогда со школьной скамьи, и болѣе старшіе и зрѣлые поклонники французскаго романтизма, совершенно игнорируя идейную подкладку В. Гюго, увлекались одною внѣшнею, чисто-формальною стороною его поэзіи, страстію В. Гюго къ трескучимъ эффектнымъ, смѣлымъ антитезамъ и крайне вычурному и высокопарному языку его; однимъ словомъ—усвоили одніе только слабыя стороны своего кумира. Къ числу такихъ послѣдователей В. Гюго, рядомъ съ Марлинскимъ и Бенедиктовымъ, принадлежалъ и Кукольникъ. Покрайней мѣрѣ драмы его «Торкватто Тассо», «Джулія Мости», «Джакомо Саназаръ», «Роксолана» и пр. всѣ скроены по образу и подобию драмъ В. Гюго, но, конечно, не представляютъ и тѣни того глубокаго идейнаго содержанія, какое мы находимъ въ пьесахъ В. Гюго, а напротивъ того, отличаются крайнею пустотою и банальнымъ мелодраматизмомъ. Но невѣжественная толпа того времени, подъ вліяніемъ такихъ критическихъ авторитетовъ, какіе представлялся Сенковский, принимала эти драмы за дѣйствительно «новое слово» литературы, и этихъ обусловливалась та популярность, какою пользовался Кукольникъ въ половинѣ 30-хъ годовъ. Но это не могло продолжаться долго. Вскорѣ началось новое литературное движеніе и положило конецъ увлеченію напыщенною риторикою и пустозвонными внутри, хотя и блестящими снаружи, фразами. Вместе съ паденіемъ авторитета Сенковского, рядомъ съ закатомъ такихъ эфемерныхъ звѣздъ, какъ Марлинскій и Бенедиктовъ, пошатнулась и популярность Кукольника. Онъ растолстѣлъ, обрюзгъ отъ частыхъ возлій Бахусу и даже по наружности пересталъ походить на вдохновеннаго поэта и безкорыстнаго служителя музъ. Толпа поклонниковъ мало по малу рѣдѣла вокругъ него, и наконецъ, его покинули даже преображенцы, столь восхищавшіеся когда-то наждакомъ его стиховъ и ожидавшіе отъ него чего-то великаго. Онъ сошлся съ такими темными литературными силами того времени, каковы были Гречъ, Булгаринъ, Воейковъ и прочіе подобнаго же рода литературныхъ дѣлъ патера, кулаки и промышленники, наживавшіеся на счетъ невѣжества публики. Это онопательно отвернуло отъ него всѣхъ молодыхъ и честныхъ литераторовъ. Къ тому же и самъ онъ, оставивъ свои юныя мечты создать нѣчто великое и произвести въ литературѣ переворотъ, выступилъ на поприще литературнаго ремесленничества и баринничества. Уже съ начала 40-хъ годовъ онъ является передъ нами авторомъ безконечно длинныхъ и скучныхъ, очевидно, наскоро состриганныхъ историческихъ романовъ и повѣстей изъ западной и русской жизни,—и всѣ эти произведенія обнаруживаютъ передъ нами, какъ нельзя болѣе, талантливъ маленькій, жиденькій, и



къ тому же лишенный всякаго содержанія и хотя бы гѣни оригинальности, постоянно кому-нибудь подражавшій. Какъ въ юности подражалъ онъ В. Гюго, такъ теперь онъ подражаетъ Ал. Дюма и Альфреду де-Виньи, и въ 1841 году выпускаетъ безконечный романъ „Эвелина-де-Вальероль“, въ временахъ френды. Во время самаго разгара эпидеміи историческихъ романовъ, въ 1832 году, появился переводъ съ польскаго романа Ф. Бернатовича „Шюта, дочь Лездейки, или Литовцы въ XIV столѣтіи“, — и романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ въ нашей публикѣ въ продолженіи всѣхъ 30-хъ годовъ. Въ pendant къ этому роману, Кукольникъ въ 1842 году издалъ романъ тоже изъ литовской жизни XIV вѣка „Альфъ и Альдона“, столь же испещренный именами литовскихъ боговъ и богинь, мѣстностей, урочищъ, рѣкъ и т. п. Романъ этотъ по своей крайней растянутости, скукѣ и педобочитамости превосходитъ все, что только существовать на свѣтѣ въ скучномъ родѣ.

Какъ поклонникъ французскаго романтизма, Кукольникъ, конечно, считалъ самую неприимную не-известность къ натуральной школѣ, равно какъ и къ кружку Станкевича, которому наиболѣе обязанъ онъ былъ наденіемъ своей популярности. — Такъ, при встрѣчѣ съ нимъ Панаева во второмъ уже періодѣ его дѣятельности, Кукольникъ обратился къ нему съ такою рѣчью: — „Это ты! Я сначала не узналъ тебя, — мы съ тобой теперь видимся рѣдко. Ты — Краевскій!“ — и эти послѣднія слова были произнесены такія тономъ, какъ-бы Кукольникъ хотѣлъ сказать: „Ты пропащій человекъ!“ и при этомъ онъ махнулъ рукой.

Но такова въ то-же время была сила подражательности въ Кукольникѣ, что при всемъ враждебномъ отношеніи къ натуральной школѣ и ея представителямъ и партизанамъ, Кукольникъ не замедлилъ подчиниться и вліянію Гоголя. Въ теченіи 40-хъ годовъ онъ написалъ массу историческихъ повѣстей изъ петровской эпохи, и въ этихъ повѣстяхъ на каждой страницѣ тава и мечется намъ въ глаза стараніе Кукольника поддѣлаться подъ гоголевскій стиль. Для доказательства намъ не для чего долго рыться, а стоитъ открыть наудачу книгу, и навѣрное мы прямо наткнемся на какое-нибудь рабское подражаніе Гоголю. Для примѣра я раскрываю первый томъ сочиненій Кукольника на 473 стран.; передъ нами четвертая глава повѣсти „Благодѣтельный Андроникъ“, и вотъ какъ она начинается:

«Есть имена самыя романтическія, которыхъ, къ особенному удивленію, вовсе не употребляютъ наши романисты, и надобно дожидаться какой-либо чисто исторической статьи, чтобы встрѣтить сколько-нибудь интересное имя. Если-бы не исторія, мы-бы никогда и въ голову не пришли, что жена Андроника Евстафьевича называлась Голендухой Демьяновной. А какое романтическое имя! Оно одно уже цѣлый романъ! А если къ этому прибавить еще романтическій ея характеръ, тогда жена Андроника рѣшительно покажется цѣлой библиотекой романовъ. Домна Савишина хороша, но, въ сравненіи съ Голендухой Демьяновной, лицо совершенно ординарное. Какой-же былъ характеръ у Голендухи Демьяновны, спросите вы? Романическій; то есть, въ ней не было никакого характера. Она была добра, когда бесѣдовала съ Андроникомъ Евстафьевичемъ: моло-

дилась и охорашивалась, когда передъ ней сидѣла Домна Савишина; злилась и била сестру свою, жалостливую Палашку, когда слышала, что на соседнемъ дворѣ понадея производила экзекуцію надъ неисправною челядью; заикалась даже, когда Ерема Костиль, дячекъ Тихвинно-Онуфриевскаго прихода, великій заика, приходилъ къ главѣ и солнцу всѣхъ воронежскихъ дячковъ и произносилъ торжественную рѣчь, чарки ради и т. д.»

Или посмотрите, какъ во второмъ томѣ начинается разсказъ „Капустинъ“:

«Пою несчастіе Капустина, московскаго купца, происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой линіи отгородной капусты, продукта вполне извѣстнаго у насъ на сѣверѣ; продукта, который, по важности своей, можетъ смѣло поспорить съ картофелемъ, этимъ американскимъ дивомъ, генеральною пищею многихъ милліоновъ. — Но еще не наступило время капусты; она хранилась въ парникахъ, и то не вездѣ, потому что на дворѣ стоялъ ноябрь, и всею Москвою кушала спаржу и зеленія шти, для чего, какъ извѣстно, капусты не нужно, а достаточно разной мелкопомѣстной травы, которая, по общему закону всего земнаго, сначала обращается въ сибль человека, а потомъ скотинѣ» и т. д.

Ужъ изъ однихъ этихъ выдержекъ вы можете судить, какъ далеко отстоялъ Кукольникъ въ своемъ подражаніи отъ образца. Не обладая природнымъ юморомъ, онъ въ своихъ историческихъ повѣстяхъ безпрестанно выдавалъ въ неуклюжее и нагнущее шутовство и вычурную манерность; это одно дѣлаетъ его повѣсти чрезвычайно тяжелыми и скучными въ чтеніи, особенно, если прибавить къ этому безконечныя разговоры дѣйствующихъ лицъ, до крайности растянутые и притомъ по большей части на ломанномъ языкѣ, чрезъ мѣру пересыпанномъ иностранными словами, передѣланными на русскій ладъ (это Кукольникъ дѣлалъ для приданія рѣчамъ героевъ своихъ историческаго колорита, но черезъ-чуръ пересаливалъ въ этомъ, и какъ-бы ни много иностранныхъ словъ употребляли современники Петра, навѣрное они говорили языкомъ не столь вычурнымъ и нестрымъ, какъ это мы видимъ у Кукольника).

Что касается до содержанія всѣхъ этихъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей, то хотя, съ одной стороны, онѣ и обнаруживаютъ довольно основательное знаніе Кукольникомъ эпохи Петра, но въ то-же время нельзя сказать, чтобы нравы и духъ этой эпохи изображались въ повѣстяхъ художественно и реально. То-же, что мы сказали сейчасъ о языкѣ дѣйствующихъ лицъ, слѣдуетъ замѣтить и о всѣхъ прочихъ краскахъ Кукольника: во всемъ онъ пересаливаетъ, все онъ представляетъ въ какомъ-то грубо-карикатурномъ видѣ, точно будто передъ вами не объективное изображеніе эпохи, а рядъ шаржей. Возьмите вы, напримѣръ, самую личность Петра. Не говоря уже о Пушкинѣ, но даже у Р. Зотова Петръ является болѣе похожъ на дѣйствительнаго Петра, какими онъ долженъ намъ представляться, чѣмъ у Кукольника. Положимъ, что Петръ былъ и геній, и работникъ, и водку анисовую пилъ въ адмиральскій часъ, и дѣтей крестилъ у матросовъ, но въ то-же время не надо забывать, что онъ былъ русскій царь, и царь грозный, съ дубинкой въ рукахъ, съ молніеносными взглядами, очень рѣшительный въ своихъ поступкахъ, а подчасъ и крайне необузданный въ

своимъ гнѣвъ. Передъ нимъ все вокругъ трепетало, а если кто дерзалъ шутить и поперекъ слово молвить, то дѣлалъ это съ оглядкой, въ какую-нибудь такую рѣшительную минуту, когда человѣкъ ставитъ на карту жизнь свою, авось вывезетъ кривая. Поэтому какъ нельзя болѣе естественна и понятна растерянность и гостей, и хозяевъ, когда Петръ прѣзжаетъ вдругъ къ Гаврилѣ Анонашевичу въ „Арапѣ Петра Великаго“. Не менѣе естественъ и тотъ ужасъ, какой чувствуетъ въ романѣ Зотова Григорій, когда держитъ ночью будить Петра. У Кукольника-же Петръ является положительно какимъ-то балагуромъ, съ которыми всѣ окружающіе обходятся не только за панибрата, но грубить ему такъ, какъ не смѣли въ то время грубить мало-мальски богатому и знатному боярину. Подумайте, напримѣръ, насколько естественна и правдоподобна хотя-бы такая сцена въ разказѣ „Новый годъ“:

«Послѣ полуночи прѣхалъ Государь и былъ не мало удивленъ, увидавъ, что Александръ Ивановичъ (девичекъ его) въ новый годъ, когда вся Москва разукрашена огнями, сидитъ за книгой.

 — Что-же ты, Александръ, дома сидишь? спросилъ Государь:— а иллюминація?

— Пошло, Государь; теперь уже темно. Когда-бы днемъ, такъ еще туда-сюда; пока Прозоровскій или Ромодановскій докладываютъ, можно отлучиться; а вечеромъ я не люблю шататься: чего добраго, за бродягу припнуть. Да и что такое твоя иллюминація? Другой разъ, какъ будетъ тебѣ полюбоднѣе, самъ покажешь.

 — Да ты развѣ не видалъ иллюминацій?

— Не только не видалъ, да и не слышалъ.

— А въ день моего прѣзда, по всей Москвѣ, что было?

— Что было? Огни, да и только. Глаза высмотрѣлъ, чтобы гдѣ не занялось. Драшная потѣха, Государь; того и гляди, пожаръ затѣнешь!.

— Шустрия, Александръ! Когда въ городѣ порядокъ, такъ иллюминація не опасна.

— Такъ ты прежде сдѣлай въ городѣ порядокъ, а потомъ уже само для потѣхи и зги.

— Сдѣлаю, сдѣлаю! отвѣчалъ Государь:— только дай срокъ.

— Ты, Государь, все въ долгую тянешь; вотъ и меня уже сколько времени обѣщаніями манишь, а посудъ безъ зерна, все одно, что мыло ѣшь.

— Потерпи, Александръ! Давно-ли ты служилъ?

— Таки не со вчерашняго дня. Я тебя люблю, Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ проку-то? За Головина, такъ еще мундиръ, исподни и сапоги даромъ давали! А теперь новый нѣмецъ какой-то комиссаръ сталъ. Говоритъ: на царскихъ девицковъ отпуску нѣтъ; малованье большое получаютъ!

— Вреть!— сказалъ съ поспѣшностью Государь и т. д.

Въ то-же время нѣтъ такой повѣсти, въ которой Петръ не являлся-бы святошю. И въ „Арапѣ“ Петръ Великій самъ прѣзжаетъ къ Гаврилѣ Анонашевичу въ качествѣ свата, но здѣсь онъ сватаетъ въ собственныхъ своихъ видахъ и становится поперекъ вкусовъ и желаній всей семьи Гаврилы Анонашевича, не исключая и самой невѣсты. У Кукольника-же наоборотъ, онъ является постояннымъ деи ex machina, который точно какъ будто для того и царствовалъ, чтобы отстранять всѣ препятствія ко вступленію въ законный бракъ своимъ влюбленнымъ подданнымъ. Въ разказѣ „Новый годъ“ оказывается даже, что

Петръ измѣнилъ празднованіе новаго года съ сентября на январь нарочно для того, чтобы помочь своему любимому девицкѣ Александру Ивановичу Румянцеву жениться на дочери окольного Андрея Артамоновича, Марьи Андреевнѣ.

Мы не имѣемъ ни надобности, ни возможности входить въ подробное разбирательство всѣхъ безчисленныхъ историческихъ повѣстей Кукольника, а остановимся лишь на двухъ, представляющихъ свой особенный интересъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ фактомъ весьма страннымъ и неразгаданнымъ: именно тотъ самый Кукольникъ, въ которомъ, казалось-бы, трудно заподозрить хотя-бы малѣйшую тѣнь либерализма, вдругъ является передъ нами врагомъ крѣпостного права и такъ рѣзко обличаетъ нравы его, что заслуживаетъ гнѣвъ начальства. Трудно угадать и рѣшить, дѣлалъ-ли это Кукольникъ сознательно, вождѣствіе того, что крѣпостное право было въ то время такъ уже оскандализовано въ глазахъ всѣхъ, что даже и такіе люди, какъ Кукольникъ и Р. Зотовъ (у послѣдняго въ его „Леонидѣ“ тоже есть кое-какія вылазки противъ крѣпостного права) возмущались его ненормальностью, или-же Кукольникъ, изображая нравы петровской эпохи, и не воображалъ, что онъ попадетъ совсѣмъ въ другую цѣль.

Какъ-бы то ни было, но разказъ Кукольника „Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или всѣ за одно“, появившійся въ сборникѣ „Сказка за сказкой“, въ 1841 году—надѣлалъ въ свое время не мало шума. Вотъ содержаніе этой повѣсти.

Главными героями являются Ландышевы, мать вдова и сынъ, жившіе въ своемъ имѣніи недалеко отъ Костромы и напоминающіе собою Простакову съ Митрофанушкой. Варвара Сергѣевна не могла надѣяться на своего возлюбленнаго Володю, и воля его была для нея закономъ. Володя-же, конечно, совершенно безграмотный, только и занимался, что лошадами, собаками, да дворовыми дѣвками. Не было красавицы на селѣ, которую-бы онъ не овладѣлъ, пользуясь своимъ барскимъ правомъ. Такъ, на первыхъ-же страницахъ повѣсти, онъ плѣняется Домной, невѣстою крѣпостнаго паря Ивана и происходитъ слѣдующая возмутительная сцена: увидавъ Домну, пришедшую съ женихомъ своимъ къ Варварѣ Сергѣевнѣ просить барскаго позволенія на бракъ, Володя въ одно мгновеніе соскочилъ съ лошади, подалъ уздцы Ивану и сказалъ, не глядя на него: „Держи, болванъ! Изъ чьей ты волости, красавица?“

— А вотъ, изъ Кудиновки, отвѣчала дѣвушка, покраснѣвъ по уши!.

— Изъ нашей волости! Да какъ-же я про тебя ничего не зналъ? Видишь ты, старый чортъ! Что, ты, вѣрно, для себя се пряталъ?

Это обращеніе относилось къ Ефремычу. Съ трудомъ удержавъ суховаратъ, вислоухаго своего коня, Ефремычъ отвѣчалъ почтительно:

— Володимѣръ Степанычъ, а Володимѣръ Степанычъ! Того... Вѣдь всѣхъ не усмотримъ!.

— Знаю я тебя, старый потъ! Самъ ты лакомка. Мало тебѣ, что-ли, послѣ барина останаея? Какъ зовутъ, душка? спросилъ онъ дѣвушку.

— Домной, отвѣчала она и заплакала.

— Ну, такъ поцѣлуй меня, сказалъ Володя, схвативъ ее за обѣ руки.

— Не замай! закричалъ Иванъ, вѣ себя отъ рев-

ности и гнѣва, и оттолкнувъ Володю такъ небрежно, что тотъ не устоявъ на ногахъ и поклатился подъ ноги росинанту... Указъ сдѣлали общимъ. Ефремычъ и верховные сѣвшились и бросились на Ивана. Несчастный поваявъ свое преступленіе и, молча, позволялъ связать себя.

— Ведите его на конюшню, озорника! Вотъ я его! Домну, Ефремычъ, въ чулочницы! Слышь, сейчасъ въ чулочницы. Я съ нею управляюсь по своему.

Въ это самое время пріѣхалъ воевода требовать Володю на царскую службу. Варвара Сергѣевна въ ужасѣ начала закармливать его, закармливать и умолять о пощадѣ; насилу сторговалась съ уступчивымъ воеводою, порѣшивъ на томъ, чтобы вмѣсто сына поставить на службу четырехъ крѣпостныхъ и пожертвовать сто рублей на богадельню.

Послѣ отъѣзда воеводы Володя немедленно-же отправился на конюшню. Управляющій, дворецкій, ядѣба, буфетчикъ, старшій конюхъ, ключникъ и многіе другіе дворовые чины съ разныхъ сторонъ охотнѣе обжали на конюшню, на случай могущихъ послѣдовать приказаній отъ лица Володимира Степаныча. На прилавкѣ лежалъ связанный Иванъ и разговаривалъ съ конюхами.

— «Омичъ!» сказалъ Володя управляющему: «Гдѣ у насъ шныче острогъ?»

— А въ старомъ амбарѣ. Тамъ въ окно не пролѣзешь.

— А кто изъ конюховъ вчера приставалъ къ Пашкѣ, когда я спать поспѣ объѣда?

— Ерема, отвѣчалъ Омичъ.

— Важи его!—Связали.

— А кто стучалъ опомнѣвъ въ окно къ пряхамъ, когда я тамъ былъ съ Ефремычомъ?

— Сергѣй мезошникъ!

— Важи его! А кто еще на недѣлѣ провинился?

— Да Андрюшка, что на царя, укралъ въ Татарской слободѣ молодого кобеля для твоей милости. Татары приходили жаловаться Варварѣ Сергѣевнѣ; бариня сказала, что безъ твоей милости она не порѣшитъ такого большого дѣла!

— Много она смислитъ. Поди-ка, Омичъ, свяжи Андрюшку: зачѣмъ не укралъ онъ и чалой суки? А я ему три раза наказывала: кобели и суки!.. Поди-ка, Омичъ, всѣхъ свяжи, да въ острогъ, а завтра всѣхъ четырехъ отвези въ Коострому, прямо въ Воеводскую канцелярію. Завтра въ провинціи рекрутъ-товъ принимать!..

— Въ солдаты! завопилъ Иванъ, рванувшись такъ, что чуть было перчатки не разлетѣлись!..

— Въ солдаты! сказалъ со смѣхомъ Володя. Завтра ты уже не мой, такъ сегодня разсчитаемся. Эй ты, конюхъ, шетей!

— Не бей его, Володимиръ Степанычъ, сказала Омичъ тихо Володѣ: не бей, а то перашно его въ провинціи не примутъ!..

— Ну, бить по твоему! сказалъ Володя, отходя съ досадой. А жалъ! Самъ было хотѣлъ сына пощадить, руку приложить, на водку ему прикинуть.

Между тѣмъ Домна, узнавъ, что милаго ея сдѣаютъ въ солдаты, бросилась къ баринѣ въ спальню, гдѣ съ подюжини дѣвои раздѣвали Варвару Сергѣевну.

— Воръ! разбойникъ! закричала бариня и схватила подушку.

— Твой сынъ воръ! Твой сынъ разбойникъ! кричала Домна, узнавъ передъ посѣдью Варвару Сергѣевну: Помилуй! матушка бариня! Не выдавай моего Ивана въ солдаты, жениха моего, жизнь мою! Ручки на себя наложу, вотъ-те Христосъ, а снму твоему не дамъ!

— Что ты такое городишь, бестія! закричала Варвара Сергѣевна, оправляясь и швырнувъ въ Домну

подушкой: ну, что Володя, съѣлъ тебя, что-ли? Ну, говори, что онъ съ тобой сдѣлалъ?

— Да, что сдѣлалъ? Цѣловаться дѣзъ!..

— Велика бѣда! Да что онъ взрослый, что-ли? Уже и дѣвушки поцѣловать не можетъ, и пошутить ребенка нельзя! Такъ на что онъ и баринъ, и помѣщикъ, коли ужъ и своихъ тронуть не воли! Экая развратница! Чай, при любовникѣ пристае! Видишь, откуда стыду научилась, мерзавка! Въ солдаты его, въ солдаты, благо, нужно! Дамъ я ему на дворѣ у меня развратничать!..

Обжалъ Володя: Варвара Сергѣевна еще болѣе разгорячилась:

— Чего-же ты это смотришь, Володя! И ночью отъ этихъ безпутныхъ покоя нѣтъ. Тыфу ты, нечистъ какае!.. Вонъ ее, со двора долой, а любовника въ солдаты! Слышишь, Володя, въ солдаты! Завтра-же пошли въ провинцію!.. Прочь, съ глазъ долой, негодная!..

Домна встала; черезъ двери поклонилась образамъ, сказала съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ: «Прости и заступи, Господи!» и бросилась изъ комнаты.

— Лови ее! лови! закричала Володя и побѣжалъ за нею въ погоню. Ее поймали въ деревнѣ, въ домѣ отца и снова водворили во дворъ, опредѣливши ее въ судомойки работать на духи безъ смѣны.

Рекрутъ между тѣмъ отправили въ провинцію, но и Володя не увернулся отъ военной службы. Вслѣдъ за воеводою явился провинціалъ-фискалъ Василій Пазухинъ и объявилъ Варварѣ Сергѣевнѣ наотрѣзъ:

— Я тебѣ скажу коротко и ясно. Воевода ошлошалъ. Когда-бы узналъ государь, быть ему въ отвѣтъ. Людей твоихъ въ будущій пріемъ рекрутами зачтутъ, а ты сына подай. Онъ у меня на росписи. Любилъ Александровичъ — добръ, хоть и суровъ; а я строго, хотя съ виду и ласковъ!..

Провинціалъ-фискалъ оказался непреклоннымъ, и дѣлать было нечего, пришлось Володѣ ѣхать въ Петербургъ на царскую службу. Варвара Сергѣевна повезла его сама. Отправилась она цѣлымъ обозомъ со всею дворнею, въ числѣ которой была и Домна, къ которой не переставала приставать бариня. Но никакіе побои, обѣщанія, упреки, ласки не помогли. Исхудала бѣдная Домна, а все еще плакала по Ванькѣ, какъ называла его вся челядь. Не смотря на всю дерзость и страсть Володи, онъ какъ-то побаивался Домны, и если билъ ее, что случалось не рѣдко, то всегда однако-же послѣ объѣда, завтрака или ужина.

Варвара Сергѣевна разыгрывала въ Петербургѣ крайне коническую роль, не понимая новыхъ порядковъ, окружавшихъ ее, и на каждомъ шагѣ попадалась врасплохъ самодурствомъ и барскою фанаберіею. Между тѣмъ Володю взяли въ Интерманландскій полкъ и тамъ вскорѣ онъ поступилъ, въ качествѣ рядового, подъ начальство того самаго Ивана, котораго онъ сдѣлалъ въ рекруты, отнявши у него невѣсту, такъ какъ Иванъ былъ избранъ въ сержанты. Въ должности сержанта Иванъ получилъ право подвергать своего барина тѣлесному наказанію, и онъ не замедлилъ воспользоваться этимъ правомъ. Володя не захотѣлъ рано вставать на ученье, объявивши будищему его товарищу, что ему хочется спать, пусть за него Ванька ружьемъ артикулъ выбрасываетъ; тогда сержантъ Иванъ явился самъ къ барину и произошла слѣдующая сцена:

— Володимѣръ Степанычъ! Служба не воля! Ступай!

— Ахъ ты, холопъ окаянный! Съ кѣмъ ты разговариваешь?

— Съ тобою, баринъ! Прому тебя, не доводи меня по артикулу поступить.

— Я тебѣ такой артикулъ задамъ, что за ушами затрещитъ.

— Вотъ Богъ, а не Иванъ, а сержантъ государевъ. По присягѣ пойду. Палкой подниму.

— Палкой! Володя везочилъ и размахнулся, по старой привычкѣ, весьма ловко, но сержантъ съ тростью — волшебный жезлъ! — такъ и пошла гулять по иппинимъ косточкамъ Володи. Сержантъ самъ закумурился, а все бьетъ, да тузитъ, да приговариваетъ:

— Не могу, Володимѣръ Степанычъ, видѣть Богъ, присягалъ! Не сердись, баринъ! Не а быю, служба бьетъ!

И трость продолжала ревностно нести службу. Страхъ, униженіе, а паче физическая боль одолѣли. Володя выскочилъ изъ постели и опрометью бросился бѣжать. Онъ приближалъ подъ защиту, конечно ужъ, матушки, и Варвара Сергѣевна обратилась прямо къ государю съ жалобою на дерзкаго сержанта. Между тѣмъ, до слуха Петра, черезъ провинціаль-фискала Зыбина, дошло уже объ потла-нияхъ, какимъ подвергалась Домна. Выслушавши жалобу Варвары Сергѣевны, государь позвалъ сержанта Ивана и велѣлъ ему повторить при немъ сержантскія внушенія палкой. Володя въ ужасѣ палился, Варвара Сергѣевна визжала на его господствѣ.

— Видишь, старуха! — сказала государю: — какой Ванька-то твой озорникъ; въ моемъ присутствіи не унижается; а совѣтую тебѣ поскорѣе отойти, дабы и тебѣ чего отъ него не досталось. За непослушаніе вездѣ бьетъ.

Государь ушелъ во внутренніе покои. Ландышева схватила сына и потащила вонъ изъ кабинета.

— Все, все за одно! съ плачемъ говорила она, спускалась съ лѣтницы. Велѣдъ за тѣмъ вышла царей указъ отпустить Домну на волю. Получивши волю, Домна бросилась благодарить бариню, но Варвара Сергѣевна собственноручно потолкала ее за двери, приговаривая: вонъ, негодник! Не хочу держать тебя, развратница; возмъ у тебя отсохнуть, сплетница! Ты моего сына въ солдаты отдала! Вонъ! вонъ! Знаю васъ! *Вонъ вы за одно!*

Повѣсть эта, пронзенная цензурою, возбуждала сенсацию въ обществѣ и неудовольствіе государя, вслѣдствіе чего гр. Бенкендорфъ обратился къ Кукольнику съ слѣдующимъ письмомъ отъ 6 января 1842 года:

«М. г. Несторъ Васильевичъ! Историческій романъ «Сержантъ или все за одно» обратилъ на себя вниманіе публики желаніемъ нашимъ указать дурную сторону русскаго дворянина и хорошую — его двороваго человѣка. Государь императоръ удивляется какъ можетъ человекъ, столь просвѣщенный и обладающій такимъ хорошимъ перомъ, какъ вы, м. г., убивать время на занятія, васъ недостойныя, и на составленіе статей, до такой степени ничтожныхъ.

«Хотя романъ вашъ вы почерпнули изъ дѣиій Петра Великаго, но предметъ, вами описанный, въ анекдотѣ составляя прекрасную черту великаго государя, въ нашемъ сочиненіи совершенно неслаженъ неумѣстными выраженіями и получилъ совершенно другое направленіе. Желаніе ваше непрерывно выписывать добродѣтель податнаго состоянія и пороки высшаго класса людей не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій, а потому не благоутробно-ли вамъ будетъ на будущее время воздержаться отъ

печатанія статей, противныхъ духу времени и правительству, дабы тѣмъ избѣжать взысканія, которому вы, при меньшей какъ нынѣ снисходительности, подвергнуться можете».

Кукольникъ, конечно, страшно перетрусился и послалъ гр. Бенкендорфу отвѣтъ, исполненный, безъ сомнѣнія, подобострастной покорности и раскаянія, а вотъ 30 января послѣдовало новое письмо отъ графа Бенкендорфа въ мягкомъ и успокоительномъ тонѣ:

«М. г. Несторъ Васильевичъ, писалъ гр. Бенкендорфъ: получивъ письмо ваше, отъ 27 сего января, снѣшу успокоить васъ, м. г., что изъ памяти государя императора совершенно изгладилось то впечатлѣніе, которое произведено было повѣстью вашею «Сержантъ Ивановъ», и въ мысляхъ его величества не осталось противъ васъ ни малѣйшаго гнѣва; если-же вамъ и сообщено было о замѣченныхъ недостаткахъ въ вашей повѣсти, то единственно потому, что его величество, памятуя все другія произведенія ваши по части литературы, былъ нѣсколько озабоченъ тѣмъ, что въ повѣсти вашей встрѣчаются мѣста, не вполне достойныя пера вашего, и его императорское величество соизволило замѣтить это именно потому, что считаетъ васъ въ числѣ отличныхъ писателей, всегда ожидавъ отъ васъ произведеній, равныхъ вашему таланту, и что въ трудахъ своихъ можете приносить пользу и честь нашей литературѣ».

За то Вѣлинскій отозвался о повѣсти Кукольника весьма сочувственно.

«Нѣкоторымъ людямъ, — говоритъ онъ: — почему-то называющимъ себя литераторами (должно быть потому, что извѣстная часть публики называетъ ихъ сочинителями), вздумалось, разумеется, не безъ цѣли, утверждать, что «Отечественныя Записки» хвалятъ только своихъ сотрудниковъ (почитая въ ихъ числѣ Карамзина, Ватюшкова, Грибоедова, Пушкина и Гоголя), и никогда не похваляютъ, напрямѣръ, Кукольника, что бы онъ ни написалъ и какъ бы хорошо ни написалъ. Советъ не для разубѣренія этихъ «господъ-сочинителей» — мы не хотимъ имѣть съ ними никакихъ дѣлъ, ни увѣрительныхъ, ни разубѣрительныхъ, — а въ уваженіе священныхъ правъ истины и безпристрастія, мы должны сказать, что романъ г. Кукольника «Иванъ Ивановичъ Ивановъ», болѣе чѣмъ хорошъ — прекрасенъ. Правда, это не что иное, какъ извѣстный анекдотъ изъ времени Петра Великаго; но авторъ такъ хорошо, ловко и умно съумѣлъ разсказать этотъ анекдотъ, что сдѣлать его лучше многихъ, даже своихъ собственныхъ повѣстей и драмъ. Онъ ввелъ насъ въ бытъ того времени; его разсказъ согрѣлъ душевнѣемъ, полонъ идея, отличается мастерствомъ изложенія» и т. д.

Вторымъ произведеніемъ Кукольника, затрогивающимъ крѣпостное право, является уже не повѣсть, а цѣлый романъ, изданный имъ въ 1846 г., подъ заглавіемъ «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова». Героиня этого романа является личность, во многомъ напоминающая Володю Ландышева; таковы Иванъ Степанычъ Костыльковъ. Подобно Ландышеву, онъ живетъ въ деревнѣ, обруженный конохами и псарями, растлѣвается крѣпостныхъ дѣвушекъ и прачетса отъ царской службы до послѣдней возможности. Когда-же прятаться болѣе дѣлается невозможнымъ, онъ посылаетъ вѣсто себя въ Петербургъ нѣкоего проживавшаго у него бѣднаго дворянина Ивана Степановича Полозкова, снабдивъ его своими документами. Явившись на службу подъ видомъ Костылькова, Полозковъ такъ втягивается въ роль сво-

его двойника, что начинает распоряжаться имѣніемъ его, какъ своимъ собственнымъ, и Костыльковъ, видя себя кругомъ одуроченнымъ, ограбленнымъ, не съѣсть и заявить о своихъ владѣльческихъ правахъ, шаче ему грозятъ страшныя уголовныя кары. Такова канва, по которой Кукольникъ расшилъ свои узоры.

Къ сожалѣнію, онъ не сумѣлъ воспользоваться подобными богатѣмъ сюжетомъ, какъ бы слѣдовало. По ходу его было-бы вполнѣ естественно въ лицѣ Полозкова представить продурившаго плута, который ловко воспользовался отщепенствомъ барина отъ службы и, уловивъ его въ сѣти самозванства, завладѣлъ его имѣніемъ, предоставивъ барину пользоваться свободою отъ службы подъ фамиліею Полозкова. Кукольникъ же въ лицѣ Полозкова вывелъ мелодраматическаго героя-мстителя. Оказывается, что отецъ Костылькова былъ страшный тиранъ и хищникъ; въ эпоху стрѣльцкихъ смуть, онъ оттиралъ имѣнія у всѣхъ своихъ мелкопомѣстныхъ сосѣдей, и между прочимъ разорилъ и довелъ до могилы сосѣда помещика Полозкова; имѣніемъ его завладѣлъ, а дѣтей, мальчика и дѣвочку, привезъ къ себѣ, причемъ никто не зналъ, чьи они дѣти. Мальчикъ былъ помещенъ върѣшилъ слугою Полозкова-отца и увезенъ въ Москву; дѣвочка-же выросла въ дѣвчьемъ Костылькова - сына, и тотъ насильно сдѣлалъ ее своею наложницею. Полозковъ явился, такимъ образомъ, истителемъ за своего отца и сестру, которую онъ увезъ изъ Костыльковки и выдалъ замужъ за одного знакомаго офицера, а самъ поѣхалъ въ Москву и въ Петербургъ во образѣ Костылькова.

Какъ мелодраматическій герой, онъ, конечно ужь, надѣленъ всевозможными совершенствами: и добръ, и великодушнень, и храбръ, и мудръ, какъ змій, и все ему отлично удается.

Едва прѣзжаетъ онъ въ Москву, является къ стольнику Колычову, принимавшему дѣтей дворянскихъ въ службу, и тотчасъ-же исполняетъ нѣсколько полицейскихъ подвиговъ. Такъ, на Спасскомъ мосту онъ увидѣлъ кликушу, смущавшую народъ пресудительными пророчествами, и избилъ ее въ глазахъ оберъ-полиціймейстера. Въ рекрутскомъ присутствіи при приемѣ дворянъ онъ избилъ одного барчука, который, желая вернуться отъ службы, выставилъ за себя идіотика, безсмысленно повторявшаго рѣчи начальства. Наконецъ, онъ раскрылъ цѣлое скопище раскольниковъ, занимавшихся распусканіемъ въ народѣ пасквилей на Петра и ложныхъ слуховъ ко вреду правительства, вторгся въ это скопище одинъ самолично, и не только его тамъ не убили, но онъ всѣхъ перевязалъ, отвелъ въ харчевню на Живодерномъ мосту, гдѣ брадобрѣи всѣхъ ихъ обкарали, въ то время, какъ самъ Иванъ Степанъ члѣкъ поросенка, и затѣмъ обрѣтыхъ представилъ оберъ-полиціймейстеру.

— Послушай, братецъ! сказала начальникъ полиціи: не хочешь-ли, а тебя короннымъ бурмистромъ сдѣлаю?

— Государь-генералъ! Вы сражались и честь добыли, за что же вы хотите изъ меня сыщика сдѣлать?

— Да вѣдь ты самъ...

— Я чиню это по долгу совѣсти, потому что, зря

зло, молчать не могу, и по охотѣ на воровъ тѣшусь, а изъ найма на такую службу не пойду. Тутъ есть разница...

Замѣчательно, что едва Иванъ Степановичъ прѣзжаетъ въ Петербургъ, является къ Девиеру, и тотъ, въ свою очередь, сей часъ-же возлагаетъ на него полицейское порученіе: отправиться въ адмиралтейскую фортецію, взять оттуда команду, арестовать съ этою командою князя Матвѣя Петровича Гагарина и отвезти его въ адмиралтейскую крѣпость для сдачи на руки коменданту.

Но всѣ эти полицейскіе подвиги героя нисколько не выручаютъ романа, и чтеніе его вслѣдствіе крайней растлупотости, неуклюжести, а мѣстами и неправдоподобія нагоняетъ на читателя одуряющую скуку.

## IX.

Биографическія свѣдѣнія о Булгаринѣ до изданія имъ романовъ. «Иванъ Выжигинъ», «Петръ Выжигинъ», «Дмитрій Самозванецъ», «Мазепа». — «Блѣтва при гробѣ Господнемъ» Н. Ал. Полеваго. — Романы Масальскаго и Ол. Шницелной. — Заключение.

При той всеобщей эпидеміи историческихъ романовъ, какая овладѣла всею литературою въ 30-е годы и при тѣхъ матеріальныхъ благахъ, какія успѣли снискать эти романами нѣкоторые счастливыя, могъ-ли устоять Оаддѣй Венедиктовичъ Булгаринъ и въ свою очередь не закинуть удочки въ этотъ заманчивый прудъ на ловлю золотой рыбки? Казалось, что ему, болѣе чѣмъ кому либо другому, свойственно писать историческіе романы, такъ какъ раньше выступленія на литературное поприще онъ самъ очень энергично занимался дѣланіемъ исторіи.

Мы не намѣрены подробно останавливаться на характеристикѣ этой личности, о которой не мало уже было писано въ нашей литературѣ, личности въ достаточной мѣрѣ известной читающему люду, и ограничимся лишь тѣми биографическими чертами, которыя предшествовали выступленію Булгарина на поприще историческаго романа.

Булгаринъ родился 24 іюня 1789 г. (въ Виленской или Минской губерніи); отецъ его, известный въ округѣ своемъ подъ псевдомъ шальнаго Булгарина, убилъ русскаго генерала Воронова и былъ сосланъ въ Сибирь. Мать его послѣ ссылки мужа переселилась въ Петербургъ и отдала сына въ Сухопутный кадетскій корпусъ, гдѣ Оаддѣй оказалъ большія способности. По экзамену слѣдовало бы ему выйти въ артиллерию или въ генеральскій штабъ, но цесаревичъ Константинъ Павловичъ, по особенному благоволенію къ полякамъ, взялъ его въ уланскій полкъ, и онъ участвовалъ въ походахъ 1805, 1806 и 1809 годовъ, причемъ былъ сильно раненъ въ животъ при Фриландѣ и лежалъ нѣсколько недѣль въ кенгсбергскомъ лазаретѣ.

По возвращеніи гвардіи въ Петербургъ, Булгаринъ началъ вести такую же распусканную и полную кутежей жизнь, какую вели въ то время всѣ гвардейцы, и навлекъ гнѣвъ Константина Павловича, кото-

рый встрѣтилъ его въ Петербургѣ въ костюмѣ амура въ то самое время, когда онъ былъ дежурнымъ по эскадрону въ Стрѣльцѣ. Но Булгаринъ и послѣ этого не унижался, написалъ даже сатиру на князя, за что былъ посаженъ на три мѣсяца въ крепостадскую вѣрность и переведенъ въ какой-то армейскій драгунскій полкъ, находившійся въ войскахъ, дѣйствовавшихъ въ Финляндіи. Здѣсь онъ тоже не замедлилъ навлечь гнѣвъ начальства: его послали арестовать какого-то сельскаго пастора, отличившагося своими партизанскими дѣйствіями противъ русскихъ войскъ и подлежащаго за это разстрѣлянію: онъ же помогъ пастору скрыться. Это происшествіе сдѣлалось известнымъ въ Финляндіи и въ Швеціи. По заключеніи мира, явилась въ Стокгольмѣ гравюра съ изображеніемъ этого случая и съ надписью: „Великодушіе русскаго офицера“. Въ бытность Булгарина въ Швеціи въ 1838 г. пригласилъ его къ обѣду одинъ почтенный и богатый человѣкъ. Гостей было множество. Булгаринъ, сѣвши за столъ, увидѣлъ передъ собою гравированную картину. Всѣ пили съ восторгомъ за его здоровье.

Это не прошло Булгарину даромъ, и вотъ мы видимъ, что по окончаніи войны, онъ, „будучи подпоручикомъ, 20-го мая 1811 г. отставленъ отъ службы, по худой аттестаціи въ кандидатныхъ спискахъ“.

Тогда онъ отправился въ Варшаву и вступилъ въ одинъ сформированный французами уланскій полкъ рядовымъ. Многие смотрѣли на этотъ поступокъ Булгарина, какъ на измѣну. Товарищъ его по корпусу, полковникъ Петръ Ивановичъ Кошкуль, встрѣтя впоследствии Булгарина въ числѣ плѣнныхъ французовъ, обозвалъ его подлецомъ. Но нужно принять въ соображеніе предшествовавшіе неудачи его въ русской службѣ, а также и то, что когда онъ поступилъ во французскую службу, Франція съ Россіей была еще въ самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ, и тотчасъ-же по вступленіи своемъ въ ряды польскихъ улановъ, Булгаринъ былъ посланъ въ Испанію. Въ 1812 году онъ находился въ корпусѣ маршала Удино, дѣйствовавшаго въ Литвѣ и въ Вѣлоруссіи противъ графа Витгенштейна. Въ 1813 году участвовалъ въ сраженіи при Бауценѣ; въ сраженіи при Кульмѣ онъ былъ въ эскадронѣ польскихъ уланъ, который пробился сквозь корпусъ прусскаго генерала Клейста. Въ 1814 году, во Франціи, онъ былъ взятъ въ плѣнъ прусскими партизаномъ Воломбомъ и отправленъ въ Пруссію, а потому плѣнныхъ привели въ Россію. По окончаніи войны ихъ размѣняли и полкиамъ объявили безусловную амнистию. Булгаринъ, съ другими освобожденными полкаками, явился въ Варшавѣ къ цесаревичу. Константинъ Павловичъ принялъ его ласково и, указавъ на прежнихъ товарищей его, Жандра, Албрехта и пр., въ звѣздахъ и лентахъ, сказалъ:

— И ты былъ-бы теперь генераломъ, если-бы остался у меня.

— Ваше высочество!—отвѣчалъ Булгаринъ,—я служилъ моему отечеству.

— Хорошо, хорошо!—возразилъ великій князь,—теперь послужи мнѣ!

Цесаревичъ предложилъ Булгарину хорошее мѣсто, но тотъ отказался, объявивъ, что долженъ вѣхать къ

матери и привести въ порядокъ разстроенное свое имѣніе. Онъ, дѣйствительно, посѣтилъ мать и возобновилъ знакомство съ своими родственниками. Дядя его, Павелъ Булгаринъ, полюбивъ Фаддѣя за живой характеръ, умъ и находчивость, поручилъ ему вести процессъ съ родственникомъ, графомъ Тышкевичемъ и Парчевскимъ. Дѣло шло объ восьми тысячахъ душъ. Булгарину за ходатайство обѣщано было пять процентовъ, т. е. четыреста душъ. Процессъ производился въ сенатѣ, и новый ходатай отправился въ С.-Петербургъ.

Вотъ здѣсь-то и началась та нравственная порча, которая въ какии-нибудь пять лѣтъ сдѣлала Булгарина неузнаваемымъ. Гречъ въ своихъ запискахъ приписываетъ эту порчу, главнымъ образомъ, занятію Булгарина сутажничествомъ по веденію процесса. „Мнѣ кажется,—говоритъ онъ,—что занятія этии процессомъ, сопряженныя съ уловками и продѣлками, которыя не всегда оправдываются законами чести и долга, имѣли вредное вліяніе на развитіе его понятій и характера. Для достиженія своей цѣли, онъ употреблялъ всѣвозможныя средства: съ утра до вечера таскался по сенаторскимъ и оберъ-прокурорскимъ переднимъ, навѣщалъ секретарей и стражничъ, кормилъ и подкупалъ ихъ, привозилъ игрушки и лакомства ихъ дѣтямъ, подарки женамъ и любовницамъ“ и т. д.

Если все это и такъ, то къ этому слѣдуетъ прибавить, что, конечно, Булгаринъ отъ природы былъ крайне неустойчивъ и легкомысленъ въ нравственномъ отношеніи и не обладалъ твердымъ нравственнымъ закономъ, иначе не пошелъ-бы онъ и сутажничать. Въ то-же время не мѣшаетъ принять въ соображеніе и растлѣвающее вліяніе на него самого Н. И. Греча, особенно съ тѣхъ поръ, какъ начали они издавать „Сѣверную Пчелу“. По крайней мѣрѣ, на 450 стр. своихъ записокъ Гречъ самъ намекаетъ на это, говоря о томъ, какъ ему приходилось удерживать сарматскіе порывы Булгарина. Среди хлопотъ по процессу, началъ Булгаринъ порою и пописывать. Такъ онъ вздумалъ издать „Оды Горация“ съ комментаріями Ежекскаго и другихъ критиковъ, но зная плохо латинскій языкъ, обратился къ помощи какого-то родственника Греча. Ежекскій и нѣкоторые латинисты жаловались на заимствованіе ихъ прихвачаній, но Булгаринъ оправдывался тѣмъ, что упомянулъ объ этихъ заимствованіяхъ въ своемъ предисловіи. Въ то-же время онъ втерся къ Магницкому и Руничу и старался, при ихъ помощи, ввести эту книгу въ учебна, но обѣщанія ихъ ограничились словами. Книга не раскуналась, и Булгаринъ рѣшился пожертвовать ее въ пользу училищъ.

Затѣмъ онъ занялся русскою исторіею, избравъ для этого періодъ самозванцевъ, причемъ пользовался польскими источниками. Героинею его была Маріа Мишкевъ, и въ маѣ 1823 года на публичномъ чтеніи Общества Соревнователей Просвѣщенія и Благотворительности онъ читалъ, между прочимъ, отрывки изъ біографіи Маринны Мишкевъ, но потерпѣлъ полное фiasco.

Въ то-же время онъ началъ издавать „Сѣверный Архивъ“, въ которомъ помѣщалъ разные историче-

скіе матеріалы, но впадалъ въ страшныя промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ собственныя имена, сибивалъ событія. Желая придать сухому журналу болѣе интереса для читающей публики, онъ издумалъ издавать при немъ особые листки, подъ заглавіемъ „Волшебный фонарь“, и тутъ впервые онъ испыталъ себя въ сатирическомъ родѣ; это ему пришлось по вкусу, онъ замѣтилъ относительный успѣхъ въ публикѣ его сатирическихъ и историческихъ очерковъ, и оставивъ ученую литературу, весь отдался беллетристикѣ и газетнымъ статьямъ въ „Сѣверной Пчелѣ“, которую началъ издавать вмѣстѣ съ Гречемъ съ 1825 года, при чемъ и при этомъ случаѣ Булгаринъ не замедлилъ выказать главную черту своего характера—способность всюду втираться и пользоваться какими бы то ни было обстоятельствами.

Затѣмъ, черезъ четыре года, въ 1829 году, онъ дебютируетъ первымъ своимъ романомъ „Иванъ Выжигинъ“. Романъ этотъ, собственно говоря, не входитъ въ наше разсмотрѣніе, такъ какъ онъ нравственно-сатирической, а не исторической. Но мы не можемъ удержаться и не сказать нѣсколько словъ о главномъ героѣ его, Иванѣ Выжигинѣ, такъ какъ герой этотъ, подобно тому, какъ и всѣ романическіе герои, отлично рисуется передъ нами нравственный міръ самого автора, свидѣтельствуя о его идеалахъ.

Правда, что Булгаринъ, въ своемъ предисловіи къ роману (въ видѣ письма къ его превосходительству Арсенію Андреевичу Захревскому) смотритъ на своего героя объективно и самъ сознается, что онъ вовсе не желалъ представить его совершенствомъ.

«По правиламъ,—говоритъ онъ,—надобно, чтобы герой романа дѣйствовалъ, какъ баярдъ, говорилъ сентенціями, какъ ораторъ, и представлялъ собою образецъ челоѣвческаго совершенства и скуки. Когда сочиненіе мое было почти готово, я получалъ книжку прекраснаго французскаго журнала «Revue Britannique» (№ 29, 1827) и къ удовольствію моему нашелъ статью, подъ заглавіемъ «Очило герои романовъ такъ притормозить?» Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ авторъ говоритъ: «Отъ совершенства, въ которомъ ихъ представляютъ. Это ангелы, а не люди». Далѣе говоритъ авторъ: «намъ представляютъ героевъ романа какими-то театральными божеествами, и отъ того они также холодны. Многие думаютъ, что представить ихъ слабыми, нерѣшительными, подвластными обстоятельствамъ, значитъ унижить ихъ. Но мы люди, мы имѣемъ слабости, и потому самыя недостатки челоѣвчества занимаютъ и трогаютъ насъ болѣе». Таковъ былъ и есть мой образъ мыслей на счетъ героевъ романа. *Мой Выжигинъ есть существо доброе отъ природы, но слабое въ минуты заблужденія, подвластное обстоятельствамъ—однимъ словомъ: челоѣвъ; какъ-ли мы видимъ въ свѣтѣ много и часто. Такимъ образомъ я изобразилъ его. Прочитавъ его жизни такого рода, что могли-бы случиться со всякимъ, безъ прибавленія вымысла.*

Этими словами Булгаринъ, очевидно, желаетъ дать намъ понять, что герой его не идеальное совершенство, а обыкновенный смертный, каковы всѣ мы, какииъ сознавалъ себя и самъ авторъ. Посмотрите-же теперь, каковъ этотъ герой и каковы происшествія его жизни, могшия случиться со всякимъ.

Незаконнорожденный сынъ князя Милославскаго, прижитый имъ съ крестьянкою, Иванъ Выжигинъ послѣ разныхъ невообразимыхъ мтарствъ, попалъ

вдругъ въ плѣнъ къ киргизамъ; затѣмъ, сойдясь съ ними и свыкшись съ ихъ жизнью, ходилъ съ ними на разбой, и по дѣлежѣ добычи на его долю достались разные товары, которые по ликвидаціи очистили ему около сорока тысячъ рублей. Приѣхавъ съ этими деньгами въ Москву, онъ втерся въ большой свѣтъ, подъ личиною вго-западнаго польскаго дворянина, и въ такомъ самозванномъ видѣ началъ промышлять карточною игрою.

«Я игралъ честно,—разсказываетъ онъ,—въ коммерческія игры, но игралъ искусно, хладнокровно, внимательно; садился играть на большія деньги, и всегда почти выигрывалъ. Не имѣлъ никакого понятія объ игорномъ плутовствѣ, я однимъ счастьемъ разрушалъ всѣ заговоры, составляемые противъ меня игроками. Когда играли въ банкъ, я внезапно ставилъ нѣсколько картъ въ серединѣ таиш: выигрывалъ, бралъ деньги и уѣзжалъ домой. Проигрывалъ, а не продолжалъ игры, и никогда не отыгрывался. Не будучи привязанъ ни къ игрѣ, ни къ деньгамъ, я игралъ, какъ говорится, расчистого, и какъ счастье мнѣ благоприятствовало, то я, не будучи игрокомъ, жилъ игрою. Въ два года я выигралъ около двадцати пяти тысячъ рублей наличными деньгами, а въ долгу у меня было по крайней мѣрѣ столько-же...»

Но онъ не могъ остановиться на одномъ подобнаго рода честномъ шулерствѣ, такъ какъ связь его съ одною актрисою требовала громадныхъ расходовъ, и вотъ онъ сошелся съ настоящими шулерами, и въ домѣ своей любовницы открылъ игорный домъ съ цѣлью обыгрывать наивѣрнака. Это не помѣшало ему выйти сухому изъ воды, когда шулера были захвачены полиціею, и въ концѣ-концовъ, выигравъ процессъ у своихъ родственниковъ, сдѣлавшись очень богатымъ и женившись на любимой дѣвушкѣ, какъ и подобаетъ герою, въ заключеніе онъ восклицаетъ съ совершенно чистою совѣстью: «испытавъ многое въ жизни, бывъ слугою и господиномъ, подчиненнымъ и начальникомъ, киргизскимъ наѣздникомъ и русскимъ воиномъ, дѣвнцемъ и дѣльцомъ, мотомъ, игрокомъ по слабости, а не по страсти, испытавъ людей въ счастьи и несчастіи,—я удалился отъ свѣта, но не погасилъ въ сердцѣ своемъ любви къ челоѣвчеству».

Вотъ къ какимъ поступкамъ считалъ Булгаринъ способными людей средняго уровня нравственности, къ которымъ причислялъ и себя.

Какъ-бы-то ни было, по роману Булгарина имѣлъ такой большой успѣхъ, что въ два года разошлось его до сени тысячь экземпляровъ. Видя успѣхъ „Ивана Выжигина“, книгопродавецъ Алексѣй Зайкинъ заказалъ Булгарину „Петра Выжигина“, но послѣдній, изданный въ 1831 году, далеко уже не имѣлъ такого успѣха, и это очень понятно.

Романъ „Иванъ Выжигинъ“ былъ прочтенъ публикою, подобно и „Юрію Милославскому“, изданному въ толь-же году, какъ сказка. Но въ „Петрѣ Выжигинѣ“, выступивъ впервые на поприще историческаго романа, Булгаринъ имѣлъ дѣло съ событіемъ, только-что совершившимся и бывшимъ въ памяти у всѣхъ современниковъ, и къ тому-же ему пришлось конкурировать съ Загоскинымъ; и если „Рославлеву“ Загоскина не имѣлъ, какъ мы видѣли, успѣха, то могли ли ожидать его „Петръ Выжигинъ“, романъ во всѣхъ отношеніяхъ услужливый „Рославлеву“?

Къ тому-же романъ поражаетъ бѣдностью именно того, чѣмъ онъ долженъ-бы быть богатъ: историческимъ своимъ содержаніемъ. Казалось-бы, что отъ Булгарина, какъ очевидно и участника во всѣхъ наполеоновскихъ войнахъ, начиная съ 1805 и кончая 1814 годомъ, и притомъ такого разносторонняго очевидца и участника, который сначала дрался въ рядахъ русскихъ войскъ, а потомъ французскихъ,—можно было-бы ожидать хотя сколько-нибудь интересныхъ свѣдѣній и картинъ, а между тѣмъ ничего не находите вы, кромѣ самыхъ общихъ дубочныхъ красокъ, какими наполнены всѣ романы того времени, изображавшіе войну 1812 года. Одно развѣ, что оставаллвается ваше вниманіе, это сцена во время бѣгства изъ Москвы, до нѣкоторой степени напоминающая подобную-же сцену въ романѣ „Война и миръ“ гр. Л. Толстого,—именно ту—когда Ростовы, уѣзжая изъ Москвы, жертвуютъ для раненыхъ свои подводы, на которыхъ они наѣзжались перевезти свои вещи. Но конечно, между гр. Л. Толстымъ и Булгаринимъ, въ изображеніи подобнаго эпизода, лежитъ цѣлая пропасть. У гр. Л. Толстого добродушный Ростовъ самъ жертвуетъ свои подводы по энергическому настоянію Наташи, и здѣсь передъ вами раскрывается одна изъ тѣхъ высокихъ человѣческихъ чертъ, какія таются въ глубинѣ многихъ людей, повидимому, совершенно обыкновенныхъ и маленькихъ, и обнаруживаются въ какия-нибудь роковыя и рѣшительныя минуты. У Булгарина-же все это изображено въ грубо-сатирическомъ видѣ. Представляется бѣгство изъ Москвы двухъ совершенно офранцузившихся русскихъ семействъ, князя Курдюкова и графа Хохленкова. Петръ Выжигинъ силою заставляеть ихъ опростать для раненыхъ свои подводы, нагруженные различными предметами роскоши; двухъ-же французовъ, друзей дома, сидѣвшихъ въ каретѣ съ господами, пересаживаетъ на запятки. Графъ Хохленковъ при этомъ насилу упрашиваетъ Выжигина пощадить статую Венеры съ купидономъ. „Я не отъ того,—говоритъ онъ,—привязанъ къ моей Венерѣ, что она совершенство искусства, но отъ того, что всѣ иностранцы, всѣ путешественники за долгъ поставляли себѣ быть у меня, чтобъ взглянуть на сіе рѣдкое произведеніе искусства, которое тещъ мой выписалъ, за весьма дорогую цѣну, изъ Италіи. Эта Венера и этотъ Купидонъ были точкою соединенія для всѣхъ иностранцевъ, предметомъ къ разговорамъ. Венера прославила мое имя! Обо мнѣ писали въ иностранныхъ журналахъ! Ахъ, скажитесь надо мною и возвратите мнѣ Венеру съ сыномъ ея!..“

Когда-же раненые были разбѣжены на подводахъ графа и князя, Выжигинъ обратился къ нимъ съ такою рѣчью: — „Ребята! поблагодарите ихъ сіятельства за милость! Они добровольно пожертвовали своимъ добромъ, чтобъ только пособить вамъ. А вотъ они-же велѣли дать вамъ денегъ.“ Выжигинъ вынулъ изъ собственнаго бумажника пунѣ ассигнацій и далъ унтеръ-офицеру, чтобъ онъ раздѣлилъ ихъ между ранеными отъ ялепи графа Хохленкова и князя Курдюкова. Солдаты огласили воздухъ восклицаніями: „Ура! Да здравствуютъ ихъ сіятельства!“ Выжигинъ велѣлъ двинуться каретамъ и повозкамъ:

онъ ѣхалъ впереди и очищалъ дорогу. Князь Курдюковъ непрерывно повторялъ: „вольподумство! вольподумство!“ Графъ Хохленковъ молчалъ и составлялъ прозектъ отпущенія, а между тѣмъ графиня обременяла его упреками за то, что онъ не умѣлъ употребить силы, для обузданія Выжигина. Княгиня Курдюкова и княжна Полина безпрестанно выглядывали изъ оконъ кареты, и угѣшали двухъ друзей дома, французовъ, которые помѣстились на запяткахъ и шутили остроумно насчетъ своего перемѣщенія“.

Вотъ и все, что только мы можемъ найти въ романѣ хоть сколько-нибудь характернаго. Что-же касается до любовной интриги, то она поражаетъ насъ своими крайними натяжками и тѣмъ-же вычурами, къ какимъ въ то время обыкновенно прибѣгали для увлеченія читателя. Довольно сказать, что жезла героини свою Лизу, дочь бѣднаго подьячаго, сдѣлать богатою и посему достойною руки столь доблестнаго героя, какъ Петръ Выжигинъ, Булгаринъ заставляетъ нѣкоего великодушнаго полковника Ярославскаго жениться на ней на смертномъ одрѣ нарочно для того, чтобы передать ей свое богатство.

Еще меньшій успѣхъ имѣли два другіе историческіе романа Булгарина, „Дмитрій Самозванецъ“, изданный въ 1830 году, и „Мазепа“—въ 1834 году. Въ этихъ романахъ Булгаринъ еще болѣе поражаетъ своихъ читателей грубостью чисто дубочнаго письма и кровавымъ мелодраматизмомъ, выходящимъ изъ всѣхъ предѣловъ. Какъ Дмитрій, такъ и Мазепа являются, конечно, ужъ самыми мрачными злодѣями, только что не питающимися человѣчьимъ мясомъ. Дмитрію ничего не стоило схватить за шиворотъ любимую и преданную ему дѣвушку и хладнокровно швырнуть ее въ Днѣпръ; но она выплыла и потомъ до самой смерти преслѣдовала его своею нестною, а когда онъ былъ убитъ, „въ толпѣ народнои раздался хохотъ, всѣ съ ужасомъ оборотились въ ту сторону, и увидали женщину, блѣдную, съ блуждающими взорами. Она срывала съ головы повязку и фату и пощипала ихъ ногами; захотѣла въ другой разъ, страшно взглянула на небо, упала безъ чувствъ,—и тотчасъ-же скончалась“...

Мазепа-же, отъ первой страницы до послѣдней, положительно кушается въ крови, умирая-же, говорить духовнику: „я грѣшенъ противъ всѣхъ десяти заповѣдей, отъ первой до послѣдней... Въ мечтахъ суетнаго мудрствованія я даже отвергалъ бытіе Бога и истину искупленія... Я игралъ клятвами... Не щадилъ крови человѣческой... Ругался надъ добродѣтью и цѣлоудіемъ... Я измѣнникъ“!..

Весь историко-философскій взглядъ Булгарина на эпоху междупарствія исчерпывается слѣдующимъ изреченіемъ его предисловія:

„Быть можетъ, найдутся люди, которые, судя по нынѣшнему, найдутъ, что предки ихъ были самымъ непросвѣщенными. Правда, они были необразованными, но умны, смѣтливы и знали все, чего требовалъ отъ нихъ духъ времени и тогдашній порядокъ вещей. Нынѣшній политическій и историческій идеи вовсе были чужды русскимъ тогдашняго времени. Вся политическая добродѣтель состояла тогда въ безпредѣльной, безпрекословной преданности царю, къ православной вѣрѣ и къ отечеству; премудрость—въ точномъ исполненіи царской воли. И



вотъ разгадка тайны, почему у всѣхъ руки опустились, когда самозванецъ объявился, что онъ истинный царскій сынъ, законный наследникъ престола! Некоторые историки, слѣдуя современнымъ лѣтописцамъ, принимаютъ успѣхъ самозванца порочности тогдашнихъ нравовъ. Это мнѣніе кажется мнѣ несправедливымъ. Отъ сотворенія міра всѣ люди кажутся на испорченность нравовъ настоящаго покаянія, какъ-то дѣлали и лѣтописцы наши XVI и XVII вѣковъ. Правда, возвышеніе Годунова, къ блуду царскаго рода, возбуждало негодованіе, зады и несогласіе между боярами, что и было также косвенною причиною успѣха Лжедмитрія. Но главная причина была привязанность народа къ царскому племени. Она сдѣлала всѣ чудеса и такъ, русскій народъ достоинъ похвалы, а не хулы, за приверженность къ тому, котораго почиталъ государемъ законнымъ.

До какой-же степени простирается смѣлость Булгарина, съ которою онъ играетъ историческими лицами, какъ пѣшкани, сблизая и отдѣляя ихъ другъ отъ друга, какъ ему вздумается, мы можемъ судить по тому, что ему ничего не стоило заставить Дмитрія (Фурьева) явиться къ царю Борису во дворецъ и бесѣдовать сначала съ дочерью его Ксеною, а потомъ съ самимъ царемъ. Оказывается, что къ царевичу Ксеніи онъ питалъ нѣжную страсть задолго до своего самозванства, и вотъ движимый этою страстію, онъ являлся во дворецъ Бориса подъ личиною инока острожскаго монастыря, проникаетъ въ ея опочивальню, подъ предлогомъ леченія ея болѣзни, и толкуетъ видѣнный ею сонъ, дѣлая слѣдующій предсказаніе:

«Сонъ твой предвѣщаетъ блистательную участь, славіишшую и завиднѣйшую участи цѣлаго твоего семейства. Будутъ вѣсти страшныя, наступитъ время дѣлъ великихъ, будетъ кровопролитіе въ землѣ православнои: но ты, царевна, останешься невредимою. Ты будешь женою могучаго владыки и въ мнѣніи царскомъ, въ любви супружеской, въ нѣжности материнской забудешь терновый путь, по которому достигнешь до послѣдней ступени земнаго счастья и величія. Утѣшься, царевна, и вѣри мнѣ; вѣри, что никакое зло не коснется тебя, и что ни одна царевна не будетъ такъ возведена, какъ ты, Ксенія Борисовна!»

Вслѣдъ за тѣмъ онъ отправляется къ царю Борису и, въ свою очередь, толкуетъ ему видѣнный сонъ.

— Не правда-ли, отецъ Григорій, что сонъ ужасный!

— Ужасенъ, и если позволите сказать, не предвѣщаетъ добраго, отвѣчалъ монахъ.

— Говори, говори все, что ты думаешь, сказалъ царь: не бойся ничего: думай вслухъ передо мною.

— Государь! великое бѣдствіе угрожаетъ роду твоему, и болѣе всѣхъ—тебѣ!

— А Россія? спросилъ государь, прервавъ слова монаха.

— Россія! сказалъ монахъ изадумався. Россія, продолжалъ онъ медленно: также претерпитъ бѣдствіе, но она велика, и какъ адамантъ въ огнѣ, очистится въ смутахъ. Господь Богъ не попуститъ, чтобъ заглохла послѣдняя града, на которую порезано съ Востока животноное древо православія. Онъ не разгонитъ послѣдняго стада избранныхъ агнцевъ и не дастъ ихъ на съдѣніе лютымъ полкамъ. Монахъ остановился и, помолчавъ, продолжалъ: «но онъ можетъ переменить вертоградара, можетъ избрать избранное стадо другому пастарю...»

Мы не намѣрены входить въ подробный разборъ всѣхъ тѣхъ остальныхъ романовъ, которые обозначены въ заглавіи настоящей главы, такъ какъ считаемъ это дѣло совершенно лишнимъ; все это такая безцвѣтная труха, въ которой сколько ни роиска, ни-

чего не найдешь, даже хотя-бы чего-либо курьезнаго съ цѣлію посмѣяться. Мы потому только и обозначили эти романы, что одни изъ нихъ не совсѣмъ еще забыты и нѣкоторые удостоились даже новыхъ изданій въ весьма недавнее время („Клятва при гробѣ Господнемъ“ Н. А. Полевого и „Стрѣльцы“ П. П. Массальскаго), другіе-же, именно романы О. Шишкиной, имѣютъ лишь тотъ интересъ, что написаны велико-свѣтской женщиной. Обо всемъ этомъ хвалѣ достаточно будетъ сказать нѣсколько словъ.

Такъ, „Клятва при гробѣ Господнемъ“ показываетъ только одно: именно, что Н. А. Полевой совсѣмъ не былъ рожденъ беллетристомъ, и лучший критикъ сороковыхъ годовъ, какъ нельзя болѣе нѣтко и остроумно опредѣлили достоинство этого романа, сказавши о немъ, что въ немъ „видно много ума, но мало фантазіи, видно усиліе, но не видно вдохновенія“.

Собственно говоря, если хотите, это даже и не романъ, не какое-либо иное художественное произведеніе, а просто историческій трактатъ, изложенный въ видѣ разговоровъ между собою нѣсколькихъ историческихъ личностей о современныхъ имъ событіяхъ. Среди этихъ разговоровъ, надо признаться, нѣстами беззаконно длинныхъ, вялыхъ и скучныхъ, вы встрѣтите и выдержки изъ лѣтописей, и сказки, приведенныя въ цѣломъ видѣ, и археологическія описанія. Все это и въ свое время было нестерпимо скучно, а нынѣ совершенно неодолимо.

Впрочемъ самъ Н. А. Полевой назвалъ свою „Клятву“ не романомъ, а „русскою былью XV-го вѣка“; хотя въ послѣсловіи онъ самъ добродушно сознается, что не любя не слушай, а лгать не мѣшай.

«Обыцалъ я, говоритъ онъ, правда, быль, не сказку, но и не лѣтописецъ, не историкъ правдивую. Правда—вѣсть рѣдкая на блѣдомъ свѣтѣ. Четкою, самородною (какъ въ Сибири находятъ золото самородное полупудовыми кусками) едва-ли найдете вы правду въ здѣшнемъ мѣрѣ. Не думаютъ обманывать, а правды все-таки не говорятъ. Вотъ, примѣромъ сказать, случалось-ли вамъ что-нибудь самимъ видѣть и послѣ того слышать разказы о видѣнномъ вами отъ другихъ самовидцевъ? Всякій рассказываетъ, не лжетъ, и такъ говоритъ, да не такъ выходитъ. Оттого у насъ пастари ведется пословица: изъ одной бани да не одиѣ вѣсти. Что-же тутъ дѣлать? Какъ кому кажется, такъ тотъ и говоритъ. Только смотрите, добрые читатели: добросовѣстно рассказывайте вамъ?»

«Здѣсь я кладу руку на сердце и скажу вамъ смѣло:—я рассказывалъ такъ, какъ по чистой совѣсти мнѣ казалось. И если я въ этомъ лгу, то да будетъ мнѣ стыдно, или при старшихъ, на морозѣ, шапку съ меня снять извольте. Вы найдете кое-что не такъ, если станете слѣдить разказы другихъ о Шемякѣ съ моимъ рассказомъ. До сихъ поръ вамъ представляли Шемяку злодѣемъ, какихъ мало и бывало на святой Руси, а Василии Темный такимъ тихимъ, что и воды не замутишь. У меня Шемяка показанъ вамъ иначе: тихой, удалой, горячая голова съ добрымъ сердцемъ и съ несчастіемъ, на роду написаннымъ. Закройте вы всѣ ваши исторіи; вслушайтесь въ рассказы старинныхъ лѣтописей; удивитесь въ то, что они говорятъ, и какъ говорить, и уже потомъ меня судите—такъ я и буду правъ...»

Мы не будемъ входить въ разбирательство, на сколько былъ правъ или неправъ Н. А. Полевой, считая Шемяку „тихимъ, удалымъ, горячую голову съ добрымъ сердцемъ“, вопреки всѣмъ прочимъ историкамъ

и самому народу, окрестившему всякій неправый судъ „*шмакынымъ*“; пусть люди компетентные судятъ романъ этотъ со стороны его исторической правды; что-же касается до художественной его стороны, то остается только пожалѣть, что Половой изложилъ свой оригинальный взглядъ въ формѣ романа, а не просто историческаго трактата безъ малѣйшихъ претензій на повѣствованіе.

Константинъ Петровичъ Масальскій родился въ 1802 г., жизнь провелъ за канцелярскимъ столомъ въ различныхъ министерствахъ; вышелъ въ отставку въ 1842 г., онъ умеръ въ 1861 году. Написалъ онъ не мало и историческихъ, и современныхъ романовъ въ теченіи своей жизни; по крайней мѣрѣ, мы видимъ, что сочиненія его въ 1845 году были издавы въ пяти томахъ; но изъ всѣхъ этихъ пяти томовъ только и сохранились въ памяти людей позднѣйшаго поколѣнія два его романа: „Стрѣльцы“ и „Регентство Барона“, но и объ этихъ романахъ положительно не знаешь, что сказать: все въ нихъ, съ одной стороны, вполнѣ прилично и на своемъ мѣстѣ, согласно установившейся рутинѣ историческихъ романовъ, а съ другой, — такъ сухо, такъ заурядно и такъ безцвѣтно, какъ тѣ канцелярскія бумаги, которыя строчилъ Масальскій полжизни. Однимъ словомъ, отъ каждой строки Масальскаго такъ и вѣетъ на васъ чиновникомъ министерства государственныхъ имуществъ, знающимъ, гдѣ слѣдуетъ ставить запятые, гдѣ букву ѣ, гдѣ увлечься патристическимъ наэосомъ, гдѣ пройти по части моральной строгости или наоборотъ — подпустить въ мѣру илубнички.

Ольга Шишкина была великосвѣтская, придворная дама, любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексѣевны; какихъ-нибудь болѣе подробныхъ свѣдѣній о ея жизни не имѣется. Непозвѣстно даже, когда она родилась, когда скончалась (кажется, не очень еще давно). Написала она всего два историческихъ романа (кроме „Путевыхъ записокъ по югу, кажется, Россіи“: „Князь Скопинъ-Шуйскій или Россія въ началѣ XVII столѣтія“, изданный въ 1835 году, и „Проконій Лицуповъ, или междоусобице въ Россіи, продолженіе Князя Скопина-Шуйскаго“, 1845 г. Оба романа очень длинные — каждый въ четыре тома.

Первый романъ, очевидно, непосредственно былъ внушенъ чтеніемъ „Юрія Милославскаго“ Загоскина, и тотчасъ-же послѣ этого чтенія въ 1829 году задумала Шишкина состязаться съ Загоскинымъ, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующему мѣсту предисловія:

«Уже болѣе шести лѣтъ, какъ была написана первая страница романа „Князь Скопинъ-Шуйскій, или Россія въ началѣ XVII столѣтія“. Съ тѣхъ поръ, хотя не ежедневно, правду сказать и не ежедневно, но по нѣскольку мѣсяцевъ въ году занимался имъ авторъ. Конечно, никто этому не повѣритъ. Если-же кто внутренно и согласится, что человеку въ ея слову не печатавшему, не принадлежащему къ сословию литераторовъ, не извѣстному съ ними знакомства, дѣйствительно было очень трудно, при собственныхъ только весьма ограниченныхъ свѣдѣніяхъ, обработать свое произведеніе такъ, чтобы оно не совсѣмъ походило на линючіе ситца, въ которомъ забавно примѣнены развозища по уѣздамъ новыя сочиненія; если, повторяю, кому нибудь и покажется это справедливымъ, едва-ли кто въ этомъ

сознается: въ наши времена чрезвычайно боятся прослыть легковѣрнымъ» и т. д.

Ниже, съ тою-же великосвѣтскою развязностью, писательница объясняетъ цѣль своего заданія:

«Не льстивы похвалы пріятели, — говоритъ она, — и не собственное тщеславіе побуждаютъ издать романъ „Князь Скопинъ-Шуйскій“: авторъ, нѣрѣдкость котораго уже доказана, не смѣлъ-бы положить ни на то, ни на другое. Но надобно признаться, что я изъ числа тѣхъ странныхъ людей, которые не могутъ одни, безъ товарищей, поселиться и хорошему погодю. Мнѣ захотѣлось, поселиться нужно, какъ будто необходимо рассказать всѣмъ, какъ шлаетъ душа моя любовью къ отечеству, какъ ревностно я желаю ему вѣчнаго благоденствія. Мнѣ захотѣлось подѣлиться чувствами, доставшими мнѣ много отрады и наслажденій, среди заботъ, въ уединеніи и на пышныхъ празднествахъ! Это свойственно русскимъ, а обо мнѣ уже давно сказано, que je suis Russe jusqu'au bout des ongles. Можетъ быть, хотѣли мнѣ польстить этимъ, можетъ быть и поемляться надо мною: при нынѣшнемъ уточненномъ образованіи трудно это угадать».

Но не смотря на то, что Шишкина считала себя la russe jusqu'au bout des ongles, русскій языкъ, по видимому, плохо ей давался, и мѣстами выражается она на немъ весьма нескладно. Такъ на первой же страницѣ романа Шишкина описываетъ домъ, „замѣчательный по высокой своей кровлѣ, на двое раздѣленной перилами“. Какъ ни ломалъ я голову, чтобы представить себѣ, какъ это перила могутъ раздѣлять пополамъ высокую крышу, никакъ не могъ вообразить ничего подобнаго. Или вотъ тамъ еще образчикъ слога Шишкиной въ четвертой части романа:

«У небольшого, опрятнаго домика, на берегу Москвы рѣки мужичина и женщина сидѣли рядомъ на завалинкѣ, упершись головами въ бревенчатую стѣну. Смотри на нихъ, должно было думать, что или постигло ихъ тяжкое, невозвратимое бѣдствіе, или въ первый еще разъ послѣ мучительной болѣзни вышли они подышать чистымъ воздухомъ. Блѣдность, иссохшія ихъ лица, впаде глаза и судорожное потрясеніе ихъ членовъ пугали проходившихъ. Стѣшившіе въ хлѣбныя лавки кушцы остерегались встрѣтить взоры ихъ, живо выражающіе странное, неизвѣстное смѣшеніе самыхъ противоположныхъ чувствъ. То казалось, пламенная вѣра услаждала ихъ страданія; то они совершенно теряли надежду на милосердіе Божіе; то думали, что ближние имъ помогутъ; то ненавидѣли людей, какъ свирѣпыхъ враговъ; то мысль о близкой смерти успокоивала ихъ волненіе; то они съ ужасомъ отвергали ее, желая, во чтобы то ни стало, продлить жизнь».

Знакомить читателей съ содержаніемъ этихъ безконечно длинныхъ и скучныхъ романовъ я считаю совершенно излишнимъ. Достаточно будетъ сказать лишь, что они съ первой до послѣдней страницы такъ и пылаютъ патриотизмомъ. „Высокая цѣль оживотворяла меня, говорятъ Шишкина въ предисловіи въ „Проконію Лицуповъ“, я считала святымъ вдохновеніемъ, призваніемъ Божіимъ желаніе пробудить въ благородныхъ сердцахъ любовь къ родному, часто заглушаемому иностранными наставниками, и не совсѣмъ справедливо, по великолѣпно картинно нерусскаго образованія. Исторію должно учиться. Она полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никто объ этомъ не споритъ. Но и пріятное развлеченіе часто необходимо для ума и сердца. Исторію не всѣ ч-

тасть, не всё могутъ понимать и цѣнить важность происшествій государственныхъ, но читая „Иванго“, „Юрія Милославскаго“ и имъ подобныя историческія романы, всё имъ пріятно, мысленно переносясь въ отдельные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ людьми знаменитыми, среди семействъ ихъ, въ ихъ домашнемъ быту\*.

Критика того времени очень благосклонно и снисходительно относилась къ романамъ Шинкиной, конечно, въ уваженіи къ тому обстоятельству, что вотъ такая высокопоставленная дама снисходитъ до занятія литературою и задается пѣлами во всякомъ случаѣ очень почтенными и похвальными, хотя, по правдѣ сказать, романы Шинкиной вполне заслуживаютъ того полнаго забвенія, какое ихъ постигло.

На основаніи всёхъ разобранныхъ нами, равно и упомянутыхъ произведеній мы можемъ сдѣлать теперь окончательный выводъ относительно исторической беллетристики нашей 30—40 годовъ. Мы видимъ, что вся она распадается на двѣ категоріи, не имѣющія между собою ничего общаго: съ одной стороны, передъ нами историческія произведенія Пушкина и Гоголя, произведенія очень высокаго достоинства, по оставшіяся безъ подражанія. Общество даже въ лицѣ

своихъ передовыхъ, литературныхъ представителей оказалось недорослимымъ до высоты этихъ произведеній, не способнымъ не только подражать имъ, но и въ достаточной мѣрѣ оцѣнить ихъ. И вотъ образовалась особенная школа исторической беллетристики, не имѣющая съ ними ничего общаго, но бывшая вполне по плечу полубразованному обществу, — именно беллетристика болѣе сказочнаго, чѣмъ историческаго содержанія.

Первое, что васъ поражааетъ въ этой школѣ, — это замѣчательное однообразіе всёхъ ея произведеній. Всё они словно выкроены по одному шаблону или вылиты въ одной формѣ. Даже съ вѣншей ихъ стороны бросается вамъ въ глаза ихъ взаимное сходство: всё они раздѣляются на томы, страницъ отъ 200 до 300, а томы, въ свою очередь, на главы, и передъ каждою главой непременно вы встрѣтите одинъ или нѣсколько эпитафировъ. Всё они украшены одною или двумя гравюрами, довольно иногда недурными. У всёхъ у нихъ въ заглавіи вы найдете неизбѣжное *или*. Далѣе затѣмъ, всё они обнаруживаютъ самое поверхностное знаніе исторіи ихъ авторами, произвольное искаженіе историческихъ фактовъ, порою даже и сочиненіе небывалыхъ. Всё они въ одинаковой степени патристичны и мелодраматичны. Такую картину представляетъ собою наша историческая беллетристика 30—40 годовъ.

## ЖЕНЩИНЫ ВЪ ПЬЕСАХЪ ОСТРОВСКАГО.

### I.

Надъ Островскимъ, благодаря, съ одной стороны, тому, что на сценѣ удержались лишь нѣсколько пьесъ его преимущественно изъ купеческаго быта, а съ другой стороны, благодаря критикѣ, которая имѣла съ нимъ дѣло преимущественно въ первые годы его литературной дѣятельности, тяготеетъ такой предразсудокъ, что это — писатель, избравшій себѣ исключительную специальность изображеніе купеческихъ нравовъ, что вслѣдствіе этого онъ всю русскую сцену, которая до него благоухала высокаго сорта духами, пропиталъ запахомъ полупубковъ. Въ силу этого предразсудка читатели, прочтя заглавіе моей статьи, сейчасъ же, конечно, подумаютъ, что въ ней пойдетъ рѣчь исключительно о героиняхъ Замоскворѣчья, о дѣвкахъ „темнаго царства“, кроткихъ, запуганныхъ и забытыхъ свирѣпыми нравами своихъ родителей, неспособныхъ ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, помимо воли старшихъ; все времяапривожденіе у нихъ заключается въ томъ, что сидятъ онѣ у окошечекъ, вертеть пальчикомъ вокругъ пальчика и подмигиваютъ проходящимъ мимо офицерамъ, а когда жизнь становится окончательно не въ ногу и надъ головою нависаетъ черная туча въ видѣ насильнаго замужества за какое-нибудь страшилище,

то единственнымъ исходомъ для нихъ представляется буйныхнуться въ воду и покончить такимъ образомъ всё пекитрыя счеты съ злосчастною жизнью. И только единственнымъ свѣтлымъ лучемъ среди всей этой тьмы „темнаго царства“ будетъ сіять передъ читателями, конечно, уже Катерина „Грозы“, составляющая пробный камень для дебютантокъ Александрійскаго театра и указующая своимъ подругамъ новый путь, хотя путь этотъ, какъ намъ извѣстно, ведетъ въ ту же Волгу.

Сибину впередъ поэтому предупредить читателей, что если мы будемъ говорить о всёхъ этихъ героиняхъ темнаго царства, то онѣ займутъ у васъ то скромное мѣсто, какое имъ подобаетъ въ бесконечно длинной и нестройной галлерей женскихъ типовъ Островскаго. Передъ нами теперь не тѣ уже комедіи, которыя только и имѣла въ своемъ распоряженіи критика 50-хъ годовъ, а 44 пьесы, въ которыхъ мы найдемъ женщинъ самыхъ разнородныхъ слоевъ общества. Относительно разнообразія женщинъ Островскій далеко оставляетъ за собой всёхъ прочихъ писателей его времени. У него не найдете вы, правда, такихъ безусловно идеальныхъ героинь, каковы Елена въ „Наканунѣ“ или Ольга въ „Обломовѣ“, въ которыхъ лучшія качества русской женщины одухотворены и осмыслены высшимъ европейскимъ образова-

пьемъ, ни такіе всеобъемлющіе по своей широтѣ типы, какъ Татьяна Пушкина, осуждая которую, критика могла говорить о русской женщинѣ вообще. Островскій былъ реалистъ въ истинномъ и полномъ смыслѣ этого слова. Ни одного характера, ни одного типа не найдете вы въ его пьесахъ безусловно идеальнаго, который служилъ-бы полнымъ воплощеніемъ всего, что только представлялъ писатель въ своей воображеніи лучшаго въ жизни, да чтобы еще и это лучшее было во сто кратъ преувеличено силою творческаго увлеченія. Чуждался онъ, въ свою очередь, и столь широкихъ обобщеній, чтобы имѣть дѣло съ какими-либо основными качествами человѣческой природы, съ игрою страстей, съ проявленіемъ тѣхъ или другихъ добродѣтелей или пороковъ въ ихъ общечеловѣческой, психологической сущности, что мы видимъ, напримѣръ, у Шекспира. Островскій выводилъ живыхъ людей во всей сложности социальныхъ и индивидуально-психическихъ элементовъ, въ какой мы встрѣчаемъ ихъ въ самой жизни. Поэтому типы его въ высшей степени конкретны и относительны. Нѣтъ никакой возможности отрывать ихъ изъ той среды, въ которой они принадлежатъ, отъ ихъ семьи и, наконецъ, отъ тѣхъ чисто индивидуальныхъ особенностей, съ которыми они и являются передъ нами въ его произведеніяхъ. И вотъ передъ нами проходитъ самая пестрая и разнохарактерная вереница женщинъ, не имѣющихъ, повидимому, ничего общаго и въ толпѣ которыхъ на первый разъ можно положительно растеряться: тутъ и столичныя, великосвѣтскія барышни, и помѣщички, и камелии, и артистки, и чиновницы, и купчихи, и дочери разныхъ неудачниковъ-заблудивъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты, и швейки и пр., и пр. Среди нихъ сверкаютъ такія перлы, въ лучахъ которыхъ блескъ пресловутой Катерины „Грозы“ меркнетъ, какъ меркнуть звѣзды въ солнечномъ блескѣ. Но эти перлы, въ свою очередь, вы ни за что не отдерете отъ той раковины, въ которую они вросли и не вставите ни въ какую новую оправу. Если это дочь бѣднаго подьячаго, то вы и не увидите передъ собою на первый разъ ничего болѣе, какъ скромную барышню въ кисейномъ платьѣ, какъ брѣнчающую на разбитыхъ фортепіанкахъ, поливающую двѣ три гераньи и беззаветно влюбляющуюся въ пошленькаго франтика съ пашпирской въ зубахъ и тросточкой въ рукахъ. Если это купеческая дочь, то не прогнѣвайтесь, если она едва съумѣетъ подписать свою фамилію, вставить въ свой разговоръ исковерканное французское слово или фальшиво споетъ „Вотъ на пути село большое“. И лишь въ развитіи дѣйствія пьесы мало-по-малу обнаруживаются передъ вами самыя высокія качества въ подобныхъ, съ перваго взгляда далеко не казенныхъ, дѣвушкахъ. И въ тому же для правильной оцѣнки этихъ качествъ требуются совершенно особенныя масштабы, не имѣющіе иногда ничего общаго съ масштабами, которыми оцѣниваются героини въ родѣ тургеневской Елены или гончаровской Ольги, до такой степени ничего общаго, что то самое, что представляется высокимъ подвигомъ героинства въ нѣкоторыхъ женщинахъ Островскаго, могло бы показаться нравственнымъ паденіемъ для героини Тургенева.

## II.

Но какъ ли разнохарактерна и ли пестра толпа женщинъ Островскаго, въ ней все-таки можно какъ-какъ разобраться, подвести ее подъ различныя категоріи, расположить по степенямъ ихъ нравственнаго совершенства, что мы и постараемся сдѣлать, насколько это возможно. Мы будемъ говорить не о всѣхъ, сорока четырехъ героиняхъ Островскаго (предполагая, что въ каждой драмѣ есть своя героиня), а лишь о нѣкоторыхъ наиболѣе характерныхъ и выдающихся; остальныхъ же читателю и самому не трудно будетъ подвести потомъ подъ тѣ категоріи, которыя мы ему укажемъ.

Прежде всего женщины пьесъ Островскаго раздѣляются на двѣ рѣзкія категоріи, не имѣющія между собою ничего общаго, диаметрально противоположныя, почти что не соприкасающіяся одна съ другою и въ самой жизни. И вкусы, и нравы, и стремленія, и нравственные принципы въ этихъ обѣихъ категоріяхъ различны до такой степени, что на первый взглядъ можно подумать, что женщины той и другой принадлежатъ не къ одной странѣ, живутъ въ различныхъ полушаріяхъ земного шара и находятся одні по отношенію къ другимъ въ положеніи антиподовъ. Эти двѣ столь различныя категоріи вытекаютъ изъ особеннаго міросозерданія Островскаго и взгляда его на жизнь и людей. — Нужно замѣтить при этомъ, что во двѣ женщины, а всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго раздѣляются на тѣже двѣ категоріи, составляющія какъ-бы два борющіяся между собою лагеря, и въ этой борьбѣ и заключается именно внутренний смыслъ всѣхъ пьесъ Островскаго. Въ драмѣ „Правда хорошо, а счастье — лучше“ въ одной изъ рѣшительныхъ главъ героя драмы, Платона Зыбкина, въ концѣ перваго дѣйствія, выражается, хотя нѣсколько рѣзко и пошлочно, но коротко, ясно и глубоко правдиво именно та нравственная философія, которая проникаетъ пьесы Островскаго.

„Всякій человѣкъ, говоритъ Платонъ, что большой, что маленький, — это все одно — если онъ живетъ по правдѣ, какъ слѣдуетъ, хорошо, честно, благородно, дѣлаетъ свое дѣло себѣ и другимъ на пользу, вотъ онъ и патриотъ своего отечества. А кто проживаетъ только готовое, ума и образованія не понимаетъ, дѣйствуетъ только по невѣжеству, съ обидой и насмѣшкой надъ чужеземствомъ, и только себѣ на потѣху, тотъ мерзавецъ своей жизни“.

И дѣйствительно, всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго можно подраздѣлить на эти двѣ рубрики. Всѣ они или патриоты своего отечества въ томъ смыслѣ, что стремятся жить по правдѣ, честно, благородно, упорно трудятся, дѣлая свое дѣло, жаждутъ быть и очень маленькое, незамѣтное, но непреклонно на пользу и себѣ, и людямъ. Или-же, напротивъ того, основой ихъ жизни являются „бѣшенныя деньги“, скопленные болѣе или менѣе темными и незаконными путями, но это не мѣшаетъ имъ подлагать въ этихъ деньгахъ все свое человѣческое достоинство и гордость. Съ презрѣніемъ смотрятъ они на трудящихся людей, въ каждой работѣ предполагаютъ для себя

крайнее униженіе, живутъ именно лишь себѣ на погѣху, съ обидой и насмѣшкой надъ челоѳчествомъ, самодурствуя надъ нимъ, если они находятся въ низшихъ по культурѣ слояхъ общества, или же проникаясь утонченными высокообразованными, если помазаны доскомо вышней образованности, — и въ концѣ концовъ, являютсѣ дѣйствительно мерзавцами своей жизни.

Таковыми же или патриотками своего отечества, или мерзавцами своей жизни являются и всѣ женщины Островскаго. Нужды нѣтъ, если нѣкоторые изъ мерзавцовъ являются въ обольстительномъ видѣ и не чудны кое-какихъ достоинствъ (у Островскаго, еще разъ повторяемъ, нѣтъ безусловно отрицательныхъ, какъ и безусловно идеальныхъ типовъ) — и все таки онѣ мерзавцы; точно также ничего не значить, если нѣкоторыя патриотки только и могутъ принести своему отечеству одну элементарную пользу — прозвезсти на свѣтъ и выкормить своею грудью ребенка, — и все таки онѣ являются патриотками.

Прежде всего мы займемсѣ мерзавцами, причемъ женщинъ подобнаго рода мы будемъ разсматривать не каждую въ отдѣльности, а въ общей характеристикѣ, такъ какъ о нихъ и безъ того уже много трактовалось и трактуется въ нашей литературѣ; и во вторыхъ, разъ мы пѣдемъ дѣло съ нравственной деградацией, то не все ли равно ступенью выше или ступенью ниже стоитъ та или другая особа на этомъ скользкомъ и наклонномъ пути, и дойдетъ ли она до самаго низа паденія или не дойдетъ. Читатель согласится со мной, что это безразлично. Другое дѣло нравственная высота и подъемъ духа, — тутъ каждая маленькая ступень вызываетъ въ насъ крикъ восторга, какъ побѣда челоѳчества и новое его торжество.

### III.

И такъ, начнемъ съ мерзавцовъ. Въ этомъ царствѣ все достоинство челоѳка полагается не внутри, а внѣ его, въ томъ блестящемъ декорумѣ, который его окружаетъ; челоѳкъ мало того, что составляетъ нѣчто одно нераздѣльное съ этимъ декорумомъ, но онъ уничтожается въ немъ, является самъ по себѣ, внѣ своего декорума, ничтожнейшею изъ ничтожнейшихъ нѣшекъ, единицею, которая только и приобретаетъ значеніе по мѣрѣ того, какъ къ этой единицѣ будутъ приставлены нули.

Здѣсь встрѣчаются въ силу этого люди, которые до такой степени проникаются сознаниемъ своего полнаго ничтожества безъ капитала, составляющаго все ихъ значеніе и всѣ въ жизни, что они на деньги смотрятъ вовсе не какъ на источникъ благи земныхъ и наслажденій. Напротивъ того, они готовы во всемъ себѣ отказывать, чтобы капиталъ не потерялъ ни малѣйшаго уцѣрба, сознавая, что съ каждой истраченной копѣйкой ихъ достоинство уменьшается ровно на эту копѣйку. Такова Серафима Карповна Толстогораздова (въ пьесѣ «Не сошлись характерами»). Съ виду она сентиментальная институтка, часто задумывается, всдыхаетъ и поднимаетъ глаза къ небу, когда говоритъ о любви. Но это не мѣшаетъ ей разсматривать каждый истраченный грошъ. «Иначе мнѣ

какже? говорить она, я стараюсь только, чтобы не прожить капитала, а проживать проценты. Что-жъ я буду тогда безъ капитала, я ничего не буду значить».

Ея хватило на то, чтобы влюбиться, и даже не вапрая на состояніе любезнаго: — «Я бы не пошла за бѣднаго, говоритъ она, да ужъ очень я въ него влюблена»; — и далѣе: — «лучше я себѣ во всемъ откажу, но безъ него жить не могу!» — Но впоследствии оказалось, что она можетъ жить и безъ мужа, что капиталъ для нея дороже самой любви, и когда мужъ возмѣлъ покушеніе на цѣлость ея капитала, она рѣшилась скорѣе разойтись съ нимъ, чѣмъ разстаться хотя бы съ частью своихъ денегъ и, не переставая его любить, подарила ему на прощаніе вышитый нарочно къ его именинамъ бумажникъ и написала сентиментальное посланіе, въ которомъ, клянясь въ вѣчной любви къ нему и увѣряя, что всю жизнь сердце ея будетъ разрываться, и день и ночь она будетъ плакать о немъ, въ то же время повторила свою филозофію жизни: — «Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ? — тогда я ничего, ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ — я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги — я кого полюблю и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы».

Но Серафима Карповна составляетъ все-таки исключеніе изъ числа женщинъ той категоріи, о которой идетъ у насъ рѣчь. Въ ней глубоко сидятъ еще тѣтонкино кулачество, выдержка и упорство, съ которыми ея предки нажили капиталъ, доставшійся ей въ руки. У нея есть свои правила, которыхъ она держится твердо, и ничто не можетъ заставить ее поступиться ими; это баба въ своемъ родѣ прелешь. Что и говорить, безобразны эти правила, заставляющія ее подчинять всѣ свои чувства и страсти табличкѣ умноженія, но все таки нужно принять во вниманіе и то, что она стремится къ извѣстной доли самостоятельности въ жизни; полагая все свое достоинство въ капиталѣ, она хочетъ, чтобы ее любили хотя-бы и за это лишь достоинство. Ей хочется купить мужа, по своимъ купеческимъ понятіямъ, какъ можно дешевле, но она далека отъ того, чтобы самое себя продавать за кавія-бы то ни было блага жизни.

### IV.

Далѣе мы видимъ женщинъ, которые до такой степени сливаются съ окружающимъ ихъ декорумомъ, что онѣ смотрятъ на себя, лишь какъ на одно изъ дорогихъ украшеній этого декорума на ряду съ бронзовыми канделябрами, зеркалами или дорогими картинами, и не только не оскорбляются подобнымъ униженіемъ положеніемъ дорогой, но совершенно бесполезной бездѣлушки въ роскошно убранныхъ покояхъ, но даже гордятся этимъ, видятъ въ этомъ все значеніе и достоинство женщины.

— Что нужно для женщины образованной, говоритъ Кукушкина въ комедіи «Доходное мѣсто», которая видитъ и понимаетъ всю жизнь, какъ свои пять пальцевъ? Они (т. е. мужчины) этого не понимаютъ. Для женщины нужно, чтобы она одѣта была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное — нужно спокойствіе, чтобы она могла быть отдалена

онъ всего, по своему благородству, ни въ какія хозяйственныя дрязги не входила. Юленька у меня такъ и дѣлаетъ: она ото всего рѣшительно далека, кромѣ какъ занята собой. Она спитъ долго; мужъ поутру долженъ распорядиться насчетъ стола и рѣшительно всѣмъ; потомъ дѣвка напоить его чаемъ и онъ уѣзжаетъ въ присутствіе. Наконецъ, она встаетъ; чай, кофе, все это для нея готово, она кушаетъ, разохлѣлась отличнѣйшимъ манеромъ и сѣла съ книжкой у окна дожидаться мужа. Вечеромъ надѣваетъ лучшія платья и идетъ въ театръ или въ гости. Вотъ жизнь! вотъ порядокъ! вотъ какъ дама должна вести себя! Что можетъ быть благороднѣе, что деликатнѣе, что нѣжнѣе?... Хвалю.

Подобно тому, какъ дорогія вещи рѣдко употребляются для того, для чего онѣ назначены; ихъ боятся попортить, поцарапать и держать поэтому подъ стекломъ лишь для того, чтобы любоваться ими, такъ точно и прелестныя женщины этой категоріи старательно удаляются не только отъ своихъ женскихъ и человѣческихъ обязанностей, но отъ какой бы то ни было заботы, которая могла-бы провести хотя-бы маленькую морщинку на ихъ обворожительныхъ личикахъ. Такъ, въ комедіи „Вѣнныя деньги“, когда Надежда Антоновна Чебоксарова намекнула своей дочери Лидіи объ опасности разоренія, послѣдняя съ запальчивостью возразила ей:

Лидія. Очень жаль! Но согласитесь, маман, что, вѣдь, я могла этого и не знать, что вы могли позавѣдѣть меня и не рассказывать мнѣ о нашемъ разореніи.

Мать. Но все равно, вѣдь послѣ ты узнала-бы. Лидія. Да зачѣмъ-же мнѣ и послѣ узнавать? (поити со слезами). Вѣдь вы найдете средства выйти изъ этого положенія, вѣдь, непременно найдете, такъ оставаться нельзя. Вѣдь не поклясь-же мы Москву, не уѣдемъ въ деревню; а въ Москвѣ мы не можемъ жить, какъ нише! Такъ или иначе, вы должны устроить, чтобы въ нашей жизни ничего не измѣнилось. Я этой зимой должна выйти замужъ, составить хорошую партію. Вѣдь вы мать, ужели вы этого не знаете? Ужели вы не придумаете, если уаъ не придумали, какъ прожить одну зиму, не уронивъ своего достоинства? Вамъ думать, мамъ! Зачѣмъ-же вы мнѣ-то рассказываете о томъ, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствія, вы лишаете меня беззаботности, которая составляетъ лучшее украшеніе дѣвушки. Думали-бы вы, маман, оди и плакали-бы оди, если нужно будетъ плакать. Развѣ вамъ легко будетъ, если я буду плакать вѣсѣтъ съ вами? Ну, скажите, маман, развѣ легче?

Мать. Разумѣется, не легче. Лидія. Такъ зачѣмъ-же, зачѣмъ-же мнѣ-то плакать? Зачѣмъ вы павызываете мнѣ заботу? Забота старить, отъ нея морщина на лицѣ. Я чувствую, что постарѣла на десять лѣтъ. Я не знала, не чувствовала нужды, и не хочу знать. Я знаю магазины бѣлья, шелловыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели; я знаю, что когда нужно что-нибудь, идти туда, брать вещь, отдать деньги, а если нѣтъ денегъ, везти сомміа прійхать на домъ. Но откуда брать деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму, и никогда не знала; я не знала, что значитъ дорого, что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣщанскимъ, кофѣчнымъ расчетомъ. Я съ дрожью омерзѣнія отстраняла отъ себя такія мысли. Я помню, одинъ разъ, когда я вѣхала изъ магазина, мнѣ пришла мысль: не дорого-ли я заплатила за платье? Мнѣ такъ стало стыдно за себя, что я вся покраснѣла и не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ, я была одна въ каретѣ. Я вспоминала, что видѣла одну купчиху въ магазинѣ, которая торговала кускомъ

матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать, и кусокъ-то изъ рукъ выпустить. Она поддержитъ его, да опять положить, потомъ опять возметь, пошепчется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять положить, а сомміа смѣются. Ахъ, маман, за что вы меня мучаете?»

Результатомъ такого отстраненія отъ всѣхъ житейскихъ заботъ и дрязгъ является крайнее незначеніе жизни, младенческая неопытность, которой подобнаго рода женщины не только не стыдятся, напротивъ, гордятся ею, какъ особеннымъ шикомъ. Неопытность эта доходитъ до такихъ крайностей, что очень часто женщины эти въ самыя роковыя минуты жизни своей, когда въ судьбѣ ихъ готовится полный переворотъ, являются въ полномъ невѣдѣніи и недоумѣніи, что такое вокругъ нихъ дѣлается. Такъ въ комедіи „Волки и овцы“ — Глафира рассказываетъ, какую жизнь она вела въ Петербургѣ въ домѣ сестры: — „мы съ сестрой, — говоритъ она, — жили въ какомъ-то чадѣ: катанья по Невскому, въ бархатѣ, въ соболѣяхъ, — роскошные обѣды дома или въ ресторанахъ; всегда въ обществѣ; опера, французскій театръ, а чаще всего Вуффъ, — шпикни, маскарады“... И вдругъ все это разомъ оборвалось, но Глафира никакъ не можетъ объяснить, что за катастрофа произошла передъ нею: — „я не знаю, — говоритъ она, — что сдѣлалось. Что-то произошло вдругъ для насъ съ сестрой неожиданное. Сестра о чемъ-то плакала, стала все распродавать, меня отправили къ Меронѣ Давидовнѣ, а сами скрылись куда-то, исчезли, кажется, за-границу“.

Единственная наука, какую онѣ изучаютъ чуть не съ младенчъ и постигаютъ до послѣднихъ тонкостей, это — наука любви, и эта специальность ихъ составляетъ исключительную тему всѣхъ ихъ разговоровъ. — „У маленьки крестной, говорятъ Настя въ комедіи „Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“, ни о чемъ другомъ въ домѣ и разговорѣ и не было, только про любовь и говорили: — и гости всѣ, и она сама, и дочери“. На что тетка ея Анна замѣчаетъ: — „Можно богатымъ-то про любовь разговаривать, нѣтъ дѣлать-то нечего“.

Ну и дѣйствительно стоитъ удивленія, до какой виртуозности изучаютъ онѣ и науку, и искусство страсти нѣжной. Вотъ хоть-бы эта самая Глафира. Она, какъ невинный младенецъ, не понимаетъ, что сестра ея разорвалась со своимъ благопріимъ, но за то посмотрите, какую тонкую теорію развиваетъ она передъ Лыняевымъ, когда тотъ утѣряетъ ее, что она непреклонна передъ женскою красотою, что никакая женщина неспособна забрать его въ руки и дальше содержанки не пойдетъ въ сношенія съ нимъ.

— «Я бы вамъ противорѣчить не стала, отвѣчала на эти его утѣренія Глафира: я бы взяла въ руку, и раскаю, и деньги, и все-таки вы бы женились на мнѣ. Ну, представьте себѣ, что вы меня любите немножко; иначе, конечно, невозможно ничего. И такъ вы меня любите, мы жавемъ душа въ душу. Я олицетворенная кротость и покорность, я не только исполняю, но предупреждаю ваши желанія, а между тѣмъ поемному забирваю въ руки васъ и все наше хозяйство, узнаю малѣйшія ваши привычки и капризы и, наконецъ, въ короткое время дѣлаю для васъ совершенной необходимостью, такъ что вы безъ меня шагу ступить не можете. Вотъ въ

одно прекрасное утро я говорю вамъ: «панаша, я чувствую потребность помолиться, отпусти меня денка на три на богомолье.» Вы, разумеется, сначала заупрямитесь, а покорились вамъ безропотно. Потомъ изрѣдка робко повторяю свою просьбу и смотрю на васъ нѣсколько дней сразу умоляющимъ взоромъ; вы все день за день откладываете, и наконецъ отпускаете. Безъ меня начинается въ домѣ срашашь: то не такъ, другое не по васъ; то кофей пережаренъ, то обѣдъ опоздалъ; то у васъ въ кабинетѣ не убрано,—а если убрано, такъ на столѣ бумаги и книги не на томъ мѣстѣ, гдѣ ихъ нужно. Вы начинаете выходить изъ себя, часто вздыхать, то бѣгать по комнатѣ, то останавливаться, разводить руками, говорить съ собой, начинаете прислушиваться, не идутъ-ли, часто побѣгать на крыльцо; а я нарочно промедлю два, три. Наконецъ, ужъ вамъ не сидится, вы терпаете терпѣливо и начинаете ходить по дорогѣ версты за двѣ отъ дому. Вотъ я иду. Сколько радости! Опять такая спокойная жизнь для насъ; въ вашихъ глазахъ только безконечная пѣвность. Но вотъ однажды, когда ваша пѣвность ужъ не знаетъ предѣловъ, я говорю вамъ со слезами: «милый панаша, мнѣ стыдно своихъ родныхъ, своихъ знакомыхъ, мнѣ стыдно людямъ въ глаза глядѣть. Я должна прятаться отъ всѣхъ, живо похоронить себя, а я еще молода, мнѣ жить хочется. Прощай, милый панаша! Не нужно мнѣ никакихъ твоихъ совѣтовъ. Я выхожу замужъ.»

Далѣе предполагается ожесточенный споръ; Лыняевъ, по видимому, ставитъ на своемъ.

«Гдѣ-жъ намъ спорить съ вами!—продолжаетъ Глафира: только въ тотъ-же день къ вечеру я неожиданно исчезаю, и никто не знаетъ, то есть никто не знаетъ вамъ, куда. Проходитъ день, другой, вы размышляете по всѣмъ дорогамъ гонимовъ, спичкововъ, сами мечаетесь туда и сюда: теряете силы, аппетитъ, сходите съ ума. И вотъ за нѣсколько минутъ до того, когда вамъ уже дѣйствительно нужно помѣняться, вамъ объявляютъ по секрету, гдѣ я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мнѣ съ подарками, съ бриллиантами, со слезами умоляете меня возвратиться,—я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю! И люблю васъ, мнѣ жалъ съ вами разстаться, но я неумолима. Наконецъ, я говорю вамъ: милый панаша, ты любишь холостую жизнь, ты не можешь жить иначе,—сдѣлаешь вотъ что! Обвѣнчаемся по-доховку, такъ что никто не будетъ знать, ты оныть будешь вести холостую жизнь, все пойдетъ по прежнему, ничего не измѣнится,—только я буду покойна, не буду страдать. Вы послѣ небольшого колебанія соглашаетесь. Но на другой-же день откуда у меня эта свѣтлость возьмется, эта дѣлль, эта медленность въ движеніяхъ! Откуда возмущетъ эти роковыя туалеты. Оттопырится нижняя губка, ляжетъ повелительный тонъ, величественный жестъ. Какъ лила и нѣжна я буду съ посторонними и какъ строга съ вами. Какъ счастливы вы будете, когда дождетесь отъ меня милостиваго слова. Ужъ не буду я смеяться и бѣгать для васъ, и не будете вы панашей, а просто Мишель (*Госворитъ мнимо*). «Мишель, обѣдай, я забила въ саду на скамейкѣ мой платокъ!» И вы побѣжите...»

И это все развиваетъ передъ Лыняевымъ не какаянибудь пожившая уже кокетка, а первой молодости невзысканная барышня, только собирающаяся еще вкушать благу жизни!

## V.

Норазвѣ тутъ дѣло идетъ о любви?—спроситъ меня читатель въ недоумѣніи. Развѣ есть здѣсь хоть блѣдный намекъ на истинное чувство? Вѣдь это все отъ

начала до конца одна фальшь, лицемеріе, дьявольское кокетство съ единственною цѣлью завлечь въ свои сѣти богатаго жениха и поработить его своей властью. Но объ истинной любви и рѣчи быть не можетъ среди женщинъ разсматриваемой категоріи, и та наука страсти пѣвной, о которой была у насъ выше рѣчь, заключается именно ни въ чемъ иномъ, какъ въ особеннаго рода стратегіи, илѣющей цѣлью плѣнить сердца выгодныхъ покупателей. Дорогія вещи приобретаются цѣною золота, а не любви. Разъ женщина обращена въ болѣе или менѣе дорогую вещь,—отъ нея вовсе не ждутъ, чтобы она кого-либо полюбила, а просто на просто покупаютъ ее.—И дѣвушки, сознавая это, въ свою очередь, только и заботятся о томъ, какъ-бы поскорѣе и выгоднѣе себя продать, и нисколько не скрываютъ этого, а прямо высказываютъ о своемъ желаніи, ни мало не конфузятся. Такъ, въ комедіи «Доходное мѣсто» мы читаемъ такой разговоръ между двумя сестрами:

Ю л и н ѣ к а. Пройдетъ тебѣ твой женихъ, Василиій Николаевичъ?

П о л и н а. Ахъ, просто душка! А тебѣ твой Вѣлоубовъ?

Ю л и н ѣ к а. Нѣтъ, драхъ ужасная!

П о л и н а. Зачѣмъ-же ты маменькѣ не скажешь?

Ю л и н ѣ к а. Вотъ еще! Сохрани Господи! Я рада-радененька хоть за него выйти, только-бы изъ дому вырваться.

П о л и н а. Да, правда твоя! Не попадайся и мнѣ Василиій Николаевичъ, кажется, рада-бы первому встрѣчному на шею броситься; хоть-бы плохенькой какой, только-бы изъ бѣды выручить, изъ дому вывалъ. (Смѣется).

Въ свою очередь мать ихъ внушаетъ имъ прямо:

— Я вамъ дѣлаю модныя платья и разныя бездѣлушки, а для себя перекрашиваю да перешиваю изъ старата. Не думаете-ли вы, что я наряжаю васъ для вашего удовольствія, для франтовства? Такъ ошибаетесь. Все это дѣлается для того, чтобы выдать васъ замужъ, съ рукъ сбить. По моему состоянію, я васъ могла-бы только въ ситцевыхъ да въ затрапезныхъ платьяхъ водить. Если не хотите, или не умѣете себѣ найти жениха, такъ и будетъ. Я для васъ обрывать да обрывать себя понапрасну не намѣрена.

Въ вышеприведенномъ разговорѣ двухъ сестеръ Полина, хотя и говоритъ вслѣдъ за сестрою, что не будь Василиія Николаевича, она рада-бы первому встрѣчному на шею броситься, но все-таки она до нѣкоторой степени увлечена своимъ женихомъ, и поэтому и мать, и сестра считаютъ ее легкомысленною дурочкою.— «Какъ-бы не дуракъ этотъ Жадовъ,—говоритъ мать,—такъ-бы тебѣ въкъ горе лыкать, въ дѣвкахъ сидѣть за твое легкомысліе. Кто изъ умныхъ тебя возьметъ? Кому надо? Хвастаться тебѣ не чѣмъ, тутъ твоего ума ни на волосъ не было: ужъ нельзя сказать, что ты его приворожила—самъ набѣжалъ, самъ въ петлю лѣзетъ, никто его не тянулъ. А Юленька дѣвушка умная, должна своимъ умомъ себѣ счастье составить...»

Такимъ образомъ уже въ той первобытной, дореформенной кулѣ-продажѣ женщинъ, какую мы видимъ въ комедіи «Доходное мѣсто», въ видѣ заурядной рутинной выдачи дочекъ залужъ, высшая школа женскаго искусства требовала отъ женщины отсутствія хотя-бы малѣйшаго увлеченія и страсти: умная дѣвушка, желающая продать себя выгоднѣе, и тогда

уже, въ 50-хъ годахъ, должна была сохранять ледяное равнодушіе ко всѣмъ мужчинамъ безразлично, и руководствоваться однимъ холоднымъ расчетомъ, и въ малѣйшемъ увлеченіи видѣть уже глупость.

Впоследствии-же, особенно въ 70-ые годы, купля-продажа получила значительно болѣе широкое развитіе; она перестала уже быть контрабандной торговлей втихомолку, въ семейныхъ уголкахъ, подъ благовидною маскою законнаго брака, а выступила на базарь, сдѣлалась публичнымъ, даже аукціоннымъ торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей. Теперь стали уже смотрѣть, какъ на глупость не только на страсть, увлеченіе, но и на желаніе со стороны нѣкоторыхъ старовѣрокъ продать себя не иначе, какъ въ форнѣ законнаго брака. Почему не сдѣлаться и содержанкой, камеліей, если это оказывается выгоднѣе?

И вотъ является передъ нами новая героиня въ видѣ Лидіи Чебоксаровой, о которой была уже рѣчь выше; это уже мерзавка своей жизни чистокровная, самой высокой пробы. Это уже не простодушная Полинья, которая рада повѣситься на шею первому столоначальнику, лишь-бы выйти замужъ. Лидія знаетъ себѣ цѣну и дешево продавать себя не намѣрена, и къ тому-же она умѣетъ показывать товаръ свой лицомъ. Такъ, когда мать объявляетъ ей, какъ мы выше видѣли, о грозящемъ имъ разореніи, она смущается лишь въ первую минуту, а потомъ сейчас-же овладѣваетъ собою и на вопросъ матери „Но что же намъ дѣлать?“ — отвѣчаетъ хладнокровно:

Лидія. Что дѣлать? Не терять своего достоинства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новыя ливреи людямъ, берите новую мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.

Надежда Антоновна. Гдѣ-же деньги?

Лидія. Онъ за все заплатитъ.

Надежда Антоновна. Кто онъ?

Лидія. Мужъ мой.

Надежда Антоновна. Кто твой мужъ, гдѣ онъ?

Лидія. Кто-бы онъ ни былъ.

Надежда Антоновна. Не дѣлать-ли кто тобѣ предложенія?

Лидія. Никто не дѣлалъ, никто не смѣлъ дѣлать; мои женихи отъ меня, кромѣ презрѣнія, ничего не видали. Я сама искала красавца съ состояніемъ, теперь мнѣ нужно только богатаго человѣка, а ихъ много.

Надежда Антоновна. Не ошибись въ своихъ расчетахъ.

Лидія. Неужели красота потеряла свою цѣну? Нѣтъ, маман, не забывайте! Красавиць мало, а богатыхъ дураковъ много.

Простодушная Полинья при всемъ своемъ равнодушіи къ Белоубову и даже отвращеніи отъ него все-таки считала нужнымъ притвориться влюбленной въ него, дѣлала ему глазки; Лидія-же нисколько не стѣсняется открыто высказывать человѣку, дѣлающему ей предложеніе, что она не любящая женщина, а продающаяся вещь:

Надежда Антоновна. Вотъ, Лидія, Савва Геннадичъ дѣлаетъ тобѣ предложеніе черезъ меня; онъ проситъ твоей руки. Хотя съ своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стѣсняю.

Лидія. Въ такомъ дѣлѣ, разумѣется, я должна имѣть свою волю, и если-бы мнѣ кто-нибудь попра-

вился, повѣрьте, маман, я скорѣе-бы послушалась своего сердца, чѣмъ вашего совѣта. Но ко всему моимъ поклонникамъ я равнодушна одинаково; вы знаете, сколькимъ женихамъ я уже отказала; а выйти замужъ надо, пора ужъ, потому я и предоставляю себя въ полное ваше распоряженіе.

Васильковъ. Значитъ, вы меня не любите?

Лидія. Нѣтъ, не люблю. Зачѣмъ я буду васъ обманывать! Но мы съ вами послѣ объяснимся. Маман, вы беретесь устранивать мнѣ судьбу, помните, что вы же должны будете и отвѣчать за мое счастье.

Надежда Антоновна (Василькову). Смишите, мой другъ.

Васильковъ. Я очень жалю.

Лидія. О чемъ? Что я васъ не люблю?

Васильковъ. Нѣтъ, что я поторопился.

Лидія. Откажитесь, еще есть время. Должно быть, и съ вашей стороны любовь не очень сильна, когда вы такъ легко отъ меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня, что я съ вами откровенна; притворяться ничего не стоитъ, но я не хочу этого. Всѣ невѣсты говорятъ, что влюблены въ своихъ жениховъ, но вы не вѣрите имъ — любовь приходитъ послѣ. Отбросьте въ сторону самолюбіе и согласитесь! За что мнѣ было полюбить васъ? И лицо-то ваше не изъ красивыхъ, и имя послыхазное, и фамилія какая-то мѣщанская. Все это мелочи, къ этому можно привыкнуть, но не вдругъ. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю васъ, заслужите мою любовь, и мы будемъ счастливы.

Нужно ко всему этому прибавить, что здѣсь совершенно особенный языкъ, на которомъ всѣ слова имѣютъ условное значеніе, не имѣя вообще ничего общаго съ тѣмъ значеніемъ, какое мы придаемъ этимъ словамъ. Такъ, подѣ любовь подразумѣвается здѣсь не болѣе, ни менѣе какъ лишь ласковая улыбка и такъ называемая благосклонность, и заслужить такую любовь можно было Василькову лишь однимъ путемъ — открыть ей портмоне, биткомъ набитый кредитными билетами, и предоставить ей пользоваться имъ безконтрольно. Но Васильковъ оказался не такимъ простофилей. Онъ былъ себѣ на умѣ и къ тому-же крепень въ родѣ Софьи Карловны, положившій себѣ за правило изъ разъ опредѣленнаго бюджета не выхлѣдъ, хоть-бы весь свѣтъ вокругъ него рушился. Онъ и посватался-то за Лидію не изъ одного увлеченія, а также и съ расчетомъ; — „у меня, говорилъ онъ, особаго рода дѣла, и мнѣ именно нужно такую жену — блестящую и съ хорошими тономъ“.

При такихъ условіяхъ Лидія скоро пришлось разочароваться въ своемъ мужѣ: ей не только не удалось покорить его своей власти и овладѣть его кошелькомъ, а напротивъ того, онъ сразу осадилъ ее безуное мотовство, стараясь ввести ей расходы въ свой неизмѣнный бюджетъ. Тогда возмущенная Лидія рѣшилась разорвать съ мужемъ, — и вотъ начался открытый и нагло-циничный, чуть-что не аукціонный торгъ: Лидія начала по очереди предлагать себя своимъ поклонникамъ съ тѣмъ, чтобы они выручили ее изъ затруднительнаго положенія и устроили ей жизнь. Просто-на-просто, она рѣшилась сдѣлаться камеліей, лишь-бы жить съ прежнею роскошью и шикомъ, въ чей-бы себѣ не отказывая. И лишь, когда всѣ поклонники ее оказались прокутившимися бонвивавами, у которыхъ въ кармапѣ гулялъ вѣтеръ, она вновь обратилась къ своему мужу и вторично продалась ему, но на условіяхъ весьма уже суровыхъ, которые онъ предложилъ ей въ видахъ своихъ выгодъ и пользы



отчужденнымъ положеніемъ. Дальше подобнаго отчужденнаго торга трудно повидимому уже идти.

## VI.

Но мерзавки своей жизни идутъ еще и далѣе. Когда вы покупаете дорогую вещь, вещь эта находится въ распоряженіи, не питаетъ къ вамъ никакихъ враждебныхъ чувствъ. Ее могутъ украсть у васъ, но сама она не станетъ искать вора и не бросится въ его руки. Купленная-же женщина, поступая въ разрядъ вещей, все-таки остается человѣкомъ, и какъ ни искажена въ ней человѣческая природа, она инстинктивно возмущается и протестуетъ противъ совершающагося акта закабаленія. Этотъ протестъ является въ видѣ непримиримой ненависти, которая разливается мало-по-малу въ купленной женщинѣ къ своему властѣльцу; ненависть-же влечетъ за собою нестерпимое стремленіе потѣпаться надъ своимъ властелиномъ и обманывать его на каждомъ шагу. Такъ въ драмѣ „Невольницы“ Софья Сергѣевна Волкова, прошедшая всю школу женскаго рабства, учитъ свою пономинную подругу:

Софья. Женщина не только не всегда должна говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду только про себя.

Евдѣлія. А другихъ обманывать?

Софья. Конечно обманывать, непременно обманывать.

Евдѣлія. Да зачѣмъ-же?

Софья. Вы только подумайте, какъ на насъ смотрятъ мужья и мужчины вообще! Они считаютъ насъ молодушками, вѣтренницами, а главное, хитрыми и лживыми. Вѣдь ихъ не разубѣдишь; такъ зачѣмъ-же намъ быть лучше того, что они о насъ думаютъ? Они считаютъ насъ хитрыми, — и надо быть хитрыми. Они считаютъ насъ лживыми — и надо лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣютъ жить.

Евдѣлія. Ахъ, что вы говорите!

Софья. Что-жъ по вашему? Начать мужу доказывать, что я, молъ, хорошая, серьезная женщина, порадо умнѣе тебя, и чувства у меня гораздо благороднѣе, чѣмъ у тебя. Ну, что-жъ, доказывайте, а онъ будетъ улыбаться, да думать про себя: «пой, катушка, пой! Знаемъ мы васъ; тебя на минуту безъ надзору оставить нельзя!» Ну, угнѣбительное это положеніе?

Евдѣлія. Да неужели это такъ?

Софья. Поживите, такъ увидите.

Евдѣлія. Но если мы лучше, такъ мы должны стать выше ихъ.

Софья. Да какъ вы станете, коли въ ихъ рукахъ власть, власть ужасная тѣмъ, что она опомнѣетъ все, къ чему ни коснется. Я говорю только про нашъ кругъ. Посмотрите, взгляните, что въ немъ. Посредственность, тушость, пошлость; и все это прикрито, закрашено деньгами, гордостью, неприступностью, такъ что издали кажется чѣмъ-то крушкѣмъ, внушительнымъ. Наши мужья сами пошлы и ищутъ только пошлости и видятъ во всемъ только пошлость.

Преобладающимъ видомъ обмановъ, которыми тѣпшутся жены-невольницы надъ своими властелинами являются, конечно, измѣны. Но эти измѣны вовсе не имѣютъ здѣсь характера какого-нибудь рокового взрыва страсти, вслѣдствіе потребности любить и взаимною любовью согрѣть сердце, встрѣчающее во-

крутъ себя одинъ ледяной холодъ, освѣтить свою жизнь и наполнить ее. Ничего подобнаго и сабда здѣсь нѣтъ... Замороженное чуть не съ пеленокъ сердце у такихъ женщинъ остается все также холодно и сухо; во, тѣмъ не менѣе, онѣ переходятъ отъ одного любовника къ другому, изъ моды, изъ подражанія или ради кокетства и чрезмѣрнаго развитія чувственности. Иногда при этомъ происходитъ игра якобы въ возвышенную любовь, но это оказывается очень мѣшкотно, сентиментально, надѣждаетъ, и, въ концѣ концовъ, находятъ гораздо и практичнѣе, и умнѣе просто по просту покупать любовниковъ на мужнины деньги. Такъ и дѣлаетъ Софья, совѣтуя тоже самое и Евдѣліи.

Софья. Надо денегъ давать ему побольше, да почаще, совѣтуетъ она Евдѣліи на ея сѣтованіе, что съ любовнымъ неаккуратенъ относительно свиданій: онъ ни обманывать, ни опаздывать не будетъ, ужъ совѣтъ идеальный сдѣлается.

Евдѣлія. Денегъ! Что вы! Вы его не знаете... Денегъ дать! Да это обидитъ, жестоко оскорбитъ его! Нѣтъ, какъ это возможно! Какъ я могу уважать его послѣ этого!

Софья. Да зачѣмъ-же вамъ уважать, довольно съ васъ любить его! Кто-же молодыхъ людей уважаетъ! Да, и гдѣ ихъ у насъ ваять такихъ, которыхъ уважать можно!

Евдѣлія. Да нѣтъ, какъ это... какъ осмѣлиться предложить деньги?

Софья. Очень просто. Купите хорошей, дорогой бумажникъ, а въ бумажникъ-то положите рублей двѣсти или триста. Вотъ и конфузится нечего: вы дарите бумажникъ, а деньги въ него нечаянно попали. Да мало-ли какъ можно; хотите, я васъ научу.

Евдѣлія. Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Да я важъ не вѣрю, вы шутите.

Софья. Что за шутки! Я сама дарю. Да и какъ не дарить! Молодому человѣку одѣться хочется поприличнѣе, да и мало ли у нихъ расходовъ; а жалованье небольшое...

Евдѣлія. Нѣтъ, пожалуйста, не продолжайте! Это что-то будничное, прозаическое. Мы съ нами не понимаемъ другъ друга; мы говоримъ о разныхъ предметахъ. Я понимаю только любовь чистую, возвышенную.

Софья. Возвышенная-то, пожалуй, еще дороже обойдется.

Евдѣлія. Что вы, что вы! вы меня удивляете, вы меня поражаете!

Софья. Да, конечно. Возвышенная любовь гораздо скучнѣе, она очень надѣждаетъ молодымъ людямъ; на нее надо много времени даромъ тратить. Онъ-бы почиталъ что-нибудь, пошелъ въ пріятелямъ поиграть въ карты; а тутъ надо возвышаться до возвышенной любви. Это очень тяжелое занятіе.

Вотъ до какого циническаго упрощенія доходить дѣло. И здѣсь мы видимъ въ своемъ родѣ прогрессъ: Уланбековы („Воспитанница“) довольствовались своими же вѣрными Гришками, у Гурмыжской („Дѣсь“) альфонсомъ является уже Булановъ, правда всего на все недоучившійся гимназистъ, но благородной крови и способный впоследствии сдѣлаться членомъ земской управы. Софья Волкова играетъ въ свою упрощенную любовь уже съ столичными карьеристами, подающими самыя блестящія надежды.

## VII.

Переходомъ отъ мерзавокъ къ патріоткамъ служатъ особеннаго рода женщины, въ сущности, столь же суетныя, тщеславныя, склонныя къ роскоши и

блеску, столь-же наконецъ продажны, но въ которыхъ вследствие какихъ-то невѣдомыхъ чудесныхъ причинъ удѣлѣло сердце, и онѣ сохраняли способность въ одинъ прекрасный день полюбить человека истинною и глубокою любовью. — Таковы Вишневецкая („Доходное мѣсто“), Лариса Огудалова („Безирядница“), Вѣлесова („Богатые невѣсты“), Настя („Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“).

Судьба подобныхъ женщинъ, по большей части, бываетъ крайне драматична, если не трагична. Любовь, загораящаяся въ ихъ сердцахъ, не является живительною и отрадною весеннею грозю, не сулитъ имъ счастья, не возбуждаетъ въ нихъ горячей энергіи къ выступленію на новый спасительный путь жизни, а лишь пробуждаетъ въ нихъ позднее сознание загубленной жизни, озаряетъ мрачную и безвыходную бездну, на днѣ которой онѣ гибнутъ, окруженны отвратительными чудовищами и гадами.

Такъ Вишневецкая, подъ вліяніемъ своей любви къ Любимову, пришла къ позднему сознанию всей безправственной униженности своего положенія.

Вишневецкая. Развѣ вы жену брали себя? говоритъ она мужу; вспомните, какъ вы за меня сватались! Когда вы были женихомъ, я не слыхала отъ васъ ни одного слова о семейной жизни; вы вели себя, какъ старый полковникъ, обольщающій молодыхъ дѣвушекъ подарками; смѣтрѣли на меня, какъ сатиру. Вы видѣли мое отвращеніе къ вамъ, и не смотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турціи. Чего же вы отъ меня хотите?

Вишневецкій. Вы моя жена, не забывайте! и я въ правѣ всегда требовать отъ васъ исполненія вашего долга.

Вишневецкая. Да, вы свою покупку, не скажу, освятили—нѣтъ, а закрыли, замаскировали бракомъ. Иначе нельзя было: мой родные не согласились-бы а для васъ все равно. И потомъ, когда ужъ вы были моимъ мужемъ, вы не сморѣли на меня, какъ на жену; вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замѣчали во мнѣ отвращеніе къ вамъ, вы сѣщили ко мнѣ съ какими-нибудь дорогими подарками и тогда ужъ подходили смѣло, съ полнымъ правомъ. Что же мнѣ было дѣлать?.. вы все таки мой мужъ; я покорилась. О! перестанешь уважать себя. Какое поштивать чувство презрѣнія къ самой себѣ! Вотъ до чего вы довели меня! Но что со мной было потомъ, когда я узнала, что даже деньги, которые вы мнѣ дарите—не ваши, что онѣ приобретены нечестно...

Съ такимъ же сердечнымъ сокрушеніемъ, подъ вліяніемъ своей любви къ Цыклунову, Вѣлесова осыпаетъ упреками своего опекуна Гитышева, который, воспитавши ее въ своемъ домѣ, какъ сироту, развратилъ ее, сдѣлалъ своей содержанкой, и потомъ желаетъ отдѣлаться отъ нея, купивши ей какого-нибудь ничтожнаго мужа.

— «Деньги вы дадите, я знаю, говоритъ она; я въ этомъ не сомнѣваюсь; но гдѣ-жъ у меня тѣ качества, которыя нужны, чтобъ быть хорошей женой? Какъ буду исполнять обязанности, о которыхъ я понятія не имѣю? Вы какъ меня воспитали? Вы взяли въ свой домъ, баловали, и окружали роскошью бѣднаго ребенка, сироту. Все, что нужно для вѣщности, для умѣнья держать себя, я узнала въ подробности, а что честно и безчестно для женщины, вы отъ меня скрывали. Замужъ!.. замужъ!.. А что такое: мужъ, домъ, семья, развѣ я знаю, развѣ вы мнѣ сказали? Ваша глупая жена всеми силами

старалась развивать во мнѣ гордость, мотовство, суетность; и какъ она радовалась своимъ успѣхамъ, нисколько не подозревая, что она старается для васъ, что она дѣйствуетъ въ пользу вашихъ сластолюбивыхъ замысловъ! Послеъ такого воспитанія вамъ не трудно было обольстить меня; вамъ стоило только сказать: «хочешь ты жить въ бѣдности, или въ богатствѣ?», и конечно... и я была!».

Но, какъ мы сказали выше, это страшное сознание той бездны, въ которую низвергнуты эти женщины силою обстоятельствъ и своей собственной нравственной несостоятельности, въ рѣдкихъ случаяхъ приводитъ къ какимъ-нибудь благимъ результатамъ. — Одной только Вѣлесовой удалось выйти изъ этой бездны, и то благодаря только тому, что любимый ею человекъ, Цыклуновъ, другъ ея дѣтства, оказался на столько хорошимъ и сильнымъ духомъ человекомъ, что не постыдился ея позора, не усомнился въ ея рассказѣ, а мужественно подаль ей руку спасенія и вывелъ ее на иной путь добра и правды. Но вѣдь какое это рѣдкое исключеніе!.. Такое же рѣдкое, какъ и тѣ дѣйствія тысячъ, заштыя въ шкапелі Крутицкаго („Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“), которыя внезапно свалились съ неба на голову Настя. Не случилось этихъ двухъ сотъ тысячъ, что было-бы съ Настею, забалованною и развращенною въ домѣ крестной матери, гдѣ только и дѣлали, что все о любви говорили, не привыкшему ни къ какому труду, стыдившемуся своей бѣдности?.. Не смотря на всю свою любовь къ ничтожному Ваклушину, она шла уже въ нанятую для нея Разновѣсовымъ квартиру, шла съ ужасомъ и отвращеніемъ, и все таки шла; „мнѣ хочется пожить получше“, говорила она въ свое оправданіе.

Дѣло въ томъ, что бездна, о которой идетъ здѣсь рѣчь, слишкомъ глубока и крута, но вѣсть съ тѣмъ и заманчива. — Много нужно душевныхъ силъ, много воли, чтобъ женщинамъ, дошедшимъ до мрачнаго сознания своего позора, самимъ, по собственной инициативѣ, выбраться наверхъ; между тѣмъ какъ жизнь, которую онѣ ведутъ, не только не развиваетъ и не закаляетъ ихъ душевныхъ силъ, а напротивъ того, разслабляетъ и растлываетъ ихъ: изнороченныя, безхарактерныя, малодушныя, онѣ не способны ни къ какому самостоятельному шагу, и потому загорѣвшася въ нихъ любовь приводитъ ихъ лишь къ безсильному отчаянію, къ тщетнымъ усиліямъ кончить съ собою самоубійствомъ, послѣ чего онѣ кахалотъ на все рукою и стремятся забыться, еще болѣе погружаясь въ свою безутрачную и пустую жизнь.

Къ этому-же разряду женщинъ принадлежитъ и Александра Николаевна Нѣгина въ комедіи „Таланты и поклонники“, но я выдѣляю ее, потому что мы видимъ здѣсь нѣкоторыя осложненія. Нѣгина не находится еще на днѣ пропасти, какъ вышеозначенныя женщины ея категорій, она лишь скользитъ по ея краямъ. Она любитъ очень порядочнаго человека Мелузова, бѣднаго, но честнаго труженика, учителя своего, который стремится развить въ ней всѣ лучшіе, человѣческіе инстинкты и повести ее по хорошей дорогѣ. Но на бѣду у дѣвушки непреборимая страсть къ сценѣ, и она подвигается на сценѣ провинціального театра, борась съ мѣстными интригами и живя

широкогодь, терня вѣстѣ со своею матерью самую страшную пужду. И вдругъ у нея является поклонникъ въ видѣ миллионера Великаго, у котораго великолѣпная усадьба съ лебедями на прудѣ, и который предлагаетъ ей горы золота, мечтая такъ устроить ей жизнь: въ моей усадьбѣ, въ моемъ роскошномъ дворцѣ, моихъ палатахъ есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная съ меня, рабаки повинуются. Такъ проходитъ лѣто. Осенью мы съ жаровательной хозяйкой ѣдемъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, она вступаетъ на сцену въ театрѣ, который совершенно зависитъ отъ меня, вступаетъ съ полнымъ блескомъ; я наслаждаюсь и горжусь ея успѣхами. О дальнѣйшемъ я не мечтаю, проживемъ, увидимъ\*...

Здѣсь женщину не другіе продаютъ, для того чтобы потомъ она очулась; ей предлагаютъ на полный самостоятельный выборъ два противоположные пути.

Повидимому ее влечетъ въ прощальную прощальная страсть къ сценѣ, какъ она сама говоритъ Мелузову: — ты ничего не понимаешь... и не хочешь меня понять. Вѣдь я актриса; а вѣдь, по твоему, нужно быть мнѣ героиней какой-то. Да развѣ всякая женщина можетъ быть героиней? Я актриса... Еслибъ и я вышла за тебя замужъ, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за маленькое жалованье, да только-бы на сценѣ быть. Развѣ я могу безъ театра жить?\*

Но неужели, чтобы пробить себѣ дорогу талантливой актрисѣ, единственное средство сдѣлаться содержанкой? И неужели Мелузовъ сталъ-бы препятствовать своей женѣ продолжать подниматься на сценѣ? Въ томъ-то и дѣло, что подъ личиною служения искусству скрывается здѣсь нѣчто совсѣмъ другое, скрываются бѣлые лебеди на озерѣ Великаго. Въ концѣ концовъ, мы видимъ здѣсь продажу себя женщиною еще болѣе ужасную. Здѣсь продается не наивная дѣвушка, не знающая жизни и никого еще не любившая, и не перерѣзавшая кокетка съ замороженнымъ сердцемъ, а любящая женщина сознательно измѣняетъ своей любви и съ честнаго пути сворачиваетъ на постыдный путь разврата, прикрываясь тѣмъ, что она этимъ служитъ своему таланту, святому искусству, и думая въ ходъ такіе безнравственные софизмы: — Я не могу быть героиней, да и не хочу. Чтожъ мнѣ быть укоромъ для другихъ? Вы, молъ, вотъ какая, а я вотъ какая... честная!.. Да другая, можетъ быть, и не виновата совсѣмъ; мало-ль какія обстоятельства, или родные... или тамъ обманомъ какимъ... А я буду укорять? Да сохрани меня Господи!\*

Каково общество и каковы нравы, среди которыхъ быть честной, непроданной женщиной и доброю матерью семейства представляется героизмомъ и дѣвучка боится идти по этому пути, чтобы не выдѣлиться изъ общаго уроння и не быть укоромъ для другихъ!..

### VIII.

Но довольно о мерзавкахъ. Пора намъ сколько нибудь освѣжиться отъ того спертата воздуха, которымъ мы до сихъ поръ дышали и вздохнуть полною грудью въ обществѣ патриотовъ своего отечества.

Здѣсь мы будемъ уже имѣть гораздо болѣе широкой и разнообразный выборъ, и придется намъ говорить о патриоткахъ уже не огуломъ, а раздѣливши ихъ на нѣсколько степеней, хотя необходимо впередъ оговориться, что это раздѣленіе на степени будетъ принадлежать намъ. Что же касается до Островскаго, то онъ, съ своей стороны, не дѣлаетъ ни малѣйшихъ предпочтеній одной изъ своихъ героинь передъ другою. Объективность его въ этомъ отношеніи можно уподобить солнцу, которое съ одинаковою любовью льетъ свой свѣтъ на маленькую былинку, равно какъ и на роскошный дубъ и словно внушаетъ намъ, чтобы любясь какою-нибудь victoria regia, о цвѣтѣхъ которой сообщаютъ въ газетахъ, мы не упускали изъ вида и незабудочки, маленькой, чуть видной изъ травы, но которая имѣетъ свою неотъемлемую прелесть.

Съ незабудочекъ-то мы и начнемъ. Здѣсь на первомъ планѣ рисуются намъ простенькія, безхитростныя, кроткія русскія дѣвушки, съ честною, прямою натурою и вѣжливымъ, привязчивымъ сердцемъ.

Всѣ мечты ихъ исчерпываются тѣмъ, чтобы глубоко, крѣпко и беззаветно привязаться на всю свою жизнь къ избраннику своего сердца и свить тепленькое гнѣздышко для милыхъ дѣтушекъ. Разъ имъ это удастся, и мечты окажутся осуществленными, онѣ будутъ считать себя счастливѣйшими смертными и совершенно уйдутъ въ свою раковину, будутъ готовить вкусные пироги по праздникамъ и откармливать толстошекихъ птенцовъ. Однимъ словомъ, пороха онѣ не выдумываютъ, съ неба звѣздъ не хватаютъ, никакого особеннаго геройства отъ нихъ вы не дождетесь, но матери и хозяйки изъ нихъ выходятъ отличныя, а главнѣе дѣло—въ ихъ сердцѣ много тепла, любви и участія.

Но для того, чтобы подобнаго рода простенькій, элементарный, чисто зоологическій идеалъ ихъ жизни былъ осуществимъ, необходимо, чтобы обстоятельства сложились для нихъ вполне благоприятно, чтобы родители не воспрепятствовали имъ выйти замужъ за избранника своего сердца, чтобы избранникъ сердца оказался человекомъ хоть сколько-нибудь порядочнымъ, чтобы дальнѣйшая жизнь ихъ была хоть сколько-нибудь обеспечена.

Все это должно прийти къ ихъ услугамъ само собою; сами-же онѣ не способны ни къ малѣйшему самостоятельному шагу, ни къ малѣйшимъ сопротивленіямъ, усилятъ, борьбу для завоеванія своего счастья. Онѣ созданы для того, чтобы беззаветно подчиняться, вида въ этомъ не только свой удѣлъ, но и священный долгъ, положенный свыше.

Среди подобнаго рода дѣвушекъ и сложились такія стародавнія выраженія, какъ: судьба, не судьба и суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣйствительно, судьба играетъ всеильную роль въ ихъ жизни, и все отъ нея зависитъ; онѣ въ этомъ отношеніи вполне уподобляются тѣмъ вѣжнымъ цвѣточкамъ, которые не имѣютъ никакой возможности укрыться отъ буйства стихій: проглянетъ солнышко, они разавѣтутъ роскошно; дохвѣтъ на нихъ непривѣтнымъ морозомъ, безильно опустятъ они свои головки, поблекнутъ и завянутъ безвременно.

Наибольше ярко и точно рисуется передъ нами подобнаго рода архаическій, допетровский типъ русской женщины въ образѣ Любовь Гордѣевны въ комедіи „Вѣднѣсть не порокъ“. Дочь богатѣйшаго въ городѣ кушча тысячника, полюбила она бѣднѣйшаго и ничтожнѣйшаго прикащика своего отца, — Митю. Полюбила она его не за какія-нибудь выдающіяся достоинства или эффектные качества, привлекающія женщинъ, а просто потому, что пришла пора любить, и сердце ея начало искать, къ кому бы привязаться. И вотъ, сама тихая и сиротливая, она избрала такого-же и парня, совершенно по себѣ. „Парень-то хорошій, говорила она: больно ужъ онъ мнѣ по сердцу, такой тихій и сиротливый!“

Но разница между ею, дочерью надменнаго Гордѣя Карпыча, и Митею была такъ велика, что она не смѣла и помышлять о возможности соединиться со своимъ милымъ, и потому въ самомъ разгарѣ своей страсти, едва открывшись въ любви своему возлюбленному, она уже говорила съ тоскою и надорваннымъ сердцемъ: — „Что наша любовь? Какъ былика въ полѣ, не расцвѣтетъ путемъ — да и поблекнетъ!“...

И обстоятельство, дѣйствительно, оправдывали горькое раздумье Любовь Гордѣевны: вѣсто тихаго и сиротливаго Мити непреклонный родитель вздумалъ сватать ее за злого и жаднаго Коршунова, сгубившаго уже двухъ женъ.

И поникла головою молодая дѣвушка, готовая покориться судьбѣ безъ малѣйшаго сопротивленія.

Когда-же Митя, прощаясь на вѣки съ нею, вздумалъ предложить ей бѣжать съ нимъ изъ родительскаго дома, Любовь Гордѣева пришла въ ужасъ передъ такимъ рѣшительнымъ шагомъ.

— Да какъ-же безъ отцовскаго-то благословенія? Ну, какъ-же, ты самъ посуди? — возразила она, и затѣмъ, рѣшила тотчасъ-же безъ малѣйшихъ колебаній:

— Нѣтъ, Митя, не бываетъ этому! Не топи себя напрасну, перестань! Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Потѣжай съ Богомъ. Прощай!

Митя. За чтожь ты меня обманывала, надо мной надѣвалась?

Любовь Гордѣевна. Полно ты, Митя. Что мнѣ тебя обманывать, зачѣмъ? Я тебя полюбила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца идти, чтобъ про меня люди не говорили да въ примѣръ не ставили. Хотя я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да покрайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза посмѣяться не смѣетъ. Прощай!..

Но совершенно напрасно было-бы въ этихъ словахъ Любовь Гордѣевны видѣть малодушное безволие, забитость и запутанность дѣвушки, подавленной семейнымъ самодурствомъ. Она дѣйствуетъ въ настоящемъ случаѣ по принципу, по твердому убѣжденію, что свыше положено и вѣками утверждено, чтобы дѣвушка покорялась своей судьбѣ и родительской волѣ, такъ и быть должно. Думай она иначе, у нея и хва-

тило-бы, можетъ быть, мужества уѣхать съ Митею, но она считаетъ это величайшимъ грѣхомъ и рѣшается пожертвовать своею любовью и счастьемъ всей жизни, чтобы остаться вѣрною закону, чтобъ никто надъ нею не насмѣялся, какъ надъ беззаконницей.

Такова именно и была логика всѣхъ первобытныхъ женщинъ, составлявшихъ неотъемлемую принадлежность рода. Принадлежа роду, сливаясь съ нимъ до полного уничтоженія личной самостоятельности и индивидуальности, женщина была въ то-же время хранительницею всѣхъ завѣтовъ рода. Основаніемъ-же родового быта было, какъ извѣстно, безусловное повиновеніе младшихъ членовъ старшимъ. И если-бы Любовь Гордѣевна преступила этотъ основной законъ, то какъ-же потомъ могла она внушать своимъ дѣтямъ то самое повиновеніе, которое нарушила сама?

Этой родовой логикѣ Любовь Гордѣевна осталась вѣрна до конца. Едва ушелъ Митя навсегда, она на горькія сѣтованія матери отвѣчала съ тѣмъ мужествомъ, съ какими люди идутъ на казнь за свою идею:

— Ну, маменька, что тамъ и думать, чего нельзя, только себя мучить.

И она, мало того, что покорилась своей судьбѣ съ тою-же непреклонною рѣшимостью, съ какою рассталась съ Митею, но будъ Коршуновъ не Коршуновъ, а сколько-нибудь сносный человѣкъ, она скоро свылась-бы со своею долею и даже къ мужу своему привязалась-бы, не такъ-бы страстно, какъ къ Митѣ, но все-таки на столько, чтобы быть доброю и нѣжною женою. Подобнаго рода женщины ищутъ въ любви не столько пылкихъ наслажденій, сколько соблюденія того семейнаго культа, для котораго онѣ видятъ себя предназначенными, и если дубъ тверды и представляютъ мужественную опору, то не все-ли равно, одинъ дубъ или другой, — онѣ съ одинаковою цѣпкостью обвиваются вокругъ него и свиваютъ на немъ свое тепленькое гнѣздышко... Вотъ про такихъ-то именно женщинъ и сложена пресловутая поговорка: — „стерпится, слюбится“!

## IX.

Далѣе затѣмъ слѣдуютъ женщины, принадлежащія, въ сущности, къ тому-же зоологическому типу: точно также все свое призваніе и счастье онѣ полагаютъ въ любви и въ свиваніи теплаго гнѣздышка; точно также честно и беззавѣтно отдаются онѣ влеченію своего сердца, безъ всякаго своеобразнаго расчета или какихъ-нибудь заднихъ мыслей. Но мы не замѣчаемъ въ нихъ того обезличенія и самоуничтоженія во имя родовыхъ принциповъ, какое мы видѣли въ Любовь Гордѣевнѣ. Здѣсь мы видимъ зародышъ личной самостоятельности и инициативы. Такія женщины влюбляются уже не въ перваго встрѣчнаго парня, чтобы отдаться ему беззавѣтно, не входя въ какой-бы то ни было анализъ качествъ мужа, лишь-бы только горшокъ щей стоалъ-бы въ печи, да дѣти качались въ колыбели. Имъ недостаточно, однимъ словомъ, чтобы избранникъ ихъ сердца былъ только мужчиною, самцемъ; онѣ ищутъ героя, который хоть чѣмъ нибудь выдавался-бы изъ окружающаго ихъ уровня.

Такъ напимръ, ужъ на что Авдотья Максимовна Русанова:—повидному, она ближе всего подходит къ Любови Гордѣевнѣ и, вообще, къ зоологическому типу. О ней и отецъ ей говоритъ: „пусти ее къ лютымъ звѣрямъ, и тѣ ей не тронуть, у нея въ глазахъ-то только любовь да кротость; она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобъ ее-то любить, да могъ-бы понять, что это за душа... душа у нея русская“...

Слова Русанова, повидному, совершенно оправдываются: подобно Любови Гордѣевнѣ, Авдотья Максимовна полюбила тоже въ своемъ родѣ тихаго и спротиваго парня Вородкина, съ которымъ вдвоемъ она и осенне, темные вечера у окошечка просиживала, и въ сѣняхъ встрѣчалась въ сумеречкахъ, не наговорилась, и накинувши шубку на плечики, у калитки его дожидалась; былъ онъ и Валечка, и дружокъ, но вдругъ явился отставной гусарчикъ Вихоревъ, красивый, ловкій, съ усами колечкомъ и сладкими рѣчами, — и у Авдотьи Максимовны головка пошла кругомъ.

Что руководило ею въ предпочтеніи честному и великодушному Вородкину такого пустого, ничтожнаго и дрянного вертопраха, какимъ оказался Вихоревъ? — Конечно тутъ играло свою роль незнакомство людей и жизни, но болѣе всего дѣйствовалъ женскій инстинктъ: Вихоревъ, съвѣншимъ доскомъ образованности, ловкими манерами и вкрадчивыми рѣчами, сразу покорилъ сердце дѣвушки, какъ вѣчто совершенно выдающееся изъ всей окружающей и прѣвшея ей дѣйствительности, какъ герой иного, чуждаго ей міра, рисовавшагося обольстительными красками въ ея дѣвичьихъ грезахъ.

— Увидала и его, рассказываетъ она: у Анны Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидимъ это мы съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ... Какъ увидѣла я такого красавца, такъ у меня сердце и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ нарочно, такой ласковый, такіа рѣчи говорить... чтожъ мнѣ дѣлать-то! На грѣхъ и его увидѣла! Такъ, вотъ, съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Слово я къ нему привороженная какаля... (Сидитъ, задумавшись). И нѣтъ мнѣ никакой радости! Пржежде я веселилась, дѣла, какъ шутка порхала, а теперь сижу, вотъ, какъ къ смерти приговоренная: не веселитъ меня ничто, не глядѣла-бы и ни на кого. Ужъ и что я, бѣдная, въ эти дни слезъ пролила! Вѣдь, надо-жъ быть такой бѣдѣ!

Любовь налетаетъ, такимъ образомъ, на подобнаго рода дѣвушекъ, какъ гроза, смерчъ, какъ приворотная болѣзнь, которой онѣ и сами не рады, но превозмочь онѣ ея не могутъ и отдаются ей всецѣло, не смотря ни на что и забывая все на свѣтѣ. Тутъ не найдете вы поэтому и слѣда той непоколебимой вѣрности родовымъ принципамъ, которая заставила Любовь Гордѣевну, безъ малѣйшихъ колебаній, наирамки отказать своему возлюбленному, предложившему увести ее, но въ то-же время не найдете и яснаго сознанія, что женщина имѣетъ право свободно располагать своимъ сердцемъ и самостоятельно устраивать свое счастье. Родовые принципы все-таки продолжаютъ казаться этимъ дѣвушкамъ столь священными и обязательными, что нарушить ихъ нельзя безнаказанно. Поэтому-то, отдаваясь своей страсти, онѣ и смотрятъ на нее какъ на приворотную болѣзнь, порчу. Онѣ го-

товы бывають убѣжать со своимъ милымъ, выйти за него замужъ помимо воли родителей, но тѣмъ не менѣе все-таки смотрять на это какъ на тяжкій грѣхъ, за который ждутъ наказанія.

Такъ, Авдотья Максимовна, когда Вихоревъ предложилъ ей увести ее, пришла въ первую минуту въ ужасъ.

Вихоревъ. Удѣйте потихоньку, да и обѣщайтесь.

Авдотья Максимовна. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! что вы это, ни за что на свѣтѣ! Ни-ни, ни за какой сокровища!

Вихоревъ. Титенька васъ любить, онъ простить. Мы къ нему сейчасъ прѣдемъ послѣ свадьбы, знаете, по русскому обыновенію, ему въ ноги... Ну старикъ и того...

Авдотья Максимовна. Да и не говорите! Онъ проклянетъ меня! Каково мнѣ тогда будетъ жить на бѣломъ свѣтѣ! До самой смерти у меня будетъ камень на сердцѣ.

Она такъ испугалась столь страшнаго предложенія Вихорева, что, по ея словамъ, наслу до дому побѣжала. Тѣмъ не менѣе, когда Вихоревъ, все-таки, увезъ ее, она говорила ему въ экстазѣ:

— „Неважливый ты мой, радость, жизнь моя! Куда хочешь съ тобой! Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жалко. Такъ-бы вотъ и улѣтѣла съ тобой куда-нибудь!“ — И радомъ съ атмь, все-таки, умоляла Вихорева вернуться къ титенькѣ:

— Викторъ Аркадьичъ! — восклицала она, — я съ вами и въ огонь, и въ воду готова, только пустите меня къ титенькѣ!

Еще болѣе рѣзкій примѣръ подобныхъ-же колебаній между страстью и титенькиною волею мы видимъ въ Дашѣ, въ драмѣ „Не такъ живи, какъ хочется“.

Повидному, она не Авдотья Максимовнѣ чета. Ея хватило не только на то, чтобы влюбиться въ прѣвжаго мущина и бѣжать съ нимъ въ Москву; но затѣмъ, когда мужъ разлюбилъ ее и измѣнилъ, она, ни мало не задумавшись, бросила и мужа.

Но стоило только отцу ея Агафону напомнить ей о родовыхъ завѣтахъ, и посмотрите, какая кроткая овечка изъ нея сдѣлалась. Безъ малѣйшаго сопротивленія допустила она своимъ родителямъ везти ее обратно къ мужу и съ сокрушеніемъ сердца согласилась съ отцомъ, когда тотъ началъ доказывать ей, что она терпитъ наказаніе за совершенное ея преступленіе.

— Ты сама права, что-ль? — говорилъ старикъ: — дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и падо? Такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы точно какъ не люди! Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай, да съ благодарностью. А то что это? что это? Вѣжать хочеть! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видѣла, чтобы мужа съ женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаяннѣ придетъ — кто тогда виноватъ будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ, кто за нимъ ухажитъ? Это, вѣдь, первый твой долгъ. А заститнеть его смертнй часъ, захочеть онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

И Даша въ отвѣтъ на эти рѣчи только и была въ

состояніи броситься на шею отца съ восклицаніемъ: — „батьюшка!“...

Но при всѣхъ подобныхъ колебаніяхъ между свободою страсти и родительскимъ произволомъ, женщины подобнаго рода отличаются отъ Любови Гордѣевны тѣмъ, что не могутъ выносить наслія и какою бы то ни было гнетомъ надъ ними. Онѣ не въ состояніи бывать покорны навязываемой имъ долѣ и, помирившись съ нею, начать свивать свое семейное гнѣздышко съ немилымъ человѣкомъ. Къ нимъ, однимъ словомъ, не подходитъ уже поговорка: „стерпится, слѣбится“. Неволя и принужденіе сразу ожесточаютъ ихъ, на нихъ находятъ отчаянность, и тутъ онѣ забываютъ все свои принципы и правила и даже женскій стыдъ, готовы биться, очертя голову, на самый рискованный шагъ, а тамъ хоть и въ Волгу.

Такова „Надя“ въ комедіи „Воспитанница“. Пока жизнь ея текла ровною и свободною струею, никто ее не притѣснялъ и не возилъ, барыня принимала въ ней участіе, воспитывала ее, какъ свою дочку и ласкала. — Надя видѣла въ себѣ человѣка не чужого въ домѣ, у ней были строгія правила и она мечтала, какъ мечтаютъ и все подобныя ей дѣвушки, о замудромъ женскомъ счастіи: — „У меня, говорила она, теперь только одна надежда выйти за хорошаго человѣка, чтобы мнѣ быть полною хозяйкой. Посмотри тогда, какой и порядокъ въ домѣ заведу; у меня не хуже будетъ, чѣмъ у дворянки какой-нибудь“.

Въ тоже время объ ухаживаніи за нею барина она говорила: — „Напрасно онъ ухаживаетъ. Что-жь, конечно, онъ мальчикъ хорошенькій, даже, можно сказать, красавецъ; только отъ меня ему ничего не дождаться; потому что я совсѣмъ не такихъ правилъ, и, напротивъ того, теперь всически стараюсь, чтобы про меня никакого дурного разговору не было. У меня только одно и на умѣ, что выйти за мужъ“.

Но совсѣмъ инымъ духомъ преисполнилась она, когда увидѣла себя подъ гнетомъ черстватаго, лицемернаго и безчеловѣчнаго самодурства Уланбековой.

— Пока она баловала меня, да ласкала, говорила она теперь Лизѣ: такъ я думала, что я такой-же человѣкъ, какъ и все люди; и мысли у меня совсѣмъ другія были объ жизни. А какъ начала она мной командовать какъ куклой, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ: такъ отчаянность на меня, Лиза, нашла. Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался — не знаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ что будетъ, ничего я и знать не хочу! Хоть меня замуж отдавай за пастуха, хоть въ какой замокъ за тридцать замковъ запири — мнѣ все равно!

## Х.

И вотъ, можете себѣ представить, — буквально къ той-же самой категоріи женщинъ, колеблющихся, нерѣшительныхъ, боящихся всякихъ варъ, когда дѣло идетъ о ихъ счастіи, и приходящихъ въ отчаянность лишь, когда все пути имъ закрыты, принадлежитъ и Катерина въ „Грозѣ“. Если она отличается чѣмъ-нибудь отъ Авдотьи Максимовны, Даши и Нади, — то развѣ тѣмъ лишь, что обладаетъ отъ природы художественною натурою и ультрарелигіознымъ воспи-

таніемъ. По эти два обстоятельства не только не ведутъ къ какому-либо существенному отличію Катерины отъ вышеупомянутыхъ героинь, а напротивъ того, они лишь усугубляютъ все тѣ качества, которыми героини эти отличаются: качества эти являются у Катерины интенсивнѣе, рѣзче, влѣдствіе чего она, какъ будто, и выдѣляется изъ уровня подобныхъ ей женщинъ, между тѣмъ какъ въ сущности является вполне съ ними тождественною.

По своему ультрарелигіозному воспитанію Катерина во многомъ напоминаетъ тургеневскую Лизу въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Дѣтство она провела на полной свободѣ:

«Я жила, рассказывала она, ни объ чемъ не тужила, точно птичка на полѣ. Мамонька во мнѣ души не чаяла, наряжала меня какъ куклу, работать не принуждала, что хочу, бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ расскажу. Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собою водичку, и все, все прѣты въ домѣ полью. У меня прѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маленькой въ церковь, все и странница — у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолковъ. А придетъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, болшо по бархату золотомъ, а странница станутъ рассказывать: гдѣ онѣ были, что видѣли, житія разные, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть лгутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечеру, а вечеромъ опять рассказы да пѣніе. Таково хороши было. И до смерти я любила въ церковь ходитъ! Точно, бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Мамонька говорила, что все, бывало, смотрять на меня, что со мной дѣлается!.. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану — у насъ тоже всегдѣ лампадки горѣли — да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. И рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ, уяду на колѣна, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; тамъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мнѣ не надобно, всего у меня довольно».

Крайне впечатлительная, первая, вѣчно экзальтированная, со своими чисто горячечными грезами и чуть что не галлюцинаціями, Катерина была до послѣдней степени пуглива и вѣчно была подъ гнетомъ какого-нибудь ужаса, вѣроятно подъ вліяніемъ тѣхъ суевѣрныхъ рассказовъ странницъ и богомолковъ, которые она ежедневно слушала въ дѣтствѣ... Пройдетъ по улицѣ сумасшедшая барыня, грози всѣмъ палкой и гееной огненной, и Катерина вся уже дрожитъ, и сердце у ней уяло; послышится громъ вдалекѣ и новые страхи:

Катерина (съ ужасомъ). Гроза! Побѣжимъ домой! Поскорѣе!

Барвара. Что ты съума, что-ли, сошла! Какъ же ты безъ брата-то домой пойдешь?

Катерина. Пѣтъ, домой, домой! Богъ съ нами!

Барвара. Да что ты ушь очень боишься: еще далеко гроза-то.

Катерина. А коли далеко, такъ пожалуй пождемъ немного; а право-би, лучше идти. Пойдемъ лучше!

Барвара. Да, вѣдь, ушь коли чему быть, такъ и дома не спрячешься.

Катерина. Да, все-таки, лучше, все покойнѣе, дома то и къ образамъ, да Богу молиться!..

Барвара. И не знала, что ты такъ грози боишься. Я вотъ не боюсь.

Катерина. Какъ, дѣвушка, не бояться! Великій долженъ бояться. Не то страшно, что убьютъ тебя, а то, что смерть тебя вдругъ застанетъ, какъ ты спишь, со всеми твоими грѣхами, со всеми помислами лукавыми. Мнѣ умереть не страшно, а какъ я подумаю, что вотъ, вдругъ, я явлюсь передъ Богомъ такимъ, кака я здѣсь съ тобой, послѣ этого разговора-то, вотъ что страшно.

Но, въ случаѣ обиды или какого-нибудь притѣсненія, Катерина, подобно Надѣ, подвержена той-же отчаянности, и тогда куда страхъ дѣвается:

— Я еще лѣтъ шести была, не больше, рассказывала: такъ что сдѣлала! Обидѣла меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять\*!..

Царя поглядывали на нее, но она никого не любила, а только сдѣлалась надъ ними. Не любя, вышла она и замужъ за Тихона; ее, вѣроятно, просто выдали за него, а она не сопротивлялась, потому что онъ былъ ей не противень, и она его жалѣла.

Но потомъ, подъ гнетомъ тяжкаго семейнаго деспотизма и вѣчныхъ попрековъ свекрови, она ожесточилась; мужъ, оказавшійся тряпкою, не способный защитить ее, сдѣлался ей противень, и она влюбилась въ Бориса, который, какъ и Вихоревъ въ глазахъ Авдотьи Максимовны, казался Катеринѣ героемъ, физико выделяющимся изъ всего ее окружающаго, чело-вѣкомъ иного, волшебнаго міра.

И вотъ началось тѣ-же самыя колебанія, какія мы видимъ и у Авдотьи Максимовны, только еще болѣе рѣзкія и характерныя вѣдѣствіе впечатлительности Катерины и ея релігіозной экзальтаціи. Подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, Катерина смотритъ на свою страсть къ Борису, какъ на бѣсовское навожденіе, порчу, отъ которой она и рада-бы избавиться, да не можетъ:

Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я буду мужа любить. Тиха, голубчикъ мой, ни на кого тебя не променяю! Я и думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто-ли тебя заставяетъ?

Катерина. Не лажьешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу о немъ думать; да что дѣлать, коли изъ головы вылететь? Объ чемъ ни задумаю, а онъ такъ и стоитъ передъ глазами. И хочу себя переломить, да не могу никакъ. Знаешь-ли ты, меня нынче ночью опять врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.

На словахъ она очень храбрится: — „Что мнѣ только захочется, говорить, то и сдѣлаю, уйду и была такова. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера! Конечно, не дай Богъ этому случиться! А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылѣетъ, такъ не удержатъ меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты лопай рѣкъ“. — А сама, когда мужъ ее убѣждаетъ, требуетъ, чтобы онъ взялъ съ нея какую-нибудь страшную клятву.

— „Какую клятву? — спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.

Катерина. Вотъ какую: чтобы не смѣла я безъ тебя ни подѣ какимъ видомъ ни говорить съ кѣмъ чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать ни о комъ, кромѣ тебя.

Кабановъ. Да на что-жъ это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня.

Кабановъ. Какъ можно за себя ручаться, мало-ль что можетъ въ голову придти.

Катерина (падая на колѣни). Чтобы не видѣть мнѣ ни отца, ни матери! Умереть мнѣ безъ покаянія, если я...

Кабановъ (поднимая ее). Что ты! Что ты! Какой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу!

Но и когда мужъ уѣхалъ, Катерина, конечно, ни за что сама не рѣшилась-бы на рискованный шагъ свиданія съ Борисомъ, совершенно подобно тому, какъ Авдотья Максимовна не позволила-бы Вихореву увести ее, и роль Варвары въ „Грозѣ“, какъ подстрекательницы, совершенно уподобляется роли Арины Фёдоровны въ комедіи „Не въ свои сани не садись“.

Но вотъ роковой шагъ былъ сдѣланъ, Катерина отдалась Борису, и затѣмъ была совершенно подавлена сознаниемъ своего беззаконія. Куда дѣлась прежняя храбрость на словахъ, когда она говорила, что все, что только ей захочется, то она и сдѣлаетъ. Когда-же пріѣхалъ мужъ, она окончательно растерялась, сдѣлалась сама не своя: — „дрожитъ вся, рассказывала о ней Варвара: точно ее лихорадка бьетъ, блѣдная такая, мечется по дому, точно чего ищетъ. Глаза какъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать принялась, такъ и рыдаетъ. На мужа не смѣетъ глазъ поднять. Маленька замѣчать стала, ходитъ да все на нее косится, такъ змѣей и смотритъ; а она отъ этого еще хуже. Просто мука глядѣть-то на нее“!..

При такомъ сокрушенномъ и растерянномъ состояніи духа, понятно, что стоило явиться сумасшедшей баринѣ со своими угрозами геенной огненной, да раздаться громовому удару, да увидѣть Катеринѣ на стѣнѣ изображеніе страшнаго суда, чтобы при всемъ народѣ броситься въ ноги мужу и свекрови и покаяться...

Не будь Кабановой съ ея неумолимымъ и безжалостнымъ тиранствомъ, этою экзальтированную сцену и кончилась-бы драма Катерины: Борисъ уѣхалъ бы, мужъ простилъ-бы свою преступную жену, они помирились-бы и все вошло-бы въ свое русло, подобно тому, какъ Авдотья Максимовна воротилась подѣ защиту и покровительство своего прежняго любезнаго Бородкина, или Даша къ своему раскаявшемуся въ своемъ безпутствѣ мужу. Но Кабанова, усугубивши свое преслѣдованіе невестки, скоро доводитъ ее до той-же отчаянности, какую мы видимъ и въ Надѣ.

Правда, передъ своимъ паденіемъ въ Волгу, Катерина, прощаясь съ Борисомъ, какъ будто отваживается на шагъ еще болѣе рѣшительный и не столь молодужный, какъ самоубійство: она проситъ Бориса взять ее собою. Но, повидимому, это были одни жалкія слова, которыми и сама Катерина не придавала большого значенія, отлично зная, что Борису невозможно взять ее съ собою; она не стала даже и настаивать на своей просьбѣ. Весьма даже вѣроятно, что будь на мѣстѣ разунылаго Бориса разудалый Бударинъ и согласился онъ увести Катерину, она сейчасъ-бы на попятный дворъ, совершенно подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, и наговорила-бы массу очень красивыхъ и чувствительныхъ словъ въ доказательство того, что

и съ милымъ она готова въ огонь и въ воду, но и постылаго Тихона оставить ей нельзя, и кончилось-бы дѣло все тою-же Волгою.

Вотъ, другое дѣло—Варвара. Мнѣ кажется, что Островскій едва-ли не сознательно вывелъ ее въ контрастъ Катеринѣ, и контрастъ этотъ провелъ по всей драмѣ. Но Варвара ведетъ уже насъ въ новую категорію женщинъ Островскаго, которою мы и займемся въ слѣдующей главѣ.

## XI.

Теперь мы будемъ имѣть дѣло съ женщинами, которыя въ обществѣ называются своевольными, своеобычными, а народъ называетъ ихъ бой-дѣвка, бой-баба. Здѣсь мы видимъ полное уже отрѣшеніе отъ всѣхъ родовыхъ завѣтовъ домостроевской старины и широкое развитіе индивидуальности. Женщины этой категоріи уже не вѣшаютъ головы при первой неудачѣ въ жизни, не отдаются пассивно опредѣленію судьбы или волѣ старшихъ; онѣ стремятся самостоятельно и независимо устроить свою судьбу и при своемъ умѣ, ловкости и находчивости всегда успѣваютъ въ этомъ, выходя замужъ непременно за того, кого сами избираютъ; въ дѣвчествѣ это огневая и бѣловыя дѣвушки, съ которыми родители никакъ не могутъ совладать; въ замужествѣ — энергическія и неуныныя хозяйки, держація обыкновенно въ ежовыхъ рукахъ весь домъ, не исключая и своего благовѣрнаго. Старуха Кабанова въ молодости своей навѣрное принадлежала къ этому типу, и Варвара родилась все въ нее.

Варвара—прежде всего натура глубоко реальная, чѣмъ она и отличается радикально отъ Катерины; никакихъ не знаетъ она нервныхъ экзальтацій, страховъ; ни сумасшедшая старуха со своими угрозами, ни громы небесные нисколько ее не смущаютъ. Она и говоритъ то въ пьесѣ мало, разговаривать и высказываться—не въ ея натурѣ; она больше дѣйствуетъ, и посмотрите, какъ энергично: помогаетъ Катеринѣ выдаться съ ея любимымъ, не забывая при этомъ и себя.

Ее обвиняли въ рабской лживости и притворствѣ и ставили ей въ примѣръ Катерину, какъ образецъ прямой и честной натуры. Но лживость и притворство вовсе не представляютъ природныхъ свойствъ Варвары; вѣдь не лжетъ же она и не притворяется ни передъ Катериною, ни передъ Кудряшомъ. Это болѣе ничего съ ея стороны, какъ лишь система дѣйствій по отношенію къ одной Кабановой. Когда Катерина говоритъ, что она обманывать не умѣетъ и скрыть ничего не можетъ, Варвара отвѣчаетъ ей на это:

— Ну, а, вѣдь, безъ этого нельзя; ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ весь домъ на томъ держится. *И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало.*

И еще бы: — „Что за охота сохнуть то, — говоритъ Варвара въ другомъ мѣстѣ: хоть умирай съ тоски, пожалѣютъ, чють, тебя? Какъ же, дождайся. Такъ кака-жъ неволи себя мучить-то!“

Варвара въ этомъ отношеніи представляетъ тотъ переходъ къ дѣвушкамъ разсматриваемой нами кате-

горій, при которомъ у подобныхъ дѣвушекъ не хватаетъ еще мужества открыто заявлять свою волю, да и трудно это было бы передъ Кабановой, по это не вѣшаетъ имъ устроить свою жизнь самостоятельно и по своему, хотя бы и за глазами у старшихъ.

Обратите, между прочимъ, вниманіе и на выборъ Варвары. Это уже не тихій и спротивный паренъ изъ родѣ Грини, и не человекъ, поражающій воображеніе женщины однимъ вѣншимъ досколомъ образованности при полной внутренней несостоятельности, какъ Вихоревъ или Борисъ. Варвара полюбила Кудряша, найдя въ немъ внутреннее, психическое соотвѣстствіе со своею натурою. Стоитъ припомнить первую сцену драмы, діалогъ Кудряша съ Шапкинымъ, чтобы понять, за что Кудряшъ могъ полюбить Варвару; однимъ словомъ, сама удалая, она полюбила и парня еще болѣе удалого, который не робѣлъ и не молчалъ передъ Дикимъ подобно Борису:

— Я грубиянъ считаюсь, — говоритъ онъ Шапкину: за что-жъ онъ меня держитъ? Стало быть я ему нуженъ. Ну, значить, я его и не боюсь, а цунай онъ меня боится.

Шапкинъ. Ужъ будто онъ тебя и не ругаетъ? Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъ этого дышать не можетъ. Да не спускаю и я: онъ—слово, а я—десять; плюнетъ да и пойдетъ. Нѣтъ, ужъ я передъ нимъ работывать не стану.

И вотъ въ то время, когда разумный Борисъ былъ усланъ свирѣлымъ дядюшкою въ Сибирь, а разочарованная Катерина пошла искать правды и утѣшенія въ волнахъ Волги, одна Варвара устроилась благополучно и завоевала то самое счастье, котораго добивалась: она убѣжала съ Кудряшомъ.

Къ числу такихъ-же разбитныхъ и разудалыхъ дѣвушекъ, какъ Варвара, принадлежатъ Груша въ драмѣ „Не такъ жини какъ хочется“. Она все такъ и дышитъ жаждою свободы и веселаго разгула: — „Какъ же, охота мнѣ замужъ! — говоритъ она матери: по тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще замужекъ-то наживусь! Гуляй дѣвка, гуляй я! За мужекъ-то жить трудно! Угождай мужу, да еще какой повернется... Вѣтъ они холостые-то хороши!.. Еде станеть помыкать тобой. А дѣвкамъ намъ житье веселое, каждый день праздникъ, гуляй себя—не хочу! Хочешь работай, хочешь—пѣсни пой!.. А приглянулся кто, развѣ за нами усмотришь? Хитрѣй дѣвокъ народу нѣтъ“...

Агнія въ комедіи „Не все коту маслиница“ представляетъ дальнѣйшую степень въ разсматриваемой нами категоріи. Она не тихонько уже отъ матери устраниваетъ свое счастье, а дѣйствуетъ открыто, безъ малѣйшихъ стѣсненій.

— Вольница ты у меня, говоритъ ей мать: ты его (Ипполита) какъ это поддѣшляла?

Агнія. Очень просто. Шла я какъ-то изъ горюду, онъ меня догналъ и проводилъ меня до дому. Я его поблагодарила.

Круглова. И позвала?

Агнія. Съ какою стати?

Круглова. Какъ-же онъ у насъ объявился?

Агнія. Позвала я его, да послѣ. Сталъ онъ много оконъ ходить разъ по десяти въ день; ну, что хорошаго, лучше ужъ въ домъ поустить. Только слава.

Круглова. Само собой.

Агнія. Все говорить?



Круглова. Да говори ужъ за одно.  
Агнія (равнодушно и грязь орѣхи). Потому онъ мнѣ письмо написалъ съ разными чувствами, только несладко очень...

Круглова. Ну? А ты ему отвѣтила?

Агнія. Отвѣтила, только на словахъ. Зачѣмъ вы, говорю, письма пишете, коли не ужѣте? Коли что вамъ нужно мнѣ сказать, такъ говорите лучше прямо, чѣмъ бумагу-то марать.

Круглова. Только и всего?

Агнія. Только и всего. А то что-же еще?

Круглова. Много очень коли ты забрала.

Агнія. Заприте.

Круглова. Болтай еще...

Въ другой разъ мать застала ее цѣлующуюся съ Ипполитомъ.

Круглова. Что-жъ это такое?

Агнія. Что? Ничего.

Круглова. Какъ ничего? Я своими глазами видѣла, какъ онъ тебя цѣловалъ.

Агнія. Эка важность, поцѣловалъ!

Круглова. По твоему это не важность?

Агнія. Да, конечно. Вотъ кабы укусили, это нехорошо.

Круглова. Ты въ своемъ разумѣ, или рехнувшись? А сражъ, стало быть, ничего?

Агнія. Какой сражъ! Сражъ-то бываетъ у богатыхъ; а мы, какъ ни живи, никому до того дѣла нѣтъ. И хорошо, и худо—все для себя, а не для людей. Хорошо живи—люди не похвалятъ, и дурно живи—никого не удивитъ.

Круглова. Извольте подумать, чѣмъ она занимается!

Агнія. А вы думали, что я все еще въ куклы играю?

Круглова. Потихоньку-то отъ матери...

Агнія. Да я и при васъ, пожалуй.

Круглова. Стыдочку-то, стало быть, немного.

Агнія. На что его нужно, на то онъ есть.

Круглова. А все-таки нехорошо, что мать-то не знаетъ.

Агнія. Знать-то вамъ нечего; еще ничего вѣрнато нѣтъ. Придетъ время, не беспокойтесь, скажемъ; мы этого порядкомъ знаемъ.

Круглова. Съ тобой говорить-то что больше, то хуже. Лучше бросить; а то еще, пожалуй, у тебя сама виновата останешься. А что правда, то правда; не во время вы христосоваться начали.

Агнія. Впередъ зачтите. Конечно, удержать себя можно; да для чего? Молодость-то наша и такъ не красна: чѣмъ ее вспомнить будетъ?

Но и Агнія полюбила Ипполита не слѣпо и беззавѣтно, какой бы онъ ни былъ. У нея такой же идеаль мужа, какъ и у Варвары; она требуетъ, чтобы онъ былъ такой же удамой и смѣлымъ, какъ и она, и когда явнившейся внезапно хозяйнѣ Ипполита Аховъ гонитъ вошь своего племянника, Агнія возмущается, когда видитъ, что Ипполитъ малодушно ретируется, и кричитъ ему вслѣдъ: „стыдно трусить“!—И вслѣдъ затѣмъ у нея является сильная реакція въ ея любви къ Ипполиту.

— Маменька, восклицаетъ она, послѣ визита Ахова,—когда Ипполитъ придетъ, гоните его безъ милосердія.

Круглова. Не Еремла-ли гнать-то?

Агнія. За что его? Онъ чѣмъ виноватъ? Какъ же ему не возноситься, когда ему все покоряется?

Круглова. Ты что ни говори, а мнѣ Ипполита жалко.

Агнія. Чего его жалѣть-то; онъ не маленький. Кабы у него совѣтъ, такъ онъ самъ бы стыдился, что его жалѣютъ. Какого маленького обидѣли! Видѣть его не могу...

Круглова. Что такъ грозно?

Агнія. Ну, будь онъ женатъ, да съ женой здѣекаково бы ей, бѣдной... Не канатомъ онъ съ Еремломъ-то связанъ, бросить да и пошелъ. А я было чуть не полюбила его, плаксу.

Круглова. У тебя, видно, сколько дней въ недѣлѣ, столько и пятницъ. Не успѣла полюбить, да ужъ и разлюбила.

Агнія. Да-таки и разлюбила.

То же самое, еще болѣе рѣзко и прямо, говоритъ она и Ипполиту, когда онъ снова является къ ней. Она встрѣчаетъ его словами, что онъ трусъ и лгушъ еще, что по его характеру денегъ отъ хозяйна онъ не дожидается, а вѣрабе всего, что онъ самъ его прогонитъ, и что человѣка безсовѣтнаго любить нельзя.

Ипполитъ. Хорошо, что вы мнѣ это раньше сказали-съ.

Агнія. А вы не знали?

Ипполитъ. По чѣмъ-же я могу вашу характеръ знать-съ! Обыкновенно у женщинъ больше такое понятіе-съ, что хоть на разбой ходи, только для нея и для дому будь добычинь.

Агнія. Я воробъ не люблю, а другія, какъ хотать—не мое дѣло.

Ипполитъ. Значить, только изъ одного того, чтобы любовь вашу заслужить?

Агнія. Не говорите мнѣ о любви, пожалуйста.

Ипполитъ. Почему же такъ-съ?

Агнія. Я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина?

Ипполитъ. По вашимъ словамъ, я самый ничтожный человѣкъ-съ?..

Агнія. Это ваше дѣло.

Ипполитъ. Ото вѣкъ въ пресаріини.

Агнія. Кто-жъ виноватъ?

Ипполитъ. Замѣте того, чтобы мнѣ отъ васъ угѣшеніе...

Агнія. Васъ стануть бить, какъ мальчишку, а я должна васъ угѣшать! Да съ чего вы выдумали?

Ипполитъ. Кто же меня покажетъ-съ?

Агнія. Мнѣ-то что за дѣло! Схѣяться надъ вами, а не жалѣть.

Ипполитъ. Послѣ этого, ужъ только поминать остается на моемъ мѣстѣ.

Агнія. Конечно, лучше.

Ипполитъ. Стало быть, вы обо мнѣ очень низкаго понятія?

Агнія. Очень.

Ипполитъ. Однако, такой ударъ отъ васъ! Я даже какъ его перенести, не знаю.

Агнія. Очень рада.

Ипполитъ. И никакого, значить, къ чести снисхожденія?

Агнія. И не ждите.

Ипполитъ. Однако-же, влетѣлъ я ловко! Вотъ такъ обманъ для моихъ чувствъ! Ошибаюсь я въ своей жизни...

Агнія (опирая слезы). Не вы ошиблись, я ошиблась. Уйдите, пожалуйста! Уйдите, говорятъ вамъ. Стыдно мнѣ, взрослой дѣвушкѣ, не умѣть людей разбирать. Меня никто не тянулъ къ вамъ.

Ипполитъ. Но позвольте мнѣ въ свое оправданіе...

Агнія. Подите, подите!

Ипполитъ. Но, однако хоть малость пожалѣйте!

Агнія. Послушайте. Пинче-же выпросите себя у хозяйна хорошее жалованье, или отходито отъ него и ищите другое мѣсто! Если вы этого не сдѣлаете, лучше и не знайте мени совѣтъ, и не кажитесь мнѣ на глаза!..

И только тогда Агнія перемѣнила гнѣвъ на милость, когда Ипполитъ явился къ ней съ 15,000 рублей заработаннаго жалованья, которые онъ заставилъ Ахова отдать ему.

Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь въ лицѣ Агнии

тотъ-же типъ смѣлой и удалой дѣвушки, но типъ этотъ стоитъ степенно выше, чѣмъ Варвара и Груша, не только тѣмъ, что Агния дѣйствуетъ уже безъ хитрости, а прямо и открыто, но идеальнѣе у нея опредѣленнѣе, сознательнѣе, шире: она требуетъ отъ мужа не одного забубеннаго удалства, но и честности; презираетъ не однихъ трусовъ, но и воровъ.

Еще болѣе широкіе идеалы мы видимъ у Параша въ комедіи „Горячее сердце“, идеалы, приближающіе ее къ тѣмъ уже женщинамъ, о которыхъ будетъ еще рѣчь у насъ впереди.

Параша находится въ положеніи худшемъ, чѣмъ Варвара: отецъ ея грубый и неотесанный самодуръ, у котораго отъ вѣчнаго сна мысли въ головѣ путаются; вмѣсто матеря злая и распутная мачиха, ненавидящая свою падчерицу. Но дѣвушка въ усь не дуетъ. Съ мачихой она постоянно зубъ за зубъ и открыто ей говоритъ: „Много-ль у насъ волн-то въ нашей жизни, въ дѣвичьей? Много-ли времени я сама своя-то? А то, вѣдь я—все чужая. Молода—такъ отцу съ матерью работница, а выросла, да замужъ отдала—такъ мужнина раба безпрекословная. Такъ отдашь-ли я тебѣ эту волюшку дорогую, короткую? Все, все, отнимите у меня, а волн я не отдамъ... На ножъ пойду за нее“!...

То же говоритъ она и отцу: — „Слушай ты, батюшка! Не часто мнѣ съ тобой говорить приходится, такъ ужъ скажу и тебѣ за разъ. Вы меня, дѣвушку, обидѣли. Враниться мнѣ съ тобой совѣсть не велитъ, а молчать силы нѣтъ; я послѣ хоть годъ буду молчать, а тебѣ вотъ что скажу: не отнимай ты моей воли дорогой, не марай мою честь дѣвичью, не ставь за мной сторожей! Коли и себѣ добра хочу—я сама себя уберегу, а коли вы меня беречь станете... Не уберечь вамъ меня“!..

Пригласился Парашѣ сынъ разорившагося куша, Вася, и влюбилась она въ него ошибкой, заподозрѣвши въ немъ геройство, котораго въ немъ не было ни капли. Вотъ какъ рассказываетъ самъ Вася о томъ, какъ полюбила его Параша:

— „Была вечеринка, только я накануне былъ выпивши, и въ это утро съ тятенькой поборанился, и такъ, знаешь ты, весь день былъ не въ себѣ. Прихожу на вечеринку и сижу молча, ровно какъ я сердитъ или разстроены чѣмъ. Потомъ вдругъ беру гитару, и такъ мнѣ это горько, что я съ родителемъ поборанился, и съ такимъ я чувствомъ зацѣль:

Черной воронъ, что ты пьешься  
Надъ моею головой..

„Потомъ бросилъ гитару и пошелъ домой. Она мнѣ послѣ говорила: „такъ ты мнѣ все сердце и прострѣдилъ насквозь“! Да и что-жъ мудренаго, потому было во мнѣ геройство“.

Но это увлеченіе было недолговѣчно, и уже на первомъ-же свиданіи Параша съ Васей въ комедіи мы видимъ, что въ ней начинается уже разочарованіе въ своемъ любезномъ. — Такъ она уговариваетъ его поспѣшить бракомъ, а онъ отвѣчаетъ ей, что дѣло у него съ тятенькой поразстроилось.

Параша. Знаю. Да, вѣдь, вы живете; значить, жить можно; больше ничего и не надобно.

Вася. Такъ-то такъ..

Параша. Ну такъ что-же? Ты знаешь, въ дѣвнемъ городѣ такой обычай, чтобъ невестъ увозить. Конечно, это дѣлается больше по согласію родителей, а вѣдь, много и безъ согласія увозить: ахъ въ этому привыкли, разговору никакого не будетъ—одна только и бѣда: отецъ пожадуу денегъ не дастъ.

Вася. Ну, вотъ видишь ты!

Параша. А что-жъ за важность, милый ты мой, у тебя руки, у меня руки..

Но Вася продолжаетъ отпихивать и откладывать дѣло въ дальній ящикъ, говоря, что, какъ Богъ дастъ, подученія тоже есть, старше должники; въ Москву тоже надо съѣздить, и выводить, наконецъ, Парашу изъ себя:

— За что-жъ это Господи, наказаніе какое! восклицаетъ она: Что-жъ это за паренъ, что за плакса на меня наваладе! Говоришь-то ты, точно за душу тянешь. Смотришь-то, точно уварилъ что. Ахъ ты меня не любишь, обманываешь? Видишь-то тебѣ тошно, только ты у меня духу отнимаешь. (Хочетъ идти).

Вася. Да поестой, Параша, поестой!

Параша (останавливается). Ну, ну! Надумался, слава Богу! Пора!

Вася. Что-жъ ты такъ въ сердцахъ-то уходишь, нешто такъ продаются? Что ты въ самомъ дѣлѣ! (Обнимаетъ ее).

Параша. Ну, ну, говори. Милый ты мой, милый!

Вася. Когда-жъ мнѣ къ тебѣ еще побывать-то? потолковали бы, право, потолковали..

Параша (отталкиваетъ его). Я думала, ты за дѣломъ. Хуже ты дѣвки; пропадай ты пропадомъ! Видно, мнѣ самой объ своей головѣ думать! Ни-когда-то я, никогда теперь на людей надѣяться не стану. Зарокъ такой себѣ положу. Куда я сама себя опредѣлю, такъ тому и быть. Не на кого, по крайности, мнѣ плаватья будетъ.

Но дѣло приняло совершенно другой оборотъ, когда Васю, пришедшаго къ ней на свиданіе, заподозрили въ покушеніи на воровство и заперли въ острогъ для того, чтобы потомъ сдать не въ зачетъ въ солдаты. Любовь съ прежнею силою разгорѣлась въ сердцѣ дѣвушки; она видѣла въ немъ теперь страдальца изъ-за нея и бѣжала изъ дома, чтобы дѣлать съ нимъ все несчастія.

На свиданіи съ нимъ въ острогѣ она впустила ему непремѣнно сдѣлаться героемъ, не щадя жизни своей. — „Старайся, Вася, старайся!“—говорила она: а ты вотъ что: какъ тебя обучать всему и стануть переводить изъ некрутовъ въ полкъ, въ настоящіе солдаты, ты и проси у самаго главнаго, какой только есть самый главный начальникъ, чтобъ тебя на Кавказъ и прямо чтобъ сейчасъ на страженіе“!

Вася. Зачѣмъ?

Параша. И старайся ты убить больше, какъ можно больше неприятеля. Ничего, ты своей головой не жалѣй.

Вася. А какъ сходи самого..

Параша. Ну, что-жъ: одинъ разъ умереть-то. Но крайности мнѣ будетъ плакать объ чемъ. Настоящее у меня горе-то будетъ, самое снотое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на страженіе и перевести тебя въ гарнизонъ; начнешь ты баловаться.. воровать по огородамъ.. что тогда за жизнь мнѣ будетъ? Самая поелбдяня. Гореть назвать нельзя, и счастья-то не бывало—такъ поелдость одна. Измереть тогда мое сердце, изъ тебя глядя.

Такимъ образомъ, какъ видите, идеаломъ Параша является не просто только удалой и безстрашный паренъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и герой, умирающій за свою родину. И каково-же было ея разочарованіе, когда

этотъ герой пошелъ въ пѣсенники и шуты къ Хлывову, который выкупилъ его изъ рекрутъ.

— Развѣ ты струсилъ?—спрашиваетъ она мнѣ себя отъ негодованія: Отвѣчай! Отвѣчай мнѣ! Струсилъ ты? Обробѣлъ? Такой красивый, такой молодой и струсилъ. Съ бубномъ стоишь! Ха! ха! ха!.. Вотъ когда я обижена. Что я? Что я? Овъ плеснулъ, а я что? Возьмите меня ктонибудь! Я для него только шла, для него горе терпѣла. Я—богатаго купца дочь, солдаткой хотѣла быть, въ казармахъ съ нимъ жить, а онъ!.. Ахъ, прогнанный! Трудно мнѣ.. духу мнѣ.. духу мнѣ надо.. а пить. Вида меня судьба, беда.. а онъ.. а онъ.. добилъ (падаетъ къ Арстарху на руки).

Тогда любовь къ Васѣ окончательно гаснетъ въ ней и Параша избираетъ себѣ другого милаго, прикащика отца—Гаврилу, давно любившаго ее безнадежно и въ которомъ она теперь познала именно такого героя и защитника, какова искала.

— Я прямо буду говорить,—обращается она къ отцу: вотъ какъ мнѣ любъ этотъ человекъ (Вася): когда ты хотѣлъ его въ солдаты отдать, и я тогда хотѣла за него замужъ идти, не болала солдаткой быть. А теперь, когда онъ на волю, когда у меня и деньги, и приданое будетъ, и мѣшать-то намъ никому, теперь-бы я пошла за него, да боюсь, что онъ отъ жены въ плеснуи уйдетъ. И не пойду я за него, хоть осынь ты меня съ ногъ до головы золотомъ. Не умѣлъ онъ меня бранить бѣдную, не возметь и богатаю. А пойду я вотъ за кого (беретъ Гаврилу). Не отдашь ты меня за него, такъ мы убѣжимъ да обвиняемъ. У него ни гроша, у меня столько-же. Это намъ не страшно. У насъ отъ дѣла руки не отвалятся, будемъ хоть по базарамъ гнилыми яблоками торговать, а ужъ въ казачу ни къ кому не попадемъ. А дороже-то для меня всего: я вѣрно знаю, что онъ меня любить будетъ. Одинакъ день я его видѣла, а на всю жизнь душу ему побѣрю.

## XII.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами женщины Островскаго, не исключая и лучшей изъ нихъ, Параша, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ ихъ, имѣютъ между собою то общее, что всецѣло стоятъ на почвѣ эгоизма: всѣ онѣ только о томъ и заботятся, какъ-бы устроить свое личное счастье посредствомъ замужества съ избранныкомъ своего сердца; разъ удастся имъ достигнуть этого, онѣ замыкаются въ свою семейную скорлупку, дѣлаются хорошими хозяйками и матерями, чѣмъ и ограничивается все ихъ заурядное женское призваніе.

Теперь въ заключеніе намъ придется имѣть дѣло съ женщинами высшаго разряда, составляющими лучшее украшеніе и гордость человечества, женщинами, у которыхъ преобладающимъ качествомъ ихъ души является самопожертвованіе.

Женщины подобной категоріи имѣютъ видъ вовсе не какихъ-нибудь величественныхъ героинь и отличаются отнюдь не тѣмъ, что еженеинутно совершаютъ какіе-нибудь громкіе и красивые подвиги. Съ перваго взгляда онѣ ничѣмъ особеннымъ васъ не поразятъ. Такія, повидному, простыя, скромныя, иногда застѣнчиво-робкія. Жизнь ихъ течетъ самымъ зауряднымъ теченіемъ. Но взгляните въ эту жизнь, и вы увидите, что главное содержаніе ея заключается въ томъ, чтобы жертвовать своимъ досугомъ, силами,

если нужно счастьемъ и даже жизнью, для достиженія удобства и счастья ближнихъ, кто-бы эти ближніе ни были: два-три дорогіе человека или все человечество. Интересно знать, думаютъ-ли подобныя женщины хоть одну минуту о себѣ самихъ? Постоянно вы видите ихъ хлопочущими и заботящимися о другихъ. И это дѣлается у нихъ не принципиально, не искусственно, а совершенно инстинктивно, такъ что онѣ и сами этого не замѣчаютъ. Таково ужъ у нихъ любвеобильное сердце; онѣ не могутъ жить безъ того, чтобы не годубить, не дѣлать кого-бы то ни было. Даже и половая любовь является въ ихъ глазахъ сплошнымъ не наслажденіемъ и счастья, а самопожертвованіемъ. Такова, между прочимъ, Марія Андреевна Незабудкина. Дочь бѣднаго чиновника, не получившаго большого образованія, она является передъ нами скромною, безхитростною барышнею дореформеннаго періода, начала 50-хъ годовъ. Она ни о чемъ, повидному, не мечтаетъ, какъ лишь выйти замужъ, ну и, конечно, если возможно, за любимаго человека. Она и любить ужъ молодого, бѣднаго чиновника Мерича, обманываясь въ своей любви и принимая своего возлюбленнаго совсѣмъ не за то, что онъ есть. Но вы видите, что взглядъ у нея на любовь совершенно особенный, какого мы до сихъ поръ не видѣли во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами женщинахъ. „Чего я для него не сдѣлаю!..“ говорить она въ экстазѣ своей страсти: все, все, все!..“ И такъ любить кого-нибудь значитъ быть готову дѣлать для него все. Такой взглядъ Марьи Андреевны на любовь выражается еще опредѣленнѣе, когда разочаровавшись въ Меричѣ, она говоритъ ему:

— Ты любишь? Никогда ты не любишь меня. Я одна любила. Теперь мнѣ поведеніе твое стало ясно. Хоть ужъ и поздно, а я узнала тебя. Господи, Боже мой! И ты смѣешь называть это любовью! Хороша любовь!—не только безъ самопожертвованія, даже безъ увлеченія! На насъ весь судъ, намъ не прощаютъ ничего.. Я къ тебѣ бросаюсь на шею, а ты оглядываешься, не увидѣлъ-бы кто. Ты вспомни хорошия! бывало, ждешь тебя, не дождешься; все глаза проглядншь, а ты придешь, какъ ни въ чемъ не бывало, только развѣ обдумаешь дома, что говорить, да какъ-бы сдѣлать шагъ впередъ.

Разочаровавшись въ Меричѣ, Марья Андреевна жертвуетъ, какъ вѣдѣно, собою и выходитъ замужъ за противнаго ей Веневольскаго, спасая свою мать отъ грозившаго ей разоренія. Но отнюдь не слѣдуетъ свѣивать ее съ тѣми продажными женщинами, о которыхъ мы говорили выше и которыя продаютъ себя ради суетнаго спискація благъ земныхъ. Это была та единственная жертва, которую была способна принести дореформенная женщина, не умѣвшая зарабатывать пропитаніе себѣ и матери какимъ-либо трудомъ. Но принесла такую ужасную жертву, Марья Андреевна не повѣсила голову, не пришла въ отчаяніе, и стала помышлять о самоубійствѣ; у нея оказалось такъ много душевныхъ силъ, что и въ самую страшную минуту жизни жажда самоотверженія не покинула ея и, гордо поднимая голову, она бодро стала глядѣть впередъ.

— Передо мною новый путь,—восторженно говорила она, прощаясь съ Меричемъ; и я его напередъ знаю. У меня еще много впереди для женскаго сердца. Говорятъ, онъ грубъ, необразованъ, вляточникъ; но это, быть можетъ, оттого, что подѣл него

не было порядочнаго человѣка, не было женщины. *Говоритъ, женщина много можетъ сделать, если захочетъ.*—Вотъ моя обязанность. И я чувствую, что во мнѣ есть силы. Я заставляю его любить меня, уважать и слушаться. Наконецъ—дѣти, я буду жить для дѣтей.. Нѣтъ, Владиміръ Васильевичъ, вамъ не видать моихъ страданій. Я не доставлю вамъ удовольствія пожалѣть меня. Какъ-бы ни были обстоятельства, я хочу быть счастливою, хочу, чего-бы мнѣ это ни стоило.

И она навѣрно достигла своего счастья самопожертвованія. Исправить такого негодая, каковъ былъ Беневоленскій, ей, конечно, врядъ-ли удалось. Но, все-таки, она не пролала, и черезъ нѣсколько лѣтъ вышла на тѣ новые пути, какіе открылись для женщинъ, жаждущихъ принести свои силы на пользу ближнихъ.

Но вышла или не вышла Марья Андреевна на эти новые пути, мы встрѣчаемъ у Островскаго и такихъ женщинъ, которыя стоятъ уже на нихъ. Такова Лизавета Ивановна Иванова въ комедіи „Въ чужомъ миру похмѣлье“. Тяжелую ношу несетъ она на своихъ плечахъ, прокармливая и себя, и отца своими трудами, и видъ суроваго подвижничества нѣбѣтъ жизни ея.

— Нѣтъ, ужъ мы очень много трудимся!—говоритъ она въ печальномъ раздумьи; что ни говори, какъ себя ни утѣшай, а тяжело, право, тяжело! Ужъ и не говорю о деньгахъ; не говорю о томъ, что за наши труды намъ платятъ мало; хоть-бы уваженію намъ за нашъ честный трудъ оказывали; такъ и этого нѣтъ. На что ужъ наша хозяйка, и та смотритъ на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ! А всего мнѣ обидѣе, что смѣются надъ нами. Онъ, точно, немного странный, да, вѣдь, онъ всю жизнь провелъ за книгами, его можно извинить. И что въ этомъ смѣшного, что человѣкъ ходитъ въ старой шинели, въ старой шляпѣ? А у насъ такая сторона, чуть не въ глаза хохочутъ. Конечно, это небылицество, съ образованіемъ это пройдетъ; а все-таки тяжело. Вотъ вчера, какъ я шла изъ церкви, какіе-то молодые кучки вѣдухъ смѣялись надъ моимъ салономъ. Гдѣ-же я лучше возьму? Ты-же приносишь людямъ пользу почти безкорыстно, тебѣ-же презираютъ!

Но какъ ни тяжка эта ноша, Лизавета Ивановна не промѣняетъ свою жизнь ни на какую другую, и когда хозяйка предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленнаго въ нее богатаго кучика, она отвѣчаетъ ей:

— „Неужели вы, Графиня Платоновна, до сихъ поръ меня не знаете? Я ни за какія сокровища не захочу терять униженія. Вѣдь, они за каждую копейку выместить оскорбленіемъ; а я не хочу переносить ихъ ни отъ кого. То-ли дѣло, какъ мы живемъ съ нашей? Хоть бѣдно да независимо. Мы никого не трогаемъ и насъ никто не смѣетъ тронуть“.

Такова-же, наконецъ, передъ нами и Лиза въ драмѣ „Пучина“, прокармливающая всю свою семью неуныннымъ и благодарнымъ трудомъ. Не въ ореолѣ недоступнаго совершенства и не на шедеврѣ безукоризненнаго геройства рисуется передъ нами эта великая и святая дѣвушка, а со всеми тѣми искушеніями, какія преслѣдуютъ на каждомъ шагу труженицу, пригвожденную къ швейной машинѣ. Какимъ поразительнымъ реализмомъ является передъ нами въ этомъ отношеніи Островскій, можно судить по слѣдующей сценѣ, въ которой раскрывается передъ нами

вся философія жизни тысячь труженицъ, едва не умирающихъ съ голоду, не смотря на свой неустанный, отупляющій и подтачивающій физическія силы механический трудъ. Когда бабушка Лизы, Анна Устиновна, напоминаетъ ей объ отдыхѣ, Лиза говоритъ:

— Отдыхъ? Нѣтъ, отдыхать некогда, да и нельзя. Анна Устиновна. Отчего-же нельзя?

Лиза. А вотъ отчего: если работать сплотно, день-за-днемъ, такъ работа легче кажется; а если дать себѣ отдыхъ, такъ потомъ трудно приниматься. Послѣ отдыха работа противна становится.

Анна Устиновна. Что ты, что ты! Господь съ тобой!

Лиза. Да, противна. Она и всегда не сладка, да ужъ какъ свѣжнешься съ ней, такъ все-таки легче. Вы думаете, что мнѣ самой погулять не хочется! Вы думаете, что мнѣ не завидно, когда другіе гуляютъ?

Анна Устиновна. Какъ, чай, не завидно.

Лиза. Нѣтъ, нѣтъ. Я васъ знаю. Вы думаете, что я съ радостью работаю, что мнѣ это весело; вы думаете, что я святая. Ахъ, бабушка!

Анна Устиновна. Святая, святая и есть!

Лиза. Скажите-ли вамъ, что у меня на душѣ?

Анна Устиновна. Да что-жъ у тебя, кромѣ ангельскихъ помысловъ?

Лиза. Нѣтъ, лучше не говорить. Скажите, такъ вы испугаетесь.

Анна Устиновна. Ангель хранитель надъ тобой!

Лиза. Ахъ, бабушка, я боюсь, я боюсь...

Анна Устиновна. Чего-же ты, душенька, боишься?

Лиза. Я боюсь, что надоѣдетъ мнѣ работа, опостылѣетъ, тогда я ее брошу...

Анна Устиновна. Поди ко мнѣ, води, дитя мое! Господи, сохрани ее и помидуй!

Лиза. Бабушка, давайте молиться вмѣстѣ! Трудно мнѣ, трудно мнѣ, трудно!

Но не тѣмъ только работа опостылѣла дѣвучкѣ, что была сама по себѣ трудна и томительна, а главное дѣло, что она очень скудно вознаграждалась.

— Вотъ что:—говорила она Погуляеву, принявшему въ ней участіе,—уважите мнѣ работу такую, за которую-бы больше платили. А то, посмотрите, вотъ какая комната, вотъ бабушка, какъ она одѣта у насъ ничего нѣтъ; я работаю, работаю и никакъ изъ нужды не выйду. (Плачетъ).

Погуляевъ. Перестаньте! Давайте потолкуемъ.

Лиза. Я дѣвушка молодая, а взгляните, что на мнѣ! Мнѣ стыдно на улицу выйти. Я не хочу ридиться, мнѣ хоть бѣдное платье, да чтобъ оно было чисто, ново, по мнѣ спитъ. Я хороша собой, молодая—это ужъ, вѣдь, мое; мнѣ хочется, чтобъ и люди видѣли, что я хорошенькая; а у меня сердце замираетъ, какъ я пачну надѣвать эти лохмотья; я только себя уродую. (Плачетъ).

Погуляевъ. Да перестаньте-же, перестаньте! Ахъ, Боже мой! Потолкуемъ такъ, безъ слезъ.

Лиза. Легко вамъ говорить: «безъ слезъ!» Да и что толковать! Намъ, бѣднымъ людямъ, толковать некогда. Вы мнѣ работу дайте! Пусть она будетъ вдвое, втрое труднѣе, только-бы мнѣ денегъ больше выработывать, чтобъ комнату нанять поспѣлѣе, да одѣться почище.

Погуляевъ. Я вамъ найду работу, погодите.

Лиза. Найдите, только поскорѣй. Мнѣ ужъ надола нужда, я выйду изъ силъ. Вели найдете, я вамъ буду очень благодарна.

И неужели пайдется человѣкъ, который рѣшится бросить камень въ подобнаго рода дѣвучку, когда, удрученная благодарною работой, и видя, что со-всѣмъ выбивается изъ силъ, въ отчаяніи она рѣшится свернуть на какую-нибудь страшную дорогу, руко-

востуясь при этомъ чувствомъ самоотверженія, желалъ, чтобы дорогія ей существа хоть сколько-нибудь прибрѣлись. И Лиза была близка къ этому ужасному шагу, если-бы Погуляевъ не предложилъ ей руку и сердце. Но и выходя закужь за него на безпечальное житье, Лиза не покидаетъ своего прежняго пути труда и самопожертвованія.

— А вы меня вмучите такой работѣ,—говоритъ она жениху, за которую много денегъ даютъ?

Погуляевъ. Да зачѣмъ вамъ теперь?

Лиза. А зачѣмъ, чтобы помогать бѣднымъ дѣвушкамъ. Много ихъ въ такомъ положеніи, въ какомъ я была.

Лучше, выше, святѣ этихъ словъ вы не услышите во всѣхъ десяти томахъ сочиненій Островскаго, ни отъ одной изъ 44 героинь его. Здѣсь мы дошли до такой высоты, выше которой современную русскую женщину трудно себѣ представить, и дойдя до такой высоты, мы чувствуемъ, что поднялись на самую вершину горы и пальтъ остается только перевести духъ и положить перо, предоставивши читательницамъ нашимъ самимъ выбирать, на какую изъ всѣхъ рассмотрѣнныхъ нами героинь Островскаго желали-бы онѣ походить.

## АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢВИЧЪ ПУШКИНЪ.

### I.

#### Происхожденіе Пушкина; годы дѣтства и первые проблески дарованія.

1799—1811.

Со стороны отца А. С. Пушкинъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, упоминаемому въ лѣтописяхъ со времени Іоанна Грознаго, причѣмъ съ наибольшимъ уваженіемъ относился поэтъ къ предку своему, Григорію Гавриловичу Пушкину, служившему при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ посломъ въ Польшу, съ титуломъ нижегородскаго намѣстника. Отъ него-то и произошелъ Пушкинъ по прямой линіи.

Мать Пушкина была внучкой Ибрагима Ганнибала, прославленнаго поетомъ „Арапа Петра Великаго“. Но надо замѣтить, что, изъ тщеславія передъ столичною знатью, Пушкинъ слишкомъ разуврасилъ, какъ происхожденіе, такъ и положеніе при дворѣ Петра своего чернаго предка. Пушкинъ рисуетъ его человекомъ въ своемъ родѣ знатнаго происхожденія изъ рода вліятельныхъ абессинскихъ князей; свидѣтельствуемъ о томъ, что, взятый изъ Константинополя, гдѣ онъ былъ аманатомъ, Ибрагимъ былъ препровожденъ къ Петру русскимъ посланникомъ; Петръ его самъ крестилъ, воспиталъ, сдѣлалъ потомъ любимымъ своимъ камердинеромъ и секретаремъ, послалъ за границу, гдѣ, не жалѣя денегъ на его содержаніе, доставилъ ему возможность блистать въ высшемъ парижскомъ обществѣ, а когда онъ вернулся въ Россію, государь выѣхалъ ему на встрѣчу за 28 верстъ. На самомъ-же дѣлѣ Ибрагимъ вмѣстѣ съ нѣсколькими другими арапченками, столь-же темнаго происхожденія, какъ и онъ самъ, былъ выпраденъ изъ константинопольскаго гарема русскимъ посланникомъ и препровожденъ Петру, какъ любителю всякаго рода „курьезовъ“ и „монстровъ“, такъ какъ въ то время было въ большой модѣ у насъ содержать среди дворянъ всякаго рода инородцевъ: араповъ, калыковъ, турчатъ и т. п. Онъ дѣйствительно былъ воспитанъ при дворѣ Петра и затѣмъ посланъ въ Парижъ, гдѣ

записался во французскую инженерную школу, совершилъ походъ въ Испанію, но не только не имѣлъ возможности блистать въ высшемъ обществѣ, а во все время пребыванія за границей проживалъ въ крайней бѣдности. Изъ его писемъ видно, что, назначивъ ему на содержаніе всего двѣсти сорокъ франковъ въ годъ, Петръ часто совсѣмъ забывалъ о существованіи своего арапа и не всегда выплачивалъ аккуратно жалованье его. Но крайней мѣрѣ, въ письмахъ Ибрагимъ постоянно жалуется на крайнюю бѣдность и проситъ „не учинить его отчужденнымъ“ и не дать „пропасть въ ничетѣ“. Изъ Парижа его „выгнали“ въ Россію, „какъ собаку, безъ денегъ“, по его выраженію, и онъ былъ въ такомъ безпомощномъ положеніи, что собирался идти пѣшкомъ, и „если не достанетъ жалованья, то милостыню будетъ просить дорогою“. Возвратился онъ въ свѣтѣ князя В. Л. Долгорукова, который очень имъ тяготился и не хотѣлъ кормить дорогомъ, такъ что Ганнибалъ выражалъ опасеніе, „какъ-бы ему съ голоду не умереть“...

Нраву онъ былъ жестокаго и крутого. Женившись насильно на дочери флотскаго капитана грека Дюпера и заподозривъ жену въ невѣрности, онъ ее безчеловѣчно пыталъ и истязалъ; потомъ, пользуясь связями, выхлопоталъ разводъ, заточилъ жену въ монастырь, а самъ женился на другой, дочери капитана, Хрестинѣ Шебергъ. Отъ этого брака родилось у него шестеро дѣтей: четыре сына и двѣ дочери. Изъ нихъ наиболѣе прославился сынъ Иванъ Абрамовичъ, какъ одинъ изъ участниковъ и героевъ Наваринской битвы и основатель Херсона, гдѣ ему былъ воздвигнутъ памятникъ.

Совсѣмъ иныхъ свойствъ былъ другой сынъ Ибрагима, Осипъ. Служа въ артиллеріи, сначала сухопутной, потомъ морской, онъ отличался пылкимъ темпераментомъ и необузданнымъ нравомъ и до такой степени былъ преданъ всякаго рода дикимъ увлеченіямъ и излишествахъ, что сдѣлался ужасомъ семьи, и отецъ долго не пускалъ его на глаза свои. Женившись затѣмъ на Марьѣ Алексѣевнѣ Пушкиной, онъ скоро развелся съ нею, и въ Псковѣ, служа по выбору, сказавшись вдовцомъ, обвѣнчался, при живой

женѣ, на вдовѣ капитана У. Е. Толстой. Результатомъ этого двоеженства былъ уголовный процессъ, кончившійся тѣмъ, что Осипа Абрамовича высочайшею резолюціей 1784 года развели со второю женою, утвердивши первый бракъ его, сослали на службу въ Средиземное море, а затѣмъ онъ былъ сосланъ на жительство въ свое имѣніе, с. Михайловское, гдѣ и пребывалъ до своей смерти.

Отъ Марьи Алексѣевны у Осипа Абрамовича родилась дочь Надежда. По смерти мужа, Марья Алексѣевна, женщина энергическая, практическая и опытная хозяйка, проживала въ доставшемся ей отъ мужа сельцѣ Кобринѣ (Петерб. губерніи) и, тщательно воспитывая дочь, вывозила ее въ свѣтъ въ самое утонченное высшее петербургское общество, пользуясь положеніемъ и связями дяди ея и крестнаго отца, Ивана Абрамовича. Здѣсь молодая, красивая креолка, избалованная съ дѣтства ласкою и потворствами, капризная, пылкая, властолюбивая, имѣла успѣхъ и между прочимъ плѣнила сердце блиставшаго въ свѣтскихъ кругахъ своимъ утонченнымъ французскимъ образованіемъ гвардейскаго офицера, Сергѣя Львовича Пушкина.

Братья Пушкины—Сергѣй и Василій Львовичи—представляли собою типы передовыхъ дворянъ того времени: писали стихи, знали много умныхъ изреченій и острыхъ словъ изъ стараго и новаго періода французской литературы и смѣло разсуждали, о чемъ угодно, съ голоса французскихъ энциклопедистовъ, послѣдней прочитанной книжки и на лету подхваченнаго сужденія. Василій Львовичъ былъ извѣстенъ въ литературѣ, какъ одинъ изъ арзамасцевъ, принятый въ это общество Жуковскимъ, и какъ авторъ сатиры „Опасный сосѣдь“. Въ теченіи 25 лѣтъ непрерывно вращался онъ въ литературныхъ кружкахъ и умеръ съ книжкою Веранже въ рукахъ. Сергѣй Львовичъ, въ свою очередь, постоянно гонялся за разными знаменитостями, русскими и иностранными. Домъ его въ Москвѣ былъ посѣщаемъ членами того блестящаго литературнаго круга, который въ началѣ столѣтія образовался тамъ около Карамзина; въ числѣ друзей и знакомыхъ дома встрѣчались самыя почтенныя имена того времени—Жуковский, Тургеневъ, Дмитриевъ и проч. вѣстѣ съ именами заѣзжихъ эмигрантовъ, туристовъ, артистовъ и т. п. Вращаясь вѣчно въ свѣтскихъ и литературныхъ кругахъ и веда разсѣянную и чисто праздничную жизнь, братья поражали современниковъ своей крайнею безпечностью. Это были бонвиваны эпохи регентства на подкладкѣ русской распущенности. Въ положеніе своихъ дѣлъ они не вникали, деревенскую жизнь ненавидѣли; домъ ихъ, по словамъ одного очевидца того времени, всегда былъ на изнанку: въ одной комнатѣ богатая, старинная мебель, въ другой—пустыя стѣны или соломенный стулъ; многочисленная, но оборванная и пьяная дворня съ баснословною неопрятностью; ветхіе рыдваны съ тощими клячами и вѣчный недостатокъ во всемъ, начиная отъ денегъ до послѣдняго стакана. Имѣнія-же ихъ находились въ такомъ плачевномъ состояніи, что когда для спасенія Болдина посланъ былъ туда дѣятельный управляющій, онъ бѣжалъ изъ имѣнія, при видѣ страшнаго разоренія крестьянъ, до

котораго они были доведены безпечностью и передовыми стремленіями помѣщика.

Но какова-бы ни была изнанка жизни братьевъ Пушкиныхъ, съ вѣншей стороны они были такъ блестящи, и Сергѣй Львовичъ такъ сужалъ плѣнить стараго наваринскаго героя, Ивана Абрамовича Ганнибала, что тотъ, безъ долгихъ колебаній, рѣшился отдать за него свою племянницу и крестницу, Надежду Осиповну, промолвивъ: „онъ не очень богатъ, но образованъ“.

Послѣ брака и рожденія первой дочери Ольги, Сергѣй Львовичъ, по заведенному тогда порядку, вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Москву на покой. Послѣ того вплоть до нашествія французовъ Пушкины жили попеременно то въ Москвѣ, то въ своей подмосковной деревнѣ, Захарьиномѣ. И вотъ, въ 1799 году, 26 мая, въ четвергъ, въ день Вознесенія Господня, въ Москвѣ, на Молчановкѣ родился у нихъ сынъ Александръ.

До семилѣтняго возраста Пушкинъ не только не представлялъ изъ себя чего-либо замѣчательнаго, но напротивъ того, своею неповоротливостью, тучностью, робостью и неподвижностью приводилъ въ отчаяніе своихъ родителей, и они серьезно опасались даже за его умственные способности. Заставить его бѣгать и играть со сверстниками можно было лишь насильно. Разъ на прогулкѣ онъ незамѣтно отсталъ отъ общества и преспокойно усѣлся посреди улицы. Сидѣлъ онъ такъ до тѣхъ поръ, пока не замѣтилъ, что изъ одного дома кто-то смотритъ на него и смѣется.— „Ну, нечего скалить зубы!“—сказалъ онъ съ досадою и отправился домой.

Когда настоячивыя требованія быть поживѣ пресвосходили мѣру терпѣнія ребенка, онъ убѣгалъ къ бабушкѣ, Марьѣ Алексѣевнѣ Ганнибалъ, зашѣлалъ въ ея корзину и подолгу смотрѣлъ на ея работу. Въ этомъ убѣжищѣ уже никто не тревожилъ его.

Вслѣдствіе этого, ему не пришлось быть любимымъ и балованнымъ сыномъ своей матери. Напротивъ того, Надежда Осиповна выказывала открытое предпочтеніе старшей дочери Ольгѣ и младшему сыну Льву. Это обстоятельство, однако-же, имѣло впоследствии благотворное вліяніе на Пушкина. Неизбалованный въ дѣтствѣ излишними угожденіями, онъ легко переносилъ лишенія и рано привыкъ къ мысли—искать опоры въ самомъ себѣ.

Единственными друзьями его ранняго дѣтства были бабушка Марья Алексѣевна и знаменитая, воспитанная впоследствии, нянюшка Арина Родионовна. Марья Алексѣевна была женщина замѣчательная, бывшая, прошедшая сквозь огонь и воду послѣ разлуки съ своимъ мужемъ и отличавшаяся не только опытностью, но и здравымъ смысломъ. Нянюшка Арина Родионовна, представлявшая изъ себя типъ старинныхъ, преданныхъ барскихъ слугъ, отказавшаяся отъ предлагаемой ей отпусковой за себя и за своихъ родныхъ, поражала знаніемъ народной поэзіи: весь сказочный міръ былъ извѣстенъ ей, и она передавала его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, притяжки не сходили у нея съ языка. Большую часть народныхъ былинъ и пѣсень, которыхъ Пушкинъ такъ много зналъ, слышалъ онъ отъ Арины Родио-

новны. Такимъ образомъ этимъ двумъ женщинамъ обязанъ былъ Пушкинъ наиболее поэтическимъ элементомъ своей музы: въ то время, какъ Анна Родіоновна раскрывала передъ нимъ сокровища народнаго эпоса, Марья Алексѣевна увлекала его своими разсказами о старинѣ и о своихъ молодыхъ, полныхъ приключеніями, годахъ въ исторической мѣрѣ старыхъ дворянскихъ преданій и нравовъ 18-го столѣтія.

На седьмомъ году съ мальчикомъ произошелъ внезапный переворотъ: изъ вялаго и неповоротливаго онъ вдругъ сдѣлался развязнымъ, рѣзвымъ, шаловливымъ. Няню и бабушку, успѣвшую выучить ребенка грамотѣ, сбѣгали, по общему обычаю того времени, иностранные гувернеры и учителя. Кромѣ священника Вѣликова и еще другого, обучавшихъ закону Божию и нѣкоторымъ другимъ наукамъ, всѣ остальные наставники были иностранцы: первымъ былъ французскій эмигрантъ графъ Монфоръ, музыкантъ и живописецъ; потомъ Руссо, хорошо писавшій французскіе стихи; далѣе Шадель и пр. Нѣмецкому языку, нелюбимому Пушкинымъ въ дѣтствѣ, учила г-жа Лоржъ, англійскому — гувернантка миссъ Бели. Былъ еще учитель, нѣмецъ Шилдеръ, обучавшій и русскому языку. Ученіе шло довольно безпорядочно вслѣдствіе частой сѣны преподавателей и не всегда удачнаго выбора ихъ. Обладая счастливою памятью, Пушкинъ выучивалъ уроки, лишь слушал, какъ отвѣчала ихъ его сестра; когда же первая спрашивали его, ему приходилось ограничиваться постыднымъ молчаніемъ. Кромѣ нѣмецкаго языка, недолюбливалъ онъ и арифметику, надъ которою онъ пролил не мало слезъ, и особенно не давалось ему дѣленіе. Зато французскій языкъ, при непрерывномъ упражненіи и въ классахъ, и въ разговорахъ между собою, усвоенъ былъ отлично, и вслѣдствіи Пушкинъ владѣлъ имъ, какъ своимъ роднымъ. Знаменитый графъ Алексѣй Сентъ-При говорилъ, что слогъ французскихъ писемъ Пушкина сдѣлалъ бы честь любому французскому писателю. Но итальянски Пушкинъ выучился также въ дѣтствѣ: отецъ его и дядя отлично знали этотъ языкъ.

Съ 9-го года начала развиваться въ Пушкинѣ страсть къ чтенію, не покидавшая его всю жизнь. Онъ прочелъ сперва Платарха, потомъ Гомера въ переводѣ Виттобе, потомъ приступилъ къ бібліотекѣ своего отца, состоявшей изъ эротическихъ произведеній французскихъ писателей XVIII вѣка, Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ. Сергѣй Львовичъ поддерживалъ въ дѣтихъ это расположеніе къ чтенію и вмѣстѣ съ нимъ читывалъ избранныя сочиненія. Говорятъ, онъ особенно мастерски передавалъ Мольера, котораго зналъ почти наизусть. Напродѣтъ цѣлыя ночи проводилъ Пушкинъ за чтеніемъ всѣхъ книгъ, попадавшихъ ему въ руки.

Къ этому слѣдуетъ присоединить вліяніе тѣхъ литературныхъ и политическихъ разговоровъ, которые неистощимо велись въ гостиной Сергѣя Львовича образованнѣйшими людьми того времени, причѣмъ дѣти въ позволенныхъ безпрятственно присутствовать при этихъ разговорахъ, лишь-бы они не вѣшивались въ рѣчи старшихъ. Наконецъ, въ домѣ устраивали домашніе спектакли и всякаго рода jeux d'esprit, въ которыхъ участвовали и дѣти. Все это вмѣстѣ взятое

сочиненія А. Скалицкаго. — II.

сильно вліяло на умственные способности восприимчиваго и талантливаго ребенка и влекло къ очень раннему развитію ихъ. При такихъ условіяхъ, нѣтъ ничего удивительнаго, что первые опыты въ стихотворствѣ появились у Пушкина очень рано, на 12-мъ году. Началось дѣло, по обыкновенію съ подражаній. „Любимымъ упражненіемъ Пушкина, по словамъ сестры его, сначала было импровизировать маленькія комедіи и самому разыгрывать ихъ передъ сестрою, которая въ этомъ случаѣ составляла публику и произносила свой судъ“. Однажды какъ-то она осмѣлилась его пьеску „Escamoteur“. Онъ не обидѣлся и самъ на себя написалъ слѣдующую эпиграмму:

Dis moi, pourquoi l'Escamoteur  
Est-il sifflé par le parterre?  
Hélas — c'est que le pauvre auteur  
L'escamota de Molière,

т. е. „Скажи, за что партеръ освисталъ моего „Похитителя“? Увы! за то, что бѣдный авторъ похитилъ его у Мольера“. Ознакомившись съ Лафонтеномъ, Пушкинъ сталъ писать басни. Начитавшись Генрияды, онъ задумалъ шуточную поэмку въ стихахъ, содержаніе которой заключалось въ войнѣ между карлами и карлицами во времена Дагобера. Гувернантка похитила тетрадку поэта и отдала Шаделю, жалуясь, что М. Alexandre за подобными вздорами забываетъ о своихъ урокахъ. Шадель расхохотался при первыхъ стихахъ. Раздраженный авторъ тутъ же бросилъ свое произведеніе въ печку. Макаровъ рассказываетъ о стыдѣ и заѣмательствѣ Пушкина, когда въ домѣ графа Вутуринна, вслѣдствіе молвы о поэтическихъ его дарованіяхъ, къ нему приступили всѣ жившія тамъ дѣвушки съ альбомами и просьбами написать что-нибудь. Какой-то господинъ прочелъ русское четверостишіе Пушкина и, для большей торжественности, ударилъ на о. Мальчикъ только успѣлъ сказать „Ah, mon Dieu!“ — и убѣжалъ безъ памяти въ бібліотеку графа, гдѣ долго еще не могъ прийти въ себя.

Къ этому ко всему слѣдуетъ замѣтить, что большинство первыхъ стихотворныхъ опытовъ Пушкина было написано имъ на французскомъ языкѣ, изъ чего можно заключить, что въ эту пору дѣтства роднымъ языкомъ поэта, на которомъ онъ и думалъ, и писалъ, былъ французскій.

## II.

### Лицейскіе годы А. С. Пушкина.

1811 — 1817.

Въ то время какъ въ первые годы своей жизни Пушкинъ тревожилъ родителей своею вялостью и неподвижностью, въ послѣдующіе, наоборотъ, онъ привелъ ихъ къ ослепенію за его будущее неукротимо пылкостью страстнаго темперамента. Напрасно воспитатели, по большей части плохіе, старались обуздать эту вулканическую натуру; добиваясь одного наружнаго повиновенія и употребляя для этой цѣли пошлые и рутинныя мѣры строгости, они не только не достигли никакихъ результатовъ, но встрѣтили въ

мальчикъ отчаянное сопротивленіе, ежеминутно разрушавшее всё ихъ усилія. Къ такому-же отпору приводили увѣщанія и требованія родителей, сопровождаемыя всмычками гнѣва и тщетными угрозами съ ихъ стороны. И вотъ, какъ это всегда бываетъ при подобныхъ обстоятельствахъ, у родителей составилось мнѣніе о сынѣ, какъ о натурѣ вполнѣ извращенной, какъ о вырождкѣ, котораго ожидаетъ самая печальная будущность. Единственную надежду начали они питать на удаленіе его изъ родительскаго дома въ какое-либо закрытое заведеніе, гдѣ могли-бы обуздать его чужіе люди суровыми мѣрами строгости. Долго колебались они между двумя модными въ то время заведеніями: іезуитскимъ коллегіумомъ и частнымъ пансіономъ, устроеннымъ аббатомъ Никодемъ и находившимся въ то время въ вѣдѣніи аббата Макара. Наконецъ, порѣшили въ пользу іезуитскаго коллегіума и отправились уже въ Петербургъ хлопотать о поступленіи сына туда, какъ вдругъ учрежденіе Царскосельскаго лицея совершенно измѣнило планы ихъ. Директоромъ лицея былъ назначенъ В. О. Малиновскій, съ которымъ Серг. Львовъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ. При помощи его, а особенно при содѣйствіи А. П. Тургенева, двѣнадцатилѣтній Пушкинъ былъ принятъ въ числѣ 30 воспитанниковъ, изъ которыхъ долженъ былъ состоять лицей.

По единогласному свидѣтельству всѣхъ знавшихъ внутреннюю жизнь семьи Пушкиныхъ, юноша покладаль родительскій домъ безъ малѣйшихъ сожалѣній; съ своей стороны и семья провожала его холодно, словно сваливая съ плечъ тяжелую обузу. Исключеніе составляла лишь сестра Пушкина, къ которой онъ былъ привязанъ, и лишь съ одной ею прощался онъ съ грустью.

Василій Льв. привезъ племянника въ Петербургъ и держалъ его у себя въ домѣ все время, пока онъ приготовлялся къ экзамену. 12-го августа 1811 года Пушкинъ, вмѣстѣ съ Дельвигомъ, выдержалъ приемный экзаменъ и поступилъ въ лицей; 19-го же октября послѣдовало торжественное открытіе лицея и послѣ того начались лекціи.

На лицей, при его основаніи, возлагали большія надежды, предполагая сдѣлать его образцомъ высшихъ учебныхъ заведеній, поставить на одномъ уровнѣ съ наполеоновскими Lycées и англійскими Colleges. Лучшіе и самыя передовые свѣтила науки и педагоги того времени были избраны преподавателями лицея, каковы А. И. Куницынъ, Л. И. Карцевъ, И. К. Кайдановъ, потомъ А. П. Галичъ и др.

Но быстрее охлажденіе къ дѣлу и распушенность, — эти два неизбѣжныхъ качества, сопровождающія всѣ російскія предпріятія, — не замедлили сказаться и здѣсь. Послѣ смерти, въ 1814 г., перваго директора лицея, В. О. Малиновскаго, лицей безъ малаго два года состоялъ подъ управленіемъ профессоромъ, которые поочередно всгупали въ директорство, мѣшались другъ другу, безирестанно ссорились между собою, и для обузданія ихъ оказалось нужнымъ возвести въ званіе сперва инспектора классовъ, а потомъ и директора, военнаго человѣка арапчевской школы, оставшаго подполковникомъ С. С. Фролова, принявшагося за дѣло круто, чисто по-фельдфебельски, но скоро уво-

леннаго и оставившаго послѣ себя массу шутовскихъ воспоминаній.

Весь этотъ періодъ, до назначенія директоромъ В. А. Энгельгардта, Пушкинъ называетъ временемъ анархіи, а другіе его товарищи — междуцарствіемъ. Преподаватели въ свою очередь, на второй же годъ спустили рукава: Куницынъ началъ ограничиваться требованіемъ буквальной выучки своихъ тетрадей, а его упрекали вообще въ наклонности къ лѣнливому, апатическому существованію. Комановскій, читавшій древніе языки и словесность русскую, въ первый годъ увлекалъ слушателей своими бесѣдами о великихъ образцахъ древности и тщательно поправлялъ ихъ упражненія въ слогѣ, но на второй годъ запилъ и свѣтъ бросилъ преподаваніе. Математикъ Карцевъ, будучи отъ природы юмористомъ и вида общее нерасположеніе къ математикѣ воспитанниковъ, занимался на урокахъ выслушаніемъ лицейскихъ анекдотовъ и остроумною болтовнею. Добродушный и слабый Галичъ, замѣнившій Комановскаго, до такой степени былъ осѣданъ своими воспитанниками, что допускать устройство тайныхъ студенческихъ повоевъ въ отведенной ему въ лицей аудиторіи.

При такихъ порядкахъ воспитанники были вполнѣ предоставлены самимъ себѣ. Учебныя занятія не особенно обременяли ихъ, и знанія, требуемыя по программѣ, достигались легко, а въ случаѣ недостатка, ловко маскировались подставными вопросами и отвѣтами, выбранными съ общаго согласія учителей и учениковъ. У воспитанниковъ, такимъ образомъ, оставалась масса празднаго времени, въ которое они разгуливали свободно по всему лицей и царскосельскому саду, заводя любовныя интрижки съ горничными и крѣпостными актрисами домашняго театра графа Варо. Вас. Толстого. „Наташа“, которой посвящено одно или два лицейскихъ стихотворенія Пушкина, принадлежала къ лицейскимъ нянюшкамъ; пьесы „Къ актрисѣ“ и „Ты не наследница Клеронъ“ обращены къ крѣпостной актрисѣ. Отъ кутежей между собою въ стѣнахъ лицея воспитанники въ старшихъ классахъ переняли къ кутежамъ съ гвардейцами и вообще золотой молодежью, проживавшею лѣтомъ въ Царскомъ Селѣ на дачахъ. Изрѣдка они устраивали школьные бунты и протесты; такъ, они изгнали изъ заведенія инспектора, М. Ст. Пилецкаго-Урбановскаго, ожесточившаго воспитанниковъ своею религіозною навязчивостью, презрительными отзывами о семействахъ своихъ питомцевъ и іезуитскимъ обращеніемъ, скрывавшимъ подъ личиною снисхожденія много жестокости и коварства.

Нужно-ли послѣ того удивиться той малоуспѣшности, которую обнаружилъ Пушкинъ на экзаменахъ, и тому, что въ аттестатѣ его даже по русскому языку значится посредственная оцѣнка? Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы такъ ужъ совѣтъ ничѣмъ и не былъ обязанъ онъ лицей. Кое-что зашло въ голову воспитанниковъ и отъ лекцій Куницына и Комановскаго. Не мало вліянія оказали на нихъ, по свидѣтельству М. А. Корфа, бесѣды учителя французской словесности де-Вужа, брата Марата; онъ весьма способствовалъ къ увеличенію имущественныхъ силъ въ воспитанникахъ, постоянно стараясь приучать ихъ къ отчетливому



представленію и изложенію того, что они слышали, видѣли и что возникало въ ихъ головѣ. — Но наиболѣе обязанъ былъ Пушкинъ лицезъ богатой библіотекѣ, пользованіе которою было предоставлено воспитанникамъ безъ малѣйшихъ ограниченій.

Имѣя массу свободнаго времени и предоставленный вполнѣ самому себѣ, съ жаромъ набросился Пушкинъ на книги лицейской библіотеки; дни и ночи читалъ онъ безъ отдыха, причемъ болѣе всего интересовали его книги по исторіи и французской словесности. Напрасно Дельвингъ старался приохотить его къ научной и нѣмецкой литературѣ; Пушкинъ покинулъ своего товарища на первыхъ попыткахъ ознакомиться съ Клопштокомъ. Товарищи относились къ Пушкину сначала нѣсколько непріязненно, видя его умышленное превосходство надъ ними и замѣчая, что онъ многое прочелъ, о чемъ они и не слыхали, и все, что читалъ, помнилъ. Они прозвали его „французомъ“, за отличное знаніе французскаго языка, что очень оскорбляло юношу въ эпоху войны 1812 года, при всеобщей ненависти ко всему французскому. Не мало въ первое время отталкивало отъ него расположеніе его къ наслѣдникамъ и преслѣдованію непріязненныхъ личностей, доводившее иногда многихъ до дѣтскаго отчаянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилось доверчивое и любящее сердце Пушкина и скромность, заставлявшая его не только не кичиться и не важничать передъ товарищами своими знаніями и талантами, но, напротивъ того, показывать, что все научное онъ не считаетъ ни во что, и мастеръ только бѣгать, прыгать черезъ стулья, бросать мячикъ и проч. При такихъ качествахъ характера, Пушкинъ скоро побѣдилъ непріязнь къ себѣ товарищей и сдѣлался, напротивъ того, душою класса, а затѣмъ коноводомъ литературнаго кружка. Этотъ литературный кружокъ образовался едва ли не тотчасъ по открытіи лицезъ; участниками въ немъ были: Дельвингъ, Илличевскій, Корсаковъ, князь А. М. Горчаковъ, баронъ М. А. Корфъ, С. Г. Ломоносовъ, Д. Н. Масловъ, Н. Г. Ржевскій, В. К. Кюхельбекеръ, М. Л. Яковлевъ. Литературныя занятія кружка заключались во-первыхъ — въ изданіи рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ члены поѣщали свои произведенія, а во-вторыхъ — въ особенной литературной игрѣ. Составивъ одинъ общій кругъ, товарищи обязывали каждого рассказать повѣсть или, по крайней мѣрѣ, начать ее. Въ послѣднемъ случаѣ, слѣдующій за рассказчикомъ принималъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она остановилась, и развивалъ далѣе; третій въ свою очередь продолжалъ ее и т. д., пока повѣсть не приходила къ окончанію. Дельвингъ первенствовалъ въ этой гимнастикѣ воображенія; его никогда нельзя было застать въ распλοхъ: интриги, завязки и развязки были у него всегда готовы. Пушкинъ уступалъ ему въ способности придумывать наскоро пренсшества и часто прибѣгалъ къ хитрости. Разъ изложилъ онъ восхищеннымъ слушателямъ исторію 12 сиящихъ дѣвъ, умолчавъ объ источникѣ, откуда почерпнулъ ее. Тогда же, въ грубыхъ конечно чертахъ, онъ передалъ двѣ повѣсти, имъ самимъ придуманныя: „Метель“ и „Выстрѣлъ“, которыя впоследствии явились въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“.

Подъ вліяніемъ этихъ литературныхъ игръ и за-

нятий кружка, Пушкинъ очень скоро перешелъ отъ французскихъ стиховъ къ русскимъ и на первыхъ порахъ наиболѣе прославился между товарищами своими колкими и мѣткими эпиграммами. Н. О. Кошанскій очень строго отнесся къ первымъ опытамъ своего ученика, старался отратить его отъ попытокъ сочинительства и только позднѣе, убѣдившись въ его талантѣ, съ жаромъ принялся знакомить его съ теоріей словесности и классическими произведеніями древности, но это продолжалось недолго и кончилось съ несчастною болѣзнью наставника, о которой мы выше говорили.

Первые опыты Пушкина, пзвѣстные подъ именемъ „лицейскихъ стихотвореній“, носятъ на себѣ вліяніе всѣхъ тѣхъ писателей, которыми увлекался Пушкинъ въ своемъ отрочествѣ. Изъ русскихъ писателей это были Карамзинъ, Жуковский и, въ особенности, Батюшковъ. Послѣдній производилъ на Пушкина самое сильное впечатлѣніе и былъ главнымъ учителемъ его въ отношеніи пластичности формъ и той тонкой, граціозной, чисто классической гармоніи между содержаніемъ и формами, какою наиболѣе отличался авторъ „Умирающаго Тасса“. Пушкинъ высоко цѣнилъ даже сходство, какое могутъ представлять нѣкоторые изъ собственныхъ его стиховъ съ манерой Батюшкова. Что же касается содержанія лицейскихъ стихотвореній, въ этомъ отношеніи Пушкинъ подчинился вліянію той школы французскихъ анакреонтическихъ писателей, на которой онъ былъ воспитанъ въ родительскомъ домѣ, каковы — Шенье, Шамель, Веран, Грессе, Грекуръ, Парни. Этимъ вліяніемъ обусловливается и тотъ веселый и нѣсколько легкомысленный взглядъ на жизнь, и то обиліе эротическаго и вакхическаго элементовъ, какое мы встрѣчаемъ въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина. Но какъ бы ни были расположены смотрѣть отрицательно на всѣ подобныя бездѣлки люди, требующіе отъ поэзіи серьезнаго содержанія, нельзя отрицать и нѣкоторой доли благотворнаго вліянія, какое оказали вышеупомянутые писатели на характеръ поэзіи Пушкина: они сразу поставили ее на реальную почву изображенія земныхъ, опредѣленныхъ, всѣми осязаемыхъ и каждому знакомыхъ радостей и печалей. Это одно составляло большой шагъ впередъ отъ господствовавшего въ то время въ нашей литературѣ мистическаго романтизма съ его скорбными товленіями — неизвѣстно о чемъ, и порываніями — неизвѣстно куда.

Первое стихотвореніе Пушкина, вышедшее въ свѣтъ, было посланіе къ „Другу Стихотворцу“, напечатанное въ № 13 „Вѣстника Европы“ съ подписью: Александръ Н. К. ш. п. Затѣмъ, въ томъ же году, появились въ томъ же „В. Евр.“, издававшемся Вл. В. Измайловымъ: „Кольна“, „Венерѣ отъ Лансы“, „Опытность и Блаженство“. Но наиболѣе памятный для Пушкина годъ былъ 1815-й. Съ него начинается литературная извѣстность и слава его. Въ этомъ году подъ стихами его уже находимъ полное его имя. О немъ заговорили.

Въ январѣ 1815 года, 4-го и 8-го, въ первый разъ происходило въ лицезъ торжественное публичное исполненіе, на которое нарочно пріѣхали изъ Петербурга многіе важныя государственныя люди и ревнители

просвѣщеніи; между прочимъ присутствовалъ и Державинъ. Вотъ какъ вспоминаетъ Пушкинъ объ этомъ глубоко вѣзавшемся въ его память экзаменѣ: „Державинъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундирѣ и въ плисовыхъ сапогахъ. Экзаменъ нашъ очень его утоилъ: онъ сидѣлъ, поджавши голову рукою; лице его было безмысленно, глаза мутны, губы отвислы. Портретъ его—гдѣ представленъ онъ въ колпакѣ и халатѣ—очень похожъ. Онъ дремалъ до тѣхъ поръ, пока не начался экзаменъ, изъ русской словесности. Тутъ онъ оживился: глаза заблестали, онъ преобразился весь. Разумѣется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Онъ слушалъ съ живостью необыкновенной. Наконецъ, вызвали меня. Я прочелъ мои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“, стоя въ двухъ шагахъ отъ Державина: голосъ мой отрочески зазвенѣлъ, а сердце забилось съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе: не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи, онъ меня требовалъ, хотѣлъ обнять... Меня искали, но не нашли“...

Послѣ этого слухи о появленіи необыкновеннаго таланта не замедлили распространиться по Петербургу. Всѣ дивились. На большомъ обѣдѣ у министра народнаго просвѣщенія, графа Разумовскаго, о Пушкинѣ шелъ общій говоръ. Всѣ предсказывали будущую славу его. Хозяинъ, обратясь къ Сергѣю Львовичу, который находился тутъ-же, замѣтилъ между прочимъ: „Я бы желалъ, однако-жь, образовать сына вашего къ прозѣ“. — „Оставьте его поэтомъ“—возразилъ съ жаромъ Державинъ.

Столь лестные отзывы, понятно, помирили родителей съ ихъ блуднымъ сыномъ. Въ то же время Пушкинъ тогда-же сблизился уже съ первоклассными писателями того времени, Жуковскимъ, Карамзинимъ и Батюшковымъ. Жуковский, бывши въ Москвѣ, получилъ отъ Василія Льва стихи Пушкина „Воспоминанія въ Ц. С.“, отправился къ друзьямъ своимъ и тамъ, читая ихъ вслухъ, останавливался на лучшихъ мѣстахъ и восклицалъ: „вотъ у насъ настоящий поэтъ!“—Лѣтомъ 1815 года, посѣщая часто Царское Село и читая Императрицѣ стихи свои, Жуковский сблизился съ Пушкинымъ и полюбилъ его, какъ родного. Это было время самой громкой славы Жуковскаго. Три изданія „Пѣвца въ станѣ русскихъ вояновъ“ раскупились въ одинъ годъ; „Посланіе къ Имп. Александру“ было принято съ восторгомъ, какъ выраженіе общихъ народныхъ чувствъ. Друзья почили Жуковскаго на рукахъ. Вдовствующая императрица, Марія Осодоровна, весьма благоволила къ нему. И можете себѣ представить, этотъ 32-лѣтній поэтъ, дожившій до полного развитія своего таланта и апогея своей славы, до такой степени сразу былъ увлеченъ гениемъ Пушкина, что ему, 15-лѣтнему мальчику, сидѣвшему на школьной скамейкѣ, нарочно читалъ свои стихи, и если въ слѣдующія свиданія Пушкинъ не вспоминалъ и не повторялъ ихъ, то Жуковский считалъ такіе стихи слабыми и уничтожалъ ихъ или передѣлывалъ. Въ то же время съ вѣжливостью, отеческимъ участіемъ Жуковский радовался блестящимъ успѣхамъ Пушкина, снисходительнѣе къ его увлеченіямъ, прощалъ его заносчивость, берегъ

его, заботился о немъ. Самъ Пушкинъ впоследствии называлъ его своимъ ангеломъ-хранителемъ.

Къ тому-же времени относится и сближеніе Пушкина съ Карамзинимъ. Карамзинъ и прежде уже, будучи знакомъ съ Сергѣемъ Льв. и бывая у нихъ въ домѣ, мелькомъ видѣлъ талантливаго юношу. Въ февралѣ 1816 года онъ привезъ въ Петербургъ къ печати восемь томовъ „Исторіи Госуд. Россійскаго“ и читалъ друзьямъ своимъ посвященіе, которымъ назначается первый томъ исторіи. Пушкинъ присутствовалъ при чтеніи, запомнилъ все и, пришедши домой, записалъ отъ слова до слова, такъ что посвященіе сдѣлалось извѣстно въ лицейскомъ кружкѣ гораздо прежде, чѣмъ было напечатано. Уже тогда Карамзинъ познакомился съ Пушкинымъ ближе и успѣлъ привлечь его къ себѣ ласкою, одобреніями и участіемъ. Но наибольшее сближеніе послѣдовало лѣтомъ въ 1816 году, когда Карамзинъ поселился въ Царскомъ Селѣ. Тамъ, занимаясь продолженіемъ исторіи и печатаніемъ первыхъ ея томовъ, Карамзинъ приглашалъ къ себѣ Пушкина, бесѣдовалъ съ нимъ, и Пушкинъ имѣлъ возможность слушать Исторію Госуд. Рос. изъ устъ самого исторіографа. Пушкинъ горячо полюбилъ Карамзина и все его семейство и сдѣлался у нихъ домашнимъ человѣкомъ. Какъ и Жуковский, Карамзинъ любовался молодымъ поэтомъ, предостерегалъ, удерживалъ, берегъ его и послѣ спасъ въ одну изъ рѣшительныхъ минутъ его жизни.

Къ этому-же періоду относится знакомство и сближеніе Пушкина и съ другими передовыми силами русской литературы того времени, каковы—И. И. Дмитриевъ и Батюшковъ. Съ Дмитриевымъ онъ познакомился черезъ Карамзина; Батюшковъ былъ старый другъ Сергѣя Льв. Наконецъ, тогда-же сблизился съ Пушкинымъ и А. И. Тургеневъ, который до конца жизни оставался съ нимъ въ самыхъ приятельскихъ отношеніяхъ и часто съ нимъ переписывался.

Ранніе и быстрые литературные успѣхи побудили Пушкина еще съ большимъ рвеніемъ и страстностью приняты за развитіе своего поэтическаго таланта. Отбывая кое-какъ школьную науку, неглижируя и лѣняясь, въ то-же время дни и ночи просиживалъ вечера въ своей каморкѣ подъ № 14, бесѣдуя съ музами. Довольно сказать, что въ стѣнахъ лицея онъ успѣлъ написать около ста двадцати стихотвореній и тутъ-же задумалъ и началъ писать первую свою драму „Русланъ и Людмила“.—Но такъ велика была скромность молодого поэта, что и тогда весьма немногіе изъ своихъ стихотвореній онъ рѣшался посылать въ печать, причелъ сердился и выходилъ изъ себя, когда нѣкоторые стихотворенія были печатаемы друзьями, помимо его вѣдома. Даже и впоследствии, вышедши въ 1826 году первое изданіе своихъ произведеній, Пушкинъ изъ 120 лицейскихъ стихотвореній своихъ удостоилъ печати лишь 23 пьесы.

Въ половинѣ мая 1817 года начались въ лицей выпускные экзамены и тянулись 15 дней при шло-численной публикѣ. Поездителямъ предоставлено было задавать лицамъ вопросы, что дало поводъ къ занимательнымъ отвѣтамъ и препіямъ. На экзаменѣ изъ русской словесности Пушкинъ читалъ сочиненное имъ на этотъ случай стихотвореніе „Возвращеніе“.

но отвѣчать плохо и былъ выпущенъ 19-лѣт, съ званіемъ X класса или гвардіи офицера.

### III.

#### Жизнь и дѣятельность А. С. Пушкина въ С.-Петербургѣ.

1818—1830.

Передъ выходомъ изъ лицей, Пушкинъ мечталъ о военной службѣ. Не задолго передъ тѣмъ появившійся Высочайшій указъ предоставлялъ лицейцамъ право опредѣляться прямо въ гвардію офицерами, и 12 товарищей Пушкина тотчасъ-же избрали военное поприще. Жизнь военная и молодому поэту представлялась въ самомъ привлекательномъ видѣ. Уже давно онъ познакомился съ нею въ кругу квартировавшихъ въ Царскомъ Селѣ офицеровъ. Къ тому-же, по вѣдомому, онъ имѣлъ все даннаго для нея: физическая организация его, крѣпкая, мускулистая и гибкая, была чрезвычайно развита гимнастическими упражненіями. Онъ славился, какъ неутомимый ходокъ пѣшкомъ, страстный охотникъ до кунава, фазы, верхолю, и отлично дрался на эскадражахъ, считаясь чуть-ли не первымъ ученикомъ у известнаго учителя Вальвилла. Пушкину хотѣлось поступить въ лейбъ-гусары, и очень знакомый генералъ обѣщалъ ему содѣйствіе, но не удалось полководцу поэту носить военного мундирца. Свиданіе съ отцомъ разстроило все его планы. Сергій Львовичъ въотрѣзъ объявилъ, что не въ состояніи содержать сына въ гусарскомъ полку, и позволилъ ему опредѣлиться въ одинъ изъ пѣхотныхъ полковъ гвардіи, но Пушкинъ не захотѣлъ этого и черезъ 4 дня по выходѣ изъ лицей записался въ министерство иностранныхъ дѣлъ, что вполнѣ соответствовало его склонностямъ: служба эта, будучи номинальною, предоставляла ему много досуга.

Но выходѣ изъ лицей, Пушкинъ снова вернулся подъ родительскій кровъ. Родители его жили теперь уже въ Петербургѣ, а на лѣто уѣзжали въ Псковскую губернію, въ родовое свое село Михайловское. Сюда и пріѣхалъ Пушкинъ съ родными тотчасъ по выпуску изъ лицей. „Вышедъ изъ лицей, говоритъ Пушкинъ въ своихъ запискахъ, я тотчасъ почти уѣхалъ въ псковскую деревню моей матери. Помню, какъ обрадовался я сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и пр., но все это правилое мнѣ не долго. Я любилъ и донынѣ люблю шумъ и толпу“.

Эта страсть къ городской жизни и къ толпѣ, очевидно была унаслѣдована Пушкинымъ отъ своихъ родителей и особенно отъ отца. Сергій Львовичу обязанъ онъ былъ и своимъ тщеславіемъ, страстью тягнуться во чтобы то ни стало въ высокое свѣтское общество. Страсть эта, сгубившая его впоследствии, не замедлила обнаружиться при первыхъ-же шагахъ его въ жизни.

Казалось-бы, что и по умышленнымъ склонностямъ Пушкина, и по средству родителей онъ долженъ былъ вращаться, преимущественно, въ литературной средѣ, тѣмъ болѣе, что въ этой средѣ онъ съ дѣтскихъ лѣтъ былъ принятъ съ участіемъ, лаской и

любовью первыми литературными светилами того времени. Съ перваго шага въ свѣтъ, Пушкинъ очутился въ обществѣ тогдашнихъ литераторовъ, какъ извѣстный и заслуженный его членъ. Онъ почти совсѣмъ не былъ въ положеніи начинающаго. Едва вышелъ онъ изъ лицей, какъ уже осенью 1817 года онъ былъ принятъ въ члены литературнаго общества Арзамасъ, вокругъ котораго группировались все молодые писатели новаго романтическаго направленія, ратовавшіе противъ устарѣлыхъ классиковъ, которые, въ свою очередь, группировались вокругъ московскаго общества „Всѣхъ любителей русскаго слова“ и „Вѣстника Европы“ Каченовскаго. По обычаю арзамасскаго общества всѣмъ членамъ давали особенныя шуточные прозвища, Пушкина называли „сверчкомъ“, потому что, по выраженію одного изъ арзамассцевъ, „въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ Петербурга, спрятанный въ стѣнахъ лицей, прекрасными стихами уже подавалъ онъ отсюда свой звонкій голосъ“. Новый членъ Арзамаса произносилъ, обыкновенно, шуточное похвальное слово какому-либо члену враждебной „Всѣды любителей русскаго слова“. Непозвѣстно, кому произнесъ похвальное слово Пушкинъ при вступленіи своемъ, по ему дозволено было сказать рѣчь свою александрійскими стихами, которые, къ сожалѣнію, не дошли до насъ. Къ несчастью Пушкина, Арзамасъ скоро разсѣялся. Собраніе, въ которое Пушкинъ произнесъ рѣчь свою, было послѣднимъ, такъ какъ члены Арзамаса отозваны были изъ столицы разными обязанностями. Но кромѣ Арзамаса въ Петербургѣ было нѣсколько другихъ литературныхъ обществъ, кружковъ и салоновъ (Общ. любит. словесности, наукъ и художествъ, Общ. соревнователей просвѣщенія и благотворенія, кружокъ А. Н. Оленина, вечера В. А. Жуковскаго), и хотя Пушкинъ не принадлежалъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, однако же слѣдилъ внимательно за ихъ занятіями. На вечерахъ Жуковскаго читалъ онъ пѣсни „Руслана и Людмилы“, подвергая ихъ передѣлкамъ подъ вліяніемъ сужденій и притворовъ друзей. Извѣстно, что послѣ чтенія послѣдней пѣсни Жуковскій подарилъ автору свой портретъ, украшенный надписью: „Ученику отъ побѣжденнаго учителя“. Батюшковъ-же, прочтя посланіе Пушкина къ О. Ф. Юрьеву, сказалъ въ рукахъ листокъ бумаги съ этимъ посланіемъ и протворилъ: „О! какъ сталъ писать этотъ злодѣй“!

Къ этому-же времени относится знакомство Пушкина съ П. А. Катенинымъ, этой благороднѣйшей и замѣчательной личностью того времени. Пушкинъ просто пришелъ въ 1818 году къ Катенину и, подавая ему свою трость, сказалъ: „Я пришелъ къ вамъ, какъ Диогенъ къ Антистену: побей—но выучи!“ — „Ученаго учить—портить!“ отвѣчалъ Катенинъ. Съ тѣхъ поръ дружескія связи не прерывались, и Катенинъ оказывалъ большое вліяніе на Пушкина, какъ знатокъ языковъ и европейскихъ литературъ. Пушкинъ именно Катенину обязанъ осторожностью въ оцѣнкѣ иностранныхъ поэтовъ, умѣньемъ находить свои достоинства въ писателяхъ различныхъ школъ и особенно хладнокровіемъ при жаркихъ спорахъ, скоро возникшихъ у насъ по поводу классицизма и романтизма. Катенинъ, между прочимъ, помиралъ

Пушкина съ кн. Шаховскимъ, приверженцемъ классицизма, и съ актрисой А. М. Колосовой, дебютъ которой Пушкинъ встрѣтилъ злой эпиграммой.

Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ только мелькомъ бывалъ въ литературныхъ кружкахъ и видался со своими друзьями и сотоварищами по перу. Больше-же всего его тянуло въ высшій свѣтъ, гдѣ онъ считалъ неприличнымъ носить званіе литератора и всячески старался, чтобы забыли о томъ, что онъ пишетъ стихи. Связи отца и служба по министерству иностранныхъ дѣлъ открыли Пушкину входъ въ лучшіе дома большого свѣта, каковы были гр. Вутурлинныхъ и Воронцовыхъ, кн. Трубецкихъ, гр. Лаваль, Сушковыхъ и пр. Здѣсь Пушкинъ на первыхъ порахъ съ пылкою страстностью увлекся балами и всѣми великосвѣтскими развлечениями, но большой свѣтъ скоро наскучилъ ему, и онъ кинулся въ вихрь полусвѣта. Страсть къ обществамъ, явнымъ и тайнымъ, различныхъ наименованій, была такъ сильна въ то время, что безпрестанно возникали общества не только литературныя, масонскія, политическія, но эротическія и вакхическія. Таково было, между прочимъ, общество „Зеленой лампы“, основанное Н. В. Всеволожскимъ и у него собиравшееся. Это было оргическое общество, которое въ числѣ различныхъ домашнихъ представленій, какъ изгнаніе Адама и Евы, гибель Содома и Гоморры, устраиваемыхъ имъ въ своихъ засѣданіяхъ, пародировало, между прочимъ, собранія съ парламентскими и масонскими формами, но было посвящено исключительно обсужденію плановъ волокитства, закулисныхъ проказъ и всякаго рода отчаянныхъ шалостей, иногда крайне скандальныхъ, рискованныхъ и опасныхъ; сюда-же входили и кутежи съ богатырскими пари относительно количества выпитыхъ напитковъ и безпрестанныя дуэли изъ-за самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, вродѣ какой-нибудь случайной театральной ссоры.

Пушкинъ присоединился, именно, къ этому обществу великосвѣтскихъ безобразниковъ, и какъ велики были излишества, которымъ онъ предавался въ это время, можно судить по тому, что въ теченіи трехъ лѣтъ онъ два раза лежалъ на краю гроба, въ горячкѣ, именно вълѣдствіе постоянныхъ возбужденій организма, не выдерживавшаго подобнаго богатырскаго разгула. Къ этому нужно принять во вниманіе, что кутежи съ золотою молодежью были не только не по физическимъ силамъ Пушкина, но и не по карману его, и онъ очень нуждался въ деньгахъ. За стихи въ то время еще не платили ему; 700 руб., получаемые имъ на службѣ, были каплею въ морѣ для великосвѣтскихъ кутежей, отецъ-же Пушкина не особенно раскошеливался для молодого повѣсы и выводилъ его изъ себя своею скупостью. Такъ, одинъ современникъ, добрый пріятель Пушкина, рассказывалъ, какъ поэту приходилось упрашивать, чтобы ему купили бывшіе тогда въ модѣ бальные башмаки съ пряжками; Сергій Льв.-же предлагалъ ему свои старыя, павловскіихъ времени. „Мнѣ больно видѣть, говорить Пушкинъ въ одномъ письмѣ къ брату, равнодушіе отца моего къ моему состоянію. Это напоминаетъ мнѣ Петербургъ: когда больной, въ осеннюю грязь или въ трескучіе морозы, и бралъ извозчика отъ Аничкина моста, онъ вѣчно

бранился за 80 копѣекъ, которыхъ, вѣрно-бы, ни ты, ни я не пожалѣлъ для слуги“. Если-же и попадали въ карманъ Пушкина лишнія копѣйки, онъ тотчасъ же ставилъ ее ребромъ съ гениальнымъ безразсудствомъ. Такъ, однажды ему случилось кататься въ лодкѣ, въ обществѣ, въ которомъ находился и отецъ его. Потода стояла тихая, и вода была такъ прозрачна, что видѣлось самое дно. Пушкинъ вынулъ нѣсколько золотыхъ монетъ и одну за другою сталъ бросать въ воду, любуясь паденіемъ и отраженіемъ ихъ въ чистой влагѣ.

И не смотря на то, что скудость денежныхъ средствъ ставила его безпрестанно въ двусмысленныя и неловкія положенія, сильно тревожившія и огорчавшія его, онъ все-таки продолжалъ тинуться къ знати.

«Пушкинъ,—рассказываетъ о немъ одинъ изъ лицейскихъ друзей его—либеральный по своимъ воззрѣніямъ, часто сердилъ меня и вообще всѣхъ насъ тѣмъ, что любилъ, напримѣръ, вертѣться у оркестра, около знати, которая съ покровительственною улыбкою выслушивала его шутки, остроты. Случалось изъ кресель сдѣлать ему знакъ, онъ тотчасъ приближался. Говорили, бывало: «что тебѣ за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ народомъ—ни въ одномъ изъ нихъ ты не найдешь сочувствія». Онъ терпѣливо выслушаетъ, начнетъ щекотать, обнимать, что обыкновенно дѣлалъ, когда невозможно потеряться; потомъ, сморщивъ, Пушкинъ опять съ тогдашними львами».

Надо удивляться, какъ среди этой разсѣянной жизни, исполненной безпрерывныхъ оргій, у Пушкина хватало времени на литературныя работы. Между тѣмъ, оставшіяся послѣ него тетради свидѣтельствуютъ объ упорномъ, усидчивомъ трудѣ, который онъ положилъ на обработку „Руслана и Людмилы“, трудѣ не меньше четырехъ лѣтъ, такъ какъ, задуманная еще на скахляхъ лицей, поэма вышла въ свѣтъ въ 1820 г. Появленіе „Руслана и Людмилы“ произвело сильную сенсацію и въ литературѣ, и въ обществѣ, равносильную внезапному пушечному выстрѣлу среди мертвой тишины или яркому лучу свѣта, загорѣвшемуся среди непроницаемаго мрака. Поэма шла совершенно въ разрѣзъ съ установившимися литературными пріемами и не была похожа ни на что существовавшее въ литературныхъ кружкахъ до того времени. Тутъ и тѣни не было ни того высокопарнаго, чопорнаго тона, съ какимъ передавались сюжеты народнаго эпоса классиками, ни плаксиваго сентиментализма и туманной мечтательности романтиковъ: бездна остроумія, шутовское отношеніе къ сказочному міру, живой и здравый реализмъ, проглядывающій сквозь чудеса, и свободное, простое теченіе разсказа, при безпрестанныхъ отступленіяхъ и неожиданныхъ обращеніяхъ въ постороннимъ предметамъ — все это производило впечатлѣніе неслыханной новизны и, въ то-же время, подкупало своею поэтической обаятельностью. И между тѣмъ, какъ публика на расхватъ покупала поэму, читала и перечитывала ее до заученія наизусть, въ журнальномъ мірѣ поднялся цѣлый сыр-боръ изъ за нея. Затихшіе въ послѣднее время и увидавшіе споры между классиками и романтиками вспыхнули съ новою силою. И между тѣмъ какъ романтики до небесъ расхваливали поэму, приписывая ей рядъ знаменитыхъ предковъ и у себя, и на сторонѣ, сравнивая ее съ „Душенькой“ Богдановича и съ „Обере-

юль\* Виланда, и съ „Неистовымъ Орландомъ\* Ариоста, классики на славянскихъ „Вѣстника Европы\* обратились на нее съ ожесточеніемъ и ужасомъ. „Обратите вниманіе,—писалъ критикъ „Вѣстн. Евр.“,—на новый ужасный предметъ, возникающій среди масса русскаго словесности... Наши поэты начинаютъ пародировать Киршу Данилова... Просвѣщенныя люди предлагать поэму, писанную въ подражаніе „Руслану Лазаревичу“. Критикъ допускаетъ еще собраніе русскихъ сказокъ, какъ собираютъ и безобразная старая монета, но уваженія къ нимъ не признаетъ. Выписавъ сцену Руслана съ головою, критикъ восклицаетъ: „По удовольію меня относительно описанія и позвольте спросить: если-бы въ московское благородное собраніе какъ-нибудь втерся (предположимъ невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ и закричалъ зычнымъ голосомъ: „Здорово, ребята!“ неужели-бы стали такимъ проказникомъ любоваться?... зачѣмъ допускать, чтобы классическія шутки старинны снова появлялись между нами?“ (В. Евр., 1820 г., № XI).

Но въ то время, какъ поэма „Русланъ и Людмила“ произвела такой шумъ въ литературномъ обществѣ, автора ея уже не было въ Петербургѣ, и очень можетъ быть, что успѣху поэмы на половину содействовало именно это обстоятельство. Дѣло въ томъ, что, крайне чуткій ко всему, что окружало его въ жизни того времени, Пушкинъ не могъ остаться глухимъ къ тому броженію, которымъ было исполнено наше высшее общество послѣ войны 1812 года. Не съ одними повѣстями и кутузками сталкивался Пушкинъ въ большомъ свѣтѣ и въ гвардейскихъ кружкахъ. Рядомъ съ такими забубенными людьми, какъ бр. Всеволожекіе или Якубовичъ, Пушкинъ былъ близокъ и съ личностями совсѣмъ иного рода, каковы были Катенинъ, Н. И. Тургеневъ, Чаадаевъ, Раевскій, Пушкинъ и затѣмъ масса людей, горячо увлекавшихся общественными вопросами своего времени. Они были охвачены сѣтью политическихъ кружковъ и тайныхъ обществъ, которые не принимали его въ свои члены, считая слишкомъ легкомысленнымъ и случайнымъ, но въ то-же время вліяли на его образъ мыслей и влечетъ съ тѣмъ возбуждали въ немъ желаніе проникнуть въ эти кружки и сдѣлаться членомъ ихъ. И вотъ, оскорбленный этимъ непризнаніемъ, Пушкинъ вздумалъ составить себѣ самостоятельно видное положеніе между ними и разразился массою политическихъ памфлетовъ и эпиграммъ, которые быстро расходились среди публики, увеличивали его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлали положеніе поэта съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе опаснымъ. Распространившіеся въ обществѣ слухи объ арестѣ и наказаніи его въ тайной канцеляріи еще болѣе подлили масла.

„Мнѣ было 20 лѣтъ въ 1820 г., говоритъ онъ въ одной своей позднѣйшей запискѣ: нѣсколько необдуманныхъ словъ, нѣсколько сатирическихъ стиховъ обратили на меня вниманіе. Разнесся слухъ, что я былъ позванъ въ тайную канцелярію и выслушенъ. Слухъ былъ давно обиходнымъ, когда дошелъ до меня. Я почелъ себя опозореннымъ передъ свѣтомъ, и потерялся, дрожалъ—мнѣ было 20 лѣтъ! Я размышлялъ, не преступитъ-ли мнѣ къ самоубійству, или... Но въ

первомъ случаѣ я самъ-бы способствовалъ къ укрѣпленію едра, который меня безчестилъ; во второмъ я не смыслю никакой обиды, потому что обиды не было; я только совершилъ преступленіе и приношу жертву общественному мнѣнію, которое презираю... Таковы были мои размышленія; я сообщилъ ихъ одному другу, который вполнѣ раздѣлялъ мой взглядъ. Онъ совѣтовалъ мнѣ начать попытку оправданія себя передъ правительствомъ; я понялъ, что это бесполезно. Тогда я рѣшился выказать столько наглости, столько хвастовства и буйства въ моихъ рѣчахъ и въ моихъ сочиненіяхъ, сколько нужно было для того, чтобы понудить правительство обращаться со мною, какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Сибири, какъ возстановленія чести...».

Результатомъ всего этого было то, что въ одинъ прекрасный день Пушкинъ былъ приглашенъ къ тогдашнему петербургскому генералъ-губернатору, гр. Милорадовичу.

Когда привезли Пушкина, говоритъ И. И. Пушкинъ, гр. Милорадовичъ приказываетъ полицеймейстеру ѣхать на его квартиру и опечатать все его бумаги. Пушкинъ, слыша это приказаніе, говоритъ ему: „Графъ! Вы напрасно это дѣлаете. Тамъ не найдете того, чего ищете. Лучше велите дать мнѣ перо и бумагу, я здѣсь же все вамъ напишу“. Милорадовичъ, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнулъ: „Ah! c'est chevaleresque“, и пожалъ ему руку. Пушкинъ сѣлъ, написалъ все контрабандные стихи свои и попросилъ дежурнаго адъютанта отнести ихъ графу въ кабинетъ. Послѣ этого Пушкина отпустили домой и велѣли ждать дальнѣйшаго приказанія. Между тѣмъ Пушкинъ не унимался. Такъ, напримѣръ, вскорѣ послѣ убійства герцога Беррійскаго, онъ въ театрѣ внималъ изъ кармана портретъ Лувеля и показывалъ его своимъ соедѣямъ. Жалобы на него дошли, наконецъ, до царя. Преданіе уверяетъ, будто нѣкоторые предлагали сослать Пушкина въ Соловецкій монастырь. Но государь отвергъ эту строгую мѣру, и такъ какъ Пушкинъ былъ лицезетъ, то онъ обратился за совѣтомъ къ Ангельгардту. Встрѣтившись съ нимъ въ парекосельскомъ саду, Александръ пригласилъ его пройти съ собою.

— „Ангельгардтъ, сказалъ онъ ему: Пушкина надо сослать въ Сибирь. Онъ навелъ на Россію возмутительными стихами; вся молодежь наизусть ихъ читаетъ. Мнѣ правится откровенный его поступокъ съ Милорадовичемъ, но это не исправляетъ дѣла. Ангельгардтъ отвѣчалъ на это:—„Воля вашего величества; но вы мнѣ простите, если и позволю себѣ сказать слово за бывшего моего воспитанника. Въ немъ развивается необыкновенный талантъ, который требуетъ пощадъ. Пушкинъ—теперь уже краемъ современной нашей литературы, а впереди еще болѣе на него надежды. Семка можетъ губительно подействовать на чадый нравъ молодого человека. Я думаю, что великодушіе ваше, государь, лучше вразумитъ его“.

Между тѣмъ, Пушкинъ бросился къ Карамзину, рассказалъ свои обстоятельства, просилъ совѣта и помощи, со слезами на глазахъ выслушалъ дружескіе упреки и наставленія. „Можете-ли вы,—сказалъ Карамзинъ,—покрайней мѣрѣ обѣщать мнѣ, что въ продолженіи года ничего не напишете противнаго правительству? Иначе я выйду лжецомъ, прося за васъ и говоря о вашемъ раскаяніи“. Пушкинъ далъ ему слово и сдержалъ его; не раньше 1821 года прислалъ онъ изъ Вессарабіи, безъ подписи, стихотвореніе „Кипжаль“. И. Я. Чаадаевъ, въ свою очередь, былъ у Карамзина и упрашивалъ его съѣздить къ императрицѣ Маріѣ Осодоровнѣ и къ начальнику Пушкина по

службѣ, гр. Каподистриѣ. По заступничеству Энгельгардта и Баравина могло только смягчить, а не отменить наказаніе. Пушкинъ былъ, собственно говоря, не сосланъ, а лишь переведенъ на службу въ почетный комитетъ о колонистахъ южной Россіи, состоявшій въ вѣдомствѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и находившійся тогда въ Екатеринославѣ. Наскоро собрался онъ въ дорогу, не успѣвъ даже, какъ должно, проститься со своими пріятелями; до Царскаго Села проводили его два товарища, баронъ Дельвишъ и М. Л. Яковлевъ. Родители дали ему надежнаго слугу, человека пожилыхъ лѣтъ, Ништуру; и вотъ 5-го мая 1820 г. Пушкинъ оставилъ Петербургъ.

## IV.

## Пребываніе А. С. Пушкина на югѣ.

1820—1824.

Пушкинъ оставилъ Петербургъ безъ особеннаго унынія. Съ одной стороны, его, какъ 20-ти-лѣтняго юношу, увлекало интересное положеніе страдальца за идею, а съ другой—онъ былъ увѣренъ, что изгнаніе его продолжится недолго. Въ красной рубашкѣ съ опояскою, въ поярковой шляпѣ, скакалъ онъ въ страшную жару на перекладныхъ по такъ-называемому бѣлорусскому тракту (на Могилевъ и Кіевъ). Въ половинѣ мая онъ прѣхалъ въ Екатеринославъ и съ письмомъ отъ гр. Каподистриѣ явился къ своему повому начальнику, Инзову. Не успѣвъ онъ еще оглядѣться въ своей новой обстановкѣ, какъ заболѣлъ; онъ простудился, кушаясь въ Дибирѣ, и схватилъ сильную лихорадку. Положеніе его было очень скверное. Въ полномъ одиночествѣ онъ лежалъ въ скверной избушкѣ на досчатомъ диванчикѣ, небритый, блѣдный, худой. Въ такомъ видѣ застали его петербургскіе знакомые, Раевскіе, прѣзжавшіе черезъ Екатеринославъ на Кавказъ. Николай Николаевичъ Раевскій, ветеранъ 12-го года, командовавшій въ то время 4-мъ корпусомъ первой арміи, по просьбѣ сына своего, принималъ большое участіе въ положеніи больного поэта и рѣшился взять его съ собою на Кавказъ. Инзовъ не сталъ этому пріятствовать и уволилъ своего чиновника въ отпускъ на нѣсколько мѣсяцевъ. Такимъ образомъ Пушкинъ прожилъ въ Екатеринославѣ всего двѣ недѣли, и отъ этого города остался въ его поэтической памяти одинъ только образъ: два скованные разбойника, убѣжавъ изъ екатеринославской тюрьмы, спаслись въ цѣпяхъ впасть по Дибирю. Это происшествіе послужило впоследствии темою для известной поэмы Пушкина „Братья-разбойники“.

Съ Раевскими уѣхали на Кавказъ, кромѣ сына Николая и военнаго доктора Рудыковскаго, двѣ младшія дочери его—Марія и Софья, гувернантка ихъ—миссъ Маттенъ и компаньонка. Нужно-ли говорить о томъ, что эта поѣздка на Кавказъ весьма живоительно подѣйствовала и на тѣло, и на духъ поэта. Онъ выздоровѣлъ отъ своей болѣзни, и въ то-же время кавказская природа сильно подѣйствовала на его воображеніе и дала могучій толчекъ его творчеству. Уже во время этой поѣздки была задумана Пушкинымъ

поэма его „Кавказскій плѣнникъ“ подъ живыми впечатлѣніями кавказскаго края. „Два мѣсяца жить я на Кавказѣ—разсказываетъ Пушкинъ въ письмѣ своемъ къ брату, писанному вскорѣ послѣ возвращенія оттуда,—воды мѣ были очень пухмы и чрезвычайно помогши, особенно сѣрными горячіи; впрочемъ, я кушался и въ теплыхъ кислородныхъ, въ желѣзныхъ и въ кислыхъ холодныхъ. Всѣ эти цѣлебные ключи находятся не въ дальнемъ разстояніи другъ отъ друга, въ послѣднихъ отрасляхъ Кавказскихъ горъ. Жалю, мой другъ, что ты со мною вѣстѣ не видалъ великолѣпную цѣнь этихъ горъ, ледяная ихъ вершина, которая издала на ясной зарѣ кажется странными облаками, разноцвѣтными, радужными; жалю, что не всходилъ со мною на острый вершокъ пятихолмаго Вешту, Манука, Желѣзной горы, Каменной, Завиной“... Но поѣздка на Кавказъ ограничилась имперальными водами: вообще, въ глубь Кавказа Пушкинъ не зашелъ въ тотъ разъ и не видалъ ни Терека, ни Казбека. Въ первыхъ числахъ августа путешественники наши окончили кушанья и отправились на южные берега Крыма, въ Юрзуфъ, гдѣ находилось остальное семейство Раевского. Этотъ перевалъ и трехнедѣльная жизнь въ Юрзуфѣ оставили въ Пушкинѣ лучшія воспоминанія его жизни. Путешествіе окружено было всеміи удобствами—изъ Керчи до Юрзуфа они ѣхали на военномъ бригѣ, отданномъ въ распоряженіе генерала. Здѣсь, въ прелестную южную ночь, расхаживая по палубѣ, Пушкинъ создалъ свою элегію „Погаало дневное свѣтло“.

Въ Юрзуфѣ, очаровательнѣйшемъ уголкѣ южнаго крымскаго берега, вся семья Раевского была въ сборѣ. Здѣсь впервые Пушкинъ увидѣлъ и познакомился съ двумя старшими дочерьми Раевского, Катериною Николаевною, поражающею своимъ твердымъ характеромъ и развитымъ, чисто мужскимъ умомъ, и съ Еленою Николаевною, 16-лѣтнею дѣвушкою, высокою, стройною, съ прекрасными голубыми глазами. Нѣсколько ранѣе, во время поѣздки на Кавказъ, онъ сошелся съ старшимъ сыномъ Раевского, Александромъ, весьма образованнымъ и упрямъ, и очень увлекаемъ этимъ человекомъ. Вообще, онъ очень близко и тѣсно сошелся съ семействомъ Раевского, въ которомъ всѣ его полюбилъ, и въ письмахъ своихъ онъ воспоминаетъ о жизни въ Юрзуфѣ не иначе, какъ съ восторгомъ. „Старшій сынъ его (Раевского),—пишетъ Пушкинъ своему брату—будетъ болѣе, чѣмъ извѣстенъ. Всѣ его дочери—прелесть, старшая—женщина необыкновенная. Судя, былъ-ли я счастливъ: свободная, безпечная жизнь въ кругу много семейства; жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое, полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображенію, горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда—увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевского“... „Въ Юрзуфѣ,—пишетъ Пушкинъ Дельвишу,—жилъ я сидно, кушался въ морѣ и объѣдался виноградомъ. Я тотчасъ привыкъ къ полуденной природѣ и наслаждался ею со всеміи равнодушіемъ и безпечностью неаполитанскаго *lazzaroni*. Я любилъ, проснувшись ночью, слушать шумъ моря и заслушивался цѣлые часы. Въ двухъ шагахъ отъ дома росъ кипарисъ;

каждое утро я посѣщать его и къ нему привязался чувствомъ, исполненнымъ дружбы\*. Къ воспоминаніямъ о жизни въ Юрзуфѣ относится и тотъ женскій образъ, который безпрестанно являлся въ стихахъ Пушкина этого періода и преслѣдуетъ его въ продолженіи трехъ лѣтъ до самой Одессы и тамъ только смѣняется другимъ.

Но не одинъ только наслажденія природою и влюбчивость занимали Пушкина въ это время. Въ домъ наплаась старинная бібліотека, въ которой Пушкинъ тотчасъ отыскалъ сочиненія Вольтера и началъ ихъ перечитывать. Въ то-же время, подъ руководствомъ молодыхъ Раевскихъ, онъ практиковался въ англійскомъ языкѣ, и эта практика состояла въ чтеніи Байрона. Знакомство съ британскими поэтами, бывшими въ то время властителями думъ и сердецъ во всей Европѣ, произвело могучее вліяніе на Пушкина, и не только на его поэтическое творчество, но и на весь образъ жизни и мыслей. Тотъ оппозиціонный задоръ, который повлекъ за собою высылку Пушкина и который до сихъ поръ скорѣе имѣлъ характеръ молодого буйства, чѣмъ какую-либо серьезную идейную подкладку, теперь окрашивается въ цвѣтъ моднаго байронизма. Байронизмъ этотъ на русской почвѣ сразу получилъ совершенно особенный характеръ. Политическая сторона байронизма стояла здѣсь на послѣднемъ планѣ; на первомъ-же было гордое и презрительное отрицаніе всѣхъ традиціонныхъ обычаевъ, приличій и предрасудковъ и стремленіе къ необузданной свободѣ личности въ прозябаніи глубокихъ, сильныхъ и демоническихъ страстей. Поѣздка изъ Юрзуфа въ Каменку, имѣніе Раевскихъ-Давыдовыхъ въ Киевской губерніи, гдѣ Пушкинъ нашелъ цѣлый кружокъ людей, проникнутыхъ байронизмомъ (А. Раевскій, В. Л. Давыдовъ, князь С. Г. Волконскій, В. А. Поджіо), довершила развитіе въ немъ байроновскаго духа. Каменка подчинила себѣ Пушкина тономъ своихъ сужденій о лицахъ и предметахъ, образомъ мышленія, въ ней господствовавшимъ, способомъ относиться къ явленіямъ жизни и людямъ. Ни передъ кѣмъ такъ не старался Пушкинъ блеснуть либерализмомъ, свободой отъ предрасудковъ, смѣлостью выраженій и сужденій, какъ передъ друзьями, оставленными въ Каменкѣ. Можно сказать, что Каменка постоянно носилась передъ его глазами и служила какъ-бы орудіемъ, которое держало его на крайнихъ вершинахъ русско-байроновскаго настроенія.

Между тѣмъ, какъ Пушкинъ путешествовалъ, во вѣнчнемъ положеніи его устроилась новая перемена. Вслѣдствіе болѣзни и отпуска начальника Бессарабской области А. Н. Бахметева, должность его была возложена временно на Инзова, который, переѣхавъ въ Кишиневъ, перевелъ туда и почетный комитетъ о колонистахъ южнаго края. Такимъ образомъ, Пушкину пришлось прибыть изъ Каменки въ Кишиневъ, гдѣ онъ и поселился въ домѣ самого Инзова. Эта новая обстановка совершенно соответствовала байроновскому настроенію Пушкина. Населеніе Кишинева въ ту эпоху было чрезвычайно пестрое и представляло собою картинную смѣсь племенъ, нарѣчій, состояній\*: тутъ встрѣчались на каждомъ шагѣ и еврей, и болгары, и турки, и французы, и итальянцы.

Возстаніе грековъ наполнило городъ значительнымъ количествомъ греческихъ и молдаванскихъ семействъ, бѣжавшихъ отъ смуты своей родины. Присутствіе ихъ сообщило Кишиневу сильный восточный характеръ, въ которомъ европейская образованность и восточное варварство смѣшивались оригинально и живописно. Пестрота, шумъ, разнообразіе и полная распущенность нравовъ тогдашняго Кишинева произвели сильное впечатлѣніе на Пушкина: онъ полюбилъ городъ, воплотивъ соответствовавшій его настроенію духа.

Вмѣшавшись въ эту пеструю толпу, Пушкинъ повелъ жизнь, полную развлеченій, шумныхъ ирришествъ, ухаживаній, ссоръ, дуэлей и всяческихъ приключеній. Не было многочисленнаго собранія или картежной игры, гдѣ-бы не являлся Пушкинъ, нечесанный, небритый, въ молдаванской фескѣ на головѣ, архадукѣ, въ бархатныхъ шароварахъ и съ желѣзною дубинкою въ рукахъ, вообще въ костюмѣ самогъ картиншоваго, безпорядочностию своею приводившаго въ ужасъ чопорныхъ кишиневскихъ чиновниковъ. Безпощадная насмѣшливость, готовность каждую минуту выйти изъ себя и подраться произвели то, что Пушкинъ назвалъ себѣ въ городѣ массу враговъ и недоброжелателей. Солідные и степенные люди смотрѣли на него съ негодованіемъ, какъ на дерзкаго отрицателя всего святаго, какъ на какое-то чудовище. Распространилось даже среди общества шуточное прозвище, данное Пушкину какимъ-то острякомъ—бѣсъ арабскій (каламбуръ—на слово бессарабскій). Послѣ-же двухъ дуэлей (съ З. изъ за картъ и съ Старовымъ изъ-за того, что танцовать,—вальсъ или мазурку) и дикаго скандала съ молдаванкою Балшемъ, Пушкина положительно стали бояться въ городѣ, какъ бретера и скандалиста. Между тѣмъ добрый и мягкій Инзовъ относился къ своему невозможному подчиненному чисто по-отечески. Онъ журилъ его послѣ каждой шалости, наказывалъ арестами, причемъ приставлялъ даже солдатъ къ его квартирѣ, или-же посылалъ въ командировки. Такъ, во второй половинѣ 1822 года, послѣ одной буйной картежной ссоры, во время которой Пушкинъ, сдвинувъ сапогъ, ударилъ противника каблучкомъ въ лицо, онъ былъ посланъ въ Измаиль, и во время этой, именно, поѣздки Пушкинъ, встрѣтивъ на дорогѣ цыганскій таборъ, присталъ къ нему и нѣсколько времени кочевалъ вмѣстѣ съ нимъ.

Около трехъ лѣтъ прожилъ Пушкинъ въ Кишиневѣ такою жизнью, отлучаясь очень часто то въ Киевъ и Каменку, то въ Одессу и степи. 28 мая 1823 г. Инзовъ сдалъ должность новороссійскаго генералъ-губернатора новоду начальнику, М. С. Воронцову. Тогда-же было соединено въ одной власти и управленіе Бессарабіей, административнымъ центромъ сдѣлалась Одесса, куда переѣхалъ и Пушкинъ, зачисленный въ канцелярію генералъ-губернатора. Сначала Пушкинъ былъ очень радъ этому переводу. Его манила жизнь въ Одессѣ, шумномъ приморскомъ городѣ съ итальянской оперой, богатыми и образованными кулечествомъ, русскими и иностранными путешественниками, наконецъ съ молодыми, способными чиновниками, прибывшими въ край, по выбору Воронцова. Все это сулило Пушкину много новыхъ развле-

ченій, занятій и связей, какихъ Кишиневъ, потерявшій значеніе административнаго центра, не могъ уже дать. Но молодому поэту вскорѣ пришлось горько разочароваться. Оказалось, что здѣсь не могло быть и помина о той свободѣ, простотѣ и фамильярности отношеній къ службѣ, какія существовали въ Кишиневѣ. Новый начальникъ съ блестящей свитой чиновниковъ и адъютантовъ сразу поставилъ себя центромъ управляемой страны. Только-что приобретенный край впервые увидалъ власть со всѣми атрибутами блеска, могущества и стойкости. Отъ подчиненныхъ прежде всего теперь требовались бюрократическая „порядочность“ въ образѣ мыслей, наружное приличіе въ формахъ жизни и преданность къ службѣ, олицетворяемой главой управления. Пушкинъ, очевидно, не могъ удовлетворить всѣмъ этимъ новымъ требованиямъ и въ то-же время видѣлъ, что тысяча глазъ слѣдятъ за его словами и поступками изъ одного побужденія—наблюдать явленіе, неподходящее къ общему строю; онъ терлся въ этомъ мірѣ приличія, вѣжливаго, дружелюбнаго коварства и холоднаго презрѣнія ко всѣмъ его взысканьямъ, хотя-бы и подсказаннымъ благороднымъ движеніемъ сердца. Онъ пытался сначала принорочиться къ новой сферѣ: обстригся, причислился, приѣхалъ; но этого было мало; по существу онъ оставался все тѣмъ-же страстнымъ, увлекающимся и необузданнымъ, а не ревностнымъ и подтанутымъ бюрократомъ, какинъ его хотѣли видѣть. Известно враждебное отношеніе Пушкина къ командировкѣ, сдѣланной ему Воронцовымъ—ислѣдовать саранчу въ южныхъ стѣнахъ Новороссіи. Командировка придумана была Воронцовымъ съ цѣлью представить Пушкину случай отличиться по службѣ и обратить на себя вниманіе петербургской администраціи, а Пушкинъ принялъ порученіе это за желаніе насмѣяться надъ нимъ, и всѣмъ извѣстенъ тотъ шуточный развортъ въ стихахъ о саранчѣ, который былъ представленъ Пушкинымъ своему начальнику вѣсто дѣловой бумаги. Больше всего оскорбляло самолюбіе Пушкина то обстоятельство, что и Воронцовъ, и его подчиненные совершенно игнорировали въ немъ поэта, а смотрѣли лишь, какъ на чиновника. И вотъ, кончилось дѣло тѣмъ, что Пушкинъ, долго сдерживая свое негодованіе, разразился, наконецъ, въ одесскомъ обществѣ потокомъ и прозаическихъ, и стихотворныхъ сарказмовъ противъ своего начальника. Сарказмы эти не замедлили дойти до ушей Воронцова, и результатомъ всего этого было то, что 23 марта 1824 года гр. Воронцовъ обратился къ управляющему министерства дѣлъ, гр. Нессельроде, прося его доложить государю о необходимости отозвать Пушкина изъ Одессы. Въ началѣ письма, гр. Воронцовъ говоритъ, что, вставъ уже Пушкина въ Одессѣ, при своемъ прибытіи въ городъ, онъ съ тѣхъ поръ не имѣлъ причинъ жаловаться на него, а напротивъ, обязанъ сказать, что замѣчаетъ въ немъ стараніе показать скромность и воздержность, какихъ въ немъ, говорить, никогда не было прежде. Если теперь онъ ходатайствуетъ объ его отозваніи, то единственно изъ участія къ молодому человѣку не безъ таланта и изъ желанія спасти его отъ слѣдствія главнаго его порока—самолюбія.

«Здѣсь есть много людей, пишетъ гр. Воронцовъ; а съ эпохой морскихъ купаній число ихъ еще увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзіи, стараются показать дружеское участіе непопулярнымъ восхваленіемъ его и оказываютъ ему черезъ то вражескую услугу, ибо способствуютъ къ затѣнью его головы и признанію себя отличнымъ писателемъ, между тѣмъ какъ онъ, въ сущности, только слабый подражатель не совсемъ поттеннаго образца—лорда Байрона—и единственно трудомъ и долгимъ изученіемъ истинно великихъ классическихъ поэтовъ могъ бы оплодотворить свои счастливыя способности, въ которыхъ ему невозможно отказать... Вотъ почему необходимо извлечь его изъ Одессы. Переводъ снова въ Кишиневъ къ генералу Инзову не пособилъ бы ничему—Пушкинъ все-таки остался бы въ Одессѣ, но ужъ безъ наблюденія, да и въ Кишиневѣ онъ нашель бы еще между молодыми греками и болгарами довольно много дурныхъ примѣровъ. Только въ какой-либо губерніи могъ бы онъ найти менѣе опасное общество и болѣе времени для усовершенствованія своего возникающаго таланта и избавиться отъ вредныхъ вліяній дести и отъ заравительныхъ крайнихъ и опасныхъ идей».

Въ концѣ же письма гр. Воронцовъ выражаетъ твердую надежду, что настоящее его представленіе не будетъ принято въ смыслѣ осужденія или порицанія Пушкина.

Но не успѣло это письмо дойти до Петербурга, какъ о Пушкинѣ возникло новое дѣло. Не задолго до того поэтъ написалъ одному другу письмо, въ которомъ находились между прочимъ слѣдующія строки:

«Читаю библію, святой духъ иногда мнѣ по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я дѣлаю? Пишу поэтрыя строфы романтической поэмы и беру уроки чистаго атеизма. Здѣсь англичанинъ—глухой философъ и единственный умный асей, котораго я еще петрѣтилъ. Онъ написалъ листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души. Система не столь угнѣнительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе чѣмъ правдоподобная».

Письмо это было перехвачено на почтѣ и какинъ-то образомъ распространилось въ спискахъ по Москвѣ. Можно себѣ представить, въ какомъ негодованіи привело оно тогдашнее мистическое начальство. И вотъ, 11-го іюля 1824 года, отъ гр. Нессельроде послѣдовала гр. Воронцову въ отвѣтъ на его письмо слѣдующая бумага:

«Графъ! Я подавалъ на разсмотрѣніе императора письма, которыя В. Сіадъ придала мнѣ по поводу кол. секр. Пушкина. Его Величество вполне согласился съ вашимъ предположеніемъ объ удаленіи его изъ Одессы, послѣ разсмотрѣнія тѣхъ основательныхъ доводовъ, на которыхъ вы основываете ваше предположеніе, и подтвержденныхъ въ это время другими свѣдѣніями, полученными Его Величествомъ объ этомъ молодомъ человѣкѣ. Все доказываетъ, къ несчастію, что онъ слишкомъ проникъ предими началами, такъ пагубно выразившимися при первомъ вступленіи его на общественное поприще. Вы убѣдитесь въ этомъ изъ приложеннаго при семъ письма. Его Величество поручилъ мнѣ переслать его вамъ; объ немъ узнала московская полиція, потому что оно ходило изъ рукъ въ руки и получило всеобщую извѣстность. Вслѣдствіе этого, Его Величество, въ видахъ законнаго наказанія, приказалъ мнѣ исключить его изъ списковъ чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ за дурное поведеніе; впрочемъ, Его Величество не соглашается оставить его



совершенно безъ надзора, на томъ основаніи, что пользуясь своимъ независимымъ положеніемъ, онъ будетъ, безъ сомнѣнія, все болѣе и болѣе распространять тѣ вредныя идеи, которыхъ онъ держится, и вынудить начальство употребить противъ него самыя строгія мѣры. Чтобы отдалить, по возможности, такія послѣдствія, императоръ думаетъ, что въ этомъ случаѣ нельзя ограничиться только его отставкою, но находить необходимымъ удалить его въ мѣстныя родители, въ Псковскую губернію, подъ надзоръ мѣстнаго начальства. В. Сизъ не замедлитъ сообщить Пушкину это рѣшеніе, которое онъ долженъ исполнить въ точности, и отправить его безъ отлагательства въ Псковъ, снабдивъ прогонными деньгами».

Гр. Воронцовъ получилъ это предписаніе въ Крыму, гдѣ путешествовалъ и былъ въ это время боленъ лихорадкой. По его приказанію, правитель дѣлъ его походной канцеляріи А. И. Левшинъ передалъ исполненіе высочайшей воли относительно Пушкина тогдашнему градоначальнику Одессы, гр. А. Д. Гурьеву. Такъ кончилась годичная служба Пушкина въ свѣтѣ гр. Воронцова.

Но было бы ошибочно думать, что всѣ эти вышеизложенныя мытарства и приключенія совершенно почернѣвали жизнь Пушкина на югѣ. По совершенно справедливому и единодушному замѣчанію всѣхъ биографовъ, Пушкинъ постоянно жилъ какою-то двойною жизнью, точно какъ будто въ немъ подъ одною тѣлесною оболочкою были соединены два человѣка, несколько не похожіе другъ на друга, и въ то время какъ одинъ Пушкинъ, — заносчивый, высокомерный и тщеславный денди, задорный бретеръ, игрокъ и волонитъ, — прожигалъ жизнь въ непрестанныхъ оргіяхъ, другой Пушкинъ, скромный и даже застѣнчивый, съ нѣжною и любящею душою, поражалъ усидчивостью и плодотворностью своей умственной дѣятельности. Можно положительно сказать, что онъ пожиралъ всѣ книги, какія только попадались ему на глаза и въ Кіевѣ — у Раевскихъ, и въ Каменкѣ — у Давыдовыхъ, и въ Кишиневѣ — у Изова, у Орлова, Пущина, И. П. Липранди. Не ограничиваясь однимъ чтеніемъ, онъ дѣлалъ большія выписки изъ книгъ. Въ то же время онъ собиралъ народныя пѣсни, легенды, этнографическіе документы. Подъ конецъ же пребыванія на югѣ страсть къ собранію книгъ развилась у него до такой степени, что онъ сравнилъ себя со стеклянникомъ, разоряющимся на покупку необходимыхъ ему алмазовъ. Большая часть его денегъ уходила этимъ путемъ, и превосходная бібліотека, оставленная имъ послѣ смерти, свидѣтельствуетъ о разнообразіи и основательности его чтенія. Между прочимъ, онъ успѣлъ выучиться на югѣ по-англійски и довершилъ знаніе итальянскаго языка. Съ жадностью слѣдилъ онъ за ходомъ греческаго возрожденія и велъ даже журналъ событіямъ его. — Не ограничиваясь одними книгами, Пушкинъ, по словамъ И. П. Липранди, прибѣгалъ даже къ хитрости для пополненія недостающихъ ему свѣдѣній: онъ искусственно возбуждалъ споры о предметахъ, его интересовавшихъ, у людей болѣе въ нихъ компетентныхъ, чѣмъ онъ самъ, и затѣмъ пользовался указами спора для пріобрѣтенія нужныхъ ему сочиненій.

Какъ плодотворно, въ то же время, было его творчество, можно судить по тому, что въ продолженіи

четырехъ лѣтъ жизни его на югѣ были написаны имъ, кромя массы лирическихъ стихотвореній, всѣ поэмы его байроновскаго стила: въ 1821 г. — „Кавказскій плѣнникъ“ и „Братья разбойники“, въ 1822-мъ — „Бахчисарайскій фонтанъ“, въ 1824-мъ — „Цыганы“; радомъ со всѣмъ этимъ въ 1823-мъ году была уже написана имъ первая глава „Евгенія Онегина“. Сверхъ того, по черновымъ тетрадамъ, оставшимся послѣ Пушкина, можно судить, что въ разгарѣ своего байроновскаго свободомыслія онъ задумывалъ политическую трагедію „Вадимъ“, предполагая написать картину заговора и возстанія „славянскихъ племенъ“ противъ иноплемennаго ига, напомнить именемъ Вадима извѣстную трагедію Килкинина, удостоенную официального преслѣдованія въ прошлое столѣтіе, и наконецъ открыть эру мужественныхъ Альфіеровскихъ трагедій въ русской литературѣ, на мѣсто любовныхъ классическихъ, которыя въ ней господствовали. Все содержаніе новой трагедіи должно было вертѣться около движенія народныхъ массъ и служить апоэозой гражданскимъ доблестямъ ихъ руководителя Вадима, причемъ и „славянскія племена“, и „иноплемennики“ составляли только весьма прозрачную аллегорію, за которой легко было разобрать настоящихъ дѣятелей и настоящихъ враговъ, подразумеваемыхъ трагедіей. Тѣ же черновыя тетради свидѣтельствуютъ, что тогда же Пушкинъ началъ было писать сатирическую поэму, дѣйствіе которой должно было происходить въ аду, при дворѣ сатаны. Наконецъ въ 1822 году слѣдуетъ отнести и ту рукописную поэму, которая была павѣяна, очевидно, чтеніемъ Вольтера и впоследствии доставила ему не мало рискованій, навлекши неурядицы со стороны духовенства.

Находясь подъ вліяніемъ Байрона и Ал. Шенье, увлекался въ то же время Овидіемъ и сравнивая свою участь съ участью древняго изгнанника, сосланнаго на тѣ же самые берега Дуная, — въ то же время Пушкинъ и самъ не замѣчалъ, какъ изъ него вырабатывался совершенно самобытный народный русскій художникъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ съ каждымъ новымъ произведеніемъ болѣе и болѣе проглядывало совершенно новое направленіе, о которомъ въ то время никто еще не помышлялъ у насъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ друзья и приверженцы Пушкина ставили его во главѣ русскаго романтизма, въ то время какъ Пушкинъ въ горячей перепискѣ съ друзьями (Востужевымъ, Рылѣвымъ, Дельвигомъ, кн. Вяземскимъ), разсуждая о животрепещущихъ литературныхъ вопросахъ того времени и о задачахъ критики, путался въ опредѣленіи того самаго романтизма, во главѣ котораго его ставилъ, никому и въ голову не приходило, что вовсе не романтизмъ составляетъ главную силу и достоинство новыхъ произведеній Пушкина, а ихъ непосредственная, органическая связь съ окружающею поэта жизнью. По слову реализма не было еще въ то время произнесено въ нашей литературѣ.

И дѣйствительно, все то обновленіе, которое внесъ Пушкинъ въ нашу литературу, и весь переворотъ, который онъ произвелъ, главнымъ образомъ заключались въ томъ, что, по самому существу своему, Пуш-

книги обладали глубоко реальнымъ чутьемъ. Съ самыхъ первыхъ своихъ шаговъ, съ лицейскихъ стихотворений уже, онъ творитъ, по большей части, подъ непосредственнымъ внушеніемъ впечатлѣній жизни. То же самое мы видимъ и во второмъ періодѣ его литературной дѣятельности—байроническомъ. И здѣсь живыя впечатлѣнія постоянно берутъ перевѣсъ, вътѣвняютъ чуждыя, заимствованныя вѣлія, и этихъ живыхъ впечатлѣній обязанъ быть Пушкинъ лучшимъ, что только создано имъ въ этотъ періодъ. Слѣди за его жизнью въ связи съ творчествомъ, вы видите, какъ сама жизнь непосредственно внушаетъ ему его созданія: подъ впечатлѣніемъ Кавказа является „Кавказскій плѣнникъ“; Крыму быть обязанъ Пушкинъ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“; побѣдкой въ Измаилѣ обусловливается поэма „Цыганы“. — Обратите затѣмъ вниманіе на то, что является лучшимъ, наиболее художественнымъ и обаятельнымъ во всѣхъ этихъ поэмахъ. Конечно, не характеры героевъ, безцвѣтные и отвлеченные, внушенные вліяніемъ Байрона, а живыя картины мѣстной природы и быта. До такой степени тогда уже реализмъ составлялъ главную суть его гениа, что каждый разъ, когда онъ сходилъ съ реальной почвы, онъ начиналъ мучиться въ тщетныхъ усиліяхъ создать что либо, и творчество покидало его. Этимъ и объясняются неудачи его создать трагедію „Вадимъ“, сатирическую поэму изъ адыгейской жизни; наконецъ, извѣстно, что и поэму „Братья-Разбойники“ Пушкинъ не кончилъ и сжегъ, и то, что мы имѣемъ подъ этимъ названіемъ, составляетъ лишь отрывокъ, случайно уцѣлѣвшій у Н. Н. Раевского. Все это Пушкину не удалось именно потому, что здѣсь онъ не имѣлъ живыхъ красокъ, непосредственно навѣянныхъ дѣйствительностью, и долженъ былъ создавать отвлеченно. Въ „Евгеніи Онегинѣ“ же онъ сознательно уже становится на реальную почву. Когда появилась первая глава романа еще въ рукописи, друзья Пушкина увидѣли въ ней подражаніе байроновскому Донъ-Жуану; но Пушкинъ съ жаромъ возсталъ на это мнѣніе, возражая, что ничего нѣтъ общаго между Онегинымъ и Донъ-Жуаномъ; что у него и въ помысленіи не имѣлась байроновская сатира; что первая глава романа есть не болѣе, какъ вступленіе, которымъ онъ остается доволенъ, что слѣдуетъ ожидать другихъ главъ, того, что будетъ далѣе, а далѣе, конечно, и тогда уже носились передъ его глазами картины русской жизни, со всѣми ея особенностями.

Наконецъ, къ этому же періоду жизни Пушкина относится впервые возникшее въ немъ сознаніе, что онъ можетъ существовать безъ службы, безъ покровительства властей и посторонней поддержки, однимъ своимъ литературнымъ трудомъ. До тѣхъ поръ стихи давали ему очень мало денегъ. „Русланъ“ и „Кавказскій плѣнникъ“ оставили его съ пустыми руками. Издатель послѣдняго, П. И. Губячъ, раздѣляемъ съ Пушкинымъ тѣмъ, что прислалъ ему 500 р. асс. и одинъ экземпляръ поэмы. Не то было съ „Бахчисарайскимъ фонтаномъ“. Изданіе его привалъ на себя ип. П. А. Виземскій, предиславшій ему, какъ извѣстно, свое остроумное предисловіе и вскорѣ послѣ выхода книжки отправившій къ Пушкину въ Одессу

3,000 р. асс., да и то, какъ кажется, этихъ не ограичившійся.

## V.

## А. С. Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ.

1824—1826.

Пушкинъ выѣхалъ изъ Одессы 30-го іюля 1824 г., получивъ 389 р. прогонныхъ денегъ и 150 р. недоданнаго ему жалованья. Онъ обязался подлинской слѣдовать до мѣста назначенія своего черезъ Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Черниговъ и Вятку, нигдѣ не останавливаясь на пути. Маршрутъ этотъ составленъ былъ съ ясною цѣлью удалить его отъ Кіева и тѣхъ польскихъ и русскихъ знакомыхъ, какихъ онъ могъ встрѣтить на пути.

Пушкинъ ѣхалъ скоро, въ точности исполняя свою подписку. По донесенію Псковской земской полиціи, 9-го августа онъ уже прибылъ въ Михайловское, гдѣ его ожидали близкіе — отецъ, мать, братъ и сестра. Но не радостна была встрѣча ональнаго сына съ родителями, не видавшими его нѣсколько лѣтъ. Трусловому отцу Пушкина и легко воспаляющейся его супругѣ сдѣлалось страшно и за самихъ себя, и за остальныхъ членовъ семьи при мысли, что въ средѣ ихъ находится ональный человѣкъ, преслѣдуемый властями, къ тому же за атеизмъ. Съ ужасомъ смотрѣли они на дружбу поэта съ младшимъ братомъ и сестрою, опасаясь, что онъ совратитъ и ихъ въ безбожіе. Между тѣмъ начальникъ края, маркизь Пауллучи, поручилъ увѣдному Опочецкому предводителю дворянства, Пенцурову, пригласить отца Пушкина принять на себя надзоръ за поступками сына, обѣщаясь, въ случаѣ его согласія, воздержаться съ своей стороны отъ назначенія всѣхъ другихъ за нимъ наблюдателей. Серг. Льв. имѣлъ слабость принять это предложеніе, и что изъ этого вышло, можно судить по слѣдующему письму Пушкина къ Жуковскому, 31-го окт. 1824 г.:

«Милый, прибѣгаю къ тебѣ. Посуди о моемъ положеніи! Приѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ, какъ нельзя душею; но скоро все переѣнилось. Отецъ, испуганный моею ссылкою, безпрестанно твердилъ, что и его ожидаетъ та-же участь. Пенцуровъ, назначенный за мною смотрѣть, имѣлъ безстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, пороче — быть моимъ шпіономъ. Вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволили мнѣ съ нимъ объясниться; я рѣшился молчать. Отецъ началъ упрекать брата въ томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ. Получаю бумагу, до меня касающуюся. Наконецъ, желая вырваться изъ тягостнаго положенія, прихожу къ отцу моему и прошу говорить искренно — болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился, сѣлъ верхомъ и уѣхалъ. Отецъ призываетъ брата и повѣщаетъ ему не знатья атея се monstre, se fils dénaturé. Жуковскій, думай о моемъ положеніи и суди. Голова моя закинула, когда я узналъ все это. Иду къ отцу: нахожу его въ спальной и высказываю все, что у меня было на сердцѣ тѣхъ три мѣсяца; кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній разъ. Отецъ мой, воспользовавшись отсутствіемъ свидѣтелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его билъ... Потомъ, что хотѣлъ бить... Передъ

тобою не оправдывалъ. Но чего-же онъ хочетъ отъ меня съ уголовнымъ обвиненіемъ?—Рудниковъ сибирскихъ, лишения чести? Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ. Не говорю тебѣ о томъ, что терпѣть за меня брать и сестра. Еще разъ спаси меня. Послѣдніи, обвиненіе отца известно всему дому. Ничто не вѣрить, но всё его повторять. Сосѣди знаютъ. Я съ ними не хочу объясняться. Дойдетъ до правительства; посуди, что будетъ. А на меня и суда нѣтъ. И «hors de lois».

Въ то-же время псковскому губернатору Бор. Ант. Адеркасу Пушкинъ писалъ:

«М. Р. Ворпесъ Антоновичъ! Государь императоръ изволяше соизволить меня послать въ поѣздѣ моихъ родителей, думая тѣмъ обезопасить ихъ горестъ и участь сына. Но важныя обвинения правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, просительную старости и нѣжной любви его къ прочимъ дѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго просить его имп. вел., да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожидая сей поспѣданей милости отъ ходатайства нашего пр—ства».

Совѣты-ли Жуковского, или урокъ, полученный отъ сына, подействовали на Сергѣя Льв.; только, уѣхавъ вскорѣ со всѣмъ семействомъ изъ Михайловскаго въ Петербургъ, онъ оттуда, въ ноябрѣ 1824 г. послалъ отказъ отъ возложенной на него обязанности наблюденія за сыномъ. Ссора между отцомъ и сыномъ длится, однакоже, вплоть до 1828 г., когда они примирились, благодаря усиліямъ Дельвига и особенно тому обстоятельству, что Пушкинъ былъ уже освобожденъ отъ надзора и ласково принятъ молодымъ государемъ. Во второй разъ, такимъ образомъ Серг. Льв. мирился съ сыномъ, благодаря лишь его усиліямъ.

Пушкинъ остался теперь одинъ въ Михайловскомъ на всю зиму 1824—25 гг. Надзоръ за нимъ перешелъ опять къ Пещурову, а для религіознаго руководства назначенъ былъ настоятель сосѣдняго Святгорскаго монастыря (въ 3 верстахъ отъ Михайловскаго), простой, добрый и, какъ описываетъ его наружность И. И. Пущинъ, нѣсколько рыжеватый и малорослый монахъ, который отъ времени до времени навѣщалъ поэта въ деревнѣ.

Въ октябрѣ 1824 г. Пушкинъ официально былъ вызванъ въ Псковъ для представленія мѣстному начальству. Осталось преданіе въ этомъ городѣ, что онъ тогда же явился на базаръ и въ частные дома, къ изумленію обывателей, въ мужицкомъ костюмѣ. Дѣлалъ-ли онъ это ради изученія народности, или это было такое же шутство, которое побудило его въ Кишиневѣ носить восточные костюмы, неизвѣстно. Рядомъ съ этимъ стоитъ другой анекдотъ, что въ годовщину смерти Байрона Пушкинъ отправился въ Святгорскій монастырь къ своему духовному опекуну и отелужилъ тамъ соборне манихиду по новопреставившемуся боярину Георгію.

Образъ жизни Пушкина въ деревнѣ напоминаетъ жизнь Опѣгина въ IV главѣ романа. Онъ также вставалъ рано и точнось же отправлялся налегкѣ къ бѣгущей подъ горой рѣчкѣ и купался. Зимой онъ, какъ и Опѣгинъ, садился въ ванну со льдомъ передъ своимъ завтракомъ. Утро посвящалъ онъ литературнымъ занятіямъ: созданію и приготовительнымъ трудамъ, чтенію, выпискамъ, планамъ. Осенью—въ эту всег-

дшнюю эпоху его сильной производительности—онъ принималъ чрезвычайныя мѣры противъ разсыянности и вообще красныхъ дней: или не покидалъ постели, или не одѣвался вовсе до обѣда. По замѣчанію одного изъ его друзей, онъ и въ столицахъ оставлялъ до осенней деревенской жизни исполненіе всѣхъ творческихъ своихъ замысловъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ сырой погоды приводилъ ихъ къ окончанію. Пушкинъ былъ, между прочимъ, неутомимый ходокъ пѣшкомъ и много бѣдилъ верхомъ, но во всѣхъ его прогулкахъ поэзія неразлучно сопутствовала ему. Самъ онъ рассказывалъ, что, бродя надъ озеромъ, тѣшился тѣмъ, что пугалъ дикихъ утокъ сладкозвучными строфами своими. Если случалось ему оставаться дома безъ дѣла и гостей, онъ игралъ двумя шарами на биліардѣ самъ съ собой, а длинные зимніе вечера проводилъ въ бесѣдахъ съ няней, Ариной Родионовной. Онъ посвящалъ почтенную старушку во всё тайны своего генія. Арина Родионовна была посредницей въ его сношеніяхъ съ русскимъ сказочнымъ міромъ, руководительницей его въ изученіи повѣрій, обычаевъ и самыхъ пріемовъ народа, съ какими подходилъ онъ къ вымыслу и поэзіи. Пушкинъ отзывался о нянѣ, какъ о послѣднемъ своемъ наставникѣ, и говорилъ, что этому учителю онъ много обязанъ исправленіемъ недостатковъ своего первоначальнаго, французскаго воспитанія.

Въ двухъ верстахъ отъ Михайловскаго лежитъ село Тригорское, гдѣ жило доброе, благородное семейство Пр. Ал. Осиповой, съ которыми Пушкинъ былъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, часто тамъ обѣдывалъ, заходилъ туда въ своихъ прогулкахъ и проводилъ тамъ цѣлыя дни, пользовался искреннею дружбою и привязанностью всѣхъ членовъ его. Онъ посвятилъ Пр. Ал. Осиповой свои подражанія корану, написанныя, можно сказать, передъ ея глазами, и вообще семейство это дѣйствовало успокоительно на Пушкина. Онъ встрѣчалъ въ немъ и строгій умъ, и расширяющую молодость, и рѣзвость дѣтскаго возраста; усталый отъ увлеченій первой эпохи своей жизни, Пушкинъ находилъ удовольствіе въ тихомъ чувствѣ и родственной веселости: граціозная гримаса, дѣтская шалость нравились ему и занимали его. Двѣ старшія дочери Осиповой отъ перваго мужа, Анна и Евпраксія Вульфъ, составляли между собою такую же противоположность, какую мы видимъ между Татьяной и Ольгой въ „Ев. Опѣгинѣ“, и существуютъ догадки, что Пушкинъ написалъ свои безсмертные типы именно подъ вліяніемъ созерцанія этихъ двухъ барышень. Кромя нихъ тутъ были еще многочисленныя кузины, напр. Анна Ивановна, впоследствии Трувереръ (въ семействѣ ее называли Netty), Анна Петровна Кернъ, оставившая записки о своемъ знакомствѣ съ Пушкинымъ, Алек. Ив. Осипова (Алина), кузина Вельяшева; всѣ онѣ были почтены Пушкинымъ стихотворными изъясненіями, похвалами, признаніями и пр.

Но Пушкинъ, оставаясь холоднымъ зрителемъ всѣхъ волненій этой мирной сельской жизни, мало принималъ въ нихъ личнаго участія; мысль его постоянно жила въ далекомъ, недавно покинутомъ краѣ. Полученіе письма изъ Одессы съ печатью, изукрашенною такимъ же кабалистическими знаками,

какіе находились и на его персти, — постоянно составляло событіе въ уединенномъ Михайловскомъ. Пушкинъ заирался тогда въ своей комнатѣ, никуда не выходилъ и никого не принималъ къ себѣ. Памятикомъ настроенія поэта при такихъ случаяхъ служить стихотвореніе „Божественное письмо“, отъ 1825 г.

Въ то же время однообразіе деревенской жизни такъ сильно тяготило Пушкина, что онъ постоянно рвался изъ своего заточенія, мечтая о бѣгствѣ за границу. Уже въ Одессѣ началась у Пушкина помысли о бѣгствѣ; это видно изъ стихотворенія „Къ морю“ (1824 г.), гдѣ говорится, что одна только страсть, приковавъ автора къ берегу, помѣшала устроить ему „поэтическій побѣгъ“ и тѣмъ отвѣтить на соблазнительные призывы „свободной стихіи“. Затѣмъ, въ письмѣ къ брату Льву Серг. весной 1824 г. изъ Одессы, Пушкинъ пишетъ, что онъ два раза просилъ о заграничномъ отпускѣ съ юга Россіи и оба раза не получалъ дозволенія. „Осталось одно, прибавляетъ онъ: взять тихонько трость и шляпу и поѣхать поспомотрѣть на Константинополь. Святая Русь мнѣ становится не втерпежъ“. Въ Михайловскомъ онъ постоянно строилъ планы бѣгства въ сообществѣ съ старшимъ сыномъ Осиповой, дерптскимъ студентомъ А. Н. Вульфъ, который прѣзжалъ почти на всѣ vacatіи зимой и лѣтомъ въ деревню и тотчасъ же посвященъ былъ Пушкинымъ въ свои замыслы. Сначала Вульфъ, мечтая ѣхать за границу, предлагалъ Пушкину увезти его съ собой подъ видомъ слуги. Но затѣмъ, когда подобный фантастическій замыселъ оказался неудобноисполнимымъ, друзья составили новый планъ. Пушкинъ выдумалъ у себя мнимый аневризъмъ и обратился, при посредствѣ родныхъ, съ просьбою къ высшимъ властямъ о разрѣшеніи ему отправиться въ Дерптъ лечиться у дерптскаго профессора хирургіи И. Ф. Майера (родственника Жуковскаго). Друзьямъ казалось, что изъ Дерпта ничего уже не стоило удрать за границу. Но и этотъ планъ остался безъ осуществленія, такъ какъ Пушкину вышло разрѣшеніе ѣхать лечиться всего на все въ Псковъ.

Все это происходило въ сентябрѣ и октябрѣ 1825 г., и въ этихъ мечтахъ и порываніяхъ незамѣтно подкралось 14 декабря. Пушкинъ находился въ Тригорскомъ, когда дворовый человѣкъ Осиповой вернулся изъ Петербурга съ извѣстіемъ, что тамъ бунтъ, дороги перехвачены войсками, и онъ самъ едва пробрался между ними на почтовыхъ. Пушкинъ страшно поблѣднѣлъ, услышавъ новость, досидѣлъ все-какъ вечеръ и уѣхалъ въ Михайловское.

Всю ночь провелъ онъ въ тревожныхъ размышленіяхъ о томъ, что онъ долженъ самолично встрѣтить политическій переворотъ, дарящій ему такъ внезапно полную свободу, и принять участіе, по крайней мѣрѣ, въ дальнѣйшей судьбѣ, если онъ уже не могъ участвовать въ его подготовленіи. Ему казалось необходимымъ явиться поскорѣе въ среду новыхъ людей, нуждающихся теперь въ пособникахъ и совѣтникахъ. И вотъ, не медля, раннимъ утромъ слѣдующаго дня Пушкинъ уже выѣхалъ изъ Михайловскаго по направленію къ Петербургу, но, не дохавъ до первой станціи, онъ вернулся обратно въ деревню вслѣд-

ствіе дурныхъ примѣтъ: птенно, при выѣздѣ изъ Михайловскаго, онъ встрѣтилъ помя, а затѣмъ, когда онъ выбрался въ поле, заяцъ трижды перебѣжалъ ему дорогу.

Послѣдствія бунта не замедлили оправдать эти дурныя примѣты. Пушкинъ пришелъ въ ужасъ и первымъ дѣломъ началъ бросать въ огонь письма и бумаги, мало-малыски компрометирующія его; такъ, между прочимъ, сжегъ онъ свою автобіографію, которую писалъ въ то время. Каждый день приносилъ извѣстія объ арестованіи лицъ, всего менѣе подозрѣвавшихся въ чемъ-либо. Мало-по-малу, вокругъ Пушкина начинала образовываться пустота, словно послѣ жаркой битвы. Нѣсколько разрозненныхъ и уцѣлѣвшихъ личностей поглощено было теперь мыслью о спасеніи самихъ себя. То-же приходилось дѣлать и Пушкину. Съ каждымъ днемъ становилось яснѣе, что единственный способъ выйти на свободу состоялъ въ томъ, чтобы обратиться за нею къ новому правительству, не имѣвшему такихъ поводовъ сердиться и преслѣдовать его, какъ прежде. Въ началѣ 1826 года Пушкинъ уже пишетъ Дельвигу слѣдующее любовное письмо, видимо составленное и переблѣненное такъ, чтобы его можно было показывать, кому слѣдуетъ: „Писилу ты мнѣ написалъ, и то безъ толку, душа моя. Вообрази, что я въ глуши ровно ничего не знаю; переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мнѣ, какъ будто вчера мы цѣлый день были вмѣстѣ и наговорились до-сыта. Конечно, я ни чехъ не замѣшалъ, и если правительству досугъ подумать обо мнѣ, то оно въ томъ легко удостоверится. Не просишь мнѣ какъ-то совѣстно, особливо нынѣ; образъ мыслей моихъ извѣстенъ. Гонимый 6 лѣтъ сряду, замаранный по службѣ выключкою, сосланный въ глухую деревню за дѣй строчки перехваченнаго письма, я, конечно, не могъ доброжелательствовать покойному царю, хотя и отдавалъ полную справедливость истиннымъ его достоинствамъ; но никогда я не проповѣдывалъ ни возмущенія, ни революціи. Напротивъ. Классъ писателей, какъ замѣтилъ Alfieri, болѣе склоненъ къ умозрѣнію, нежели къ дѣятельности. И если 14 декабря доказало у насъ иное, то на это есть особая причина. Какъ-бы то ни было, я желалъ-бы исполнѣ и искренно помириться съ правительствомъ и, конечно, это ни отъ кого крокъ его не зависить. Въ этомъ желаніи болѣе благоразумія, нежели гордости, съ моей стороны. Съ нетерпѣніемъ ожидаю рѣшенія участіи несчастныхъ и обнаруженія заговора. Твердо надѣюсь на великодушіе молодого нашего царя. Не будемъ ни суевѣрны, ни односторонни, какъ французскіе трагики; но взглянемъ на трагедію взглядомъ Шекспира. Прощай, душа моя“.

Друзья Пушнина не замедлили принять горячее участіе въ его стремленіи къ освобожденію, и изъ Петербурга сообщены были ему правильные, формальные пути къ нему. Пушкинъ исполнилъ въ точности программу друзей, и когда наступила надлежащая минута, онъ представилъ псковскому губернатору Адеркасу слѣдующее прошеніе на Высочайшее имя:

«Всемилоостивѣйшій Государь! Въ 1824 г., имѣвъ несчастье заслужить гнѣвъ покойнаго Императора легкомысленнымъ сужденіемъ касательно афеазма, вложеннымъ въ одномъ письмѣ, я былъ исключенъ изъ службы и сосланъ въ деревню, гдѣ и нахожусь подъ надзоромъ губернскаго начальства.

«Нынѣ, съ надеждой на великодушіе Вашего Имп. Величества, съ истиннымъ раскаяніемъ и съ твердымъ наирѣшеніемъ не противорѣчить моимъ мѣтнимъ общепринятому порядку (въ чемъ и готовъ обязаться подпиской и честнымъ словомъ), осмѣлился я прибѣгнуть къ В. Имп. В. со всеподданнѣйшею моею просьбою:

«Здоровье мое, разстроенное въ первой молодости, и родъ аневроизма давно уже требуютъ постояннаго леченія, въ чемъ и представляю свидѣтельство медиковъ: осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить позволенія ѣхать для сего или въ Москву, или въ Петербургъ, или въ чужіе края».

Къ прошенію были приложены медицинское свидѣтельство Исковской врачобной уцѣды о болѣзни Пушкина и слѣдующее обязательство его:

«Я нижеподписавшійся обязуюсь впредь ни въ какомъ тайномъ обществѣ, подъ какимъ-бы они именемъ ни существовали, не принадлежать; свидѣтельствую при семъ, что ни въ какому тайному обществу такому не принадлежалъ и не принадлежу и *никогда не зналъ о томъ*. 10-го класса Александръ Пушкинъ. 11-го мая 1826 года».

Прошеніе Пушкина, перевозженное Адеркасомъ генералъ-губернатору, маркизу Шаулуци, а имъ графу К. В. Нессельроде, лежало безъ движенія въ Москвѣ, куда перѣехалъ дворъ, до дня коронаванія. Черезъ шесть дней послѣ этого событія, именно 28 августа, состоялась высочайшая резолюція о прерожденіи Пушкина съ фельдъегеремъ въ Москву.

Между тѣмъ, какъ во внѣшней жизни Пушкина происходили всѣ эти событія, во внутреннемъ мірѣ его совершился весьма важный переворотъ во время его пребыванія въ Михайловскомъ. Здѣсь онъ окончательно отбросилъ отъ байронизма и увлекся теперь уже Шекспиромъ. Поэма „Цыганы“, написанная въ 1824 году, была послѣднею данью направленію, которому онъ подчинился на югѣ. Уже въ 1825 году онъ пишетъ Н. Н. Раевскому:

«Правдоподобіе вложеній и истина разговора — вотъ настоящіе законы трагедіи. Я не читалъ ни Кальдерона, ни Велли, но что за человекъ Шекспиръ! Не могу прийти къ себѣ! Какъ ничтоженъ передъ нимъ Байронъ-трагикъ, этотъ Байронъ, всего на всего постигшій только одинъ характеръ (у женщинъ нѣтъ характера; у нихъ страсти въ ихъ молодости, и вотъ почему такъ легко выводить ихъ). И вотъ Байронъ раздѣляетъ между своими героями тѣ и другія черты собственаго характера: одному дать свою гордость, другому — свою ненависть, третьему — меланхолю и проч., и такимъ-то образомъ изъ одного характера — полнаго, мрачнаго и энергичнаго — созданы множество характеровъ ничтожныхъ. Это вовсе ужъ не трагедія»...

Увлеченіе Шекспиромъ повело Пушкина къ весьма благотворнымъ результатамъ. Во-первыхъ, подъ влияніемъ великаго драматурга, увѣнчанаго сохраненіемъ гениальную простоту и вѣрность дѣйствительности даже въ моменты самаго трагическаго пафоса, Пушкинъ окончательно вытупаетъ на путь реализма. Не даромъ въ томъ-же самомъ письмѣ онъ говоритъ: «есть и еще заблужденіе: задумавъ какой-нибудь характеръ, стараются высказать его даже въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ (такимъ педанты и

моряки въ старыхъ романахъ Фильдинга). Заговорщикъ говоритъ: „дайте мнѣ пить“ — какъ заговорщикъ, а это смѣшно. Вспомните Байронова „Озлобленнаго“: „онъ заплакать!“ (на payeto). Это однообразіе, тупость лакоизма, непрерывная ярость — *развѣ это естественно?* Отсюда и пеловкость, и робкость разговора. Читайте Шекспира. Несколько не боюсь скомирокеттировать свое дѣйствующее лицо, онъ заставляетъ его разговаривать *съ полной непринужденностью жизни*, ибо увѣренъ, что въ свое время и въ своей мѣстѣ оно найдетъ языкъ, соответствующій его характеру».

Во-вторыхъ, подъ влияніемъ изученія Шекспира и особенно его хроникъ, Пушкинъ тогда уже началъ проникаться тѣмъ исторически-объективнымъ взглядомъ на жизнь, какой ны видимъ во всѣхъ крупныхъ произведеніяхъ послѣдняго періода его дѣятельности. Наконецъ, Шекспиру же былъ обязанъ Пушкинъ и тѣмъ, что онъ съ болѣющимъ еще усердіемъ, чѣмъ прежде, бросился на собраніе русскихъ пѣсень, пословиць, на изученіе русской исторіи, и такъ какъ силы его пришли въ лихорадочное напряженіе, вслѣдствіе чтенія Шекспира, то онъ тотчасъ же и предался мысли осуществить все, имъ навѣянное и указанное, и въ теченіи 1825 года написалъ свою „Комедію о Царѣ Борисѣ“, которой пропался со всѣми старыми своими направленіями и начиналъ новый періодъ своего развитія.

Одновременно съ драмою „Борисъ Годуновъ“ Пушкинъ успѣлъ написать въ Михайловскомъ: шесть главъ „Евгенія Онегина“, „Графа Нулина“, въ свою очередь, навѣяннаго чтеніемъ Шекспира, и свои записки, сожженные имъ послѣ 14-го декабря. Наконецъ, подъ впечатлѣніемъ чтенія Тацита, которое онъ сопровождалъ своими „замѣтками“, онъ тогда уже написалъ стихотворную часть „Египетскихъ ночей“. Мы не упоминаемъ здѣсь о массѣ мелкихъ его произведеній, написанныхъ въ это-же время. Такъ богата и плодотворна была его поэтическая дѣятельность въ тиши уединенія села Михайловскаго.

## VI.

### Послѣдніе годы холостой жизни А. С. Пушкина.

1826—1831.

Появленіе въ селѣ Михайловскомъ фельдъегера, пріѣхавшаго за Пушкинымъ, произвело всеобщій ужасъ и недоуміе. Всѣмъ показалось, что поэтъ совсѣмъ исчезъ изъ числа живыхъ. Это было 2-го или 3-го сентября. Пушкинъ весело провелъ вечеръ въ Тригорскомъ и часу въ 11-мъ отправился домой, провожаемый до дороги, по обыкновенію, молодымъ женскимъ поколѣніемъ семьи. На другой день рано утромъ въ Тригорское пріѣхала няня Пушкина, Арина Родионовна, съ поразительнымъ извѣстіемъ, что какой-то человекъ, не то солдатъ, не то офицеръ, насканавшій въ Михайловское подъ вечеръ, увезъ съ собою Пушкина, и притомъ такъ заторопилъ его,

что Пушкинъ успѣлъ только накинуть на себя шинель и захватить деньги.

По прїѣздѣ въ Москву, Пушкинъ былъ тотчасъ же представленъ императору Николаю. Вотъ какъ разсказывалъ впоследствии Ан. Гр. Хомутовой объ этомъ представленіи самъ Пушкинъ:

«Фельдъегерь подхватилъ меня изъ моего пасильственнаго уединенія и на почтовыхъ привезъ въ Москву, прямо въ Кремль, и, всего покрытаго грязью, меня ввелъ въ кабинетъ императора, который сказалъ мнѣ:

— «Здравствуй, Пушкинъ, доволенъ-ли ты своимъ возвращеніемъ?» — Я отвѣчалъ, какъ слѣдовало. Государь долго говорилъ со мною, потомъ спросилъ: — «Пушкинъ, принялъ-ли бы ты участіе въ 14-мъ декабря, еслибы былъ въ Петербургѣ?» — «Непремѣнно, государь: все друзья мои были въ заговорѣ, и я не могъ-бы не участвовать въ немъ. Одно лишь отсутствіе спасло меня, за что я благодарю Бога!» — «Довольно ты надуралился», — возразилъ императоръ: надѣюсь, теперь будешь разсудительнѣе, и мы болѣе скориться не будемъ. Ты будешь присылать ко мнѣ все, что сочинишь; отнынѣ я самъ буду твоимъ цензоромъ».

Сверхъ того, разсказываютъ еще о слѣдующей подробности свиданія Пушкина съ императоромъ Николаемъ: поэтъ и здѣсь остался поэтомъ. Ободренный снисходительностью государя, онъ дѣлался болѣе и болѣе свободенъ въ разговорѣ; наконецъ, дошелъ до того, что, незамѣтно для себя самого, приперся къ столу, который былъ позади его, и почти сѣлъ на этотъ столъ. Государь быстро отвернулся отъ Пушкина и потомъ говорилъ: «съ поэтомъ нельзя быть милостивымъ».

Между тѣмъ вѣсть объ освобожденіи Пушкина по милостивой аудиенціи, полученной имъ у Государя, быстро разнеслась по Москвѣ и въ торжествахъ, сопровождавшихъ день коронаванія, она была радостно встрѣчена публикой, особенно литературно-образованной. И въ великосвѣтскихъ салонахъ, и въ литературныхъ кружкахъ Пушкинъ былъ принятъ, какъ первый гость; вездѣ встрѣчали его восторженныя оваціи и поклоненіе. Послѣ шестилѣтней ссылки, увлекшись свободою, Пушкинъ весело кружился въ шумѣ и вихрѣ московской жизни, только что отпраздновавшей коронацію. То было горячее литературное время въ Москвѣ: на непрерывныхъ и многочисленныхъ литературныхъ собраніяхъ обсуждались животрепещущіе вопросы, литературные и философскіе, начиная съ судьбы русской словесности до судьбы самой Россіи. Пушкинъ все болѣе и болѣе сходился съ молодыми московскими литераторами: былъ на обѣдѣ у Хомякова въ честь основанія «Московского Вѣстника» и затѣмъ на двухъ собраніяхъ читалъ свою новую, только что написанную драму, сначала у С. А. Соболевскаго, а потомъ у Веневитинова. На первомъ чтеніи слушатели состояли изъ тѣснаго, интимнаго кружка близкихъ знакомыхъ хозяина: П. Л. Чаадасва, Д. В. Веневитинова, гр. М. Ю. Вельгорскаго и И. В. Кирѣевскаго. Второе-же чтеніе, 12-го сентября, происходило при многочисленномъ собраніи ученыхъ и литераторовъ; здѣсь, кромя братьевъ Веневитиновыхъ, присутствовали братья Хомяковы, Кирѣевскіе, Мичкевичъ, Варатынскій, Шевыревъ, Погодинъ, Рапчъ, Соболевскій и др. Чтеніе это кончилось шумны-

ми оваціями. Мы смотрѣли другъ на друга долго, — вспоминаетъ объ этомъ чтеніи Погодинъ — и потомъ бросились къ Пушкину; начались объятія, подлились слезы, раздались смѣхъ, полились слезы, поздравленія... Явилось шампанское, и Пушкинъ одушевился, видя такое дѣйствіе на избранную молодежь. Ему было пріятно наше волненіе. Онъ началъ, намъ поддывая жару, читать пѣсни о Стеньгѣ Разинѣ, какъ онъ выплывалъ ночью по Волгѣ на востроносой своей лодкѣ; предисловіе къ «Руслану и Людмилѣ»; началъ разсказывать о планѣ для «Дмитрія Самозванца», о началѣ, который шутить съ чернью, стоя у плахи въ Красной площади въ ожиданіи Шуйскаго, о Маринѣ Мишиной съ Самозванцемъ — сцену, которую напишетъ онъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабылъ половину, о чемъ глубоко сожалѣлъ. О, какое удивительное то было утро, оставившее слѣды на всю жизнь! Не помню, какъ мы разошлись, какъ докончили день, какъ улеглись спать. Да едва-ли кто и спалъ изъ насъ въ эту ночь. Такъ былъ потрясенъ весь нашъ организмъ!»

Но не долго продолжалось радостное настроеніе Пушкина подъ первымъ впечатлѣніемъ только что полученной свободы. Онъ не замедлилъ искорѣ горько разочароваться и убѣдиться, что эта свобода была крайне условна и ограничена. Между тѣмъ, какъ онъ безвѣстно наслаждался свѣтскою жизнью въ Москвѣ и упивался литературными оваціями, онъ и не замѣтилъ, какъ нажилъ себѣ врага во всесильномъ гр. Бенкендорфѣ, который каждый день ждалъ отъ него визита, но, не дождавшись, обратился къ нему съ слѣдующимъ письмомъ отъ 30-го сентября:

«М. Г. Ал. С. Я ожидаю прїѣзда Вашего, чтобы объявить высочайшую волю по просьбѣ вашей; но, отправляясь теперь въ С.-Петербургъ и не надѣясь видѣть здѣсь, честь имѣю уведомить, что государь императоръ не только не запрещаетъ прїѣзда вашему въ столицу, но предоставляетъ совершенно на вашу волю, съ тѣмъ только, чтобы предварительно испрашивали разрѣшенія черезъ письмо. Его величество совершенно остается убраннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на преданіе потомству славы нашего отечества, передать вѣсть безсмертнью имя ваше. Въ сей увѣренности, его имп. величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юношества. Вы можете употребить весь досугъ, вамъ предоставляется совершенная и полная свобода — когда и какъ представить ваши мысли и соображенія, и предметъ сей долженъ представить вамъ тѣмъ обширѣйшій кругъ, что на опытѣ видѣли совершенно въ разубыль по-слѣдствія ложной системы воспитанія. Сочиненія вашихъ никто разсматривать не будетъ: на нихъ нѣтъ никакой цензуры. Государь имп. самъ будетъ и первымъ читателемъ произведеній вашихъ, и цензоромъ. Объявляя вамъ его монаршую волю, честь имѣю приобоудить, что какъ сочиненія ваши, такъ и письма, можете, до представленія его величеству, доставить ко мнѣ; во впрочемъ отъ васъ зависить и прямо адресовать на высочайшее имя».

Пушкинъ и не замѣтилъ въ этомъ письмѣ намека гр. Бенкендорфа на то, что поэтъ не удостоилъ его посѣщенія. Напротивъ того, онъ былъ въ восхищеніи отъ письма графа и показывалъ его всѣмъ и каждому, какъ выраженіе лестной для него царской милости. Онъ воображалъ, что въ подчиненіи его высочайшей цензурѣ самого государя заключается такое-

же догнѣвъ къ нему, какимъ пользовался нѣкогда Карамзинъ. Но онъ не замедлил горько разочароваться въ этомъ. Въ письбѣ гр. Бенкендорфа не было доверено самаго главнаго: имени, что Пушкинъ не только не могъ ничего печатать до высочайшаго просмотра, но и показывать кому-либо вновь написанное. И вотъ, когда Пушкинъ мирно отдыхалъ въ селѣ Михайловскомъ послѣ всѣхъ московскихъ овацій, вдругъ онъ получаетъ 22-го ноября слѣдующаго рода строгое внушеніе отъ гр. Бенкендорфа:

«М. П. А. С. При отъѣздѣ моемъ изъ Москвы, не имѣя времени лично съ вами переговорить, обратился я къ вамъ письменно съ объявленіемъ высочайшаго повелѣнія, дабы вы, въ случаѣ какихъ-либо новыхъ литературныхъ произведеній вашихъ, до напечатанія и распространенія оныхъ въ рукописяхъ, представляли-бы предварительно о разсмотрѣніи оныхъ или черезъ посредство мое, или даже прямо его императорскому величеству. На извѣстїи отъ васъ извѣщенїи о полученїи моего отзыва, я долженъ, однако же, заключить, что оный къ вамъ дошелъ, ибо вы сообщали о содержанїи оного нѣкоторымъ особамъ. Навѣь доходитъ до меня свѣдѣніи, что вы изволили читать въ нѣкоторыхъ обществахъ сочиненную вами вновь трагедїю. Это меня побуждаетъ васъ покорнѣе просить объ увѣдомленїи меня: справедливо-ли такое извѣстіе, или нѣтъ? Я увѣренъ, впрочемъ, что вы слишкомъ благомыслящи, чтобъ не чувствовать въ полной мѣрѣ великодушнаго къ вамъ монаршаго снисхожденїи и не стремиться учинить себя достойнымъ оного».

Письмо это произвело на Пушкина самое подавляющее впечатлѣніе. Онъ убѣдился, что участь его чуть-ли не болѣе зависитъ отъ гр. Бенкендорфа, чѣмъ отъ государя, и тотчасъ-же написалъ въ Москву М. П. Погодину, съ которымъ онъ условился участвовать въ его новомъ журналѣ, чтобъ тотъ оставилъ печатаніе его произведенїи: «Милый и почтенный, — писалъ онъ — ради Бога, какъ можно скорѣе остановите въ московской цензурѣ все, что носитъ мое имя. Покажѣте не могу участвовать и въ вашемъ журналѣ; но все перемелется и будетъ мука, а намъ — хлѣбъ да соль. Нѣкогда пояснить; до сораго свиданья. Жалѣю, что договоръ нашъ не состоялся».

Въ тотъ-же день (29-го ноября) онъ послалъ гр. Бенкендорфу извинительное письмо въ самыхъ подобоострастныхъ и лстныхъ выраженїяхъ, излагая, что онъ дѣйствительно въ Москвѣ читалъ свою трагедїю нѣкоторымъ особамъ — конечно, не изъ ослушанїи, но только потому, что худо понималъ высочайшую волю государя. Выбѣтъ съ тѣмъ онъ препровождалъ на высочайшее усмотрѣніе свою трагедїю. Затѣмъ, по требованїю гр. Бенкендорфа, были посланы и стихи, предназначенные Пушкинымъ къ печати, каковы были: «Анчаръ», «Стансы», 3-я глава «Онѣгина», «Фаустъ», «Друзьямъ» и «Пѣсни о Стенькѣ Разинѣ». Всѣ эти произведенїа, кромя двухъ послѣднихъ, были разрѣшены. Относительно «Пѣсней о Стенькѣ Разинѣ», гр. Бенкендорфъ писалъ Пушкину, что «онѣ, при всемъ своемъ поэтическомъ достоинствѣ, по содержанїю своему неприличны къ напечатанїю, и что, сверхъ того, церковь проклинаетъ Разина, равно какъ и Пугачева». Пѣсни эти не были возвращены Пушкину, и онѣ до сихъ поръ не отыскиваются ни въ подлинникѣ, ни въ спискахъ.

СОЧИНЕНІЯ А. СЕВАСТЬЯНСКАГО. — П.

Въ декабрѣ послѣдовалъ докладъ гр. Бенкендорфа государю о драмѣ Пушкина. Императоръ, прочтя драму, замѣтилъ нѣкоторыя мѣста, требующія очищенїа, и то, что цѣль была-бы болѣе выполнена, если-бы сочинитель передѣлалъ свою комедїю въ историческій романъ, на подобїе романовъ В. Скотта. Пушкинъ отвѣчалъ гр. Бенкендорфу на извѣщенїе его объ этомъ: «Съ чувствомъ глубочайшей благодарности получилъ я письмо вашего пр—ства, уведомляющее меня о всеилостивѣйшемъ отзывѣ его величества касательно моей драматической поэмы. Согласенъ, нежелан на трагедїю, какъ государь императоръ изволилъ замѣтить. Жалѣю, что я не въ силахъ уже передѣлать мною однажды написанное».

Принявъ этотъ высочайшїи отзывъ за неблагопрїятный, Пушкинъ положилъ свою драму въ портфель, гдѣ она пролежала до 1829 г., когда онъ рѣшился вновь представить ее на высочайшее благоусмотрѣніе. Но и во второй разъ пьеса не получила одобренїа; потребовалось переимѣнить нѣкоторыя тривіальныя мѣста, слова и выраженїа, слишкомъ простонародныя и нарушающїя скромность, замѣнить названїе «комедїя» драмою, и лишь послѣ новыхъ измѣненїи пьеса могла явиться въ свѣтъ въ 1831 году.

Въ концѣ того-же 1826 года Пушкинъ представилъ гр. Бенкендорфу заказанную «Записку о народномъ воспитанїи», гдѣ ясно отражается вся та ланка, которую переживалъ поэтъ въ это время. Вы видите въ ней поразительное сплетенїе подчиненїа взглядамъ государственныхъ сановниковъ родѣ гр. Бенкендорфа съ стремленїемъ провести либеральную тенденцію. Тѣмъ не менѣе записка не понравилась, и гр. Бенкендорфъ 23 дек. 1826 г., извѣщая Пушкина, что государь съ удовольствїемъ читалъ разсужденїе его и изъявляетъ ему высочайшую признательность, прибавилъ:

«Его Величество при семъ замѣтить изволилъ, что принятое вами правило, будто-бы просвѣщенїе и генїи служатъ исключительнымъ основанїемъ совершенству, есть правило опасное для общаго спокойствїа, запавшее васъ самихъ на край пропасти и повергшее въ оную толпное число молодыхъ людей. Правдивость, прилежное служенїе, усердіе — предпочтеть должно просвѣщенїю неопытному, безнравственному и бесполезному. На сихъ-то началахъ должно быть основано благонаправленное воспитанїе. Впрочемъ, разсужденїа ваши заключаютъ въ себѣ много полезныхъ истинъ.»

Все это показываетъ, какими подозрительными глазами все еще смотрѣли на Пушкина и какъ тѣсенъ былъ кругъ дарованной ему свободы. Отеческія внушенїа гр. Бенкендорфа преслѣдовали поэта не только за каждый мало-мальски неосторожный шагъ, но и безъ всякаго повода, въ зачетъ, такъ сказать, будущаго. Такъ, напримѣръ, въ началѣ 1827 г. онъ обратился съ просьбою о разрѣшенїи прїѣзда въ Петербургъ по семейнымъ обстоятельствамъ, и хотя разрѣшенїе было ему дано, но гр. Бенкендорфъ не преминулъ при этомъ внушить поэту: «Его величество не сомнѣвается въ томъ, что данное русскимъ дворянствомъ государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будетъ въ полномъ смыслѣ сдержано».

Благонадежность Пушкина еще болѣе поколебалась въ глазахъ полиціи, когда въ 1827 г. возгорѣлось дѣло о стихотвореніи „Андрей Шенье“. Стихотвореніе это, посвященное Н. Н. Раевскому, было написано Пушкинымъ въ началѣ 1825 г. и помѣщено въ первомъ собраніи его стихотвореній, изданномъ въ 1826 г. Цензура, рассмотрѣвъ стихотвореніе 8-го окт. 1825 г. (слѣдовательно за 2 мѣсяца до 14-го декабря), выпустила изъ него 44 стиха (со стиха „Привѣтствую тебя“ и до стиха „И буря мрачная“). Между тѣмъ этотъ отрывокъ распространился по Москвѣ, какъ стихотвореніе, написанное будто-бы Пушкинымъ специально по поводу 14 дек. Одинъ изъ списковъ съ надписью „По поводу 14 дек.“, принадлежавшій кандидату московскаго университета Ал. Леопольдову, попалъ въ руки полиціи, и вотъ возгорѣлось дѣло, длившееся два года. Пушкинъ неоднократно былъ призываемъ по этому дѣлу, и относительно его состоялся слѣдующій указъ Пр. сената: „хотя Пушкина надлежало-бы подвергнуть отвѣту передъ судомъ, но, какъ преступленіе сдѣлано имъ до манифеста 22 авг. 1826 г., то, избавя его отъ суда и слѣдствія, обязать подпискою впредь никакихъ своихъ стихотвореній безъ рассмотрѣнія цензуры не осмѣливаться выпускать въ свѣтъ, подъя опасеніемъ строгаго по законамъ взысканія“. Государствен. совѣтъ, сверхъ этого, усмотрѣвъ въ самыхъ отвѣтахъ Пушкина на слѣдствіи неприличныя выраженія, присудилъ его къ секретному полицейскому надзору. Замѣчательно, что это опредѣленіе государств. совѣта, состоявшееся 29 авг. 1828 г., при постоянныхъ развѣздахъ Пушкина, слѣдовало за нимъ по пятамъ изъ губерній въ губернію и, наконецъ, было объявлено ему московскою полиціею лишь въ концѣ января 1831 г., за нѣсколько дней до свадьбы.

Всѣ эти несприятности сильно вліяли на расположеніе духа Пушкина и его душевное спокойствіе. Онъ часто теперь хандритъ, находится въ раздраженномъ, нервномъ состояніи; раскаяніе о годахъ молодости, утраченныхъ въ „праздности, въ неистовыхъ пирахъ, въ безумствѣ гибельной свободы“, мысли о смерти начали посѣщать его чаще и чаще. Онъ ведетъ теперь коующую жизнь, нигдѣ не оставаясь болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, словно не можетъ найти себѣ мѣста на землѣ. Трудно слѣдить за всѣми его постоянными перѣздами въ этотъ періодъ времени. То онъ бросается въ омутъ столичной жизни и стремится словно забыться отъ снѣдающей его тоски, снова предаваясь свѣтскимъ развлечениямъ, оргіямъ и картамъ; то, напротивъ того, бѣжитъ изъ столицъ и клянетъ столичную жизнь. Такъ напр., дѣтошъ 1827 г. онъ писалъ П. А. Осиповой: „Нездѣльность и глушь обихъ нашихъ столицъ равносильна, хотя и различна, и такъ какъ я стараюсь быть безпристрастнымъ, то если бы мнѣ предоставленъ былъ выборъ между обоими городами, я избралъ бы Тригорское, подобно арлекину, который на вопросъ, что онъ предпочитаетъ — быть колесованнымъ или повѣшеннымъ — отвѣчалъ: я предпочитаю молочный супъ“. Въ свою очередь, въ январѣ 1828 г. онъ пишетъ въ Тригорское: „для меня шумъ и суета петербургской жизни дѣлаются все болѣе и болѣе несносными, и я съ тру-

домъ ихъ переносу. Я предпочитаю вашъ прекрасный садъ и прелестный берегъ Сороти; видите, милостивая государыня, что настроеніе мое еще поэтично, не смотря на гадкую прозу моей настоящей жизни“.

И въ то время, какъ городская жизнь его раздражаетъ и злитъ, деревня, совершенно наоборотъ сравнительно съ его юными годами, успокоиваетъ его нервы, и онъ снова дѣлается среди деревенской обстановки ясенъ душой и веселъ. Такъ, уѣхавши осенью 1828 года въ Малинники, деревню Тверской губерніи, принадлежавшую Пр. Алек. Осиповой, онъ пишетъ оттуда Дельвигу въ ноябрѣ: „Здѣсь очень весело. Прасковью Алекс. люблю душевно; жаль, что она хвораетъ и все безпокоится. Сосѣди вздятъ съотрѣтъ на меня, какъ на собаку Мунто (ученая собака, которая въ то время показывалась въ Петербургѣ). Сказалъ это гр. Хвостову. Петръ Марковичъ (Полторацкій, родственникъ Осиповой) здѣсь повеселѣлъ и умерительно шилъ. На-дняхъ было собраніе у одного сосѣда; я долженъ былъ туда пріѣхать. Дѣти его родственницы, балованные ребятинки, хотѣли непременно туда-же ѣхать. Мать принесла имъ изъ му и черносливу и думала тихонько отъ нихъ убраться; но Петръ Марк. ихъ взбудоражилъ; онъ въ нимъ приближалъ: „дѣти! дѣти! мать васъ обманываетъ! не ѣшьте чернослива, поѣзжайте съ нею — тамъ будетъ Пушкинъ, весь сахарный, а задъ его яблочный; его разрѣжутъ, и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку“. Дѣти разревѣлись: „не хотимъ чернослива, хотѣли Пушкина“. Нечего дѣлать, ихъ повезли — и они сбѣжались во мнѣ, облизываясь, но увидѣвъ, что я не сахарный, а кожанный, совсѣмъ обѣшили. Здѣсь очень много хорошихъ дѣвчонокъ. Я съ ними возжусь платонически, и оттого тодѣтлю и поправляюсь въ моемъ здоровьѣ“.

Но эти возврата яснаго и рѣзкаго настроенія духа, словно послѣдніе проблески юности, посѣщаютъ Пушкина теперь довольно рѣдко и быстро сжѣняются снова тревожнымъ и мрачнымъ настроеніемъ, и снова онъ мечется не зная, куда ему дѣться. Такъ, въ началѣ турецкой войны онъ заявляетъ вдругъ желаніе участвовать въ ней. Въ январѣ 1830 г. проситъ заграницу или сопровождать нашу миссію въ Китай. Всѣ эти планы не получили разрѣшенія. За то въ мартѣ 1829 г. онъ, не испрашивая никакого разрѣшенія, уѣхалъ на Кавказъ, гдѣ, находясь въ русскомъ лагерѣ подъ Эрзерумомъ, словно нарочно искалъ смерти, становясь подъ неприятельскія пули. Плодомъ этой поѣздки и было его „Путешествіе въ Эрзерумъ во время похода 1829 года“.

Самовольное путешествіе на Кавказъ, равно какъ и стремительный перѣздъ изъ Петербурга въ Москву въ мартѣ 1830 года съ цѣлью ухаживанія за своею будущою женою, не обошлись Пушкину безъ нагоняя со стороны гр. Бенкендорфа, и онъ писалъ Пушкину, что „всѣ несприятности, которымъ онъ можетъ подвергнуться за своевольные поступки, онъ долженъ будетъ отнести въ собственному своему поведенію“. Удрученный этимъ письмомъ, Пушкинъ отвѣчалъ, что съ 1826 г. онъ каждую весну проводилъ въ Москвѣ, а осень въ деревнѣ, никогда не испрашивая предварительнаго разрѣшенія и не получая ни-



какого замѣчанія; что это отчасти было причиной и невольнаго просунка его — поѣздки въ Эрзерумъ. Съ тѣмъ вѣстѣмъ онъ выражалъ горесть, которую приносятъ ему выговоры, и описывая себя въ гоненіи, говоритъ, что другіе еще болѣе злоумышляютъ ему, и что гр. Бенкендорфъ *остается единственнымъ его защитникомъ*: „Если завтра, прибавилъ онъ, вы не будете министромъ, то послѣ завтра меня посадятъ въ тюрьму“. При этомъ поэтъ жаловался на Булгарина, который хвалился близостью гр. Бенкендорфу и, злоспя на него, по словамъ поэта, за критики, впрочемъ, не имъ писанныя, готовъ въ остервененіи своемъ рѣшиться на все.

Гр. Бенкендорфъ успокаивалъ Пушкина, увѣряя, что Булгаринъ никогда не говорилъ ему ничего дурнаго о немъ, что журналистъ этотъ вовсе не близокъ къ нему, и если бывалъ у него, то развѣ одинъ или два раза въ годъ; что въ послѣднее время онъ призываетъ къ себѣ Булгарина только для того, чтобы обуздать его.

Къ этому-же времени относится сватовство Пушкина. Онъ познакомился съ семействомъ Натальи Николаевны Гончаровой еще въ 1828 г., когда Н. Н. было всего 15 лѣтъ. Онъ былъ представленъ ей на балѣ и тогда-же сказалъ, что участь его будетъ навѣки связана съ молодой особой, обращающей на себя всеобщее вниманіе. Въ 1830 году прибытіе части Высочайшаго двора въ Москву оживило столицу и сдѣлала ее средоточіемъ веселій и празднествъ. Н. Н. участвовала во всѣхъ удовольствіяхъ, которыми встрѣтила древняя столица Августѣйшихъ гостей и, лежку прочіимъ, въ великолѣпныхъ живыхъ картинахъ, давшихъ московскимъ генерал-губерн. Дн. Вл. Голицынымъ. Молва объ ея красотѣ и успѣхахъ достигла Петербурга, гдѣ жилъ тогда Пушкинъ. И вотъ стрелительно уѣхавъ въ Москву, какъ мы выше говорили, онъ возобновилъ прежніе свои исканія. Въ самый день Свѣтл. Хр. Воскресенья 21 апрѣля 1830 года онъ сдѣлалъ семейству Н. Н. предложеніе, которое и было принято.

Вслѣдъ за тѣмъ въ исходѣ лѣта Пушкинъ отправился въ Петербургъ для устройства своихъ дѣлъ и переговоровъ съ отцомъ касательно основанія будущаго своего дома и состоянія. Сергій Львовичъ видѣлъ сыну часть своего родового имѣнія Болдина, Нижегородской губерніи, и Пушкинъ отправился туда въ августѣ 1830 года для принятія своего наслѣдства. Въ Болдинѣ провелъ онъ осень и часть зимы, окруженный со всѣхъ сторонъ карантинными по случаю холеры, и равнодушный къ своей собственной особѣ, сильно безпокоился объ участи родныхъ. — Только въ декабрѣ успѣлъ онъ пробраться въ Москву съ свидѣтельствомъ для залога въ Опекунскомъ Соборѣ выдѣленной ему части. Новый 1831 годъ всталъ его въ приготовленіяхъ къ женитьбѣ, но за мѣсяцъ до свадьбы его расположеніе духа было вновь омрачено извѣстіемъ о смерти Дельвига 14 января 1831 г., и эта внезапная смерть ближайшаго друга и одноклассника сильно потрясла его и глубоко огорчила. Наконецъ, въ среду 18 февраля 1831 года, въ Москвѣ, въ перви Старого Вознесенія, Пушкинъ былъ обвиняемъ съ Н. Н. Гончаровой.

Не смотря на все скитальчество въ разсматриваемые нами годы жизни Пушкина, этотъ періодъ его жизни былъ самый плодотворный въ творческой дѣятельности. Такъ, мы видимъ, что тотъ реализмъ, на путь котораго рѣшительно выступилъ Пушкинъ въ концѣ своего пребыванія въ с. Михайловскомъ, не замедлилъ привести его къ попыткамъ въ той формѣ, которая наиболѣе соотвѣтствуетъ этому литературному направленію, — именно, къ формѣ прозаическаго романа. И вотъ дѣломъ и въ началѣ осени 1827 г. Пушкинъ написалъ большую часть исторической повѣсти „Арапъ Петра Великаго“ и сразу создалъ тотъ безыскусственно простой, кристально-чистый и вѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени художественный повѣствовательный слогъ, который и до сихъ поръ остается неодолимымъ.

Писаніе исторической повѣсти изъ эпохи Петра показываетъ, что Пушкинъ въ то время занимался историческимъ изученіемъ этой эпохи. Но колоссальная личность Петра такъ поразила и вдохновила поэта, что онъ не могъ ограничиться одною прозою; и вотъ онъ тогда-же предпринялъ воспѣть великаго преобразователя Россіи въ поэмѣ. И замѣчательно, что, вопреки своему обыкновенію замыкаться осенью для своихъ поэтическихъ работъ въ деревнѣ, Пушкинъ поѣхалъ въ Петербургъ, словно нарочно для того, чтобы воспѣвать Петра на самомъ мѣстѣ его кипучей дѣятельности, и вотъ здѣсь осенью того-же года онъ создалъ свою „Полтаву“. Какъ сильно было напряженіе творчества въ этотъ разъ, мы можемъ судить по тому, что поэма была написана всего на все въ 13 дней, причемъ Пушкинъ отнюдь не уединялся отъ свѣта, а велъ такую-же свѣтскую и разсѣянную жизнь, какъ и всегда, когда бывалъ въ столицѣ.

Второй, не менѣе сильный, порывъ творчества въ этотъ періодъ своей жизни Пушкинъ испыталъ осенью 1830 года, въ Волдинѣ, когда въ какіе-нибудь двѣтри мѣсяца онъ написалъ, какъ самъ говоритъ въ письмѣ Плетневу, „двѣ послѣднія главы Огѣйна, совсѣмъ готовая для печати; повѣсть, писанную октавами („Домикъ въ Коломенѣ“); нѣсколько драматическихъ сценъ: „Скулой рыбарь“, „Мопартъ и Сальери“ и „Донъ-Жуанъ“. Сверхъ того, я написалъ около тридцати мелкихъ стихотвореній. Еще не все: написалъ прозою (весьма секретно) пять повѣстей“ (Повѣсти Вѣлкина). Въ этотъ списокъ не вошли еще „Летопись села Горохина“ и „Пиръ во время чумы“.

## VII.

### Послѣдніе годы жизни Пушкина.

1831—1837.

Проживъ до весны въ Москвѣ, повобравшись послѣ Свѣтлой выѣхалъ въ Петербургъ, и Пушкинъ переехалъ со своею женою на дачу въ Царское Село, гдѣ въ это лѣто проживалъ и Жуковский. Въ Петербургѣ вскорѣ развилась холера, что затруднило сношеніе съ городомъ и Пушкинъ, „прижатый“, какъ онъ выражался, къ Царскому Селу, былъ предоставленъ не-

большому обществу друзей, великолѣпнымъ садамъ дворца, семейнымъ радостямъ медовыхъ мѣсяцевъ и воспоминаніямъ золотыхъ дней своего дѣтства. Здѣсь Пушкинъ, подѣ влияніемъ общаго положенія дѣлъ того времени, отчасти и друга своего Жуковскаго, утомленный въ то-же время всѣми тѣми гоненіями, которыми онъ испыталъ въ предшествовавшіе годы, впервые выступилъ на поприще того официального патриотизма, который, не избавивъ его отъ тѣни поддѣрнія, лежавшей на немъ въ глазахъ высшей администраціи, въ то-же время произвелъ охлажденіе къ нему въ значительной части русскаго общества. 5-го августа написано было имъ стихотвореніе „Клеветникамъ Россіи“, за которымъ вскорѣ послѣдовала „Воронинская годовщина“. Тамъ-же, въ Царскомъ Селѣ, состоялась съ Жуковскимъ, Пушкинъ написалъ свои сказки „О царѣ Салтанѣ“, „О полѣ Остоленѣ“, „О Мертвой царевнѣ“, „О золотомъ пѣтушкѣ“.

Впрочемъ, патриотическія стихотворенія не остались совсѣмъ безъ слѣда, и 14-го ноября 1831 года Пушкинъ зачисленъ былъ на службу въ вѣдомство Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ съ жалованьемъ 5,000 ассиг. въ годъ, въ видѣ особенной Высочайшей милости. Вместе съ тѣмъ ему было дозволено входить въ Государственные архивы для собранія матеріаловъ къ исторіи Петра В., чѣмъ онъ и не замедлил воспользоваться въ ту-же зиму, по переѣздѣ съ дачи въ Петербургъ. Изъ квартиры своей въ Морской отправлялся онъ каждый день въ разныя вѣдомства, предоставленныя ему для изслѣдованій. Онъ предавался новой работѣ своей съ жаромъ, почти со страстью. Такъ протекла зима 1832 года. 7-го января слѣдующаго года онъ былъ принятъ въ число членовъ Имп. Рос. Академіи и началъ прилежно посѣщать засѣданія Академіи по субботамъ. Плодомъ этихъ посѣщеній были статьи его: „Россійская Академія“ и „О мѣнѣи М. А. Лобанова“. Весной 1833 года онъ переѣхалъ на дачу, на Черную рѣчку, и отправлялся каждый день въ Архивъ, туда и оттуда пѣшкомъ; когда-же чувствовалъ утомленіе, шелъ купаться, и этого средства было достаточно, чтобы слова возвратили ему бодрость и силы. Въ архивахъ Пушкинъ не ограничивался однимъ собраніемъ матеріаловъ къ исторіи Петра; ему попалось случайно подъ руки нѣсколько бумагъ, относящихся къ Пугачевскому бунту; онъ быстро увлекся изученіемъ этого событія и вскорѣ весь ушелъ въ него. При такой непрерывной и страстной дѣятельности, къ осени 1833 года у него были уже готовы матеріалы для „Исторіи Пугачевского бунта“, написана вчернѣ „Капитанская дочка“, и сверхъ этого были совсѣмъ отдѣланы — „Русалка“ и „Дубровский“.

Не ограничиваясь однимъ архивными изысканіями, Пушкинъ, какъ истый реалистъ, предпринялъ тогда уже то, что нынѣ, полстолѣтіе спустя, ставятъ въ особенную заслугу современнымъ намъ французскимъ натуралистамъ, какъ нѣчто новое, или только-что введенное: — именно, онъ захотѣлъ посѣтить всѣ мѣста, ознаменованныя пугачевскимъ бунтомъ. И вотъ осенью въ 1833 году онъ совершилъ поѣздку по Кавказской, Сибирской, Пензенской и Оренбургской гу-

берніямъ. Въездъ онъ, обозрѣвая мѣстности, въ то-же время искалъ живыхъ преданій и свидѣтельствъ очевидцевъ. Такъ, въ Казани онъ провелъ съ этою цѣлью полтора часа у нѣкоего сторожика, купца Круленина; въ Оренбургской губерніи разговорилъ со старикомъ Дмитріемъ Пыновымъ, сыномъ того Пынова, о которомъ упоминается въ „Исторіи Пугачевского бунта“, а въ селеніи Берды встрѣтилъ старую казачку, помнившую происшествія того времени очень живо. Онъ пишетъ, что чуть не влюбился въ нее, несмотря на малопривлекательную наружность. Въ Уральскѣ Пушкинъ былъ принятъ съ большимъ радушіемъ всѣмъ обществомъ города, соединившимся въ одномъ обѣдѣ, данномъ въ честь поэта.

Истративъ на все это путешествіе мѣсяць, Пушкинъ возвратился въ Волдино 2-го октября, и до конца ноября пробылъ въ деревнѣ, послѣ чего возвратился въ Петербургъ на службу. Въ этотъ промежутокъ времени были имъ закончены „Сказка о рыбацкѣ и рыбацкѣ“, „Пѣсни западныхъ славянъ“, которыми онъ писалъ между дѣломъ, въ теченіе 1832 и 33 годовъ, „Мѣдный всадникъ“ и „Исторія Пугачевского бунта“.

По прибытіи въ Петербургъ, Пушкинъ представилъ въ декабрѣ 1833 года на разсмотрѣніе начальства свою „Исторію Пугачевского бунта“ и получилъ дозволеніе на изданіе ея; сверхъ того, въ видѣ награды, онъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкера, а на впечатаніе книги дано ему было заимообразно 20,000 руб. асс. съ правомъ избрать одну изъ казенныхъ типографій.

Повидимому, Пушкинъ былъ наверху милостей, почестей и славы; со стороны могло казаться, что жизнь улыбается ему какъ нельзя болѣе. А на самомъ дѣлѣ онъ былъ глубоко несчастный человѣкъ, и тысячи острыхъ иль со всѣхъ сторонъ подтачивали его существованіе. — Начать съ того, что положеніе Пушкина было крайне двусмысленно. Съ одной стороны, казалось, что это было подвигъ въ высшія сферы общества, весьма льстившее тщеславію поэта; но въ то-же время это вышнее возвышеніе соединялось съ цѣлымъ рядомъ нравственныхъ униженій сѣкаго рода. Пушкинъ не могъ войти въ высшія сферы человѣкомъ, равнымъ людямъ, находившимся въ нихъ, ни по своему состоянію, ни по родовитости, что нестрашно развивало въ немъ болѣзненную мнительность, при которой каждый неоплаченный визитъ, малѣйшій признакъ небрежности въ отношеніяхъ къ нему и къ его дому раздувался въ его воображеніи въ умышенное пренебреженіе къ нему, въ желаніе доказать ему, что онъ сидитъ не въ своихъ сапогахъ. Въ то-же время, это новое положеніе, при всей его кажущейся высотѣ, носило характеръ своего рода заточенія, такъ какъ оно было обязательно: Пушкинъ не могъ самовольно выйти изъ него, видя его ненормальность, не могъ даже жить, гдѣ ему вздумалось бы; когда же онъ просился въ отставку, ему или отказывали, или грозилъ опалою, лишеніями — вродѣ запрещенія посѣщать архивы.

И особенно положеніе Пушкина при дворѣ сдѣлалось тягостно, когда ему пожаловали камеръ-юнкерство. Это придворное званіе было уже не по лѣтамъ

Пушкина, и положеніе его невольно было комично, когда ему приходилось въ выходахъ стоять среди безбородыхъ юношей. Этимъ и объясняется исполненныя горечи слова его дневника отъ 1-го января 1834 года.

«Третьяго дня я пожалованъ въ камеръ-юнкера (что довольно неприлично моимъ лѣтамъ). Меня спрашивали, доволенъ-ли я моимъ камеръ-юнкерствомъ. — Доволенъ, потому что государь имѣлъ намереніе отличить меня, а не сдѣлать смѣшнымъ; а по мнѣ хоть въ камеръ-паки, только-бы не заставляли меня учиться французскому покабурдѣ и ариметикѣ». Отсюда-же вытекаютъ и отвѣты его великому князю, который поздравилъ его въ театрѣ съ назначеніемъ: — «Покорнѣйше благодарю, ваше высочество; до сихъ поръ всё надо мною смѣялись, вы первый меня поздравили».

Самое исполненіе придворныхъ этикетовъ въ камеръ-юнкерскомъ мундирѣ крайне тиготило Пушкина своею формальностью, соединенной съ выговорами и замѣчаніями чисто школьническаго характера.

Третьяго дня, писалъ онъ своей женѣ: возвратился я изъ Парскаго въ 5 часовъ вечера, нашелъ на своемъ столѣ два билета на балъ 29-го апрѣля и приглашеніе явиться на другой день къ Литгѣ: я догадался, что онъ собирается нить мнѣ голову за то, что я не былъ у обѣди. Въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ-же вечеръ узнаю отъ забывшаго ко мнѣ Жуковского, что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ камеръ-герцовъ и камеръ-юнкеровъ и что онъ велѣлъ нить это объявить. Я извинился письменно. Говорятъ, что мы будемъ ходить попарно, какъ институтки. Вообрази, что мнѣ съ моей сѣдой бородкой придется выступить съ Везобразовымъ или Реймерсомъ — ни за какія благополучія! j'aime mieux avoir le fouet devant tout le monde, какъ говорить mr. Jourdain\*.

Въ то-же время обязательная придворная жизнь, навязанная Пушкину, соединенная съ выходами, приемами, парадами жены, требовала такихъ расходовъ, которые были совершенно не по средствамъ Пушкина, оставшагося при своемъ высокомъ положеніи все тѣмъ-же помѣщикомъ средней руки, да еще помѣщикомъ съ крайне разстроеннымъ состояніемъ. Всѣ имѣнія родныхъ его къ этому времени успѣли придти въ полный упадокъ. Мы уже замѣтили выше, что управляющій, честный нѣмецъ, посланный въ Болдино, убѣждалъ оттуда въ ужасѣ. Тщетно умолялъ Пушкинъ своихъ родныхъ поселиться года на два, на три въ Михайловскомъ. Сер. Лев. пришелъ въ ужасъ и неистовство отъ перспективы забавленія въ деревенскую глушь.

«Вы не можете вообразить, — пишетъ Пушкинъ къ Осиновой 29-го іюня 1835 г., — какъ тяготитъ меня управленіе этимъ имѣніемъ (Болдино). Нѣтъ никакого сомнѣнія, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которымъ въ будущемъ предстоитъ нищенство, или по крайней мѣрѣ, бѣдность. Но я самъ не богатъ, я имѣю собственное семейство, которое зависитъ отъ меня и которое безъ меня падаетъ въ крайность. Я ваялъ имѣнію, которое, кромя хлопотъ и неприятностей, ничего мнѣ не приноситъ. Родители мои и не знаютъ, что они шагахъ въ двухъ отъ разоренія; если бы они могли рѣшиться пробить нѣсколько лѣтъ въ Михайловскомъ, дѣла могли-бы поправиться; но этого никогда не будетъ».

И вотъ какъ неизбѣжны слутники разоренія, долги залого и перезалоги имѣній, безпрестанныя хлопоты о томъ, гдѣ-бы и какъ-бы раздобыть денегъ, а долги росли не по днямъ, а по часамъ. Къ тѣмъ 20 т. руб., которыя Пушкинъ получилъ заимообразно на заданіе Пугачева, присоединился новый казенный долгъ: именно 16 августа 1835 г. пожаловано было ему въ ссуду 30,000 руб. асс., безъ процентовъ, съ тѣмъ, чтобы въ уплату общей суммы долга, возросшей такимъ образомъ до 50,000, или получасное нить жалованіе, по 5,000 р. въ годъ. Но влѣдъ затѣлъ передъ самою смертью уже Пушкинъ вновь хлопотѣть у министра финансовъ Канкринъ о томъ, что нельзя принять въ уплату этого долга 200 душъ, принадлежащихъ лично ему въ Нижегородской губерніи и заложенныхъ въ Московскомъ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Это печальное финансовое положеніе не могло не отражаться и на творчествѣ поэта. И тутъ мы видимъ весьма прискорбное раздвоеніе: въ то время какъ Пушкинъ болѣе чѣмъ когда-либо ратовалъ за чистое и свободное искусство и восклицалъ надменно презрѣнной черни: „подите прочь, какое дѣло поэтому мирному до васъ“, — въ дѣйствительности литературная дѣятельность его съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе принимала спекулятивный характеръ и вся обращалась къ тому, какъ-бы добыть болѣе денегъ. Конечно, не ради „звучковъ чистыхъ и молитвъ“ предпринималъ онъ обширные историческіе труды вроде „Исторіи Пугачевского бунта“ или „Исторіи Петра В.“; труды, такъ мало свойственные его гению и потому крайне слабые, сухіе, въ которыхъ вы и слѣда не видите того, что вы привыкли соединять съ именемъ Пушкина. Это-же желаніе добыть какъ можно болѣе денегъ побуждало его взяться за какое-нибудь периодическое изданіе. Такъ, сначала онъ мечталъ о газетѣ, но когда газета не была ему разрѣшена, предпринялъ въ послѣдній годъ жизни ежемѣсячный журналъ „Современникъ“. Цѣль изданія журнала была, повидному, весьма почтенная: именно противодѣйствовать тому легкомысленно насмѣшливому, парадоксальному взгляду на литературу нашу, который господствовалъ въ то время въ петербургской литературѣ, особенно на страницахъ „Библиотеки для Чтенія“; возвратитъ критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже облеченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики; но сквозь всѣ эти чисто литературныя цѣли постоянно проглядываетъ надежда поправить свое состояніе.

Вообще, весьма грустное впечатлѣніе производилъ этотъ гениальный человѣкъ, которому поклонялась вся Россія, затертый въ блестящей толпѣ расшпигтыхъ мундировъ, въ качествѣ выскочки глотанной поминутно если не пренебреженіе, то еще того хуже — сплоскательность, съ тоскливой скукой одиноко бродившій по балывымъ заламъ или изирающій изъ за колонны, какъ увиваются свѣтскіе франты за его женою. Она отплевываетъ, разодѣтая въ пухъ и прахъ, веселая и безпечная, а у него въ это время кошки скребутъ на сердцѣ, и не отъ одной ревности, а при мысли, что вотъ всѣ вокругъ веселятся, счастливые, довольныя, обезпеченныя, не думая о завтрашнемъ днѣ, а ему предстоитъ завтра ѣхать въ Опекунскій

Совѣтъ послѣднее писаніе закладывать или вести торгашескіе переговоры съ литературными барышниками. Письмо ничего мудренаго, что все письма его въ послѣдніе два-три года его жизни, особенно къ женѣ, постоянно носятъ характеръ какихъ-то стоновъ, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующимъ выдержкамъ:

«Хлопоты по имению моея бѣсятъ, пишеть онъ въ одномъ письмѣ:— съ твоего позволенія надобно будетъ, кажется, выдти мнѣ въ отставку и со вздохомъ сложить камеръ-юнкерскій мундиръ, который такъ пріятно льститъ моему честолюбію и въ которомъ, къ сожалѣнію, не успѣлъ я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я увѣренъ, что тебѣ не труднѣе будетъ исполнить долгъ доброй матери, какъ исполнишь ты долгъ честной, доброй жены. Зависимость и разстройство въ хозяйствѣ ужасны въ семействѣ, и никакіе успѣхи тщеславія не могутъ вознаградить спокойствія и довольства. Вотъ тебѣ и мораль». «Милый мой ангелъ! пишеть онъ въ другомъ:— я было написалъ тебѣ письмо на четырехъ страницахъ, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебѣ не послалъ, а пишу другое. У меня рѣшительно силнѣе. Скучно жить безъ тебя и не смѣть даже писать тебѣ все, что придетъ на сердце. Ты говоришь о Болдинѣ. Хорошо бы туда засѣсть, да мудроно. Объ этомъ успѣемъ еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моихъ жалобъ въ худую сторону. Никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависимости. Я долженъ былъ на тебѣ жениться, потому что всю жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ; но я не долженъ былъ вступать въ службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной дѣлаетъ человека болѣе нравственнымъ. Зависимость, которую называетъ на себя изъ честолюбія или изъ пущи, унижаетъ насъ. Теперь они смотрять на меня, какъ на холопа; съ которымъ имъ можно поступать, какъ имъ угодно. Опаса легче пресрѣвнѣе. Я, какъ Ломоносовъ, не хочу быть шуткомъ—ниже у Господа Бога. Но ты во всемъ этомъ не виновата, а виновать я изъ добродушія, коимъ происполненъ до глупости, не смотря на опыты жизни».

«Я передъ тобой кругомъ виноватъ въ отношеніи денежныхъ. Были деньги—я проигралъ ихъ. Но что дѣлать? я такъ былъ жаденъ, что надобно было раздѣлаться чѣмъ нибудь. Все *тоже* виноватъ; но Богъ съ ними; ощутили-бы лишь меня воссоединить».

«На дняхъ я чуть было бѣды не сдѣлалъ: съ нами чуть было не поссорился—струхнулъ-то я, да и дружно встало. Съ этимъ поссорюсь—другого не найду. А долго на него сердиться не утѣю; хоть онъ не правъ...»

«Канаринъ шутить—а мнѣ не до шутокъ. Г. обещалъ мнѣ Газету, а тотъ запретилъ, заставляетъ меня жить въ С.-Петербургѣ и не даетъ мнѣ слова жить своими трудами. Я терплю время и силы душевныя, бросаю за окошко деньги трудовыя и не вижу ничего въ будущемъ. Отецъ мотаетъ имѣніе безъ удовольствія, какъ безъ расчета; твой теряють свое отъ глупости и беспечности покойника Ао. Ник. Что изъ этого будетъ, Господь вѣдаетъ...»

«Какъ ты съ хозяйствомъ управляешь? Что дѣти? Экой горе! Вижу, что непременно нужно имѣть мнѣ 80,000 дохода. И буду ихъ имѣть. Не даромъ же пустился въ журнальную спекуляцію, а вѣдь это всеравно, что золотарство, которое хотѣла взять на откупъ мать Безобразова: очилать русскую литературу, есть... чистить... и заливать отъ полиціи. Того и гляди, что... Чортъ ихъ поберетъ! У меня кровь въ желчь превращается...»

Прибавьте вы ко всемъ этимъ неприятностямъ нескончаемыя полицейскія и цензурныя дразги. Дѣло въ томъ, что ни приближеніе ко двору, ни все изля-

заемая на Пушкина высочайшія милости не избавляли его отъ строгого полицейскаго надзора. Но преждемъ относительно всѣхъ своихъ занятій и каждаго шага онъ долженъ былъ испрашивать предварительное разрѣшеніе, по прежнему прочитывалась его переписка, и гр. Бенкендорфъ дѣлалъ ему выговоры. То придирались къ нему, зачѣмъ онъ ограничивается одною общою цензурою, въ то время, какъ онъ подчиненъ высочайшей цензурѣ, то наоборотъ требовали, чтобы сочиненія, одобренныя къ напечатанію самимъ государемъ, онъ затѣмъ представлялъ въ общую цензуру. Поема его «Мѣднй всадникъ» была не допущена къ печати, и при жизни ему не пришлось видѣть ее напечатанною. Благодаря гр. Бенкендорфу, отъ котораго безусловно зависѣло допущеніе пьесъ на сцену, Пушкину не удалось видѣть ни одной своей пьесы на сценѣ. Онъ очень ждалъ, чтобы А. М. Каратыгина съ мужемъ своимъ прочитала на театрѣ сцену у фонтана Дмитрія съ Мариною, но не смотря на многочисленныя личныя просьбы Каратыгинныхъ, гр. Бенкендорфъ отказалъ имъ въ своемъ согласіи. Послѣ того Пушкинъ подарилъ Каратыгину для бенефиса «Скупого рыцаря», но и эта пьеса не была играна при жизни автора по какимъ-то цензурнымъ недоразумѣніямъ.

Но особенно увеличались цензурныя придиранія и неприятности, когда въ 1833 г. министромъ народ. просв. былъ сдѣланъ гр. Уваровъ, относившійся къ Пушкину весьма недружелюбно. Распоряженія его вывели Пушкина изъ себя, и чаша гнѣва его окончательно переполнилась, когда однажды на вечерѣ у Карамзина къ нему подошелъ Уваровъ и, по поводу ходившей въ то время по рукамъ эпиграммы «Въ академіи наукъ», свысока и внушительно началъ выговаривать, что онъ роиетъ свой талантъ, осѣивая почтенныхъ и заслуженныхъ людей такими эпиграммами.— «Какое право имѣте вы дѣлать мнѣ выговоръ, когда не смѣете утверждать, что это мои стихи?»— возразилъ Пушкинъ, выйдя изъ себя.— «Но все говорятъ, что ваши!»— «Мало-ли, что говорить! а я вамъ вотъ что скажу: я на васъ напишу стихи и напечатаю ихъ съ моею подписью».

И вотъ, когда Уваровъ захворалъ, а послѣдникъ его, предполагая близкую смерть министра, позаботился заранѣе опечатать его имущество и поспрашилъ на всю столицу при неожиданномъ его выздоровленіи, Пушкинъ на эту скандальную исторію написалъ стихи подъ заглавіемъ «На выздоровленіе Лукулла» (съ латинскаго). Ни одинъ петербургскій журналъ не согласился напечатать эти стихи. Тогда Пушкинъ послалъ ихъ въ Москву, и тамъ ода была напечатана во 2-й сентябрьской книжкѣ «Московскаго Наблюдателя» 1835 года. Появленіе оды вызвало большую сенсацію въ придворныхъ сферахъ и привело за собою немало неприятностей Пушкину, начиная съ оскорбительной переписки съ кн. Рейншамъ, дурно отзывавшимся о Пушкинѣ, какъ о человекѣ, въ салонѣ Уварова, и кончая неудовольствіемъ самого государя. Пушкинъ былъ тотчасъ-же вызванъ къ гр. Бенкендорфу. Вотъ какъ самъ онъ рассказывалъ этотъ свой визитъ къ шефу жандармовъ:

«Вхожу. Графъ съ серьезной, даже съ строгой миной, впрочемъ, учтиво отвѣтивъ на мой поклонъ, пригласилъ меня сѣсть у стола *vis-à-vis*. Журналъ съ развернутой страницей моихъ стиховъ лежалъ передъ нимъ, и онъ сейчасъ-же предъявилъ мнѣ его, сказавъ:—«Александръ Сергѣевичъ! Я обязанъ сообщить вамъ неприятное и щекотливое дѣло по поводу вотъ этихъ вашихъ стиховъ. Хотя вы и называли ихъ Луккулкомъ и переводомъ съ латинскаго, но согласитесь, что мы, да и все русское общество въ наше время настолько просвѣщено, что умѣютъ читать между строкъ и понимать настоящій смыслъ, цѣль и намереніе сочинителя». — «Совершенно согласенъ, и радуюсь за развитіе общества...» — «Но позвольте замѣтить (строго перебить онъ меня), что подобное произведеніе недостойно вашего таланта тѣмъ болѣе, что осмѣлила вами личность — особа, значительная въ служебной іерархіи...» — Тутъ я перебилъ его:—«Но позвольте-же узнать, кто эта жалкая особа, которую вы узнали въ моей сатиры?» — «Не я узналъ, а Уваровъ самъ себя узналъ, принесъ мнѣ жалобу и просилъ обо всемъ доложить Государю! и даже то, какъ вы у Карамзинныхъ сказали ему, что напишете на него стихи и не отпиретесь, то есть подпишетесь подъ ними!» — «Сказали я теперь не отпираюсь... только эти-то именно стихи я написалъ совѣсьмъ не на него». — «А на кого-же?» — «На васъ!» — Бенкендорфъ, пораженный такимъ неожиданнымъ оборотомъ, опрокинулся на спинку кресла, такъ что оно откатилось отъ стола, и вытаращивъ на меня глаза, вскрикнулъ:—«Что? на кого?» А я, заранѣе восхищаясь развязкой, вскопчилъ съ мѣста и быстро дѣлая по четыре шага передъ столомъ или передъ его носомъ, три раза обращаясь къ нему лицомъ, повторилъ: «На васъ, на васъ, на васъ!» Тутъ уже Александръ Христофоровичъ, во всемъ величіи власти, громовержицы, поднимаясь съ кресла, схватилъ журналъ и, подойди ко мнѣ, дрожащей отъ злости рукой тыкая на извѣстныя мѣста стиховъ, сказалъ:—«Однако, послушайте, сочинитель! Что-же это такое: «Какой-то пройдоха наелѣдншалъ... (читаетъ): «Теперь ужъ и вельможа не стапу вывѣчить ребятишекъ... Ну это ничего... (продолжаетъ читать): «Теперь мнѣ честность—тринь-трава, жену обманывать не буду!» — Ну, и это ничего, вадоръ... но вотъ, вотъ ужасное, невозможительное мѣсто (читая): «И воровать ужъ не забуду казенныя дрова!» — «А? что вы на это скажете?» — «Скажу только, что вы не узнаете себя въ этой колкости!» — «Да развѣ я воровалъ казенныя дрова?» — «Такъ, стало быть, Уваровъ воровалъ, когда подобную улику пришилъ на себя!» — Бенкендорфъ поизлъ силлогизмъ, сердито улыбнулся и промчалъ: «Гмъ! да! самъ виноваты!» — «Вы такъ и доложите государю. А за снѣгъ имѣю честь кланяться вашему сіятельству».

Наконецъ, во всему этому присоединились и неприятности чисто литературныя. Подписка на „Современникъ“ шла плохо. Пушкинъ замѣчалъ вообще охлажденіе къ нему въ литературныхъ сферахъ. Кое-гдѣ въ журнальной критикѣ начинали проскальзывать опасенія, что онъ испугался, и при первой раздражительности Пушкинъ глубоко принималъ къ сердцу все эти толки и выходилъ изъ себя. И вотъ передъ смертью у него все болѣе и болѣе развѣивается отвращеніе къ жизни. „Я ошеломленъ, писалъ онъ осенью Осиповой не задолго до своей смерти, и нахожусь въ сильнѣйшемъ раздраженіи. Повѣрьте мнѣ, жизнь, какая она ни на есть пріятная привычка, а все же заключаетъ въ себѣ горечь, которая дѣлаетъ ее подъ конецъ отвратительною. Свѣтъ — это гадкая лужа грязи“.

Такимъ образомъ, всѣ обстоятельства, повидимому,

прямо вели поэта къ какой-либо катастрофѣ, особенно принимая въ расчетъ пылкость и увлекаемость его натуры. Между тѣмъ, въ великосвѣтскомъ обществѣ образовалась противъ Пушкина цѣлая коалиція, съ гр. Уваровымъ и Бенкендорфомъ во главѣ; ожидали только случая, чтобы такъ или иначе погубить его, и случай этотъ не замедлилъ представиться; достаточно было, правда, нѣсколько легкомысленнаго, но совершенно невиннаго ухакиванія за женою Пушкина блиставшаго въ то время въ большомъ свѣтѣ, красиваго, ловкаго, вкрадчиваго кавалергарда барона Жоржа Геккеря Дантеса, французскаго подданнаго, легитимиста, состоявшаго подъ особеннымъ покровительствомъ императора Николая, — и вотъ въ свѣтѣ была распушена по этому поводу гнусная сплетня, позорившая честь Пушкина. Въ то-же время Пушкинъ началъ получать рядъ отвратительныхъ анонимныхъ писемъ, исполненныхъ оскорбительнѣйшихъ намековъ и насмѣшекъ. Результатомъ этой адской интриги была ссора Пушкина съ Дантесомъ, раздѣлившая все великосвѣтское общество на два лагеря. Ссора эта не была затушена и женитьбою Дантеса на свояченицѣ Пушкина, Катринѣ Ник. Гончаровой. Напротивъ того, все болѣе разгораясь, разжигаемая недоброжелателями Пушкина, дошла наконецъ до дуэли, которая состоялась 27 янв. 1837 года за Черной рѣчкой, близъ Комендантской дачи, въ 5 часу дня. По словамъ секунданта Пушкина, лицейскаго товарища его Данзаса, гр. Венкендорфъ зналъ объ этой дуэли, по обязанности предупредить ее, онъ послалъ жандармовъ на Черную рѣчку, а въ Екатерингофъ, будто-бы по ошибкѣ. Пушкинъ былъ, какъ извѣстно, смертельно раненъ, въ верхнюю часть бедра, причежь пуля, пробивъ кость, глубоко засѣла въ животѣ. Два дня боролся онъ со смертью, въ ужасныхъ мученіяхъ, и наконецъ 29 января утромъ его не стало.

Между тѣмъ, вѣсть о несчастной дуэли и безнадежномъ состояніи Пушкина быстро разлетѣлась по городу. Уже рано утромъ, когда Пушкинъ былъ еще живъ, подъѣздъ его квартиры на Мойкѣ у Пявчскаго моста былъ атакованъ публичкой до такой степени, что Данзасъ долженъ былъ обратиться въ преображенскій полкъ съ просьбою поставить у крыльца часовыхъ, чтобы возстановить какой-нибудь порядокъ: густая масса собравшихся загромождала на большое разстояніе все пространство передъ квартирой Пушкина, и къ крыльцу не было возможности протиснуться. Толпы народа и экипажи весь день осаждали домъ; извозчиковъ нанимали, просто говоря: „къ Пушкину“, и извозчики везли прямо туда. Всѣ классы петербургскаго народонаселенія, даже люди безграмотные, считали какъ бы своимъ долгомъ поклониться тѣлу поэта. Это было похоже на очутившееся вдругъ общественное мнѣніе. Университетская и литературная молодежь рѣшила нести гробъ на рукахъ до церкви. Стихи молодого поэта Лермонтова на смерть Пушкина переписывались въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ, перечитывались и выучивались наизусть всеми. Возникли опасенія, и тѣло поэта изъ квартиры въ Конюшенную церковь было препровождено вечеромъ; при отиваніи 1-го февраля присут-

ствоваши одни приглашенные по билетамъ. Послѣ отпѣванія, гробъ заперли въ подвалъ церкви, гдѣ онъ оставался до 3-го февраля, а въ этотъ день поздно ночью гробъ былъ отправленъ въ Святогорскій-Успенскій монастырь, въ сопровожденіи жандармовъ и А. И. Тургенева, которому было поручено совершить погребеніе праха поэта. Прахъ былъ похороненъ возлѣ матери, въ той могилѣ, которую Пушкинъ приготовилъ для себя за годъ до смерти. Тамъ возвышается нынѣ надгробный памятникъ изъ бѣлаго мрамора съ подписью „Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ“ въ лавровомъ вѣнкѣ.

Пушкинъ умеръ, не оставивъ послѣ себя ничего, кромѣ долга въ 50,000 р. Но сверхъ того, что на похороны его было отпущено 10 т. р. асс., при кончинѣ

его весь казенный долгъ былъ снятъ съ пѣшій наследниковъ и сверхъ того высочайше пожаловано было 50,000 р. асс. на напечатаніе его сочиненій, сборъ съ которыхъ опредѣленъ былъ на составленіе отдѣльнаго капитала для дѣтей покойнаго. Тогда же и два сына его зачислены были въ Пажескій корпусъ, и какъ пѣть, такъ и вдовѣ поэта, назначены пенсіи.

Въ 1880 году 5 іюня Москва праздновала открытіе на одномъ изъ лучшихъ своихъ бульваровъ, на Тверскомъ, памятника гениальному и бессмертному поэту, которымъ могла-бы достойно гордиться каждая страна, и это всенародное литературное торжество, собранное у ногъ поэта всю русскую интеллигенцію, бесспорно занимаетъ одну изъ лучшихъ страницъ русской исторіи.

### К О Н Е Ц Ъ .



# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

встрѣчающихся въ книгѣ именъ писателей и заглавій ихъ произведеній \*).

## А.

Авдѣевъ, М.—I, 75—84, 502, 775; II, 197.  
 Авенариустъ, В.—I, 29, 61—62, 248.  
 Аверневъ.—I, 572; II, 109.  
 Авсьенко.—II, 431.  
 Ансановъ, И. С.—II, 642.  
 Ансановъ, Константинъ.—I, 386, 387, 388, 715; II, 46, 48, 49, 56.  
 Ансановъ, Сергій.—II, 110, 248, 685, 686, 687, 689.  
 «Актъ главнаго педагогическаго института», ст. Добролюбова.—I, 544.  
 «Али-Гафизъ», ст. Вагнера.—I, 710, 711.  
 Александровъ.—I, 572; II, 213.  
 «Альбертъ», пов. А. Толстого.—I, 633.  
 «Альбомъ» — Группы и портреты, Хвощинской.—II, 61—194.  
 Альфредъ-де-Винъ.—II, 773.  
 «Альфъ и Альдона», р. Кукольникъ.—II, 773.  
 Андреевъ, А.—II, 746.  
 Андросовъ.—I, 419.  
 «Анна Каренина», ром. Л. Толстого.—II, 405—428, 561, 600, 605, 623, 624.  
 Анненовъ.—I, 194, 281, 398.  
 «Антонъ Горемыка», пов. Григорюшча.—II, 272, 275.  
 «Арабески», Гоголи.—I, 645, 771.  
 «Аралъ Петра Воинаго», Пушкина.—II, 663, 666—669, 672, 692, 712, 775, 870.  
 Ариостъ.—II, 845.  
 «Аристѳонъ», ром. Нарѣжнча.—II, 659.  
 Аристотель.—II, 474.  
 Аристофанъ.—I, 439.  
 «Аскольдова могила», ром. Загоскина.—II, 709.

«Ася», п. Тургенева.—I, 726.  
 «Attaica principessa», ск. Во. Гаршинъ.—II, 531, 532.  
 Ауербахъ.—I, 268.

## Б.

Бажинъ.—I, 606; II, 5, 23, 20, 29.  
 «Базаровъ», ст. Писарева.—I, 170.  
 Байронъ.—I, 210, 288, 292, 297, 298, 299, 310, 311, 356, 357, 373, 380, 401, 441, 573, 581, 760; II, 223, 258, 289, 245, 363, 771, 854, 862.  
 Бакунинъ.—I, 408, 410, 730.  
 «Баль», соч. Одоевского.—I, 345.  
 Бальзанъ.—I, 433; II, 229.  
 Барантъ.—I, 724.  
 Баратынский.—I, 317, 350, 364, 445, 744, 863.  
 «Баритонъ», пов. Хвощинской.—I, 669, 670.  
 Батюшковъ.—I, 209, 212, 838, 839, 840, 842.  
 «Басурманъ», р. Лажечникова.—II, 725, 734, 741—744.  
 «Бахчисарайскій фонтанъ», поэма Пушкина.—I, 212, 854, 855.  
 «Безприданница», др. Островскаго.—II, 807.  
 «Безъ своей воли», разск. Рт. Успенскаго.—II, 548.  
 Бенедиктовъ.—I, 371, 373, 398, 400; II, 769, 772.  
 Бентамъ.—I, 343.  
 «Берега», ст. Вагнера.—I, 702.  
 «Бернаръ Мопра», ром. Ж. Зандъ.—I, 444.  
 Бернатовичъ, Ф.—II, 773.  
 Бернгардтъ Беннеръ.—I, 100.  
 Берне.—I, 176, 427, 760.

Берногъ.—I, 373; II, 338.  
 Берли.—II, 838.  
 Бень-Джонсонъ.—I, 122, 123.  
 Бестужевъ, А.—I, 11, 212, 320, 440, 584; II, 4, 23, 126, 682, 738, 769, 772, 854.  
 «Благотѣльный Андроникъ», повесть Кукольникъ.—II, 773.  
 «Богатыри», ром. Н. Чаева.—II, 92.  
 «Богатые невесты», к. Островскаго.—II, 807.  
 Богдановичъ.—II, 844.  
 «Богъ правду любить, да не скоро сванетъ», ск. Л. Толстого.—I, 662.  
 Бокль.—I, 13, 162, 103; II, 32, 172.  
 «Большая медвѣдица», ром. Хвощинской.—I, 663, 668, 686, 688, 689, 693.  
 «Борисъ Годуновъ», др. Пушкина.—II, 118, 665, 666, 862.  
 «Борисъ Годуновъ», др. А. Толстого.—II, 255.  
 Борнсъ.—II, 230.  
 «Бородино», стих. Лермонтова.—I, 645.  
 «Бородинская головщина», ст. Бѣлинскаго.—I, 397, 722, 767; II, 363.  
 Бороздинъ, К. Н.—II, 664.  
 Ботинъ.—I, 417.  
 Брамбусъ-бронъ, см. Сениковскій.  
 «Братья разбойники», поэма Пушкина.—II, 847, 854, 855.  
 «Бригадиръ», соч. Одоевского.—I, 345.  
 «Бродячя силы», В. Аверариуса.—I, 29.  
 «Брынский лѣсъ», ром. Загоскина.—II, 712.  
 Буало.—I, 299.  
 «Буддизмъ, его догматы, исторія и

\*). Страницы, обозначенныя огуломъ и жирнымъ шрифтомъ, показываютъ, что въ нихъ соотвѣтствующій писатель или произведеніе составляютъ главный предметъ рѣчи. Изъ произведеній обозначены лишь крупнымъ; мелкія стихотворенія опущены. Равно опущены и всѣ пазанія, встрѣчающіеся въ припискахъ цитатахъ.

литература, соч. Васильева» ст. Добролюбова.—I, 547.  
 «Буддизмъ въ наукѣ», ст. Герцена.—I, 504, 767, 771.  
 Булгаринъ.—I, 326, 329, 330, 363, 371, 401; II, 128, 338, 432, 433, 437, 445, 746, 772, 782—789, 869.  
 Буренинъ.—II, 501.  
 «Бурсанъ», ром. Нарѣжнаго.—II, 653, 659.  
 Бутовскій, А.—I, 482, 486, 490.  
 «Былое и думы» Герцена.—I, 783, 798.  
 «Бѣглый», ст. Як. Полозскаго.—I, 142.  
 «Бѣдная Лиза», пов. Карамзина.—II, 654, 721.  
 «Бѣдная невеста», ком. Островскаго.—I, 501, 565.  
 «Бѣдность не порокъ», др. Островскаго.—II, 811.  
 «Бѣдные дворникъ», ром. А. Потѣпина.—II, 135, 159, 161.  
 «Бѣдные люди», р. Достоевскаго.—II, 352.  
 «Бѣленькіе, черненькіе и сѣренькіе», р. Лажечникова.—II, 744.  
 Бѣлинскій, В.—I, II, 14, 16, 17, 18, 113, 143, 150, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 219, 280, 281, 282, 299, 315, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 342, 343, 344, 356, 359, 360, 361, 367, 370, 372, 373, 374, 378, 379, 386, 390, 391—458, 465, 466, 473—482, 492, 497, 498, 499, 501, 502, 516, 517, 546, 548, 549, 550, 603, 666, 715, 721, 722, 730, 738, 744, 757, 764, 766, 771, 773, 778; II, 96, 100, 202, 272, 273, 302, 339, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 361, 362, 363, 373, 374, 398, 470, 505, 506, 516, 709, 712, 724, 725, 726, 727, 736, 737, 741, 745, 780.  
 Бѣлинскій, Максимъ, см. Яцшевскій.  
 «Бѣлинскій», соч. А. Н. Панаева.—II, 347, 353.  
 «Бѣсы», ром. Ф. Достоевскаго.—I, 702.  
 «Бѣшеная лошина», Лбтлева.—II, 197.  
 «Бѣшенныя деньги», ком. Островскаго.—II, 709.  
 Бельгъ.—I, 40, 41, 72, 496; II, 19.  
 Баль.—I, 322.  
 Бюргеръ.—II, 109.

## В.

Вагнеръ, Николай.—I, стр. 697—714; II, 474.  
 Вальтеръ-Скоттъ.—I, 298, 458; II, 229, 728, 735.  
 Вальтманъ.—I, 123.  
 Венециниовъ.—I, 313, 315, 332, 335, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 359, 362, 398, 734, 744; II, 663, 863.  
 Венгеровъ.—II, 738.  
 Вернеръ.—I, 288.  
 «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», Гоголя.—I, 718, 719; II, 312, 675, 377, 771.  
 «Вабаламученное море», р. А. Писемскаго.—I, 29, 49—56, 657, 716.  
 «Взглядъ на рус. лит. 1846 г.», ст. Бѣлинскаго.—I, 474, 480.  
 Виландъ.—II, 845.  
 Вильмень.—I, 410, 724.  
 «Виссаріонъ Гр. Бѣлинскій», библ. очеркъ Д. Свияжскаго.—I, 281.

«Вій», Гоголя.—I, 710; II, 659, 663, 676, 681.  
 «Власть земли», разск. Гл. Успенскаго.—II, 495, 542, 548.  
 «Власть тьмы», др. Л. Толстого.—II, 621—634.  
 «Вична панцырнаго боярина», р. Лажечникова.—II, 744.  
 Воейковъ.—I, 371; II, 338, 720, 772.  
 «Война и миръ», р. гр. Л. Толстого.—I, 215, 612, 613, 645—662; II, 112, 114, 124, 129, 584, 600, 605, 610, 621, 700, 787.  
 «Волки и овцы», ком. Островскаго.—II, 800.  
 Вольтеръ.—I, 287, 301, 796; II, 475, 833, 849, 854.  
 «Вопросы жизни», ст. Цирогова.—I, 506—515, 553.  
 Воронцовъ.—II, 285.  
 Воскресенскій.—II, 746.  
 «Воспитаница», др. Островскаго.—II, 806, 815.  
 «Воспоминанія о Бѣлинскомъ», Ив. Панаева.—II, 281.  
 «Воспоминанія о Бѣлинскомъ», Тургешева.—I, 282; II, 353.  
 «Воспоминанія о студентѣ Гранинскаго», Григорьева.—I, 324.  
 Вронченко, М. Н.—II, 641.  
 «Встрѣча на станціи», пов. И. Панаева.—II, 362.  
 «Выселки», разск. А. Лештова.—I, 137—139.  
 Вундтъ.—I, 13.  
 «Въ разбродъ», ром. Шеллера.—II, 6, 25.  
 «Въ сороковые годы», р. Авдѣева.—II, 197.  
 «Въ лѣсахъ», романъ Мельникова.—II, 164, 171.  
 «Въ ояиднй лучшаго», ром. Хвощинской.—I, 677, 686.  
 «Въ сторонѣ отъ большого свѣта», ром. Ю. Жадовской.—II, 636, 640, 648.  
 «Въ чемъ моя вѣра», Л. Толстого.—II, 624.  
 «Въ чемъ счастье», Л. Толстого.—II, 575—580.  
 «Въ чужомъ пирѣ похмѣлье», ком. Островскаго.—II, 827.  
 Вяземскій, кн. П. А.—I, 370, 719; II, 641, 854, 856.

## Г.

Гаймъ.—I, 149.  
 Галаховъ, А.—I, 308.  
 Гандъ.—I, 729.  
 «Гандъ-Кюхельгартенъ», поэма Гоголя.—I, 146; II, 345.  
 Ганъ.—I, 456.  
 Гартманъ.—II, 503, 564.  
 Гаршинъ, Вс.—II, 516—533.  
 «Гдѣ лучше», романъ Ф. Рѣшетникова.—I, 255, 261, 262, 276.  
 Гобель.—II, 240.  
 Гогель.—I, 1, 3, 113, 115, 123, 150, 267, 258, 287, 293, 296, 326, 389, 395, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, 419, 430, 445, 465, 476, 496, 521, 729, 757, 759; II, 31, 32, 373, 741.  
 Гейне Генрихъ.—I, 216, 219, 419, 427, 428, 760; II, 238, 245, 246.  
 Гельвейцъ.—I, 287.  
 Гервинузь.—I, 13.  
 «Герон голубинаго полета», романъ М. Авдѣева.—I, 75—84.  
 «Герой нашего времени», ром. Лермонтова.—I, 441.  
 Герценъ.—I, 219, 336, 344, 367, 397, 434, 437, 442, 448, 453, 457, 473, 492, 546, 715, 717; II, 96, 352.  
 Гете.—I, 219, 288, 291, 297, 310, 313, 373, 390, 391, 401, 403, 415, 420, 421, 422, 423, 444, 518, 521, 573, 582, 758, 760, 764, 765; II, 234, 238, 239, 240, 245, 258, 599, 737, 769, 771.  
 Гизо.—I, 724; II, 32, 614.  
 «Гимназическія рѣчи», Гегеля.—I, 420.  
 Глинка, С. Н.—I, 315, 316, 445, 352; II, 129, 642, 718.  
 «Гнилыя болота», ром. Шеллера.—II, 11.  
 Глѣбичъ, Н. И.—II, 855.  
 Гоголь.—I, II, 35, 113, 127, 146, 150, 151, 153, 158, 211, 249, 280, 282, 299, 315, 322, 326, 327, 330, 343, 367, 373, 390, 401, 406, 407, 409, 424, 425, 431, 432, 438, 440, 448, 452, 497, 502, 516, 518, 573, 645, 646, 655, 660, 661, 662, 666, 691, 710, 717—722, 755, 757, 760; II, 5, 20, 46, 100, 102, 111, 160, 212, 213, 214, 216, 217, 223, 229, 230, 238, 243, 249, 308, 312, 338, 345, 360, 506, 663, 665, 675—682, 684, 696, 712, 734, 746, 770, 771, 773, 793.  
 Головачева (Панаева), Анд. И.—II, 360, 361, 362, 377.  
 Гомеръ.—I, 317, 336; II, 78, 240.  
 Гончаровъ, И. А.—I, 36, 75, 167, 169, 217—256, 282, 299, 450, 451, 452, 453, 457, 498, 502, 557, 614, 687, 775, 783; II, 3, 99, 134, 214, 215, 223, 427—440, 465, 470, 713, 770.  
 Гораций.—I, 160, 593; II, 784.  
 «Горе отъ ума», ком. Грибоедова.—I, 404, 425, 438, 439, 631; II, 431.  
 «Горе сель, дорогъ и городовъ», Лештова.—II, 318.  
 Горловъ.—I, 486.  
 «Горячее сердце», др. Островскаго.—II, 823.  
 Гофманъ.—I, 343, 390, 391, 401, 433, 444, 761, 762, 763.  
 «Гофманъ», ст. Герцена.—I, 760.  
 Градовскій, А.—II, 31—92.  
 Грановскій.—I, II, 280, 282, 352, 381, 390, 395, 415, 430, 437, 448, 457, 473, 481, 492, 499, 502, 504, 666, 717, 723—743, 744, 756, 767, 773, 778, 790.  
 «Графъ Нулинъ», Пушкина.—II, 362.  
 Гребенна.—II, 248, 249, 350, 362.  
 Грекуръ.—II, 838.  
 Грессе.—II, 838.  
 Гречъ, Н. И.—I, 315, 316, 326, 329, 363, 371, 401, 404, 428, 429; II, 386, 432, 433, 437, 784.  
 Грибоедовъ.—I, 315, 426, 428, 438, 627, 718, 749, 750; II, 214.  
 Григорій Турскій.—II, 70.  
 Григорьевичъ, Д.—I, 128, 131, 453, 455, 502, 783; II, 134, 135, 136, 266, 272—274, 275, 350, 373, 713.  
 Григорьевъ, А.—I, 501; II, 298, 322, 324.  
 Григорьевъ, Г.—I, 315, 324.  
 Грицко-Основьяненко.—II, 249.



«Гроза», др. Островскаго.—I, 163, 179, 182, 548, 565, 693, 727; II, 137, 139, 224, 282, 794, 795, 815.  
Громека, М. С.—II, 561—569.  
«Грѣхъ да бѣда на кого не живеть», др. Островскаго.—I, 503.  
Губеръ.—II, 641.  
Гумбольдтъ, В.—I, 149.  
Гюгъ, Викторъ.—I, 268, 288, 297, 298, 391, 428, 433, II; 288, 771, 772, 773.

## Д.

Давъ.—I, 455; II, 133, 350, 362, 373.  
Давилевскій, Гр.—II, 164, 165.  
Дать.—I, 439; II, 239.  
Давинъ.—I, 18; II, 83, 172.  
«Да Ивана, два Степановича, два Носилькова», ром. Кукольника.—II, 78, 180—182.  
«Да Ивана или страсть въ тѣлѣ», ром. Парѣжнаго.—II, 659.  
«Дворянское гнѣздо», р. Тургенева.—I, 37, 242, 497; II, 137, 138.  
«Два охотника», пов. А. Потѣхина.—I, 146.  
«Development des idées révolutionnaires en Russie», Герцена.—I, 793.  
«XIX вѣкъ», ст. П. В. Кирѣевскаго.—332, 352, 353, 355, 369.  
«Десятый вальс», ром. Гр. Дашлевскаго.—II, 164.  
«Дѣтѣ семьи», ром. Шеллера.—II, 2.  
Декандоль.—I, 752.  
Декартъ.—I, 40, 41.  
Дельвинъ.—I, 317, 364; II, 835, 37, 847, 854, 860, 868.  
Де-Местръ.—II, 476.  
Демосфенъ.—II, 475.  
«Деревенская жизнь помещика въ старые годы», ст. Добролюбова.—I, 557.  
«Деревенскія письма», Н. Успенскаго.—I, 192.  
Державинъ.—I, 10, 299, 319, 321, 749; II, 725, 839.  
«Диаконъ Саназаръ», др. Кукольника.—II, 772.  
Диорикъ-Эллиотъ.—II, 229.  
«Дюлю Мости», др. Кукольника.—II, 772.  
Divina comedia, Данта.—I, 439.  
Дидро.—I, 287.  
Диккенсъ.—I, 54, 391, 433; II, 10, 19, 229, 771.  
«Диллетантизмъ въ науцѣ», ст. Герцена.—I, 767, 768.  
«Диллетанты-романтики», ст. Герцена.—I, 442, 767.  
Дмитриевъ, И. И.—I, 192; II, 831, 840.  
«Дмитрій Самозванецъ», р. Булгарина.—II, 782, 788.  
«Дневникъ лишилаго человѣка», пов. Тургенева.—I, 380.  
Добролюбовъ.—I, 14, 16, 144, 145, 146, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 177, 179, 180, 181, 280, 281, 282, 287, 313, 443, 481, 519—569, 641, 668; II, 1, 2, 3, 364, 398, 470, 709.  
«Долгъ прежде всего», разск. Герцена.—I, 783.

«Домикъ въ Коломнѣ», п. Пушкина.—II, 870.  
«Донъ-Жуанъ», Байрона.—II, 853.  
«Донъ-Жуанъ», Пушкина.—II, 870.  
«Донъ-Жуанъ», др. поэма А. Толстого.—II, 246, 251, 256, 258.  
Достоевскій, Ф.—I, 128, 248, 453, 502, 702; II, 103, 112, 250, 324, 334, 348, 349, 352, 373, 564, 713.  
«Доходное мѣсто», ком. Островскаго.—II, 802, 807.  
«Драконъ», разск. А. Толстого.—II, 246, 247.  
Дреперъ.—I, 13.  
«Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ», Н. Некрасова.—II, 364, 379.  
Дружининъ.—I, 775; II, 362, 641.  
«Дубровский», романъ Пушкина.—I, 212; II, 871.  
«Думы», Рыльскаго.—I, 748.  
«Душенька», Богдановича.—II, 844.  
Дымманъ, Еф.—I, 165, 166.  
«Дымъ», ром. И. С. Тургенева.—I, 1—30, 242, 502, 716.  
«Дѣтство», пов. А. Толстого.—I, 612, 614, 622, 644.  
Дюма-отецъ.—I, 13; II, 773.  
Дюма-сынъ.—II, 439—464.  
«Дядя-пудъ», ск. Вагнера.—I, 702.

## Е.

«Евгеній Онегинъ», ром. Пушкина.—I, 363, 456, 573, 749; II, 678, 682, 709, 854, 855, 857, 858, 862, 865.  
«Эвелина де-Вальероль», р. Кукольника.—II, 773.  
«Египетскія ночи»,—Пушкина.—II, 802.  
Ермолаевъ, А. И.—II, 664.  
Ершовъ.—I, 371, 373.  
«Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie», соч. Жеребцова.—I, 163.  
«Еще изъ записокъ молодого человѣка», ст. Герцена.—I, 766.

## Ж.

Жадовская, Ю. В.—II, 635—652.  
Жанъ-Поль-Рихтеръ.—I, 703, 760.  
«Желтая дорога», п. Некрасова.—II, 364.  
«Женская исторія», р. Ю. Жадовской.—II, 649, 652.  
«Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова», ст. Д. Писарева.—I, 167, 169.  
Жеребцовъ.—I, 163, 547.  
«Жизнь Магомета», соч. В. Ирвинга.—ст. Добролюбова.—I, 547.  
«Жизнь московскихъ заочниковъ», А. Левитова.—II, 318.  
«Жизнь Шулова», ром. Шеллера.—II, 25.  
Жоржъ-Зандъ.—I, 15, 268, 288, 297, 298, 409, 428, 433, 436, 444, 445, 455, 779; II, 238, 638.  
Жофруа-Сентъ-Илеръ.—I, 751.  
Жуковский В.—I, 35, 192, 203, 209, 212, 290, 309, 310, 313, 314, 333, 350, 370, 383, 385, 390, 521, 719, 749; II, 239, 240, 248, 338, 343, 372, 381, 385, 663, 682, 685, 688, 695,

697, 698, 699, 720, 724, 831, 832, 839, 840, 842, 856, 870, 871.

## З.

«Заборовъ», Гребенки.—II, 362.  
Загоскинъ.—I, 123; II, 5, 128, 280, 362, 642, 665, 682—713, 725, 730, 734, 741, 745, 746, 747, 749, 754, 766, 769, 786, 791.  
Зайцевъ.—I, 232.  
«Записки доктора Крупова», Герцена.—I, 344, 664.  
«Записка о народномъ воспитаніи», Пушкина.—II, 866.  
«Записки изъ мертвого дома», Ф. Достоевскаго.—I, 128.  
«Записки охотника», Тургенева.—I, 11, 13, 128, 148, 453, 454, 455, 584, 783; II, 111.  
«Записки Тетянина», Михайловскаго.—II, 516.  
Зарубинъ.—I, 128, 135.  
Златовратскій.—II, 328, 329, 468, 478, 516, 541—560.  
«Злоба дня», др. Потѣхина.—II, 162, 164.  
«Змѣй», Н. Успенскаго.—I, 131, 139.  
«Знакомство мое съ Пушкинымъ», Загоскина.—II, 726.  
Зюла.—II, 229, 405.  
«Золотыя сердца», Златовратскаго.—II, 516.  
Зотовъ, В.—I, 373.  
Зотовъ, Р.—II, 128, 338, 745, 746, 749—768, 769, 774, 776.

## И.

«Иванъ Выжигинъ», р. Булгарина.—II, 782, 785—786.  
«Идеалы», Шпллера.—I, 422.  
«Изъ воспоминаній о перепискѣ», Л. Толстого.—II, 569—575.  
«Изъ сочиненій доктора Крупова», ст. Герцена.—I, 767, 781, 782, 790.  
Искандеръ, ск. Герцень.  
«Искусство», кн. П. Ж. Прудона.—I, 63—75.  
«Искушеніе», пов. Хвоцинской.—I, 687, 688, 689, 690.  
«Исповѣдь», Л. Толстого.—II, 624.  
«Испытаніе», р. Хвоцинской.—I, 685.  
«Histoire de ma vie», Жоржъ-Зандъ.—II, 638.  
«Исторія Госуд. Россійскаго», Карамзина.—II, 840.  
«Исторія», пов. Новодворскаго.—II, 504.  
«Исторія русскаго народа», Н. Полеваго.—II, 665.  
«Исторія русской словесности», А. Галахова.—I, 308.  
«Исторія Пугачевскаго бунта», Пушкина.—II, 871, 872, 874.  
Иоаннъ Дамаскинъ.—II, 236.

## К.

Кабанисъ.—I, 496.  
Кавелинъ.—I, 282.  
«Кавказскій плѣнникъ», поэма Пушкина.—I, 214; II, 845, 854, 855.  
«Кавказскій плѣнникъ», пов. Л. Толстого.—I, 662.

«Казани», пов. Л. Толстого.—I, 633, 686.  
 Малайдовичъ, М. Ф.—II, 664.  
 Наменский.—I, 371.  
 Нантемь.—I, 299, 300, 399; II, 382.  
 Нантъ.—I, 287, 293, 409, 410.  
 «Капитанская дочка», повесть Пушкина.—I, 212; II, 663, 669—675, 747, 765, 871.  
 Капнисть.—I, 718.  
 «Капризы и раздумье», ст. Герцена.—I, 442, 780; II, 352.  
 «Капустинъ», пов. Кудольника.—II, 774.  
 Карамзинъ, Н. М.—I, 194, 203, 299, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 322, 332, 345, 388, 385, 521, 749; II, 385, 653—659, 663, 665, 682, 684, 709, 727, 746, 888, 889, 840, 846, 865.  
 Карузь.—I, 758.  
 «Карьера», пов. Новодворскаго.—II, 504, 505, 509, 513, 515.  
 Натковъ.—I, 386, 388; II, 47, 501.  
 Каченовский.—I, 212, 315, 316, 327, 362, 365.  
 Кельселев.—II, 297.  
 «Кинжалъ», Пушкина.—I, 748.  
 Кириш-Даниловъ, былинны.—II, 246, 664, 709, 845.  
 Кирѣевскій, Ив.—I, 313, 315, 322, 335, 351—354, 355, 356, 358, 359, 362, 398, 754; II, 47, 48, 49, 863.  
 Кирѣевскій, А.—II, 105, 246, 863.  
 Клопштонъ.—II, 771.  
 Ключниковъ, В.—I, 29, 56—58, 248.  
 Ключниковъ.—I, 386, 493.  
 «Клятва при гробѣ Господнемъ», р. П. Полежаева.—II, 782, 790—791.  
 Князичъ.—II, 653, 854.  
 «Князь Серебряный», ром. А. Толстого.—II, 255, 271.  
 «Князь Скопинъ-Шуйскій», р. Шинкиной.—II, 791, 792.  
 «Князь Федоръ Д-тый и княжна Марья М-ва», ром. Ав. Лафонтена.—II, 746—748.  
 «Когда же придетъ настоящий день?», ст. Добролюбова.—I, 548, 565.  
 «Колесо счастья», ск. Вагнера.—I, 707.  
 Козловъ.—I, 317.  
 Кольцовъ.—I, 141, 367, 458, 460, 469, 470, 471; II, 230, 289, 290, 373, 388, 395, 647.  
 «Кому на Руси жить хорошо».—II, 364, 400, 403, 404.  
 Кондильякъ.—I, 316.  
 Кондорсъ.—II, 602, 608.  
 Контъ Огюстъ.—I, 483, 487, 493, 494, 570; II, 602.  
 «Концы и начала», Герцена.—I, 793.  
 Корнель.—II, 392, 653.  
 «Коробейники», поэма Некрасова.—II, 364, 376, 400, 404.  
 Костомаровъ, Н. И.—I, 282.  
 Котошкинъ.—II, 120, 286.  
 Кохановская.—I, 125—127, 503; II, 102, 324.  
 Коцебу.—I, 747; II, 31.  
 Кошелевъ.—II, 533—540.  
 Краевскій, А.—II, 342, 773.  
 Красовъ.—I, 386, 387, 390, 395.  
 Крепкинъ.—I, 155.  
 Крестовскій, Всев.—II, 247.

В. Крестовскій (псевдонимъ), см. Хвоцнискал.  
 «Крестянской вопросъ въ царств. Имп. Николая», В. И. Семеновскаго.—II, 605.  
 «Крестянскія дѣти», Некрасова.—II, 364, 376.  
 Кроненбергъ.—II, 352.  
 Кротковъ.—II, 173.  
 «Крушинскій», ром. А. Потѣхина.—II, 134.  
 Крыловъ, Ив.—I, 312, 370, 531, 718; II, 406, 688.  
 «Кто виноватъ», ром. Искандера.—I, 219, 751, 767, 774, 775, 778, 782.  
 «Кто-жъ остался доволенъ» ром. Хвоцнискал.—I, 685.  
 Кудрявцевъ.—I, 11, 282, 433.  
 Кузень.—I, 318, 326.  
 «Кузьма Петровичъ Мирошевъ», ром. Зароскина.—II, 711.  
 Кузьмичъ, Ал.—II, 746.  
 Кузольникъ.—I, 371, 373, 666; II, 230, 338, 713, 746, 769—782.  
 Кулибинъ.—I, 14.  
 Куперь.—I, 295.  
 «Курлила», сказка Вагнера.—I, 702.  
 Курочкинъ, Н.—I, 63.  
 Куцовскій.—I, 572; II, 285, 289.  
 Кювье.—I, 752, 758.  
 Кюхельбекеръ.—II, 837.

## L

Ланечниковъ.—I, 123; II, 128, 665, 713—745, 746, 749, 754, 762, 766, 769.  
 Ламотъ-Фуаъ.—I, 286.  
 Лассаль.—I, 85—112; II, 31, 60.  
 Лафатеръ.—I, 290.  
 Лафонтенъ, Авг.—I, 747; II, 746—748.  
 Лафонтенъ-Жанъ.—II, 834.  
 Левитовъ, А.—I, 128, 137—139, 572; II, 285—330.  
 «Ледяной домъ», ром. Лажечникова.—II, 725, 734—740, 742.  
 Лейвинъ.—I, 572.  
 «Леонидъ», р. Р. Зотова.—II, 745, 753, 757—760, 766, 776.  
 Лермонтовъ.—I, II, 212, 282, 299, 312, 336, 367, 373, 379, 390, 432, 436, 441, 527, 645; II, 238, 245, 246, 248, 304, 338, 352, 372, 381, 386, 388, 470, 477, 479, 506.  
 Леру, Пьеръ.—I, 755.  
 Лессингъ.—I, 287, 506, 517, 518; II, 32.  
 «Лессингъ», ст. Чернышевскаго.—I, 506, 518.  
 «Литературный вечеръ», очеркъ П. Гончарова II, 427—440.  
 «Литературныя воспоминанія», Ив. Панаева.—I, 281, 324, 370.  
 «Литературныя мелочи прошлаго года», ст. Добролюбова.—I, 560, 562.  
 «Литературныя мечтанія», В. Бѣлинскаго.—I, 391, 398; II, 726.  
 «Литературныя опасенія», ст. Надеждина.—I, 363, 397.  
 Локъ.—I, 316, 322, 496; II, 19.  
 «Лола Монтезь», пов. Дружинина.—II, 362.  
 Ломоносовъ.—I, 14, 15, 16, 17, 192, 299, 300, 301, 310, 314, 317, 318, 332, 545; II, 154, 382, 476, 686.  
 Луганскій казанъ, см. Даль.

Луи-Бланъ.—I, 499.  
 Лукинъ.—I, 214.  
 «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», ст. Добролюбова.—I, 565.  
 Льюисъ.—I, 13.  
 Лѣсковъ (Стебницкій).—I, 29, 59—61, 248; II, 3, 112.  
 «Лѣсъ», ком. Островскаго.—II, 806.  
 «Лѣсъ рубать—щепки летать», ром. Шеллера.—II, 6.  
 Лѣтновъ.—II, 197.  
 «Лѣтопись села Горохина», Пушкина.—II, 666, 870.  
 «Люцернъ», пов. Л. Толстого.—I, 633.

## M

«Мазепа», р. Булгарина.—II, 782, 788.  
 Максимовичъ.—II, 664.  
 «Малиновка», пов. Лажечникова.—II, 713, 721—723.  
 «Маркеръ», Л. Толстого.—I, 613, 633, 641.  
 Майковъ, Вас.—I, 214.  
 Майковъ, Ап.—I, 154, 436, 447, 501, 666; II, 101, 230, 245, 289, 306, 352, 362.  
 Майковъ, Вал.—I, 448, 458—470, 477, 478, 482, 492, 498.  
 «Майоръ и Сверчокъ», ск. Вагнера.—I, 712.  
 Максимовичъ.—I, 352.  
 «Мансъ и Волчовъ», ск. Вагнера.—I, 710.  
 Маколей.—I, 13.  
 «Малье ребята», разск. Гл. Успенскаго.—II, 488, 495.  
 Мальтусъ.—I, 343, 486, 499, 500.  
 «Мальтусъ и его противники», ст. В. Михайлова.—I, 486.  
 «Марево», В. Ключникова.—I, 30, 56—58.  
 Маревичъ, Болесл.—II, 112, 412, 431.  
 Марно-Вовчокъ.—I, 128, 564; II, 248, 324, 635.  
 Марковъ, Евг.—II, 197, 198, 199, 200, 396, 434.  
 Марлинскій, см. А. Бестужевъ.  
 Мартыновъ (переводчикъ).—I, 11.  
 «Марса посадища или покореніе Новгородца», повесть Карамзина.—II, 657—658.  
 Масальскій.—II, 782.  
 «Матеріалы для біографіи Добролюбова», Чернышевскаго.—I, 544.  
 «Мать», поэма Некрасова.—II, 334.  
 «Между денегъ», романъ А. Потѣхина.—II, 259, 266, 274—286.  
 «Между людьми», пов. Рѣшетникова.—I, 264, 274.  
 Меженчикъ.—II, 338.  
 Мельниковъ, П. Ив.—II, 164, 165, 271.  
 «Мендель, критикъ Гете», соч. Бѣлинскаго.—I, 397, 438, 722; II, 364.  
 «Мертвое озеро», романъ Некрасова и Станислава.—II, 360, 361.  
 «Мертвое тѣло», разск. В. Стѣпнова.—I, 133.  
 «Мертвая душа», соч. Гоголя.—I, 140, 573, 645, 646, 655, 666; II, 5, 102, 111, 224, 286, 338, 431, 465, 660, 696.  
 «Мечтатели», пов. Новодворскаго.—II, 504, 505.

- «Мечты и звуки», ст. Некрасова — П, 343—346.  
 «Мила и Ноли», ск. Вагнера.—I, 704.  
 Миллер, Ор.—I, 186.  
 Милль.—I, 13; П, 19.  
 Милютинъ, Вл. Ал.—I, 482—490, 498, 505, 666; П, 398.  
 Минаевъ, Д. Д.—I, 281.  
 «Миргородъ», пов. Гоголя.—I, 645; П, 680.  
 Михайловскій, Н. К.—П, 328, 329, 592.  
 Михайловъ, А. См. Шеллеръ.  
 Мицевичъ.—П, 863.  
 «Мишура», ром. Потѣхина.—I, 136.  
 Модестовъ, В.—I, 465.  
 Мошотъ.—П, 172.  
 Мольтеръ.—П, 233, 833, 834.  
 Монтескье.—I, 301.  
 «Морозъ красный носъ», поэма Некрасова.—П, 364, 400, 401, 403, 404.  
 «Москва и Петербургъ», Герцена.—I, 767.  
 «Мотивы русской драмы», ст. Д. Писарева.—I, 163, 173.  
 «Моцартъ и Сальери», Пушкина.—П, 870.  
 «Мысли и замѣтки о русской литературѣ», Бѣлинскаго.—П, 352.  
 «Мѣдный всадникъ», Пушкина.—П, 872, 876.

## Н.

- «Наблюдения дѣтля», сочин. Гл. Успенскаго.—I, 602.  
 Надеждинъ.—I, 208, 209, 313, 327, 328, 335, 336, 354, 356, 367—367, 370, 389, 393, 394, 395, 398, 439, 444.  
 Надоумка. См. Надеждинъ.  
 «Наказъ Екатерины II.—I, 8.  
 «Наканунъ», ром. Тургенева.—I, 36, 37, 502, 548;—П, 16, 137, 709, 794.  
 «Народное дѣло», ст. Добролюбова.—I, 567.  
 Наръжный.—П, 653, 658—663, 723.  
 «Насѣшка мертвеца», соч. Островскаго.—I, 345.  
 «Наталья, боярская дочь», ром. Крамзина.—П, 653, 654—657, 721, 723.  
 «Наука жизни или какъ молодому человеку жить на свѣтѣ», соч. Кф. Дымкава.—I, 165, 166.  
 Наумовъ, Н. И.—П, 325, 478.  
 «Нашъ взаимный другъ», ром. Диккенса.—I, 54.  
 «Наши идеалисты и реалисты», А. Немировскаго.—I, 64, 73.  
 «Национальный вопросъ въ исторіи и литературѣ», А. Градовскаго.—П, 91—92.  
 «Небыльщина», П. Якушкина.—I, 136—137.  
 «Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ», др. Островскаго.—П, 809.  
 «Невольницы», др. Островскаго.—П, 805.  
 «Не въ свои сани не садись», ком. Островскаго.—I, 503, 555; П, 325.  
 «Не все коту маслиница», ком. Островскаго.—П, 820.  
 «Невскій проспектъ», пов. Гоголя.—П, 360.

- «Не въ привычку дѣла», разск. Гл. Успенскаго.—П, 490, 496.  
 «Неистовый Орландъ», Аріоста.—П, 845.  
 Некрасовъ, Н.—I, 153, 541;—П, 99, 227, 245, 266—270, 305, 324, 330—404.  
 «Ненуда», ром. М. Стебницкаго.—I, 29, 59—61.  
 А. Немировскій.—I, 64, 73.  
 «Немного лѣтъ назадъ», ром. Лажечникова.—П, 744.  
 «Необходимость, значеніе и сила эстетическаго образованія», ст. Надеждина.—I, 366.  
 «Необыкновенный завтракъ», пов. Некрасова.—П, 360.  
 «Непостижимая странность», ст. Добролюбова.—I, 567.  
 «Нереида», Пушкина.—I, 422.  
 «Нертшенный вопросъ», Д. Писарева.—I, 175, 177.  
 «Не сошлись характерами», ком. Островскаго.—П, 797.  
 «Несчастные», поэма Некрасова.—П, 333, 377.  
 «Не такъ живи, какъ хочется», др. Островскаго.—П, 820.  
 Нефедовъ.—П, 289, 299, 305.  
 Никитинъ.—П, 230, 647.  
 «Новгородъ и Владимиръ», соч. Герцена.—I, 767.  
 Новиковъ.—I, 8, 9, 14, 15, 303, 304, 307, 332, 721; П, 477, 478, 714.  
 Новодворскій.—П, 500—516, 528, 530.  
 «Новозобрѣтенная привилегированная красавица Дирлинга и К<sup>о</sup>», пов. Некрасова.—П, 360.  
 «Новый годъ», разск. Кугольникова.—П, 775.  
 «Новый кодексъ русской практической нравственности», ст. Добролюбова.—I, 165.  
 «Новыя варіаціи на старыя темы», ст. Герцена.—I, 767, 773.  
 «Ночь».—Гоголя.—I, 343.  
 «Ночлеги», разск. Стѣпцова.—I, 133.  
 «Ночь на Рождество», Гоголя.—П, 663, 675.  
 «Ночь», разск. Гаршина.—П, 528, 530.  
 «Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести», ст. Герцена.—I, 767.  
 «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», соч. Веневитинова.—I, 349, 350.  
 Ньютонъ.—П, 19, 611.

## О.

- «Оберонъ», Виланда. П, 845.  
 «Обломовъ», ром. Гончарова.—I, 217, 220, 244, 584; П, 16, 224, 431, 465, 794.  
 Оболенскій.—П, 587—613.  
 «Обыкновенная исторія», ром. Гончарова.—I, 217, 218, 219, 450, 452.  
 «Обрывъ», ром. Гончарова.—I, 217—256, 457, 687.  
 «Объ ослабленіи классическаго преподаванія въ гимназіяхъ», Грановскаго.—I, 734.  
 Овидій.—П, 864.

- Огаревъ.—П, 391.  
 «Ода на свободу», Пушкина.—I, 748.  
 «Одинъ въ полѣ не воинъ», ром. Шиллыгаева.—I, 85—112.  
 Одоевскій, В. Ф.—I, 315, 332, 334, 335—349, 352, 370, 389, 400, 401, 703, 744, 753, 760, 787; П, 23.  
 Озеровъ.—П, 653.  
 «О значеніи авторитета въ воспитаніи», ст. Добролюбова.—I, 553.  
 «О значеніи искусства въ цивилизаціи», Адельсона.—I, 63, 65.  
 Окень.—I, 751.  
 «Около денегъ», ром. А. Потѣхина.—П, 197, 199.  
 «О критикѣ «Наблюдателя», ст. Бѣлинскаго.—I, 401.  
 Оленинъ.—П, 664.  
 Оммулевскій.—I, 572, 606; П, 5, 23, 29.  
 «О назначеніи ученыхъ», переводъ Лейбница Фихте.—I, 409.  
 «Опасный соседъ», В. А. Пушкина.—П, 831.  
 «Опытная женщина», пов. Некрасова.—П, 360.  
 «Опытъ о народномъ богатствѣ или о началѣхъ политической экономіи», А. Бутовскаго.—I, 486.  
 «Опытъ о философіи Гегеля», соч. Вильхеля.—ст. Сташенича.—I, 409.  
 «Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умств. и нрав. дѣятельностью», ст. Добролюбова.—I, 547.  
 «О русской журналистикѣ прошлаго столѣтія», ст. П. Милютинъ.—I, 505.  
 «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», ст. Бѣлинскаго.—I, 406, 516.  
 Осиповичъ, А. см. Новодворскій.  
 «О собѣдникѣ любителей русскаго слова», ст. Добролюбова.—I, 544.  
 «О степени участія народности въ развитіи русской литературы», ст. Добролюбова.—I, 560.  
 «Острица», Гоголя.—П, 677.  
 Островскій, А. И.—I, 128, 501, 502, 548, 555, 565, 585; П, 47, 99, 136, 282, 324, 325, 770, 793—830.  
 «Откликъ съ Патриаршихъ Прудовъ», ст. Надеждина.—I, 365.  
 «Отношеніе искусства къ дѣятельности», П. Чернышевскаго.—I, 176.  
 «Отрочество», разск. Л. Толстого.—I, 612, 614, 622.  
 «Отсталая», пов. Ю. Жадовской.—П, 650, 652.  
 «Отцы и дѣти», ром. Тургенева.—I, 29, 39—46, 527, 687.  
 «О философской критикѣ художественнаго произведенія», Ретшера.—I, 420.  
 «Очерки Бородинскаго сраженія» Глинни, ст. Бѣлинскаго.—I, 438.  
 «Очерки бурсы», Помяловскаго.—I, 669, 670.  
 «Очерки гоголевскаго періода», соч. Чернышевскаго.—I, 280, 281, 373, 506, 517, 518.  
 «Очерки Севастопольской войны», Л. Толстого.—I, 644.

## П.

- Павловъ, М. Г.—I, 332, 334, 389, 390, 395, 419, 721.

Панаевъ, В. И.—I, 194.  
 Панаевъ, Ив.—I, 281, 317, 321, 324, 325, 337, 361, 370, 387, 388, 415, 432, 434, 435, 453, 766, 767; —II, 24, 347, 349, 352, 355, 362, 377, 769, 771, 772, 773.  
 «Пана-пряникъ», ск. Вагнера.—I, 702.  
 «Парижскія Тайны», ром. Сю.—I, 480.  
 Париж.—II, 838.  
 «Peuple russe et le socialisme», Герцена.—I, 793.  
 «Переписка съ друзьями», Гоголя.—I, 151, 153, 158, 497, 502, 511, 646, 691, 721, 722; II, 102, 111.  
 «Переселенцы», ром. Григоровича.—II, 272.  
 Перовскій, Алексѣй (пс. Антошъ Ногорьбальскій).—II, 232, 688.  
 «Петербургская сторона», Е. И. Гребенки.—II, 350.  
 «Петербургскіе углы», Некрасова.—II, 350, 360.  
 «Петербургскіе шарманщики», Григоровича.—II, 350.  
 «Петербургскій дворникъ», В. П. Луганскаго.—II, 350.  
 «Петербургъ и Москва», Бѣлинскаго.—II, 350.  
 «Петръ Выкигинъ», ром. Булгарина.—II, 782, 786—788.  
 Печерскій. См. Мельничковъ.  
 Пиндаръ.—I, 317, 356.  
 Пироговъ, Н.—I, 506—515, 553.  
 «Пиръ во время чумы», Пушкина.—II, 870.  
 Писаревъ, Дм. Ив.—I, 143—218, 280, 282, 313, 443; II, 21, 22, 398.  
 Писемскій.—I, 36, 49—56, 57, 58, 59, 61, 75, 128, 131, 167, 168, 169, 248, 282, 502, 550, 687, 716, 775, 783;—II, 1, 2, 3, 103, 112, 136.  
 «Письма изъ Венеціи - Margu», Герцена.—I, 784.  
 «Письма изъ Франціи и Италіи», Герцена.—I, 784.  
 «Письма къ старому товарищу», Герцена.—I, 796.  
 «Письма объ изученіи природы», ст. Герцена.—I, 504, 767, 772, 773, 790.  
 Платонъ, проповѣдникъ.—I, 214.  
 Платонъ, философъ.—I, 753; II, 478.  
 Плутархъ.—I, 749.  
 «Пятникъ», Гоголя.—II, 677.  
 «Поврежденные», разск. Герцена.—I, 783.  
 «Повѣсти Бѣликина», А. Пушкина.—I, 212; II, 709, 837, 870.  
 «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», Гоголя.—II, 659.  
 «Погибіи и погибающіе».—I, 216.  
 Погодинъ, М. И.—I, 335, 348, 349, 367, 375, 389, 719, 721, 733; II, 46, 126, 351, 641, 863, 864.  
 Погосянъ.—I, 118.  
 «Подите прочь», Пушкина.—I, 423.  
 «Подлинный», Рѣшетникова.—I, 128, 133—135, 261; II, 101.  
 «Подростающая гуманность», ст. Писарева.—I, 216.  
 «Пока не требуетъ поэта», Пушкина.—I, 423.  
 Полевой, П.—I, 149.

Полевой, Ник.—I, 11, 123, 212, 287, 299, 315—332, 335, 336, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 365, 366, 371, 379, 389, 391, 397, 398, 400, 401, 406, 422, 423, 753, 761; II, 23, 97, 126, 230, 338, 339, 342, 665, 684, 746, 782, 790, 791.  
 Поленасъ.—I, 409, 423, 424, 744.  
 «Полинья Сансъ», пов. Дружинина.—I, 775.  
 Полонскій, Ян.—I, 141—143.  
 «Полтава», Пушкина.—I, 645, 870.  
 Поль-де-Коль.—I, 373, 391, 401.  
 «Помѣщикъ», пов. Тургенева.—II, 352.  
 Помыловскій.—I, 128, 669; II, 28, 29, 99, 285, 322.  
 Пономаревъ, С. И.—II, 370.  
 «По поводу одной драмы», ст. Герцена.—I, 442, 767, 773, 774, 778, 779.  
 «По разнымъ поводамъ», ст. Герцена.—I, 779.  
 «Поросенята», разск. П. Успенскаго.—I, 131.  
 «Портретъ», Гоголя.—I, 343, 719, 720.  
 «Портретъ», пов. А. Толстого.—II, 238, 235.  
 «Портчане», Помяловскаго.—I, 128.  
 «Посадникъ», др. А. Толстого.—II, 197.  
 «Последнее дѣйствіе комедіи», ром. Хвощинской.—I, 685.  
 «Последній Новизна», ром. Лажечникова.—II, 725—734, 740, 742, 762.  
 «Последній потомокъ Чингисъ-хана», ром. Р. Зотова.—II, 745, 754—757, 766.  
 «Послѣднія произведенія гр. Л. Н. Толстого», крит. ст. М. С. Громеки.—II, 561—569.  
 «Послѣ обѣда въ гостяхъ», пов. Кохановской.—I, 125—127.  
 Посошковъ.—II, 286.  
 Потѣхинъ, Ал.—II, 131—162, 164, 197, 199, 200, 213, 259, 266, 274—286.  
 «Походныя записки», Лажечникова.—II, 731.  
 «Поята, дочь Лездейки», ром. Вернатовича.—II, 773.  
 «Правда хорошо, а счастье лучше», др. Островскаго.—II, 796.  
 «Преступленіе и наказаніе», ром. Ф. Достоевскаго.—I, 215.  
 «Приходскій учитель», пов. Хвощинской.—I, 674.  
 «Похвала глупости», драма Потѣхина.—I, 663.  
 «Прерванные рассказы», Герцена.—I, 767.  
 «Пріятель», пов. Тургенева.—I, 37.  
 «Проназикъ», ром. Загоскина.—II, 685.  
 «Проконій Ляпуновъ», р. Шипиловой.—II, 791—793.  
 «Пролетаріи и пауперизмъ», ст. В. Милотина.—I, 482, 483.  
 «Прометей», тр. Эсхила.—I, 439.  
 «Проселочная дорога», р. Григоровича.—II, 135.  
 «Простой случай», пов. Жадовской.—II, 647.  
 Прудонъ.—I, 64—76, 249, 250, 410, 577, 793; II, 60, 483, 611.  
 «Пугачевцы», ром. Евг. Саліаса.—II, 92, 112—128.

«Пучина», др. Островскаго.—II, 827.  
 Пушкинъ, А. С.—I, 10, II, 186—214, 242, 243, 299, 309, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 324, 327, 333, 336, 344, 356, 357, 358, 361, 363, 364, 366, 370, 385, 390, 400, 401, 403, 421, 422, 423, 425, 431, 436, 447, 497, 516, 518, 521, 573, 645, 719, 748, 749, 758, 760; II, 8, 47, 118, 212, 238, 239, 244, 245, 248, 254, 258, 345, 372, 375, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 470, 477, 479, 525, 603, 665—675, 677, 678, 680, 682, 684, 687, 688, 692, 696, 697, 704—709, 712, 724, 725, 726, 733, 734, 738, 739, 740, 746, 747, 754, 755, 770, 771, 774, 793—795, 829—889.  
 Пушкинъ, В. А.—II, 831, 835.  
 «Пушкинъ и Бѣлинскій», ст. Д. Писарева.—I, 186.  
 Пфеннингъ.—I, 290, 291.  
 Пыпинъ, А. Н.—II, 847, 353.  
 «Пѣсенка землі», ск. Вагнера.—I, 710, 711.  
 «Пѣсни западныхъ славянъ», Пушкина.—II, 872.

## P.

Рабле.—I, стр. 123.  
 Радичевъ.—II, 477, 478.  
 Радклифъ.—II, 684.  
 «Разбойники», тр. Шиллера.—II, 154.  
 «Разговоръ о счастьи», П. Карамзина.—I, 308.  
 «Раздѣленіе поэзи на роды и виды», ст. В. Бѣлинскаго.—I, 390.  
 «Размышленіе у параднаго подъязда», Некрасова.—II, 364, 377.  
 «Разореніе», ром. Гл. Успенскаго.—I, 571—604, 632.  
 Газрушеніе эстетими», ст. Д. Писарева.—I, 175.  
 «Разъѣздъ», Гоголя.—II, 431.  
 Расинъ.—I, 817; II, 302, 653.  
 Р—ва Зинаида, см. Гагъ.  
 «Ревизоръ», ком. Гоголя.—I, 425, 438, 645, 666; II, 216, 286, 338, 431, 680.  
 «Регентство Бирона», р. Масальскаго.—II, 791.  
 Рейхлинъ.—II, 475.  
 Ретшеръ.—I, 420, 421, 433.  
 Розенгеймъ.—II, 641.  
 «Роксолана», др. Кукольникъ.—II, 772.  
 «Романъ», пов. Новодворскаго.—II, 594.  
 «Романъ ивсейной барышни», соч. Писарева.—I, 180, 216.  
 «Романы и повѣсти», Хвощинской.—8 т., Спб. 1859 г.—I, 663—698.  
 «Рославлевъ», ром. Загоскина.—II, 675, 685, 696—704, 786.  
 «Рославлевъ», Пушкина.—II, 675, 696, 697, 704—709.  
 «Россія», Булгарина.—II, 745.  
 Ростопчина, графиня.—I, 658.  
 «Рудинъ», Тургенева.—I, 502, 716, 726; II, 224.  
 «Рука Всевышняго отечество спасла», др. Кукольникъ.—II, 769.  
 «Русалка», Пушкина.—II, 871.  
 «Руслякъ и Людмила», поэма Пуш-

кина.—I, 212; II, 840, 842, 844, 845, 855, 864.

«Русская сатира Екатерининского времени».—I, 560.

«Русская цивилизация, сочиненная Жеребцовым», ст. Добролюбова.—I, 547.

«Русские в начале XVIII ст.», р. Загоскина.—II, 712.

«Русский Жилблаз», р. Нарбжваго.—II, 659.

«Русские женщины», Некрасова.—II, 266—270, 364, 380.

«Русские ночи», Одовского.—I, 327, 339, 342, 343, 311, 348, 703.

Руссо.—I, 301, 308, 309, 755, 796; II, 407, 474, 475, 479, 833.

«Рыбани», ром. Григорьевича.—II, 272.

Рыбников.—II, 105, 246.

Рылеев.—I, 748; II, 854.

Рышетьников, в. М.—I, 128, 133—135, 137, 255—278, 585; II, 99, 101, 102, 111, 227, 285, 289, 310, 322, 325.

## С.

Саванарола.—I, 720.

Савельев-Ростиславич.—I, 435.

Саласъ, Евг.—II, 92, 112—128.

Салтыков, М. Ев.—I, 177; II, 99, 101, 136, 216, 223, 468, 470, 592, 770.

Сахаров.—II, 105, 246.

«Саша», поэма Некрасова.—II, 389, 391.

«Саша», разск. Н. Успенского.—I, 129.

«Свадьба Фигаро».—I, 748.

«Свиньи», разск. В. Стѣцова.—I, 133.

Свифт.—I, 781; II, 19.

Д. Святский, см. Д. Минаевъ.

Свиньинъ.—II, 746.

«Свои люди сочтемся», ком. Островского.—I, 501.

Семеновский, В. И.—II, 605, 606.

«Семейное счастье», р. Л. Толстого.—I, 614.

«Семейная хроника», С. Аксакова.—II, 110.

«Семейство Тальминовых», ром. Станцкаго.—II, 362.

Сениковский.—I, 329, 356, 371, 373, 374, 401, 724; II, 338, 769, 772.

Сень-Симонъ.—I, 295.

«Сервантесовы братья», Гофманъ.—I, 344.

Сервантесъ.—I, 123, 582; II, 238, 696.

«Сердитое безсиліе», ст. Д. Писарева.—I, 215.

«Сержантъ Ив. Ив. Ивановъ», пов. Кукольникова.—II, 769, 776—779.

«Сила характера», р. Смирновой.—II, 197.

Сисмонди.—I, 724.

«Сказки Юга-Мурлыки», Ник. Вагнера.—I, 697—714.

«Сказки», Пушкина.—II, 871, 872.

«Скупой рыцарь», Пушкина.—II, 870, 876.

«Славянский Сборникъ», Савельева-Ростиславича.—I, 435.

«Словенские вечера», Нарбжваго.—II, 653, 660—663.

«Словесность и торговля», ст. Шевельева.—I, 377—378, 379.

Случевский, Н.—I, 63, 65, 66.

Слѣцовъ, В.—I, 128, 132—133, 205, 206, 207; II, 325, 507.

«Смерть Иоанна Грознаго», др. А. Толстого.—II, 255.

Смирнова.—II, 197, 198, 199, 200.

Смитъ, Ад.—I, 322, 338, 499; II, 19.

«Смотрины и рукобиты», пов. Дала.—II, 362.

Снегиревъ.—II, 105.

Соллогубъ, гр.—I, 370; II, 352.

Соловьевъ, Влад.—II, 564.

Соломонъ.—II, 563.

«Сонъ Обломова», Гончарова.—I, 614.

«Сорона-воровна», пов. Герцена.—I, 767, 783.

Сочиненія А. Потѣхина. Спб. 1873.—II, 131—162.

Спенсеръ.—I, 13, 494.

Сталь.—II, 705.

Станицій, см. Головацкова.

Станевичъ.—I, 158, 171, 281, 335, 367, 378, 381, 384, 386, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 398, 402, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 436, 724, 730, 756, 757, 759, 764; II, 174, 773.

«Станція Едрова», соч. Герцена.—I, 767.

«Старичи острова Панхак», соч. Одовского.—I, 341.

«Старое барство», ст. Д. Писарева.—I, 215.

«Старушка», Ап. Майкова.—II, 362.

«Старый мѣръ и Россія», Герцена.—I, 793, 795.

Стебницкій, см. Лѣсковъ.

Стедаль.—II, 229.

«Стопные очерки», А. Левитова.—II, 291, 298, 306, 311—318.

«Стоячая вода», ст. Д. Писарева.—I, 167.

«Страшная месть», Гоголя.—II, 603, 675, 676, 680, 681.

Строевъ, П. С.—II, 604.

Стронинъ.—II, 126.

Стурдза.—II, 31.

«Стрѣльцы», р. Мисельскаго.—II, 790, 791.

Суворинъ.—II, 474, 501.

«Судъ», поэма Некрасова.—II, 377, 404.

Сумароковъ.—I, 299, 300; II, 653.

«Съ того берега», Герцена.—I, 786, 787, 794.

Сю, Евгений.—I, 13, 480.

## Т.

«Таинственный монахъ», ром. Золва.—II, 745, 754, 760—766.

«Таланты и поклонники», др. Островского.—II, 808.

«Тарасъ Бульба», Гоголя.—I, 718; II, 663, 677, 678, 680, 681.

Тадить.—II, 63, 862.

Темкинъ, См. Н. К. Михайловскій.

«Темное царство», ст. Добролюбова.—I, 554, 557.

Текнерей.—I, 13, 433; II, 10, 771.

Телець, Габріель. (Тирсо-де-Молта)—II, 254.

Тякъ.—I, 288.

Тимофѣевъ.—I, 371, 373; II, 338.

«Титъ Сафоновъ Казанокъ», пов. А. Потѣхина.—II, 144.

«Тѣше воды ниже травы», соч. Гл. Успенскаго.—I, 697.

Толстой Алексѣй.—II, 109, 197, 225—259, 271.

Толстой, Левъ.—I, 153, 195, 585, 603—662, 716; II, 24, 103, 113, 114, 124, 125, 126, 128, 129, 250, 321, 405—428, 431, 468, 470, 561—634, 787.

Томасъ-Муръ.—I, 753.

«Тонкій человѣкъ», пов. Некрасова.—II, 360.

«Торговая Волга», Зарубина.—I, 128, 135.

«Торивато-Тассо», др. Кукольникова.—I, 373; II, 769, 772.

«То, чего не было», ст. Гаршина.—II, 531.

Тредьяковскій.—I, 300; II, 382, 476, 739, 740, 742.

«Три письма», разск. Гл. Успенскаго.—II, 516.

«Три смерти», Л. Толстого.—I, 644.

«Три страны свѣта», ром. Некрасова.—II, 356, 359, 360, 361.

«Трудное время», пов. В. Стѣцова.—II, 507.

«Трудъ мужичи и женичи», Л. Толстого.—II, 593—599.

«Трусъ», разск. Гаршина.—II, 520, 523.

Тургеневъ, А. И.—I, 350; II, 831, 835, 840, 879.

Тургеневъ И. С.—I, 1—30, 36, 39—47, 57, 61, 73, 75, 129, 131, 148, 167, 169, 170, 242, 243, 248, 282, 364, 380, 436, 437, 453, 454, 455, 481, 497, 501, 502, 527, 716, 726, 775, 783; II, 3, 99, 136, 205, 223, 248, 250, 347, 352, 353, 373, 391, 470, 641, 701, 713, 770, 795.

«Тургеневъ и Гончаровъ», ст. Д. Писарева.—I, 167.

«Тысяча душъ», ром. Писемскаго.—I, 36, 550; II, 1, 136.

Тысър.—I, 724.

Тютчевъ.—I, 501, 666; II, 230, 245, 306.

## У.

Уландъ.—II, 109, 210, 771.

«Университетская наука», ст. Писарева.—I, 148, 149, 153, 156, 159, 215.

«Урокъ холостымъ», ком. Загокина.—II, 685.

Успенскій, Гл.—I, 571—604, 682, 697; II, 99, 101, 111, 310, 468, 478, 479—500, 516, 528, 530, 541—545, 546, 548.

Успенскій, Н.—I, 128—132, 135, 139, 571; II, 325.

«Устой, исторія одной деревни», П. Златовратскаго.—II, 542, 546—560.

«Утро помѣщика», пов. Л. Толстого.—I, 613, 622, 627, 632; II, 606.

«Учебная книга русской словесности», Греч.—I, 429.

## Ф.

«Фаустъ», Гете.—I, 420, 573, 663; II, 599, 641.

«Фаустъ», пов. И. С. Тургенева.—I, 37.

Федоровъ, П.—II, 746.

Фейербах.—I, 759, 768; II, 373.  
«Femmes qui tuent et femmes qui votent», par Al. Dumasfils. Paris 1880.—II, 439—464.  
Фетъ.—I, 141, 174, 501, 666; II, 101, 230, 245, 289, 306.  
Фильдинг.—II, 862.  
Фихте.—I, 287, 409, 410.  
Флоберъ.—II, 229.  
Фонвизинъ.—I, 8, 9, 10, 243, 718, 725; II, 160, 161, 477, 675.  
Фохтъ.—I, 13.  
Фурье.—I, 295, 338.

## X.

«Хворая», пов. А. Потькина.—II, 199, 200.  
Хвоцинская, Н. Д.—I, 501, 663—699; II, 134, 161—194, 635.  
Херасковъ.—II, 653.  
«Хлѣба и зрѣлицъ», ром. Шеллера.—II, 197.  
Хомяковъ, А.—I, 350, 754; II, 46, 47, 48, 49, 642, 863.  
«Хорошее житье», Н. Успенскаго.—I, 131, 132.  
«Художники», разск. Гаршина.—II, 525.  
Худяковъ.—II, 246.

## Ц.

«Царь Федоръ», др. А. Толстого.—II, 255.  
«Цѣты невиннаго юмора», ст. Д. Писарева.—I, 175.  
Цезарь.—II, 65.  
Цертелевъ, ин.—II, 664.  
«Цехъ ученыхъ», ст. Герцена.—I, 504, 767.  
Цицеронъ.—I, 474, 475.  
«Цыганы», поэма Пушкина.—I, 212; II, 738, 854, 855, 861.

## Ч.

Чаадаевъ.—I, 315, 332, 354—355, 367, 369, 527, 740, 744, 763; II, 845, 846, 863.  
Часовъ, Н.—II, 92, 109, 112, 113, 128—132.

«Черная женщина», ром. Греча.—I, 429.

«Черная работа», разск. Гл. Успенскаго.—II, 483, 484, 495.

«Черный годъ или Горскіе князья», Парфякина.—II, 659.

«Чорты для характеристики русскаго простонародья», ст. Добролюбова.—I, 564.

«Черноземный поля», ром. Евг. Маркова.—II, 197, 198, 200.

«Четыре дня», разск. Гаршина.—II, 520, 522.

«Чюновникъ», стих. Некрасова.—II, 351.

«Что такое обломовщина?», ст. Добролюбова.—I, 557.

«Чудный мальчикъ», ск. Вагнера.—I, 702.

«Чужое добро въ прокъ не идетъ», др. А. Потькина.—II, 153.

Чуровскій, А.—II, 746.

## Ш.

Шалиновъ, ин.—II, 718.

Шапель.—II, 838.

Шассень (Людвигъ).—II, 457.

Шатобрианъ.—I, 288, 295, 298.

Шатрианъ.—I, 269.

Шаховской, ин.—II, 685, 687, 688, 698.

«Швел», ск. Вагнера.—I, 710, 711.

Шевченко.—I, 141, 142; II, 230.

Шевыревъ, С. П.—I, 335, 348, 356, 367, 377, 378, 379, 394, 396, 397, 400, 401, 407, 419, 719, 721, 863.

Шенспиръ.—I, 69, 72, 122, 123.

Шенкель.—I, 415, 426, 521, 573, 574, 581, 760; II, 19, 154, 167, 194, 238, 258, 465, 737, 771, 795, 861, 862.

Шеллеръ.—I, 606; II, 1—30, 102, 197, 198, 199, 201.

Шеллингъ.—I, 1, 3, 332, 333, 334, 338, 340, 342, 343, 345, 352, 355, 361, 362, 366, 398, 404, 409, 415, 521, 715.

Шенье.—II, 239, 245, 838, 854, 867.

Шерръ.—I, 122.

«Школы», романъ. М. 1834.—II, 746.

Шиллеръ.—I, 288, 292, 310, 383, 390, 401, 402, 405, 408, 415, 421, 422, 423, 445, 517, 518, 749, 760, 764; II, 154, 238, 240, 737, 771.

Шинкина, О.—II, 746, 782, 790, 791, 792.

Шниковъ.—I, 345; II, 663.

Шлоссеръ.—I, 13, 290.

Шопенгауеръ.—II, 563.

Шпильгагенъ.—I, 85—112, 268, 307.

Штейнталь.—I, 149.

Шульце-Деличъ.—I, 87, 88, 89, 90.

Шульцъ.—II, 31.

## Щ.

Щедринъ, см. Салтыковъ.

Щербина.—II, 247.

## Э.

Эдельсонъ.—I, 63, 65.

«Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни ворона», пов. Поводворскаго.—II, 503, 504, 505, 510, 511, 515.

Эсхиль.—I, 439, 581.

Эразмъ Роттердамскій.—I, 663, 781; II, 475.

## Ю.

Ювеналь.—I, 439, 782.

Юнгъ-Штилингъ.—I, 290, 291.

«Юность», раз. Л. Толстого.—I, 612, 614, 622.—II, 24.

«Юрій Милославскій», ром. Загоскина.—I, 594; II, 5, 637, 665, 682, 684, 687—696, 697, 698, 711, 712, 725, 727, 734, 786, 791.

## Я.

«Явления русской жизни подъ критикою эстетики», К. Ступовскаго.—I, 63, 65, 66.

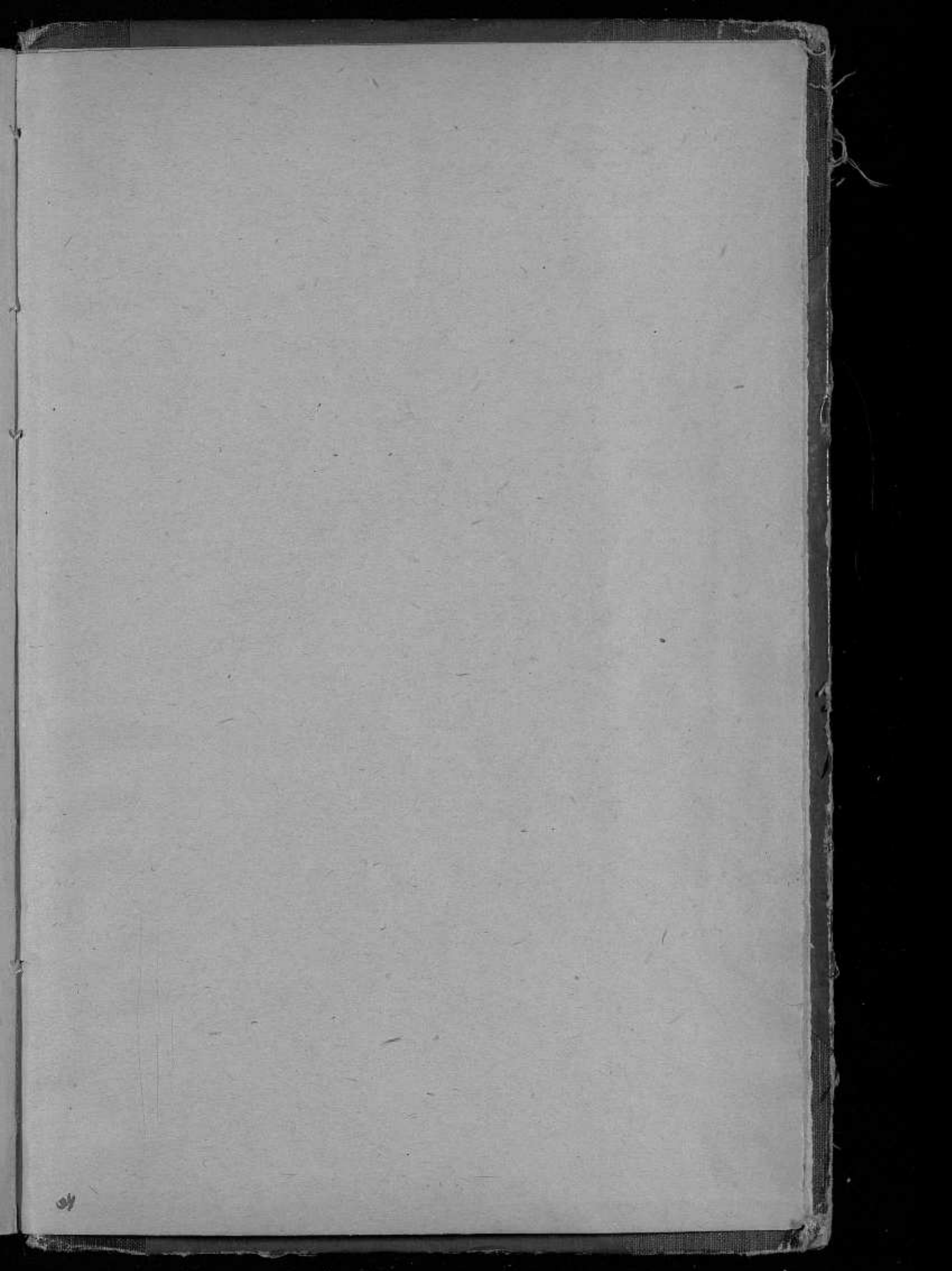
Языковъ.—I, 350.

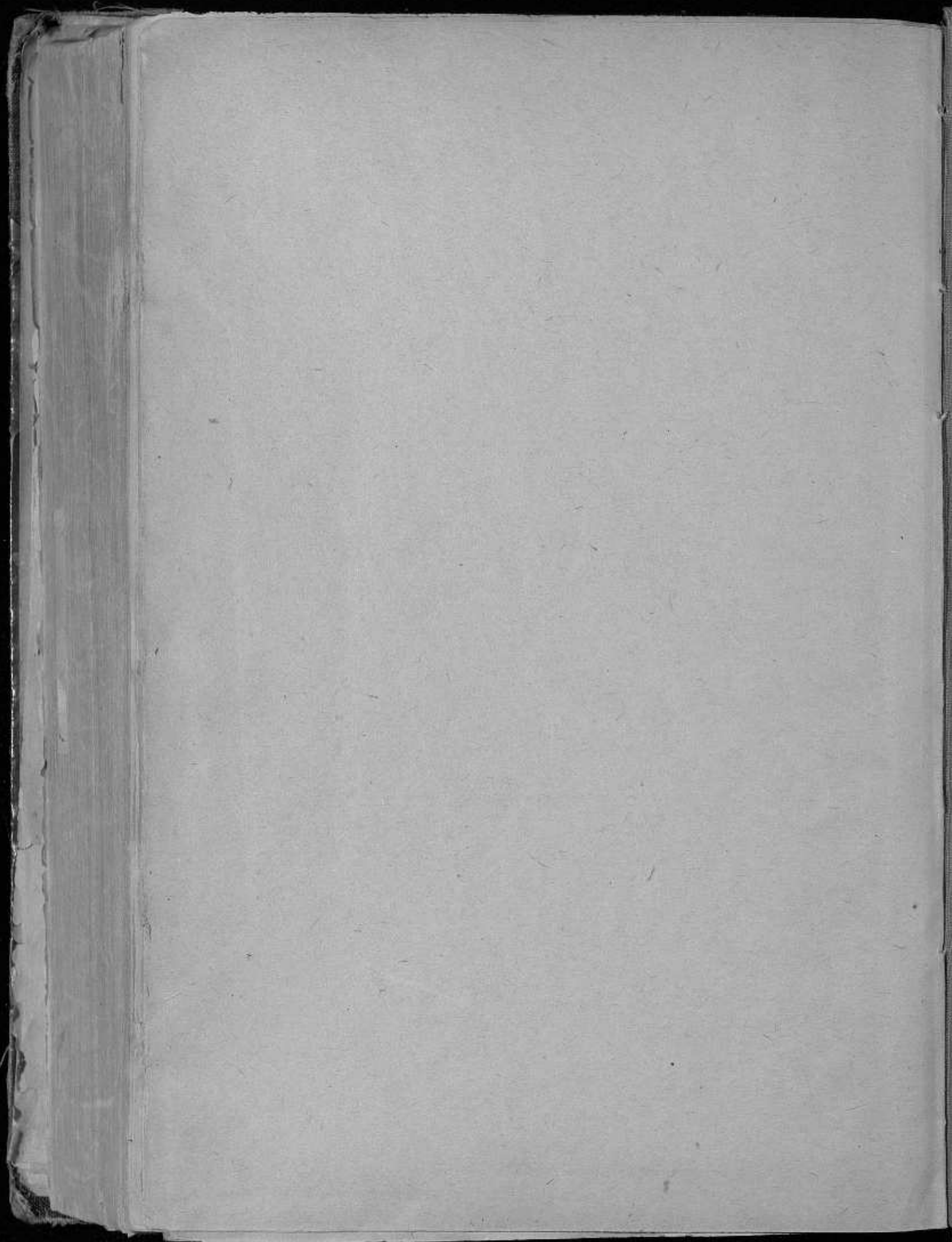
Якубовичъ.—II, 664.

Якушкинъ, П.—I, 128, 135—137.

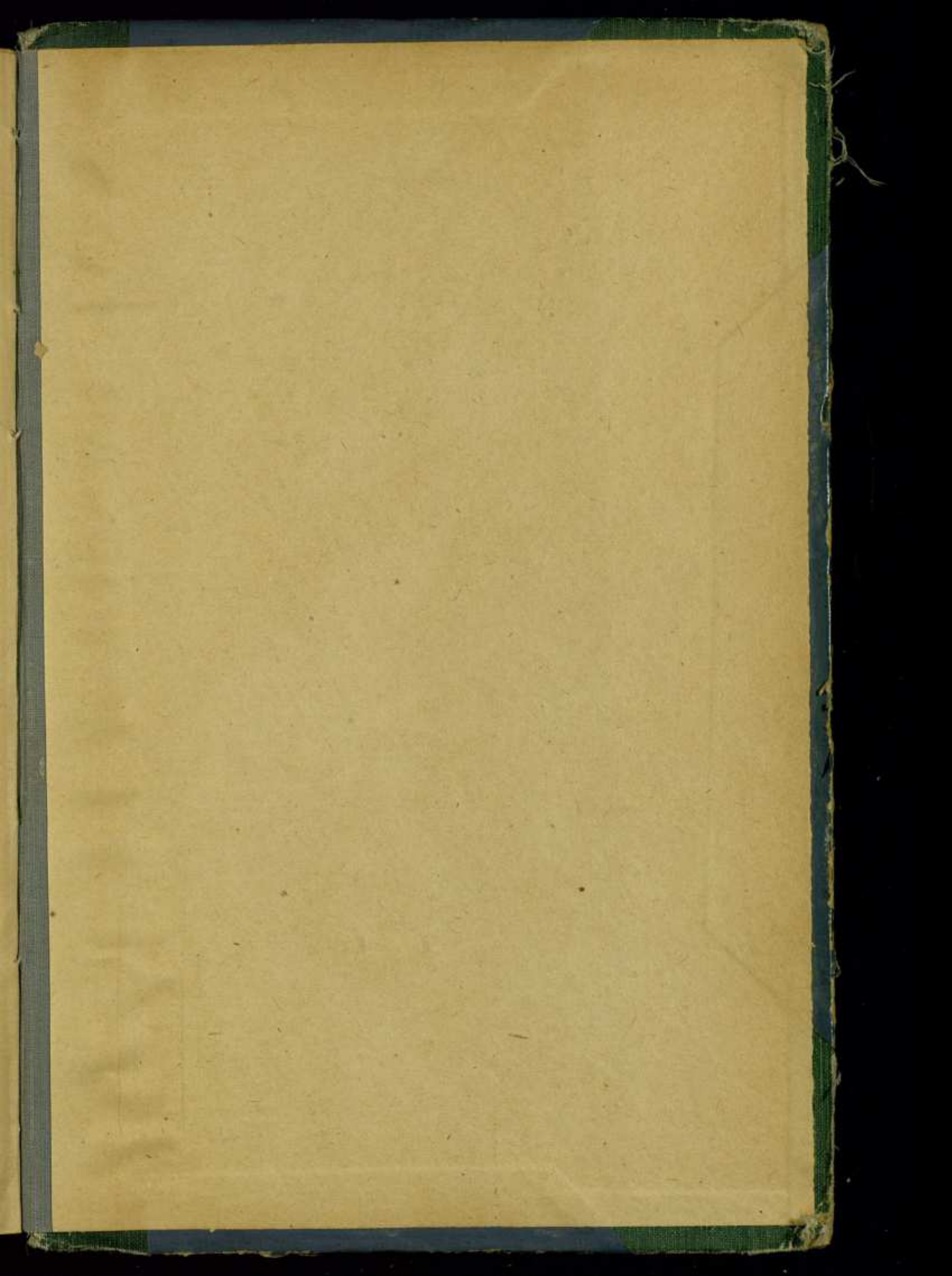
Ясинскій.—II, 501, 502, 530.











ГПБ Русский фонд

18.270.2.2

1-2